

Борис Докторов

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Историко-биографические
поиски

ТОМ 2

Беседы с социологами четырех поколений

Москва



2016

УДК 316.1/.2(47+57)
ББК 60.5(2)г
Д635

Докторов Б.З.

Д635 Современная российская социология: Историко-биографические поиски. В 9-ти т. Том 2: Беседы с социолога-ми четырех поколений. – М.: ЦСПиМ, 2016. – 1344 с.

ISBN 978-5-906001-46-7.

В 9-ти томнике доктора философских наук, профессора Б.З. Докторова обсуждаются результаты его историко-наукоедческого анализа становления современной российской социологии. Оригинальность и новизна данной работы определяется установкой автора на освещение прошлого и настоящего отечественной социологии на базе воспоминаний и суждений тех, кто формировал ее основы и внес значительный вклад в ее развитие. А в последние годы – и тех, кто в настоящее время активно работает в социологии и готовит новые поколения социологов.

Том 1 – «Биографии и история» – является методологическим введением ко всему проекту. Одновременно в нем представлены теоретико-эмпирические выводы проведенного исследования.

Материалы Томов 2, 4, 7 и 8 (в двух частях) – «Беседы с социологами семи поколений» – образуют эмпирическую базу исследования и придают особую значимость проделанной работе. Это – 143 глубинных биографических интервью, которые были проведены автором в 2005–2016 годах с российскими социологами разных возрастных групп.

Томы 3 и 5 содержат историко-методологические работы Б.З. Докторова, статьи о жизни и творчестве социологов, чьи гражданские позиции особенно близки автору. Также, в них представлены его автобиографические материалы

Том 6 – включает в себя книги Б.З. Докторова о В.А. Грушине и В.А. Ядове, ярких представителях первого поколения российских социологов.

Том 9 – впервые знакомит российского читателя с биографией и творчеством историка, философа и социолога науки Б.Г. Кузнецова и содержит пространное автобиографическое интервью Б.З. Докторова.

Книга может быть полезной широкому кругу социологов-исследователей, университетских преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующимся в области истории российской социологии. Вместе с тем, она адресована и более широкому кругу читателей, интересующихся социологией и историей нашей страны.

УДК 316.1/.2(47+57)
ББК 60.5(2)г

ISBN 978-5-906001-46-7

© Докторов Б. З., 2016

Оглавление

| | |
|--|------------|
| Предисловие | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. ПЕРВОЕ ПОКОЛЕНИЕ. ИМ БЫЛО СУЖДЕНО НАЧАТЬ | 11 |
| Ряд замечаний общего характера | 12 |
| Заславская Т.И.: «Я с детства знала, что самое интересное и достойное занятие – это наука» | 16 |
| Здравомыслов А.Г. Социология как жизненное кредо | 50 |
| Лапин Н.И.: «Наша социология стала полем профессиональных исследований, свободных от идеологического диктата» | 89 |
| Шляпентох В. Социолог: здесь и там | 128 |
| Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» Часть 1 | 183 |
| Часть 2 | 210 |
| Ельмеев В.Я.: «Я был и остался сторонником материализма в социологии» | 234 |
| РАЗДЕЛ 2. ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ. ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ ПЕРВЫХ УЧИТЕЛЕЙ | 249 |
| Ряд замечаний общего характера | 250 |
| Алексеев А.Н. «Рыба ищет где глубже, а человек – где не так мелко...» | 254 |
| Артемов В.А.: «Время было моим главным ресурсом...» | 294 |
| Баранов А.В.: «А всё-таки она вертится» | 329 |
| Гишинский Я.И.: «...Я начинал как чистый уголовник...» | 369 |
| Максимов Б.И.: «Социолог как лошадь, скачущая в стойле» | 400 |
| Русалинова А.А.: «Мы работали честно и видели хоть и скромные, но результаты своего труда» | 423 |
| Столович Л.Н.: «Не только я окунулся в социологию, но и социология окунулась в меня» | 441 |
| Тощенко Ж.Т. : «Социология возродилась в нашей стране сначала как политическая витрина» | 471 |
| Тукумцев Б.Г.: «То, что я оказался в социологии, связано со счастливой случайностью и с моим интересом к проблемам управления» | 501 |
| Фирсов Б.М.: «...О себе и своем разномыслии...» | 535 |

| | |
|--|-------------|
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ. | |
| ПРИЗВАННЫЕ ПОМОГАТЬ | 567 |
| Ряд замечаний общего характера | 568 |
| Беляев Э.В.: «Естественно-научные и социальные интересы – определяющая черта моей личности» | 572 |
| Божков О.Б.: «Каким я был, таким остался» | 600 |
| Воронков В.М.: «Я осознал себя социологом в возрасте 43 лет» | 609 |
| Гофман А.Б.: «Социальная реальность ... – это сфера свободы» | 621 |
| Ионин Л.Г.: «Надо соглашаться с собственным выбором» | 654 |
| Кесельман Л.Е. « ...Случайно у меня оказался блокнот “в клеточку”...» | 688 |
| Константиновский Д.Л.: «Такие вот динамические ряды...» | 725 |
| Могилевский Р.С.: «Я бы назвал себя социологом-консультантом...» | 759 |
| Панова Л.В.: «Самые интересные мысли были упакованы в многослойную обертку партийных документов» | 796 |
| Петренко Е.: «Социологический поворот в моей профессиональной жизни носил несколько мистический характер...» | 817 |
| Протасенко Т.З.: «Становление меня как социолога шло зигзагами» | 843 |
| Саганенко Г.И.: «Дороги хватит на всех» | 878 |
| Смирнова Е.Э. : «...По профессиональной части претензий не было, но инкриминировалось распечатывание гороскопов» | 915 |
| Толстова Ю.Н.: Некорректно говорить о том, что математика “прикладывается” к социологии | 942 |
| Травин И. И.: «В социологию я пришел совершенно сознательно» | 972 |
| Шереги Ф.Э.: «Тогда я и пришел к выводу: СССР стоит перед распадом» | 1000 |
| | |
| РАЗДЕЛ 4. ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ. | |
| СПАСЕННЫЕ ПЕРЕСТРОЙКОЙ | 1027 |
| Ряд замечаний общего характера | 1028 |
| Бачинин В.А.: «...Объединяющим началом веры и науки выступает личность ученого-социолога, его мировоззрение» | 1032 |
| Беспалова Ю.М.: «В социологии я оказалась и случайно, и неслучайно» | 1059 |
| Давыдов А.А. : «Мои занятия “Золотым сечением” воспринимали как чудачество научного маргинала» | 1088 |

| | |
|---|-------------|
| Здравомыслова Е. А.: «Моя профессиональная жизнь характеризуется “счастливым браком” гендерных исследований с качественной методологией | 1103 |
| Илле М.Е.: «За 10 лет “Телескоп” опубликовал не менее 500 статей не менее сотни авторов» | 1121 |
| Ильин В.И.: «Социология как образ жизни – это автономная сторона социологии как профессии» | 1136 |
| Козлова Л.А. : «Мы были маргиналами, только следующее поколение получило профессию “социолог”» . . . | 1166 |
| Мягков А.Ю.: «Иной судьбы для себя просто не представлял» | 1196 |
| Семенова В.В.: «Мой долгий путь к профессии» | 1231 |
| Тарусин М.А.: «Мы формировались во времена отрицания» | 1262 |
| Чирикова А.Е.: «Мой профессиональный выбор был правильным» | 1288 |
| Ядов Н.В.: «Хочется жить в нормальной либеральной стране» | 1321 |
| Вместо заключения | 1343 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

Материалы настоящего тома – 44 обстоятельных биографических интервью с российскими социологами – по своему назначению, содержанию и объему составляют главную часть трехтомника. Именно они задают его специфику. Это исследование так развивалось, что проведение интервью было следствием его программы, ответом на ее вызовы, и одновременно содержание бесед во многом конкретизировало, отчасти – формировало его поисковую стратегию и тактику. Детерминантой ряда принципиальных черт исследования стал и метод сбора информации – интервьюирование по электронной почте, ведь он определял характер моего общения с респондентами. В начале исследования содержание каждого нового интервью и то, как оно проходило, отражалось, прежде всего, на составе решаемых задач и уточнении метода сбора данных, но постепенно увеличивавшийся объем первичной информации стал определять аналитическую составляющую проекта.

Основываясь на изучении ответов представителей разных поколений социологов, выше (т. 1, гл. 3) был обоснован вывод о втором рождении советской / российской социологии и предложена новая интерпретация тезиса о возрождении отечественной социологии. Данные о возрасте опрошенных, рассмотренные с учетом особенностей траекторий вхождения этих ученых в социологию, позволили разработать поколенческую стратификацию совокупнос-

ти всех социологов, участвовавших в создании советской социологии и активно работающих в ней сейчас. Изучение информации о семьях респондентов и их воспоминаний о детстве и школьных годах дали возможность показать, что кадры социологии рекрутировались из разных социальных слоев советского общества и разных групп населения страны. Рассказы социологов о себе, о своих университетских преподавателях, о старших коллегах, помогавших им в овладении профессией, об учениках, участвовавших в их проектах и разрабатывавших вместе с ними определенную проблематику, содержат ценнейшие сведения для построения коммуникационных сетей и понимания формальной и неформальной структур социологического сообщества.

Все это – лишь первые результаты анализа собранной в течение семи лет информации. Напомню, что биографические интервью, представленные ниже, публиковались в петербургском журнале «Телескоп», в московских изданиях: «Социологический журнал» и «Социальная реальность», – размещались на сайте российско-американского проекта «Международная биографическая инициатива» [1] и собраны в онлайн-книге «Биографические интервью с коллегами-социологами» [2]. Тем не менее, представленные в трехтомнике одновременно с описанием методологии и результатами теоретических и теоретико-эмпирических исследований материалы интервью позволяют расширить круг специалистов, анализирующих содержание бесед. Думаю, что они могут быть интересны исследователям собственно историко-социологических, культурологических, образовательных и прочих проблем. Более того, они дают представление не только о виденном и пережитом конкретными учеными, но, в определенном смысле, рисуют картину формирования нашего профессионального сообщества.

Выше (т. 1, гл. 4) были изложены процедура проведения интервью и принципы построения «лестницы поколений» российских социологов. Сейчас я кратко напомню основные положения использованной технологии.

Конечно, исходно границы тематики биографических интервью были прочерчены до начала сбора информации и уточнены в беседах с первыми коллегами-респондентами. Но затем практика, и в первую очередь, изучение ответов интервьюируемых позволили точнее картировать исследуемое историко-биографическое пространство и найти общие для

всех, т. е. «ядерные», и специфические темы. К примеру, априори мне казалось, что вопросы о родительской семье хороши для завязки беседы о прошлом, если она строится в хронологическом порядке, но я не предполагал, что мои собеседники будут обстоятельно и детально освещать эту тему. То, что это произошло, указало мне на связь избранной формы интервью с мемуарами, в которых авторы обычно тщательно и детально – если знают – освещают историю своей семьи и свое детство. Так пришло осознание того, что не только я заинтересован в беседе, ибо она дает возможность получить информацию историко-научоведческого плана, но и мои респонденты имеют свои личные интересы.

Хотя я называю использованную процедуру сбора информации электронным интервью, или электронной беседой, это название метода не очень точное. Скорее, речь идет о мягкой, неформализованной модели анкетирования или обмена письмами. Мои письма были короткими и вопрошающими, письма моих респондентов, можно говорить – корреспондентов, – длинными и нарративными. Исходно избранный, но через пару лет апробации – сложившийся метод «эпистолярной беседы» оказался весьма «дружеским» по отношению к опрашиваемым, он ограничивал их в меньшей степени, чем другие приемы опроса. Они явно испытывали меньшее давление со стороны интервьюера и обстоятельств беседы, чем при личном интервью под диктофон.

Особую окрашенность, надеюсь, в теплые цвета, всему множеству интервью придает то обстоятельство, что со значительной частью моих собеседников я не просто знаком на протяжении десятилетий, но дружен. В наших разговорах много свидетельств доверительности обсуждений, к примеру, в подавляющем числе интервью в общении используется неформальное «ты». Но и в других случаях никто не видел во мне «человека со стороны», диктующего придуманные кем-то вопросы, всегда это был разговор коллег.

Формальное сообщество всех ученых, с конца 50-х – начала 60-х годов и до настоящего времени разрабатывавших проблемы социологии и проводивших прикладные исследования, можно трактовать как генеральную совокупность советских/российских социологов. Термин «генеральная совокупность» относится к методологии статистического анализа и характеризует некое множество «единиц», из

которого тем или иным способом извлекается выборка. При этом подразумевается, что генеральная совокупность – это определенным образом стратифицированный, описываемый рядом однозначно интерпретируемых качественно-количественных показателей, упорядоченный ансамбль «точек», относительно каждой из которых не возникает сомнений о принадлежности к рассматриваемой совокупности. Принимая во внимание сказанное, в частности, не имея данных о динамике и нынешнем демографическом и социальном составе социологического сообщества, не зная, какая доля ученых в разные годы работала в Москве, Петербурге (Ленинграде) и других городах страны, в академических институтах, университетах и отраслевых лабораториях, не имея статистики по научным степеням и званиям, я не мог планировать выборку для проведения интервью. Тем более что и сам метод сбора информации – переписка по электронной почте – налагал серьезные ограничения на процесс формирования выборки и создавал трудности в ее реализации. Замечу, далеко не все социологи, к которым я обращался с просьбой «поговорить», отзывались на нее позитивно.

Очевидно, в настоящем исследовании не ставилась цель репрезентировать в статистическом смысле генеральное множество социологов. Что касается валидности, логической полноты полученной информации, т. е. ее способности репрезентировать множество жизненных траекторий социологов первых четырех поколений и передать главные особенности становления советского / российского социологического сообщества, то об этом можно будет говорить лишь после проведения специального многоаспектного анализа.

Еще одно немаловажное обстоятельство, определявшее правила отбора респондентов для биографических бесед, это то, что все интервью проводятся мною лично, и потому не может идти речи о массовом опросе. Я начинал проект с интервьюирования ученых, которые многолетней работой доказали свою профессиональность и потому были известны в среде социологов. Позже, когда пришлось ощущению сложности в поиске собеседников, я обращался за советом к моим коллегам, т. е. использовал одну из модифицированных схем комплектования выборки по методу «снежного кома».

В начале работы над проектом у меня было отчетливое понимание возрастной неоднородности сообщества россий-

ских социологов, но оно не шло далее интуитивного выделения четырех возрастных групп: «старшие», «средние», и «младшие» и «входящие». Потом теоретико-эмпирический анализ биографий опрошенных мною социологов, а также – представленных в различных публикациях, позволили выделить лестницу 12-летних ступеней. Как следствие, стало возможным отнести каждого из респондентов – тех, с кем интервью состоялось, и потенциальных – к одному из семи присутствующих в нашем сообществе профессиональных поколений (см.: т. 1, гл. 4). Соотнесение целей исследования, его первоочередных задач и организационных возможностей привело к решению – не стремиться к охвату представителей всех действующих когорт социологов, а сконцентрироваться на изучении первых четырех.

Предлагаемые 44 интервью с социологами четырех поколений упорядочены в четыре раздела, каждому из которых предпослано короткое введение, описывающее особенности данного поколения.

Литература

1. Международная биографическая инициатива <<http://cdclv.unlv.edu/programs/bios.html>>.
2. Докторов Б.З. Биографические интервью с коллегами-социологами [электронный ресурс] / Ред.-сост. А.Н.Алексеев. М.: ЦСПиМ, 2011 <http://www.socioprognoz.ru/index.php?page_id=122>.

**Первое поколение.
Им было суждено начать**

Летом 2009 г. В.А. Ядов так описал процесс появления в стране социологов: «У Салтыкова-Щедрина есть фраза: “Откуда берутся дворяне? Из дворян. Откуда мещане? Из мещан. А откуда крестьяне? Да так, сами по себе – из грязи”. Физики брались из физиков, химики – из химиков. А социологи – из философов, психологов, экономистов. Из разных прочих дисциплин. Из математиков тоже. Это самообразование» [1].

За редким исключением социологи первых четырех поколений оказались в социологии случайно, они не готовили себя к работе именно в этой научной нише, а часто – вообще не знали о ее существовании. Однако замечу, эта случайность различна по своей природе для разных поколений; действительно, приход в социологию был случайным, но реализовывались эти случаи в разном событийном пространстве.

Профессиональный выбор социологов первых трех поколений не мог включать социологию уже потому, что в период их базового профессионального самоопределения такой науки в СССР не было. Тогда выпускники школ, отчетливо или смутно ориентировавшиеся на изучение общих принципов познания, социальной проблематики или человека, стремились получить философское, историческое или экономическое образование. Движение в сторону этих предметных областей оказалось для них первым шагом на пути в социологию.

Происходившее далее хорошо показал М.К. Мамардашвили, рассказывая о начале его собственных и его друзей, среди которых был и Б.А. Грушин, поисков новых подходов к философии. По его мнению, в 50-е годы философии в СССР не было, она возникла заново, и внутри нее люди делали разные выборы. Стремившиеся обслуживать «идеологические шестеренки» занимались историческим материализмом, теорией коммунизма и другими идеологически выдержанными темами. Не желавшие такой судьбы искали менее огосударствленные сферы философской науки, а значительная часть выпускников философских факультетов сама уходила или была вынуждена уйти в иные сферы деятельности. Аналогичное можно сказать об историках, экономистах, пытавшихся найти для собственных исследований менее политизированные, идеологизированные проблемы. Социология виделась в то время наукой, достаточно приближенной к практике, и в силу этого ее проблематика представлялась – и в известной степени была – более открытой, свободной, чем истматовская, политэкономическая и историко-партийная. Другими словами, их приход в социологию был, с одной стороны, исторически обусловленным, с другой – случайным. Мамардашвили сформулировал диалектику этих понятий весьма метафорично: «Начало всегда исторично, то есть случайно» [2].

Образовавшие первое поколение вошли в социологию «без приглашения», не дожидаясь его, даже наперекор строгому предупреждению – «входа нет». Будущее показало их высокую пассионарность и верность избранному пути, их энергетики хватило на «зарядку» следующих поколений социологов.

Если исходить из того, что мир – не хаос, то придется признать объективность многих процессов, происходящих в обществе и в социальных институтах. Объективно и развитие всей системы наук об обществе. Политическая оттепель создала предпосылки для обращения представителей *разных* поколений советских обществоведов к возможностям социологии. О ее существовании в дореволюционной и отчасти постреволюционной России самые старшие помнили четверть века, но предпочитали молчать. 30-летние узнавали из зарубежной литературы, книг, издававшихся в стране до наложенного на социологию «вето», и редких отечественных публикаций, выходявших после смерти Сталина и разоблачения его культа.

Вот здесь на арене истории и должны были появиться новые люди, обладавшие двумя уникальными для той эпохи качествами. Первое: смотрящими в большей степени вперед, чем назад. Второе: профессионально готовые к самостоятельному овладению теорией, методологией и методами современной по тому времени социологии. По сути, речь шла о новых типах личности, могущих услышать пробивавшиеся из толщи социальных отношений вызовы, перевести их на язык науки, приступить к поиску ответов на эти вызовы и доказать обществу, что эта новая наука необходима ему.

Таких вперед смотрящих не могло быть много, но и нужны были лишь единицы. Тем не менее, трудно проанализировать путь каждого в область науки, новую не только для него, но и для других. Для истории представляют особый интерес именно первые шаги людей в инновационную сферу: как случилось, что сегодня человек фактически отказывается от своих выношенных и, казалось бы, принятых, часто – долгосрочных, планов и идет в том направлении, которого он вчера не видел. Понятно, что в одних случаях это его реакция на некие внешние обстоятельства, в других – кумулятивный итог многолетних рассуждений, иногда – бегство от привычного, рутинного и т. д. Безусловно, в будущем историко-научоведческие исследования помогут отыскать подобные толчки, но это можно будет сделать лишь в рамках более глубокой методологии. Во-первых, здесь придется найти обоснованные приемы включения в преимущественно фактологический анализ такой сложной субстанции, как мотивация поведения человека, что достаточно сложно и – иногда – рискованно. Во-вторых,

трудно допустить, что это может быть осуществлено в рамках поколенческого изучения российского социологического сообщества, потребуется переход к изучению траектории жизни конкретных ученых.

Первое поколение советских социологов (годы рождения: 1923–1934) входило в жизнь после смерти Ленина, в период свертывания НЭПа и перехода к развернутому строительству социализма; на рубеже 1920–1930-х зарождался культ личности Сталина. На годы детства/юности этих социологов пришлось массовые репрессии конца 30-х, а затем – война. Старшие – участвовали в ней, младшие испытали всю тяжесть военного времени, оставаясь на территориях, занятых немецкими войсками, в блокадном Ленинграде, в труднейших условиях эвакуации. Многих из них потрясла смерть Сталина (5 марта 1953 г.), казалось, что потеряны главнейшие ориентиры жизни. Их поздняя юность и ранняя молодость прошли в период политической оттепели, наступившей после доклада Н.С. Хрущева о культуре личности Сталина на XX Съезде КПСС (февраль 1956 г.), децентрализации. Свою профессиональную (социологическую) деятельность они начинали на рубеже 1950–1960-х годов, практически «с нуля», *самостоятельно осваивая* современные для того времени теории и эмпирические методы социологии.

Рассмотрение биографической информации нескольких социологов первого поколения позволяет до определенной степени воссоздать процесс становления социологии в СССР.

Ряд ученых старшего поколения и историков советской/российской социологии не согласятся с включением мною в группу социологов первого поколения В.Я. Ельмеева. В те-

**Данные об опрошенных представителях первого поколения
российских социологов**

| ФИО | Даты жизни | Год защиты канд. дис. | Год защиты докт. дис. |
|------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| Заславская Татьяна Ивановна | 1927–2013 | 1956 | 1965 |
| Здравомыслов Андрей Григорьевич | 1928–2009 | 1960 | 1968 |
| Лапин Николай Иванович | р. 1931 | 1960 | 1968 |
| Шляпентох Владимир Эммануилович | р. 1926 | 1956 | 1966 |
| Ядов Владимир Александрович | р. 1928 | 1959 | 1967 |
| Ельмеев Василий Яковлевич | 1928–2010 | 1953 | 1963, 1977 |

чение многих лет он доказывал антимарксистский характер исследований В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова, резко критически относился к положениям экономической социологии Т.И. Заславской и во многих своих работах скорее выступал с позиций научного коммунизма, чем социологии. Ельмеев не принадлежит к группе социологов-первопроходцев, работами которых заложены базисные теоретико-методологические и методические основы новой, послевоенной советской / российской социологии.

Вместе с тем, говоря об истории становления современной отечественной социологии, нельзя не видеть всего многообразия процессов, протекавших в пространстве зарождения этой науки. Полнота исторического анализа предусматривает изучение жизни и творчества ученых, отстаивавших разные точки зрения на логику и предмет социологии.

В.Я. Ельмеев родился и формировался как личность и ученый в тот же период, когда происходила социализация социологов двух старших поколений. Он учился на философском факультете ЛГУ одновременно с А.Г. Здравомысловым, В.А. Ядовым и представителями второго поколения социологов (см. ниже) А.В. Барановым, Л.Н. Столовичем и А.А. Русалиновой. Ельмеев – один из пионеров создания планов социального развития предприятий; исследования в этой области сыграли заметную роль в распространении прикладных социологических исследований в СССР. Далее, он – одна из ключевых фигур в создании социологического факультета ЛГУ. Наконец, для меня крайне важными являются слова Ядова, сказанные им о Ельмееве: «В плюсах-минусах оценки его роли в нашей питерской социологии плюсы, я считаю, преобладают. Я глубоко уважаю его преданность своим взглядам, хотя решительно их не разделяю. Он, определенно, личность, действует по убеждению, не марионетка» [3].

Литература

1. Как возникла социология в СССР. Беседа с В. Ядовым <http://www.polit.ru/analytics/2009/06/17/videon_yadov_lb.html>.
2. *Мамардашвили М.К.* Начало всегда исторично, то есть случайно <<http://www.cirle.ru/archive/vm/v911mam.html>>.
3. *Ядов В.А.* «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев.* Ч. 2. 2005. № 4. С. 2–10; См. настоящую книгу, Т. 2. С. 210–233.



Заславская Т.И. – окончила экономический факультет МГУ, доктор экономических наук, академик РАН, Московская высшая школа социальных и экономических наук. Основные области исследования: методология социальных наук, общая и экономическая социология, институциональная экономика, теории посткоммунистических трансформационных процессов. Интервью состоялось в 2005-2007 годы.

Более двух лет продолжалась работа над интервью с Татьяной Ивановной Заславской. Я читал фрагменты ее воспоминаний, мы обменивались множеством электронных писем, в которых я задавал вопросы, а Татьяна Ивановна терпеливо и обстоятельно отвечала, было множество телефонных разговоров, несколько встреч у нее дома, наконец, обстоятельное интервью в ее небольшом домике в академическом поселке Можжинке недалеко от Звенигорода. Когда работа окончилась, я долго испытывал двойственное чувство. С одной стороны, радость завершения дела, с другой, – чувство грусти. Ибо уже нет того общения, в котором центром интереса, разговоров, размышлений были жизнь и творчество Татьяны Ивановны. Держа в памяти обстоятельства, в которых протекали разные периоды ее жизни, масштаб событий, в которых ей пришлось участвовать, во многом определяя ход их развития, имена людей, сыгравших значимую роль в ее становлении как личности, гражданина и ученого или просто встречавшихся на ее жизненном пути, я сказал Татьяне Ивановне: «Ваша жизнь – основа для романа». Она согласилась и после некоторой паузы добавила: «Социально-психологической драмы».

Т.И. Заславская:
**«Я С ДЕТСТВА
ЗНАЛА, ЧТО САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ
И ДОСТОЙНОЕ
ЗАНЯТИЕ –
ЭТО НАУКА»***

Начало

Татьяна Ивановна, сейчас готовятся к публикации Ваши мемуары...

Довольно давно, лет 7–8 назад, если не раньше, у меня возникла внутренняя потребность критически осмыслить свою жизнь. Если Богу было угодно сделать ее достаточно долгой, то, наверное, не для того, чтобы я до последней минуты сидела за компьютером и сочиняла научные статьи. Когда-то надо остановиться и спросить себя: а как я прожила свою жизнь? Какие главные решения принимала, какие поступки совершала, какие серьезные ошибки делала? Каким людям обязана своими успехами, перед кем сильнее всего виновата? Эту потребность я чувствую и сейчас, но в последние годы я была занята подведением итогов своей научной деятельности, поэтому

* Социологический журнал. 2007. № 3. С.137–169.

анализировать свою жизнь удавалось только урывками. А начинать естественно с начала, с детства.

Сейчас я продумываю подходы к выделению поколений в нашей социологии, и мне кажется, что одним из таких критериев могут быть их доминирующие идеалы. Ваше поколение называется шестидесятниками... Но это – поколение в целом, а что бы Вы сказали о себе? Что наиболее сильно повлияло на формирование Ваших идеалов?

Думаю, гуманистическое воспитание, которое мама старалась дать нам с сестрой...

Я родилась в Киеве в 1927 г., но мое киевское детство под крылом бабушек и няни длилось всего пять лет. Способности и стремление учиться проявились рано: в 4 года я знала таблицу умножения, а в 5 освоила все действия арифметики на многозначных цифрах. В школу меня приняли шести лет, училась я без труда, не выделяя особо любимых предметов, менее же всего любила французский язык, потому что мне не давалось произношение.

Когда мне было пять лет, мы переехали в Москву, и мама начала вечерами читать нам с сестрой книги, выбиравшиеся, видимо, очень тщательно. Это были самые разные книги: русские и иностранные, грустные и веселые, драмы и романы, повести и рассказы, и про животных, и про людей, про все что угодно. Но все они носили очень гуманный, гуманистический характер. Это было спокойное, без нажима и дидактики, естественное, но повседневное воспитание. Таким образом, первая группа идеалов – это идеалы добра, взаимопонимания, сочувствия и помощи людям. Гуманное отношение и к животным.

Затем – война, когда формировались патриотические идеалы. И вот, скорее всего во время войны, я стала относить к своим важнейшим ценностям, даже сверхценностям, каких у меня не больше пяти и которые определяют всю жизнь, такую странную и необычную ценность, которую я называю – Россия. Россия как ценность – она многогранна, одно из ее проявлений – то, что я не представляю своей жизни вне России. Мне всегда было не очень уютно за границей, я стремилась домой и свободно вздыхала только здесь. С одной стороны, это – мое окружение, моя среда, я здесь родилась, я здесь хочу жить. Но одновременно это и Россия в истории, Россия как таковая. Я хочу, чтобы ей было хорошо, чтобы она развивалась. Мне больно, когда я вижу, что она чуть ли не первая в мире по коррупции, по преступности. Это как родной человек, если он падает... Очень тяжело в личном плане.

И наконец, еще одна группа ценностей возникла во время учебы на экономическом факультете. Там осуществлялась очень мощная идеологическая накачка, под влиянием которой в мое сознание крепко врезался идеал свободного, я бы сказала, социалистического общества, в котором людям жилось бы хорошо и достойно. Кроме того, к первому ряду ценностей я отношу «нравственное равновесие с миром» (моя формула для «спокойной совести»), а также личную честь и достоинство.

В моем понимании судьба включает пред-биографию, биографию и пост-биографию. Из всего прочитанного о Вашей жизни у меня сложилось впечатление, что судьбой Вам было уготовлено заниматься наукой. Я не говорю о выборе профессии, но об обращении к науке...

Да, конечно. Вопрос о том, что может быть что-либо другое, никогда не стоял. Нам с раннего детства было дано понять, что наука – это самое почтенное занятие. Следовало из того уважения, которым был окружен наш дедушка. Когда он шел работать в свой кабинет, нам не разрешалось ни играть, ни шуметь... дедушка – работает, он профессор, он готовится к лекции. Кроме того, у бабушки был большой альбом о крупнейших физиках мира, на каждого отводилась страница, фотография и краткий рассказ о жизни. И там был портрет дедушки. Он крупных открытий в физике не сделал, теперь я знаю многое о его работе, но около 15 лет был редактором и издателем всероссийского журнала «Физическое обозрение». Кроме того, он был инициатором, организатором и одним из руководителей Украинского научно-технического общества, так что был в курсе всех важнейших открытий и пользовался большой известностью. Да и мой отец ведь тоже был ученым.

К тому же мои способности, раннее развитие да еще высокий лоб у всех знакомых вызывали одну реакцию: «У-у, какая серьезная! Наверное, будет профессором!» Так что я с детства понимала: другого пути у меня нет.

Когда я физический факультет выбирала, здесь, безусловно, была идея продолжить линию дедушки. Зато экономический факультет уже явно был шагом в сторону. Отец сделал все, чтобы меня отговорить, но не смог этого сделать.

В нашей беседе уже присутствуют Ваши родные. Может быть, о них можно рассказать подробнее?

Мой дед с материнской стороны, Георгий Георгиевич де Метц (сын бельгийского подданного и русской дворянки) был

профессором по кафедре физики в Киевском университете Св. Владимира. В 1889 г. он женился на дочери высокопоставленного офицера Сарре Карловне Крафт, и они счастливо прожили вместе всю оставшуюся жизнь. В соответствии со ступенями академической карьеры дед в 1906 году получил личное, а в 1913 году – потомственное дворянство. Таким образом, сам он был дворянином 12 лет, а члены его семьи – всего 4 года. Тем не менее, это негативно отразилось на их последующей жизни.

Мама – Татьяна Георгиевна, родилась в 1895 г. в Киеве. В 1919 году, учась на филологическом факультете Киевского университета, она вышла замуж за Ивана Васильевича Карпова, моего отца. Мама владела рядом европейских языков, знала греческий и латынь, успешно училась музыке. Но реализовать свой творческий и квалификационный потенциал в силу своего происхождения и семейных обстоятельств не смогла. Мама погибла 21 июля 1941 года во время первой бомбежки Москвы.

Папа – Иван Васильевич Карпов, родился в 1893 г. в крестьянской семье, и свое образование он начал с церковно-приходской школы. В августе 1914 г. он был призван в армию, сражался на фронтах Империалистической войны, был ранен и награжден «Георгием» 4-й степени. В дальнейшем папа окончил философско-педагогический факультет Киевского университета, а в 1941 г. стал профессором Московского педагогического института иностранных языков.

Моя сестра, с которой мы очень близки всю жизнь, Майя Ивановна Черемисина (1924 г.р.), – крупнейший специалист по русистике и языкам Сибири, доктор филологических наук, профессор; она свыше сорока лет работает в Институте филологии СО РАН.

Читая Ваши воспоминания, я обратил внимание на фразу из заметок 1942–1950 гг.: «Высокая интенсивность информационного поля. Обнаруживающаяся пропасть между жизнью и пропагандой. Социальное взросление».

Действительно, фраза об «интенсивности информационного поля» очень значима. Дело в том, что во время войны наша московская квартира на Пятницкой стала одной из редких надежных точек, через которые родные и близкие могли находить друг друга. Поэтому все, кто ехал через Москву (обычно на фронт или с фронта), останавливались на пару дней у нас и рассказывали, рассказывали, рассказывали... То, что я слышала от этих людей, было до бесконечности не похоже на то, о чем писалось в газетах. Да мы и сами были непосредственно

включены в московскую жизнь военного времени, когда из-за трудных условий многие казались бы хорошие люди раскрылись совсем с другой стороны.

Примечательны и Ваши записки о посещении студии молодых поэтов и ночных посиделках, на которых Павел Топер и Ярополк Семенов читали стихи поэтов серебряного века. В студии Вы слушали Гудзенко, Межирова, Солоухина, Коржавина, Тушнову, Некрасову, Друнину... поэтов, позже передавших в своих стихах войну и дух «оттепели»... Социологи Вашего поколения отмечают, что стихи поэтов-фронтовиков многое определили в их мировоззрении. Вы разделяете их точку зрения?

Встречаться с молодыми поэтами, слушать их стихи, а потом споры было увлекательно и очень радостно. Они оказали на меня громадное влияние, потому что свойственная им суровая, проверенная войною мораль открыто и жестко противостояла мелочности, пошлости, а нередко и подлости тыловой жизни. Молодые поэты были чистыми в высшем смысле слова, они прошли войну, пропустили ее ужас через свои души и благодаря этому приобщились к самым высоким ценностям. Мне остро не хватало духовной опоры в окружавшем мире, а тут – такие прекрасные люди и такие замечательные стихи! Мы с Майей воспринимали это как настоящий «пир души».

Как Вы осознавали, переживали смерть Сталина?

Мое сознание в этом отношении было совершенно четко разделено как бы на правую и левую половины. Когда на одной полочке находится твердое знание о том, что такое Сталин, а на другой, тем не менее, – скорбь и слезы. Ужас! Настоящее раздвоение личности, которое было тогда у большинства. Не так много было людей, которые не испытывали никакого горя и тревоги. Вот, например, наш дядя Степан – он был коммунистом, прошел войну на «катюше», работал трактористом в колхозе; когда умер Сталин и женщины стали плакать, говорил: «О чем вы ревете, радоваться надо, что изверг подох...»

Что роднит Вас с другими шестидесятниками?

Прежде всего – высочайшая ценность Свободы и Правды. Когда я говорю о демократическом и справедливом обществе, то имею в виду, прежде всего, свободное общество. А одна из важнейших свобод – это Свобода утверждать Правду.

Экономист-аграрник

Татьяна Ивановна, почему в центре Ваших научных интересов оказалось сельское хозяйство, экономика села? Странно, городская девушка из профессорской семьи пошла учиться на физфак, потом – на экономический факультет и затем вдруг – сельское хозяйство.

Думаю, что здесь сыграли роль и гены. Все-таки отец родился в деревне, и, хотя он лет в 13 или 14 переехал в Боровск, учился в городском училище и стал истинным горожанином, но ведь он происходил из крестьян, и линия его крестьянских дедов и прадедов известна до 6-го колена. В 1940 г. мои родители впервые не смогли вывезти нас с сестрой в какие-то новые места, чтобы расширить наш горизонт, как обычно они это делали летом. Вместо этого нас отправили в деревню к папиной двоюродной сестре Нюше. И мы с Майей неожиданно почувствовали себя в совершенно родной среде, хотя были настоящими горожанками. Мне было 13 лет, но я была рослой и казалась старше, а сестре было 16 – самый цвет. Мы были простыми в общении, ничего из себя не строили и поэтому всем нравились. Мальчишки катали нас на велосипедах, приносили к нам патефон с пластинками Клавдии Шульженко, приглашали на деревенские гулянья... На чердаке у Нюши мы нашли книжку про Тарзана, которая нам страшно понравилась. Мы учили деревенские песни и частушки и в целом были совершенно счастливы... Вообще, мы стали там в доску своими. Это был, я думаю, важный момент в моей жизни, я почувствовала деревню, впустила ее в свою душу, проще говоря – полюбила. Мы долго там жили, все лето. Я думаю, что мое глубокое сопереживание деревне пошло именно оттуда.

Довоенное Земнево, в силу близости к Москве, было богатым. Там были хорошие личные подсобные хозяйства, коровы, огороды, все росло и множилось. Ну, одевались очень просто и все такое, но жили достаточно хорошо, зажиточно. А в 1947–1949 гг., уже студенткой, я ездила на уборочные работы и увидела разоренную, послевоенную деревню. Нищета поражала. Хотя, конечно, и Москва, и вся Россия после войны жили тяжело, но деревенская нищета была на порядок сильнее городской. И ощущение социальной несправедливости по отношению к достаточно большой и близкой мне части общества не могло оставить меня равнодушной. Кроме того, тетя Нюша регулярно приезжала в Москву продавать картошку на рынке и рассказывала, как их притесняли – беспощадно, неразумно. Не плоды снимали с дерева, а просто подрезали ветки и ствол. И вот как-то зацепило.

А когда я диплом писала по оплате труда в колхозах, меня увлекла история коллективизации. Я изучала историю рождения «трудодня»: тогда утверждалось, что это чуть ли не экономическая категория. Много было живого материала, и мне было интересно, хотелось разобраться до конца, чтобы не оставалось вопросов.

Вы несколько лет успешно учились на физическом факультете МГУ. Как случилось, что Вы стали экономистом?

На третьем курсе мы изучали политэкономии капитализма, которую преподавала доцент Александра Васильевна Санина. Однажды она поручила мне подготовить доклад по проблеме товарного фетишизма. После доклада она воскликнула: «Послушайте, что она у вас здесь делает? По-моему, ее место не на физическом, а на экономическом факультете!» Я же как раз в это время отчетливо поняла, что физика мне не интересна и сказанное Саниной в шутку восприняла как момент истины.

Сдав экзамен по политэкономии и обретя независимость, я рассказала Саниной о своем намерении сменить факультет и попросила совета – как это организовать. Она пыталась меня отговорить, но решение было принято. С большим трудом, но все же я получила разрешение перейти с четвертого курса физического факультета на второй курс экономического, обязавшись в течение года сдать все экзамены за два курса.

Похоже, и не встретив Санину, Вы все равно оставили бы физфак.

Безусловно. Я все равно ушла бы с физфака, потому что уже со второго курса активно искала предмет своего настоящего интереса. Присматривалась к филологии, ходила с Майей на семинары проф. Белкина по Чехову... если бы не ушла, то была бы глубоко несчастна.

Физический факультет дал Вам не только прекрасное знание математики, которое впоследствии могло пригодиться, но он определенным образом настроил Вас по отношению к идеологии. Физики, математики всегда старались держаться в стороне от идеологии... то, что вы начали там учиться, по-видимому, определило Вашу позицию во многих вопросах....

Никакого сомнения. Действительно, в течение трех лет мне ставилось естественно-научное мышление, согласно которому, например, законы природы потому и законы, что они всегда исполняются, в этом их смысл. Поэтому, слушая лекцию о «законе планомерного и пропорционального развития социалистической экономики», который, к сожалению, действует не всегда, я мысленно пожимала плечами: «Тогда, какой же он

закон?» Но самым замечательным был «закон непрерывного роста производительности труда». Представляете себе: можно ничего не делать, лежать себе на печи, а закон, как сила тяжести, будет сам собой повышать производительность вашего труда. Мне это казалось диким. В таких случаях я обычно задавала вопросы преподавателям: «Ну как же это может быть?» Вопросы эти были им более чем неприятны, так как ответов на них не было и быть не могло. Поэтому у преподавателей и сокурсников создавалось впечатление, что я какая-то не такая, «не как все». По окончании университета меня, несмотря на отличный диплом, не рекомендовали в аспирантуру. Но гораздо сильнее поразили меня слова одной из близких подруг, что сделано это было правильно, потому что во мне «есть что-то не то, чуждость какая-то». Наверное, этим «не тем» я во многом была обязана трем годам физфака, студенты и выпускники которого были совершенно другими людьми. Математические методы я применяла и в экономике, и в социологии, но это было второстепенным. Главным же достоянием, вынесенным мною с физфака, была математическая логика. Мой тип мышления был сформирован физфаком, и это оправдывает «потерю времени».

С чего начинался Ваш путь исследователя?

Университет я закончила в 1950 году, получила диплом с отличием. Руководитель дипломной работы профессор Соколов сказал, что половина кандидатской готова. Но мои выступления против парторга факультета лишили меня даже направления на работу в вуз. Замаючило распределение экономистом на провинциальный стекольный завод, в сущности, это была «вечная ссылка», так как я потеряла бы московскую прописку. Благодаря ультиматуму профессора Соколова – или меня направляют в вуз, или он увольняется и «кладет партбилет» – меня направили преподавателем политэкономии в Симферопольский сельскохозяйственный институт. Но вскоре выяснилось, что там все вакансии заполнены, и мне дали свободный диплом. С помощью Саниной и ее мужа Владимира Григорьевича Венжера я получила работу в секторе аграрных проблем Института экономики АН СССР. Я стала младшим научным сотрудником, помощницей Григория Григорьевича Котова.

Венжер был экономистом с очень широким взглядом на вещи, никогда в жизни он не упирался носом в какую-нибудь «структуру себестоимости» (мне именно эта тема представляется «эталоном» асоциальной экономики, где нет человека). Да что говорить, если его последняя книжка, написанная, когда ему было за 80, называлась «Что было, что стало, что должно

было стать, что станет дальше». Венжер был высокообразованным, самостоятельно мыслящим экономистом-аграрником, он отваживался дискутировать со Сталиным и Хрущевым, за что был неоднократно наказан. Находясь в постоянном противостоянии с официальной идеологией и той частью ученых, которые «колебались вместе с линией партии», он создал мощную научную школу, акцентировавшую необходимость сочетания централизованного планирования важнейших социально-экономических пропорций с расширением хозяйственной свободы колхозов, развитием сельскохозяйственного рынка.

Котов (1901–1979) был одним из людей, оказавших на меня исключительно сильное влияние. Сейчас, когда его уже давно нет, могу признаться, что мы чуть ли не с первой встречи влюбились друг в друга. Григорий Григорьевич восхищал меня своим умом, мужеством, прямоотой, справедливостью и вместе с тем юмором, озорством и массой других прекрасных качеств. Но главное, он был «настоящим», без капли фальши, приспособленчества и прочее, а ведь время-то было еще сталинское – 1950–1952 гг.

Котов родился в среднерусской деревне, окончил педагогическое училище, а потом экономико-статистический институт, и работал сперва в статистических органах, а с начала 1930-х – в науке. Он великолепно знал деревню и с любым сельским жителем говорил так, что его сразу признавали своим. Скорее всего, в 1920-х годах он участвовал в конкретных социальных исследованиях деревни. Иначе откуда бы у него взялась убежденность, что без долгих и откровенных разговоров (по сути, углубленных интервью) с представителями всех сельских социальных ролей – от простых мужиков до партийных руководителей – невозможно понять суть исследуемых нами проблем. Ходить или ездить с ним по колхозным бригадам, записывать его беседы, а потом расспрашивать о том, что оставалось неясным, было мне страшно интересно. И когда я начала собственное исследование, то, конечно, воспроизвела этот метод. Сохранилось много общих тетрадей с записями моих бесед с колхозниками.

Особенно запомнился один случай. Я приехала в один из знаменитых льноводных колхозов Калининской области, председатель которого Петров (И.О. его, к сожалению, не помню) был Героем Социалистического Труда, депутатом Верховного Совета СССР, членом обкома и райкома партии, и потому – крайне занятым человеком. Он с трудом согласился выделить мне полчаса – с пяти вечера до половины шестого, потому что в 6 часов должен был быть на каком-то совещании. Но когда подошло время уезжать, он только махнул рукой: «А, чтоб

оно провалилось! Без меня обойдутся...» За окном темнело, давно ушли конторские служащие, а он все рассказывал и рассказывал. Оказалось, в частности, что в 1937 г. Петров был арестован по 58-й статье (как враг народа) и полтора года провел в тюрьме, а весной 1939-го, после решения партийного Пленума о перегибах, его освободили и даже реабилитировали. Обвинялся же он в том, что на колхозном партсобрании проголосовал против исключения из партии (и неизбежного в таком случае ареста) своего друга, лучшего бригадира. Тот в юности в Петрограде какое-то время ходил в троцкистский кружок. Жизнь и Петрова, и его колхоза была настолько драматичной, а его рассказ – настолько захватывающим, что я даже не решалась писать, чтобы не нарушить атмосферу доверия. Разошлись мы около 11 вечера, оба довольные, и дома я еще пару часов по свежим впечатлениям записывала нашу беседу. Я помню ее и через 50 лет.

В какие годы Вы писали кандидатскую диссертацию?

Я начала работу осенью 1953 г., моим руководителем был Венжер. Суть диссертационного исследования «Трудодень и принцип материальной заинтересованности в колхозах» заключалась не в том, чтобы изобрести еще один способ распределения крохотных фондов оплаты труда, которыми располагали колхозы, а в анализе отношений колхозов с государством, определении экономических механизмов формирования колхозных доходов. Но чтобы подойти к этой проблеме, следовало основательно разобраться в практике оплаты труда в колхозах. Тема моей диссертации относилась к самым закрытым, секретным областям экономики. Официальной статистики об оплате труда в колхозах не было, работать приходилось с данными первичного учета хозяйств, а для этого – ездить в колхозы, приобщаться к сельскому быту.

В середине 1950-х, через десять лет после окончания войны, в деревнях Нечерноземья, побывавших «под немцем», люди все еще жили в землянках и зимовали вместе с телятами, овцами и свиньями. Летом 1955 г. мне потребовалось собрать некоторую информацию для диссертации в Бежецком районе Калининской области. Пришлось на месяц поехать в колхоз вместе с полугодовалой дочкой и ее 17-летней няней. Везли мы с собой абсолютно все: продукты, лекарства, примус, керосин, утюг, корыто, хозяйственное мыло, консервы – потому что в деревне не было НИЧЕГО. Запасаясь свиной тушенкой, я забыла взять с собою консервный нож. В результате банки пришлось рубить топором. Наши хозяева и их соседи даже не знали о существовании таких ножей.

Диссертацию я защитила в 1956 году, а через два года вышла моя первая книга – «Оплата труда и принцип материальной заинтересованности в колхозах». С этим мне очень повезло, создавалось новое издательство, и их «портфель» был пуст.

Чем Вы потом занимались?

1959–1961 гг. в моей научной жизни оказались попросту «стертыми», их словно бы не было. Нам с Маргаритой Сидоровой, таким же молодым кандидатом, как я, было поручено разработать методику сопоставления производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США. Исследование показало, что в конце 1950-х гг. производительность сельскохозяйственного труда в США была выше, чем в СССР, в среднем в 4–5 раз (от 2 раз по зерну до 8–10 раз по мясу и молоку). Между тем незадолго до окончания нашей работы Н.С. Хрущев с трибуны партийного съезда заявил, что разница составляет «в среднем в 3 раза». Понятно, что наши выводы власть приняла в штыки. Отдел науки ЦК КПСС дал команду немедленно вернуть в институт, поместить в сейф и опечатать уже разосланные экземпляры доклада. Отобрали у нас и все расчетные материалы. О публикации почти готовой монографии и думать не приходилось. Но, по тем временам, нам все-таки повезло: нас оставили в институте, не понизили в должности, не дали ни партийных, ни административных выговоров. Наши учителя нас защитили.

И вскоре Вы переехали в Новосибирский академгородок...

Да, в начале 1963 года А.Г. Аганбегян, тогда молодой кандидат наук, а теперь академик, пригласил меня переехать в Новосибирск хотя бы на три года для работы в лаборатории экономико-математических исследований, которую он создавал в Институте экономики и организации промышленного производства (ИЭиОПП) Сибирского отделения Академии наук. Но вышло так, что эта «командировка» затянулась до 1988 года. Я приехала в Сибирь скромным специалистом по оплате труда в колхозах, а вернулась в Москву весьма известным экономистом и социологом. В 1965 г. я защитила докторскую диссертацию «Экономические проблемы распределения по труду в колхозах», после чего стала заниматься проблемами села, лежавшими на стыке экономики и социологии.

Опыт экспедиций Вы стали осваивать еще в первой половине 1950-х годов, в 1970–1980-х продолжили эту практику: экспедиции по районам Новосибирской области, Алтая, а затем в Прибалтику. В чем Вы видите смысл экспедиции как метода исследования

социально-экономических проблем? Можно ли сказать, что экспедиция – это синтез различных форм наблюдения и опросов?

Попробую ответить Вам на примере экспедиции 1980 г. в прибалтийские республики. Ее целью было раскрыть секрет, каким образом местному населению удается вести высокоинтенсивное и эффективное сельское хозяйство *при том же самом хозяйственном механизме*. Этот вопрос мы задавали «каждому встречному и поперечному», и всякий раз получали один и тот же ответ: «У нас другие люди», «У нас не воруют», «Наши люди привыкли много работать», «В России одни пьяницы, работают кое-как» и т.д. Это производило ужасное впечатление. Мы постоянно ощущали, что оборотной стороной их законной гордости своими успехами служит нескрываемое презрение к нам, русским. Хозяйственный механизм один, а реализующие его люди – разные. Главный вывод заключался в том, что «качество человека» не менее важно, чем качество хозмеханизма. Именно в результате этой экспедиции у меня возникла идея социального механизма развития экономики, одну часть которого составляет хозяйственный механизм (иными словами, система институтов), а другую – действия социальных субъектов (или акторов), зависящие от их социальных качеств.

Вообще же для крупных исследований села экспедиция – пожалуй, единственная форма проведения социологического опроса. Мы только однажды доверили опрос в отдаленных поселках представителям местной интеллигенции. Все заполненные с их участием анкеты пришлось забраковать, и в дальнейшем роль интервьюеров выполняли только наши сотрудники, выезжавшие для этого в экспедиции. Например, миграцию сельского населения в города мы изучали в 34 сельсоветах Новосибирской области, площадь которой соответствует пяти областям Центральной России. Чтобы обеспечить репрезентативность исследования, пришлось организовать восемь экспедиционных отрядов, каждый из которых проехал около тысячи километров.

Те сравнительно немногие экспедиции, в которых я участвовала, давали очень много впечатлений. Ведь информативность личного контакта с человеком, находящимся в своей родной среде, несравнима с заочным ознакомлением с ответами на анкету. В экспедициях мы каждый вечер проводили небольшой семинар, делились тем новым и интересным, с чем столкнулись в процессе опроса. По возвращении в Институт выступали на заседании научного совета отдела с итоговым докладом, в котором задолго до появления первых таблиц обобщались наши впечатления и предварительные выводы. Словом, для сельских социологов экспедиции – это необходи-

мая, высокоэффективная и замечательная форма работы. Тот самый синтез, о котором Вы говорите.

На рубеже 1970–1980-х годов с Вашим участием и под Вашей редакцией вышел ряд книг: «Развитие сельских поселений: лингвистический метод типологического анализа» (1977), «Методология и методика системного изучения сибирской деревни» (1977), «Социально-демографическое развитие села. Региональный анализ» (1980) и «Методология системного изучения советской деревни» (1980). Вскоре одна из Ваших публикаций (об этом – ниже) вызвала большой интерес властей и КГБ. Как проходила подготовка этих книг, были ли к ним претензии? Приходилось ли «цензурировать» себя, снимать какие-либо главы, искать возможность писать «между строк»?

Это непростой вопрос, и однозначно ответить на него я не могу. В первые годы моей работы в Сибири печатать наши труды было невероятно трудно. Главный цензор (начальник областного ЛИТО) лично вычитывал наши книжки – сверху вниз, снизу вверх, справа налево – словом, насквозь. И знаете, когда из твоей книги выдирают целые куски, то на следующем этапе ты невольно контролируешь текст на предмет «проходимости» через цензуру.

Но все-таки мы испытывали меньший гнет цензуры, чем москвичи и ленинградцы. Это было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, председатель Сибирского отделения АН СССР академик М.Л. Лаврентьев и член ЦК КПСС, первый секретарь Новосибирского обкома партии Ф.И. Горячев при создании Академгородка заключили негласное соглашение о невмешательстве в дела друг друга. Поэтому в идеологическом плане Академгородок довольно долго оставался островом свободы, где можно было говорить и писать то, что не допускалось в других местах. Конечно, обществоведы были защищены слабее, чем представители естественных наук, но все же какая-то защита со стороны Лаврентьева была и у нас, так что новосибирские партийные руководители неохотно вступали с нами в полемику. Правда, когда они получали команду «Фас!» из Москвы (как в 1968 и 1983 гг.), то старались отплатить нам за всё. Вторая причина нашей относительной свободы была связана с моим академическим статусом. Оспаривать научные построения и выводы члена Академии наук наши цензоры побаивались, и делали это редко.

С другой стороны, у нас был дополнительный «коллективный цензор», читавший наши работы после их публикации, – руководители и сотрудники сельскохозяйственного отдела ЦК КПСС. На меня они выходили редко, так что я, как прави-

ло, не знала, какая «каша варится» за моей спиной. Но иногда сотрудники отдела рассказывали мне о дискуссиях по нашим книгам... Они не только внимательно прочитывались, но за ними выстраивалась очередь, и затем решался вопрос, пора ли уже ударить по этому «осиному гнезду» или можно еще потерпеть. Но лично меня в этом отделе принимали любезно и претензии высказывали в мягкой форме.

Исследования социально-экономических процессов

Середину 1970-х годов, то есть свое пятидесятилетие, Вы встретили, обладая значительным исследовательским опытом и большим числом публикаций. С 1968 г. Вы были членом-корреспондентом АН СССР. Казалось, можно было бы «тормознуть», но этого не произошло. Что заставляло Вас расширить область теоретико-эмпирических поисков и перейти к анализу крайне беспокойной социально-политической тематики, включавшей исследование механизмов управления агропромышленным комплексом, а по сути, – деятельности власти?

Это очень серьезный вопрос, касающийся моих базовых ценностей, или того, зачем я вообще пошла в науку, почему из всех наук выбрала экономическую, и из каких побуждений со временем перешла в социологию. Как я уже сказала, посвящение жизни науке легко объяснимо: дед и отец были профессорами, и я с детства знала, что наука – самое интересное и достойное занятие. А так как учиться мне было легко, то альтернативы просто не было.

Далее – сложнее. На экономический факультет я поступила потому, что политическая экономия представлялась мне единственной наукой, изучающей внутреннее устройство и механизмы функционирования человеческого общества, законы, действующие в сфере человеческих отношений. Какие задачи я ставила перед собой в то время? Прежде всего – *усвоить уже наработанную теорию об устройстве советского общества*. Но оказалось, что усваивать было практически нечего. Концепция «реального социализма» не отвечала элементарным требованиям, предъявляемым к теории, она «кишела» противоречиями, и внутренними – между отдельными положениями, и внешними – между теорией и реальностью.

Отсюда возникла вторая задача: понять, как *на самом деле* устроено наше общество. В советское время это означало, во-первых, опровержение общепринятых экономических и социальных «истин» и, во-вторых, развитие науки, вначале фиксирующей, а затем объясняющей процессы, действительно происходящие в нашем обществе. Это и был мой генеральный путь в науке, его самая общая характеристика.

Экономическими отношениями государства с колхозами я заинтересовалась прежде всего потому, что это было едва ли не самое большое место теории развитого социализма. Его несоответствие практике было вопиющим. Государство изымало у колхозов весь прибавочный и порядочную часть необходимого продукта, большинство крестьян жили на нищенском уровне и до конца 1950-х годов, по сути, оставались крепостными: у них не было паспортов и они не могли по своему желанию изменить место работы и жительства – для этого требовалось согласие общего собрания членов колхоза, добиться которого было нелегко.

В кандидатской, а затем докторской диссертации («Экономические проблемы распределения по труду в колхозах») я дотошно описала действовавший в то время экономический механизм ограбления крестьян государством, как на уровне страны, так и в ее регионах. Если бы я закончила докторскую на пару лет раньше, думаю, что меня растерзали бы, как и в 1960 г., а работа никогда не увидела бы печати. Но я защищала ее в мае 1965 года, через полгода после прихода к власти Брежнева, списывавшего все недостатки в сельском хозяйстве на Хрущева. Потому моя остро критическая диссертация неожиданно пришлась «ко двору».

Таким образом, конечную цель своей работы я, за исключением последних 12–15 лет, видела не в развитии научной теории как таковой, а, прежде всего, в создании научной базы для совершенствования экономической, социальной и аграрной политики государства. Иными словами, для выработки такой политики, которая способствовала бы как росту эффективности экономики, так и повышению социальной справедливости общества. Внутренним стимулом моей научной работы было не только развитие соответствующей области знания, но и возможность влиять на реальную жизнь общества, содействовать улучшению системы его институтов и социальной структуры. А без выхода на проблемы управления и политической власти это невозможно.

В 1981 г. Вы были избраны действительным членом АН СССР по Отделению экономики и Сибирскому отделению. Тогда в Ленинграде многими социологами этот факт был воспринят как знак поддержки социологии властью. Как все обстояло в действительности?

В системе выборов в Академию действуют, как минимум, два механизма. Первый, направленный «сверху вниз», – это стратегия Президиума Академии, вырабатывающего план распределения вакансий членов-корреспондентов и академиком между отделениями и конкретными специальностями. Этот

план согласовывается как с властными органами (в то время – с отделом науки ЦК КПСС), так и с конкурирующими за вакансии отделениями. Влияние властных органов формально доходит лишь до специальностей, одной из которых в 1981 г. могла бы быть, *но не была* социология. Механизмом же, работающим «снизу вверх», является выдвижение конкретных кандидатов на объявленные вакантные места, а главное, сами выборы, хотя неформальное давление власти иногда имеет место и здесь. Для того, чтобы избежать дробления голосов, обычно ведущего к потере вакансий, в отделениях создаются комиссии из наиболее известных академиков, которые предварительно обсуждают выдвинутые кандидатуры и рекомендуя «выборщикам» наиболее достойных кандидатов. Но эти рекомендации призваны лишь ориентировать тех, кто будут голосовать, окончательное решение они принимают сами в процессе тайного голосования.

Такова общая процедура. Что касается меня, то на предыдущих выборах (1978 или 1979 г.) я уже котировалась в академии, была рекомендована экспертной комиссией и получила пять голосов «за» из требовавшихся шести. В 1981 г. я была выдвинута на московскую вакансию, то есть должна была участвовать в общей конкуренции по специальности «экономика», причем имела высокие шансы пройти. Но никакого разговора обо мне как социологе не велось, скорее наоборот, подчеркивалась важность моих исследований для экономики. Отдел науки ЦК не возражал ни против меня лично, ни против социологии, но настаивал на другом кандидате: мол, Заславскую мы знаем и в принципе поддерживаем, но она подождет и до следующих выборов, а вот товарища Х надо избрать сейчас. Руководители Отделения насмерть стояли за меня, не столько из-за особых симпатий, сколько из-за нежелания избирать Х. Наконец, отдел науки ЦК, чтобы очистить путь член-корру Х, выделил целевую вакансию по экономике для Сибирского отделения при неформальном условии, что на московскую вакансию будет избран Х. Я была единогласно избрана действительным членом академии сперва Сибирским отделением, а затем Отделением экономики. Другая же часть договора оказалась нарушенной: на московскую вакансию был избран не Х, а другой ученый, что вызвало страшный гнев ЦК. Несколько видных членов Отделения экономики жестоко поплатились за такое «самоуправство». Однако выборы в Академию – тайные, и заставить членов отделения проголосовать так, как хотелось работникам ЦК, не мог никто. Как видите, социология здесь была не при чем, о ней никто и не вспоминал. Но научная общественность, не знавшая этих закулисных

перипетий, возрадовалась и восприняла мое избрание как добрый знак для этой науки.

Власть не понимала роли социологии и потому сдерживала ее развитие или, наоборот, сдерживала ее развитие, ибо понимала, что выводы социологов могут оказаться для нее неприятными?

Безусловно, второе. Во власти сидели, в общем, неглухие люди, и большинство из них понимало, что такое социология. Но ее выводы были им категорически противопоказаны. Запомнился случай, о котором рассказывал, кажется, З.И. Файнбург. Пермские социологи приехали в один промышленный город, чтобы опросить молодых рабочих о нормах сексуального поведения в их среде. Начали, как тогда водилось, с горкома и сразу же натолкнулись на категорический запрет исследования его секретарем (это была женщина). Социологи спросили ее: «Неужели вас не интересует, что творится в этой сфере, можно сказать, у вас под носом?» А она ответила: «Что творится, я знаю и без вас. А если вы мне об этом официально напишете, я обязана буду принимать какие-то меры. Сделать же я все равно ничего не могу. Так что ищите другой город». Случай частный – но за ним, как мне кажется, кроется общее. Рекомендации социологов носили преимущественно управленческий характер, но кормило реального управления уже вырывалось из рук партийных руководителей, и «не знать» о разложении общества им было удобней, чем «знать», но не быть в силах что-либо сделать.

Сейчас Ваш доклад 1983 года «О совершенствовании производственных отношений социализма и задачах экономической социологии», названный на Западе «Новосибирским манифестом», легко доступен. Не могли бы Вы рассказать историю его возникновения и вспомнить события, развивавшиеся вокруг него?

К осени 1982 г. мы подготовили исследовательский проект «Социальный механизм развития экономики (на примере аграрно-промышленного комплекса)», рассчитанный на ближайшие пять лет. Его центральная идея заключалась в том, что начинавшийся системный кризис экономики был вызван не столько техноэкономическими и структурными, сколько социальными причинами. Напрашивался вывод о необходимости перестройки всей системы социально-экономических отношений и перехода от административных методов управления – к преимущественно экономическому регулированию народного хозяйства. Цель проекта виделась в обосновании основных направлений программы социально-экономических и управленческих преобразований, обеспечивающих рост эффективности аграрного сектора экономики. Текст проекта мы направили в 10 обществоведческих институтов Москвы,

Ленинграда и некоторых других городов. Одновременно мы приглашали ученых принять участие в обсуждении идей проекта на семинаре в Новосибирском академгородке 8–10 апреля 1983 г.

В феврале-марте я взяла отпуск, и за пару недель названный Вами доклад был написан. Я попросила сестру оценить написанное. Прочитав, она задумчиво сказала: «Ты знаешь... по-моему, это *не доклад*... Это скорей *манифест*». И действительно, через несколько месяцев доклад был опубликован во многих странах именно как «Новосибирский манифест».

Аганбегяну доклад понравился, и для организации плодотворной дискуссии он предложил размножить текст для участников. Хотя за четыре дня до семинара цензура запретила размножение, Аганбегян пошел на риск, и мы все же отпечатали сотню экземпляров с грифом «для служебного пользования». Каждый экземпляр был пронумерован и адресован конкретному участнику; все были предупреждены, что после дискуссии брошюры необходимо сдать.

К утру 8 апреля 1983 г. в Академгородке собрались более 70 новосибирских и примерно столько же иногородних ученых, приехавших из 17 городов страны. Это свидетельствовало об исключительном интересе научного сообщества к поставленным вопросам. Аганбегян сделал вводный доклад, показывавший нарастание негативных тенденций в развитии советской экономики. Я изложила свои основные идеи, а потом были вопросы и ответы, в которых участники семинара неоднократно переходили границы более или менее допустимой «ереси».

Работа шла исключительно активно, большинство поддерживали наши идеи и стремились развить их, но немало было и тех, кто не соглашался с отдельными положениями проекта. В целом же это был семинар единомышленников, которые «нашли друг друга» и не могли наговориться о том, что их волновало и о чем в других местах говорить было запрещено. Участники семинара, не получившие препринтов, брали их у счастливых владельцев на ночь и переписывали от руки. Этот факт меня просто потряс...

А по окончании семинара обнаружилась нехватка двух экземпляров доклада. Вскоре в Институте появились представители КГБ и начали их искать. Из Института были изъяты не только все экземпляры доклада, но и мои подготовительные материалы. Встретиться со своим «Манифестом» и перечитать его мне удалось только через семь лет, когда мне преподнесла его в подарок лондонская служба ВВС.

В конце июля 1983 г. я простудилась и слегла. Однажды, подняв трубку телефона, я услышала голос председателя Сибирского отделения АН академика В.А. Коптюга. От него я узнала, что мой доклад был переведен на английский язык

и опубликован в «Washington Post» как «Новосибирский манифест», а экземпляр, попавший в ФРГ, несколько раз в день зачитывается радиостанциями на СССР. Получалось, что я, совсем того не желая, «сыграла против своих». Ведь, несмотря на критическое отношение к социальным институтам советского общества, я была абсолютно лояльна к социалистическому строю, считала необходимым и возможным его совершенствование и вовсе не думала о его сломе или подрыве. Я была так угнетена случившимся, что бронхит перешел в двустороннее воспаление легких, и я на два месяца оказалась в больнице.

А тем временем «Манифест» публиковался в десятках стран, россияне же узнавали его содержание из «вражеских» передач. Запад воспринял это как первую ласточку, возвещавшую о начинающейся в СССР «весне», как свидетельство заметных идейных и социальных сдвигов в советской системе, которая прежде считалась не поддающимся изменениям «монолитом». Позже выяснилось, что оба экземпляра препринта, попавшие в США и ФРГ, не имели титульного листа, из которого можно было узнать название доклада, фамилию его автора, а также номер экземпляра и, следовательно, имена участников семинара, передавших свои препринты на Запад. Поначалу советологи предполагали, что «Манифест» был итоговым документом закрытого семинара в Кремле, но потом мое авторство было установлено.

Татьяна Ивановна, если бы текст Вашего доклада не «уплыл» на Запад, его скорее всего постигла бы судьба Вашего раннего исследования о производительности труда в сельском хозяйстве СССР и США. Соответственно, «Новосибирский манифест» не сыграл бы никакой роли ни в Вашей жизни, ни в жизни страны, ни в развитии социологии. Возможно, что лишь через много лет историки советской социологии обнаружили бы его в архивах КГБ или в других хранилищах...

Абсолютно правильно. Конечно.

..Лишь недавно А. Здравомыслов и В. Ядов издали полный текст своей классической книги «Человек и его работа»; Н. Лапин через 30 лет после завершения исследования социальной организации промышленного предприятия опубликовал его итоги. Аналогичных примеров – масса. Возникает вопрос: в какой мере вообще историки могут на основании опубликованных работ судить о развитии, направленности, размахе советской социологии? Вам удалось опубликовать основные результаты своих исследований?

Тот факт, что опубликованные и неопубликованные результаты – вещи существенно разные, очевиден. И догадаться

о том, что именно было сделано, но погибло в архивах КГБ, невозможно. Но вот интересный момент. Когда нам с Аганбегяном давали выговор на обкоме КПСС за семинар и «Манифест», одним из докладчиков был главный цензор Новосибирской области Ващенко. Его доклад базировался на огромном количестве вырезок из материалов, представлявшихся журналом Аганбегяна «ЭКО» и не допущенных бдительной цензурой к публикации. Генеральная идея выступления Ващенко заключалась в том, что журнал «ЭКО» – антисоветское издание, по существу каждый его номер содержит недопустимые утверждения, и ЛИТО вынуждено постоянно «стучать ножницами», искореняя крамолу. Вывод же был простым – закрыть журнал. Я вспомнила об этом потому, что ведь у Ващенко-то эти материалы остались. И, возможно, в каждом городском или областном цензурном комитете хранятся различные вырезки, представляющие интерес для историков науки.

Когда в 1970 г. мы представили в ЛИТО книгу о миграции сельского населения, цензор потребовал исключить главу о миграции молодежи. А ведь в этом была вся суть, уезжала-то, главным образом, молодежь. Было безумно обидно... в конце концов мы большую часть данных все же распахали по другим главам. Но в результате исчез «эффект букета», и для читателя проблема как таковая исчезла, можно было увидеть лишь ее отдельные аспекты.

И все же основные результаты нашей работы были опубликованы, пусть и с определенной задержкой. Категорически не проходили скорей отдельные соображения, разделы, редко – целые главы. Мы научились обманывать цензуру, облекая свои мысли в такую форму, что умному читателю они были понятны. Стремясь уйти от цензуры, мы значительную часть работ выпускали в форме препринтов (тиражом до 100 экз.), для этого достаточно было визы директора института. Но их могло прочесть только близкое научное окружение, и это больше всего препятствовало распространению наших идей.

Конечно, если художественные произведения не стареют, то научные – стареют. Но тем не менее, они представляют определенный исторический интерес. Вот, например, в 1958–1959 гг. я начала генеральный пересмотр своих взглядов на сущность тогдашней советской системы. Я не могла признать ее социалистической, но тогда какою она была? Читая работы Ленина начала 1920-х годов, я склонялась к ее идентификации с госкапитализмом, приводила разные аргументы, сама с собою спорила. И вот эти выписки и собственные соображения у меня остались. Сейчас мы не можем спуститься в 1958 г. и вспомнить, какие именно «за» и «против» боролись в то время

в нашем сознании, во что еще верилось, а во что уже нет; понять это можно лишь из документов того времени.

Как бы Вы объяснили генезис Новосибирской экономико-социологической школы? От чего Вы отталкивались? Ведь не было так, что в какое-то прекрасное утро Вы встали и сказали себе: «Дай-ка я создам экономическую социологию...»

А вот тут Вы как раз ошибаетесь. На самом деле было почти так. Агенбегян во что бы то ни стало захотел создать на экономическом факультете НГУ отделение социологии (в то время была только специализация студентов с четвертого курса, они писали у нас курсовые и дипломные работы. А для специализации, начинающейся на третий год обучения, нужен какой-то главный специализирующий курс, и Аганбегян предложил нам его подготовить. Мы с Р.В. Рывкиной, как главные кураторы специализации, стали ломать голову, что же предложить студентам. И пришли к выводу, что на социологическом отделении экономического факультета следует преподавать *экономическую социологию*. При этом мы не имели ни малейшего понятия, что на Западе такая наука, хоть и недавно, но уже возникла.

Однако мы понимали амбициозность такой задачи и предварительно пошарили по разным энциклопедическим словарям на предмет того, что такое физическая химия, химическая физика, биохимия и так далее. Установили, что имя таким наукам чаще всего дается по методу, а уточняющее определение – по предмету. Значит, если метод у нас социологический, то это – социология, а если предмет экономический, то это – экономическая социология. Из этого мы исходили. Ну, прежде всего, какой стороной экономика оборачивается к социологии, что социология может в ней увидеть...

А потом Вы стали задавать себе вопросы...

Совершенно верно. И мы успели почитать этот курс два или три раза, после чего решили, что можно и нужно делать книгу. Поэтому наша книга носила характер учебника. Может быть, не совсем, но во многом...

Предсказания тех, кто много десятилетий назад, глядя на Вас, говорил: «Станет профессором», сбылись. Но Вы поздно начали преподавать и лишь в 1976 году получили звание профессора. Вам не нравилось преподавать, не было времени, не считали это важным?

Вопрос о преподавании встал передо мной сразу по окончании университета. В моем дипломе написано: «преподаватель политической экономии». Но, я уже сказала раньше, так сло-

жились, что я занялась исследовательской работой в Институте экономики. Отвлекаться от нее на что бы то ни было мне не хотелось. Но со временем на меня стал наседать отец. Он твердил, что настоящий ученый не может не преподавать, точно так же как преподаватель не может не заниматься наукой. «Пойми, – говорил он, – ты глубоко изучаешь сравнительно узкий вопрос, но не чувствуешь широкого социального контекста своей проблемы, того целого, с частью которого имеешь дело. Для того чтобы понять это целое, нужно преподавать соответствующий предмет».

Тем не менее, я думаю, что никогда не стала бы преподавать, если бы не настойчивость Аганбегяна, тогда – научного руководителя экономического факультета НГУ. В середине 1970-х годов он потребовал, чтобы я читала на факультете спецкурс. Я сказала: «Но что же я буду читать? Не методологию же системного изучения деревни? Зачем она студентам-экономистам?» Но Аганбегян не отступал. Он говорил: «Если твой главный научный интерес состоит в разработке этой методологии, то и рассказывай о ней студентам. Им нужно живое общение с учеными, им важно не *что* ты изучаешь, а, прежде всего, *как* ты это делаешь, пусть они почувствуют, что такое труд ученого».

Мне пришлось смириться, и я читала разные социально-экономические курсы, последним из которых стала экономическая социология. В конце концов, я поняла, насколько прав был отец, утверждавший, что начинать преподавание надо как можно раньше, чтобы оно стало для тебя органичным. Фактически же я так и не успела полюбить этот вид труда, а потому и в полной мере им овладеть. Преподавание осталось для меня тяжелой и нелюбимой «нагрузкой».

И снова Москва

Во второй половине 1980-х в силу ряда обстоятельств перед Вами возникла проблема возвращения в Москву. Сейчас мне хотелось бы коснуться двух аспектов Вашей «новой» московской жизни: рождения Всесоюзного центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по социально-экономическим вопросам и выборов в горбачевский парламент.

Создание ВЦИОМа было одним из важнейших научных и политических событий конца 1980-х годов. С чего все начиналось?

После поездки в Болгарию в ноябре-декабре 1987 г. мне надо было встретиться с председателем ВЦСПС С.А. Шалаевым. Мы хорошо поговорили с ним, но у меня возникло ощущение, что он меня «прощупывает» на предмет чего-то. И действительно,

в самом конце встречи он сделал мне совершенно неожиданное предложение – переехать в Москву и возглавить организацию первого в стране специализированного центра изучения общественного мнения, получающего общесоюзный статус.

Я была растеряна. Принять это предложение – значило расстаться с друзьями, учениками, единомышленниками, коллективом, формировавшимся 25 лет и составляющим мое «второе я». Но я чувствовала, что пульс общественной жизни страны ускоряется, и ее центр перемещается в Москву. Как социологу, мне хотелось быть там, где происходили основные события, определявшие судьбы общества. Поставленная передо мною задача представлялась важной и интересной. Было очевидно, что создаваемый в нашей стране центр изучения общественного мнения будет испытывать политическое давление, способное подчинить его интересам власти и лишить действительной ценности. Поэтому руководитель этого центра должен обладать высоким и относительно независимым статусом. В этом смысле мое положение было уникальным. Быть моим первым заместителем согласился Борис Андреевич Грушин, самый крупный в Союзе специалист по изучению общественного мнения. Шалаев дал мне три дня для принятия решения – с 13 по 16 декабря.

17 декабря 1987 г. состоялось историческое событие: Грушин и я встретились с руководителями ВЦСПС, чтобы обговорить принципиальные вопросы организации и работы ВЦИОМа, включая региональную сеть опорных пунктов, гласность результатов, самостоятельность в подборе кадров и др. В итоге этой полуторачасовой встречи нужные договоренности были достигнуты, и мы дали окончательное согласие руководить созданием ВЦИОМа.

Это было завершением трудностей или их началом?

Конечно, второе. Если бы я заранее знала, на что соглашаюсь, то, конечно же, отказалась бы. В результате драматических переживаний, связанных с предстоящим отъездом из Сибири, у меня случился инфаркт миокарда, я с трудом добралась до Новосибирска, где сразу же оказалась в больнице. Но 25 января, по случайному совпадению – в день моих именин, в Новосибирск прилетел Грушин, и я поставила свою подпись под первым приказом по ВЦИОМу. В нем было всего два пункта: «1. Вступая в должность директора ВЦИОМ при ВЦСПС и Госкомтруде СССР. 2. Первым заместителем директора ВЦИОМ назначаю Бориса Андреевича Грушина». За время пребывания Грушина в Новосибирске мы успели вчерне подготовить «Положение о ВЦИОМ», куда записали наиболее принципиальные для нас пункты.

С утверждения этого положения и начались бюрократические игры, некоторыми из руководителей ВЦСПС овладел «административный восторг». Под вопрос ставилась даже сама необходимость создания ВЦИОМа, хотя решение об этом было принято Пленумом ЦК КПСС. Были возражения против создания сети опорных пунктов в регионах: мол, зачем это нужно, дадим поручение облсовпрофам, и они все сделают. Одним из главных камней преткновения стал, конечно, вопрос о гласности работы Центра. По мнению некоторых руководителей ВЦСПС, все его материалы должны были представляться только им с тем, чтобы они решали, что следует публиковать, что посылать в директивные органы, а какую информацию вообще придерживать. По их мнению, мы не должны были выходить самостоятельно даже в ЦК КПСС. Короче, с самого начала они проявили себя как наши принципиальные идейные враги.

Большинство принимавшихся во ВЦИОМ сотрудников были квалифицированными учеными, но почти никто из них не обладал опытом изучения общественного мнения, поскольку в СССР эта область исследований находилась в зачаточном состоянии. Только Грушин имел достаточно ясное представление о том, как надо действовать, но видя, что и как у нас делается на практике, нередко приходил в отчаяние. Он бегал по своему роскошному кабинету на Ленинском проспекте, хватался за голову и страшно переживал. У меня собственного опыта в этой области не было, недостижимым же образцом служил Институт демоскопии, возглавляемый Э. Ноэль-Нойман, в котором мне довелось побывать в 1972 и 1989 годах. Этот институт произвел на меня неизгладимое впечатление, мне казалось, что я попала в будущий век. Если бы не знакомство с этой удивительной организацией, то, получив предложение организовать ВЦИОМ, я наверняка от него отказалась бы.

Я работал во ВЦИОМе с октября 1988 года, видел, как он «вставал на ноги», и помню, какую нагрузку Вы как директор несли в те годы. И все же я удивился, прочитав в Ваших воспоминаниях, что уже в начале 1991 года у Вас возникла мысль оставить руководство и сосредоточиться на анализе социально-экономической проблематики. Почему все-таки Вы приняли решение о передаче руководства ВЦИОМом Юрию Александровичу Леваде?

Я бы сказала, что для этого были две причины: внутренняя и внешняя. Внутренняя была связана с пониманием того, что я занимаюсь, хотя и исключительно важным, но не своим делом. Как директор ВЦИОМа я была вынуждена тратить громадные силы на дела, не имевшие ни малейшего отношения к моим интересам. Концепция ВЦИОМа была принята, но

оставалось множество трудностей. Назову хотя бы недоверие властей и лично М.С. Горбачева к результатам наших опросов, сложности с организацией общенациональной сети пунктов сбора данных, налаживание обработки получаемой информации, поиск здания для размещения Центра, проблемы финансирования исследований. В первый год существования ВЦИОМа мы провели всего четыре небольших и не слишком интересных опроса, и только в январе 1989 г. группе сотрудников Ю.А. Левады удалось провести первый репрезентативный для страны опрос «Новый год». Решение организационных проблем ВЦИОМа в сочетании с руководством Советской социологической ассоциацией и депутатскими обязанностями, по существу, лишало меня возможности серьезно заниматься наукой.

Немалое влияние на мое решение уйти оказало и то, что основные научные кадры пришли во ВЦИОМ тремя ранее сложившимися командами. Самую большую составляли 8 левадовцев (кроме Левады – Гудков, Дубин, Седов, Левинсон, Гражданкин, Голов и Зоркая). Вторую была группа В.М. Рутгайзера тоже из 7–8 человек, третью же составили сотрудники моего сибирского коллектива, по одиночке и по разным причинам переехавшие в Москву: Р.В. Рывкина, З.В. Куприянова, Л.А. Хахулина, Е.А. Дюк и Э.Д. Азарх. Но если группы Левады и Рутгайзера сохраняли организационное и научное единство, то сибиряки не составили цельной команды, а рассредоточились по разным «углам». Поэтому *глубоких научных корней* у меня во ВЦИОМе не было (в отличие от личной опоры и поддержки, которую я всегда ощущала).

В течение трех лет (1988–1990) я стоически терпела это положение, ведь «взялся за гуж – не говори, что не дюж». Но постепенно стали развиваться протестные настроения: почему мои коллеги занимаются наукой, проводят исследования, публикуют книги, а я в это время сражаюсь с ВЦСПС, добываю здание и ломаю голову, как обеспечить зарплату? И я стала подумывать о сложении с себя этих обязанностей, но не сразу, а как только все более-менее «устаканится» и ВЦИОМ выйдет на дорогу нормального развития. Мысленно я выделила на это еще два года, то есть думала проработать до конца 1992 г. Но летом 1991 г. возникла внешняя причина, ускорившая принятие мною этого решения.

В том году я по приглашению гамбургского фонда FFS, наградившего меня премией им. Карпинского, проводила двухнедельный отпуск в ФРГ. Вернувшись, я узнала, что во время моего отсутствия по инициативе А.А. Ослона было проведено собрание совета трудового коллектива ВЦИОМа, председателем которого был Левада. Ослон предложил учредить откры-

тое акционерное общество под тем же названием «ВЦИОМ» с тем, чтобы в дальнейшем перекачать в него активы государственного ВЦИОМа и зажечь свободной жизнью. Потом он действительно реализовал эту идею, создав и возглавив Фонд общественного мнения (ФОМ). Тогда же он предложил избрать директором ОАО ВЦИОМ Ю.А. Леваду, что и было сделано. В результате сложилась парадоксальная ситуация: возникли как бы два ВЦИОМа – реальный и виртуальный. Причем избранным и потому легитимным директором виртуального был Левада, а назначенным сверху и потому менее легитимным директором реального – я. Конечно, меня не только никто не просил уходить, но, я уверена, что никому и в голову не пришло, что я приму такое решение. Но столь важное собрание было проведено в мое отсутствие, причем учредителями ОАО ВЦИОМ стали те, кто участвовал в собрании; остальным, включая и меня, было предоставлено право подать заявление с просьбой включить их в число учредителей, которым я, разумеется, не воспользовалась. Все это я восприняла как сигнал того, что миссию свою я выполнила, и у коллектива появился новый достойный лидер.

Я ускоренно завершила завязанные на меня дела и в конце декабря сообщила Юрию Александровичу о своем согласованном с Госкомтрудом решении передать ему пост директора ВЦИОМа. В марте 1992 года я стала президентом ВЦИОМа и одновременно заведующим отделом сравнительных и ретроспективных исследований. Мои отношения с сотрудниками Центра не изменились, они, как и прежде, были основаны на взаимном уважении и дружеских симпатиях. Перейдя в Интерцентр, я еще 12 лет оставалась почетным президентом ВЦИОМа. А после того, как Госкомимущество отняло у коллектива ВЦИОМа его раскрученный бренд и все сотрудники перешли в Аналитический центр Левады (АЦЛ), я была избрана председателем его правления. Так что дружба с этим коллективом у меня пожизненная, просто реализуется она в разных формах.

В 1989 г. в период подготовки к выборам народных депутатов СССР я был Вашим доверенным лицом в Ленинграде и помню, как напряженно начиналась Ваша встреча с научной общественностью города. Но все прошло нормально. А как все складывалось в Москве?

Кандидатом в народные депутаты СССР я была выдвинута сразу по трем линиям: от Академии наук, от общественных организаций при Академии наук (как президент Советской социологической ассоциации) и от ВЦСПС (как директор ВЦИОМа). Узнав об этом, я собрала ведущих сотрудников Центра,

чтобы посоветоваться, кому давать согласие. Мнение было единодушным – только не ВЦСПС: точно провалят. Наиболее подходящими казались общественные организации при Академии. Им я и ответила согласием, а представителям ВЦСПС вежливо сообщила, что уже выдвинута по другой линии. Но С.А. Шалаев стал настойчиво просить меня баллотироваться от ВЦСПС. Он говорил, что создание ВЦИОМа – важнейшее свидетельство обновления ВЦСПС и что, выдвигая меня в народные депутаты, ВЦСПС демонстрирует свой реформаторский настрой и поддержку перестройки. Мне ничего не оставалось, как согласиться и отозвать свое согласие на баллотировку от научных общественных организаций. Ученый секретарь ССА Э.Н. Фетисов с крайним неудовольствием взялся сообщить об отзыве моего согласия в «штаб» этих организаций. Однако оказалось, что списки кандидатов в народные депутаты уже отправлены в Центризбирком и изменить ничего нельзя. Так моя фамилия оказалась одновременно в двух списках.

Все произошло, как мы и ожидали. По линии профсоюзов я получила *менее четверти* голосов, можно сказать, что они «с негодованием *выплюнули* меня из своего состава». Ликование сотрудников ВЦСПС было безграничным. А на следующий день меня избрали народным депутатом СССР от научных общественных организаций при Академии. И тут профсоюзники буквально взвыли: их блестящий план провалился, и кипящая ненависть ко мне осталась неутоленной.

А как вспоминается работа Первого съезда народных депутатов?

Избирательная кампания, а затем участие в работе Съезда подорвали мое здоровье сильнее, чем инфаркт 1987 г. У меня не было ни физических, ни духовных сил воевать с «агрессивно-послушным» большинством. Но и соглашаться с ним я не могла. Под пронзительным взглядом Горбачева почти всегда голосовала с меньшинством. Вся атмосфера съезда была пропитана агрессией, а уж в свой адрес я чего только не наслушалась. По инициативе члена Политбюро ЦК КПСС, первого секретаря Московского горкома Л.Н. Зайкова против меня еще в декабре 1988 г. была развернута мощная клеветническая кампания в прессе, инициатором которой был секретарь Московского союза литераторов. А. Салуцкий, человек без всяких признаков совести. Он представил меня читающей публике не только как автора концепции «неперспективных» деревень, но и как главное лицо, ответственное за развал советской деревни. Кто хоть что-нибудь знал обо мне, сразу понимал, что это бред, люди писали массу опровержений, но их не печатала ни одна газета. Поэтому на Съезде я чувствовала себя парией, за

моей спиной постоянно слышался шепот: «Смотри-ка, это та Заславская, что деревню разрушила!» Люди устали, измучились от неустроенной жизни, они искали виновных в том, что все оказалось трёпом, ложью, что ничего не удалось сделать по-настоящему хорошего ни для себя, ни для других.

Немного о прошлом и настоящем отечественной социологии

Как бы Вы оценили судьбу того, что сделано первыми поколениями отечественных социологов? Что, по Вашему мнению, из сделанного окажется наиболее интересным для социологов середины нового, XXI века?

Это очень непростой вопрос. Мне ужасно трудно представить, что будет в середине XXI века, какие люди будут жить, как жизнь будет устроена... Ведь динамика событий все время ускоряется, на протяжении моей жизни все социальные процессы от десятилетия к десятилетию шли быстрее и быстрее. Может быть, все-таки перспективу приблизить?

Можем приблизить... скажем, 20-е годы нашего века...

Возможно, это будут прежде всего – факты, фактурные результаты, так как без опоры на них будет очень сложно двигаться вперед. Если исследование было сделано добросовестно, если его методология не была порочной, то полученные данные представляют интерес и в дальнейшем. Конечно, и методические находки, например удачные формулировки вопросов, тоже имеют право на долгую жизнь.

А мне думается, что ознакомиться с книгой Гордона и Клопова «Человек после работы», за мерами ленинградской телеаудитории Фирсова, Вашими находками по типам общественно-политического сознания будет интересно и через десятилетия. Возможно, все это будет долго привлекать внимание макросоциологов...

Я думаю, и историков это должно интересовать. Вот сегодня пытаются восстановить социальную психологию средневековья, но документальных материалов мало... опросов тогда не было. А в наше время они проводились. Некоторые теоретические построения, если они схватывали реальную структуру общества и общественных процессов, тоже будут интересны социологам середины наступившего века. Мои любимые «социальные механизмы», сама идея «социального механизма» общественных перемен, мне кажется, имеет полное право на существование по той простой причине, что отражает реальное

устройство социума. Так что я думаю, преемственность будет достаточно основательной.

Понимаете, сейчас за нами лежит очень короткая история. Все отсчитывается от начала 1960-х годов, прежде сделано было крайне мало, да и вообще еще мало накоплено. Поэтому в ближайшие десятилетия вряд ли будет какой-то качественный перелом в самом типе развития науки. Скорее будет продолжаться накопление идей, методов и фактических данных, развитие тех направлений, в которых сейчас работают социологи. Преемственность будет преобладать.

Но дай-то Бог новым поколениям ученых открыть что-то суперновое. Может быть, новая техника поможет, какие-нибудь суперкомпьютеры откроют принципиально новые возможности... и тогда может произойти качественный прорыв, переход на новый уровень знания?

Дожило ли наше профессиональное сообщество до того, чтобы иметь свою историю?

Думаю, что да.

Тогда какую ей быть? Я поясню немного... я занимаюсь историей жизни и творчества американских социальных исследователей. Обнаруживается, что в их биографиях фактически отсутствует государство. В наших же биографиях государство активно присутствует. В связи с этим возникает вопрос: как при написании истории нашего сообщества определить верное соотношение роли ученых и институциональных структур?

Я думаю, что история науки – это всегда в первую очередь история ученых. Советские ученые были погружены в тоталитарную, а позже – авторитарную среду, каждый из них по-своему сталкивался с ее ограничениями. Одни шли на компромисс, другие просто служили ей, единицы боролись с открытым забралом. Жизнь чрезвычайно многообразна, и если взять, к примеру, историю региональных социологических школ, то у каждой она окажется своею, особой.

Вот в Перми был Захар Файнбург, исключительно глубокий и талантливый человек. Он два факультета окончил, экономический и философский, и работал на пересечении двух наук с добавлением социологии. Был лидером Пермской социологической школы, которая имела очень высокий авторитет и оказывала огромное влияние на интеллектуальную жизнь города. Они теми или иными путями сотрудничали со своим относительно прогрессивным обкомом партии – иначе их просто стерли бы в порошок. А в меру сотрудничая и в меру вольничая, они смогли создавать интересные работы. А совсем

рядом, в Свердловске, развивалась ультраконсервативная и сугубо партийная школа М.Н. Руткевича... Но все же самое главное – люди. Да и в истории самое интересное, как они себя ведут в сложных условиях. А обстоятельства были очень сложными, сложнее, чем в большинстве других наук.

Мне не приходилось бывать в Академгородке, но, читая Ваши воспоминания, публикации В. Шляпентоха и В. Шубкина, я понимаю, что Ваши научные достижения и видение политической ситуации в СССР в известной степени стали следствием особого социально-психологического климата, существовавшего тогда в этой части страны. Похоже, что у вас не было такого партийного давления, которое в конце 1970-х – начале 1980-х задушило ростки ленинградской социологической школы.

Да, мы были на порядок свободнее коллег из других городов. Наряду с прогрессивными установками основателей СО АН СССР немалую роль играла и отдаленность Академгородка от Новосибирска. В Томске, Иркутске и Красноярске академические городки составляют часть этих городов, находясь «на расстоянии вытянутой руки» от обкомов и горкомов партии. Мудрый же академик Лаврентьев выбрал место для Академгородка в 30 км от Новосибирска. Хотя Академгородок и считался Советским районом Новосибирска, в действительности он представлял собой самостоятельный город ученых. Обстановка там была достаточно либеральной, хотя свои «носороги» имелись. Заезжие партийные чиновники чувствовали себя здесь не в своей тарелке. У нас выступали самые известные барды, активно функционировал дискуссионный клуб «Под интегралом», при Доме ученых существовал «Клуб межнаучных контактов», где и я не раз выступала с рассказами о наших исследованиях.

Надо сказать, что на мои лекции о социально-экономических проблемах сибирского села обычно «стояли в очереди» несколько институтов. Слушатели впитывали каждое слово, а потом задавали массу вопросов. И вопросы, и ответы были прямыми, никакого эзоповского языка. После этого я чувствовала себя выжатой как лимон, но одновременно – очень счастливой. Да и слушатели расходились возбужденными, продолжая обсуждать заинтересовавшие их темы.

Я провел и опубликовал более двадцати интервью с российскими социологами, и все время приходится обсуждать с коллегами сделанное. Некоторые считают, что в своих воспоминаниях люди не имеют права говорить о ком-либо не очень хорошо, другие придерживаются противоположной точки зрения. Каково Ваше мнение?

Я считаю, что история, прежде всего, должна быть правдивой. А если мы обо всех будем говорить только хорошее, то неизбежно будем лгать. Например, что можно сказать о Руткевиче? Что он был великий ученый и разогнал недостойных людей? Или как иначе мы должны объяснять его поведение? Сам он заявил, что когда его назначили директором Института социологии, всё уже было предreshено. Но ведь другой человек на таких условиях, может быть, не согласился бы принять институт. Не надо только сгущать краски, надо стремиться понять мотивы поведения людей, но фактологический ряд должен присутствовать. Историк – живой человек, ему свойственны и эмоции. Но он должен проявлять сдержанность в оценках. Я думаю, что здесь все определяется мерой, чувством такта. Но делать историю «сусальной» не имеет смысла.

Татьяна Ивановна, по Вашему мнению, как вернее называть недавний период развития нашей социологии: советской социологии или советским периодом (этапом) российской социологии?

Мне кажется, что правильнее – советской социологии. Ведь этапы – это части целостного процесса: зарождение, созревание, зрелость... причем всё это должно быть непрерывным. А в российской социологии был огромный разрыв между 1920-ми годами и началом 1960-х. В стране социологии 40 лет не существовало, она была разгромлена, называлась буржуазной лженаукой.

И потом, хотя я не очень хорошо знаю историю дореволюционной российской социологии, но, по-моему, она была сравнительно слабой. Мы знаем всего несколько имен. Туган-Барановский, Ковалевский... Питирим Сорокин был яркой фигурой, но в российский период он еще был молодым и далеко не раскрылся. Только-только начинала развиваться социология, это был лишь бутон. Но его сорвали, и потом на том месте долго ничего не росло. А стимулами для возникновения или попыток оживления социологии в 1960-е годы стала действительность того времени, «оттепель» и желание ученых глубже, конкретнее понять, что именно происходит в социуме, общая неудовлетворенность историческим материализмом, знание, что на Западе существует такая наука, методология которой позволяет проникать в сущностные черты общества. Рождение нашей социологии стимулировалось этими факторами.

Мои беседы с социологами Вашего поколения показывают, что точнее говорить, что в 1960-е годы происходило не возрождение советской социологии, но ее второе рождение. Она родилась и, осматриваясь, естественно, задалась вопросом: а что было рань-

ше? Тогда И.А. Голосенко по инициативе И. Кона начал заниматься творчеством П. Сорокина, Ф.Э. Шереги, будучи аспирантом В. Шляпентоха, изучил работы советских специалистов, в основном – статистиков 1920-х годов, в области выборки. Но это все не шло под лозунгом возрождения российской дореволюционной или ранней советской социологии...

Я согласна, что было именно второе рождение. Это уже потом возник интерес к историческим корням, который сохраняется и сейчас.

Мне представляется, что в обращении к истории науки просматриваются параллели с отношением к истории страны и истории семей. Ваше поколение в целом имело более долгую историю семей, чем мое. Ваши дедушки и бабушки, родители помнили многое о прошлом, связывали вас с ним. Революция же, гражданская война, индустриализация и коллективизация, события 1937 г., наконец, Отечественная война – сделали наши семьи маленькими, а семейные истории – короткими.

Наше поколение в этом отношении было промежуточным. Наши деды и родители действительно хранили память о дореволюционном прошлом, но вынуждены были таить ее от нас. Ведь дедушка до революции был настоящим «буржуем», ему принадлежал 4-этажный дом № 44 по Столыпинской улице Киева, ныне улице Олеся Гончара. Этот дом сохранился во время войны, в двух комнатах дедушкиной 12-комнатной квартиры и сейчас живет мой двоюродный брат. Но мы узнали, что дом, где прошло наше детство, был дедушкиной собственностью, лишь через много лет после войны, от папы. В школе же нас учили, что до 1917 г. было что-то темное и ужасное, все только томились и ждали революции, после которой началась «настоящая жизнь».

Татьяна Ивановна, в бурные перестроечные годы Вы были президентом Советской социологической ассоциации, и Вами многое было сделано для ее институализации и выработки профессиональной этики. Поэтому не могу не затронуть в нашей беседе еще одну актуальную тему: события на факультете социологии МГУ и создание новой профессиональной ассоциации – Союза социологов России (ССР). Как Вы относитесь к этим начинаниям и в чем Вы видите генезис этих процессов?

Генезис? Я думаю, у него есть два основания: более объективное и более субъективное.

В объективном плане создание этой ассоциации и все, что с нею связано, лежит в русле более широких процессов, наблюдаемых в нашем обществе: усиления авторитаризма, «подмо-

раживания» демократии, зажима свободы слова, общей делиберализации отношений, бюрократизации науки и образования. Такова, на мой (и не только мой) взгляд, общая линия В.В. Путина. Академия наук России – государственное учреждение, фундаментально зависимое от власти. По-видимому, создание ССР было благословлено руководством РАН. По крайней мере, на организационном собрании и на учредительной конференции присутствовали вице-президент Академии, 2 ее действительных члена и 5–6 член-корроров. Отсутствовали один академик (в моем лице) и два член-корра (Ю.В. Арутюнян и Ж.Т. Тощенко).

Показательно, что меня, бывшего президента советской социологической ассоциации и академика, на это действие даже не пригласили. По-моему, это – знаковый факт. За день-два до этого я долго беседовала с Г.В. Осиповым, но он и словом не обмолвился о конференции. Я, конечно, знала о ней, но разделяла мнение друзей, что нам там делать нечего. И тем не менее, я не понимаю, как они могли не пригласить меня, поправ все нормы научной этики. Ведь формальной целью их конференции было *объединение всех социологов*.

Создание ССР, конечно, одобрено, если не инициировано властью, потому что иметь под рукой такую сервильную организацию удобно. Она будет послушно делать все что надо: поддерживать любые версии власти, представлять такие социологические данные, которые в данный момент нужны... К науке это никакого отношения не имеет. В субъективном же плане главное – карьерные устремления руководителей нового Союза. Особенно важно его создание для Добренькова. Это сильно поможет ему отбиться от обвинений в связи с нынешним конфликтом на социологическом факультете МГУ.

Идеология конференции вплотную смыкается с той, что насаждается Добреньковым на соцфаке. Это какой-то оголтелый национализм вперемешку с православием, что-то вроде нового «Союза русского народа». Студенты соцфака передали мне распространяемую на факультете брошюру «Как и от кого надо защищать Россию?» Это самое настоящее мракобесие, от которого волосы встают дыбом.

Как можно было, когда по его факультету работает комиссия? Отчасти все и делалось так срочно, чтобы «реабилитировать» Добренькова от лица «социологической общественности», но ложь и фальшь лезут изо всех щелей. Общее впечатление отвратительно.

Можно ли трактовать это все как стремление перенаправить развитие российской социологии, пересмотреть ее историю?

Стремление как-то изменить развитие российской социологии, может быть, и есть, но мне кажется, что это уже невозможно. Все же в наших условиях глоток свободы был слишком основательным. ССР, безусловно, будет обладать средствами, быть может, давать гранты на развитие определенных идей, но вообще управлять развитием науки даже в последние годы СССР было чрезвычайно трудно. «Языки пламени» все время то тут, то там вырывались из-под «колпаков», и удержать разгоравшийся пожар было невозможно. К тому же в современных условиях вмешательство власти в развитие науки должно быть достаточно аккуратным – танком на не нравящуюся концепцию не наедешь.

И последний вопрос – в силу моего интереса к теме судьбы... В мемуарах Вы пишете о вещих снах из своего далекого прошлого. А позже Вы получали подобные сигналы о предстоящих поворотах в жизни? Некоторым людям дано разгадывать знаки судьбы, большинство же – их проскакивает...

У меня на протяжении жизни было около десятка необычных снов. Я не назвала бы их вещими, разве что насчет физфака и еще один, но они были совершенно не похожи на обычные и потому – незабываемы. Несколько лет назад я завела файл «Необычные сны». Первое, что их отличает – краски. Обычно я вижу цветные сны, но их краски скорее тусклые. В особых же снах они такие интенсивные, каких в реальности мне видеть не приходилось. Иногда бывает ощущение, что это вообще был не сон, а какая-то совсем особая явь. По крайней мере, четыре сна, которые я видела с интервалами в 10–15 лет, оставляли такое впечатление, будто мне показывали что-то необычное, я бы даже сказала, неземное. Но связать эти сны со своей судьбой я в большинстве случаев не могла.



Здравомыслов А. Г. (1928–2009) – окончил философский факультет ЛГУ, доктор философских наук. Основные области исследования: история и методология социологии, социология труда, политическая социология, конфликтология. Интервью состоялось в 2005-2006 годах.

Андрея Григорьевича Здравомыслова я знал – самому с трудом верится – свыше 40 лет. Уже после завершения интервью он спросил меня, что мне запомнилось из его лекций по социологии, которые я как сотрудник руководимой им кафедры посещал в 1968–1969 году в Ленинградской высшей партийной школе. Я ответил: «Твоя активная жестикуляция левой рукой».

На языке жестов это означает, что человек не просто рассказывает нечто окружающим, но размышляет вслух об очень важных для него вещах. Думаю, если бы не это убеждающее общение, я остался бы равнодушен к новой для меня науке – социологии, но что-то меня задело. Я стал задумываться...

Наше интервью по электронной почте проходило как обычный дружеский разговор: то ускоряясь, то затихая. Потому и длилось оно более года, и сказано было много. Сложился не только предлагаемый ниже текст, но часть материалов вошла лишь в интервью, опубликованное петербургском журнале «Телескоп» (2006. №5. С. 2-10).

А.Г. Здравомыслов: «СОЦИОЛОГИЯ КАК ЖИЗНЕННОЕ КРЕДО»*

На пути в социологию

Не мог бы ты для начала очертить круг своих научных интересов, как он складывался, как менялся?

Центральный вопрос моих исследований довольно прост. Почему люди ведут себя так, а не иначе? Я имею в виду не индивидуальное, а массовое, групповое поведение. Проще всего ответить: таковы их интересы! Но что такое интересы? Чем они определяются? Объективны они или субъективны? Что значит осознавать собственные интересы? Оказалось, что я наткнулся на одну из основных проблем социологической теории. Ей была посвящена моя кандидатская диссертация и первая книга [1].

Как видишь, в период самого первого приближения к социологии меня привлекали вопросы теорети-

* Социологический журнал. 2006. № 3/4. С. 151–186.

ческого характера. Но дальше – после защиты кандидатской диссертации – началась работа в области эмпирической социологии. В 1960 году на философском факультете Ленинградского государственного университета была создана лаборатория социологических исследований. Открылась возможность ознакомиться с множеством человеческих жизней, причем в связи с главным вопросом – зачем люди работают? Испытывают ли они какое-либо удовлетворение от своей работы? От каких именно сторон ее? Как воспринимается заработок?

Выявились две кардинальные темы – отношение к труду (в массовом, приземленном варианте) и методические вопросы исследования. Первая тема имеет кардинальный, фундаментальный характер. Отношения в сфере производства, распределения и сбыта во многом формируют групповые потребности и способы их удовлетворения в массовом масштабе. На мой взгляд, это азбука социологического мышления.

Вторая тема – методология и процедура получения социологического знания. Здесь возникает вопрос о взаимодействии разных способов и уровней понимания действительности. С одной стороны – мир исследователей, с другой – рабочих, которые трудятся за зарплату и вместе с тем ищут удовлетворения в том, чем они заняты на производстве. Захотят ли рабочие откровенно разговаривать с нами? Это зависело от того, кем мы предстанем в их глазах. Отсюда еще один круг тем и те лекции, которые я впоследствии читал в Ленинградской высшей партийной школе (ЛВПШ), и известная тебе книжка «Методология и процедура социологических исследований» (1969) [2]. Впрочем, об этом крайне насыщенном и плодотворном периоде мы с Володей Ядовым многое сказали в новом издании книги «Человек и его работа в СССР и после» [3, с. 380–420].

Как видишь, теоретические интересы дополняются интересом к эмпирической социологии, а отсюда возникает потребность заниматься методологией и методикой социологических исследований.

Затем вновь возвращение к теории – это подготовка сборника (1) по современной социологии и работа над предисловием к нему (1968), и вновь эмпирия – изучение бюджетов времени работников партийного аппарата. Далее следуют вопросы социальной политики, теории власти, эмпирическое изучение отношения к власти – это уже в Институте марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС; социология партии, социология конфликта, опять эмпирическое изучение межнациональных конфликтов и разработка релятивистской теории нации, а сейчас – социология социологии, сравнительный анализ национальных социологических школ. Вот видишь, сколько те-

матических слоев! При этом ни один из них не оказывается исчерпанным и полностью завершенным, так как они связаны друг с другом и, если угодно, питают друг друга.

Вернемся к началу... Не мог бы ты вспомнить, что привело тебя в философию?

Чтобы ни привело меня в философию – то есть на философский факультет ЛГУ, я сформировался как социолог. Это разные культурные ориентации и разные области деятельности, хотя сейчас в связи с тенденцией разрушения дисциплинарных границ, наблюдающейся во всем мире, социологи все в большей степени проявляют склонность заниматься проблемами философского характера. В этом я вижу определенную опасность именно для российской социологии. Только-только она утвердилась как самостоятельная дисциплина, и вот уже мы стремимся раствориться в вопросах широкого, философско-гносеологического характера. Но попытаюсь ответить по порядку.

Да, сначала кто ты, из какой семьи...

Я родился и вырос в русской интеллигентской семье. Мой отец был уже третьим человеком в роду, получившим высшее образование, причем и он, и его отец были выпускниками Петербургского университета; этот же университет окончили и я, и моя дочь. Сама моя фамилия говорит о происхождении из духовного сословия и о незаурядных способностях моего прадеда, который получил эту фамилию по окончании Новгородской духовной академии. Среди моих предков и родственников есть герои обороны Севастополя и 1854–1855, и 1941–1942 годов. Многие из моей родни сложили головы на полях русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Среди моих предков были князья и дворяне, крестьяне (в том числе крепостные), военные, вплоть до генерал-майора, священнослужители и разночинцы – почти вся Россия. Не было лишь крупных политических деятелей и потомственных представителей рабочего класса. Территориально моя ближайшая родня происходила из Питера и Новгорода, Боровичей, Воронежа, Харькова и Гудауты. Двое моих дядей закончили Военно-медицинскую академию и жили в Москве. Один из них был репрессирован в 1938 году и реабилитирован в 1954-м. В общем, все, как у многих.

Мои родители познакомились, будучи студентами Петроградского университета по историко-филологическому отделению. Отец, Григорий Иванович Здравомыслов (1898–1942), по окончании университета преподавал русскую литературу. Мама – Евдокия Васильевна, урожденная Красильникова

(1902–1980), была учительницей русского языка и литературы в школе. Мама происходила из крестьянской семьи деревни Подберезье Новгородского уезда. Каждое лето родители отправляли нас с сестрой к бабушке Фене (Федосье Васильевне Красильниковой (1880?–1943)). Бабушка была малограмотной крестьянкой из бедноты. Домик, в котором она жила, располагался недалеко от станции, на перекрестке местных дорог. В нем часто останавливались гости. Бабушка была по-русски гостеприимной. Самовар был всегда наготове для прохожего и проезжего. Застолье складывалось, наверно, каждую неделю и обязательно с песнями. Бабушка была певунья, она знала все русские песни и, конечно, песни новгородской округи. Слушая их, а потом и подпевая взрослым, я погружался в состояние счастья. Особенно я любил «Ермака», «Уж как я еще молодухой была» (вариант с красным командиром), «Ты конек вороной, передай дорогой, что я честно погиб за рабочих».

Какое отношение это имеет к социологии? Моя гипотеза состоит в том, что с детства я жил в социально неоднородной среде и, возможно, это обстоятельство пробудило интерес и внимание к самым разным людям.

Родился я в 1928 году, и это означает, что 22 июня 1941 года мне исполнилось 13 лет. Как и у большинства сверстников, с началом войны закончилось мое детство. Отец и маленький братец погибли от голода в блокаду. Бомба в 500 кг весом разрушила дом, в котором мы жили. Мы были эвакуированы из Ленинграда по льду Ладожского озера в феврале 1942 года. Но голод не прошел бесследно. Блокада оказалась вписанной в мое тело. С 1944-го по 1948 год я пролежал в больнице с туберкулезом позвоночника. Там я окончил школу и поступил на заочное отделение философского факультета ЛГУ: опыт болезни располагал к философствованию о смысле жизни. Память об отце была внутренним мотивом выбора. Он успел мне передать стремление к знаниям.

Жизнь в больнице в этом возрасте сильно усложняет нормальную социализацию. Начать с того, что мне пришлось заново учиться ходить, вначале на костылях, потом с палочкой и в корсете. В таком виде я и появился на факультете в начале 1949 года, во втором семестре. Выписавшись из больницы, я как бы получил доступ в нормальную, обыкновенную жизнь. Все в этой жизни было для меня ново, и я смотрел и смотрел вокруг, удивляя некоторых сокурсников (особенно сокурсниц) своим любопытством... Комплекс неполноценности мне удалось преодолеть к четвертому курсу.

Вкус к научной работе я впервые почувствовал благодаря семинару, которым руководила Зоя Михайловна Протасенко. Она

поручила мне подготовить доклад о соотношении абстрактного и конкретного в марксистской философии. Я работал над темой с большим интересом, и доклад прошел успешно. К сожалению, я не сохранил этих записей, по наивности полагая, что все, что освоено и произнесено, будет храниться в памяти.

Что бы сейчас хотелось вспомнить о студенческих годах?

Еще до своей болезни в эвакуации я вступил в комсомол, поэтому присутствовал на всех комсомольских собраниях. На них обсуждали нетипичных, «девиантов»; их единогласно исключали из комсомола и, как следствие, лишали возможности продолжать учебу в университете. Самыми яркими ораторами были Володя Ядов, Инна Рывкина, Рой Медвед. В стройках ГЭС я не участвовал по состоянию здоровья, а именно там формировался актив. Интересно, что самой главной характеристикой студентов у нас была не учеба, а общественная работа, прежде всего, в комсомольской организации. Нашими активистами были Света Иконникова (Босенко), Володя Шаронов, Ира Попова, Иосиф Лейман. А Владик Бранский, с которым мы подружились, не избирался ни в какие комсомольские инстанции. Помимо философского факультета, он успел окончить и физический факультет. А в моей жизни огромную роль играл хор Ленинградского университета.

В отличие от значительной части моих сокурсников, в аспирантуру после окончания факультета я не попал (отчасти потому, что мне учеба за эти пять лет порядком поднадоела). И я, отдав пятый год обучения комсомольской работе на фабрике им. Желязова, после получения диплома поехал в Караганду. И комсомольская работа, и Караганда были своего рода продолжением учебы. Это может быть названо опытом включенного наблюдения.

В 1952 году мы поженились с Надей Афанасьевой. Она окончила исторический факультет и заведовала в райкоме комсомола отделом школ. Через нее я подружился с Сашей Горфункелем и его женой Розой Коваль. Он – медиевист, автор книги о Джордано Бруно и других потрясателях основ средневекового канонического мышления; она – искусствовед, работала тогда в Эрмитаже. Роза и Саша приобщали нас к поэзии и высокой культуре. Дни рождения и другие праздники мы проводили вместе. Нашими друзьями были также Юра и Нина Асеевы.

Работая в карагандинском Горном институте, я четко осознавал, что должен вернуться в Ленинград на кафедру философии в качестве аспиранта. За это время прошел XX съезд. На открытом партийном собрании я читал важнейший документ нашего времени – доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина и преодолении его последствий (1956 г.).

В Караганде же произошло важное событие в семейной жизни – родилась дочь, которую мы назвали Еленой (для себя – Аленой).

Как происходило твое вхождение в социологию?

Мое социологическое самоопределение – 1956–1960 годы – началось в аспирантуре. Надо сказать, что студенческий и аспирантский периоды очень резко отличались друг от друга. На факультет возвратились несколько репрессированных профессоров. Среди них Лазарь Осипович Резников, специалист по теории познания, и Моисей Вульфович Эмдин, читавший спецкурс по гегелевской философии. Из моих сверстников курс по современной зарубежной философии прекрасно читал Юрий Алексеевич Асеев. Лазарь Осипович посоветовал мне найти диссертационную тему, которая не была бы истасканной; она должна была стать своего рода точкой притяжения множества идей, но именно точкой, а не огромным пространством, в котором можно потеряться. И я такую тему нашел.

Как-то у нас выступал гость из Москвы – главный редактор журнала «Вопросы философии» М. Каммари. Он рассказывал о Международном социологическом конгрессе в Амстердаме, в котором он участвовал. Это было, по-видимому, также в 1956 году. Только здесь, в возрасте 28 лет, я впервые услышал слово «социология». Меня это заинтересовало – очень конкретная проблематика исследований в области трудовых отношений, культуры, сельского хозяйства и т.д. В конце концов я выбрал тему, оказавшуюся центральной для всей моей последующей научной деятельности, – анализ понятия «интерес» в истории социологической мысли, и в особенности в ранних работах К. Маркса. Позже я узнал, что Ю. Хабермас примерно в это же время написал одну из своих первых работ – «Интересы и познание».

Я начал штудировать Парсонса, разумеется, как буржуазного социолога. Здесь возник новый круг вопросов. Во-первых, о способе социологического мышления. Будучи студентом и аспирантом, я изучал марксистскую литературу и осваивал, соответственно, марксистский способ мышления. Советское общество строилось – или декларировало, что оно строится, – на основе марксистских идей. В то же время основоположники марксизма высказали такую мысль: «“Идея” неизменно посрамляла себя, как только она отделялась от “интереса”» [6]. Это означало, что и в советском обществе интересы (чьи? – вот вопрос!) могут отделяться, вступать в противоречие с их идейным, идеологическим облачением. А в американском обществе? Почему Парсонс был при жизни признан классиком?

Но главное, что меня интересовало при изучении «Структуры социального действия» (1937), – само логическое построение теории: переход от клеточки социального действия к некоей совокупности, агрегату, а затем к системе с ее «структурами» и «функциями», статусными позициями и ролевыми предписаниями. В этом логическом построении особая роль отводилась концепции двойственной иерархии – от оснований социального действия с элементарными потребностями к смысловой интеграции на уровне культуры. Социальное действие как имеющее смысл связывает одного актора с другим через субстанцию культуры. В этом что-то есть! Но ведь что-то есть и в марксистской трактовке классов и классовой борьбы, и в идее практики как критерия истины и непосредственной реальности человеческого бытия, в концепции форм общественного сознания, их специфической роли в организации общества и в идее обратного воздействия этих форм на порождающие их причины.

Я рассуждал примерно следующим образом. В Америке Парсонса считают очень умным – он там ведущий и признанный теоретик. В чем же состоят основания этого о нем мнения? Способен ли я понять эти основания или, поскольку я воспитан на марксизме и живу в совершенно иной стране, – у нас разные способы мышления и понять это невозможно? Вот задача, которую я решал для себя, изучая работы Макивера, Перри и Парсонса. Кстати, эти книги были в библиотеке Академии наук, и я пользовался ими без всяких дополнительных разрешений. Диссертацию на тему «Категория интереса в марксистской социологии» я защитил в январе 1960 года, и это было первым этапом моей социологической социализации.

В чем состояла главная идея диссертации? Дело в том, что вся марксистская философия и наука рассматривались как познание законов общественного развития, действующих объективно, «независимо от воли и сознания людей». Я же обосновывал необходимость обращения к реальным социальным интересам. При этом я доказывал, что именно так и мыслили классики марксизма. Таким образом обосновывалась необходимость обновить категориальный аппарат социологии. Моим научным руководителем был В.П. Рожин, продемонстрировавший мне максимум либеральных отношений между аспирантом и руководителем, оппонентами – А.Г. Ковалев и А.Г. Харчев. Выступали ведущие профессора факультета: В.П. Тугаринов, М.В. Эмдин, Л.О. Резников. И я отстоял свою позицию, опираясь на тексты, которые оппонентам, возможно, не были известны. Защита была бурной, она стала своего рода событием для факультета.

Моя первая книга «Проблема интереса в социологической теории», написанная на базе диссертации, вышла в издательстве ЛГУ в начале 1964 года (2). Для меня это было своего рода потрясением. Здорово! Я что-то там писал, думал, соображал – и вот тебе КНИГА! Она и моя, и уже не моя, ее может прочесть масса людей: интересное ощущение. Именно в этой книге была сформулирована мысль о социальных институтах как предмете социологии.

Социология и социализм

Думаю, что поколение российских социологов, к которому ты принадлежишь, многие годы допускало возможность улучшения советского социализма как системы. Что ты сейчас думаешь по этому поводу?

Социология – в самом общем виде – представляет собою знание об обществе. Это – главное. Но знание об обществе возникает из стремления сделать само общество и жизнь людей в нем лучше. Мое поколение – поколение шестидесятников. И я полагаю, что взгляды шестидесятников нельзя характеризовать как ошибочные. Через такие «ошибки» вообще творится история. Она вся состоит из попыток, которые не осуществляются, а реальный результат совершенно не совпадает с тем, о чем мечтали ее инициаторы и теоретики. Кроме того, история не закончена, будут еще отклонения и в ту, и в другую сторону. Наше время интересно потому, что мы оказались вовлеченными в исторические изломы. В общем-то, мы верили в возможности науки и стремились к тому, чтобы общество использовало полученные нами знания (3). Можно сказать, что мы (по крайней мере, некоторые из нас) были сознательными участниками этих изломов. Не в том смысле, что мы их планировали и осуществляли в соответствии с этими планами, а в том, что мы находили адекватный для себя ответ на изменение ситуации. Для меня таким ответом и стала социология. Удалось даже поучаствовать в создании профессии! На мой взгляд, это гораздо интереснее, чем участие в создании политической партии или общественной организации.

Не мог бы ты пояснить, в каком смысле выбор социологии как профессии был твоим ответом на вызов времени?

После смерти Сталина все отчетливее стала осознаваться ситуация идейного кризиса в стране, в обществе. Доклад Н.С. Хрущева 1956 года вызывал массу вопросов. В частности, репрессии по отношению к соратникам по партии были случайностью или необходимостью? Можно ли называть общество социалистическим, если в нем происходят подобные вещи? В докладе излагались факты, не укладывавшиеся ни в какие те-

оретические конструкции. Значит, надо было самому думать! Речь шла, во-первых, о понимании жизни и способа мышления «простых людей», во-вторых, об изучении устойчивых социальных структур – как они там складываются изнутри, наконец, об изучении отношений в сфере институтов власти. Интуитивно я чувствовал, что именно здесь и надо искать ответы на возникшие вопросы. Социология и есть та область знания, в которой эти вопросы объединяются.

А можно спросить так: «В какой мере социология социалистична?»

В истории общественной мысли – европейской, по крайней мере, – социология всегда была ближе к социализму, чем к двум другим идеологическим направлениям XX века – либерализму и национальной идее. Это особенно чувствуется в Англии. Там был фабианский социализм, который стимулировал развитие социологии и оказал огромное воздействие на реформы лейбористов. И хотя г-жа Тэтчер предприняла контратаку на эти «вздорные идеи», многое вошло в плоть и кровь британского общества. Но это отнюдь не означает обязательной связи между социологией и социализмом. То, что верно для Англии, оказывается неверным для США и Германии. Дело в том, что для Франции и Великобритании классовая борьба была реальной практикой, определявшей состояние общества. Отсюда и популярность идей классовой солидарности и коллективизма.

США имели совсем другую историю становления общественного устройства. Главным моментом была иммиграция. Люди, переселявшиеся на новые земли, принимали это решение индивидуально, на свой страх и риск. Здесь общество изначально строилось из индивидов, в отличие от Европы, где общественно-значимые фигуры создавались обществом. Отсюда – иное видение общества, обязательств перед другими, даже непосредственного окружения – сельской или городской общины. Поэтому Чикагская школа в социологии возникает в контакте с философией прагматизма Джона Дьюи. Социология (в этом варианте) направлена на изучение индивида и его поведения в некоем социуме, тех решений, которые он принимает в новых жизненных ситуациях. Отсюда – важнейшая социологическая категория, введенная В. Томасом, – «определение ситуации». Заметь, не изучение общества как такового, а именно определение ситуации, на основе которого формируются жизненные ориентации личности в данных обстоятельствах.

Распространение марксизма и социализма началось было в Штатах в связи с ростом рабочего движения во времена

Великой депрессии, но правящая элита оказалась достаточно гибкой, и Парсонс, в частности, работал в этом ключе. Он ведь не случайно исключил Маркса из числа социологов, на которых опиралась его теоретическая конструкция. (Есть среди них М. Вебер, А. Маршалл, В. Парето и даже Э. Дюркгейм, грешивший социализмом, – а вот Маркса нет!). Пример Америки (страны, где социология получила наибольшее признание) показывает вместе с тем, что полное доминирование одной идеологической ориентации в демократическом обществе невозможно. В США – наряду с либерально ориентированной социологией – имеются авторитетные исследователи марксистского направления, среди них наиболее заметные фигуры – А. Гоуднер, Р. Миллс и Е. Райт. Гоулднер и Миллс внесли весомый вклад в критику парсонсианства и методологию структурного функционализма. А Райт разработал методику изучения классовой структуры общества и применял эту методику в США и других странах.

Но, видимо, тебе действительно приходилось встречаться с упрощенным отношением к социализму?

Было бы странно не встречаться с упрощением. В теоретическом отношении Маркс и Энгельс опередили свое поколение на много десятилетий. Это значит, что все, кто клялся марксизмом после них, так или иначе упрощали их взгляды. Мало кто мог понять их во всем объеме и многообразии. И я в своей жизни общался не с Антонио Грамши – бесспорно признанным марксистом XX столетия, а с марксистами, так сказать, по должности, по статусу. Думаю, что из тех, с кем мне довелось общаться, ближе всех подошли к пониманию марксизма Лен Вячеславович Карпинский и Николай Иванович Лапин, а лучшим знатоком текстов Маркса и Энгельса является Георгий Александрович Багатурия. Он и сейчас – председатель международной комиссии по изданию полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на языках оригинала (проект MEGA). Уже вышло 111 томов, предстоит издать еще около 80-ти. Цена каждого тома – около 200 долларов; все раскупается. Значительная часть – в Японии и Китае.

Из американских социологов назову, помимо знаменитого И. Валлерстайна, в числе наиболее последовательных мыслителей марксистского направления – Роберто Антонио (Университет Канзаса) и Лауренса Хацельригга (Флоридский университет).

В одной из недавних работ ты пишешь: «Наше поколение социологов – формировалось как поколение, несравненно более политически ангажированное, нежели поколения наших

сверстников в более благополучных странах» [11, с. 8]. Не могли бы ты конкретизировать это утверждение?

Наше поколение – это поколение тех, чье детство было разрушено войной. И кто переживал победу своих отцов и старших братьев как свою собственную. Война на нашей территории носила, как известно, иной характер, чем на территории других стран (4). Переживание таких событий обостряет всю совокупность социальных чувств – и положительных, и отрицательных. В этом смысле я и говорю об ангажированности тех, кто избрал социологическую стезю. Среди социологов отмечу В.Н. Шубкина, В.Ж. Келле, С.А. Кугеля, А.А. Галкина, В.Д. Патрушева – участников Великой Отечественной войны (5). Ангажированность я понимаю не как догматическую приверженность идее, а скорее как стремление к активной позиции в дискуссии, к выработке своей точки зрения, например, в конкретных обстоятельствах 1960-х годов – по вопросу о размежевании социологии и исторического материализма.

О Марксе и марксизме

На рубеже 1950–1960-х в СССР проходила острая дискуссия о соотношении исторического материализма и социологии. Есть ли сегодня в России предпосылки для возобновления подобной дискуссии или это все в прошлом?

Я не вижу необходимости в возобновлении этой дискуссии. Тогда вопрос об историческом материализме был вопросом о методологических основаниях исследований, а ссылка на марксизм – решающим аргументом для обоснования их необходимости. Теперь запрет на социологические исследования снят. Российское государство отказалось от идеологии, хотя под шумок достаточно активно формируется комплекс архаических идей, которые оказывают определенное влияние и на характер преподавания социологии в некоторых вузах.

В научном мышлении и в методологии исследований утвердилась идея плюрализма. Даже само понятие социологии сейчас трактуется по-разному. Можно сходу дать два десятка определений, каждое из которых будет верным.

Часть российских социологов отказывается от марксизма, пытается противопоставить ему иные философские концепции. Что ты по этому поводу скажешь?

Геннадий Батыгин писал о марксизме: «Уходя корнями в интеллектуальную традицию Просвещения и обнаруживая глубокое сходство с великими социальными учениями XIX

века, марксизм обладает огромным объяснительным потенциалом. Ясность и логическая стройность его категориальных схем удивительным образом совмещаются со способностью к версификации. Этим, вероятно, объясняется и многообразие "авторских" исследовательских программ и концепций, разработывавшихся в рамках доктрины. Поэтому советский марксизм – не столько доктрина, сколько эзотерический код, значения которого зависели от интерпретативной позиции автора. Этот код мог успешно использоваться и в качестве средства для воспроизводства альтернативных марксизму идей» [13].

Но ты прав, в российских вузах это пока еще не усвоено. Марксизм входит в комплекс тех понятий, которые вызывают страх до дрожи в коленках. Тут есть такие «идеологические борцы» против марксизма, которые всех перепугали. Прием, который они используют, состоит в создании букета страшных слов и понятий: большевизм, ГУЛАГ, КПСС, русская интеллигенция, революция, гражданская война. Многое из названного на самом деле страшно, но я надеюсь, что главные страхи ушли в прошлое, причем необратимо, как каннибальство и сожжение ведьм на кострах. Сейчас опасности и страхи несколько иные. Но, к сожалению, во многих культурах еще сохраняется жестокость и насилие над телом как атрибут повседневности.

Маркс создал каркас социологического знания (6), который невозможно устранить, нельзя возвратиться в домарксистскую эпоху, хотя у нас таких любителей движения вспять много.

Но и марксизмов на самом деле много. Мы учились во времена упрощенной версии марксизма образца 1938 года. Правда, многие потом доучивались. Мне, как марксисту, удалось организовать даже международный симпозиум о марксизме.

Да, марксизмов много. Что бы ты мог сказать о твоём личном марксизме?

Я социолог, опирающийся на Маркса, Парсонса, Вебера, Мертона, Дарендорфа, знакомый с идеями феноменологической социологии, символического интеракционизма и драматургической социологии. С Парсонсом были дружеские отношения, пока не «похолодало» на международной арене. С Мертоном встречался три раза. Всех этих мыслителей очень уважаю и знаю, за что именно я их ценю. Все-таки одна из главных моих книг 1990-х годов – «Социология конфликта» [14].

В общем, я согласен с Дарендорфом в оценке взглядов Маркса. Это была социология XIX века – социология эпохи противостояния классов в Европе. А после первой мировой войны общество (европейское) стало изменяться так, что тот аппарат понимания, который был создан Марксом и который имел очень большое

практическое применение прежде всего в России – в качестве ленинизма, – уже не мог работать в масштабе европейской истории. Политика Рузвельта, обеспечившая выход из Великой депрессии в США, стала практическим доказательством возможности сотрудничества классов. В США и Европе были созданы институты регулирования классовых и иных конфликтов, которые имели практическое значение. В том числе и институт изучения общественного мнения, которым ты занимаешься.

А в Германии марксизм потерпел поражение в столкновении с открытым животным национализмом.

Социология как профессия и как жизненное кредо

Выше был обозначен первый этап твоей социологической деятельности – вхождение в социологию. Как все развивалось дальше?

Второй этап – работа в социологической лаборатории – достаточно подробно описан мной и Володей Ядовым [4, с. 380–420]. Расскажу здесь о некоторых малоизвестных моментах.

В лаборатории, в значительной мере благодаря Володе, а также общей атмосфере в университете и стране, сложилась замечательная творческая обстановка. Общее коллективное дело и личные интересы переплетались. Хорошо помню Бориса Орнатского, который был талантливым интервьюером. Он запоминал нестандартные фразы респондентов и умел интересно рассказать о них. Вера Николаевна Каюрова создавала обстановку спокойствия и упорядоченности всего дела. До нашей лаборатории она работала в библиотеке, и для нее каждая принесенная анкета обладала ценностью книги. Вера Водзинская и Аза Киссель занимались вопросами социологии молодежи и образования. Чуть позже, на этапе анализа данных, в работу включились Сергей Голод и Галя Саганенко.

Володя был организатором-инициатором. Он придумал, что главной формой нашей работы должны стать семинары, которые проводились еженедельно, особенно на этапе разработки методики. И часто, когда работа замедлялась или что-то шло не так, как ему казалось правильным, он взрывался, терял самообладание. В этом случае я должен был брать на себя восстановление нормальной ситуации. Эти мелкие конфликты никогда не были озлобленными. Все понимали друг друга, осознавали, что у каждого есть и личные недостатки, и незаменимые достоинства.

Тематика лаборатории формировалась вокруг проблем социологии труда. После публикации статьи Г. Пруденского о

бюджете времени мы загорелись идеей фотографии бюджета времени ленинградских рабочих. Этот этап подробно описан [15]. Когда подготовка публикации была завершена, у нас с Ядовым возникла тема отношения к труду молодых рабочих Ленинграда.

В числе прочих работ я перевел книгу Гуда и Хатта «Методы социального исследования» (этот учебник приобрел Игорь Кун и передал нам). Каждую из глав мы обсуждали на семинарах. Особенно много времени уделяли вопросам выборки и проверке достоверности ответов респондентов. К сожалению, все экземпляры рукописи после смерти Веры Николаевны оказались утерянными. Мы не придавали должного значения той работе, которую делали. Все у нас было открыто для всех. А лаборатория, располагавшаяся в одной из комнат Меншиковского дворца, была центром паломничества. Откуда только не приезжали к нам коллеги – из Москвы и Перми, Софии и Варшавы, Лодзи и Нью-Йорка, Парижа и Праги, Новосибирска и Тбилиси...

Естественно, вы были первыми...

Особенно запомнился визит пяти профессоров из США в мае 1961 года. Прибыли к нам в Меншиковский дворец Генри Рикен (National Science Foundation, Washington, DC), Дональд Маркис (Massachusetts Institute of Technology), Ралф Тайлер (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California), Анатолий Рапопорт (Mental Health Research Institute, University of Michigan, Ann Arbor) и сам Роберт Мертон (Columbia University, New York).

Рикен рассказывал о четырех уровнях социологических исследований, а Мертон прочел обстоятельную лекцию по социологии науки. Стратификация и социология организации были центральными направлениями исследований в американской социологии того времени. Социологов тогда насчитывалось в США около 5 тысяч, а у нас – меньше 50 человек на всю страну.

Мы тоже сумели представить наш проект исследования отношения к труду рабочей молодежи, собственные методические разработки и некоторые результаты. Таким образом, американские коллеги убедились, что в Советском Союзе в начале 1960-х годов была не только идеология, но и социология – стремление увидеть жизнь с точки зрения «обычного человека» (7).

...возвратимся к лаборатории?

Да, конечно. В 1963–1964 году группа молодых ученых Ленинградского университета была приглашена на стажировку в США и Великобританию. В эту группу с нашего факультета

вошли В.А. Ядов (в Англию) и Ю.А. Асеев (в США). Для них это был первый выезд за границу на длительный срок.

В том же году в Ленинград приехал Толкотт Парсонс. Наше знакомство началось с того, что он позвонил мне по домашнему телефону и спросил своим характерным с хрипотцой голосом: «May I talk to Professor Zdravomyslov?». Я ответил «That's me». – «I am Professor Parsons. I am in Leningrad. Do you want to see me?». Мы встретились с ним и его женой Хелен в «Астории». Побеседовали об исследовательских перспективах в социологии. Парсонс подарил мне свой двухтомник «Theories of society» и пригласил на прием, который в его честь давало американское представительство в Ленинграде.

В этот приезд он выступил с лекцией на философском факультете перед большой аудиторией, а я его переводил, что для меня было первым, и довольно удачным, как мне кажется, опытом такого рода (перевод был последовательный, а не синхронный).

Почти весь 1964 год я руководил лабораторией самостоятельно – Ядов был на стажировке в Англии. За этот год были практически получены первые результаты исследований, подготовлена серия публикаций – прежде всего, в осиповском сборнике «Социология в СССР» [16] и сборнике Г. Глезермана (АОН при ЦК КПСС) [17].

В середине того же года Министерство высшего образования предложило мне преподавать общественные науки в одной из африканских стран на английском языке. Оказалось, что меня ожидают в Кении. Конечно, я согласился. При этом тайная мысль состояла и в том, что я-то еду не учиться, а учить!

Во всяком случае, второй этап моей социологической деятельности подходил к концу. В начале 1966 года я вернулся из Кении и обнаружил, что наш труд «Человек и его работа» уже находится в издательстве «Мысль». Книга вышла в 1967 году при поддержке Н.И. Лапина. Должен сказать, что если бы не целеустремленность Володи, то «Человек и его работа» никогда бы не была опубликована.

А как, из чего произросла ее идея?

Конечно, можно было бы сказать, что весь этот проект возник «из ничего», как ты говоришь про Грушина [18]. Более того, можно сказать, что он возник «из ничего» при помощи Гуда и Хатта! Но с этим я не могу согласиться. Что дали нам Гуд и Хатт? Вооружили нас методами, то есть грамотными средствами реализации идей, которые сформировались у нас самих. Эти идеи были подготовлены нашим предшествующим образованием, они выкристаллизовались в качестве некоего

сухого остатка из того, чему мы учились на факультете, а усваивали мы определенную версию марксизма.

Кроме того, наши исходные установки – сопоставить идеи и социальную реальность – были результатом влияния культуры, пульсировавшей в обществе, результатом жизни в той духовной атмосфере, которая была связана с «оттепелью», с возникновением первых ростков свободы мысли (не случайно В. Ядов в интервью [15], по сути дела, рассказывает о своем превращении из «хунвейбина» в «либерала»). Каждую из наших публикаций мы тщательно выверяли на соответствие этой духовной атмосфере. Я убежден, что и Зиновьев, и Грушин, да и Мамардашвили, на слова которого ты ссылаешься [18], произошли из атмосферы «оттепели». Только поняв этот момент, можно продолжать дискуссию о традициях. Возникла ли «оттепель» как феномен культуры из ничего или у нее были некие культурные предпосылки в российской истории? Это, Боря, самый главный вопрос! Для того чтобы на него ответить, необходимо проанализировать духовную атмосферу того времени и показать ее связь с движением наших чувств и мыслей. Такое исследование в области исторической социологии крайне необходимо. Возможно, что ты в своих интервью уже наткнулся на эту тему.

Я бы сказал так: Булат Окуджава имел для нас гораздо большее значение, чем Питирим Сорокин, которого мы знали в начале 1960-х годов лишь по трем упоминаниям В. Ленина. Профессиональной преемственности с нашими предшественниками 1920-х годов не было: сталинские репрессии прервали эту связь, но все же сохранился некий культурный капитал, который передается и осваивается вместе с переживанием и осмыслением опыта становления личности. Это сохранение капитала не институционализировано, оно, если угодно, невидимо и выражено в краткой и загадочной формуле М. Булгакова «Рукописи не горят!».

А что касается наших помыслов, то они всегда были направлены на обоснование социальных изменений, главным образом, на макроуровне. Борис Андреевич Грушин как-то сказал, что мы сделали больше для изменения советского общества, чем диссиденты. С этим, конечно, не все согласятся, но факт состоит в том, что в 1960-е годы был создан резерв перестройки, который был «отодвинут» во время застойного периода, и вновь востребован в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Разумеется, наш проект не связывался ни с революцией, ни с реваншем по отношению к прошлому.

Вернемся к основной теме?

В 1966 году я участвовал в VI Всемирном социологическом конгрессе в Эвиане (Франция). Мы с Ядовым поехали туда с

докладом о нашей работе в исследовательском комитете по социологии труда (8). Но помимо этого выступления произошли еще некоторые интересные события. Т. Парсонс, встретив меня на конгрессе, предложил мне выступить на дополнительном заседании по проблемам сравнительных исследований. К этому времени нами был накоплен опыт обсуждения этой проблематики с проф. Ф. Херцбергом, о чем я, по-видимому, рассказывал Парсонсу еще в Ленинграде. Я разыскиваю Ядова, он дает согласие на мое выступление, и только после этого я соглашаюсь. Выступление проходит успешно, меня провожают аплодисментами. Это вызывает крайнее неудовольствие у одной дамы из Института философии, специализировавшейся на критике буржуазной социологии. Она докладывает начальству (глава делегации – П.Н. Федосеев). К счастью, на этом выступлении присутствовали еще два человека из нашей делегации – Г.М. Андреева и Н.В. Новиков; они владели английским и уверили руководство, что «от марксизма я не отступил», а аплодисменты заработал за форму подачи материала.

Примерно в это же время в Ленинградском университете возникает идея объединения социологических, экономических, психологических, юридических и других групп в едином Институте. Сама по себе идея неплохая, но вокруг нее возникают какие-то новые люди, которые претендуют на руководящие позиции. А Г.В. Осипов приглашает меня на работу в Институт философии, имея в виду, что скоро будет организован Институт конкретных социальных исследований. Работа над нашей книгой завершилась, и мы с Володией обсуждаем перспективы дальнейшей работы. Он решает заняться социальной психологией. Я полагаю, что все шансы для развития социологии надо использовать до конца. Так я расстаюсь с лабораторией, в которой проработал шесть лет и принимаю предложение Осипова и Левады.

Переходим к третьему этапу?

В том же 1966 году меня активно приглашают в Ленинградскую высшую партийную школу заведующим кафедрой марксистско-ленинской философии. Место расположения – Таврический дворец. Я провожу серию консультаций со своими коллегами – В.А. Ядовым, Ю.А. Левадой, Г.В. Осиповым. Принципиальных возражений не слышу. Более того, за мной сохраняется полставки в АН (что сыграло в дальнейшем очень важную роль). И все же я выдвигаю перед партийными инстанциями одно условие – создание социологической лаборатории по изучению внутрипартийной работы. Ну, раз договорились, там не обманывают. В эту лабораторию я пригласил Ларису

Абрамову и тебя. Пытался взять и Юрия Алексеевича Асеева (9), уже заявление представил, анкету. Но это оказалось выше моих возможностей. За эту попытку я получил первый репри-манд от обкома партии.

Этими силами с помощью слушателей ЛВПШ мы проводили сравнительное исследование бюджетов рабочего времени работников районных комитетов Ленинградской партийной организации. Естественно, что столь деликатная работа курировалась орготделом Ленинградского ОК КПСС (Б.К. Алексеев). А поскольку за мной сохранялись определенные позиции в ИКСИ АН, то мне удалось привлечь к работе Олега Божкова (10), Наталью Часову (ныне Дадали) и Тамару Абиссову. Эта группа – ленинградская часть сектора методики и техники социологических исследований ИКСИ АН – занималась сбором методической документации в социологических учреждениях и группах, которые в это время создавались по всей стране с удивительной быстротой.

Это что, возникает еще один круг научных интересов или тема?

Да, я об этом говорил – еще один круг... Меня интересовало, как складывается мышление тех людей, которые приходят через сито доступа в ряды партийных и советских функционеров. Этот интерес вытекал из определенных теоретических посылок; они были сформулированы мною в докладе о понимании бюрократии в марксизме.

Стоит рассказать еще об одном эпизоде в этот период. Отдел пропаганды ЦК КПСС включил меня в группу, занимавшуюся изучением идеологической работы в Ленинграде и Пензе. Я предложил провести опрос шести профессиональных групп на базе районированной выборки по разработанной мною анкете. Опрос проводился местным активом из числа слушателей вечерних университетов марксизма-ленинизма. В результате я получил уникальные данные о состоянии массового политического сознания, которое весьма сильно модифицировалось в зависимости от профессиональной независимой переменной. Главные выводы исследования были сформулированы в ротاپринтной книжке «Пропаганда и ее восприятие. Социологическое исследование эффективности» [19]. Суть их состояла в следующем. Во-первых, уровень пропаганды – по изученным данным – был явно занижен в сравнении с уровнем развития массового сознания: во-вторых, мне удалось выделить четыре типа сознания, обозначенные как «неразвитое сознание», «стереотипизированное сознание», «скрытое сознание» и «критическое сознание». Предлагалось обратить внимание на

следующую совокупность характеристик современного мышления – конкретность, стремление получить первичную информацию, известный скептицизм в отношении к предвзятой точке зрения и навязываемым оценкам фактов. Книжка была издана тиражом 100 экземпляров. На титуле стояли три организации: Научный совет по проблемам конкретных социальных исследований, Советская социологическая ассоциация и Институт конкретных социальных исследований АН СССР. Каждый экземпляр имел номер. Через несколько дней после того, как я получил авторский экземпляр, мне позвонил ответственный партийный работник из аппарата ЦК и сообщил, что все экземпляры книги должны быть собраны и сданы в первый отдел. Тираж подлежит уничтожению... На мои недоуменные вопросы объяснений не последовало. За то время, которое прошло между поступлением книги и звонком, я успел послать один экземпляр с небольшой припиской секретарю ЦК КПСС Демичеву. Несколько позже инструктор горкома партии пригласил меня к себе и разъяснил, что я таким образом выразил недоверие партийному аппарату.

В 1969 году на основе курса лекций для слушателей ЛВНШ я издал книгу «Методология и процедура социологических исследований» [20]. Там была таблица распределения бюджета рабочего времени сотрудников районных комитетов партии. Выяснилось, что публикация такого рода данных противоречит инструкции ЦК КПСС, изданной еще в тридцатые годы! Б.К. Алексеев попросил меня сдать все материалы социологической группы ЛВНШ и объявил о моем отстранении от этой деятельности. Сама группа в полном составе переходила под начало Б.М. Фирсова. Отдел науки предложил мне на выбор: либо остаться в ЛВНШ без всяких занятий социологической работой, либо вновь вернуться в Академию наук, в ИКСИ, которым тогда руководил А.М. Румянцев (11). Я выбрал второй вариант.

Это все было в преддверии защиты докторской диссертации?

Нет, докторскую я написал и защитил, будучи именно заведующим кафедрой ЛВНШ. Эта позиция требовала более высокого научного статуса, чем кандидат наук. Защита проходила в Москве, в АОН при ЦК КПСС, на Садово-Кудринской. Тема докторской диссертации была сформулирована так: «Теоретические и методологические проблемы изучения социальных интересов». Председательствовал проректор этого почетного по тем временам учреждения – Григорий Ефимович Глезерман. Оппонентами были Владислав Жанович Келле, Юрий Александрович Замошкин, Александр Федорович Окулов. Моя интерпретация понятия «интерес» существенно отличалась от

той, которую давал председатель ученого совета в своих публикациях. Я в гораздо большей мере подчеркивал субъективный аспект этой категории, что позволяло связать проблематику интереса с вопросами изучения мотивации поведения, исследованием ценностных ориентаций.

Следующий этап начался с возвращения в ИКСИ на должность руководителя сектора методики и техники социологических исследований. Здесь моими сотрудниками были Ольга Михайловна Маслова, Елена Серафимовна Петренко, Елена Христофоровна Нерсесова, Владимир Эммануилович Шляпентох. Две первые женщины – ныне известные специалисты – были тогда начинающими исследователями. В.Э. Шляпентох – автор известной тогда книги «Социология для всех» и страстный полемист – был самовлюбленным зубром, с которым у нас сложились дружеские отношения. В коллективе был и свой «пьющий», и иные преходящие персоны.

По возвращении в Институт я был одержим безумной идеей. Я предполагал, что наш опыт изучения отношения к труду рабочей молодежи может быть распространен и на иные области социологической деятельности. Для этого нужно было создать хорошую методическую базу в виде набора стандартных методик, которые следовало включать во все опросы, проводимые в институте. Такого рода деятельность и должна была составлять главную задачу сектора методики и техники социологических исследований. На словах эта идея не встречала сопротивления, но по сути дела, как мне вскоре объяснил В.Н. Шубкин, это означало покушение на самостоятельность тех групп, которые занимаются содержательной стороной дела. Вместе с тем, сама идея социальных показателей в принципе не была отвергнута и нашла продолжение в деятельности Института и после моего ухода. Кстати, именно к этому периоду относится и публикация нашей с тобой статьи «Альтернативная оценка структурных элементов рабочей ситуации» [21], содержащая описание методики, которую я предложил в «Человеке и его работе». Это одна из моих самых любимых методических находок, а ты ее оснастил более сложным математическим аппаратом.

Другое направление моей теоретической деятельности в этот период оказалось более продуктивным. Оно было связано со стремлением найти основные типы образа жизни людей в рамках советского общества. Ранее я пришел к выводу, что далеко не все взрослое население страны разделяло «идеалы социализма и строительства коммунистического общества». Большая часть людей жила вне идеологических интересов и установок. Но столь прямая формулировка вряд ли могла быть принята. Чем же тогда жили люди? Для ответа на этот вопрос

надо было использовать понятие образа жизни, но наполнить его не идеологическим, а социологическим содержанием. Я взял за основу те данные, которые были получены в «Человеке и его работе». В результате выявились следующие устойчивые ориентации: на учебу, на общественную работу, на работу на производстве, на семью, на дополнительный заработок [4, с. 215]. Я осуществил некоторую методологическую процедуру, которую можно назвать реалистической генерализацией, и выдвинул тезис о наличии в советском обществе четырех основных типов образа жизни, связанных с: доминированием производственных интересов, доминированием семьи, доминированием индивидуальных способностей и отсутствием какого-либо доминирующего начала просто в силу незрелости интересов и незрелости личности [22].

Вскоре после моего возвращения в институт А.М. Румянцев был снят с директорского поста. На какое-то время и.о. директора стал Н.И. Лапин. В ЦК на этот пост рассматривались несколько кандидатур, в числе которых был и и.о. заведующего Отделом идеологической работы Г.Л. Смирнов. Это была наиболее подходящая кандидатура. К этому времени Смирнов опубликовал книгу «Советский человек», в которой широко использовались данные социологов и приводились ссылки на Г.М. Андрееву, И. Кона, нас с Володей и других наших коллег. Но скрытый «тендер» на должность директора выиграл заведующий кафедрой философии Свердловского университета М.Н. Руткевич.

Однажды – в самом начале своей административной практики – М.Н. Руткевич пригласил Ядова и меня к себе домой. Его супруга приготовила прекрасный обед. Михаил Николаевич повел разговор о том, что хорошо было бы нам втроем написать учебник по социологии, в котором так нуждается страна. Мы обещали подумать, и через пару дней сказали, что такой учебник должен быть создан более широким коллективом с участием Г.М. Андреевой, Б.А. Грушина, Ю.А. Левады, Н.И. Лапина, В.Г. Подмаркова и еще некоторых авторов из числа тех, кто, по сути, и составлял в то время советскую социологию. Руткевича такая позиция не устраивала, поскольку большая часть предложенных нами кандидатур была намечена к увольнению. Этот отказ оставил глубокий след в наших отношениях, что в конце концов выразилось и в моем уходе из Института.

Положение мое осложнялось тем, что, будучи заведующим сектором института АН, я оставался прописанным в Ленинграде, и в Москве жил «на птичьих правах». Семью к этому времени я покинул и вступил в брак во второй раз. Все мои

разговоры с новым директором упирались в тупик. «У вас же есть квартира в Ленинграде, – говорил он. – Вы ее разменяйте и приобретите жилье в Москве». Для меня это было неприемлемо. И тут...

...начался пятый этап – работа в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

На одном из заседаний ученого совета со мною рядом оказался один из сотрудников ИМЛ. Он ко мне наклонился и сказал: «Не хочешь ли ты, Андрей, перейти на работу в Институт марксизма-ленинизма?». Мне и раньше поступали такие предложения, но я на них не реагировал, а сейчас решил не дожидаться, пока Руткевич меня выгонит вслед за Левадой, Шубкиным, Лапиным и другими, а уйти с минимальными потерями. И началась операция по моему переходу в ИМЛ на должность старшего научного сотрудника (главным условием ее успешного проведения было то, чтобы этот план остался в тайне от Руткевича).

Пожалуй, теперь надо рассказать о том, что такое ИМЛ, работа в котором заняла у меня 17 лет жизни... ИМЛ создавался как теоретический центр КПСС. В 1970-е годы явной функцией этого учреждения был контроль идеологической работы в стране, прежде всего, в той части, которая касалась публикаций произведений Маркса, Энгельса, Ленина; разработка вопросов социальной политики партии (именно по этой проблематике я работал до начала 1980-х годов), поддержание контактов с исследовательскими учреждениями внутри страны и за рубежом. Латентная же функция этого учреждения, насколько я это понимаю теперь, состояла в обезличивании интеллектуальной деятельности, в производстве «научных текстов» которые не подвергались бы сомнениям, могли бы выдаваться за абсолютную истину.

Парадокс состоял в том, что и Маркс, и Энгельс, и Ленин мыслили и писали свободно, глубоко индивидуально, а ИМЛ был призван быть «органом коллективного разума партии», выполнявшим в основном охранные функции по соблюдению «чистоты» учения.

После Академии наук это было нелегко?

Оказаться в таком учреждении, будучи сложившимся и признанным социологом, означало принять на себя нелегкую ношу. Но у меня здесь был прозаический интерес: не возвращаться в Ленинград и не отправляться в какой-либо иной город. ИМЛ в лице его директора, академика и члена ЦК КПСС А.Г. Егорова, обещал решить вопрос с квартирой и пропиской

в Москве; ровно через год – своего рода испытательный срок – это обещание было выполнено.

Расставание с сектором было психологически трудным. В социологии я чувствовал себя на своем месте. В ИМЛ я оказался в чуждой мне среде. Меня там долгое время пытались «воспитывать»; главным средством воспитания были избраны анонимные письма, поступавшие в дирекцию, в отделы ЦК КПСС, в которых прямо оспаривалось решение дирекции о приеме меня на работу в столь «ответственное партийное учреждение». Выискивались тексты, в которых моя скромная персона «отступала от принципов марксизма-ленинизма» и от утверждения перспектив построения общества социальной однородности. А в личном плане я не соответствовал критериям сотрудника этого учреждения хотя бы потому, что «Здравомыслов дружил со Шляпентохом», который к тому времени уже (увы) уехал в США.

Зная об этой ситуации, меня принял под свою опеку Отдел пропаганды ЦК КПСС. Думаю, что инициатива исходила от Г.Л. Смирнова и В.Ф. Правоторова, которым я благодарен по жизни. После этого страсти вокруг меня несколько улеглись, хотя про мои отношения со Шляпентохом вспоминали вплоть до самой перестройки.

Какие темы ты исследовал в ИМЛ?

На первом этапе «моей делянкой» была проблематика социальной политики. Тогда мне удалось найти новый подход к социальной дифференциации в советском обществе. Он опирался не на идею собственности на средства производства, не на идею статусной дифференциации в рамках производства и вне его, а на уровень развития и характер потребностей во вновь создаваемых благах. Можно сказать, что в ходе работы над этой темой я сформулировал «закон социального структурирования потребностей», который применим не только к плановой системе хозяйствования, но и к рыночным отношениям. Эта теоретическая конструкция была опубликована мною в книге «Потребности, интересы, ценности» [23].

В этой книге мне удалось обосновать целый ряд социологически значимых идей. Центральной была идея тройственной детерминации социального действия. Вслед за Т. Парсонсом многие социологи утверждают, что социальное действие определяется смыслом, который заложен в культуре и который обнаруживается в мотивации социального действия и в выборе альтернатив, предлагаемых определенной ситуацией. Я же обратил внимание на триаду категорий, детерминирующих социальное действие. Потребности и интересы взаимодействуют

друг с другом на разных уровнях (индивида, группы, социума, общества), но лишь достигая ценностного выражения, превращаются в активные детерминанты социального действия. Эта теоретическая конструкция была мною предложена как ориентир для социологии вообще и для советской социологии в частности в статье «Социология: проблемы и перспективы», опубликованной в «Правде» (23.09.1983) и несколько позже в названной монографии «Потребности. Интересы. Ценности».

Возможно, что с разработкой этих категорий связаны перспективы развития социологической теории и на современном этапе. В теоретическом плане я расцениваю эту книгу как мой главный итог работы в качестве старшего научного сотрудника ИМЛ. Возможно, что сейчас надо было бы эту книгу переработать, но, как это ни странно, не столь существенно, как это могло бы представиться.

Это что, главный итог за 17 лет?

Видишь ли, после выхода моей предыдущей книги [2] прошло почти двадцать лет... как хочешь, так и оценивай. Кроме того, было несколько статей в центральной прессе и солидных коллективных трудов.

Но дело в том, что работа в ИМЛ представляла собою почти ежедневное поле боя. Но я оставался в социологии и пытался использовать свои позиции в ИМЛ в интересах социологического дела.

Можно пояснить примерами?

Расскажу о нескольких эпизодах такого рода.

Эпизод первый – о несостоявшемся «учении Л.И. Брежнева как методологической основе советской социологии». Это было связано с публикацией в журнале «Социологические исследования» установочной статьи одного из сотрудников ИКСИ, посвященной преемственности в советской социологии [24]. Нынешние социологи – в особенности Р.В. Рывкина – обвинялись в отходе от традиции, якобы заложенной в конце 1960-х годов в публикациях Д.М. Чеснокова, в то время ректора АОН при ЦК КПСС, который на самом деле занимал активную анти-социологическую позицию. Другая причина – недостаточное внимание к трудам Маркса, Ленина и Брежнева (!), которые должны служить советским социологам в качестве методологического ориентира.

Статья была опубликована за подписью В. Староверова без обсуждения на редколлегии. Но ее автор был членом редколлегии журнала и даже, кажется, заместителем главного редактора. Несменяемым главным редактором «Социологических ис-

следований» с 1974 года был А.Г. Харчев. Я также был с этого времени членом редколлегии и, следовательно, нес определенную долю ответственности за то, что публикуется в журнале. Куратором социологических изданий от отдела науки ЦК партии был Григорий Григорьевич Квасов – инструктор, а затем консультант этого отдела, а также член редколлегии.

Публикация статьи вызвала у меня возмущение. Я позвонил Квасову и спросил его, каким образом статья Староверова оказалась опубликованной без обсуждения на редколлегии. Квасов ответил, что он впервые слышит о такой статье. Это позволило мне достаточно настойчиво попросить провести специальное заседание редколлегии с тем, чтобы все могли высказаться по поводу содержания статьи и по поводу самого факта публикации. Заседание состоялось 3 мая 1982 года и проходило в течение нескольких часов. В числе прочего я, собравшись с духом, сказал, что «до сих пор нам было известно учение Маркса и Ленина, а теперь, оказывается, есть еще и учение Брежнева, такой поворот дела мне представляется ничем не оправданным». Естественно, что Т.И. Заславская выступила в поддержку и высказала тезис о моральной нечистоплотности автора. Ф.Н. Момджян порекомендовал Староверову немедленно подать заявление о выходе из состава редколлегии, поскольку он воспользовался служебным положением для сведения личных счетов. А.Г. Харчев и М.Н. Руткевич заняли противоположную позицию. Было принято решение о публикации этого обсуждения в ближайшем номере журнала (это так и не было выполнено!), а меня в декабре 1982 года вывели из состава редколлегии в связи с ротацией!

Второй эпизод – это борьба за пост президента Советской социологической ассоциации (ССА). Первым президентом ССА был Ю.П. Францев. Он был членом ЦК КПСС и ректором АОН при ЦК КПСС. Выбор Францева на этот пост свидетельствовал о том, что «самые верхи» (в лице М.А. Сулова) отнеслись к задачам ССА весьма серьезно. Францев постарался передать этот пост своему воспитаннику – Г.В. Осипову. Третьим президентом стал Феликс Нишанович Момджян – дипломат в среде партийной бюрократии, «воспитатель» большой когорты выпускников Академии общественных наук, прошедших через аспирантуру кафедры философии АОН, которой он заведовал. Институционально социология благодаря назначению Момджяна вновь возвращалась под опеку АОН, хотя уровень заведующего кафедрой был гораздо ниже, чем уровень ректора. Расскажу, как решался вопрос о четвертом президенте.

Ситуация, как она мне представлялась, была такова: согласно Уставу ССА готовилось перевыборное собрание. Ф.Н.

Момджян не стремился покинуть этот пост, и у него были достаточно сильные позиции в Отделе науки ЦК КПСС. Ясно, что Феликс Нишанович не был профессиональным социологом. Это снижало статус советской социологии на международных встречах. В лучшем случае его можно было считать историком общественной мысли и достаточно тонким дипломатом, что в какой-то мере компенсировало недостаток профессионализма. Так, в августе 1981 года он впервые организовал заседание Исполкома МСА на территории Советского Союза. Оно проходило в Тбилиси и оставило замечательные воспоминания у его участников благодаря подлинному грузинскому гостеприимству.

Другим реальным претендентом на пост президента ССА был директор ИСИ АН СССР (он получил эту должность во время краткого правления Ю.В. Андропова) – Вилен Николаевич Иванов, которого поддерживала своего рода институтская группировка. Иванов продолжал традицию «Руткевич-Рябушкин».

К этому времени Ядов, Левада, Осипов, Шубкин не располагали достаточным авторитетом ни внутри страны, ни за рубежом для выдвижения их на этот пост. Моя кандидатура также была непроходной. Но нужный человек – и утвердившийся именно в социологии – уже был! Т.И. Заславская – академик АН СССР, которая обладала и весьма высоким профессиональным и личностным авторитетом. Оставалось: 1) убедить Татьяну Ивановну в необходимости такого шага и, соответственно, переезда из Новосибирска в Москву; 2) убедить инстанции, что при любом ином решении вопроса социология проиграет, и это отразится на международном авторитете страны. В конце концов – после ряда совещаний в Отделе науки ЦК КПСС – избрание Т.И. Заславской состоялось. Это произошло 26 ноября 1986 года. Борьба за это, по моей прикидке, велась около трех лет. Поскольку моя позиция была открытой, то ясно, что на протяжении этого времени я подвергался нападкам по разным линиям, некоторые из них для меня так и остались неизвестными.

За несколько месяцев до этого избрания, в августе 1986 года, состоялся очередной конгресс МСА (в Индии, в Нью-Дели). В то время действовали еще старые механизмы формирования делегации. Официальным руководителем делегации назначили В.Н. Иванова – в качестве директора Института (Т.И. Заславская и Г.В. Осипов не поехали в Индию). Делегация должна была руководствоваться специальной инструкцией ЦК, главный пункт ее – провести в состав Исполкома МСА Г.В. Осипова.

Я был занят на сессии, посвященной проблеме направленности социальных изменений, которую вел вместе с У. Хим-

мельстрандом, и в оргвопросы не вмешивался. Наша сессия прошла в огромной аудитории что называется «на ура». И как только я вышел в фойе, преисполненный радостных чувств от удачного мероприятия, на меня налетел В. Иванов: «Что вы наделали? Вы сорвали выполнение инструкции ЦК КПСС!». Честно говоря, я опешил. Оказывается, одновременно с сессией проходило заседание Национального совета МСА, на котором в состав Исполкома этой организации кем-то из участников Совета была выдвинута кандидатура Т.И. Заславской: она и получила поддержку большинства. Иванов же решил, что это результат моей задулистой деятельности. Такого рода обвинения в то время были чреваты серьезными последствиями... Но я их отверг с порога и постарался незамедлительно придать дело огласке.

«Партия Иванова» оплатила мне весьма изощренным способом: при выборах в состав правления Советской социологической ассоциации ряд кандидатур не получил проходного количества голосов, в их числе оказался и я. Это был, пожалуй, один из самых сильных ударов по моему самолюбию.

Я был там и помню тебя в тот момент... но что-нибудь радостное было?

К числу таких событий отношу организацию и проведение симпозиума на VII Международном социологическом конгрессе на тему о новых идеях в современном марксизме (1982), который я готовил по предложению Улфа Химмельстранда и Нейла Смелсера. Первый из них, дружкой с которым я горжусь, был президентом МСА, второй – председателем Программного комитета. Года за три до этого события Нейл позвонил мне в Москву из Калифорнии и сказал, что исполком МСА хотел бы нанять меня (так он и сказал: «employ you»); я до сих пор жалею, что не уточнил «цену контракта») для организации симпозиума по марксизму. Я, конечно, ответил согласием, предварительно согласовав свой ответ с А.Г. Егоровым, Ф.Н. Момджяном и Г.Г. Квасовым.

Я оказался неплохим режиссером этого действия. Выступило шестнадцать докладчиков; большую часть участников составляли зарубежные марксисты. Вышла книжка – только в английском варианте [25]. Вне программы на симпозиуме выступали уходивший президент У. Химмельстранд и вновь избираемый Ф. Кардозо (будущий президент Бразилии). Дело происходило в одной из аудиторий Университета Мехико-Сити в Мексике. Аудитория была переполнена, присутствовали социологи из 25, а то и 30 стран. Характер дискуссии и многообразие точек зрения на марксизм создавали атмосферу

творческого энтузиазма. Мне казалось, что и я сам находился в высшей точке земной цивилизации.

Если принять концепцию противопоставления марксизма и социологии, то получается, что в одних случаях я содействовал упрочению социологических позиций в стране, а в других – разработке марксистской теории. Значит, в моем случае это противопоставление не работало. У меня сформировался достаточно широкий взгляд на взаимодействие марксистской и социологической литературы. Эту точку зрения я выразил в одной из своих работ: в 1980 году издательство «Прогресс» загорелось желанием издать перевод книги английского марксиста Д. Льюиса, посвященной критическому изложению теоретического наследия Макса Вебера. Мне было предложено выступить в качестве научного редактора этой книги. Это меня заинтересовало: я давно собирался более основательно заняться сопоставлением М. Вебера и К. Маркса. Я обнаружил не только противостояние Вебера Марксу, но и определенную инфильтрацию (инклюзию) марксистских идей в ткань веберовских теоретических построений. В этом плане последние работы Вебера существенно отличались от его «Протестантской этики». При объяснении становления капитализма было уделено огромное внимание самому факту развития производительных сил в Европе, таким моментам, как возникновение фабричного производства, новые формы разделения труда и его организации.

На следующий год то же издательство обратилось ко мне с предложением стать редактором перевода с польского книги моего старинного друга Влодзимежа Весоловского «Классы, слои и власть». Это была одна из классических работ 1970–1980-х годов. Она выдержала в Польше несколько изданий и была переведена на английский и ряд других языков. Влодзимеж проводил интереснейшее сопоставление марксистских и структурно-функционалистских взглядов на классовые различия в обществе. Замечу, что последний этап работы над рукописью перевода совпал с началом деятельности «Солидарности» в Польше. Это чуть было не загубило весь труд. Но, тем не менее, книга была опубликована [26]. Подход Весоловского к проблеме взаимоотношений марксистской и немарксистской социологии был мне близок. Он заключался в критике догматизма в рамках марксизма и выявлении всего положительного, что было сделано при анализе классовых отношений в немарксистской традиции.

Стоит упомянуть интересный эпизод в моей имэловской карьере. В связи с развитием протестного движения в Польше у некоторых влиятельных работников ЦК КПСС возникла

мысль о повторении чехословацкого варианта 1968 года по отношению к Польше. Один из сотрудников Отдела пропаганды ЦК попросил меня изложить на нескольких страницах мое видение польской ситуации (сугубо лично и конфиденциально). Я весьма определенно высказался против чехословацкого варианта. Здесь вряд ли уместно приводить все использованные мною аргументы. Как мне дали понять, моя записка «прошла на самый верх». Во всяком случае, как известно, советские войска не вводились на территорию ПНР.

И еще один эпизод, показывающий, как, работая в ИМЛ, можно было влиять на происходящее в социологии. Когда в ходе перестройки стало ясно, что В.Н. Иванов на посту директора Института не отвечает требованиям времени, отделы ЦК стали подыскивать ему замену. Первое предложение было сделано Т.И. Заславской, но она его не приняла, поскольку не без оснований полагала, что лучше возглавить вновь созданную структуру, чем принимать наследство от прежнего директора. После этого с таким же предложением обратились и ко мне, но я последовал примеру Татьяны Ивановны, а в качестве наиболее подходящей кандидатуры на этот пост назвал В.А. Ядова.

Так что в какой-то мере я оказался ответственным за то, что происходило в Институте социологии в течение последующего десятилетия.

Перестройка и далее. Мой опыт

Теперь поговорим о шестом этапе твоей социологической деятельности...

Перестройка началась с попытки идеологической переориентации партийных кадров. Еще до своего избрания генсеком М.С. Горбачев выступил на общепартийной конференции с обстоятельным докладом на тему о «живом творчестве масс». Ни в этом докладе, ни в инаугурационной речи он не упомянул о «развитом социализме»; эти слова были знаковыми для 1970-х и первой половины 1980-х годов и антисоциологичными по своей сути. Значит, намечался поворот в сторону социологии.

В самом начале 1987 года А.Г. Егоров вышел на пенсию, а директором ИМЛ стал Георгий Лукич Смирнов, который до этого был помощником Генерального секретаря КПСС М.С. Горбачева. Возможно, Смирнов настаивал на большей определенности в политике партийного руководства страной, поэтому его «перебросили на теорию», которой, разумеется,

«не хватало». Может быть, в силу этого начался мой довольно короткий и быстрый «рост» в новом Институте.

Во время сотрудничества с Г.Л. Смирновым я открыто занял весьма критическую позицию по отношению к нескольким наиболее одиозным направлениям деятельности старого института: во-первых, против догматики в области теории национальных отношений и, во-вторых, против концепции однолинейно восходящей социальной активности в социалистическом обществе. «Московские Новости» (главный редактор Л. Карпинский) заказали мне статью о механизме торможения перестройки. Она была опубликована 13 марта 1988 года; в тот же день в «Советской России» опубликовали и известную статью Нины Андреевой «Не хочу поступиться принципами». По этим двум статьям можно было судить о степени раскола в партии в понимании задач перестройки. Раскол прошел по всей толще партийного аппарата.

Г.Л. Смирнов повел линию на развертывание теоретических дискуссий в институте. Он организовал свой семинар, на котором я был его заместителем. Этот семинар превратился на какое-то время в центр всей деятельности института (12).

Дальше – больше. Меня привлекли к работе комиссии историков (1989 г.), занимавшихся «белыми пятнами» в истории страны, а точнее, неприглядными моментами в деятельности руководства КПСС прошлых составов. Работу возглавлял член Политбюро А.Н. Яковлев. В этом качестве перед всем коллективом он, правда, ни разу не появился, а передавал поручения через доверенных лиц. Всю команду перевели на цеховскую дачу в самой Москве, в Серебряном Бору. Мне достался участок работы, связанный с анализом Чехословацкого кризиса в 1968 г. и вводом войск стран советского блока на территорию Чехословакии. За три месяца я написал доклад примерно на 4 печатных листа с анализом причин и хода событий (13). Этот опыт был весьма полезен, я понял, как создавались серьезные политические и идеологические документы. Сдал работу в аппарат А.Н. Яковлева и директору своего института и попросился с дачей в Серебряном Бору.

После Первого съезда народных депутатов мне удалось организовать два репрезентативных московских опроса в 1989 и 1990 годах о состоянии политического сознания населения и об отношении к перестройке. Доля респондентов, относивших себя к «активным участникам перестройки» резко упала – с 56 до 21%. В опросе 1990 года 30% респондентов выбрали суждение «спасти страну может лишь введение частной собственности», а точку зрения «иного (кроме социалистического выбора перестройки) не дано» поддержали чуть больше 20%.

За этот же промежуток времени произошло резкое падение авторитета всех властных структур. Так, положительную оценку деятельности Политбюро ЦК КПСС в 1989 году давали 13% респондентов, а отрицательную – 41,1%. В 1990-м эти данные составляли 3% и 72% соответственно! В 1989 году рейтинг Горбачева составлял 36,2 пункта и опережал рейтинг Ельцина на 8 пунктов, в 1990 году на первое место вышел Ельцин, на второе – Собчак, а рейтинг Горбачева составил всего 18%. После Первого съезда народных депутатов резко снизился авторитет партии и, прежде всего, ее политического руководства.

В конце 1980-х годов вице-президентом АН по общественным наукам стал Владимир Николаевич Кудрявцев. Он еще в 1960-е годы начал разрабатывать совершенно запрещенную тему – социологию преступности. Владимир Николаевич организовал «директорский семинар» с постоянным составом из 12–18 директоров институтов АН СССР. Добровольно выдвигавшимся докладчику и оппоненту-содокладчику давалось по 15–20 минут, затем разворачивалась дискуссия. Тезисы представлялись заранее и доводились до всех участников семинара. Запись, к сожалению, не велась, чтобы психологически обеспечить свободу высказываний. В качестве докладчиков по рекомендации директоров иногда выступали и другие сотрудники АН. Я оказался постоянным членом этого семинара. Один из моих докладов был представлен в соавторстве с С.Я. Матвеевой, сотрудницей моего сектора. Нашим оппонентом был В.А. Тишков – директор Института антропологии. Речь шла о межнациональных конфликтах на постсоветском пространстве. По материалам этого доклада было опубликовано несколько статей, в том числе и в издании Института антропологии. На этом семинаре я несколько раз выступал по теоретическим вопросам понимания демократии. В 1989 г. на основе выступлений я опубликовал в журнале «Советское государство и право» две статьи о спорности противопоставления либеральной и социалистической идеологий [9, 10]. Я исходил из того, что проблема личности и личной свободы оказывается в центре как марксистского социализма, так и либерализма Д.С. Милля. Освобождение общества есть условие освобождения всех его членов, или освобождение каждого есть условие освобождения всех. Кстати, еще Герцен рассматривал этот вопрос именно в таком плане. На этом семинаре выступали также Т.И. Заславская, В.А. Ядов, Ю.А. Красин и А.А. Галкин.

В 1990 году Институт марксизма-ленинизма преобразуется в Институт теории и истории социализма; в нем создается отдел социологии партии, который мне поручают возглавить. В мае 1991 года я подготовил аналитический доклад на тему

о ситуации в партии. В нем четко документировано наличие трех различных общественно-политических позиций в рамках как бы единой партии. Предлагалось оформить реально сложившийся развод. Но М.С. Горбачев не сумел прочесть этот материал до августовских событий, которые, по сути дела, положили конец перестройке. Моя последняя акция в качестве руководителя названного отдела состояла в беседе с секретарем ЦК КПСС Калашниковым в дни форосской изоляции Горбачева. Я сказал в этой беседе следующее (это было 20 августа 1991 г.): «Если М.С. Горбачев не будет возвращен к исполнению своих обязанностей без промедления, то партия прекратит свое существование». Как известно, Горбачева возвратили лишь 22 августа.

За эти несколько дней Б.Н. Ельцин, созданный для действий, а не для рассуждений, укрепил позиции с помощью своей команды. Этот эпизод лишь подтверждает известный закон политической жизни: тот политический деятель, который уступает свою власть хотя бы на мгновение, лишается ее навсегда!

Наступили 1990-е, не стало Института теории и истории социализма. Что это привнесло в твою жизнь?

Дальше возник Российский независимый институт социальных и национальных проблем, который под руководством М.К. Горшкова продержался около 10 лет (14). Новый институт объявил конкурс исследовательских программ. Я предложил программу под названием «Социология конфликта», ориентированную на теоретическое осмысление трех фундаментальных конфликтов, пронизывавших российское общество: конфликта во власти, конфликта экономических интересов и конфликта в области межнациональных отношений. Программа была принята. На ее основе несколько позже был создан Центр социологического анализа межнациональных конфликтов. На первых порах со мной оказалось четверо сотрудников – Сусанна Матвеева, Сергей Цымбал, Лена Саутина и Люба Куликова. Несколько позже присоединился Артур Цуциев, оставшийся жить во Владикавказе. Всем моим сотрудникам я искренне благодарен за поддержку в самое трудное время. Судя по выпущенной продукции, выступлениям на конференциях и симпозиумах, нескольким выпущенным книгам, контактам с Госдумой, Центр работал активно, но финансирование его постоянно свертывалось. В результате этот небольшой коллектив распался, и я остался со своей программой в гордом одиночестве.

Вскоре я получил – по инициативе В.А. Ядова – заказ на учебное пособие по социологии конфликта, которое трижды

переиздавалось издательством «Аспект-Пресс» (1994, 1995, 1996) [14]. Следующая крупная работа обобщала собранный Центром материал по межнациональным отношениям [27]. Именно на этой основе возникла потребность сформулировать основные позиции по релятивистской теории нации. К этому добавлю исследование осетино-ингушского конфликта 1992 г. [28].

Итак, работы в новых условиях значительно прибавилось. Безусловно, позитивная сторона новой ситуации проявлялась в том, что между замыслом исследования, созданием текста и изданием книги или статьи проходило гораздо меньше времени, чем раньше. Но вместе с тем замысел должен был формулироваться с учетом возможностей финансирования. Коренная разница определялась тем, что зарплата в институте, хотя и выдавалась регулярно, не покрывала минимальных жизненных расходов. В то же время надо было самому искать средства на проведение исследования. В этих поисках я получал поддержку от наших российских фондов (РГНФ и РФФИ), но другие источники оказались для меня закрыты: для одних я был выходцем из прежних структур, которые должны быть разрушены, для других – неуправляемым исследователем, который научные соображения ставит выше партийных и групповых. Кроме того, я не демонстрировал приверженности к прошлому, но и не спешил уверить новые власти в своей лояльности. Вполне возможно, что моя фамилия была занесена в черный список лиц, нежелательных для поддержки и включения в оплачиваемые группы экспертов. Уверен, что такие списки, составленные кадровыми комиссиями 1992–1994 годов, существовали. Этим я объясняю ряд как мелких, так и крупных неудач, связанных с реализацией моих проектов.

Можно ли говорить в твоём случае о какой-то единой линии социологического мышления? Или твои взгляды радикально менялись вместе с изменением ситуации и переходом от одного этапа к другому?

Я полагаю, что нетрудно выделить некую единую линию на основании моих работ и публикаций. Как ты помнишь, моя научная биография началась с исследования проблемы интереса. Далее я возвращаюсь к этой же теме в более развернутом варианте еще в советский период (1986) – взаимодействие ценностей, потребностей и интересов. Книга носит, на мой взгляд, теоретический и новаторский характер, хотя в ней выдержан определенный канон, заданный издателем. Если мне память не изменяет, между сдачей книги в печать и ее выходом прошло 6 лет! Все это время в издательстве размышляли, стоит

ли издавать книгу. Но если взять, например, рассмотренное в ней понятие потребностей – жизненных нужд, то от него легко перекинуть мост к современной социальной политике – четырем правительственным программам. Я уже не говорю о понятии ценностей, которое в значительной мере было новым для 1980-х годов. Дальнейшая проработка этих вопросов дает основания для построения теории тройственной детерминации социального действия, благодаря чему это центральное понятие современной социологии выводится из тупика смыслового целеполагания.

Следующий этап в развитии той же темы – «Социология конфликта» [14], «Международные конфликты в постсоветском пространстве» [27] и «Социология российского кризиса» [7]. Хотя в этих работах и развивается начатая ранее тематика, но написаны они совсем в иное время. В первой из них предлагается новое определение конфликта – именно через социальное действие. Конфликт – это одновременное развертывание и действия, и противодействия. Если мы принимаем такое определение, то отсюда следует масса выводов вполне практического характера как в области политики, так и в различных областях менеджмента. Во второй книге рассматривается соотношение политических и национально-этнических конфликтов и, кроме того, впервые обосновывается релятивистская теория наций как определенная перспектива на будущее, надеюсь, не очень отдаленное. Наконец, в третьей книге анализируется понятие кризиса, использованное в работах наиболее видных российских социологов нашего времени. То есть я пытаюсь преодолеть раздробленность в российской социологии и сблизить позиции социологов по отношению к актуальным проблемам общества. Речь идет не об общем взгляде, который должны разделять все, а о том, чтобы позиции каждого стали известны и учтены как в преподавании, так и в исследовательской работе. Отсюда мой интерес к социологии социологии и к истории социологической мысли [11].

Дальнейшая разработка проблематики социального действия связана с осмыслением тех социальных изменений, которые происходят в России в течение последних десятилетий. Радикальные изменения произошли в сфере власти, собственности, мотивации профессиональной деятельности, в межличностных связях и отношениях. Изменилась и система международных отношений и, соответственно статус российского общества и государства. Изменилась роль границ! Национальные интересы общероссийского масштаба стали гораздо более прозаическими и реалистическими. Изменилась структура ценностей, ценностных ориентиров и приоритетов. Преобра-

зовались сами основания нравственного сознания – представления о добре и зле. Большую долю своих поступков человек в нынешней России определяет сам: в этом состоит его свобода.

На мой взгляд, именно эта ситуация определяет задачи социологических исследований: как разрешаются противоречия между сдвигами социетального характера, с одной стороны, и уровнем массового сознания, с другой. Иначе говоря, в какой мере конкретные группы людей, и, прежде всего, группы профессиональные, готовы осваивать сложившиеся условия – не просто адаптироваться к ним, а выбирать с пониманием сути происходящего, с умением оценивать ситуацию и самостоятельно строить свою жизнь. На стыке этих новых социетальных требований и возможностей и групповых ожиданий образуется некоторое социальное пространство риска и неопределенности. Видишь, какая совокупность социологических сюжетов возникает в этой связи? Когда речь заходит о профессионализации общества как об одном из доминантных социальных процессов, следует подумать и об изучении того, как меняются социальные институты, нормы и привычки профессионального поведения.

Огромный пласт исследований связан с пониманием культуры – законов ее сохранения как источника мотивации и критерия самооценки. В нашей литературе вполне освоена позиция социального активизма, но исследования механизмов коллективного действия, разграничивающих свободу действия от произвола, остаются вне сферы внимания социологической теории. На мой взгляд, в этой области, как и во многих других, может быть использован опыт социологии П. Бурдьё и его школы. Я имею в виду, прежде всего, его теорию социального пространства и теорию поля как совокупности позиций, определяющих личностные ожидания, ориентации и иные мотивы поведения. Иными словами, надо и нам научиться спускаться с высот «общества вообще» с его социальными, политическими, ценностными параметрами к реальности социальных полей, которые влияют на индивида, на личность в соответствии с более конкретными социальными нормами.

В данном случае я позволил себе некоторую вольность: ведь исследовательские задачи в нынешних условиях определяются не теоретическими соображениями, а наличием заказов.

Но если говорить в целом о положении самой социологии, то здесь, безусловно, налицо определенные позитивные сдвиги. Сейчас ни одна из политических передач не обходится без ссылки на опросы, которые становятся составным элементом нашей культуры. Социология как учебный предмет вошла в систему высшего образования; отдельными предметами стали

политология и культурология. Тем не менее, у большей части тех, кто объявляет себя социологом, знание основ социологии остается весьма смутным.

Одно из объяснений этому заключается в расколе самого социологического сообщества. Как и во всех профессиональных группах, среди социологов имеются люди весьма успешные, готовые оценивать общество в целом с точки зрения своих личных успехов. Они, как правило, весьма некритически воспринимают все, что исходит от власти, и закрывают глаза на такие явления, как пауперизация, преступность, коррупция, бродяжничество, детская беспризорность, оскорбительная политика по отношению к пенсионерам (монетизация льгот и проч.), удорожание жилья, алкоголизация населения, распространение наркотиков, проституирование значительной части молодежи. Все это становится характеристикой образа жизни более чем четверти населения страны. Для таких людей сама жизнь не приносит радости, ее смысл теряется, ибо в их сознание настойчиво вдалбливается идея дезадаптации, а значит, ненужности. Нужными чувствуют себя только успешные люди, а таких около четвертой части населения. Остальные либо разочаровались в своих притязаниях, столь четко руководивших их поступками 15–20 лет тому назад, либо превратились в циников, которым не только безразличны нужды общества, но порой и до своих ближних нет никакого дела [29].

Среди социологов наблюдается и другая крайность – позиция потерпевших неудачу и, соответственно – неверие в общество, в «систему», в государство и самих себя.

При подобном разном внутри социологии практической политике весьма сложно приобрести в ее лице надежную опору. Однако представляется, что по мере решения государством целого ряда практических вопросов начинает выравниваться и положение в социологии. Социологи все в меньшей мере бездумно используют зарубежные методы для конструирования российской реальности и все большее внимание уделяют выработке взвешенного реалистического подхода при оценке бурных социальных преобразований, меняющих жизнь всего общества и каждой семьи.

Примечания:

1. В.А. Ядов в своей последней книжке «Современная социологическая теория» [5] допускает несколько неточностей, связанных с упоминаемым изданием. Он пишет: «...А.Г.Здравомыслову в те годы удалось под грифом «Для служебного пользования» издать переводы работы Парсонса, а Юрия Леваду, который публично в

своих лекциях излагал структурно-функциональный подход, подвергли жесточайшей критике и остракизму» [4, с. 21, прим.] Сборник текстов «Структурно-функциональный анализ в современной социологии» под моей редакцией [5] вышел в 1968 году, еще до образования Института конкретных социальных исследований. Я работал в ЛВПСИ и на полставки – в отделе Ю.А. Левады в Институте философии АН. Грифа «Для служебного пользования» на обложке не было. Помимо ССА на титуле были указаны Научный Совет АН СССР по проблемам конкретных социальных исследований и Отдел конкретных социологических исследований Института философии АН. Издание сборника инициировалось Ю.А. Левадой. Что касается лекций Левады, то они были опубликованы и обсуждались уже в «другое время» – под влиянием идеологического переворота, вызванного вводом войск стран Варшавского договора на территорию Чехословакии.

2. Странная вещь, но книга была замечена Парсонсом, что утвердило меня в избранном направлении социологического теоретизирования. Об отношениях с Т. Парсонсом и восприятии его теории см. [7, с. 253–300].
3. Такие же настроения примерно в эти же годы были свойственны и британским социологам. В предисловии к книге «A history of sociology in Britain» говорится «Мы были активистами и энтузиастами реформ, нацеленных на то, чтобы превратить британское общество в государство благосостояния» [8, р. VI].
4. Это была не война за овладение ресурсами, а война на уничтожение (Vernichtung). См. подробнее [12].
5. Из названных авторов наиболее обстоятельно описывает свой путь в социологию В.Н.Шубкин. Именно в его работах можно найти заслуживающее внимания рассмотрение вопроса о традициях российского социологического мышления.
6. Кстати, Г.С. Батыгин знал знаменитый текст Маркса из введения «К критике политической экономии» (1859).
7. Во второй раз я встретился с Мертоном в 1966 году в Эвиане на VI Всемирном социологическом конгрессе: Т. Парсонс и Р. Мертон пригласили Г.В. Осипова с супругой, Н.В. Новикова и меня на обед в швейцарский ресторан на берегу Женевского озера. Сохранилась памятная фотография, которую я передал в Сообщество профессиональных социологов. Третья встреча с Мертоном состоялась в 1994 году в Нью-Йорке, у него дома.
8. Это была уже вторая презентация наших материалов на международной арене. Первая состоялась в 1964 году на Международном конгрессе психологов Москве.
9. Ю.А.Асеев по возвращении из командировки в США был исключен из рядов КПСС в «связи с неправильным поведением за границей».
10. О. Божков, Б. Докторов по различным причинам в это время столкнулись с проблемами в трудоустройстве. – Прим. ред.
11. Об обстоятельствах возвращения из ЛВПСИ в ИКСИ см.: [7, с. 311–312].
12. После каждого заседания издавалась его стенограмма, благодаря чему накопился значительный материал по теории социализма, пока не нашедший применения.
13. Доклад не публиковался.

14. В начале 1990 года состоялись выборы последнего руководства Советской социологической ассоциации. В результате острой дискуссии были избраны три сопрезидента: В.А. Ядов, Ж.Т. Тощенко и я. Между собой мы решили, что каждый из нас будет в роли президента в течение года, а очередность определится жребием. Таким образом, я в 1992 году оказался президентом советской общественной организации, в то время как Советский Союз уже прекратил свое существование. Этот парадокс мы устранили в начале 1993 года, преобразовав ССА в Профессиональную социологическую ассоциацию (ПСА). Без какой-либо поддержки мне удалось выпустить за ряд лет восемь номеров «Бюллетеня ПСА» и даже создать первый – пробный – вариант сайта этой ассоциации.

Литература

1. *Здравомыслов А.Г.* Проблема интереса в социологической теории. Л.: ЛГУ, 1964.
2. *Здравомыслов А.Г.* Методология и процедура социологических исследований. М.: Мысль, 1969.
3. *Здравомыслов А.Г., Ядов В.А.* Человек и его работа в СССР и после. М.: Аспект-Пресс, 2003.
4. *Ядов В.А.* Современная социологическая теория как концептуальная база исследования российских трансформаций. СПб.: Интерсоцис, 2006.
5. Структурно-функциональный анализ в современной социологии / Под ред. А.Г. Здравомыслова. Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации. 1968. № 6. Вып. 1.
6. *Маркс К., Энгельс Ф.* Сочинения: Т. 2. 2-е изд. М., 1955. С. 89.
7. *Здравомыслов А.Г.* Социология российского кризиса. М.: Наука, 1999.
8. *Halsey A.H.* A history of sociology in Britain: Science, literature and society. Oxford: Oxford University Press, 2004.
9. *Здравомыслов А.Г.* Новая концепция социализма и процесс демократизации // Советское государство и право. 1989. № 5.
10. *Здравомыслов А.Г.* Новое видение социализма и процесс политизации массового сознания. Советское государство и право. 1989. № 8.
11. *Здравомыслов А.Г.* Поле социологии в современной России: дилемма автономности и ангажированности в свете наследия перестройки // Общественные науки и современность. 2006. № 1.
12. *Здравомыслов А.Г.* Немцы о русских на пороге нового тысячелетия: Беседы в Германии. М.: РОССПЭН, 2003 .
13. *Батыгин Г.С.* Предисловие // Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999. С. 12.
14. *Здравомыслов А.Г.* Социология конфликта: Россия на путях преодоления кризиса. М.: Аспект-Пресс, 1994 (2-е изд., доп., 1995; 3-е изд. доработ. и доп., 1996).
15. *Ядов В.А.* «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 3. С. 2–11; № 4. С. 2–10.

16. *Здравомыслов А.Г., Ядов В.А.* Отношение к труду и ценностные ориентации личности рабочего // Социология в СССР: Т. 2. М.: Мысль, 1965.
17. *Здравомыслов А.Г., Ядов В.А.* Влияние различий в содержании и характере труда на отношение к труду // Опыт и методика конкретных социологических исследований / Под ред. Г. Глезермана. М.: Мысль, 1965.
18. *Докторов Б., Б.А. Грушин.* Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13.
19. *Здравомыслов А.Г.* Пропаганда и ее восприятие. Социологическое исследование эффективности / ССА, ИКСИ АН СССР. Л., 1969.
20. *Здравомыслов А.Г.* Методология и процедура социологических исследований. М.: Мысль, 1969.
21. *Здравомыслов А., Докторов Б.* Альтернативная оценка структурных элементов рабочей ситуации / Общ. ред. А.Г. Здравомыслова // Информационный бюллетень ССА. 1968. № 9.
22. *Здравомыслов А.Г.* К вопросу о типологии образа жизни в социалистическом обществе // Социологические исследования. 1974. № 2. С. 88–89.
23. *Здравомыслов А.Г.* Потребности, интересы, ценности. М.: Политиздат, 1986.
24. *Староверов В.И.* Преимущество научной мысли – важнейшее условие развития марксистско-ленинской социологии // Социологические исследования. 1982. № 1. С. 188–196.
25. New developments in Marxist sociological theory. Modern social problems and theory / Ed. by A Zdravomyslov. London: SAGE, 1986.
26. *Весоловский В.* Классы, слои и власть: Пер. с польского / Под ред. А.Г. Здравомыслова. М.: Прогресс, 1981.
27. *Здравомыслов А.Г.* Межнациональные конфликты в постсоветском пространстве. М.: Аспект-Пресс, 1997.
28. *Здравомыслов А.Г.* Осетино-ингушский конфликт: перспективы выхода из тупиковой ситуации. М.: РОССПЭН, 1998.
29. Граждане новой России: кем себя ощущают и в каком обществе хотели бы жить (1998–2004) // Российская идентичность в условиях трансформации. Опыт социологического анализа / Отв. ред. М.К. Горшков и Н.Е. Тихонова. М.: Наука, 2005. С. 32–44.



Лапин Н. И. – окончил философский факультет МГУ, доктор философских наук, чл.-корр. РАН. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва. Основные области исследования: история социологии, социология инноваций, организации и управления, культуры. Интервью состоялось в 2006-2007 годах.

Невозможно написать даже самый краткий очерк о становлении послевоенной советской социологии, не указав на значение научных разработок и организационной деятельности Николая Ивановича Лапина. Он – философ, социолог и историк социальной мысли, благодаря его усилиям как редактора советские обществоведы получили возможность ознакомиться со многими классическими работами по философии и социологии; ряд книг советских социологов увидели свет лишь благодаря решительной поддержке Лапина. В конце 60-х он участвует в разработке концепции Института конкретных социальных исследований АН СССР, ныне – Института социологии РАН. Под его руководством в начале 1970-х был осуществлен крупномасштабный, многоцелевой проект по организации промышленного предприятия. К сожалению результаты этой работы большого коллектива авторов были опубликованы лишь через три десятилетия. Николай Иванович был инициатором создания Российского общества социологов и его первым Президентом.

**Н.И. Лапин:
«НАША
СОЦИОЛОГИЯ
СТАЛА ПОЛЕМ
ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ,
СВОБОДНЫХ
ОТ ИДЕОЛОГИ-
ЧЕСКОГО
ДИКТАТА»***

**Из базовой классики
я бесконечно обязан Карлу Марксу**

Николай Иванович, мои интервью по электронной почте и личные беседы с социологами первого поколения (Грушин, Заславская, Здравомыслов, Кон, Шляпентох, Ядов) все же не позволяют понять, из чего произросла советская социология. Мамардашвили говорил: «Что, Зиновьев из Бердяева, что ли вырос? Да ничего подобного – из полупьяного лейтенанта Советской Армии. И Грушин... из обыкновенного, банального комсомольского активиста...». Из ответов моих собеседников получается, что земские социологи на нее никак не влияли, работы Ленина по развитию капитализма не влияли, работы Маркса – мало влияли. А что же влияло? Вы что, все выросли «прос-то» из социальной атмосферы «оттепели»? Что можно сказать о русской классической литературе и писателях-поэтах шестидесятниках?

* Социологический журнал. 2007. № 1. С. 141–175.

Конечно, Борис Зусманович, интервью с участниками событий, как и мемуары, – субъективны, они позволяют уточнить детали событий, постановку проблем, формулировки гипотез, но трудно ожидать взвешенной верификации гипотез, объективных решений проблем, поскольку отсутствуют специальные исследования оснований и последствий возобновления советской (российской) социологии в конце 1950-х – 1960-х годов XX столетия. Для решения этой задачи есть все предпосылки, одна из них – интервью с непосредственными участниками процесса. Я тоже поделюсь своими воспоминаниями и оценками. И начну с того, что косвенно побудило меня заняться социальными науками, социологией [1].

Этому способствовал комплекс обстоятельств, прежде всего, атмосфера повышенной социальной ответственности взрослых и детей предвоенного, военного и первого послевоенного времени, а также личные склонности. Приведу несколько штрихов, которые помогут лучше понять генезис моего отношения (как одного из шестидесятников) к социальной реальности.

Общее социальное настроение у меня, 8–10-летнего мальчика, было оптимистичным. Была гордость за успехи только что построенного в стране социализма: это постоянно утверждалось по радио и в учебниках (будучи первоклассником, я старался не отставать от брата Юрия, который учился в шестом классе, и с жадностью читал его учебники и другую литературу). В этом возрасте я завел тетрадь фольклора, в которую записывал народные выражения, песни, баллады, сказки – прочитанные и услышанные. Однако тогда же в мое сознание проникла и социальная тревожность. Ее питали такие факты, как вымарывание в школьных учебниках портретов арестованных партийных деятелей, предупредительный арест симпатичного строителя-армянина, соседа по коммунальной квартире, поражение советских войск в финской войне и др. Но это была тревога за успехи, достигнутые советским народом.

Прямая опасность существованию народа, созданная нападением фашистской Германии, вызвала подъем патриотизма, советского и национального. 22 июня 1941 г. мы с отцом отправились навестить в роддоме маму: накануне родилась моя сестренка. Приехав утром на электричке из Текстильщиков, где мы жили, на Курский вокзал, мы подошли к скоплению людей, слушавших по громкоговорителю речь В.М. Молотова. Находясь в этом множестве людей, я непосредственно воспринял отпор агрессору как общее дело всего советского народа. Это чувство многократно усилилось с началом бомбардировок Москвы; фугасная бомба разрушила крыло нашей школы, а волна от ее взрыва выбила окно в нашей комнате; во время

бомбежек взрослые дежурили на крыше и относили зажигательные бомбы в ящики с песком. Добавлю, что при эвакуации наш поезд попал под бомбежку: нам приказали выбраться из вагонов и спрятаться в лесополосе рядом с железной дорогой. До сих пор помню, как немецкие самолеты, скорее всего это были штурмовики, несколько раз заходили вдоль дороги и стреляли из пулеметов. Были жертвы, но нам повезло, остались целы.

Вскоре после начала войны отец был мобилизован в действующую армию; строитель по профессии, он служил в мосто-строительных войсках. Присылал с фронта письма-треугольники, каждый приход почтальона воспринимался с надеждой и острой тревогой; я пытался понять что-то большее между подцензурных строк писем. Отец прошел всю войну, из наград выше всего ценил Орден Красной Звезды; был демобилизован в декабре 1945 г.

Все военные годы я с матерью и сестрой жил у тетушки в деревне Гуляевская, в десятке верст от районного центра Мышкино, который расположен на Волге, между Угличем и Рыбинском. Местные жители говорили о таких как мы: «выковыренные» вместо «эвакуированные». До сих пор перед глазами стоят такие картины. Весной 1942 г. женщины нашей деревни (колхозной бригады) впряглись в плуг вместо лошадей, которых забрали для армии, и пахали землю под свой, «бригадный» картофель. Вскоре районное начальство пресекло эту «самодетельность», стали запрягать в плуг колхозных коров. Или такое: после стычки с председателем на колхозном собрании молодую женщину с городским сознанием собственного достоинства (она самоэвакуировалась из Ленинграда) отправили в трудовой лагерь на Север; после реабилитации 1956 г. она вернулась больная и недолго прожила.

Мне неожиданно повезло с деревенской школой, в которой я учился в годы эвакуации в пятом-седьмом классах. Школа находилась в двухэтажном доме бывшей помещицкой усадьбы села Артемьево, в 7 км от нашей деревни; мы, деревенские мальчишки и девчонки, добирались до нее пешком, зимой – на лыжах, иногда на коньках. А повезло нам с директором этой школы. Его величали Дмитрий Иванович Петропавловский, но школьники и даже многие взрослые звали его просто ДИП. Он был из семьи священнослужителя, до революции учился в Оксфорде и Кембридже, готовился к работе и жизни профессора. После революции часть его родственников репрессировали, а самого направили «в глушь» школьным учителем. Затем ДИП стал директором, преподавал историю и заменял заболевших преподавателей по всем предметам; особенно любил рассказы

вать об эпохе Петра I и его подвигах. Он был оптимистом, очень любил детей, шутливо «наказывал длинной указкой» за их выходки, а отличившимся дарил в конце учебного года книги из своей личной библиотеки с напутственными посланиями. После пятого класса я получил от него большой том «Илиады» и «Одиссеи» Гомера в переводе Жуковского и тем же летом запомнил значительную их часть наизусть. ДИП остался в моей памяти как Учитель с большой буквы.

По школьной программе и вне ее я зачитывался повестями, рассказами, поэмами Николая Некрасова, Глеба Успенского, позднего Льва Толстого, других русских писателей второй половины XIX столетия. Подспудно формировалась ориентация: полнее знать правду о жизни крестьян, простых людей своей страны. Позднее, не без влияния писателей-шестидесятников, эта ориентация оформилась сознательно.

В декабре 1945 г., после демобилизации, отец, воспользовавшись льготой фронтовика, перевез нас в Текстильщики. Я вернулся в свою 475-ю школу, которая в годы войны стала мужской и оставалась неполной средней, – тогда в Текстильщиках вообще не было мужской средней школы. В мае 1946 г. мы закончили 7-й класс – последний класс этой школы. На запрос директора о ее преобразовании в полную среднюю из РОНО поступил отказ: мало мальчиков, желающих продолжить учебу. Я и трое моих друзей (Игорь Меркулов, Сергей Павлов, Семен Тевлин) отправились в министерство образования РСФСР. Нас приняла женщина – заместитель министра; мы с жаром объяснили ей, что хотим учиться, и заверили, что в нашем рабочем поселке есть и другие мальчики, желающие получить полное среднее образование. И свершилось простое чудо: министерство разрешило преобразовать нашу школу в полную среднюю. В 8 классе я стал председателем Совета пионерской дружины; мне довелось принимать в пионеры и «воспитывать» Фреда Бородкина, будущего талантливого математика-социолога (он, конечно, и сейчас ворчит, но зла на меня не держит).

Школу я окончил в 1949 г. с золотой медалью и поступил на философский факультет МГУ, программа которого была наиболее широкой. Тем же летом меня направили в составе отряда факультета в подшефный МГУ колхоз: в д. Саблино Зарайского района Рязанской области. В этом отряде я познакомился со многими интересными студентами на год-два старше меня: Игорем Блаубергом, Борисом Грушиным, Юрием Карякиным, Иваном Фроловым... Грушин сразу создал стенгазету нашего отряда, где подвергал нещадной критике колхозное начальство, а я всячески помогал ему как «знаток» сельской жизни.

В студенческие годы, на третьем-пятом курсах, я пытался всерьез разобраться в социальном устройстве советского общества, писал курсовые и диплом о «диалектике формирования базиса и надстройки»; моим научным руководителем был Г.Е. Глезерман. Эту проблематику я хотел продолжить в аспирантуре, но в деканате сочли ее не очень подходящей (диалектика – значит, противоречия!) и направили меня на кафедру истории зарубежной философии, которой руководил Т.И. Ойзерман. Как и другие студенты, я был в восторге от его лекций по истории философии марксизма и с интересом стал вникать в проблемы формирования взглядов К. Маркса: почему и как он перешел от идеализма к материализму и коммунизму. Социальные проблемы и здесь оказались в центре моего внимания.

Ваш «Молодой Маркс» давно признан классикой советской философии и социологии. Но не уверен, что сегодняшние социологи читают эту работу. У меня три вопроса. Первый: как бы Вы сегодня сформулировали основные идеи той книги? Второй: что по условиям того времени, конца 1960-х, Вы не сказали в той книге, хотя могли, было желание? Третий: что сейчас, спустя четыре десятилетия, Вы могли бы добавить к сказанному тогда?

На первом этапе исследований мне удалось реконструировать начальные фазы формирования взглядов Маркса. Вникая в логику текстов его ранних произведений, я обнаружил нестыковки отдельных фрагментов. Возникли вопросы, затем гипотезы относительно неполной аутентичности публикаций. Для проверки гипотез я выполнил кропотливый, подчас полудетективный текстологический розыск. Для этого пришлось интенсивно поработать в Центральном партийном архиве с фотокопиями рукописей Маркса, особенно «Экономическо-философских рукописей 1844 года». Это позволило обнаружить ряд структурных ошибок в публикациях рукописей. Впоследствии они были устранены международной редколлегией при подготовке MEGA -2 [2].

Сегодня, как и во время работы над этой книгой, я считаю главными в ней три аспекта. Первый – методологический: мне удалось выявить и продемонстрировать не вполне сознававшийся самим Марксом, отчасти спонтанный характер его перехода от идеализма к материализму. Как младогегельянец-атеист, молодой доктор философии не мог рассчитывать на место преподавателя в Германии того времени и обратился к политической журналистике. Став автором, вскоре главным редактором буржуазно-демократической «Рейнской газеты» (1842 г.), он углубился в анализ конкретных фактов жизни

немецких трудящихся, прежде всего крестьян Рейнской провинции, а также ответной реакции чиновников и депутатов сословного ландтага (парламента) на действия крестьян. По мере этого анализа идеалистический подход Маркса к социальной реальности стал незаметно для него самого становиться материалистическим; менее чем через год, испытав влияние Фейербаха, Маркс подверг Гегеля первой развернутой критике и стал последовательным материалистом.

Второй, главный аспект моей книги – социально-политический: я старался показать безукоризненную логику и самоотверженную смелость молодого Маркса в отстаивании интересов трудящихся и разоблачении сословно-классового эгоизма чиновников как агентов бюрократической государственной машины. Третий аспект – текстологический, о котором я уже упомянул; прежде всего, это доказательство одновременного, параллельного создания Марксом фрагментов о трех источниках доходов, – в процессе этой работы и родилась у него гениальная синтезирующая идея об отчужденном труде.

Я сознавал определенную рискованность этих демонстраций, как и вообще изучения молодого Маркса (в отличие от зрелого), но не мог поступить иначе, потому что был убежден в правильности своей реконструкции формирования его взглядов. Многих читателей «Молодого Маркса» увлекала драматургия биографических и текстологических изысканий, а с нею передавался и актуальный подтекст многих сюжетов книги, которые воспроизводили демократически-гуманистический характер мировоззрения основателя марксизма. Сегодня я мог бы акцентировать применимость методологии и выводов Марксовой критики бюрократии к советской и постсоветской государственной машине, а также более глубоко соотнести позиции молодого и зрелого Маркса.

По книге «Молодой Маркс», которая вышла в 1968 г., я защитил докторскую диссертацию в Институте философии (директор Института П.В. Копнин, ознакомившись с книгой, дал мне два летних месяца для подготовки диссертации). Книга выдержала еще два русских издания и переведена на 8 языков. Я получил за нее Государственную премию СССР (1983).

Исследование методологии и ценностных ориентаций молодого Маркса стало для меня школой освоения научного подхода к получению эмпирических данных и их осмыслению как социальных фактов и процессов. В книге и ряде статей я акцентировал социологический характер методов получения данных, которые Маркс использовал в 1842–1843 годах как автор и главный редактор «Рейнской газеты».

Мне думается, что часть российских социологов отказывается от марксизма, пытается противопоставить ему иные философские концепции. Что Вы по этому поводу скажете? Что можно сказать о перспективах марксизма в России?

С утверждением идеологического плюрализма в нашем обществоведении, прежде моноидеологичном, стало естественным принимать или не принимать те или иные учения, в том числе марксизм. Теперь это вопрос личного выбора каждого обществоведа. Важен, конечно, не только сам по себе «выбор», но и то, как он рефлексивируется, какая используется аргументация, какие при этом реализуются профессиональные и ценностные ориентации. Между тем нередко, как и прежде, только не под идеологически-административным давлением, а по привычной инерции мышления, наблюдается либо полный отказ от всех идей Маркса, либо безоговорочное их принятие; то и другое малопродуктивно.

Добавлю, что я никогда не утрачивал интереса к методологии Маркса – молодого, зрелого и позднего. При необходимости возвращаюсь к его произведениям: не столько для цитирования, сколько для самопроверки [3].

По моим представлениям, методология и многие идеи Маркса остаются одним из важнейших достижений мировой социальной мысли, которое взаимодействует с другими достижениями и эволюционирует вместе с ними. Надеюсь, это относится и к мейнстриму российских социальных наук, включая социологию.

Рассказывая об изучении молодого Маркса, Вы незаметно перешли от философии к социологии. Но это совсем другая материя. Кем Вы себя считаете: больше философом или социологом? Работа в каких направлениях социологии была более успешной?

На первый из этих вопросов кратко можно ответить так: мои научные интересы находятся в двух смежных областях знания – в социальной философии и в социологии, нередко на их стыке; не случайно специальность, по которой в 1987 г. я был избран членом-корреспондентом РАН, называется «философия и социология».

Еще студентом, в первой половине 1950-х годов, я заинтересовался применением социально-философского подхода (тогда – исторического материализма) к изучению конкретных проблем формирования советского общества, диалектики взаимодействия его «базиса и надстройки»; с середины 1950-х, в аспирантуре, я углубился в историю становления социально-философских воззрений Маркса; с середины 1960-х годов по настоящее время я веду эмпирические и теоретические исследова-

дования в области социологии; с середины 1980-х стараюсь сочетать социологические и социально-философские исследования актуальных проблем российского общества; такое сочетание позволяет находить новые ракурсы исследований и приносит удовлетворение.

В этой эволюции научных интересов для меня особенно важны два аспекта: а) периодическое обновление проблематики, развитие методологии исследований, обогащение теоретической и эмпирической информации по изучаемым проблемам; б) установление взаимосвязей между этими проблемами, комплексный, социологический и социально-философский их анализ.

К этому можно добавить, что философия – это *alma mater* многих наук, в том числе социологии. Так было с О. Контом и другими основателями социологии. Вспомним также, что профессиональное социологическое образование было учреждено в СССР только в 1989 г. Многие социологи-шестидесятники имели экономическое, историческое, психологическое, юридическое, математическое и иное базовое образование. С другой стороны, многие известные социологи, не имея базового философского образования, стали докторами философских наук. Такая ситуация сохранялась вплоть до 1980-х годов. При этом каждый торил свою тропу к социологии, этой новой для себя и общества области знания.

В целом я могу обозначить свой профессиональный путь весьма традиционно: от социально-философской теории к социальной практике, вновь к теории и т.д. Первые 12 лет (1954–1965) доминировали интересы в области истории социальной философии, прежде всего – формирование марксизма как цельного учения. При этом я испытывал определенное влияние диалектических идей, которые разрабатывали Э.В. Ильенков, А.А. Зиновьев, Б.А. Грушин, М.К. Мамардашвили...

С Мерабом я учился в одной студенческой группе, был на одной кафедре в аспирантуре, несколько лет работал с ним в «Вопросах философии», в отделе критики зарубежной философии и социологии (он вел статьи по философии, я – по социологии). Заведующим отделом был сначала Г.П. Францев, затем – почти наш ровесник Ю.А. Замошкин [4].

В 1962 г. я был заведующим новой редакции литературы по истории философии в издательстве «Мысль», где создал две серии книг: «Философское наследие» и «Мыслители прошлого». В первой издавались классики мировой философии, в том числе Гоббс, Локк, Лавров и другие социальные мыслители. Мне посчастливилось наблюдать за составительской и авто-

русской работой таких выдающихся философов, как В.Ф. Асмус, А.Ф. Лосев, В.В. Соколов. К составлению и редактированию тома сочинений Шеллинга удалось привлечь молодого Сергея Аверинцева, который прекрасно подготовил тексты и сопроводил их картинами живописцев – друзей и современников философа. Самоотверженную работу по редактированию переводов вели М.И. Иткин, В.С. Костюченко, другие редакторы.

Я также постоянно интересовался работами по социальной тематике, которые подготавливались в соседней, философской редакции (ее руководила И.А. Кадышева, с которой, как и со многими сотрудниками редакции, у меня сложились добрые отношения). В 1965 г. директор издательства Порываев попросил меня дать внутреннюю рецензию на рукопись книги А.Г. Здравомыслова и В.А. Ядова «Человек и его работа», поскольку поступила авторитетная внешняя рецензия, в которой выражались большие сомнения в целесообразности издания книги в представленном виде. Я горячо поддержал издание рукописи, предложив снять только одну, последнюю главу, в которой авторы полемически сопоставляли свою позицию с позицией одного из американских социологов и которая вызвала наибольшие возражения рецензента и сомнения директора издательства. Авторы согласились, и книга была опубликована. В новом, недавно вышедшем издании, эта глава, естественно, восстановлена.

Спасибо, Николай Иванович, что вспомнили эту историю. А вот как ее рассказал мне Владимир Ядов: «При подготовке книги “Человек и его работа” издательство “Мысль” запросило официальную рецензию у Коли Лапина. Коля ничего нам об этом не говорил и рассказал, какова была обстановка, лишь после недавней публикации вместе с Андреем Здравомысловым “Человека и его работы в СССР и после” [5], в которой мы восстановили главу о советских и американских рабочих с пояснением, что цензура ее изъяла в первом издании. Коля, получив подаренную нами книгу, звонит по телефону и говорит: “Что вы там нафантазировали? Какая цензура? Вы знаете, что редакция вообще отказывалась принять работу только потому, что был подзаголовок “Социологическое исследование”? Я, обормоты, вас спас, предложив убрать пятую главу”... продолжим...

В 1966 г. я по приглашению Г.В. Осипова перешел из издательства в сектор новых форм труда и быта Института философии, где в то время работали В.В. Колбановский, Н.Ф. Наумова (моя сокурсница), В.Б. Ольшанский и еще немало будущих сотрудников Института конкретных социальных исследований; научно-техническим сотрудником сектора была

будущая жена известного философа А.А. Зиновьева, который в то время также работал в Институте философии, в секторе логики. Моей основной задачей стало содействие Г.В. Осипову в развитии сектора (который вскоре стал большим отделом социологических исследований) и при подготовке документов для «инстанций», обосновывающих необходимость создания Института социологии АН СССР.

Наряду с этим я занимался социологическим самообразованием: посещал различные семинары, читал доступные книги (особенно меня заинтересовали «Социометрия» Морено и исследования неформальных групп в индустриальной социологии). В 1967–1968 гг. я разработал и реализовал программу своего первого эмпирического исследования «Роль поощрений и наказаний в первичном производственном коллективе (участок мастера)». Основная идея состояла в том, чтобы выяснить, как воспринимают различные поощрения и наказания руководители, которые применяют эти меры воздействия (мастера), и их подчиненные (рабочие) – индивиды и первичные трудовые коллективы (бригады, члены которых связаны сетью неформальных отношений друг с другом); какие имеются сходства и противоречия в восприятии тех и других субъектов, как это сказывается на эффективности различных видов поощрений и наказаний. Замечу, что эта тематика ныне вновь стала весьма актуальной, но почти не исследуется.

При содействии отдела науки московского обкома КПСС (активно помогал инструктор отдела Н.Н. Бокарев, впоследствии социолог, ныне профессор МГСУ) я получил доступ на Подольский завод швейных машин – бывший завод «Зингер». Вместе с двумя младшими научными сотрудниками (Т.С. Сыровой и В.Н. Шаленко) удалось провести сплошное обследование 27 участков мастера: втроем мы получили около 500 часовых интервью, включавших социометрические вопросы. Образовалась гора материалов, которые удалось лишь частично обработать, несмотря на изматывающий режим. Впервые я попытался использовать методы факторного (латентного) анализа социометрических данных, обратившись за помощью к математикам из ЦЭМИ.

В философии у Вас определено были учителя, а в социологии?

Непосредственно своими учителями, старшими по возрасту, превосходящими меня по знаниям, положению, повлиявшими на становление моих взглядов, я считаю академиков Теодора Ильича Ойзермана (история философии марксизма) и Джермена Михайловича Гвишиани (социология организаций, системный подход). Из базовой классики я бесконечно обязан

Карлу Марксу. Значительный след в моей душе оставили работы Петра Лаврова, который, с моей точки зрения, создал на российской почве основы активистской концепции личности (двухтомник его произведений я издал, работая в «Мысли»).

Собственно социологии, теоретической и методической, я во многом научился у своих друзей и коллег. Это А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов: я уже говорил, что в 1965 г. стал одним из первых читателей (в рукописи) и почитателей книги «Человек и его работа». В 1968–1970 гг. в ИКСИ я слушал лекции Б.А. Грушина, И.С. Кона и Ю.А. Левады, постоянно общался с ними. Вспоминая наши дебаты по проекту «Социальная организация» (1970–1972) с участием Н.Ф. Наумовой, А.И. Пригожина, В.Б. Ольшанского, Г.В. Осипова, О.И. Шкаратана и других сотрудников. В.Н. Шубкину я благодарен за его методологию изучения профессиональных ориентаций школьников, писательский талант и личное общение. Мне глубоко импонируют системно-деятельностные идеи, разработанные И.В. Блаубергом, В.Н. Садовским и Э.Г. Юдиным, в том числе в применении к социологии. Можно назвать еще немало друзей-коллег, диалоги с которыми существенно повлияли на мою работу.

Из социологической классики 1930–1970-х годов глубокое впечатление произвели на меня работы Толкотта Парсонса (со времени работы над проектом «Социальная организация») и Питирима Сорокина (я достаточно освоил его труды лишь в 1990-е годы, при разработке социокультурного подхода). Назову также Мишеля Крозье, с которым я познакомился на VI социологическом конгрессе в Варне (1970 г.), в исследовательском комитете по социологии организаций (Крозье два срока был президентом этого комитета, а я одним из вице-президентов). Российская общественность недостаточно знакома с его трудами, такими как «Бюрократический феномен», «Организации: системы и люди» и др.; они до сих пор не переведены на русский язык.

Важнейшие проекты

Вернемся к основным Вашим исследованиям в социологии.

После создания ИКСИ я стал заместителем, затем руководителем генерального проекта «Социальная организация промышленного предприятия: соотношение планируемых и спонтанных процессов».

Программа проекта включала шесть основных и три дополнительных специальных программы общим объемом около 35

п.л. В ее подготовке было задействовано свыше 20 специалистов, многие из которых впоследствии стали весьма известными (М.И. Бобнева, В.В. Колбановский, Н.Ф. Наумова, В.Б. Ольшанский, А.И. Пригожин, А.В. Тихонов, О.И. Шкаратан и др.). В проекте участвовали многие молодые сотрудники, в том числе мои аспиранты: Н.В. Андреевкова, которая ныне является одним из руководителей Международного института сравнительных социологических исследований; В.Н. Шаленко, впоследствии профессор МГУ и МГСУ, один из лидеров Российской ассоциации конфликтологов; Ю.Л. Неймер – в советские годы был руководителем социологической службы министерства электротехнической промышленности СССР (на базе НИИ в Харькове), в постсоветское время переехал из Украины в США, где продолжает работать как журналист и социолог, недавно издал в России солидную книгу «Из стабильности в кризис», в которую вошли основные его работы советского, украинского и американского периодов жизни и творчества.

В ходе работы над проектом (1968–1973) мне удалось внести определенный вклад в разработку концепции и методологии *социологии организаций*, опирающейся на отечественные реалии. Назову те результаты, к которым я имел отношение как автор или соавтор. Была создана концепция социальной организации (СО) предприятия как системы социальных групп (СГ): макросоциальных (профессионально-квалификационных, этнических, социально-демографических), целевых (несколько уровней формальных групп), социально-психологических (неформальные группы). Данная система СГ формируется на пересечении нескольких потоков социальных процессов, идущих от индивидов, поселения (города), отрасли народного хозяйства, общества. Эти процессы включают как планируемые, так и спонтанные факторы. Характер их соотношения влияет на эффективность выполнения организацией ее функций по отношению к ее членам и к обществу, а также и к самой себе как системному целому. Соответственно, проблема соотношения планируемых и спонтанных процессов была определена как ключевая для всего проекта, что в условиях советского общества, базирующегося на центрально-планируемой экономике, воспринималось как некий вызов. Участниками проекта был подготовлен и апробирован комплексный инструментарий (более 70 методических документов) для широких эмпирических исследований данной проблемы, которые планировалось развить к середине 1972 г.

Однако осенью 1971 г. академик А.М. Румянцев был уволен с постов директора ИКСИ и вице-президента АН СССР;

полгода я был временно исполняющим обязанности директора и старался «не навредить» сотрудникам института, смягчая угрозы и удары извне. В апреле 1972 г. был назначен новым директором института – член-корреспондент АН СССР М.Н. Руткевич. Он, в союзе с амбициозным секретарем МГК КПСС В.Н. Ягодкиным, начал административное давление на проект и его сотрудников: мол, в нем сильно влияние буржуазной концепции Парсонса и вообще – о каких спонтанных процессах может идти речь в плановой экономике!? Через год ведущие сотрудники проекта – Э.М. Коржева, Н.Ф. Наумова, А.И. Пригожин – при прохождении по конкурсу были забаллотированы «обновленным» ученым советом института. Большой отдел был свернут в малый сектор. В июне 1973 г. проект формально был прекращен, а его материалы сданы в архив под грифом «для служебного пользования». Через месяц, сдав специально созданной комиссии дела по акту, я вместе с названными сотрудниками ушел из института, который активно создавал всего пять лет назад.

Тем не менее, идеи и методы проекта не исчезли. Более того: они определили логику становления и дальнейшего развития отечественной социологии организаций. До закрытия проекта его участники опубликовали и подготовили к печати 98 работ общим объемом 286 п. л. После окончания проекта они опубликовали около 40 монографий и тематических сборников, а всего на их счету свыше 600 публикаций по данной тематике [6]. Я рад, что удалось сохранить и спустя треть века после закрытия проекта полностью опубликовать его материалы [7]. Теперь стало очевидно, что большая часть проблематики, теории и методологии современной отечественной социологии организаций и управления выросла из проекта, разработанного на рубеже 1960–1970-х годов.

Прошло более трех десятилетий после прихода в Институт социологии М.Н. Руткевича и, скажу так, начала его организационной деятельности. Многие говорят, что он разогнал институт, но есть и более жесткие оценки – «погром». А вот его слова: « Многое было предрешено». Как сегодня Вы оцениваете деятельность Руткевича?

Первоначально М.Н. Руткевич заявил о себе как способный философ. Я помню шумную защиту его докторской диссертации по философским проблемам физики, проходившую в Институте философии при большом стечении публики. Впоследствии, став заведующим кафедрой философии в Уральском университете, он помогал начинавшим исследованиям социологической лаборатории. Его перевод в ИКСИ (вместо вы-

двинутой ранее кандидатуры Г.Л. Смирнова) был осуществлен при поддержке консервативной части московских философов и работников аппарата ЦК КПСС. Именно ими «многое было предрешено», в том числе предварительно обговорено с будущим директором, который и должен был непосредственно решать поставленную задачу «разгона», «погрома» ведущих социологов Института. Он осуществил это не просто как послушный исполнитель, а как инициативный и очень энергичный начальник.

С приходом Руткевича начался новый период в жизни института. После удаления из него многих талантливых людей стали говорить, что осталась «дырка от бублика». Хотя те, кто остался, несмотря ни на что, продолжали делать свое дело, и они достойны уважения. Дело не в том, что мы «сами ушли», как бесстрастно констатирует Руткевич. Он сознательно создал ситуацию, в знак протеста против которой многие были вынуждены уйти. Я всегда очень сожалел об этом.

Руткевич действовал достаточно убежденно, искренне, хотя и сознавал неприглядность ряда своих акций. Я не слышал, чтобы он хотя бы в чем-то раскаялся. Напротив, он постоянно оправдывает свои действия и упрекает тех, кто стал их жертвой. В целом его сегодняшняя позиция остается скорее просоветской. Что тут скажешь? Время уже рассудило: каждому – свое.

Историю исследования «Социальная организация промышленного предприятия» недавно подробно описал Юрий Неймер [8]. Можно теперь попросить Вас перейти к следующему Вашему крупному проекту?

После ухода из ИКСИ нашу небольшую команду, по рекомендации Д.М. Гвишиани, приняли в Институт проблем управления (ИПУ) АН СССР. Здесь мы были под опекой заместителя директора, члена-корреспондента АН СССР (затем академика РАН) С.В. Емельянова и установили творческие контакты с математиками, которые интенсивно занимались моделированием социально-экономических объектов и процессов, – В.Н. Бурковым, В.А. Геловани, Ю.Н. Ивановым, и многими сотрудниками их отделов и лабораторий. Тогда начал формироваться наш интерес к моделированию глобального развития и инноваций в организациях.

Этот интерес получил развитие во Всесоюзном научно-исследовательском институте системных исследований (ВНИИСИ) ГКНТ и АН СССР, который создал Д.М. Гвишиани в середине 1976 г. – институте нового типа, ориентированном на междисциплинарные исследования комплексных проблем.

Мы пришли в этот институт при его создании, вместе с другими подразделениями ИПУ, которыми руководил С.В. Емельянов. Кроме того, в этот институт пришли крупные экономисты из ЦЭМИ АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР (затем академика РАН) С.С. Шаталина и известные специалисты в области организационного управления из Института США и Канады АН СССР под руководством Б.З. Мильнера.

Мы оказались в бурлящем потоке идей, исходивших от множества достаточно молодых и амбициозных ученых самых разных специальностей, и включились в создаваемую Д.М. Гвишиани междисциплинарную программу «Системное моделирование глобального и регионального развития», создав в ней проект «Философские и социологические проблемы глобального развития». Вскоре мы стали осуществлять собственный проект: «Нововведения в организациях: социологические проблемы». Затем мне было предложено стать координатором проекта стран-членов СЭВ «Социальные аспекты развития и применения микропроцессорной техники».

В рамках последних двух проектов был сформирован и реализован системно-деятельный подход к исследованию нововведений, заложены основы социологии инноваций в СССР. Развито понимание нововведения (инновации) как комплексного процесса инновационной деятельности, мотивированного на максимальное распространение новшества; введены понятия «интенсивное нововведение», «пучок инноваций», «инновационный поток». Обоснован системно-воспроизводственный характер инновационного процесса, выявлены два его типа: простое и расширенное воспроизводство (тиражирование). При моем непосредственном участии и под моим руководством разработана методология эмпирических исследований инновационных процессов. Активными участниками проекта были А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, другие сотрудники социологической лаборатории ВНИИСИ. Цикл работ по этой тематике был опубликован в ежегодных Трудах ВНИИСИ (9 выпуск: 1979–1987). Я был ответственным редактором обеих серий.

По мере развертывания исследовательских проектов на месте небольшой лаборатории, пришедшей из ИПУ, мне удалось создать во ВНИИСИ достаточно крупный и влиятельный отдел философских и социологических проблем системных исследований. В него входили три лаборатории: общесистемная (рук. И.В. Блауберг), социологическая (рук. Н.И. Лапин) и философская (рук. И.В. Новик). Авторитетным изданием не только отдела, но и всего института стал ежегодник «Системные исследования». Он и ранее был широко известен, а теперь

приобрел новое качество и более широкую аудиторию. Руководителем редколлегии был Д.М. Гвишиани, а самую активную работу вел В.Н. Садовский при поддержке своих давних коллег – И.В. Блауберга, Э.М. Мирского, А.И. Яблонского и др.

Я рад, что и после моего ухода из ВНИИСИ отдел продолжает успешно работать. В этом большая заслуга В.Н. Садовского, который руководит отделом с 1984 г. А я изредка бываю у них в гостях и даже реализовал вместе с ними проект «Социальная информатика: основания, методы, перспективы» (грант РФФИ, 1996–1998). Его результаты опубликованы в виде книги под тем же названием.

Таким образом, во ВНИИСИ мне пришлось работать по нескольким дисциплинарным направлениям: социологическому, философскому, отчасти и общесистемному. Особенно меня интересовали стыки этих направлений, поиски возможностей совместного их применения при изучении той или иной сложной проблемы.

Я так понимаю, что вскоре такая возможность Вам представилась...

Это верно. Весной 1983 г., накануне 100-летия со дня смерти К. Маркса, комплекс трудов В.П. Кузьмина, Н.И. Лапина и Т.И. Ойзермана по проблемам формирования и развития взглядов Маркса был удостоен Государственной премии СССР. К тому времени директором Института философии стал член-корреспондент АН СССР Г.Л. Смирнов, который много лет работал заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС, а среди обществоведов стал также известен своей книгой «Советский человек». Он давно знал меня и пригласил на международный философский конгресс, который проходил осенью того же года в Монреале. Я выступил с докладом. Затем Смирнов попросил меня возглавить небольшую делегацию молодых философов на советско-болгарском семинаре по проблемам философии повседневности (от Института в делегации были Н.С. Автономова, В.А. Подорога). Семинар проходил в Болгарии, в пансионате в горах; мы на неделю погрузились в феноменологию Шютца и вели интригующий курс в терминах «всекодневия» (болг.); я впервые осваивал методологию Шютца и пытался использовать ее для понимания позиции молодого Маркса. Но я еще не догадывался, что все это время опытный партработник Г.Л. Смирнов примерял меня для работы в Институте философии. Весной 1984 г. он предложил мне стать его заместителем.

Около месяца я находился в глубоких сомнениях. Чуткое понимание, советы и поддержку на этом и других перекрестках своего пути я неизменно получал и получаю от своей

жены Ирины. Было очевидно, что уход из ВНИИСИ означает расставание со слаженной исследовательской командой и прекращение работы над обоими проектами. Но, с другой стороны, грызли сомнения: не засиделся ли я в роли зав. отделом, не пора ли дать возможность другим проявить себя? К тому же работа стала приносить все меньше удовлетворения: результаты оставались невостребованными обществом, в котором зрел системный кризис, а в рамках ВНИИСИ проблематика отдела постепенно отходила на второй-третий план, уступая место оборонным и иным заказам. В Институте философии, ведущие сотрудники которого были мне хорошо знакомы еще со студенческих лет, я надеялся встретить большую востребованность своих подходов и опыта связи с практикой. В итоге я согласился и в мае 1984 г. приступил к работе в качестве заместителя директора Института философии.

В середине 1986 г. Г.Л. Смирнов был приглашен М.С. Горбачевым в качестве его помощника, а я вскоре был назначен директором Института. Через два года я вынужден был оставить эту должность «по собственному желанию», но и после этого продолжал работать в том же институте: создал Центр изучения социокультурных изменений, а в последнее время также руковожу отделом аксиологии и социальной антропологии.

С середины 1980-х годов я сосредоточил свой исследовательский интерес на стремительно обострявшемся кризисе советского общества. Став членом-корреспондентом АН СССР (1987), я создал при Отделении философии и права Научный совет АН СССР «Диалектика развития социализма на современном этапе» и приступил к подготовке программы исследований (1988). После распада СССР Научный совет был преобразован в Центр изучения социокультурных изменений (ЦИСИ) Института философии РАН (в научном совете и ЦИСИ моим активнейшим помощником стала Л.А. Беляева). Разрабатывая программу исследований, я, с одной стороны, опирался на интереснейшие дискуссии в Институте философии, которые я проводил в 1987 г., будучи его директором, и которые затем опубликовал в виде сборника «Философское сознание: драматизм обновления» (1991). С другой стороны, я заново изучил конкретные факты истории советского общества. В итоге пришел к следующим выводам: 1) социализм в СССР находится на ранней стадии, неадекватен сущности его зрелого состояния; 2) фундаментальное противоречие раннего социализма составляет тотальное отчуждение человека, предвиденное Марксом в «Экономическо-философских рукописях»; это отчуждение структурировано на семь взаимосвязанных слоев, из них перестройка затронула лишь первые два и забуксовала перед третьим; 3) под действием то-

тального отчуждения ранний социализм оказался в состоянии общего кризиса, чреватого катастрофой советского общества. Эти выводы я сообщил в докладе на заседании Отделения (доклад был встречен настороженно критически) и опубликовал в статье «Тотальное отчуждение и общий кризис раннего социализма» («Вестник АН СССР», 1990, № 5).

Размышляя над способами эмпирического анализа общего кризиса, я решил сосредоточиться на изучении *динамики ценностей населения* как побудителей выбора того или иного направления на перекрестке кризисных дорог. Возник замысел проекта «Наши ценности сегодня» в контексте социальных интересов населения.

Как реализовать этот замысел? Масштаб СССР был для меня непосилен, а регионально-областной масштаб – непредставителен. Требовалось взять в качестве объекта население РСФСР. Но ССА не имела общероссийской структуры. В начале 1989 г. я предложил Президиуму ССА создать Российское общество социологов (РОС) как республиканское (в масштабе РСФСР) подразделение ССА. Предложение было поддержано, и в сентябре того же года РОС был учрежден. Подготовленный мною проект «Наши ценности сегодня» был принят на учредительном собрании как приоритетный для отделений РОС на ближайший год. И действительно, многие отделения РОС, в том числе Северо-Западное, существенно помогли в проведении первой волны опросов, которое впоследствии стало мониторингом «Наши ценности и интересы сегодня». Вспомним, что никаких грантов тогда не было, интервьюеры работали на общественных началах.

Основной методический документ проекта – бланк интервью, включавший более 150 вопросов, – готовился такими специалистами, как А.Г. Здравомыслов, В.В. Колбановский, Н.Ф. Наумова, В.А. Ядов, при участии нескольких аспирантов и молодых научных сотрудников, пилотировавших группы вопросов. Методическую чистоту инструмента контролировали Г.М. Денисовский и П.М. Козырева. Контроль за выборкой, факторный и иной статистический анализ данных (на ЭВМ) осуществлял А.О. Крыштановский и другие сотрудники Вычислительного центра Института социологии. Я отслеживал реализацию в документе общего замысла, координировал обсуждения, продолжавшиеся с осени 1989 г. до мая 1990 г., принимал окончательные решения по группам вопросов и по документу в целом. В начале мая 1990 г. документ был утвержден. В июне – начале июля был проведен репрезентативный опрос. Он подтвердил многие гипотезы, в том числе пессимистичные, допускавшие возможность катастрофы СССР.

С тех пор прошли еще четыре волны опросов, с интервалом в четыре года: в 1994, 1998, 2002 и 2006 гг. (последние три волны – в июне, поскольку в современной России это спокойное социальное время года). Построена социокультурная модель базовых ценностей населения России, разработана методология эмпирического их измерения, выявлены структура и вектор эволюции базовых ценностей населения трансформируемой России. Показано, что в целом растет поддержка россиянами либеральных ценностей, но этот процесс имеет противоречивый характер: либеральными становятся быстро повысившие свое влияние инструментальные ценности, а наиболее влиятельные терминальные ценности остаются традиционными. Это расхождение поддерживает возникшую ранее аномию в обществе; вопрос в том, закрепится ли оно в качестве устойчивого или приобретет характер диалога, обещающего возникновение более сложной структуры базовых ценностей россиян. Обостряется противоречие между ценностью свободы человека и незащищенностью его важнейших прав, не обеспеченной его безопасностью. Это блокирует потенциал ценностей свободы, независимости, инициативы, качественного труда граждан.

Результаты исследований по данному направлению опубликованы в коллективных трудах под моей редакцией и при моем авторском участии: «Ценности социальных групп и кризис общества» (М.: ИФРАН, 1991), «Кризисный социум: наше общество в трех измерениях» (М.: ИФРАН, 1994), «Динамика ценностей населения реформируемой России» (М.: УРСС, 1996). Я попытался обобщить полученные результаты в книге «Пути России: социокультурные трансформации» (М.: ИФРАН, 2000), а также в ряде статей в журналах «Социологические исследования», «Мир России». В настоящее время проводится анализ результатов последнего опроса. Ключевой в нем стала тема «Социальное самочувствие россиян и их отношение к институтам власти».

Не могли бы Вы сказать по результатам этого теоретико-эмпирического исследования, в чем специфика российской ментальности? Есть и вопрос более сложный: «Что же такое русскость?». Об этом сейчас многие задумываются, например, Борис Фирсов. Что может объединять русских поморов и русских казаков, кроме православия?

Наверное, в методологическом плане «русскость» – феномен того же порядка, что и «немецкость», «французскость» и т.п. Русская поморов и казаков объединяет прежде всего их общая этничность, язык, его концептосфера (Д. Лихачев), ре-

лигия, в целом культура. Хотя очевидны и различия в образе жизни, институтах и др. Сложнее вопрос о специфике русской ментальности. Парадокс в том, что этот вопрос меньше интересует этнически русских специалистов, нежели нерусских. При этом последние редко сравнивают русскую ментальность с ментальностью своего родного этноса. От этого страдает качество получаемых результатов, немало односторонних мифологем выдаются за научно обоснованные результаты относительно «специфики русскости». Не менее сложной является и проблема специфики российской ментальности, в отличие от русской, как и вообще российской цивилизации.

Наше исследование ценностей не дает достаточных оснований для выводов по этой тематике, поскольку оно представительно для России в целом и для собственно русских (в соответствии со статистикой, около 80% генеральной совокупности), но не для сопоставлений с иными этносами. Мы пытаемся найти приемлемое решение, сопоставляя результаты нашего мониторинга с данными этносоциологических исследований. Но пока было бы преждевременно делать выводы.

Николай Иванович, что вырисовывается в целом, как можно обобщить то, что Вами сделано за многие годы работы в философии и социологии и на стыке этих наук?

В качестве обобщающего итога таких поисков я назову *антропосоциетальный подход*, позволяющий понять общество и личность как целостную динамичную систему, которая включает три основных компонента: действующих индивидов, культуру и социальность; они взаимопроникают друг в друга, но паритетны по своим основаниям – не сводимы друг к другу и не выводимы один из другого. Динамичным принципом такого целого служит неполное соответствие личностно-поведенческих характеристик индивида и социокультурных характеристик общества. Наблюдаются два исторических типа этого неполного соответствия, или два типа обществ: традиционное (закрытое) и либеральное (открытое, модернистское). Их различия проявляются в интегральных характеристиках (функциях, структурах, процессах) каждого типа общества. Но это не раз навсегда заданные различия «институциональных матриц», а исторически меняющиеся различия антропосоциетальных систем: по мере изменения действующих субъектов (индивидов, социальных групп, территориальных сообществ) прежний тип общества может трансформироваться в иной.

Интегральный антропосоциетальный подход позволил по-новому осмыслить социокультурные трансформации российского общества как целого, в том числе современную его транс-

формацию в общеевропейском и евро-азиатском контекстах. Первые результаты я изложил в монографии «Пути России: социокультурные трансформации» (М.: ИФРАН, 2000) и ряде статей.

Развернутое понимание антропосоциетального подхода я предложил в учебном пособии «Общая социология», которое опирается на авторский курс лекций и семинаров по этой дисциплине. Первоначально я читал его студентам социологического факультета МГУ, затем – магистрам ГУ-ВШЭ, специализирующимся по экономической социологии. В соответствии со структурой и проблематикой этого пособия подготовлена «Хрестоматия по общей социологии»; вместе со мной ее составителем является А.Г. Здравомыслов, который обеспечил отбор и редактирование переводов большого числа текстов, ранее не переводившихся на русский язык, – я глубоко благодарен Андрею Григорьевичу за сотрудничество в работе над «Хрестоматией» и вводными статьями к ее текстам. Кроме того, А.М. Долгоруков подготовил «Практикум по общей социологии», использующий опыт семинаров в МГУ, которые он вел по моему курсу. В итоге, впервые в России создан учебный комплекс по общей социологии, включающий базовое пособие, хрестоматию и практикум. Подготовка этого комплекса стала возможна благодаря гранту, полученному по единственному конкурсу на учебные пособия, который несколько лет назад провел РГНФ совместно с Министерством высшего и среднего образования РФ. Все три части комплекса выпустило в 2006 г. издательство «Высшая школа». Они имеют гриф УМО по классическому университетскому образованию Минобрнауки РФ в качестве учебных пособий.

Антропосоциетальный подход отнюдь не замыкается в рамках высоких абстракций. Его базовые понятия доступны операционализации и эмпирическим измерениям, о чем свидетельствует 17-летний опыт мониторинга «Наши ценности и интересы сегодня». Данный подход позволяет делать выводы количественного и качественного характера. Один из важнейших качественных выводов состоит в том, что ныне в России стабилизируется новый социальный порядок, который, с одной стороны, имеет тенденцию сближения с развитыми сообществами (типа Европейского союза), а с другой – характеризуется более высокой гетерогенностью: его институциональное пространство резко кластеризовано и представляет собой множество параллельных миров, а социокультурное – избыточно резко дифференцировано как по вертикали, так и по горизонтали (территориально). Попытки преодоления существующей гетерогенности имеют однозначный, жесткий характер, кото-

рый противоречит системным качествам современных обществ – качествам нелинейности и гибкости, обеспечивающим более адекватные ответы на внутренние и внешние вызовы, способность предвидеть и смягчать многочисленные риски.

Сумеют ли основные российские акторы (президент, правительство, парламент, политические партии и другие структуры гражданского общества) осознать сложившийся дефицит системных качеств нашего общества, выработать и реализовать стратегию снижения такого дефицита? Это один из вопросов, в поисках решений которого трудно обойтись без участия социологов.

В СССР долгие годы вообще не было социологических исследований, но потом возникли суперпроекты: исследование деревни Заславской, «Правда» Шляпентоха, грушинский «Таганрог», Ваш проект по социальной организации промышленного предприятия. Не кажется ли Вам, что эти феномены – две стороны тоталитаризма? Ведь параметры суперпроектов не вытекали ни из каких оптимизационных принципов. Власть хотела – помогала, хотела – закрывала. Вы ждали три десятилетия, чтобы рассказать об итогах проекта, Борис Грушин по сути только сейчас пытается все рассказать...

Думаю, ответ на этот вопрос требует конкретного подхода. Действительно, отсутствие социологических исследований было следствием тоталитаризма, которому противопоказана объективная информация о нем. Возобновление эмпирической социологии, в том числе возникновение суперпроектов, стало одним из проявлений начавшегося латентного кризиса тоталитарной системы. Власть нуждалась в социологии, чтобы лучше понять, в какой ситуации она оказалась. Как только она начала понимать опасность этой информации, то стала жестко дозировать деятельность тех социологов, которые ее производили. Прежде всего, консервативные круги партийных «инстанций» перетряхнули ИКСИ, удалив из него энтузиастов объективной информации и введя более контролируемых специалистов.

Но процесс социологических исследований «пошел» и давал всплески нежелательной информации в самых неожиданных местах. Слабевшая власть уже не могла контролировать ее локальные очаги; в ходе перестройки этот контроль вовсе прекратился.

Лишь недавно А. Здравомыслов и В. Ядов издали полный текст «Человека и его работы»; Вы через 30 лет после завершения опубликовали итоги исследования социальной организации промышленного предприятия; книгу Я. Капелюша по выборности на предприятии отпечатали, но потом весь тираж уничтожили; лишь после смерти

В. Голофаста его друзья смогли опубликовать подготовленную под его редакцией книгу о семье в крупном городе, ее текст был распылен после корректурной вычитки... Эти и подобные примеры, не говоря о самоцензуре, дают возможность предположить, что анализ советских социологических публикаций не позволяет историкам науки сейчас, тем более – в будущем сделать обоснованный вывод о результатах исследований советских социологов в конце 1960-х – начале 1980-х годов. Что Вы думаете по этому поводу?

Думаю, что эти опасения сильно преувеличены. Да, приведенный Вами перечень фактов можно продолжить. Но все же их число и объем содержащейся в них информации несоизмеримо меньше генеральной совокупности публикаций советских социологов. Гораздо важнее проблема реинтерпретации уже опубликованных результатов. Именно этим и занимается в последние годы Борис Грушин, по-новому осмысливая «четыре жизни России», в свое время отраженные в зеркале опросов общественного мнения, но тогда не вполне адекватно интерпретированные.

Напомню, что первоначальный замысел Бориса был еще грандиознее: он намеревался вместе со Шляпентохом представить миру всю совокупность информации, полученной советскими социологами: собрать ее, перенести на электронные носители в современном дизайне и кратко реинтерпретировать. Но дело уперлось в... деньги, и немалые, требовавшиеся для этого суперпроекта. Как написал Борис в предисловии к первому тому «Четырех жизней России», в США Шляпентох не получил на этот проект ни доллара, даже Дж. Сорос ответил отказом, а в России положительно откликнулся только РГНФ. На его скромные гранты и ведет Б. Грушин свою самоотверженную работу, уже в границах исследований общественного мнения (по сути, в рамках собственных исследований).

Но Вы, Борис Зусманович, правы в том отношении, что проблема существует. Ее решение требует интенсивной работы. Ваш проект – интервью с шестидесятиниками – очень важный шаг в этом направлении. Необходим широкий круг кандидатских и докторских диссертаций по этой проблематике, в центре и регионах. Тон этой работе мог бы задать Институт социологии РАН.

Есть ли перспектива у современных российских социологов для проведения суперпроектов? Может, новые задачи и неустойчивость социального мира не предполагают наличия таких проектов?

Объективно потребность в крупных, комплексных проектах возрастает по мере стабилизации нового социального порядка. Новые власти не торопятся поддерживать такие проекты, как и российскую науку вообще. Бизнес также держит деловые органи-

зации подалее от социологов, а если и позволяет приблизиться, то без права публикации результатов. Деятельность коммерческих социологических служб ограничена оперативными заказами. Остается поддержка со стороны фондов, но их гранты достаточны лишь для реализации небольших проектов, хотя сами по себе они имеют большое, прежде всего поисковое значение.

Одно из решений проблемы я вижу в создании типовых программ и методик исследований крупных проблем. Если на их основе будет проведено некоторое множество локальных исследований, то возникает шанс получить масштабные результаты путем вторичного анализа локальных, но сопоставимых данных. Подобную попытку я предпринимаю в последнее время, чтобы реализовать программу «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов». Центр изучения социокультурных изменений, который я создал в Институте философии РАН полтора десятка лет назад и которым продолжаю руководить, подготовил типовую программу и методику «Социокультурный портрет региона». На первой конференции, которую мы провели в июне 2005 г. в ИФРАНе, эту программу поддержали специалисты, работающие в 20 субъектах Российской Федерации. Многие из них уже сейчас ведут в своих регионах исследования по данной методике. В сентябре нынешнего года на базе Тюменского государственного университета при энергичной поддержке его ректора Г.Ф. Куцева и председателя областной думы Г.С. Корепанова состоялась вторая конференция, где мы проанализировали опыт работы по типовой методике. Третья конференция запланирована в 2007 г. на базе Курского государственного университета. Надеюсь, по мере подготовки портретов регионов удастся создать «Социокультурный атлас России».

Часто слышишь, что современная социология переживает кризис. Согласны ли Вы с подобной оценкой? Какова, с Вашей точки зрения, тенденция современной российской социологии?

Требуется критически осмыслить содержание понятия «кризис» в науках о человеке и обществе, в том числе в социологии. Необходимо принять во внимание ситуацию в смежных областях знания, прежде всего, в психологии и экономике (следует также учитывать ситуацию в истории и некоторых других областях, но это сложно изложить в рамках интервью).

Многие психологи испытывают перманентное ощущение кризиса своей науки, это происходит с момента ее рождения. В последние десятилетия ситуация усугубилась, приняв форму кризиса рационалистической психологии. Основу такого самосознания специалистов составляет целая совокупность методологических «комплексов» психологии: ее непохожесть

на естественные науки, ее практическая неполноценность и другие. Адекватно ли такое самовосприятие?

Нет, не адекватно, считает А.В. Юревич, автор монографии «Психология и методология» (2005, глава 3), избранный в мае 2006 г. членом-корреспондентом РАН по специальности «психология». Опираясь на «Эволюционную эпистемологию» К. Поппера, он полагает, что обилие соперничающих теорий, которое считается одним из главных симптомов кризиса психологической науки, – не недостаток, а преимущество. Наука развивается путем построения и проверки догадок (я бы предпочел сказать – гипотез), и чем больше версий, тем больше шансов угадать. Поэтому все основные направления психологической мысли – бихевиоризм, психоанализ, теория деятельности и т.д. – являются важными вехами развития психологии, а не артефактами. Эту позицию он называет *методологическим либерализмом*.

В рамках этой позиции психологическое объяснение всегда будет разноуровневым, многослойным; при этом каждый слой обладает самостоятельной значимостью и принципиально не заменим ни одним другим. Вывод автора состоит в том, что необходимо научиться не только добывать, но и правильно вычленять и оформлять получаемое знание «именно как научное: в виде законов, закономерностей и законоподобных утверждений» (Юревич А.В. Психология и методология. М.: Ин-т психологии РАН, 2005. С. 271). Вместе с тем сама позиция методологического либерализма – лишь одна из возможных методологических перспектив.

Экономисты также мучаются над сакраментальным вопросом: есть ли кризис в современной экономической теории? Академик РАН В.М. Полтерович понимает под кризисом такое состояние теории, в котором она не может решить поставленные ею основные задачи принятыми методами. Симптомами такого состояния в экономической теории служат: слишком большое число отрицательных теоретических результатов; неустойчивость эмпирических результатов относительно правдоподобных модификаций исходных гипотез; формализм теории, дедуктивное выведение основных ее предположений из ограниченного числа принципов или основных предпосылок без оглядки на проблемы реального мира; и др. (см. В.М. Полтерович. Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. 1998. № 1).

Что же происходит с современной экономической теорией? Интересную попытку ответа на этот вопрос предпринял член-корреспондент РАН В.С. Автономов. Как известно, в экономической науке, в отличие от других общественных наук,

выделяется так называемый мейнстрим (основное течение) – те направления, предшественники которых широко публикуют свои труды в ведущих журналах, награждаются премиями (особенно Нобелевскими) и которые приоритетно преподаются в ведущих университетах. Его состав непостоянен, меняется со временем. В последние десятилетия ядро мейнстрима образует неоклассическая теория, основанная на предположении о рациональном (максимизирующем целевую функцию) поведении человека и равновесном состоянии мира. Помимо ядра, в 1980-е годы мейнстрим включил новый институционализм и консолидировался на неоклассической основе. Кроме мейнстрима, экономическая наука включает общую теорию и множество частных подходов, а также методов, совокупностей данных и т.п.

По оценке В.С. Автономова, экономическая наука в целом находится в постоянном латентном кризисе, поскольку сохраняет завышенные амбиции, претендуя на уяснение общих законов экономики и, соответственно, получает завышенные требования к себе от общества. С 1990-х годов мейнстрим становится более разнородным, гетерогенным: он начал вбирать в себя экспериментальную экономику, теорию ограниченной рациональности, теорию сложности, эволюционную экономику. Слабым местом в экономической методологии является отсутствие правил применения отдельных инструментов к конкретным ситуациям, неразвитость искусства выбирать модели, подходящие к современному миру. В настоящее время собственно кризис переживает неоклассика; вернее, она преобразуется на новой технической базе.

Вывод: «экономистам следует проявить методологическую скромность и отказаться от притязаний на открытие универсальных или устойчивых законов экономической жизни общества» (В.С. Автономов. Методологические проблемы современной экономической науки // Вестник Российской академии наук. 2006. Т. 76. № 3. С. 208).

Социологи тоже не первое десятилетие задаются вопросом о кризисе своей области знания. Особенность постановки этого вопроса в социологии состоит, на мой взгляд, в том, что он в явном виде соотносится с вопросом о кризисе самого общества как предмета исследований. Общество меняется, обретает новые характеристики, переходит в качественно новое состояние, – соответственно, прежние социологические концепции, подходы оказываются в кризисе: они утрачивают способность его обьяснять и сменяются новыми. Это произошло, например, со структурным функционализмом в 70-е годы XX столетия. В середине 1980-х годов практически одновременно (в 1984-м «году Оруэлла»,) появились работы Э. Гидденса, Н. Лумана,

А. Турена, в которых предложены новые подходы. Из них наиболее перспективным стал активистский, деятельностный подход, который выражал новую роль человека, социальных акторов в меняющемся современном обществе. Это можно продемонстрировать на примере Европейского союза, в тенденции – Сообщества европейских народов.

Сказанное в полной мере относится к современной российской социологии. Приводится немало аргументов в доказательство того, что она находится в состоянии кризиса, особенно в области общей теории, образования и также в целом как самостоятельная наука. Но имеются и противоположные аргументы, свидетельствующие о ее успехах, подъеме. По-видимому, российская социология пережила *трансформационный кризис* – радикальную трансформацию, соответствующую социальной трансформации самого общества, – в котором имелись как деструктивные, так и конструктивные тенденции.

После бурного подъема российской (советской) социологии в 60-х – начале 70-х годов XX в. наступило десятилетие латентной ее стагнации (середина 1970-х – середина 1980-х годов). С началом перестройки, гласности, плюрализации идеологической жизни советского общества кризис российской социологии стал явным. Начался переход советских (российских) социологов от восприятия марксистской парадигмы как «единственно верной» к освоению и использованию различных социологических теорий и подходов, циркулирующих в современной мировой социологии, и к поиску собственных подходов – словом, переход к легитимации полипарадигмальности своей профессии. Ключевую роль в этом переходе сыграл Институт социологии АН СССР (РАН) и, прежде всего, его директор В.А. Ядов, который предложил и обосновал полипарадигмальность как главный вектор эволюции института и всей российской социологии. Развернутую аргументацию своей позиции он изложил в книге «Современная теоретическая социология как концептуальная база российских трансформаций» (СПб., 2006). Выше мы видели, что по тому же пути идут психологи («методологический либерализм») и экономисты («плюрализм в экономической теории»). Надо полагать, этот вектор стал ядром мейнстрима всех российских социогуманитарных наук.

В рамках жанра интервью я не стану перечислять множество проявлений трансформационного кризиса российской социологии. Несомненно, было немало потерь: сокращение финансовой базы исследований в первой половине 1990-х годов; закрытость многих деловых и других организаций для исследований и публикации их результатов; разрозненность эмпирических исследований, их низкая сопоставимость; экстенсив-

ный рост преподавания при подчас существенном снижении его качества и т.п. С другой стороны, в целом наша социология вышла или выходит из кризиса компьютеризованной и увеличившей свой научный багаж: разработаны несколько концепций кризиса российского общества (см. А.Г. Здравомыслов. Социология российского кризиса. М., 1999); дано развернутое представление теории и методологии анализа социального механизма его трансформации (Т.И. Заславская. Социетальная трансформация российского общества. М., 2002); происходит переосмысление собственного прошлого (Социология в России / Под ред. В.А. Ядова; Б.А. Грушин. Четыре жизни России в зеркале общественного мнения; и многое другое). Дифференцированный анализ различных слоев социологического знания – тех, которые все еще остаются в состоянии кризиса, и тех, которые уже вышли из него, – представляет интересную исследовательскую задачу.

Возможно, это покажется излишне оптимистичным, но я рискнул бы предположить, что по мере выхода российской социологии из трансформационного кризиса она вносит свой вклад в *мейнстрим мировой социологии* (если можно говорить о таком). По аналогии с экономической наукой, социологический мейнстрим – это не только доминирующая парадигма или даже метапарадигма, а своеобразный комплекс концепций, подходов и методов, которые наиболее влиятельны на данном этапе развития социологической науки, ее практических приложений и профессионального образования. Он структурирован: имеет относительно устойчивое ядро и более изменчивые сопутствующие компоненты. Одной из наиболее вероятных кандидатур на номинирование в качестве ядра социологического мейнстрима служит деятельностный, активистский подход, или метапарадигма. К ней тяготеют социетально-трансформационный анализ, антропосоциетальный подход и ряд других компонентов, многие из которых рассмотрены в названной выше книге В.А. Ядова о современной теоретической социологии. Так вырисовывается новый вектор методологических исследований в области социологии: от изучения кризиса тех или иных парадигм к выявлению процессов формирования мейнстрима современной социологии, в том числе российской.

Как Вы объясняете процесс активного междисциплинарного развития в общественных науках? Означает ли это, что социология уступает место другим социальным и гуманитарным наукам, например, социальной антропологии, психологии, культурологии?

Этот вопрос служит продолжением предыдущего и не менее обширный. Я постараюсь ответить на него возможно кратко.

Прежде всего, следует учитывать, что междисциплинарные взаимодействия в общественных науках и вообще в науке имеют давнюю историю. Фундаментальным их основанием служит существование «ничейных полей» на границах между предметами различных наук. На стыковых полях выросли новые дисциплины: физическая химия, химическая физика, химическая биология и др. То же можно сказать о социальной психологии, экономической социологии, социальной антропологии и др. При этом ни одна из базовых дисциплин не перестала существовать.

Другим основанием междисциплинарности служат комплексные проблемы, различные грани которых относятся к предметам разных наук. Классическим примером служат глобальные проблемы, совокупность которых ныне свидетельствует о сверхкомплексном процессе глобализации. Для интенсивных исследований такого рода проблем в начале 70-х годов XX в. были созданы международные научные организации нового, междисциплинарного типа: Римский клуб, Венский совет, Международный институт прикладного системного анализа (ИИАСА), Международная федерация исследований автоматизированных систем (ИФИАС). Они не без оснований позиционировали себя как «мосты в будущее» междисциплинарных, а в контексте холодной войны даже межправительственных, межстрановых взаимодействий. Активную роль в их подготовке, создании и функционировании сыграли выдающиеся советские ученые, прежде всего академик Д.М. Гвишиани, являвшийся заместителем председателя ГКНТ СССР по международным научно-техническим связям (подробнее см.: Д.М. Гвишиани. Мосты в будущее. М., 2004). Национальным аналогом таких организаций стал созданный Д.М. Гвишиани в 1976 г. Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ) ГКНТ и АН СССР. Недавно этот институт, ныне Институт системного анализа, отметил свое 30-летие. Опыт работы во ВНИИСИ и участия в глобальном и инновационном проектах ИИАСА убедил меня в высокой эффективности такого рода междисциплинарных организаций. Представляя различные дисциплины, сотрудники этих организаций при изучении комплексных проблем нередко выдвигали новые, междисциплинарные научные направления. Но никогда не ставили вопрос о «закрытии» каких-либо существующих дисциплин.

Нынешний этап междисциплинарного развития в общественных науках характеризуется еще более глубоким взаимопроникновением подходов и методов различных дисциплин. Наблюдается рост влияния социологии культуры, происходит

антропологизация социологии и т.п. Постмодернистски ориентированные методологи социальных наук линейно экстраполируют в будущее нынешний рост этого влияния без учета иных потенциальных процессов, подчас поддаются соблазну декларировать в обозримом будущем поглощение социологии смежными областями знания.

С моей точки зрения, которая отчасти изложена в ответе на предшествовавший вопрос, более адекватной будет интерпретация наблюдаемых процессов как изменений в структуре формирующегося мейнстрима современной социологии. Они служат симптомами потребности социологии в новых подходах, которые бы поднимали культуру вровень с социальной структурой – как две паритетные и взаимопроникающие компоненты общества как социетальной системы, а деятельность человека – вровень с самой социетальной системой как ее внутренний движитель. Я откликнулся на эту потребность разработкой социокультурного подхода, который затем трансформировал в антропосоциетальный подход. О нем я скажу позднее.

Убежден, что следует не пасовать перед конкурентным давлением иных дисциплин, не завораживать себя идеей «конца социологии», как и «конца истории», а активно разрабатывать актуальные социологические проблемы, коим нет конца, как нет конца человеку и обществу, их истории (разумеется, с учетом ограничений, налагаемых биофизическими параметрами планеты Земля).

«Я сумел помочь институционализации социологии»

До сих пор мы говорили преимущественно о Вашей научной работе. Но ведь Вы давно преподаете социологию. Что привлекает Вас в этой области?

Действительно, я свыше 30 лет преподаю социологию: в МГУ им. М.В. Ломоносова, Государственном университете – Высшей школе экономики, Государственном университете управления. В последнее десятилетие преподавание занимает у меня не менее трети рабочего времени. Я подготовил и прочитал около десятка авторских курсов для будущих социологов – студентов и аспирантов, бакалавров и магистров МГУ, МГСУ, ГУ-ВШЭ, ГУУ. Среди них: «Теории социальных групп», «Социология труда, организаций и управления», «Социокультурные системы и процессы», «Динамика ценностей населения современной России (методология исследований, векторы изменений)», «Эмпирическая социология в Западной

Европе», «Социология деловых организаций», «Социология инноваций», «Общая социология (антропосоциетальный подход)». Три последних курса я продолжаю читать в настоящее время. Опубликовал учебные пособия и хрестоматии по эмпирической социологии в Западной Европе и по общей социологии. Среди моих учеников 9 докторов и 28 кандидатов наук. Был членом ряда диссертационных советов, в настоящее время состою в диссертационном совете по социологии ГУ-ВШЭ.

Имея опыт сочетания научной и преподавательской работы, я немедленно откликнулся на создание новой федеральной целевой программы (ФЦП) «Интеграция» (1996 г.): предложил директору Института социологии В.А. Ядову и директору Института социологии и управления МГСУ Г.И. Осадчей подать совместную заявку на конкурс по этой программе. Они с энтузиазмом поддержали это предложение, и мы тут же определили объединяющую нас комплексную тему: «Ценности, интересы, групповые солидарности и социальное управление». Вопреки нашим скептическим ожиданиям (в ФЦП доминировали «технари»), заявка была одобрена. Сформировалась совместная команда ученых и преподавателей, замыслы которой пришлось по душе студентам и части аспирантов МГСУ. На базе ЦИСИ ИФРАН был создан Учебно-научный центр под моим руководством; в Центре исследований социальных трансформаций ИС РАН под руководством В.А. Ядова стала действовать система методологических практикумов для студентов МГСУ; в Институте социологии и управления МГСУ во главе с проф. Г.И. Осадчей организована «академическая школа» молодых социологов. Проводились ежегодные конкурсы студенческих работ, конференции, публикации лучших студенческих научных работ и многое другое. В итоге отчет по проекту за первые два года получил высокую оценку комиссии ФЦП «Интеграция» и был продлен. Результаты четырехлетней работы (1997–2000) отражены в статье трех авторов в «Социсе». К сожалению, затем ФЦП «Интеграция» утратила поддержку Правительства РФ.

Вы затронули некоторые аспекты своей организационной деятельности, связанной с институционализацией советской/российской социологии. Желательно специально рассказать об этом. Насколько полезны, эффективны такие усилия, требующие немалых затрат личного времени?

Оглядываясь на 40 лет жизни в социологическом сообществе, я могу отметить несколько вех своего участия в институционализации нашей области знания. Прежде всего, повторюсь, я участвовал в создании Института конкретных социальных

исследований АН СССР, в особенности на памятном «подвальном» его этапе на Писцовой улице. Главную роль в этом деле выполнял Г.В. Осипов. Я активно помогал ему в этом, чем горжусь. Другое дело, что потом пришлось уйти из ИКСИ. Но Институт социологии сохранился, выжил, развивается и по-прежнему является ведущим социологическим учреждением страны.

При создании ВНИИ системных исследований ГКНТ и АН СССР (1976 г.), основателем которого был академик Д.М. Гвишиани, в этом институте по моей инициативе была образована социологическая лаборатория, затем отдел философских и социологических проблем системных исследований. Я руководил этими подразделениями вплоть до своего перехода в 1984 г. в Институт философии. На счету лаборатории и отдела успешная реализация исследовательских проектов по социологии инноваций и по разработке социологических проблем глобального моделирования. Вплоть до настоящего времени эти подразделения активно работают: отдел – под руководством д.филос.н., профессора В.Н. Садовского, социологическая лаборатория – к.ф.н. Б.В. Сазонова.

Более того, я сумел помочь институционализации социологии в целом как научной и учебной дисциплины в нашей стране. В 1987 г. была образована комиссия ВАК СССР по совершенствованию структуры областей знания и списка специальностей, по которым присуждаются ученые степени (председателем комиссии был назначен выдающийся ученый и замечательный человек академик А.А. Ишлинский). Как директор Института философии мне было поручено возглавить подкомиссию по философии; при этом было рекомендовано ограничиться частными модификациями наименований специальностей. Однако я предложил ввести в перечень ВАКа две новые области знания: «социологические науки» и «политические науки», с дифференциацией каждой области на несколько специальностей. Предложение было активно поддержано Советской социологической ассоциацией (письмо за подписью ее президента академика АН СССР Т.И. Заславской) и Советской ассоциацией политических наук (письмо за подписью ее президента, помощника генерального секретаря ЦК КПСС, члена-корреспондента АН СССР Г.Х. Шахназарова). В контексте идеологической плюрализации комиссия ВАКа, по согласованию с Отделом науки ЦК КПСС, в конце 1988 г. приняла позитивное решение. С 1989 г. в СССР наконец-то стали присуждать ученые степени по социологическим и политическим наукам. Это помогло открытию в том же году социологических (затем и политологических) факультетов в

Московском, Ленинградском и других университетах, общему повышению статуса социологии и политологии в стране.

Как вице-президент ССА я в 1970–1980-е годы осуществлял координацию работы центральных научно-исследовательских секций. В то время в СССР это была основная организационная форма развития и взаимодействия социологических дисциплин: каждая секция регулярно проводила семинары, в которых участвовали добровольцы-социологи из многих городов и республик. К началу 1980-х годов число центральных секций выросло до 35. В республиканских и региональных отделениях ССА действовали около 150 секций. Родным моим детищем стала центральная секция «Социология организаций», которую я создал на базе проекта «Социальная организация промышленного предприятия» и продолжал руководить ею при реализации инновационного проекта ВНИИСИ; она объединяла десятки социологов, которые выросли в крупных специалистов. В конце 1980-х годов она трансформировалась в консультационную ассоциацию. Я считаю, что в рамках РОС желательно воссоздать секцию по социологии организаций и управления.

Не могли бы Вы, пусть совсем кратко, рассказать о возникновении РОС?

Выше я уже затронул этот сюжет. В феврале 1989 г. президиум Советской социологической ассоциации (ССА) поддержал мое предложение и поручил мне организовать учредительную конференцию РОС. Активное участие в ее подготовке приняли В.К. Коломиец, В.Н. Макаревич, Л.Н. Цой, О.И. Шкаратан. В сентябре 1989 г. в МГУ состоялась учредительная конференция, на которой я был избран президентом РОС. Областные и краевые отделения, а также многие исследовательские секции ССА, действовавшие на территории РСФСР, стали консолидироваться в составе РОС. В 1990 и 1991 гг. состоялись годовые конференции российских социологов. После распада СССР, в 1992 г., РОС стал правопреемником ССА – в России и в Международной социологической ассоциации. Большой вклад в развитие РОС в качестве его президентов внесли В.А. Ядов и В.А. Мансуров.

Впоследствии в стране возникли еще несколько социологических сообществ, но РОС остается самым авторитетным. Он сыграл важную роль в проведении первых съездов российских социологов (2000 и 2003 гг.). Готовится третий съезд, который сопряжен с предстоящими 50-летием ССА и 20-летием РОС.

Важной новацией в жизни научного сообщества России стало создание Российского фонда фундаментальных исследова-

ний (РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ). Прежде всего, они помогли выжить многим ученым, научным сотрудникам, их командам и школам. Одновременно они увеличили степень свободы научного творчества – выбора тематики исследований и финансового их обеспечения, а также существенно повысили уровень самоорганизации научного сообщества.

Я рад, что не остался в стороне от этого инновационного процесса: и как грантополучатель, и как эксперт, и как координатор социологической секции РГНФ. Два срока работы координатором (1997–2005) потребовали определенного времени, но и принесли немало удовлетворения.

Координатором секции социологии РГНФ я стал в 1997 г. Тогда гранты по исследовательским проектам составляли в среднем 32 тыс. руб., а конкретное их финансирование находилось в диапазоне от 15 до 70 тыс. руб. Если вспомнить, что тогда 1 доллар США обменивался на 6 руб., то становится понятным, что получение гранта означало выживание для известных, маститых социологов страны и возможность обрести стартовый капитал для новых социологических кадров.

При анализе результатов 1997 г. и заявок на 1998 г. я сделал вывод: в период острейшего кризиса-хаоса российского общества (1992–1995 гг.) социология, как и другие общественные науки, получила своего рода проблемно-тематическую травму, которая обусловила «флюс» тематики в сторону проблем кризиса и злободневных социально-политических конфликтов; затем, по мере адаптации россиян к невероятно трудным условиям «дикого рынка», началась диверсификация социологической проблематики, нарастали ее разнообразие и глубина анализа, происходило постепенное возвращение к нормальному ее спектру.

Проекты, одобренные по итогам 1997 г. и поддержанные на 1998 г., представляли уже свыше 25 областей социологии. В центре внимания находились такие проблемы, как социальная трансформация российского общества, процессы в социально-территориальных и этнических общностях, изменения в социально-демографических ячейках и структурах, динамика компонентов и функций культуры. Возникшая тематика отнюдь не застыла, а эволюционировала вместе с эволюцией общества. По мере адаптации активной части населения к новым условиям во второй половине 1990-х годов начали появляться социологические исследования этого процесса.

В проектах 2000 г. на передний план вышли исследования новых социальных структур и процессов, возникших в контексте радикальных изменений российского общества – структурных, институциональных, поведенческих. Были поддержаны

заявки на изучение этнонациональных конфликтов в разных регионах страны, процессов формирования среднего класса и системы социального партнерства в России, путей перехода к устойчивому развитию и информационному обществу, механизмов социальной защиты различных слоев населения в условиях кризиса, показателей социальной динамики российского общества и др.

В заявках на 2004 г. лидировали проблемы семьи и демографии. Далее следовали проблемы этносоциологии и социальной информации, коммуникаций, социальной политики и социальной работы. Довольно широко представленными оказались такие группы проблем, как трансформация российского общества; история, теория, методы социологии; социальные институты, политика; экономика, культура, наука, религия; социальная структура, образование, молодежь, личность.

Налицо динамизм тематики исследовательских проектов. Ее содержание изменяется не по пятилетним или иным формальным периодам институционального планирования, а постоянно – по мере обнаружения социологами новых вызовов, поступающих от преобразующегося общества. Изменение тематики социологических проектов стало чутким барометром общественной эволюции. Это характерно для большинства научных фондов – как российских (РФФИ, РГНФ, Московский общественный научный фонд и др.), так и международных (фонды Всемирного банка, «Евразия», Карнеги, Макартуров, Сороса, Форда и др.). Более того, тематика грантов уже оказывает заметное влияние на планы исследовательских учреждений: первая служба индикатором жизненности второй. Следовательно, в этих и подобных самоорганизуемых структурах научной жизни, опирающихся на независимую экспертизу, научное сообщество России обрело новый инструмент самокоррекции исследовательской тематики, оперативного ее реагирования на запросы жизни.

Однако время от времени слышатся голоса людей, которые раздражены такой самоорганизацией и призывают ее свернуть. В данном случае я не считаю возможным проявлять сдержанность в оценках таких призывов. Напротив, надо прямо и широко заявлять, что любое свертывание деятельности научных фондов реакционно, потому что препятствует демократическим нормам развития науки, наносит ущерб и без того скромным элементам гражданского общества в России.

Многие обстоятельства, в том числе смерть друзей, заставляют меня задуматься о судьбах моего поколения социологов, идущего непосредственно за Вашим. Условно я называю его (нас) шестиде-

сятилетними: это люди, родившиеся перед самой войной и в годы войны. Границы поколения трудно определить, ибо в науке оно определяется не только возрастом. Есть пессимистическая точка зрения – это потерянное поколение, оно мало сделало в социологии; но есть и более спокойные оценки. Что Вы скажете этому поводу?

Между собой шестидесятники давно обсуждают тему «преемников», но без особых успехов. Сейчас я думаю, что если для шестидесятников весьма существенна характеристика их как компактной возрастной когорты, то для следующих за ними когорт российских социологов эта характеристика менее существенна. Для них более продуктивны другие ракурсы оценок. Например, принадлежность к научным школам.

Социологи-шестидесятники не имели непосредственных предшественников, поэтому многие стали основателями, в дальнейшем лидерами российских социологических школ. Напротив, социологи следующих возрастов входили в профессию, когда такие школы уже возникли. Они оказались перед выбором: или присоединиться к одной из существующих школ; или создать свою школу; или оставаться сами по себе, вне школ.

Перетряска ИКСИ имела одним из печальных результатов дискредитацию, даже разрушение ряда только возникших или возникавших социологических школ (к счастью, далеко не всех). Это дезориентировало значительную часть молодежи, которая начинала свою работу в середине 1970-х – начале 1980-х годов, побудило ее держаться в стороне от профессиональных группирований. Еще большее распространение эта ориентация получила в 1990-е годы, когда во весь рост встала проблема выживания. Охота за грантами способствовала выживанию, но приводила к дроблению профессиональных групп на мелкие, временные. Возникновение нескольких социологических ассоциаций в определенной мере отражает эту ситуацию, а принадлежность к той или иной ассоциации имеет во многом формальный характер. Поэтому вернее говорить не о «потерянном поколении», а об относительно разобщенном социологическом сообществе. Разобщенном относительно, потому что продолжает существовать какое-то количество продуктивных научных школ, сплоченных социологических команд.

Желательно, чтобы наше сообщество стало более интегрированным. Но не в административно-командном смысле, как некоторые мечтают, а в творческом, то есть основанном на возникновении и развитии новых научных школ, равно как и на поддержке существующих, «старых» (надо сознавать, что создать новую команду проще, чем длительное время поддерживать ее творческую активность, продуктивность в качестве

научной школы). Такая интеграция открывает широкое поле для инициативы и амбиций российских социологов всех поколений, особенно молодых.

В заключение хочу спросить: какими Вы видите перспективы российской социологии? Что Вы можете сказать о своих творческих планах?

Вместе с российским обществом и всей нашей наукой социология не просто выжила в 1990-е годы, но и обрела новое качество: она стала полем профессиональных исследований, свободных от идеологического диктата. Это был неоднозначный процесс, крупные потери лишь частично компенсировались обретениями. Результаты фундаментальных социологических исследований ныне еще менее востребованы институтами власти и бизнеса, чем в советское время. Углубилась разрозненность между группами социологов, различающихся по социально-политическим ориентациям.

Наверное, этого не избежать и в дальнейшем. Но было бы неправильно заикливаться на взаимных пикировках – явных или по умолчанию. Пришло время подняться над внутрисоциологической разрозненностью, чтобы стимулировать конструктивный процесс: формировать и систематически демонстрировать всей общественности – ее интеллектуальным, деловым и политическим кругам – социологическое понимание состояния и путей дальнейшей эволюции российского общества, наличие научных школ, продуцирующих такое понимание и достойных общественного признания.

Что касается моих научных планов, то в настоящее время меня особенно интересуют три комплексные задачи. Во-первых, продолжать мониторинг «Наши ценности и интересы сегодня», чтобы общественность могла лучше знать направление, в котором изменяется структура базовых ценностей россиян, их социальное самочувствие и то, как эти изменения сопряжены с социальной мобильностью населения и новой стратификацией общества.

Во-вторых, способствовать созданию картины социокультурного пространства России: его региональной дифференциации и оснований его целостности. Как я выше упомянул, с этой целью ЦИСИ ИФРАН с 2005 г. осуществляет исследовательскую программу «Проблемы социокультурной эволюции России и ее регионов», которая поддержана РГНФ. Опираясь на антропосоциетальный подход, мы в ЦИСИ разработали типовую программу и методику «Социокультурный портрет региона», на основе которой началась подготовка таких портретов в 12 субъектах РФ; в перспективе хотелось бы создать «Соци-

окультурный атлас России». Названная программа, методологические подходы и первые результаты опубликованы в книге «Социокультурный портрет региона» (под ред. Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой; М.: ИФРАН, 2006). По сути, закладываются основы направления, которое можно назвать «социокультурная компаративистика российских регионов».

В-третьих, приходится констатировать, что российский социум еще не обладает системными качествами современного большого общества, способного адекватно отвечать на вызовы внутренней и внешней среды. Существует настоятельная потребность его эволюции в направлении гибкой сетевой системы. Анализ тенденций и форм такой эволюции – перспективная задача всего социологического сообщества нашей страны.

В заключение могу проиллюстрировать известный тезис: жизнь полна неожиданностей; иногда они бывают приятными. Вот и со мною такое случилось уже после того, как я подготовил текст этого интервью. В начале октября 2006 г. на съезде Российской социологической ассоциации, объединяющей преимущественно вузовских социологов страны, от имени этой Ассоциации мне был вручен диплом лауреата премии им. П. Сорокина – почетная награда для российских социологов. Мне она особенно дорога потому, что антропосоциетальный подход опирается на труды этого великого российского и американского социолога.

Большое спасибо Вам, Борис Зусманович, за инициирование этого текста, и тем, кто его читает. Буду рад откликам.

Примечание

1. В тексте использованы материалы моих интервью для «Социологических исследований» (2006, № 8) и «Журнала социологии и социальной антропологии» (2007, № 1). – *Н.Л.*
2. Я весьма благодарен сектору произведений К. Маркса и Ф. Энгельса Института марксизма-ленинизма (ИМЛ) при ЦК КПСС за рекомендацию руководству ЦПА разрешить мне эту работу. Подготовкой этой рекомендации я непосредственно обязан Георгию Александровичу Багатурия, в то время старшему научному сотруднику сектора, с которым я был знаком со студенческих лет; ныне это один из крупнейших в мире знатоков текстов Маркса, председатель Научного совета международного издания Полного собрания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса на языках оригиналов (Marx - Engels Gesamtausgabe, MEGA -2), штаб-квартира которого находится в Амстердаме.
3. В апреле 1998 г., в связи с 180-летием со дня рождения Маркса, в Институте философии состоялась конференция «Карл Маркс и современная философия». Мне было поручено руководить оргко-

митетом по ее подготовке и проведению. В конференции приняли участие известные специалисты Института философии, философского факультета МГУ и ряда других научных центров. Состоялась интересная, подчас острая дискуссия по широкому кругу проблем. В своих выступлениях я подчеркивал актуальность многих философских проблем, связанных с именем Маркса, необходимость непредвзятого, научного их обсуждения, без популистской митинговщины. Материалы конференции опубликованы в виде сборника под тем же названием (1999).

4. И впоследствии я поддерживал контакты с Мерабом. В этих контактах активную роль играла моя жена Ирина – она работала с ним в одном секторе Института истории естествознания и техники АН СССР. Я перезванивался с Мерабом, он бывал у нас дома в Москве, я – у него в Тбилиси: он тогда в своей небольшой комнате с упоением вчитывался в тексты романов Пруста, но с удовольствием отвлекся, чтобы вместе побродить по городу и показать мне любимые места своего детства; мы оказались вместе в командировке в Риме, где Мераб любил посидеть в открытом кафе на улице, подышать атмосферой жизни обычного итальянца (к тому времени он освоил итальянский), его любимым кафе было «Tre scalini» («три ступеньки» вниз, в полуподвал). В 1987 г., когда я был директором Института философии, Мераб по моей просьбе выступил в Институте с докладом «Философия как призвание».
5. *Здравомыслов А.Г., Ядов В.А.* Человек и его работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. М.: Аспект-Пресс, 2003.
6. В том числе я опубликовал свои результаты в двух коллективных монографиях: «Руководитель коллектива» (М.: Политиздат, 1974) и «Теория и практика социального планирования» (М.: Политиздат, 1975) – обе вышли под моей редакцией.
7. Социальная организация промышленного предприятия: соотношение планируемых и спонтанных процессов / Сост. и общая ред. Н.И. Лапина. М.: Academia, 2005 (909 с., 57 п.л.). Хочу поблагодарить профессора В.В. Щербину, редакцию «Социс» за обстоятельную рецензию на это издание (2006 г., № 2).
8. *Неймер Ю.* «Динамит в папильотках» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 3. С. 14–17.



Шляпентох В. Э. – окончил исторический факультет Киевского университета и заочный Московский статистический институт, доктор экономических наук, с 1979 года живет в США, почетный профессор Мичиганского университета. Основные области исследования: методология и методы социологии, социология СМИ, социально-политические проблемы советского/российского общества. Интервью состоялось в 2006 году.

С Владимиром Шляпентохом я знаком очень давно, и нас связывает многое, что в жизни важно ему и мне. Мы оба работали в Институте социологических исследований АН СССР, только он – в Москве, а я – в ленинградском отделении. В те годы его и меня интересовали методические проблемы изучения общественного мнения. В 53 года он уехал из СССР в Америку; пусть в силу иных причин, но в том же возрасте в ту же страну уехал из России я. У нас много общих друзей-коллег, живущих в России и продолжающих активную работу в различных областях социологии. Наши взгляды на развитие российской социологии, на исследование общественного мнения, на политические реалии страны, нередко различны, но нас объединяет интерес ко всему, что происходит в России. Потому и беседа наша, хотя носила биографический характер, охватила множество вопросов развития советской/российской социологии с начала ее возникновения и до сегодняшних дней. Те, кто знает Володю и дружит с ним долгие годы, ценят в нем эрудицию и живое, часто остро дискуссионное отношение ко многому, что происходит в мире социальных отношений и что анализируется нашим профессиональным сообществом. Мне кажется, что эти свойства его мышления присутствуют в нашем интервью.

В. Шляпентох. СОЦИОЛОГ: ЗДЕСЬ И ТАМ*

Долгая дорога в социологию

Володя, в каком году ты родился и что бы ты хотел сказать о твоей семье и детстве?

Я родился в 1926 году. Интересно сравнить мою семью с семьями моих американских коллег. Почти все они – первое поколение с высшим образованием. Этим я во многом объясняю, почему в их сознании культурный пласт, формируемый в семье, столь тонок: почти полное отсутствие интереса к классической литературе и музыке.

Мой дедушка, несмотря на ограничения в дореволюционной России для образования евреев, сумел окончить Киевский университет. В нашей семье был культ литературы, в особенности русской, и,

* Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: ЦСП. 2006. С. 598 – 658

конечно, музыки. Моя мама, окончив Киевскую консерваторию, стала преподавателем фортепиано, а дядя – известным пианистом. И еще. В нашей семье был культ иностранных языков. Начиная с девяти лет у меня были частные преподаватели французского и немецкого языков. И это при том, что материальный уровень жизни был очень скромным. Наверно, мы принадлежали к «среднему» классу городского населения: покупка мне пирожного была неким событием.

Мое детство пришлось на самый жуткий период советской истории – 30-ые годы и окончилось с началом войны. Несмотря на раннюю смерть моего отца, детство было счастливым. Важным его элементом был мой сплоченный класс в школе. Дружба с многими моими одноклассниками – мы учились вместе по седьмой класс – была важной для меня всю мою жизнь.

Во многих семьях не принято было говорить детям о жизни их родственников в дореволюционное время или обсуждать массовые репрессии конца 30-х годов? Как дело обстояло в твоей семье?

В нашей семье широко использовался послереволюционный термин – «мирная жизнь» в России до 1914, что свидетельствовало об отношении к тому времени. К тому же, мой дед по материнской линии до революции был владелец нескольких аптек, а родители отца были домовладельцами и богатыми людьми. Революция была для них катастрофой, и это я знал.

Хотя обе мои тетки были в 20-е годы яростными большевичками, покинувшими отчий «буржуазный» дом в 30-е годы, тема репрессий явно присутствовала во внутреннем семейном общении. В 1940 году к нам в Киеве приходила жена расстрелянного начальника отдела НКВД в Эмильчинском районе Киевской области, где мой отец работал врачом. Она рассказывала моей маме о пытках, которым ее подвергали в НКВД после ареста мужа. Поэтому репрессии 30-х годов не были для меня секретом, и окончательно я понял их природу вместе с моим другом Изей Канторовичем в 1947–1948 годах, когда мы учились в Киевском университете...

Какой след в твоём сознании оставила война? То, что ты узнал о войне позже, изменило твоё отношение к тому периоду советской истории?

Я войну очень хорошо помню. И тогда, и сейчас я считаю, что это была действительно народная война против нацистской Германии. Никакие новые материалы не изменили моего отношения к войне, которое сложилось у меня тогда, когда я воспринимал каждый салют в честь освобождения города как мою личную удачу.

Ты и в юности думал о выборе профессии социальной, гуманитарной направленности или тебе были ближе точные и/или естественные науки?

Я с детства тяготел к гуманитарным наукам, хотя с математикой у меня было все в порядке.

Никто из советских социологов первого поколения не имел базового социологического образования. Куда ты поступал после завершения школы и какое образование получил? Что ты можешь сказать о твоих преподавателях?

Я окончил исторический факультет Киевского университета в 1949 г. и заочный Московский статистический институт в 1950. После университета у меня не было шансов поступить в аспирантуру по понятным причинам и продолжать историческое образование. Мне пришлось работать в Киевском областном статистическом управлении (1949–1951) и читать статистику в статистическом техникуме, который находился в селе Елани Сталинградской области (1951–1954). Потом я работал в Саратове преподавателем статистики: сначала в зооветеринарном, а потом в сельскохозяйственном институтах. В 1962–1969 годах я преподавал статистику и историю экономических учений в Новосибирском университете, а с 1969 до эмиграции в 1979 работал в Институте социологических исследований (ИСИ) РАН СССР в Москве.

Киевский университет, в котором я учился в 1945–49, вспоминаю с отвращением, хотя и помню несколько неплохих преподавателей. Это было заведение, в котором отставной майор, преподаватель философии, начинал лекцию о Канте словами «Кант родился в городе Калининграде».

Преобладающее число советских социологов первого поколения были активными комсомольцами, рано вступили в КПСС, после завершения институтов определенное время были на освобожденной комсомольской или партийной работе. Состоял ли ты в комсомоле? Предлагали ли тебе вступить в партию? Какими в молодости были твои политические взгляды?

Я вступил в комсомол в годы войны, работая на шарикоподшипниковом заводе в Куйбышеве. Я был горд этим событием. После войны я полностью отошел от официальной общественной работы, был беспартийным.

Уже живя в Америке, ты целенаправленно занимался изучением природы тоталитаризма. Под воздействием каких обстоятельств складывалось в юности, молодости твое отношение к Сталину, его политике? Как ты воспринял его смерть?

Я рано, уже на первых курсах университета – 1947–1948 годах – вместе с моим покойным другом выработал резко отрицательное отношение к системе и к Сталину. Его смерть воспринял с радостью.

Одним из лейтмотивов твоей книги «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом» является страх КГБ, в ней есть такие слова: «Страх перед КГБ висел над нами всегда и во всем...» (Шляпентох В. Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2003). Этот страх – нечто индивидуальное или его испытывали многие представители твоего поколения?

Страх был доминирующим элементом советского общества в сталинский период. Тогда вся интеллигенция и партаппарат, а также крестьяне изнывали от страха, как и, хотя в меньшей степени, все остальное население.

Академгородок, Москва, первые Всесоюзные выборочные опросы

В моем представлении ты пришел в социологию уже будучи сложившимся ученым: доктором экономических наук. Мне кажется, что очень давно я читал твою книгу по эконометрике. Так это? Расскажи пожалуйста о твоих работах, составивших суть кандидатской и докторской диссертаций. Когда ты их защитил? Ты учился в аспирантуре? Кто из видных экономистов того времени поддерживал твои исследования?

Кандидатская диссертация была защищена мною в 1956 г. в Институте экономики АН СССР. Она была о мальтузианстве. Докторская – была защищена в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР в 1966. Тема – «Эконометрика в западной экономической науке». В аспирантуре я никогда не учился. Меня поддерживал только один известный экономист – Израиль Блюмин, умерший в 1960 году.

Когда у тебя появился интерес к самостоятельным научным поискам? Какие проблемы привлекали твое внимание? Кто-либо направлял твои первые научные изыскания?

По настоящему моя творческая жизнь началась в Академгородке в начале 60-ых, в котором Володя Шубкин, распознав мои гуманитарные склонности, толкал меня в социологию. Настоящее удовольствие от творческой деятельности я получил впервые, когда в 1965–1966 годах начал первые в стране всесоюзные опросы (их объектом были читатели центральных газет) и начал придумывать различные измерительные процедуры.

Зная тебя многие годы и имея общее представление о научной работе, с трудом верю, что человек, подготовивший кандидатскую и докторскую по такой захватывающей теме, как эконометрика, ощутил интерес к научной работе, лишь прикоснувшись к социологии. Пожалуйста, поясни это...

Возникшее у тебя удивление весьма примечательно. Уж не знаю, согласишься ли ты и куча моих коллег со мной.

Дело в том, что в моем понимании прогресс в социальной науке происходит в области методов, новых оригинальных теорий, с продолжительностью жизни не менее нескольких десятилетий, и в научном (а не идеологическом) обобщении оригинального эмпирического материала. До середины 1960-ых продвижения по каждому из этих параметров было равно НУЛЮ. Все новые серьезные идеи и методы, которые появлялись в стране, практически без исключений, были заимствованы в той или иной форме (иногда замаскированной) на Западе. Попытки талантливых людей типа Щедровицкого, создать нечто оригинальное свелись к доморощенным концепциям, которые к современной науке никакого отношения не имели. Мне это было ясно с моего первого знакомства с ними в начале 60-ых. Вся «новая философия деятельности» Щедровицкого, несмотря на возникновение большой секты людей, жадно тянувшихся к нечто отличному от официального марксизма, полностью исчезла из лоно науки (я ни разу не встречал на нее ссылки на Западе), хотя и она внесла свой вклад в дискредитацию официальной философии.

Такова же судьба тех идей других светил типа Мамардашвили, не говоря уже о нуднейшем Лосеве. Используя знаменитые слова Леопольда Ранке, старого немецкого историка, можно сказать, что все правильное в них имело западное происхождение, а все новое - было либо тривиально (вроде схем со стрелочками щедровитян), либо просто неверно.

Еще менее я намерен считать творчеством деятельность тех, кто упражнялся в анализе «Капитала» и его логики, а также тех, кто противопоставлял молодого Маркса старому. Конечно, и здесь талантливые марсологи типа Зиновьева или Ильенкова разрушали официальную идеологию, и в этом была их заслуга в истории общественного движения на Руси (но не науки), но к подлинной науке это отношения не имело вместе с «новой логикой». Зиновьев как философ был полностью отторгнут Западом вместе с его вздорными обещаниями создать модели, способные предсказывать политическое развитие России. Только тогда, когда Зиновьев полностью освободился от марксологии и стал писать о советском обществе абсолютно свободно, он в «Зияющих высотах» сумел подняться до очень

высокого интеллектуального уровня, однако не как строгий ученый, а как великий сатирик Щедринаского масштаба. Впрочем, на такое же глубокое понимание советского общества мог претендовать и Василий Гроссман в его гениальной «Жизнь и судьба», но опять-таки находясь вне сферы науки.

Пожалуй, только среди психологов было несколько имен (Выготский и Леонтьев, например), а также Бахтин с его теорией карнавала (не бог весь что, но все-таки эта была свежая мысль), которые оказались включенными в западные учебники благодаря их частным теориям с эмпирической базой. Я предлагаю моим оппонентам назвать достижения самых что ни есть замечательных историков, философов, социологов, социальных психологов за все 40 лет после сталинской эпохи.

Если отвлечься от тех «ученых», которые занимались только идеологической работой в соответствии с последними указаниями ЦК КПСС типа Чангли (а имя им легион), то научная деятельность честных людей в лучшем случае сводилась к: 1) изучению западной науки и изложению ее результатов, теорий и методов, насколько это позволяла цензура и самоцензура; 2) стремлению применить некоторые западные теории и методы к советской действительности с некоторым флером самостоятельности; 3) сбору новых, действительно ценных данных, там где это было возможно и где официальная идеология не очень буйствовала – в некоторых областях истории, археологии, этнографии, литературоведении.

Год назад я был участником сессии на конференции американских славистов, на котором Арон Гуревич, очень мною уважаемый человек, был представлен американскими аспирантами как ученый, открывший новые горизонты в советской исторической науке. Я сильно разочаровал их, утверждая, что заслуга этого очень храброго человека была в том, что он не побоялся включить западные концепции в свои работы по западному средневековью.

Я утверждаю, что все лучшие советские социологи, там, где они не придумывали концепции, ныне абсолютно забытые, были в теории (с методами дело сложнее, и я поясню), вплоть до 1991 – чистые ученики Запада.

Я не был исключением. Мне, конечно, доставляло удовольствие изучать эконометрику, ее математический аппарат, всевозможные теории западной экономической науки и излагать их советскому читателю с надеждой, что он поймет убогость советской политической экономии. Мне было приятно то, что в каких-то случаях мне удалось что-то понять в теории кейнсовского мультипликатора больше, чем некоторые западные авторы. И это все. Я не мог прибежать к моим аспирантам

или коллегам с возгласом: «ребята, я открыл в эконометрике нечто!». Максимум, что я мог сделать – это было рассказать о западной науке на семинарах, организованных Центральным экономико-математическим институтом (ЦЭМИ) в Бакуриани в 1966 г. или прочитать тогда же лекции о Кейнсе умнейшим математикам в Институте проблем управления, очень благодарным мне за то, что я расширял их кругозор и давал им новые аргументы против официальной идеологии. Я также прочитал, наверное одним из первых в стране в 1987 году курс по истории социологии в Академгородке, но опять-таки назвать это актом творчества я никак не могу. Никакого другого творческого подъема от моих научных занятиях до эмпирической социологии я не испытывал, отдавая себе полностью отчет во вторичности того, что я делал.

Единственная область социальных наук, где сформировалась оригинальная теория, было экономико-математическое направление, созданное благодаря открытию линейного программирования Леонидом Канторовичем. Я между прочим получал действительно некоторое творческое удовольствие, участвуя в анализе и применении идей линейного программирования к социальному и экономическому анализу. Я, кстати, опубликовал в знаменитом сборнике «Количественные методы в социальных науках» (1966) главу «Оптимальное программирование и социология». Я участвовал во всех возможных семинарах по оптимальному программированию, и это было действительно приобщением к подлинной науке, хотя в лучшем случае, я мог быть только одним из тех, кто раньше других сумел разобраться в огромной эвристической силе оптимального программирования, в частности знаменитых двойных оценок (или теневых цен в западной терминологии) и значения дефицитности ресурсов как важнейшей проблеме всех социальных наук. Я даже опубликовал одну из первых (если не первую) статью, в которой показал как применить линейное программирование в реальном планировании (статья вышла в журнале «Экономика сельского хозяйства» где-то в начале 70-ых). В рамках экономико-математического направления мы не были эпигонами западной науки, а скромными, но самостоятельными исследователями, не знавшими заранее того, к чему придем. Построение математических моделей, даже нереалистичных, было неким творческим делом, намного интереснее официальной схоластики. Сейчас я тоже с грустью вспоминаю период математизации американской социологии, который, несмотря на производство кучи нелепых моделей, был намного ближе к подлинной науке, чем нынешняя стадия, где господствует откровенная агрессивная идеология, уничтожающая достижения социологии.

Замечу также, что представители экономико-математической школы с момента возникновения ЦЭМИ в 1962 году были главными научными союзниками нарождающейся социологии. Будучи под прямым покровительством Кремля из-за их обещания качественно улучшить планирование в стране (это была вздорная идея, типичный научный мыльный пузырь, в раздувании которых был особенно силен Аганбегян), матэкономисты нам всячески помогали. Это с их поддержкой было проведено первое всесоюзное совещание социологов в Сухуми в 1967 году. Это ЦЭМИ и его директор Николай Прокофьевич Федоренко приютил у себя во время разгрома социологии в конце 60-ых Леваду и Грушина. Это под зонтиком того же направления Аганбегян – весьма противоречивая фигура в истории советской науки – создал Новосибирское социологическое направление в начале 60-ых, пригласив Шубкина на работу уже как социолога, автора тогда знаменитого исследования села Копанка в Молдавии (конец 50-ых).

Немалую роль в возникновении и развитии социологии сыграло начавшееся в начале 60-ых распространение ЭВМ в стране. Компьютеры произвели огромное впечатление на начальство всех уровней, которые на первых порах верили, что данные, которые выходят из машины, не могут быть неправильными. Социология тех лет немало обязана тому, что она всегда связывала свою деятельность именно с компьютерами. Без их авторитета я не получил бы заказа от центральных газет для исследования их аудитории. Я бы не мог также читать в Новосибирском университете первым в стране курс статистики для историков (среди моих студентов был и мой сын, которому дома я грозил, что не поставлю зачет, если он не почистит картошку – угрозу он воспринимал серьезно).

И все-таки к настоящему научному творчеству я приобщился только, когда стал заниматься эмпирической социологией.

С моими первыми масштабными опросами ситуация для меня изменилась радикально. Конечно, я тщательно изучал западную технику опросов, был в переписке и Гэллапом и Кишем, легендарным специалистом по выборке. Однако советское поле было совершенно другим, чем на Западе. Только мы и могли создавать во-истинну новые методики, приспособленные к советской действительности. Позже в Америке, встречаясь с корифеями опросов, я себя чувствовал не учеником, а специалистом, умеющим изучать вместе с Грушиным общественное мнение в тоталитарном обществе, неизмеримо лучше, чем они. Впрочем, создавая наши методики, мы даже не осознавали насколько мы были оригинальны. Только приехав в США, я осознал насколько наивны были ведущие американ-

ские специалисты по опросам не только в отношении изучения общественного мнения в тоталитарном обществе, но даже в своей Америке. Они поразительным образом полагали, что их респонденты – честные граждане, торопящиеся сообщать им только правду о своих взглядах и чувствах. Я не мог обнаружить ни в их учебниках, ни в первоклассных исследованиях иногда даже строчки об эмпирической достоверности информации, о влиянии ценностей, господствующих в их среде, на ответы респондентов. Я могу утверждать, что моя книга о достоверности социологической информации (1973) была достаточно оригинальна, чего я не могу сказать о книге по применению выборки в социологии (1975) или о методах прогноза (1976). Пусть мне покажут, например, где великий Гэллап рассуждал на тему эмпирической достоверности его опросов. Только в самые последние годы результаты опросов, публикуемых в прессе (например, в Нью Йорк Таймс), сообщают не только о размерах ошибки случайной выборки (кстати, это полулажа, ибо авторы опросов не учитывают фактор стратификации –знающие теорию выборки поймут меня), но и добавляют в общем виде о существовании ошибок, происходящих от формулировки вопросов, их порядка и т.д).

Но еще большее удовольствие доставляло мне то, что с моими опросами четырех центральных газет («Труд», «Известия», «ЛГ» и «Правда») я оказался владельцем информации, описывающей достаточно неплохо политические настроения советского населения. Я получил десятки ярких результатов, каждый из которых бывал темой лекций, на которых граждане слушали с восторгом первые объективные сведения об обществе, в котором они жили. Советская интеллигенция относилась к социологам в те годы, как действительно первым социальным исследователям, способным сказать нечто новое об обществе. Мы все тогда, в 60-ые годы, чувствовали себя «избранными», членами одного братства, которое было призвано как-то улучшить жизнь в стране. Этот душевный подъем, как мне кажется, и отразился в моей книге «Социология для всех» (1970), пользовавшейся тогда популярностью.

Что заставило тебя перебраться из Академгородка в Москву? Были ли у тебя планы относительно продолжения исследований прессы?

Создание ИСИ было главным мотивом, почему я рвался в Москву, о жизни в которой я мечтал всегда. Но была еще особая причина. Это был период мощной политической реак-

ции, вызванной Пражской весной, которая в конце концов почти разрушила социологию в стране. Мне приписали, не без участия Аганбегяна, руководящую роль в подписании писем протеста в Академгородке в начале 1968 года. Увы, не могу этим похвастаться. Моя близость к реальным подписантам грозила всему социологическому проекту не только в городке, но и в Москве, особенно потому, что один из главных моих работников – обаятельный Иосиф Захарьевич Гольденберг – был не только подписантом, но к тому же был повязан с рисованием антисоветских плакатов на здании Торгового Центра в 1968. С большим трудом, с помощью ректора НГУ Беляева и корреспондента «Правды» Бориса Евладова удалось отвести удар от моего подразделения, к которому к тому же крайне враждебно относился и первый секретарь Новосибирского обкома Горячев. Однако тучи сгущались надо мной. Ученый Совет университета не утвердил меня в звании профессора, что было обычно формальностью для того, кто имеет докторскую степень. Это произошло потому, что на заседании Совета математик Бицадзе обвинил меня в организации подписантов. Я повис в воздухе. Только благодаря Бурлацкому, которому удалось сломить сопротивление Квасова, инструктора ЦК по социологии, я получил приглашение в ИСИ и возможность уехать из Академгородка.

Если я не ошибаюсь, в Москве ты начал работать в секторе по методологии социологических исследований, который возглавлял Андрей Здравомыслов. Твой переход к методолого-методическим разработкам был случайным или тебе и раньше эта тематика представлялась крайне важной для направленных исследований?

В секторе Здравомыслова я оказался в 1973 после разгрома института. В то время все, кто могли – Левада, Шубкин, Грушин и другие, находили убежище в других академических учреждениях. Я несмотря все мои попытки, очевидно, в силу государственной антисемитской политики и моей беспартийности, возможно из-за моего досье (я отказался сотрудничать с КГБ в 1956 г., и моя «плохая» репутация в городке) вынужден был остаться в хозяйстве М.Н. Руткевича и согласиться на работу в секторе методики. По тем временам, это было для меня, наверное, лучшее решение. Вокруг меня в институте сложилась группа молодых сотрудников и чужих аспирантов, которая помогла мне пережить неприятные времена и заниматься профессиональной социологией. Думаю, что методика была единственной сферой, в которой я мог заниматься и творчески, и честно. Другое дело, что методика была уже для меня скучна.

На мой взгляд, метрологические характеристики социологического исследования должны быть прежде всего функцией их полезности, скажем, как в линейном программировании. И тогда всякие ad hoc соображения, например, «множественность источников информации» – не столь уж принципиальны. В СССР долгие годы вообще не было социологических исследований, но потом возникли суперпроекты типа твоего исследования «Правды» или грушинского «Таганрога». Не кажется ли тебе, что оба этих феномена – две стороны тоталитаризма? Ведь параметры суперпроектов не вытекали ни из каких оптимизационных принципов.

Вопрос о важности множественности источников информации инвариантен по отношению к любым социальным условиям. Этот подход является просто попыткой заменить, хотя бы частично, невозможность использования подлинного экспериментирования в социальных науках и обеспечить включение в научный обиход только тех данных, которые были воспроизведены в экспериментах других ученых, как это происходит в естественных науках. Между тем, подавляющее большинство данных, полученных социологами и социальными психологами, не проверяются «на воспроизводимость», и многие из них являются просто артефактами. Мне пришлось для своей книги о страхе в современном обществе (2006) просмотреть результаты исследований американскими учеными связи между образованием и терпимостью. Трудно представить больший хаос – результат того, что каждый автор опирался только на свое разовое исследование, используя только один источник информации. Одни данные утверждали, что связь положительная, другие – отрицательная, третьи – что связь вообще отсутствует. И все они описывали одно и то же общество в один и тот же период времени.

Ты одним из первых в СССР начал целенаправленно заниматься проблемами достоверности социологических исследований, занимался выборкой и смежными вопросами. Тебе хорошо известна американская литература по широкому комплексу методолого-методических проблем опросов общественного мнения. Наконец, ты следишь за состоянием общественного мнения в России и интересуешься тем, как эти данные собираются, анализируются. Не мог бы ты оценить методический уровень современных российских опросов общественного мнения и, возможно, методических исследований в целом?

О состоянии постсоветской социологии и, в частности, о методическом уровне опросов общественного мнения я имею в общем скорее поверхностные впечатления, и они должны быть критически оценены. Мне кажется, что и здесь про-

изошло то же самое, что и в некоторых других областях российской жизни. Политическая свобода принесла с собой не только то, что с ней связывали советские интеллигенты, в том числе социологи. Так, например, если исходить из наших старых критериев, которые придавали большое значение преданности творчеству и профессионализму, некоторые черты интеллектуальной жизни после 1956 года были предпочтительнее того, что мы наблюдаем теперь. Мягкий тоталитаризм – мы и близко были не в состоянии предсказать это в 1960-ые годы – был более полезен для каких-то видов интеллектуальной деятельности, чем оба постсоветских режима. И дело, конечно, сводится к важнейшему вопросу о том, что вреднее, особенно в российских условиях, для творчества, для науки и искусства: зависимость от власти или от денег, беспокойство о выживании, даже физическом, или страсть к обогащению?

Социология в России, конечно, обрела многое благодаря развалу советской системы. Находясь в Америке в жуткие годы начала 80-х, мечтаю только о каком-то либеральном прогрессе в Москве, я говорил в моих первых лекциях в Вашингтоне, что для меня единственным доказательством прогресса в СССР будет приглашение Ядова, Шубкина, Левады и Грушина в Кремль. И действительно, когда демократизация общества по-настоящему началась, Заславская оказалась на видных ролях в Съезде народных депутатов и первым директором практически независимого центра по изучению общественного мнения ВЦИОМа (я просто балдел в своем Мичигане от первых его остро политических опросов в 1989, абсолютно немислимым еще год назад), Грушин оказался в Президентском Совете и основателем одной из первых в стране частной фирмы изучения общественного мнения, дискриминируемый Ядов – стал директором Института социологии, а гонимый только несколько лет назад Фирсов – директором Ленинградского Института социологии. Только один мой любимый и непримиримый Шубкин оказался вне политической игры. Наступила невиданная свобода социологических исследований.

Выступая на конференции Международной Ассоциации по изучению общественного мнения в 1992 г. во Флориде, через несколько месяцев после беспорядков в черных предместьях Лос Анжелеса, я, указывая на множество табу, которым подчиняются американские исследователи (ни один из них не решался даже спросить участников беспорядков о мотивах их действий, дабы не бросить на них тень), с вызовом обращая к аудитории сказал, что теперь истинная свобода для социологов существует только в Москве, но никак не в Америке. Ошара-

шенная, но приветствующая правду о них самих, аудитория приветствовала меня стоя овацией.

А затем, после эйфории первых лет, в российскую социологию, как и во все другие сферы деятельности творческой интеллигенции, вступили «бабки». Конечно, деньги играют огромную роль в социальных исследованиях, и в частности, в опросах общественного мнения в США. Однако в России, из-за отсутствия демократических институтов и традиций, все время следящих с большим или меньшим успехом за порочным влиянием денег на общественную жизнь (например, за конфликтом интересов), влиянием денег на социологию, как и на другие сферы профессиональной деятельности приняло мало приятные формы. Немыслимо, чтобы в Америке ведущие центры общественного мнения, претендующие на роль независимых, регулярно финансировались бы Белым Домом или какой-нибудь корпорацией (конфликт интересов!). Если опрос финансируется отдельной партией или политическим деятелем, его результаты в США либо игнорируются в прессе, либо публикуются с указанием источника финансирования.

Я организовал несколько лет назад встречу руководителя одной из фирм изучения общественного мнения в России с видным американским журналистом. Российский собеседник, среди прочих вещей, чистосердечно сообщил американцу, что его фирма финансируется частично Кремлем – он полагал, что это очень престижный факт – и что в то же время его данные являются абсолютно объективными. Журналист, полагая, что его собеседник, не совсем владеющий английским, что-то не так сказал, был в полном шоке, когда обнаружил, что в начале он все понял правильно.

Но дело не только в том, что деньги приобрели огромное влияние на выбор сюжетов и на исполнение заказов, при том, что в публикуемых результатах исследований всех мне известных фирм я не разу не встречал ссылку на источник финансирования. Рынок, за который воюют ведущие фирмы изучения общественного мнения в России, по определению не способен оценивать качество опросов, как это он не может делать и во многих других сферах общественной жизни (наука, образование, искусство). Слабость рыночного контроля заменяется профессиональным контролем, преданностью своему делу и своей общественной миссии. Все это в значительной степени было важной чертой молодой советской социологии, в которой культ профессионализма был необычайно высок.

Как мне кажется (пусть меня поправят старшие товарищи), теперь профессионализм, в частности в области методологии социальных исследований и опросов, беспокоит большинство

социологов-практиков гораздо меньше, чем в прошлом. В журнале Центра Левады (с учетом периода, когда он назывался ВЦИОМ) я отыскал за почти 15 лет только одну публикацию на методическую тему «Стратифицированная выборка в социологическом исследовании» Сергея Новикова (*Мониторинг Общественного Мнения №46* 2001). Я мог что-то пропустить, но, боюсь, немного. В пяти номерах нового журнала Фонда Общественного мнения «Социальная реальность» я не обнаружил ни одного материала на эту тему. В журнале «Социологические исследования» в период 2002–2005 опубликована только одна статья, имеющая отношение к сбору информации. В «Социологическом журнале» такие статьи отыскать почти невозможно. Даже в выходящем нерегулярно «Социология: методология, методы, математические модели» с 2003 по 2005 я обнаружил только шесть статей.

Примечательно, что российские социологические журналы, в полной противоположности к прошлому, перепечатывают в большем числе теоретические работы западных социологов и очень редко их публикации на методологические темы.

Никакого беспокойства о достоверности опросов общественного мнения в современной России я не обнаружил. Когда я поднял этот вопрос на конференции о страхах в пост-коммунистическом мире, организованной мной в моем университете (2000), руководитель одной из российских фирм только что не послал меня очень далеко за то, что я попросил его обосновать, что его респонденты снова не приспосабливаются к власти в своих ответах, как это было раньше.

Я не почувствовал в моем общении с российскими социологами беспокойства от того, что отказ от интервью достиг в России, в частности, из за страха перед «чужими» огромного уровня (чуть ли не 30–40% или даже более). В Америке, где телефонные опросы являются главным источником информации об общественном мнении, похожая трудность возникла в связи с распространением мобильных телефонов и тем, что во многих семьях имеются несколько телефонов с отдельными номерами. Между тем, эта проблема активно обсуждается в профессиональной среде. Я уже не говорю о том, что внутренние конфликты между социологами, которые при советской власти были исключительно идейными, теперь носят, как правило, совсем другой характер.

Вспомним отношения между «отцами советской социологии» и так называемыми партийными социологами типа Руткевича и его гвардии –Чангли, Староверова, Коробейникова. Первые считали вторых прислужниками власти, готовыми пренебречь элементарными профессиональными правилами и

выдать «на гора» те данные, которые будут милы ЦК, куда они, под нашим презрительным взглядом, бегали бесконечно. Это их и близких к ним псевдолиберальных и «выездных» социологов вроде Юрия Замошкина (он говорил мне с гордостью в 1987 году о 22 поездках в Америку) по сути имел в виду Зиновьев в «Зияющих высотах», когда описывал социологов, которые сильно разочаровали начальство, когда они принесли ему результаты опроса, свидетельствующие о том, что 105 процентов населения их горячо любит, в то время как оно ожидало цифру в районе 120–130. Теперь же жесткие конфликты между социологами внутри фирм или между фирмами почти лишены идеологической или профессиональной окраски.

И в заключении по заданному вопросу. Не очень приятная специфика современной России состоит в том, что после 2000 года к давлению денег на социальную науку и медиа присоединилась власть, быстро осознавшая, что можно добиваться своих целей не только прямыми или косвенными угрозами по телефону, но и использованием тех же денег, псевдорыночных механизмов для ликвидации неугодных, особенно после того, как Кремль стал напрямую контролировать топливную промышленность с ее безграничными ресурсами. Именно этот механизм позволил легко отобрать ВЦИОМ у Левады, которому, как мне кажется, чудом удалось создать новую фирму.

Взаимоотношения Кремля и фирм, изучающих общественное мнение в России, полная загадка. Мы в 1960-ые годы, как показали многочисленные публикации после 1991, знали по сути почти все об интенциях Кремля в области социологии. Теперь секретности гораздо больше. Я полагаю, что пока некоторая независимость фирм в изучении общественного мнения обеспечивается высоким рейтингом президента, это – единственное, что важно высшему начальству. Но, если что-то случится с этим рейтингом, дела у российской социологии изменятся существенно, и достоверность данных совсем перестанет интересовать те фирмы, которые захотят уже окончательно приспособиться к ситуации, в которой союз «злата и булата», если использовать знаменитые пушкинские слова, правят бал.

Правда, есть некоторый шанс, что с неуклонным движением назад, социологические исследования, не касающиеся высших руководителей страны, будут по-прежнему обладать известной свободой в описании «жесткой» и «мягкой» реальности. Дело в том, что высшая элита страны, в отличие от советского руководства, в конечном счете мало озабочена образом страны как в сознании российского населения, так и мирового общественно-го мнения. Со сравнительно недавно утвердившейся в Кремле

идеологией с лозунгом «у них в конечном счете не лучше, чем у нас» российские социологи, если их не будет останавливать усиливающаяся как у журналистов и политических аналитиков самоцензура, смогут достаточно долго изучать, если захотят, глубинные процессы в российском обществе.

Володя, в связи с подготовкой книги, в которую войдет наша с тобою беседа, ты, скорее всего, хотя бы бегло просмотрел «Социологию для всех». Какое ощущение она производит на тебя 35 лет спустя? Побудь не автором, но читателем...

Первым впечатлением от чтения было ощущение, что, когда писалась книга – 1968–1969 гг. (она вышла в 1970), автор имел ввиду два адресата – начальство и либеральную интеллигенцию. К начальству я апеллировал, следуя старой традиции либералов в любом авторитарном обществе, потому что наша социология все еще была в осаде и что автор видел свою главную задачу не только популяризовать свою любимую науку (он использовал заголовок известный многим по книге Л.Д. Ландау и А.И. Китайгородского «Физика для всех»), сколько защитить ее как слабое дитя от насильников, бродивших толпами в коридорах власти, внушая начальству, что добра от этой науки не будет. Отсюда и впечатление, что автор обращался не только к «массовому читателю» (тираж книги был по американским меркам грандиозный 30 тысяч), но и к начальству, стремясь убедить его в том, что не надо убивать дитя, которое не только безобидно для советской власти, но даже и полезное для нее, так как поможет улучшить управление обществом. Особое старание автора было направлено против марксистской догмы в советском исполнении о том, что «теория – это все» (а под теорией понималось последнее решение партии и правительства), а «эмпирика» – дело второстепенное и что при хорошей теории она почти не нужна для понимания того, что происходит и что надо делать. Отсюда яростная пропаганда в книге разнообразных прикладных исследований, чьи результаты и делают социологию самостоятельной по отношению к истмату наукой.

Идея книги родилась в 1968 году. Она принадлежит моему тогдашнему аспиранту Володе Когану, вступившему в контакт с издательством, но затем благородно отошедшего от проекта, дабы не мешать мне реализовать мой замысел. Тогда социология была еще незаконнорожденным созданием, не имевшим никаких прав в науке, не имевшим прописки и ютившимся в подвале жилого дома на Аэропортовской под видом Осиповской лаборатории изучения труда. Только в 1968 году, когда ребенку было уже примерно семь лет, ему было выдано свидетельство о рождении. Однако, выписывая свидетельство – ре-

шение о создании института, Политбюро отказалось использовать термин «социология» и нарекло создаваемый институт полунелепым названием – Институт конкретных социальных исследований (ИКСИ). Ребенок оставался неполноценным и явно уязвимым для его врагов, которые толпами ходили в коридорах власти, уговаривая прикончить социологию и в ожидании случая для дискредитации ее ведущих деятелей. Среди нас было четкое ощущение, что при малейшей нашей ошибке или дуновении ветра – кадровой перестановки в Кремле или сильном идеологическом сдвиге – ребенок умрет, не достигнув даже юношеского возраста. Это обстоятельство нервировало всех нас, и именно эта тревожность и объясняет оборонительный дух книги. Немало этому способствовало, видимо, «дело Левады», которое только начало развиваться, когда писалась книга, и которое внушало нам ужас от мысли, что оно может быть использовано для того, чтобы умертвить ребенка. Это впрочем частично оказалось верным, что не мешало нам восторгаться поведением Левады.

Впрочем, политическая реакция, которая набирала темпы в 1968г. (парадокс—институт был создан как продукт противоположного либерального тренда, начавшегося с «оттепелью») делала атаку на социологию неизбежной. Ребенок не погиб, но был посажен на цепь по поручению ЦК КПСС Руткевичем.

Как бы не был важен первый адрес, именно второй был главным источником вдохновения. Хотелось любимую либеральную интеллигенцию подбодрить вызовом, пусть и очень скромным. Хотелось снабдить милых читателей «Литературной газеты», – сплошь либеральная интеллигенция, как установили мои опросы (кстати там и была опубликована единственная рецензия на книгу) – новыми интеллектуальными средствами для расширения их кругозора, для вооружения их инструментами в полемике со сталинистами.

Уже название книги, где гордо фигурировала «Социология», а не унылые «конкретно-социальные исследования», было моим как бы микроскопическим вкладом в «наше дело». Это же сделал и Левада, назвав свою ротапринтную и намного более смелую, чем моя, книгу – «Лекции по социологии». Правда, Левада издал ее в ИКСИ на два года раньше, когда климат был другой. Даже название главы в моей книге «Свобода человеческой личности и проблема выбора» (там шла речь о таких скромных делах как выбор профессии или газет) вызывало восторг читателей – шутка ли написать в заголовке «свобода личности». Некоторые даже считали это название главным достоинством книги. Хорошая характеристика общества, в котором мы жили!

Важной составляющей успеха книги среди либеральных читателей был ее вольный, необычный тогда стиль, стиль почти свободного человека. Мой приятель из Академгородка, историк, всю жизнь дрожавший перед властью, пророчествовал мне беды за то, что я начал книгу ссылкой на Мольера, а не с солидной цитаты, вольность казавшаяся ему немыслимой. Ссылки на «Трех мушкетеров» Дюма, «Опасные связи» Лакло, роман Абельяра и Элоизы должны были сделать книгу занимательной и опять-таки свободной.

Конечно, книга, как и положено, если она написана либеральным автором, должна быть переполнена всяческими аллюзиями, намеками между строк, направленными против власти и конформистской части интеллигенции.

Глава, посвященная роли концепции группы в социологии была явно направлена против засилья понятия «класса» в общественных науках, ссылки на роль рационализма и на важность борьбы со схоластикой явно были направлены против советской идеологии, выпячивание роли потребителя было критической акцией против всепобеждающего планового начала в советской экономике, а рассуждения о трудностях социального контроля были использованы для критики советской статистики. В то же время восхваление роли самостоятельности в профессиональной работе было использовано для мягкого проталкивания идеи о разумности мелкого частного бизнеса.

Конечно, важной своей задачей я видел максимальное насыщение книги позитивными оценками, в том числе авторов с сомнительной репутацией таких, как Гоббс, Мальтус, Спенсер, Бергсон, Парето, Мангейм, Фрейд или Тойнби (с Ф. Бэконом, Петти или Рикардо, освященных Марком, проблем не могло возникнуть). Даже позитивную ссылку на «Библию» я могу зачислить в свой актив. Уж как я радовался, что мой редактор (о нем позже) не без удовольствия читала мои восхваления таких циников как Ларошфуко или Паскаль, которых я возвел в ранг социологов прошлого. Конечно, здорово было хвалить в книге кучу американских социологов и учреждений типа Гудзоновского института и сообщать – насколько масштабы социологических исследований в Америке не сопоставимы с тем, что у нас.

Еще более важным для меня, чем цитирование неблагонадежных мыслителей прошлого, было прославление моих коллег. Мое сердце было переполнено величайшей симпатией к ним, и мне хотелось, чтобы как можно больше людей узнало о пионерах моей науки. Ядов и Шубкин, Грушин и Арутюнян, Кюн и Левада, Переведенцев и Заславская, а также философы, уважаемые нами тогда – Зиновьев и Ракизов были моими глав-

ными героями. Не пожалел я красок для Алексея Матвеевича Румянцева, которому мы все были благодарны за свидетельство о рождении для социологии и институт. Смешно, но именно эта линия книги вызвала гнев в ЦК, который потребовал от Г.Г. Квасова, инструктора ЦК по социологии, назвать книгу «комплиментарной» на закрытом партсобрании в институте, на котором я не мог по определению присутствовать. Немалое внимание было уделено в книге и математической экономике, новому, по сути антима르크систскому направлению в социальной науке, которое было нашим союзником в борьбе с официальной идеологией. Отсюда имена Леонида Канторовича и Арона Каценелинбойгена в книге.

Я стремился включить в книгу как можно больше результатов моих опросов читателей центральных газет, зная, что шансы издания материалов исследований в «большой печати» минимальны, а ротاپривитные издания радовали только умеренно. Всунул я в книгу и военную, направленную против истмата, теорию происхождения феодализма, которую с моим покойным другом Исааком Канторовичем мы придумали еще студентами в 1948 году. Я не мог опустить единственный шанс спасти теорию от забвения.

Пришлось мне сделать и немало идеологических уступок цензуре, с которой все время у меня, как любого автора, хотевшего издать нечто не в «самиздате», шла негласная полемика: «можно» или «нельзя». Идти напролом, писать без оглядки, даже не атакуя основные постулаты идеологии, со стратегией «а если пропустят!», было опасно для судьбы книги. Можно было зверски напугать даже такого милейшего редактора, как моя Инна Михайловна Поспелова, ее завотделом и главного редактора вполне партийного издательства «Советская Россия» и, конечно, ожесточить цензора в Главлите и заставить издательство отказаться от книги. Конечно, многое зависело от моего непосредственного редактора, с которой я был в негласным союзе против начальства.

Инна Михайловны была типичным представителем интереснейшей категории людей – московских редакторов центральных издательств в 60–70х годах. Типичный портрет таков – весьма приятной наружности женщина между 30 и 40 (можно было с ней и пофлиртовать, и не без успеха для дела), типичная цивилизованная москвичка, насквозь либеральная и жаждущая издать достойную книгу, которой она могла бы гордиться среди своих знакомых. Даже художница, сделавшая яркую обложку, как я выяснил позже, была горда своим участием в создании книги и похвлялась этим среди своих друзей. Все принимавшие участие в создании книги очень гор-

дидлись тем, что она была мгновенно продана и что – великая честь – продавалась на «черном рынке», чуть ли ни за 3 рубля или даже дороже (официальная цена – 66 копеек).

Так или иначе, я включил в книгу немало «идейных бантиков» (выражении моего знакомого по тем временам поэта Евгения Винокурова). Я цитировал презируемых мною идеологов типа Федосеева, вице президента АН по гуманитарным наукам. Я пытался – впрочем с небольшой только натяжкой – представить и Маркса, и Ленина поборниками эмпирической социологии.

Я с большим отвращением назвал тогда социологию «партийной наукой и написал ряд фраз о зловредном использовании «буржуазной социологии» против социализма и рабочего класса. Впрочем, я бы тогда испытывал меньше угрызений совести, если бы знал, что американская социология в 1980–1990-ые годы перецеголяет нашу советскую социологию по давлению господствующей идеологии во много раз. Вместе с тем, как чистый демагог, но действовавший уже в интересах моей любимой советской социологии, я пытался внушить «партии и правительству», что на Западе со страхом следят за развитием социологии в СССР, давая понять, что в интересах борьбы двух систем надо энергично поддерживать «всех нас».

За мою долгую жизнь я издал в СССР и США чуть ли не три десятка книг. Однако ни одна из них не принесла мне столько радости, столько откликов читателей, столько заявлений о том, что она повлияла на выбор профессии, как эта книга. Спасибо ей.

Прошло сорок лет после твоих всесоюзных опросов читателей центральных газет; книги, сборники, в которых излагалась методология исследования и результаты, давно стали библиографической редкостью, тем более, что после твоего отъезда многие работы были изъяты из библиотек. Не мог бы ты хотя бы кратко рассказать о том проекте? В частности, ты рассматривал ту работу в рамках изучения прессы или изучения общественного мнения?

В 1965 году газета «Известия» предложила мне провести небольшое исследование своих читателей. Для меня это была возможность прежде всего изучать общественное мнение в стране. Когда этот заказ попал мне в руки (Аганбегян, у которого ко мне было двойственное отношение, не мог просить никого из его окружения взяться за дело), я понял, что у меня появилась историческая возможность провести первое в стране исследование по случайной выборке и узнать, несмотря на огромные ограничения, важные сведения о взглядах населения страны. Я начал немедленно при полной поддержке редакции и по сути

с неограниченными ресурсами (например, весь корреспондентский корпус газеты был в моем распоряжении) расширять масштабы исследования, вводя все новые и новые процедуры. В Академгородке была создана большая исследовательская группа, которая, набирая опыт, сумела довольно быстро выдавать результаты. Редакция ждала их для публикации. Для газет поддержка социологических исследований в середине 60-ых означала демонстрацию их прогрессивности, готовности идти в ногу с временем. Нашими основными союзниками в редакциях были главные редакторы и рядовые журналисты, первыми врагами – средний уровень – заведующие отделами (кроме «ЛГ»), утверждавшие, что они и так по письмам читателей все знают.

Одной из моих находок тогда был опрос журналистов по анкете читателей накануне опроса с просьбой прогнозировать его результаты. Во всех газетах журналисты полностью опозорились и больше не повторяли, что «за бутылку коньяка» они нарисуют то, за что Шляпентоху дают сумасшедшие деньги. Все опросы базировались на случайной выборке подписчиков (мы имели доступ к этим данным, хранившимся в почтовых отделениях). Мы проводили опросы как по месту работы подписчиков с использованием методики квотной выборки, так и по месту их жительства. К тому же использовали почтовую анкету, направленную всем подписчикам в случайно отобранных почтовых отделениях.

Начало советской социологии. Шестидесятники.

В нескольких моих работах по истории изучения общественного мнения в СССР я пишу, что опросы Бориса Грушина возникли из «ничего», если не брать во внимание, естественно, существовавшую в обществе социальную атмосферу. Как возник твой замысел всесоюзных опросов читателей газет? Тебе уже был знаком опыт Грушина? Ты знал о работах ленинградских социологов? Твои ответы крайне важны для истории нашей науки... это вопрос о коммуникационных сетях, неформальном общении...

Конечно, я был знаком со всем, что делалось в социологии к 1965 году. Конечно, я знал об опросах Бори в «Комсомольской правде». Но, как только я получил возможность действовать, я видел свою задачу сделать то, что Грушин не сделал: провести национальные опросы по случайной стратифицированной выборке. К данным Грушина я – тогда максималист – относился гораздо хуже чем отношусь сейчас. Тогда я смотрел на них весьма критично – ведь они были не репрезентативными,

отбор респондентов был экзотический – меридианы и поезда, отходящие из Москвы. Мой и моих сотрудников энтузиазм базировался на идее, что мы первые проводим настоящие научные опросы. Этим они и привлекли тех, кто следил за развитием нашей социологии на Западе. Лена Мицкевич (Ellen Mickiewicz), (тогда в Мичиганском университете), для которой в те времена, как для всех ее коллег в политических науках и социологии, только опросы, базировавшиеся на случайной выборке, заслуживали внимание, опубликовала восторженную статью о моих исследованиях как первых национальных опросах общественного мнения в СССР в престижнейшем *Public Opinion Quarterly* (1969): этот номер я с большим трудом смог прочитать в спецхране.

Затем, уже в Москве, в ИСИ, вместе с Леной Петренко и Таней Ярошенко мы начали разрабатывать первую в истории СССР территориальную национальную выборку. Дело в том, что «Правда» захотела в 1976 году провести новое исследование своих читателей. Я отказался от предложения Руткевича быть содиректором нового проекта вместе с Коробейниковым, партийным социологом, которого я откровенно презирал. Я сохранил за собой руководство методологией исследования. «Правда» хотела, чтобы мы опять изучали читателей, но нам очень хотелось воспользоваться грандиозными возможностями и отработать методику территориальной выборки всего населения страны. Я убедил руководство газеты изучить население, а не только подписчиков, используя два аргумента. Первый, «Правда» – такая важная, такая важная газета, что она является частью жизни каждого советского человека. Второе: Гэллуп именно так делает. Эта демагогия сработала, и мы получили всю страну с аппаратом корреспондентов и поддержкой партийных органов для отработки территориальной стратифицированной случайной выборки. С мандатом «Правды» я отправился в ЦСУ, был принят его начальником, опытным статистическим волком Львом Володарским и получил от него формальное подтверждение, что мы первые за всю историю советской власти, которые проводят опрос на базе территориальной случайной выборки. Более того, я добился, чтобы ЦСУ включило в свои бюджетные опросы вопросы о подписке на газеты, чтобы потом сравнить наши результаты с ЦСУ (потом оказалось, к нашему вящему удивлению, что наши данные были более точны, а ЦСУ – близкие к абсурду).

Отрабатывая методику случайной выборки на всех этапах стратификации, мы были в Таджикистане, где проверяли нашу методику – от аула до республиканской столицы и то же самое проделали в Грузии и Молдавии. Впечатления от

этих поездок было множество (я имею ввиду впечатления только социологического характера). Потом была издана книга о территориальной выборке, из состава авторов которой я был изгнан в связи с отъездом.

О, исторические парадоксы: сейчас под влиянием множества факторов случайная выборка потеряла в американской социологии (но не в опросах общественного мнения – pollsters and sociologists (полстеры и социологи) – разные в США профессии) свой королевский статус, в моде «качественная (для меня часто используемая для прикрытия ненаучных исследований) социология», которая сделала фокус группы главным источником информации. Та же дорогая Лена Мицкевич публикует одну статью за другой о России в основном, используя те же фокус группы.

И еще одно отличие моих исследований от грушинских и ленинградских до середины 60-ых годов. Я не помню, чтобы авторы «Человек и его работа» (как, впрочем, и автор аналогичной книги в Америке Мелвин Кон (Melvin Kohn) в «Класс и конформизм» / Kohn M. L. Class and conformity; a study in values. Homewood, Ill.: Dorsey Press, 1969) написали хотя бы две строчки с сомнениями о качестве ответов их респондентов. Они полностью игнорировали проблему доверия к респонденту, в то время как для меня после выборки эта была проблема номер один. Оба автора, Владимир Ядов и Мелвин Кон (между прочим, они давно дружны) не задумывались тогда, как сильно было влияние доминирующих ценностных ориентаций, когда они оба выясняли отношение людей к «творческой» (у Кона – «сложной») работе, игнорируя то, что в обоих обществах, особенно в советском, творческая работа расхваливалась в медиа и школе изо всех сил. (Кстати, в моей рецензии в «Известиях» на «Человек и его работа» в 1968 году я этот факт мягко, но отчетливо отметил). Поэтому в этих моих исследованиях результаты интервьюирования по месту работы и месту жительства сравнивались не только с друг другом, но и с результатами почтовых опросов. Результаты обработки анкет с открытыми вопросами сравнивались с данными анкет с закрытыми вопросам. Ответы на анкеты с демографическими вопросами сравнивались с ответами на анкеты без них; реакции респондентов на вопросы с одним порядком альтернатив с реакциями на вопросы с иным порядком ответов т.д. Материалы опросов читателей газет на витринах (было такое явление в Советском Союзе) сравнивались с основными данными и т.д. Специальное внимание мы уделяли эффекту интервьюера и использовали методики для его выяснения. В 1969–1971 гг. большинство результатов наших сравнений было опубликовано в двух то-

мах «Читатель и газета» и в двух томах «Социология печати» (1969–1970).

Именно в те годы я твердо убедился в том, что исследование, покоящееся только на одном источнике информации, не заслуживает внимания, обнаружив позднее моего союзника в лице Дональда Кембелла, наверное единственного американского социолога, придавшего требованию множества источников важнейший методологический принцип, который, впрочем, игнорируется 99 процентами американских социологов в их исследованиях. Наверное, потому что реализация этого принципа требует больших средств.

Потом в Америке я хвастался во всю на разных конференциях по методике опросов тем, что мы делали в «варварской России». Позже в своих замечательных «Пятницах» Грушин стал разрабатывать свои процедуры для получения надежной информации.

Имея статистическое образование и читая ряд лет историю экономических учений, ты не мог не знать о работах русских земских статистиков, много занимавшихся выборкой, стратификацией, обсуждавших проблемы формулировки вопросов и т.д. Оказали ли эти работы значимое влияние на тебя, стали ли они – пусть отчасти – импульсом к переходу от экономики к социологии?

Буквально никакого, хотя я кое-что знал о них.

Теперь – один частный вопрос. Не мог бы ты сказать, какое место среди работ русских статистиков занимает исследование В.И. Ленина о развитии капитализма в России. Сейчас это можно (нужно?) сделать без оглядки на государственную идеологию и мифологизацию работ Ленина. С другой стороны, работы каких Западных социологов, прежде всего по методам социологии, ты смог в то время найти, прочесть и использовать в своей работе?

Я хорошо знал работы Ленина и относился к его анализу статистических данных вполне уважительно. Конечно, как прикрытие для социологии цитировал бесконечно ленинские группировки российских и американских хозяйств. Однако, влияние Ленина на нашу социологию в 60-е годы было равно, по моему мнению, нулю.

Моими учителями были американские и польские социологи. В своих книгах по методике я использовал и цитировал буквально сотни западных работ. Но хочу отметить влияние польской социологии на нас. Оно было огромное. Я выучил польский еще в 1956, тогда возникла возможность читать польскую прессу, особенно мою, ставшую любимой «Политику», которая была намного свободнее нашей. Щепанский, Ба-

уман, Гостковский, супруги Лютыньские были для меня часто первым источником социологических знаний. Я помню, как в Академгородке я переводил с листа для собравшихся социологических неопитов книгу Баумана об основных понятиях социологии и как мы впитывали каждую фразу этой книги.

Хотел бы вернуться к вопросу о корнях советской социологии. Вот слова Мамардашвили: «Что, Зиновьев из Бердяева, что ли вырос? Да ничего подобного – из полупьяного лейтенанта Советской Армии. И Грушин... из обыкновенного, банального комсомольского активиста...». И вот ты пишешь: земские социологи никак не влияли, работы Ленина по развитию капитализма не влияли. А что влияло? Как насчет русской классической литературы и писателей-поэтов шестидесятников?

Я могу только повторить, что сказал ранее – советская социология была обязана на первых этапах своего существования только западной и польской социологии. Отсюда важная позитивная роль Игоря Кона, Галины Михайловны Андреевой, Юрия Замошкина, старавшихся в своих якобы критических работах о западной социологии сообщить своим коллегам максимум информации о том, что происходит на Западе. Это же делал и Ядов и я, стараясь насыщать наши публикации западными материалами. Немалую роль сыграли и стажировка Ядова, Грушина и Фирсова в Англию и Францию, а также поездки на конференции на Запад (этой возможности у меня не было никогда, меня «не пустили» даже на конгресс в Варну в 1972 году). Говорить о каком-то специфическом влиянии русской классической литературы на социологию в 60-ые годы, не следуя мифам, нельзя.

Другое дело, связь социологов с писателями 60-ых годов. Она безусловно была, но влияние было обратное – не они на нас, а мы, выразители новых тенденций в обществе, на них оказывали влияние, получая вместе с тем от них поддержку, духовную и организационную. Пример тому дружба Шубкина и моя с писателем Владимиром Канторовичем, автором книги «Социология и литература» (1972), написанной под нашим прямым влиянием, о чем Канторович, необычайно достойный человек, бывший узник Гулага, писал сам.

Дружили мы с Володей Шубкиным и с другим замечательным человеком, писателем Александром Ивановичем Смирновым-Черкесовым, тоже с опытом Гулага, бывшим в 60-ые годы заведующим отделом «ЛГ». Это он был одним из инициаторов проведения опроса читателей газеты в 1967–68 году, что было поддержано известным писателем Александром Чаковским, главным редактором, и его заместителем Виталием Сырокомс-

ким. Смирнов-Черкесов попросил меня также провести анализ писем читателей о месте инженера в обществе (1969) и опубликовал мою статью с итогами исследования.

Потом он вместе с известным журналистом Анатолием Рубиновым, попросил меня провести контент-анализ писем читателей по поводу предложения создать службу знакомств. Последняя акция завершилась моей статьей, рассказывавшей о том, как одинокие женщины с восторгом приветствовали эту идею, и разгромной статьей в «Правде» против меня, как проводника чуждых нравов в советском обществе (1972).

«ЛГ» в 60-ые и даже 70-ые годы была, конечно, одним из оплотов социологии, в которой печатались регулярно замечательный демограф Борис Цезаревич Урланис, который как и все демографы был нашим большим союзником, и социолог – демограф Виктор Переведенцев. Для меня публикации в «ЛГ» – я, наверно, публиковался в ней чаще других социологов – были большим удовольствием, ибо в каждой статье я стремился протолкнуть свежую для читателей идею. В одной из статей «О пользе послевкусия» с явным намеком на то, что истинное удовольствие измеряется «не до», а «после», я знакомил читателей с крамольной идеей убывающей полезности.

Интерес писателей к нам в те годы объяснялся одним фундаментальным обстоятельством. Дело в том, что ЦК устанавливало рейтинг популярности писателей, который, конечно, не соответствовал их реальному престижу. В социологах истинные писатели видели тех, кто сможет восстановить справедливость и объяснить партийному начальству, что «происходит на самом деле». Когда я начал проводить всеоюзные опросы читателей газет, я в полной мере (а не ретроспективно, как сейчас) понимал свою миссию. Особенно, по естественным причинам, это было важно в опросе читателей «Литературной газеты». Нам очень хотелось помочь прогрессивным писателям доказать (виновен, было такое желание), что «хорошие писатели» были популярнее «плохих». Чаковский благоразумно отказался от моего провокационного предложения создать комиссию из писателей и оценить качество литературных произведений, о которых пойдет речь в опросах (конечно, в ответах на открытые вопросы). Тогда я придумал следующий прием, который позволит «объективизировать» читательские оценки. Так как 90 процентов всех новых произведений сначала печатались в толстых журналах, мы, во время кодировки ответов на вопрос: «Какие прозаические (и отдельно поэтические) произведения современных советских авторов в последние годы Вам понравились?», отмечали, где они были опубликованы впервые. Для нас было важно установить, различие между произведе-

ниями, опубликованными в «Новом мире» А. Твардовского, лидере либеральной мысли в 60-ые, и «Октябрем» В. Кочетова, откровенным сталинистом. Наша гипотеза, что «Новый мир» выиграет сражение, полностью была подтверждена: примерно 70 процентов названных респондентами произведений были впервые опубликованы в «Новом мире» и не более 15 процентов – в «Октябре». (Я потом хвастался этим приемом в Америке перед самыми важными деятелями в методологии опросов, поучая их, что значит изошренная методика и как хорошо социологу жить в тоталитарном обществе, которое напрягает интеллект). В «личном зачете» мы тоже получили вполне радостные результаты. Среди современных советских авторов на первом месте был К. Симонов, затем М. Булгаков и, о радость, А. Солженицын. Третье место Солженицына в период, когда уже началась его травля (1969 год), сразу сделали результаты популярности советских прозаиков не годными для публикации. Это однако сделала итальянская “Unita”, что вызвало расследование того, кто передал данные на Запад. Меня вызывал Сырокомский в редакцию, но вполне удовлетворился моим заявлением, что я не знаю и что копия отчета об исследовании имеется и в редакции. Другие итоги литературной части наших опросов также радовали либеральных писателей и всю общественность. Из современных иностранных авторов гуманисты-писатели такие, как Хемингуэй, Ремарк и Фолкнер были впереди всех. Ответы о русских классиках были также вполне ободряющие: Чехов, Толстой, Достоевский. Третье имя было особенно важно, учитывая плохую репутацию автора «Бесов» в официальной литературе. И итоги нашего поэтического конкурса были интересны: за Евтушенко, поэта с явной либеральной репутацией, проголосовало около 50 процентов читателей «ЛГ». Эти данные позволяли утверждать, что не было поэта более популярного во время, когда он жил, чем Евтушенко.

Но не только «левые», как тогда говорили, писатели видели в нас своих союзников. Деятели кино и театра также искали с нами контактов. Журнал «Советский экран» попросил меня провести опрос среди читателей журнала используя, увы, только анкету, отпечатанную в журнале, чтобы узнать популярность фильмов. Этот опрос, а также те вопросы о фильмах, которые я включил во все четыре больших опроса, показали большую поляризацию аудитории. Читатели, которым нравились сложные фильмы, главным образом, западные (мы их называли «обертоновыми») были в меньшинстве, хотя фильмы острой социальной направленности, скажем, «Председатель», были популярны среди всех слоев населения. Этот результат был приятен для левых кинематографистов.

Впрочем, упаси нас, боже, преувеличивать влияние наших и других опросов на идеологическую политику властей. ЦК вряд ли принимало их в расчет, когда там принимались важные политические и идеологические решения. Социология даже в лучшие советские времена не влияла на власть, но она успешно участвовала в формировании либерального движения в России, снабжала его участников аргументами. Если бы это либеральное движение сыграло роль в возникновении Перестройки, то тогда можно было бы сказать, что социология непосредственно участвовала в историческом повороте страны. Но так как, по моему убеждению (я его развил в книге «Нормальное тоталитарное общество», 2001) либералы и диссиденты не могут претендовать на возникновение феномена Горбачева, то и советские социологи не могут приписать себе то, что они стояли у истоков 1985 года. К тому же, к этому году либеральная социология была разгромлена, в стране ее представлял такой мракобес как Руткевич к моменту моей эмиграции; в ИСИ, которым командовал «бульдозер», практически не было ни одного яркого лица, а настоящие социологи укрывались где могли.

Первое поколение советских социологов принято называть «шестидесятниками», многое в их гражданских позициях и социальных воззрениях связано с осмыслением положений и духа доклада Хрущева на 20 съезде партии в 1956 году? Как ты в то время относился к социализму, считаешь ли ты себя «шестидесятником»?

Конечно, я шестидесятник, хотя никаких иллюзий насчет советской системы у меня не было и после 20 съезда, который я встретил с восторгом. Я твердо исходил из того, что тот социализм, который существует в СССР, есть «истинный» и другим по сути он быть не может, хотя и надеялся в 60-ые годы на его смягчение.

В утверждениях о том, что советская социология возникла на волне хрущевской оттепели, что ее основатели – шестидесятники, есть историческая правда. Полагаешь ли ты, однако, что все, кто стоял у истоков советской социологии, в период 60-х – 80-х разделяли сходные идеологические установки, что их понимание политики страны, философии власти было сходным?

Это очень интересный, но и трудный вопрос. В 60-ые годы было почти полное единство среди первых социологов. С одной стороны, они сами не выходили за рамки основных марксистских постулатов. Грушин, например, бравировал (чем меня этим при первом знакомстве в середине 60-ых чрезмерно уди-

вил), что он убежденный марксист. С другой стороны, вера в важность либерализации общества была принята ими всеми как идеология, обосновавшая необходимость социологии и *raison d'être* нашего существования. Официальный курс оттепели, который пережил Хрущева до 1968 года, а в социологии частично даже до 1971 (ведь институт социологии был создан официально в 1968 году и просуществовал с Румянцевым как директором до 1971), делал всех нас лояльными режиму. Геннадий Осипов, чьи заслуги в создании социологии в начале 60-ых годов огромны, выглядел вполне как «свой парень». Он был тогда действительно вдохновлен, как никто другой, созданием эмпирической социологии и радовался каждому успеху в этом деле. Это он, например, добился того, что Румянцев подписал предисловие к моему сборнику «Социологии печати». Вера в то, что создание социологии великое дело, объединяло не только высший комсостав социологии, но и рядовых бойцов и офицеров. Действительно, когда я приехал в Москву в 1969, я застал фантастическую картину в новом институте. Институт был переполнен «леваками», имевшими очень отдаленное отношение к социологии, были даже подписанты. Среди ярких либеральных звезд был журналист Лев Анненков и экономист Геннадий Лисичкин. Был Лен Карпинский, бывший секретарь ЦК ВЛКСМ, у которого за плечами было несколько выдающихся поступков, включая выступление против волны сталинизма в «Известиях», где он работал после изгнания из «Правды» за статью (совместно с Бурлацким) против цензуры. Был там Орлов из тех же «Известий», уволенный за отказ писать репортажи из Праги о вторжении советских войск.

Но в то же время Институт был переполнен откровенными КГБэшниками, выходцами из комсомола, главного резервуара кадров для соответствующей организации. Они были всюду, во всех отделах, не говоря уже о международном, где командовал зять Фурцевой, в отделе кадров, спецотделе и отделе специальных социологических исследований.

Замечательная особенность института была в огромном количестве красивых женщин на квадратный метр институтской площади. Было не просто пребывать в здании на Черемушкинской, постоянно сталкиваясь на всех этажах с ослепительными дамами и девушками. Два зама, смертельно ненавидящих друг друга, Осипов и Бурлацкий (борьба между ними немало повредила новой науке), соревновались друг с другом в численности красавиц, которых они могли вызвать в кабинет в любой момент. Наблюдая это изобилие привлекательных особ в институте, я сформулировал закон, согласно которому удельный вес красивых женщин точно характеризует престиж науки в

обществе. Социология тогда действительно была любимицей публики. Точно в соответствии с этим законом, после ее разгрома в начале 70-ых красивые женщины уже не гуляли табунами в коридорах института.

Пока Румянцев, член ЦК, был директором института, два лагеря сосуществовали и даже как бы были озабочены прогрессом социологии или того, что они понимали под ней. С приходом «палача социологии» Руткевича и политической реакцией в стране ситуация коренным образом изменилась. Сразу выявилось, что мы, либералы, превратились в преследуемое меньшинство.

Тогда-то и произошло резкое размежевание среди ведущих социологов. Стало ясно, что Осипов находится в теснейшей связи с органами, и то, что он создал сектор борьбы с сионизмом в середине 70-ых, было тому веским доказательством. Даже в 1986, когда Перестройка делала первые шаги, он выступал на конгрессе американских социологов, где был и я, как пошлый пропагандист сельского уровня и беспардонный врун, каким впрочем он был всегда, даже совершая добрые дела для социологии. Здравомыслов в те годы стал еще более ортодоксальнее, чем раньше. Хотя он и сохранял что-то от прошлого, но уже следил жестко за соблюдением линии партии. Впрочем, его движение в сторону от независимой науки умерялось его чрезвычайной любознательностью и преданностью интеллектуальному процессу, что всегда вызывало к нему мою симпатию. Впрочем, и другие звезды социологии стали двигаться навстречу режиму. Игорь Кон публикует верноподданные тексты в «Философском словаре» и других изданиях, Галина Михайловна Андреева и Замошкин совершают поездки на Запад для защиты мира.

Следующий раз замена кассет в сознании произошла в 90-ые годы. Тогда Маркс и социалистические идеи начали срочно покидать публикации многих социологов и заменяться модными западными авторами типа Бурдьё, многие из которых вели свою родословную именно от Маркса. В начале 90-ых на юбилее Здравомыслова в Москве я выступил с небольшим докладом, в котором пытался опозорить московских либералов в их вспыхнувшей ненависти к социальному равенству, доказывая, что в своей прыти отмежеваться от марксизма и социалистических идеалов они выглядят на Западе троглодитами. (Позднее я опубликовал статью "Social Inequality in Post-Communist Russia: The Attitudes of the Political Elite and the Masses (1991–1998)". Europe – Asia Studies. 51. 1999 и под названием «Равенство и справедливость в России и США» в Социологическом журнале № 3–4. 1998.)

Когда я сел на место Андреевой, с которой меня в старой жизни связывали самые теплые отношения (она, между прочим, изо всех сил старалась привлечь меня к чтению лекций в МГУ и помогла моему сыну перевестись из НГУ в МГУ), она громко предложила мне вступить в КПРФ. В ответ я столь же громко прошипел сидящему рядом Шубкину, что я терпеть не могу бывших членов партии, стремящихся ныне демонстрировать свой антикоммунизм. По пути на банкет Галина Михайловна спросила меня – «Владимир Эммануилович, верите ли Вы в то, что человек может искренно менять свои убеждения?» «Конечно, – ответствовал я, – но при условии, что изменения взглядов не приносят ему выгоду, не помогают ему делать карьеру». Я добавил, что эволюция взглядов Сахарова и Горбачева мне кажется вполне достойной, а вот превращение Александра Яковлева, и.о. отдела пропаганды и агитации ЦК во время вторжения в Чехословакию и автора гнуснейших антизападных книг еще в 1983–1984, в агрессивного хулителя Маркса, равно как и генерала Д.А. Волкогонова, зам. начальника Главупра по пропаганде в армии в активного демократа, абсолютно позорным.

Кстати, замечу, что в то время как многие российские либералы отмежевывались от Маркса, моя эволюция в Америке была противоположной. Я понял, что мой юношеский экстремизм в студенческие годы в Киевском университете (1947–1949), который заставил меня тогда и много лет потом видеть в Марксе только неудачного пророка новой религии, был глубоко неправильным. Конечно, Маркс был утопист, но в то же время он был выдающимся мыслителем. И если как экономист, несмотря на его заслуги в истории экономической мысли, он в целом устарел, то как социолог он «живее всех живых». По числу концепций, которые сегодня «работают» в социологии, ему нет равных, даже если мы сравним его со всеми иконами современной социологии – Дюркгейм, Вебер или Парсонс. Недавно я прочитал для аспирантов социологов лекцию о Марксе и сам оказался под впечатлением мощи его беспощадного интеллекта, со всеми его ошибками и просчетами. Среди других идей, которые я толкал, была и демонстрация превосходства марксистского анализа социальных процессов, со всеми его ограничениями, над «убогостью» (любимое слово Маркса и Ленина) постмодернизма, при наличии некоторых положительных элементов в нем.

Несколько лет назад я опубликовал статью в Левадовском журнале (Шляпентох В. «Письмо в редакцию». Мониторинг общественного мнения. № 2. 2001), в которой удивлялся статье Льва Гудкова «К проблеме негативной идентификации»

(Мониторинг Общественного Мнения. № 5. 2000). Автор рассуждал о русском народе в целом в весьма нелестном для него стиле, полностью игнорируя элементарное правило марксистского анализа, принятое на вооружение западной социальной наукой – структурный подход, – который предполагает существование различных групп населения, резко отличающихся друг от друга. Гудков полагал, что он меня очень обидит, если в своем возражении заявит, что я все еще не могу избавиться в эмиграции от вывезенного мною с моей родины истмата, который кстати даже в его уродливых советских формах был ему полезен.

Ты не раз уже вспоминал Володю Шубкина. К сожалению, он давно и тяжело болен, и потому не приходится рассчитывать на беседу с ним. Им многое сделано в науке, и он подтолкнул тебя к социологии. Когда Грушин и Ядов говорят о нем, у них глаза теплеют. Не мог ты рассказать о Шубкине как о социологе и человеке?

Это самый приятный моей душе вопрос, который ты мне задал. Шубкина я всегда любил нежно, и по правде говоря (мы это оба любили повторять) у нас в сегда было «морально-политическое единство». Оно сформировалось в Академгородке, в котором я с ним и его умницей женой Ирой познакомился в октябре 1962. Это единство было и в наших взглядах на важность роли математики в социальных науках – Володя был одним из горячих сторонников количественных методов в социологии (он был вдохновителем ротопринтной книги «Количественные методы в социологии», изданной в 1964 и переизданной «Мыслью» в 1966), но экстремизм 60-х годов с его верой в то, что все можно математизировать и измерить был нам смешон. Володя, который любил литературу намного больше, чем его коллеги (он сам был автором повести и ряда литературных эссе) видел в союзе социологии и литературы свой профессиональный идеал, терпеть не мог чисто цифирную социологию, на которую молились многие в 60-ые годы и СССР и в Америке.

Мы были едины в понимании Аганбегяна со всеми его организаторскими способностями и с его помощью социологии как интригана, готового в любой момент заменить одну кассету в сознании другой (мы наблюдали эту смену кассет, когда началась политическая реакция в городке в марте 1968). Мы были с ним едины и в оценке того, что происходило в России после 1993 года. В отличие от Ядова и Левады у него не было ослепления Ельциным и Гайдаром в середине 1990-х.

У нас возникло, правда, некоторое расхождение, которое мы с ним избегали обсуждать. В середине 1970-ых Володя четко тяготел к либеральному славянофильству. Он напечатал

в «Новом мире» статью «Пределы», в которой он жестко противопоставлял западного, меркантильного человека русскому человеку, человеку Достоевского, перед которым Володя преклонялся, человеку совести, моральных принципов. Я совсем не осуждаю национализм, если он не является ксенофобным, не враждебен Западу, а поглощен любовью к своей Родине. В целом, Володин национализм и был таковым, но все-таки статья Володи не была мне по душе, однако это не повлияло на нашу многолетнюю дружбу и взаимную симпатию.

Володя был и остается для меня воплощением человеческого достоинства. Чувство собственного достоинства является – в моей теории Шубкина – тем базисом, на котором возвышается надстройка с большинством его личных качеств. Его замечательная подруга и жена Ира не уступала Володе в этом повседневном беспокойстве о чести, они оба зорко следили друг за другом, чтобы не совершать поступков, которыми они не будут гордиться. Чувство собственного достоинства прежде всего не позволяло Шубкину гнуться перед обоими режимами, на которые пришлась его жизнь, и маловероятно, что, появившись в России новый режим, он начал бы петь ему «аллилуйю». Володя не был диссидентом. Он не будет утверждать как многие, работавшие тогда в ЦК и прямо контролировавшихся им учреждениях, что они разрушали там советскую власть, делая это даже на пьянках, как писал недавно в «Независимой газете» один очень уважаемый и любимый мною социолог.

Я утверждаю, что Володины исследования о профессиональных ориентациях молодежи в начале 60-ых годов были самыми смелыми по сравнению с другими пионерскими работами отцов-социологов. Ни Грушина, ни мои опросы общественного мнения не создали данных, которые прямо (а не только косвенно) бросали вызов официальной идеологии. И уж, конечно, таковыми не были опросы «Комсомольской правды». Они были вполне бодрыми и советскими, хотя и отражали элементы реальной действительности. Грушин имел полное основание писать 40 лет позже, что его опросы тогда установили всеобщую лояльность к власти и весьма высокий оптимизм в стране (Грушин Б.А. Четыре жизни России в зеркале опросов общественного мнения. Жизнь 1-я. Эпоха Хрущева. М.: Прогресс-Традиция, 2001. С. 96–97, 140, 191–192, 279, 538.) Я подчеркивал, высмеивая российских антикоммунистов типа Льва Гудкова, что грушинские исследования тогда выявили важную сторону жизни СССР (Шляпентох В. «Советские люди в начале 60-х годов: размышления по поводу книги Бориса Грушина». Мониторинг Общественного мнения». 2004. № 4). И все-таки эти исследования были вполне лояльны власти, как

были по своему правдивы романы 30-ых годов, типа Эренбурга «День Второй», воспевавшие энтузиазм первых пятилеток.

Однако в 60-ые годы можно было избрать предметом социологических исследований не безопасную (хотя и вполне «честную» тему), а явления жизни, о которых власти не хотели говорить или даже запрещали это делать.

Новосибирские исследования текучести рабочей силы в 1960-е были по сути несколько крамольны, ибо в них шла речь не о бескорыстных Ядовских ленинградских молодых рабочих, а о советских трудягах, готовых немедленно поменять место работы ради дополнительных 10–20 рублей и особенно, если на новом месте работы обещают жилье. И все-таки и эти исследования нельзя сравнить с тем, что сделал Шубкин, который прямо и однозначно объявил полной туфтой фундаментальный тезис официальной идеологии о руководящей роли рабочего класса. Отмечу, шубкинское исследование было первым, вызвавшим бурную реакцию на Западе, где сразу прерасно поняли его идеологический заряд.

И Володя нанес удар сознательно, бесстрашно, с удовольствием. Ведь никто не знал, как прореагирует ЦК на первый его доклад о том, что молодежь ни за что не хочет присоединяться к классу гегемонов. Я не знаю, кто из социологов может сказать о таком своем прямом вызове легитимности всей советской системы.

И все-таки Шубкин не объявлял открытой войны партии и КГБ, но он был глубоко поглощен всю свою советскую жизнь тем, чтобы не сделать ни одного жеста в пользу системы, переступить порог дозволенного из страха и карьеры. Он решительно отказался от сотрудничества с КГБ накануне его первой зарубежной поездки (речь шла о Франции, мечте всех нас тогда), хотя отлично понимал, что он может быть никогда не сможет увидеть ни Париж, ни другие волшебные города и что абсолютное большинство его коллег без малейших колебаний, чуть ли не с радостью от проявленного им доверия, соглашались делать буквально все, что вежливо просили их розовые мальчики с Лубянки или из «Аквариума».

Володя и Ира не только открыто читали «самиздат», но смело поддерживали их приятеля, который, будучи тесно и демонстративно связан с генералами диссидентства, находился под открытым наблюдением КГБ (по крайней мере, так мы считали тогда в Академгородке). Когда в Академгородке шла кампания против подписанства, и многие наши коллеги склонили головы перед преследователями и даже стали оправдывать их и присоединяться в разной форме к ним, Ира и Володя прошли этот жуткий период с высоко поднятой головой. Много

ли наших общих друзей и коллег могут привести подобные эпизоды из своей жизни?

Когда в 1978 году я объявил о своем решении эмигрировать, совсем немного моих коллег по ИСИ не забыли мой домашний адрес, и, конечно, Володя и Ира были среди них и старались поддерживать мой дух всякими средствами.

Володя не склонял головы не только перед чиновниками ЦК и КГБ, но и перед своим босом в Академгородке, от которого зависела его карьера. Довольно скоро он, защищая свою независимость и отказываясь петь ему осанну, вошел в конфликт с ним и лишился верных шансов на членкоррство, которое досталось другим.

Этот эпизод – лишь один из многих, относящихся к теме, далеко не разработанной, об отношениях между социологами и властью. Уж как отличались мои коллеги (я не имею ввиду откровенных социологов-аппаратчиков, естественным образом для их природы пресмыкавшихся перед нею) друг от друга в этом отношении. Осипов и Здравомыслов на одном полюсе, Левада и Шубкин, на другом.

Постсоветское время проверило достоинство Шубкина иным образом. Кто из социологов масштаба Шубкина, с его опытом национальных и международных социологических исследований, в конце века, но до болезни, имел тот-же общественный статус, что и накануне перестройки – заведующий отделом? А это произошло опять-таки из-за шубкинской гордыни-отвращения к сотрудничеству с властью ради высоких позиций и, конечно, денег. Он не мелькал на телевидении и не рвался на московские престижные тусовки. Он не искал встреч с сильными мира сего. Шубкин не мог отказаться от нормальной позиции русского интеллигента и тем более социолога – выступать критиком власти, говорить правду об обществе, в котором правят бал коррупция и преступность.

Он, при всей своей ненависти к тоталитаризму прошлого, не мог закрыть глаза на поведение тех, кто окружили трон, и органически не мог им служить ни прямо, ни косвенно. Он не мог простить этим людям, претендующим на мантию демократов, их глубокого равнодушия к «униженным и оскорбленным», к судьбам своей страны. Он не боялся ни в Москве, ни в Сиэтле демонстрировать свой пиетет к Солженицину, игнорированному и высмеивавшемуся в «демократических» кругах. Отвергая, в моем представлении, и коммунистов, и либералов, Володя не боялся говорить о своей любви к Родине, о своей острой озабоченности ее национальными традициями, сохраняя при этом уважение ко всем другим народам, к Западу, в частности.

То же чувство собственного достоинства заставило Володю приложить все усилия, чтобы восстановить для себя и общества историю своего отца, погибшего во время сталинского террора, опять таки – редкий случай в нашей жизни.

Володя никогда не скрывает своей идейной позиции и для него оказалось опять неприемлимым двойное мышление немалого числа его коллег – ругать власть на кухне и поддерживать ее публично, добиваясь от нее разных привелегий. Шубкин, однако, полностью лишенный чувства зависти – другая сторона его чувства собственного достоинства, – далек от порицания тех, кто ведет себя иначе в постсоветское время, столь полное соблазнов и столь равнодушное к понятию честности.

Не кажется ли тебе, что мы должны оценивать работы первого поколения советских социологов с учетом обстоятельств того времени и того уровня развития социологии в стране. Ты говоришь о том, что ни Грушин в его первых опросах, ни авторы «Человек и его работа» не придавали должного внимания проблеме надежности измерения. Думаю, что придавали, но мало. С другой стороны, может быть, имеет смысл говорить о том, что в те годы сам факт проведения социологического исследования того или иного фрагмента социальной реальности был несоизмеримо выше, чем вопрос о надежности? Ведь измерения Майкла Фарадея явно уступают в точности измерениям современных студентов, однако никто не ставит ему этого в вину.

Полностью согласен.

Лишь недавно А. Здравомыслов и В. Ядов издали полный текст «Человек и его работа»; Н. Лапин через 30 лет после завершения опубликовал итоги исследования социальной организации промышленного предприятия; книгу Я. Капелюша по выборности на предприятии отпечатали, но потом весь тираж уничтожили; лишь после смерти В. Голофафта его друзья смогли опубликовать подготовленную под его редакцией книгу о семье в крупном городе, ее текст был рассыпан после корректурной вычитки... Эти и подобные примеры, не говоря о самоцензуре, дают возможность предположить, что анализ советских социологических публикаций не позволяет историкам науки сейчас, тем более – в будущем сделать обоснованный вывод о результатах исследований советских социологов в конце 60-х – начале 80-х годов. Что ты думаешь по этому поводу?

Не думаю, что все эти обстоятельства могут сильно повлиять на оценку социологии тех времен. Никаких открытий в рассыпанной корректуре отыскать, как мне кажется, невозможно. Все эти работы, включая Якова Капелюша и даже работы Андрея Алексеева, самого радикального из всех эмпирических социологов тех времен, были вполне лояльны к режиму.

Ты предлагаешь назвать достижения самых что ни есть замечательных историков, философов, социологов, социальных психологов за все 40 лет после сталинской эпохи. Назову школу Юрия Лотмана. Рискну упомянуть работы Альфреда Манфреда по истории Франции эпохи Наполеона... История как наука дальнорозка, должно пройти время, чтобы реально оценить сделанное теми или иными учеными. Может быть еще рано оценивать сделанное социологами твоего поколения? Не может ли внимание к марксизму на Западе привести, например, к пересмотру значения работ Эвальда Ильенкова?

Несомненно, Лотман, как и другие советские представители семиотики (Иванов, Гаспаров, Пятигорский) – крупные ученые. Предисловие к единственной книге Лотмана, изданной на Западе написал Умберто Эко. Однако я не думаю, что Лотман и другие советские семиотики внесли свой оригинальный вклад в мировую науку. Я скорее всего должен был отказаться отвечать на этот вопрос, и ты должен спросить западных семиотиков.

Что касается Манфреда, то он, по-моему, посредственный историк, который в отличие от его коллег умел писать по-популярно. И Ильенков, несомненно, будет читаться всяким, кто захочет изучить историю марксизма в Советском Союзе, наряду и с многими другими авторами, как абсолютно официальными, так и такими, которые, как Ильенков выходили немного за рамки партийных канонов. Не более того...

В пересмотр оценки интеллектуальной значимости советского социологического наследия в будущем я не верю.

Участвовал ли ты в семинарах, проводившихся в Кьяэрику? Если да, оцени их значение для развития советской социологии. Мне представляется, что они многое значили в то время, однако уже ряд поколений российских социологов ничего не знает о них.

Был участником всех семинаров и вообще поддерживал тесные отношения с Вооглайдом, их организатором, которого очень ценил и любил. Эти семинары были праздником души и профессионализма.

В своей книге «Страх и дружба.» ты неоднократно говоришь о повышенном интересе к тебе КГБ. Чем, по твоему мнению, это было вызвано? Не мог бы ты привести здесь пару примеров, раскрывающих эти твои наблюдения и утверждения?

Интерес КГБ ко мне представляет только умеренный общественный интерес. Я был среди, наверное, трети интеллигенции (оценка с потолка), которую КГБ вербовала как секстеров, и думаю с большим успехом. Ряд публикаций о работе СТАЗи

в ГДР, например, книга известного историка и журналиста Гартона Аша «Досье – личная история» (Ash T. G. The File: A Personal History. Random House, 1997.), позволяет хотя бы приблизительно понять масштабы этой деятельности. Мы, наверное, никогда не узнаем, кто из весьма уважаемых нами людей, коллег, друзей, включая социологов, сотрудничали с органами.

Я отказался от контактов с КГБ и был с 1956 года у них в черном списке. Я был прочно «невъездным», несмотря на любые приглашения из-за рубежа. Мое поведение в Академгородке могло только усилить враждебность ко мне. Здесь я, моя квартира, многочисленные гости, посещавшие наш «интеллектуальный салон», были в 1965–1969 годах, как потом я узнал, под постоянным наблюдением и, по крайней мере, один мой друг активно допрашивался о моих взглядах и деятельности. В 1977–1978 годах КГБ почти откровенно с явным намерением преодолеть мою нерешительность в отношении отъезда следил за мной, особенно в моих поездках по стране, в частности, в Тбилиси и Киеве в 1977 году, что было для меня крайне дискомфортно. Мне пришлось узнать, что КГБ вербовал одну из моих аспиранток для наблюдения за мной. Для того, чтобы ее убедить в полезности таких действий, органы обещали посоветовать ВАКу не утверждать ее кандидатскую диссертацию. Эти «не сложившиеся» отношения с органами были одним из главных мотивов эмиграции. Насколько мне известно, Левада подвергался еще большему прессингу, опять-таки с использованием его аспирантов для этой цели. Было бы весьма интересно собрать больше «репрезентативных данных» о взаимоотношении между КГБ и социологами.

Гораздо интереснее поразмышлять об отношении советской социологии как социального института и КГБ, да и власти в целом. Дело в том, что тоталитарное общество теоретически должно быть, как это не звучит парадоксально и как это не противоречит реальным фактам, дружелюбно к социологии. Это как бы понял тот высший чин ЦРУ, который на моей лекции еще в 1979, где шла речь о враждебности партийного аппарата к эмпирической социологии, задал мне вопрос, слегка озадачивший меня: «Доктор Шляпентох, Вы толкуете о негативном отношении властей к Вашим коллегам в Москве, но разве не в интересах руководства тоталитарного государства и КГБ иметь в своем распоряжении данные для реализации их собственной политики?». У меня были всего секунды, чтобы не потерпеть поражение. Я мгновенно подумал, что вопрос более чем разумен. Разве первая, абсолютно либеральная волна советских социологов не хотела в начале помочь родной пар-

тии (почти все социологи этой волны были членами партии, Лёня Гордон и я были исключением)? Разве я не хотел помочь своими опросами читателей усилить эффективность советских СМК? В чем-то мои исследования читателей могли принести большую пользу КГБ для выяснения групп населения и регионов, требующих специального внимания органов. Более того, даже не подписанные почтовые анкеты с резкими ответами на открытые вопросы могли быть использованы КГБ для идентификации респондентов. Ведь сочетание ответов даже на несколько демографических вопросов плюс почтовая печать на анкете с указанием города респондента являются абсолютно уникальным и «вычисление» подозреваемого дело простой техники. Недаром, некоторые мои знакомые в Академгородке протестовали против моего решения выделить в таблицах респондентов из Академгородка: ведь сразу стало ясно, что они настроены к «системе» гораздо критичнее, чем средний респондент, явный подарок местному отделению КГБ, если бы оно заинтересовалось этими данными.

Вот и надо было объяснить высокому чину почему не получилось сотрудничества социологов с властью и КГБ. Меня выручил, как во многих случаях, *cost – benefit approach*. «Вы правы, ответственность я ему, логика управления большой организацией требует именно того, о чем Вы говорите. Но это так, если организация считает себя здоровой, если ее руководство не боится до смерти опасностей извне и изнутри и, что особенно важно, если для организации ее позитивный образ не является ее одной из главных ценностей. Эмпирическая социология, конечно, может помочь улучшить в чем-то управление – это выигрыш, – но она же разрушает позитивный образ общества – это большие издержки. И руководство американской корпорации, добавил я, если оно находится в упадке, не будет финансировать донос на самого себя». Уж не знаю, убедил ли я моего собеседника. Так или иначе, он задал мне следующий вопрос: «а что, КГБ уж совсем не интересовалось социологическими исследованиями?»

Я подумал тогда, «боже мой, как хорошо, что КГБ было враждебно к нам, либеральным социологам, и что отказалось приглашать нас – по крайней мере я уверен о себе – для консультаций». Ведь никто от этого в 1960–70 годы не отказался, был бы даже рад и по многим причинам (я, например, потому, что увидел бы в этом некую гарантию моей безопасности, которая всегда беспокоила меня). Представить страшно, что в моей биографии, равно как и в резюме Грушина и Ядова были бы такие замечательные строки – «полставка в КГБ» – 1968–1973 гг.).

Моему собеседнику я однако об этом ничего не поведал, сказав только что проявляет некоторый интерес к социологии, и существование в Институте социологии специального закрытого отдела – тому свидетельство. Однако, заверил я американца, результаты этих исследований наверняка не могут быть надежными. «Это откуда же у Вас такая уверенность», заинтересовался любопытствующий и к тому же весьма симпатичный чиновник. «А вот почему», отвечив я, предвкушая эффект от несколько наглого ответа, «Дело в том, что научную выборку могли построить в СССР по состоянию на 1979 г., только я и моя группа выборки в Институте социологии. А нас же и на порог в этот отдел не пускали и с нами никогда не консультировались. Ergo, их социологические данные не могли быть лучше сведений, получаемых от агентов, по определению не репрезентативных».

У меня есть еще одно мощное доказательство равнодушия ЦК и КГБ к социологической информации, которое казалось таким странным для американцев, но о котором я не упомянул в этой беседе. Когда я покидал страну, у меня в кладовой хранились не только отчеты о всех исследованиях, но и все основные таблицы, содержавшие данные о политическом и социальном настроении практически всего взрослого населения страны. Ни у кого, ни у одного учреждения страны, включая КГБ, как бы поглощенного слежкой за этим настроением, таких данных не было. Я буквально с конца 1960 был монополистом уникальнейшей политической информации в стране. Однако я ни разу не был приглашен для рассказа о моих исследованиях не только в КГБ, но даже в ЦК. Мои характеристики: еврей, беспартийный, либерал (или «левый», в тогдашней терминологии) более, чем перевешивали их весьма слабый, как теперь понятно, интерес к социологической информации. Надо ли удивляться, что в период, после подачи заявления о выезде, никто не поинтересовался этим богатством, которое было просто выброшено в мусорный ящик. Муж Лены Петренко, человек очень деликатный и отнюдь не трусливый (его майорская форма висела в нашей передней в последний день перед Шереметьевом, и это в 1979) мягко упрекнул меня в том, что я намекал его жене и Тане Ярошенко, стать хозяином архива и спасти его для истории. Он правильно заметил, что власти не только не будут благодарны им обоим, но сочтут с их извращенной логикой, что их действия означают солидарность со мной. Но, как всегда, безразличие властей к социологической информации, как этого требует диалектика, имело и весьма положительную сторону. Если бы они ее ценили так, как я и мои коллеги, они не дали бы мне разрешения на выезд, и

были бы по-своему правы в тогдашних условиях. Я оказался бы в «отказниках» с мало приятными перспективами – до Перестройки, а кто о ней мог помыслить тогда?

Американский профессор социологии

Ты уезжал из СССР, когда это еще не было массовым явлением. Когда и в силу каких обстоятельств ты стал думать об эмиграции? Что в конце концов заставило тебя принять это решение? Ты сразу ориентировался на Америку? Ведь были варианты: Израиль, Германия, Канада.

В моем восприятии тогда, во второй половине 70-ых, эмиграция мне казалось массовой (уже уехали мои друзья Арон Каценелинбойген и Игорь Бирман), но главное у меня было ощущение того, что непростительно колеблюсь и не решаюсь совершить то, о чем я мечтал всю мою жизнь, со студенческих лет 1948–1949, когда оформилась мое полное неприятие советской системы как тоталитарной и антисемитской. (Подробное о формировании моего отношение к «системе» можно прочитать в книге «Страх и дружба в нашем тоталитарном прошлом»). Четыре причины определяли мое желание покинуть страны: 1) невозможность самореализации, 2) невозможность увидеть мир, 3) отсутствие перспектив для моих детей и 4) вечный страх КГБ. Непосредственным толчком для принятия позорно откладываемого решения был вступительный экзамен моей дочери в МГУ, циничность которого была уже невыносима.

Однако, несмотря на то, что я обещал Сахе, моей дочери, которая с блеском окончила одну из лучших в стране математических школ, эмигрировать, если она не будет принята в МГУ, я сделал еще одну попытку исправить положение. Я решил воспользоваться моим знакомством с Михаилом Зимяниным, который был главным редактором газеты «Правда», когда я проводил там опрос, а теперь был одним из секретарей ЦК, и отправил ему письмо по поводу Саши. Его помощник подтвердил, что он знает о моем существовании, и заверил, что «Михаил Васильевич лично прочтет мое письмо». Письмо писалось при участии десятка людей (особенно эмоционально был включен Анатолий Рубинов, известный журналист, с которым я давно сотрудничал в «ЛГ»). Необходимо было, чтобы письмо было достаточно агрессивно и в то же время не давало повода считать его антисоветским документом; решено было также не «шантажировать» эмиграцией. Боязнь включить в действие КГБ и «загреметь» на Восток, вместо возможной эмиграции на Запад, не исчезала ни на мгновение из сознания

всех тех, кто участвовал в этой более чем скромной акции. Прошло не менее месяца, прежде чем я после звонков в ЦК получил приглашение на встречу с начальником управления университетов и членом коллегии министерства. Опять-таки сонм друзей отработывал тактику общения с начальством и, как это ни странно, некоторые выражали надежду, что, мол, меня, ведущего социолога, не захотят прямо выталкивать из страны из-за возможных «международных последствий».

И как мы все просчитались! Мой собеседник не проявил никакого желания обсуждать что-либо со мной; он просто сделал вид, что понятия не имеет о существе моей жалобы. Когда я, оторопев от такой, не предусмотренной нами позиции, резко обострил разговор и заявил, что на мехмате МГУ свирепствует антисемитизм, высокий чиновник лениво, не повышая голоса, спросил, есть ли у меня доказательства, а когда я стал приводить их, отказался слушать. Беседа достигла кульминации, когда я заявил, что происходящее толкает меня к «серьезным решениям» и получил ясный ответ: «Ну, что же – реализуйте их». Стало совершенно ясно, что решение о моем «выталкивании» было принято на довольно высоком уровне; во всяком случае Зимянин, который всегда относился ко мне с большой симпатией, об этом знал. Когда я вышел из Министерства, Лена Петренко, которая вместе с Таней Ярошенко сопровождала меня на эту встречу, в сердцах воскликнула: «Уезжай!»

Теперь я уже никак не мог уклониться от принятия решения и послал телеграмму Игорю Бирману: срочно вышли книгу о «Кюлибри в Колумбии». Вызов пришел в октябре того же года.

Я сразу ориентировался на США, где меня ждала уже работа – временного профессора в Мичигане, о которой позаботилась профессор Лена Мицкевич; я упоминал ее раньше.

Возможность самовыражения, возможность заниматься интеллектуальной творческой работой была для меня высшей ценностью жизни. Эта почти биологическая потребность в самовыражении определила мое решение ехать не в Израиль, а в Америку. Это решение было для меня эмоционально более приемлемо, хотя и делало меня в собственных глазах «плохим евреем». Я исходил из того, что в 53 года у меня не было шансов овладеть ивритом настолько, чтобы иметь возможность заниматься профессиональной деятельностью на таком же уровне, как в Америке. В этом отношении я оказался прав: здесь я смог использовать свои способности (какие бы они ни были – большие или маленькие) в полную силу.

Задам тебе вопрос, который и мне задают, хотя я уезжал из России в 1994 году, когда отъезды из страны, можно сказать, были обыденностью. Как отнеслись к твоему решению об эмиграции твои коллеги по Институту социологии?

Мне было запрещено посещать институт, но на работе я числился до отъезда. Позиция коллектива института была однозначной. Только Таня Ярошенко и Лена Петренко мужественно общались со мной на полную катушку, за что и были сразу уволены после моего отъезда. Не порвали отношений со мной Миша Мацковский и Миша Косолапов, Сеня Клигер, который вез меня в Шереметьево.

Остальные были откровенно враждебны. На Совете института, где обсуждался вопрос о лишении меня званий (он был решен как надо), Рыбаковский был весьма активен. Ольга Маслова, моя аспирантка, тоже подбросила несколько поленьев в костер. Дина Райкова при встрече со мной была враждебна.

Присутствия КГБ за полгода до отъезда я не замечал. Более того, чувствуя, что мое решение «одобрено» КГБ и ЦК, я нагло «качал права», если они нарушались, и всегда оказывался победителем. Меня, например, хотели лишить специального медицинского обслуживания в академической больнице и получения книг в докторском зале Ленинской библиотеки. Мои обидчики отступали, как только я задавал им вопрос: «А вы согласовали свои действия с ЦК?» Несмотря на то, что я очень боялся периода между подачей заявления и самим выездом, страхи перед КГБ почти исчезли. Я опять взялся за языки тех стран, которые мне надо было пересечь до прибытия в Америку. Я беспрерывно встречался с людьми, участвовал в увеселениях и чувствовал себя почти героем, особенно наблюдая тех, кто еще не решался на подачу.

Был ли ты готов к любой работе или у тебя было однозначное стремление продолжить работу по профессии (экономика, социология) и были какие-то предварительные договоренности о месте работы? Ведь обществоведы твоего опыта и известности не часто уезжали из страны, соответственно, редко переселялись в другие страны?

Принимая решение о выезде, я видел две опасности: не получить разрешение и не найти работу социолога в США. О другой работе в США я не думал, рассчитывая на мой статус советского социолога. Первая опасность представлялась для меня более серьезной, чем вторая, тем более, что мне была уже обещана временная работа профессора в Мичиганском университете. Как потом я понял, я сильно преувеличивал уровень американской социологии, уровень ее профессионализма.

Мне кажется естественным, что область твоих научных интересов стали социально-политические (или политико-социальные) проблемы СССР. Как проходило твое вхождение в американскую среду советологов? Тот факт, что ты знал СССР по собственному опыту и, скорее всего, имел иное мнение о всем, что происходило в стране, думаю, не только помогал тебе в работе, но и мог быть моментом, осложняющим твои отношения с американскими коллегами. Не так ли?

Мое вхождение в американскую социологию и советологию было не простым, но и не слишком драматичным. Я довольно скоро почувствовал себя в своей тарелке, особенно после того, как в 1985 году получил теньюру, т.е. постоянную работу, которая гарантировала мне не только достойный доход, но и полную независимость от кого бы то ни было и полную свободу самовыражения.

Конечно, примерно пять лет ушло на то, чтобы убедить научное сообщество в том, что я могу претендовать на равенство с кем угодно. Моя борьба за признание в Америке началась буквально в первые месяцы моего появления на этом континенте в июле 1979.

Уже в августе американские высшие чиновники и ведущие советологи пытались понять, что такое «известный советский социолог» и, что особенно было для них важно, понять, что такое «советская социология», которая для многих казалась *contradictio in adjecto*, невозможное сочетание терминов. Конечно, некоторые из них встречались с «выездными «социологами» такими, как Замошкин, Осипов или Андреева в Америке, на международных конференциях или в Москве, но они воспринимались, как правило, как своеобразные модернизированные идеологи, знакомые с новыми социологическими теориями, например, с концепцией Парсонса, но ничего не имеющие общего с современными эмпирическими исследованиями, с научной методологией и прежде всего со случайной выборкой. Ни Ядов, ни Шубкин с их огромным опытом эмпирических исследований в Америке были неизвестны. Я же сразу объявил себя как чисто эмпирический социолог, знающий в деталях современную методологию и имеющий собственный богатый опыт опросов. Одна из первых лекций в Вашингтоне, на который собрался бомонд для осмотра диковинной птицы – эмпирического социолога из полуварварской страны, была названа вызывающе – «Влияние политических факторов на проектирование выборов в Советском Союзе». Я был уверен, что самые большие авторитеты здесь не подходили к выборке с этой стороны. Замечу, что уже в названии этой лекции проявился мой глубинный интерес к роли политической власти

в общественной жизни во всех ее проявлениях, и в будущем эта переменная, роль которой местные ученые недооценивали или просто не понимали, была лидирующей почти во всех моих работах, включая самую последнюю (*The fear in contemporary society: negative and positive consequences*, New York: Palgrave, 2006)

Слушатели, полностью уверенные в своем профессиональном и интеллектуальном превосходстве над всем миром и уж подавно над полуварварской Россией, встретили мою лекцию с неописуемым удивлением. Большая часть вопросов свелась к: «Откуда вы это знаете?» и «Где вы могли читать эти книги?».

В моем стремлении выгладеть как можно более профессиональным я допустил и просчет. В 1982 г. я был приглашен на полгода в Гарвард и на полгода в не менее престижный Массачусетский Технологический Институт (оба в Кембридже). Мне была предоставлена полная свобода кафедрой социологии Гарварда выбрать аспирантский курс. Ясно, что мне надо было предложить что-нибудь такое как «Советская идеология и общественное мнение» или даже попроще «Советское общество». Я же, следуя указанной выше логике, назвал свой курс «Влияние политических факторов на методологию советской социологии». Неудивительно, что на курс записалось всего пять человек (из них две француженки, обе недурны собой, одна стала ведущим российским экспертом в Париже), и это было печально, так как иначе у меня была бы пара десятков студентов.

Мое стремление демонстрировать профессионализм в то время был разумен (сейчас в этом не было бы нужды). Когда я приехал в Америку, социологическая наука была здесь чрезвычайно математизирована. Аспиранты гарвардской кафедры социологии в разговоре со мной презрительно отзывались даже о таком члене кафедры, как Дэниэл Бэлл – одним из самых известных американских социологов второй половины 20-го века. Они рассматривали его больше как журналиста, так как в его публикациях, как бы популярны они не были, не пахло математикой и статистическим анализом. На первой конференции американских социологов, на которую я приехал сразу же после эмиграции в 1979 году, я зафиксировал то, что, впрочем, и ожидал: доклады в ведущих секциях были переполнены разнообразными математическими моделями.

В СССР я относился к числу самых «квантифицированных» (или математизированных) социологов. Читая американские журналы, я, конечно, видел, как велик разрыв в уровне моей математической подготовки по сравнению с уровнем американских ученых в ведущих университетах страны. Поэтому я понял, что не могу претендовать на место на тех кафедрах, где

балом правят математики. Конечно, везде, даже в Гарварде, на кафедре была кучка социологов, которые считали исторический метод главным (как правило, они были «леваки» или откровенные марксисты); но они были в явном загоне и обычно даже не удостоивались «здрасьте» от презирающих их «количественников».

Я мог утешаться тем, что довольно хорошо смотрелся как специалист по выборке и, конечно, как первоклассный эксперт по технике опросов, неплохо себя чувствовал на самых престижных конференциях по методологии сбора информации и с легкостью читал аспирантские курсы на эти темы. Но, к моему большому удивлению, я обнаружил, что американские коллеги сами почти не проводят опросов, а когда у них появляются деньги, то для сбора информации они приглашают специализированные фирмы. В результате даже самые «математизированные» социологи имеют смутное представление о выборке, и мой главный «количественный козырь», таким образом, не может сыграть важной роли в университетской карьере. Я понял, что могу претендовать на профессорскую должность только на кафедре, где математические стандарты сравнительно скромнее.

К этому следует добавить, что мои немалые знания по оптимальному программированию, если не считать некоторых теоретических концепций (впрочем, совершенно неизвестных американским социологам и даже большинству экономистов), оказались в Америке практически полностью не востребованы. Даже юношеские увлечения ранним средневековьем, знания по бухгалтерскому учету в совхозах и колхозному праву, приобретенные мною в Саратове, когда я добывал в 50-ые годы хлеб насущный преподаванием самых разнообразных предметов, были мне полезнее, чем оптимальное программирование. Что же касается моего теоретического капитала по социологии, который я привез в Америку, то он вполне годился для весьма хороших университетов, и я легко мог читать любой нематематизированный курс по социологии. Знание Маркса было важной частью этого капитала.

Самое замечательное произошло примерно через 15 лет после моего приезда в Америку. Мой социологический капитал старых времен начал быстро расти в цене. Дело в том, что с приходом постмодернизма и фантастическим ростом исследований о меньшинствах американская социология начала быстро терять интерес к традиционным количественным методам; их заменили методы «качественной социологии» с ее полным пренебрежением к самым простым статистическим моделям. Теперь я, при моих математических познаниях, оказался на

голову выше 95% моих коллег, что, впрочем, не имело никаких реальных последствий, ибо ни они, ни аспиранты не проявляли никакого интереса к тонкому цифровому анализу, не говоря уже о каких-то моделях социальных процессов.

Так как ты правильно отметил, мои содержательные знания были не об Оклахоме, а об СССР, то моими главными конкурентами были все-таки не обычные социологи, а советологи. В целом, они были не очень доброжелательны и, в отличие от обычных социологов, не способствовали моему вхождению в американскую академию. Несколько обстоятельств помогли мне это сделать вопреки их мягкому сопротивлению.

Первое. Мои публикации книг в очень хороших и средних издательствах (иерархия издательств, как и университетов, в Америке имеет первостепенное значение). Уже в 1980 году я опубликовал сборник моих советских статей с предисловием известного социолога Говарда Шумана. Затем вышла в 1984 г. «Любовь, брак и дружба». С тех пор я стал издавать одну книгу (чисто мою или как редактор-составитель, что в Америке не менее престижно) в один-два года. Практически все рецензировались в социологических журналах.

Чтобы узнать место конкретной книги в академической жизни можно воспользоваться системой “Worldcat” на интернете, которая сообщит, сколько библиотек в мире приобрели книгу. Моей самой заметной из 18 книг, опубликованных в США, является *Public and private life of the Soviet people: changing values in post-Stalin Russia* New York: Oxford University Press, 1989. По состоянию на 23 июля 2006 года она числится в 567 библиотеках. Другая моя книга (она также принадлежит, как и предшествующая к моим «любимым» публикациям *A normal totalitarian society : how the Soviet Union functioned and how it collapsed* / (M.E. Sharpe, 2001) приобретена 462 библиотеками. А вот наименее известная *An autobiographical narration of the role of fear and friendship in the Soviet Union* /Mellem: Lewiston, N. Y.) только 28. Для сравнения очень известная, рассчитанная на широкую публику книга Джарада Диамонда *Guns, germs, and steel: the fates of human societies* (1998) находится сегодня в 1727 библиотеках, а книга очень известного социолога Джемса Колемана *Public and private high schools :the impact of communities* (1987) в 1026 библиотеках.

Весьма важной сферой моей деятельности, способствующей моему внедрению в это общество, были мои публикации в ведущих американских газетах. Пик этой деятельности пришелся на вторую половину 1980-х гг. (период перестройки), когда я, публикуя статью один раз в два месяца, а то и чаще, был, вероятно, чемпионом среди всех ученых в социальных науках

Америки. Некоторые известные советологи пытались выяснить, как у меня это получается и не дело ли в моих связях в редакциях, что было слышать очень смешно.

Второе. Немалую роль в моей адаптации сыграло и мое активное участие во всевозможных конференциях. Я старался не пропускать ни одной, если я мог там выступить с докладом или организовать свою секцию. Конференции в Америке редко бывают интересными. Серьезная полемика, из-за господства политической корректности, почти исчезла, и теперь, когда мне не нужна галочка в моем резюме и не очень важна для моего годового отчета на кафедре (он служит базой для принятия решения о росте зарплаты), я делаю это довольно редко, а ежегодные конференции американских социологов, а тем более международные конференции социологов – они превратились в идеологические балаганы – я просто игнорирую. Так же активно в первый период я принимал приглашение выступить с лекцией в ведущих университетах в США или за рубежом. Теперь я к этому тоже остыл – и не видно необходимости и, возможно, возраст. Из последних конференций, в которых я участвовал как докладчик, была конференция в Бостоне по случаю столетия со дня рождения Орруэла, на которой я интеллектуально порезвился, так как большинство участников, либералы, связывали «1984» не с Советским Союзом, а с Англией и Америкой 1940-ых годов.

Нужно еще отметить мою активность в организации разного рода международных и национальных конференций (примерно десятков). Некоторыми я горжусь, такими как конференция об Орруэлле в 1984 г. (понятно, почему я выбрал этот год), две конференции в связи с пятидесятилетием большого террора – в 1987 и 1988 (никто в мире не проводил таких конференций), затем конференция об элите в пост коммунистическом мире (она была блестяща по составу участников) в 1999 г., конференция о страхах в пост коммунистическом мире (2002). Почти после каждой конференции я издавал книгу на базе докладов.

Третье. Важным фактором моего внедрения в Америку и моего места в обществе была моя роль советника правительства по советским и российским делам. Началось с того, что меня полюбил Эндрю Маршалл (Andrew Marshall), очень авторитетный руководитель главного исследовательского отдела Пентагона, своеобразный «институт» американского политического эстаблишмента на протяжении последних 40 лет (о нем в конце 1990-ых писала в восторженных тонах «Независимая Газета»). Он, презирая большинство советологов – левых и правых, – поверил в мою объективность в анализе СССР. Его

очень подкупил мой первый проект – «Двухуровневое советское мышление» (в 1985 году Public Opinion Quarterly опубликовал мою статью на эту тему).

У меня не было ни малейших угрызений совести по поводу моего сотрудничества с этой организацией, которое началось в 1981 году, хотя к ней всегда относились негативно все левые и либеральные социологи, что, вероятно, могло повлиять (я это точно не знаю) на отношение некоторых из них ко мне. Америка была (и остается) для меня моей страной, а тогда в 1989 году, когда СССР представлял, по моему мнению, смертельную опасность для мира («империя зла», как превосходно сказал Рейган) только был рад помогать противостоянию Советскому Союзу.

Замечу, что моя личная ненависть к советской системе сочеталась у меня со стремлением анализировать ее с максимально доступной мне объективностью. Это я ввел в обиход определение Советского Союза как «нормального тоталитарного общества», определение, которое вызвало ярость у всех фанатиков-антикоммунистов.

Мне важно отметить, что я не приравниваю мое личное резко негативное отношение к советской системе с антикоммунистической идеологией. Я разделяю старое Марксово определение любой идеологии как огромного препятствия в социальном познании. Я не согласен с тем, что сделали Каутский и Ленин, предложив различать разное влияние на познание прогрессивной и реакционной идеологии. Политическая корректность с ее призывом уважать меньшинства является бесконечно милой и в сто раз лучше классовой идеологии, которая проповедывает ненависть. Однако политическая корректность также смертоносна для науки, как и классовая или антикоммунистическая идеология.

Где-то в конце 90-ых я выступал с докладом о «нормальности» советского общества, о том как советская система неплохо функционировала (конечно, исходя из ее целей) и о его достижениях, если иметь ввиду тип патриотизма в Фирсовском Европейском университете в Петербурге. После моего доклада выступил Саша Эткин, который с гневом истого антикоммуниста заявил, что он не согласен ни с одним из моих предложений. С такой реакцией на мою концепцию «нормальности» советского общества я встречался очень часто всюду, что и заставило меня начать книгу об этом с утверждения, что я изучаю советское общество как герпетолог, специалист по змеям и всяким гадам, который вовсе не обязан любить препарлируемую им жабу, но обязан это делать максимально профессионально.

Постоянный контракт с правительством обеспечил мне довольно-таки приятную жизнь и не потому, что я мог получать «летние деньги» (дополнительную двухмесячную зарплату), а потому, что я мог иметь двух помощников (один из них для редактирования моих текстов), мог покупать в неограниченном количестве книги и фильмы, выписывать любое количество журналов и газет, совершать путешествия куда-угодно и приглашать моих друзей из России. И, наверное, самое важное, что является предметом зависти и моих коллег, и моих двух детей (оба профессора): я могу «выкупать» лекционные курсы и иметь минимальную академическую нагрузку – один курс в год.

В то же время я пользовался абсолютной свободой в выборе темы для моих записок и, что бесконечно важно для меня, имел право их публиковать где-угодно. Добавлю, что мне как социологу были очень интересны встречи с высшими чиновниками страны, с которыми я спокойно держался на равных (скорее они на меня смотрели с большим почтением, чем я на них). Довольно долго я сравнивал мое положение в советском обществе, в котором уже майор армии или тем более КГБ смотрел на тебя как на низшее существо, с тем положением, в каком я оказался в США, где я мог спокойно, не вызывая никакого удивления у окружающих, попросить генерала Колина Пауэлла, тогда начальника Генштаба, подвезти меня после совещания в аэропорт (я опаздывал, он тоже куда-то спешил, и, извиняясь, попросил это сделать своего заместителя). Америка восстановила во мне чувство собственного достоинства, отсутствие малейшего страха перед любым лицом, кого бы он не представлял, ощущение полной независимости от чего бы то и от кого бы то ни было.

Я думаю, ты – первый советский эмигрант, ставший американским профессором социологии. Так ли это? С каких курсов студентам ты начал преподавание? Какие вообще курсы, циклы лекций ты прочел за годы твоего американского профессорства?

Наверное, это так. Мои первые курсы были «Социальные ценности в СССР и США» и «Методы изучения общественного мнения», а также «Введение в социологию». Потом я читал разные курсы, включая «Методы опросов» и «Сравнительный анализ советской и американской экономических систем». Для минимизации усилий в последние годы я в качестве единственного курса читаю «Современное российское общество», что требует от меня нулевых затрат времени на подготовку.

Не мог ты обозначить, оконтурить основные направления твоих исследований, проведенных в Америке? Назови пожалуйста названия книг, опубликованных тобой в США.

Я бы сформулировал тематику исследований в последние годы таким образом:

- Идеология и общественное мнение в России;
- Природа постсоветского общества;
- Феодализм и современное общество (на примере США, Франции и России)
- Порядок и роль страха в его поддержании в современном мире.
- О моих книгах, изданных в Америке, я уже упоминал выше.

Не могу согласиться с твоими выше сделанными замечаниями о том, что Гэллуп и другие пионеры опросов не обсуждали проблем достоверности. Уже сама выборочная технология интервьюирования по месту жительства возникла как противопоставление соломенным опросам, т.е. проблема достоверности была первичной для отцов-основателей. Открой книгу Кэнтрила по измерению общественного мнения (1944 год): сначала рассматриваются проблемы интервью и затем – проблемы выборки. Полистай первые тома *Public Opinion Quarterly*, выходящего с 1937 года: туча статей по различным аспектам проблемы качества измерений.

Боюсь, что мы не совсем поняли друг друга. Конечно, с середины 1930, после позора издания «Литерари Дайджест» с прогнозом президентских выборов в 1936 американские исследователи общественного мнения были поглощены идеей того, чтобы сделать свои результаты надежными, достоверными. Но центральное внимание уделялось репрезентативности данных, ведь в этом была причина катастрофы 1936 года (у нас нечто подобное произошло в 1993, когда все российские социологические фирмы потерпели фиаско с прогнозом результатов выборов в Думу, и прежде всего, по моему мнению, потому, что тогда – не сейчас – было «некрасиво» и боязно признаваться в симпатиях к Жириновскому, о чем я опубликовал статью в *Public Opinion Quarterly*).

С тех пор и надолго случайная выборка стала навязчивой идеей американской социологии и настолько, что местные специалисты знать не хотели больше об оскандалившейся квотной выборке, и прежде всего потому, что она не позволяла исчислять случайную ошибку выборки. Мы же уже в 1970-ые годы отказались от фетишизации исчисления этой ошибки, ибо полагали, что с всеобъемлющей советской статистикой (такого обилия данных американцы с их рыночной экономи-

кой не имели) мы можем исчислять фактическую, а не только теоретическую, ошибку выборки. Это обстоятельство и заставило нас понять, что при определенных условиях применение квотной выборки в сочетании со случайным механизмом на последнем этапе вполне разумная вещь.

В 1980-ые годы я уже в Америке обнаружил потепление отношения к квотной выборке и со стороны великого Киша. Добавлю здесь также, что наше глубокое (в частности, мое) недоверие к ответам респондентов было воспитано на скептическом отношении к любым данным, в частности, к государственной статистике. Мой опыт работы в Киевском Областном статистическом управлении (1949–1951), а потом чтение сельскохозяйственной статистики в Саратовских вузах (1955–1962) познакомили меня основательно с тем, как рождались цифры в СССР (я даже опубликовал статью в 1957 году во всесоюзной «Сельскохозяйственной газете» о том, как искажаются данные о себестоимости молока и мяса в совхозах). Неудивительно, что статья Василия Селюнина и Григория Ханина «Лукавая цифра» была столь популярна в годы Перестройки.

Между тем, американские социологи с их полным доверием к официальной статистике к проблеме достоверности ответов респондентов относились довольно равнодушно. К ошибкам, не связанным с выборкой, американские ученые вплоть до 1980–1990-ых годов относились гораздо спокойнее. Полемизуя со мной ты почему-то не цитируешь самого Гэллапа, который прославился своим мудрым замечанием о том, что важнее не то, сколько человек включено в выборку, а как их отбирали. В книге, которую Гэллап мне прислал в Москву (*The Gallup Poll; public opinion, 1935–1971. New York: Random House. 1972*), не было почти ничего об ошибках другого рода, в частности, связанных с влиянием среды на ответы. Утверждая, что американские ученые мало, а часто и совсем не уделяли внимания ошибкам, связанным с нежеланием респондентов говорить правду (страх, господствующие ценности в их среде, стремление сохранить чувство собственного достоинства для себя и интервьюера), я имел в виду прежде всего учебники и известные монографии, а не отдельные статьи в специализированных журналах, в которых действительно рассматривались вопросы достоверности ответов респондентов, в основном касающихся вопросов о сексуальной жизни, так называемые “*embarrassing questions*”.

Но даже, если взять *Public Opinion Quarterly* за последние десятилетия, что я и сделал с моим помощником, и если использовать в качестве критерия интереса к готовности респондента говорить правду только влияние господствующих

ценностей (social desirability), то и в этом случае число статей на эту тему в журнале до 1980-ых годов было минимально, и только затем стало расти.

Впрочем, за последние 50 лет только один американец избрал social desirability как название своей книги (некий Ален Эдвардс в 1957), в то время как я с минимальным социологическим опытом издал книгу на эту тему уже в 1972 году. Замечу, что американские методологи не были и раньше равнодушны к проблеме стабильности, или устойчивости ответов (reliability and consistency of responses), вопрос поднятый Филиппом Конверсом в 1970. Однако к достоверности данных это не имеет прямого отношения. Как правило американских социологов интересовало только обеспечение самой повторяемости и непротиворечивости ответов при том, что они не обращали внимания на то, устойчивы ли неверные ответы. Отмечу как казус то, что американские социологии никогда не использовали таких терминов для характеристики своих респондентов, как «правдивость ответов», «ложь», «фальшивые ответы», «обман», а предпочитали только такие эвфемизмы, как «точность», «ошибки ответов».

Ты ссылаешься на книгу Кэнтрила. Я ее открыл и что же я обнаружил: типичную тенденцию для американских исследователей в те годы – и сохранившуюся поныне – во взаимодействии интервьюера и респондента искать причину искажения данных прежде всего в поведении интервьюера, но не в мотивах поведения респондентов. Твой Кэнтрил (как и множество других методологов позже) из этого и исходил. Если ты возьмешь страницы 78–79 его книги, то увидишь, что он сравнивает интервью с «тайным голосованием» (secret ballot). Не менее известный полстер Лео Богарт в книге воспоминаний о своей деятельности (Bogart L. Finding out: personal adventures in social research: discovering what people think, say and do. Chicago: Ivan R. Dee, 2003.) ругает только «равнодушных и утомленных интервьюеров» за ошибки в ответах.

Через несколько месяцев после моего приезда в Америку в Нью-Йорке была организована большая пресс-конференция, на которую были приглашены журналисты ведущих изданий, чтобы посмотреть на диковинную птицу – советского социолога. Будучи уверенным в «советском» превосходстве над американским в сборе информации, я сразу взял агрессивный тон в отношении американской социологии. Ошарашенные журналисты слушали, как я восхвалял высокий профессионализм моих советских коллег вообще и, в частности, их опыт в составлении анкет (ведь нам приходилось оттачивать вопросы под контролем полдюжины инстанций) и высмеивал амери-

канских социологов, крайне небрежных в формулировке вопросов. После лекции ко мне подошел знакомый, работавший когда-то в Москве в ИСИ, и спросил, не сошел ли я с ума – не имея работы, охаиваю моих потенциальных работодателей. На следующий день «Нью-Йорк Таймс» опубликовала большую информацию о пресс-конференции с моим портретом и с замечательным заголовком «Советские социологи лучше американцев в организации опросов».

В 1980-1990 гг. внимание методологов к проблеме готовности респондента не обманывать существенно усилилось. Эта тема занимает важное место в книге ведущего специалиста по опросам из Мичиганского университета Роберта Гровса «Ошибки и себестоимость опросов» (Groves R. M. Survey Errors and Survey Costs. Ney York: John Wiley & Sons. 1989). Однако, по-прежнему можно увидеть учебные пособия по методике опросов, которые почти полностью игнорируют эту тему (например, «Методы тестирования и оценки анкет для опросов» Methods for testing and evaluating survey questionnaires / Ed. by S. Presser, et al Wiley. New Jersey. 2004).

Как ты оцениваешь систему подготовки социологов в США? Что из этой системы было бы полезно перенести на российскую почву?

Если говорить кратко о сегодняшнем уровне американского образования, то «никакого, даже отрицательно». Дело в том, что гуманитарное образование в США, и, в частности, социологическое, практически разрушено идеологией политкорректности. Я уже выше отмечал, что эта милая и гуманная идеология сделала немало хорошего в стране. Именно благодаря ей, ее беспокойству о дискриминации кого угодно, включая старых людей, я не был отправлен на пенсию в 70 лет, а мог продолжать работать и дальше. Однако в содержании образования, как и в отборе кадров и профессоров и студентов, она причинила огромный вред. Можно только полагать, что в конечном счете этот вред не такой уже колоссальный, учитывая скромную значимость социологии в обществе.

Политкорректность идеологизировала социологическое образование не меньше, если не больше чем советская пропаганда после Сталина. С релятивизацией социальной науки исчезла потребность в серьезной методологии. Достаточно сказать, что на моей кафедре методы опроса не являются обязательной дисциплиной для аспирантов. Доклады многих аспирантов (они должны во время аспирантуры подготовить не менее двух публичных докладов) равно как и их диссертации, носят жалкий характер. Аспиранты заменяют научный уровень идеоло-

гическим рвением. Большинство тем – типа тем по истории партии в СССР. Критиковать аспирантские работы нельзя, ибо критика будет истолковываться как протест против их замечательных тем. Снижение общей требовательности приводит к тому, что все получают высшие оценки, а семинары аспирантов превращаются в болтовню мало подготовленных молодых людей при том, что профессор по сути ничего не делает, всех хвалит и сам по сути не рассуждает о предмете. Таковы мои впечатления, базирующиеся на опыте моей кафедры среднего университета. Боюсь, что в Гарварде дела не намного лучше. Дело в том, что заведующий кафедрой социологии в Гарварде – весьма политически активная женщина была ведущей в изгнании недавно из Гарварда его президента, обвиненного во всех грехах политико корректного характера, в особенности за высказывания сомнений в том, что женщины в математике и физике не уступают мужчинам. Он изгнан также и потому, что хотел уменьшить удельный вес бессмысленных курсов, наводнивших американские университеты, включая Гарвард, типа «Рэп как форма социального протеста» или «Шаманы как социальные актеры». Для меня, воспитанного в глубоком уважении к американскому высшему образованию, все это крайне неприятно. Все прелести современного американского университета высшей лиги красочно описаны в недавнем романе выдающегося американского писателя Тома Вульфа «Я – Шарлота Симмонс».

К счастью, Америка может обойтись без отличных социологов, да еще и в большом количестве. Судьба страны зависит больше от точных и естественных наук, где уровень подготовки в лучших университетах совсем другой, а это достаточно для формирования научной элиты страны. Студенты - гуманитарии и студенты в точных науках – это две не пересекающиеся расы, которые ведут совершенно различный образ жизни в университете. Первые – пьянствуют, поглощены сексом и развлечениями, вторые – вкалывают.

Спасибо, Володя, хотелось бы через несколько лет вернуться к обсуждаемым вопросам.



Ядов В.А. – окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН, руководитель Центра теории и историко-социологических исследований ИС РАН, профессор факультета социологии Государственного академического университета гуманитарных наук, главный редактор «Социологического журнала», Москва. Основные области исследования: методология и методы социологии, социология труда, социальных изменений, личности, современные теории в социологии. Интервью состоялось в 2005 году.

Я очень много лет знаю Владимира Александровича Ядова и потому, планируя провести с ним интервью, думал лишь о том, как преодолеть видевшиеся мне технические трудности. Но их просто не оказалось. Интервью проходило по электронной почте, но у меня было полное ощущение живой беседы с Ядовым: та же полная включенность в тему, высочайшая степень доверительности, готовность отвечать на сложные вопросы, затрагивающие суть многих проблем, находящихся в центре внимания российских социологов, беспокойство относительно будущего науки.

Профессор Владимир Шляпентох, давно живущий в Америке, но прекрасно знающий прошлое и настоящее отечественной социологии, прочитав рабочий вариант этого интервью, написал мне: «...очень интеллектуально и интересно для тех, кто по настоящему интересуется историей идей и науки».

В ходе беседы с Ядовым я настолько привык к обмену мнений с ним, что вот уже много лет стараюсь обсуждать с ним все планы и результаты моей работы.

**В.А. Ядов:
«...НАДО
ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ВЛИЯТЬ
НА ДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПЛАНЕТ...»***

Часть 1

**О судьбе, творчестве
и отечественной социологии**

У меня есть книга о российской социологии 1960-х годов [1], изданная под редакцией Геннадия Батыгина. Хорошая работа, но давай не будем вновь ходить по тем же дорожкам. Поищем новые тропинки...

Геннадий Батыгин [2] был моим близким другом, мы отчаянно спорили и будучи вдвоем, и на публичных семинарах. В современной терминологии это был подлинный «дискурс» – в нем проявлялось взаимное уважение без стремления непременно прийти к общему мнению. В книге, которую ты упомянул, Геннадий сказал: «Социологи, как и собаки, делятся на служебных, охотничьих и декоративных». Геннадий, и мы с тобой, я полагаю, принадлежим к последней категории. То есть, глав-

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. Часть 1. 2005. № 3. С. 2–11.

ное удовольствие – что-то понять самому, потом уже сообщить об этом другим. Правда, сейчас я остро ощущаю маргинальность такой позиции. Великий Вебер отстаивал принцип «ценность непредвзятости». Современные теоретики-активисты, напротив, утверждают позицию гражданственности социолога. Петр Штомпка [3] в предисловии к русскому изданию своей книги о социальных изменениях пишет, что успехи астрономии никак не влияют на траектории планет, а социальные теории способны изменить «мировращение» человечества. Он совершенно прав. Сейчас я думаю, что, если мы, социологи, будем лишь писать книги, мы не исполним своего гражданского долга. Надо по возможности влиять на движение социальных планет.

В нашей беседе я вижу два главных направления: о твоей судьбе, творчестве и о развитии советской и российской социологии. Начнем с первого...

Что касается судьбы, то поворотным моментом, который затронул и мои научные интересы, было исключение меня из партии в 1952 г. Исключили за то, что при вступлении в КПСС я «не написал правду», не сказал, что отец в 1928 г. был в зиновьевской оппозиции. При разбирательстве дела в областной парткомиссии я говорил, что отец никогда мне об этом не рассказывал. Когда я вступал в партию (на втором курсе ЛГУ), отец был не только членом партии, но преподавал в вузе историю КПСС. К тому же я родился на год позже его «фракционной деятельности». Расследование вела женщина по фамилии Сталева (запомнил на всю жизнь). Она именовалась «партследователем». Очень по-доброму меня слушала, а потом, как в дурных детективах, ударила кулаком по столу и заорала: «Будешь говорить правду?» Короче, нас вместе с отцом в Смольном из партии исключили. Это был период «второго ленинградского дела», период так называемой попковщины. П.С. Попкова, первого секретаря обкома, обвинили в заговоре против Сталина и расстреляли. А шлейфом пошла очередная «чистка рядов».

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я по окончании философского факультета был рекомендован в аспирантуру. Как раз потому мое партийное досье и попало на глаза кому-то, кто контролировал состав возможных аспирантов. После исключения из партии об аспирантуре речи быть не могло, и я пошел на небольшой, но отличный по тем временам Завод станков-автоматов, учеником слесаря-лекальщика. Учил меня великолепный мастер Михаил Федорович. Работа очень тонкая на итальянском резьбошлифовальном станке «Эксцелло», вывезенном по репарации из Германии. Мы проводили, осуществляли завершающую операцию микронной шлифов-

ки шпинделя станка-автомата. Шпиндель – сердце станка, от него зависит качество, соблюдение основных технических параметров допусков – в нашем случае не более 0,05 мм. Шлифовальный круг диаметром не меньше полутора метров надо было каждые полчаса снимать и, проверяя под микроскопом, править угол шлифовки. Кроме того, следовало аккуратно через полторы минуты подавать круг вперед на полмиллиметра. Я быстро обучился и через месяц-полтора стал лекальщиком сразу второго разряда, так что мы с мастером начали работать поменно, я, конечно, в ночную смену.

Был случай, который я вспомнил, когда семь лет тому назад мы работали по проекту «Солидаризация в рабочей среде». Однажды мой учитель захворал, мне пришлось работать полторы смены. Поначалу я делал все как положено: затачиваю шлифовальный круг, подаю вперед не больше, чем на полмиллиметра. Потом решил «рационализировать» операцию и стал подавать на миллиметр, затем – на полтора. Шпиндель был готов намного раньше, чем по норме. По норме на это уходила практически вся смена. Приходит мастер, проверяет под микроскопом угол заточки – брак! Что будем делать? – спрашивает. План цеха ты подрезал, понимаешь? И дает совет: иди в заготовительный за болванкой и потом в такие-то цеха. В нашем мы начисто отфрезеруем, обточим и закалим, а ты доведешь, но чтоб без фокусов. Мастер лет сорока, никогда не матерился, хотя здесь был именно тот случай. Я взял заготовку и пошел в первый цех, где делали грубую обточку, фрезеровку и резьбу. Сейчас трудно поверить, но ни один из рабочих, к которым я обращался, не отказал. Единственно, что кто-то сразу при мне делал свою операцию, а кто-то говорил, чтобы пришел попозже. Если бы такое случилось сейчас, я бы наверняка запасся шкаликами, прежде чем просить выручить. Я понял тогда что значит «солидарность в рабочей среде».

Поскольку цеху повезло иметь рабочего-философа, цеховая парторганизация поручила мне вести политзанятия и... предложила вступить кандидатом в КПСС. Биографию мою они, естественно, знали. Я тогда был совершенным хунвейбином и с радостью подал заявление, а одним из рекомендующих стал Михаил Федорович. Пока дело шло по инстанциям, помер Вождь и Учитель. Причем, я его искренне оплакивал. Заседание бюро райкома. Мне говорят: считаем, что вас надо в партии восстановить, и направляем документы в Центральную комиссию партконтроля. И получилось как в романе – вместе с отцом нас исключали, вместе в один день и восстановили в партии. В приемной в Кремле ожидал вызова на парткомиссию Молотов. Можно сказать, что Ядовых вернули в партию вместе

с Вячеславом Михайловичем. Москва направила бумаги в Питер, и меня немедля приняли в аспирантуру.

...это о судьбе, теперь о творчестве...

Творчество и началось с изучения бюджетов времени рабочих одного завода. В числе респондентов оказался Виктор Шейнис [4], с которым мы были знакомы (наш факультет на третьем этаже, историки – на втором). Его подвергли остракизму, не знаю, за что, кроме национальности, и он продолжал «бодаться с дубом», а при Горбачеве стал председателем парламентской комиссии по разработке новой Конституции СССР и позже дважды или трижды избирался в Думу.

После первого опыта с бюджетами времени начался «Человек и его работа». И теперь мы не оставляем заводскую (рабочую) тему. Кроме упомянутой «Солидаризации» два года назад вместе с канадцами провели исследование «Становление трудовых отношений в постсоветской России». Наконец, сейчас я занят редактированием первого российского теоретико-прикладного словаря «Социология труда»: идея Будимира Тукумцева [5], он является «мотором» этого проекта, а я – «шпиндель».

Помимо социологии труда, я с коллегами занимался и занимаюсь социо-психологией личности и основательно влез в общетеоретическую социологию. Читаю курс о современном состоянии теории (подготовил учебное пособие) и веду общеинститутский семинар того же направления, вполне успешный, так как приходят коллеги из разных вузов и институтов.

Деликатный вопрос насчет собственно творчества. Мне нравится высказывание канадского философа Марио Бунге [6] насчет творческих способностей. Он пишет: немало тех, кто обладает обильными знаниями; часто эти знания – как хлам на чердаке, в полном беспорядке хранятся в его памяти. Но есть и такие, кто способен осветить хлам фонариком и взять нужное. Это – интуиция.

Не знал, что мы оба поклонники Бунге. Хорошо. А что по второму направлению?..

...Что я думаю о состоянии российской социологии? Сам понимаешь, что каждый видит панораму под своим углом зрения. Никита Покровский [7] и др. опубликовали статью, в которой решительно все обругивают: и социологи стали сервелистами, и студенты идут не за знаниями, но за дипломом и далее в том же духе. Я решительно не согласен. Социология выиграла в постсоветском обществе. Нам не нужно дорогое оборудование, как физикам, потому социогуманитарные науки выиграла, а не проиграли. В гуманитарную ринулись массы абитуриентов, кото-

рым нужен просто диплом о высшем образовании (для мальчиков – отсрочка призыва в армию). Об этом и пишут упомянутые коллеги – экстенсивный процесс. Да, но есть и интенсивный. Поколения, которые не знали «железного занавеса», – другие, они делают свой выбор и в жизни, и в профессии. Среди них доктора наук, прошедшие стажировку в западных странах, болтают на английском, как на родном, пишут учебники. Я оптимист относительно будущего нашей социологии.

«Человек и его работа»: нескончаемая тема

Зарождение проекта «Человек и его работа» [8] представлено в российской истории... и все же есть ряд мест, требующих детализации. Меня интересует роль В.П. Рожина.

Василий Павлович Рожин не был «крышей», мы не думали, что надо что-то «крышевать». Но в издательстве цензура выкинула из книги главу о сравнении отношения к труду молодых американцев и ленинградцев – глава по дубль-исследованию Фредерика Херцберга [9] в США. Здесь никакой декан не смог бы помочь.

Когда Игорь Кон [10] обратил меня в социолога, Рожин энергично поддержал и пробил через Совет ЛГУ создание первой в стране вузовской социологической лаборатории. Мы включили его в соавторы не для «крыши», а из благодарности.

О роли В.П. Рожина я сказал. Добавлю про «крышу». При подготовке книги «Человек и его работа» издательство «Мысль» запросило официальную рецензию у Коли Лапина [11]. Коля ничего нам об этом не говорил и рассказал, какова была обстановка, лишь после недавней публикации вместе с Андреем Здравомысловым [12] «Человек и его работа в СССР и после» [13]. Здесь мы восстановили главу о советских и американских рабочих с пояснением, что цензура ее изъяла в первом издании. Коля, получив подаренную нами книгу, звонит по телефону и говорит: «Что вы там нафантазировали? Какая цензура? Вы знаете, что редакция вообще отказывалась принять работу только потому, что был подзаголовок “Социологическое исследование”? Я, орботмы, вас спас, предложив убрать пятую главу». Видишь теперь, кто сыграл роль «крыши»?

Да, забавная история. Подобных, видимо, было много...

Поясню для молодых коллег, не прошедших советскую школу. Не помню в каком году, много после хрущевской «оттепели», некая И. Кальметьева публикует в виде массовой брошюры общества «Знание» сочинение под заголовком «Фетишизация числа». Яростно воюет против заимствования «буржуазных» идей в духе «социология – продажная девка капитализма».

Спустя пару лет после публикации этой «швондерехи» издательство «Знание» обращается ко мне с предложением написать массовую брошюру о методах социологического исследования. Я предложил Эдуарду Беляеву [14], коллеге по лаборатории, написать в соавторстве. В основном, чтобы материально ему помочь, так как сам зарабатывал вполне прилично, а гонорары за просветительские публикации в те времена были в десятки раз выше нынешних. Не помню сколько, но очень немало. Мы лихо сочинили текст и отправили в издательство. Проходит время – молчат. Наконец присылают ответ со ссылкой на рецензию академика Д.И. Чеснокова [15]. Рецензия в духе Кальметьевой и отказ в публикации. Боря Фирсов [16] говорит: ребята, это дело просто так оставлять нельзя. У меня в Москве есть друг – адвокат. Обращайтесь в суд. Аргумент прост: в официальном договоре с издательством сказано, что оно обязуется сообщить свое решение не позже такого-то срока. И далее: в случае нарушения договорного срока издательство выплачивает авторам указанный выше гонорар полностью. А срок-то давно прошел. Суд мы выигрываем и получаем свои «миллионы». Фирсов назвал это делом «Беляев и Ядов против знания».

Что значит: «Когда Игорь Кон обратил меня в социолога...»?

Игорь сыграл решающую роль в моем, как говорят постмодернисты, проекте профессиональной жизни. Понятие «проект» здесь уместно, ибо возник он благодаря Игорю, не был предначертан теми структурами, в которых меня формировали. Мы оба преподавали на философском истмат. И однажды Игорь говорит: «Володя, мне попалась книга Гуда и Хатта о методах социологического исследования [17]. Посмотри, я думаю, тебе будет интересно». Почему он так решил? Не знаю, хотя догадываюсь. В отличие от него, в полном смысле академического ученого, который все время проводил в библиотеке и за своим рабочим столом, я с энтузиазмом занимался общественной работой, бегал по собраниям и прочее. Кстати, однажды на комсомольском собрании (присутствовал на факультетском как заместитель секретаря комитета комсомола ЛГУ) я обрушился на своего товарища с яростной критикой по поводу какого-то его высказывания, показавшегося мне сомнительным в смысле «большевистской зрелости». Игорь потом не раз подшучивал, что Ядов чуть было не исключил его «из рядов». Видимо, он чувствовал, что эмпирическая социология ближе мне по характеру и темпераменту, нежели философия и кабинетная работа с книгами.

Гуд и Хатт произвели ожидаемое впечатление. Тот же Кон посоветовал начать с изучения бюджетов времени. С помощью В.П. Рожина вместе с Андреем Здравомысловым создали со-

циологическую лабораторию, куда вошел и Эдуард Беляев. Он лучше нас владел английским и перевел гудов-хаттовский учебник, который долго ходил по рукам в машинописном виде. Если полистаешь мое пособие по методам исследования, там немало ссылок на эту книгу. Игорь образовывал меня и по части истории социологии. Он опубликовал небольшую книгу по «критике буржуазной социологии» [18]. Жанр критики пользовали тогда и другие философы-«шестидесятники», два Юрия – Асеев [19] и Замошкин [20]. В отличие от авторов типа Кальметьевой, они, прежде чем обсуждать Вебера, Дюркгейма или Парсонса, излагали их взгляды, приводя большое количество цитат. Я близко дружил и с Юрой Асеевым, так что немало для себя почерпнул из общения с обоими знатоками истории нашей науки. Времени на изучение трудов гигантов социологии решительно не было.

Я взялся за статистику и консультировался по литературе у экономистов (факультет находился в том же здании). Особенно трудно давались хитрости выборочных методов. Решительно не мог понять некоторые рекомендации относительно выбора величины доверительного интервала ошибки выборки. Пришел к выводу, что для нас, социологов, такой «статистический фундаментализм» не подходит. Рассуждал так: этот интервал определен математическими, не социальными статистиками. Вынимают из мешка шары наугад и вычисляют, какое их количество позволяет достаточно точно определить пропорцию белых и черных шаров в мешке. Нам, я рассудил, это не подходит. Потому что, как правило, вместо твердых шаров имеем дело с нежестко очерченными «единицами анализа» вроде мнений и прочим. Мы выявляем всего лишь социокультурные тенденции, тогда как экономисты и, скажем, демографы несут профессиональную ответственность перед обществом и государством за предельно возможную точность данных. Их просчеты могут обернуться непоправимым ущербом общенационального масштаба. Поэтому я считаю, что за исключением электоральных (сейчас актуально, тогда, конечно проблемы не было) и близких к ним опросов вполне достаточно указать достигнутую надежность, какова она есть. Конструкции социальной реальности, что мы фиксируем в массовых обследованиях, сами по себе «плывут», так что доверительный интервал ошибки может быть, например, на уровне 10–15%, а то и больше. Это зависит от предмета исследования.

Судьбоносную роль Игоря Кона я описал, согласен?

Я не думаю, что о «человеке и его работе» сказано все...

Возвращаясь к этому нашему исследованию, добавлю, что Андрей Здравомыслов предложил реинтерпретировать марк-

систское понятие «содержание труда». У Маркса – это экономико-социальная категория, то есть сущностное содержание труда при капитализме есть продажа своей рабочей силы пролетариями, а в коммунистическом обществе – «свободный обмен деятельностью», преодоление отчуждения. Андрей предложил ввести понятие «техничко-технологическое содержание труда», соотношение физического и умственного в работе. Тогда мы и разделили рабочих на пять категорий, от стоящего на конвейере до наладчика автоматов. Мы исходили из того, что эмпирически проверить идею Маркса насчет превращения труда в первую жизненную потребность можно лишь в сравнительном исследовании с адекватными данными отношения к труду рабочих-пролетариев в капиталистическом обществе. По Марксу социализм – преддверие коммунизма, так что мы прямо ставили задачу эмпирически проверить, насколько советское общество приближается к этой двери в свободу.

И тут подвернулся Фредерик Херцберг из Айовы. Мы нашли его по книгам, которые библиотека ЛГУ получала по обмену из Хельсинкского университета (с Финляндией очень дружили). Видим, что это именно тот человек, который нам нужен: одна книга – анализ динамики удовлетворенности работой американцев чуть ли не за 40 лет, другая – собственная теория о внутренней и внешней мотивации труда. Класс! Пишем «на деревню дедушке», и, представь, он приехал в Питер, в нашу лабораторию. Она размещалась на втором этаже Меншиковского дворца, аккуратно напротив Медного всадника. Огайский университет оплатил его затраты, а как наши пустили – не знаю. Оказался совершенно своим парнем. Стрелок бомбардировщика при вторжении в Италию, человек с прекрасным чувством юмора.

Он без возражений согласился провести *общенациональный* опрос молодых американских рабочих по нашей методике без единой поправки, так как мы уже заканчивали полевые работы. Чудо, он выполнил обещание... Но времена-то брежневские. Нам нужны сырые данные для разных способов анализа, а цензура пропускает лишь письма с его текстами. В 1964-м я вернулся домой после стажировки в Англии и, пользуясь доверием КГБ (ясно, что в Англии «выполнял их задание»), отправился на конференцию в Вену. Подходит некий красавец вроде Джеймса Бонда (на заседаниях слова не произнес), говорит: «Я привез пакет от профессора Херцберга», – и передает рулон табуляграмм. Представляешь мою радость? Приезжаю в Ленинград, и прямо на перроне – нашенский «бонд», который меня курировал. Оттеснил Люку [21] и говорит: «У вас пакет из Вены. Прошу мне отдать». Я: «Ну, слушайте, надо ворошить чемодан, давайте завтра утром». Соглашается. Звоню ребятам,

и всю ночь мы переписываем статистики с рулонов. Не успели, а «бондяга» явился поутру, и – что делать? – забрал. Так что несчастная глава в книге написана не вполне аккуратно, так как мы рассчитывали разные индексы, которые Фредерик не использовал. Вопрос: кто донес в Москву? Подозреваю одного друга-болгарина, больше некому.

Херцберг опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» статью, в которой писал, что трудовая мотивация советских рабочих практически не отличается от американской. Я написал в «Вопросы философии» статью под лихим заголовком «Давайте смотреть фактам в лицо». Аргументы те же, что и в недавнем переиздании нашей книги. Верно, советские и американские равно различаются в их мотивации в зависимости от содержательности труда. С одним «но» – у американцев независимо от характера работы на первом месте – озабоченность занятостью, страх увольнения. В последней книге есть глава о постсоветской ситуации. Мой сын Коля [22] провел исследование буквально на тех же питерских заводах и рабочих местах, где были заняты молодые сорок лет тому назад. Вывод нетрудно предугадать: сегодня мы от них не отличаемся.

Но история с Херцбергом на этом не кончается. Прервалась переписка. Молчит. Когда я стал директором ИС во время перестройки, первый раз еду «руководителем делегации» советских социологов в США. Фредерик прилетает в Нью-Йорк со всей семьей, уже далеко не молодой. Говорит, что не писал, чтобы гэбе нас не прихватило. Вот парень! Я предложил ему дать статью в «СОЦИС» (сам переводил), что и было сделано. В 2000-м он умер. И дай ему бог покоя на том свете.

Критиковали ли ваш проект и книгу советские философы? Что их не устраивало?

Критиковали. Но одно дело – критика философов, тем более – «научных коммунистов» и совсем другое – полемика с коллегами. Великолепен сюжет с академиком Митиным [23]. Морозы после «оттепели» еще не настали. Я был чем-то вроде руководителя социологической секции в Доме партпросвещения. Семинар, на котором мы с Андреем докладываем о предварительных результатах исследования. Является академик. Выступает: мы, говорит, приветствуем социологию, но такую, «которая нам нужна» (буквально). Как это у вас получается, что столько-то процентов рабочих недовольны своей работой? Это неправильно.

Другое дело – критика коллег. Главный оппонент до сего дня – Владимир Магун [24]. Он считает, что выявление мотивации через соотнесение общей удовлетворенности работой

с суммой составляющих – удовлетворенностью разными элементами производственной ситуации – не позволяет выявить социальную обусловленность мотивации труда. Это – показатель индивидуально-личностного отношения к работе. Антимагунские аргументы со статистическими выкладками мы с Андреем Здравомысловым изложили в последней книге.

Кстати, о ее названии. Мой тесть Николай Григорьевич, журналист, говорил: название – это штука наиважнейшая. И именно он придумал название. Оно было удачно потому хотя бы, что Леонид Гордон [25] и Эдуард Клопов [26] озаглавили свою великолепную монографию «Человек после работы». И, слушай, открываю какой-то англоязычный журнал и читаю, что американец, не помню имени, опубликовал книгу точно под тем же титулом – «Man and His Work». Добываю книгу. Слава Господу, – журналист. Хотя бы такое утешение. Сегодня сказал бы, что он провел исследование в духе качественной методологии. Мы – количественно-качественной. Знай наших!

Под редакцией Игоря Голосенко [27] была опубликована библиография дореволюционных работ по социологии... в частности, туда входили несколько работ по социологии труда... Были ли у вас возможность, желание, изучить, что же было до революции?

Я не читал работу Голосенко. Но сильно сомневаюсь, что до 1917 г. были публикации в этом именно плане – отношение к труду. Конечно, широко известна дискуссия по «рабочему вопросу». Благодаря Борису Фирсову мы узнали об архиве Тенешева, содержащего материалы о крестьянах и их отношении к труду. Реально все началось с Гастева [28] и Центрального института труда. Цитовцы адаптировали Тейлора и его последователей к советским условиям. Нам было особо важно ухватить различия в мотивации полуграмотных работниц и рабочих массового производства вскоре после Октября и тех, с кем мы имели дело в шестидесятых. Один из ключевых выводов нашего исследования – эффект «излишнего» образования ленинградских молодых рабочих. Этот ресурс они в большинстве своем использовать не могли.

Цитовцы же рассматривали научную организацию труда (НОТ) как систему указаний, советов типа: проверь, все ли инструменты готовы к работе, аккуратно разложи их, чтобы не глядя взять нужный и т.п. Вообще, эвристическая ценность публикаций царско-романовского периода, первых пятилеток, военного периода 1941–1945 и двух пятилеток послевоенного времени, так или иначе относящихся к нашему исследованию, не представлялась высокой. Главная проблема состояла ведь

в том, чтобы понять, становится ли труд первой жизненной потребностью, как декларировалось в 1960-е. Дореволюционная рабочая Россия великолепно описана классиками литературы и представлена бурлаками Репина и «Эй, ухнем!» шалыпинским басом. Какая там загадка с мотивацией? Полурабский труд. После Октября Троцкий инициировал «тудармию», в Отечественную все жили единственной мыслью: «мы за ценой не постоим» и далее – «восстановим народное хозяйство во что бы то ни стало». Бригады коммунистического труда в хрущевское время – вот что нам было интересно. В последней книге приведены статистики, которые говорят о том, что участники этих бригад по индексам ответственности и продуктивности ниже средних! Правда, и в первой публикации мы писали, что «ударники» часто говорили, что не знают, участвуют ли в этом движении. Статистик не приводили.

Поговорим о марксизме

Чувствовали ли вы тогда себя скованными тем, что работать надо было лишь в рамках марксизма?

Какая, Боря, скованность? Мы и были марксистами, только такими, что потом нас называли шестидесятниками. Важно заметить, что в тот период марксизм как-то уютно совмещался с парсонсианским позитивизмом. «Бульдозер» (как его назвал Грушин [29]) М. Руткевич [30], директор ИКСИ, писал о «социальных перемещениях» (читай – мобильности) и проч. Он же опубликовал сборник Андрея Здравомыслова с его предисловием и переводами Парсонса [31]. Почему так? Парсонс отлично отвечал интересам брежневских прагматиков: стабильность системы.

Я определенно был марксистом и сегодня никоим образом этого не стыжусь, много пишу о полипарадигмальности современной социологической теории, причем Маркс занимает далеко не последнее место, он рядом с Вебером. Оба анализировали именно капиталистическое общество, оба пользовались понятием «класс». Однако Маркс и Энгельс придавали своей классовой теории идеологическое значение, видели в ней теоретическое основание грядущей мировой революции, а Вебер, напротив, утверждал ценностную нейтральность социолога. Маркс поляризировал труд и капитал. Вебер фокусировал внимание на множественности неравенств на рынке труда и капиталов, использовал понятие социального ресурса, что у Бурдьё преобразовалось в социальный капитал.

Маркс – величайший мыслитель. Он прописан во всех западных учебных пособиях по социологии. Одна идея об отчуждении личности наемного работника (пролетария) стоит ничуть не меньше концепции социального действия Вебера. Не надо забывать, что Маркс намеревался совместить свой эконом-детерминистский подход с культур-детерминистским. Он набросал план четвертого тома «Капитала», где использовал понятие «азиатский способ производства». Азиатский способ тем отличается от европейского, что государство доминирует в экономике, рынок регулируется, не свободен.

Спустя столетие экономисты Поланьи [32], Норт [33] и другие «открыли», что социальные (социо-институциональные) факторы вдвое (Норт подсчитал) доминируют над собственно экономическими: национальный доход, темпы роста, уровень инфляции, собираемость налогов, открытость внешней торговли и др. Поланьи предложил концепцию институциональных матриц восточной и западной культур. Восточная – иерархическая (государство лидирует, гражданское общество – периферия), западная – горизонтальная, имеет место договор между обществом и государством. По сути, нынешние неоинституционалисты подпитываются интеллектом Маркса. Вебер оставил нам в наследство «протестантскую этику» – запал капитализма, а его согражданин извлек из истории человечества нечто большее.

Отношение к марксизму у нас сегодня разное, как и вообще ко всему, что связано с недавним прошлым. Расскажу тебе об одном «знаковом» событии. Научный семинар по случаю основания Горбачевского фонда. Александр Яковлев [34], его исполнительный директор, выступает с длинным докладом на тему: что из социальной теории XIX века войдет в будущее столетие? Не меньше трети времени, как говорила моя трехлетняя внучка, «выругивает» Маркса. Вопросы. Леня Гордон встает с места первым и говорит: «Александр Николаевич, я никогда не был членом партии, вы были секретарем ЦК по идеологии. Что вы все-таки находите ценного у Маркса?» Оратор бросает в ответ: «Если хотите найти ценное, пригласите другого докладчика». Когда я рассказал эту историю Шляпентоху [35], он со своей искрометностью среагировал: «Вот тебе пример “кассетного мышления” – одну кассету вынул, другую вставил».

Какова философская база современной российской социологии?

Общепринятой базы нет. Михаил Николаевич Руткевич, которого я уважаю за преданность принципам, написал статью в СОЦИС о Ядове как «флюгере». Он имел в виду мои пуб-

ликация относительно полипарадигмальности современной теоретической социологии. Нынче это общепринятая формула; сегодня у нас, как в Греции, есть все. Есть марксисты-фундаменталисты, марксисты с «организмическим» уклоном (совмещение Дюркгейма и др. с марксизмом и ...тоской по советской системе), неомарксисты активистского толка. Лидер этого направления Борис Кагарлицкий [36], кстати, читает курс в нашем институте. Нет и веберянцев «чистой воды». Юрий Давыдов [37] пишет о России «в свете веберовского различения двух видов капитализма» [38]. Он извлек из Вебера идею спекулятивного капитализма, в отличие от продуктивного, и приложил ее к политике первого президента, а сегодня – и к Путину. Наш российский рынок спекулятивный. Магнаты извлекают прибыль из торговли природными богатствами и игры на валютной бирже. При Ельцине были так называемые, уполномоченные правительством банки, которые оперировали с бюджетными средствами, при Путине таковые заменены тендером конкурентов, где победитель назначен. Давыдов ссылается на Вебера, который писал о практике римских императоров брать займы на очередной военный поход у тогдашних ростовщиков и возвращать кредит из награбленного и продажи рабов.

В нашей сегодняшней социологии предостаточно парсонянцев, которые утверждают логику социокультурных систем (они же в каком-то смысле питиримсорокинцы, так как он раньше Парсонса эту парадигму предложил). Бурдьевицы из поколения около сорокалетних просто одолевают, постмодернистов не очень много, но ихний вокабуляр освоили. Пару лет назад на конференции «Куда идет Россия?» у Заславской [39] – Шанина [40] Лена Здравомыслова [41] на пленарке говорит примерно следующее: «...дискурс между народом и властью...». Я вскакиваю: «Лена, как можно говорить таким языком?» Понятный словарь социологии должен все же соответствовать объекту анализа. «Дискурс» в данном случае – это то же, что разговор в пивной. Нетерпимость к иной позиции и стремление навязать свою. Подлинный дискурс подразумевает взаимное уважение сторон без обязательного итогового согласия.

Что можно сказать о перспективах марксизма в России?

Скажу так. Ральф Дарендорф [42] в период начала посткоммунистических трансформаций писал о пост-состоянии, что в нем противостоят две тенденции: публичное отвержение прошлого и его вползание во все поры «постобщества». Ельцин после того, как слез с танка, но еще не «работал с документами» так часто, как в конце своего президентства, произнес известную фразу, обращенную к руководству рес-

публик: «Берите власти столько, сколько сможете удержать». Точно по формуле Дарендорфа. Если в СССР общие интересы (будь то школьный класс или все общество), декларировались как наиважнейшие, а частные – как им подчиненные), то Ельцин провозгласил нечто прямо противоположное. Теперь Путин восстанавливает первенство общенациональных интересов, как принято на Руси, перегибая палку. Ильич любил повторять фразу Плеханова: «Чтобы выправить линию, надо перегнуть палку в другую сторону». С марксизмом то же самое. Публично мало кто именуется себя марксистом, хотя и таких хватает. Институт экономики Абалкина [43] – твердые марксисты, которые этим гордятся. Исходя из положения, что бытие определяет сознание, я уверенно прогнозирую ренессанс марксизма в разных неовариантах.

Возьмем Марксову концепцию рабочего класса. Российские наемные работники физического или иного труда – типичный класс эксплуатируемых. Но это «класс в себе», он не осознает своего положения, и потому нет солидаризации, рабочие не стали реальным субъектом социальных процессов, не созрели до состояния «класса для себя». В странах Евросоюза картина противоположная и наемные работники и работодатели четко сознают несходство интересов. Действуют, однако, не по «Коммунистическому манифесту», но следуют идеологии партнерства. В Конституции ФРГ говорится, что Германия является «демократическим и социальным государством». Отсюда – законы о труде, диктующие процедуры переговорного процесса между профсоюзами и хозяевами предприятий.

Мне посчастливилось присутствовать на таких переговорах. Мой друг социолог социал-демократ Вернер Фрике [44] из Фонда Эберта организовал приглашение на заседания сторон IG Farbenindustrie, мощной сталелитейной компании. Большой зал. За длинным столом друг против друга элегантные господа. Плакат на одной стене – «Союз предпринимателей IG», на противоположной – «Профсоюз IG». За круглым столиком в стороне такие же элегантные Herren и флажок в центре – Министерство труда. Называется трипартизм. Профсоюзники в лице профессиональных экономистов демонстрируют на экране график заметного увеличения прибылей компании в минувшем году и требуют увеличения тарифных ставок. Другая сторона спрашивает: кто выступал на улицах за воссоединение Германии? Предприниматели или рабочие? Вы отлично знаете, что бюджет предполагает отчисления по статье помощи восточным землям. Как можно повысить разрядные тарифы? На третий день, как сообщил Фрике, пришли к согласию о каких-то пропорциях в пользу сторон. По федеральному Закону в случае

нарушения «Генерального соглашения» хозяевами работники имеют право на забастовку с компенсаций нерабочих дней.

Скажи, можешь себе представить подобное собрание в московском особняке? Ответ знаю. Сегодня – нет, но уверен, что послезавтра – да. Россия является членом Международной организации труда (МОТ). Решения последней носят рекомендательный характер. Но рано или поздно наше правительство вынуждено будет следовать конвенциям МОТ. Великая держава не может вести себя как африканское государство с президентом-людоедом Бокассо. Сегодня российский капитализм варварский. Например, в приличных странах узаконен процент от прибылей, часть, которую должно тратить на повышение зарплат. Академик Львов [45] пишет, что «у них» зарплатная доля составляет около 70 процентов, у нас – около 30 процентов! Причем никакими законами это не регламентировано. На одной конференции выступающий пересказал разговор со своим приятелем, ныне хозяином процветающей индустриальной фирмы. Я, говорит, спрашиваю: сколько платишь работягам? Тот: чуть больше, чем другие в нашей отрасли, чтобы не переманивали к себе. – А повысить ставки можешь? – Могу, но зачем?

Когда у нас «устаканится», классовая теория Маркса будет объективно востребована.

Теперь – о диспозиционной теории личности

Мы еще вернемся к «человеку и его работе», но сейчас хочу спросить о том, как возникла идея диспозиционного подхода [46]. Как произошел прыжок от «человека и его работы» к этой теме?

Расскажу подлинную историю «изобретения» диспозиционной концепции. Как было дело? Я очень интересовался «эффектом ЛаПьера», суть которого в том, что attitudes не согласуются с реальным поведением человека. Но мы-то фиксируем именно социальные установки вроде нынешних опросов: «За кого будете голосовать?» Респондент отвечает, но что из этого следует? На моем «чердаке» среди прочего валялась теория систем (Берталанфи и др.), и вдруг озарило: а не являются ли поведенческие намерения одним из элементов иерархической структуры чего-то. Позже пришел в голову термин «диспозиции личности», то есть метафора из воинской терминологии (стратегия, тактика...).

Метафора, уверяют психологи, – пусковой механизм идеи. Со своего «чердака» я спустился в реальную квартиру заполночь и разбудил Люку. Ты знаешь, она социо-педагог. Люка говорит: это же открытие! Для начала я прикончил остававшийся

коньяк, а утром позвонил Леше Семенову [47], моему молодому сотруднику, психологу по базовому образованию. Лешка немедленно приехал и тоже восхитился. Начали думать вместе.

Он говорит: системы, хорошо, но они же разные. Есть открытые и закрытые, иерархические и проч. Что пишет В.А. Геодокян – главный в то время советский автор, который защищал кибернетику, в основном иллюстрируя Берталанфи примерами из эволюции живых организмов? В иерархических системах, говорил Лешка, высшие уровни доминируют. Примитивный мозг лягушки позволил ей жить и в воде и на суше. Рыба-дура не смогла так приспособиться. Может, ценностные ориентации личности эту доминирующую функцию в человеческом поведении и исполняют? Это был некий прорыв, и мы оба независимо друг от друга что-то набросали, а потом собрались всем сектором. Горячо обсуждали и в конце концов сочинили исследовательскую программу, которая легла в основу проекта «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности».

Очень заметный вклад внес Володя Магун, он – неповторим. Мы писали с ним и главу в «саморегуляции», и раздел в учебник по социопсихологии. Встречались у меня. Помнишь? Потолки два семьдесят и квадратные метры не хуже. Принадлежала хирургу онкологу, который построил «храм на метастазах», не имея наследников. Устроила обмен из коммунальной одноклассница, ставшая первым секретарем райкома, в каком районе мы жили. Часами спорим с Володей. Он – кремень. Мне надоедает, и соглашаюсь с его аргументами. Звонит, мерзавец, и спрашивает: «В.А., почему вы со мной согласились? Я считаю, надо еще поговорить». Он просто изводил.

В моей классификации придурков Володя – придурок хасидского типа. Хасиды веками ломают голову над Ветхим Заветом. Геннадий Батыгин подарил мне книгу «Еврейские мудрости», перевод с польского. Там толкуется Ветхий Завет для совсем тупых. Такой рассказ. Шеф жандармов Бенкендорф идет в камеру Петропавловки, где заключен цадик (старшина еврейской общины). Его отправили в каземат по доносу единоверца, что цадик, мол, пренебрегает царскими указами. Бенкендорф думает: или он как все евреи, прикидывается, что знает, или он действительно знает? Входит в камеру. Цадик молится. Спрашивает: если ты такой умный, ответь, почему Господь, всемогущий и всезнающий, спросил: «Где ты, Адам?» Адам в этот момент был с Евой). Цадик говорит: вот ты, тебе уже 38, знаешь, где ты?

Шеф жандармов уходит и думает: что же имел в виду цадик? Дальше для малограмотных: евреи, помните, что сделал Господь после? Он изгнал Адама и Еву из рая и наказал им

трудиться в поте лица своего. Подумайте, на верном ли пути вы находитесь?

Володя Магун – человек, который озабочен вопросом: на верном ли он пути в решении какой-то научной проблемы?

Вернемся к диспозиционной теории. Первые журнальные публикации были в соавторстве, а потом как-то имена моих коллег выпали, и остался Ядов. Роберт Мертон [48] открыл в социологии науки «эффект Матфея». Разослал в разные журналы уже опубликованные ими же статьи, но с подписью неизвестных авторов. Ни одна не была принята! Научный авторитет автора оригинала статьи был решающим. Видимо, эффект Матфея сыграл свою роль, и благодаря ему Ядов стал единственным автором теории. Облегчает совесть то, что идею все же предложил я. Считаю, что на вопрос ответил.

Когда ты учился в университете, вам читался курс психологии?

Вопрос приятный, есть что вспомнить, спасибо. На факультете работали светицы советской психологии Борис Герасимович Ананьев [49] и Владимир Николаевич Мясищев [50]. Б.Г., можно сказать, меня любил. Приглашал поговорить, в том числе и о социальной психологии. Он не очень восторгался идеей возрождения социальной психологии и намного больше был озабочен системным, междисциплинарным подходом к человеку и личности. Один разговор я хорошо помню. Б.Г. говорил об индивидуальной неповторимости личности, с одной стороны, и формуле Маркса «личность есть ансамбль *всех* социальных отношений» – с другой. Замечу, что Маркса он знал, видимо, в оригинале, потому что в русских переводах «всех» было изъято, а вместо «ансамбль» писали – «совокупность». Ананьев трактовал высказывание Маркса в том смысле, что имеет место гармония традиций культуры, единства онто- и филогенеза. Для меня это было откровением. Думал ли Маркс так именно, мы не знаем. Но с позиций сегодняшнего дня это толкование Б.Г. видится совершенно современным.

Ананьев, как и Мясищев, был человеком, абсолютно погруженным в сам процесс познания. Когда я отправлялся в Англию на стажировку по обмену, он сказал: «Даю вам задание досконально изучить кластерный анализ». Поясню. Факторный наши психологи давно применяли, ибо его придумал психолог Спирмен [51], кластерный – нет. Не знаю, кто именно предложил кластеризацию, но убежден, что не психолог. Там ведь просматривается «кучкование» индивидов, то есть что-то вроде минисообществ по заданным признакам. Здесь явно идея либо социолога, либо антрополога. Когда я вернулся из Англии, Б.Г. устроил семинар с моим сообщением.

С Владимиром Николаевичем Мясичевым мы не были так близки. Но я к нему нередко обращался. В отличие от Б.Г. – теоретика, он был и выдающимся теоретиком, и столь же талантливым психотерапевтом. Публиковал работы в этом направлении. Однажды, будучи доцентом, я обратился к нему за советом насчет одной студентки, которая казалась мне слегка «не в норме». Мясичев попросил принести какой-нибудь ее текст. Просмотрел и сказал: видите как много выделений цветом? Несомненный признак шизофрении. Ей кажется, что это исключительно важно, а по сути-то тривиальность. Мне все ясно, но что делать? Давайте спросим в нашей поликлинике, когда она обязана пройти диспансеризацию. А может, она у них бывает и по своим причинам. Я поговорю с психиатром, и ее к нему направят под каким-нибудь предлогом. Не помню, как решилась судьба студентки, но сегодня, читая работы с цвето-выделением и разными компьютерными шрифтами, я настаиваюсь – есть для этого рациональные основания или нет?

Теория социальных отношений личности Мясичева имела огромное влияние на разработку диспозиционной концепции. Владимир Николаевич в свое время был ярким сторонником идеи коллективной рефлексологии Бехтерева [52]. Для меня это идея – воздействия непосредственного окружения человека на его поведенческие намерения. Владимир Николаевич публично критиковал теорию установок Дмитрия Узнадзе [53], потому, видимо, что Узнадзе полагали немарксистом из-за длительного сотрудничества с Куртом Левином [54] (бежал после аншлюса в Америку). Работы его увидели свет на русском лишь при Хрущеве. Узнадзе и его преемник на посту директора института психологии Грузинской АН Шота Надирашвили подчеркивали, что установка личности (по-грузински «ганцхоба») имеет две модальности – бессознательную и осознанную. Последняя «всплывает» в сознании, когда первая не работает. Например, не могу открыть свою дверь. Не мой ключ, не моя квартира, ключ засорился? Значит, есть какая-то связь между сознательным и подсознательным.

Надирашвили, которого я полагаю своим другом (он и сегодня остается директором Института психологии им. Узнадзе), говорил: «Установка – это личность». Однажды мы с Верой Водзинской [55] участвовали в конференции, что проходила в Тбилиси. Надирашвили не имел к ней отношения. Мы решили его навестить и приехали неожиданно. В доме, поверь, не было ничего, чем не стыдно накормить гостя. Через полчаса был накрыт роскошный стол: соседи все обеспечили. За столом семья и двое-трое друзей хозяина. В ходе разговора я спрашиваю: Шота, что все-таки есть ганцхоба, какие пропорции бессознательного и осознанного? Хозяин говорит (вообрази

грузинский акцент): «Мэри, принеси еще вина». Приносит: «Теперь, Володя, сделай из этой бумажки воронку и заткни пальцем внизу. Друзья, отлейте из ваших бокалов немножечко нашему дорогому гостю. Отними палец и выпей. Можешь сказать какие пропорции в этом восхитительном напитке? И я не могу сказать. Ганцхоба – это ганцхоба».

Вернемся к Мясищеву. Он, как я уже сказал, критиковал Узнадзе и утверждал, что имеет место именно социальная детерминация поведения человека, потому и называл свою концепцию теорией социальных отношений личности к обществу. Я осмелился его спросить: «В.Н., а знаете, что американец Милтон Рокич [56] экспериментально доказал, что есть иерархия ценностных ориентаций и аттитюдов личности? Аттитюды – это и есть примерно то, что в концепции Узнадзе “объективированная” (отрефлексируемая) установка». Он отвечает: «Рокича я не читал, но Узнадзе – великан нашей науки, вы понимаете?» Конечно, я понимал.

И вот наступил мой звездный час – выступление на Ученом совете психфака с докладом о диспозиционной концепции. Мясищев присутствует. Я, конечно, «пиарю» в его адрес. При обсуждении Владимир Николаевич говорит примерно следующее: «Наш докладчик (по старости имена он не помнил) великолепно развил мою теорию. Я считаю, что это надо опубликовать». Старик Мясищев был настолько забывчив, что голосовал бюллетенем в урну на любом Ученом совете, членом которого и не был. Комиссия по подсчету голосов не знала, что делать. Умирал он как подлинный ученый. Знаешь, он диктовал свои ощущения до последнего вздоха. Недавно скончавшийся Папа римский Иоанн Павел II нашел в себе силы перед кончиной перекреститься и произнести «Аминь». Владимир Николаевич так же ушел из жизни, потому что его богом была наука.

А вас познакомили с основами тестирования, с правилами формулировки вопросов, с тем, что мы называем опросными методами? Или Гуд и Хатт были полным откровением?

Конечно, о тестах, эксперименте в психологии я знал, но впечатления это не произвело. Гуд и Хатт – совсем другое, так как я понял, что есть эмпирическая социология.

Можно ли считать, что обращение к социологии шло от метода или все же до знакомства с Гудом и Хаттом у тебя были, пусть смутные, стремления заняться социологией?

С социологией был более или менее знаком по работам Мангейма [57], Шелера [58], Липпмана [59]. Я читал их для кандидатской об идеологии, где были разделы, связанные с двумя первыми, непосредственно занимавшихся моей проблемой, а

Липпману я там отвел немалый кусок в связи со стереотипами, которые имеют место и в идеологии, особенно в пропаганде. Я уже говорил о книгах Кона и Асеева по «буржуазной социологии». Штука в том, что теоретические воззрения классиков социологии я кодировал для себя как социальную философию. Так что знакомство с учебником по методам было решающим.

Как к диспозиционной теории личности отнеслись советские философы и психологи? Что принималось, что отвергалось? Каково текущее состояние диспозиционного подхода? Кто-нибудь его продолжает?

Да и нет, нет и да. В российских энциклопедиях и словарях по социологии и психологии диспозиционная концепция, как правило, присутствует. В многократно переиздаваемом учебном пособии по социальной психологии Г. Андреевой [60] она изложена даже лучше, чем я бы это сделал. В двух-трех ридерах нового поколения – фрагменты моих текстов. Исследовательски продолжают В. Чичилимов [61] и В. Хмелько [62] в Украине, мы сами и мои аспиранты. Публикации в западных журналах были, но «шлейфа» я не заметил, не считая Милтона Рокича, ныне покойного. Он лет тридцать тому назад прислал свою статью, в которой обстоятельно полемизировал. Здесь трудно сказать, потому ли, что концепция в его понимании того стоила, или потому, что мы стали друзьями. Примерно в середине 1980-х Рокич просил меня узнать, есть ли в Союзе что-либо от лейкемии – больна дочь. Я послал письмо, написанное специалистом, и получил ответ, что в США то же самое. Дочь его скончалась. Этой историей я хочу сказать, что ответ на вопрос о широком признании диспозиционной концепции скорее между «да» и «нет».

При чтении Липпмана у тебя возникали какие-либо соображения по поводу изучения общественного мнения? Ты ведь тогда работал над кандидатской диссертацией...

Вероятно, что-то знал про общественное мнение, но не фиксировал на нем внимание. Это уже позже и особенно благодаря Борису Грушину. В моей книге «Идеология как форма общественного сознания» была глава об идеологии и пропаганде с разоблачением механизмов буржуазной «серой» и «черной» пропаганды. Главу эту издали отдельной брошюрой и в Москве перевели на разные языки, включая испанский. Кубинцы потом сами перевели и книгу. Я где-то выискал «Дневники» Геббельса (на английском), откровения американских экспертов этого дела, которые ссылались на концепцию Уолтера Липпмана. Книгу его «Общественное мнение» получил по библиотечному обмену из университета Хельсинки. Суть концепции: социальные стереотипы – схематизированные, эмоционально насыщенные образы, обладающие в массовом сознании высокой устойчивостью.

С кандидатской работой, которая легла в основу книги, у меня была памятная история. У своего научного руководителя Василия Петровича Тугаринова [63] я многому научился. Он не рекомендовал тему, но требовал, чтобы аспирант сам ее выбрал. Правило единственное – проблема не должна быть «измусолена». Если вы разрабатываете нетривиальную проблему, то, как бы ни написали работу, защитите наверняка. В начале я стал заниматься категорией меры у Гегеля, но ничего оригинального придумать не мог. Взял тему об идеологии, и здесь открылась масса интересного. Достаточно плехановской концепции о массовой психологии, из которой идеология «выкристаллизовывается». Или Маннгейм об утопии как образе желаемого будущего и идеологии как системе взглядов, легитимирующей сложившийся порядок. Я, убежденно доказывал ошибочность взглядов Маннгейма и в частности насчет «конstellации» различных идей (функция интеллигенции) в нечто наиболее объективное. Лишь теперь я понимаю, что подспудно из Маннгейма вытекало, что коммунистическая идея – утопия, а не «научная идеология». Не менее обстоятельно разбирал и Шелера.

Короче, мне страшно нравилось, что получается, и с гордостью принес свой труд Тугаринову. Через пару дней он говорит, что такую работу ни в жизнь не рекомендует к защите. Диссертацию я заканчивал в больнице, где лежал после операции язвы желудка (благодаря этому вернулся на факультет с комсомольской работы). Заведующий отделением разрешил заниматься его кабинет, когда тот был свободен. Там я и сидел ночами за машинкой. Короче, Василий Петрович нанес мне травму почище язвы. Проходит время, и он, мимоходом, в коридоре спрашивает, почему я пропал, надо же выносить работу на предзащиту. Выступает на факультетском семинаре и ссылается на Ядова. После защиты предложил опубликовать работу в издательстве ЛГУ.

Мне действительно повезло с руководителем. Он, кстати, написал первую книгу о марксистской (теоретической) социологии задолго до хрущевской оттепели. Тема была именно не тривиальной.

Клярику – почти забытая реальность

Я поздно пришел в социологию, уже после Клярику, но, естественно, в общих чертах знаю... и многих участников знаю... но мне хочется, что бы эта тема вернулась в историю российской социологии.

Встречи в Клярику – событие в советской социологии. Эстония была в СССР своего рода «западом». Языка московские начальники не понимали, и генсек Эстонской компартии Йоханнес Кэбин точно играл роль «крыши». В Клярику участники

собраний чувствовали себя, примерно как сегодня на любой международной конференции. Говорили то, что думали, а думали как шестидесятники, если переводить на язык идеологии. В собственно научном плане там блистали Юрий Лотман [64], узнадзвец Венори Квачахия [65], Юрий Левада [66] и многие другие выдающиеся интеллектуалы. «Полупортянцевых» не было. Поясню, Митрофан Лукич Полупартянец был героем стенгазеты Института философии АН СССР, которую делали молодые сотрудники. Это был собирательный образ академиков-философов Константиновых-Митиных. Такой, например, сюжет. Полупартянец за фуршетом по случаю открытия международного симпозиума спрашивает знающего их этикет (читатель понимал, что это «коллега»): «Можно ли прикурить от свечи?» – «Они для того и поставлены».

Во многом Кяярику – это Уло (мы все произносим его имя как Юло) Вооглайд [67] – уникальный человек. Его изгнали из КПСС в основном по обвинению в том, что в Кяярику студенты собрали и сложили вместе валявшиеся в лесу солдатские каски советских и германских солдат. В постсоветской Эстонии он дважды отказывался от депутатского мандата. В 2003 г. создал фракцию «Молодые в политику», собрал умных предпринимателей и подобных, очень этим гордился. На первой сессии парламента открывал заседание как старейшина. Через полгода отказался от мандата. Говорит: «Понимаешь, эти ребята, когда стали депутатами, перестали думать и все больше сидят за пивом». А фракция молодых, между прочим, получила около 10 процентов, что совсем неплохо для начала.

Я чувствую себя на эстонском хуторе очень комфортно. И полюбил этот народ. Он совсем другой. Имперских притязаний нет, сами освоили землю, где прошел ледник. До сих пор на нашем маленьком участке при пахоте вылезают камни. А на больших полях – груды валунов, и старые дома построены из таких камней. Они свою землю выстрадали. Слово *маа* – «земля» – употребляется во многих сочетаниях, близких по смыслу к понятию «Родина». Мой хутор официально обозначен на карте земельного департамента как *Jadovimaa* «Kastani». Каждый хутор должен иметь свое название. Дочь ближнего соседа предложила – назвать «Каштан», потому что, когда мы там поселились, в ряду елей и берез был еле живой каштан, который мы возродили к жизни. Не только цветет, но деток производит. Я, дурак, решил, что поджарю каштаны и буду чувствовать себя как парижанин. Ничего подобного! Конские каштаны, есть невозможно.

С Кяярику, Эстонией связано рождение первой советской книги по методологии социологических исследований. Как это было?

Я читал курс в ЛГУ на философском факультете, а в нашу социологическую лабораторию приезжали эстонцы, Уло в первую очередь. Однажды мы приняли целую компанию Уло и даже вывесили приветствие "Tule teremast" – «Добро пожаловать!»

Уло пригласил меня прочитать курс по методологии в Тартуском университете и издать стенограммы. Памятуя о Кальметьевой, хотя время было уже брежневско-прагматичное, я воспарил. Живу в маленькой гостинице "Park", на втором этаже, спускаюсь к завтраку, хозяйка приносит именно мой завтрак и к тому же спрашивает: «Когда Вам принести кофе в номер?» Полный отпад. Другой мир. Эстонский первый секретарь партии Кэбин прикрывал свой народ. Московские партократы ничего не понимали, пока им не перевели. Горбачев также. Он прибыл в Эстонию после визита в Латвию и говорит: «Дорогие латвийские товарищи». Потом, после подсказки ливрейного лакея: «Плохо, что мало кто из эстонцев знает русский». Министр культуры (женщина) бросает реплику: «Михал Сергеич, кто у нас не говорит по-русски, плохо знает и эстонский».

Итак, я живу в семейной гостинице, утром читаю лекцию, к полудню слушаю аудиозапись, к ночи – текст раздела учебника. Три последующих издания книги на 70 процентов – то же самое. Приятно сказать, что Сенат Тартуского университета избрал меня профессором *honoris causa*, единственным из российских обществоведов. Знаешь, как мне приятно за Россию, когда посещаю музей истории университета. Единственное фото россиянина-обществоведа. Пять-шесть лет назад приезжал на юбилей университета по случаю его двухсотлетнего основания шведским Карлом номер такой-то (Дерптский университет) и юбилея поменьше от Петра Великого (университет Тарту). Умыл шею, надел белую сорочку с галстуком. Сажу в актовом зале среди эстонцев. Они полностью вовлечены в торжественное событие: вынос знамен Эстонии и университета, девочки – мальчики в почетном карауле, "Gaudeamus igitur". Час, два. По-эстонски я знаю лишь «здрасте» и «направо-налево». Слава богу, есть программа торжества и временные пределы для ораторов. К тому же экран, на который проецируют картины славной истории университета.

Но: а) хочу курить, б) ни черта не понимаю, в) вообще не очень-то интересно. Выхожу на площадь перед университетом. Там соорудили великолепную сентиментальную скульптуру: студент и студентка целуются, причем девушка, чтобы дотя-

нуться до парня, приподняла ножку, а округ бассейн. На его ограждении – туристы. Я это сто раз видел и отправился на взгорок с памятником хирургу Пирогову [68], который окончил Тартуский университет и преподавал в нем. Он первым придумал анестезию во время Крымской кампании. Тепло, столики под зонтиком. Беру пиво и сэндвич. Говорю девушке (явно студентке, что подрабатывает): «Tere (здравствуйте). Palun (пожалуйста), разверните мне бутерброд». Palun – неперемное условие общения русскоязычного с эстонцем. Не скажешь Palun, ответит: «Не понимаю». Девушка говорит: «Нам нельзя прикасаться к вашему сэндвичу, разверните сами». Я: «Но, видите, у меня одна рука не работает, а другой 70 лет» (эстонцы обладают великолепным чувством юмора). Она непреклонна. Сажусь за столик под зонтом. Напротив ребята, которые немедленно разворачивают фольгу и позже, когда я взял сигарету, предлагают зажигалку.

Эстонию я люблю, это моя вторая малая родина. Хутор купили более 20 лет назад. Деньги одолжил Игорь Кон, который их не считал, хотя жил более чем скромно. В гостях говорил: «Мне пора, метро закроют». Делился своими финансовыми проблемами: «Я сейчас покупаю машины», то есть одалживает на авто. На Мадридском конгрессе Международной социологической ассоциации таксист упер все мое имущество, как только я вышел из машины: чемодан с бумагами, сорочки и галстуки. Игорь сказал: «Володя, я приехал за счет Академии, но здесь получил деньги как председатель сессии. Бери».

Итак, значит, книга по методологии родилась в Тарту, серенькая мягкая обложка греет мою душу больше, чем твердая с фотографией автора на обороте.

Дополнение И.С. Кона

Ядов не совсем точно излагает эту историю. Книга Гуда и Хатта лично для меня никакого значения не имела. Я вообще никогда специально не интересовался методами, да и самую книгу сразу же по ее получении, не читая, отдал ребятам, они вернули мне ее через много месяцев.

Что социология – эмпирическая наука, я знал давно. В книге «Позитивизм в социологии» (1964) и предшествующих ей статьях, печатавшихся с 1962 г., я фактически написал историю социологии как науки, всех классиков социологии я так или иначе читал и излагал. Самого меня интересовала прежде всего историческая социология. Но на меня произвела сильное впечатление статья Г. Пруденского [69] в журнале «Комму-

нист» о свободном времени. Я подумал, что чем-то в этом роде можно и нужно заниматься и у нас (политическую социологию в СССР я считал абсолютно невозможной), и посоветовал это Володе, потому что считал его очень способным человеком, хотя наши отношения начались со стычки. Однако он в это время был еще «чистым философом» и сказал, что эта тема и вообще эмпирия кажется ему мелковатой.

Я не спорил. Но я твердо знал, что в ближайшее время эмпирическая социология у нас все равно появится, и потому заранее заказал через книжный отдел Академии наук учебник, который считал лучшим. Как доктор наук, я имел право ежегодно выписывать себе за свои деньги несколько иностранных книг. Валюты, конечно, было мало, а цены казались очень высокими. Но я пользовался не только собственным лимитом, но и использовал еще лимит Василия Петровича Тугаринова, Лазаря Осиповича Резников, Павла Сергеевича Попова и еще кого-то (профессора-философы иностранных книг не читали, а деньги я платил свои).

Тем временем Рожин пробил создание социологической лаборатории, Ядов стал ее заведующим, и это изменило его интересы. И как раз к открытию их лаборатории я получил книгу Гуда и Хатта и сразу же, не читая, отдал ее ребятам, среди которых был и мой аспирант Эдик Беляев. Они немедленно начали ее осваивать, и это существенно облегчило их собственный старт. Моя заслуга лишь в том, что я раньше других понял необходимость эмпирической социологии, написал нужную книгу и не был собакой на сене, а отдал ее тем, кому она была реально нужна. Позже то же самое было с социальной психологией. Я купил учебник Креча и Крачфилда [70] (лучшего учебника ни по одному предмету я в жизни не видел), освоил его сам, выучил по нему Диму Шалина [71], заказал (в это время нас уже снабжали книгами американцы) второй экземпляр для Ядова, после чего мы с ним ни с одним мальчишкой всерьез не разговаривали, пока он не проработает эту книгу. Поэтому наши ребята и были грамотнее других молодых социологов, которые учебников толком не читали, а искали интересующие их сюжеты по предметному указателю, не понимая, что указатели не всегда адекватны.

Примечания ведущего рубрики

1. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Под ред. Г.С. Батыгина. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 1999.

2. Батыгин Геннадий Семенович (1951–2003).
3. Штомпка Петр (Sztompka Piotr, р. 1944), Краков, Польша.
4. Шейнис Виктор Леонидович (р. 1931), Москва.
5. Тукумцев Будимир Гвидонович (1927), Петербург.
6. Бунге Марио (Bunge Mario, р. 1919).
7. Покровский Никита Евгеньевич (р. 1950), Москва.
8. Здравомыслов А.Г., Рожин В.П., Ядов В.А. Человек и его работа. Москва: Мысль, 1967.
9. Херцберг Фредерик (Herzberg Frederick, 1923–2000).
10. Кон Игорь Семенович (1928–2011).
11. Лапин Николай Иванович (р. 1931), Москва.
12. Здравомыслов Андрей Григорьевич (1928–2009).
13. Здравомыслов А.Г., Ядов В.А. Человек и его работа в СССР и после: Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2003.
14. Беляев Эдуард Викторович (р. 1936), эмигрировал в 1976 г., живет в Нью-Йорке, США.
15. Чесноков Дмитрий Иванович (1910–1973).
16. Фирсов Борис Максимович (р. 1929), Петербург. *Б.М. Фирсов: «...О себе и своем разномыслии...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев, 2005. № 1. С. 2–12.*
17. *Goode W.J., Hutt P.K. Methods in Social Research. New York: McGraw-Hill, 1952.*
18. *Кон И.С. Позитивизм в социологии: исторический очерк. Л.: Изд. ЛГУ, 1964.*
19. Асеев Юрий Алексеевич (1928–1995).
20. Замошкин Юрий Александрович (1927–1993).
21. Жена В.А. Ядова – Лесохина Людмила Николаевна (1928–1992).
22. Ядов Николай Владимирович (р. 1961), Петербург.
23. Митин Марк Борисович (1901–1987)
24. Магун Владимир Самуилович (р. 1947), Москва.
25. Гордон Леонид Абрамович (1930–2003).
26. Клопов Эдуард Викторович (р. 1930), Москва.
27. Голосенко Игорь Анатольевич (1938–2001).
28. Гастев Алексей Капитонович (1882- после 1938)
29. Грушин Борис Андреевич (1929–2007), Москва. См.: *Докторов Б.З. Грушин Б.А. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13.*
30. Руткевич Михаил Николаевич (1917–2009).
31. Парсонс, Талкотт (Parsons, Talcott), (1902–1979).
32. Поланьи, Карл (Polanyi, Karl 1866–1964).
33. Норт, Дуглас (North, Douglass, р. 1920).
34. Яковлев Александр Николаевич (р. 1923), Москва.
35. Шляпентох Владимир Эммануилович (р. 1926), эмигрировал в США в 1979 г. Ист-Лэстинг, Мичиган, США.
36. Кагарлицкий Борис Юльевич (р. 1958), Москва.
37. Давыдов Юрий Николаевич (1929–2007)..
38. *Давыдов Ю.Н. Российская ситуация в свете веберовского различения двух видов капитализма. Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М.: Канон-Пресс, 2001.*
39. Заславская Татьяна Ивановна (р. 1927), Москва.
40. Шанин Теодор (Shanin, Theodor, р. 1930), английский ис-

- торик и социолог, возглавляет созданную им Высшую школу социальных и экономических наук, Москва.
41. Здравомыслова Елена Андреевна (р. 1953), Петербург.
 42. Дарендорф Ральф (Dahrendorf, Ralf), (р. 1929).
 43. Абалкин Леонид Иванович (р. 1930), Москва.
 44. Фрике Вернер (Fricke, Werner).
 45. Львов Дмитрий Семенович (р. 1930), Москва.
 46. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Под ред. В.А. Ядова. Л.: Наука, 1979.
 47. Семенов Алексей Александрович (р. 1947), Таллин
 48. Мертон Роберт (Merton, Robert), (1910–2003).
 49. Ананьев Борис Герасимович (1907–1972).
 50. Мясищев Владимир Николаевич (1893–1973).
 51. Спирмен Чарльз (Spearman, Charles), (1863–1945).
 52. Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927).
 53. Узнадзе Дмитрий Николаевич (1887–1950).
 54. Левин Курт (Levin, Kurt), (1890–1947).
 55. Водзинская Вера Васильевна (1929–1980-е)
 56. Рокич Милтон (Rokeach Milton, 1918–1988).
 57. Маннгейм Карл (Mannheim, Karl), (1893–1947).
 58. Шелер Макс (Scheler Max, 1874–1928).
 59. Липпман Уолтер (Lippmann, Walter), (1889–1974).
 60. Андреева Галина Михайловна (р. 1925), Москва.
 61. Чичилимов Владимир Валентинович (р. 1939), Таганрог
 62. Хмелько Валерий Евгеньевич (р. 1939), Киев, Украина.
 63. Тугаринов Василий Петрович (1898–1978).
 64. Лотман Юрий Михайлович (1922–1993).
 65. Квачахия Венори Михайлович () – грузинский социолог
 66. Левада Юрий Александрович (1930–2006).
 67. Вооглайд Юло (р. 1935), Тарту, Эстония.
 68. Пирогов Николай Иванович (1810–1881).
 69. Пруденский Герман Александрович (1904–1967).
 70. *Krech D., Crutchfield R.S. Elements of Psychology. New York, 1958.*
 71. Шалин Дмитрий Николаевич (р. 1947), эмигрировал в США в 1975 г., Лас Вегас, США.

В.А.Ядов: “Естественно, кандидат на стажировку за рубежом подлежал рассмотрению со стороны Большого дома. Звонит некто, представляется просто как «сотрудник» и предлагает встретиться в Таврическом саду в каком-то месте (дело было весной). спрашивает, очень ли я хочу поехать, а потом говорит: «Вы понимаете, что должны будете выполнить наше задание?» Я интересуюсь, какое именно. Он говорит, что сам этого не знает, но его коллега в Москве перед вылетом в Лондон объяснит. Как, спрашивает, зовут вашего тестя? – Николай Григорьевич. – Так вот, к вам обратится Николай Григорьевич.

Подходит молодой дядя с военной выправкой и на главный вопрос о задании повторяет слова ленинградского коллеги, что суть поручения мне изложит очередин Николай Григорьевич из нашего посольства в Лондоне. В посольстве на Хайгет-стрит третий Н.Г., еще более молодой (думаю, что проходил свою зарубежную стажировку), формулирует задание: следует подружиться с британским студентом, который может в будущем стать заметной фигурой.”

В.А. Ядов:
«...НАДО
ПО ВОЗМОЖНОСТИ
ВЛИЯТЬ
НА ДВИЖЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ
ПЛАНЕТ...»*

Часть 2

Социология и «компетентные органы»

Новые поколения уже не представляют, и, возможно, не верят в то, что социология развивалась под недремлющим оком КГБ. Мог бы ты привести пример того, что это все же было?

Я бы не сказал, что КГБ присматривал за социологией. Эту функцию выполняли парторганы и цензура, а упомянутая организация опекала социологов в ряду других, кто попадал в поле зрения отдела «по работе с интеллигенцией».

В 1963–1964 годах меня направили по обмену на стажировку в Англию. Предложил кандидатуру ректор Александр Данилович Александров [1]. Данилыч, как мы его называли, будучи выдающимся математиком, членом Академии,

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. Часть 2. 2005. № 4. С. 2–10.

серьезно относился к философии. Тогда во всех научных институтах вместо политзанятий, обязательных в любом учреждении или на предприятаниях, проводились философские семинары. Однажды, вижу как сейчас, ректор выступает с докладом на философском семинаре нашего факультета по проблеме свободы и необходимости и выражает несогласие с известной формулой Гегеля и Маркса «свобода есть осознанная необходимость». Говорит что, если передо мною три лунки, то остается лишь выбрать наиболее удобную. А я хочу выкопать четвертую лунку! Наши философы оцепенели и как-то обиняком стали возражать, но потом долго обсуждали проблему.

Данилыч организовал из молодых преподавателей с разных факультетов свой семинар. Вначале собирались у него на квартире, потом по очереди на квартирах участников. С нашего факультета в нем были пятеро, в том числе Юрий Асеев [2], Владимир Иванов [3], Маша [4] и Борис [5] Козловы.

Все, кроме Асеева, позже защитили докторские диссертации. Юру обвинили в нарушении инструкции «О поведении советских граждан за рубежом» и перекрыли путь к защите. Обсуждали диалектику, теорию относительности, генетику и, конечно, разные социальные проблемы на закате хрущевской оттепели. Так вот, Данилыч включил Асеева и меня в первую группу по обмену с зарубежными университетами.

Естественно, кандидат на стажировку за рубежом подлежал присмотру со стороны Большого дома. Звонит некто, представляется просто как «сотрудник» и предлагает встретиться в Таврическом саду в таком-то месте (дело было весной). Спрашивает, очень ли я хочу поехать, а потом говорит: «Вы понимаете, что должны будете выполнить наше задание?» Я интересуюсь, какое именно. Он говорит, что сам этого не знает, но его коллега в Москве перед вылетом в Лондон объяснит. Как, спрашивает, зовут вашего тестя? – Николай Григорьевич. – Так вот, к вам обратится Николай Григорьевич.

В Москве, где собрались десятка два стажеров разных специальностей, «коллега», представившийся Николаем Григорьевичем, звонит мне в гостиницу и назначает randevu возле ресторана «Берлин». Минут пять я топчусь в условленном месте. Подходит молодой дядя с военной выправкой и на главный вопрос о задании повторяет слова ленинградского коллеги, что суть поручения мне изложит очередной Николай Григорьевич из нашего посольства в Лондоне. В посольстве на Хайгет-стрит третий Н.Г., еще более молодой (думаю, что проходил свою зарубежную стажировку), формулирует задание: следует подружиться с британским студентом, который может в будущем стать заметной фигурой. Дело нехитрое, так как, сам понима-

ешь, проверить мою догадку о будущей карьере студента не смогли бы и десятки николаев григорьевичей.

В общежитии Лондонской школы экономики и политических наук я приятельствовал с парнем по имени Майк лишь потому, что его комната оказалась рядом. Парень был из семьи предпринимателя средней руки. Его я и назвал в качестве перспективного в будущем политика. Перед отъездом домой мой шеф из службы атташе по культуре сказал, что я должен представить его Майку как своего друга. Сел за руль и, ей-богу, не преувеличиваю, петляя по Лондону, прежде чем подъехать к общежитию на Рассел-сквер. Приятеля моего мы нашли в студенческом баре. Я их познакомил за кружкой пива, и на другой день Н.Г. диктует мне текст на почтовую открыточку (дату не ставьте). Текст примерно следующий: «Дорогой Майк. Извини, что долго молчал. Много работы преподавательской и исследовательской. Посылаю с моим другом (пропущено) небольшой сувенир. Надеюсь, тебе понравится. Обнимаю, Володя». Далее Н.Г. инструктирует, что с этой минуты с адресатом послания я должен прервать всякие связи. Он, видимо, доложил о выполнении своей миссии, а я поступил как велено, в чем дал расписку.

Через 36 лет меня включают в делегацию Российской академии наук для подписания в Лондоне соглашения о сотрудничестве с Британской академией Ее Величества. Получаю по электронной почте письмо: ваш товарищ по LSE, (т.е. мой друг Майк) узнал о вашем визите в Лондон и хотел бы встретиться. У него нет электронного адреса. Сообщите где и когда это было бы возможно. Визит затягивался, я ушел с поста директора института и не был включен в делегацию РАН. Таким образом, насчет успешности своей деятельности как агента КГБ я остаюсь в неведении...

Это начало шестидесятых, «железный занавес». А что-нибудь попозже?

Расскажу забавную историю на ту же тему об использовании ученых «компетентными органами» в годы перестройки. В конце восьмидесятых вместе с экономистами еду на советско-финский симпозиум в одном купе с академиком Львовым [6]. Дмитрий Семенович оказался интереснейшим собеседником. Между прочим говорит, что начал писать мемуары. Я прошу поведать какой-нибудь «мемуар». Он рассказывает о своем предыдущем визите в Финляндию. Я, говорит, был руководителем делегации экономистов на конференции в Тампере. Из ЦК меня попросили включить в делегацию «их человека», которого я должен был представить как сотрудника нашего института. В конце первого дня конференции хозяева пригла-

шают всех в сауну, но этого почему-то отдельно. Конференция закончилась, на вокзале ожидаем поезд в Хельсинки. Мой «сотрудник» внезапно хватает брошенную на скамейке газету с фотографией голых мужчин в сауне и заявляет, что один из сидящих на полке – он. Это – провокация. Мы должны немедленно ехать в посольство. В Хельсинки мы прибыли поздним вечером, и я договорился о встрече с послом на завтра. Ничуть не сомневался, что товарищ тронулся, и в беседе с послом сообщаю, как прошла конференция. Этот меня нервно перебивает и протягивает послу газету. Что, думаете, сделал посол? Взглянул и говорит: товарищ Петров, ерунда какая-то, вы ошиблись. Газета старая, и к вашему пребыванию в Тампере отношения не имеет, так что, пожалуйста, не беспокойтесь. Газету между тем положил на свой стол и не вернул. Я думаю, этот Петров был вроде моего Николая Григорьевича, которого послали на стажировку в Финляндию, дружественную страну, как не лучшего из выпускников Академии КГБ.

Для полноты картины, может быть еще иллюстрация?

Есть, это связано с началом моей работы в качестве директора-организатора Института социологии РАН. Знакомлюсь с сотрудниками из администрации. Начальник первого отдела, который отвечал за документы для служебного пользования, доверительно говорит, что временно отсидживается после работы в какой-то стране. Я договорился с начальством в Президиуме академии совместить первый отдел с отделом кадров, поскольку «ДСП» у нас мало. Должность сократили.

Дальше отправился в подразделение обсуждать их исследовательскую деятельность. В штатном расписании обнаруживаю закрытый отдел (около 30 человек), располагавшийся в другом здании, далеко от главного. Знакомлюсь с их работой. Заведующий отделом с социологией был знаком «шапошно», но сотрудники явно профессиональны. Тематика – аудитория зарубежных радиостанций, настроения советских немцев... Напомню, что это время пика перестроечного энтузиазма. Иду к вице-президенту по социальным наукам, академику Владимиру Николаевичу Кудрявцеву [7]. Он, будучи директором Института предупреждения преступности, основательно внедрял социологию в среду юристов, был членом Президиума ССА. Добрыми отношениями с ним я горжусь. Предлагаю Кудрявцеву ликвидировать отдел. Он, как знаток кремлевских игр, организует встречу с заместителем председателя КГБ Бобковым [8], который отвечал за работу по линии «инакомыслящих» (сегодня шеф охранной службы крупной компании). Предлагается коньяк. Чтобы подчеркнуть доверительность

встречи, Бобков при мне отдает распоряжение грузинским товарищам отпустить арестованную в Тбилиси Новодворскую [9]. И говорит мне: «Вы ведь знаете эту анархистку?» Может, читал перед приемом мое досье, где, наверное, зафиксирована единственная встреча с Новодворской перед собранием нашего клуба «Перестройка».

Я вполне секу его показные штучки и, улучшив момент, говорю, что злополучный отдел надо ликвидировать и что «внедренные» в него сотрудники Комитета мало профессиональны как социологи и к тому же недостаточно умны. Привожу факт: я отдал приказ о премирвании, в котором было имя одного сотрудника из того отдела. Приказ вывешен на стенке. Иду в свой кабинет и вижу этого человека, поджидающего меня возле доски с приказами. Он говорит: «Владимир Александрович, не надо мне премию объявлять, я уже получил». Так как же расценивать ваших людей, если они в коридоре заявляют, что откомандированы в академический институт с Лубянки?

Бобков предлагает заключить официальный договор между институтом и ЦК КПСС о выполнении заданий ЦК и обещает убрать дураков. Не возражает против назначения заведующим отделом профессора Вилена Иванова [10], которого я сменил на посту директора. Дальше начинается волокита, приезжает гэбешник, и мы бесконечно согласовываем «договор с ЦК КПСС». Встречаюсь с Владимиром Николаевичем и рассказываю все это, а в конце предлагаю отдать распоряжение о преобразовании отдела и покончить с его прежней деятельностью. В противном случае, говорю, Татьяна Ивановна [11], которую мы выбрали от академии и ССА на Всесоюзный съезд народных депутатов, заявит на съезде, что в социологическом институте Академии до сих пор существует подразделение, работающее по заданиям КГБ. Кудрявцев говорит – согласен, пишите предложение на мое имя. Отдел был преобразован с тематикой по анализу динамики общественного мнения, а при создании Института социально-политических проблем Геннадия Осипова [12] отошел в новый институт.

Дела ленинградские

Несколько лет мы вместе проработали в ИСЭП АН СССР, еще предстоит осмыслить тот период существования ленинградской/петербургской академической социологии. Может начнем?..

Институт социально-экономических проблем (ИСЭП) – это в каком-то смысле дубль ИСИ при Руткевиче [13]. Тот был «бульдозером», за рулем которого – отдел науки ЦК, а Ивглаф

Иванович Сигов [14], директор ИСЭП, –точно такой же бульдозерист, только пониже рангом.

Сигова перебросили в наш институт с должности председателя комиссии партконтроля при ОК КПСС. Доктор по экономическим наукам, возможно, вполне заслуживший свою степень. Социологию терпел, потому что было указание сверху насчет ее полезности в социальном планировании. Ничего в ней не смыслил и главное – не желал что-то понять. Авторитарный тип личности. Коктейль: обком+гэбе – 70 процентов, марксистская политэкономическая закалка – 25 процентов и тип личности – на остаток.

Надо добавить, что поили нас этой «ивглафией», если вообразить директора хозяином бара, после недолгого руководства институтом Гелия Черкасова [15], щедро предлагавшего совсем иные напитки. ИСЭП был создан на базе разных академинститутотв (филиалов московских), включая математиков-компьютерщиков. До прихода в ИСЭП Черкасов был заместителем ректора Финансово-экономического института. Именно он пригред Овсея Шкаратана [16] с группой и даже создал какую-то специализацию, близкую экономической социологии, это было ново и прогрессивно. Это был «наш человек». Не в обыденном смысле «своего человека», но в идейно-нравственном. Русский интеллигент высокой пробы, то есть глубоко уважающий свое достоинство и равно – других, экстраверт (по психтестам не стоило и проверять) и, наконец, законченный «придурак». Он начал с того, что собирал начальников объединяемых институциональных структур у себя дома или у кого-либо из этой компании. Мы обсуждали концепцию ИСЭП и т.п. Как он там в обкоме все представлял, не знаю. Знаю, что наша программа была была сильной, инновационной. Во главе экономического, математического и социологического отделов были реальные лидеры в этих областях. Пошли семинары, где мы притирались друг к другу. И вот, назначают Сигова. Контраст резко обострил отношение к начальству. Черкасов вскоре умер, видимо, для него это было потрясением. Но память добрую мы храним.

Сиговщина началась с разработки общественно-полезной программы – ленинградского плана социального развития. Экономисты восприняли это нормально, математикам – все едино, что считать, социологи – раскололись. Борис Парыгин [17] возглавил одну фракцию, я – другую. В нашей были три сектора из четырех: сектор Бориса Фирсова [18], Овсея Шкаратана и мой; три из четырех, исключая парыгинский.

Перед глазами – заседание Ученого совета, на котором Сигов подбирает всех под Программу социального развития. А наш

сектор – в самом разгаре полевых работ по проекту «само-регуляции» поведения человека. Парыгин (к тому времени Сигов меня снял с руководства отделом социологии и назначил Парыгина) ораторствует в поддержку. Я ору больше других из наших. Решение будет позже принято дирекцией. Не поверишь, какой поступок я совершил через пяток минут после заседания. Пришел к Парыгину и стал убеждать, чтобы наш сектор оставили в покое. Стоит как скала. Я психанул и говорю: «Боря, встаю на колени, не делай этого!» И, клянусь, встал на колени. Этот эпизод до сего дня сидит в памяти как позор. В отделении АН СССР, потом – РАН, уже в Москве я держался как святой Августин, пронзенный стрелами, а здесь...

В итоге мы коллегиально решили, кто будет от сектора изображать соцпланирование. Андрей Алексеев [19] (нравственный лидер в команде) взялся сыграть заданный режиссером образ. Ему это было не так накладно, потому что болел за рабочий класс и имел свои исследовательские планы на этот счет.

Теперь рефлексии относительно Парыгина и Андрея. Парыгин после отстранения меня с председательства в Ленинградском отделении ССА «принял эстафету». Не так давно Игорь Кон [20] передал мне подаренный ему в Питере роскошный гляцевый журнал *University Magazine*, издание Петербургского университета профсоюзов с фото Парыгина на обложке и фрагментом из интервью (слова интервьюера): «живого классика», «лидера международного ревизионизма».

Что он там наговорил, необразишь. «Классик», поскольку первым осмелился утверждать социальную психологию, «лидер ревизионизма» потому, что на инструктивной конференции ЦК по общественным наукам его упомянули рядом с чехословацкими протестантами. Дальше повествует, как он страдал от КГБ и парторганов. Множество фото; Парыгин с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым [21], с Ядовым за столом президиума, с Галиной Старовойтовой [22]. Понимает, что сегодня подать на публику.

Еще тебе свидетельство Бориной научной славы. На рубеже 1970–1980-х он разработал методику измерения психологического климата в трудовом коллективе. Методика вызывала сомнения по части надежности. Эта методика не имела никакого отношения ни к измерению психологического климата, ни к науке вообще. Помнишь, Володя Лосенков [23], подражая Хармсу, писал: «Парыгин идет вдоль Таврического сада с расчехленным климометром». Не буду продолжать тему, грустно все это...

В преддверии перестройки вы с Фирсовым уже не работали в ИСЭП, Андрей Алексеев уже несколько лет работал станочником на заводе, Кесельмана [24] – уволили; как правило, тридцатилетние не ориентировались на подготовку кандидатских диссертаций, а сорокалетние – докторских; исследовательские темы носили сугубо региональный характер и т.д. Думаю, что если бы не приход Горбачева, то в начале второй половины 1980-х годов социология в ИСЭП была бы «прикончена». Так ли это?

Предполагать «обратно», можно, конечно, хотя не слишком уверенно. Я знаю реальную историю ИСЭП. В период перестройки и несколько позднее. Сигова сменил на посту директора вполне пристойный ученый. Баллотировался Анатолий Чубайс [25], не прошел. Недавно Президиум академии предпринял очередное укрупнение и сокращение институтов РАН с передачей части из них в региональное ведомство. ИСЭП был определен региональным, но благодаря Жоресу Алферову, одному из вице-президентов РАН, сохранил статус федерального института. По сути, он остается региональным по Северо-западной проблематике. Но я не думаю, что это «перемирие» в социальных науках. Академик Львов как-то заметил, что Евросоюз – множество государств, но по сути одна страна, а Россия одно государство и множество стран. Николай Лапин [26] начинает сейчас проект составления «социологической карты» российских регионов.

Можно ли говорить о существовании ленинградской социологической школы?

О «школе». Володя Костюшев [27] опубликовал материалы симпозиума, который он же и организовал по случаю юбилея нашей лаборатории. Я полагаю, что помимо пионерства нас отличала неофитская тщательность в соблюдении правил эмпирического исследования. В проекте «Человек и его работа» сами интервьюировали почти три тысячи рабочих (кроме молодых была контрольная группа немолодых), делали пробу и исправляли инструмент, тест-ретест на устойчивость данных, обоснование стратификационной выборки – по статистикам отраслей промышленности, надежность – путем сопоставления оценок мастеров каждого из рабочих с записями в его трудовой книжке, придумывали разные индексы по ответам респондентов, строго соблюдали доверительные интервалы статистик вывода, использовали факторный анализ, корреляционные графы и, наконец, интервью лицом-к-лицу с открытыми вопросами. Мы работали дружной командой.

Галя Саганенко [28], выпускница математико-механического факультета ЛГУ по кафедре математической статистики, применила свои знания к решению общей задачи исследования, «при-

мкнувший» психолог Анатолий Свенцицкий [29] предложил, как сейчас бы сказали, качественную методiku, Андрей Здравомыслов изобрел индекс «логического квадрата», и он же, как я говорил, предложил ввести операциональное определение характера труда. Понятно, что мы стали первопроходцами в СССР. Но именно «дома», хотя работу перевели в Америке в смысле «Надо же? Тоже умеют». Честно говоря, я не думаю, что западные коллеги следуют социологическому «Ветхому завету» от Мертона [30]. Мертон, по рассказу его тогдашнего аспиранта, озадачивал студентов: сколько возможных смыслов в вопросе «Почему вы купили эту книгу?». Книгу, а не статью автора – один. Вы сами, а не кто-то из коллег. Купили, не взяли в библиотеке. И главный – почему? Получается четыре вопроса. Не зная Мертона в этой роли, но штудировавшие Лазарсфельда – апостола «количественной» социологии, – мы все и делали по «Ветхому завету».

Под твоим руководством, думается, защитилось не менее трех десятков аспирантов и соискателей. Но в секторе – народ не очень стремился к защите. В чем дело?

Между прочим, к данному времени – уже больше шестидесяти. Но до введения социологии в список ВАКа – особенно много, так как не было профессиональных руководителей. Теперь насчет защит членами нашей кампании. Началось с того, что практичная Галя Саганенко сказала: «В.А., пока вы не защитите докторскую, нам нет хода». Я взял трехмесячный отпуск и сочинил нужное ВАКу (по философии все же). Борис Фирсов устроил меня в особняк писателей «Комарово». Комната и полная тишина. Только по вечерам человек пять собираются за чаем. Был там поэт-песенник Леша Лялин, автор шлягера «Топ, топ, топает малыш». Он клеился к Люке [31], которая приезжала в свободные дни. Рассказывает: «Леша царапается в дверь. Люка,пусти!» Мне было приятно: а) что царапается и б) что не впускала. Итак, я сочиняю докторскую на основе книги по методологии социологических исследований. Здесь-то и обратился к сочинениям ученых-наукоедов, другим работам, что, поначалу казалось, не были нужны «по делу», а лишь для демонстрации ВАКу научной эрудиции. Позже понял, что они действительно полезны для дела.

Расскажу о самой защите, это было в 1967 году. На нашем философском этаже места для желающих присутствовать не достало. Спустились в Большую (амфитеатром) аудиторию истфака. Я в заключение благодарю тех, кому обязан помощью, и в их числе Хильду Химмельвайт [32] из Лондонской школы экономики и политики. Жуткий скандал. Члены Совета выступают и говорят то-то и то-то. Мы с Люкой и товарищами по лаборато-

ри переживаем в ожидании итогов голосования. Большинство «за». Здорово помогла Галина Андреева [33], мой оппонент. Она объясняла Совету, что Химмельвайт – крупнейший социопсихолог, экспериментатор и прочее. Так что «вымывала» из сознания голосующих ассоциации с какой-либо идеологией.

Твоя докторская диссертация была первой по методологии социологических исследований? Когда это было и кто согласился быть оппонентом?

Андреева, как я сказал. Сектор Юрия Левады [34] в ИКСИ выступал оппонировавшей организацией – второй (по алфавиту). Он мне устроил предзащиту в своем секторе в Москве и изругал отчаянно. Уже потом я прочел о семинарах Капицы [35], на которых удостоившемуся бескомпромиссной критики мэтра завидовали. Я свой долг постарался вернуть. В начале перестройки. Максимовы, ведущие на телевидении программу «Общественное мнение», вытащили Леваду из ЦЭМИ, где он отсиживался после изгнания из ИКСИ, и показали всей стране.

Оппонентом был также А. Харчев [36], член Совета. Он ничего не читал, подписал «рыбу», что я сочинил на себя.

И тем не менее сотрудники твоего сектора не «бросились» защищаться...

Да, действительно, решительно никто не собирался защищать диссертацию. Андрей Алексеев и Валерий Голофаст защитили кандидатские раньше, чем я докторскую. Лиля Бозрикова [37], Таня Протасенко [38], твоя Люся [39] и Леся Кесельман защите определенно не планировали. Олег Божков [40] поддался нажиму и начал ходить на занятия по английскому. Итог таков; на наших посиделках он продолжал вязать из шерсти, но, отрываясь от этого занятия, восклицал «аск» с одобрением или вопросом. Валерий Голофаст ораторствовал о смыслах высказываний респондентов, цитировал феноменологов. Это было очень полезно для нашего развития. Вера Водзинская [41] и Люся скрупулезно «выругивали» полевые инструменты. Только Галина Саганенко, самая амбициозная, написала докторскую и защитила ее в начале 1990-х в Москве. Галя – спортсменка, скалолаз. Участвовала в снятии со шпиль Адмиралтейства парусника для реставрации – питерской эмблемы. Поначалу была несколько косноязычна, она родом с Дальнего Востока. Сегодня блистает на ТВ, читает курс где-то в Бенилюксе на английском, заведует кафедрой и прочее.

Володя Магун [42], который сейчас руководит сектором в нашем институте, – несомненный лидер в проблематике исследования динамики потребностей и мотивации постсоветских

россиян, публикуется в западных журналах. Он мне предложил напоминать ему о докторской каждый год. Я перестал, бесполезно. Те мои друзья по лаборатории, кто диссертацию не защищал, – золото высокой пробы. Это люди, живущие возвышенными интересами, стремлением помочь обществу понять самого себя. Черчилль писал в мемуарах: чтобы сохранить науку, не надо кормить ученых. Греет душу, что и в Центре исследований социальных трансформаций ИС РАН, которым я руковожу, трое «придурков»: публикаций уйма, писать диссертацию клянутся, но времени на это не находят.

После смерти Валерия Голофаства [43] меня стала интересовать судьба моего поколения, условно называю шестидесятилетними. Границы поколения трудно определить, ибо в науке оно определяется не только возрастом. К этому поколению относят себя Володя Шапиро [44], он родился в 1937 г., Миша Косолапов [45] и Франц Шереги [46] (1944 г.); я – из этого поколения (1941 г.). Есть пессимистическая точка зрения – это поколение – потерянное, но есть более спокойные оценки. Что ты скажешь по этому поводу?

Некоторые имена ты уже назвал. Добавлю, к примеру, Александра Гофмана [47]. Он блестящий ученый, который сейчас несколько отошел от занятий историей социологии и тонко исследует особенности миросистемных, но прежде всего российских трансформаций под углом зрения социокультурных процессов. Его «Семь лекций» по истории теоретической социологии студенты считают наилучшим пособием. Галя Саганенко творит в методологии нечто на стыке качественного и количественного анализа, придумывает новации. Если попытаться подсчитать численность видных социологов шестидесятников и шестидесятилетних, вторые мало уступят первым. Шестидесятники больше на виду в силу пионерной роли в отечественной социологии. Стать лидером в олимпийском марафоне из сотен очень трудно.

А что можно сказать о тех, кому сейчас 40+, 20+?

Здесь я оптимист, полагаю, не без оснований. Называть имена не стану, чтобы не задеть чье-то самолюбие из, скажем, сорокалетних. Самолюбие упомянул не случайно, потому что эти ребята обоих гендеров в большинстве отличаются изрядной амбициозностью. Они современно образованы, а талантами наша страна истари не была обделена. Иногда на каком-нибудь московском или ином российском интеллектуальном сборище мы, «старички» присядем в уголок во время перерыва и делимся восторгами по поводу нетривиальных высказываний такой-то или такого-то из «молодых». Я мог бы назвать больше десятка из тех, с кем постоянно общаюсь и кто пользуется успехом,

блистает на международных форумах, приглашаем в европейские и американские университеты для чтения лекций (и не обязательно по российской проблематике), кто входит в редакционные советы престижных журналов, председательствует на международных симпозиумах, удостоен разных западных дипломов и прочее. Эти коллеги отлично вписались в социологическое мировое сообщество. Самое же примечательное – они не стремятся покинуть страну, напротив, создают свои научные школы в обеих столицах, Новосибирске, в Самаре, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Тюмени, Туве...

Российская социология, как и на Западе, коммерциализируется, науку же во все времена делали талантливые энтузиасты, «придурки». Их доля невелика, но здесь важна вовсе не численность. Уверен, и для этого у меня достаточно оснований, так как преподаю в разных университетах, что и в среде двадцатилетних таких людей не убавилось.

Недавно я участвовал в экспертизе работ выпускников московских школ, представленных на «Ярмарку идей». Мэр Лужков открыл «Ярмарку», которая заняла три этажа нового высотного здания Президиума РАН. Эксперты двинулись к стендам, возле которых ребята дожидались мэтров. Слушаю двоих мальчишек относительно германского фашизма и неофашизма в России. Смотрю их текст. Ссылки на А. Галкина [48], на бредни наших бритоголовых из Интернета. На стенде: Проблема, Задачи, Гипотезы, Методология, Результаты, Выводы и Рекомендации. Такой же формат на всех стендах. Защита минидиссертации. Из восьми работ, что компьютер предложил мне оценить, шестерых авторов я пригласил поступать на факультет при Институте социологии РАН. Теперь представь, из 25 человек (норма приема на первый курс), шесть «придурков» точно будет. Наверняка. И кто-то еще окажется таковым.

В прошлом году пятеро первокурсников (сейчас это второй курс) начали под руководством сотрудников нашего Центра исследований социальных трансформаций коллективный проект о трудовых отношениях. В текущем году таких трое: проект – преодоление травмы перемен. На нынешнем четвертом курсе, где я преподаю, предложил: посмотрим в какой мере западные поведенческие практики приживаются у нас. Привычка придерживать за собой дверь в метро. Говорю, что надо наблюдать компанией, один считает то, другие – иное. Но ребята-то «модерные». Говорят: снимем на видео. Пошли с видеокамерой к двум станциям в разное время рабочего дня, снимали на входе и выходе, а потом внимательно анализировали видео. Зажглись идеями. Володя Костошев взялся сделать то же в Питере («Окно в Европу»), Зара Саралиева – в Нижнем Новгороде. Пал Тамаш,

директор Института социологии Венгерской академии, прочел лекцию нашим студентам и немедля согласился с их предложением расширить проект до ЕС, включив в команду венгров и немцев. Джерри Панкруст (Jerry Pankrust) из университета штата Огайо тоже читал у нас и также примкнул к студенческому проекту. Ясно, что итогом станет нестыдная публикация, которую с ходу примет любой международный журнал. Я подозреваю, что доля чужаков стабильна не только среди соотечественников. Известный эксперимент Милгрэма [49] с крысами это доказывает. Грызунов поместили в идеальные условия. Однако сделали пропасть, в которой пылал огонь. Эксперимент получил известность под названием «крысиный Рай и Ад». В большинстве популяций находились те, кто сигал в адскую пропасть. Милгрэм назвал это инстинктом «Что такое?» Этологи, что изучают поведение животных и Homo sapiens , говорят нам: придурки – это некая видовая константа в популяции. Без них невозможна эволюция. Может быть, не стоит гордиться тем, что ломоносовы лишь в России?

Поколение шестидесятников известно серией мощных многоцелевых проектов с использованием большого числа разных методов и приемов. Не буду напоминать, это уже классика. Есть ли подобная перспектива у современных российских социологов? Может новые задачи и неустойчивость социального мира не предполагают наличия таких проектов?

Боюсь, что в обозримом будущем такого не будет. И не только в России. Не знаю ни одного *теоретико-прикладного* исследования после Мелвина Кона [50], то есть исследования, мотивированного побуждением «Что такое?». И уж потом – как на этом заработать. Есть отличные международные проекты, иницируемые ЕС (в одном мы участвуем). Деньги брошены немалые, создан научный совет умов из всех стран, который и долгосрочную программу предложил, и принимает решения по конкурсу заявок. Какие проблемы их интересуют? Где границы Европы и не-Европы, институциональные, культурные и прочие. Каковы следствия социального расслоения на ближнюю и дальнюю перспективу в посткоммунистических странах-членах ЕС и подобные. Конечно, здесь будут заметные теоретико-методологические результаты, но скорее как периферия, ибо центр внимания сугубо прагматический – планирование политики.

Я давненько не участвую во всемирных и европейских конгрессах, роскошествую на эстонском хуторе, потому что эти, воспитанные в протестантизме, не могут себе позволить прервать лекционный курс в своем университете. Июль – время для международных научных сборищ. Для нас же отпуск – святое дело (свобода от

государства, верно?). Когда я участвовал в конгрессах, то есть по меркам исторического времени – вчера, очень заметна была разница в «презентациях» товарищей из бывшего соцлагеря и западных. Последние бубнят по тексту, что роздан слушателям, и тематику я бы назвал мелочевкой. По тексту видно, что он написан специально для грантодателя, финансировавшего «трип».

Да, всегда в программе есть сессия «крупного» плана и заседания Исследовательского комитета по теории. Зал переполнен, стоят в дверях. Я сильно подозреваю, что не по причине понять «Что такое?», но потому, что конгрессмены читают множество разных курсов, и им надо быть «на уровне».

Наше время ушло. Это так. Будущее за прагматиками.

Мы много говорим о ленинградских/петербургских социологах разных поколений. Хочу попросить тебя рассказать о профессоре В. Я. Ельмееве.

Василий Ельмеев [51] с первых моих публикаций об эмпирической социологии начал энергично доказывать, что это психологизация и противоречит марксизму в смысле определяющей роли социально-экономических отношений. Поначалу я отвечал тоже в журналах, а потом перестал, решив, что такая полемика, с одной стороны, чревата оргвыводами, а с другой – не умерит его пыл. Василий, как я позже понял, был убежденным в своей позиции. Он предложил версию социологической эмпирики, которая опирается на государственную статистику и фактуальные вопросы в массовых обследованиях. Ленин в «Анжете для рабочих» такие вопросы и задавал («Какова продолжительность Вашего рабочего дня?» и т.п.).

Был конфликт публичного, но иного свойства, уже в начале перестройки. На общесоюзной конференции ССА, по-моему, в 1986 году Татьяну Заславскую единодушно избрали Президентом. Вскоре за этим созывается отчетно-выборное собрание Ленинградского отделения ССА, председателем которого был Парыгин. Заславская прибывает «Стрелой», чтобы договориться с обкомом об избрании Ядова. Поскольку время 8.30 утра, а уезжает она в тот же день, я везу Татьяну домой, не в гостиницу. Дальше – сюжет для небольшого рассказа.

В 10.00 Т.И. звонит второму секретарю обкома, то есть по пропаганде. Занимала его лихая женщина, естественно, продвинутая из обкома ВЛКСМ. Эта должность в СССР традиционно была «женской», в других республиках ее занимал русский – этническая корректность на советский манер. Помощник секретаря отвечает, что хозяйка кабинета на совещании. В течение трех часов ответ тот же. В полдень Татьяна звонит заведующему отделом пропаганды (для собрания, между про-

чим, обком предоставил большой зал в Доме политпросвета напротив Смольного), тот отвечает, что вопрос не его уровня, говорите с секретарем. К двум часам мы едем в Смольный без договоренности о приеме. Идем к заведующему отделом, и Т.И. в моем присутствии излагает суть своей «миссии». В конце концов нам говорят, что обком в дела ассоциации не вмешивается: все должно решить собрание. Время-то малоопытное, прямых инструкций сверху, видимо, не получили.

Переходим Смольную площадь, зал набит до предела. Человек триста. Обком представлен маленьким клерком, который усердно делает пометки в блокноте для доклада начальству. В президиуме Боря Парыгин и члены бюро. Василий Ельмеев «со дружиной» расселись кучно. Отчет слушают без особого внимания, ждут второго действия спектакля – выборов руководства. Кто и что говорил – опускаю. Я, само собой, не молчал. В какой-то момент, когда настроение собрания определилось, Вася и его команда демонстративно покидают зал. Избрали «шестидесятников».

Василий приложил немало усилий для создания социологического факультета в ЛГУ. В плюсах-минусах оценки его роли в нашей питерской социологии плюсы, я считаю, преобладают. Я глубоко уважаю его преданность своим взглядам, хотя решительно их не разделяю. Он определенно личность, действует по убеждению, не марионетка. Мы сегодня обращаемся на «ты» как товарищи, хотя остаемся при своих предпочтениях, у нас, как принято, в постмодернистском лексиконе – дискурс: каждый отстаивает свой взгляд, но уважает позицию оппонента. Недавно Василий звонил с просьбой поддержать его диссертантку. Я сделал все, что мог, хотя Совет голосовал против.

В России, Боря, личностные взаимоотношения – это святое. По ассоциации скажу, что нередко ко мне, как декану обращаются коллеги, мол, к вам поступает такая-то, моя родственница. Я говорю, что, как максимум обещаю не заваливать на приемных экзаменах.

О профессиональном сообществе в целом мы поговорили, тему поколений затронули, может теперь о твоей семье? Ведь в социологии есть династия Ядовых.

Да, это так. Коля [52] защищал работу в рамках диспозиционной концепции. Опрашивал полярников и для контроля – тех же специалистов, что работали в Институте Арктики и Антарктики в Ленинграде, не имея опыта экспедиции (непростой доступ к зимовщикам организовал мой школьный одноклассник Олег Седов, ставший полярником). Проблема – насколько реальные условия влияют на диспозиции личности. Изменяются

они под влиянием ценностных ориентаций или поведенческих аттитюдов, то есть сверху или снизу. Он тянул с работой очень долго, не хотел прикрываться фамилией и делал все крайне тщательно. Защита на психфаке прошла великолепно. Чтобы прокормить семью (теперь две дочки и сын), занялся неакадемической деятельностью, пошел работать к тебе в Северо-западный филиал ВЦИОМ. Сегодня это российско-финская фирма «Той-Опинион». Но радуется, что Коля остается верен академической науке. Повторное исследование «Человек и его работа» его команда сделала за гроши, какие у нас были по гранту. Просто я сказал – денег у нас столько-то, больше нет. И они выложились по-полному. Одна из интервьюеров пишет: «на заводе альтернативный профсоюз изгнан, судится с администрацией, меня дирекция не допустила в цеха, пришлось ловить респондентов возле пивного ларька у проходной». Чувствуешь марку? Коля – наша с Люкой гордость. Например, такой факт. Он шеф российско-финского предприятия, а зарплату делит по справедливости, ничего себе не отстегивает. Звонит и спрашивает – папа, не можешь подкинуть? Отлично понимаю, что его семья могла бы жить как околноворусская, но у него есть нравственные пределы.

Старшая внучка Катя, которая одарила правнуком Димой, работает над кандидатской и успешно преподает в «Вышке» (Высшей школе экономики). Студенты говорят, что здорово. Мне – приятно.

Младшая Соня сейчас на третьем курсе социологического факультета в питерском университете. Недавно была включена в группу студентов, приглашенных в США на недельный визит в их университет. Я пару лет назад взял ее в Канаду (конечно, не за счет канадцев) на рабочее совещание по проекту трудотношений и, представь, Сонька там что-то говорила, вовсе не стыдное.

Люка стала основателем отечественной социопедагогике. Мы жили уже в Москве, когда мой школьный друг Слава Никаноров (крупный ученый физик, завлаб, а прежде зам. директора физтеха Алферова) позвонил и спросил, приеду ли я на защиту ее докторской. Я, поверь, не знал, что она пишет диссертацию. Тот же синдром, не прикрываться фамилией, хотя в нашей семье, начиная от родителей, жены сохраняли свою девичью.

И еще Майя Ядова, двоюродная внучка, о существовании которой я не знал. Она москвичка, окончила по журналистике и поступила в аспирантуру на наш факультет.

Звительный Валентин Гафт сочинил: «Россия, слышишь этот зуд? Три Михалкова по тебе ползут». Можно сказать: пятеро Ядовых ползут.

Итак, ты ответил на один из ключевых вопросов, задаваемых при изучении отношения к работе: «Посоветовали бы Вы Вашим детям выбрать Вашу профессию?» Может быть теперь ты вспомнишь про необычную историю твоей фамилии?

Насчет происхождения фамилии много версий, но ни одной надежной. Крайне редкая. Однажды я сказал коллегам, что в Ленинграде нет ни одного из Ядовых, кто не был бы моим родственником. Один из присутствовавших имел доступ к архивам городского паспортного стола. Он предложил пари на бутылку коньяка, что найдет не известных мне Ядовых. Принес штук шесть адресов, все почему-то из Красного села. Звоню тамошнему Ядову и спрашиваю, не из Тамбовщины ли его предки. А он сообщает, что его и других родственников прародители из Непала! Оказывается, в Индии и Непале Ядав – все равно как у нас Петров. Фамилию переиначили на русский манер. Есть семейная легенда, будто один из предков был управляющим у помещика в селе Ракша. Детей его прозвали ядовскими, это перешло в фамилию, когда после отмены крепостного права крестьянам стали давать собственную фамилию вместо клички по помещику. В позапрошлом году ездил к родственникам в Ракшу, откуда отец родом. Крупное село под Моршанском. До революции там были улицы Большая и Малая Ядовские. Спрашивали селян о Ядовых. Оказалось немало, но ни одного из кровных родственников. Село бедствует отчаянно, работы нет, люди живут своим участком, устраиваются в Моршанске.

Наконец, самое простое объяснение: фамилия от старорусского «яда» – еда.

Взгляд в целом: на жизнь и науку

Да, твое поколение сильное, оно многое видело и переживало...

Нам очень повезло. Столько исторических событий за 70 лет! Голод на Украине связан у меня с няней Грушей, которую папа подобрал возле булочной, где она нищенствовала. Ей было лет 16, расписывалась крестиком. Так и оставалась безграмотной, хотя у домработниц был свой профсоюз – домком, и ее пытались заставить учиться не только родители, но и профсоюзники.

В блокаду, когда маму с сестрой вывезли по Ладоге, она оставалась в городе и выжила. Груня была членом семьи, жила в выгороженном из коридора нашей коммуналки закутке. После войны получила комнату этажом выше. С ее комнатой связано интересное событие. Позвонил из Москвы Рой Медведев [53]

(мы дружны со студенчества) и попросил устроить на проживание одного выпущенного из лагеря, а кого – не сказал. В Грунину комнату и поселили. Она говорила, что человек странный: никуда не выходит, сидит за пишущей машинкой, питается хлебом и молоком, что она приносит. Уже теперь Рой сказал, что это был Солженицын [54]. Я его тогда не видел, он просил через Грушу не беспокоить.

Врезались в память похороны Кирова. Отец нес меня на плечах, когда шел в Таврический дворец, где стоял гроб. Жили мы рядом с Таврическим садом и в окно видели похоронную процессию во главе со Сталиным, разглядеть которого не могли, конечно. С Кировым оказался связан мой тестя. Он работал его помощником, и после смертельного выстрела несколько минут стоял с пистолетом возле потерявшего сознание Николаева [55], убийцы Сергея Мироновича. Тестя уволили из Смольного с великолепно бюрократической записью в трудовой книжке: «в связи с убийством С.М. Кирова». Но иных следствий не было. Портрет Кирова с автографом остается там, где его поместил тестя, в Колиной квартире.

Начало войны застало нас на даче. Дача была в Юкках, близко от города. Отец с утра пошел на озеро, а я – около 12 дня. Иду по селу, а там люди слушают уличный репродуктор, выступает Молотов. Бегу на озеро, где отец устроился на песке, коричневый от загара. Он вскочил и на весь пляж закричал: товарищи, война! Немедля уехал в город в белых штанах и белых парусиновых тапочках, что аккуратно освежал зубным порошком. Он был старшим лейтенантом запаса, связистом. Вернулся через четыре года. Жив остался потому, что почти всю войну служил начштаба особого батальона связи на финском фронте, где боев практически не было. Воевал уже в Пруссии и Харбине. В качестве трофея привез средневолновый приемник, который немцы называли «геббельсом», потому что он ловил только германские станции. Мы и сейчас в шутку так называем приемники. Однажды одна из внучек (примерно пяти лет тогда) заявляет: дедушка, а я знаю, кто поет. Это жена Геббельса.

К июню 1941-го я окончил четвертый класс. Немцы начали бомбить, но почему-то не фугасными, а зажигалками. Это термитные бомбочки, которые сбрасывались десятками. Мальчишки дежурили на крышах своих домов со здоровеными ухватами. Бомбу надо было сбросить вниз во двор. Мне не повезло. Счастливчики получили медаль «За оборону Ленинграда».

В конце июля школу эвакуировали в сторону Луги, то есть именно туда, где немцы прорвались к городу. Нас сажают в ав-

тобусы, едем на железнодорожную станцию. Вдруг немецкий патруль – десантники. Ребята орут: «Фашисты, убийцы!» Мы только что узнали о Зое Космодемьянской [56]. Учительница приказывает ложиться, а мы из окон кричим. Немецкие солдаты пропускают автобус и дальше видим наши разбитые танки по обеим сторонам дороги, а на станции все горит. Все же погрузились в эшелон, и я попал в интернат возле Вологды. Сестра отца, тетя Клава, нашла меня там и вывезла в Ярославскую область, где работала в детском интернате (сколько гробиков захоронили на сельском кладбище в Контеево!). Зимой 1942-го бредем по снегу на станцию встречать эвакуированных ленинградцев. Я ожидал свою объемистую маму и тощую сестренку, а из теплушки высадились сухая старушка и вполне нормальная девчонка. Мама до конца жизни не выбрасывала картофельную шелуху, варила ее для себя и говорила, что это самое вкусное в картофеле.

О немцах еще два «мемуара». Военнопленных использовали как строителей, но некоторые работали расконвоированными водопроводчиками и электриками. Однажды мы с Люкой, десятиклассники, возвращаемся из-за города в электричке, и напротив сидит молодой немец. Люка неплохо говорила по-немецки. Этот военнопленный раскрывает узел и высыпает нам всю (именно всю) землянику, что собрал. Вспомнил, наверное, своих детей.

Другое воспоминание относится к моей учебе в авиационной школе в 1944-м. Курсанты получали изрядный хлебный паек, так что я чувствовал себя кормильцем семьи. Лётная школа размещалась на Московском проспекте, дом 100. Видим из окна колонну пленных, им устроили привал, сидят на мостовой. Нам в этот день выдали по буханке черного хлеба. Выбежали на улицу раздавать хлеб немецким доходягам. Конвойные кричат – не давайте всю буханку одному, ломайте. И, правда, кому досталось, прячет за пазуху. Тогда мы сочли это чисто немецким, а теперь вспоминаю картину и думаю: так ли? Иоланта Кульпинска, польская коллега, прошедшая Майданек, подарила свою книгу «Социология концлагеря» (название точно не помню). Общий смысл в том, что у большинства социальное уступает место животному-инстинктивному. Или же надо принять во внимание социальную ситуацию, по Томасу [57] и Знанецкому [58], которые ввели это понятие в социологию?

Перестройка – еще одно «судьбоносное» событие, как любил говорить Горбачев. В Ленинграде тележурналисты Максимовы [59] предложили организовать ежемесячную передачу «Общественное мнение», о чем я говорил в связи с Левадой. В студии приглашенные в программу и их «команды» спорили на какую-нибудь перестроечную тему, например обсуждали

проект Закона о кооперативах, о порядке выборов на Всесоюзный съезд народных депутатов (нужны ли выборы по «куриям» от компартии, профсоюзов, Академии наук и проч.). В двух точках города установлены экраны, и в студию транслируют мнения собравшихся. Социологи во главе с Кесельманом подсчитывают голоса тех, кто звонит по телефонам студии «за» – «против». Это делается несколько раз. Я комментирую распределения голосов. Программа пользовалась невероятным успехом, люди сидели у телеэкранов почти как тогда, когда шли серии «Семнадцать мгновений». Ядов стал своего рода звездой ТВ. Однажды опаздывал на передачу и не мог поймать такси. Останавливается (я не поднимал руку) парень на мотоцикле и предлагает подбросить. С ним и примчались к телецентру. Программа Максимовых была пионерной, теперь интерактивный формат привычен. Они хвастаются, что американцы ее копировали и приглашали для этого к себе.

Путч Янаева [60] и других «героев», как многие их именуют нынче, застал нас на эстонском хуторе. Люка отговаривает ехать в Москву, говорит, что эта революция уже «не наша». Пусть едет Коля. Я звоню в институт, чтобы использовали типографию для размножения листовок. Тем временем к Таллину подходит танковая колонна из Ленинграда. Прибежал сосед Энн Вахемаа и предлагает спрятать нас у него на чердаке. Говорит: «Чердак большой, лес рядом». Танки командующий Ленокругом повернул назад, народ бросал цветы танкистам. Коля в Питере дежурил в толпе на площади Декабристов и уехал назад после того, как Собчак [61] с балкона Ленсовета объявил об аресте путчистов.

Нынешние суждения о путчистах представляются мне кощунственными. Вижу на телеэкране эстонского ТВ танки. Если бы они одолели, мы имели бы войну с тремя балтийскими государствами, страшнее Чечни, и не исключено – с введением миротворцев ЕС. Узники Бутырки не должны сидеть в Думе.

В общем, жизнь моего поколения перенасыщена историей отечества. Не говорю уж о том, что не мог себе вообразить, что доживу до нового тысячелетия. Я пережил не только Люку, но по возрасту и обоих родителей. Поэтому вполне справедливой полагаю встречу с ними в загробном царстве, в каковое, увы, не верю. Да и тоскливо должно быть современному человеку в раю: созерцать Господа и наслаждаться красотами Эдема. Это рабы мечтали об освобождении от непосильного труда. Игорь Кон сказал однажды: почему бы не изучать образ смерти, не только образ жизни? Он прав. Образ смерти столь же важен для понимания культуры и человека, как и образ жизни.

В самом начале нашей беседы ты сказал: «Надо, по возможности, влиять на движение социальных планет». Как это можно сделать?

Надо выступать в массовой печати и на ТВ с оценками нынешней российской ситуации. Пока еще выступать перед широкой аудиторией можно. Ситуация не из лучших. Фонд ИНДЕМ Юрия Сатарова [62] представил в апреле этого года итоги экспертного опроса относительно возможных сценариев будущего России до 2008 г. – президентских выборов.

Первый сценарий – «Вялая Россия»: инерционное движение в сторону неустойчивости режима, конфликты в элитах, усиление дезинтеграции. Второй – «Диктатура развития»: сильная власть ради модернизации, борьба с коррупцией. Третий – «Охранная диктатура»: ужесточение режима. И четвертый – «Новая русская революция», но не в сторону демократии, а в сторону державного национализма.

Владимир Путин в последнем Президентском послании сформулировал цели, укладываемые во второй сценарий. Но думаю, что не исключен и первый. Партия Единая Россия объявила фракции – левую и правую. Всем понятен замысел. Он предполагает контроль над обеими. Но у нас бывает и так, что регулируемые вдруг становятся саморегулируемыми, в данном случае могут почувствовать силу и действовать, не спросив старшего. Вероятность общегражданской демократической мобилизации оценивается сегодня крайне низко. Так что формула А. Ахизера [63] – Россия – исторически «расколотое общество» вполне актуальна. Начиная с церковного раскола при Петре, прозападники воюют с русскими фундаментами. В отличие от китайцев, мы по характеру своему не склонны искать «золотую середину». Плюс «азиатский способ производства», наши институциональные матрицы. Из четырех сценариев ИНДЕМа нет ни одного, который бы не укладывался в отечественную матрицу.

Еще одно соображение. Попробуй играть в «Если бы директором был я», то есть президентом. Давить ОМОНОм стариков и старух нельзя. Идти на уступки означает дать сигнал: жми, получится. Триста, не тысячи, сотрудников РАН вышли на демонстрацию протеста в июне. Председатель Думы тут же объявил, что создает комиссию из ученых и депутатов и решение о реформах РАН не будет принято без ее одобрения.

Что мы как единомышленники можем сейчас предпринять? Надо активно выступать с профессиональными аргументами в пользу социал-демократического будущего страны. Общество нуждается в общенациональной солидаризирующей идеологии. Она не может быть придумана и внедрена сверху: такая

идеология «произрастает сама по себе» из доминирующих общественных настроений, из массовой психологии. Г.В. Плеханов спорил с В.И. Лениным, доказывая, что идеология кристаллизуется из массовой психологии. Ленин же призывал партийную интеллигенцию вносить научную пролетарскую идеологию в сознание рабочих. Внесенная таким путем идеология как-то быстро утратила доверие. Для этого потребовалось лишь нескольких лет постсоветских реформ. Два года тому назад я писал: «Если России предстоит обрести свое достойное место в мировом сообществе, оставаясь собою, то историко-культурные традиции, включая семидесятилетие советской власти, не дают нам иной идеологической альтернативы, помимо концепции (идеи) справедливого общества». Борьба с коррупцией, независимые суды, справедливые ставки налогов по прогрессивной системе и многое другое – это и есть то, чего люди требуют. Президент в послании народу 2005 года говорил о политике социальной справедливости. В. Путин произнес фразы, желательные гражданам, намерен ли он следовать этому курсу, остается под вопросом.

В каком смысле социологи могут содействовать такому сценарию российского будущего? Например, у нас в запасе аргументы от Парсонса [64]. Он видел преодоление аномии в становлении генерализированных ценностей. Generalized values – это ценности, принятые большинством и, главное, – удерживающие ядро прежних. Справедливость – исторически русская, христианская, советская и, наконец, общечеловеческая ценность. Наш профессиональный и гражданский долг – исследовать реальные возможности утверждения справедливости путем использования соответствующих экономических и социальных механизмов. Экономисты, вроде Примакова [65], Львова, давно говорят об этой проблеме. Власти пока не слышат (Примаков продержался в премьерах несколько месяцев). Если социологи «подсобят», может, что-то и сдвинется?

В последние годы я всячески пропагандирую работу Антони Гидденса «Третий путь» [66]. Третий он называет его потому, что ни социализм, ни либерализм не считает адекватным нынешним реалиям. Государственные институты не способны эффективно осуществлять социальную политику. Слишком велико этнокультурное разнообразие, мозаика социально-статусных групп и прочее (это в Англии, что говорить о России!). Он предлагает перенести центр тяжести в социальной политике на community – местные соседские сообщества и выделить в бюджете государства нужные средства напрямую в их адрес. Тони Блэр в предисловии к книге написал, что ее должен прочитать

«каждый сознательный лейборист», а Секретарь ЕС (его высказывание помещено на рекламной обложке) откликнулся так, что, мол, теперь мы знаем, в каком направлении развиваться политику Евросоюза. Европа ориентируется на возрождение своего рода «общинных ячеек в миросистеме по месту проживания», но для нас это традиционно, стоит лишь дать импульс.

Надо сказать, что по части стремления влиять на ситуацию в пользу оптимального, как мы думаем, сценария примером служит Юрий Левада. В апреле он выступил на конференции в память Леонида Гордона [67] и, обращаясь к коллегам, призвал (именно призвал) не стоять в стороне, но объединиться для солидарных гражданских действий социологического сообщества.

Николай Лапин [68] – другой пример. Он сейчас предпринимает массу усилий для осуществления исследовательского проекта «Региональная карта России». Исходит из того, что страна анклавизирована и фактически состоит из множества особых обществ, так что унитарная программа трансформаций должна корректироваться по регионам. Питерские коллеги, надо сказать, вполне на высоте в смысле гражданской активности. Так что можешь включить в проект коллективное интервью с твоими друзьями по части возможностей социологов влиять на события. Тем паче, что в Питере события сейчас развиваются стремительно. Ближайшие годы предоставят социологам немало «эмпирии» для осмысления и обсуждения с обществом вечного российского вопроса «Что делать?»

Примечания

1. Александров Александр Данилович (1912–1999).
2. Асеев Юрий Алексеевич (1928–1995).
3. Иванов Владимир Георгиевич (р.1922, Санкт-Петербург).
4. Козлова Мария Семеновна (р. 1933), Москва.
5. Козлов Борис Игоревич (1931-2010).
6. Львов Дмитрий Семенович (р. 1930), Москва.
7. Кудрявцев Владимир Николаевич (р. 1923), Москва.
8. Бобков Филипп Денисович (р. 1925), Москва.
9. Новодворская Валерия Ильинична (р. 1950), Москва.
10. Иванов Вилен Николаевич (р. 1934), Москва.
11. Заславская Татьяна Ивановна (р.1927), Москва.
12. Осипов Геннадий Васильевич (р. 1929), Москва.
13. Руткевич Михаил Николаевич (1917-2009).
14. Сигов Ивглаф Иванович (1925-2010).
15. Черкасов Гелий Николаевич (1928 –1988).
16. Шкаратан Овсей Ирмович (р. 1931), Москва.
17. Парыгин Борис Дмитриевич (р. 1930), Санкт-Петербург.
18. Фирсов Борис Максимович (р.1929), Санкт-Петербург.

19. Алексеев Андрей Николаевич (р. 1934), Санкт-Петербург.
20. Кон Игорь Семенович (1928-2010).
21. Алферов Жорес Иванович (р. 1930), Санкт-Петербург.
22. Старовойтова Галина Васильевна (1946–1998).
23. Лосенков Владимир Авксентьевич (1947–середина 1990-х).
24. Кесельман Леонид Евсеевич (р. 1944), Германия.
25. Чубайс Анатолий Борисович (р. 1955), Москва.
26. Лапин Николай Иванович (р. 1931), Москва.
27. Костюшев Владимир Владимирович (р. 1955), Санкт-Петербург.
28. Саганенко Галина Иосифовна (р. 1940), Санкт-Петербург.
29. Свенцицкий Анатолий Леонидович (р. 1936), Санкт-Петербург.
30. Мертон, Роберт (Robert Merton, 1910–2003).
31. Лесохина Людмила Николаевна (1928–1992) – жена В.А. Ядова.
32. Хильде Химмельвейт (Hilde Himmelweit, 1918–1989).
33. Андреева Галина Михайловна (р. 1925), Москва.
34. Левада Юрий Александрович (1930-2006).
35. Капица Петр Леонидович (1894-1984).
36. Харчев Анатолий Георгиевич (1921–1987).
37. Возрикова Лилия Викторовна (р. 1941), Санкт-Петербург.
38. Протасенко Татьяна Захаровна (р. 1946), Санкт-Петербург.
39. Докторова Людмила Дмитриевна (р. 1941), с 1994 года живет в США.
40. Божков Олег Борисович (р. 1941), Санкт-Петербург.
41. Водзинская Вера Васильевна (1928-19..).
42. Магун Владимир Самуилович (р. 1947), Москва.
43. Голофаст Валерий Борисович (1941-2004).
44. Шапиро Владимир Давыдович (р. 1937), Москва.
45. Косолапов Михаил Самуилович (р. 1944), Москва.
46. Шереги Франц Эдмундович (р. 1944), Москва.
47. Гофман Александр Бенционович (р. 1945), Москва.
48. Галкин Александр Абрамович (р. 1922), Москва.
49. Милгрэм Стенли (Stanley Milgram, 1933–1984).
50. Кон Мелвин (Melvin Kohn, 1928), Балтимор, США.
51. Ельмеев Василий Яковлевич (1928-2010).
52. Ядов Николай Владимирович (р. 1957), Санкт-Петербург.
53. Медведев Рой Александрович (р. 1925), Москва.
54. Солженицын Александр Исаевич (1918-2008).
55. Николаев Леонид Васильевич (1904–1934).
56. Космодемьянская Зоя Анатольевна (1923–1941).
57. Томас Уильям (William Thomas, 1863–1947).
58. Знанецкий Флориан (Florian Znaniecki, 1882–1958).
59. Тамара Вениаминовна Максимова и Максимов Владимир Евсеевич.
60. Янаев Геннадий Иванович (р. 1937), Москва.
61. Собчак Анатолий Александрович (1937–2000).
62. Сатаров Георгий Александрович (р. 1947), Москва.
63. Ахиезер Александр Самойлович (р. 1929), Москва.
64. Парсонс, Толкотт (Talcott Parsons, 1902–1979).
65. Примаков Евгений Максимович (р. 1929), Москва.
66. Giddens A. The Third Way. The Renewal of Social Democracy. Malden, Mass.: Polity Press. 1999.
68. Гордон Леонид Абрамович (1930–2003).
69. Лапин Николай Иванович (р. 1931), Москва.



Ельмеев В. Я. (1928 - 2010) – окончил философский факультет ЛГУ, доктор философских и экономических наук. Основные области исследования: социальное управление, социальное планирование, прикладная социология. Интервью состоялось в 2007 году.

В 1998 году в «Журнале социологии и социальной антропологии» (Том 1, №4) было опубликовано интервью В.В.Козловского с профессором В.Я. Ельмеевым, в котором он рассказал об основных этапах и результатах своей научной и преподавательской деятельности. Настоящий материал – итог моей электронной переписки с Василием Яковлевичем. В ней получили развитие темы, обозначенные в первом интервью, и обсуждено несколько новых вопросов.

**В.Я. Ельмеев:
«Я БЫЛ
И ОСТАЛСЯ
СТОРОННИКОМ
МАТЕРИАЛИЗМА
В СОЦИОЛОГИИ»***

Василий Яковлевич, о годах Вашей юности, о студенческом периоде, о том, как Вы начинали заниматься наукой, и о некоторых итогах Ваших изысканий и педагогической деятельности Вы рассказали в интервью профессору Владимиру Козловскому. Будем учитывать это обстоятельство и попытаемся сосредоточиться лишь на тех вопросах, которые, как мне кажется, требуют более глубокого обсуждения.

Итак, в интервью профессору В. Козловскому Вы сказали: «Шла борьба против марксистской, материалистической социологии, за внедрение Западной социологии, сначала позитивистской, а затем – феноменологической». Кого Вы имеете в виду? Здравомыслов, Лапин, Ядов... всегда были марксистами, скорее, они развивали марксизм, учитывая в своих построениях достижения Западных социологов, чем выступали против марксизма. Не так ли?

* Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Том X. № 2.

Я имел в виду прежде всего однокурсницу по философскому факультету Р.В. Рывкину (Р. Бунимович), ее откровение «Карл Маркс был не прав – первично не бытие, а сознание» (Рывкина Р.В. Между социализмом и рынком: судьба экономической культуры в России. М., 1994.С. 34). Автор даже не смог правильно указать источник критикуемой цитаты. Что же касается названных Вами авторов, то я в то время отмечал лишь их некоторые отступления от марксизма в сторону позитивизма по ряду конкретных вопросов. Например, эмпирический редукционизм в исследовании отношения к труду.

Но стоит ли, имея в виду выступление профессора Рывкиной, если оно было одно, говорить о «борьбе...»? Ведь марксизм был не только идеологией, но и концепцией, разделявшей подавляющим числом ведущих социологов страны.

Да, когда-то марксизм разделялся большинством социологов страны. Но после установления капиталистического режима большинство, особенно прорабов перестройки, отказалось от социализма и, следовательно, от марксизма как учения и идеологии, или, как они выражаются, от «догматов марксизма-ленинизма». К Р.В. Рывкиной можно добавить Т.И. Ойзермана, прежде выдававшего себя сверхпреданным марксистом. Он стал доказывать несовместимость исторического материализма и коммунистической идеологии марксизма. Д.П.Горский принялся опровергать теорию прибавочной стоимости К.Маркса. Некоторые из социологов-шестидесятников, увидев «плоды» защищаемого ими капитализма, стали ярдиться в неомарксистские одежды, ибо исключить марксизм из социологии не удастся, опровергнуть не могут, признать антинаучным трудновато. Для тех, кому кроме капитализма «иного не дано», неприятие социализма означает и отказ от марксизма. Достаточно поставить вопрос – за капитализм или за социализм – и все окажутся на своих местах.

Не могли бы Вы чуть подробнее остановиться на методической стороне Вашего исследования, составившего основу Вашей кандидатской работы? Это был опрос, наблюдение...? Вы отмечаете, что это исследование вывело Вас на проблему превращения науки в непосредственную производительную силу, а каковы были выводы методического плана?

В своем первом социологическом исследовании (кандидатская диссертация) я, в основном, основывался на изучении документов – договоров о творческом содружестве между работниками Ленинградских производственных объединений и научно-исследовательских учреждений (высших учебных за-

ведений). Пользовался методом включенного наблюдения: вел семинары по философии с изобретателями и рационализаторами Кировского завода, изучал их биографии и написанные ими работы о своей рационализаторской деятельности, беседовал с руководством соответствующих предприятий, в том числе с ректором Ленинградского университета академиком А.Д. Александровым, который ознакомился с содержанием моей диссертации, моими оценками участия ученых университета в творческом содружестве с производством. В последние годы мы вместе работали в Президиуме городского отделения общества «Российские ученые социалистической ориентации».

За Вашим поколением в целом закреплено коллективное имя – «шестидесятники». Складывается такое впечатление, что себя Вы не относите к этой плеяде или я ошибаюсь? Вы пишете, что обязаны тому философскому факультету, который существовал до прихода «шестидесятников». Но значение Ананьева, Мясичева, Рожина, Тугаринова оценивают очень высоко и шестидесятники – Здравомыслов, Кон, Ядов.

Перефразируя известное высказывание В.И. Ленина, скажу, что в каждом поколении существуют два поколения. Это относится к «шестидесятникам». Я не тот из них, кто приветствовал горбачевский «рыночный социализм», который превратился в «рыночный капитализм», плачевные последствия которого испытывает ныне большинство «приватизированного» населения. Угрызения совести меня не мучают, не был среди тех, для которых «Иного не дано» (известный сборник других шестидесятников).

Чем объяснить то, что, будучи ровесниками и пройдя обучение у одних и тех же профессоров, Вы, с одной стороны, и Ядов и Здравомыслов, с другой, имели заметно различающиеся точки зрения на социологию как науку? По сути дела, у вас были разные идеологии этой науки.

Нас расколол XX съезд партии, деятельность Н.С. Хрущева. В университете в тот период шло размежевание между поколением фронтовиков, не принявших хрущевские реформы, и поколением, не участвовавшим в войне. Не угодил Хрущеву и наш ректор – А.Д. Александров, который вынужден был оставить университет. Я со студенческих лет был в окружении фронтовиков и встал на их сторону. Мы примыкали к разным учителям. Я, например, общался и слушал лекции и напутствия М.В. Серебрякова – профессионального революционера, организатора марксистского кружка в университете в первые годы после революции, но не могу считать себя учеником В.П. Рожина.

Нельзя ли в современных понятиях, все же язык социологии заметно изменился с 60-х годов, сформулировать отличие Ваших взглядов на социологию от тех, что высказывались Вашими оппонентами?

Я был и остался сторонником материализма в социологии. В этом отношении придерживаюсь монистического взгляда на историю общества. Плюрализм считаю умноженным дуализмом. История не знает сослагательного наклонения, первый применим к выбору будущего.

Вы были первым директором НИИКСИ и, скорее всего, обсуждали многие вопросы с Борисом Герасимовичем Ананьевым. Вы не помните его воззрения на социологию?

Б.Г. Ананьев выдвинул концепцию комплексного (целостного) изучения человека как субъекта труда, общения и познания. Для ее разработки он предложил создать в университете Научно-исследовательский институт комплексных социальных исследований. Он полагал, что для объединения различных наук в комплексном изучении человека нужна единая методологическая основа – общая теория связей и зависимостей, отражающая явления общественного развития и развития человека. Такой единой методологией для естествознания и обществоведения того времени он считал диалектический материализм, благодаря которому можно было обеспечить комплексный подход к исследованию человека.

Решающее значение он придавал изучению человека как субъекта труда (См. подготовленный для VI Всемирного социологического конгресса доклад «Методологические основы комплексного исследования человека», опубликованный в книге «Социология и идеология» (М., 1969.С. 221–235).

К сожалению, я не знаю содержания Вашей книги о социологическом методе. В чем суть Вашего видения социологического метода? В чем отличие Вашего подхода от того, который в течение многих лет отстаивали Г. Андреева, Грушин, Здравомыслов, Левада, Осипов, Ядов и другие?

Мое видение социологического метода противоположно методу субъективной социологии, пригодной для изучения мнения людей посредством всякого рода опросов. К представителям субъективного метода в социологии я бы не стал относить Г.В. Осипова.

Каков сегодня Ваш взгляд на эмпирические методы социологии, в частности – на опросы? Ведь за последние 30–40 лет в этой технологии произошли колоссальные изменения, и результаты исследований, базирующихся на опросах, стали составной частью

макросоциологических построений, исследований историков, политологов, культурологов, экономистов.

Опросы как инструмент социологии ныне стали преобладающим методом эмпирической социологии. К изучению фактов реальной действительности, к деятельности предприятий, фирм уже не допускают под предлогом коммерческой тайны или по другим причинам. Теперь уже не узнать, сколько и как получают доходы работники предприятий, тем более размеров прибыли, процента. Можно еще пользоваться данными статистики и извлекать из них кое-какие сведения. В этом отношении советую нашим социологам взять пример с С.М. Меншикова, написавшего книгу «Анатомия российского капитализма» (М., 2004).

Вы – один из создателей концепции, методологии и технологии социального планирования. Что было стартовым импульсом к ее созданию: заказ власти или собственно научная идея? С самого начала социальное планирование замышлялось как макросоциальная инициатива (улучшение модели социализма), как философия социального управления или как технологическое дополнение к плановой системе отношений, в начале 70-х почувствовавшей (осознавшей?) свою слабость?

Идея социального планирования была предложена нами – сотрудниками первого в стране научно-исследовательского института комплексных социальных исследований – мною, В.Р. Полозовым, Б.Р. Рященко. Она первоначально возникла из исследований механизма образования и реализации растущих фондов общественного потребления на предприятиях, особенно в крупных производственных объединениях, в частности, в объединении «Светлана», «Металлический завод» и др. Образование значительных объемов этих фондов превращало трудовые коллективы в серьезные социальные институты, обеспечивающие своих работников бесплатным отдыхом в санаториях, домами культуры, медицинскими учреждениями, стадионами, вплоть до оплаты жилья. Это было серьезным вкладом нового партийного руководства страны в изменение направленности экономической реформы 1965 г. Теперь трудовые коллективы лишились этих фондов и потеряли свою роль органа самоуправления и социальной ячейки общества.

Довольно быстрая и успешная реализация данной научной идеи объясняется ее востребованностью практикой. Был не заказ, а спрос со стороны партийной власти: нас представители Ленинградского обкома партии спросили: какую новую идею может предложить новый институт для готовящегося XXIII съезда партии. Мы предложили идею социального планирования, которая после многократных бесед с секретаря-

ми и заведующими отделами обкома была включена в доклад (выступление) первого секретаря обкома В.С. Толстикова и получила одобрение съезда. Потом эта идея получила значение макросоциальной инициативы и в итоге привела к преобразованию содержания планирования – планы стали планами не только экономического, но и социального развития.

Социальным планированием занимались не только в Ленинграде, но и во многих городах, регионах СССР. В основании всех этих исследований лежали ленинградские разработки или все использовали различную методологию?

Дальнейшая разработка методологии и методик социального планирования была поручена НИИКСИ. Институт под эту тему получил научно-исследовательские ставки. Были разработаны методология и первые методики социального планирования. Многие социологи страны создавали свои методические пособия. Они, безусловно, различались как в методологическом, так и в методическом отношении. Большинство городов и регионов пользовались нашими разработками.

Исчерпала ли себя идея социального планирования к середине 80-х или у нее существовал потенциал развития? Востребуются ли сегодня идеи социального планирования регионами и/или крупными производственными структурами. Ведь социальное планирование, очевидно, не замыкалось на социалистическую действительность?

В начале 90-х годов государство отказалось от планирования своего экономического и социального развития как от атрибута социализма. Да и прекратилось само развитие – экономика и социальная сфера пошли вниз.

Думаю, что сама идея себя не исчерпала. Государству недавно пришлось заняться разработкой нескольких федеральных социальных программ. Субъекты федерации, например, Ленинградская область, и сегодня составляют пятилетние планы экономического и социального развития. Принята программа социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2005–2008 годы. Что касается отдельных предприятий, то о планировании социального развития трудовых коллективов вряд ли в скором времени пойдет речь.

Ряд лет Вы посвятили обоснованию логики прикладных исследований в общественных науках. Почему Вы противопоставляли прикладные социологические исследования «обычной» Западной эмпирической социологии? Ведь эта социология никогда не была настоящей анкетным опросам и в послевоенное время стала весьма многообразной, многомерной.

В науке принято делить исследования на теоретические (фундаментальные) и прикладные (разработки). Название «эмпирическая социология» считаю неудачным: учения об обществе на уровне ощущений, восприятий быть не может. При опросах тоже речь идет об изучении разумом фиксируемых мнений, тем более, общественного мнения. Задачи интервьюеров, наблюдателей за повседневной жизнью людей – дело, главным образом, представителей журналистики, которая так и не получила у нас места в системе наук, по которым присуждаются ученые степени.

Прикладная же социология предполагает наличие высокой теории, посредством приложения которой достигается решение практических задач, т.е. задач по управлению, планированию, проектированию социальных процессов.

Оказалась ли предложенная Вами концепция прикладной социологии востребованной в современных российских политологических и маркетинговых исследованиях, в деятельности консалтинговых фирм?

Большинство выпускников нашего факультета социологии находят себе работу на предприятиях, в фирмах, банках, заняты в основном в системе управления персоналом (раньше они назывались отделами труда и заработной платы). Спроса на проведение опросов по причинам сохранения коммерческой тайны почти нет. Этим ныне занимаются в основном в системе радио и телевидения (опросы по телефону) при проведении выборов. Кафедра прикладной и отраслевой социологии требует от студентов и аспирантов, пишущих дипломные проекты и диссертации, выполнения прикладной части, связанной с реализацией теоретических выводов соискателя в жизни, а не в опросных листах.

Вы вспоминали о лекциях по истории русской социологии Н.Н. Андреева в 1948–49 годах. Это мало известный факт. Могут ли те лекции (и подобные им программы) рассматриваться как мост между дореволюционной и постхрущевской социологией?

Если этот мост рассматривать как продолжение развития социологии после 1917 года и до 60-х годов, то ответ будет утвердительным. У Н.Н. Андреева в 1925 г. вышла в свет монография «К вопросу о понимании закономерностей в истории» (Л., 1925), у С.А. Оранского – книга «Основные вопросы марксистской социологии» (Л., 1929), у Е.А. Энгеля – «Очерки материалистической социологии» (Л., 1933). (В годы моей учебы эти книги можно было приобрести в букинистических магазинах города, они были завалены литературой довоенного пе-

риода.) Об этом можно прочитать в работах: Чагин Б.А. Очерк истории социологической мысли в СССР (1917–1969). Л., 1971; Клушин В.И. Исторический материализм в СССР в переходный период (1917–1936): историко-социологический очерк. М., 1986; Чагин Б.А., Федотов В.П. Итоги развития советской социологии за полвека// Философские науки. 1973. №1, 3; История становления советской социологической науки в 20–30-е гг./ Отв. редакторы З.Т. Голенкова, В.В. Витюк. М., 1989. К сожалению, некоторые представители «постхрущевской» социологии не видят или не хотят видеть развитие социологии в этот период. А.Г. Здравомыслов, например, репутат Н.Н. Андреева с Зайцевым (доцент в военной форме), утверждает, что читать лекции по истории русской социологии в то время «было бы невозможно» (Телескоп. 2007, №1. с. 16). В.Ядов также сомневается в возможности чтения подобных лекций. Им могу лишь посоветовать ознакомиться со статьей А.А. Галактионова об Андрееве (Вестник Ленинградского университета. 1991. сер. 6. вып. 3) и его статьей (в соавторстве) «Социология в Ленинградском университете. 1945–1985 гг.» (Вестник Санкт-Петербургского университета. 2001. сер. 6. вып. 1. с.64–78). Могу удивить сомневающимися и сослаться на суждения И.В. Сталина: в 1927 г. в письме к Зайцеву он признавал, что «законы развития капитализма в отличие от законов социологических, имеющих отношение ко всем фазам общественного развития, – могут и должны меняться» (Сталин И.В. Соч., т.9. с.165). Очевидно, что признать наличие социологических законов нельзя без признания науки о них, т.е. социологии.

Из моих бесед с социологами первой волны вытекает, что они, начиная свою работу, не знали советской социологии 20-х – 30-х годов. Можно ли в этом случае говорить о том, что социология 60-х – 80-х годов была восстановлением советской социологии? Две другие альтернативы: а) «разрыва» не было и б) в конце 50-х все начиналось, практически, с нуля. Какой точки зрения относительно генезиса социологии 60-х Вы придерживаетесь?

Я допускаю, что из перечисленных Вами социологов трех волн хрущевской закалки многие действительно не знали, или, вернее, не хотели знать историю советской социологии 20–30-х годов. Б.М. Фирсов, например, за историю советской социологии выдал историю подготовки антисоветской социологии, историю идеологической подготовки капитализма. Поэтому эту социологию никак нельзя считать восстановлением советской социологии, она заимствована с Запада. Не все, конечно, ее приняли. Остались и продолжатели западной социологии,

т.е. марксистской, но она теперь исключена из официальных учебных программ и стандартов по социологии, экономике, политологии.

У Г.С. Батыгина была статья с анализом преемственности российской социологической традиции. Может быть, обсуждая прошлое и настоящее российской социологии, справедливее говорить именно о трансформации российской социологической традиции, но не о непрерывности развития российской социологии как науки.

Название «российская социология» вместо «русской социологии» возникло после реставрации капитализма в стране. Я не согласен с тем, что русская и советская социология трансформировались в современную российскую социологию, создателями которой объявили себя «шестидесятники», что якобы с них началась постсоветская социология. Я придерживаюсь мнения специалиста по истории русской социологии А.А. Галактионова относительно того, что никакой современной российской постсоветской социологии, тем более «новорусской», не существует. Не выработали собственной парадигмы (вместо нее – что угодно, любая парадигма), нет у нее никаких национальных признаков, имеются лишь фрагменты либеральных концепций столетней давности с большой дозой более или менее близких по времени идей западных авторов, идет приспособление к социологическому глобализму, диктуемому США.

В вопросах преемственности следует исходить из наличия разных наследств. У советской социологии наследством служили взгляды русских революционных демократов (Герцен, Чернышевский и др.), труды марксистов, в том числе отечественных (Плеханов и др.), а ее продолжением является ныне существующая, но официально не признанная марксистская (материалистическая) социология.

Изучая биографии преподавателей, обучавших в начале 20-х годов Джорджа Гэллага, мне удалось показать существование коротких личностных цепочек, связывающих его не только с основателями американской психологии, но и с Гальтоном, Вундтом, Фехнером. Я назвал эти линии «траекториями преемственности». Какими видятся подобные траектории для Вас и тех, кто учился на философском факультете одновременно с Вами?

Такого рода траектории преемственности, видимо, есть у всех исследователей.

Вы называете теорию научного коммунизма социологией новой общественно-экономической формации, т.е. социализма. Означа-

ет ли это, что вся советская социология могла (должна быть) развиваться в рамках теории научного коммунизма? Не повлекло бы это, в частности, к еще большему разрыву советской социологии от тех направлений социологии, которые формировались в мире?

Социологией, отражающей жизнь социалистического общества в рамках марксизма, являются, как я полагаю, теория научного социализма (коммунизма) и материалистическое понимание истории. Обращение к мировой социологии осуществлялось посредством материалистического понимания общества, составляющего одно из направлений мировой (но еще не созданной) социологии в ее широком смысле. Существующая же ныне Западная социология – это отражение капиталистического общества.

Сегодня марксизм стал одной из ведущих парадигм мировой социологии, его границы и содержание трудно обозначить. Каково сегодня, на Ваш взгляд, положение марксизма в российской социологии? В чем Вы видите специфику российского марксизма?

Сегодня марксизм в России в институциональном отношении находится в худшем положении, чем где-либо в мире. Если в учебниках по истории западной социологии К. Маркс еще числится в классиках, то в официальной современной российской социологии нет ни Маркса, ни Энгельса, ни Ленина, не говоря уже о Сталине. Но теоретически марксизм не преодолен ни одной современной социологической теорией, что вселяет надежду не только на его сохранение, но и создает условия для его развития в диспутах.

Знакомы ли Вы с недавно выпущенной в Петербурге книгой Ядова «Современная теоретическая социология», в которой он, высоко оценивая марксизм, вместе с тем отмечает, что происходящие в стране процессы могут быть успешно рассмотрены лишь в рамках мультипарадигмальной социологии. Что Вы думаете по этому поводу?

С изданным недавно курсом лекций В.А. Ядова «Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций» (СПб., 2006.112с.) ознакомиться удалось. Я знал его позицию, согласен с Вами по поводу его высокой оценки марксизма как одной из парадигм в социологии, хотя в рекомендуемой в лекциях литературе нет ни одного произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Если же не придерживаться марксизма, то надо сделатья приверженцем или продолжателем другого учения, если нет разработанной собственной парадигмы и собственной социологической концепции. Теоретической социологической

парадигмы, которая бы превзошла марксизм, я пока не вижу или ее просто нет. Полагаю, что понять современный капитализм в России невозможно, если не опираться на «Капитал» К. Маркса. Плюрализм в этих вопросах считаю умноженным дуализмом, причем в наихудших его формах – зеноновской дихотомии или кантовских антиномий.

Как понимать Ваше замечание: «В условиях натиска феноменологического идеализма позитивизм представляется золотым веком социологии»?

Я имел в виду классический позитивизм, в котором можно найти достаточное количество научных положений. Я согласен с А. Сокалом и Ж. Брикмонтом, которые в своей книге «Интеллектуальные мошенники» к последним отнесли Ж. Делеза, М. Фуко, Ж. Бодрийара и других постмодернистов. В России ныне модным является не позитивизм, а идеалистическая феноменология в лице постмодерна.

Были ли у Вас трудности с публикацией результатов Ваших исследований? Если были, не могли бы Вы привести пример.

В нашем с Б.Р. Рященко архиве имеется около десятка неопубликованных социологических исследований коллективов крупнейших Ленинградских предприятий и ряда административных районов, выполненных под нашим руководством и с участием многих видных университетских ученых (Е.С. Кузьмин, В.И. Котелкин, Н.А. Медведев, Н.А. Мойсеенко, В.В. Орехов, В.Р. Полозов, А.Л. Свенцицкий, Н.Г. Скворцов, Л.И. Спиридонов и др.), для разработки планов социального развития. Эти коллективы производственных и научно-производственных объединений («Светлана», «Металлический завод», «Невский завод», «Позитрон», «Тихвинские производства Кировского завода» и др.), а также Калининский район г. Ленинграда и сам г. Ленинград. Многие из сотрудников были награждены медалями ВДНХ, а сама работа по социальному планированию была отмечена государственной премией.

Публикация этих исследований имела бы серьезное значение не только для истории советской социологии, но и для изучения социальной истории советского общества. К сожалению, мы не имеем спонсоров и не могли воспользоваться не только фондами Сороса, Форда, Макартуров и т.п., но и Российскими научными фондами.

У нас нет никаких надежд на их публикацию, в отличие от перечисленных Вами авторов – В.А. Ядова, А.Г. Здравомыслова, Н.И. Лапина, В.Б. Гольфаства.

Лишь недавно А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов издали полный текст «Человека и его работы»; через 30 лет после завершения Н.И. Лапин опубликовал итоги исследования социальной организации промышленного предприятия; лишь после смерти В.Б. Голофаства его друзья смогли опубликовать подготовленную под его редакцией книгу о семье в крупном городе, ее текст был рассыпан после корректурной вычитки... Эти и подобные примеры, не говоря о самоцензуре, дают возможность предположить, что анализ советских социологических публикаций не позволяет историкам науки сейчас, тем более – в будущем сделать обоснованный вывод о результатах исследований советских социологов в конце 1960-х – начале 1980-х годов. Что Вы думаете по этому поводу?

По поводу второго издания известной мне книги «Человек и его работа», выполненной коллективом социологической лаборатории Научно-исследовательского института комплексных социальных исследований (об этом первом в стране социологическом институте почему-то забывают), думаю следующее: авторы имели серьезное основание для переиздания своей работы. Во-первых, они должны были или отказаться от основного результата своего эмпирического исследования, согласно которому 80% опрошенных молодых рабочих г. Ленинграда относились к своему труду как к первой жизненной потребности (коммунистическое отношение к труду) и только 20% – к труду как средству существования (перезитки прошлого); или сказать, что это отношение к труду с точки зрения его содержательности не имеет своим основанием социальный строй общества, оно одинаково для данного технологического содержания труда, вызывая одинаковую эмоционально-психологическую удовлетворенность как у советских, так и американских рабочих.

Полагаю, что дело не в том, что от авторов книги требовали 100% отношения к труду как к первой жизненной потребности (как это комментирует Б.М. Фирсов). Авторов, как и американца Ф. Херцберга, подвела методика, согласно которой сравнивалось несоизмеримое – социальное и технологическое значения труда, как если бы опрашиваемые были разделены, например, на группу неквалифицированного ручного труда и группу участников в бригадах коммунистического труда. В методологическом отношении не была учтена действенная природа труда: удовлетворенность трудом, производящим нужную потребительную стоимость, или трудом, производящим стоимость и, соответственно, определенную величину заработной платы. Не случайно многие последующие исследования, в том числе отношения к труду добровольно уехавших на БАМ комсомольцев, дали противоположные результаты. Личная

материальная заинтересованность оказалась решающим фактором той или иной степени удовлетворенности трудом. Так что, важно различать – об удовлетворенности каким трудом идет речь. Соизмерение может быть научным, если имеет одно и то же качественное основание.

За последние полтора десятилетия российская социология принципиально расширила предмет своих поисков. Это связано с появлением многих новых явлений, с трансформацией старых общественных отношений, с глобализацией науки и усилением связи российских социологов с зарубежными специалистами и многими другими обстоятельствами. Что из происходящего в российской социологии кажется Вам позитивным, что – негативным?

Позитивным в последнее время я считаю появление много томной «Истории теоретической социологии» (отв.ред. Ю.Н. Давыдов), серии книг под редакцией В.И. Добренькова «Классическая социология XIX – XX в.в.» и книги А.А. Галактионова «Русская социология XIX – XX веков». В то же время исчезла сама теоретическая социология (кроме марксистской). Как философия, по словам А.В. Гулыги, достигла своего предела и может существовать лишь как история философии, так и теоретическая социология заменяется историей социологии или суммой имеющихся социологических концепций, «мультипарадигмальной социологией». Появилось более сотни отраслевых и иных социологий, предметом социологических «исследований» становится «мелочевка», вплоть до социологии личной гигиены и общественной туалетной жизни.

Что касается современной Западной и прозападной российской социологии, не ставшей отечественной, то она оказалась в плену ложно поставленной проблемы – вращается вокруг сопоставления и противопоставления категорий структуры и действия. Вместо того, чтобы соотносить деятельность (действие) с тем, чьим атрибутом она является, т.е. с бытием человека и бытием общества, ее стали соотносить с некоей абстрактной структурой. Получилось примерно то же самое, что и с классической политической экономией в результате превращения ее формулы «труд – стоимость» в неоклассическую триединую формулу: «капитал – прибыль, земля – рента, труд – заработная плата». Труд как единственный источник стоимости «дополняется» не имеющими отношения к ее созданию факторами (капиталом, землей). В результате получается, что в этой формуле ее члены «относятся друг к другу примерно так же, как нотариальные пошлины, свекла и музыка» (К. Маркс).

В социологии такую процедуру стали приписывать О. Конту, который якобы совершил первородный грех, разделив

социологию на социальную статику и социальную динамику (П. Штомпка). Выход, видимо, заключается в том, что как в библейском грехопадении человека искуплением является «труд в поте лица своего», так и в социологии эту проблему должна решать теория, основанная на трудовой парадигме. Причем имеется в виду не просто теория «действия», «деятельности», а трудовая теория социологии. Нет никакого резона единый предмет социологии в трех его ипостасях – бытие общества (общее) – производство обществом самого себя, т.е. его трудовая деятельность (особенное) – общественные отношения (единство первого и второго) расчленять на конкурирующие парадигмальные концепции.

А что можно сказать о сегодняшней российской социологии: в какой мере она включает в себя парадигматику и выводы русских дореволюционных социологов и предвоенных советских?

Сегодня социология, претендующая на звание «отечественной», «русской социологии», почти совпадает с восставляемой русской дореволюционной социологией, но без Герцена, Чернышевского, Плеханова, и, конечно, без Ленина и других марксистов, в т.ч. довоенных советских авторов. Так, в конце 2006 г., социологи Педагогического университета им. Герцена отметили конференцией 75-летие со дня смерти Н.И. Кареева, но забыли про 150-летие со дня рождения Г.В. Плеханова.

Вы и ряд Ваших коллег разрабатывали экономическую социологию. Каково было Ваше отношение к тому, что делалось в этой области Заславской и ее сотрудниками? Здравомыслов в его недавней публикации трактует «Новосибирский манифест» Заславской (1983 года) как принципиальнейший научный и гражданский документ, в частности доказывающий возможности социологии и предвидения социального развития. Что Вы скажете по поводу идей и работ новосибирских экономсоциологов?

Я положительно относился к книге «Социология экономической жизни» (Новосибирск, 1991), особенно к той ее части, которая написана Т.И. Заславской. Мое отрицательное отношение к первым публикациям новосибирцев по предмету экономической социологии было вызвано их оценками академика А.Г. Аганбегяна как первооткрывателя экономической социологии. Мне пришлось указать на те Западные первоисточники, откуда была взята эта идея. Это вызвало острую реакцию, особенно со стороны Р.В. Рывкиной. К моему сожалению, я недавно узнал, что Т.И. Заславская отказалась больше заниматься экономической социологией, но, видимо, по другим

причинам. Что касается «Новосибирского манифеста», то если в нем было предвидено появление у нас капитализма и оно приветствовалось, то последнее я не одобряю.

Я понимаю, что после выхода Вашей и Ваших коллег книги «Уроки и перспективы социализма в России» (1997 год) прошло немного времени. И все же, что из произошедшего в путинской России могло бы дополнить Ваше понимание уроков и перспектив социализма в России?

К сказанному выше я бы добавил следующее:

- еще больше выявилась неприспособленность большинства населения страны к жизни в условиях капитализма. Официальные власти не хотят называть существующий общественный строй его настоящим именем – капиталистическим, буржуазным. Российский капитализм не создал собственную «протестантскую этику». Возникло движение молодежи против капитализма, а не просто за смену правительственного курса;
- сельское население не удалось перевести на путь фермерства, в большинстве хозяйств господствующими остались кооперативно-колхозные формы;
- ученый мир стал понимать, что речь идет не об архаическом, диком капитализме, а о капитализме, построенном по последним рецептам западного монетаризма. Он возник главным образом на основе изъятия денежной массы у населения (обвал цен, пирамиды, ваучеры и т.п.), не имея собственного, созданного им материального (производственного) фундамента;
- стало очевидным, что без восстановления государственного планирования (оно было ликвидировано как атрибут социализма) у страны никаких перспектив на будущее нет, приходится вводить национальные программы пока по отдельным сферам. Но их реализация без национализации соответствующих, особенно крупных отраслей, вряд ли возможна.

Василий Яковлевич, благодарю Вас за беседу и желаю Вам всего самого доброго.

Второе поколение. Первые ученики первых учителей

Выше отмечалось, что возникновение «странного» второго поколения социологов – по возрасту и по среде формирования близкого к первому, но ставшего первыми учениками первых – детерминировано «аномальным» развитием социологии в СССР. Общие механизмы процесса становления этого поколения описываются предлагаемой «физико-социологической» моделью движения, вхождения советских ученых в социологию.

Представим, что социология 60-х в СССР – это некий сосуд с узким горлышком. Никто не знает, что находится внутри него, но, как показало будущее, он таков, что вход в него был, но выхода не было. Обычно, попавшие в этот сосуд добровольно его не покидали. Однако и вход не был совсем свободным, он контролировался своеобразным «демоном Максвелла», открывавшим его только для весьма «разогретых» частиц-индивидов. В реальности эта «разогретость» означала многое. Сначала – юношеская установка на познание общества, трансформировавшаяся в желание изучать философию, историю или экономику. Затем стремительное вхождение в соответствующую университетскую среду и успешное овладение набором принципов, концепций изучения социума. Далее раннее – в сравнении с окружающими – понимание того, что социальный мир, пусть даже лишь в наблюдаемой ими нише, устроен не так, как описано в книгах, и спонтанное, случайное обнаружение того, что существует инструмент познания этого социального – социология. И вот тогда у этой «разогретой» личности возникает отчасти осознаваемое, но во многом интуитивное стремление освоить это новое и даже запретное.

Перед такими «частицами» демон Максвелла не мог устоять и давал им вход. Таких микротел не могло быть много, слишком жесткими были критерии их селекции, другими словами, не все подлетающие к узкой горловине описываемого мысленного сосуда были «нагреты» настолько, чтобы проскочить мимо этого привратника. Одновременно «мудрый демон» оперативно готовил к входу в «сосуд» еще одну группу частиц, по многим параметрам очень близких к первой, но в начале 60-х оказавшихся недостаточно «разогретыми». Цель этой подготовительной операции заключалась в том, чтобы в итоге сформировать некую критическую массу частиц, обеспечивающую становление в ближайшем будущем саморегулирующегося механизма вхождения в этот сосуд, т. е. исключаящего присутствие демона. А содержание этой подготовительной операции сводилось, естественно, к размещению этих частиц в специальной «печке», в которой их температуру можно было бы довести до необходимого уровня. Эту «жаровню» образо-

ывали те зоны, сферы социума, в которых существовали и обнаруживались наиболее конфликтные, или горячие, формы социальных отношений.

Приведенная модель, прежде всего, относится к тем из «первых», кто не участвовал в войне. Путь в науку ветеранов войны был более тернистым и продолжительным.

Количество социологов второго призыва тоже было небольшим, ведь «горлышко», сквозь которое демон Максвелла «впускал» в социологию желающих приобщиться к ней, оставалось узким: было мало социологических коллективов, не велась подготовка специалистов, весьма ограниченными были возможности обучения в аспирантуре по социологической тематике. К тому же, если социологи, образовавшие первое поколение, на момент их перехода в социологию были молоды, могли действовать импульсивно, совершать рискованные шаги, то представители будущего второго поколения в ситуации раздумий о погружении в социологию были заметно старше их, имели более основательный жизненный опыт, и, возможно, многих желавших сделать такой шаг удерживал от него необходимый переход от приличных заработков к скудной аспирантской стипендии.

Если отвлечься от того, что для некоторых представителей первого поколения социологов путь в науку проходил через войну, то движение всех остальных в социологию описывается одной линейной моделью: школа – высшее образование по одной из обществоведческих дисциплин – аспирантура (в некоторых случаях ей предшествовал непродолжительный период работы по профессии или нет) – защита кандидатской диссертации по приобретенной профессии – продолжение преподавательской и научной деятельности. Биографии представителей второго поколения более многообразны, и траектории их движения в социологию не столь прямы. Мы увидим здесь: непростой путь к общему среднему образованию, получение базового высшего образования вне сферы обществоведения, продолжительную работу вне науки, трудности с трудоустройством после вуза и другие «аномалии», которые не наблюдаются ни в первом, ни в третьем и четвертом поколениях. Приходя в социологию, «вторые» имели большой опыт работы вне философии: партийная и комсомольская деятельность, прокуратора и адвокатура, журналистика, производство. Поэтому их приход в социологию принципиально расширил предметную сферу этой науки.

Очевидно, что «чисто линейной» модели приобщения этой когорты к социологии здесь не может быть. Ибо притом что по возрасту между представителями первых двух поколений нет большой разницы, именно наличие или отсутствие «ли-

нейности» траектории движения в социологию автоматически развело ровесников между этими профессиональными (социологическими) поколениями. Чтобы точнее обозначить тип траекторий, характерных для второго поколения, необходимо полнее раскрыть природу этой «линейности».

Во-первых, и это – обязательное условие, линейная траектория полностью, начиная с момента выбора будущей профессии, а возможно, и ранее расположена в *той предметно-семантическом поле*, в котором расположена и социология. А именно, предполагается, что индивид еще в юные годы связал свое профессиональное будущее с познанием, исследованием общества или его фрагментов: с философией, историей, экономикой, психологией. Для всех, кто относится к первому поколению, это было именно так.

Во-вторых, линейность означает, что профессиональный опыт индивида в избранной им базовой профессии, более широко – в области обществоведения, человековедения постоянно растет или, по крайней мере, не снижается заметно, другими словами, накопление профессионального (в сфере обществоведения) опыта происходит монотонно, без разрывов. Проще говоря, индивид успешен в учебе, легко осваивает университетскую программу, как преподаватель постоянно обновляет содержание читаемых курсов и осваивает новые, как исследователь – активно публикуется, участвует в различных научных форумах. Условный среднегодовой прирост этого опыта фактически определяет скорость роста профессионализма. Обычно это отражается в росте признания среди коллег и в приобретении научных степеней. Таким образом, если начальная точка траектории профессионального развития личности лежит вне поля исследования социума или если траектория выпадает из этого поля на достаточно продолжительное время, то движение личности в социологию не может признаваться линейным.

Укажу на одно принципиальное различие в освещении жизненных траекторий представителей первого поколения советских/российских социологов и всех остальных, анализируемых в книге. Так сложилось, и это естественно, что пионеры любого научного направления всегда интересны обществу, их деятельность и страницы их биографии привлекают большее внимание историков науки и журналистов, и потому уже сейчас о них больше написано, чем о следующих за ними. К примеру, в уже много раз цитировавшуюся выше книгу по истории российской социологии 60-х включено лишь несколько интервью с социологами, относимыми в настоящей работе ко второму поколению, все остальные – из первого [1]. В коллективном ар-

**Данные об опрошенных представителях второго поколения
российских социологов**

| ФИО | Год рождения | Год защиты канд. дис. | Год защиты докт. дис. |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Алексеев Андрей Николаевич | р. 1934 | 1970 | нет |
| Артемов Виктор Андреевич | р. 1938 | 1966 | 1986 |
| Баранов Альберт Васильевич | р. 1930 | 1961 | нет |
| Гилинский Яков Ильич | р. 1934 | 1967 | 1985 |
| Максимов Борис Иванович | р. 1934 | 1975 | нет |
| Русалинова Алла Александровна | р. 1931 | нет | нет |
| Столович Леонид Наумович | р. 1929 | 1955 | 1965 |
| Тощенко Жан Терентьевич | р. 1935 | 1967 | 1973 |
| Тукумцев Будимир Гвидонович | р. 1927 | 1985 | нет |
| Фирсов Борис Максимович | р. 1929 | 1969 | 1979 |

хиве о прошлом нашей науки пока относительно немного биографической информации о социологах второго поколения.

В таблице указаны даты жизни и время защиты диссертаций десяти социологов второго поколения, которые были проинтервьюированы мною.

Литература

1. Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.



Алексеев А. Н. – окончил филологический факультет ЛГУ, кандидат философских наук, Санкт-Петербург. Основные области исследования: социология средств массовой информации, культуры, производства, образа жизни, методология и методика социологических исследований. Интервью состоялось в 2006 году.

Ни я, ни Андрей Алексеев не помним, почему полный текст этого интервью не был опубликован. И прежде всего, я благодарен Алексееву за то, что он обнаружил этот текст в своем электронном архиве. При подготовке к публикации этот пятилетний давности материал не редактировался, лишь были добавлены заголовок, несколько подзаголовков и пара примечаний.

Первые интервью настоящей коллекции были проведены в 2005-2006 годах, и конечно, публикуя их сейчас, надо было бы их дополнить информацией собственно биографического характера, указать новые исследования, проведенные моими собеседниками, и книги выпущенные ими. К сожалению, я не могу этого сделать. Но, надеюсь, что либо сами герои моих интервью «продолжат» описание своих жизненных траекторий, либо историки советской/российской «наростят» собранный мною архив биографий.

Правда, Андрей Алексеев – отчасти – уже «надстроил» рассказанное мне в 2006 году. В 2010 году совместно со своим другом и коллегой Романом Ленчовским он опубликовал 4-х томник «Профессия – социолог»*, в котором представлены итоги нового социологического исследования и одновременно есть описание новых коллизий его богатой событиями жизни.

**А.Н. Алексеев:
«РЫБА ИЩЕТ
ГДЕ ГЛУБЖЕ,
А ЧЕЛОВЕК – ГДЕ
НЕ ТАК МЕЛКО...»***

Набросок биографического интервью

*В 2006 г. Борис Докторов, тогда еще только начинавший свой замечательный и теперь уже знаменитый проект истории советской / российской социологии «в лицах», обратился ко мне с предложением о биографическом интервью. Как и все другие его интервью (теперь их уже более 50), оно проводилось *op line*, путем электронной переписки. Мы с увлечением вникали в перипетии житейской и интеллектуальной биографии интервьюируемого (то есть меня) и добрались где-то до середины «земного пути».*

* Алексеев А.Н., Ленчовский Р.И. Профессия – социолог. Документы, наблюдения, рефлексии. В 4-х томах. СПб, 2010.

Впервые опубликовано на сайте проекта «Международная биографическая инициатива» <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/interviews/alekseev_06.htm>.

Потом отвлеклись какие-то неотложные заботы, дело не довели до конца, ограничились публикацией лишь одной, не биографической части интервью – «Познание через действие (Так что же такое «драматическая социология»?); (Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев, 2006, 5).

Сейчас, почти случайно обнаружив этот набросок в электронном архиве, я подумал, что он может представить интерес в контексте всего исследования зарождения и развития советской социологии, вот уже несколько лет осуществляемого моим коллегой. И я охотно вручаю ему этот текст, кстати, им же самим и скомпонованный, «сверстанный» из нашей переписки, а я, ничего в нем не меняя, добавил сегодня лишь обций заголовок, несколько подзаголовков и пару примечаний.

А. Алексеев. Июль 2010

Все мы родом из детства, могу я попросить тебя вспомнить о семье, о тех ранних годах?

...Будучи в основном «домашним ребенком», никогда не посещавшим детский сад, да и в школу пошедшим (в военные годы) чуть ли не с четвертого класса, я не могу указать на сколько-нибудь серьезные ранние социализационные влияния, кроме родительских. А родительская семья представляла собой своего рода «единство противоположностей», причем не вполне устойчивое.

Мать (Варвара Петровна Пузанова), петербурженка, была родом «из дворян», правнучка знаменитого металлурга, изобретателя русского булата П. П. Аносова. Отец (Николай Николаевич Алексеев) – «из крестьян» или «из мещан» (скорее последнее, так как его родители жили в г. Рыльске, Курской губернии).

Мать окончила относительно привилегированную Екатерининскую гимназию и имела разнообразные гуманитарные наклонности, впрочем, профессионально никак не реализовавшиеся, поскольку уже после революции училась в Технологическом институте. Она сделала определенный вклад в теорию машиностроения, автор нескольких книг (ее первая – «Допуски в тракторостроении» – была издана еще до моего рождения, а вторая – курс лекций – когда мне было 5 лет); но только в 50-х гг. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Анализ размерных связей механизма как основа для простановки размеров в рабочих чертежах».

Отец же про себя говаривал, что у него имеется «высшее образование без среднего». Способный инженер-практик, он практически всю жизнь проработал на заводе им. Ворошилова

(сейчас – «Звезда»). Последние 10–15 лет, до выхода на пенсию в 60-х гг. работал там главным технологом. Было у матери с отцом и творческое содружество, одним из плодов которого оказалась совместная книга «Размеры и допуски в машиностроении». Писала, конечно, мать, а отец позже шутил: «Надо мне хотя бы прочитать свою книгу...».

Мать была достаточно аполитична (хоть мы с нею почти никогда не обсуждали эти темы, могу предположить, что то была форма «внутреннего диссидентства», распространенного среди уцелевших от репрессий интеллигентов из ее поколения). Отец же рассказывал, что в 20-х гг. он какое-то время был чуть ли не секретарем партийного комитета, пока не спохватились, что он не член партии. Много позже ему, по служебному положению, и надо бы вступить, да он все отшучивался: – Я еще не созрел, не все понимаю!.. – Чего же Вы не понимаете, Н. Н.? – А вот не понимаю, как это получается: один член партии – г-но, другой – г-но, а в целом партия – руководящая сила!” (По другому варианту: “ум, честь и совесть”... Может, и прихвастнул, когда рассказывал, но так или иначе – от него отстали). Впрочем, и полное собрание сочинений Ленина (3-е издание в красной обложке), и многолетний комплект журнала “Большевик” (затем – “Коммунист”) в домашней библиотеке были.

Мать была типичным интравертом, отец – экстравертом. Мать – считала себя как бы человеком “из прошлого века” (она родилась в декабре 1899 г.; характерно, что для души она читала почти исключительно старых французских авторов, причем в оригинале); отец же – на 4 года моложе матери – типичный “сын XX века”. Мать – была жестка в моральных требованиях к себе и другим, всегда сдержана в выражениях; отец же, как мне кажется, бывал порой недостаточно самокритичен и “за словом в карман не лез”.

С общественной активностью у отца сочеталась конфликтность на работе. Мама часто помогала ему в разрешении этих конфликтов тем, что сочиняла за него безупречно корректные служебные записки. Выручал его также безупречный авторитет профессионала.

Оба инженеры-технологи, мать была по преимуществу теоретиком, отец – практиком. (Интересно, однако, что автомобиль “Победа”, приобретенный в начале 50-х, водила именно мать, а отец научился управлять уже только после ее смерти в 60-х гг.).

...Мы с матерью вернулись в Ленинград из эвакуации вскоре после снятия блокады в 1944 г. Отец – несколько позже, вместе с оборонным заводом, на котором работал во время войны.

И тогда уже, говоря твоими словами, начались иные социализационные влияния?

Мать уделяла единственному сыну очень много внимания до тинейджерского возраста. И фактически заложила культурный багаж, который действовал и во время школьного обучения, и в вузе, и дальше, но со временем оказался мною не то, чтобы растрочен, но явно недостаточно приумножен. Так или иначе, но и школьная золотая медаль, и очень нестандартный в ту пору аттестат зрелости, куда были вписаны три иностранных языка: английский, французский, немецкий, да и “академическая компонента” Сталинской стипендии в Университете (другая компонента – общественная, комсомольская активность) – все это в основном последствия (инерция?..) раннего домашнего образования и материнского влияния.

Примерно после 7-го класса мать полностью прекратила всякую надо мной “опеку”: приготовление уроков, занятия спортом, круг общения, круг чтения – никак ею не контролировались. И тем не менее, в конце школьного периода у меня стал назревать какой-то протест против “мамино” воспитания. Под влиянием школы, пионерского лагеря, других внешних воздействий, оно стало казаться мне слишком “камерным”.

Так случилось, что окончил школу я, когда мне еще не исполнилось 16, и поступал в университет, не успев получить паспорт... Возможно, мать прочила мне “академическую” карьеру. Хотя я и окончил славянское отделение филологического факультета, но полиглотом не стал, а лингвистика вскоре показалась слишком скучной и сухой наукой... То ли дело комсомольская жизнь, общественная работа, студенческие стройки! Стоит напомнить, что гуманитарное образование тогда (первая половина 50-х) было крайне идеологизированным. Стремясь “приблизиться к реальной жизни”, я воспользовался возможностью закончить также и отделение журналистики. И распределение получил по этой второй, тоже записанной в мой диплом специальности.

Думаю, что став журналистом, я последовал скорее не по материнским, а по отцовским стопам, только что не в инженерно-технической, а в общественно-гуманитарной сфере. Лишь много позже (когда матери уже не стало), я понял, сколь глубинным и долгосрочным было ее влияние на всю мою последующую жизнь.

...Вообще, воспитательная установка матери была, я бы сказал, “культурно-нравственной”. Все идеологические ценности черпались мною извне семьи (школа, университет, комсомольская работа). Общечеловеческие же ценности имели своими первыми и главными истоками семейное общение и “необязательное” чтение. Вот этот противоречивый симбиоз общечело-

веческих и идеологических ценностей, думаю, способствовал возникновению такого жизненного “аттрактора”, как социологическое знание и действие.

Пожалуй, я здесь слишком “умствую” и концептуализирую свою жизненную историю. А может и упрощаю, элиминируя большое количество факторов. Но это всего лишь модель, понятно, не исчерпывающая всего богатства жизни, однако обладающая определенной объяснительной силой.

Из журналистов в социологию

Что тебя, как я понимаю, вполне успешного журналиста, толкнуло в социологию?

Было это в 1965 г. Позади лет восемь работы после окончания университета, в основном в молодежных газетах, правда, с трехлетним перерывом (1961–1964) на первое “хождение в рабочие”. Считать меня “успешным” журналистом, в карьерном смысле, пожалуй, можно было. Во всякой редакции (тут и “Волжский комсомолец”, и “Смена”, и “Ленинградская правда”...) я довольно быстро вырастал до “бригадирской” должности (сам пишущий, а не только “руководящий” зав. отделом в газете – что-то вроде бригадира в цехе). Но качество журналистского творчества, скажем, заведующего отделом комсомольской жизни было на уровне самой этой жизни.

Помнится, немногие более-менее приличные публикации в газете “Смена” состоялись уже в период работы на Ленинградском заводе по обработке цветных металлов, затем – на Волховском алюминиевом заводе. Причем материал для этих публикаций собирался не на своем предприятии, а в других местах, – днем, после ночной смены. Предметом моих журналистских филиппик в конце 50-х – начале 60-х гг. были “формализм в комсомольской работе”, “бюрократизм и волокита”, “бездушное отношение к людям”, “самодурство начальника”, “преследования за критику”... В “Ленинградской правде” (уже 1964–1965 гг.) довелось написать и опубликовать несколько действительно проблемных материалов, посвященных начавшейся реабилитации генетики, административным препонам внедрению научно-технических разработок, конфликтам в производственных коллективах.

Вообще, “партийно-советская пресса” влачила тогда довольно жалкое существование – “на коротком поводке” у партийных властей, со строго отмеренными объектами похвалы и критики. Эта “связанность рук” (при том, что иначе, в общем-то и не умел...) тяготила. Профессиональная идентификация распаталась. Разочарование усугублялось тем, что эффектив-

ность проблемных выступлений (когда таковые все же случались) была минимальной, а зачастую и обратной.

Помнится, еще работая в “Ленинградской правде”, я догадался подсчитать, во сколько раз количество газетных сообщений “по следам наших выступлений” (за определенный период) меньше, чем соответствующее количество самих критических выступлений. Оказалось, почти в пять раз! Пару лет спустя, уже будучи аспирантом, получил “научно оснащенное” подтверждение этого первоначального, грубого наблюдения, включив в обследование несколько ленинградских газет.

Интересна тогдашняя авторская интерпретация этих результатов исследования “гласной действительности” (термин – мой): мол, со всей очевидностью нарушается принцип, впервые провозглашенный в одной из резолюций Восьмого съезда РКП(б) (1919): “Лица или учреждения, о действиях которых говорится в печати, обязаны в кратчайший срок дать на страницах той же газеты деловое фактическое опровержение или же указать об исправленных недостатках и ошибках”. И в последующих партийных документах это требование извещать о результатах критики неоднократно подтверждалось (вот, например, в постановлении ЦК КПСС “О повышении действенности выступлений советской печати”, 1962 г.)... Стало быть, налицо разрыв между партийной нормой и ее осуществлением!

Разрыв между декларациями и жизнью – в этой ли, в других ли областях – стал предметом моего преимущественного интереса журналиста, нацелившегося в социологию.

Ты упомянул свое первое трехлетнее «хождение в рабочие», не мог бы ты рассказать о нем чуть подробнее?

Оно состоялось после пяти лет работы в молодежных газетах и было своеобразной попыткой преодолеть издержки то ли “камерности семейного воспитания”, то ли “абстрактности идеологических догм”. Вот “не хлебнул лиха” в детстве – дай-ка хлебну... Вот “воспевал” бригады коммунистического труда – а каково там в самих этих бригадах?..

Кто едет “за туманом и за запахом тайги...”, а кто ищет “ту заводскую проходную, что в люди выведет меня...”. Я предпочел второе.

Интересно, что в это же самое время Вадим Ольшанский предпринял первый в советской социологии опыт включенного наблюдения в качестве рабочего на одном из московских заводов. Из его воспоминаний видно, что молодой социолог В.О. был движим в общем-то теми же романтическими побуждениями, что и молодой журналист А. А. “В те месяцы я заново должен был разобраться в жизни, в себе самом. Это главный

итог “включенного наблюдения”, социологической аспирантуры”, – пишет мой старший коллега (Ольшанский В. Б. Были мы ранними... / Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах. СПб., 2000, с. 184).

Работа вальцовщиком на одном заводе, потом электролизником на другом продолжалась около 3-х лет, пока не вернулся (правда, ненадолго) к штатной журналистской работе. Эти мои “рабочие университеты” к 30 годам как бы закончили период “первоначальной” социализации, надо сказать, изрядно затянувшийся.

Вернемся к твоему движению в социологию. Только внутренние причины к тому были или существовали и внешние обстоятельства, конфликты?

Да, по времени это примерно совпало с моим первым крупным конфликтом в редакции “Ленинградской правды”, точнее с отделом агитации и пропаганды Обкома КПСС. Меня, подающего надежды литсотрудника Обком партии утвердил на нomenclатурную должность заведующего отделом промышленности главной ленинградской газеты, а я, несколько месяцев спустя, “пригрозил” уходом по собственному желанию, если не будут защищены от расправы за критику авторы так и не опубликованного письма в редакцию, где обсуждался “порочный стиль руководства” тогдашнего директора того самого завода, на котором я прежде трудился в качестве рабочего.

Из заведующих – за такую “политику отставок” – меня быстренько разжаловали, но и в спецкоррах я после этого продержался недолго. А мой бывший сокурсник по Университету, к тому времени – доцент факультета журналистики ЛГУ Валентин Соколов “сосватал” меня в аспирантуру для занятий “социологией журналистики”.

Из социологов я был тогда лично знаком только с Овсеем Шкаратаном, который, помнится, еще в конце 50-х, в качестве историка, предложил газете “Смена” опубликовать письма ленинградцев, уехавших на целину, а я приложил все усилия, чтобы публикация состоялась без какого-либо журналистского “причесывания”. Обратился к нему за советом, после чего был приглашен домой к Андрею Здравомыслову (был там и Овсей), где получил от обоих своего рода благословение на исследование взаимосвязи прессы и общественного мнения и т.п.

Как это обычно бывает, жизненная (в данном случае – профессиональная) перемена имела как внутренние импульсы, так и внешние стимулы. От прежнего многое отталкивало, к новому – привлекало. Личностная мотивация и стечение обстоятельств вместе дали эффект “перехода”.

Не мог бы ты вспомнить твои аспирантские годы?

Миграция из журналистики в социологию оказалась не прямой, а опосредованной трехлетним пребыванием в аспирантуре факультета журналистики. Тогда это было явно не лучшее место для занятий социологией. Чуть ли не азбучным полагалось там утверждение, что журналистика сама по себе есть “наука”, а не род деятельности, являющийся предметом научного изучения, с чем я упорно не соглашался. “Массовая коммуникация” считалась в этих стенах идеологически подозрительным термином. Особенно я “проколотся”, когда в докладе на какой-то научно-практической конференции неосторожно поделился результатами своих библиотечных разысканий в области советской социологии печати 20-х гг., ведущие фигуры которой М. Гус и В. Кузьмичев (первый – автор книги “Газетоведение”, второй – автор книги “Организация общественного мнения”) были, оказывается, на факультете журналистики под идеологическим запретом, ну вроде Бухарина с его “Азбукой коммунизма”. Интересно, что позднее мне довелось встретиться с тем и с другим. Первый – жил в Москве, другой – в Томске; идеологическим мракобесием обоих старичков, успевших “перестроиться” за протекшие 40 лет, я был глубоко разочарован.

В общем, между будущим “социологом печати” и деканом факультета (историк и теоретик партийно-советской печати проф. А. Бережной) возникло что-то вроде конфликта (научно-идеологического!). К концу аспирантуры стало окончательно ясным, что ни о какой защите диссертации на факультете журналистики ЛГУ для меня и речи быть не может, равно как и о работе там по завершении “целевой” аспирантуры. И слава Богу!

При своем базовом филологическом образовании я старался как-то восполнить дефицит систематических знаний, обычно приобретаемых на философском факультете. Слушал не только лекции Ядова или Кона (на последнего сбегался чуть не весь университет), но и историю философии, диалектическую логику, статистику, даже линейную алгебру (похоже, что и на матмех забирался). Этакий “ликбез” себе устроил, только что без сдачи экзаменов...

По счастью, Ядов согласился разделить руководство (впрочем, весьма условное) моей диссертационной работой на тему о социологическом изучении массовой коммуникации (на примере прессы) с доцентом факультета журналистики, “чистым” филологом С. Смирновым. Впрочем, “болтаясь” между факультетами журналистики и философским, я был тогда, наверное, равно “не своим” и там, и тут. Причем очень хотел числить себя по “классу социологии”.

Еще одна удача: возникшие связи с социологической лабораторией (не помню, как точно она называлась; во главе с Евгением Прохоровым) на факультете журналистики Московского университета. Моя первая относительно значимая публикация (“К вопросу о предмете социологии печати”) появилась в “Вестнике Московского университета” (серия “Журналистика”) в 1967 г. Тем самым я мог себя чувствовать как бы не совсем “чужеродным телом” и в науке о журналистике.

Исключительно значимыми для вхождения в социологический круг были контакты, возникшие на межрегиональных, хотя тогда так и не назывались, встречах исследователей массовой коммуникации в Кяэрику, организуемых Юло Вооглайдом и его коллегами из лаборатории социологии Тартуского университета (1966, 1967, 1968 гг.). Кяэрику воспринимался и как “заграница”, и как социологическая “родина”, и как “островок Свободы”. Оттуда пошла моя дружба с эстонскими, московскими, уральскими, сибирскими социологами.

Думаю, мое приобщение к социологии было бы куда более скорым и эффективным, попади я сразу в коллектив, занимающийся крупным исследованием (вроде ядовского или грушинского). Но это состоялось позднее – в новосибирском академгородке, в межведомственной исследовательской группе социологии печати, созданной В. Шляпентоном.

Спасибо, пути и мотивы твоего перехода из журналистики в социологию прояснились...

... Говорят, рыба ищет “где глубже”, в шутку скажу: рыба ищет, где “не так мелко”... Перемещение в социологию состоялось тогда, когда в журналистике стало вроде бы “невмоготу”. Занятия социологией показались тогда более осмысленными – и в плане познания реальности, и в плане возможностей “влиять на ход вещей”. Впрочем, тоже – до поры до времени (см. ниже – рассказ об уходе из института на завод – “в поисках свободы”).

Замечу, что грань между социальной журналистикой и социологией вообще достаточно подвижна. “Родственной нам наукой” когда-то назвал социологию замечательный публицист В. Канторович. В одном из моих “Писем Любимым женщинам” (1981 г.) выдвигается что-то вроде гипотезы “о динамическом взаимодействии и взаимокompенсации журналистики и социологии в процессе общественного развития”:

“...50-е гг. – “прорыв” журналистики (после XX съезда), отсутствие социологии. 60-е гг. – “прорыв” социологии, “стабилизация” журналистики (особенно – во второй половине десятилетия). 70-е гг. “стабилизация” социологии, а к концу 70-х, может быть, намечающийся “прорыв” журналистики.

“Прорыв” – существенное углубление в познании, гражданственная активность, ломка старых норм, зарождение новых форм. “Стабилизация” – экстенсивное развитие.

Можно сказать и так: периодам экстенсивного развития в одной из двух сфер социального отражения (социология, журналистика) должны соответствовать периоды определенной интенсификации развития другой сферы. <...> Журналистика и социология – своего рода тандем. Лидеры меняются местами в пределах одной команды, обеспечивая ее успех” (Алексеев. А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1. СПб.: Норма, 2003, с. 222).

Если же говорить о мотивации собственных жизненных движений, то получается, что эта мотивация скорее негативная, чем позитивная. Я понимаю, бывают жизненные цели, и даже жизненные планы, вроде окончания вуза, защиты диссертации или приобретения квартиры. Но *сверхзадача* лишь ретроспективно может быть осознана как таковая. А эмпирически, если “без затей”, то просто видим – “человека убегающего”. Откуда убегающего – более ясно, чем куда. “Убегающего” – в поисках свободы ли, максимального самовыражения ли, общественной ли пользы...

(Как тут не процитировать одного из твоих героев: “...Должен сознаться, что в моих поступках присутствовало стремление к общественной пользе, как я ее понимал...”; в свою очередь, признаюсь, что подобного осознанного стремления в себе мне усмотреть так и не удалось).

Ленинград – Новосибирск – Ленинград. Вроде уже вполне социолог.

В 1968 г. ты закончил аспирантуру. Что дальше?

Дальше – несколько везений подряд. Харчев, слушавший мой доклад в Кяэрику про “массовую коммуникацию, журналистику, прессу” (попытка навести какие-то мосты между социологией и “наукой о журналистике”), соглашается взять к себе на Ленинградскую кафедру философии (впоследствии преобразовалась в Ленинградские сектора Института философии). Уже принятый туда, пишу какой-то трактат о подходах к социологическому изучению искусства. Вроде Харчеву нравится. И тут вдруг мне звонит из Новосибирска Шубкин и энергичным голосом приглашает в Академгородок, заниматься... социологией печати!

Позднее где-то Шубкин вспоминал, что сначала безрезультатно приглашал на это место Леонида Гордона. Что для меня, думаю, честь, а не предмет обиды.

До этого мы с Владимиром Николаевичем знакомы не были. Скорее всего глаз на меня положил Шляпентох, приезжавший из Новосибирска в Кяэрику в том же году. Как известно, он был

организатором первых исследований всесоюзных аудиторий газет “Труд”, “Известия”, “Литературная” и “Правда”. До чего ж заманчиво для бывшего аспиранта факультета журналистики!

Неловко перед Харчевым, но “отпрашиваюсь” у него. Тот говорит: “Если надумаете вернуться, учтите, что два года я Вас жду”. (Так и вышло).

В Новосибирский академгородок приехал с чемоданом, набитым экземплярами 1000-страничной (так!) кандидатской диссертации. Шубкин смеется: “Если хотите, чтобы ее кто-то стал читать, сократите хотя бы до 300 страниц” (теперь, говорят, и 150 много).

Состою в штате Института истории, филологии и философии Сибирского отделения Академии наук. Работаю же фактически в дислоцирующейся в этом институте группе социологии печати, при Новосибирском университете, у Шляпентоха. Там у меня появляется своя подгруппа контент-анализа (мое тогдашнее определение этого метода: анализ содержания массовых совокупностей текстов с использованием формализованного наблюдения и статистических процедур в социологических целях). В этой подгруппе еще трое энтузиастов поиска “очевидных свидетельств неочевидного”, в частности, путем качественно-количественного изучения содержания советской прессы. Первый всесоюзный семинар по контент-анализу состоялся именно в Новосибирске... (Второй – четыре года спустя в Ленинграде).

Живу в комнате аспирантского общежития Академгородка. Переписываю свою диссертацию, уже без оглядки на журналистику, ведь защищать-то придется в ученом совете по философии.

Только я приехал в Новосибирский академгородок, Шубкин покидает его – возвращается в Москву. А через некоторое время уезжает в Москву и Шляпентох. Кажется, уже без него сдавали отчет по хоздоговору с “Правдой”. Для меня эта работа с социологической эмпирией была хорошей школой.

И еще повезло... Пригрела меня компания новосибирских философов. Михаил Розов, Наль Хохлов, Владимир Конев... Сказали: “Если прочитаешь вместо Володи курс научного коммунизма в университете, засчитаем тебе кандидатский минимум по философии”.

1969 год. Академгородошная вольница уже на излете. Но я успел-таки прочитать довольно не тривиальный курс: что-то вроде “социологии развитого социализма”. В социально-философском аспекте очень помогли конспекты В. Конева. Ни с какими официальными программами ни он, ни я тогда не считались, даже не заглядывали в них... Лекции у студентов пользовались успехом. Ну, не как у Кона в Питере, конечно... Как уж это у меня тогда так лихо получалось, сам удивляюсь.

В 1970 г. благополучно защитил в Новосибирском университете свою переписанную диссертацию. Вскоре за тем вернулся в Ленинград к Харчеву. Вроде теперь уже вполне социолог.

(Последующий период 1970–1980 гг. – работа в Ленинградских секторах Института философии АН СССР, затем – Ленинградских секторах Института социологических исследований АН СССР (лаборатория О.И. Шкаратана), потом в Институте социально-экономических проблем АН СССР (сектор, возглавлявшийся В.А. Ядовым), равно как и совместительство в Высшей профсоюзной школе культуры и сотрудничестве в хоздоговорной группе «Социология и театр» при ЛЮ ВТО, – не получили систематического отражения в этом наброске биографического интервью).

Хотя в дальнейшем мы с Б. Докторовым по разным поводам сплошь и рядом обращаемся к событиям и обстоятельствам этого периода. Примечание А. Алексеева).

Социолог становится наладчиком

В 1980-м ты, при всем внешнем благополучии твоей жизненной ситуации и профессиональной карьеры подался в рабочие. Этот шаг был на 100% необходимым, обязательным в твоей ситуации (почему ?) или все же еще был запас сил, чтобы не уходить... Как ты оцениваешь сегодня твое телодвижение?

Был ли для меня тогдашний уход “обязательным”? Думаю, он был *своевременным*, не с точки зрения давления внешних обстоятельств, а из внутреннего расположения души и состояния духа. Можно еще сказать, что это было актом поиска свободы (или – скромнее – обретения относительной независимости).

Мой тогдашний уход из социологов в рабочие (как и уход из журналистов в рабочие двадцатью годами ранее) если и был экспериментом, то скорее (больше...) *жизненным*, чем профессиональным. Но и тут уместно сказать: “Суди себя сам!”. Все же одно автоцитирование из “предисловия” к “Драматической социологии...” здесь себе позволю:

“...Там, где “социологу-наладчику” в его профессионально-жизненном эксперименте мнились по преимуществу жизнотворчество, активная адаптация, подчинение себе обстоятельство, – теперь, как бы между строк, словно симпатические чернила: проступают также и... характерные черты приспособления, ситуационной зависимости, подчинения себя обстоятельствам! Сам же эксперимент социолога-рабочего (самодетельная акция!) обретает новый смысл. А именно: он оказывается способом (или формой) самосохранения (внутриличностного и не только...), своего рода выживания, “вынужденной инициативы”: предстающей уже не только тактикой социального поведения, но и жизненной стратегией.

...По большому счету, обсуждаемый опыт социолога-испытателя следует трактовать не в качестве акта профессионального или жизненного “подвижничества” <...>, а всего лишь как ограниченную условиями исторического места и времени попытку жизненного самоосуществления человека. Причем ключевые смысложизненные вопросы, к решению которых была устремлена эта попытка: в пределах данного эксперимента, как такового, оказались для автора не разрешимыми” (Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Том 1. СПб.: Норма, 2003, с. 34–35).

В этом случае можно ли сказать, что, идя на завод, у тебя не было осознанной ориентации на проведение того или иного социального исследования?

Сейчас стоит, наверное, об этом заявить со всей резкостью, пусть с риском несколько подмочить легенду об “эксперименте социолога-рабочего” и т.д.

Ядов предложил мне в 1980 г., коль скоро так уж круто я нацелился в рабочие, совместительство в ИСЭПе. Согласившись (не без материального интереса...), я “обрек” себя на продолжение социологической карьеры в новом качестве. К тому же совмещение столь разных “ипостасей” в одном лице щекотало самолюбие. Тут была моя личностная и профессиональная особенность, по сравнению с моими друзьями (рабочими из социологов).

Спрашивается, а как же исследование “глазами рабочего”, “наблюдающее участие” и прочие методические (методологические?) изобретения, вроде даже в учебниках теперь упоминаемые? А никак! Наложилась смысложизненные авторские поиски на некоторые актуальные тенденции современной социологии (феноменология, акционистские методы и т.д.). Вот и получился какой-никакой “научный вклад”. Все зависит от ситуации, контекста, а также от того, “как посмотреть”. Впрочем, в этом пункте, пожалуй, слишком сильное утверждение!..

Вместе с тобою в рабочие пошли, к тому времени многие годы проработавшие в социологии, Юрий Щеголев и покойный Сережа Розет... для тебя это было драмой (отчасти отсюда возникла твоя драматическая социология), для них – трагедией (я так думаю). Ты был уже не теленок и мог бодаться..., они были послабее...

...Не одновременно, а раньше меня “пошли в рабочие” Юра Щеголев (годом раньше меня) и Сережа Розет (несколькими месяцами раньше...). Еще из нашего круга – Анри Кетегат (живший тогда уже не в Питере, а в Вильнюсе), которого на несколько месяцев опередил я.

...То был довольно многочисленный “исход” из социологов в рабочие на рубеже 70-80-х гг., именно экзистенциальный

исход, подобный миграции в сторожа и операторы котельных части литературно-художественной интеллигенции, явление – очень характерное, в частности, для Питера. Ни о каких профессионально-социологических мотивах у моих друзей, ("социологов-рабочих") говорить, думаю, не приходится. Что же касается меня, то, при большей, чем у них, "встроенности" в научно-институциональную среду, так называемый исследовательский мотив был для меня скорее идеологическим "прикрытием". А "под ним", в личностном ядре – тот же кризис профессиональной и – шире – "беловоротничковой" идентификации, ну и поиск новизны, может быть, авантюризм, достаточно позднее (в 1980-м мне было как-никак 46) "самоиспытание", пожалуй.

Дальше. Не только у Юры, Сережи и Анри, но даже и у меня не было установки на "вызов Системе". Просто люди, достойные уважения и сами себя уважающие, живут как хотят, а систему это "раздражает", и она начинает их "доставать" (слегка или всерьез). Тогда человек иногда (это я про себя...) начинает "огрызаться"... Ну, это в общем не требует дополнительных разъяснений.

Мне хотелось бы энергично возразить тебе насчет того, что Юра и Сережа были якобы "послабее"... и в этом их трагедия. Трагична, конечно, судьба Сережи, но в силу именно ранней кончины (1940—1994), а не в силу сделанного им на рубеже 70–80-х гг. жизненного выбора. Просто мы привыкли относить публичный конфликт с системой или профессиональные (в частности, в сфере науки) успехи, вообще – те или иные формы "внешней" самореализации, к настоящим, единственно значимым жизненным достижениям. Но для моих друзей главным было нечто другое. И хотелось бы думать, что и для меня тоже.

«Резервация», выживание, «бессмысленная адаптация»...

На сегодняшний день можно сказать, что большая часть твоей и моей социологической карьеры состоялась в советские времена. Нет ли у тебя ощущения, что в то время ты работал в «социологическом гетто»?

"Гетто" ли, "резервация" ли, это предполагает, что вокруг – иной (не огороженный? открытый? свободный?) мир. В таком ограниченном пространстве могли себя чувствовать советские социологи относительно мировой профессиональной среды. Но при минимуме знаний о ней, у большинства рядовых, пожалуй, не было и ощущения изолированности. А "внутри", думаю, социологам было не лучше и не хуже, чем всем другим гуманитариям, разве что сильнее зависимость от партийных органов. А в силу относительно позднего становления этой отрасли, уже не успели социологов коснуться ни "борьба с

меньшевистствующим идеализмом”, ни “борьба с космополитизмом!”, ни “борьба с мухолюбами-человеконенавистниками”, а в худшем случае – только обвинения в подверженности влияниям “буржуазной общественной науки”...

“Гражданские казни” или “вынужденные отставки”, которые коснулись некоторых ведущих социологов, все же не были запретом на профессию или отправкой в ГУЛАГ. А ко времени “перестройки” все так или иначе “отодвинутые в тень” лидеры нашей социологии (Левада, Грушин, Кон, Ядов, Здравомыслов, Гордон, Заславская и др.) оказались еще полны творческих сил. Я бы сказал, что если не советской социологии, как таковой, то ее первопроходцам и их непосредственным ученикам относительно повезло.

Андрей, здесь после согласования с Димой (Д.Н. Шалиным. – А.А.) я намерен привести выдержку из его письма и задать тебе вопрос о выживании...

Было ли все это “выживанием”? В общем, да. Наблюдение Дмитрия Шалина “Выжить было их сверхзадачей...” справедливо, наверное, не только для его поколения. Но вряд ли эта сверхзадача осознавалась или признавалась тогда в качестве таковой. У многих была сильна креативная, творческая мотивация. Была высокая профессиональная идентификация. Некий подспудный страх лишиться возможности “удовлетворять свою любознательность за счет государства” побуждал умеривать эту любознательность. Были некие табуированные зоны и набор писаных и неписаных правил, которые если кто и преступал, то лишь “по неосторожности”.

Среди социологов было не так уж мало инакомыслящих, но практически не было людей, сознательно и открыто ставивших себя в оппозицию системе, которую они исследовали. А если бы были, то на том бы их (таких социологов) исследования, по крайней мере, профессиональными средствами, и закончились бы. Так что можно лишь порадоваться тому, что кое-что они успели, и пусть отчасти замутненное зеркало советского общества тогда все-таки возникло (и уцелело до наших дней...)

И в “гетто” жить можно... А кому становилось уж совсем невмоготу – эмигрировали, кто за рубеж, а кто в кочегарку.

Означает ли это, что мы действительно могли работать в полную силу своих способностей...?

Ты имеешь в виду то, насколько, по гамбургскому счету, собственными были как собственно научные достижения, так и общественные эффекты социологии в СССР? Было бы неправильно их принижать, но не следует и переоценивать. Признать

собственную второстепенность, маргинальность в мировом научном процессе или же сервильную (будь-то в идеологическом, будь то в прикладном плане) общественную роль – не просто. На критическое отношение к пройденному пути отваживаются далеко не все авторы сегодняшних мемуаров.

Скажу о себе. Помнится, на рубеже 80–90-х гг. мне довелось просмотреть архив собственного журналистского творчества 50-х – 60-х гг. Я испытал чувство настоящего стыда! (Некоторые характерные образцы “воспевания” бригад коммунистического труда и т.п. приводятся в “Драматической социологии...” (Алексеев А.Н. *Драматическая социология и социологическая ауторефлексия*. Том. 4, Приложение к главе 22). Лишь на самом излете своей журналистской карьеры (середина 60-х) удалось продвинуться к журналистике, которую с грехом пополам можно назвать проблемной.

Из моего собственного социологического “наследия” конца 60-х – 70-х гг., по правде говоря, тоже похвалиться особенно нечем. Ну, попытки построения марксистской (и впрямь таковой!) теории массовой коммуникации, за которые чуть было не вылетел из аспирантуры факультета журналистики ЛГУ (вторая половина 60-х), кои, строго говоря, были метафизической спекуляцией, с некоторыми элементами “фиги в кармане”. Потом – кое-что из социологии потребления, из социологии культуры, из социологии труда, из социологии жизненного пути... Несколько социологических экспедиций (последняя была на БАМ, уже из ИСЭПа). Увлечение методолого-методическими сюжетами...

Если бы я начал составлять личное “социологическое избранное” из работ того времени, то кроме пары статей по проблемам контент-анализа, некоторых отчетов исследовательской группы “Социология и театр”, ну, может, еще пары популярных публикаций в соавторстве со Светланой Минаковой по социологии личности, да конспекта доклада “Образ жизни и жизненный процесс” 1981 г. (тогда уже на заводе работал) (Алексеев А.Н. *Драматическая социология и социологическая ауторефлексия* Том. 1, раздел 6.1) – и не нашел бы чего туда включить стоящего. Остальное – сегодня кажется безнадежно устаревшим.

Так что же это за глухое и душное время, давшее, “если приглядеться честно и строго...”, не столь уж дружные и очень разнокачественные всходы, в частности, на социологической ниве? (Оговорю, что бросать тень на выдающиеся пионерные социологические проекты и труды, например, Грушина, Шубкина, Ядова, Гордона, Заславской – я вовсе не собираюсь). Внешняя несвобода – да! Давление из ЦК, из Смольного, из райкома партии – да! (Мнение рядового инструктора райкома – для научного сообщества закон...). В частности, отсюда неимоверные

траты времени и сил на бессмысленную адаптацию процесса и результатов собственно-научной работы к институциональным требованиям (особенно – идеологическим, но и не только...). Наконец, собственная внутренняя скованность, постоянная автоцензура. Да и ограниченность кругозора у многих...

Пожалуй, добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано об этом, например, в историко-социологических лекциях Бориса Фирсова и в мемуарах наших научных учителей я здесь не смогу.

Не мог бы ты привести пример того, что ты называешь «бессмысленной адаптацией...»?

...Сектор Ядова в Институте социально-экономических проблем поначалу назывался “сектором социальных проблем личности и социалистического образа жизни”. Не Ядовым, понятно, придумано, а так было записано в Приложении к постановлению Президиума АН СССР от 29 мая 1975 г. (о создании ИСЭПа), предписывавшем определенную структуру секторов и отделов. Ну, еще при первом директоре Гелии Николаевиче Черкасове формулировка названия имела не такое уж большое значение. Большинство научных коллективов сохраняло тематическую и кадровую преемственность с “доисэповской” ситуацией. Когда же наступило директорство Ивглафа Ивановича Сигова, пошла чехарда перетряски кадров, переструктурирований и переименований научных подразделений. Сектору Ядова предстояло переименоваться в “сектор образа жизни в крупном городе”, что грозило полным вытеснением из научного плана “исконно-ядовской” проблематики личности.

Недавно мне попала на глаза копия собственной “служебно-личностной” записки, адресованной Ядову (с подзаголовком: “срочно и конфиденциально”), от января 1979 г., где на семи страницах доказывались алогичность и волонтаризм предлагаемых дирекцией названий Социологического отдела и входящих в него секторов. Среди прочего выдвигались аргументы для нижеследующего переименования, в частности, нашего подразделения: “сектор социальных проблем развития личности”.

Интересна “совсем конфиденциальная” приписка к этому документу:

“В. А.! ...Конечно, Вам никто не посмеет запретить заниматься социальными проблемами развития личности, под любым названием сектора. Но Вы всегда вынуждены будете делать это вопреки официальным требованиям, а не в соответствии с ними. Вам всегда придется доказывать, что Ваша социально-психологическая “контрабанда” является не слишком большим нарушением социально-экономического “закона”.

(Намек на название отдела: "отдел социально-экономических проблем труда и образа жизни. – А. А.). Капитулировав сегодня, в положении далеко не безвыходном, сектор будет десять лет платить репарации. Если Вы считаете, что проиграли дирекции в первом раунде по конъюнктурным "очкам", то это вовсе не мешает выигрышу во втором раунде путем логического "нокаута". В худшем случае будет зафиксирован "протест" команды против неправильного судейства...".

По счастью, Ядов внял этому предостережению и предпринял тогда перед начальством акцию "необходимой обороны", в результате чего сектор получил вполне приличное (лучше первоначального!) и уместное название: "сектор социальных проблем личности и образа жизни". Но каких временных и нервных затрат стоила вся эта суета! И когда только успевали читать научную литературу, проводить исследования, писать статьи и монографии...

Ныне такого идеологического диктата и контроля, как в то время, нет. Но сил на "институциональные игры" и "ритуальные танцы" сегодня уходит не меньше. Правда, преимущественно у руководителей, а не у рядовых сотрудников. А тогда – поголовно у всех!

Правверный комсомолец, или дурной шестидесятник

Андрей, многие годы мы с тобой были членами одной партийной организации. А как все у тебя начиналось?

Членом КПСС, как нетрудно подсчитать, я был почти 30 лет: с 1961 по 1990 г. Из них около 4-х лет пребывал в положении исключенного из партии, однако "восстановлен в рядах" был в 1988-м "без перерыва в стаже". Вступал – добровольно, выходил – тоже добровольно, без кавычек.

Сейчас "шестидесятилетние" и старше, не состоявшие в партии (в нашей профессии таких немного, но есть), порой сообщают об этом с гордостью. А состоявшие – порой забывают об этом упомянуть. Упоминание же может сопровождаться "извинениями"... С этим иногда сочетается заявление о собственной ранней внутренней оппозиционности (выходит, цинизм, карьеризм...). Или же заявление о собственной прошлой коммунистической правверности (выходит, наивность, слепота...).

То и другое (цинизм ли, наивность ли...) не украшают. Третий вариант – "двоемыслие" как бы примиряет эти противоположности. Но и тут, понятно, нет предмета для самоутверждения... В этом пространстве самоопределений я бы отнес себя к "двоемыслящим наивнякам". Существуют и комплиментарные определения, типа "коммунист-романтик"...

Я вступал в партию не слишком рано, но и не слишком поздно – в 27 лет. Работал тогда в газете “Смена”. XX съезд состоялся пять лет назад. До вторжения в Чехословакию оставалось еще семь лет. Сверстникам, с которыми учился в школе или в вузе, говорил: чем больше в партии будет порядочных людей, тем скорее преодолеем “наследие культа личности”...

Как раз в 1961 г. я попал в какую-то молодежную “элитную” (других тогда не было) зарубежную турпоездку в Англию. Вел там дневник – для себя. Вернувшись, прочитал его участникам поездки. Был дружно одобрен. А месяц спустя фрагменты из дневника оказались опубликованы в комсомольской газете – без какой-либо редактур под названием (мною же придуманным...) “Вкус собственной правоты”... Были в дневнике и такие строки (в газету, впрочем, не предлагавшиеся):

“Честное слово, советский человек, хоть наша собственная пропаганда порой и оглушает его (воодушевленные решения “очередного пленума”) – действительно на голову выше человека буржуазного общества. Вот что надо сравнивать в первую очередь, а не метро или нищих на тротуаре. В конце концов нищего можно найти и там, и там”.

Несколько месяцев спустя после получения партийного билета состоялось первое “хождение в рабочие”. (Этот “побег” был замышлен, понятно, раньше...). Мое интервью о собственной молодости, записанное в середине 90-х, удачно называлось: “Слишком правоверный комсомолец, или дурной шестидесятник” (см. “Драматическую социологию...” том 4, приложения к главе 22). А вот запись из дневника от марта 1964 г. (еще работал на заводе, в газету пока не вернулся):

“...Если хочешь, чтобы люди хоть что-то восприняли из *твоей*, утерянной ими коммунистической убежденности, не страшись клеймить коммунистического идола, опошленного и истерзанного”.

Уже позднее, во времена аспирантуры и начала социологической карьеры состоялось первое знакомство с диссидентской литературой, начался процесс идеологического прозрения. Но и в конце 70-х, помню, произнесенное вслух перед друзьями заключение, что “монополия коммунистической партии является главным источником бед нашего общества”, было для меня выстраданным, личным открытием. Вот такое “замедленное развитие”... Не зря – “дурной шестидесятник”!

(Так ведь и в конце 80-х, в начале перестройки, сколько еще сохранялось – и не только у меня! – иллюзий о “демократической платформе в КПСС” и о “социализме с человеческим лицом”!).

По идее, на рубеже 60-х – 70-х можно было бы, по совокупности “еретических” мыслей (пусть еще смутных...), из партии

и выйти. Но тут уже срабатывал инстинкт самосохранения. "Ломать себе жизнь" вовсе не хотелось... Да и зачем, когда состоя в партии, можно самореализоваться полнее, "принести больше пользы" и т.п.? Вот уже и не наивность, а механизм "двоемыслия"...

Припомни какие-либо сюжеты из твоей деятельности партийного лидера...

Был у меня тогда относительно недолгий период едва ли не экстремального испытания. При образовании в 1975 г. Института социально-экономических проблем из ленинградских филиалов нескольких московских институтов (включая Институт социологических исследований) понадобился для него (точнее – в нем) партийный секретарь, для которого, по совокупности анкетных данных, я, как видно, идеально подошел.

(Надо заметить, что в моем "досье", похоже, остались не отраженными или не замеченными – ни скоропостижное смещение с номенклатурной должности в партийной газете 10 лет назад, ни научно-идеологические споры с деканом факультета журналистики А. Бережным – еще в 60-х гг., ни "поверхностный" и вроде оставшийся без последствий интерес ко мне сотрудников первого отдела – в те же годы).

В Ленинградском подразделении ИСИ я числился партгруппоргом – должность сугубо формальная: не заглянув в архив, я бы сейчас об этом даже и не вспомнил. Другое дело – секретарь партийного бюро Института. Будь институт чуть побольше, это квалифицировалось бы как освобожденный партийный работник.

Так или иначе, возникла жизненная ситуация, которую пришлось для себя определить: "Посадили в сани – не говори, что не свои...". Для меня главным оправданием пребывания на этом посту стала, пожалуй, не безуспешная борьба, как теперь сказали бы, за "прозрачность" организационного становления нового института. Из своих "партийных подвигов" вспомню один, кстати, имеющий отношение к сюжету, который упоминает Д. Шалин в своем Комментарий к серии твоих биографических интервью, помещенных ныне также на сайте Университета Невады в Лас-Вегасе.

Еще до образования ИСЭПа из научного коллектива, возглавлявшегося Ядовым, двое сотрудников заявили о своем намерении эмигрировать из страны. По этому поводу были всякие политико-идеологические разборки, подутихшие со временем. А Ядов в новом институте, естественно, возглавил социологический отдел. Тогда одна из сотрудниц сектора Ядова (фамилию ее "шестидесятилетние" помнят, а кто помоложе – знать не обязательно...), известная как изрядная скан-

далистка, обратилась с письмом в “Правду”, а затем еще и к секретарю горкома партии – с политическими обвинениями против своего шефа. Под давлением горкома Ядову пришлось подать заявление об освобождении его от обязанностей зав. отделом, мотивируя “необходимостью сосредоточиться на руководстве сектором” и т.п.

Партийное бюро в составе А. Алексеева, Г. Смирновой, О. Иванова, Г. Черкасова, Н. Толоконцева, Б. Фирсова и А. Кюгута на своем заседании 28 октября 1975 г. “рекомендовало” дирекции удовлетворить это заявление.

Мне тогда казалось особенно важным обнажить ситуацию “нажима” сверху, в связи с поступившей “телегой” снизу, исключить неопределенность, “кривотолки” – за что именно “Ядова сняли” (хотя бы и “по собственному желанию”). Сделано это было оригинальным, и даже, можно сказать, “самоотверженным” образом – путем “провокационного” предложения освободить В. А. от заведования отделом безотносительно к его заявлению. Члены партбюро – все! – возразили против этого предложения, выступили “в поддержку” заявления Ядова, к чему и секретарь партбюро благополучно присоединился (мол, в нашем партийном бюро все решения только единогласные!). Но по ходу этого обсуждения, достаточно откровенного и острого, стали “прозрачны” действительные пружины этого административно-политического решения.

Помню, я добрых полдня потом сочинял “изобличающий” Смольный на пару с доносицей протокол на 4-х страницах, из которого явствовало, что решение это вызвано “рядом политических обвинений в адрес Ядова, фактической базой для которых были антипатриотические поступки (так тогда это называлось. – А. А.) двоих бывших сотрудников Ядова, работавших в его старом секторе, ныне покинувших нашу страну” (цитата из выступления Черкасова). Дело, мол, прошлое, но наказание пришло теперь, по настоянию (указанию...) секретаря горкома партии. Мол, несправедливо, но куда денешься... Никаких претензий по руководству отделом к Ядову нет... Поручить Алексееву информировать Ядова о ходе и результатах настоящего обсуждения.

Под этим реальным, а не формальным протоколом подписались все члены партийного бюро (важно еще было сообразить – кому после кого предложить подписать). Ознакомлены с ним были не только райком партии, но и все социологи – члены партии, кто пожелал ознакомиться.

Однако продолжалось мое партийное секретарство меньше года. Дело в том, что еще летом 1975 г. состоялось исключение из партии старшего преподавателя кафедры психологии, научного

руководителя лаборатории социологии Тартуского университета (Эстония) Юло Вооглайда. Одна из первых формулировок исключения – “за антипартийную деятельность и неискренность перед партией” (впоследствии смягчено до: “за непартийное поведение и отсутствие политической бдительности”).

Из письма в Комитет партийного контроля при ЦК КПСС товарищу А. Я. Пельше от 27 июня 1975 г.:

“...Мое обращение к Вам, Арвид Янович, как Председателю КПК, – это личное обращение коммуниста. Я являюсь секретарем партийного бюро Института социально-экономических проблем АН СССР, но в данном случае выступаю от своего и только своего имени. К этому письму меня обязывает мой партийный долг. Я вступал в партию на 3 года позже Ю. Вооглайда, но я *готов сегодня разделить ответственность с теми, кто рекомендовал его в ряды КПСС.*

Копию этого письма я направляю в ЦК КП Эстонии...”

Когда Гелий Николаевич Черкасов узнал об этом письме (а два месяца спустя было еще и второе: “...подтверждаю свою готовность поручиться за Ю. Вооглайда своим собственным партийным билетом”), то схватился за голову: “Что Вы наделали, А. Н.!”

Странно, что дело обошлось без партийного взыскания. Меня устно отчитали в райкоме КПСС – за попытку использовать свое общественное (должностное?) положение “для оказания давления на ЦК нашей партии” (так!). Но уж больше в состав партийного бюро не выдвигали...

А от Вооглайда на Новый, 1976 год пришла открытка: “Дорогой Андрей! Усатый – это ты, пожалуй. Желаю тебе и в этом удачи. Твой Юло”. На обороте открытки был изображен эстонский крестьянин, подковывающий... черта!

...Ну, вот и суди сам, когда же мне и таким, как я, стало ясно, что КПСС “далеко не ум и не совесть эпохи”... Понимал это – не только когда восстанавливался в партии, на гребне перестроечной волны, но и раньше – когда в “год Оруэлла” исключали “...за написание и распространение клеветнических материалов на (так! – А. А.) советскую действительность...”, и еще раньше – в пору партийного секретарства, и еще раньше – примерно с 1968 г. А вот до этого, увы, не понимал. Но если бы уже тогда понял, то и жизнь бы, наверное, сложилась совсем по-другому. Впрочем, в биографии, как и в истории – нет сослагательного наклонения.

В те годы, когда ты восстанавливался в КПСС, ты понимал, что эта организация далеко не ум и не совесть эпохи..., что тебя тогда заставляло тратить силы, чтобы восстанавливаться? И после восстановления ты сразу вышел. Так?

Что касается, того, что заставляло “тратить себя” на восстановление в КПСС, то об этом столько написано в “Драматической социологии и социологической ауторефлексии” (том 2), что здесь не хочется повторяться. Главная формула моего ответа на этот вопрос была найдена сравнительно недавно (уже когда писал ту книгу): *необходимая оборона* (в том смысле, в каком рассматривает это понятие А.Ф. Кони: “вынужденное защипение от несправедливого нападения...”).

Можно сказать, что защищал умаленную честь, достоинство, ущемленные права, которые в той ситуации идентифицировались как... членство в КПСС. А ради таких ценностей тратить себя не жалко...

Сразу вышел из партии, как восстановили... Ну, не совсем сразу: полтора года прошло. Это было в июле 1990 г. Когда открылся XXVIII съезд. Когда стало ясно, что этот социальный институт исторически *полностью* себя исчерпал. И не один я выходил, а “за кампанию” с большинством коллег. По-моему, с тобой вместе... Вспоминаю собрание на втором этаже, в здании на Серпуховской улице.

...А вот когда неправильно уволенный добивается восстановления на работе, и ему это (вдруг!..) удастся, то часто *сразу же* увольняется. Ему не работа эта была нужна, а сам факт восстановления.... Улавливаешь аналогию?

Про партию мы поговорили, а про КГБ?

...Вообще, коммунистическая партия и “компетентные органы” – своего рода “близнецы-братья” (пользуясь метафорой Маяковского, примененной, впрочем, к В.И. Ульянову-Ленину). Партия – вроде бы старший брат, “органы” – младший. Причем исторически второй – более живучий и удачливый.

До середины 70-х моя персона для младшего из братьев интереса вроде бы не представляла, по крайней мере – внешних проявлений внимания с его стороны я почти не замечал. Но “наслышан” о его тогдашних подвигах был (да кто из гуманитарной интеллигенции не был!). Интересно, что до 40 лет никаких предложений “о сотрудничестве” мне не поступало. Единственное (впрочем, косвенное...) в 1976 г. оказалось и последним.

Я только что избавился от груза партийного секретарства, обнаружив свою “политическую незрелость” в связи с исключением из партии Ю. В. (см. выше). И вот приглашают меня – нет, не в Большой дом! – а всего лишь в комнату рядом с отделом кадров в здании нашего института на ул. Воинова (теперь – Шпалерная). Манера вглядываться в предъявляемые служебные корочки и даже записывать фамилию – у меня была (не знаю – откуда).

После общего “зондажа” (мол, желаем познакомиться..., и как Вам работаете...) просьба – “помочь” профессионально, в качестве знатока и специалиста по “контент-анализу” (я так-овым слыл), в разработке методик идентификации автора по характеристикам текста. (Может, это была “легенда” ихнего интереса, а может и впрямь нуждались, хоть и вряд ли; словно из “В круге первом” сюжет...). Ну, для меня это был “подарок” – повод закатить мини-лекцию о контент-анализе, из которой явствовало что “не по адресу” обратились. КА имеет дело с массовыми, а не индивидуальными характеристиками; исследование тенденций, а не определение авторства... Вам нужно не к социологам, а скорее – к психологам или лингвистам, если не к криминалистам...

Ладно, “отбойрился”. Уже прощаясь, мой собеседник неосторожно предлагает “не разглашать” наш разговор. “Это как же не разглашать? Я обязан сообщить в партийные органы. У меня от партии секретов нет!”. – “Ну, Вы ж понимаете...” – “Не понимаю. Вы пришли ко мне за профессиональной консультацией... Почему я должен это утаивать?”. Тот ушел, недовольный.

Первым, кому я сообщил о поступившем предложении насчет “научного сотрудничества” был мой коллега, с которым у меня вполне доверительные отношения, причем он – партгрупорг отдела. Тот сказал: “Андрюша! Я понял. Молчу!”. Я ему: “Я не для того тебе рассказываю... Ты ж мой партийный руководитель!” – “И что же мне делать?” – “Наверное, сообщить секретарю партбюро... Впрочем, как знаешь”.

Через пару часов встречаю в коридоре своего бывшего зама по идеологии, ныне сменившего меня на посту партийного секретаря. Как-то он многозначительно на меня поглядывает... Я: “Ты что-то хочешь спросить?” – “Чего же ты мне сам-то не рассказал?” – “А, ну ты для меня высокое начальство! Я по инстанции...”. Из обмена мнениями стало ясно, что и райком партии следует информировать. Наверное, так он и сделал.

Уж не знаю как, но о беседе с бывшим секретарем партбюро нашего куратора с Литейного стало известно достаточно широко. Больше мы с ним никогда не встречались.

(А теперь: “проверка памяти”... Партгрупоргом отдела в ту пору, помнится, был... *ты!* Вспоминаешь? Если да, улыбнемся вместе. Если нет, будем считать, что я рассказал анекдот).

Несколько лет спустя со мной все было гораздо серьезнее. Когда охотились за материалами андерграундного экспертного опроса “Ожидаете ли Вы перемен?”, был пущен в ход весь арсенал средств “компетентных органов”, кроме разве что подбрасывания наркотиков... И при обыске в 1983 г. безуспешно

искали именно эти материалы, а вовсе не “Письма Любимым женщинам”. Мой экземпляр “писем...” забрали “на всякий случай”, а у Бориса Беликова (обыск – в тот же день) аналогичный экземпляр не тронули...

...Хорошо помню, как в Большом доме на Литейном, перед объявлением официального предостережения, мне почти без вопросительной интонации сказали: “Ну, своих опрошенных Вы, конечно, не назовете...”. Я счел уместным объяснить: “Конечно, нет. Это профессиональная тайна!” (А ведь не всех и знал!).

Сейчас уже вроде не актуально (хотя – как знать!..) но вбивание клина между “старшим” и “младшим” братьями (как никак – братья-соперники!), с одной стороны, и “высокомерная” постановка известных норм профессиональной этики выше подразумеваемых “государственных интересов” (“Вы ж понимаете!..”), с другой, в последние советские десятилетия оказывались довольно эффективными в “выстраивании” отношений с тогдашней политической полицией.

От мировоззренческого тоталитаризма к мировоззренческой «толерантности»

К какой философской школе, к какому философскому направлению ты себя относишь? Ты давно исповедуешь эту философскую религию или нашел ее относительно недавно? В любом случае, как ты относишься к марксизму? По-моему, ты один из немногих, кто читал фотокопии работ Маркса?

Твой вопрос вызывает у меня некоторое смущение: в самом деле, к какому “философскому направлению”, кроме марксизма, может отнести себя социолог, вышедший “из шестидесятых”, и кандидат философских наук 1970 года выделки? Мне бы не хотелось здесь отвечать слишком учеными рассуждениями о своей принадлежности к “философской школе”. Если одной фразой, то это было, думаю, движение от некритического представления о марксизме, как единственно правильном мироучении (которое, впрочем, должно развиваться, в соответствии со своей собственной “революционной сущностью”, полагал я со студенческих лет) к “трезвому” взгляду на марксизм, как на одну из множества философских систем, претендующих на объяснение мира, и, как всякая такая система, ограниченную в своих мирообъяснительных возможностях (думаю так сегодня). Если двумя словами, то это движение от мировоззренческого “тоталитаризма” к мировоззренческой “толерантности” и плюрализму.

То же, на более низком уровне общности, можно сказать и о теоретико-социологическом “кредо”, также эволюционировав-

шем от своего рода “фундаментализма” к “полипарадигмальности”. Думаю, что в этом отношении я вовсе не оригинален.

В центре моих первоначальных занятий “социологией прессы” (в аспирантуре и позже) стояли попытки создания марксистской версии “теории массовой коммуникации” и, думаю, в этих своих усилиях я был куда более истовым марксистом, чем тогдашние изготовители идеологической каши, предъявлявшейся, скажем, студентам факультета журналистики в качестве “марксистско-ленинского учения о печати”. С другой стороны, ортодоксальная “марксичность” моих теоретических опытов времен Кяэрику выглядела, пожалуй, несколько экзотично среди “нормальных” исследователей массовой коммуникации, предпочитавших (имевших возможность...) опираться на более “утилитарные”, частно-научные идеи западной социологии середины века.

Из работы начинающего социолога (1967):

“С развитием современных конкретных исследований в области эффективности прессы, радио, телевидения все острее ощущается необходимость в разработке понятийного аппарата теории массовой коммуникации в контексте марксистской социологии...”

Представляется неправильным распространенное толкование массовой коммуникации просто как одновременного обращения “одного ко многим”, обычно опосредованного совокупностью технических устройств (к этой дефиниции сводится большинство бихевиористских определений). Массовая коммуникация не есть технически оснащенное общение индивидов или “говорящего” индивида со “слушающей” массой. Субъектами общения здесь выступают социальные группы, выделяемые на уровне не ниже социального слоя или класса.

В каждом данном обществе с “массой” (классом, совокупностью классов, обществом в целом) “разговаривает” класс, принадлежащий к этой массе или антагонистичный ей (в капиталистическом обществе). Такова наша главная антитеза буржуазным концепциям массовой коммуникации.

Таким образом, всякий общественно-исторический тип массовой коммуникации оказывается процессом социально организованного обмена общественной информацией... одну из сторон которого составляет целенаправленное идеологическое воздействие на массы господствующей в данном обществе общественной силы (в социалистическом обществе в качестве такой силы выдвигается сам народ), а другая, эмпирически менее заметная сторона представлена обратным воздействием “адресата” на эту силу.

Взаимодействие понимаемых в указанном смысле субъектов в массовой коммуникации адекватно их взаимодействию

во всех иных сферах общественной жизни и, в конечном счете, определяется взаимоотношением этих субъектов в области экономики. Из социально-экономического устройства данного общества и реальных интересов господствующей в нем общественной силы, при учете всего многообразия опосредующих факторов, могут быть объяснены конкретные проявления классовости, партийности (или мнимой беспартийности) массовой коммуникации, степень объективности в освещении событий социальной жизни, природа эффектов идеологического воздействия на массы, характер и степень влияния общественного мнения на содержание и формы коммуникации и т. д...»

Да простят меня читатели этого интервью за столь странное автоцитирование. Но это куда информативнее, да и честнее, чем пересказывать или рассуждать о том, “откуда мы вышли” и т.п.

Впоследствии это теоретико-идеологическое построение получило развитие в “социологической модели массовой коммуникации”, элементами которой были: “социальный субъект 1”, “социальный субъект 2”, “средство массовой информации”, сама “массовая информация” и “массовая аудитория”. Первый субъект осуществляет информационно-пропагандистское (= массово-коммуникативное) воздействие на второго субъекта через свои институты (средства, органы) массовой информации, а второй субъект воспринимает воздействие первого через посредство своих собственных “институций” – массовых аудиторий.

Модель оказывалась универсальной, действующей как для буржуазного, так и для социалистического общества. Только для первого она “...особенно “прозрачна”, поскольку взаимодействующие социальные субъекты здесь суть не только разные, но и антагонистически противоположные классовые силы (буржуазия и трудящиеся массы, народ)” (это я цитирую уже последнюю из своих работ на эти темы – из сборника “Массовая коммуникация в социалистическом обществе”, Л.: Наука, 1979).

А своеобразие социалистической массовой коммуникации состоит в том, что “...здесь обнаруживается специфическое “тождество” социальных субъектов 1 и 2, оказывающихся одним и тем же субъектом, только взятым в разных аспектах: как субъект информационно-пропагандистской деятельности и как субъект восприятия и потребления массовой информации. В качестве первого выступает передовой класс или общество в целом, в лице своего авангарда – Коммунистической партии (! – А. А.). В качестве второго – общество в целом, широчайшие народные массы”.

Ну, и заключительный аккорд, из работы “зрелого” социолога (1979):

“...Прогрессирующее “слияние” обоих социальных субъектов массовой коммуникации по мере продвижения к развитому коммунистическому обществу не исключает, а предполагает сознательное регулирование, программирование деятельности по производству и распространению массовой информации, осуществляемое управляющими центрами субъекта-общества в его интересах. Соответствие последним обеспечивает, в конечном счете, реализацию идеальной модели, выдвинутой еще молодым Марксом, применительно к исторически первому средству массовой информации и пропаганды: свободная пресса – это “язык народа обращенный им к самому себе” (Маркс К., Энгельс Ф., Соч., т. 1, с. 44).

Итак, массовая коммуникация есть язык общества, обращенный им к самому себе. Общество становится действительным хозяином своего “языка”, поскольку сбрасывает с себя пути социального порабощения и неравенства и обретает способность контролировать условия собственной жизнедеятельности...”

В начале 70-х предполагалось, однако, не состоялось издание моей книги под названием “Язык общества, обращенный им к самому себе”. Академикам – членам редакционно-издательского совета АН СССР показалась (и, пожалуй, не без оснований...) слишком вычурной апелляция к молодому Марксу в заглавии. В 1973 году та же рукопись, но уже под скромным названием “Средства массовой информации”, успела пройти все стадии редподготовки в Ленинградском отделении издательства “Наука”. Как вдруг – скандал вокруг книги Эльмара Соколова “Культура и личность”, вышедшей годом раньше в том же издательстве, и резкое повышение научно-идеологической бдительности.

Издательское заключение на рукопись моей книги, подготовленное после экстренного дополнительного рецензирования, завершилось словами: “...Увлечшись конструированием “специальной социологической теории массовой коммуникации”, он (автор. – А. А.) уже на исходных позициях выпустил из вида значение общей социологической теории – исторического материализма...”

Вместо марксистского учения о базисе и надстройке... автор пытается вывести “модель” коммуникации на институциональном уровне, исходя из некой абстрактной общей структуры деятельности... Он строит свою теорию “субъект-1” и “субъект-2”, где сама целесообразная деятельность как особый момент исчезает, а под субъект-1 и субъект-2 можно подста-

вить или отдельные индивиды (*так!* – А.А.), или классы – схема работает в любом случае.

Как хорошо показал в своей рецензии на рукопись проф. В.Я. Ельмеев, это соответствует попыткам западных социологов растворить общественные отношения в деятельности, и все последующие совершенно верные рассуждения автора о классовой сущности массовой коммуникации, коренных различиях между социалистической и буржуазной прессой и т.д. изменить ничего не могут: все здание теории А.Н. Алексеева оказывается без марксистского фундамента, оно стоит на песке позитивистских концепций...

По вышеизложенным причинам мы считаем, что: работа А. Н. Алексеева издана быть не может, а поскольку речь идет не о частных недостатках рукописи, а о ее ошибочной методологической основе, это не позволяет говорить и о какой-либо доработке.” (сентябрь 1973).

В то время в советской общественной науке были представлены три “разновидности” марксизма: “творческий”, “ортодоксальный” и “дремучий”. Для последнего второй был не менее неприемлем, чем первый.

Ибо вышеприведенная последовательно марксистская концептуальная схема если не доказывала, то “намекала” на отсутствие “тождества” (чтобы не сказать противоположность...) интересов “социально-классовых субъектов 1 и 2”, отношения которых полагались лежащими в основе эмпирически наблюдаемого взаимодействия между СМИ и их аудиториями в социалистическом обществе.

Вообще, марксизм – такое большое и глубокое озеро, из которого множество рек вытекает (да еще переплетаются друг с другом по ходу течения). И вульгарный экономический детерминизм, и взаимоналожение социокультурных и политических факторов, и деятельность природа социально-исторического процесса, и подчинение личности “общественным интересам”, и “абстрактный гуманизм” (молодого Маркса).

...Никаких фотокопий работ Маркса я, разумеется, в руках не держал. Но вот немецкоязычными оригиналами, особенно ранних произведений, интересовался, а также пытался прояснить для себя некоторые термины из русскоязычного марксистского тезауруса, путем сопоставления их с соответствующими немецкими терминами, а также их переводами на английский и французский. (Это было в 70-х гг., в пору активного самоутверждения в нашем общественном сознании понятия образ жизни).

Оказывается, очень многое в советской социологии зависело от того, как были в свое время переведены на русский такие

использовавшиеся классиками немецкие слова, как *Tatigkeit*, *Verhalten*, *Verhältnis*, *Verkehr*, *Wert*...

Из понятий, более или менее обиходных в марксистском дискурсе (но и не только в нем, разумеется...), ключевыми для меня, от начала занятий социологией и до настоящего времени, были и остаются: *деятельность* и *субъект* (последний – не в сугубо-гносеологическом смысле: субъект – объект, а близко к тому, в каком сегодня употребляют термины “актор” или “агент”). Для освоения первого понятия существенным в 60-е гг. для меня было влияние Г. Щедровицкого, для включения же в активный оборот второго – влияние Б. Грушина (в обоих случаях влияние – заочное). В частности, из книги Грушина “Мир мнений и мнения о мире” (1967) было почерпнуто мною, автором “социологической модели массовой коммуникации”, представление о “коллективном”, или групповом социальном субъекте.

В своей недавно вышедшей работе “Современная теоретическая социология как концептуальная база российских трансформаций” (2006) В. Ядов пишет:

“Суть деятельностно-активистского подхода: отказ от идеи диктата “естественно-исторических” закономерностей социального прогресса в пользу утверждения принципа “социально-исторического” процесса, не имеющего жестко заданного вектора, ибо решающую роль в современных обществах играют деятельные социальные субъекты (*агенсу*), включая научно-технические открытия, социальные движения, легитимных лидеров, массы обычных граждан” (с. 7 указанной книги).

Похоже, что всю свою “социологическую жизнь” я так или иначе тяготел именно к этому подходу, и из классического марксистского наследия с давних пор извлекал именно его. (Кстати, и в методологии андерграундного экспертно-прогностического исследования “Ожидаете ли Вы перемен?” рубежа 80–90-х гг. он представлен достаточно ярко; см. “Драматическую социологию и социологическую ауторефлексию”: главу 1 – в томе 1, и главу 25 – в томе 4).

Из современных российских авторов отчетливее всего указанный подход реализует, мне кажется, Т. Заславская (своей “деятельностно-структурной концепцией” социетальной трансформации российского общества).

Весьма значимыми и перспективными для меня сегодня представляются опыты синергетической интерпретации общественных процессов. Ну, в отличие от деятельностного подхода, усмотреть “истоки” синергетического – в марксистской социально-философской традиции, пожалуй, невозможно.

Здесь замечу, что “разочарование” в марксизме, или его развенчание, как “всесильного, потому что верного” мироучения, было последним в цепи моих мировоззренческих разочарований от 50-х к 80-м годам: сначала – Сталин, потом – советский социализм, потом – социализм вообще и, пожалуй, одновременно, Ленин, и, наконец, – Маркс. Моей, пожалуй, индивидуальной особенностью, по сравнению с многими ровесниками, было относительно *замедленное* движение по ступенькам и относительно позднее восхождение на вершину этой “лестницы прозрения”.

...Что же касается все более безусловного обнаружения несоответствия социальной реальности марксистским схемам (о чем уже шла речь и ранее), то, кто как, а я долго не уставал искать тому те или иные “конкретно-исторические” объяснения (и оправдания...).

В качестве общего алгоритма таких оправданий (еще в конце 60-х гг.) для меня выступала, например, опора на французского марксиста Луи Альтюссера. Тот развивал идею о “сюрдетерминации” исторических факторов. Альтюссеру принадлежит броская формула: “*В истории исключение из правил есть правило правил*”. (Что-то вроде “идеальных типов” М. Вебера, которые никогда не реализуются “в чистом виде”...). Тем самым как бы снималась острота противоречия между марксистской теорией и исторической практикой...

Я сейчас, говоря о двух первых поколениях советских / российских социологов, выделяю «шестидесятников» и «шестидесятилетних». Ясно, оба названия, особенно второе, условны. Какое поколение тебе ближе? По мироощущению? Мне представляется, что родившиеся в 1929 году (и вблизи) верили в возможность улучшения социализма, те, кто родился в районе 1941 года – уже в это не верили, родившиеся вблизи 1953 года – считали социализм ошибочным типом устройства общества. Есть ли в таком поколенческом подходе правда?

О мировоззренческих различиях поколений существует большая литература. Я скажу только о социологах.

Я не думаю, что поколение моих старших коллег было в целом более наивным, чем мое или даже, чем поколение младших (сам я отношусь как бы к промежуточному между родившимися в конце 20-х и в начале 40-х поколению). Во всех этих профессиональных “когортах” наличествовал и определенный идеологический наив (постепенно улетающий...), и та или иная степень “двоемыслия”. Кроме того, существенной является историческая динамика, а также особенности семейной истории и индивидуальной биографии.

Я пытался рассказать о собственной идейной эволюции. У иных моих ровесников (да и старших...) эта эволюция могла заметно опережать мою.

Что же касается родившихся в 50-х, в частности, ровесников XX съезда, то они (обычно именуемые “семидесятниками”) никаких иллюзий уже пережить или нести в себе не могли. Они более прагматичны, так сказать, “сознательно адаптивны”, сугубо профессионально ориентированы и далеки от “прекраснодушия”.

(На этом месте набросок биографического интервью, перешедшего уже на темы собственной интеллектуальной биографии, обрывается. А. Алексеев).

Приложение*

Как сложилась идея драматической социологии? Я имею в виду и суть книги, и ее жанр, и термин...

Будем различать жанры — *исследовательский и литературный*.

Начну с первого. Драматическая социология, в моем понимании, это определенный способ (жанр...) исследования, в рамках того, что принято называть *деятельностно-активистским* подходом в социологии (ныне обретающем все больше приверженцев). Другая родовая характеристика “драматической социологии” — это принадлежность к тому, что называют *микросоциологией*. И, наконец, речь идет об одной из вариаций “субъект-субъектной” (в отличие от “субъект-объектной”), гуманистической, *качественной* (в смысле — “качественные методы”) социологии. В “драматической социологии”, как правило, имеет место *исследование случаев* (что вовсе не исключает амбиции социальных обобщений...). [2]

Указав на родовые признаки, обратимся к специфике.

Основным методом “драматической социологии”, по-видимому, является **НАБЛЮДАЮЩЕЕ УЧАСТИЕ**. В отличие от участвующего (или включенного) наблюдения, предполагающего максимальную “мимикрию” исследователя в изучаемой социальной среде (быть и поступать “как все”, наблюдая и фиксируя естественное развитие ситуаций и процессов), наблюдающее участие предполагает изучение социальных процессов и явлений через целенаправленную активность субъекта (исследователя...), делающего собственное поведение своеобразным инструментом и фактором исследования. Причем, в отличие от известных образцов социального эксперимента, в случае наблюдающего участия новые факторы вводятся не “извне”, а “изнутри” ситуации. Само введение этих факторов оказывается иногда импровизационным и не претендует на строгую процедуру.

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2006, № 5.

Особое место здесь занимает исследовательская практика так называемых **МОДЕЛИРУЮЩИХ СИТУАЦИЙ**. Под таковыми понимаются ситуации, отчасти организованные самим исследователем из естественных ситуационных предпосылок, в целях обнажения, заострения, в этом смысле — моделирования социального явления или процесса.

Лет 20 назад мне довелось — признаюсь, вовсе не в “научном трактате”! — провозгласить что-то вроде исследовательского кредо или девиза “драматической социологии”: **“познание через действие”**. (Можно сказать и еще лаконичнее: “познание действием” — формулировка А. Ющенко). Причем именно за счет “социологического действия” (понимаемого предельно расширительно...) достраивалось до триады известное различие социологической теории и социологической эмпирии. [3]

Еще один термин, уместный в этом контексте: **СОЦИОЛОГ-ИСПЫТАТЕЛЬ**. В “драматической социологии” обычно имеет место своего рода профессионально-жизненный, социально-личностный эксперимент (иногда говорят: “эксперимент на себе”, но это звучит слишком красиво).

Может быть, ты заметил, что первый из 4-х томов “Драматической социологии и социологической ауторефлексии” так и называется: “В поисках жанра”... Речь идет главным образом об исследовательском жанре.

...Но тут, пожалуй, стоит оговорить, что только к “действию” этот способ исследования не сводится, существенны еще и *“рефлексивная феноменологическая надстройка над наблюдениями-описаниями-идентификациями плюс контекстуальный анализ”*, как “саморазвитие метода наблюдающего участия” (формулировки Р. Ленковского). Уже сами по себе описания, “протоколы жизни”, они же — рабочие документы исследования, своего рода “полевые дневники”, являются неотъемлемым элементом исследования, как такового. [4]

Мне еще хотелось бы обратить твое внимание на отличие драматической социологии (в изложенном смысле) от “социологии действия” и “социологической интервенции” (по Турену). Дело в том, что туреновская *социология действия* — это не просто (не только) исследовательская практика. Здесь присутствует также момент социальной педагогики, своего рода “внесения сознательности в стихийность движения” (что подтверждается, например, опытом применения метода социологической интервенции в “студенческой революции” во Франции в конце 60-х гг. прошлого века).

Между тем, социолог-испытатель, как исследователь, не претендует на организацию “коллективной борьбы”. В случае наблюдающего участия исключено (запрещено!) всякое действие, которое не было бы продиктовано аналитической и/или деловой и/или смысловжизненной задачей (соответственно, комбинацией этих задач и мотивов). [5]

Другое необходимое размежевание — между “драматической социологией” (в изложенном смысле...) и *драматургической социологией* Ирвинга Гофмана. Должен, не без смущения, признаться, что о последней я до середины 90-х гг. и не слыхивал. Теперь же замечу, что если у Гофмана все социальные и межличностные интеракции интерпретируются

“в театральном ключе” (“Wir alle spielen Theater”...) [6], то в “драматической социологии” речь идет лишь об игровых моментах в поведении исследователя.

Термин ДРАМАТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ относится мною к тому “жанру” социологического изыскания, где происходит соединение (интеграция?) *практической деятельности, рефлексии и игры* (с социальным объектом...), которое в таком случае пытается осуществить социолог (он же — своего рода драматург и постановщик “социологической драмы”; не путать с “социодрамой”...). И еще одно, пусть не столь специфичное (поскольку, относимо, полагаю, и не только к обсуждаемому исследовательскому подходу) определение: “драматическая социология” — принципиально *диалогична* и *интерактивна* (это может быть диалог, взаимодействие исследователя и с непосредственным социальным окружением, и с социальными институтами...). То есть это — *коммуникативная социология*.

Теперь, насчет истории терминов. *Наблюдающее участие, моделирующие ситуации, социолог-испытатель* — вышли из писем-дневников социолога-рабочего начала 1980-х гг. Ставя тогда “социологическую драму” исследования производственной жизни изнутри, “глазами рабочего”, я испытывал своего рода эйфорию овладения новой жизненной (и профессиональной...) ситуацией и, можно сказать, фонтанировал новыми понятиями и оригинальными терминами. Среди них, например: *вынужденная инициатива* (“инициатива, направленная на предотвращение неблагоприятных последствий ее отсутствия”), *адапционное нормотворчество, социально-опережающее поведение*... В первых публикациях на эту тему говорил об опыте *экспериментальной социологии*... Выражение “драматическая социология”, кажется, было употреблено пару раз, но еще не как термин, а скорее метафорически.

Но вот в середине 90-х, при доработке рукописи книги об “эксперименте социолога-рабочего” (она вышла в издании Института социологии РАН в 1997 г.), я отказался от первоначально задуманного, слишком академичного названия — “Познание через действие”, и озаглавил свое сочинение (“без затей”...): “**Драматическая социология**”. Вскоре сообразил, что это может быть и терминологическим обозначением исследовательского подхода. Тогда ввел в предисловие обоснование (оправдание...) термина.

Не скажу, что термин идеально подходящий (так, “драматическую” недолго смешать с “драматичной”... а это, очевидно, разные вещи, хоть может и совпасть...). Но лучшего сам, наверное, уже не предложу.

Кажется, жанр исследования я охарактеризовал. [7] Теперь о “жанре литературном”, или о жанре книги “Драматическая социология и социологическая ауторефлексия” (в дальнейшем для краткости — “Драматическая социология ...”), вышедшей в 2003-2005 гг.

Все четыре тома этой не совсем академичной книги по существу являются собраниями (композицией...) документов. Документы личные и публичные; житейские, деловые, научные... Хотя личное пись-

мо, хоть дневник (“протокол наблюдающего участия”), хоть справка или обращение в официальные органы, хоть газетная заметка или научная статья — любой письменный “след” биографии и истории, будучи поставлен в определенный контекст, может обрести смысл *социологического свидетельства*. Сама же по себе композиция (отбор свидетельств и расположение их в определенных сочетаниях и последовательности, своего рода *монтаж*...) выступает способом первичной концептуализации, а в определенной мере — также и анализа и осмысления.

К особенностям такого “документально-социологического” жанра относятся множественность и “столкновение” различных приемов описания и индивидуальных интерпретаций, будь субъектом описания или интерпретации сам автор — в разное время! — или же другие люди, которым предоставляется слово на страницах книги:

Иосиф Бродский не однажды отмечал главенствующее значение *композиции*, этого “драматургического принципа”, во всяком творчестве. Не удержусь, чтобы не процитировать его письмо другу (Я. Гордину) из ссылки (1965):

“...Сознаюсь, что чувствую себя больше Островским, чем Байроном. (Иногда чувствую себя Шекспиром). Жизнь отвечает не на вопрос: что? — а: что после чего? И перед чем? Это главный принцип. Тогда и становится понятным “что”. Иначе не ответишь. Это драматургия. Черт знает почему, но этого никто не понимает. Ни холодные люди, ни страстные...” (Гордин Я. Переключка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб.: Изд-во “Пушкинского фонда”, 2000, с. 137-138).

Мне кажется, что адекватным способом представления результатов исследования в жанре “драматической социологии” является именно композиция (иерархия композиций, или “композиция композиций”...) материалов этого исследования. Причем жанр “Драматической социологии...” (книги!), предполагает попытку сюжетного выстраивания произведения, где результаты исследования предстают не готовыми, а развивающимися в процессе их получения. (В данном случае сквозным сюжетом оказался “эксперимент социолога-рабочего”, продолжавшийся с 1980 по 1988 г., с включением множества побочных, “привходящих” жизненных и исторических сюжетов и обстоятельств).

Некими прообразами, или первыми подступами к этому жанру для меня оказались... тематические папки личного архива, где документы обычно располагаются в хронологическом порядке. Тематико-хронологическим является и принцип построения “Драматической социологии...”.

Стоит отметить, что при всем разнообразии текстов, составляющих “строительный материал” книги, пожалуй, преобладающими и ведущими являются именно *письма*, адресованные, как правило, конкретному лицу, но сочетающие при этом элементы коммуникации другому лицу (“письмо”), самому себе (“дневник”) и для других (“статья”). [8]

И еще об одной важной, как я считаю, жанровой особенности. Это практика сопровождения документов прошлого (включая собственные тексты автора...) или даже отдельных пассажей из этих документов авторским комментарием “из сегодня”. Я называю эти комментарии *ремарками* (тоже, кстати сказать, из драматургического лексикона...). Однако именно документы прошлого, “жизненные свидетельства” и т. п. составляют основной корпус книги такого жанра (а ремарки, иногда и весьма развернутые, — по мере необходимости!). В этом, кстати, принципиальное отличие от *мемуаров*, где документы присутствуют в лучшем случае в качестве эпизодических цитат.

Всю эту многосложную структуру, переплетение *сюжетов, времен, жанров*, автор полагает уместным прозрачно представить в подробном оглавлении, которое выступает в качестве также и своего рода путеводителя. Ибо рассчитывать на то, что кто-либо согласится читать, к примеру, свыше 2000 стр. “от корки до корки” не приходится. Но каждый читатель, взяв такую книгу в руки, может поискать в ней для себя полезное или интересное.

При изобилии *со-авторов* (они же — чаще всего — *со-акторы*, со-участники описываемых в книге событий, наряду с самим “социологом-испытателем”) книга разрастается в объеме, вопреки авторскому желанию. И лично я испытываю некоторую неловкость перед читателем за излишне толстые тома. Но так уж получилось...

В известном смысле, есть у этой книги образец, которому, автор, может, и следовал бы, кабы сам не “додумался”, а точнее — нашел, нащупал (хоть и не столь совершенное, а свое...). Это “исповести” нашего старшего современника философа и культуролога Георгия Гачева.

Его “Семейная хроника” (1994), как, впрочем, и почти все его произведения, построена как “перепечатка” записей одного периода жизни, комментируемых по ходу дела им же самим, “сегодняшним”. И получается: диалог с самим собой. Вот как Г. Гачев объясняет — “идею принимаемого труда, а с нею — и метода”:

“...Конечно, совершившиеся на ходу записи тех лет (1969-1971. — А. А.) имеют ценность неисправимой достоверности, я их ретушировать не буду, править слог и благообразить: в них именно и характер (“персонаж — это стиль!” — так бы хотел, афоризм даже предложить, но вспомнил, что почти повторяю Бюффона: “Стиль — это человек” — что же! — и слава Богу, подтверждение... Хотя я имею в виду еще и то, что персонажами литературного произведения и текста могут быть его стилистические пласты), и дух места того времени, и аромат жизни. Разумеется, придется выбирать, не все давать (место не позволяет и то, что я еще живой); но то, что дается, идет как было написано, честно. Если же я буду вступать в диалог с самим собой или комментировать, то новые мои слова будут обозначены своими датами. Двухголосие выйдет. Втора...” (Г. Гачев. Семейная хроника. Лета в Щитове (исповести). М.: Школа-пресс, 1994, с. 10).

Так именно поступал и я. Как видно, в жанре “Драматической социологии...” автор далек от первооткрывательства. Все мы — так или

иначе — “изобретатели велосипедов”... Хотя в рамках нашей социологии и можно, пожалуй, говорить об определенном “ноу-хау”.

Пожалуй, мне следует остановиться, чтобы не злоупотребить твоим приглашением поговорить о жанрах “драматической социологии” и/или “Драматической социологии...”. Что здесь не успел сказать — можно найти в предисловии и в заключении моей книги, а также в соответствующем разделе тома 2: “Что сказать мне удалось — не удалось”.

...Когда-то, в 1970-80-х гг., мы с тобой увлеченно занимались социологией театра. На любого из нас, социологов — участников группы “Социология и театр” при Ленинградском отделении Всероссийского театрального общества — прикосновение к этой сфере, думаю, наложило свой отпечаток. По крайней мере для изобретателя (автора, адепта...) “драматической социологии” в этом сомневаться не приходится.

Хорошо. Но можно ли сказать, что драматическая социология это, кроме всего твоею перечисленного, и определенный жанр твоей жизни?

Да, рискну добавить к сказанному еще одно, пожалуй, даже “нескромное” определение: драматическая социология как... своего рода *стиль* (тоже жанр?..) *жизни!*

В какой-то момент (похоже, в конце 70-х — начале 80-х), в частности, у будущего автора (изобретателя?.. открывателя?..) “драматической социологии” произошла этакая оригинальная сверхидентификация с профессией, когда собственная жизнь стала восприниматься как *объект* и *инструмент* (обрати внимание — и то, и другое!) некой социологической штудии. Социология стала жизнью, а жизнь — социологией.

Интересно, что вместе с тем это было и своего рода “выходом за рамки...”, “выпрыгиванием...” из профессии, ибо решение неких жизненных, сугубо практических задач (запуск ущербного станка или оборона от гебешного наката или еще что...) лишь с изрядной долей условности можно трактовать как тематизированное “социологическое исследование”.

Единственное, что вроде бесспорно, это что то были акции если не исключительно, то *также и* социально-познавательные. (А не есть ли вся наша жизнь — в известном смысле — познание мира и себя, или себя и мира?). А тут уже поле не только для “драматической социологии и социологической ауторефлексии”, но и для **драмы социального миро- и самопознания.**

Я это сейчас к тому, чтобы избежать абсолютизации или фетишизации социологического знания, как такового. Т. е. не обязательно быть социологом для постановки ауто-экспериментов и т. п. Равно как и “драматическая социология”, разумеется, есть лишь предельный (маргинальный?..) случай социологического подхода, переходящий в нечто совсем иное (не только не социологию, но даже, может, и не науку... А во что?!)..

Твоя «драматическая социология» – это одновременно и автобиография, и «просто» биографическая книга, которую пишешь как бы не ты, но о себе. Я читаю твои тома с большим интересом, они стимулируют мои поиски. Но на один вопрос я не могу сам ответить... может, ты ответишь?

При изучении биографий и творчества моих героев я стараюсь увидеть сделанное ими как функцию их жизни в определенной среде. Можно ли сказать, что постижение себя, или не себя, но человека, очень похожего на тебя, стало в какой-то момент главной научной целью твоих изысканий? Т.е., еще не зная того, что тебе предстоит написать (создать) «драматическую социологию», ты начал постигать реальность, действуя в ней, и испытывать себя, участвуя или не участвуя в происходящем. Другими словами, «драматическая социология» – это и процесс твоей деятельности (т.е. внутреннее, или «автобиография»), и главный результат твоей работы (т.е. «биография»).

Твои рассуждения о связи особенностей жизненного процесса (биографии...) и специфике творческого результата (включая научные результаты...), точнее — о зависимости второго от первого, в социокультурном контексте, мне вполне созвучны.

Вообще, как ты мог заметить, я являюсь адептом “личностного знания” М. Полани. [9] А Вернадскому, между прочим, принадлежит замечание о том, что “познать научную истину... можно лишь жизнью”.

...У великих Дэвида Огилви и Джорджа Гэллапа, о которых ты много пишешь, жизнь и творчество все же не совпадают, хоть первая и есть “база творчества”, “резервуар стимулов” и т. д. У других великих (воздержусь от примеров...) “взаимоналожение” того и другого гораздо сильнее, в пределе — процесс (жизни...) и результат (творчества...) неразрешимы.

О себе скажу так: осознание собственной жизни как своего рода объекта или предмета “включенного наблюдения” (а, в силу определенных особенностей жизненной позиции, и “наблюдающего участия”...), у меня возникло где-то в конце 70-х. В самом уходе из института на завод экзистенциальный мотив поначалу все же преобладал над профессионально-социологическим (впрочем, вскоре они сравнялись по значимости...). Но в качестве социолога, каковым я продолжал себя считать, мотив само-познания уступал мотиву миро-познания. Так мне сегодня это ретроспективно видится.

Иначе сказать: хотелось бы все-таки думать, что “драматическая социология” преследовала цель не только и не столько “постижения себя” (для этого не надо быть социологом...), сколько постижения мира, социальных явлений и процессов и т. п. И содержательным результатом явилась не только и не столько “биография”, сколько картина социального мира, полученная специфическими “автобиографическими” средствами. Насколько картина эта “научна”, “объективна”, “достоверна” — другой вопрос... Демонстрация возможности и потенциальной эффективности такого способа социального (социологического?..) познания (разумеется,

в сочетании со всякими другими!..), возможно, есть главный методологический результат “драматической социологии”.

Признаться, этому методологическому результату я придаю значение не меньшее, а даже большее, чем содержательному. Не думаю, что с помощью “автобиографических” средств мне удалось открыть неведомые ранее социальные закономерности, но вот новый подход к их постижению, пожалуй, предложен и апробирован.

Примечания

1. *Алексеев А. Н.* Драматическая социология и социологическая ауторефлексия. Тт. 1-4. СПб.: Норма, 2003-2005.
2. Как замечал Гете, “хорошо увиденное частное может всегда считаться общим”.
3. Автостенограмма выступления на отчетно-выборном собрании СЗО Советской социологической ассоциации 1987 г. полностью приводится в конце настоящей публикации.
4. Один коллега пытался меня убедить, что без “протокола” (т. е. оперативной фиксации наблюдений) можно обойтись... Вот тут, мне кажется, и пролегал грань между *наукой* и *не наукой*, или, точнее, между эмпирическим исследованием и иными формами познания.
5. Хотя в определенных обстоятельствах может возникнуть *самоорганизация* окружения социолога-испытателя вокруг предмета его исследования. (Наглядный пример — “дело” социолога-рабочего, рассматриваемое в настоящей публикации ниже).
6. Дословно перевести с немецкого затруднительно. Ближе всего к этому известное : “Весь мир — театр...”
7. Хочется также воспроизвести здесь одну из самых ранних характеристик исследовательского подхода, или *метода* “драматической социологии”, из писем-дневников 1980 г.:

“...В чем специфика моего исследования (да, пожалуй, и способа жизни сегодня)? Уже приходилось высказываться против **включенного наблюдения** в пользу **наблюдающего участия** (метода близкого к социальному экспериментированию). Так вот, меня интересуют прежде всего не высказывания, не мнения и даже не факты, индивидуализированные или массовые, а — ситуации, имеющие достоинство модели. *Моделирующие ситуации*.”

“В каждой луже — запах океана, в каждом камне — шорохи (или “веянье”? — не помню!) пустынь” (Н.Гумилев).

Но чтобы в капле лучше отразилось море, полезно ее сгустить. Можно сгустить силой художественного воображения, как в искусстве... Силой так называемого домысла к факту, как в публицистике... А можно сгустить — в самой жизненной практике, собственными действиями, способствующими превращению заурядной ситуации в моделирующую.

Оригинальный жанр творчества, которому можно найти аналог разве что в Театре. Но там пока еще остается какой-то барьер между сценой и зрительным залом. Да и зритель — хоть и “сотворец”, но не со-автор и не со-актер... В театре — сначала пишут

(драматург), потом ставят (режиссер), потом играют (актеры) и сопереживают (зрители).

А тут все перемешано! И даже отчасти наоборот: сначала играют (иногда — не успев как следует срежиссировать), а потом пишут, осмыслиют. **Сначала действие, потом текст** (ну, хотя бы этот)....” (Цит. по: Алексеев А. Н. *Драматическая социология и социологическая ауторефлексия*. Том 1. СПб: Норма, 2003, с. 178-179).

8. *Алексеев А.Н.* Дневник, письмо и статья как соотносительные формы коммуникации / XII Любичевские чтения. Ульяновск : Ульяновский гос. педагогический университет, 2000. Эта работа включена и в книгу: А. Н. Алексеев. *Драматическая социология и социологическая ауторефлексия*. Том 1..., с. 299-303.
9. *Полани М.* Личностное знание. На пути к посткритической философии. М.: Прогресс, 1985.



Артемов В. А. – окончил философский факультет МГУ, доктор философских наук, Институт экономики и ОПП СО РАН, Академгородок (Новосибирск). Основные области исследования: социология времени, бюджеты времени, методология и методика социологических исследований. Интервью состоялось в 2008 г.

По возрасту Виктор Андреевич Артемов мог бы быть отнесен к старшим представителям третьего поколения советских/российских социологов. Но его жизненная траектория и прежде всего его вхождение в социологию более сближают его с теми, кто принадлежит ко второму поколению. Когда он учился на философском факультете МГУ, по его словам, «ничего специально социологического не было», но «оно» чувствовалась в «воздухе» и начало

появляться в практике. Это ощущение возможностей новой науки и увлеченность спортом стали основой его первых самостоятельных конкретно-эмпирических работ. Благодаря счастливому стечению внешних обстоятельств и его личного обостренного отношения к времени, ему довольно быстро удалось найти направление исследований, которое можно охарактеризовать тремя сложнейшими категориями: «время», «общество» и «человек». Эту область социологии он успешно разрабатывает свыше срока лет и заслуженно признается одним из ее первопроходцев.

Воспоминания Артемova обогащают видение становления современной социологии, расширяют географию этого процесса и фокусируют внимание на деятельности людей, о которых пока мало сказано в специальной литературе. В частности, о Г.А. Пруденском, статья которого о свободном времени в социалистическом обществе («Коммунист», 1960, №15), по свидетельствам И.С.Кона и В.А. Ядова, дала импульс развитию ленинградской социологии.

**В.А. Артемов:
«ВРЕМЯ БЫЛО
МОИМ ГЛАВНЫМ
РЕСУРСОМ...»***

Виктор, когда и где Вы родились, где прошло Ваше детство, юность? Пожалуйста, расскажите о Ваших родителях, школьных годах...

Родился я 28 мая 1938 г. в одном из старейших российских городов Муроме Горьковской (ныне Владимирской) области в семье служащего. Отец тогда работал начальником Муромского торгова, мама занималась домашним хозяйством. Был третьим ребенком в семье. Мама и отец выросли в деревне, старшие брат и сестра тоже родились в деревне недалеко от Мурома, я оказался единственным в семье «городским», чем очень гордился, хотя особого смысла в это определение не вкладывал.

Примером для меня в разных отношениях был отец Андрей Иванович, хотя он со мной почти не общался из-за своей занятости на

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 5. С. 2–14

работе. Образование – два класса и несколько профессиональных курсов потом. Из крестьян. Плотник, столяр, еще в молодости начал работать в Муроме на текстильном комбинате и был выдвинут там на торгово-снабженческую работу. Член партии с 1931 г. Честный, работающий, умелец. Своими руками срубил два дома для себя (их, правда, приходилось продавать из-за двух переездов), посадил и вырастил отличный сад, вырастил двух сыновей и дочь. Так что с лихвой выполнил «долг мужчины»: дом, дерево, сын. Отец отдавался работе, благо что тыл в лице мамы был крепким. Работал без выходных, с утра до вечера, ведь торговые организации имеют, как правило, удлиненный режим работы. Для него время было одним из главных средств, методов руководства. Когда я был маленьким, я спал, когда он уходил и приходил; когда стал постарше, я спал, когда он уходил, и он спал, когда я приходил.

Он был для меня примером трудолюбия, честности, заботы о людях, неприятия какого-либо чванства, высокомерия в отношении с другими: соседями или сослуживцами. Он проработал 30 лет в торговле, а я помню, как маленьким еще прятал лепешки в шкаф на тот случай, если нечего есть будет, а я смогу немного помочь своими «запасами». Очень завидовал – это было уже в 6 классе – однокласснику, кстати, сыну директора фабрики, который на сбор пионерской дружины приходил в белой рубашке, а у меня была перешитая мамой из чего-то – в полоску. То есть ни заметных денег, ни «натуры» работа отца в торговле семье не давала. Как, впрочем, и большинству других работников. Что от отца «поступало», когда он работал в войну в заводском ОРСе, так это очистки от картошки для поросенка и коровы, которых мы тогда держали. За ними с санками я ходил в столовую.

В армию его не взяли из-за скрюченных пальцев на обеих руках (это перешло «по наследству» всем троим детям). Хотя в молодости был на срочной службе и даже предложил использовать колесо для установки пулемета при стрельбе по воздушной цели. А дом, перевезенный перед самой войной из деревни, отец достраивал, когда вышел на пенсию.

Мне запомнился один случай, когда отец воспользовался своим положением, работая начальником Военторга. Не помню, платил он за работу или нет. В 7–8 классах я ходил в школу в отличных офицерских сапогах. Дома от моего дяди-летчика долго лежали заготовки, и отец заказал в мастерской Военторга сшить из них сапоги мне. Вот я и «форсил» две зимы в этих сапогах. Мне разрешалось не ходить зимой на физкультуру (для лыж подходили только валенки), и всегда было жарко зимой. Я по пути в школу и домой неоднократно

«навертывался» так, что в жар бросало, и не без приземлений, конечно. Может быть, еще тогда у меня выработалось умение, даже автоматизм движений при неожиданном падении (укрепившийся на лыжных спусках), что неоднократно помогало мне избегать сильных травм при очень серьезных падениях.

Мне не «достались» искусные руки отца (их унаследовал с большим прибытком старший брат, хотя и далеко-далеко не в полной мере реализовал в жизни), но было всегда стремление делать хорошо то, что умеешь, в полную силу своих возможностей. Для меня этим делом стала учеба, а потом исследовательская работа.

Вырос я с мамой, Марией Михайловной, «беспартийной большевичкой» как она себя иногда называла. Окончила начальную школу (3 класса): из всей большой деревни в классе было только две девочки. На маме был весь дом: живность, когда ее держали (только одни поездки на лодке на другой берег Оки два раза в день для дойки коровы в любую погоду чего стоили), огород, покупки и питание, ремонт и шитье одежды, наше здоровье и болезни. У отца был отличный тыл. Если честно, то на мне почти не было домашних забот, была мама, старшие брат и сестра. Меня называли «маменькиным» сынком. Хотя никакого баловства не было и в помине. Но оторваться от нее я просто боялся. Поэтому на каникулы не ездил ни в деревню к бабушке, ни в пионерский лагерь, кроме одного раза, когда там работала сестра. И вообще тогда первый раз уехал из дома.

Родители для меня были образцом. Их труд для семьи и для других тоже, честность, порядочность, без всякого высокомерия, доверие сделали мое детство и юность спокойными, насыщенными, в меру самостоятельными и в целом успешными. Это оказалось фундаментом всей моей последующей жизни.

Как сложилась жизнь Вашего брата и сестры?

Брат был, как мама говорила, «поводливым», т.е. шел за кем-то, не всегда правильно оценивая и своих «друзей» и свое поведение. Дошло до того, что бросил школу, попал в компанию эвакуированных, стал поворовывать, начав со своего дома. Но мама довольно быстро это заметила, и отец устроил его на завод. Брат был очень талантлив «на руки», да и голова в общем-то соображала в конкретных делах.

Он отлично рисовал, и мама даже договорилась с эвакуированным художником, кажется из Ленинграда, об уроках. Но Саша, сходяв несколько раз на занятия, не стал их продолжать. На заводе 15-летним мальчишкой быстро освоил токарный станок прямо в цехе и перевыполнял нормы, за что,

похоже, и был однажды сильно побит. Рвался в школу юнг. Но не прошел медкомиссию из-за слуха. По этой же причине, при содействии отца, его перевели из цеха, где было очень шумно, в конструкторское бюро, он стал прекрасным чертежником.

Участвовал в лыжном переходе Муром-Владимир (120 км), посвященном Дню Красной Армии, с буханкой хлеба запашухой. Похоже, этот переход стал для него толчком: он серьезно занялся лыжами и в 1948 г. стал чемпионом РСФСР среди юношей. Ну и дальше пошла его спортивная жизнь как спортсмена и тренера. В каких только видах спорта он не участвовал: лыжи, легкая атлетика, велосипед, плавание, штанга, стрельба... Но главными были длинные дистанции в беге и лыжи, по которым он входил в сборные команды всесоюзного "Спартака". Главная цель была – стать мастером спорта СССР, и он ее добился. Он много работал тренером по лыжам и легкой атлетике, будучи самоучкой. Бросив школу еще в войну, все-таки закончил семилетку и уже в возрасте поступил и окончил Высшую школу тренеров в Малаховке. У него начал путь к золотой олимпийской медали А. Прокуроров.

Для меня брат был примером в спортивном отношении. Хотя непосредственный толчок к активным систематическим занятиям дал один из моих одноклассников в десятом классе, тренировавшийся у брата. За что я ему очень благодарен до сих пор.

Сестра хорошо окончила школу и делала две попытки поступить в Тимирязевскую академию. Но немного не добирала баллов, "подводил" русский язык. В итоге окончила Муромский учительский институт, а потом заочно - педагогический. И до пенсии работала в школах, а потом в техническом училище – преподавателем истории и других общественных дисциплин. Живет в Муроме.

Что еще Вам помнится о семье?

В семье отмечались три праздника (дни рождения не отмечались вовсе): Первое мая и годовщина Революции («октябрьская» как говорили отец и мама) отмечались попеременно у нас и у маминого дяди – брата дедушки, и, конечно, Новый год, к которому обязательно наряжали ёлку. Первые два праздника запомнились мне двумя «моментами». Во-первых, застольными песнями: русскими и украинскими, где особенно выделялся отец, во-вторых, тем, что гостей приходилось чуть ли не тащить на другой конец города: выпить любили, но выпивку, как правило, не выдерживали.

Жили мы в деревенском районе города, в том смысле, что практически все дома здесь были деревенского типа: деревянные с печным отоплением, сараями, огородами и садами.

В доме не было икон, мама не ходила в церковь, а об отце и говорить нечего. Мое детское восприятие церкви связано со смертью. Именно тогда, когда где-то вблизи умирал старый человек, появлялся священник в черном облачении. Это рождало во мне труднообъяснимый страх. Никто со стороны мне его не внушал. Недалеко от дома была церковь, не разрушенная, но потрепанная. И сохранившиеся росписи, их ненатуральность, в смысле непохожести на обычных людей, тоже вызывало острое чувство неприятия и даже страха. Честно сказать, эти первые детские впечатления сохранились до сих пор. Добавилось только сознание, что религия, церковь, служители – “третий лишний” для нормального человеческого общества, для межличностных отношений, которые в этом обществе – суть, главное. Я имею в виду то общество, к которому, по моему мнению, идет развитие.

Могу ли я Вас в связи с этим спросить о Вашем отношении к попыткам ряда современных российских социологов развивать русскую социологию как «православную социологию»?

Русская социология должна быть русской, по определению. А православие?

Оно как один из видов сознания, поведения, ценностей. Я вообще не сторонник слишком расширительного списка «социологий». Их и так слишком много. А заменить русскую социологию на православную могут только церковные чины(овники) или чиновники научные. Создавать сейчас «православную социологию»? Меня, например, просто шокировало, что в годы почти полного ограбления народа золотили Кремль, а патриарх не сделал свое облачение поскромнее. А вот социологически изучать изменение положения и восприятия религии и церкви в советский и особенно в постсоветский периоды считаю очень важным делом.

Пришло время спросить Вас о школе...

В сентябре 1945 г. я пошел в первый класс в начальную школу №3, которая была в 150 метрах от дома. Читать я научился немного раньше школы и даже написал печатными буквами одно или два письма дяде-летчику. А образцом были название и крупные заголовки газеты «Правда», которую выписывал отец.

Учился без проблем, кончал на «пятерки», хотя похвальную грамоту получил только за 2-й класс, когда основную учительницу временно заменяла другая. Писал очень коряво. Желание и, кстати, умение писать аккуратно и относительно красиво пришло в девятом–десятом классе, и так там и оста-

лось. За все четыре года не было ни одного урока физкультуры, рисования: некому было их вести. Заменой были «арифметика» и «письмо». Здесь же был принят в пионеры. Но на пионерские сборы мальчишек не всегда пускали, там были одни девчонки. А мы с улицы, стоя на фундаменте, смотрели в окна, что они там делают.

Книг в доме не было, кроме "Стенографического отчета 17-го съезда ВКП(б)" и "Краткого курса истории партии". Возможно, что-то было до войны, но неоднократные переезды сказались на их наличии. Известно, что в военные годы книгоиздательство было очень ограниченным, безусловно, сказывалась и скудость средств. Деньги были только на самое-самое необходимое. Все-таки работал один отец (брат стал работать в 1943 г., а нас было пятеро). Брат любил читать и пользовался заводской библиотекой, которая была невелика.

Поскольку дома и в школе книг не было, то я стремился в детскую городскую библиотеку. Туда записывали не раньше окончания первого полугодия в первом классе. И вот после Нового года отец записал меня в библиотеку, заплатив в виде задатка 25 рублей – вполне приличные деньги по тем временам.

Я стал очень активным читателем. В начале каждого года в библиотеке была перерегистрация: заводились новые читательские карточки с новым номером – по очереди. И у меня возникло желание иметь первый номер. Для этого надо было придти первым в первый день перерегистрации. Вот я и пришел рано утром и оказался первым. Но подошли ребята постарше и лишили меня "первенства". Драться с ними я, конечно, не мог, а смог только заплакать. Но помогли "свидетели", подтвердив библиотекарше, что первым был я. Так и стал иметь карточку №1. И чувствовал удивление–восхищение стоявших за мной ребят, когда на вопрос библиотекарши при обмене прочитанной книги на новую, какой у меня номер карточки, отвечал - первый. Первый номер оставался за мной вплоть до седьмого класса, после которого мы "переходили" во "взрослую" библиотеку этажом выше. А оставался он за мной, потому что я был не только активным читателем, но и усердно помогал библиотекарше: принимал и выдавал книги, занимался их мелким ремонтом.

Во время экзаменов я библиотеку не посещал, но новые поступления "ждали" меня уже в каникулы. Моя помощь в библиотеке "оплачивалась" не только карточкой под первым номером, но и "правом первого чтения" новых книг, поступавших в библиотеку.

Так что в средних классах после экзаменов я наслаждался плаванием на Оке, уличным футболом и чтением. Особенно

любил историко-документальную и художественную литературу: “Рудознатцы”, “Боевые корабли”, “Щит и меч”, “Тайна китайского фарфора” и др., серию фантастики и приключений (Ж. Верна, А. Адамова, А. Дюма и др.), А. Гайдара.

В раннем детстве дома и на улице меня звали Виталиком. Учительница в первом классе подписывала мои тетради: “Ар-тёмова Виталия”. А мне не нравилось это имя: какая-то слащавость, слабость слышалась мне в нём, и казалось, что это не моё имя. Я попросил показать моё свидетельство о рождении. И там было имя Виктор. То есть то, что мне надо было тогда, и сейчас тоже, четкое, твёрдое и к тому же – “победитель”.

Из первого класса до окончания десятого не доучился со мной по разным причинам никто из мальчишек, из “второклассников” – двое. Из девчат таких было чуть больше, но они после четвертого класса учились в женской школе. Мальчишек же первый и единственный раз перевели не в семилетнюю, а в 16-ю среднюю мужскую школу, единственную в основной части города. И мы составили основу 5 “Ж” класса с очень разными “добавками”.

Надо подчеркнуть, что в сентябре 1949 г. встретились очень сборный класс, один из самых “трудных” из семи пятых, и выпускница-отличница Муромского учительского института, перед самым началом учебного года отметившая свое двадцатилетие Зоя Михайловна Дорофеева. Она вела у нас русский язык и литературу и была классной руководительницей до 10-го класса включительно. Класс еще несколько раз “собирался” при сохранении более или менее постоянного ядра.

И сейчас, по прошествии стольких лет поражаешься той девической мудрости, такту, которые вместе с ответственностью, чувством долга, любовью, уважением к нам – мальчишкам, подросткам, юношам проявила наша учительница уже в первые годы своей самостоятельной деятельности.

Был я старостой класса с пятого по 10. Это было непросто, особенно в средних классах, когда кто-то слишком озоровал или даже шкодничал. А я вроде бы должен был “докладывать”. Однажды в седьмом классе я получил прямой “заказ” от нашего математика. Он спросил меня на перемене, кто мешает ему на уроке. Такого я не мог сказать “втихаря”. И ответил: “Приходите на классное собрание, и если никто не признается, то при всем классе скажу, если знаю”. Продолжения этот случай не имел. Но были собрания, где мне приходилось говорить о тех, кто мешал вести уроки или их воспринимать. И однажды был все-таки побит, причем не одноклассником, а по его “заявке” кем-то со стороны. Но разборка в классе окончательно сняла с меня такую “нагрузку”. Все знали мою позицию и не

прятались, если что-нибудь натворили, сами признавались. Естественно, и случаев таких почти не стало. Тем более взрослые. И мне легче стало, когда каждый отвечал сам за себя; что и требовалось.

Могу честно сказать, что не обладал я какими-то заметно выраженными способностями: ни памятью, ни художественными, ни "ручными", ни математическими, ни спортивными. Но, кажется, и явной их нехваткой тоже – ни в одной из дисциплин, кроме рисования. К тому же был, в общем-то, физически хилым. Часто до слез болели ноги, и мама натирала их нашатырным спиртом. А в старших классах добавилась голова, когда я перестал летом играть в футбол, зимой просто кататься на лыжах, а учебой занимался очень много.

За счет учительской и своей собственной работы был "отличником", хотя и не "круглым". Восемь классов из девяти оканчивал с похвальной грамотой, кроме восьмого. Тогда от своей любимой учительницы – классной руководительницы получил на уроке "двойку" за невыученное наизусть по литературе. А в школе было правило – текущая "двойка" – значит за четверть не выше "тройки", тройка за четверть – значит за год – не выше "четверки". И нет похвальной грамоты.

Но именно как похвалу не только мне, но и моим учителям я воспринимал вопрос экзаменаторов при поступлении в МГУ (на немецком, географии и истории): "Где учился, какую школу кончал?"

А то, что учился хорошо – это просто усердие, понимание нужности, самолюбие и время, время, время, потраченное на подготовку домашних заданий. Законом для меня было: всегда быть готовым к ответу по всем предметам, и ответу минимум на "хорошо", но с задачей – на "отлично". Всегда стремился, хотел сделать что-то и нужное, интересное для себя и полезное для других. Время было моим главным ресурсом, может быть, тогда подспудно и рождался научный интерес к времени.

Пытался я собрать домашнюю библиотеку, начиная с основных книг по школьной программе по литературе в 8–10 классах. Для покупки книг в младших и средних классах использовал деньги, полученные на чай-завтрак в школе, за собранный по оврагам и сданный утиль. Очень интересной была "научно-популярная серия" небольших книжечек по разным областям науки и техники. Лишь в очень редких случаях вымалывал у мамы деньги на книги подороже. Доходило и до моих слез, когда мне очень хотелось иметь дома книгу "Человек и стихия". В старших классах такие расходы финансировались лучше. Позже мою библиотеку сестра передала в школу-интернат, где работала.

На всю жизнь запомнился 10-й класс, когда мы повзрослели и были на пороге новой, самостоятельной жизни. Наиболее памятными остались осенние месяцы. Тогда мы показали, что и как можем. В учебе. Первая четверть была провальной, наш класс сильно отставал от трех других. Сейчас не помню, откуда и как возникло это решение – догнать, изгнать двойки. Но все на него откликнулись. И те, кому было трудно, и те, кто мог оказать помощь.

Почти каждый день была у нас третья смена вечером. Подсказок и шпаргалок на уроках мы все в тот период не признавали. Только свои усилия и реальная помощь, чтобы разобраться в трудном. И доказали своим рывком и себе и другим, что мы все можем, если хорошо потрудимся и по-настоящему будем помогать друг другу. Я до сих пор не могу без сильного волнения вспоминать вопрос, который мне задал Рудик Макаров (мы сидели на соседних партах) во время дополнительной контрольной по математике, где я пытался исправить свою оценку на отлично, он – получить твердый “уд” (чувствуете разницу?). А он меня спросил “Все решил?”. Можете себе представить такое?

С шестого класса МГУ оставался для меня ориентиром, тогда новое здание университета строилось, и в журнале “Техника – молодежи” я увидел проект нового здания и его “основное содержание”. Мечтал учиться на физфаке, потом определил и область – оптику. Но проблемы с математикой при вообще-то отличных четвертных и годовых, не давали мне уверенности в поступлении. Самостоятельно же не работал, и осенью в десятом окончательно отклонили физфак. С другой стороны, это было, видимо, “не мое”. Не было четкости в моих содержательных “физических” намерениях, и руки мои не умели очень многого. Такая самооценка была во-время и правильной.

Все наши учителя стремились работать с большой отдачей и относиться к нам, как к быстро взрослеющим людям. Особенно запомнился преподаватель истории Александр Ксенофонович Лысов, он отлично знал предмет, умел по-хорошему “задеть” учеников. Его преподавание отличали несколько особенностей. Во-первых, он пытался в меру нашего понимания выйти за рамки собственно “программной” истории и познакомить с некоторыми основными понятиями философии и политэкономии, что, кажется, в те времена было немалой редкостью. Во-вторых, он всячески морально поощрял тех, кто учился по его предмету на отлично и особенно тех, кто пытался на этот уровень подняться, и “присваивал” звание “профессора”. Причем “профессора” признавались классом, считавшим это звание вполне заслуженным и соответствующим на нашем этническом уровне. Я был “профессором” весь период обучения в

старших классах. И даже иногда в шутку говорил, вспоминая школу: "Ну, почему Александр Ксенофонович не ввел еще и звание "академика"? Может быть и академиком стал бы". Кстати, не без его влияния я сделал окончательный выбор факультета.

И меня привлек философский факультет, не столько собственно философией, сколько разнообразием дисциплин в программе обучения: кроме философии были: литература, история, математика, физика, логика и психология, политэкономия, этика и эстетика, и многое другое. Хотя я тогда не представлял, что конкретно входило в программу по каждому предмету.

Я шел на золотую медаль, как и один из учеников параллельного класса, с которым мы получали похвальные грамоты в предшествующие годы. Но первый сбой произошел на письменной математике, когда получил "4", решив задачу точно так же, как аналогичную на предэкзаменационной контрольной, оцененной учителем на "5" без всяких замечаний. Была небольшая неточность, которую преподаватель не заметила или посчитала несущественной.

Оставалось сочинение, оцененное в городе на "5" и отправленное во Владимир для окончательной оценки: такое было правило в отношении претендентов на медали. А там снизили оценку на один или даже два балла. Я точно так и не знаю, за что. Директор ничего конкретного не сказал, но был очень недоволен, похоже, мной, когда я уже после всех получал аттестат зрелости в его кабинете. А я не стал допытываться: надо было готовиться к приемным экзаменам. Как мне потом сказали, я не так показал роль партии в революции при анализе поэзии Маяковского.

Было ли еще что в школе кроме учебы и чтения?

На всей моей дальнейшей жизни сказался вроде бы частный эпизод из последнего школьного года. У меня не было лыж и обуви, и я не катался на лыжах с седьмого класса. В школе проходило первенство по лыжам, и мой одноклассник посчитал, что мне надо участвовать в команде класса. «Мотивом» было то, что брат у меня почти мастер спорта по лыжам, значит, и я должен уметь бегать на лыжах. Странная, конечно, логика, но... Надо значит надо. Поскольку у меня не было никакой экипировки, все мне дал брат, помазал лыжи, и я «с листа» показал время третьего разряда, попав даже в сборную школы. Через неделю я повторил свой результат на городских соревнованиях. Видимо, это стало главным толчком, после которого я всерьез занялся своим здоровьем и стал регулярно трени-

роваться летом в легкой атлетике, осенью и зимой в лыжах. Лыжи со мной и до сих пор, так что я очень благодарен тому моему однокласснику.

В нашем десятом классе учились сыновья директора фабрики, директора банка, городского прокурора, адвоката, директора военторга. Но в отношениях между собой мы были совершенно равные, разные, но равные. Не было в нашем классе и намека на чье-то «родительское» превосходство, да и свое тоже. Класс этого не принимал в принципе, и ребята это прекрасно понимали. Может быть, это все-таки где-то проявлялось, но не в отношениях с одноклассниками. Может быть, я не все знал. Но в памяти у меня осталось только отсутствие какого-либо снобизма, превосходства (своего или родительского). Мы были рады успехам одного – на комсомольском поприще, другого – в самодеятельности, третьего – в модельно-технических делах, четвертого – в чтении стихов, пятого – в спорте, шестого – в юморе и певческих импровизациях и т.д.

Поэтому предложение отметить вместе десятилетие окончания школы было принято очень благожелательно и одноклассниками, и школой в лице директора и учителей, с приглашением и тех, кто с нами долго учился, но в силу разных обстоятельств немного отстал или после 7-го класса ушел в техникум. А на встрече по случаю 25-летия окончания школы директор сказал, что надо отметить и 50-летие. К сожалению, мы его на эту встречу уже не могли пригласить... Но встреча состоялась. Состоялась она и за пять лет до этого, когда каждый из нас дал обещание *обязательно* встретиться в 2005 г. И это обещание вспоминалось в трудные минуты. И мы все выполнили свое обещание.

Еще раз прокрутив в памяти, сохранившей, к сожалению, не так уж много, свои школьные годы, убеждаешься в огромной роли одноклассников в моем становлении и развитии. Уроки и влияние здесь были разного характера, требовали сказать и “да” и “нет”, и этот выбор формировал отношение к другим людям, оценки собственного поведения.

Встречи у школы трогательны, хватают за сердце и очень радостны. Радостны от того, что все – в “форме”. Конечно, и с немалой долей грусти, что нас все-таки маловато собралось, что одни уже никогда не придут на такую встречу, а некоторых друзей мы не разыскали.

Так что семья и школа заложили тот фундамент, на котором потом строилась вся моя жизнь. Без преувеличений. Фундамент оказался весьма прочным. Хотя не все, что хотелось, удалось сделать, сделать лучше, чем получилось.

Вы сразу поступили в институт или пришлось до этого работать, служить в Армии? Под влиянием кого или каких обстоятельств Вы делали решение о выборе профессии? Чем Вы особо интересовались в студенческие годы?

После окончания школы были две попытки поступить на философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова. Первая оказалась неудачной из-за моей неопытности: не мог отстоять, доказать, что двух грамматических ошибок в сочинении не было и тем самым получить проходные 19 или даже 20 баллов из 20. Следовало, наверное, подать заявление на апелляцию. Но к этому был совершенно не готов. И мне просто уже очень хотелось домой: так надолго из дома я еще не уезжал. Хотя сейчас думаю, что при моей хилости поступление тогда было очень опасно, и эта отсрочка – дар судьбы. Даже будучи уже заметно физически окрепшим и тренированным (лыжами и легкой атлетикой), в конце первого курса я стал пациентом тубдиспансера. Сказалась большая умственная и физическая нагрузка, очень умеренное питание, т.к. приходилось платить не за угол даже, а за уголок без окон, без дверей, и две весенние простуды.

При повторной попытке поступления в МГУ меня впервые и основательно подвел слух. Имея 14 из 15 баллов, на немецком я споткнулся на ответах на вопросы: не смог их понять, т.е. дифференцировать звуки. И получил «4», что давало «проход», но при дополнительной квоте. Пришлось подождать до середины сентября окончательного решения о зачислении. Кстати, сейчас это состояние достигло почти апогея: с аппаратом громкость не имеет особого значения, а разобрать речь дикторов могу лишь на 5–10%. И почти уже не пытаюсь.

Был принят, но без места в общежитии. Его я получил (на Стромынке), в конце апреля, но уже в сентябре оказался на Ленгорах на спецэтаже в зоне "Е". И остальные четыре года мне пришлось жить отдельно от своих сокурсников.

Одной из главных моих студенческих забот было здоровье: учеба и здоровье. А еще общественная работа спорторгом факультета и, конечно, выступления за факультет на университетских соревнованиях по лыжам, легкой атлетике, стрельбе, футболу. Главным средством поддержания и укрепления здоровья были занятия в лыжной секции и путевки в университетский профилакторий для туберкулёзников, в общей сложности на три или даже четыре месяца в год.

Учился, как и в школе, старательно, стремясь хорошо усвоить программу и не делая каких-либо серьезных попыток выйти за нее. Читал рекомендованную литературу, конспектировал, хотя, конечно, не всю, а что успевал. Но история

западной философии была моим слабым местом (как сейчас думаю, на нее нужно было потратить *все* учебное время, чтобы более или менее изучить), и в приложении к диплому два «уда» именно по этой дисциплине. Если оценивать по тому, где я потом работал, чем занимался, это – не такой уж «грех».

Если я верно понял, то получается, что Вы поступили в МГУ в 1956 году. Читали ли Вам что-либо по социологии?

В учебных курсах философского факультета ничего специально социологического, и тем более конкретно-социологического, не было, но в «воздухе» социология чувствовалась и в практике начала появляться. Мы имели хороший методологический марксистский фундамент («Немецкая идеология», «Капитал», «Философские тетради» и др.). Эта база не устарела и доньше, если к ней относиться без догматизма и абсолютизма. Робкое соприкосновение с социологией состоялось на четвертом курсе, когда знакомый аспирант рассказал нам об одном из первых послевоенных социологических исследований (описанных в книге Г.В.Осипова «Автоматизация в СССР») – исследовании социальных аспектов научно-технического прогресса.

На «отлично» защитил дипломную работу, получив «хорошие» оценки от руководителя – Галины Михайловны Андреевой, основного и дополнительного рецензентов; работа называлась: «Как решают немецкие правые социал-демократы проблему классов и классовой борьбы». Я получал специальный допуск к работе в Библиотеке иностранной литературы и мог прочесть в оригинале ряд мало известных публикаций.

В учебе была лишь одна «осечка», оставался последний государственный экзамен. Вечером перед экзаменом я прогуливался со своей подругой, заканчивавшей мединститут и жившей рядом с университетом. Речь зашла об учебе. Заметил, что за пять лет ни разу не пересдавал, а она мне – “Что это за студент, который ни разу не пересдавал”. Я шутя и сказал, что у меня есть последний шанс стать “настоящим студентом”. Вот я им и “воспользовался”. Какой-то туман был в моей голове, когда готовился по билету и отвечал, и вот результат – “неуд.”. Конечно, учившиеся со мною в группе студенты были удивлены и сразу стали договариваться о пересдаче на следующий день. Я был “в трансе” и никакого участия в “переговорах”, которые закончились позитивно, не принимал. Пришел на следующий день и сдавал с другой группой, в такой ситуации более чем на “уд” нечего было и рассчитывать. Вот так и стал я в последний момент “настоящим студентом”.

Не могу не вспомнить об одном примечательном эпизоде, происшедшем в 1991 г. и тоже связанном с МГУ. Г.М. Андреева

нашла меня в Новосибирске, чтобы сообщить о возможности гонорарной публикации статьи по моей тематике – бюджетно-временным исследованиям в СССР – в испанском журнале. Намекнув, что желающие вроде уже есть, хотя и сами этой темой не занимаются. Конечно, согласился подготовить такую статью и в течение месяца статья была написана, переведена на английский. И со счастливой оказией (в Президиуме СО АН узнал, что как раз в последние по сроку дни летит в Испанию сотрудник одного из институтов), с договоренностью о плакате для встречи на аэродроме в Мадриде (все это через Г.М. Андрееву) статья была передана адресату и опубликована. И хотя испанские налоги, перевод из валюты в валюту для передачи немало отнял от тысячи долларов, но получил я, в конце концов, сумму, равную, кажется, моей тогдашней зарплате за несколько лет. Было огромное удовлетворение, что Галина Михайловна меня нашла, активно участвовала в переговорах и пересылке статьи. Стараясь её повидать при своих теперь уже совсем редких поездках или передать приветы через сотрудников кафедры психологического факультета МГУ, кстати, располагающегося в здании, где проучился пять лет на философском.

Москва конца 50-х представляла много возможностей для посещения выставок, театров, музеев. У Вас были возможности всем этим пользоваться?

Иногда ходил на концерты: эстрадные – в Колонном зале, симфонические – в Доме культуры МГУ. Но не был театралом, в том числе по «физической» причине. Посетил основные музеи (Политехнический, Изобразительных искусств, Третьяковку, Исторический, Революции и др., музеи-квартиры Н. Островского, В. Маяковского (одного из моих любимых поэтов). В каникулы всегда уезжал домой, в Муром, даже в спортлагерь впервые поехал уже будучи аспирантом.

На четвертом курсе я попытался попасть в «узкую» сборную МГУ по лыжам. Хорошо тренировался осенью и специально готовился к первенству университета, проходившему обычно в феврале. Составил себе режим зимней сессии и строго его выполнял. Подъем в 7.30–8, зарядка на улице, завтрак в столовой, немного занятий, интенсивная тренировка на Ленгорах (с 10 до 12, включая дорогу туда и обратно бегом), душ и обед, часовой сон, а с 2-х до 11–12 вечера подготовка к очередному экзамену. Сделал себе круг с горками и крутил кружки с переменной интенсивностью. Кстати и «узкая» сборная тогда там тренировалась. Сдал почти на «отлично» сессию и продолжал тренировки дома, в Муроме, а потом снова на Ленгорах. К первенству МГУ был в отличной форме. Приехали в Фирсановку,

где обычно проходили тогда университетские соревнования, хорошо размялся и двинулся к дому, где мы разместились, чтобы надеть номер и стартовать. Но на улице меня остановил преподаватель кафедры физвоспитания, прикрепленный к нашему факультету, и сообщил, что меня не допускает врач. Пошел выяснять. Врач оказался новым, а не тем, у кого я наблюдался как член центральной лыжной секции МГУ. И он, просматривая мою медкарточку члена секции, увидел там запись – туберкулез легких. Старого врача я предупреждал об этом и постоянно проверялся: ухудшений не было, а основные показатели были в норме. Но новый врач посчитал невозможным допустить меня до старта. Ничего доказать ему не смог, пришлось снять номер и попросить судей – хорошо знакомых, кстати, преподавателей – хотя бы просто зафиксировать мое время старта и финиша, вне конкурса. Отказали. Так я просто и прокатился эти 15 км, выйдя за 14-м, кажется, номером и обойдя всех ранее стартовавших. К сожалению, и часов у меня в той ситуации не было. Как я переживал тогда! Так готовился, так был готов, отлично себя чувствовал и такой «финиш»! Эстафету же перенесли на март. И хотя там я показал время, лучшее, чем некоторые «сборники», но это было уже совсем не то, чего хотел и чего мог достичь. Честно, до сих пор иногда вспоминаю этот случай невезения, чего-то важного упущенного. Хотя, конечно, ни о какой лыжной карьере тогда я и не думал. А из той сборной один – Виктор (Осипов) стал академиком, другой Виктор (Курочкин) – мастером спорта СССР и неоднократным чемпионом мира среди ветеранов. Оба – геологи. В сборную МГУ я все-таки попал, но в «троеборную» (лыжи, метание гранаты и стрельба) и выступал на первенстве вузов Москвы.

А на пятом курсе случился первый “дождевой” Новый год, но нет худа без добра. В зимние каникулы произошло одно из важнейших событий университетской жизни. Наша комсомольская группа получила в качестве премии за учебу и общественную работу путевки для поездки в Ленинград. Меня почему-то назначили старшим, хотя я был почти самым младшим по возрасту. Мы посетили все основные музеи, посмотрели на все главные достопримечательности города. Конечно, обувь тогда не успевала за ночь просохнуть, и этим мне город очень не понравился: к слякоти я не привык. В Эрмитаже почему-то был временно закрыт зал импрессионистов. А нам очень хотелось осмотреть его содержимое. Как “старшего” меня направили на переговоры со смотрительницей. В итоге нашей группе в порядке исключения разрешили это сделать даже с пояснениями экскурсовода. Эта поездка была отличным завершением университетского курса.

Да, и что дальше:

После окончания МГУ мне захотелось поехать подальше, думалось о «деревенско-городском» месте, т.е. где городская цивилизация находится непосредственно в природной среде. К тому времени, проблема распределения выпускников, бывшая на предыдущих курсах очень острой, в основном была решена, заявки стали поступать, и был выбор, но только учебных институтов. Я рассматривал вариант со Свердловским лесотехническим институтом и с Томским университетом. Остановился на последнем. Но из Новосибирска приехал А.Т. Москаленко с заданием привлечь выпускников философского факультета в формирующееся Сибирское отделение АН СССР. Желаящие встретились с ним. Он вкратце рассказал, каковы условия и перспективы работы. Когда я сказал, что собираюсь в Томск, он заметил: «Все равно переедешь в Новосибирск. Так что поезжай сразу туда». Для меня это был почти идеальный вариант, особенно то, что работа не преподавательская, а исследовательская, и в Сибири. Дал согласие в числе четверых. Пришла заявка, и в середине августа я был в Новосибирске. Мы были приняты на должности мэнээсов (младший научный сотрудник) в Постоянную комиссию по общественным наукам СО АН СССР (председатель д.ф.н. Матвеев И.И.), куда входили кафедры философии и иностранных языков СО АН, группа историков, археологов и филологов во главе с будущим академиком А.П. Окладниковым. Мы стали как бы еще одной, социологической, группой.

Вы уже давно занимаетесь изучением бюджетов времени... это Ваша первая любовь и навсегда или Ваши научные поиски начинались с других тем? Кто повлиял на Ваш выбор научного направления? Этим темам были посвящены Ваши кандидатская и докторская диссертация?

Если говорить о «первой любви», то это были книги, а что касается практико-исследовательской любви, то это была, конечно, физкультурно-спортивная деятельность (ФСД), она же была и первой исследовательской «любовью». Посмотрел как-то журнал «Теория и практика физической культуры» и не обнаружил там социологических статей или кого-то из социологов и понял, что мое участие в разработке социологических аспектов ФСД может быть не только почти что пионерным, но и полезным. Провел небольшое обследование на нескольких заводах Новосибирска, выступил на 2-й конференции молодых ученых СО АН СССР и в конце 1962 г. написал небольшую статью «Об изучении социологического аспекта физической культуры», опубликованную в апрельском номере этого жур-

нала (1963 г.), а затем еще одну уже с использованием данных обследований бюджетов времени в Красноярском крае (1959 и 1963 гг.). Статьи почему-то попали в рубрику «Трибуна читателя», но это не помешало профессору Г. Люшену (ФРГ) включить их в числе десяти советских публикаций в первую международную аннотированную библиографию по социологии спорта, вышедшую при поддержке ЮНЕСКО в Париже в 1968 г.

И дальше желание получить конкретную информацию для изучения реалий ФСД привело меня в область исследований бюджетов времени, поскольку ничего другого сколько-нибудь пригодного для моей задачи просто не было. К тому же, время являлось одним из важнейших ресурсов этой деятельности, величина которого, конечно, зависела от многих условий-обстоятельств.

“Бюджет времени” – лишь “фрагмент” информации о времени (и не только о времени) и метод ее получения. И он хорошо “работает” либо при большом объеме “бюджетной” информации, либо в “обрамлении” другой, “небюджетной” информации (условия жизни, ценности, оценки и т.п.). Другое дело, что непосредственное участие в Красноярском обследовании бюджетов времени 1963 г., а также анализ данных обследований ЦСУ РСФСР, участие в подготовке Докладных записок в Идеологический отдел ЦК КПСС по данным всех этих обследований стали первым толчком к анализу теоретико-социологических аспектов времени, изучение которых продолжается урывками до сих пор.

Говорить о влиянии на мой выбор научного направления кого-то конкретно не могу. Что касается ФСД, то точно могу сказать – никто не подталкивал. Может быть лишь как-то сказалось то, что мой брат функционировал в этой сфере в разных ролях. Но главное, наверное, то, что я сам занимался и на себе испытал ее разнообразное влияние-значение. Что касается бюджетов времени, и вообще социологии времени, социального времени, тоже не могу назвать конкретно кого-то “толкателем”. Хотя была ситуация, чем-то аналогичная только что сказанному. Но как бы “наоборот”. На книгу Василия Дмитриевича Патрушева “Время как экономическая категория” я отреагировал, может быть, по детски, по-школярски, но все-таки исходя из определенного, мне представлявшимся более важным и более системным подхода: время человека, общества – категория в первую очередь социологическая. Считаю этот уровень более общим, вбирающим в себя и “экономическое время”.

Сильный конфликт с одним из зам. директоров института практически прервал мои исследования в сфере ФСД, которые

не были основными, но весьма результативными и перспективными. В частности, в комплексном исследовании в Рубцовске (Алтайский край) я пытался дать анализ распределения средств, затрачиваемых по статье "физическая культура и спорт" на детей-подростков и на взрослых с целью выхода на более сбалансированное распределение в интересах здоровья и развития подрастающего поколения, а, следовательно, и всего города. Итак, личный практический опыт, философская подготовка, знание исследовательской ситуации в этой области, стремление внести свою лепту – вот что стало причинами и предпосылками работы в моем первом социологическом направлении.

Мне повезло еще полтора года проучиться на философском факультете в МГУ, перейдя из заочной аспирантуры в очную (моим руководителем был проф. Д.И. Чесноков). Здесь в октябре 1966 г. защитил (единогласно) диссертацию "Методологические и методические вопросы изучения бюджетов времени". Она была названа одной из лучших, защищенных в 1966–1967 гг. по социологической проблематике (*Вопросы философии*, №11, 1967 г.). Докторскую диссертацию «Время в изучении и управлении социально-экономическими процессами» (09.00.09 – прикладная социология) защитил (единогласно) в феврале 1987 г. на спецсовете Института социологических исследований АН СССР.

Какие впечатления у Вас остались от сотрудничества с Д.И. Чесноковым?

Самые хорошие. Когда поступал в заочную аспирантуру философского факультета МГУ, не знал, кто будет моим руководителем. После года заочного обучения, когда мне абсолютно надоели склоки (в основном со стороны противников А.Г. Аганбегяна и его уже значительной группы сотрудников, а я работал в секторе, как можно выразиться «старой» части института), отсутствие хотя бы одного нормального обсуждения ситуации, точек зрения, доводов обеих сторон, а также возникшее желание еще некоторое время пожить в Москве, на Ленгорах, я решил перевестись в очную аспирантуру. Кстати, даже устав КПСС был грубо нарушен, и институтских партсобраний не проводилось более полугода. Опять же из-за боязни обсуждения возникшей ситуации. Все кандидатские экзамены были уже сданы. Созвонился с Д.И. Чесноковым. Он не возражал, но было требование – членство в партии, хотя бы кандидатом. Таковым я уже был: пример отца и желание активного участия в общественных делах «привели» меня в партию (в СО АН был членом комитета комсомола по физкультурно-спортивной

работе). Для Д.И. моего кандидатства было достаточно, и он дал согласие на перевод. Обязательно нужна была характеристика. Я попросил своего старшего коллегу написать ее: вы помните, как правило, ее писали сами «соискатели» чего-либо. Я кое-что из позитивного убрал, напечатал и передал и.о. директора (Г.А. Пруденский был уже тяжело болен и находился в «Кремлевке»). И.О. директора не подписал характеристику, объяснив, что она «слишком хорошая».

Я связал это с двумя случаями моего «нехорошего» поведения. Когда он приехал из Москвы и стал зам. директора (а фактически и.о. директора) и зав. сектором, состоялась первая встреча с сектором. После общей части, он попросил меня остаться. Спросил, писал ли я в ЦК? Писал. Есть еще дополнения? Нет, все, что хотел, написал в том письме. А письмо было о дошедшем до безобразия восхвалении Н.С. Хрущева, привязывания его к любой мелочи и тем самым дискредитации партии, к сожалению, у меня не осталось копии: письмо было рукописное. Так вот, обращение с письмом, как я понял, было против меня. А второй и, видимо, главный случай – мое выступление на партийно-комсомольской части сектора. Заком было предложено послать письмо в ОК КПСС с осуждением «группы Аганбегяна». Текст уже был. Кажется, никто не вызвался выступить. А я сказал, что поскольку обсуждения точек зрения, позиций и разногласий по существу не было, то и такое письмо посылать нет оснований. И решение собрания по письму было: «принять к сведению». Честно сказать, я сам поразился, как вся эта операция быстро и неожиданно для инициатора завершилась. При том, что и выступил только один. Но был и другой итог – и.о. директора не подписал мне характеристику для перевода в очную аспирантуру. Д.И. на мое телефонное сообщение о ситуации сказал: «Обойдемся». Эта вроде бы мелочь, мне кажется, весьма точно характеризовала его как коммуниста и как человека, и остается свидетельством наших отношений.

Аспиранты должны были участвовать в заседаниях кафедр. Он всегда меня спрашивал: «Как дела?», я всегда отвечал «нормально, работаю». И это был весь диалог. Но он был. Я воспринимал такое отношение как полное доверие и стремился его оправдать. Когда наступил 1966 г., а осенью кончался мой срок аспирантуры, я засел за подготовку текста диссертации; сидел безвылазно до апреля. В это время, кстати, меня приняли в партию на парткоме МГУ. На фото я – «как из концлагеря». К сожалению, фото не сохранились, а партбилет взят при обмене. Написал лишнюю главу: заранее знал, что в окончательный текст ее не включу. Главу о бюджетах вре-

мени партработников, их позитивной и негативной роли, некоторых характеристик. Специально для Д.И., чтобы узнать его мнение по некоторым моментам, ведь он десять лет был секретарем ГК в Свердловске и ОК в Горьком, одновременно ведя преподавательскую работу в университетах. В принципе он ничего мне нового не сказал. И так было понятно: и какое время было, какие задачи решались, и что люди, в т.ч. и партработники, и руководители разные, и умные и не совсем, и творцы, инициаторы и сугубо исполнители, и человечные и не очень. И к моим критическим положениям Д.И. отнесся тоже с пониманием.

Наконец, дошло дело до защиты. Все уже было, кроме отзыва руководителя, хотя я несколько раз напоминал ему об этом. А тут уже некуда оттягивать. И после заседания кафедры в ответ на мое "только вашего отзыва нет": "давай реферат, печатать умеешь?". Пришла помощь от преподавательницы кафедры. И вот Д.И. взял реферат и стал диктовать отзыв. А я потом был просто поражен, насколько точно, полно он отразил главное в диссертации, уложившись на неполной странице.

К сожалению, я после защиты и возвращения в Новосибирск с Д.И. не встречался.

Не могли бы вы столь же подробно описать Ваше движение в сторону истории анализа бюджетов времени в России, когда Вы обратились к этой теме? В чем был интерес? Насколько эта тема была разработанной до Вас? Кто ее распахивал?

Пришло время подводить итоги своей работе в области «времени», почувствовал потребность и желание это сделать. Прежде чем браться за теорию социального времени, посмотрел, чего не достает в эмпирической части, в части конкретных исследований времени, применения показателей времени в социологическом, социально-экономическом анализе. Кроме того, меня давно интересовал вопрос о зарождении обследований бюджетов времени и использования времени в более широком контексте, «страновые» приоритеты и персоналии.

Собственно «исторической» стороны этой области я касался еще в первой коллективной монографии, над которой работал в основном, когда был в МГУ в аспирантуре. Однако всерьез этим вопросом занялся уже в этом веке. Раньше просто «руки не доходили», а потом, видимо, время пришло или показало, что «уходит».

Были еще и отдельные моменты, вызывавшие желание покопаться и попытаться ответить на вопросы: кто, когда, зачем, каким способом изучал использование времени, что ныне называется бюджетом времени (строгое название), а также де-

лал попытки использования показателей времени в социально-экономическом анализе состояния и развития общества и отдельных его сфер, систем, групп субъектов.

В голове время от времени “кололись” несколько ранних упоминаний об обследовании бюджетов времени или их попытках. Одно встретилось в статье Л. Бызова во втором номере журнала “Время” (1923 г.), где он сделал двойную ссылку: на американского социолога Ф. Гиддингса и группу московских социологов (1921 г.). К сожалению, без указания на литературные источники. В статье Н. Вознесенского (1923 г.) дается даже очень краткое описание этого метода наблюдения, “заимствованного из социологии”, как он пишет, но опять без ссылки на источник.

Некоторые ранние попытки посмотреть, откуда “произошли” обследования бюджетов времени, были в отечественной литературе, но неосновательные. Поэтому возникли три задачи уже историко-социологического исследования: попытаться найти “истоки” и подтвердить или опровергнуть российский приоритет в этой области, который был вроде бы признан участниками Первого Международного обследования бюджетов времени городского населения середины 1960-х гг. Тогда, при общем согласии о том, что первым было обследование в Советской России в 1922 г. под руководством С.Г. Струмилина, у меня было какое-то внутреннее сомнение, тем более, что даже американские участники толком о таких исследованиях в своей стране не знали. Вторая задача возникла несколько позже, и связана она уже с более общим взглядом на время, социальное время, на временные показатели жизнедеятельности, время социально-экономического развития, на наличие и анализ временного аспекта в социологических исследованиях и социологии как таковой, что было очень кратко представлено в моей второй диссертации. Третья задача возникла недавно и заключается в изучении развития теории социального времени в разных его и ее аспектах. Я отыскал несколько важных, даже скажу, приоритетных, публикаций или фрагментов о времени (Дьякова, Аскольдова, Муравьева, Ферсмана, Бердяева), которые не упоминаются в обзорных публикациях по социологическим вопросам времени ни в отечественных работах, ни в зарубежных.

И мне тоже захотелось подвести некоторый итог, проанализировать и оценить имеющиеся в литературе положения о социальном времени и о социологии времени. Здесь исторический аспект представляется мне необходимым и, соответственно, требуется хотя бы мини-историческое исследование. И третьим фактором я назвал бы какое-то ощущение российского

приоритета в этой области. По большому счету, приоритет дело не первостепенное, важно просто представить фактическую и содержательную историю этой социологической области как теоретической, так и эмпирической и прикладной. Здесь есть, конечно, одна неразрешимая для меня проблема: незнание языков и нехватка личного времени.

Насколько мне известно, почти никто специально этой темой не занимался. Почти, потому что есть фундаментальная книга Иржи Зузанека (Zuzanek J. *Work and Leisure in the Soviet Union. A Time-Budget Analysis*. New York: Praeger, 1980), которого безусловно следует отнести к тем, кто, как Вы говорите, "распахивал" обсуждаемую тему.

Анализировать собственно историческую область Зузанек начал после эмиграции, сейчас он живет в Канаде. Его книга сыграла определенную роль в моем решении исторического поиска и описания. В нашей отечественной литературе ничего подобного этой работе нет. Её особенностью является приведение табличных данных об использовании времени, имевшихся в публикациях 1920–1930-х гг., плюс библиография, с которой я сверялся и которую использовал в розыске публикаций.

Меня интересовали не столько конкретные цифры (я не ставил задачи сравнительного динамического анализа использования времени), сколько проблемы, задачи, методика, организация обследований, основные содержательные результаты и сделанные на их основе выводы, предложения, рекомендации.

Нужно назвать еще Ю.И. Леонавичюса, изучавшего историю обследований бюджетов времени студентов (Леонавичюс Ю.И. Исследование бюджетов времени студентов в СССР (20-е – 60-е гг.) // Социс. 1975, №3). Больше, по моим сведениям, специально историей этой социологической области никто, не занимался.

В 1960-е гг. обращение к данным обследований 1920–1930-х гг. было достаточно распространенным и предметным, с целью сопоставления вновь полученных данных и результатов обследований, проведенных органами статистики и другими организациями, в Москве, Ленинграде, по стране. Тем более что имелись хорошие публикации С.Г. Струмилина, В.Михеева (по Москве и Московской области), В. Лебедева-Патрейко, Г. Рабиновича, Д. Родина (по Ленинграду), Д.И. Кропотова (учителя), Я.В. Видревича (специалисты), А.Абиндера (студенты), данные госстатистики (крестьяне, колхозники) и др.

В числе обращавшихся к данным довоенных обследований бюджетов времени следует назвать: В.Д. Патрушева, А.В. Неценко, Д.И. Думнова, В.М. Рутгайзера, В.Г. Кряжева, В.Г. Байкову, А.А. Земцова, А.С. Дучал, И.П. Труфакина, Л.А. Гордона и др.

В связи с нашими исследованиями в селе я попытался найти предтечей в российской статистике. Толчком к этому были работы А. Чайнова и Г. А. Студенского. Вначале они работали вместе, о чем свидетельствует вышедшая в 1922 г. их совместная книга “История бюджетных исследований” – речь в основном только о бюджете доходов– расходов. В дальнейшем они, похоже, разошлись, но продолжали работать практически (но, видимо, не полностью) в одной статистико-исследовательской области. Они разработали методику и формы учета затрат труда (в днях и часах) в крестьянском хозяйстве, включая труд наемных работников, применение лошадей и труд членов семьи вне крестьянского хозяйства, с выделением основных видов работ в поле, с животными и по дому. Все это рекомендовалось использовать при разработке и реализации организационного плана крестьянского хозяйства. Однако эти методики не были реализованы, так как началась коллективизация, и основная часть крестьянского труда стала приходиться на коллективное хозяйство.

Естественно, в моих поисках главным для меня было использование показателей времени и социологический подход. Я нашел несколько авторов, с работами которых пытался познакомиться в Москве и Томске. Пока в силу разных причин я не смог посмотреть все, что есть у меня на заметке.

Приступая к “исторической” части исследования, пытался проверить гипотезу о приоритете российских статистиков, экономистов в этой области. Хотя и понимаю, что надо знать и зарубежный исследовательский опыт. Здесь я ограничивался в основном ссылками в отечественных работах, что, конечно, недостаточно для полного доказательства того же приоритета.

В ходе работы с доступной литературой у меня стала формироваться гипотеза относительно того, что российские ученые являются пионерами в области исследования использования времени и применения показателей времени в экономическом и социально-экономическом анализе. Была работа Н.И. Зиберы (1873 г.) “Опыт программы для собирания статистико-экономических сведений”, в которой фундаментально представлены временные показатели. Первой основательной попыткой учета затрат времени на труд считается обследование в Калужской губернии (А. Пошехонов, 1896 г.). Наиболее же полно методика учета затрат труда в крестьянском хозяйстве была реализована в одном из уездов Вологодской губернии (1909 г.). В том же году А.А. Кауфман вместе со своими слушательницами провел социологическое обследование на Бестужевских курсах. В анкете была серия вопросов о затратах времени.

Я на данный момент считаю, что первое в мире именно социологическое обследование бюджетов времени было проведено П.А. Сорокиным в 1921–1922 гг. в Петрограде.

Виктор, нельзя ли подробнее? Ведь деятельность П.А. Сорокина изучалась И. Голосенко, В. Козловским и рядом других современных историков отечественной социологии.

Сорокин работал по многим направлениям, особенно в молодые годы. Только что названный эпизод считаю очень важным, но до сих пор и почти неизвестным, и практически неисследованным, а вероятность его более подробного описания мизерной. Привожу некоторые найденные мной факты, свидетельствующие о полномасштабном социологическом исследовании бюджетов времени.

31 мая 1920 г. на заседании ученого совета Института по изучению мозга и психической деятельности П.А. Сорокин сделал доклад на тему: "Предмет рефлексологии социальных групп, ее методика и задачи", а 10 октября того же года представил "Программу исследований профессиональных групп и профессиональных деформаций". По результатам обсуждения было принято решение о создании специальной лаборатории по изучению рефлексологии социальных групп. Вскоре она была создана в составе заведующего (П.А. Сорокин) и лаборанта (Отчет о работах Института по изучению мозга и психической деятельности // Вопросы изучения и воспитания личности. Вып. 3, Петроград, 1921, с. 475–476.)

В статье (Сорокин П.А. Влияние профессии на поведение людей и рефлексология профессиональных групп // Вопросы изучения и воспитания личности. Вып. 3. Петроград: 1921, с. 397–426), подготовленной П.А. Сорокиным на основе двух сделанных докладов, для нас особый интерес представляют два фрагмента. Автор приводит перечень "сторон поведения людей", которые "исчерпывают почти все поведение и весь образ жизни индивида" (там же, с. 414). И первым в перечне называет "бюджет времени человека". В проекте анкеты этому соответствует "обычное препровождение рабочих и праздничных суток" с отметкой "регулярности и нерегулярности рядом с бюджетом суток" (там же, с. 424).

В статье нет никаких упоминаний о каком-либо опыте изучения бюджетов времени в России или за рубежом, об употреблении кем-либо термина "бюджет времени", хотя известна высокая эрудиция П.А. Сорокина, прекрасное знание зарубежной, особенно американской, социологической литературы. Известны, кстати, и факты умолчания этой работы. Первый факт: ни слова об американских исследованиях в его докладе и статьях нет. Как

впрочем и о российских в его американской публикации 1939 года. Второй факт относится к его российскому периоду. Есть по этому поводу публикация, кажется в “Социсе” или другом журнале, точно не помню. А искать сейчас не хочется. Но речь шла о каком-то заимствовании без ссылки на автора.

Попытка проведения по разработанной программе эмпирического обследования была предпринята П.А. Сорокиным, видимо, в 1921 г. В одной из статей, опубликованной в конце 1922 г., он пишет, что при помощи слушателей своего социологического семинара при Петроградском университете провел “два важных, но кропотливых исследования: 1) по бюджетам времени (систематическая запись по определенной программе расходов суточного времени, предполагаемого и фактического, с разной степенью детализации: от 3-х до 15 минут); 2) по социальной перегруппировке населения Петрограда (анкетный метод). По той и другой теме собран уже большой материал, начата была его обработка, но высылка прервала ее” (Сорокин П.А. Состояние русской социологии за 1918–1922 гг. // Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994, с.417). П.А. Сорокин выделил обследование бюджетов времени как самостоятельную работу, хотя в упомянутой выше программе речь шла о бюджете времени как методе изучения профессиональных групп. В этом кратком замечании четко обозначен именно бюджет времени, а не какая-то форма анкетного опроса об использовании времени. Из этого стало понятно, какую свою работу в 1920–1921 гг. в Советской России по бюджетам времени упоминал П.А. Сорокин в (Sorokin P., Berger C. Time-budgets of Human Behavior. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1939, с. vii).

У меня была идея посмотреть питерскую периодику того времени. Но далеко и дорого. Может быть, кто-нибудь из студентов занялся бы или аспирантов. Но, повторяю, вероятность какой-то существенной находки маловероятна. В американском, кажется, университете, где находится архив Сорокина, нет первичных материалов этого обследования, как сообщил мне И. Зюзанек. И на мой запрос в ЛГУ пришел ответ, что в архивах университета таких материалов тоже нет.

Проводятся ли сейчас в России исследования бюджетов времени? Где? Кто? Насколько им можно верить?

Пока могу сказать о нашем исследовании. В 2004–2005 гг. мы провели в рамках лонгитюдного исследования пятое бисезонное обследование бюджетов времени сельского населения (ранее проведены в 1975–1976, 1986–1987, 1993–1994, 1999 годах; в каждом би-сезонном обследовании было 1400–1500

суточных бюджетов времени) В одной и той же выборочной совокупности сел Новосибирской области, которая была сформирована по до сих пор уникальной «технологии» и на отсутствующей и сейчас информационно-методической базе о поселениях. Организация, сроки проведения, метод получения данных о бюджете времени (ретроспективный опрос о вчерашнем дне), инструкция по проверке и кодировке затрат времени были стабильными. Считаю, что полученные данные достаточно достоверны, хотя использовать какие-то формальные критерии нет возможности из-за отсутствия необходимой статистической информации (о типах поселений и распределении сельского населения по этим типам), которой мы располагали при проведении первого бисезонного обследования. Прибюджетная анкета содержит минимальное, но все-таки достаточное для общего анализа тенденций изменения бюджета времени, повседневной деятельности, а в последних трех обследованиях и ценностей, социально-психологического состояния. Хотя было очень жесткое ограничение на количество анкетных вопросов: я исходил из правила – не «мучить» респондента более часа, а лучше ограничиться 45–50 минутами. Ко всему прочему нам удалось сохранить первичную информацию на электронных носителях, несмотря на двойное за это период изменение ЭВМ и программного обеспечения. Файлы «сельских» данных (10 анкетных и один объединенный агрегированных бюджетов времени) переданы в Единый архив социологических данных (Москва) для общего пользования. К сожалению, не удалось продлить серию аналогичных исследований в Рубцовске (1972, 1980, 1990 гг.), хотя файлы данных тоже сохранили.

Продолжает исследования бюджетов времени и группа В.Д. Патрушева. В 1990–2008 гг. ею проведено восемь обследований: четыре – в Пскове (где в 1965 г. проводилось обследование в рамках международного, но по сильно сокращенной выборке), в Москве и области, в Тольятти, среди студентов (О. Большакова). Группу теперь возглавляет Т.М. Караханова, которая участвовала, в т.ч. и в качестве руководителя во всех этих обследованиях. Была попытка включить бюджет времени в исследование «Российский мониторинг экономического положения и здоровья», но он там не «закрепился». О других исследованиях бюджетов времени мне, к сожалению, неизвестно.

Каково Ваше отношение к исследованию Л.А. Гордона и Э.В. Клопова "Человек после работы"? В какой мере их и Ваши выводы совпали? В чем Вы расходились?

Очень высоко оцениваю исследование и эту книгу Л.А. Гордона и Э.В. Клопова. Приятно вспомнить, что Л.А. был четвер-

тым оппонентом на моей докторской защите. Когда я приехал в ИСИ обсуждаться, то попросил Л.А. посмотреть работу, он согласился и практически написал отзыв. А когда я приехал в Москву за четыре дня до защиты и позвонил официальным оппонентам, то один сказал, что уезжает в командировку и нужно искать замену (отзыв он написал), иначе защита не состоится. Вот тут и спасло меня моё, наверное, подсознание, когда я попросил Л.А. посмотреть работу. Он согласился стать четвертым оппонентом и тем самым выручил меня в той неожиданной возникшей ситуации.

Сравнивать наше исследование и книгу «Время населения города: планирование и использование» (1982) и исследование и книгу Гордона-Клопова считаю не совсем корректно. Это – очень разные по задачам и информации исследования. А по выводам? Мне кажется, что здесь наши позиции были очень близки. Ведь, в Заключении москвичи писали об «изучении образа жизни как необходимой предпосылке социального планирования», а наше исследование в Рубцовске, начатое в 1971 г., непосредственно имело задачу показать некоторые важные направления такого планирования и получить конкретную информацию, связанную в основном с использованием времени (но не только). Конечно, москвичи располагали большими возможностями и потенциалом для более социологического анализа полученной в обследованиях информации. И отлично это сделали. Мы же пытались вплотную приблизиться к предплановым разработкам, выходя уже на баланс совокупного времени города, причем конкретного города. Что касается исследования бюджетов времени, то Гордон и Клопов провели его очень квалифицированно и в организационном, и в методическом, и в аналитическом отношении. И в целом книга получилась очень «насыщенной». И ее неплохо бы почитать теперешним «идеологам», чиновникам и «претендентам», чтобы, с одной стороны получше узнать советское прошлое страны через 20 с небольшим лет после жесточайшей войны, а с другой – по достоинству оценить и последние 20 лет тотального разрушения в совершенно мирное время, когда кругом «друзья» и нет противников, к войне с которыми надо быть готовым. Поэтому если говорить о «расхождении», точнее о различиях наших исследований, то у Гордона и Клопова основная цель и, соответственно, результаты – в социологическом анализе использования времени городским населением, с выделением разных социально-демографических групп, у нас – получение информации об использовании времени по городу в целом, с привлечением данных о социальной инфраструктуре конкретного города.

Недавно я говорил по телефону с Татьяной Ивановной Заславской и сказал ей, что начал беседу с Вами. В ходе обсуждения мы с нею пришли к выводу о том, что, если говорить о современной истории изучения бюджетов времени, то получается короткая цепочка: Пруденский, Патрушев, Артемов... так ли это? Такова ли в целом цепочка? Можно ли до Пруденского поставить Струмилина?

Если говорить о «цепочке», можно согласиться с той, что названа Татьяной Ивановной. Теперь – чуть подробнее.

Первое послевоенное обследование бюджетов времени было проведено среди студентов Ленинградского пединститута им. Герцена в 1954–1955 гг. С.К. Куниным и Э.И. Кривицкой, хотя самая первая попытка, правда, неполного бюджета, была сделана в 1947 г. среди студентов в МВТУ им. Баумана. В 1957–1958 гг., еще до обследований НИИтруда проведено несколько обследований среди студентов на Украине, в Новосибирске и Новокузнецке. Но было ли здесь влияние опыта ленинградцев, сказать пока не могу.

Считаю, что «начала» в любой истории важны, даже если реальной роли в свой момент времени они не сыграли. Цепочка получается двоякая: реальные исследования, особенно продолжающиеся, и «идейные пионерные» события, даже без продолжений.

К сожалению, я не знаю подробностей о первых обследованиях, проведенных НИИтруда при Госкомитете по труду, зампредседателя которого был Г.А. Пруденский в 1955–1958 гг. В 1958 г. он был назначен по совместительству директором-организатором Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук СССР. В постановлении 1957 г. о создании СО АН СССР был Институт экономики и статистики во главе с Немчиновым, но он в Новосибирск не поехал, и через год было принято иное решение по экономическому институту. Возможно, именно Пруденский был инициатором обследований НИИтруда.

Но дальше, конечно, Г.А. Пруденский был «пионером», к тому же много публикуя по этой теме. Он создал в институте группу, которая участвовала в первых обследованиях в Красноярском крае (1959 и 1963 гг.), и инициировал обследования ЦСУ РСФСР в Новосибирске и Москве в сети «бюджетных» семей. Ну и, конечно, он был главной фигурой в решении вопроса об участии СССР в международном исследовании бюджетов времени городского населения (вместе с ЦСУ РСФСР) в Пскове. Хотя всей непосредственной подготовкой и собственно проведением руководил В.Д. Патрушев.

Затем, конечно, главной фигурой в этой области стал В.Д. Патрушев. В 1971 г. он переехал из Новосибирска в Ко-

сино под Москвой, где есть исследовательский институт сельского хозяйства, провел большое исследование сельского населения в Ростовской области, а потом повторные в Пскове, уже работая в Институте социологии.

Я остался в Новосибирске и готовил и руководил проведением обследований в городе (Рубцовске – 1972, 1980, 1990 гг.) и селе (1975 – 2005 гг.). Но надо обязательно назвать еще Ю.И. Леонавичюса (Каунас), который много сделал для популяризации обследований бюджетов времени среди студентов, и который тесно сотрудничая с Патрушевым.

Никто, кроме нас с Патрушевым не работал так долго в этой области, проводя, как правило, не разовые, а продолжающиеся исследования бюджетов времени.

Хотя можно назвать еще несколько человек, которые провели достаточно крупные обследования, но, как правило, разовые. Тот же Л.А. Гордон, например.

Что касается С.Г. Струмилина, то он не проводил обследований после войны. Но его книга “Проблемы экономики труда” (1957 г.) сыграла, на мой взгляд, очень большую роль в возобновлении обследований бюджетов времени в 1950 – 1960-е гг. Не берусь судить, как эта книга повлияла на Пруденского. Возможно для него это был мощный толчок, хотя и сам он был очень близок к этой области, все более развернуто цитируя, начиная еще с 1940-х гг. фрагменты “Экономических рукописей 1857–1858 гг.” К. Маркса, в которых рассматривается время общества. Но в определенном смысле С.Г. Струмилина можно поставить впереди даже для послевоенного периода.

Не могли бы Вы чуть подробнее рассказать о деятельности Г.А. Пруденского?

Я попытался посмотреть работы Пруденского, в которых есть ссылки на неопубликованные рукописи К. Маркса 1857–1858 гг. , где идет речь о времени в «обществе коллективного производства». Он был, видимо, один из первых, кто обратил внимание на эти положения и пытался в своей исследовательско-прикладной работе опираться и эмпирически подкреплять их, показывать их реальную важность. Кстати, К. Маркс высказал то, что стало реальностью в 20–30-е гг. в СССР: практика изучения использования времени и распределение времени общества в экономике. И от работы 1940 г. («Многостаночники») через брошюру 1946 г. «Опыт самофотографии рабочего дня» к книге 1954 г. «Внутрипроизводственные резервы (Резервы роста производительности труда)» ссылка на К. Маркса становится все более полной. На мой взгляд, это тоже заметно повлияло на возобновление обследований бюджетов времени в 50-е гг. Да и сам Пру-

денский, возможно, непосредственно причастен к обследованиям НИИТруда Госкомтруда, заместителем председателя которого он был в 1955–1958 гг. Но здесь я не могу опираться на факты-доказательства, а лишь предполагаю такие связи.

Конечно, Пруденский сыграл важную и весомую роль в возобновлении обследований бюджетов времени, в т.ч. в участии СССР в международном исследовании бюджетов времени городского населения 1965 г. А «через свободное время» – стал одним из инициаторов развития социологических исследований вообще.

К сожалению, непосредственно о Г.А. Пруденском – директоре ИЭОПП я почти ничего рассказать не могу. В первые месяцы я работал в Постоянной комиссии по общественным наукам СО АН СССР, после ее ликвидации в конце 1961 г. – в ИЭОПП, но в секторе Аганбегяна. Перешел в сектор экономики труда в 1963 г. И, кажется, была лишь одна небольшая групповая встреча с Пруденским, где он говорил о значимости и перспективности изучения свободного времени. При подготовке двух записок в Идеологический отдел ЦК по результатам исследований бюджетов времени имел дело с его замом. Кстати, В.Н. Шубкин вспоминает, как его Пруденский агитировал заняться свободным временем. Мне не известна и роль-позиция Пруденского в конфликте «экономистов-математиков и иже с ними» и «традиционных экономистов». Похоже, он был как бы в тени: ведь он многих приглашал в институт. Но и здесь есть белые пятна, т.к. большую роль в привлечении кадров играл сам Лаврентьев, а Аганбегяну он, похоже, доверял в подборе кадров. Да и здоровье Пруденского быстро ухудшалось.

Какими методами Вы изучали бюджеты времени в 60-х годах?

В первом обследовании в Красноярске, в котором я принимал участие, хотя и не с самого начала, респонденту следовало заполнить специальные формы за каждый из семи дней недели. Указать начало и конец занятия, и характер занятия, начиная с 0 часов и кончая 24 часами. А затем ежедневно регистраторы встречались с респондентами, проверяли и уточняли сделанные ими записи и переносили собранную информацию в основной бланк.

В обследованиях бюджетов времени, которыми я руководил, использовался практически один метод – ретроспективный опрос интервьюером респондента о вчерашнем дне: последовательные занятия (затраты времени) с 0 до 24 часов. Было, конечно, небольшое число случаев самозаполнения бюджета и анкеты, «разорванный» вариант, когда бюджет начинался фиксироваться интервьюером, а заканчивал его респондент. Но, повторяю, основным методом получения бюджета времени

был ретроспективный опрос о вчерашнем дне. Кстати, социологи Мичиганского университета провели что-то вроде сравнительного анализ нескольких методов получения бюджетов времени в массовых опросах. И тот, что мы использовали, был признан наиболее надежным.

Интервьюерами были специально проинструктированные и представившие свои пробы работники предприятий и учреждений, где проводилось обследование (в Рубцовске) и сотрудники института, “стажеры” из других городов или учреждений Новосибирска и студенты-социологи НГУ (в сельских обследованиях). Последние в обследованиях 1999–2005 гг. были не только основной, но и единственной группой интервьюеров. В последнем би-сезонном обследовании интервьюерами были и несколько сотрудников, аспирантов экономического института Сибирского отделения Российской академии сельхознаук. Основными видами подготовки интервьюеров были: информация руководителя об обследовании, его задачах, об особенностях методики опроса по “листу записей затрат времени” и анкете, пробное заполнение, разбор ошибок, требования и советы по контактам с респондентами.

Для обследования в селах трех районов области использовался экспедиционный метод с организацией трех или (в последних обследованиях) – двух отрядов. Если в первом обследовании (1975–1976 гг.) было три отряда, три машины, то в последнем – два отряда, одна машина. А в 1999 г. вообще был один отряд, одна машина, что стало причиной некоторого сокращения выборочной совокупности респондентов, ибо нагрузка на интервьюеров была сверхвысокой.

Первое наше обследование проводилось в ранге “дополнительного” к “основному” при возможности взаимного использования информации при анализе. С 1986 г. обследования бюджетов времени стали “самостоятельными”, что потребовало и существенного расширения анкетной части. Собственно, это были обследования условий жизни, социально-психологического состояния, ценностных ориентаций и использования времени.

Появились ли в последние годы какие-либо новые (технические) методы изучения затрат времени?

По большому счету – нет. Опросы по телефону, моментный метод – фиксирование, что делал респондент в определенный час или период суток – нельзя отнести к достаточному методу изучения использования *фонда времени*.

У меня давно возникла идея сочетания самоучета использования времени суток или более длительного периода с «внешним наблюдением». Но для этого нужна хорошая команда,

которая бы «кочевала» из села в село в течение двух-трех недель. Такая организация позволила бы использовать и компьютерный опрос, что, как мне кажется, повысило бы активность респондентов, качество и количество получаемой при опросе информации и скорость последующей ее обработки. Кстати, в последнем бисезонном обследовании мы впервые платили респондентам за участие в обследовании. Хотя сумма была невелика (в ноябре 2004 г. – 20 руб., в июне 2005 г. – 30 руб.), отношение к предложению побеседовать было заметно позитивнее. Хотя в целом количество «отказчиков», которых почти не было в первых обследованиях, заметно растет. Особенно в пригородных селах. В последнем обследовании было 4% к числу опрошенных.

Преподают ли Вы? Если да, то какие курсы?

Преподавательской работой занимался в 1989–1992 гг., ведя небольшие социологические спецкурсы в одном из новосибирских институтов. Почувствовал, как это полезно и для своей исследовательской деятельности. Был весьма мощный стимул для исследований и прикладного использования, как результатов, так и теории. Но проблема со слухом очень мешала, хотя я и находил некоторые способы ее обойти. Однако, возникла какая-то странная ситуация на кафедре, в отношениях с зав. кафедрой и ректором. С другой, – появилась реальная возможность продолжить наши сельские исследования: Сорос подбросил нам кое-что по гранту, да и в Миннауки грант получил. И на этом моя преподавательская деятельность закончилась. Но с самого начала социологической специализации на экономическом факультете НГУ руковожу подготовкой курсовых и дипломных работ. В основном на материалах наших обследований. Хотя сейчас практически никто из выпускников в науку не идет.

Какими еще проблемами социологии, помимо изучения бюджетов времени, Вы занимались, занимаетесь?

Вообще-то я не назвал бы изучение бюджетов времени проблемой социологии. Для этого такое изучение надо «окунуть» в «социальный котел». Только в нем и возникает собственно научные, социологические проблемы, да и социальные становятся четче. Я уже упоминал социологическую проблематику физкультурно-спортивной деятельности, что было моей первой исследовательской темой. И в целом весьма успешно разрабатываемой. Пока на меня не «наехал» один из замдиректоров. И тогда я понял, что Аганбегян меня, конечно, защитит в той ситуации, но мне надо принимать решение: сохранять

себя в этой тематике или расстаться с ней. Пришлось выбрать последнее, а ведь был в узкой «сборной СССР» по этому «виду спорта».

Социально-экономическое планирование развития города, чем занимался в 1970-е гг. (г. Рубцовск Алтайского края). К сожалению, начался «бардак» нейтрально говоря, и все такое стало абсолютно ненужным, точнее – нереализуемым. А вообще-то теоретические и прикладные перспективы этой работы были весьма значительными важными, заманчивыми. Я и сейчас так считаю.

Социальное качество населения, как блок в проекте Т.И. Заславской “Социальный механизм развития экономики”. Почувствовал, что это – для меня, много читал, точнее, искал по этой теме. Но, к сожалению, проект как-то быстро “сник” после того, как появился “Новосибирский манифест”, а потом Татьяна Ивановна уехала, и у меня остались лишь несколько папок с конспектами прочитанного и собственных набросков. Их жалко выбрасывать, но пока и использовать особенно негде. Да и времени и сил на это не остается. Эта тема сейчас, мне кажется, слишком “революционна”. Хотя представители церкви ей стали уделять внимание, правда, не столько с социальной, собственно человеческой, сколько с сугубо религиозной стороны, отождествляя свою “духовность” с “человечностью”, моралью, теми же качествами человека, которыми я хотел заняться. Кстати, в нашей сельской анкете есть вопрос о желаемых качествах детей. И очень интересна динамика ответов, уже по четырем временным точкам – от 1986 г. к 2004 г. Тема эта революционна в том смысле, что очень уж, на мой взгляд, противоречит, противостоит теперешним реальностям состояния общества, лезущим из всех СМИ “героям” с их человеческими качествами, отношениями, все больше уходящими от советского периода, который, конечно, тоже не был идеальным. Но в полный рост эту проблему “социального качества россиянина” все-таки необходимо бы поставить. Церковь же, мне кажется, пытается заменить человеческое в человеке религиозностью, заменить отношения между людьми отношением к “всевышнему” и к тем, что пониже, в т.ч. и к самим служителям. Это, конечно, явный шаг назад. И я совсем не уверен, что этот путь современен и перспективен.

В последнее время основным для меня стало исследование *изменений* условий жизни, повседневной деятельности, использования времени, социально-психологического состояния, ценностей сельского населения. Хотя каждый из перечисленных элементов представляется в исследовании в очень

сжатом виде. Причин сжатости две. Первая – нет отдельных исполнителей, вторая – есть жесткие ограничения на количество анкетных вопросов в наших сельских обследованиях. Но из накопленной информации можно много «выжать», поскольку получена она в одной и той же выборке сел и в качественно, экономически и политически различающиеся временные точки.

Ну и снова вернулся к прикладным и теоретическим вопросам социального времени в «социологических» рамках. В том числе и к истории, прежде всего отечественной, исследовательских работ в этой области как прикладных, эмпирических, так и теоретических, включая даже отдельные положения. Хотя самые первые попытки такого рода были еще при подготовке кандидатской диссертации.

Мой стиль работы – большое препятствие для подготовки публикаций. Не могу находить «золотой середины», выбирать подходящий момент, когда что-то уже можно обнародовать, а на более основательную работу, что существует в моем представлении, не хватает этого самого времени: то возникают более неотложные дела, то просто не складывается нормальный текст.

Вы – один из тех, на глазах кого происходило становление пост-хрущевской социологии, одновременно – Вы занимаетесь историей дореволюционной русской социологии и работами ранних советских социологов. Сейчас говорят, что на рубеже 50-х – 60-х годов происходило возрождение советской социологии, я же полагаю, что точнее говорить о ее втором рождении. Уже позже, встав немало на ноги, советские социологи обратились к изучению своего прошлого... какая точка зрения в этом вопросе Вам ближе?

Вопрос не простой и даже несколько «провокационный».

Если коротко, то мне ближе вторая позиция. И то, что «обратились, встав на ноги», считаю очень точным выражением.

Мне представляется, что обследования-исследования использования времени были наиболее распространенным направлением социологических исследований 20-х – начала 30-х гг. Хотя так они тогда не назывались: мне не встретилось ни разу такое определение, кроме одной ссылки без точного адреса. Они носили, чаще всего, прикладной, характер, были связаны с получением знания для каких-то конкретных решений-действий или для оценки реальной ситуации, которая тоже нужна была для выводов о результатах уже предпринятых действий. В большинстве своем проводились весьма профессионально – статистически или социологически. И если в других прикладных областях были единицы исследований-обследований, то здесь они носили почти массовый характер.

И все равно, обратились к ним уже после того, как были проведены первые обследования сотрудниками НИИтруда и сибиряками. Если не считать публикаций С.Г. Струмилина (1957 г.) и первых послевоенных обследований в вузах. По большому же счету, многие обследования 20–30-х гг. продолжали оставаться “неизвестными”.

Мне также представляется, что в 20–30-е гг. социология понималась, прежде всего, как теоретическая наука. И в этом качестве о “возрождении” говорить нет достаточных оснований, так как наработок тогда было маловато, чтобы давать такую оценку – “о возрождении” или “о втором рождении”. А в итоге получается, что современная социология родилась уже в послевоенной стране. При том, что и в дореволюционный, и в предвоенный периоды было немало близких к современным и теоретических работ, и эмпирических социологических исследований.

Если же отвечать именно на поставленный вопрос, то склоняюсь “ко второму рождению”. К моей исследовательской области этот ответ больше подходит.

Спасибо, Виктор за откровенную и, на мой взгляд, очень плодотворную беседу.



Баранов А. В. – закончил философский факультет ЛГУ, кандидат философских наук, Санкт-Петербург. Основные области исследования: социология города, демография, экология. Интервью состоялось в 2007-2008 годах.

Альберта Васильевича Баранова многие знают по результатам его долгодетних и плодотворных исследованиях в различных областях социологии. Теперь - больше узнают о его общественной активности в годы перестройки и о нем как о личности. Я планировал сам поговорить с Альбертом «за жизнь», но ко времени начала опроса он еще не «прикипел» к электронной почте, потому я не мог реализовать задуманного.

Я благодарен Марии Алесиной, предложившей провести личное интервью с Барановым и все прекрасно сделавшей. Маша знакома с ним с 1965 г., когда присутствовала на его выступлении на философском ф-те ЛГУ. Потом она читала исследования Баранова по социологии города и с 1970 г. работала с ним в социологической лаборатории О. И. Шкаратана. Одновременно Маша закончила отделение социальной психологии на психологическом факультете ЛГУ и прослушала курс Баранова по социальной психологии в Университете марксизма-ленинизма (об этом смотри в тексте интервью).

А.В. Баранов: «А ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ»*

Расскажите, пожалуйста, о Вашей семье, где родились, кем были родители, что Вы помните о войне?*

Я родился в 1930 году в городе Дзержинск, Горьковской, тогда и нынче – Нижегородской области. Это в 30 километрах от Нижнего Новгорода на запад.

Как назывался раньше Дзержинск?

Вопрос очень хороший, это – город, построенный в годы первой пятилетки. Дзержинск создавался как центр химической про-

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 3. С. 2 – 16.

** Я благодарен Марии Алесиной, предложившей провести личное интервью с Альбертом Васильевичем Барановым и все прекрасно сделавшей в первой половине 2007 года. Мое участие в этой работе ограничилось представлением ряда вопросов, которые я просил Машу задать Баранову и небольшим редактированием текста. Борис Докторов.

мышленности. На этом месте были деревни Нижегородской губернии, ближайшая деревня, которую мы ещё посещали школьниками, называлась Старое Растьяпино.

Город – это три больших завода, территориально разведенных, но предполагалось, что между ними будет рабочий поселок, довольно большой. Я не могу сказать, сколько тысяч жителей было, когда я родился, но три многолюдных завода уже полностью работали.

И окуривали вас с трех сторон?

Это была химическая промышленность, и она была очень «человекоопасной», поскольку это все делалось впервые. Во всяком случае, лес, который окружал наш город, умер, сосновый лес...я помню его умирающим. Город официально возникает первого апреля тридцатого года. На седьмой день творения я рождаюсь, чуть ли не первым ребенком в роддоме этого города. Мои родители – бывшие крестьяне, которые пришли на новостройки первой пятилетки. Отец из Ульяновской, или (Симбирской), а мать – из Нижегородской губернии. Отец был рабочим на заводе, он 1909 года рождения, мать работала буфетчицей, домохозяйкой дома приезжих. Приезжие – это специалисты – инженеры из Европы, возможно, из Германии, из США, но в основном, из Германии.

Они вводили в строй оборудование на этом заводе?

И учили рабочих. Словом, инженеры. Тогда своих в стране не было, а те, которые были, уехали в эмиграцию. Это те самые годы, 29-й год – выброс интеллигенции за границу. Таким образом, я рождаюсь и живу в доме для приезжих инженеров.

Самое раннее воспоминание о детстве – рассказы матери. 30-е годы: коллективизация и голод по всей стране. Были введены хлебные карточки, они, по-моему, до 33-го года точно были. В 34-м, может быть, их отменили. Самое раннее воспоминание моей жизни сохранилось в памяти со слов матери. В три года я принес хлеб в дом.

Карточки?

Я нашел не до конца отоваренные хлебные карточки и принес матери. Таким образом, в три года я принес первый хлеб в дом. Это надо обязательно знать и учитывать как важнейший фактор жизни страны – недоедание, полуголодное существование населения. Не только в период, описанный историками, голод на Украине начала 30х годов. Я был голоден с рождения и до 49-го года.

А поступили в Университет Вы в каком году?

В 1948-м.

Вы мне рассказывали, что и здесь с питанием было не очень. Про конфеты-подушечки Вы рассказывали и про стипендию. Так что 49-м годом дело не ограничилось.

Когда я был студентом, у меня был рацион на день: одна буханка, по-видимому, килограммовая, черного хлеба и сто грамм подушечек. Это была норма сытости. А были дни, когда у меня не было хлеба вообще, и я ждал посылки от матери, каких-то рублей, чтобы купить хлеб. Был праздник, когда я получал этот денежный перевод, мизерный, разумеется, и мог купить батон. Помню, как, получив перевод, я сбежал с занятий в Университете, чтобы купить батон и тут же его съесть. Такова жизнь до девятнадцатилетнего возраста.

Это я уже про студенческие годы рассказываю.... Где-то в 49-м или 50-м, не помню ощущения голода. Мне уже было 19 лет. Вот такое детство. Отец погиб на войне на Орловско-Курской дуге в 1943, мать умерла в 1953, по-моему, одновременно со Сталиным, то есть 3 марта. Она болела раком, жила у меня здесь, в Петербурге, я уже был женат. Здешние врачи не могли ее спасти, она поехала домой и там умерла. Я ездил на похороны. Когда я туда приехал, сообщили, что и Сталин умер. Когда я ехал обратно поездом, то в момент похорон Сталина – вынос тела и собственно захоронение – по всей стране была объявлена минута молчания. Поезд остановился, и непрерывный гудок. Все заводы и поезда гудели. Это было очень сильно, торжественно, эмоционально.

Я ехал в общем вагоне, и в соседнем купе, напротив, сравнительно молодые мужчины, трое, громко разговаривали, это в минуту траура, и даже вроде, ну: «выпьем за то, что сдох усатый». По-видимому, что-то такое было произнесено. Для меня Сталин был кумиром, естественно, у меня никаких интеллигентских штучек в голове не было... А это наложение двух смертей, мать и отец, именно так я воспринимал, и даже сказал, похоже, этим ребятам, которые выпивали, что мне не нравится, не надо так говорить, пожалуйста, все-таки траур. Они испугались, извинились. Я говорю: «Всё нормально, парни, не волнуйтесь». Они фактически провожали меня, как я выходил из поезда. Смотрели, не пойду ли я сдавать их в милицию. У меня таких намерений не было, мне просто было все это неприятно.

Итак, папа был рабочим до того, как началась война?

Да, он ушел на войну рабочим, мать оставалась примерно в той же должности, нет, уже там этого буфета не было, после

войны мать варила мыло. На заводе брали химикаты и варили дома мыло. Продавалось оно на рынке. Запах мыловарения мне хорошо известен. Мы жили как все, т.е. нищими и голодными. И ни о чем другом не думали.

Во время войны там оккупации не было, но к вам приезжали эвакуированные?

У нас учительница математики в пятом классе была, Валентина Николаевна. Любимая. Она интеллигент из Москвы, где она была аспиранткой, по-моему, в Университете. Но бежала из Москвы в декабре 41-го и остановилась у нас. Это моя первая любовь. К человеку женского пола, но не как к женщине, а как к умнице... Вот такое чувство. Видишь, я помню: учительницу первых классов – Надежду Игнатьевну, и эту.

Как вы узнали о войне?

Услышал то ли по громкоговорителю, то ли кто-то сказал: «Началась война. С немцами». Информация как выстрел. Началась война с немцами. И у меня такое ощущение, я пытаюсь понять, что это значит, и как будто отлетаю, и вижу себя сверху стоящим, маленький человек пытается понять, что он узнал. Я застыл. Вот это стояние и отлет, я себя видел сверху: раздвоение мощное. Удар был сильный.

Было очень тяжело, хлеб меняли на тряпки. В возрасте 13 лет, примерно, мать берет меня, и мы едем в деревню вверх по Оке, высаживаемся на берег, идем в деревню, и многие едут с нами из города. Первое, что я не могу забыть, это когда мы сошли на берег, все расходятся по разным деревням. Один человек на одну деревню.

Чтобы охватить больше...

... нет, иначе не подадут. Мы идем как бы почти милостыню просить. Помню, с нами поехал Виктор, мы учились в одном классе, он из Ленинграда был. И мать говорит: «Витя, ты должен идти в другую деревню». Он один, ему тоже столько лет, как мне, менять тряпки. А обратно мы с матерью шли уже к вечеру, и я нес картошку. Мешок. Мать несла мешок. Тяжелый. Я по дороге выбился из сил, не мог дальше идти, вечерело, а пароход уйдет! Мать говорит: «Хорошо. Поставь мешок, садись на него и жди меня. Я отнесу свой мешок на пристань и вернусь за тобой». Я остаюсь. В поле, даже не поле, а луг и лес, и никого. Я дождался, бегом вернулась мать, взяла мой мешок, и тогда я стал идти.

Голод сопровождал меня до 19 лет. Когда отменили карточки? 49 год – это поменяли деньги. А карточки отменили в 48-м,

хлеб стал продаваться. Так что это очень интересное эмоционально время. Народ жил вполсилы, в полусонном состоянии. На быстрое движение, настоящую работу не было сил.

Один раз меня бомбили немецкие самолеты. Они летали бомбить автозавод в Горьком, но у них остались бомбы. И, по-видимому, летчик был гуманистом. Пролетая над Дзержинском, а это непрерывные заводы и жильё, он сбрасывает бомбы не на дома, а на лес. У нас посередине нашего города такой лес, парк, в нем мы бегали, ребяташки. Смотрим: самолет летит. Самолеты немецкие, низко, у них такой гул: «Уууу-ууу-ууу...». Вдруг начинается свист, они сбросили бомбы. У меня было ощущение, что прямо в меня сбросили. Мы с криком бросились бежать в направлении от них, но впереди, по ходу лёта. Я бежал, и сзади меня падали. Я считаю, что летчики были гуманистами, они сознательно сбрасывали бомбы на лес, не на жильё.

Как Вам в голову пришло в Университет ехать, в Ленинград, и вообще на философский?

Нужно сказать, кто же я был к этому времени, когда поступал. В возрасте, у девочек это, по-моему, в 15 лет происходит, у мальчишек позже, – психологическое созревание, ломка психологии. И вот у меня это было где-то в 16–17 лет. Особенно остро – девятый класс школы. В то время я решал философские вопросы: в чем смысл жизни, что такое смерть... Эти вопросы были передо мной поставлены мною же, я сам их формулировал. На меня произвела очень сильное впечатление поэма Лермонтова «Мцыри». Я до сих пор знаю наизусть оттуда огромные куски. «Старик, ты хочешь знать...», в общем, мальчик говорит: «Ты жил. Я тоже мог бы жить». И вот этот вопрос: «Что такое жизнь?» – провоцировался не просто психологией и возрастом, это школьная программа.

Словом, пришло время ставить философские вопросы: «Зачем живешь?», «Что такое жизнь?» и так далее. И у меня этот процесс происходил бурно, например, в девятом классе, в первую четверть, у меня не сложились отношения с преподавателем литературы, я помню его прозвище, Горбонос, это небольшого роста еврей, и у него не было ко мне никаких плохих чувств, но меня понесло. ...Я вообще-то хорошо учился тогда, очень хорошо, мне все легко давалось. Он вызывает меня к доске, я говорю «А я не выучил сегодня, я не готов». Двойка. На следующий день он опять меня спрашивает. «Я не готов». То ли кол, то ли двойка. И тут уже началось противостояние. Он каждый день меня спрашивал. Яс каждым днем

все решительнее говорил, что я не готов, я не учил. У меня было семь колов и одиннадцать двоек в первой четверти по литературе.

Плохой он был учитель, хотя он перед этим мне нравился, потому что мне нравилась литература. Но он на меня давит – и я сопротивляюсь, и чем сильнее он на меня давит, тем сильнее я сопротивляюсь. Это пример того самого года, когда я вызываю своего товарища по классу, Николая Шубина, на дуэль, стреляться на пистолетах. Пистолеты у нас были.

Ну да... тогда конечно.

Я проспал время дуэли... я не чувствовал позора. Я просто проснулся, вспомнил: «Так я же должен был быть там, в лесу, е-мое!» И вот это бурление, это не брожение, это бурление психики целый год продолжалось. А затем мне надо было решить вопрос, например, «Бог существует или нет?» Я не рассказывал?

Нет.

Главное событие семнадцатилетнего возраста было – спор с Богом. Мать говорила по отношению к Богу так: «Я не знаю, есть Бог, нет Бога, какой Бог. Но я точно знаю, что что-то есть!» И я придерживался такой же версии. До 17 лет. Почему? А потому что в августе 44-го года женщины, включая мою мать, гадали: круг, чашка ползает по кругу и дает ответы. Ну, руки на стол и вызывается медиум, и ему задают вопросы. Главный вопрос был – о наших отцах. Мать спросила, жив ли он. Повестка-то у нас была.

Похоронка?

Он летом 43-го... Да, похоронка была. И все-таки ... Они спрашивали про мужей, но задали и вопрос, в августе 44 года: «Когда кончится война?» – Они получили ответ: «Война кончится в мае 45-го».

Как это – ответ?

Блюдце ползает, и там буквы ..., как-то постепенно выстраивается ответ. В августе 44-го мать мне сказала, что они гадали, война кончится в мае 45-го. Клянусь, что я не выдумываю. Вот такое запомнилось на всю жизнь. Поэтому у меня не было однозначного мнения – есть Бог, нет Бога, какие-то, так сказать, другие силы, потому что вот это – было. Было ещё событие ... Была женщина, очень нервная, соседка. Я сказал про нее: «Но она же сумасшедшая!» Через месяц она сошла с ума. Тоже запомнил это. Я боялся говорить.

Но Вы же видели, что у нее тенденция-то была?

Я же не говорю, что я чудотворец. Просто я говорю, какое сильное впечатление на меня это произвело. Я сказал – и она стала. Это же ужас. А потом у меня вообще сильно развилось это чувство, например, возвращаясь после летних каникул в университет, мы встретились в трамвае с Толиком, был такой тоненький мальчик. Он спросил: «Ну, как лето прошло?» Я говорю: «Хорошо, только что-то со мной происходит» – «А что происходит?» – «Я очень много знаю» – «Что значит – «много знаю»?», – смеется он. Мы едем на трамвае, я говорю: «Ну, например, как зовут людей, кто они...» – «Ну да! Ну, давай! Вот на той площадке» – мы – на задней, а на передней – стоят девчухи, щебечут между собой – «Как зовут вон эту?» – «Галя» – «Я сейчас пойду, спрошу!». Бежит туда, спрашивает – Галя! Идёт назад: «А ты ее что, знал?» Я говорю: «Нет, я не знал, но я знаю, как зовут». Вот такое было. Я не рассказывал, как я нашел свою любимую?

Нет.

Я голодал до второго курса, и это очень усиливает психическую подсознательную деятельность. Мне нравилась булочница в магазине, где я покупал хлеб, на Сенной площади. Она хорошенькая, молоденькая, наверное, тоже лет 19–20. Мы познакомились. Я ее пригласил на студенческий бал по поводу окончания первого курса, на Фонтанке, где сейчас Молодежный театр, Измайловский сад.

Мы были с ней и задержались. Я ее провожал, а трамваи уже не ходили. Проводил до Кировского завода. Налево стояли три или четыре многоэтажных дома сталинской постройки. Она сказала: «Дальше не ходи, могут увидеть, мама ищет, наверное, ночь уже. Так что простимся здесь» – на трамвайной линии у Кировского завода. Она пошла домой, я пошел назад. Когда через пару дней я захотел ее увидеть, то побежал в булочную, а ее нет. «Где она?» – «У нее сегодня выходной». А мне невмоготу. «Где она?» – «Дома, наверное». И я поехал к ней. Доехал трамваем до Кировского завода, сошел и пошел в сторону домов. Иду как локатор и ищу её. Прохожу первый дом – «ее здесь нет». Второй дом, прохожу первый подъезд – нет, второй подъезд – я остановился: «она здесь». Захожу, как сомнамбула, в подъезд, и поднимаюсь: на первом этаже: «ее нет», на втором: «нет», третий этаж, квартира, звоню. Она открывает дверь. Это было абсолютно так, как я рассказал.

Постоянная сенсбилизация.

Был случай, когда я напугал до смерти курьера из Москвы в Смольный. Я ехал в поезде из Москвы. Уже была перестрой-

ка, и я развлекался: могу сказать имя человека, где родился, какая у него семья. Вот такие вещи я научился говорить незнакомому человеку.

То, что Вы стали есть досыта, не повлияло? Это чувство развилось на всю жизнь?

Постепенно исчезло. Но прошло много лет, перестройка, и я еду из Москвы поездом, в купе. Пожилая женщина, молодая женщина студенческого возраста, я и человек лет тридцати, спортивно-военного вида, в темном костюме, элегантный, очень спокойный. Такой, я бы сказал, КГБшник. Когда я в хорошем настроении, я очень легко общаюсь в поезде. Завязывается беседа, выходим из купе с этим великолепным человеком... Да, я помню, у него чемоданчик-дипломат. Я болтаю о том, о сем, рассказывал вот эти случаи. И то ли он задал вопрос, то ли я сам сказал, я говорю, что знаю, что Вы, например, едете с поручением, везете документы, мне кажется, в Смольный.

Ну что Вы!

Шок у него абсолютный... «А от кого Вы? Вы что, за мной следите? Приставлены, что ли, ко мне?» – «Да нет же! Это я просто Вам продемонстрировал, что могу легко разгадать людей» – «Не может этого быть. Вы просто... За дурака меня считаете, что ли?» – «Ну, хорошо, спросите меня про других людей, я буду Вам рассказывать про них всё, что я знаю...». Убедил его, что можно. «Ну, вот про эту давай», про молоденькую девчонку. «Ну, кто она?» – спрашивает он сердито. Я говорю: «Во-первых, у нее есть мать и отец, оба с высшим образованием, у них хорошая квартира, во всяком случае, у нее отдельная комната. Да, и у нее высшее образование. Всё. Спроси». Спрашивает. Всё совпало. Тогда он немного успокоился, но до того момента, пока мы не разошлись после поезда, он все оглядывался, не иду ли я...

Итак, Вы решили ехать в Ленинград... Это внезапно или Вы долго собирались? Именно в Ленинград?

Нас было четверо друзей в классе, мы считали себя элитой. После тех двоек в девятом классе меня оставляют на второй год, и я, конечно, ухожу из дневной школы в вечернюю. И заканчиваю вечернюю. Но друзья из моей школы остались, и мы считали себя самыми умными. Я читал энциклопедии, Брокгауза и Эфрона, у одного из приятелей был домашний комплект.

Кончилась школа, что делать? Поступать всем надо. А куда? Конечно, в самый лучший ВУЗ. Где лучшие ВУЗы? В Москве.

Вечером, гуляя, мы принимаем решение, поехать в Москву и посмотреть, куда нам поступать. Поезд идет в 11 вечера с чем-то. В 10 часов мы приняли решение, гуляя в том самом парке, где меня бомбили, что надо поехать в Москву. Ну, хорошо, деньги у тебя есть? Рублей 20 есть. А билеты? Какие билеты, поезд ходит каждый день, туда-сюда. Билеты! «Всё, поехали!» Это Сергеев Саша, самый смелый.

Решено, время у нас есть, вокзал рядом с домом. Берем по 10 рублей, залезаем в поезд и сидим в тамбуре. Не помню, чтобы проводник нас выгонял. Идет контролер, два контролера: «А вы что здесь в тамбуре?» – «Так мест нет» – «А билеты есть?» – «Нет» – «Ага. Понятно. Ну, давай, сваливай» – «Мы едем поступать в институт. Только что школу кончили. Откуда у нас деньги? Денег нет, а поступать надо. Едем в Москву, выбирать там, куда...» – «Ну, вы даете, ребята! Хрен с вами, я выписываю штраф, возьмите квитанцию и езжайте дальше. Если пойдут контролеры, скажете, что вы уже заплатили штраф, что два раза штраф платить не надо». И ушли. Мы доехали до Москвы. Пошли по институтам, разумеется, только в элитные институты.

А Вы прежде где-нибудь бывали?

Только в Горьком, в Москве – впервые. Москва меня поразила! На Курском вокзале огромное количество мешочников, из деревень, из других городов. Это мне сразу не понравилось. Но Саша нас повел: «По институтам надо, зачем приехали? Чтобы вокзал посмотреть? Пошли!» В Бауманское училище, в Университет, он – в Институт международных отношений. В общем, походили... Мне не понравилась Москва. Едем обратно. Познакомились. Задача выполнена.

Мама знала, что Вы едете?

По-видимому, знала, деньги-то у меня от нее. Один день мы там питались, и возвращаемся обратно. Это было такое время, когда все позволено, потому что почти ничего невозможно.

На обратном пути нас так же «штрафовали», то есть выписали квитанцию – и всё. Это интересно; прожито 77 лет, и никто повторить мою жизнь не сможет. Мы вернулись, и я подаю документы в Горьковский университет, на исторический факультет. Подал. Возвращаюсь в Дзержинск и встречаюсь с учительницей немецкого языка. Я не помню, кто она была... Во всяком случае, скорее всего, не немка, потому что она свободно себя чувствовала, а немцы... Словом, она встречает меня: «Как у тебя дела?» Я учился немецкому языку прилично. «Вот, – говорю, – съездили в Москву, не понравилась Москва,

подал документы в Горьковский университет на исторический факультет» – «Да, Москва мне тоже не нравится, – говорит она, – но вот Ленинград! Это мечта. Если ты хочешь учиться, езжай в Ленинград. Это правильное решение».

Почему Вы на исторический подавали, а не на математический, физический...?

Дело в том, что четверка наша, особенно я и Саша Сергеев, считали, что мы – абсолютно свободные люди, которые могут всё и сами должны сделать свою жизнь. Никто не может за нас принимать решение. Если я хочу в Московский университет – я поступлю в Московский университет. Если на международных отношениях, в дипломаты, поступлю в дипломаты.

У меня такое ощущение, что в то время у людей должно было быть ощущение, что они ничего не могут, все решается за них.

Понятно. Так вот, у меня, я говорил, что в 17 лет, девятый класс, буйство. С преподавателем я на равных...

Это школьная безответственность, внутри школы...

Человек взрослеет. И он проходит это, все люди нормальные проходят этот бурный период, созревание половое...

После школы уже принятие взрослого решения, куда поступать. Это совсем не то, что внутри школы!

Ощущение взрослости. У меня только мать, отца нет. Я должен принимать решения как мужчина. Поэтому... да, и младший брат, который практически у меня стерт в памяти. Он был конкурентом, он на два года моложе меня...

Ничего Вы про него не рассказывали.

Почти никогда не рассказываю. Почему? У меня возникло его психическое отторжение, когда ещё в более раннем возрасте мы о чем-то поспорили и стали драться, и он меня моментально уложил. На два года меня моложе. И вот это ощущение своего бессилия. ... После этого как будто у меня его и не было.

Сколько Вам было лет тогда?

Ну, 13–14... Он – сильный, а я – слабый, и всё. Он закончил Политехнический, сначала техникум, а потом Политехнический институт в Горьком. У нас прекрасные отношения, потом, все это было потом, когда он уже вернулся из армии. То есть, его не было, я в Питере, он там, и всё как-то устаканилось. На чем мы остановились?

На истфаке.

Забираю документы из Горьковского университета и говорю матери, что еду, буду учиться в Ленинграде. «Как? Где я останюсь?». Эта самая учительница немецкого языка говорит: «Остановишься у моей племянницы, в Шувалово, у них квартира, для начала. А потом в университет, в общежитие». Вопросы решены! Я беру документы, договариваюсь с матерью, еду. Тогда поездов было мало, пассажирских вагонов мало, и ходил дополнительный поезд, товарные вагоны. Я еду в Ленинград, учиться, приезжаю, в товарном вагоне. Нормально. Солдатский. Теплушка. Приезжаю, выхожу с Московского вокзала. Людей мало, по сравнению с Москвой. Естественно, сразу накладывается впечатление: на Курском вокзале мешочники, деревня, Москва – это деревня. Здесь я выхожу на Невский и сразу иду по Невскому. Меня ошеломляет этот проспект. А он ещё полуразрушенный. Дома...

Нарисованные стояли?

Не-не, не было рисованных. Просто разрушены стены, обвалены, окна пустые. А этот дом целый. Город полуразрушенный, в полном смысле этого слова. Но я иду и уже глаз не могу оторвать. Пройдя пол-Невского, я знал, что я буду не только учиться, но и жить здесь, и только здесь. Окончательно и бесповоротно. Доехал до Шувалова, сказал, что я такой-то, приехал, буду учиться. «Где?» – «Ещё не знаю. Пойду, посмотрю. Но гуманитарный». Я посмотрел Горный институт, доехал, что-то не то. Конечно, минералогия, да, но что-то не то. Зашел в Театральный институт, на Моховой... Конец июля, то есть, два дня у меня оставалось для подачи документов. Мне нужно было принимать решение немедленно. В театральный зашел, в вестибюль, а там молодые ребята, абитуриенты, изображают что-то. – Нет. Иду в Университет. Там много факультетов. Прошел геологический, меня тянуло на горный, я прошел по главному коридору. На исторический, всё. Подаю документы – «общежития нет». А где же я буду жить? На каком факультете есть? На философском. Хорошо, поступаю на философский. Я поступил на философский, желая поступить на исторический, только потому, что на философском давали общежитие.

Философский факультет был как «подфакультет исторического», в одном здании, они и сейчас там. Общежитие было в аудиториях, пока сдавали экзамены, жили в аудиториях.

Там же, на истфаке?

Да. Людей помню с Украины, был парень красивый, выше меня, тоже хотел на философский. Был в оккупации.

Приняли на философский?

Фиг, это был единственный повод отказать. Его даже не допустили до экзаменов. Так что с этой системой я встречался... с рождения. Но ничего не поделаешь. Мне было очень жалко, что он, не я. Но эта система – я ее научился принимать как объективную реальность. Не переживать. В общем, сдал экзамены, но у меня была четверка, поэтому я не получил первую стипендию. Голодал, ну, я тебе рассказывал ...

Нам преподавался марксизм-ленинизм и читали материалистические книжки. Материализм, эмпириокритицизм, и прочее, и прочее. По истории философии я должен был читать Гегеля. Я попробовал, мне он жутко не понравился. Я несколько раз пытался, открывал – нет! Гегель – это не мой человек. Словом, от философского факультета и от учебы на философском факультете в Ленинградском государственном университете имени Жданова я вынес только одно приятное воспоминание: я поступил в хор. Туда меня привел Андрей Здравомыслов, который раньше меня вошел в университетский хор. Там я был до окончания университета. И это единственное позитивное воспоминание об учебе в Ленинградском университете.

Третий курс университета. Строки из моего стихотворения того года:

На мудрость книжную оттачивая глаз,
Мы скоро растеряем молодость и силу.
И скука тусклая проводит нас
До самой до могилы.

Поэтому хор – это хорошо, самодеятельность. Меня избирают старостой хора. Причем – первым старостой университетского хора, до этого не было такой должности. Так, что ещё про университет... По-моему, больше ничего хорошего я сказать про него не могу.

Потом Вы оказались в аспирантуре... Фамилия руководителя выскочила у меня из головы.

Тугаринов.

Вы видели Тугаринова во время обучения в университете, на факультете?

Нет, его не было. Он пришел позже. Я учился в 48–53 годах. Итак, 48 год, последний год, так сказать, нормальной жизни; 49 год – начало Холодной войны. Наши грозят атомной бомбой, и вообще мы живем в преддверии войны, и ленинградское дело... Колеса крутятся, и все это идет через нас. На философ-

ском факультете не остается ни одного профессора. Остаются только партийные агитаторы, которые выступают нашими учителями. Поэтому я их не очень любил, мягко говоря. Они мне отвечали примерно тем же. М.В.Серебряков был изгнан, человек 20-х годов, старый профессор. Профессор Свидерский, физик, преподавал, соответственно, философию физики, тоже убрали. А всё остальное было – безлико. После окончания университета идет распределение: обязательные три года. Я решил, что сам себе делаю жизнь: «Вашей помощи мне не нужно, поэтому не надо меня никуда распределять, я сам распределяюсь». «Это не положено. В Воронеж». «Ну, пишите направление в Воронеж».

А кем?

Преподавателем философии в университет. Написали мне это распределение, я написал в Воронежский университет, есть ли у них место? Нет места. Я –свободен. Другие двое туда поехали, семейная пара, они стали учителями в сельских школах.

И куда Вы делись?

Я пошел в Военно-морское инженерное училище имени Дзержинского, в Адмиралтействе. Говорю, что я свободный преподаватель, могу преподавать ... на кафедре истории партии, на кафедре марксизма-ленинизма. Полковник говорит: «Хорошо! Философский факультет, что надо! Будешь –завкабинетом марксизма-ленинизма, у тебя будет два лаборанта в подчинении и комната». – «Великолепно! Буду». Так началась моя педагогическая карьера, которая закончилась в 1956 году, в декабре. Зарплата сначала была вполне приличной, примерно 1200 рублей ...

Это много!

Это много, заработок среднего рабочего.

Военное заведение.

Потом понизили, XX съезд, понижение зарплаты, и я переселился в Инженерный замок. У меня был кабинет в Инженерном замке. Замок принадлежал тоже училищу. Там проводились занятия... Помещения огромные, шикарные. Я, например, имел Рафаэлевский зал в качестве кабинета марксизма-ленинизма. Это был 57 год. На стенах были копии картин Рафаэля из Ватикана. Лет через 10–12 их сняли каким-то образом со стен и перенесли в Эрмитаж. У меня был такой кабинет.

Хорошо!

Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего. Дело в том, что прошёл XX съезд партии. Мы слушаем письмо Хрущева о культуре личности Сталина. Хрущев сказал, пусть это письмо прочитают всем коммунистам по стране. Вот и читали коммунистам. А я был завкабинетом марксизма-ленинизма, поэтому я слушал, не будучи коммунистом.

Вы в училище в партию вступали?

Нет. Зав. кафедрой марксизма-ленинизма, капитан первого ранга, такой добродушный человек. Говорит: «Ну, вступишь в партию, все это потом сделаем, ты же только что закончил, какие требования, молодой человек, перспективный – давай». Я хорошо входил в контакт с курсантами, а после письма Хрущева стал некоторым объяснять, что не всё так хорошо. В это время – в Алжире какие-то демонстрации, давай напишем письмо! Привет алжирским инсургентам... Была такая инициатива. Письмо от имени курсантов училища. Самомнение у меня было еще не растоптано. Таким образом, я проявляю активность, надо жить активно. Готовы ехать в Алжир, защищать Алжир от французов, тогда была франко-алжирская война. Чем плохо? Вице-адмирал, начальник училища, вызывает. «Что это Вы с курсантами начали беседовать об Алжире?» Я ему и объяснил: «Почему? Они должны хотя бы мысленно быть готовыми, что надо идти на помощь пролетариям всех стран» – «А что ещё Вы говорили?» Говорю, что у нас тут тоже было не всё в порядке, надо теперь перестраиваться, ну, слово «перестраиваться» – это я сейчас говорю, потому что не могу вспомнить весь разговор. Во всяком случае, вице-адмирал понял, что перед ним романтический мальчишка, совершенно искренний, и он просто дружит с курсантами, потому что одного почти возраста, и они его уважают, потому что он общительный, поэтому жалоба парткома, что я вредно влияю на курсантов, была похоронена. Но предупредил: «Не надо».

XX съезд – это февраль месяц. Значит, в Алжир не поехали. Но в ноябре наши войска оккупируют Будапешт, ты помнишь?

56 год, помню-помню.

Ну и как же я могу, я же на стороне венгров! Наши войска входят – моя реакция... В это же самое время начинается война Израиля с Египтом.

По поводу Суэцкого канала?

Совершенно верно. Так вот, я ничего не могу сделать по поводу Венгрии. У меня протест по поводу нашей оккупации

Венгрии, но я ничего не могу сделать. Ну как же так! Пишу два заявления. Одно – в Министерство вооруженных сил СССР: «Прошу послать меня на войну в Египет». Тогда мы дружили с Египтом. Там армия была наша... Значит, я готов поехать на войну в Египет. Второе заявление – тот же самый смысл, в Министерство иностранных дел. Я готов поехать, ничего мне не надо, тапочки свои возьму... Мне надо было уехать из страны! Я больше не мог в ней жить! А это – повод. За казенный счет. Ни тот, ни другой министр мне ничего не ответили. И тогда в декабре я добровольно ухожу из училища. С 3 января я начинаю искать место работы, на заводах, учеником рабочего. Я был на Кировском заводе, в отделе кадров: «Что-то подозрительно. Давайте позвоним в милицию».

Запрещено было брать людей с высшим образованием на рабочие места...

Да, но я этого не знал... В конце концов я поступил учеником рабочего на аккумуляторный завод, на Петроградской стороне, там, где монастырь. Я пришел в отдел кадров: «Что ты, так не бывает!». Я говорю: «Ну что значит – не бывает? Я хочу работать. Чем я хуже других? Я умею и люблю работать физически». Начальник отдела кадров звонит директору: «Здесь такой вот случай необыкновенный, как мне поступить?» – «А ну-ка пошли его ко мне!», – директору стало интересно. Поговорили немножко, после нескольких фраз: «Я тебя беру. Но при условии, что ты учишься, а потом станешь мастером в этом же цехе. Согласен?» Через месяц закончилось моё ученичество, получаю шестой разряд, работаю. Штамповщик. Пум-пум, пум-пум – больше ничего не надо, элементарно. Рабочие меня приняли хорошо. Через три месяца я стал бригадиром, мне подчинялись люди, мужчины и женщины, в том числе один из тюрьмы, из лагерей. Он мне впервые рассказал о том, что есть лагеря и там свои законы, воровские.

Он был политический?

Нет... Таким образом, я стал рабочим классом, у меня сохранилась трудовая книжка, шестой разряд по холодной штамповке металла, это высший разряд – потому, что я стал бригадиром, освобожденным бригадиром штамповочного участка аккумуляторного завода имени Попова. Но Светлана Иконникова говорила: «Время уже не то!», 57 год к концу подходит. «Время другое, надо учиться, давай вместе поступать в аспирантуру». И я подал документы в аспирантуру и сдал экзамены. У меня всё получалось, так сказать, как у отличника. Всё было хорошо.

Да, когда я подал документы в аспирантуру, с завода, после окончания философского факультета, мной заинтересовались... Я поспорил с Андреем Здравомысловым, который работал после окончания факультета в Караганде и вернулся, и мы по политическим вопросам не сошлись. Он был классический коммунист, а я сказал, что нет, извини, какой я коммунист вообще? Газета «Правда» – это неправда, ложь. В общем, мы даже подрались немножко около Публичной библиотеки, и он написал об этом в факультетскую парторганизацию.

Что у Вас антимарксистские взгляды?

Он искренний человек, он верил, что у меня взгляды не марксистские.

Вы в аспирантуру поступали, а он? Он работал, или он тоже в аспирантуру поступал?

Он приехал из Караганды, и, по-моему, сразу получил работу в университете. Во всяком случае, он был преподавателем на философском факультете. А я в аспирантуру поступал. И по его заявлению на завод была направлена комиссия во главе с А.А. Галактионовым.

Проверять вашу политическую сущность?

Да, но заводская дирекция, парторганизация характеризовали меня как великолепного работника, который не ведет никакой антисоветской пропаганды среди рабочих, рабочие его уважают, он – заслуженный бригадир. Галактионов мне это сам рассказывал. Они это передали в партком университета, и мне разрешили поступить в аспирантуру.

А теперь про Бога. В 17-летнем возрасте мне нужно было выяснить основной вопрос. Я помнил о том, что мать гадала, и были предсказания. Есть какая-то сила, как сказала мать, не знаю – какая, Бог или что, но что-то есть. А факт, доказательство – вот это предсказание, когда кончится война. Я тогда выяснял все личные отношения, что такое любовь, что такое дружба, всё. Все вопросы я решал сам. Значит, последний вопрос – с Богом.

Вот говорят, что он очень суровый, если его не слушаться, то наказывает, Бог, наказующий за неправильное поведение. Какое неправильное поведение? Ну, самое надежное – хула на самого Бога. Поэтому я принимаю решение. Недельку я ругаю Бога как только возможно и потом предлагаю ему дуэль. Я поеду в Горький по делам на пригородном поезде, и это время, когда я ему предоставляю каким-то образом проявиться: ну, поездки – всегда определенный риск. Любой сигнал я буду

искать, слушать, пытаться услышать сигнал. Можно самый жестокий: «Я готов на всё. Я считаю, что тебя нет. И нечего, так сказать, морочить мне голову, я должен жить сам по себе, без Бога, не надеясь на тебя, и вообще, если ты есть – явись. Если не явишься, я буду считать, что тебя нет».

Все мои представления о Боге были – что Бог не добрый, а наказующий. Он не вознаграждает за добрые поступки, он наказует неправильные поступки. Поэтому я строю мою дуэль следующим образом: «Я предлагаю тебе, открытым текстом, в самый удобный момент показать свою власть – когда я буду садиться на поезд. Вот тут я могу споткнуться, там что-то... А незадолго перед этим у меня на глазах, рядом с моим домом, в Дзержинске, был случай: поезд останавливается, из вагона выпрыгивает мужчина, наверное – за билетом (поезд недолго стоит и ему надо успеть купить билет), поэтому, проезжая мимо кассы, мужчина выпрыгивает – бежать в кассу. Пускальзывается – и под колеса. И у меня на глазах останавливающийся поезд медленно переезжает ему ноги. И в это время человек ещё не осознает, что происходит, у него кепка съехала на глаза, и он поправляет кепку...

Поэтому для меня вот эта жестокая смерть была наглядна. Я ничего другого не придумал для испытания Бога: если хочешь доказать – пожалуйста, наказывай.

Бог должен прочитать Ваши мысли и соответственно Вашему желанию поступить? Вы ему продиктовали способ действий?

Я поставил условие: «Если ты не выполняешь, если ты мне не явишься в том или ином виде, я считаю, что тебя нет. И мы расходимся. Я тебя не знаю, ты меня не трогай. Договорились?» Хорошо. Я жду, когда тронется поезд, я Богу даю фору. Дождался, когда вагон тронется, и на ходу сажусь, за перила держусь и ступаю на ступеньку поезда. Мне было страшно почти до смерти. Я почти потерял сознание от страха. Я Бога вызвал на дуэль. Несколько минут ехал на ступеньке движущегося поезда, держась обеими руками за поручни и коленками стоя на ступеньках. Вопрос был решен раз и навсегда.

Теперь я отношусь к этому иначе, спокойно, но по-прежнему. Единственный Бог, которого я знаю – это человек. Другого Бога нет. Поэтому я высокого мнения о себе. То есть, у меня как бы подтверждение, что я и есть Бог. Нет другого Бога на Земле, кроме людей. Каждый человек – потенциальный Бог. Он, высший, принимает решения о себе, и нет выше. Отсюда высокомерие, которое вы должны чувствовать, это – от решенности вопроса. Никто, кроме меня, за меня не может решать. Я – высший судья самому себе.

А не было мысли, что Бог предоставляет свободу воли? И он остается Богом?

Нет.

Вопрос Бориса: «Сейчас я пытаюсь понять, как, из чего выросла постхрущевская советская социология. Если ты поступил на философский факультет достаточно быстро после школы, то, скорее всего, учился по той же программе, что и Ельмеев, Здравомыслов, Попова, Рывкина, Ядов. Читали ли Вам что-либо, что ты сегодня мог бы классифицировать как социологию, а не как социальную философию марксизма?»

Это – характеристика советской эпохи и ее идеологической составляющей. Когда я поступал в Ленинградский университет, ни о каких социологиях речи быть не могло. Социология была буржуазной лженаукой. Соответственно, ее никто не изучал, ее только изредка критиковали, как например, Игорь Кон в своих работах по истории. Словом, на философском факультете, где я учился в период с 1948 по 1953 год, таких ругательств, как социология или социальная психология, вообще не употреблялось. Строжайше запрещено. Я начал заниматься социальной психологией, когда поступил в аспирантуру, это была моя тема кандидатской диссертации. Мой руководитель сказал: «Очень новаторская тема». Потом неоднократно меня пытались исключить из аспирантуры за слишком смелое отношение к марксизму, но в конце концов я диссертацию защитил. Но она даже после защиты в Казанском университете год была на рецензии и рецензент дал отрицательный отзыв. Только публикация моей статьи двухлетней давности в журнале «Вопросы психологии» №2 за 1962 г. спасла меня от окончательного и бесповоротного провала в качестве ученого – философа. Именно этой статьей начиналось официальное признание в СССР социальной (общественной) психологии как науки.

Относительно тех людей, которые упомянуты в вопросе. Да, конечно, я учился вместе с Андреем Здравомысловым, мы учились, были друзьями. С Ириной Поповой, которая была самой красивой студенткой на нашем курсе, я ей симпатизировал. Инна Рывкина училась на два года раньше и закончила исторический факультет. Ядов учился на философском факультете на один год старше. Ельмеев был ещё старше, но он тоже был из нашей команды. Когда мы отмечали, по-моему, 15-летие философского факультета, то там были официальные философы, члены ЦК КПСС Ф.В. Константинов, точно, кто-то ещё, в общем, были вот такого ранга люди. Мы капуста делали, и я, как бы, «от имени Евтушенко» приветствовал философский факультет:

«...А молодость зла:
вопросы – вопросов
скользкие кручи!
Мудрых философов
головы белые
– от вас ждешь,
ждешь лучшего».

Вопрос-то звучал о том, что хоть что-то (что тогда социологией, конечно, не называлось, но сейчас бы называлось социологией) было в той программе, по которой Вы учились?

Исторический материализм.

Еще один вопрос Бориса: «В выступлении на конференции о ленинградской социологической школе ты рассказал, что в 1959 году тебя исключали, но не исключили, из аспирантуры, когда ты работал по теме «общественная психология». Это то, что теперь называется социальной, или тогда в твоём понимании это было что-то другое?»

Это и есть социальная психология, отцом которой я стал в 1962 году, когда мою, двухлетней давности, работу опубликовал журнал «Вопросы философии». В 1963 году - уже второй съезд психологов СССР –официально меня обозвал этим самым... отцом. Я не рассказывал про это?

Нет.

Расскажу...

.... чтобы было подряд: значит, тогда это называли «общественная психология»? И тему диссертации Вам давал кто?

Тема диссертации была согласована с моим научным руководителем Василием Петровичем Тугариновым, который на тот момент был завкафедрой, деканом философского факультета, завредактором философского журнала, членом Горкома КПСС и т.д.

Кафедры какой?

Исторического материализма, наверное.

Вы сказали, что Тугаринов раньше не работал на факультете. Откуда он взялся, не помните?

Это партийная номенклатура, он был назначен партией. Но первоначальное у него образование – религиозное.

Он кончал семинарию где-то?

Да.

Интересно! И такого человека поставили завкафедрой истмата? И деканом факультета! Он был членом Горкома партии. А что он делал между семинарией и вот этой должностью на факультете?

Я не знаю.

Вообще ничего?

Ну... Может быть, и знал, но не помню. Мы не были настолько близки, чтобы рассказывать биографии друг другу.

Сколько ему было лет, когда Вы с ним стали работать над диссертацией? Примерно?

50... 55.

И он Вам сразу предложил такую тему – общественная психология?

Тему предложил я.

Как тема звучала официально?

Я не помню, многословно. Социальная психология не могла быть темой: она, как и социология, была буржуазной лженаукой.

Название диссертации формулировалось позже. Тема аспирантуры – одно, название – другое. Я пришел и сказал, что хочу заниматься общественной психологией. Я много читал на эту тему, она появилась вообще-то, социальная психология, как направление мысли, на рубеже XIX и XX столетия. Я читал Тарда и так далее. Я пришел на факультет, абсолютно ясно зная, зачем я туда иду. Более того, я шел в аспирантуру с уже сданным кандидатским минимумом, то есть, у меня были сданы три экзамена, мне оставалось только написать диссертацию. На втором году аспирантуры я написал три статьи и разослал их в разные журналы.

Работая мастером, Вы ещё и кандидатские сдали?

Я сдал кандидатские экзамены, еще работая завкабинетом марксизма-ленинизма в Училище.

Борис Докторов говорит: «эта тематика тогда висела в воздухе» и перечисляет тех, кто тогда занялся социальной психологией...

Мне кажется, мне не следует давать характеристики тем фамилиям, которые названы Борисом в письменных вопросах. Это не моя задача. А самое простое я сказал: мы все из одной тарелки, из одной кастрюли, скажем так.

Никто не занимался социальной психологией в тот момент, когда этим занялся я, будучи аспирантом. Б.Д.Парыгин и

Е.С. Кузьмин, да? С Парыгиным мы учились в одной группе. Он – работага, дотошный, скрупулезный. И где-то году в 60-м, точнее я не помню, во всяком случае, мы оба работали в этом направлении, я считаю, одновременно. У него книга была даже как-то названа похоже на общественную психологию, но слово это у него не звучало. А я просто писал диссертацию на эту тему, и естественно, что мы перекликались. Я не помню, чтобы мы каким-то образом ссорились по поводу того, «кто что открыл».

Не об этом речь. Тематика висела в воздухе, было такое общественное дуновение ветра – общественная психология?

Дуновение ветра возникло от политических событий. Если бы не было XXII съезда коммунистов с выносом тела Сталина из мавзолея, не было бы никакой социальной психологии. Нужен был съезд партии, который прошел осенью 61-го года. В октябре Сталина вынесли из мавзолея, а в ноябре я получил письмо, написанное авторучкой; было подчеркнуто –это личное письмо, от главного редактора журнала «Вопросы психологии» Б.М.Теплова: «Альберт Васильевич, Ваша статья у нас слишком задержалась, на 2 года, – не по нашей вине. Теперь ее можно печатать».

Кто нас сдерживал? Не недостаток ума, не трусость, просто мы жили в другом обществе, где потребности в социальной психологии у правителей не было. Одна-единственная просьба редактора журнала «Вопросы психологии» ко мне по поводу моего текста: «У меня одна просьба, –сказал он в записке, которая пришла по почте, –уберите фамилию С.Л.Рубинштейна. Он у нас классик. Мы не хотим его терять». Классик – значит, абсолютно вне критики. Я убрал фамилию.

Вы хотели критиковать Рубинштейна?

Я не хотел, я просто поставил, чтобы всё было на своих местах. Что социальная психология не принимается даже Рубинштейном, классиком, в таком смысле он был упомянут. Но по советским стандартам, любое упоминание, в плюсе или в минусе –это нестираемая характеристика и абсолютно однозначная. Не может быть враг – другом, это исключалось.

Докторов спрашивает: «Чем отличался твой подход к общественной психологии от того, что развивали Е.С. Кузьмин и Б.Д. Парыгин?»

Честно говоря, я помню, что Борис Парыгин вымучивал что-то на эту же тему, но очень умозрительное, в духе советской философии того времени. Специфика моего подхода – в том,

что я был начитан. К моменту моей аспирантуры и, соответственно, публикации статей, я знал о появлении социальной психологии, о первых авторах конца XIX–начала века. Для меня социальная психология ... я знал, что это такое. Я не открывал социальную психологию, я ее *восстанавливал* после полувекового запрета, для своих нужд – понимания, что происходит, в какой стране я живу. Я свою акцию воспринимал именно так – как восстановление уже достигнутого в начале XX века. Она была запрещена лишь в 20-е годы, когда пошли репрессии. Ни Парыгин, ни Кузьмин эту сторону не знали, ну, во всяком случае, не говорили. Статью, которая была опубликована во втором номере «Вопросов философии» за 1962-й год, я написал в 60-м году, когда заканчивал писать диссертацию. ... События реальной политической, социальной, духовной, научной жизни развивались в стране столь стремительно, что, конечно, моя статья по сегодняшним критериям выглядит просто... ученической, это не открыватель, не талант, это ученическая статья, потому что она была написана на два года раньше, чем опубликована, аспирантом, нащупывающим путь.

Чтобы вообще была понятна вся эта атмосфера – я должен рассказать о том, как я оказался в 1963 году на втором съезде психологов СССР. Первый съезд состоялся в 1934 году. Там были и Л.С. Выготский, и Б.Г. Ананьев и В.Н. Мясищев. 1934-й – и 1963-й годы. Так вот. Моя статья в «Вопросах психологии», академическом журнале Института психологии. Институт и проводил Второй съезд психологов в следующем, 1963 г. Статья шла первой в рубрике: «Открывая всесоюзную дискуссию об общественной психологии как науке». Я и открывал.

В 1963-м собирается Второй съезд психологов СССР. Огромное сопротивление. Поэтому Всесоюзный съезд психологов проходит не в Москве, а в Ленинграде. В связи с переносом, а это был очевидный перенос, это не запланированное место проведения. Москва закрылась от съезда; для нее психология, вся, а не только социальная, была ещё сомнительной наукой. Съезд психологов в Ленинграде, а не в Москве – это было политическое решение. Неприемлемость, нежеланность, пусть он проходит где-то рядом, но не здесь. Поэтому местом проведения съезда сделали Таврический дворец, невольно придав событию революционную ауру. Перенос был настолько сумасшедший и сложный, надо собрать психологов, оставшихся в живых... Нужно их всех пригласить... Нужно было сформулировать программу, потому что мировая психология ушла далеко вперед, нельзя вернуться в старые 20-е годы. Это была титаническая работа тех людей, которые провели съезд. Естественно, меня забыли пригласить. Я лежу на диване, не в этой квартире...

На Охте?

Да, на Охте. Лежу, читаю. Телефонный звонок, Вадим Ольшанский. «Альберт, это ты?» – «Я» – «Это Вадим говорит» – «Ну... здравствуй». – «Ты что, сукин сын, делаешь? Ты где?» – «Дома» – «А в Таврическом открылся второй съезд психологов! Ты что делаешь? Немедленно!» Немедленно, конечно, я еду туда. «Так, где вы там?» – «На галёрке справа».

Я там тогда читал эпизодические лекции по социологии и социальной психологии.

Приезжаю в Таврический, поднимаюсь на галерку, где мы договорились встретиться. Там сидит Вадим Ольшанский и Геннадий Васильевич Осипов, они встречают меня, «Давай, садись», примерно третий ряд на балконе. Идет главный доклад. Председатель общества психологов была женщина, и она читает вступительный доклад о состоянии психологии как науки в СССР. Я помню, что, когда я пришел, она говорила: «Появились новые направления в психологии. Это уже не та психология, которая была на первом съезде. Она не только по содержанию, она даже структурно совершенно другая. Теперь есть инженерная психология...» и начинает рассказывать про инженерную психологию, и наконец, «есть у нас социальная психология, представленная...» В общем, «руководитель этого направления психологии в СССР – Баранов. По его мнению, это социология...» И начинает излагать основные идеи моей кандидатской диссертации. И она грамотно говорит, я это слышу. Я обращаюсь к Осипову: «Геннадий Васильевич, мне кажется, Баранов – интересный человек, надо бы с ним познакомиться. Вы не знаете, кто это?» – «Как – кто? Это Вы», – сказал удивленный Осипов. После этого я в полном ошеломлении. «Я – вот этот классик? Это я!?» Я ничего не мог сказать, потерял дар речи.

Потом был перерыв, Осипов ходил рядом со мной. Он с этим первооткрывателем ходит, он – завсектором Института философии в то время, уже доктор наук. Но я настолько ошеломлен, что потерял дар речи. Он пытается со мной говорить. Я отвечаю совсем кратко – да, нет, что-то в этом роде. Естественно, вся общественность разворачивается в нашу сторону... Показывает пальцем. Осипову это приятно. Даже в сад вышли, погуляли. Но я практически ничего не сказал. Я просто был ошеломлен тем, что случилось. Поэтому у меня не возникло никаких трений, насколько я помню, с Парыгиным или Кузьминым, которые тоже шли в этом направлении. Просто так случилось. Я был уже, моя фамилия была, как бы, апробирована идеологическим отделом ЦК, когда публиковалась в «Вопросах психологии» (позже эта статья была опубликована в США, ГДР и

Румынии). Поэтому я был дозволенный родитель. А они ещё не опубликовались, по-видимому. Вот и всё. Б.Ф. Поршнев написал статью в «Коммунисте» о том, что случилось на съезде психологов – там была впервые представлена социальная психология. Дальше идет: «Социальная психология разрабатывается в СССР, в Ленинграде. Баранов, Кузьмин, Парыгин». В журнале «Коммунист». Таким образом, это третье признание меня как отца социальной психологии. Сначала были «Вопросы психологии», второй номер за 62-й год. Затем съезд, это 63-й год, и вот появилась статья Поршнева в «Коммунисте». Таким образом, эти институты меня благословили в качестве отца социальной психологии в СССР.

У меня не было конфликтов ни с Парыгиным, ни с Кузьминым, ни с Поршневым, который тоже претендовал на авторство – социальная психология древнего мира. Но все они – на год, два, три – позже публиковали свои работы. И докладчик съезда психологов еще не знал их работ.

Парыгин работал в пединституте. Я не могу сейчас точно сказать, но это был конец шестидесятых годов. Он приглашает меня: «Приходи, у меня будет выступать Лев Гумилёв». Только что реабилитированный, но ещё не написавший основную свою работу. И Парыгин его приглашает с докладом на кафедру. Это хорошо характеризует Парыгина. Прихожу, слушаю доклад, мне он понравился, я задал какие-то вопросы, и Лев Николаевич пригласил меня пройтись. Он, его жена и я шли по Невскому тихонечко до Московского вокзала и говорили, говорили. Я – плохой собеседник, в основном говорил он, пытаюсь разглядеть во мне, что же представляет эта генерация психологов. Парыгин представил меня как социального психолога, и Гумилев изучал новое поколение людей на мне. Но он говорил много. Самое интересное из того, что он сказал: «Вы не представляете мир там, в лагерях, мир, где некоторые люди теряют человеческий облик, но в основной массе люди цепляются за то, чтобы остаться человеком. Например, бриться – бриться, разумеется, нет, ведь это оружие – но мы старались бриться, чтобы не зарастать бородами, это считалось неприличным. Как же мы брились? Осколками бутылочного стекла». Чтобы сохранить в себе уважение к себе, нужно было бриться с помощью осколков бутылочного стекла. Это Гумилев мне сказал. Вот так закончим на этом вопросе.

Борис Докторов в своих вопросах пишет: «В том же выступлении ты сказал: звание присвоили только после XXII съезда. Что значит «присвоили»? Ты что, не защищался? Кто был руководителем, кто оппонировал?» В общем, вот эта процедура защиты его

интересует. И Вы мне сказали, что защищались в Казани. Как это получилось?

Возвращаюсь к моим взаимоотношениям с Василием Петровичем Тугариновым. Сначала у нас было всё хорошо, но потом в стране похолодало. После XX съезда партии был XXI, холодный, возвратный, теперь о нем забыли. И вот когда был возвратный ледниковый период, меня начали исключать из аспирантуры. Отношение ко мне поменялось. Сначала я был любимым ребенком для Тугаринова. Как-то он сказал: «Я давно искал человека, который бы занялся этим!» А тут он заявил на Ученом совете: «Баранов меня не слушает, Баранов не наш человек. Он восхищался восстанием в Венгрии, такие, как он, создали в ноябре 1956 г. в Будапеште клуб Петефи в поддержку Имре Надя».

В Венгрии осенью 1956 г. народ прогнал с поста руководителя страны коммуниста Ракоши и захотел демократии. Советские войска в ноябре вошли в Венгрию, в Будапешт, и подавили вольномыслие, расстреляв без суда и следствия лидера венгерских коммунистов с социал-демократическим уклоном Имре Надя, возглавлявшего тогда партию и правительство. Так что я и Ш. Петефи – были по одну сторону баррикады, только он в 1848 г. за свободу Венгрии от Австрии, а я в 1956г. – за демократизацию Венгрии и СССР.

Тугаринов менялся в соответствии с линией партии. Но ему было стыдно, и какой-то ещё фактор существовал, мешающий вернуться к первоначальным нашим отношениям, поэтому он был жесток до конца. Но кафедра заставила его своим решением, проголосовала, чтобы Тугаринов помирился со мной и принял меня как официальный научный руководитель диссертации, потому что без его решения я не мог опубликовать статью, без которой не мог защищать диссертацию. Кафедра потребовала встречи со мной, и он согласился. Но сказал мне: «Кафедра меня заставляет встретиться с Вами, поэтому я здесь. Но у Вас всего пять минут». Я к этому был готов. «О чём у Вас диссертация?», – спросил.

На третьем году аспирантуры?

Я говорю: «Общественная психология». – «Ну и что?» – «Вот, чтобы кратко» – ставлю вопрос, я сейчас не помню, как ставился вопрос. – «Вы с этим согласны?» – «Да». «Тогда получается следующая схема: формы и уровни общественного сознания». «Где Вы ее взяли? Кто автор? Где она напечатана?» – «Я – автор этой схемы». Опять он молчал. «Ну вот что. Какая у Вас там тема диссертации? Ладно. Я ее читать не буду. Выбросите её. Вот этот листочек представляйте в качестве кан-

дидатской диссертации, я выступлю категорически, чтобы Вам присвоили звание. По этому листочку». Это его решение. Таким образом, я победил Тугаринова в Ленинграде. (Между прочим, тот «листочек», который ошеломил профессора Тугаринова, не был напечатан в диссертации. Насколько мне известно, никто в мире не открыл порядок форм общественного сознания. Надеюсь в этом году его опубликовать).

На моей стороне были кафедра и Василий Павлович Рожин, ставший деканом. Словом, всех заинтриговал этот конфликт, и все радовались хорошему окончанию. Потому что люди вернулись из ссылок, преподаватели и другие, это уже было другое время.

В это время они уже были в составе кафедры?

Профессор В.И.Свидерский вернулся и так далее. Словом, благоприятное разрешение конфликта на кафедре – это было событие, волновавшее факультет. Но возникло новое препятствие. ВАК принимает решение: чтобы повысить уровень ученых советов, присваивающих звания кандидата и доктора наук, сделать их независимыми. Аспирант отныне не имел права защищаться в том институте, в котором проходил аспирантуру.

Это 1960-й год. А у меня защита в июне, я готовлюсь. И в этой ситуации Рожин сказал: «Альберт, не волнуйся. У меня знакомый декан исторического факультета в Казанском университете. Я ему позвоню, и ты сможешь защититься там. Там тоже принимают к защите на степень кандидата философских наук». Он договаривается, и я еду в Казань. Ленин ехал защищать диплом в Петербургский университет из Казанского, а я – из Петербургского в Казань защищаться. Таким образом, мы рокировались с Лениным. Это было поводом для многочисленных шуток. Я защитился хорошо, единогласно, в июне 61-го года. Диссертация уходит в ВАК, а там какой-то процент диссертаций идет на рецензию «черному» оппоненту, чтобы контролировать качество Ученых советов на местах. Никаких персональных претензий ко мне не было. Моя диссертация просто попадает. Ну, может быть, ее заметил профессор Г.М.Гак, который писал книги на социально-публицистические темы. И он сам берет, или ему дают, случайность, но скорее всего, сам он взял, потому что когда берут диссертацию, сначала ее пролистывают на месте, а потом уже соглашаются, не соглашаются... Он пролистал, по-видимому, ее, и сказал «Я беру это на рецензию». В июне я защищался в Казани, и сразу она пошла на рецензию к Гаку. Если я не ошибаюсь, в апреле меня вызывают в ВАК для повторной защиты.

Почти год прошел!

Да, так как профессор Гак дал отрицательный отзыв. Еду в Москву, но уже прошел XXII съезд партии, в октябре того самого года, а в ноябре редактор журнала Теплов пишет мне письмо с предложением напечатать мою статью. Я отправляю ему статью, и вскоре она выходит. Вот – куча событий от моей первой защиты до повторной. Можно считать, первая защита – на философском факультете, я отбился, победил научного руководителя. Вторая победа – защита в Казани. И третья – я иду в ВАК, с вокзала захожу в Московский университет, в редакцию журнала «Вопросы психологии», получаю экземпляр журнала с моей статьей и иду дальше, там недалеко, в ВАК. Придя на комиссию ВАК, я говорю: «Я понимаю ваши вопросы, ваши сомнения, потому что тема нетривиальная, дискуссионная. А о том, что это дискуссионная, но совершенно нормальная для дискуссии тема, свидетельствует вот этот журнал, в котором опубликована моя статья, видите: «В порядке дискуссии. Баранов, социальная психология». После этого никаких возражений нет, единогласно. Так я стал кандидатом наук, но этот путь настолько вытряхнул меня психологически, что я решил: «Я с вами больше в ваши игры не играю. Я не буду писать докторскую, не буду с вами торговаться». Поэтому, когда второй съезд психологов говорил обо мне как об отце науки, я к этому был не готов, я уже отошел от всего этого. Поэтому я себя и не узнал, я психологически был не готов.

Еще один вопрос от Бориса: «Как долго ты был скорее социальным психологом, чем социологом? Где ты тогда работал?»

Я был старшим преподавателем в институте им. Бонч-Бруевича на кафедре философии.

Что Вы преподавали?

Философию, разумеется.

Не социальную психологию, не психологию вообще?

Сто первый раз объясняю: это были шестидесятые годы, не было социальной психологии. Социологии тоже не было, единственно верным учением был марксизм-ленинизм, и сердце его – истмат. За отступления от истмата я получил партийный выговор с формулировкой: «за неуважение в лекциях классиков марксизма-ленинизма». Я вступил в КПСС в 1963 г. «социал-демократом», как сказал на парткоме рекомендовавший меня доцент Иванов. В 1964 г. я уже имел «выговор с занесением», а в 1965 г. перешел работать в Академию Наук, на кафедру философии.

Вы профессионально работали в качестве социального психолога только как преподаватель, читая лекции в Университете марксизма-ленинизма (УМЛ)?

Нет. Не только. Мне пришлось реально работать урбансоциологом, вытесняя «коммунальный образ жизни» из планов строительства городов и жилищ.

В УМЛ я 10 лет, с 1970 по 80-й г., читал годичный курс социальной психологии в Таврическом дворце, на факультете партхозактива, на отделении социологии и социальной психологии, где я был единственным лектором. При двухгодичном сроке обучения на первом курсе читалась социальная психология, а на втором – социология. На курсе было порядка ста человек: инженеры, руководители промышленности, директора, интеллектуалы. Где-то с конца 60-х – начала 70-х регулярно учились молодые офицеры КГБ, потому что эта организация раньше других почувствовала острую необходимость в этих знаниях, знании людей, особенно – массовой психологии. Их было не более 10% от числа слушателей. И это моё отделение было создано раньше, чем где бы то ни было в СССР. В Москве был аналогичный УМЛ, но отделения социологии и социальной психологии тогда там не было. Оно образовалось только несколько лет спустя, в 70-е годы.

За 10 лет мои лекции прослушали более 1000 человек. А я в начале 80-х годов уже устал от этой работы и передал чтение лекций и ведение курса возвратившемуся в Ленинград опальному комсомольскому лидеру Александру Васильевичу Тихонову, и он там закрепился. Это было для него очень важно, возвращало его в тот мир, из которого его «ушли», то есть, в партийно-политический интеллектуальный мир. Года два, по-моему, он пробыл на моем месте – ведущего лектора отделения социологии и социальной психологии. А в 87-м году начинается перестройка, но идет она сразу в разных направлениях. Закрывается отделение социологии и социальной психологии в 88 году.

Ваши лекции по социальной психологии не были похожи ни на какие другие, это я Вам говорю не только как Ваш слушатель, но и как выпускница отделения социальной психологии Ленинградского университета.

Я преподавал там и был хозяином. У меня там был декан, хорошая женщина, партийный работник, она симпатизировала этому курсу и мне. И директор Университета марксизма-ленинизма Петров тоже мне очень симпатизировал. Его кабинет находился в здании на Мойке, и у меня там был кабинет. Так что мне было хорошо в УМЛ при Горкоме КПСС.

Последний вопрос из памятки Бориса: «Когда и как ты начал двигаться в сторону социологии? Кто, если были такие люди, оказал на тебя наибольшее влияние в твоей профессиональной перероентации?»

Здесь трехшаговое, по-видимому, движение к социологии.

Социальная психология и социология в моем курсе в УМЛ, тем более, когда он был двухгодичным, не разделялись. Я читал и то, и другое. В обществе ведь они тоже не разделялись, но социальная психология была легализована раньше, чем социология. Моя биография связана с социальной психологией, а социология легализовалась позже. И центром легализации был отдел конкретных социальных исследований Осипова в Институте философии, в Москве. А у нас здесь – Лаборатория конкретных социологических исследований Ядова, в НИИКСИ при Ленинградском университете ...

Первое что было?

Наверное, Ядов. Это была ядовская лаборатория. Научно-исследовательский институт конкретных социальных исследований, НИИКСИ, образовался позже ядовской лаборатории, и возглавил НИИКСИ, по-моему, Ельмеев.... С Ядовым мы в одном городе жили, в одном котле варились, закончили один факультет Ленинградского университета с разницей один год. Известный социально-политический аналитик Рой Медведев, с которым я познакомился позже, в 1968 г., закончил тот же факультет двумя годами раньше. Шкаратан закончил исторический факультет, который был этажом ниже.

Уместно сообщить вам, что социологию в СССР начинали практически люди одного возраста – 25–28 лет: Б.А. Грушин, Ядов – 1929 г.р., Ю.А. Левада, я – 1930 г.р., О.И. Шкаратан – 1931г.р. ... Очень узкий возрастной слой. Можно сказать – мы все – дети XX съезда КПСС, непослушные дети, ушедшие дальше, приняв эстафету.

А что у Вас было с ЦК ВЛКСМ?

В сентябре 1965 года меня пригласили в ЦК ВЛКСМ в качестве консультанта по вопросу реформы комсомола. Приглашение официальное. Нас, небольшую группу ученых, куда входил проф. Ю.А. Замошкин, я и еще несколько человек, пригласил секретарь ЦК комсомола Торсуев. Он сказал примерно следующее: «После того, как прекратились великие стройки, комсомол остался, как бы, без стратегически мобилирующих задач. Что делать? Чем занять комсомол численностью 20 миллионов человек? Думайте. Выказывайте любые предложения, даже радикальные!»

Меня поселили в гостевом доме ЦК ВЛКСМ. Через 2–3 дня я предложил 3 проекта. Точнее, два проекта организационной реформы комсомола и один проект «реформы» идеологии.

- 1) Не надо посылать комсомольцев за тысячи километров от дома, это мешает им учиться, и вообще – плохо для них. Комсомольская задача должна быть серьезной, но – по месту жительства. Есть такая задача: в связи с массовым жилищным строительством и развитием сферы быта постоянно возникает много социальных и человеческих проблем, в том числе, детских. Пока нет общественных организаций, которые бы этим систематически и комплексно занимались. Поручите это комсомолу. Для этого нужно, чтобы первичные комсомольские организации формировались по территориальному, а не производственному принципу. А партия и профсоюз, естественно, остаются на «производстве».
- 2) Иерархическая структура комсомола сохраняется, но она должна учитывать специфику новых задач, а они – очень разные у молодежи деревни, города и учашейся молодежи – студентов. Поэтому целесообразно разделить комсомол на три организации: крестьянскую (комсомол сельской местности), рабочую (молодежь, работающую на производстве в городах) и студенческий комсомол, вместе с учащимися 9–10 классов.
- 3) Это все потребует, чтобы каждый комсомолец анализировал, оценивал ситуацию и принимал на месте решение. Потому что ситуации будут чрезвычайно разнообразными, «с местным оттенком». Сегодня решения принимаются иерархически далеко вверху, информация о конкретной ситуации передается по иерархии «наверх» и оттуда спускается решение. Надо принимать решение на месте или на ближайшем иерархическом уровне.

Но такая организация нуждается в ином, чем нынче, человеческом контингенте. Сегодня «идеальный комсомолец» – тот, у которого иерархия ценностей в его личном сознании завершается «чувством долга» как высшим императивом. Он получает «сверху» решение – приказ и должен его выполнить.

А если человеку нужно принимать решение самостоятельно, «на месте», в нестандартных ситуациях, судьей он должен быть сам. Чтобы это стало для него психологически возможно, высшей ценностью в его личности должен быть не «долг», а «совесть», а «долг» – ниже в нравственной шкале.

В реальности существует и третий вариант высшей ценности – «выжить». Она включается в качестве высшей цели в аварийных ситуациях.

Таким образом, преобразование комсомола требует большой целенаправленной подготовительной и воспитательной работы.

К моменту этого задания у меня были результаты контент-анализа газеты «Известия» с 1919 по 1964 гг., и я знал о «десятилетнем цикле» колебаний «атмосферы» общества. На 1964 г. приходится пик «человеческого фактора», т.е. демократизации. Уже в 1967 г., в июне контент-анализ «Известий» показал начавшееся «похолодание». Но чтобы наступила такая суровая «зима», как с августа 1968 г., после подавления «Пражской весны», представить себе было трудно. «Зима» продолжалась до 1973 г.

Бюро ЦК ВЛКСМ приняло решение: в качестве эксперимента провести указанную реорганизацию в двух-трех районах в Ленинграде, Узбекистане и Украине.

В Ленинграде прошел партхозактив города, где секретарь Горкома КПСС по идеологии сказал: «Предложение социолога Баранова из Академии наук не приемлемо».

Вскоре бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ А.Н. Шелепин был выведен из состава Политбюро ЦК КПСС.

Ректор Академии общественных наук при ЦК КПСС (это Высшая школа для «повышения квалификации функционеров зарубежных компартий, в т.ч., генеральных секретарей») сделал мне предложение перейти к ним на работу преподавателем социальной психологии – с эпизодическими выездами в качестве дипломата в Латинскую Америку. Представивший меня профессор сказал: «Это тот самый бунтарь из Ленинграда, про которого я Вам говорил». – «Против чего бунтовал?» Я: «У меня партийный выговор с занесением в учетную карточку – за неуважение классиков марксизма-ленинизма в курсе лекций». – «Для нас это неважно. Вам придется выучить испанский или английский, а лучше – оба». А потом, помолчав, ректор спросил: «Вас, вижу, что-то смущает?» – «Да, высоко будет падать, если что...» – «От нас низко не падают», – парировал ректор и добавил: «Квартира в строящемся доме Вас ждет. Подумайте». Подумав, я отказался от предложения.

Так закончился мой визит наверх. На следующий год ЦК ВЛКСМ за мою работу наградил меня туристской поездкой в Югославию, на Адриатическое море. Это было великолепное турне. А «хождение во власть» мне еще предстояло в начале 1990-х годов, но я тогда об этом не мог знать.

Как Вы стали заниматься урбаносоциологией?

Я в это время находился на кафедре философии Академии Наук и сотрудничал с архитекторами нескольких институтов по проектированию городов, квартир, типов жилища.

У меня был знаменитый доклад о семье и квартире, 1966-го года, на который примчались из Москвы делегации от градостроительства и архитектуры. Все проходило в здании Общества «Знание», на Литейном, 42. Основная тема конференции была: «Дом нового быта», нечто вроде коммунального общежития 20-х годов. Дом нового быта – что там должно быть и как это будет? Я, как социолог, начавшееся строительство жилья одобрял, но с очень большим «но». Я указывал архитекторам, что они могут из кубиков конструктора строить дом, но нельзя построить человеческие отношения в этом доме таким же способом. Человеческие отношения по-другому складываются. Поэтому нельзя лишать квартиру функции столовой, нельзя всех водить в общественную столовую, хотя бы она и была в том же самом доме. Детские садики, детские группы должны быть, но дети должны оставаться в квартире, в семье. Тогда, в начале 60-х, архитекторы начали строить квартиры почти без кухни: маленькая, так сказать, закоулок, где имеется стол, шкафчик и двухконфорочная плита. В квартире не было места ребенку. Функция квартиры, по мнению коммунистов – архитекторов 20х–30х годов, – это только спальня работников. Первые квартиры индивидуального пользования только-только были разрешены и начали строиться. С 57-го года Хрущев начал большую программу строительства жилья..., но что строить? Программа КПСС, принятая в 1961г., ориентировала на коммунизм. А как должны жить люди – коммунарами или семьями? Вот он – ключевой вопрос.

Социальная психология оказалась востребована, прежде всего, градостроителями. Началось интенсивное жилищное строительство, и встал вопрос: для кого жилье – для семьи или коммуны? Спор решился в пользу семьи.

Коммуналки ликвидировались. Односемейная квартира – это самое большое новшество, легализовалось пространство семьи. Это была глубокая социальная реформа, а не только решение жилищной проблемы!

Программа КПСС, принятая в 1961 г., обещала коммунизм к 1980 г., потому эти витающие идеи коммунистического быта. А отдельная семейная квартира – это антикоммунизм в быту. С жилищного строительства 1960х годов началось выполнение Программы КПСС 1961г. о строительстве коммунизма в СССР. И с первых шагов пришлось отказаться от «коммунальных» квартир в пользу односемейных. На XXIII съезде КПСС, в 1966 г., Брежнев еще провозглашает: «Москва – образцовый город коммунистического быта», но это в последний раз. Позже «коммунизм» заменяется «развитым социализмом». «Коммунистические» социальные формы постепенно исчезают из

жизни советского общества. К 1991 г. «коммунизм» как слово осталось только в названии партии и комсомола. И в быту – в форме еще не ликвидированных, но проклинаемых «коммунальных» квартир.

Борщевский Вам рекомендует свою знакомую, Галю Старовойтову.

1967-й год... она ко мне поступает, по-моему, чуть позже... Галя пришла от него, но она с тобой уже ходила на мои лекции в Таврический.

Опрос 1968-го года проходил уже с ее участием.

Да-да... Это она по результатам опроса жителей Ленинграда в 1968г. вывела формулу потребности у населения числа комнат в идеальной, желаемой квартире: $K=N/2 + 1$, где K – число комнат, N – число членов семьи. Как видим, жилищные потребности населения Ленинграда в 1968г. были весьма скромны. Однако для очень большой части населения России и Санкт-Петербурга и сегодня эта формула – еще мечта. Кстати, Ленин считал, что идеальная квартира, где $K=N$.

Люди Вас знали, в том числе, архитекторы... и они пришли к Вам с вопросами...

Как теперь строить? Я вместе с ними встал в проблематику, сначала – квартира и семья, дом и семья. В городе существует не одна квартира, существует комплекс квартир в одном доме, в одном здании. Как это – строить дом, а не квартиру. Как, наконец, строить город? Вот так урбансоциология ворвалась в интеллектуальный мир – «весомо, грубо, зримо», раньше других ветвей социологии.

1966–67-й годы – Вы занимаетесь урбансоциологией, причем, сначала – на кафедре философии Академии Наук, когда Галя с Вами работала, а потом Вас зовет Овсей Ирмович Шкаратан в межинститутскую социологическую лабораторию, где Вы продолжаете заниматься городской проблематикой. Потом уже кочуете с академической частью лаборатории в ИСЭП, когда он образовался. Это 1975-й год.

Нет, раньше. В 1970-м году в Москве образуется Институт социологии. Директором его становится не Осипов, который планировался на это место, и не Юрий Александрович Замошкин, это два кандидата на лидерство в социологии. Кстати, именно Замошкин выпихнул меня на уровень значимого человека. Это он передал рукопись моей статьи из редакции журнала «Вопросы философии», куда я ее направил в 1959-м году, в журнал «Вопросы психологии» Теплову. И Замошкин с удовольствием рассказывал мне, как он меня вытаскивал,

вверх, вверх всё время, потому что он собирался возглавить социологию в СССР вместо Осипова. За это место шла борьба, и нужны были союзники. Институт социологии создается в 1970 г. и возглавляет его академик А.М. Румянцев, глава идеологического отдела ЦК, но уже демократический глава.

Проработав несколько лет с архитекторами, я написал статью об урбанизации. Она вышла в «Вопросах философии» в 1971 году, 12-й номер. Я ее считаю классической работой, она хорошо читается даже сегодня: «Исследование урбанизации в американской социологии». Это лучшая из моих публикаций. Я много читал иностранной литературы на эту тему, и это хорошая работа, с моей точки зрения, я это говорю уверенно в 2007 году. Известна позиция Маркса, Энгельса по поводу крупных городов. Я цитирую Энгельса: «Крупные города будут уничтожены при коммунизме, сколько бы времени на это ни потребовалось». Он считал крупными городами Бирмингем и Ливерпуль в современной ему Англии, где население перевалило за 200 тысяч жителей. В 1978-м году выходит учебник градостроительства для архитекторов и градостроителей, где автор утверждает, что оптимальный размер города – примерно 120–150 тысяч жителей, а максимально допустимый для Москвы и Ленинграда, которые следует разукрупнить, – 300 тысяч жителей. Это 1978-й год. А я в той статье, в 71-м году, высказываю мнение о том, что города-миллионеры стремительно нарастают в численности, на время публикации их было уже 30 в мире, и я совершенно спокойно говорю от своего имени, никаких Марксов-Энгельсов нет. Я в той статье ни разу не упомянул классиков марксизма-ленинизма, что тогда было, скажем, большой редкостью. Насколько я опередил свое время в СССР, можно оценить. Учебник 1978-го года по градостроительству и архитектуре для всех вузов утверждает, что Маркс и Энгельс были против больших городов, и мы тоже против больших городов.

Чем определялась количественная оценка? Почему у Вас была такая точка зрения?

Они исходили, Энгельс, например, это его концепция малых городов, и ещё – город-сад кто-то придумал? Тоже английский архитектор. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвести, когда такие люди в стране советской есть» – это уже Маяковский. Идеалом был город-сад. Чтобы не было выхлопов и так далее. Завод должен быть вне города, город – отдельно от промышленных предприятий, чтобы был чистый воздух. Идея оптимального, утопического города берет свое начало у Кампанеллы (ум. в 1639г.) и тянется через все утопические произведения, Томаса Мора и так далее вплоть до наших

архитекторов конца 20-х годов, когда эта идея появляется снова и в Европе. Это немецкий автор (забыл фамилию), в общем, движение за малые города, было очень мощное идейное влияние от Германии на Россию. Вот, таким образом в конце 20-х – начале 30-х годов сформировалась эта идея, которая была в учебниках для всех градостроителей и архитекторов до самой перестройки. Официальной концепцией градостроительства было строительство оптимальных городов. За время советской власти в стране было построено порядка двух тысяч новых городов, и эти новые города строились по генеральному плану оптимального города, с точки зрения товарища Энгельса и наших архитекторов во главе с Давидовичем, автором учебника по градостроительству 1978-го года. Когда началась перестройка второй половины 80-х – начала 90-х годов, нужно было не только менять политическую идеологию, а повернуть советское общество в сторону европейского образца, то есть, демократии, урбанизации, социологии и т.д.

И все, что происходило в стране, побудило меня к участию в политике...

Но это уже другое...

Но надо рассказать. Это всё было в 1990 году, и мы – я, Кесельман и Андрей Алексеев... В апреле секретарем нашего партийного комитета был Докторов. И он вместе с Фирсовым, я думаю, Фирсов сыграл свою роль, там не может быть без него, они совратили, другого слова я не скажу, руководство Коммунистической партии города Ленинграда на подключение в качестве советника Горкома и Обкома партии Институт социально-экономических проблем (ИСЭП). И чтобы выразить это своё подключение каким-то демократическим образом, секретари Обкома и Горкома пришли в Институт, он тогда располагался на улице Воинова, и в одной из аудиторий Борис Докторов вёл это заседание ... Это уже не был Партком, это было... Словом, на собрании присутствовали Андрей Алексеев, Кесельман, Шелищ, я и высшая партийная власть города. Первый секретарь Обкома Юрий Соловьев сказал: «Мы пришли к вам, чтобы узнать – или понять, какое слово вам будет удобнее, – почему партийные кандидаты города проиграли выборы. Выборы в Верховный совет СССР. Проиграли выборы первые секретари Обкома, горкома, вторые секретари, командующий Ленинградского военного округа».

Все они проиграли?

Да-да, все, и они спрашивают у нас. А мы, я и Петр Шелищ, в следующем, 1990г., были избраны депутатами Законода-

тельного собрания Ленинграда и Верховного Совета РСФСР, соответственно, от Народного Фронта. Докторов хорошо ведет, он говорит: «Я могу сказать, но моё мнение мало значит, вот люди, которые включены в эту жизнь. Вот Андрей Алексеев, он выступает, что-то говорит, Кесельман, который тогда начал уличные опросы, и, вот, Баранов. Я же говорить не буду, мне не хочется выступать, мне достаточно того, что скажут Алексеев, Кесельман. Из гостей выступал первый секретарь Обкома КПСС Соловьев и кто-то ещё... Филиппов, третий секретарь Обкома, по-моему. Потом перерывчик был, и в этот перерыв Филиппов, этот обкомовский секретарь, пытал меня в коридоре, всё пытал, пытал, вопросы какие-то задавал, я аккуратно отвечал, без рассерженности. Самое удивительное, что мы восприняли это нормально: нас слушают первые лица города, пришли к нам и сидят не в президиуме, а на стульях, у меня за спиной сидит первый секретарь Горкома партии Герасимов. И в перерыве пытается узнать. «Расскажите, почему мы проиграли?» – основной вопрос. «Почему мы проиграли выборы? Я, первый секретарь, второй секретарь, третий секретарь Обкома, первый секретарь и третий секретарь Горкома» – пять человек, а шестой проигравший – это генерал-лейтенант Самсонов, командующий округом. «Почему мы проиграли? Почему выиграли демократы? Почему, объясните нам. Что произошло со страной?» Это было в апреле 90-го года, в ИСЭПе, который располагался на улице Воинова. Главная магистраль – от Смольного до КГБ ... Только сейчас пришла в голову эта прямая линия. Мы находились между этими организациями. Вот почему они к нам и пришли.

Да, мы говорили, собственно, про урбансоциологию...

Ну да, и у меня по этому поводу были ещё вопросы. Вы говорили об урбансоциологии, но у Вас была статья «Человек в большом городе»?

Да. В небольшом сборнике. У меня есть фундаментальные работы по этой теме. Такие как: «Исследование урбанизации в американской социологии» – «Вопросы философии», №12, 1971 г.; «Социально-демографическое развитие крупного города», М., «Финансы и статистика», 1981г.

Здесь – уже переход к другому направлению Ваших исследований.

Вот несколько строк из статьи «Урбанизация и социальные лимиты жизни человека» в сб. Урбоэкология (М., «Наука», 1990): «Во всех экологических исследованиях в конечном счете просматривается вопрос об условиях существования человечества и общества. Импульсом к такой постановке вопроса яв-

ляется не особая одаренность осмелившихся на исследование людей и не внутренняя логика науки, а эмпирическая реальность жизни общества в XX столетии. Именно в XX столетии некоторые страны в своих поисках новизны форм общественной жизни и наращивания технологической мощи подошли к той черте, за которой существование цивилизации и даже человечества становится проблематичным... Это направление мысли нашло свое завершение в начале 80-х годов в расчетах о неизбежной гибели цивилизации высших животных на Земле в случае атомной войны...». (Я ссылаюсь на публикацию: «Долговременные биологические последствия ядерной войны. «Мир науки», 1984г., т.28, №3).

Именно тогда, в 1983 г., советские ученые – академик Н.Н. Моисеев и кандидат мат. наук И. Александров – рассчитали на появившихся мощных компьютерах, что взрыв всего нескольких десятков атомных бомб приведет, из-за поднявшейся в атмосферу пыли, к установлению на Земле «атомной ночи и зимы» продолжительностью не менее года. Следствием чего будет гибель всего человечества и высших видов животных. Ученые информировали об этом Советское правительство и выступили с докладом в Конгрессе США. В результате и СССР, и США – две атомные державы, накопившие уже более 2000 атомных зарядов каждая, прекратили гонку атомного вооружения и началось взаимосогласованное его сокращение. В 1983г. Иван Александров был приглашен Римским Папой для беседы, которая тогда же состоялась. Но в том же году в Испании И. Александров исчез (был убит, по-видимому, обстоятельства до сих пор не известны). Н.Н. Моисеев в 1987г. ушел с высокого поста в АН СССР и написал большую работу «Агония России», опубликованную в Москве в 2003г. после его смерти.

А демографическая проблема, которую Вы рассматривали, детность, экология, которой Вы занялись двадцать лет назад? В 1974 году Вы мне рассказывали об экологических проблемах и говорили, что «через 20 лет этим займутся». Но сейчас это трюизм. Я хочу понять, почему у Вас всегда бывает опережение на 20 лет? Что за такая психологическая объяснилочка... Вы беретесь за какую-то проблему, а через 20 лет она оказывается крайне важной

А, то есть я опережаю? Ну, это мелкий вопрос. Ты затронула более важный вопрос. В 1974 году я получил задание от Обкома партии. И я открываю депопуляцию в Ленинграде. С 1974г. руководство СССР узнаёт от меня, что в стране началась депопуляция.

В начале 70-х годов был взрыв интереса к исторической перспективе, только к 70-му году закончилось восстановление

европейского общества после Второй мировой войны, поэтому в 70-м году проводится перепись населения (предыдущая – в 59-м). Начинаются эти игры с «Новым городом», какое-то новое строительство. Что такое семья? Заинтересовались людьми. И я участвую в написании большого компендиума для партии и правительства по принципиальным вопросам бытия общества. Инициатором была Москва, я получил это задание от академика Шаталина, он был главой всей этой новой идеологии. И для этого нам дали возможность не только свободно мыслить, но и предоставили статданные. Мне понадобилась демографическая информация. Ну, как я могу прогнозировать общество без цифр о населении?... Да, во-первых, возникли прогнозы, идея прогнозов. «Ну-ка, спрогнозируйте, что будет!» – «Ну, так дайте мне базовые цифры» – «Ну возьми, пожалуйста», – говорит Горком партии. Я прихожу в Статуправление: «Ну, нет! Секрет!» – я прошу перепись населения, семейную структуру города. «Ну, мне же Горком дал задание, вот, спросите Горком, я должен, как же я без материалов переписи, а?» – «Ну ладно», – сказал начальник Статуправления Козлов, – «Я разрешаю тебе взглянуть».

Не переписывая?

Не переписывая. Ты помнишь, да? И я взглянул, не переписывая, и обнаружил, что Ленинград живёт в режиме депопуляции. А то, что его население непрерывно растёт – так это за счет миграции, а не рождаемости. Факт простейший, который они не знают. А что у нас с рождаемостью? А с рождаемостью – она только на две трети покрывает смертность. «Ааа!» – сказали все, – «Козлов! Ты как посмел допустить!?» Начальник Статуправления Козлов немедленно был уволен, меня изолировали и начали: «бу-бу-бу-бу!». Сначала был полный испуг: «Ленинград вымирает!? Ленинград? Вымирает?» Вот так они интерпретировали. Аккуратненько спросили: «А как в Москве дела?» Посчитали. Тоже вымирает. «... твою мать!», – задрожали все, – «А кто не вымирает?» – «Все города вымирают. Все. И Париж тоже. Живут за счет миграции». Оказывается, ё-мое, Баранов урбанизацией занимался, он всё знал! «Итак, что делать?» – «Молодежь надо забрать из деревни». ПТУ изобретается в Ленинграде после вот этой моей бомбы, через два года изобретается ПТУ, опробуется здесь и в 1977 году вводится по всей стране. Молодежь из села забирается в город. Выкачивается. В результате обезлюдела деревня. В результате урожай хлеба – вжик! Раньше Россия продавала хлеб, но с конца 70-х годов она начала покупать хлеб за границей. И все 80-е годы мы покупаем хлеб за границей, партия не

может прокормить свой народ, и именно это – то, что я открыл с 1974-го года – закончилось гибелью Советского Союза. Ну, об этом ты прочтешь в моей статье.

На сегодня только в результате сверхнизкой рождаемости – 1,3 ребенка на женщину в детородном возрасте – Россия с 1990 по 2007 гг. потеряла 12 млн. человек. У меня по этой теме написана статья. Она напечатана в материалах конференции: «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования. Национальная идентичность России и демографический кризис» – Материалы Всероссийской конференции. М., октябрь 2006г. Моя статья называется: «Дети – граждане России».

Вы хотели рассказать о днях путча ...

Дж. Кеннеди, президент США, сказал: «Поражение, как правило, – сирота, а у «победы» оказывается много родителей». А Борис Пастернак: «И поражение от победы ты сам не должен отличать» – сомнительный совет.

Я беру эти высказывания великих людей как «крестное знамение» верующего при подходе к «святому» или «нечистому» месту – к политике. Я был депутатом Ленинградского Городского Совета народных депутатов с апреля 1990г. по декабрь 1993г., когда Совет, за три месяца до окончания своих полномочий, был распущен указом Президента Ельцина по просьбе мэра Петербурга А. Собчака.

19 августа 1991г., в первый день путча ГКЧП, на сессии Городского Совета я был избран в состав штаба по защите города. На следующий день был назначен председателем редакционной комиссии по подготовке решения Объединенного Собрания Городского и Областного советов депутатов. Текст решения написал и докладывал я. За несколько минут до выхода на трибуну я показал проект решения Собчаку. В решении было три пункта: 1) Рекомендация войскам Ленинградского военного округа не исполнять приказы ГКЧП и оставаться в казармах. 2) Благодарность милиции города за поддержание порядка на улицах. 3) Предложить президенту и Верховному Совету России взять всю полноту государственной власти на территории республики в свои руки.

Анатолий Александрович минуты 2–3 думал над третьим пунктом и предложил мне исключить его. Я возразил: «Редакционная комиссия приняла этот текст, и единолично я не могу его изменить». На самом деле члены комиссии не смогли выработать согласованную резолюцию, а мой текст даже не видели. Я вышел на трибуну и предложил свое «Решение». Сопредседатели (от области – Яров и от города – Беляев) предложили

принять за основу без голосования; текст решения за минуту до моего выступления был роздан примерно четверемстам депутатам обоих советов, находившимся в зале. Таким образом, идея выхода России из состава СССР впервые на официальном уровне прозвучала 20 августа 1991г. в Петербурге.

Еще одно мое, отнюдь не тривиальное, предложение было осуществлено 22 августа. По телевизору я увидел, что в Москве на победном митинге участники пронесли огромное полотнище трехцветного флага, бывшего государственным флагом дореволюционной России, а в 1991г. – знаменем партии «Демократический Союз».

Я подозревал депутата Ленсовета Виталия Скойбеду, члена этой партии, способного на смелые поступки, и предложил ему срочно подготовить полотнище флага для поднятия его в качестве нового государственного флага над Мариинским дворцом, официальной резиденцией нашего Совета. Поручение было принято и выполнено к сроку – 17 часов. Несколько позже, когда у меня появилась уверенность, что флаг будет готов вовремя, я высказал идею поднятия флага Беляеву, он – Собчаку. Идея обоим понравилась. В 17 часов 22 августа 1991г. на большом балконе Мариинского дворца собрались дюжина чиновников мэрии и столько же депутатов и Собчак с Беляевым. Собчак по микрофону – на площади было несколько сот человек – отдал команду: «Спустить флаг Российской Федеративной Социалистической Республики!» Прошла минута молчания. И новая команда: «Поднять флаг Российской Федерации!» И Виталий Скойбеда, который был на крыше, поднял триколор под аплодисменты площади. К сожалению, я забыл организовать «Гимн великому городу» Глиэра, который к тому времени уже стал гимном Петербурга.

Так произошла смена государственного флага в России. В Москве эта церемония прошла дня на три позднее.

Над чем Вы работаете сейчас?

Над монографией по теме, которую можно назвать: «Кто мы, откуда и куда». Это – о человечестве и, конечно, о России, население которой составляет 2% всех жителей Земли. Публикация планируется в 2008 году.

Жизнь дается человеку только один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.



Гилинский Я. И. – окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, доктор юридических наук, профессор Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ. Основные области исследования: криминология и социология девиантного поведения. Интервью состоялось в 2005 году.

Прежде всего Яков Ильич Гилинский считает себя криминологом, но одновременно он – социолог девиантности и социального контроля. Его наибольшие достижения лежат в области пересечения этих наук, в исследовании преступности как разновидности девиантности. К ответам на мои вопросы

Гилинским был приложен десятистраничный список его публикаций, увидевших свет в 1990–2004 годах. За полтора десятилетия им было опубликовано почти две с половиной сотни работ. Это ряд «толстых» монографий и учебников, а также – статьи и главы в коллективных изданиях. Значительная часть текстов вышла за рубежом, и первые буквы названий стран охватывают значительную часть алфавита: Австрия, Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Литва, Молдавия, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Эстония, Япония. И это не все.

Интервью проводилось по электронной почте, но диалог развивался весьма стремительно. Временами мне казалось, что между нами нет океана, что мы беседуем, сидя рядом.

Я.И. Гилинский: «...Я НАЧИНАЛ КАК ЧИСТЫЙ УГОЛОВНИК...»*

Криминология и девиантология

Список твоих публикаций за последние полтора десятка лет впечатляет. Кто в России еще занимается столь же активно и продуктивно криминологией?

Конечно, я не единственный. По-прежнему много пишет академик Владимир Николаевич Кудрявцев, много публикуют профессора Виктор Васильевич Лунеев и Азалия Ивановна Долгова, прекрасным криминологом, особенно по преступности несовершеннолетних, является к.ю.н. Григорий Иосифович Забрянский, в Питере – проф. Дмитрий Анатольевич Шестаков. Другое дело, что я не знаю, кто больше меня публикует за рубежом. У меня сегодня около 100 публикаций «на языках»: прежде всего – английском, далее,

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 2. С. 2–12.

в порядке убывания, – немецкий, венгерский, польский, французский, итальянский, норвежский, и кроме того, работы на эстонском, латышском, литовском, украинском.

Криминологи не очень спешат сочетать свою профессиональную деятельность с девиантологией, т.е. социологией девиантности и социального контроля. Здесь я, пожалуй, «уникален». Обычно обо мне говорят как об «основоположнике» отечественной девиантологии. Кстати, сам этот термин введен в научный оборот мною. Сперва под усмешки коллег, включая зарубежных. Сегодня про девиантологию пишут отечественные социологи и психологи и уже не усмеваются зарубежные коллеги...

Вот здесь я попросил бы тебя рассказать подробнее и о криминологии, и о сути девиантологического подхода. Начнем с криминологии...

Для зарубежных коллег то, что я скажу, не открытие, но в России мои криминологические утверждения воспринимаются с большим трудом и часто с гневом отвергаются.

Преступность – понятие относительное, конвенциональное, социальный конструкт. Нет деяний (действий, бездействий), которые по своему содержанию, *sui generis*, *per se* были бы преступны. Так, умышленное лишение человека жизни может быть тяжким преступлением – убийством, или дозволенным действием, скажем, эвтаназия, когда она разрешена, или... подвигом – на войне.

Преступность – лишь вид девиантности, как более широко понятия, охватывающего все виды поведения, не соответствующие установленным нормам права или неформально сложившимся социальным нормам (мораль, обычай, традиция) в данном обществе. Например, употребление алкоголя преступно в мусульманских странах, курение табака было преступно и каралось смертной казнью в средневековой Испании и т.п.

Нет и не может быть причины преступности и только преступности, ибо, как социальный конструкт, преступность имеет одну единственную «причину» – «конструктора», или законодателя. Отмени уголовный закон, и *преступности* не будет, хотя будут лишать жизни и имущества... «Преступность» в любом современном государстве охватывает столь разнородные деяния, что в принципе не может быть их единой причины. Объем деяний, признаваемых преступными, меняется от государства к государству, от одного времени к другому. А как быть с «причиной»? Это положение (отсутствие «причин» преступности) особенно неприемлемо для отечественной криминологии, ибо жизни потрачены на поиски «причин».

Существует множество *факторов*, в большей или меньшей степени *влияющих* на объем, уровень, динамику преступности. Это факторы экономические, демографические, этнические, политические и несть им числа, включая, если верить А.Л. Чижевскому, – космические. Среди этих факторов, до тошно изучавшихся поколениями криминологов, все же можно выделить более существенные. К ним относится, с точки зрения марксистов, неомарксистов, «критической криминологии», Р. Мертона и многих других, включая меня, социально-экономическое неравенство. Оно порождает недовольство, зависть, злобу и – соответственно – различные виды преступлений и иных девиаций (наркотизм, пьянство, суицид), в т.ч. – позитивных – творчество. (Ибо одни под давлением обстоятельств воруют, другие – спиваются, а третьи – защищают диссертации!..) А поскольку социально-экономическое неравенство – «вечно» и выполняет прогрессивные функции (конкуренция, активность, творчество), постольку и негативные девиации, включая преступность – вечны.

Есть и другие значимые факторы. Например, за рубежом активно исследуются такие из них, как «гендер, возраст, раса, класс» (с огромным количеством эмпирических «подтверждений», но и без них известно: мужчины более «криминогенны», чем женщины; молодежь «криминогеннее» стариков; что же касается расы и класса, то это – смотря какие преступления и в какой стране).

Кроме того, я сторонник мультипарадигмальности в науке, включая криминологию, а также относительности всех знаний, к тому же очень люблю тезис хулигана в методологии Пола Фейерабенда: «Anything goes !», который можно трактовать как – «Все сгодится!».

Вопрос: Перейдем к девиантологии?

С моей точки зрения, *девиантность* – это социальное явление, выражающееся в относительно массовых, статистических устойчивых формах (видах) человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным или же фактически сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам и ожиданиям.

Исходным для понимания отклонений является понятие *норма*. В теории организации сложилось наиболее общее понимание нормы как *пределов, меры допустимого*. Это такие характеристики, «границы» свойств, параметров системы, при которых она сохраняется (не разрушается) и может развиваться. Это – *естественная, адаптивная норма*, отражающая закономерности существования системы. *Социальная норма*

выражает исторически сложившиеся в конкретном обществе пределы, меру, интервал допустимого (дозволенного или обязательного) поведения, деятельности индивидов, социальных групп, социальных организаций. Социальные нормы складываются (*конструируются*) как результат отражения (адекватного или искаженного) в сознании и поступках людей закономерностей функционирования общества. Социальная норма может либо соответствовать законам общественного развития (и тогда она является «естественной»), либо отражать их неполно, неадекватно, являясь продуктом искаженного (идеологизированного, политизированного, мифологизированного, религиозного) отражения объективных закономерностей. И тогда оказывается *анормальной* сама «норма», «нормальны» же (адаптивны) отклонения от нее.

Принципиальным для меня является осознание *относительности, релятивности* социальной «нормы» и социальных «отклонений». В природе и в социальной действительности не существует явлений, видов деятельности, форм поведения «нормальных» или же «девиантных» по своей природе, по содержанию. Те или иные виды, формы, образцы поведения «нормальны» или «девиантны» только с точки зрения сложившихся социальных норм в данном обществе в данное время («здесь и сейчас»).

Вся жизнь человека есть ни что иное, как онтологически нерасчлененный процесс жизнедеятельности по удовлетворению своих потребностей. Я устал и выпиваю бокал вина или рюмку коньяка, или выкуриваю «Marlboro», или выпиваю чашку кофе, или нюхаю кокаин, или выкуриваю сигарету с марихуаной... Для меня все это лишь средства снять усталость, взбодриться. И почему первые четыре способа социально допустимы, а два последних «девиантны», а то и преступны, наказуемы – есть результат социальной конструкции, договоренности законодателей «здесь и сейчас». Так, бокал вина запрещен в мусульманских странах, а марихуана разрешена в Голландии. Поэтому когда девиантология изучает девиантность и девиантное поведение, речь всегда должна идти о конкретном обществе, конкретной нормативной системе и об отклонениях от действующих в данном обществе норм – не более. Кроме того, необходимо учитывать субкультурные различия внутри «большого» общества.

Свыше десяти лет назад ты мне объяснял диалектику позитивных и негативных девиаций. Не мог бы ты сейчас развить эту тему?

Действительно, социальные девиации и девиантное поведение могут иметь для системы (общества) двойное значение. Одни из них – *позитивные* – выполняют негэнтропийную

функцию, служат средством *развития* системы, повышения уровня ее организованности, устраняя устаревшие стандарты поведения. Это – социальное *творчество* во всех его ипостасях. Другие же – *негативные* – дисфункциональны, дезорганизуют систему, повышают ее энтропию. Это преступность, наркотизм, коррупция, терроризм и др.

В массовом сознании девиантность обычно связана с негативными явлениями, поступками. Само слово «девиантность» приобрело негативный оттенок. Так, один из зарубежных авторов писал, что олимпийских чемпионов, которые, конечно, не нормальные люди, никогда не назовут девиантами, ибо они ненормальны скорее «правильно», чем «неправильно».

Однако, во-первых, границы между позитивным и негативным девиантным поведением подвижны во времени и пространстве социумов. Во-вторых, в каждом обществе сосуществуют различные нормативные субкультуры, и то, что «нормально» для одной из них, – «девиантно» для другой или для общества в целом. В-третьих, «а судьи – кто»? Кто и по каким критериям вправе оценивать «позитивность – негативность» социальных девиаций, равно как и «нормальность – аномальность»?

Мое представление о «нормальном», позитивном и негативном девиантном поведении позволило мне еще в 1970-е гг. выдвинуть гипотезу «баланса социальной активности», что, в свою очередь, позволяет предложить сокращение негативных девиаций за счет развития позитивных, или «канализировать» социальную активность в творчество.

Еще один сюжет из жизни девиаций. Мир устроен таким образом, что более или менее длительное существование тех или иных систем и процессов возможно лишь в случае их адаптивности и *функциональности* – выполнения определенных «ролей» в жизни других, более общих систем и процессов. При эволюционном *отборе* неадаптивные, *нефункциональные* системы, процессы, формы человеческой жизнедеятельности *элиминируются*. Сохраняющиеся же, очевидно, адаптивные, выполняют те или иные явные и/или латентные (Р. Мертон) функции. Так вот, «вечность» преступности, потребления наркотиков и алкоголя, проституции, коррупции, не говоря уже о позитивных девиациях – творчестве, свидетельствует о том, что *все существующие проявления девиантности* – функциональны: несут ту или иную социальную нагрузку, играют определенные социальные роли. Или, как говорил Гегель, «все действительное разумно».

Наконец, самое главное: организация и дезорганизация, «норма» и «аномалия», энтропия и неэнтропия *дополнительны* в понимании Н. Бора. Их сосуществование неизбежно, они

неразрывно связаны между собой, и только совместное их изучение способно объяснить исследуемые процессы.

Термин «девиантология», введен мною для обозначения науки, изучающей девиантность и девиантное поведение, а также реакцию общества на них – социальный контроль. Достоинство этого названия – краткость. К тому же этот термин вполне отвечает принципу наименования научных дисциплин и отраслей науки по формуле: обозначение предмета + «логия». *Девиации присущи всем уровням и формам организации мироздания.* В физике и химии отклонения именуются *флуктуациями*, в биологии – *мутациями*, на долю социологии и психологии выпали *девиации*. *Существование* каждой системы есть динамическое состояние, единство процессов *сохранения* и *изменения*. Без девиаций «ничего никогда породить не могла бы природа» (Лукреций), и отсутствие девиаций системы означает ее не-существование, гибель.

что можно сказать о соподчиненности криминологии и девиантологии...?

...Девиантология как социология девиантности и социально контроля является отраслью *социологии*, одной из специальных (частных) социологических теорий. В свою очередь, с моей точки зрения, социология девиантности служит более общей теорией по отношению к наукам, изучающим отдельные проявления девиантности: *криминологии* (наука о преступности), *суицидологии* (наука о самоубийствах и суицидальном поведении), *«аддиктологии»* (наука об аддикциях, пристрастиях, зависимостях – алкогольной, наркотической, табачной, игровой, компьютерной и др.), отчасти *сексологии* (наука о сексуальном поведении, включая «отклоняющееся» – перверсии), *социологии творчества*. Сразу оговорюсь – если в криминологии высказанная точка зрения достаточно распространена, то моя позиция в отношении суицидологии, «аддиктологии», сексологии и социологии творчества, несомненно, вызовет возражения. Но и российские коллеги-криминологи никак не могут со мной согласиться. Как это так? Криминология – не абсолютно самостоятельная наука, а часть какой-то другой?!

С момента перестройки ты, ранее «невъездной», побывал в десятках стран всех континентов. Не будет ошибкой считать, что ты принадлежишь к достаточно узкой группе криминологов, определяющих сегодня характер и направленность этого научного направления?

Я был de facto невъездной, никто официально мне это не заявлял, но и мои попытки поехать туристом в «капстрану»,

например, «вокруг Европы» не увенчались успехом; комиссия РК КПСС, обязательная в таких случаях, рекомендовала мне съездить по Волге. Но я ездил туристом в «соцстраны»: Болгарию, Чехословакию, Венгрию, Польшу и ГДР.

В России сохраняется несколько «школ», часто – по географическому принципу (Московская, Петербургская, Дальневосточная). Мне трудно давать оценки. Так, насколько я могу понять, москвичи – проф. А.И. Долгова и проф. Нинель Федоровна Кузнецова не слишком довольны развиваемыми мною взглядами... Из Петербургской школы ближе всего по взглядам и связям с зарубежьем я и проф. Шестаков. Вместе с профессором Милюковым мы учредили Санкт-Петербургский криминологический клуб; замечу, при личном взаимодействии с ним мы являемся постоянными оппонентами. С 2002 года в Петербурге издается журнал «Криминология: вчера, сегодня, завтра».

Начнем с начала

Мы вернемся к содержанию и результатам твоих исследований, а сейчас, пожалуйста, расскажи, как все началось. Как случилось, что при выборе профессии ты остановился на юриспруденции?

Со школьных времен я интересовался общими вопросами бытия – физического и социального. Но для первого необходимы были физические, а следовательно, математические способности, чем я не обладал. Поэтому довольно естественно я выбирал между философским и юридическим факультетами. Вообще меня больше тянуло на философский. Еще в школе прочитал Канта, Спинозу, древнегреческих философов, александровскую Историю философии (позднее разгромленную А.А. Ждановым) и многое другое. У нас дома была большая библиотека, было в ней и несколько выпусков «Архива гениальности и одаренности (эвропатологии)». Не с них ли в сочетании с профессиональной деятельностью юриста началось мое нездоровое увлечение девиациями? Но и юридический, как мне казалось, дает широкое гуманитарное образование, может помочь мне «определиться» с миром социального, зла и добра, к тому же это – «практическая» специальность. Потому еще в школе я прочитал вузовский учебник уголовного права и еще кое-что «правовое».

Но ведь я закончил 281 среднюю школу в 1952 г. Время «убийц в белых халатах» и «пятого пункта», а мой отец, Илья Яковлевич Гилинский, – и с «пятым пунктом», и в белом халате (врач-невропатолог и научный сотрудник института фи-

зиологии АН СССР, канд. мед. наук). Да и двоюродный дядя мой, нарком Гишинский [1], был расстрелян как «враг народа» в 1938 г. Я прекрасно понимал, что философского факультета Ленгосуниверситета им. А.А. Жданова мне не видать. С юрфаком ЛГУ были бы не меньшие сложности. Ведь бывший Ленинградский, ныне Санкт-Петербургский государственный университет – давно уже оплот власти, консерватизма, чтобы не сказать – реакции, во всяком случае, гуманитарные факультеты. И хотя я его потом окончил, *случайно*, и кандидатскую диссертацию защищал там же, но до защиты докторской не только не был допущен, но был предупрежден через третьи лица: «Не смей соваться!» Так что докторскую я защищал в Москве. Более того, я и сегодня персона нон грата для a *lma mater*... *время летит, а времена не спешат меняться.*

Как же тебе удалось развязать этот узел?

Была в 1952 г. одна «лазейка» для желающих стать юристом – Ленинградский юридический институт (ЛЮИ) им. М.И. Калинина. Это хоть и идеологический институт, но все же не университет, и я подал заявление в ЛЮИ. Конечно, на вступительных экзаменах со мной сделали, что надо. Мне задавали дополнительные вопросы до тех пор, пока я на какой-нибудь не мог ответить. На истории это случилось на четырнадцатом дополнительном вопросе, а на географии я показал не все места ссылок тов. Сталина... Этого было достаточно, чтобы я не прошел по конкурсу. Это – официально. Неофициально мне донесли – уже с тех пор, как опытный юрист, я знаю – без агентуры жить и работать нельзя – истинную формулировку: «Мало того, что еврей, так еще маскируется под русского»; по паспорту и всем анкетным данным я значился русским. Вот здесь требуется комментарий.

Самое смешное, что я не маскировался; евреи не считают меня своим. Моя мать – Редько Елена Львовна, не просто русская, а русско-украинка. Моя бабушка со стороны матери, урожденная Давыдова, принадлежала к довольно старому русскому роду (увы, связь с гусаром и поэтом Денисом Давыдовым не установлена). Ее отец – мой прадед – был аж старший егерь Его Императорского Величества и проживал с семьей под Питером в Мариенбурге, где были, как говорят, уголья царской охоты. Братья бабушки были частично «золотопогонниками», офицерами русской армии, а потому своевременно сбежали после Великого Октября. Лишь в хрущевскую «оттепель» выжившие члены семейства Давыдовых приезжали к нам в Ленинград – из Парижа, Югославии и других стран. Один из потомков «чешских» Давыдовых – мой сколькожуродный

брат Сергей Сергеевич Давыдов – профессор филологии, пушкинист, живущий сейчас в Канаде, несколько раз приезжал в Ленинград-Петербург на июньские празднования дня рождения Пушкина, пока его – брата, а не Пушкина, – не ограбили трое в масках, затолкнув в одну из «академических» квартир на Марсовом поле. С тех пор я виделся с Сергеем только в Тампере (Финляндия) на мировом конгрессе 2000 г. А отец матери, мой дед Лев Мефодиевич Редько – украинец, как говорят, из какого-то знатного рода. Во всяком случае, о двух моих двоюродных дедах – Мефодиевичах есть глава «Редьки» в воспоминаниях академика Е. Тарле, публиковавшихся еще в советские годы в журнале «Звезда». Один из «Редек» – Александр Мефодиевич – был архитектором, поэтом, переводчиком, похоронен в Петербурге на Волковском мемориальном кладбище, и его могила «охраняется государством».

Наши поколения воспитывались в духе незнания прошлого семьи. Когда ты прикоснулся к истории твоей семьи? Твое знание этого прошлого как-то отразилось в твоём мировоззрении, поведении?

До «оттепели» дома никто никогда, разумеется, о «врагах народа», беглых «белых офицерах», егерях Его Величества и т.п. не говорил. Да и вообще, я родился в 1934 году, так что детство больше прошло в блокаде и выживании. Не помню, в какие точно послевоенные годы мать, тетка и бабушка получили письмо из лагеря под Нарвой от бабушкиного племянника, сына ее двоюродного брата, Сергея Давыдова и отца ранее упомянутого пушкиниста (минимум три поколения Давыдовых были Сергей Сергеевичи, поэтому в рассказе их очень трудно отдифференцировать...), который был арестован нашими войсками в Чехословакии за участие в какой-то студенческой «буржуазной» партии, осужден (от большого патриотизма он и другие родственники, эмигрировав в разные страны, сохранили российское гражданство), умирал от голода в нашем ГУЛАГе и от отчаяния решил написать моим родным по старому адресу, не надеясь, что мы еще там живем. Мать с теткой собрали все, что можно было в постблокадном Ленинграде и с двумя рюкзаками сухарей-лукапапирос поехали к нему в лагерь, благо это было недалеко от Ленинграда. Это был первый робкий прорыв к семейным «тайнам». Постепенно восстанавливалась более полная картина, хотя я сейчас я много не знаю.

Это все на мое мировоззрение, как мне кажется, особенно не повлияло. До противоречий в марксизме-ленинизме и даже до «чрезмерности» культа Сталина я дошел своим умом. Году

в 1950–1951 я выразил удивление в своем дневнике, как это такой гениальный тов. Сталин не понимает, что чрезмерное и постоянное восхваление его вредит его репутации!... Зачем он это допускает? О, sancta simplicitas! Лишь много позже все домашние «картинки» дополнили страшную большую картину советского и более того – российского – бытия.

Я сбил тебя немного, ты хотел что-то добавить по «еврейскому вопросу»?

...Я воспитан в русской и европейской культуре. Но фамилия и, очевидно, внешность всю советскую эпоху мешали мне учиться, работать и жить. Вот еще два эпизода.

Будучи адвокатом в г. Тихвине Ленинградской области, я хотел работать в прокуратуре, и прокурор Тихвинского района И.П. Медведев, оставшись без зама, предложил мне эту должность. Я с радостью согласился. Но когда он направил на меня представление со всеми документами в отдел кадров прокуратуры Ленобласти, оттуда (опять же по агентурным данным) пришел ответ: «Мы не можем засорять ряды прокуратуры». Знала бы начальница отдела кадров, что я буду засорять Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ в качестве профессора.

А вот и вторая иллюстрация. В 1969 г. меня, уже кандидата юридических наук, пригласили работать в социологическую лабораторию НИИКСИ ЛГУ, с чего, собственно, и началась моя социологическая карьера. На моем заявлении были все необходимые резолюции, включая визу проректора по науке. Но заведующий отделом кадров, негибкий защитник чистоты университета Сергей Иванович Катькало, приказа о моем зачислении на работу не отдавал. После вмешательства высоких университетских лиц меня пригласил к себе проректор по науке проф. Д.А. Керимов. «Говорят, у тебя отец еврей?» – спросил он. Я вынужден был чистосердечно признаться. «Ладно, что-нибудь придумаем», – задумчиво сказал Джангир Али-Аббасович и настоял на моем трудоустройстве. А вообще-то таких случаев было не счесть, но с менее удачным концом...

И все же, как ты получил юридическое образование?

Итак, в юридический институт я не попал. Без высшего образования себя не мыслил. Всеми правдами-неправдами поступил на заочное отделение географического факультета Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена. Проучился два курса, перешел на третий. Вождь всех времен и народов умер, фамилия стала играть

относительно меньшую роль. И вот, телефонный звонок очередной «агентуры»: «Ты еще не раздумал к нам в юридический?» – «Нет конечно». – «Такого-то числа во столько-то тебя ждет Н.И. Бутин (директор ЛЮИ). Приходи, переведешься к нам». Я, честно говоря, послал моего собеседника очень далеко... Чтобы директор института ждал меня, неудачливого абитуриента двухгодичной давности! И все же меня убедили сходить. Беседа с Николаем Ивановичем Бутиным заслуживает специального рассказа. Но, опуская все подробности, – я оказался зачисленным на второй курс («Все досдашь, переведу на третий») ЛЮИ.

Я быстро отчислился из пединститута и... ЛЮИ ликвидировали вместе с Бутиным... На сей раз меня спасло чудо и советская бюрократия. Всех студентов института *автоматически* перевели на юридический факультет ЛГУ, а так как я по приказу уже был «студентом» института, то был переведен столь же *автоматически* в ЛГУ. А поскольку я не мог себе позволить отставать от сверстников, то я окончил университетский курс наук за три года. И в моем дипломе (с отличием) значит: «поступил в 1954 г., окончил в 1957 г.». Интересно, что до сих пор никто, ни один отдел кадров не поинтересовался – «как же так?» Ни одного дня я не жалел, что стал юристом. Базовое образование действительно оказалось неплохим, несмотря на всю советскую идеологизацию юриспруденции.

Пожалуйста, закончи линию с твоим философским призванием.

...Оно весьма частично материализовалось, во-первых, в моей первой (в начале 1960-х гг., еще до научных публикаций и кандидатской диссертации) рукописи «Критический диалектический и исторический материализм» (порядка 100 машинописных страниц). Это был советский период. Я был напичкан диаматом и истматом. Более того, многое в марксизме (без ленинизма...) меня устраивало (да, пожалуй, и сейчас устраивает): и материализм, и диалектика, и материалистическое объяснение истории. Но: я уже тогда видел «дыры» и противоречия этой философии и решил их отрефлексировать в тексте с акцентом на «критический». Во-вторых, в моей статье 1995 г. «Онтологический трагизм бытия, или Размышления малицириста» [2]. В-третьих, в ряде «танатологических» небольших статей [3]. В-четвертых, и, пожалуй, главное – в бесчисленных Заметках, Записках, Дневниках, Записных книжках, сегодня я заполняю 86-ю по счету. Конечно, это не профессионально, а профанно...

Первая профессия – «уголовник»

Диплом получен, а дальше что?

До семидесятых годов прошлого столетия я был в основном юристом, причем ярко выраженным *уголовником*. И не только по образованию (я специализировался в университете по уголовно-правовому циклу), научным интересам (моя кандидатская диссертация была по уголовному процессу, все публикации до 1971 г. – по уголовному процессу и уголовному праву), но и по практической работе. Я недолго был стажером прокуратуры, затем секретарем народного суда, а с 1958 г. свыше 10 лет – адвокатом, в основном защитником по уголовным делам. Несколько лет был членом Президиума Ленинградской областной коллегии адвокатов, неоднократно привлекался Минюстом РСФСР в качестве ревизора, имел «допуск» к ведению дел, подследственных КГБ, и вел соответствующие дела: об измене родине, об антисоветской пропаганде и агитации. И даже кандидатскую диссертацию защищал во время специально объявленного для этой цели перерыва в закрытом судебном заседании по делу об измене родине...

При этом меня не переставали интересовать проблемы причин преступности и преступлений, адекватности уголовно-правовых мер содеянному преступниками, целесообразности наказания как средства «борьбы» с преступностью, допустимости смертной казни как меры наказания. Этот мой интерес проявился и в кандидатской диссертации по уголовному *процессу* «Исполнение приговора как стадия советского уголовного процесса», защищенной в 1967 г. Первая глава получилась не процессуальная, а уголовно-правовая с элементами криминологии, науки, которую «мы не проходили» на юрфаке, ибо это была, конечно же, буржуазная лженаука... Поэтому, в частности, мой научный руководитель, процессуалист профессор Полина Соломоновна Элькинд, которой я безмерно благодарен за введение меня в науку, начиная с моей дипломной работы на юрфаке, посоветовала отдать первую главу на рецензию профессору Михаилу Давидовичу Шаргородскому (1904–1973) – главе ленинградской уголовно-правовой школы. Шаргородский одобрительно отнесся к моему опусу, а уж в остальной части диссертация была сугубо процессуальной.

Пока идеи девиантологии сидели в тебе в свернутом виде. Как и когда ты начал их осознавать?

В 1960-е годы я прочитал статьи Дона Мартиндэйла «Социальная дезорганизация: конфликт между нормативным и эмпирическим подходом» и А. Коэна «Исследование проблем

социальной дезорганизации и отклоняющегося поведения» и, говоря словами Ч. Ломброзо, «как будто бы ясный свет озарил темную равнину до самого горизонта». Я начал думать о *девиантном поведении* и его корнях. Вообще надо сказать, что *три книги* зарубежных авторов «Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении» (М., 1961), «Социология сегодня» (М., 1965) и «Социология преступности» (М., 1966) произвели на меня потрясающее впечатление. Я вдруг понял, что есть *другая наука*, есть совсем *другой* способ научного мышления, стиль изложения. Я понял, что вся наша советская наука крайне ограничена, что мы, «доценты с кандидатами», ничего, оказывается, не знаем о мировой науке в нашей области... Мы просто – малограмотны. Увы, и сегодня мне приходится это доказывать и объяснять при неодобрительном молчании многих российских коллег.

Публиковаться в те далекие годы было сложно даже масштитами, а мне и подавно. Поэтому я использовал адвокатские возможности и писал статьи в адвокатские сборники. И вот в сборнике, посвященном столетию В.И. Ленина, был опубликован мой текст «Некоторые проблемы криминологии в свете ленинских идей» [4], в котором я рассматривал преступность как разновидность отклоняющегося поведения, предлагал различать позитивно и негативно отклоняющееся поведение и вообще на семи страницах нес для того времени крамолу. А затем последовали две мои статьи 1971 г. об отклоняющемся поведении уже в более солидных сборниках [5]. По понятным причинам я, вслед за переводчиками зарубежных авторов, использовал тогда словосочетание «отклоняющееся поведение», а не «девиантное», поскольку у всех еще были в памяти «борьба с космополитизмом» и за чистоту русского языка...

Определенной «вехой» приближения к социологии явилось и присутствие на какой-то конференции социологов. Помню выступления В. Ядова, А. Здравомыслова, О. Шкаратана.

До начала второй половины 1960-х ты оставался почти «чистым» юристом-«уголовником»? Ты не помнишь, как начали завязываться твои отношения с социологами?

Социология интересовала меня именно как общая теория общества (так, до этого я читал, насколько мне это было доступно, Н. Бора, А. Эйнштейна и о них, выискивая общую теорию мироздания). На меня произвела впечатление книга И. Юна «Социология личности». Очутившись в 1969 г. в НИИКСИ, я продолжил – теперь уже «профессионально» – поглощать доступную социологическую литературу и общаться с «доступными» мне тогда социологами В. Ядовым, В. Ельмее-

вым, В. Лисовским, С. Иконниковой и др. С Ядовым я познакомился, точнее, впервые его слушал, в 1968 г. в НИИ вечерних (сменных) и заочных средних школ АПН СССР, где работала его жена Людмила Николаевна Лесохина, которая, очевидно, и затащила В.А. на встречу-лекцию.

Работая в социологической лаборатории НИИКСИ, я сосредоточился на социологии преступности, иных девиаций, социального контроля. Этим можно было заниматься под «крышей» социально-экономического планирования – темы, одобренной ОК КПСС... Так, проводя эмпирические исследования в г. Орле под социально-экономическое планирование по заданию лично первого секретаря Орловского ГК (или ОК) КПСС т. Иванова, я получил высокое «добро» на изучение материалов о самоубийствах, уголовной статистики (святая святых тогдашнего времени) и даже на опрос заключенных в четырех колониях Орла и Орловской области [6].

Во второй половине 1960-х все сошлось: многодесятилетний поиск наиболее общих причин, закономерностей, сути социального бытия; десятилетний практический опыт адвоката по уголовным делам (чего только я не навидался, наслушался!); ненавязчивое подталкивание к науке проф. Элькинд; чтение *зарубежной* криминологической и социологической литературы; приглашение на работу в социологическую лабораторию НИИКСИ ЛГУ, из которого, как из гоголевской «Шинели», вышли очень многие из нас: Л. Спиридонов, П. Лебедев, Ю. Суслов, Р. Могилевский, А. Шаров, В. Лисовский, кстати, все – юристы по образованию.

Вспомним коллег-друзей

Из всех названных тобою ученых я не был знаком лишь со Львом Ивановичем Спиридоновым, хотя слышал, что он был очень глубоким аналитиком. Что ты мог бы сказать о нем?

Лев Иванович Спиридонов (1929–1999) [7], сын расстрелянного «врага народа» (1938), мать была осуждена к 10 годам лишения свободы. Оба реабилитированы в 1990-е гг. Л.И. всю блокаду жил в Ленинграде, работал водопроводчиком. С 1948 г. по 1952 г. учился в ЛЮИ им. Калинина, очевидно, тоже не рассчитывая на ЛГУ. Будучи студентом, «терроризировал» преподавателей Гегелем. Его послали к проф. С.И. Аскназию, который, переговорив с этим студентом, начал дважды в неделю заниматься с ним у себя дома... ЛИС до последних дней жизни ходил на могилу Учителя. За студенческий реферат был удостоен первой премии ЦК ВЛКСМ. Гегельянец-марксист (не

вульгарный!), ЛИС был талантливым диалектиком. Окончив Институт с отличием, долго не мог устроиться на работу (сын врага народа). Затем – адвокат Ленинградской областной коллегии адвокатов – убежища «неблагонадежных». В 1966 г. защищает кандидатскую диссертацию и поступает на работу в НИИКСИ при ЛГУ научным сотрудником. Затем Л.И. стал заведующим лабораторией, и это позволило ему перетащить меня к нему в лабораторию в 1969 г. [8].

Лев был теоретиком права, социологом права и криминологом [9], это был блестящий человек, полемист. Он во многом помог мне, начиная с трудоустройства, и способствовал «лаконизации» моих толстовских периодов. Правда, он косо поглядывал на мое увлечение девиантностью. Что за сим стояло, трудно сказать... Во всяком случае, он, разумеется, не мешал мне. Наше творческое «трио»: Спиридонов, Гишинский, Лебедев, переходящее в «квартет», четвертым был Э. Фомин – лучшие годы творчества, скрепленные декалитрами кофе.

В 1975 г. по приглашению нач. Академии МВД СССР генерала С.М. Крылова (надеюсь, я не переврал инициалы этого талантливого организатора науки, затравленного позднее кличкой Чурбанова и застрелившегося в своем рабочем кабинете, одев парадную форму) ЛИС переезжает в Москву, создав и возглавив первую в стране кафедру уголовной политики и уголовного права. В 1978 г. ЛИС возвращается в Ленинград, последовательно возглавляет кафедры Высших курсов штабных работников МВД СССР, затем ленинградского факультета Московской ВШ МВД СССР, ленинградского филиала Академии МВД СССР, СПб Высшей школы МВД РФ.

В последний год-два жизни ЛИС «заболел» новой, как он сам говорил, *последней* книгой. Он критически и пессимистически относился к происходящему в науке и стране. Свою книгу «Теория государства и права» подарил мне в день моего рождения (16.06.1995) с дарственной надписью: «Яшеньке в память об осколках разбитого вдребезги». В последней, так и недописанной книге (фрагменты опубликованы посмертно) [10], ЛИС хотел сказать «все, что думал о науке». Он успел написать: «1. Юридическая наука как таковая отсутствует. То, что сегодня именуется наукой, не отвечает требованиям научности. 2. Сама “наука”, будучи современницей Нового времени (модерна), сегодня, в эпоху постмодерна, себя исчерпала. 3. Современная юридическая наука – рассуждения сугубо субъективные тех, кто считает себя учеными юристами...» [11]. И, наконец, я полностью согласен с ЛИС: «Из того факта, что то или иное государство – г..., следует лишь то, что таким же г... является и оформленное государством общество» [12].

Можно тебя попросить немного добавить о П.Н. Лебедеве и Э.А. Фомине?

Оба закончили юрфак. Павел Николаевич Лебедев (1937–1993) работал в социологической лаборатории НИИКСИ, Эдуард Афанасьевич Фомин (1939–2002) – юридической. Но оба входили в круг Спиридонов–Гишинский. Оба с прекрасными человеческими качествами, доброжелательные, отзывчивые, верные друзья.

Паша (Лебедев) был удивительный человек. Талантливый ученый со лбом мыслителя. До очень ранней, преждевременной смерти – в чем-то наивен, как ребенок. Смех напоминал среднее между сдавленной ухмылкой и легким ржанием. Любил рассказывать анекдоты. До рассказа посмеивался. В середине рассказа начинал безудержно смеяться. Отсмеявшись, удивленно смотрел на слушателей: «А дальше я не помню, что». Тогда грохали от смеха слушатели.

Наш первый этап совместной работы в НИИКСИ отмечен статьями Спиридонова, Лебедева, Гишинского по проблемам социализации [13]. Второй этап – множество совместных работ по социально-экономическому планированию. С 1989 г. я и Паша «воссоединились» в Социологическом институте АН СССР.

Потрясающе невезуч. Когда-то студентом на юрфаке в стенгазете напечатал что-то с намеком на диссидентство. Газету сорвали и... запомнили на всю советскую жизнь. Долго не давали защитить кандидатскую диссертацию. Накануне защиты выяснилось, что у Паши не сдан кандидатский экзамен по специальности. Пошел срочно сдавать и... получил двойку за вопрос по диссертации, уже полностью написанной и рекомендуемой к защите. Кажется, Л. Спиридонов сумел организовать передачу.

У меня дома хранятся три различных автореферата его докторских диссертаций. К тому времени Паша – автор фундаментальных работ, включая пару монографий. Дважды в последней момент ему срывали защиту: тема не та, не по тому совету, не по той специальности и т.п. Он решил докторскую не защищать. Мы уломали, уговорили его. Наконец, назначен день защиты третьей докторской диссертации. Подходим к зданию на Менделеевской линии, философский факультет ЛГУ. Нас не пускает вахтер: все отменено, электричество отключено, никого в здании нет. Пробились на факультет, идем по совершенно темному коридору, дело было вечером зимой, где-то тускло маячит свет. Это собирается диссертационный совет, всю защиту работавший... при свечах. «Паша, это только с тобой такое может быть» – не сговариваясь, говорили мы. И смерть его была глупая, ранняя, бессмысленная. Положили

в больницу готовить к операции на сердце, а это была язва желудка, началось бурное кровотечение, сделали удачную операцию и... угробили в реанимации, не обеспечив требуемый послеоперационный уход.

Эдик Фомин был блестящим исследователем, теоретиком по складу ума и эмпириком по необходимости. У него очень много эмпирических исследований. Я хорошо знаю его ранние работы по правосознанию и эффективности права, но позднее мы пахали разные предметные поля. Во всех проектах он был «рабочей лошадкой», а потому нередко «эксплуатируемым» коллегами. Необычайная требовательность к себе, выполняемым работам, убеждение, что «еще над этим надо поработать», привели к тому, что он так и остался неостепененным. Это судьба многих ярких ученых...

Снова о криминологии и девиантологии

К концу 1960-х ты был сложившимся «уголовником», опытным юристом, кандидатом наук. Ты мог, например, будучи адвокатом, иметь стабильную, уважаемую и очень хлебную работу. Какие такие пассионарные токи толкнули тебя в неизвестность криминологии?

Ну, во-первых, именно пассионарные токи – меня наука, теория всегда интересовали больше практики. Кстати, маленькая деталь. Моя докторская диссертация по криминологии была с грифом «ДСП» и в значительной эмпирической части основывалась на закрытых – в то время – материалах; были и публикации с грифами «Секретно» и «Для служебного пользования». Свыше полутора лет диссертация лежала без движения в Академии МВД СССР, поскольку министра МВД Н.А. Щелокова сменил В.В. Федорчук, который, по признанию (за рюмкой чая...) одного полковника из его окружения «испытывал патологическую ненависть к науке». И наряду с моей еще несколько докторских диссертаций Совет Академии боялся назначать к защите!.. Тогда я поступался в докторский совет Института государства и права АН СССР, который возглавлял академик В.Н. Кудрявцев. Он дал «добро», но сказал, что их совет не любит закрытых диссертаций и посоветовал мою «открыть», убрав все «закрытое». Но ведь там так много интересных эмпирических данных, взмолился я. «Зачем вам они, – сказал Владимир Николаевич, – вы же – теоретик». Пришлось с ним согласиться...

Во-вторых, насчет «очень хлебной работы». Не было ее у меня! Я никогда не умел зарабатывать деньги, я стеснялся брать деньги, даже честно заработанные. У меня был крайне

низкий заработок адвоката, строго по «таксе» (3 руб. за совет, 5 руб. за заявление, 25 руб. за уголовное дело и т.п.). Не буду ханжой и лицемером: конечно, мне иногда оставляли на столе 5–10 рублей; это не опечатка. Я дважды получил сверх таксы (я думаю, за давностью я не подлежу сейчас за это чистосердечное признание уголовной ответственности) огромную для меня сумму 50 рублей (не опечатка): первый раз – за спасение от смертной казни за убийство, которая была заменена 10 годами лишения свободы, и второй раз – за оставление на свободе, замена реального лишения свободы условным, лица, обвинявшегося в крупном хищении.

Мне не кажется исчерпывающим объяснение начала твоих поисков в области девиантного поведения тем, что в 1960-е годы ты прочел ряд статей и книг. Названные тобою сборники читали многие, но они не пришли к идеям девиантности. Их читал и Л.И. Спиридонов, но он не стал «девиантологом». Где корни девиантологии? Может, то было проявлением «внутреннего зрения», «озарением»?

В 1926 г. Михаил Николаевич Гернет (1874–1953) писал: не надо искать тысячи причин преступности. Есть всего лишь одна причина – «*весь социально-экономический строй*». Прав был Гернет? Да, конечно. И – конечно, нет. Ибо «*весь социально-экономический строй*» порождает *все* социальные феномены, а не только преступность и даже не только девиантность в целом.

Вот так же и с моим приходом к девиантологии. Есть одна общая причина – «Я», точнее, «девиантность во мне» или «я – девиант». Мне с детства были противны серость, одинаковость, «мещанство», «филистерство» и т.д., и т.п., и проч. Я ведь до переводных социологий читал киников, Ницше и др. Ведь с детства «Я отрицаю все, и в этом суть моя». Кстати, конечно же, не только специальная литература – философская, социологическая, криминологическая – «воспитывала» меня, но и художественная, а следовательно, и Гете, и Фейхтвангер, и Хемингуэй, и несть им числа. Еще одно «кстати»: в числе моих наипервейших «научных» работ (рукописей) был не только «Критический диалектический и исторический материализм», но и «Об уничтожении семьи, частной собственности и государства» – разумеется, как реакция на энгельсовское «О происхождении...». Девиантное, анархистское, ницшеанское, отрицающее всегда бродило во мне. Почему? Тайна сия велика есть.

Ты, конечно, хитрец большой, хочешь, чтобы я открыл секрет творчества. Поступай ко мне в аспиранты, я ищу такого, по позитивным девиациям.

Я, атеист, который под влиянием агрессивности нашей РПЦ скоро станет «воинствующим безбожником», и не верю в божественное откровение. Но то, что творчество человеческое содержит какой-то инсайт, «откровение», «озарение», – ясно.

Еще одно «кстати»: может я потому («дьявольскому», мифистическому, сидящему во мне) и уголовщину как профессию выбрал, а не какую-нибудь почтенную филологию. Читать-то я с детства любил, научился «самостоятельно» к 4,5 годам и далее не расставался с книжками. В годы блокады читали вечерами при «коптилке».

Немного яснее, но что к чему достраивалось?

Исторически, по времени я не столько криминологию достраивал до девиантологии, сколько криминологию вписывал в девиантологию. Мои первые статьи по *девиантности* появились в 1969–1971 гг., но думал об этом я несколько раньше. Монография под докторскую по *криминологии* была написана в 1983, издавать ТАКОЕ до перестройки никто бы не стал, и я ее депонировал в ИНИОНе в январе 1984 г. Здесь я в наиболее сформировавшемся, диссертабельном виде обосновывал преступность как вид девиантности, а, следовательно, криминологию как элемент социологии девиантности. Опять же все это связано с моей изначально общей философской позицией – от общего к частному. Кроме того, замечу, в ЛГУ я не был *испорчен* университетской криминологией. Мы ее, как буржуазную лженауку, не изучали. Я – профессор криминологии без криминологического образования.

Исследования и политика

Ты был членом КПСС? Состоишь ли сейчас в какой-либо партии?

Был, и еще как долго! Да еще бывал и зам. секретаря партбюро по... идеологии (в НИИКСИ).

Я вступил в КПСС в марте 1962 г. в г. Тихвине. Для того было два повода: идеологический: «оттепель» Хрущева, Сталин и его злодеяния разоблачены, и партии нужны честные, молодые, энергичные люди! И таких молодых идиотов тогда было немало... и прагматический: я собирался перейти из адвокатуры в прокуратуру, замом прокурора Тихвинского района, для этого членство было нелишнее... Свой идиотизм я осознал с наступлением «застоя», но выходить из партии было уже смерти подобно. А я, увы, не герой. Вышел я из КПСС в июне 1990 г., еще до ГКЧП, а после него был замом А.Ю. Сунгурова – председателя комиссии по расследованию преступной деятельности КПСС и брал Смольный...

Вступить... можно раз в жизни... Больше не вступал... Но если бы вступил, то все же в «Яблоко» – при всей его сегодняшней импотенции.

Правда, несколько лет я был членом «Радикальной партии» (1991–1995, 2000 гг., членство в ней ежегодно подтверждается, и я не всегда это делал). Есть такая партия! Транснациональная, надпартийная, антиавторитарная, ненасильственная, антипрогибционистская, гандианская, либертарианская, etc. Штаб-квартира в Риме. Я несколько раз был на ее конгрессах в Риме, выступал на них за легализацию наркотиков, проституции, против смертной казни и т.п. В 1993 г. я был с ними в Брюсселе, выступал в Европарламенте за отмену смертной казни во всем мире к 2000 г., в составе россиян был и Анатолий Приставкин, который несколько раз звал меня в Москву в свою комиссию по помилованию... С радикалами же я во время балканских войн ездил в Загреб, под бомбежками (пустяки по сравнению с блокадой Ленинграда) «мирить» хорватов с сербами... Я и сейчас изредка поддерживаю те или иные акции радикалов, правда, письменно, не выходя «на улицу».

Социология, криминология и власть – тема бесконечная. Но как бы ты прокомментировал ее в самом общем виде?

В позднее советское время власть «востребовала» социологов и криминологов постольку, поскольку их исследования могли «научно обосновать» достоинства системы или отметить «некоторые отдельные недостатки» и пути их устранения. Тем более что после Хрущева, да и при Брежневе партийным бонзам было «модно», «престижно» милостиво привлекать науку. Пара примеров. ЦК КПСС одобрил Ленинградский почин и опыт социально-экономического планирования, сразу посыпались заявки. С одной стороны, это позволяло нам проводить эмпирические исследования, проверяя наши теоретические гипотезы. С другой стороны, не обходилось без анекдотов. Так, руководитель Орловской парторганизации, прочитав прогноз наших коллег из экономической лаборатории НИИКСИ, улыбаясь, поменял знак с «-» на «+» в прогнозируемых 8% спада производительности труда... Другой пример. По просьбе отдела пропаганды и агитации Ленинградского ОК КПСС я представил тренд преступности за продолжительный период времени, да еще с разбивкой по районам города. Через пару недель инструктор ОК, посмеиваясь, завел меня в кабинет заведомом и продемонстрировал мои данные, превращенные в большую «простыню», вывешенную на стене кабинета. «Начальник очень гордится этим, отмечает изменения по районам и всем показывает», – сказал инструктор. Когда же я спусти

несколько месяцев оказался в штабе ГУВД, меня чуть не «съели» сотрудники штаба: «Так вот тот Гилинский, из-за которого нам каждый месяц надо давать сводку о преступности в ОК КПСС!» Конечно, сменился зав. отделом, и о моих данных все забыли... Участвовали мы все и в написании докладов первым лицам города, а то и страны.

Никакого реального толку от взаимодействия власти и нашей науки почти не было, за исключением научного прикрытия властных деяний.

Намного сложнее ситуация времен перестройки и в настоящее время.

Первый постсоветский этап. Конечно, горбачевская перестройка открыла невиданные возможности для проведения исследований, написания и публикации их результатов, поездок за границу и приезда зарубежных коллег к нам. Итак: все можно, но неизвестно, нужно ли.

Второй постсоветский этап. Финансирование работ ухудшалось, а главное – результаты наших исследований никому не были нужны. Лично я, по просьбе сперва Ленсовета, потом Петросвета, затем мэрии Петербурга, представлял аналитические справки о преступности, ее динамике, прогнозах и т.п. Затем выяснялось, что либо их никто не видел и где они – неизвестно, либо – в одном случае – я их нашел... в монографии под докторскую диссертацию одного из руководителей служб, разумеется, без ссылки на авторство. Результаты наших исследований по преступности, наркотизму, детской проституции мы всегда предоставляли соответствующим ведомствам города без какого бы то ни было отклика (только один раз из прокуратуры области к нам позвонили с требованием... представить адреса наших респондентов. Пришлось ответить отказом). Со временем я прямо отказался работать, да еще и бесплатно, в составе очередной комиссии по разработке очередного бессмысленного «Плана борьбы с преступностью», заявив, что после всего ранее имевшего место мне это *запало*. Более того, как мой личный опыт, так и опыт коллег – криминологов показал, что властными структурами принимаются решения, прямо противоречащие рекомендациям, которые мы обоснованно представляем. Итак, наши исследования не востребованы (разумеется, я не говорю об электоральных и маркетинговых исследованиях, к которым не имею никакого отношения).

Третий – современный – постсоветский этап. Мы не просто не востребованы, нам все сложнее и сложнее работать. Статистика становится недоступной. Проводить исследования, требующие разрешения ГУВД, ГУИНа, иных «спецслужб», становится все сложнее, а сами представители «органов» – все

закрытое. Один пример. С 1993–1995 гг. мы проводим исследования организованной преступности. До конца 1990-х мне не представляло сложности брать интервью, устраивать совместные семинары с представителями не только милицейских служб по борьбе с оргпреступностью, но и с ФСБ. Свидетельством тому служит сборник статей [14], среди авторов которого два сотрудника ФСБ, зам. начальника РУБОПа, сотрудница ГУВД. В 1999 г. с теми же целями я не мог добиться встречи с руководителями РУБОПа, в 2000 г. со мной согласился побеседовать сотрудник ФСБ на условиях полной анонимности, нераскрытия его ФИО, должности, звания. Беседа происходила... в кафе, так как от встречи у себя или у меня на работе этот офицер отказался. В 2004 г. я не смог добиться даже этого.

Более того, очевидная шпиономания не может не коснуться и нас... мы все сегодня «под подозрением». И последний пример. Если до 1999 г. все интервью со мной публиковались в прессе, то с 1999 г. большинство моих интервью, по наивности востребованных журналистами, не публикуются, а журналисты, извиняясь, разводят руками: «Редактор не разрешил...» Получается, ничего не надо и даже вредно...

Ты побывал во многих странах и не только обменивался мнениями со своими коллегами, но – ты мне рассказывал – посещал тюрьмы, изучал деятельность правозащитных организаций. Не могли бы ты рассказать немного о взаимодействии исследователей-криминологов и властных структур на Западе?

Сначала – для определения «репрезентативности» моих суждений – кратко о том, где я побывал. Это почти все страны Европы (за исключением «крайних» – Исландии и Греции), США, Чили, Бразилия, Австралия и Новая Зеландия, Япония, Корея, Таиланд. Во многих странах я бывал по многу раз, в Германии в общей сложности прожил больше года, работая, в частности, в прекрасной «криминальной» библиотеке Института зарубежного и международного уголовного права (Max – Planck – Institut für ausländisches und internationales Strafrecht). Старался я, где было возможно, посетить тюрьмы: Нью-Йорк и Блумингтон в США, Фрайбург в Германии, Хельсинки и Турку в Финляндии, Будапешт, Дублин, Сеул, Варшава и Белосток в Польше...

И все же я не могу себя считать «экспертом» по взаимоотношению криминологов и власти за рубежом. Ну, прежде всего, власть не мешает проведению любых исследований, что уже прекрасно. Во-вторых, насколько я себе представляю, власть заинтересована во многих исследованиях и стимулирует или предоставляет возможность для их проведения. Достаточно

сказать, что в США, Великобритании и ряде других стран проводятся обязательные виктимологические исследования (массовый репрезентативный опрос населения в целях выявления реальных жертв преступления, а, следовательно, и самих преступлений). Так, публикуемые данные американского национального виктимологического опроса (NCVS – National Crime Victimization Survey) дополняют также публикуемые статистические сведения ФБР (UCR – Uniform Crime Report). А официоз Великобритании – Home Office – издает множество бюллетеней о преступности, включая ежегодные сравнительные данные о преступности, полиции, заключенных по всем странам Европы и ряду других стран (Австралия, Канада, США, Южная Африка, Япония). Этот сравнительный криминологический анализ осуществляется группой криминологов под руководством профессора Гордона Барклей (Gordon Barclay), который любезно пересылает мне этот бюллетень (International Comparisons of Criminal Justice Statistics).

Не могу не упомянуть периодически проводимые в разных странах международные конференции абolicionистов (сторонников отмены тюремного заключения, не говоря уже о безусловной отмене смертной казни). Эмблема этого международного сообщества – символическая тюремная решетка, перечеркнутая, как запрещающий знак. Иногда я надеваю этот значок, читая лекции студентам на соответствующие темы. Я был на абolicionистских конференциях в США, Испании и Новой Зеландии. Что меня поразило еще в США: наряду с учеными и правозащитниками, за восстановительное производство (*restorative justice*), альтернативное уголовному с его наказанием, выступали многие судьи и прокуроры, делясь своей практикой! А в Новой Зеландии нам была предоставлена возможность съездить на день в деревню *маори* – коренного населения страны, где традиционно все конфликты, включая уголовные преступления, решаются «мирным путем» – соглашением виновного и потерпевшего при посредничестве деревенских авторитетов (не путать с нашими «авторитетами» уголовного мира). В числе активных участников и организаторов абolicionистского движения – криминологи с мировым именем: профессора Нильс Кристи (Норвегия), Харольд Пепински (США), Моника Платек (Польша), Лук Хулсман (Нидерланды), Рут Моррис (Канада). И, пожалуй, последнее.

Только что упомянутый Нильс Кристи – большой друг России, неоднократно бывавший у нас, содействует многочисленным проектам оказания помощи «униженным и оскорбленным». Доказывая теоретически относительность, конвенциональность преступности, «нормы» и «отклонений» [15], Крис-

ти участвует в организации и деятельности т.н. «норвежских деревень» для лиц с психическими «отклонениями». Он помог мне и моей жене посетить эти «сообщества необычных людей» (таков подзаголовок одной из книг Нильса, переведенных на русский язык). Мы побывали (пожили) в деревнях Видарозен и Хогганвик, познакомились с их обитателями и самоотверженной Маргит Энгель, врачом-психиатром, которая в весьма преклонном возрасте переносит опыт таких «норвежских деревень» для психически больных людей не только в другие страны Европы, но и в Россию.

Бывал я не раз и в деревне «Светлана», созданной в Ленинградской области от начала до конца с помощью госпожи Энгель – «бабушки», как она называет себя по-русски – и ее интернациональных помощников. В этих деревнях начинаешь еще лучше понимать относительность «нормы» и «аномалии», психической и социальной.

Изучение правосознания и общественного мнения

Джордж Гэллап начал изучать отношение американцев к приобретению и хранению дома оружия, к смертной казни в конце 1930-х годов, и с тех пор в США осуществляется широкий мониторинг правового сознания. Есть что-либо подобное в России?

О мониторинге я бы помолчал. Но отдельные вопросы по правосознанию, отношению населения к смертной казни или к наркоманам, к судебной практике или к проституции, к деятельности милиции или к мигрантам изучаются. Ты лучше меня знаешь подобные опросы, проводимые центрами изучения общественного мнения в Петербурге и Москве. Что касается нашего Центра девиантологии (сектор социологии девиантности и социального контроля Социологического института РАН), то мы с конца 80-х гг. минувшего столетия неоднократно проводили такие опросы. Общая тенденция в сравнении за ряд лет – снижение ригоризма в годы «перестройки» и резкое возрастание – в «постперестроечный» период. Если в 1989 г. среди ленинградцев за смертную казнь был 51% опрошенных, против – 38% (остальные затруднились ответить), то в 1992 г. петербуржцы высказались за смертную казнь – 67%, против – 22%. В 1999–2002 гг. мы совместно с группой профессора Ирины Ильиничны Елисейевой проводили ежегодно опрос населения Петербурга (а в 2001 г. также Волгограда и Боровичей) об их отношении к деятельности милиции. Результаты наших опросов опубликованы в России и за рубежом.

Что можно сказать об информированности, компетентности, нравственной окрашенности российского общественного мнения по проблемам, изучаемым криминологией?

Ничего хорошего. Крайне низкий уровень правосознания (впрочем, это традиционно для России), некомпетентность, высочайший ригоризм: сажать, стрелять, усиливать борьбу со всеми – преступниками, наркоманами, гомосексуалистами и проститутками, ксенофобия. И это – не самые «отсталые» граждане. Помню подготовленное петербургским известным писателем «открытое письмо» президенту (еще Ельцину) с просьбой «стрелять на месте» в «очевидных» преступников... Конечно, это не означает, что нет людей, достаточно узкого слоя, выступающих и против смертной казни, и против политики власти в Чечне, и за человеческое, милосердное отношение к различного рода «грешникам».

Самое страшное – высочайший ригоризм и репрессивность сознания властной «элиты». Напомню: путинское «мочить в сортире», требование бывшего спикера Думы ввести каторжные работы, на которых «осужденные каждый день молили бы о смерти», бесноватые вопли руководителей Генеральной прокуратуры с преступным (ст.ст. 33, 206 УК РФ – подстрекательство к захвату заложников) предложением Генерального прокурора... Я уже не говорю о постоянной пыточной практике милиции, не встречающей никакого серьезного осуждения руководства, прокуратуры, власти. Последним страшным примером «нравственной окрашенности» служит прошлогоднее декабрьское четырехдневное избиение сотен людей ОМОНОм в Башкирии при попустительстве МВД РФ. Население всячески поддерживает цензуру в СМИ. Кроме того, еще и раздуваемый антисемитизм. Напомню совсем недавние: письмо пяти сот, включая 20 депутатов Думы, Генеральному прокурору с просьбой закрыть все еврейские организации и учреждения, а также публичные призывы соответствующего содержания генерала Макашева в телевизионной передаче «К барьеру» с «убедительной победой» в шесть тысяч голосов телезрителей.

«Я – шестидесятник по умунастроению»

В современной российской социологии работает несколько поколений исследователей. Ряд тех, кто родился в конце 1920-х годов, называют себя «шестидесятниками». Ты моложе их на полдеятилетия, относишь ли ты себя к этой группе?

Ты прав лишь отчасти, разделив родившихся в конце 1920-х и меня чертой «шестидесятники». Да, Ядов, Здравомыслов,

Фирсов раньше меня стали знамениты в кругу социологов. И это – вполне заслуженно. С другой стороны, я ведь начал «печататься» с 1966 г.: пусть это была чепуха, наивно, узко уголовно. В конце 1960-х – начале 1970-х появились мои статьи об отклоняющемся поведении, т.е. были заложены предпосылки моей девиантологии. В 1967 г. я защитил кандидатскую, в 1970-е гг. опубликовал серию «социологических» статей (социализация, социальное время и др.). К этим же годам относятся мои криминологические статьи. В 1977 г. выходит наша с ЛИС и соавторами монография «Человек как объект социологических исследований». В 1970-е же годы выходит серия статей по самоубийствам, а в 1983 г. – монография «под докторскую» со всеми идеями, развиваемыми до сегодняшнего дня.

Всего до перестройки у меня опубликовано свыше 70 работ. Многие из них – тезисы и прочее барахло, но есть и основа всех моих более поздних работ. Так что я считаю (может быть излишне самонадеянно) себя шестидесятником.

Более того, в 1975 г. я удостоился обвинений коллег-криминологов во всех смертных идеологических грехах. Так, в статье заместителя директора ВНИИ Генеральной прокуратуры СССР профессора В.К. Звирбули говорилось, что Гишинский «неожиданно оказался в плену некоторых идей, господствующих в буржуазной криминологии... Нельзя делать уступок проникновению в какой-либо форме буржуазных идей... имеющих чуждую нам идеологическую окраску» [16]. Я полагал тогда, что меня вышвырнут из НИИКСИ, но – оставили...

В моем понимании «шестидесятники» долго верили в возможность улучшения системы. В этом отношении ты от них отличался?

Детство – безоговорочная вера в СССР, Сталина и т.п. (я – пионер, комсомолец, + годы блокады, ненависть к фашистам, слава Красной Армии и т.п...). К концу школы (классы 9–10) я начал сомневаться. Появилось «удивление» проявлениями «культы личности». То не была моя ранняя «революционность»: я ведь удивлялся, веруя в Сталина... В хрущевскую «оттепель» недолгая надежда на изменения в связи с разоблачением культа и проглатывание появившихся зарубежных авторов, художественных выставок (ни одну не пропускал), посещение лекций возвращавшихся вейсманистов-морганистов и т.п. «чуждых» (помню лекции биолога Дмитрия Георгиевича Кнорре, психолога Павла Васильевича Симонова и др.).

Далее – быстрое разочарование и все крепнущая уверенность «все ужасно, ничего нельзя изменить». К концу брежневско-андроповско-черненкового маразма: (а) увлеченность научной деятельностью, (б) понимание бредовости режима и

его «использование» – исследования под «крышей» «социально-экономического планирования» и т.п. Поскольку я достаточно открыто и публично говорил, что во всем виновата советская власть («Софья Владимировна», помнишь?!), некоторые люди в моем окружении в какой-то момент серьезно опасались, что я провокатор – такую «антисоветчину» нес, что это мог себе позволить только гэбэшник... Потом они удивлялись: «Мы думали, ты шутишь, а все оказалось, как ты говорил».

Незадолго до прихода Горбачева я и мой тогдашний друг, рано умерший профессор философии Размик Месропович Айдинян (1940–2002) вели нескончаемые дискуссии. Он: «Все настолько развалено, что долго продолжаться не может. Еще год-два». Я: «Все развалено, но может длиться очень долго – народ пьет и безмолвствует, сил сопротивления нет. Рабский народ будет терпеть до бесконечности». По срокам Размик оказался прав, по отсутствию надежд на народ – я.

Перестройка пришла сверху, неожиданно-негаданно... Никаких надежд у меня не было задолго до перестройки. Более того, с радостью приняв перестройку, свободу слова, возможность печататься без эзопова языка, ездить за границу, я тогда и все последующее время говорил: это ненадолго. В этой стране ничего хорошего быть не может. Далее...опять: «Мы думали, ты шутишь, а оказывается...».

Я – шестидесятник по умонастроению, но я не шестидесятник по вере в возможность улучшить систему своими делами. Познавать и публиковать, говорить и писать «правду» (как я ее понимаю) – это мое. А результат – «как всегда» (бессмертный В. Черномырдин).

В твоём ответе меня заинтересовало то, что ты посещал лекции биологов, психологов. В чём дело? Биология мутаций, девиации...?

Нет, П.В. Симонова в свои работы по девиации я привлек позднее и довольно активно: в связи с классификацией потребностей и по поводу рассуждений о человеке и животном. Так же, как статьи Конрада Уоддингтона (1905–1975) и Рене Тома (1923–2002) по теоретической биологии. В «оттепель» же меня интересовали те, кто оказался «чуждым» в эпоху лысенковщины и борьбы с вейсманизмом-морганизмом. Здесь определенную роль сыграли и домашние разговоры с отцом – физиологом (который меня еще раньше – школьника – познакомил с академиком Леоном Абгаровичем Орбели (1882–1958), и том стенограммы печально известной «Павловской сессии», на которой и были разгромлены «враги». Точно также я читал материалы «Александровской дискуссии», когда А.А. Ждановым – «юн-

гой в философии» – была разгромлена многотомная «История философии» под ред. Г.Ф. Александрова и др.

Второй том этой Истории был моей настольной книгой в школе и сейчас у меня на полке перед глазами... Я ходил и на другие лекции по биологии, физике, астрономии, генетике... ходил слушать только что вернувшегося из мест отдаленных генетика Н.П. Дубинина (1907–1998), ибо я выстраивал для себя Картину Мира... В годы «оттепели» я набрасывался на все, что было ранее недоступно... так что «внутреннее диссидентство» и «девианство» (какой неологизм!) давно и прочно сидели во мне.

Наше время

Не мог бы ты кратко сказать, где сейчас работаешь, каковы твои главные исследовательские проекты, где преподаешь?

Первого февраля этого года я передал бразды правления сектором социологии девиантности и социального контроля Валентину Гольберту, Ph. D. Гамбургского университета и кандидату социологических наук – надо уступать дорогу молодым. Я – главный научный сотрудник Социологического института РАН и сохраняю статус директора полувиртуального Центра девиантологии, существующего на базе этого сектора, но объединяющего сотрудников, не только работающих в институте (Н. Бараева из Балтийского института экологии, политики, права, военные девиантологи, представители наркологических учреждений и др.). С августа 2004 г. я руковожу кафедрой уголовного права юридического факультета Российского государственного университета им. А.И. Герцена. Пока не все вошло в нужную колею, а потому много организационной работы. Десять лет я являюсь деканом юридического факультета Балтийского института экологии, политики, права. Это негосударственное учебное заведение, существует свыше 10 лет, и у меня здесь действует отлаженный механизм управления. Кроме того, я – профессор кафедры уголовного права и криминологии Санкт-Петербургского юридического института Генеральной прокуратуры РФ. Здесь я читаю криминологию (сейчас – аспирантам), веду студенческий семинар по криминологии (на который ходят и преподаватели, и студенты других вузов) и вообще – отдыхаю душой. Родная уголовщина и очень сильная, дружная – большая редкость в современной России – кафедра. К тому же раз в год читаю курс девиантологии на «Факультете переподготовки специалистов по социологии и социальной работе» факультета соци-

ологии СПб ГУ. Это – для преподавателей социологии вузов России.

Исследовательских проектов много: «Пытки в России» (с охватом нескольких регионов); «Организованная преступность в Санкт-Петербурге: история и тенденции»; «Состояние бездомности в Санкт-Петербурге»; «Коррупция в России»; «Возможности активизации деятельности правозащитных организаций». Может, что и забыл...

Мои личные научные планы: глава о российской полиции для американской книги; статья о преступности в России для «Европейского журнала криминологии» (European Journal of Criminology). С одним из моих коллег пишу учебное пособие «Методика криминологического исследования» для прокурорских работников». Да, уже пора готовить доклады к очередным летним конференциям в Праге, Кракове, Риге...

Говоря с ученым, привычно спросить его о родительской семье, ибо это приоткрывает корни творчества. Выше я спрашивал тебя об этом. А что бы ты сказал мне о своей семье?

Моя семейная жизнь в ранней молодости была довольно бурная. Я женился первый раз... в 10 классе школы. От этого брака старшая дочь Татьяна – юрист, замужем, рисует картины (была персональная выставка), пишет стихи (выпущено два сборника с ее же иллюстрациями – 1997, 1999 гг.). С бывшей женой сохранили человеческие отношения, я время от времени ее навещаю.

Младшая дочь Галина – психолог, зам. начальника Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, подполковник милиции. Она талантливый психолог, и мне очень жаль, что ее сумасшедшая работа не оставляет время для диссертации, хотя эмпирического материала очень много и есть несколько публикаций. У нее двое детей, старшая, Аня, в этом году будет поступать на социологический факультет СПб ГУ. Может, продолжит мое дело.

Ну, и моя вторая и окончательная жена – Наташа, любовь моя, друг мой, надежный тыл, помощник, первый (и очень требовательный) читатель и критик всех моих работ. Физик-оптик по образованию и многолетней работе в одном из ВНИИ (есть публикации, авторские свидетельства), увлеклась моими темами. Мы вместе еще в конце 1970-х провели эмпирическое исследование, опрашивая клиентов медвытрезвителя. Вместе занимались суицидами (есть совместные публикации). Наташа разработала методику выявления степени рисков: криминального, суицидального, алкогольного (на ее работу, проведенную два десятилетия назад, [17] до сих пор есть ссылки в кримино-

логических диссертациях). А познакомились мы с Наташей в 1964 г. на высоте 3000 м в Горном Алтае... Спустились с гор и – на всю оставшуюся жизнь. Наташа из очень интересной семьи питерских архитекторов. О ее предках и родичах написаны книги. Но это – особый разговор.

Важнейшие члены нашей с Наташей семьи – кошки и собаки, в настоящее время одна собака и две кошки – наши родные и любимые дети.

Теперь вернусь к началу нашего интервью: ты сказал, что заполняешь 86-ю дневниковую книжку. Что рассказывают тебе дневники о тебе?

86 записных книжек – это не совсем дневники. Там смесь дневниковых записей, выписок из читаемого и размышлений. Сейчас перечитываю очень редко. К случаю. Но надеюсь, они станут основой моей Последней Книги с условным названием «Я в мире, мир во мне: Неоконченные мемуары...» Вряд ли когда-нибудь я это успею написать. Но – запланировано...

Литература

1. Гилинский Абрам Лазаревич. Род. 1897, г. Двинск; чл. ВКП(б) с 1915, обр. низшее, нарком Пищепрома СССР. Арест. 24.06.1938. Приговорен ВКВС 26.02.1938, обвинение.: шпионаж, участие в к.-р. организации, вредительство. Расстрелян 26.02.1938. Реабилитирован 2.04.1955.
2. Гилинский Я. Онтологический трагизм бытия, или Размышления малицириста // Молодежь: Цифры, факты, мнения. 1995, №2–3. С.197–212 Статья воспроизведена в: Гилинский Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. СПб Юридический центр Пресс, 2004. С.71–87.
3. Гилинский Я. Тема смерти – тема жизни: Философия социологии // Фигуры Танатоса. Философский альманах. Вып.5. СПб ГУ, 1995. С.112–114.
4. Гилинский Я.И. Некоторые проблемы криминологии в свете ленинских идей. В кн.: В.И. Ленин – выдающийся государственный деятель и юрист. Ленинград: ЛОКА, 1970.
5. Гилинский Я.И. «Отклоняющееся поведение» как социальное явление. В: Человек и общество. 1971, Вып. VIII. ЛГУ. С.113–118; Гилинский Я.И. Некоторые проблемы «отклоняющегося поведения». В: Преступность и ее предупреждение. 1971. ЛГУ. С.95–103.
6. Результаты, в меру цензурных возможностей, были опубликованы в: Человек как объект социологического исследования / ред. Л.И. Спиридонов, Я.И. Гилинский. ЛГУ, 1977.
7. Честнов И.Л. Лев Иванович Спиридонов: жизнь и творчество. В: Спиридонов Л.И. Избранные произведения: Философия и теория права, социология уголовного права, криминология. СПб: 2002; Гилинский Я.И. Л.И. Спиридонов – криминолог. Там же.

8. «В НИИКСИ сложился очень сильный творческий коллектив единомышленников – Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Д.А. Керимов, Р.А. Полозов, В.А. Ядов, А.С. Пашков, Е.С. Кузьмин, П.Н. Лебедев, М.Н. Межевич, Я.И. Гишинский и др. – общение с которыми определило круг интересов и его (Л.И. Спиридонова) верность социологическому (диалектико-социологическому) методу исследования» Честнов И.Л. Лев Иванович Спиридонов: жизнь и творчество. Указ. соч. С.4.
9. Гишинский Я.И. Л.И. Спиридонов – криминолог. Указ.соч.
10. Спиридонов Л.И. Избранные произведения. СПб., 2002.
11. Спиридонов Л.И. Указ. соч., С. 25.
12. Там же, С. 29.
13. Человек и общество; Социализация индивида. Вып. IX . ЛГУ, 1971.
14. Организованная преступность в России: теория и реальность / ред. Я. Гишинский. СПб Ф ИС РАН, 1996.
15. Christie N. A Suitable amount of Crime. Routledge, 2004 открывается главой «Преступления не существует».
16. Звирбуль В.К. Проблема преступности в свете борьбы социалистической и буржуазной идеологии. В: Вопросы борьбы с преступностью. Труды ВНИИ Генеральной прокуратуры СССР. М., 1973. Вып.23. С. 3–14.
17. Проскурнина Н.Н. Использование в криминологических исследованиях классификации социально-демографических групп населения. В: Теоретические проблемы изучения территориальных различий преступности. Труды по криминологии. Тартуский гос. университет 1985. Вып. №725. С. 84–91.



Максимов Б. И. – окончил философский факультет ЛГУ, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН, Санкт-Петербург. Основные области исследования: промышленная социология, политическая социология. Интервью состоялось в 2007 году.

В нашей онлайн-беседе, длившейся более года, Борис Иванович Максимов вспомнил о своем участии в опросах общественного мнения, проводившихся в самом начале 1970-х годов под руководством Б. М. Фирсова. И я был членом в той команде, значит, нашему знакомству с Максимовым – более трех десятилетий. Потом мы работали вместе в Институте социально-экономических проблем АН СССР, Петербургском филиале Института социологии

РАН, много лет общались по делам Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации... Но только сейчас я немного узнал о жизненном пути Бориса, о его поисках своего места в социологии. Я попросил извинение у него за то, что «давил» на него, заставляя рассказывать о себе. Я разрешаю себе быть настойчивым, потому что понимаю важность прослеживания судеб тех, кому историей было суждено начинать социологические исследования в СССР.

Беседа с Максимовым показывает, как мало мы знаем друг друга. Кому-то это обстоятельство может показаться незначимым, относящимся лишь к уровню межличностных отношений в нашем профессиональном сообществе. Если бы... в действительности, это свидетельство нашего незнания истории российской социологии и одновременно невнимания к тем, кому предстоит развивать ее. В какой-то момент они почувствуют необходимость оглянуться назад и узнать, что было до них... они не должны увидеть пустоту...

**Б.И. Максимов:
«СОЦИОЛОГ КАК
ЛОШАДЬ,
СКАЧУЩАЯ
В СТОЙЛЕ»***

**Драматический социолог
в драматической социологии**

Довольно странное название ты дал своим воспоминаниям. И разговор о драматической социологии тоже выглядит несколько неожиданным для меня...

Да, монополию на драматическую социологию имеет у нас, как известно, А.Н. Алексеев [1]. Его уникальные приключения в социологии, отраженные в не менее уникальных многотомных сочинениях – это неповторимый вклад в социологию, ее историю, а сам Алексеев – инноватор в социологии. На его поле и его лавры – с репрессиями пополам – я не претендую. Драматичность, о которой я говорю, несколько иного свойства.

Алексеев пишет о гонениях на него и социологию. В этом плане

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 4. С. 2–14.

судьба социологии так же драматична, как, например, генетики, отраженной В. Дудинцевым в романе «Белые одежды». И Алексеев, пожалуй, поболее всех нас испытал чашу гонений, не книжных – в настоящей жизни. Тогда никто не мог предсказать перестройку и связанные с ней кардинальные изменения; не видно было ни малейшего проблеска в туннеле. Советская система казалась железобетонной, и исключение Андрея из всего, из чего можно исключить, выглядело невозвратным, хотя герой и предпринимал (и в этом плане) титанические усилия для реабилитации. Потом Алексеев сделал эту драму предметом своего лонгитюдного, длиною в целую жизнь, наблюдения и анализа, сотворил новую отрасль в социологии, изобрел в ней оригинальные подходы, методы и не менее оригинальный жанр писания. Ты помнишь, с чего все начиналось? С «Писем любимым женщинам»: у него было более полутора десятка любимых женщин, и писал он им... о методологических подходах в социологии, о бюрократической переписке с отделом ОТК, главного технолога, описывал техпроцессы и т.п. После заводских приключений он стал воспринимать и обычную жизнь как драму, иногда даже сознательно проблематизируя, драматизируя ее для своего «познания через действие». Его социология приобрела качество драматичности вследствие драматичности самой жизни, которую непосредственно отражала.

Не от него ли ты заразился драматизмом? Ведь ваши жизненные пути пересекались?

Да, раз уж я заговорил об Алексееве, можно вспомнить, что моя жизненная траектория, действительно, пересекалась с его «линией» в самый драматический период последней, и это «точка» моей биографии, на описание которой ты меня направляешь. И не только в эпизоде исключения Андрея из Социологической ассоциации, в протокольном описании которого он меня упоминает [2], но и во время его героическо-драматической работы на воспитанном им типичном (и передовом) советском предприятии. Ведь я тоже трудился в этот период на том же заводе.

Андрей находился на нижнем этаже производственной структуры, в среде рабочих, я – на верхнем, в составе заводоуправления. Он хлебнул драматизма положения класса-гегемона, стоящего на нижней ступеньке, я – драматизма пролетариев умственного труда, как будто бы «командиров производства», но тоже не избавленных от драматизма, а проще – идиотизмов, одним из которых было кручение вхолостую, или скачки на месте. По идее, я должен был тоже написать свои «письма из

отдела НОТ». Но мой драматизм, и таковой же заводских ИТР остался втуне, я ничего не написал. Меня даже в КГБ ни разу не вызвали, до сих пор гадаю – почему? Ведь я тоже читал «Письма» Алексеева, встречался с ним непосредственно у его знаменитого станка в то время, когда он (не станок, понятно) – прямо на заводе – писал свои «клеветнические измышления». У меня тоже, наверное, как у всех социологов, кое-что можно было обнаружить, если нагрянуть с обыском; и я постарался спрятать кое-какие материалы. Смешно вспомнить – одним из них были тексты докладов конференции по героической советской эпопее – строительству БАМа. Возможно, дело в том, что Алексей написал, совершил действия – и потерпел, я не написал – и не потерпел. Но я-то прихожу к неутешительному для себя умозаключению – видимо, посчитали меня недостойным внимания столь крупного органа государственной безопасности. Может быть, действовали по схеме: Максимов – это рядовое критическое существо, боящееся высунуться, его привлекать – это всех привлекать; а вот Алексей – выдающийся «критически мыслящий субъект», его следовало «подстричь».

Про Андрея Алексева понятно, а в чем заключается драматизм именно твоей жизненной ситуации?

Если вести речь о драматизме гонений, то могут сказать – да, был советский драматизм, но сейчас-то – полная свобода, которая, хотя и пришла голой, но позволяет писать что угодно, даже ругать первое лицо в государстве, кое, хотя и не королева, но все же... если, конечно, не подстрелят, как Анну Политковскую. Действительно, сейчас свобода – пожалуй, еще никогда не бывавшая в России. Даже страшно как-то. Вдруг придет Владимир Жириновский, который, несмотря на его дешевое актерство, уже подобрался к третьему месту в рейтинге. Да, сегодня социологов не сажают. Но...

И все же мой драматизм, повторяю, несколько особого рода. Про себя я когда-то сочинил: «Я – лошадь, скачущая в стойле/Кусая с хрустом удилов железо/Бьюсь головой о стенку перед мордой/И пена хлопьями со взмыленных боков/Храплю и ржу, выкрикивая душу/И все на месте, в том же самом стойле...» Относительно самого меня эти строчки точно отражают суть моего социологического мироощущения и поведения. При внешнем спокойствии и даже как будто бы благополучии моей жизни, внутри она полна драматизма. Здесь я имею в виду, прежде всего, жизнь в социологии (или – с социологией?); о прочей жизни не будем и говорить, тут у меня все, как и у прочих российских граждан, не входящих в новоявленную элиту. И главный драматизм состоит в том, что, с одной сто-

роны, я прилагаю усилия, вылезая из кожи вон, чтобы как-то реализовать плоды своих исследований, «принести пользу отечеству», оправдать зарабатываемый хлеб, с другой – все понапрасну, и я, как ни скачу – все в том же стойле. На том же заводе Алексеева, когда он боролся с системой, я пытался внедрять социологию в жизнь передового коллектива, в частности, содействовать прогрессивным методам бригадной организации труда среди рабочих. И хотя меня, как я говорил, не вызывали в КГБ, не били постоянно по морде, но зато и вниманием не баловали, а точнее – просто игнорировали. А перед этим я 10 лет внедрял социологию на доблестном флагмане индустрии – и примерно с таким же успехом. То есть мой драматизм состоит в неустраиваемости меня самого и в моем лице социологии, которой я занимался. Мне кажется, что и у некоторых других социологов, связавших свою судьбу с этой своеобразной дамочкой, служащей якобы существу среднего рода – обществу и добывающейся любви у существа женского рода – власти, жизнь тоже драматична в упомянутом плане. И опять же – при внешнем благополучии.

Более того, мне представляется, что приведенные строчки про лошадь можно отнести и к социологии в целом, по крайней мере – российской. Повторяю, главный драматизм в моем понимании, наряду с драматизмом гонений, состоит в том, что, с одной стороны, социология пытается что-то сделать, все скачет и скачет, перепрыгивая самое себя, с другой, ничего у нее не выходит, и остается она все в том же стойле.

Не кажется ли тебе, что ты слишком прибедняешься, да и социологию прижимаешь?

Наверное, это мое чрезмерно субъективное восприятие. Но, увы, оно таково. Певица Татьяна Буланова в своей любимой песенке поет: «Серая лошадка где-то в поле скачет...» Хорошо скакать в поле, даже будучи серой лошадкой! А каково в стойле, которое и есть социологическое поле, да еще и «молча»?!

Возможно, моя мысль о драматизме нереализованности вообще не очень понятна и убедительна, тем не менее, я имею право на субъективное видение и претендую на имидж драматического социолога. В моем случае личная драматичность соединилась с драматичностью социологии, и получилась драматичность в квадрате. К этому присоединяется и мое стремление применять драматизацию (проблематизацию) жизненных текстов как прием, что отчасти перекликается с алексеевским приемом драматизации для познания.

В советское время хоть репрессивное внимание проявлялось, что давало ощущение причастности к жизни общества.

Ты либо служишь, либо борешься. По выражению англичан, препятствия нужны для рождения энергии. Завидую тем коллегам, которые и не помышляют ни о каком служении; более того, ориентацию академической социологии на актуальные проблемы считают принципиально недопустимой. Я, видимо, просто рожден быть социальным инженером. Спасибо, что ты даешь возможность выплеснуть душу, так сказать, «поржать», правда, в своеобразном жанре и в замкнутой сфере социологического сообщества, но все же много более широкой, чем персональное стойло. Вот ты говоришь, что я принижая социологию... А какие преобразования она внесла в судьбоносный, как говорят, перестроечный период? Кто из социологов был призван во властные реформаторы? Вон, экономисты сколько наворочали – и отношения собственности изменили, и производство повернули лицом к потребителю, и могучую социально-ядерную энергию предпринимательства раскрепостили... Конечно, результаты неоднозначные... но хоть какие-то есть. А что в активе у нашей братии?

Возможно, социология и не должна была заниматься конкретными разработками, проектами?

Допустим, она должна была давать информацию по типу обратной связи о самочувствии общественного организма, когда к нему применяют шоковые методы, режут по живому. Социологи и пытались осуществлять эту функцию, начиная от отдельных ученых и кончая целыми институтами, используя, в том числе, такие мощные каналы информации, как общероссийские мониторинги. Помню, читал весьма впечатляющий доклад Института социологии РАН о ситуации в социальной и экономической сфере... Но кто обращал внимание на тревожные сигналы социологов?! Или социология, академическая, по крайней мере, вообще не должна касаться суетной быстротекущей жизни, существовать в девственной чистоте от злободневности?

Пожалуй, лучше я обращусь к этой теме еще раз попозже, а то, чувствую, что перебрал со своей драматичностью невосребованности.

Познать общество конкретно!

Да, перейдем к собственно биографии. Расскажи, где ты родился, о родительской семье, о годах юности. Помнишь ли ты свои мечты о будущем? Кем ты хотел стать? Ты, кажется, рано начал работать, так ли это?

Так то так, но я не хотел бы выпячивать свою автобиографию, по крайней мере, начинать с нее. Во-первых, полная ав-

тобиография – это необъятно, во-вторых, я человек скромный. Разумеется, мне не обойтись без автобиографического стиля, но я хотел бы ограничиться приключениями в сфере социологии. Говорить хотя и о себе, но через социологию, и через себя о ней в основном, лично подавать через социологическое (или наоборот). А где родился и кем мечтал быть – это в моем случае для других сочинений. Не знаю, кто вообще будет читать эти сочинения, но уж точно – про В.А. Ядова [3] прочтут, а про Максимова – вряд ли...

Не соглашусь с тобой. Нам так долго твердили: «Скромность украшает человека», что убрали из нас и из системы воспитания такое качество, как «достойная самооценка». Она у нас, как правило, низкая. В стране, где я живу, с детства формируют высокую самооценку... Каждый в чем-то или чем-то хорош... Далее, я собираю интервью для того, чтобы прежде всего показать судьбы советских социологов. Историю потом напишут. Важно запечатлеть персональные судьбы тех, кто следовал непосредственно за самыми первыми... Следующие поколения приходили и будут приходить в социологию иначе. Уверен, прошлое будет крайне важным для них...

Возможно. Соглашусь также с мыслью, что мы сами себя сечем. Видимо, приbedняться свойственно российскому человеку. У нас даже богачи любят «косить» под бедных, а не выставлять себя напоказ, как в вашей Америке.

Эти мифы – от Михаила Задорнова. В действительности в Америке не придают такого внимания внешнему виду, как в России...

...Но начну я все же не с биографического рождения, а с оmenta вступления в социологию в 1964 (или 65?) году. Это и есть мое рождение для социологической жизни. Кстати, оно было совсем неплохим. Моими крестными отцами были сами В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов [4] – прародители новейшей российской социологии; крестной мамой была, пожалуй, Генриада Ивановна Хмара, историк КПСС по базовому образованию, преждевременно скончавшаяся, мало попользовавшаяся свободой. Значительную часть своей социологической жизни я носил кличку «заводского социолога», а потом – «бывшего заводского социолога». Это – когда сама заводская социология канула в Лету, притом в благословенные, казалось бы, времена, с приходом свободы и актуализацией «социального заказа». Но мало кто знает, что еще до того был период, когда я работал просто социологом, или «вузовским социологом». Мое вступление в социологию совпало, вероятно, с реанимацией ее самой, отчего ее злоключения и взлеты были и моими порханиями и падениями, хотя я и «шел за самыми

первыми». Точнее, даже не реанимацией, а рождением заново, ибо реанимировать-то было некого. В то время, в знаменитые шестидесятые, буквально в воздухе висел социальный заказ: познать общество конкретно, преодолевая схоластические догмы, официозно-идеологизированные построения истмата, политекономии социализма, истории КПСС, да и просто истории, изнасилованной в советский период, наверное, как никогда раньше (насилование, разумеется, продолжалось и в позднейшие, более демократические времена, я говорю просто о степени овладения). Кстати, прекрасной иллюстрацией к состоянию обществоведения того времени может служить судьба той же упомянутой моей крестной мамы. Хмара – историк КПСС, писала докторскую диссертацию по какому-то периоду истории партии. Первый вариант был написан в дохрущевские времена. Но она не успела защититься, грянула хрущевская «оттепель». Аде пришлось переписывать диссертацию. Но и этот вариант она не успела защитить. Ею тоже овладела жажда построить историю на конкретных фактах. И тут оказалось, что диссертацию вообще невозможно защищать. Новоявленная социологиня так и осталась незащищенной.

Новые изыскания так и назывались: конкретные социологические исследования. И в эту отдушину ринулись несметные массы обществоведов; энтузиазм конкретного познания охватил всех, многие стали называть себя социологами. Я помню первый социологический симпозиум, проходивший в Ленинграде, в здании Академии наук в 1967 (или 1968) году. Огромный конференц-зал был набит до отказа, люди – часами! – стояли в проходах, толпились в примыкающих помещениях. Атмосфера была почти праздничная. Доклады и выступления, в которых сообщалось, например, о реальном составе читателей библиотек, слушались как откровения, сопровождались аплодисментами, бесконечным числом вопросов, необъятным количеством желающих самим выступить.

В Ленинграде главным социологическим центром была лаборатория социологических исследований при Ленгосуниверситете под руководством уже тогда корифеев В.А. Ядова и А.Г. Здравомыслова. На заседания лаборатории в запущенном Меншиковском дворце стекалась масса народа, словно на публичное мероприятие; комната была забита, обычно еще толпа стояла в прихожей. И никого не выгоняли. Даже моя жена, студентка матмеха, иногда приходила на заседания и – до сих пор рассказывает как сказку – возражала Ядову. И он слушал, не одергивал девчонку. И в эту лабораторию мне посчастливилось попасть, на должность, кажется, младшего лаборанта, с окладом в 60 с чем-то рублей.

Я знал Люсю по матмеху, когда она еще не была твоей женой, работал на полставки в одной из математических лабораторий, размещавшихся в Меншиковском дворце, но ничего не слышал про те ядовские семинары. И что тебя толкнуло в социологию?

Скажу, с каким настроением я пришел в лабораторию (и социологию), но здесь мне придется выйти за рамки сферы социологии. Я пришел с производства, только не из социологической службы, – тогда их не было и в помине, – а из технического отдела завода, куда распределился по собственной инициативе, рассчитывая стать производственным психологом. Меня обуревала жажда оптимизировать человеческие отношения, то есть все то, что потом стали называть расплывчатым словом «человеческий фактор». Я был убежден, – и видел подтверждения тому на каждом шагу, – что социальная сторона производства определяет его эффективность, но никто ее не ценит, не занимается ею, что кадровики – это вообще почти надзиратели, бывшие кагэбэшники. На каждом шагу я наткнулся на равнодушие, безответственность, откровенную халтуру и т.п., на то, что Андрей Алексеев назвал «разгильдяйством».

Памятником разгильдяйству, стоявшим посреди завода, был огромный агрегат (станок), закупленный за валюту, привезенный на территорию завода много лет назад, но так и не установленный, даже не распакованный, точнее сказать, распаковываемый, раскурочиваемый с боков всеми кому не лень. Каждый день мимо станка проходили сотни людей, в том числе начальство... На заводе была первая в стране психологическая лаборатория на производстве. Заведующий, по фамилии Цурковский, был изобретателем какого-то (забыл, как назывался) уникального прибора, записывающего на барабан, подобный шарманке, состояние, психологические данные человека по нескольким параметрам. Это было чудо научно-технического прогресса! Но в лабораторию мне попасть не удалось, поместили меня как молодого специалиста в отдел главного технолога, в группу механизации вспомогательных работ. И я, выпускник философского факультета ЛГУ, с упоением окупнулся в механизацию, скоро даже обогнал в росте инженеров с техническим образованием, меня повысили в должности до старшего инженера и поручали самые сложные устройства. А все вследствие энтузиазма, желания что-то изменить, улучшить, внедрить.

В одном цехе я обнаружил допотопный сборочный стенд гидравлических цилиндров. Я тут же подал рацпредложение по его усовершенствованию; это было очередное из более чем десятка предложений, уже поданных мною. В ответ мне принесли пачку чертежей, составленных каким-то институтом, с полной механизацией сборки. За изготовление сложного агре-

гата никто не брался. Я тоже отставил чертежи и принялся за реализацию своего рацпредложения. В различных цехах я высматривал забракованные, а то и просто плохо лежавшие узлы, стаскивал их в центральную лабораторию, принадлежащую отделу, и здесь компоновал в задуманный мной стенд. Освоил работу на станках, электросварку, не говоря уже о слесарном деле... можешь поверить?! – бегал по территории – настолько велико было мое нетерпение сотворить собственное детище. Я, конечно, действовал неправильно, воспользовавшись уходом начальника в отпуск – не дело инженера заниматься физическим изготовлением агрегата, что мне было и указано, за что и получил в качестве благодарности выговор. Но стенд стоял и действовал! Тогда только так и можно было двигать научно-технический прогресс. Фотографию стенда я храню до сих пор как свидетельство о реально сотворенной вещи, не единственной ли в жизни инженера, ученого-социолога?

Вот с таким настроем я пришел в социологическую ядовскую лабораторию (и социологию). И, кстати, в ответ на твой вопрос: «Что меня толкнуло в социологи?» скажу, что я – подобно многим – стремился познать общество конкретно и что-то конкретное сотворить в области общественных отношений, доминирующих и крайне нуждающихся в переделке, подобно моему сборочному стенду. Как видишь, «толстым обстоятельством» у меня было, наряду с познанием, как у других, еще и неумное желание вторгнуться в социальную сферу в качестве инженера. Правда, тогда нужно было проектно-конструкторскую деятельность сочетать с исследовательской, ибо результатов исследований, по крайней мере, для подведения научно обоснованной базы под реорганизацию, тоже не было. Но это сочетание познания с практическими действиями даже больше вдохновляло.

...И чем ты начал заниматься?

Первое, на что меня бросили, это изучение мнений телезрителей о передачах Ленинградской телестудии. Это было, пожалуй, в 1965 году. Кем-то уже было собрано более тысячи анкет, предстояло их обработать. Подготовка у нас тогда, сам понимаешь, была какая. Университеты мы хоть и кончали, но социологов, кроме Маркса, Энгельса, Ленина, ну, может быть, еще Плеханова, не проходили. В анкете был открытый вопрос на целую страницу. На этом вопросе я чуть не свихнулся. И сейчас-то обработка открытых вопросов – дело хитрое, тогда же для новичка это была та еще головоломка!

Какую же конкретику я увидел? Надо отметить, что в то время телевидение рассматривалось, прежде всего, как орудие

идеологического воздействия на население, в том числе через средства культуры. Соответственно, телестудия находилась под эгидой партийной организации, обкома КПСС. И, естественно, ожидалось, точнее, считалось – так должно быть и не иначе: ленинградцы в первую очередь смотрят общественно-политические передачи, ну, в качестве культурного потребления просматривают лучшие советские кинофильмы, спектакли, слушают симфоническую музыку (распространены были трансляции музыкальных концертов) и в основном игнорируют зарубежные произведения, хотя и отобранные, но все же не лишённые налета массовой, главное – идеологически чуждой культуры.

На деле все оказалось скорее наоборот. Жители колыхали революции, как правило, выключали телевизор во время приоритетных передач о политике, тогда перескакивать на другой канал было некуда, и прилипали к голубым экранам именно тогда, когда шел какой-нибудь детектив, особенно иностранный, и чем глупее была кинокартина, тем большее число зрителей она собирала; это же можно было видеть и в кинотеатрах. Пользуясь анонимностью опроса, ленинградцы открыто говорили о скуčnosti общественно-политического вещания, ставили совершенно конкретные, не относящиеся к высокой идеологии вопросы о коммунальных квартирах, очередях в магазинах, спецпайках партийных начальников, грязи во дворах (в переключку с передачей «А у нас во дворе...», где как раз говорилось о захламленности дворовых территорий).

Помню одно любопытное высказывание: «У нас пускают деньги на великие стройки, полетели в космос... Подумала бы партия лучше о том, как вывести клопов из города-героя!» Я живо представлял себе, как партия выводит, колоннами, клопов из города-героя, не травит, а именно выводит. Высказывания я группировал, наиболее яркие старательно выписывал в качестве иллюстраций. Интересно, что тогда вроде бы уже и страха не было... или мы беспечно не осознавали опасность своих занятий?

Результаты обработки анкет поступили на стол директору телестудии, которым был тогда Б.М. Фирсов [5]. Надо отдать должное его мужеству – он не только принял выводы новопеченного социолога, но и, собрав совещание работников студии, начал их цитировать; видимо, тоже хотел изменить систему вещания (правда, неясно, каким путем – подстраивая под запросы зрителей или воспитания их вкусов, в том числе интереса к политизированным передачам). Не помню, за что конкретно был снят Фирсов, но он был обречен в любом случае, ибо уже попробовал конкретную социологию с ее отравой конкретной правды жизни [6].

На этом примере прекрасно было видно, за что подвергают гонениям или не востребуют (игнорируют) социологию – притом не только власти, но и население: она дает картину, противоречащую установленным, устоявшимся представлениям, она – неприятна, иногда просто опасна, мешает жить. Власти и люди предпочитают жить в шорах догм, мифов, иллюзий.

Покажи, например, социолог сейчас, что оптимистов становится больше (по Л. Кесельману, М. Мацкевич), что индекс удовлетворенности жизнью повышается (по ВЦИОМу) – значительная часть населения примет эти выводы в штыки. Вспоминается пример, связанный с упомянутыми телевидением и Б.М. Фирсовым. Занявшись, после снятия, социологией массовых коммуникаций, Фирсов наладил буквально фантастическую по тем временам машину изучения общественного мнения, и не только о телепередачах. В течение одних суток проводился опрос в масштабах города, обработка и анализ результатов, подготовка отчета (выводов), так что на следующее утро на стол одного из секретарей обкома ложились данные об отношении населения к только что вышедшим передачам телевидения, сообщениям информагентств, действиям властей, партийных органов. Не знаю, правда, зачем была нужна такая скорость, пригодная буквально в военной ситуации (для произведения эффекта?), но в целом машина представляла собой идеальную систему обратной связи, неопределимо важную в ормальном контуре управления. И что же? Через несколько замеров Фирсов жаловался, что в обкоме им не удовлетворены, что поставляемая информация вынуждает как-то на нее реагировать, лишает уверенность в привычных представлениях, беспокоит, раздражает, мешает. Ну, и финал этой превосходной службы может описать сам Фирсов. Невостребованность смыкается с гонениями. В спокойное время правители позволяют социологии существовать, даже делают вид, что заинтересованы в ее результатах, при обострении ситуации закрывают, подобно свободе передвижения при введении комендантского часа.

Только я успел составить отчет по политпросвещению, с проведением добросовестного анализа, выдвиганием рекомендаций – Боже, сколько жизни потрачено на туфту! – как меня бросили на другое, еще более далекое от фундаментальных проблем дело. В районе готовилась какая-то конференция, кажется, по соцсоревнованию. Надо было помочь выступающим простым трудящимся подготовить их речи. Мне досталась продавица-бригадир из первоклассного кондитерского магазина на углу Литейного проспекта и улицы Чайковского. Я накатал ей речь о высоком уровне обслуживания покупателей, закан-

чивавшуюся словами: «Мы работаем по принципу – покупатель всегда прав!» Тогда это звучало революционно. Как мне передавали, выступление девушки вызвало аплодисменты.

Вслед за этим я получил второе «оперативное исследование» – опять вроде бы по заказу партийных организаций – изучение бригадных форм организации труда (БФОТ). Везло мне: я опять попал на кампанию, сопоставимую с социальным планированием! Не помню уж точно, кто был инициатором этой эпопеи, кажется, Калужский турбинный завод, опыт которого поднял на щит известный журналист, написавший «Калужский вариант» и давший толчок к превращению интересного самого по себе начинания в общесоюзный почин.

Возможно, ты имеешь в виду выступление Александра Левинова [8]?

Да, верно. Главная идея этого почина состояла в том, что объединение усилий людей рождает новую энергию (почти по Марксу), это является ключевым моментом перехода производства на новую ступень, более эффективную и приближающуюся к коммунистической. Конкретно это, при некоторой вульгаризации опыта и основной идеи, выливалось в бригадные формы организации – и оплаты – труда. Ну, а дальше все пошло, поехало по законам кампании. Были выданы разрядки, дело поставлено на партийный контроль. Бригадные формы стали насаждать не только на предприятиях, среди рабочих, но и в других организациях, например, среди конструкторов.

Кампания вообще-то не нуждается в анализе, он даже противопоказан ей. Но тут кто-то, то ли из сомневающихся, то ли желающих получить еще и научное обоснование, дал команду. И опять я увидел картину, далекую от официального изображения. Я уже упоминал, что кампанию окрестили «коллективизацией промышленности», и что она проходила «сложно». Это было очень мягко сказано. Дело в том, что кроме объединения работ, против чего рабочие протестовали не очень сильно, БФОТ предполагала и сваливание зарплатков в «общий котел» с последующей дележкой по коэффициенту трудового участия (КТУ); последний определялся бригадиром, собранием бригады. Советские рабочие, склонные, казалось бы, к коллективизму (гораздо сильнее индивидуалистических крестьян), приближающиеся к коммунизму, оказались совершенно не готовыми к плотному социалистическому сотрудничеству (или уже отошедшими от него), особенно – к «общему котлу». В так называемых органических, или сложившихся самостоятельно, бригадах все было нормально. Но по разна-

рядке никто не хотел жить. Были психологические моменты, противоречившие нормальному восприятию; например, члены бригады должны были присматривать друг за другом, субъективно оценивать вклад товарища и публично высказывать эту оценку. В то же время разнарядку надо было выполнять. Рабочие, как могли, сопротивлялись. Часто бригады создавались лишь формально, вплоть до того, что рабочие продолжали вести свой учет, кто сколько сделал, и переделывали зарплату, начисленную по КТУ. Иногда дело доходило до драки. Оказалось, что работавшие рядом люди на самом деле весьма разнородны или не переносят сближения на короткую дистанцию. Некоторые говорили, что они вообще «не переваривают» соседа по участку, ставят даже экраны из фанеры, чтобы «не видеть морду» товарища, брата по классу. Индивидуализм-то и тогда процветал, или уже процветал среди солидарного по определению рабочего класса.

Какие выводы должен был сделать социолог? Что форма не та, насилует природу человека? Но, помилуйте, какое насилие – это воспитание, «переделка человека». Сказать, что рабочие не те, заражены духом буржуазного индивидуализма? Но где взять других рабочих? Опять же, «воспитывать нужно», «находить к людям подход». Помню, что отчет по анализу был толстым, но не помню, какие же рекомендации я давал практикам как социолог. Может быть, потому забыл, что к тому времени меня самого начали выгонять из института, и мозги переключились на более сильные переживания.

Мне кажется, одно время ты был включен в изучение социально-психологического климата...

Да, и это весьма интересная страница. Этой темой в ИСЭПе занимался сектор профессора Б.Д. Парыгина [9], и при сборе эмпирического материала я был назначен «директором поля» (опять – на оперативную работу). Это было уже солидное исследование, на достаточно фундаментальную тему, под руководством крупного социального психолога. Тематически мой участок состоял в рассмотрении психологического климата в коллективах рабочих, близких мне по заводскому опыту. Предусматривался и выход в практику – конструировался «климометр», который позволял измерить уровень, качество отношений в конкретных коллективах, сделать выводы о деструктивных элементах и дать основания для принятия соответствующих мер. Беда состояла только в том, что Борис Дмитриевич был приверженцем «здоровой конфликтности» в социально-психологическом климате и практиковал эту составляющую и в своем коллективе. Но грань «здоровой», види-

мо, была определена не очень четко, и скоро я, не доведя свою тематическую линию до завершения, оказался в другом секторе, на другой тематике, в которую тоже пытался вписаться.

Кстати, отмечу незабываемое впечатление – чрезвычайную сложность вписывания в научную тематику. Когда я познакомился с научными планами института, то увидел, что нет ни единой щелочки, куда бы я мог втиснуться с интересующей меня проблемой. Направления исследований спускались сверху, из Академии наук (а в нее, вероятно, из органов власти). На местах направления детализировали, расписывали по отделам, секторам, группам, вплоть до отдельных сотрудников, утверждали на ученом совете, отсылали на утверждение в Москву, и после этого программа становилась железобетонной системой, не подверженной ни социальным, ни физическим катаклизмам. Планы неукоснительно соблюдались, по ним составлялись отчеты, которые тоже проходили процедуру рассмотрения, утверждения – все шло намеченным путем. В стране могли произойти землетрясения, неурожай и т.п., но планы никто не мог изменить. Наука словно сама себя заковывала в железные кандалы, тащила их на себе пять, семь лет. Когда я пришел в ИСЭП, планы были давно сверстаны, и я оказывался в положении «не пришей кобыле хвост». И при этом появлялись живые идеи, совершались открытия... если еще учесть, что составление планов и отчетов занимало львиную долю времени, сил, научной работы! Могу предположить, что открытия делались вне планов. Меня это впечатляло тогда, впечатляет и сегодня, хотя, конечно, планирование стало мягче и даже стало выполнять противоположную функцию – опоры, каркаса для расползающейся тематики. Может быть, на этом и держится научный поиск?

Но я все это говорю к тому, что не мог вписаться в академическую тематику. А была у меня любимая тема, которую я так и несу всю жизнь, до сих пор не приземлив ее в качестве плановой. (И в последнем институте пришлось вписываться, притом в ситуации, когда моя тема вышла из моды; впрочем, и та, которую я «подобрал» как брошенную более прозорливыми социологами, тоже скоро стала не модной; и в социологии имеет место быть мода). Тема эта – «Человек на работе», «Человек работающий»; в других формулировках: «Социальные функции труда и производственной организации», «Работник (рабочий) в социально-трудовой сфере». Потихоньку (вне планов!) я обдумывал тему, накапливал материал: запросы работников к труду, производственной организации, объективные функции последних относительно не только работников, но и общества в целом, механизмы согласования интересов различ-

ных субъектов в социально-трудовой сфере, роль этой сферы в сегодняшних условиях и при сегодняшних концептуальных подходах... Я только сегодня, когда тема устарела, выхожу на нее. Суждено ль хоть эту линию довести до завершения? Судя по обстановке в Академии... но не буду пока касаться этого вопроса.

В связи с пребыванием в секторе психологического климата не могу не помянуть специалиста, занимавшегося социалистическим соревнованием (вообще и сектор-то номинально назывался «социалистического соревнования»), находившегося в парадоксальном, мягко говоря, положении, усугубленном еще и его личными качествами. Геннадий Александрович Муравьев – бывший моряк-подводник, во время войны участвовавший в знаменитом (трагическом) переходе Балтийского флота из Таллина (в День Победы он надевал военный китель с орденами и приходил в институт, это было потрясающее зрелище), в теории соревнования (зиждившейся на статье Ленина с выражениями: «шлепнуть бы парочку») он твердо держался первоисточков, потрясал первыми социалистическими обязательствами, принятыми, кажется, на «Красном Выборгце». Там рабочие принимали на себя обязательство... снизить расценки. Не «увеличить», «поднять», «догнать» и т.п., как писали все потом, а именно снизить расценки и тем внести наиболее реальный вклад в повышение производительности труда. Это была классика, первоисточник. Но в наши времена никто уже не мог понять и принять такой подход. Добровольное снижение расценок, которым обычно режут заработок рабочих, выглядело совершенно противоестественным, бедный моряк нигде не мог найти поддержки, в том числе и у идеологов, не говоря уже о рабочих. Такова, видимо, была сермяжная природа социалистического соревнования. На что бравый подводник тратил свою жизнь?!..

Удалось тебе все же заняться большой темой?

Пожалуй... лишь влезть в проблему. В какую-то из научных пятилеток ИСЭП (по крайней мере, его социологический отдел) занялся темой образа жизни (социалистического, разумеется). Это была интересная, фундаментальная тема, касающаяся всех сторон жизни в их неповторимом переплетении. Я находился уже в секторе социологии труда и должен был рассматривать, соответственно, образ жизни именно в сфере труда, трудовой жизни. Реальная картина здесь была, так сказать, пестрая. Наряду с практическим полным охватом социалистического соревнованием и его «высокими достижениями», повышением материального уровня (по крайней мере, по официальным

данным), уверенностью в завтрашнем дне, не ценимой тогда, и т.п., не менее четверти рабочих трудились во вредных условиях, при этом половина из них – женщины, которым по закону вообще не полагалось находиться на таких рабочих местах, распространено было и прогрессировало пьянство на работе (рассказывали, как начальники цехов после смены развозили рабочих, которые сами не могли добраться до дома), падение интереса к труду, избегание ответственности, проявление инициативы только как «вынужденной», отчуждение и самоотчуждение от участия в делах предприятия – комплекс черт поведения (образа жизни), которые В.И. Герчиковым [10] и другими были заформулированы как формирование «люмпенизированного типа личности работника». По Герчикову, удельный вес люмпенизированных промышленных рабочих (ядра рабочего класса) к концу 1980-х доходил до 50–60%. Я, правда, явление люмпенизации не очень воспринимал, зная реальных рабочих (отчуждение – да), но все же не мог не видеть расхождения между должным образом «гегемона» советского общества и реальным его поведением, как и других социально-профессиональных групп.

По другим составляющим образа жизни (не производственным) было примерно такое же положение. Например, пьянство процветало не только на работе, но и вне ее, вокруг нее. Те рабочие, которые могли сами выйти за проходную (или им не удавалось пронести на работу «полбанки») собирались группами в «Голубом Дунае» (то есть под открытым небом, в скверике, на пустыре), если позволяла погода, и не спеша попивали так, что домой все равно приползали уже «тепленькими». Все это выглядело бы нормальным (я имею в виду социологические данные), если бы не необходимость соответствия жизни нарисованным для нее схемам. Социологам оставалось направлять усилия на разработку моделей образа жизни, методологических и методических вопросов исследования, в том числе и потому, что данные о реальных параметрах положения работников Госкомстат закрывал как секретные; если их еще и можно было получить, допустим, «для служебного пользования» или по более строгой форме допуска, то опубликовать без риска для научной карьеры не представлялось возможным (да и не взял бы никто). Социология становилась секретным занятием; помню, даже материалы конференции по БАМу, на которую нам с Алексеевым повезло попасть, числились под соответствующим грифом. К сожалению, и эту линию моих научных изысканий в ХБН мне не удалось завершить. Она пресеклась появившейся необходимостью уносить ноги из института.

Что произошло? Ты же говорил, что пришел в ИСЭП «чистеньким».

Соблюдать нейтралитет в отношениях, как говорил, я не мог долго, так уж по-дурацки устроен, да и ситуация не позволила. К тому времени началась упомянутая кампания по «воспитанию» социологов (обо всей кампании рассказывают другие, хотя у меня была своя траектория). В целом я был «ядовским человеком» (хотя и не находился в том секторе), потому – персона нон грата в данное время (принимал-то меня на работу другой директор). Плюс к этому завсектором проделал со мной такой финт: пригласил к себе в сектор, а когда я перешел – со ставкой, он вскоре открыто заявил, что ему надо принять на мою ставку своего человека, под него я должен освободить место (тут мне открылось, для чего он приглашал). Не уйду сам, буду уволен по сокращению штатов; к тому времени как раз кампания по сокращению подоспела; зав. был фаворитом у директора, и ему подвести меня под монастырь ничего не стоило. Уходить с клеймом уволенного по сокращению тогда означало поставить крест на научной карьере. Поскольку я медлил (хотя и дрожал), завсектором лишил меня плана работы на предстоящий год. Сейчас, наверное, трудно даже понять, что значит оказаться «без плана работы». Ты понимаешь? Есть какие-то аналоги в мировой практике? Тогда я завибрировал, морально был сломлен. Коллеги советовали мне написать на заведующего «телегу» с обвинением его в плагиате, он, действительно, в публикации позаимствовал кое-какие мои материалы, но я постеснялся, было неловко выходить с таким обвинением. Он не постеснялся, а мне было неловко (да и сейчас не хочется называть его фамилию; Бог с ним, нехай живэ).

Так я и оказался за стенами ХБН, снова плюхнувшись в родную стихию – в производство, на завод, только не на родной Кировский, а другой, на упомянутый – где трудился на своем легендарном ПКР Андрей Алексеев. Пути такого социолога как я – будем считать по благодати Господа – оказались неисповедимыми.

Поход во власть

Есть еще в твоей судьбе один эпизод, о котором я хотел бы спросить тебя. Это – твой поход во власть. Ты избирался депутатом один раз или несколько?

Мне хватило одного раза; избирали на 5 лет, 1990–1995 годы, но в 1993 году Советы разогнали. Хождение

социолога во власть – это тоже целая эпопея. Я должен был написать об этом книгу. Вот В.Л. Шейнис написал капитальный труд...

...я видел этот двухтомник, но пока не прочел его [11]...

...так вот, нечто подобное должен был бы выпустить и я, тоже ведший записи, то есть работающий по методу «наблюдающего участия». Проект (описания) до сих пор сидит у меня в голове; особенно нравятся мне так называемые «непроизнесенные речи». Но где взять время вылить проект на бумагу?! Я, право, не знаю даже, о чем кратко сказать, материал – огромен...

Может быть, скажешь что-то о самом замысле?

Пожалуй. Замысел был социологический, и в депутаты я шел именно как социолог, по упомянутому бессмертному алексеевскому «наблюдающему участию» с примесью большой дозы розовых надежд что-то и сделать практически, не только холодно наблюдать. О, романтическое время перестройки, весна демократии! Редкий мыслящий и не совсем еще потухший гражданин не был подхвачен волной социальной активности. Уж тем более карабкался на гребень волны я, хотя только еще выходил из амплуа сторожа-строителя в садоводстве (побывал я и в этой волне-движении).

Предпосылкой было то, что еще до выборов в так называемые «демократические советы» у себя в секторе социологии общественных движений Института социологии РАН в Петербурге мы изучали бурно разворачивающиеся эти самые общественные (демократические, конечно) движения. И, не смущаясь особо эффектом дополнительности, участвовали в деятельности этих движений (клуб «Перестройка», «Демократическая Россия» и др.). Когда дело подошло к выборам, естественным было намерение посмотреть изнутри, как движения будут овладевать властью. Я изготовил научно-исследовательский проект и доложил его на секторе. Одобрения, однако, не получил, и все же решил действовать на свой страх и риск, используя свою технологию. Кроме упомянутого исследовательского, был у меня еще один глубинный замысел: я мечтал создать в Совете какую-то социологическую ячейку (еще несколько социологов проходили в депутаты), собирать информацию с мест (в том числе используя результаты исследований других социологов), представлять ее депутатскому корпусу-обществу (подобно упомянутой выше «машине общественного мнения» Б.М. Фирсова), обеспечивать тем самым «обратную связь» в контуре управления городом, сделать социологию

работающей, да и самим депутатам не давать отрываться от грешной питерской земли, конкретных забот жителей родного Ленинграда. Еще в своей программе я напирал на развитие самоуправления во всех сферах, на всех уровнях – тогда эта тема тоже была на слуху. Ну и, конечно, в мои намерения входило активно участвовать в выработке, принятии прогрессивных демократических решений. Тут я выходил за рамки исследователя. Записался в две депутатские комиссии... это кратко о моей программе.

Как ты вел кампанию?..

...Это достаточно юмористическая история. В качестве членов группы поддержки я мобилизовал друзей, соратников по туристическим походам, жену, детей... Публично, с трибуны выступать было практически негде. Проводились, правда, предвыборные собрания в округе, но даже в то активное время приходил на них известный контингент: десяток-другой бабушек с небольшими вкраплениями дедушек. Группа кандидатов, иногда большая по численности, чем избиратели, рассказывала последним о своих красивых программах. Возможно, потом расходились какие-то волны. Главным методом я считал непосредственные контакты с конкретными людьми, при этом не произнесение перед ними своих лозунгов, а выслушивание их самих. Сочинил анкетку и разослал с ней упомянутых членов группы поддержки со строжайшим наказом – не оставлять анкеты нигде, ибо если бы они попали в избирательную комиссию, я бы погорел. Не потому, что комиссия подумалась: опрос выступает формой агитации, а просто такая процедура не была предусмотрена положением о выборах, и за отклонениями строго следили. Дальше был такой эпизод: в один прекрасный день парадные всех домов оказались оклеенными тетрадочными листочками в клеточку, где писалось, что Максимов – это научный работник, далекий от жизни, «академический человек», профан в городском хозяйстве, пенсионного возраста (хотя я еще не был пенсионером) и т.п. Это, очевидно, мой конкурент, директор, мобилизовал какую-то школу. В ответ мы расклеили листочки с весьма кратким содержанием: «Поликовский – директор». Тогда это звучало убийственно.

Вошел я в КОС (территориальный комитет общественного самоуправления) и от его имени проводил так называемые «заочные собрания жителей микрорайона» (методика имитировала очное собрание). Мы рисовали и расклеивали развлекательные картинки для повышения явки, а в день выборов бегали по квартирам и вытаскивали ленивых избирателей, ибо до порога явки людей не доставало, тогда он был высоким, все

могло сорваться. Конкуренты у меня были сильные, но, к своему удивлению, я оказался избранным. Помогло, вероятно, и то, что накануне голосования газета «Смена» опубликовала список кандидатов, которых она считала демократическими, а список, в свою очередь, составляли общественные организации, в которых мы вращались.

Пожалуйста, поделись впечатлениями о работе депутата.

Впечатления... Что же отобрать? Из исследовательских наблюдений: лидеры демократических движений, войдя в орган власти, покидали свои движения, словно выпорхнувшие из коконов бабочки; обезглавленные движения чахли, загибались; депутаты порывали связь со своей социальной базой. Некоторые говорили, что принципиально должны быть независимыми в своих решениях, хотя вряд ли они произносили такое на предвыборных встречах. Вскоре демократический Ленсовет оказался как бы замкнутым в стенах Мариинского дворца. Городская жизнь со своими проблемами – помнишь, ведь на многие продукты тогда выдавали карточки – протекала где-то там, а здесь была своя внутренняя жизнь. Информация с мест, которую я пытался поставлять, никого не интересовала; мой сокровенный прожект повис. Прошедшие в депутаты социологи в группу не сколачивались. Оставалось действовать в качестве наблюдателя и рядового депутата. В последнем качестве меня преследовал «комплекс муравья» – я ничего не мог сделать, ни на что повлиять, даже не всегда выступить (недаром пришлось записывать «непроизнесенные речи»). В демократическом совете царил такая иерархия! Вообще, призванный на председательство популярнейший тогда А.А. Собчак, давал установку «вырабатывать решения за закрытыми дверями», а на сессиях лишь утверждать их. Как социолог я иногда проникал за эти «закрытые двери» (на заседание какой-нибудь комиссии), садился в уголок, за пальмы, и, если меня не обнаруживали и не изгоняли как «чужого», «постороннего», наблюдал как бы сходку заговорщиков, где договаривались о том, как скомпрометировать неудобный проект решения, «заплодировать» такого-то, «свалить» этого и т.п. Одной из жутких заморочек была демократическая процедура, которую непривычные депутаты осваивали полгода, если не больше, и о которую спотыкались потом чуть ли не каждый день. Иногда первая половина заседания уходила на утрясание повестки дня; после этого объявлялся перерыв на обед и только во второй половине принимались за сами дела. Не единожды совет впадал в патовую ситуацию, когда не мог даже закрыть заседание (хоть оставайся ночевать во дворце)! Впечатляло меня, не-

привычного, то, что при принятии решений работал принцип не разумности, рациональности, а – силы. Каким бы совершенным ни был проект, если сильная группировка (фракция) голосовала против, он не имел шансов быть принятым. К этому я до сих пор не могу привыкнуть, видя иногда картинки из жизни Госдумы.

Надо бы вспомнить о содержании принимаемых революционных решений самого демократического и революционного из горсоветов, а то я все о заморочках, иерархиях и т.п. Но это совсем неподъемно. Каждый день рассматривалось несколько проектов; раздаточные бумаги разносили пачками, стенограммы выступлений исчислялись десятками толстенных томов (где-то сейчас, в каком архивном кладбище это буйство мыслей, идей, проектов, призывов, просто «реплик по порядку ведения» и т.п.?!). Одной из главных эпопей была приватизация, которая варилась совместно с администрацией города (заменившей исполком горсовета), вскоре возглавленной незабвенным Анатолием Александровичем, покинувшим вознесших его депутатов и продолжающим их шпынять по-профессорски уже из здания Смольного. Так он, немного оговорившись, предлагал пустить депутатов на бесплатные школьные завтраки. Делалась приватизация совершенно большевистскими методами, только в обратную сторону от национализации, – по старой доброй разнарядке, с закрыванием глаз на многочисленные нарушения правил... Главное, надо было успеть осуществить известную гайдаровскую установку. Потом взялись за переустройство политической системы... на это и напоролись...

Ленсовет немало поливали; особенно в свое время усердствовал известный А. Невзоров, изобразивший в одной из передач «600 секунд» депутатов в виде скопища отвратительных крыс. Одна моя близкая знакомая, наслушавшись речей о дармоедах-болтунах депутатах, эмоционально однажды воскликнула: «Прямо взорвала бы их всех!» – «И меня?» – спросил я. Знакомая замялась, но не сказала, что погорячилась. СМИ тогда постарались скомпрометировать вообще представительную власть. При всем моем трезвом отношении к горсовету, я не хотел бы выглядеть его очернителем. В свое время он сделал очень много; основная масса депутатов была людьми действительно демократических убеждений, настроенными на бескорыстное служение городу и демократии, прошу прощения за высокопарность. Недаром разгон Ленсовета был для ельцинского режима просто необходимым.

Полон трагикомизма последний день работы Ленсовета. Работа шла чрезвычайно слаженно, за один день приняли столь-

ко и таких решений, сколько и каких не осваивали и за месяцы предыдущих заседаний. Председатель поздравил депутатов с весьма плодотворной деятельностью. Все зааплодировали, встали, хотели закончить заседание исполнением введенного уже гимна города (на музыку Глинки). Но тут поступила информация, что совет по указу Ельцина и с подачи Собчака еще накануне распущен...

Немую сцену я предлагаю представить тебе самому и читателям тоже.

* * *

Не знаю, что делать... Я хотел рассказать, как дважды прошел путем социолога-сторожа, которым в то время проходили и некоторые другие социологи, и отсюда вынес любопытные наблюдения, обстоятельнее описать мое хождение во власть, поделиться результатами исследований рабочего движения, в которое вовлекся сам и даже удостоился знака «Ветеран рабочего движения», наконец, о сегодняшнем самоощущении и восприятии жизни. Ведь мы живем уже совсем в другой России, однако перестаем замечать это и до сих пор не решили sacramентальный вопрос: прогрессировали мы, приобщившись к Большому Миру или нас просто надули, заморочив голову «демократией», «рынком», «жизнью не во лжи» и т.п.? Но понимаю, что лимиты времени и пространства исчерпаны, а говорить еще более схематично, коротко у меня не получается. Что делать? Может написать брошюрку: «Минидраматическая социология»? Или успокоиться – все равно никто читать не будет? Как ты посоветуешь?

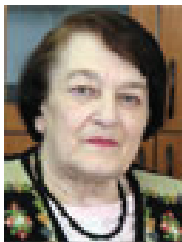
Литература

1. Алексеев А.Н. Драматическая социология и социологическая ауто-рефлексия. Санкт-Петербург: Норма. Т. 1–2, 2003; Т. 2–4, 2005.
2. Алексеев А.Н. Познание через действие // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 5. С. 11–23.
3. В.А. Ядов: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 3. С. 2–11; 2005. № 4. С. 2–10.
4. Здравомыслов А.Г.: «Социология как жизненное кредо» // Социологический журнал. . № 3. С. 111–148.
5. Фирсов Б.М. «О себе и своем разномыслии...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 1. С. 2–12.
6. Я отправил этот фрагмент этого текста Б.М. Фирсову, все же интересно, как результаты социологических исследований входили в практику. Вот его комментарий: «Похоже на правду, но надо

точно указать время. К телевидению с разных сторон, но с одной идеей изучения аудитории подошли еще два человека – Генриада Ивановна Хмара, а также Андрей Григорьевич Здравомыслов. Последний предлагал заключить договор хозрасчетного толка, но предложил непомерную цену по тем временам. Я отказался, сказал, что за такие деньги мы можем работать сами. Сразу же укрестил отдел писем. Генриада проводила первые опросы, но довольно простые и громоздкие. Делать этого тогда никто не умел. Бориса Максимова надо попросить найти какие-то кусочки текста. Кроме того, важно понять, кого он тогда представлял, или делал по своей инициативе. По-моему, он работал под началом Ядова. Но я могу ошибаться... Выступление Максимова помню. Было ли это моим первым знакомством с социологией ТВ? Не помню. События развивались быстро, и идеи проникали в сознание тоже довольно быстро. Бесспорно одно – это было первое знакомство работников ТВ с результатами опросов».

Ответ Б.И. Максимова: «Время – приблизительно 1965–1966 гг. Никаких кусочков текста мне, к сожалению, не найти. На совещании в телестудии я не выступал, говорил Фирсов». – *Б.Д.*

7. *Кесельман Л.Е.* «Случайно у меня оказался блокнот в “клеточку”» // *Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев.* 2005. № 5. С. 2–13.
8. Левиков А. Калужский вариант. М.: Политиздат, 1980.
9. Парыгин Б.Д. Социально-психологический климат коллектива: пути и методы изучения / Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981.
10. Герчиков Владимир Исаакович (1938–2007).
11. *Шейнис В.Л.* Взлет и падение парламента. Переломные годы в российской политике (1985–1993). М.: Моск. центр Карнеги, Фонд ИНДЕМ, 2006.



Русалинова А. А. – окончила философский факультет ЛГУ, старший преподаватель факультета социологии Санкт-Петербургского Государственного университета. Основные области исследования: промышленная социология, социальное планирование, образ жизни. Интервью состоялось в 2008-2009 годах.

Во второй половине 1960-х я помогал в применении многомерного факторного анализа психологам Ленинградского Государственного университета, которые работали по обширной программе комплексного изучения человека. В большей степени это были ученые, разрабатывавшие под руководством Бориса Герасимовича Ананьева проблемы личности. Но каким-то образом я стал работать и с сотрудниками лаборатории социальной

психологии, которую возглавлял Евгений Сергеевич Кузьмин. Тогда-то я впервые услышал имя Аллы Русалиновой. В 1968 году под началом Андрея Григорьевича Здравомыслова я стал осваивать азы социологии и снова услышал имя Аллы Русалиной. Поскольку мы тогда лично не были знакомы, я думал, что это два разных человека, имевших одинаковое имя-фамилию. У меня в голове не укладывалось, что один человек способен столько активно и продуктивно работать в социальной психологии и социологии. Потом все стало на свои места. Действительно, это оказался один человек.

Я благодарен Алле Александровне, за ее согласие ответить на ряд вопросов о ее жизни и работе. Рассказанное ею удивляет даже меня, знающего по собственному опыту многое из событий, протекавших в ленинградской социологии до перестройки. Для будущих историков российской социологии – это просто клад.

А.А. Русалинова:
«МЫ РАБОТАЛИ ЧЕСТНО И ВИДЕЛИ ХОТЬ И СКРОМНЫЕ, НО РЕЗУЛЬТАТЫ СВОЕГО ТРУДА»*

Алла, начнем с начала. Пожалуйста, расскажите про вашу родительскую семью, где прошли детство, юность? где закончили школу?

Я родилась в Ленинграде 24 июня 1931 г. Отец мой, Шнирман Александр Львович был по профессии врачом-психиатром, окончил Петроградский медицинский институт, работал с 1923 г. в Институте по изучению мозга и психической деятельности непосредственно под руководством В.М. Бехтерева, занимал последовательно должности лаборанта, ст. ассистента, заведующего лабораторией, ученого секретаря; после закрытия института преподавал и руководил кафедрой психологии в Ленинградском педагогическом институте им. Покровского, одновременно работая с 1933 по 1938 г. главврачом 2-й психиатрической

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 6. С. 2–8.

больницы. В период финской войны служил военным врачом, 23 июня 1941 г. был снова призван в армию, а после ранения на фронте работал в системе Наркомздрава РСФСР. После войны вернулся в Ленинград в институт им. Покровского, с 1947 заведовал кафедрой психологии, но в 1951 г. во время кампании борьбы с космополитизмом был снят с должности заведующего и получил строгий выговор за то, что в период работы в институте мозга по согласию с дирекцией института вошел в состав редколлегии американского психологического журнала. В дальнейшем работал доцентом кафедры психологии института им. Покровского, который впоследствии был объединен с Государственным педагогическим институтом им. А.И. Герцена.

Продолжим разговор о Вашей семье...

Мама, Галина Николаевна имела педагогическое образование, до войны работала сначала лаборантом в Институте мозга (где и познакомилась с отцом), затем до Великой Отечественной Войны преподавала в школе русский язык и литературу. Во время войны она вместе с детским интернатом Ленгорздравотдела, в составе которого были я и моя младшая сестра, была эвакуирована сначала в Ярославскую, затем в Курганскую область, работала сначала воспитателем, а затем директором интерната. В 1943 г. отец вызвал нас к себе в Москву, где он работал консультантом наркома здравоохранения, а мама стала работать воспитателем в ремесленном училище. В конце 1945 г. мы вернулись в Ленинград, мама сначала работала в Военно-педагогическом институте, затем в Ленинградском Государственном университете им. А.А. Жданова на философском факультете (преподавала методику преподавания психологии); далее после персонального дела отца ей пришлось уйти из университета, и до пенсии она работала воспитателем в школе-интернате.

Детство мое, даже несмотря на военные годы, было золотым и счастливым периодом моей жизни. Совершенно особую роль в моем становлении играл отец. Он был воспитан в лучших традициях российской интеллигенции конца 19-го – начала 20 века: знал три языка, прекрасно знал русскую литературу, вместе со своим отцом, а моим дедом – скрипачом Мариинского театра собрал дома всю отечественную классику, был мягким, гуманным в самом полном смысле этого слова человеком.

Практически почти всему, что я в жизни умела делать, меня учил отец (кроме разве что технологии приготовления пищи). Когда мне было лет 7, не больше, он давал мне читать Гоголя, Данилевского, Жуковского, учил кататься на велосипеде, на коньках и на лыжах, водил в театр и на концерты в Филармо-

нию, в 10 лет учил фотографировать. Обучали меня и музыке, и немецкому языку. Сам отец великолепно пел, у него был очень красивый баритон. Он даже начинал учиться в Консерватории, но в 20-е годы прошлого века студентам в нашей стране было категорически запрещено обучаться одновременно в двух вузах; ему пришлось выбирать между искусством и медициной, и он выбрал медицину... Но я до сих пор помню, как отец пел "Колыбельную" Моцарта под мамин аккомпанемент. Любимыми романсами отца были "На заре туманной юности" и "Свадьба" А. Даргомыжского.

Отец никогда не воспитывал меня напрямую, не читал мне морали, не высказывал свое одобрение или неодобрение. Но я всегда знала, что он одобрит, а что может ему не понравиться, и я всегда старалась так поступать, чтобы это ему понравилось. К сожалению, в конце его жизни я была слишком занята своими детьми и своими заботами, и слишком мало общалась с ним, а ему, вероятно, это было нужно...

Мама была совершенно замечательной хозяйкой: даже в самые трудные военные годы она умела при скромных доходах накормить и обуть всю семью, а в Сибири, во время эвакуации, она вязала мне и сестре теплые рейтузы и кофты, а кроме того научилась прясть шерсть, а впоследствии она вязала тончайшие шерстяные платки, а внучке связала из каких-то обрывков цветных ниток великолепное платье. Благодаря маме и отцу наш дом долгое время был открытым: к нам приходили гости, у меня дома бывали все мои подруги по школе, а уже в институте в праздники нередко у нас собиралась вся наша учебная группа; при этом мама с папой не только участвовали в наших сборищах, но сами организовывали всякие шуточные игры вроде кормления друг друга вареньем с завязанными глазами или игру в "щетку"...

Что Вам запомнилось из школьных лет?

Так получилось, что во время учебы я сменила девять школ, но не из-за плохой успеваемости или дисциплины, а в силу постоянного изменения системы школьного образования: одни школы закрывались, другие открывались, нас, учеников, переводили не спрашивая. Уровень школ был конечно, различный. Например, в Сибири, в селе Носково, где я ходила в 4-й класс, мы, достаточно грамотные дети-ленинградцы, не могли не потешаться над учительницей начальных классов, которая рассказывала нам про полководца Навухудерносера, или над полуглухим старичком-бухгалтером, который вел в 5-м классе уроки немецкого языка; перед каждым уроком он сам готовился в школьной библиотеке по единственному учебнику...

До 9 класса я хотела быть преподавателем литературы и русского языка, тем более что в 8-м классе 653-й школы г. Москвы эти предметы великолепно вела Елизавета Николаевна Штром. Но в 9-м классе уже в Ленинграде полный ужас по отношению к преподаванию литературы и языка в меня вселила другая учительница. Не хочу увековечивать ее память, но я представляла себе, что вдруг я буду работать так, как она! И у меня возникло твердое решение: куда угодно, только не на литературу!

И на чем Вы остановили свой выбор?

В период учебы в 10-м классе отец “подсунул” мне книгу своего друга еще со времен работы в ин-те мозга Б.Г. Ананьева “Очерки психологии”. Книга меня заинтересовала. Потом отец пригласил меня в институт им. Покровского на пару своих лекций, а мама так же ненавязчиво посоветовала подумать, не стоит ли мне поступать на психологическое отделение философского факультета Ленинградского университета. Собственно говоря, и в литературе меня больше всего интересовала ее психологическая сторона, поэтому решение пришло само собой и без какой-либо борьбы мотивов, хотя моя любимая “физичка” и классная воспитательница Тамара Карловна Теплова, которую я до сих пор вспоминаю как “луч света в темном царстве” всячески агитировала меня поступать в Ленинградский институт точной механики и оптики, известный тогда ЛИТМО. Очевидно, она ориентировалась на мои пятерки по математике и физике, но не догадывалась о том, что ни физику, ни химию, впрочем, равно как и историю, я не любила. В университет я поступила с первого захода с одной четверкой по истории.

Нечастая для той поры траектория, и потому ценная для истории; осознанный выбор психологии через влияние В.М. Бехтерева, отца-психолога и книгу Б.Г. Ананьева. Скорее всего Вам преподавали Ананьев, Мясищев, еще молодые Ломов, Веккер, кто еще из крупных ученых?

Я училась в университете в тот период, когда в нем еще работали представители старой психологической школы: кроме Ананьева и Мясищева нам преподавали А.В. Ярмоленко, В.И. Кауфман, Н.В. Опарина. Л.М. Веккер тогда был аспирантом, нам не преподавал; Б.Ф. Ломов учился на три курса старше нас, а А.А. Бодалев, будучи аспирантом, вел у нас педагогическую практику в школе.

Для меня особо значимыми были лекции по философии, которые читал молодой В.А. Штофф, лекции по педагогике Н.К. Кушкова и великолепные лекции по истории КПСС Г.К.

Мальковской. Все это были образцы прекрасной, очень четкой и логичной организации учебного материала, что всегда меня привлекало в лекциях. В этом плане признаться, хотя мне очень стыдно, но лекции Б.Г. Ананьева и В.Н. Мясичева я не очень любила – в них часто не было системности, зато был силен элемент импровизации. Меня, конечно, осудят поклонники и особенно поклонницы Ананьева, но что было, то было. Возможно, в такой позиции виновата моя склонность к философским обобщениям и системному подходу. Философия меня привлекала именно установками на поиск определенных закономерностей.

А к чему непосредственно Ваша душа лежала?

Что же касается профессиональных интересов, то меня не привлекало изучение отдельных психических процессов, зато я с удовольствием слушала лекции Т.Е. Конниковой по психологии школьного коллектива и А.А. Люблинской по детской психологии, и именно у Конниковой я писала свою дипломную работу по роли учебной деятельности на уроке в формировании ученического коллектива. Социальной психологии как отдельной психологической дисциплины тогда еще в нашем учебном плане не было, но потребность в ней уже назревала.

Вот здесь, чуть подробнее. Вы поступили на психологическое отделение философского факультета в 1948 году? И вам не преподавали социальную психологию как самостоятельное научное направление... Что, вся психология ограничивалась индивидом, личностью? Говорилось о буржуазной социальной психологии?

О буржуазной социальной психологии во время учебы нам ничего не говорили, ни хорошего, ни плохого, как вообще о зарубежной психологии, хотя о Фрейте мы что-то слышали, и кое-что из его работ я даже читала. Но нам мало говорили и о Л.С. Выготском, и о В.М. Бехтерева, и об А.Ф. Лазурском, равно как и о других видных отечественных психологах. В то же время с некоторыми положениями социальной психологии мы познакомились благодаря лекциям В.Н. Мясичева, А.Г. Ковалева, Т.Е. Конниковой и А.А. Люблинской – это были материалы о взаимоотношениях между людьми и формировании коллектива (правда, речь шла в основном о детских коллективах)

Что можно добавить, вспоминая студенческое время?

Годы учебы в университете также запомнились мне как годы бурной студенческой жизни. Правда, далеко не все предметы у нас преподавались на достаточно высоком уровне, и это

нередко вызывало неудовольствие студентов, мы даже иногда “возникали” по поводу некоторых преподавателей. Но зато какие широкие возможности открывала нам активная внеучебная жизнь, бурлившая в стенах университета: спортивные секции, студенческий хор, драматическая студия, камерный оркестр и оркестр народных инструментов – только сам не лежи на боку, выбирай на вкус.

Я в студенческие годы буквально “пустилась во все тяжкие”, не в обывательском смысле этого слова, а в плане максимального использования имевшихся возможностей: ходила в студенческий хор, которым руководил Г.М. Сандлер, занималась в секциях легкой атлетики и спортивной гимнастики; одно время у нас работала даже женская секция самбо, в которой также без меня не обошлось. Я участвовала в университетских и межфакультетских соревнованиях по академической гребле, волейболу, спортивной гимнастике, велосипеду, стрельбе, выезжала летом на студенческие стройки Медведковской и Михалевской ГЭС, начинала читать лекции по линии общества “Знание” и т.п.

Судя по всему, чуть раньше Вас или одновременно с Вами на философском факультете учились: Альберт Баранов, Василий Ельмеев, Андрей Здравомыслов, Светлана Иконникова, Борис Парыгин, Владимир Ядов... Недавно Альберт Баранов заметил: «... от философского факультета и от учебы на философском факультете в Ленинградском государственном университете имени Жданова я вынес только одно приятное воспоминание: я поступил в хор. Туда меня привел Андрей Здравомыслов < ... > И это единственное позитивное воспоминание об учебе в Ленинградском университете». Воспоминания Ельмеева, Здравомыслова, Ядова – иные. Что бы Вы сказали?

С Барановым, Здравомысловым, Иконниковой и Парыгиным я училась на одном курсе; а вообще наш курс дал целую плеяду известных социологов и философов: В. Бранского, Н. Гордиенко, В. Ильина, А. Кармина, И. Леймана, Л. Микешину, В. Шаронова, психологов Н. Крогиуса и М. Дмитриеву. И это далеко не полный список! В. Ядов был на курс старше, но я его знала по студенческой стройке Медведковской ГЭС. В. Ельмеев был старше нас на два курса, с ним во время учебы я практически никак не пересекалась.

В отличие от А. Баранова мои воспоминания об университете очень многогранны, и студенческие годы я вспоминаю с удовольствием. Процесс преподавания меня не всегда устраивал, но я всегда пыталась хоть что-то из них вынести в соответствии с любимой поговоркой моего отца: “Нет такого свинства, из

которого нельзя было бы выкроить кусочек ветчины". Точно так же я максимально старалась использовать те возможности, которые предоставлял университет для активного участия в студенческой жизни, поэтому я и пела в университетском хоре, и занималась спортом, и участвовала в студенческих стройках, и вела общественную работу. Скучно мне не было, а хороших товарищей и друзей было много.

В ряде воспоминаний представителей Вашего поколения есть описание отношения к смерти Сталина. Каким оно было в Вашей семье и у Вас лично?

В нашей семье родители никогда при нас (детях) разговоры о политике не вели, никакие фамилии вождей не упоминались. Тем самым папа с мамой защитили наше детство от той страшной стороны жизни всей страны, которая полностью расходилась с лозунгами социализма и коммунизма. Но я помню один эпизод – скорее всего, это был примерно 1937 – 38 гг., мне было лет шесть – когда вечером у нас в столовой собрались отец и два его брата (оба тоже замечательные люди, о которых можно говорить и писать особо) и долго о чем-то очень тихо говорили, не садясь за стол. Меня отправили спать в другую комнату, но я хорошо помню, что эта беседа вызвала у меня какое-то чувство неопределенной тревоги. Понять ее я не могла, но почему-то именно тогда я поняла, что очень люблю этих людей. Мне почему-то представилось, что когда-нибудь эти три прекрасных человека умрут, и стало их так жалко, что я уже лежа в постели, начала плакать, сначала тихо, а потом с всхлипываниями и подхрюкиванием. Плакала я не для публики, а для себя, но кто-то услышал эти звуки, отец и дяди пришли в спальню и, естественно, стали меня расспрашивать, что случилось (плакала я в детстве крайне редко, других случаев даже не помню). Я не хотела огорчать этих прекрасных людей мыслями об их смерти и соврала, что я не хочу умирать... Старший из братьев, дядя Миша, работавший в Ленгорздравотделе и впоследствии пострадавший в деле врачей, дал мне крохотную шоколадку, на обертке которой была напечатана какая-то загадка, и сказал, что если я ее съем, я никогда не умру... Шоколадку я разделила на четыре части, потребовав, чтобы они ее тоже съели, и после этого успокоилась и заснула. Дяде я, конечно, не поверила, но это было неважно...

Что же касается Сталина, то я видела его портреты в детских книжках, например, по-моему, в книге В. Квитко, и помню, что долго всматривалась в его портрет, пытаюсь понять, что это за человек. Но спрашивать у родителей о нем не стала, понимая, что это тема закрытая.

К смерти Сталина я отнеслась как-то настороженно: вроде бы, надо было переживать скорбь, но я ее не чувствовала. Зато помню, как в день похорон Сталина, в отчаянный мороз, возвращаясь в троллейбусе домой от подруги, я стала думать о том, что же теперь будет в стране после его смерти? На сколько времени хватит инерции в ее развитии, которая заложена в его правление? Я почему-то решила, что лет двадцать эта инерция будет как-то сохраняться, но что будет потом – решительно не могла себе представить, только понимала, что изменения обязательно будут... Дома у нас вопрос о его смерти не обсуждался.

Какие же перспективы для работы были у молодого психолога?

После университета нам, психологам, предлагали подписать распределение на работу преподавателями истории в Краснодарском крае. Перспектива отъезда из Ленинграда меня почему-то не утрашала, но согласиться преподавать нелюбимую мною историю я не могла, тем более, что нас никто к этому не готовил: за весь цикл обучения в университете у нас не было ни одной исторической дисциплины, кроме истории КПСС. Поэтому я ухватилась за возможность преподавать логику в одной из ленинградских школ, а затем и психологию еще в двух школах (всего надо было на полную нагрузку иметь 18 часов в неделю, а по каждой из названных дисциплин планировался только один час в неделю, значит, надо было иметь 18 классов).

Все бы было хорошо, я приспособилась более или менее сносно проводить уроки даже в мужской школе, но через два года после начала моего трудового пути преподавание психологии и логики в школе отменили, надо было снова искать места под солнцем. Мне пришлось перейти работать в начальные классы школы. Тогда-то я вернулась к идее стать преподавателем русского языка и литературы, поступила на заочное отделение педагогического института им. А.И. Герцена, проучилась там три года и была близка к завершению, но в это время умер от инфаркта отец, без помощи которого мне и мужу было просто не прокормить себя и двоих детей, появившихся к тому времени на свет. Продолжая работать в начальной школе и в комнате продленного дня, я решила пойти в аспирантуру по кафедре педагогической психологии и сдала вступительные экзамены с одной четверкой все по той же злополучной истории КПСС. В результате меня приняли сначала, правда, только на заочное отделение, но потом перевели на очное.

Аспирантуру я закончила без защиты диссертации, хотя она была написана примерно на . Но надо было зарабатывать деньги, поднимать детей, поэтому в 1964 году я поступила на

работу старшим лаборантом в лабораторию социальной психологии философского факультета ЛГУ им. Жданова, которая с 1 января 1966 г. вошла в состав НИИКСИ ЛГУ (Научно-исследовательского института комплексных социальных исследований), где я и работаю до сих пор в должности старшего научного сотрудника.

В то время там сложилась очень сильная команда: Анатолий Свенцицкий, Игорь Волков, Виктор Бойко... и во главе – профессор Евгений Сергеевич Кузьмин, много сделавший для развития в СССР социальной психологии и поддерживавший социологические исследования. Не могли бы Вы поделиться Вашими воспоминаниями о нем?

Со Свенцицким и Волковым мы пришли в лабораторию социальной психологии почти одновременно, Бойко появился в ней значительно позже. Е.С. Кузьмин, безусловно, был выдающейся личностью и прекрасным организатором. Социальной психологии он был предан безгранично и умел подбирать таких же преданных науке сотрудников. При всей своей склонности к авторитарности он абсолютно не сковывал творческой свободы подчиненных, всячески поддерживал их инициативы, привлекал к преподавательской деятельности. В отличие от некоторых своих приспешников, он никогда не пристраивался к научным трудам своих сотрудников в качестве соавтора, если не принимал в них личного участия. Я до сих пор благодарна ему за то, что на протяжении почти 20 лет мне было предоставлено право быть не только ответственным исполнителем, но и научным руководителем хозяйственных договоров с объединением “Светлана”, хотя по должности я была всего лишь старшим научным сотрудником без ученой степени. Фактически я имела полную свободу в определении тематики, сроков проведения исследований и в вопросах подбора кадров для работы на договорах. Поэтому годы работы под его руководством я вспоминаю как годы творческого счастья.

В то же время в своих требованиях к сотрудникам он был неумолим, что сказалось и на моей судьбе. Когда у меня была готова кандидатская диссертация, он согласился поставить ее на обсуждение кафедры в июне (не помню точно, какого года) только в том случае, если я к сентябрю напишу два параграфа в коллективную монографию “Социальная психология”, от участия в которой я первоначально отказалась. Я была вынуждена согласиться, но в результате лето (в том числе и весь отпуск) пришлось потратить на выполнение данного мною обещания. Свои параграфы я написала, но диссертацию пришлось отодвинуть, а потом я “перегорела”: желания ее защищать и

кому-то доказывать, что я не верблюд, чтобы пролезть в клан “остепененных”, не было, и я об этом не жалею. Это – цена моей свободы, возможности быть относительно независимым специалистом.

Итак, вы связаны с НИИКСИ четыре десятилетия. С чего началась Ваша работа?

Первая же моя исследовательская работа была связана с изучением взаимоотношений в сфере труда, точнее, в сфере профессионального обучения молодежи в профессионально-технических училищах, что вполне соответствовало общей направленности моих профессиональных интересов. Работа носила заказной характер и осуществлялась по хозяйственному договору с НИИ профтехобразования. Выполняла я ее с большим удовольствием и дотошностью: проводила длительные наблюдения на теоретических занятиях и на производстве в двух училищах, обследовала 11 учебных групп, разработала и примерила несколько различных методик, даже вела киносъемки на производстве. Результатом работы была брошюра, опубликованная издательством «Высшая школа» в 1968 г. С этого все и началось.

Нужно отметить, что меня почему-то всегда интересовала именно сфера труда. Не исключено, что этот интерес и даже уважение к труду возникли еще в детстве и были связаны с тем удовольствием, которое я получила от результатов собственных пусть и очень небольших трудовых усилий. По этому поводу мне вспоминаются два эпизода.

Мне было, вероятно, лет пять, когда мы с мамой пошли за продуктами и довольно долго нам пришлось стоять в очереди за молодой картошкой, которую продавали с прилавка прямо на улице. Стоять мне было скучно, а у продавщицы под прилавком накопилась целая россыпь мелкой картошки чуть крупней горошины, которую никто не хотел брать. В моих руках была небольшая корзиночка, и я спросила продавщицу, нельзя ли мне собрать картошку, которая под столом, что она охотно разрешила. Я набрала неполную корзиночку картошки (жадничать и набирать полную мне показалось неудобным), дождалась маминой очереди, и мы с ней понесли свою добычу домой. Дома мне стало жалко выбрасывать картошку, и я спросила маму, нельзя ли сварить мою картошку. Она разрешила, но сказала, что свою картошку я буду чистить сама. По-моему, я довольно долго пыхтела и скребла эту мелочь, но когда ее подали на стол, я была страшно горда – это была МОЯ картошка! И она была очень вкусная.

В другой раз, уже года через два, когда мы жили летом на даче во Всеволожской (тогда станция еще не была городом),

направляясь в гости к знакомым, я заметила рядом с дорогой за канавой тесно сросшиеся большим кустом грибы, и мне показалось, что это опенки, Сорвав один гриб, я сбежала к маме, и она подтвердила мою догадку. Тогда я быстро помчалась обратно к грибам, не помню, во что собрала их и торжественно понесла домой. Вечером было очень приятно, что вся семья ела МОИ грибы.

Лет 15–20 назад почти все, кто имел хоть минимальное отношение к социологии или социальной психологии в Ленинграде знали про исследования на «Светлане». Но время идет... ситуация меняется. Давайте попробуем восстановить немного историю этого проекта... это очень важно. Для начала расскажите кратко об этом предприятии, тогда станет яснее значение проекта.

В начале 60-х годов в развитии отечественной промышленности появилась новая тенденция: многие мелкие предприятия, относящиеся к одной и той же отрасли, стали объединять в крупные производственные и научно-производственные объединения. Целью создания таких объединений было повышение эффективности их работы за счет более рационального использования их расширенной финансовой базы. Создание таких гигантов, персонал которых исчислялся десятками тысяч человек, потребовало перехода на новые уровни и методы управления не только производственными процессами, но и людьми. К этому времени в отечественной печати появился ряд работ по социальной психологии (работы Гвишиани, Вильховченко и др.). Усилению внимания руководителей производства к социальным и психологическим аспектам управления способствовало широкое развитие сети курсов и центров повышения квалификации специалистов и руководящих работников, где стали читать лекции по психологии управления уже свои, отечественные специалисты.

Объединение "Светлана" также возникло на базе объединения нескольких самостоятельных предприятий электронной промышленности, занимавшей в этот период ведущие позиции среди многих других отраслей. Возглавлявший объединение в то время генеральный директор И.И. Каминский был нацелен на то, чтобы вывести его на самые передовые позиции в своей отрасли. И генеральный директор, и главный инженер объединения В.А. Кацман активно поддерживали идеи внедрения психологии в практику управления и были инициаторами установления контактов с научно-исследовательскими организациями соответствующего профиля.

НИИКСИ ЛГУ был в Ленинграде в тот период единственной организацией подобного рода; к нему и обратились руководи-

тели объединения с предложением провести ряд социальных исследований. При этом руководство объединения проявило мудрую осторожность, заключив в 1965 г. первый хозяйственный договор от имени одного цеха, начальником которого был прекрасный специалист, отличный хозяйственник и смелый экспериментатор Александр Исаевич Робертович (о его определенной смелости говорит тот факт, что он был беспартийным, а это для начальника цеха был криминал. На заводе поговаривали о том, что если бы не его беспартийность, он занимал бы значительно более высокие управленческие должности на предприятии). Со стороны нашего института работами по хоздоговору руководил В.А. Ядов.

Первый хоздоговор с объединением носил поистине комплексный характер: в его выполнении участвовали и экономисты, и сотрудники лаборатории проблем управления, и психофизиологи, и социальные психологи. К работе были привлечены не только “хоздоговорники”, труд которых оплачивался именно из средств договора, но и штатные сотрудники института.

При работе по этому договору не обошлось без некоторых комических ситуаций. Наши сотрудники постоянно работали непосредственно в цехе, но при этом практически не общались с начальником цеха, и до завершения работ он никаких реальных результатов исследования не видел.

Незадолго до конца отчетного периода Александр Исаевич поставил отчет нашей исследовательской группы на расширенном заседании “четырёхугольника”, объединявшем руководство цеха, а также руководство партийной, профсоюзной и комсомольской организаций. Секретарь партбюро конфиденциально сообщил мне, что начцеха крайне недоволен нашей работой (это потому, что мы не торчали у него на глазах) и поручил ему подготовить проект решения, в котором наша работа признавалась неудовлетворительной и предлагалось расторгнуть договор. Меня лично он с этим проектом познакомил.

Однако, когда на самом заседании наши сотрудники один за другим доложили о результатах своих исследований и вытекающих из них практических рекомендациях, настроение начальника резко изменилось. Подготовленный проект решения даже не был оглашен, начальник цеха выступил первым и не только высоко оценил проделанную работу, но и сообщил, что ряд рекомендаций (например, полная реорганизация рабочих мест и внедрение так называемого “динамического стула”) будет немедленно внедрен. Результатом этой первой пробной работы было то, что на следующий год договор о проведении исследований был заключен уже не с отдельным цехом, а с ру-

ководством всего объединения. В дальнейшем хозяйственные договоры возобновлялись каждые два-три года и длились без перерыва по 1991 г. включительно.

В 1966 г. в объединении был разработан первый план социального развития коллектива предприятия на пять лет; впоследствии ежегодные и пятилетние планы социального развития составлялись сначала на уровне отдельных цехов, а затем на их основе подготавливались соответствующие планы всего объединения. Научные исследования социологов должны были проходить как предплановые. В то же время, в отличие от многих других предприятий, на «Светлане» эти планы составляли именно сами руководители производства и общественных организаций, а не социологи и психологи, поскольку организовать выполнение планов могли только сотрудники предприятия, а мы таких полномочий не имели. Я вообще считаю, что именно такая практика была наиболее разумной: руководители включали в планы только такие мероприятия, которые находились в их компетенции.

Теперь – немного общих сведений об исследовании: организации, тематике, методах.

Нами были проведены исследования более чем по тридцати конкретным темам; естественно, каждое из них имело свои специфические цели и задачи, и для каждого разрабатывался авторский исследовательский инструментарий; при этом применялись не только социологические опросы (анкетирование), но и наблюдение, и интервью, и контент-анализ доступной документации, и экспертные опросы, а кроме того, в случае необходимости применялись разнообразные психологические тесты.

Тематика исследований определялась совместными усилиями руководства объединения и представителями института. Фактически формулирование тематики и определение сроков исследований не вызывали разногласий: в лице руководства “Светланы” мы имели очень грамотных и корректных заказчиков. Мне припоминается только один случай радикального расхождения наших представлений о тематике хозяйственных исследований. Он был связан с периодом, когда непосредственным куратором наших исследований был главный инженер объединения. Предприятие начинало большую и серьезную работу по повышению качества продукции предприятия, и главный инженер предложил нам взять для разработки тему “Социально-психологические факторы повышения качества продукции”.

Прежде чем браться за тему, я решила познакомиться с имеющимися разработками и публикациями по теме, узнать, кто в Ленинграде занимается проблемами качества продук-

ции: поработала в библиотеке, позвонила по разным организациям города, искала конкретных специалистов, кто мог бы заниматься проблемой, но обнаружила полное отсутствие как материалов по проблеме, так и людей, занимающихся ею. Однако главный инженер настаивал на включении темы в план исследований и заявил, что без нее он не подпишет договор на следующий год. Пришлось сдаться и взять на себя ответственность за разработку проблемы.

Прекрасно понимая, что стереотипный подход к решению данной проблемы не подходит, я решила применить “обходной маневр”, и в течение первого квартала провела 20 с лишним полустандартизированных интервью с руководителями крупных подразделений – начальниками цехов и комплексов объединения, с некоторыми ведущими специалистами. В ходе интервью я просила руководителей и специалистов определить те факторы, от которых в первую очередь зависит качество выпускаемой на предприятии продукции. По результатам интервью получилось, что на первое место большинство из опрошенных поставили качество инженерной разработки продукта; на втором месте оказалось качество исходного сырья, материалов и комплектующих изделий; третье место заняла своевременность поставки необходимых материалов и комплектующих, и только на четвертом месте были названы психологические факторы, в частности, установки работников на высококачественный труд. Получив эти данные, главный инженер, будучи не только квалифицированным, но и умным специалистом, тут же снял тему с повестки дня, даже не сократив сумму договора. Этот факт подтверждает очень высокий уровень понимания руководством объединения сущности проводившихся исследований и неформальной заинтересованности в получении не отписок, а реальной информации о социальных и психологических процессах, происходящих в трудовых коллективах объединения.

Нельзя ли указать несколько важнейших результатов?

К важнейшим результатам наших исследований можно отнести прежде всего разработку методологии и технологии социального планирования развития предприятия; итоги этой работы и составленный на предприятии план социального развития на 1970–1975 годы демонстрировались на выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ), и за эту разработку получили медали ВДНХ как руководители и сотрудники объединения «Светлана», так и директор и ряд сотрудников нашего института.

Существенное практическое значение имели ещё по крайней мере две социальные технологии, внедренные в практику

на объединении: это, во-первых, система контроля и ускорения адаптации молодых рабочих и молодых специалистов с высшим образованием, и во-вторых, система оценки резерва цехов на руководящие должности. Обе эти системы также были представлены на ВДНХ и были отмечены медалями.

Важными результатами нашей деятельности я считаю также те научно-практические конференции, которые проводились по тематике исследований раз в два года совместно руководством объединения и сотрудниками нашего института. Мы докладывали светлановцам о важнейших результатах наших исследований, но на этих же конференциях выступали с конкретными сообщениями некоторые начальники подразделений или руководители партийных организаций (например, о работе по адаптации молодежи или по вопросам формирования благоприятного социально-психологического климата).

Кроме того, в 70-е годы мы прочно перешли к обязательному этапу внедрения рекомендаций по результатам каждого исследования: во всех подразделениях, где они проводились, руководители производства и общественных организаций должны были разработать план внедрения рекомендаций на следующий год, а сотрудник нашей группы, проводивший исследование, совместно с одним из сотрудников социологической лаборатории объединения в течение года курировали этот процесс и оказывали консультативную и информационную помощь.

Можно считать также одним из результатов наших исследований тот факт, что руководство объединения сочло необходимым в 70-е годы создать свою социологическую лабораторию, укомплектованную достаточно квалифицированными специалистами – дипломированными экономистами и психологами (социологов в то время в вузах еще не готовили); в дальнейшем многие исследования и внедрение их результатов проводились совместными усилиями наших и светлановских специалистов.

Были ли результаты, неожиданные для руководства предприятия? Как они принимались? Доходило ли дело до конфликтов? Что вы имели право публиковать?

Одной из рекомендаций, которая совершенно точно была неожиданной для руководства объединения, было предложение создать на общественных началах в подразделениях «Светланы» принципиально новый орган – бюро социально-производственной информации (БСПИ), для которого было разработано Положение о БСПИ. Эта рекомендация была внедрена не сразу, а сначала нашей сотрудницей был

успешно проведен социальный эксперимент в двух цехах объединения. В результате через несколько лет руководство объединения решило внедрить подобные Бюро во всех цехах. Только начавшаяся перестройка приостановила этот процесс.

О конфликтах с руководством объединения я уже сказала, их практически не было. Что касается публикаций, то мы имели право публиковать все, что хотели, но при этом сами старались не навредить предприятию. Руководство объединения было готово проводить исследования по самым острым и большим проблемам (например, по изучению организации идейно-политического и нравственного воспитания работников объединения, а также причин сохранения проявлений пьянства в цехах объединения), но некорректное изложение результатов исследований, которые выявляли, к сожалению, не столько местные, локальные недостатки в работе с персоналом предприятия, сколько общесистемные перегибы и недоработки, заложенные на уровне всей социальной системы, могло обратиться против инициаторов и реализаторов таких нестандартных проектов. Однажды мы столкнулись с тем, что руководство районной партийной организации, познакомившись с нашими выводами об организации политической учебы в объединении, где были отмечены именно общегосударственные недостатки в этой работе, уже сделало выводы о необходимости заслушать отчет парторганизации “Светланы”, и с большим трудом удалось переключить их внимание на другие вопросы и больше не допускать утечки информации.

Есть ли достаточно обобщенные коллективные публикации по этому проекту или все существует лишь в виде статей?

К сожалению, обобщенные коллективные публикации по всем нашим исследованиям отсутствуют: именно в тот период, когда можно было бы обобщить их данные, а именно, в 90-е годы, нужно было выживать и сохранять хоть какую-то жизнь социологии и социальной психологии трудовых коллективов, а социального заказа на выполнение такой работы нет до сих пор, поскольку изменение социального строя декларирует не ценности общественно значимого труда, а ценности золотого тельца. Очень хотелось бы провести такую работу по обобщению нашего опыта (я-то считаю, что он ничуть не менее значим, чем работы Э. Мэйо). Правда, первые шаги в этом направлении мне удалось сделать – собрать все свои важнейшие публикации с 1964 г. и подготовить сборник своих работ под названием «Проблемы промышленной соци-

альной психологии». Он уже сдан в типографию и в текущем году выйдет из печати.

Получается, что Вы преподаете различные курсы психологам и социологам около полувека. Чем сегодняшний студент в своем отношении к будущей профессии отличается от прошлых поколений студентов?

Среднестатистического студента, по-моему, никогда не было, нет и не будет. Во все годы мне встречались и жадные до знаний, высоко мотивированные профессионально студенты (и психологи, и социологи), и абсолютно равнодушные студенты, занятые своими личными проблемами, и середнячки, из которых впоследствии, могли вырасти вполне приличные специалисты. Иначе говоря: студенты всегда в отношении к профессии распределяются по законам нормального распределения, которое может слегка сдвинуться в ту или иную сторону в зависимости от конкретных поколенческих особенностей. Но даже сейчас, в условиях рыночной экономики, которая, по моему мнению, является тупиковой формой социально-экономической организации общества, встречаются студенты-звездочки, отличающиеся даже не столько уровнем интеллекта, сколько настоящими человеческими качествами, и ориентирующиеся на общечеловеческие ценности.

Работа со студентами дает мне лично большую удовлетворенность, но сейчас систему высшего образования ломают через колено, сводя процесс обучения к формалистским «компетенциям» и разбивая системность преподавания на раздробленные фрагменты, а преподаватель должен не столько работать над повышением уровня собственной компетентности, сколько заполнять бесчисленные формы отчетности. Совершенно непонятно стремление министерства высшего образования вместо того, чтобы развивать у гуманитариев способность связно и логично мыслить, превратить систему контроля знаний в бесконечное количество тестов, которые давно уже себя дискредитировали и не улучшают, а ухудшают, формализуют процессы мыслительной активности студентов.

На мой взгляд, лучший тест изобрел один из наших отечественных детских писателей (он же художник). Вопрос теста гласит: Кто сказал «Мяу»? На выбор предлагаются ответы: 1. Петух 2. Лягушонок 3. Котенок 4. Писатель Сутеев 5. Министр образования Фурсенко. Вот по такому образцу строится процесс обучения в вузе! Слов не хватает, одни буквочки...

На Ваших глазах и при вашем участии происходило становление социологии в нашем городе. По Вашему мнению, есть ли основание говорить о существовании особой «ленинградской социологии»? Я намеренно не говорю о «петербургской социологии», ибо все начиналось в Ленинграде.

На мой взгляд, если и зарождалась «ленинградская» социология, то вся она плавно перетекла в Москву. Специфика в развитии социологической науки в Москве и Питере, конечно, есть, но она не касается фундаментальных исследований, поскольку они практически отсутствуют в обеих школах. Современной отечественной социологии вообще присуща некоторая «фасеточность»: глобальные социологические теории не появляются, методолого-теоретическую базу проводимых исследований составляют в основном работы зарубежных авторов, но в то же время разработка отдельных проблем, по моему мнению, идет в стране достаточно масштабно и успешно. Потенциал социологов достаточно велик, но возможности и условия его реализации постоянно ухудшаются, материальная и организационная база только сокращается, поэтому перспективы развития фундаментальных концепций пока весьма проблематичны.



Столович Л. Н. – окончил философский факультет ЛГУ, доктор философских наук, почетный профессор Тартуского университета, Эстония. Основные области исследования: эстетика, социологические проблемы эстетики, теория ценностей. Интервью состоялось в 2010 году.

Моя беседа с Леонидом Наумовичем Столовичем была для меня неожиданной и оказалась интересной в силу ряда причин.

Неожиданной, так как, возможно, за год до начала интервью я очень мало знал о нем: давно читал несколько его книг и слышал о нем от моих старших коллег-ленинградцев. Но в одном из писем Игорь Семенович Кон сообщил мне электронную почту Столовича, отметил его прекрасную память и посоветовал обсудить

с ним ряд вопросов становления советской социологии. Я воспользовался этим советом Кона, и вскоре завязалась моя тесная переписка со Столовичем.

Теперь – три обстоятельства, делающие интервью со Столовичем весьма содержательным. Прежде всего, он долгие годы работает на стыке социологии и философии культуры и выводы его теоретических построений важны для понимания ценностей, традиций, поведения людей в мире культуры. Далее, Столович учился в ЛГУ одновременно с А.В. Барановым, В.Я. Ельмевым, А.Г. Здравомысловым, А.А. Русалиновой и В.А. Ядовым, интервью с которыми я проводил ранее. Таким образом, представляется возможным получить целостную картину вхождения в профессию заметной группы советских социологов. И последнее, придет время, когда российские и эстонские историки будут изучать формы сотрудничества между ленинградскими и тартускими социологами. Многое по этой теме они найдут в воспоминаниях Леонида Столовича.

**Л.Н. Столович:
«НЕ ТОЛЬКО Я
ОКУНУЛСЯ
В СОЦИОЛОГИЮ,
НО И СОЦИОЛОГИЯ
ОКУНУЛАСЬ
В МЕНЯ»***

Леонид, у меня такое ощущение, что Вы после окончания школы поступали на философский факультет не с целью изменения социума, но с целью открытия какой-то гармонии мира... то есть как человек, рано увлекшийся поэзией. Так ли это?

Я действительно поступил на философский факультет как человек, рано увлекшийся поэзией. Но не с целью изменения социума или открытия какой-то гармонии мира. Получилось так, что сама поэзия, которая меня захватила с ранней юности, была, прежде всего, поэзией философской.

Каким образом у юноши, оканчивающего школу, могла быть философская поэзия? Расскажите об этом поподробнее.

Стихи я начал писать лет с 10, если не раньше. Они были детски-наивными, забавно-смешными.

* Социологический журнал. 2010. № 4. С. 112–135.

Я писал о рыцарях и пиратах, а также о «героях нашего времени», и не только нашего, – о Чкалове и Галилее. Конечно же, написаны были стихи, посвященные Пушкину, столетнюю годовщину смерти которого советская страна с широким размахом отмечала в 1937 г.

Гений русского народа,
Но не только одного,
Гений турок, гений персов,
Гений света ты всего.

С негодованием я обращался к убийце Пушкина – Дантесу и к царскому двору:

Согнали поэта вы с белого света,
Но славы поэта не будет границ!

Много стихов было о школьной жизни и о природе, главным образом, о временах года и животных. Конечно, были и советско-патриотические стихи о Ленинграде, о штурме Зимнего дворца, «На смерть Кирова», о победе Красной армии на Халхин-Голе и Хасане и, конечно, о Ленине и Сталине.

После выступления на какой-то школьной олимпиаде меня направили в литературную студию Ленинградского Дворца пионеров, который помещался в бывшем Аничковом дворце на углу Невского и Фонтанки, куда и пройти можно было только по специальному пропуску. В студии меня прикрепляли к литературному консультанту Глебу Сергеевичу Семенову. Тому самому Глебу Семенову, который и сам был прекрасным поэтом, и в послевоенное время стал пестователем многих ленинградских поэтов (среди них были и Александр Городницкий, и Александр Кушнер, и Нонна Слепакова), как потом говорили, – «гвардейцев Глеб-Семеновского полка». Глеб Сергеевич без тени юмора отнесся к моим виршам, находил даже в них удачные строчки и учил классическому стиху. 31 мая 1941 года, за три недели до начала войны, на первой странице пионерской газеты «Ленинские искры», было напечатано стихотворение «Я сдал!» о первом в жизни сданном экзамене в 4-м классе, подписанное: Лёня Столович, 227 школа.

Да, Вы очень рано стали осознавать себя публикуемым автором. Но здесь пришла война...

В самом конце августа 1941 г. я с родителями ехал в эшелоне, который должен был доставить в Казань оборудование и работников военного завода, где работал мой отец. Но доехали мы только до станции Мга. Больше поезда по этой дороге не

ходили: на наших глазах замкнулась блокада города. Наш эшелон уцелел во время бомбардировки и его смогли возвратить в Ленинград. В Ленинграде я с родителями находился в самые тяжелые месяцы блокады.

Школа больше не работала. Я был предоставлен сам себе, и основным моим занятием стало писание стихов. Точнее сказать, я их не писал, а записывал. Все время я сочинял про себя, где бы ни находился. И это меня спасало, хоть на время снижало чувство голода и умирало чувство страха. Я, двенадцатилетний мальчик, чувствовал себя причастным к историческим событиям, в которые оказался невольно вовлеченным. Сами стихи были очень слабыми и, если и имели какую-либо ценность, то только документальную. Нашу семью спас счастливый случай. В феврале 42-го, когда умирала моя бабушка и в коммунальной квартире уже месяц лежали два мертвых тела соседей, к нам неожиданно с мешком картошки пришел дядя Жора – Георгий Михайлович Алиев, друг нашей семьи. Он был начальником военно-полевого госпиталя, стоявшего на другой стороне Ладожского озера, по ту сторону блокады, и обслуживавшего единственный путь в Ленинград через это озеро, «Дорогу жизни», как ее по праву называли. Меня вскоре увезли на грузовике по льду Ладожского озера во фронтальной госпиталь. Так я стал «сыном полка», а мои родители смогли выжить, имея дополнительную детскую карточку

20 мая 1942 г. армейская газета «Фронтальной дорожник» напечатала заметку «Самодетельный концерт», в которой отмечалось: «На днях в клубе Н-ской части состоялся показ художественной самодеятельности бойцов части, где комиссаром тов. Шейнин. В концерте приняли участие бойцы, командиры и медработники подразделений. Большое впечатление на слушателей произвел отрывок из поэмы “Ростов”, прочитанный автором, воспитанником одного из подразделений, 15-летним Ленеи Столович...». В этой заметке мне было прибавлено 3 года, так как, видимо, писавший ее младший политрук не мог представить, что 12-летний мальчик пишет поэмы. Стихи были искренние и весьма несовершенные, хотя с четким ритмом и нормальными рифмами. «Большое впечатление на слушателей», о котором писалось в «красноармейской газете», произвел, конечно, возраст автора.

Завод, на котором работал мой отец, все же эвакуировали, но теперь уже через Ладожское озеро. Затем и я присоединился к ним и с осени 1942 г. два года жил в Казани. Чтение художественной литературы и писание стихов занимало всё мое время, оставшееся после учебы в школе. С мая 1943 г. я стал ходить на литературные вечера, организуемые по субботам русской

секцией Союза писателей Татарии, которые проходили помещении Казанского музея А.М. Горького.

Подлинным подарком судьбы было мое знакомство с Еленой Николаевной Верейской – детской писательницей. Первый ее муж – один из лучших русских графиков Георгий Семенович Верейский. Их сын – Орест Верейский, замечательный художник-график, друг А.Т. Твардовского и лучший иллюстратор «Василия Теркина». Елена Николаевна – дочь одного из крупнейших историков и социологов России – Николая Ивановича Кареева, и она мне много о нем рассказывала. Огромное значение для меня имело доброе расположение ко мне Дмитрия Евгеньевича Максимова. Он был выдающимся знатоком творчества Александра Блока. Благодаря общению с литераторами я многое узнавал из того, что было если не под прямым запретом, то, во всяком случае, малоизвестно. Об Александре Блоке я впервые узнал от Дмитрия Евгеньевича Максимова, который нашел во мне благодарного слушателя стихов своего любимого поэта. Дмитрию Евгеньевичу я во многом обязан моим литературным развитием. От него я услышал о запрещенном в то время Николае Заболоцком. Еще в Казани он мне читал стихи Анны Ахматовой, с которой был лично хорошо знаком. Однажды он прочитал мне вариант «Поэмы без героя» по машинописи, полученной им в письме из Ташкента от самой Анны Андреевны.

Но определяющую роль в развитии моего еще отроческого стихотворного творчества сыграл безвестный человек, которого некоторые люди считали городским сумасшедшим, по имени Валентин. Валентин работал электромонтером в казанской школе, где я учился в 1942–1943 гг. Ему было 23–24 года. Как потом я узнал, он был потомком высланных в Казань за какие-то прегрешения поляков. Фамилия его была Сымонович. Отчество – Людвигович. В армию его не брали, так как он был явно слабого здоровья.

Знакомство с Валентином значительно расширило круг моего чтения. Любимым моим, как и его, поэтом стал Данте. Я узнал о существовании Гомера, Вергилия, Горация, Мильтона и старался читать их творения. От него я узнал о Платоне, Гегеле, Канте. Благодаря ему я уже никогда не считал слово «идеализм» бранным словом. Валентин определил направленность моего самообразования. Собранный им библиотека стала для меня образцом создания собственной библиотеки. Валентин принадлежал к еще неведомому мне миру людей, никак не связанных с существующей властью. Он мне рассказывал об оборотной стороне жизни, о которой я ничего не знал: о трудностях, сопряженных не только с войной, о высылках и арестах, о предвоенном голоде. В своем дневнике 23 октября 1943 г. я записал совет Валентина, чтобы «я держался подальше от офи-

циальщины, от нее, кроме разочарований, ждать нечего». Валентин был в высшей степени бескорыстным и благородным человеком, обуреваемым возвышенными идеями, как бы к ним не относиться. И я благодарю судьбу за встречу в моей поэтической юности с таким человеком. Я писал о Валентине Сымоновиче в своей книге «Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии» [20. С. 40–45, 117–124]. Это привлекло внимание *Игоря Семеновича Кона* и он влияние на меня Валентина привел как своеобразный пример наставничества [3. С. 481–482].

С этого времени и после возвращения в Ленинград в 1944 г. я стал писать еще школьником до поступления в университет стихотворения с несомненной философской направленностью: сонет «Часы», сонет «К Данте», посвященный Валентину, «Завещание Екклесиаста», «Фейерверк», «Оттепель», «Прогулка», «К войне», стихотворение «Осень», посвященное Глебу Семенову [См.20. С. 47, 48, 70, 67, 73. 93, 92, 100]. Философский смысл этих стихотворений имел не только книжные источники. Сонет «Часы» заканчивался строками:

А стрелка медленно ползет по циферблату
И чьей-то жизни завершает круг.

Наверно, четырнадцатилетний мальчик не мог бы так завершить стихотворение, если бы он не видел в блокаду не однажды, чем завершается человеческая жизнь. Абстрактно-философская формула, по-видимому, снимала психическое напряжение, вызываемое конкретными воспоминаниями. Пережитое в ленинградской блокаде и вообще все, что было связано с войной, меня досрочно взросило, как и мои последующие стихи, и придавало им необычное для, в сущности, еще ребенка, серьезное не по годам смысловое звучание, озадачивавшее впоследствии моих литературных наставников. Вот почему меня потянуло на философский факультет, хотя мой отец – человек практически-технического склада, скептически относившийся к гуманитарным наукам и к идеологии, сказал, что я *испортил* золотую медаль, полученную мной при окончании школы. Я пошел на философский факультет потому, что считал необходимым для поэта быть философски образованным. Когда мне советовали поступить на филологический факультет, я самоуверенно-невежественно заявлял: «Да там изучают то, что я читаю отдыхая!»

С творчеством каких поэтов Вы были знакомы? Ведь даже Есенин был зарещенным, не говоря о Мандельштаме, Цветаевой, Гумилеве и других поэтах рубежа XIX–XX веков.

Мой отец, далекий от художественной литературы (правда, он был, несомненно, музыкально одарен: самостоятельно мог

на пианино двумя руками воспроизводить мелодию), любил Маяковского. Говорил, что ходил на его поэтические вечера и восторгался его остроумными ответами на каверзные вопросы. У нас был томик Маяковского в дешевом издании 1930-х годов. Я его, конечно, читал с интересом, но без особого удовольствия: моим поэтическим идеалом был Пушкин и позже Лермонтов. О Есенине я слышал от нашего спасителя – дяди Жоры. Георгий Михайлович Алиев, был человеком, близким мне еще и потому, что он единственный из хорошо знакомых мне людей сам писал стихи и искренне поощрял мое литературное творчество. От него я слышал о Есенине. В 1946 г. он мне подарил только что вышедший сборник Есенина. Об Ахматовой я знал, еще будучи в Казани. Ее первые сборники «Чётки» и «Белая стая», как и редкие издания Андрея Белого, были в библиотеке мужа маминной сестры, и он их мне подарил. Так что всё, что говорил об Ахматовой Жданов, вызывало у меня неприязнь. После возвращения в Ленинград в 1944 г. я посещал литературный кружок литературоведа, крупного специалиста по творчеству Лермонтова Виктора Андрониковича Мануйлова. Это литературное объединение работало при ленинградском Доме учителя. Мануйлов был учеником Вячеслава Иванова и встречался с В. Брюсовым и С. Есениным, А. Ахматовой и М. Волошиным, В. Маяковским и Н. Клюевым, Н. Тихоновым и В. Рождественским, П. Щеголевым и Б. Эйхенбаумом, Б. Томашевским и С. Бонди, Ю. Тыняновым и Г. Гуковским. Он приглашал почти на каждое заседание кружка почтенного или еще только вступающего в литературу писателя, поэта. К нам приходили Ольга Форш, Всеволод Рождественский и молодые еще Михаил Дудин, Сергей Орлов и другие. Они читали нам свои рассказы и стихи, делились воспоминаниями. Там я вновь встретился с Глебом Сергеевичем Семеновым и перешел в его литературную студию при Ленинградском Дворце пионеров. Тогда я узнал о Мандельштаме и Ходасевиче. В поразительно богатых в те времена букинистических магазинах можно было купить и Блока, и Мандельштама, и Гумилева, и Кузьмина, и многих других официально запрещенных поэтов, чем я и пополнял свою библиотечку. Цветаеву я узнал позже. Стихотворно осмысляя свою жизнь, я писал в уже 1988 году:

Конечно же, в жизни мне повезло.
Снаряды и бомбы надо мной пронесло.
Я выжил в блокадный сорок второй,
Когда умирал каждый второй.
В шестнадцать я знал, кто такой Мандельштам,
Что Анна Ахматова – не стыд и не срам.

В каком году вы поступили в ЛГУ, кто из ставших заметными в философии, эстетике, социологии, социальной психологии учился одновременно с вами?

Я поступил на философский факультет ЛГУ в 1947 г. Факультет тогда состоял из трех отделений: собственно философии, психологии и логики. Со мной на одном курсе философского отделения учились Владимир Александрович Ядов, имя которого не требует комментария в социологическом журнале, Юрий Андреевич Красин – доктор философских наук, профессор, последний ректор Института общественных наук при ЦК КПСС, сотрудник Горбачев-Фонда, с 1993 г. руководитель Центра социально-политических исследований Института социологии РАН, Юрий Алексеевич Асеев – историк социологии, соавтор И.С. Кона, человек трагической судьбы. Не могу не упомянуть Игоря Васильевича Николаева – моего сокурсника, преподавателя философии ленинградского Педагогического института им. Герцена, который в 1967 г. был арестован и затем помещен в психиатрическую больницу на принудительное лечение за открытое письмо «Десять вопросов к XXIV съезду» и чтение студентам письма Ф. Раскольниковца. Он – автор нескольких брошюр [См.: 5; 6]. На психологическом отделении моим однокурсником был известный специалист по проблемам этики Владимир Георгиевич Иванов, многие годы заведовавший кафедрой этики и эстетики ЛГУ. На отделении логики параллельно со мной оканчивала философский факультет Вера Васильевна Водзинская. На курс старше меня учился Рой Александрович Медведев, знаменитый историк, видный участник диссидентского движения марксистской ориентации (я его называл «нелегальным марксистом»), с которым я дружу со студенческих времен. Еще на курс старше училась социолог Розалина Владимировна Рывкина (Инна Бунимович). Моложе меня на курс учился Андрей Здравомыслов, имя которого осталось в социологии, одесский социолог Ирина Марковна Попова.

Меня интересует тема духовной жизни студентов в то время: что читали? что обсуждали? как проводили время? Отчасти это обозначено в книге Фирсова по разномыслию, в мемуарах Кона, в интервью с Барановым и Здравомысловым... и все же, что Вы по этому поводу скажете?

Философский факультет Ленинградского университета моих ожиданий не оправдал. Вскоре я понял, что он не зря носил имя Жданова, который, не ограничившись поношением Зощенко и Ахматовой, в 1947 г. взялся за философию. Выступая на так называемой «философской дискуссии», главный

идеолог партии заявил, что нет и не было никакой настоящей философии, кроме материализма. На философском факультете начались погромы. Оригинально мыслящий, честный и порядочный М.В. Серебряков должен был покинуть пост декана. Один за другим изгонялись лучшие преподаватели – то за какие-то неведомые прегрешения, то просто за то, что родились «космополитами», как Евгения Львовна Зельманова. Новый декан – некто Михайлин, бывший секретарь какого-то провинциального обкома, был личностью психопатологической.

Вот показательный для него и всей обстановки на факультете эпизод. Выпускалась стенгазета, ее редактором был фронтвик-политработник, ставший майором в 22 года, Валерий Почепко, карьеру которого сдерживал еще предвоенный арест отца – «врага народа». Я был заместителем редактора и потому могу свидетельствовать как очевидец. В конце 1949 года к 70-летию Сталина мы должны были выпустить специальный номер. Никто не решался нарисовать образ великого вождя, и мы вырезали его портрет из одного из многочисленных плакатов. В должный срок газета висела на стене. И вот рано утром декан Михайлин вызывает Валерия к себе в кабинет и внушительным голосом заявляет:

– Вы допустили грубую политическую ошибку!

– Какую? – упавшим голосом спрашивает бывший политрук, которому опыта в политической деятельности не занимать.

– Какой сейчас месяц? – убийственно спокойным голосом коварно спрашивает декан.

– Разумеется, декабрь, – ничего еще не понимая, отвечает Почепко.

– Вот именно! А у вас товарищ Сталин в летней форме!

При Михайлине было запрещено читать лекции по физике студентам философского факультета одному из лучших наших преподавателей, профессору Григорию Самуиловичу Кватеру, за то, что он однажды сказал на лекции, что закон всемирного тяготения действует в Москве так же, как в Лондоне.

И такой декан еще года два командовал факультетом, читая совершенно безграмотный и анекдотический курс по истории русской философии. В 1951 г. его всё-таки убрали с факультета и назначили... директором Ленинградского филиала музея Ленина. Он теперь имел в распоряжении Мраморный дворец, ездил на ЗИСе. Рассказывали, как он вызывал художника, написавшего по заказу музея портрет Ленина, и выносил вердикт: «Этот портрет написан с троцкистских позиций!»

О том, какими способами укреплялся на факультете философский авторитет Сталина, могут свидетельствовать два

типичных факта. Ленинградский философ Владимир Иосифович Свидерский – крупнейший специалист по философским проблемам времени и пространства в СССР – во время лекции в университете марксизма-ленинизма в конце 1940-х годов получил вопрос: «Что нового внес товарищ Сталин в учение о времени и пространстве?» Лектор в духе идеологии того времени стал говорить о громадном вкладе товарища Сталина в развитие философии, но при этом заметил, что специально он не разрабатывал вопрос о времени и пространстве. Этого было достаточно, чтобы В.И. Свидерского отстранили от работы на философском факультете.

И второй случай, непосредственным свидетелем которого был автор этих строк. Во время семинарского занятия по диалектическому материализму на философском факультете Ленинградского университета в начале 1950 г., которое проводил парторг факультета Денисов, два студента выразили непонимание некоторых положений ранней работы Сталина «Анархизм или социализм?». В наказание за это они получили тюремное заключение на 5 лет, когда еще к их «непониманию» добавился донос о том, что они сокрушались по поводу тех расходов, которые были сделаны на празднование юбилея Сталина. Правда, один из этих студентов в стенгазете факультета назвал меня космополитом за то, что моя первая курсовая работа была посвящена эстетике Аристотеля.

Смрадной была и общественная жизнь факультета. Одно за другим проходили комсомольские собрания, на которых разоблачали студентов, скрывших при поступлении в университет, что у них были репрессированы родители или отец попал в немецкий плен. Провинившихся изгоняли из комсомола (а значит и с «партийного» философского факультета) или, в лучшем случае, наступал конец их общественной карьеры, как бы они потом не отличались на молодежных стройках или в пропагандистско-агитационной работе. В этот «переплет» попал и Ю.А. Красин, который только в «оттепельные» времена смог смыть с себя пятно «сына военнопленного» и работать по специальности.

Обстановка была очень похожа на ту, которую описывал Юрий Трифонов в повести «Дом на набережной». Но в отличие от ленинградских филологов, которые тоже в эти годы лишились своих лучших преподавателей, но между собой сохраняли в определенной мере дружеские отношения, на философском факультете студенты были атомизированы духом царившего карьеризма. Только единицы серьезно интересовались собственно философией. На отделении психологии обстановка была несколько лучшей. Там работал выдающийся психолог

Борис Герасимович Ананьев, и не без его влияния сохранялось еще стремление проявить себя не только общественно-комсомольской деятельностью.

Атмосфера отчуждения пронизывала отношения между студентами. Откровенность была наказуемой. Недоверие к ближнему стало нормой. Два наиболее близких мне сокурсника написали на меня донос о том, что я скрываю свою национальность. В моем паспорте в знаменитой 5-й графе было написано «русский». Я так определил свою национальную принадлежность, получая паспорт в 1945 г., не скрывая, что оба моих родителя евреи. Мною двигала убежденность, что нация, по ленинско-сталинскому учению, не биологическое понятие, а социально-культурное (потомок в четвертом поколении кантониста, которому разрешили жить в Петербурге, я был вне еврейской культуры и языка, и очень мне хотелось быть русским поэтом). Но в 1952 г., когда я оканчивал университет и имел отличную успеваемость, надо было лишить меня права претендовать на аспирантуру и, как потом выяснилось, на работу по специальности вообще. И мои единственные друзья на факультете решили в этом отношении помочь администрации. Я не называю их фамилии, поскольку они раскаялись в своем поступке и уже умерли.

Стихи писать я перестал. Перестал и надеяться на то, что смогу это сделать в будущем. Погружение уже на первом курсе в «Метафизику» Аристотеля и в «Манифест Коммунистической партии» не содействовали поэтическому мировосприятию. А я углубился в историю философии со всей юношеской серьезностью. Может быть еще и потому, что следовал формуле, придуманной позднее:

Ухожу в эпоху Ренессанса.
Нету у меня другого шанса.

От учебы в Ленинградском университете у меня остались малоприятные воспоминания. Возможно, они субъективны. Студенты, которые жили в общежитиях, были, конечно, более связаны между собой. Я не ходил на студенческие вечера, не участвовал в самодеятельности, не поехал в Москву на какую-то праздничную демонстрацию с группой сокурсников, чтобы увидеть Сталина. Моей основной общественной работой было участие в студенческом научном обществе (СНО). Одно время был даже зампреда СНО факультета.

Лишенные достойных преподавателей, я, как и некоторые мои сокурсники, много самостоятельно работал, изучал первоисточники и значительную часть «свободного времени» проводил в библиотеках.

Мои интервью позволяют значительно расширить перечень тех, кто учился с Вами в одно время. Но и названных Вами достаточно, чтобы спросить: почему, несмотря на слабый уровень преподавания и атмосферу страха, философский факультет смог за короткий промежуток времени подготовить значительное число ученых, много сделавших для развития социальной философии, социологии и смежных наук?

Действительно, в результате чисток философский факультет Ленинградского университета потерял лучших своих преподавателей. Правда, некоторые из них вернулись на факультет в период «оттепели». С 1960-х гг. стал читать свои блестящие лекции по эстетике и по культурологии, а также руководить аспирантами один из выдающихся мыслителей – Моисей Самойлович Каган, которого очень высоко ценили и И.С. Кон, и В.А. Ядов. К преподавательской деятельности подключились и некоторые мои сокурсники, хотя не все они украсили факультет. Так что будущим видным социологам в конце 1950–1960-х годов было у кого учиться. Но это не снимает Ваш вопрос. Такие выдающиеся социологи, как Ядов, Рывкина, Здравомыслов, Рой Медведев (я его причисляю к социологам потому, что свою книгу о Сталине «Перед судом истории» он писал, опираясь в большой мере на уникальный материал – собранные им воспоминания политических заключенных сталинских лагерей) и другие стали теми, кем они стали, несмотря на слабый уровень преподавания и атмосферу страха. И.С. Кон учился не у нас, он вызрел самостоятельно, но даже краткое время его работы на факультете принесло немалые плоды. Б.М. Фирсов уже был аспирантом Ядова. У каждого из названных и неназванных мною социологов был свой путь развития. Насколько я могу судить, никто из них в студенческие годы собственно социологией не занимался.

Однако они прошли серьезную *философскую* школу – школу, в которой они учились сами, без учителей. Ленинградским будущим социологам, в отличие от московских (там еще работали такие профессора, как В.Ф. Асмус, был вне университета, но жил А.Ф. Лосев), учиться было не у кого и самой философии, хотя те, кто был на курс старше нас, застали такого прекрасного знатока философии Нового времени, как Евгения Львовна Зельманова. А учившиеся после нас могли слушать лекции В.П. Тугаринова, В.А. Штоффа, Л.О. Резникова. Не забудем, что на психологическом отделении факультета еще работали такие крупные ученые, как Б.Г. Ананьев. В.Н. Мясищев, Л.М. Веккер. Володя Ядов потом вспоминал, как много ему дало общение с Борисом Герасимовичем Ананьевым. Надо сказать, что целый ряд «непрофильных» предметов

нам преподавали блестящие ученые. Среди них – читавший историю древней Греции и Рима Дмитрий Павлович Каллистов, лектор по истории Средних веков Матвей Александрович Гуковский, брат знаменитого литературоведа Григория Александровича, забываемы были лекции по русской литературе Георгия Пантелеймоновича Макогоненко, по физике – Григория Самуиловича Кватера.

Мне навсегда запомнился методологический урок, который нам преподавал в первый месяц обучения на первом курсе Д.П. Каллистов. На занятиях по педагогике нам настоятельно советовали перед прослушиванием лекции прочитать материал по ее теме в учебнике. Мы, еще старательные первокурсники, пытались следовать этому совету. И вот Д.П. Каллистов читает нам очередную лекцию по истории Древней Греции; Володя Ядов задает вопрос лектору:

– Вы говорили, что афиняне послали против спартанцев столько-то кораблей (я не помню конкретную цифру), а вот в учебнике Ковалева написано, что они послали другое количество кораблей.

Дмитрий Павлович спрашивает Володю:

– Вы это прочли у Фукидида или Геродота?

– Нет, – отвечает Володя. – Я это прочел в учебнике Ковалева.

– Ах, Ковалева! – сказал Дмитрий Павлович. – Тогда во время перерыва спуститесь на этаж ниже (там была кафедра античной истории) и спросите Сергея Ивановича Ковалёва, почему он так написал.

И мы поняли, что значит учиться в университете, когда тут же работают авторы учебников, и как надо учиться по источникам.

Мы, «философы», компенсировали отсутствие собственно педагогов-философов упорным самостоятельным трудом над первоисточниками, будь то Маркс, Аристотель или Гегель. Эти занятия (могу судить по себе) были отдушиной в атмосфере жуткого времени, в котором мы жили. Да, кое-кто сам был «хунвейбином». Некоторые ими и остались, чем и объясняется острая идейная борьба на факультете в «оттепельные» времена, в результате которой и Кон, и Ядов должны были уйти с факультета. Но и некоторые «хунвейбины» прозрели от тех ударов, которые им нанесла с энтузиазмом защищаемая ими система. Социальный опыт, как положительный, так и отрицательный, полученный нами в период пребывания в чреве Левиафана, многому научил тех, кто решил исследовать это чрево.

Я думаю, что серьезная философская подготовка путем самообразования и богатый социальный опыт, в том числе

полученный в столкновениях с апологетами существовавших устоев советской системы (группа В. Ельмеева, А. Бельха, А. Галактионова, П. Никандрова и др. на факультете), были причиной того, что, несмотря на слабый уровень преподавания и атмосферу страха, философский факультет смог в течение короткого промежутка времени подготовить значительное число ученых, много сделавших для развития социальной философии, социологии и смежных наук.

Леонид, не могли бы Вы припомнить, преподавали ли Вам то, что сегодня, пусть условно, можно было бы назвать социологией?

На Ваш вопрос я могу ответить однозначно: нет. Социология рассматривалась только в историко-философском плане как порождение позитивизма, как изначально буржуазная отрасль философии. Правда, при изучении истории философии уделялось внимание социально-политическим взглядам того или другого философа. Но аксиоматически утверждалось, что только марксистские социально-политические воззрения обладают качеством научности. Мера близости к ним – свидетельство прогрессивности: французский утопический социализм – один из теоретических источников марксизма; учение русских революционных демократов – ближайший предшественник ленинизма. Собственно марксистская философия – диалектический и исторический материализм. Материалистическое понимание истории – высшее и окончательное достижение мировой социальной мысли. Всё остальное – антинаучный утопизм и вздор. Буржуазная социология обслуживает интересы империалистической буржуазии в ее борьбе с первым в мире социалистическим государством. Вот и вся философия, которую в нас внедряли в конце 1940-х – начале 1950-х годов.

Как известно, впоследствии происходило расширение границ марксистско-ленинской философии не без сопротивления идеологического начальства. В конце 1940-х обнаружилось, что в марксизме есть эстетика, но это не какая-нибудь, а марксистско-ленинская эстетика. В 1960 г. в издательстве Ленинградского университета вышла книга Василия Петровича Тугаринова (1898–1978), который стал деканом философского факультета, когда мы оканчивали университет, «О ценностях жизни и культуры» [23]. Автор с простодушной мудростью мальчика из сказки Андерсена «Голый король» заявил: «А ценности-то существуют!» И только состоявшийся в 1965 г. в Тбилиси симпозиум по проблеме ценностей в марксистско-ленинской философии в ходе свободной дискуссии утвердил статус теории ценностей в самой марксистской философии,

очищенной от вульгаризаторских и догматических наслоений. Аналогичная история произошла с культурологией, философской антропологией и с самой социологией. Оказывается, в марксизме-ленинизме, как в Греции (по Чехову), «всё есть». Исторический материализм и был переименован в марксистскую теоретическую социологию.

Но когда мы учились, до этого еще было очень далеко. Нам и сам исторический материализм читался в виде курса «Диалектический и исторический материализм в свете гениальных трудов товарища Сталина по вопросам языкознания». А декан Михайлин произнес фразу, которую я записал слово в слово: «Товарищ Сталин на языке развил диалектический и исторический материализм».

Зарубежная литература по социологии, если и пересекала государственную границу СССР, надежно упрятывалась в спецхраны библиотек, и читать ее разрешалось только для критики. А спокойней вообще не читать. Но в книжных антиквариатах можно было приобрести книги с, казалось бы, допотопным названием: «Социология». Я купил еще тогда двухтомник Питирима Сорокина, известного по критике его Лениным, «Система социологии», да еще с надпечаткой «авторский экземпляр».

Теперь, пожалуйста, немного хронологии Вашей жизни: когда родились, когда защитили кандидатскую и докторскую диссертации? Чему были посвящены эти работы?

Родился я 22 июля 1929 г. в Ленинграде. Общая канва моей жизни такова. До войны окончил 4 класса начальной школы. Был в блокадном городе до конца марта 1942 г., затем стал воспитанником военно-полевого госпиталя на Волховском фронте. С осени 1942 г. до осени 1944 г. жил с семьей в Казани. В 1944 г. возвратился в Ленинград, где в 1947 г. окончил 252-ю среднюю школу с золотой медалью. С 1947 по 1952 г. учился на философском факультете Ленинградского гос. университета. С начала 1953 г. переехал в г. Тарту (Эстония), работал в Тартуском университете преподавателем эстетики, с 1956 г. – преподавателем кафедры философии, с 1967 г. – профессором этой кафедры. В 1976–1977 гг. я работал профессором эстетики Университета им. Коменского в Братиславе (Словакия). В 1994 г. получил статус почетного профессора (Professor Emeritus) Тартуского университета.

Как я уже говорил, на философский факультет Ленинградского университета я поступил в 1947 г. не для того, чтобы в будущем заниматься философией, а чтобы стать поэтом. Но этим надеждам не суждено было осуществиться. Под влиянием

всей духовной атмосферы, царившей на факультете и в стране, стихи писать я перестал, но интерес к поэзии и высокому искусству не потерял. В течение летних каникул я зал за залом изучал Эрмитаж. Компромиссом между философией и искусством стала для меня эстетика, которой я начал заниматься с 1-го курса. Первой моей курсовой работой было сочинение «Эстетические взгляды Аристотеля», за которое я в стенной газете факультета был причислен к числу космополитов.

Курс марксистско-ленинской эстетики бездарно читал студентам-философам выпускник Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), заведующий отделом литературы и искусства Ленинградского обкома партии П.Л. Иванов, проводивший основательную «чистку» деятелей литературы и искусства. Дефицит информации в области эстетики я стремился компенсировать, посещая лекции по эстетике и истории эстетических учений, которые читал на отделении истории искусства исторического факультета молодой эlegantный доцент Моисей Самойлович Каган. Участвовал я и в работе его семинара по эстетике. Моисей Самойлович не был формально моим преподавателем. В моем матрикуле не было его подписей. В эти годы вход на философский факультет в качестве преподавателя ему был заказан, возможно, к счастью для него. Но именно ему я бесконечно обязан своим первоначальным теоретико-эстетическим развитием. Не только его блестящими лекциями, но прежде всего вниманием и терпению, с которым он относился к размышлениям и спорам с ним самонадеянного второкурсника.

На 4-м курсе, году в 1950-м, уйдя с головой в эстетику, я пришел к мыслям о природе искусства и красоты, которые впоследствии составили так называемую «общественную концепцию» эстетического отношения. Университет я окончил с отличием в 1952 г. Новый декан философского факультета Василий Петрович Тугаринов, который в 1960-м первый в советской философии заговорил о ценностях жизни и культуры, дал мне даже справку о том, что я могу преподавать не только диалектический и исторический материализм и историю философии, как было записано в моем дипломе, но также и эстетику. К сожалению, это мне тогда не помогло: в течение полугода меня не допускали к преподаванию по специальности ни в моем родном Ленинграде, ни в тех городах, куда я посылал запросы с предложением читать лекции по философии и эстетике.

Единственно, что мне было предложено с начала 1953 г., – это чтение курса лекций по эстетике на отделении искусствоведения Тартуского университета.

Работая на почасовой в Тарту, я в 1955 г. защитил в Ленинградском университете кандидатскую диссертацию «Не-

которые вопросы эстетической природы искусства». Это была неожиданная для того времени постановка вопроса о сущности искусства, которое в рамках господствующих взглядов рассматривалось прежде всего как способ познания мира, отличающийся от науки только конкретно-чувственной формой, а также как средство идейного воспитания. Аналогичная по постановке вопроса книга А.И. Бурова «Эстетическая сущность искусства» вышла в 1956 г. В этом же году журнал «Вопросы философии» опубликовал мою статью, написанную на основе диссертации, «Об эстетических свойствах действительности» [8]. Эта статья, сама диссертация и книга «Эстетическое в действительности и в искусстве» (1959) [9] послужили детонатором, пожалуй, самой крупной дискуссии в истории советской эстетики – о сущности эстетического. Дискуссия стимулировала дальнейшую разработку выдвинутой мною социокультурной концепции эстетического, а затем и самой ценности. Эта разработка легла в основу моей докторской диссертации «Проблема прекрасного и общественный идеал», защищенной в 1965 г. в моей alma mater – Ленинградском университете. По материалам этой диссертации в Москве были изданы две мои книги [11; 14].

Какие дороги привели Вас в Тарту и что привязало Вас к нему на всю жизнь? Это сейчас – чудесный университетский городок, столетия назад он не выглядел так...

Я уже говорил, что Тартуский университет был единственным учебным заведением в стране, которое ответило положительно на более чем сотню моих запросов-предложений преподавать философию и эстетику. Правда, и в Тарту меня к философии не подпускали еще 3 года. Почему мне отказывали? В родном Ленинграде, где было порядка 40 вузов, я неоднократно вел такие диалоги:

- Вам нужен преподаватель по общественным наукам?
- Да нужен. Как Ваша фамилия, имя, отчество?
- Столович Леонид Наумович.
- Нет, не нужен.

Случилось так, что в Тартуском университете на отделении истории искусства совершенно некому было читать обязательный курс эстетики и был ректор Ф.Д. Клемент, для которого квалификация преподавателя была важнее, чем ответ на вопрос в 5-м пункте анкеты, даже несмотря на «дело врачей», о котором газеты известили как раз во время моего переезда в этот эстонский город. Правда, для горкома партии это «дело» было более значимо для преподавания философии, чем мое философское образование. «Дело» это через месяц после смер-

ти Сталина закрыли, но на мою беду, существовало еврейское государство. Даже то, что я стал одним из очень немногих в республике кандидатов философских наук, не давало мне возможность работать штатным преподавателем. Только после XX съезда партии и моих публикаций в центральной печати меня взяли на кафедру философии.

Как говорится, нет худа без добра. Великим для меня добром стало включение моей жизни в жизнь старинного университетского городка. Помимо того, что здесь я обрел свою семью, я попал в необычайную интеллектуальную и дружественную мне среду. Здесь жили и работали попавшие сюда, в определенной мере, как и я, питерцы: всемирно известный литературовед и культуролог Ю.М. Лотман, его жена, литературовед З.Г. Минц, окончивший философский факультет ЛГУ Р.Н. Блюм, экономист, ставший эстонским академиком, М.Л. Бронштейн, работавший в таллинском Художественном институте прекрасный искусствовед Б.М. Бернштейн, знакомый мне еще по эстетическому семинару М.С. Кагана. Я подружился с начинавшим в Тарту замечательным литературоведом Б.Ф. Егоровым, видным физиком Ч.Б. Луцником, знаменитым химиком и общественным деятелем В.А. Пальмом. Этническое происхождение для нас не имело никакого значения. Добрые отношения возникли и с эстонской интеллигенцией, для которой мы стали близкими по духу людьми. В определенной мере мы были связующим звеном между эстонскими интеллектуалами, в том числе и начинающими социологами, такими как Юло Вооглайд, Марью Лауристин и многие другие, и российскими исследователями, в том числе и в сфере философии и социологии. В Эстонии 1960–1970-х гг., ставшей своеобразной советской заграницей, была особая духовная атмосфера. В историю науки вошли встречи в Кяэрику, на спортивной базе университета, филологов-семиотиков, социологов, философов, экономистов, математиков. В Тарту прошла большая часть моей жизни, и мне всегда радостно сюда возвращаться после каких-либо поездок.

Да, полстолетия назад Тарту выглядел хуже, чем сейчас. 60% города было уничтожено войной. Коренное население еще остро переживало недавние сталинские депортации, ощущались последствия идеологических кампаний и чисток как всесоюзного, так и местного значения. Но постепенно вызревало то, что получило название «вольнолюбивый тартуский дух», по-эстонски «Tartu vaim». Сейчас Тарту – комфортабельный, но сохраняющий свои исторические ценности город Евросоюза. В нем уютно жить, но для меня что-то безвозвратно ушло, наверно, с молодостью.

Примерно когда и в силу каких обстоятельств Вы окунулись в социологию?

В Кяэрику в 1966–1969 гг. собирались социологи, изучавшие разные аспекты теории и практики массовых коммуникаций в период становления советской невульгарной социологии. Затем последовал этап ее удушения, к счастью, не доведенный до конца. Я был подключен к социологическим исследованиям в университете и конференциям в Кяэрику, не только потому, что меня интересовала обсуждаемая на них проблематика, но и как научный руководитель социологических исследований в Тартуском университете. На столь престижную должность я попал и благодаря некоторым формальным обстоятельствам. В ноябре 1965 г. я защитил в Ленинградском университете докторскую диссертацию «Проблема прекрасного и общественный идеал», став первым и на какое-то время единственным доктором философских наук в Эстонии. Как такового меня и назначили на эту «генеральскую должность». Правда, я тоже принимал в это время участие в работе социологической лаборатории, основанной Юло Вооглайдом. Выступал с докладами по эстетике и теории ценностей, методологические положения которых использовались в конкретно-социологических исследованиях массовых коммуникаций. Сам я проводил социологические исследования эстетических и художественных вкусов школьников (если я не ошибаюсь, первые в СССР). В эстонском журнале Союза писателей «Looming» [«Творчество»] (1963, No. 10) вышла моя статья на эстонском языке «О вкусе, его изучении и воспитании», вызвавшая оживленную дискуссию в журнале [25]. Материалы этих исследований публиковались и на русском языке в ряде номеров газеты «Молодежь Эстонии» (24.10.1962; 29.05.1963; 25, 26, 28.04.1964). Проводил я и опросы студентов в связи с восприятием некоторых спектаклей театра «Ванемуйне». Результаты этих опросов использовались в моих статьях по эстетике и эстетическому воспитанию.

Занимался я и собственно теоретическими проблемами эстетического воспитания, разработав концепцию его социальных функций, которая отражена в целом ряде моих публикаций [12; 27] и в докладах на международных конгрессах по воспитанию (Варшава, 1969) и эстетике (Упсала, 1969), на которые я не был допущен, но участвовал заочно.

Я руководил аспирантами, работавшими над диссертациями по социологии журналистики и искусства. Моей аспиранткой была Марью Лауристин, написавшая отличную диссертацию о контент-анализе. Под моим руководством В.-И. Лайдмяэ проводила конкретно-социологическое исследование восприятия изобразительного искусства, опираясь на мою концепцию ас-

пектов и функций искусства. К ее книге «Изобразительное искусство и его зритель. Опыт социологического исследования» (Таллин, 1976) я написал предисловие [15]. В Свердловске я оппонировал диссертации В.И. Волкова о социальном воздействии киноискусства.

Вместе с тем проблемой «эстетика – социология» я начал заниматься с самого начала своей теоретической деятельности. Я не мог не знать, что марксистская эстетика 1920-х годов выступала, прежде всего, как *социология искусства*. Притом тогда и после существовала социология искусства вне марксистской методологии. Однако социологический подход в марксистской эстетике был скомпрометирован вульгарной социологией, в виде которой выступала марксистская эстетика 1920-х гг., вульгаризировавшая эстетические взгляды Плеханова. Теоретическую несостоятельность вульгарной социологии искусства убедительно показали в 1930-е гг. Мих. Лифшиц, Г. Лукач и их последователи, но они, как представляется, сделали крен в другую сторону, в гносеологизм, несколько абсолютизируя познавательную функцию искусства и провозглашая реализм непререкаемой нормой искусства. Но в 1950–1960-е гг. вульгарный социологизм в виде вездесущего принципа партийности стал определяющим началом официальной художественной критики и политики партии в области искусства.

Еще в студенческие годы я размышлял, каким образом можно скорректировать фактический субъективизм принципа партийности в искусстве более объективным принципом народности искусства и учетом специфических особенностей художественной деятельности. Этой проблеме была посвящена моя дипломная работа, которая была написана по популярной формуле того времени: мысль – это кратчайшее расстояние между двумя цитатами. Цитат там было в изобилии, но, смею полагать, мысли по этой проблеме также были. Против вульгарной социологии в послевоенном ее варианте я выступал, где только мог, в частности, на ленинградском симпозиуме по социологии искусства в ноябре 1966 г. [22. С. 240].

Надо сказать, что не только я окунулся в социологию, но и социология окунулась в меня. Ведь в широкой дискуссии в СССР и за рубежом с середины 1950-х годов я выступал с концепцией, которая не случайно называлась «общественная», или «социальная» (впоследствии я назвал ее «социокультурной концепцией ценности»). Эта концепция переводила социальную сторону искусства и эстетического, а затем и ценности вообще из субъективной сферы партийности в объективную общественно-историческую практику, на основе которой образуются ценности, в частности, эстетические. Социологизмом

пролизана моя докторская диссертация «Проблема прекрасного и общественный идеал» (1965), как и книга «Категория прекрасного и общественный идеал. Историко-проблемные очерки» [11]. Для меня стало очевидно, что определение «вульгарная» по отношению к социологии не является ее постоянным эпитетом. И я с радостью приветствовал первые исследования искусства в социологическом ключе, ничего общего не имевшие с вульгарной социологией [См.13].

Сказанное выше, надеюсь, объясняет, почему я, не будучи профессиональным социологом, не чувствовал себя чужим в личном общении и на различных социологических встречах с теми, кто заложил фундамент советской и российской социологии – с Ю.А. Левадой и И. Коном, В. Ядовым и Б. Грушиным, Б. Фирсовым и Л. Коганом и многими и многими другими. С другой стороны, общение с социологами стимулировало мое изучение социологической теории и истории и использование этих знаний в дальнейшей моей теоретической деятельности. Во второй половине 1960-х годов я изучал творчество немецкого художника-антифашиста Курта Магритца и в связи с этим исследовал социологическую проблему «искусство и фашизм» [См. 26; 29; 16; 22. С. 305-317]. Исследовал я и социальные функции искусства [См.17]. В дальнейшем, занимаясь историей аксиологии, я рассматривал аксиологический подход в социологии и социологический в аксиологии и эстетике, а также проблему ценности в марксизме [18 С.186-191; 157-177]. В философско-социологическом плане исследовались мною воззрения многих русских мыслителей, в частности, сопоставлялись в этом плане религиозные и политические взгляды И.А. Ильина и Г.П. Федотова [См. 21. С. 412-446].

В недавно вышедшей книге «Vivat, Ядов!» есть статьи М. Лауритин и П. Вихалемма, Ю. Вооглайда, однозначно свидетельствующие о том, что именно Ядов является основоположником эстонской социологии. Как вы думаете, почему в довоенной Эстонии не существовало социологии? Ведь она могла быть туда «занесена» по крайней мере из России и Германии? А была ли социальная философия?

Юло Вооглайд – несомненный зачинатель эмпирической социологии в Эстонии в начале 60-х годов уже прошлого века – начал опросы читателей Тартуской газеты «Edasi» («Вперед») до знакомства с Ядовым. Но, по его словам, узнав о существовании в Ленинградском университете лаборатории социологических исследований, созданной и возглавляемой Ядовым с конца 1950-х годов, он поехал в Ленинград, чтобы с ним познакомиться, и затем, поступив в аспирантуру на отделении психологии Тартуского университета (сам он окончил истори-

ческое отделение), попросил Ядова быть его научным руководителем. Так что освоение социологии, теоретической и эмпирической, Юло Вооглайдом совершилось под руководством Владимира Александровича. В этой связи Ядов стал бывать в Тарту, принимал активное участие в кяэрикусских встречах социологов, способствовал контактам и дружеским отношениям становящейся эстонской социологии с самыми значительными социологами Питера и Москвы (А. Здравомысловым, Б. Грушиным, Ю. Левадой, Г. Андреевой, Б. Фирсовым и др.). Именно в Тарту В. Ядов, благодаря Вооглайду, смог опубликовать свою первую методологическую книгу по социологическому исследованию. Через Ядова, в определенной мере и через меня к зарождению эстонской социологии был привлечен и И.С. Кон, который стал руководителем диссертации о проблеме личности Николая Горбунова, сотрудника социологической лаборатории Вооглайда, затравленного за причастность к этой лаборатории. Потом Ядов помогал исследованиям и других эстонских социологов. В этом отношении он действительно существенно содействовал возникновению и развитию эстонской социологии. Только в этом смысле он может быть назван «основоположником эстонской социологии». Его заслуги чтут и по сей день. Не случайно он один из очень немногих российских ученых был удостоен в 1990 г. звания почетного доктора по философии (*filosoofia audoktor*) Тартуского университета.

Нельзя сказать, что социология в довоенной Эстонии вообще не существовала. Занимаясь в начале 1960-х гг. анкетными опросами эстонских школьников и студентов на предмет изучения их художественных предпочтений, я обнаружил любопытную книгу: «Идеалы эстонской школьной молодежи: анкетные данные 1922 г.», изданную в Таллине в 1934 г. Автором ее был Август Кукс (1882–1965) [24]. Судя по его работам, хранящимся в Научной библиотеке Тартуского университета, он был педагогом, занимался проблемами этики, но в советское время «не высывался», видимо, имея какие-то политические проблемы. Я его лично не знал, но навел меня на его книгу видный эстонский педагог Александр Эланго. Я впервые в Советской Эстонии сослался на исследование А. Куksа в своей книге «Красота и общество» (1969) [28. С. 120], кстати, переведенной на эстонский язык Марью Лауристин. Кукс опросил в августе 1922 г. 53 000 школьников, стремясь определить их идеалы. Эмпирическое исследование детского интеллекта в Эстонии провел Юхан Торк (1889–1980), опубликовал его в 1939 г. в докторской диссертации по философии «Эстонский детский интеллект», защищенной в Тартуском университете, и в книге, изданной в Тарту в 1940 г. «Интеллект эстонских

детей: педагогическое, психологическое и социологическое исследование» [32].

Вообще в Эстонии была развита культура эмпирических исследований в области психологии. Один из основателей эстонской психологии Константин Рамуль (Konstantin Ramul, 1879–1975) основал в 1922 г. при Тартуском университете экспериментально-психологическую лабораторию. Мне довелось быть в добрых отношениях с «отцом эстонской психологии», как его называли. Наверно, неслучайно Вооглайду дали место в аспирантуре именно при кафедре психологии, а не философии, считая его социологические опросы социально-психологическими исследованиями.

В довоенной Эстонии в период ее самостоятельного государственного существования был интерес и к теоретической социологии. Интеллигенция, владевшая немецким языком, была осведомлена о философских и социологических исканиях в Германии. Социология религии Макса Вебера повлияла на исследования теолога Эдуарда Теннманна (1878–1936), который в 1938 г. опубликовал объемную работу «Религия и экономика» [31], Ильмар Ханс Тыннисон (1911–1939) – сын видного эстонского общественного и государственного деятеля, политика и правоведа Яна Тыннисона, учившийся в Тартуском университете и в Лондонской *of Economics*, наряду с политикой занимался проблемами теоретической социологии, анализом различных процессов и явлений. Он автор изданий, опубликованных в 1930-е годы «Методы исследований дифференциальной национальной психологии» [34], «Существование народа и национальная идея» [33]. Социально-политическая проблематика рассматривалась в трудах эстонского историка и общественного деятеля Ханса Крууса (Hans Kruus, 1891–1978).

Единственным профессиональным философом в первой Эстонской республике был Альфред Коорт (Alfred Koort, 1901–1956). Он в 1925–1928 гг. учился в Геттингене под руководством одного из последователей Дильтея, преподавал в Тартуском университете философию, логику, психологию и педагогику, автор нескольких книг и брошюр, изданных в 1930-х гг., на эстонском языке, «Введение в философию», «Современная философия», «Язык и логика», «Об историческом сознании», «Философия и христианство». В его лекциях и публикациях рассматривались социальные проблемы. В 1944–1951 гг. А. Коорт был ректором университета. Когда я приехал в Тарту, он работал на кафедре психологии и логики. Знаком я с ним не был, но в 1956 г. присутствовал на его похоронах.

Таким образом, утверждать, что в довоенной Эстонии совсем не было социологии и социальной философии, было бы не-

верно. Однако, не вызывает сомнения, что возникшая в 1960-х гг. эстонская социология никоим образом не опиралась на то немногое, что было в Эстонии в прошлом. Более того, в период появления эстонской социологии ее начинатели мало что знали о своих предшественниках. Только в настоящее время они вызывают у современных эстонских социологов исторический интерес.

Рискну, Леонид, задать Вам вопрос, о котором я сам давно задумываюсь, но пока не решаюсь ответить на него однозначно. Вы прекрасно помните, что о культурах народов СССР говорили: «национальная по форме, советская – по содержанию». Так вот мне кажется, что ленинградскую социологию можно назвать советской по содержанию и петербургской по духу. Конечно, никакого влияния на становление социологии в Ленинграде не оказали П. Сорокин и другие социологи дореволюционного Петербурга и постреволюционного Петрограда, но в довоенные, военные и в первые послевоенные годы в Ленинграде еще жило большое число петербуржцев, в школах преподавали учителя «старой культуры», сохранялось многое от Петербурга, какие-то дореволюционные традиции в обиходе. Что Вы думаете по этому поводу?

Отвечая на Ваш вопрос, начну с действительно общеупотребительной формулы по отношению к культуре: «национальная по форме, – социалистическая по содержанию» (именно социалистическая, а не советская). Сталин в своем выступлении по вопросам языкознания писал, что культура национальна по форме, то есть по языку. Но М.С. Каган еще в феврале 1956 г. в докладе на совещании искусствоведов и художественных критиков в Тбилиси выступил против этой официальной догмы. Как заметил Борис Бернштейн, этим самым «Каган осквернил святыню» (см. <<http://www.borisbernstein.com/mika.asp>>). Недовольство начальства этой ревизионистской выходкой ленинградского эстетика было с лихвой компенсировано восторгом по этому поводу грузинской художественной общественности, которая удостоила Кагана чести быть тамадой за грузинским столом в доме великого грузинского художника Ладо Гудиашвили. Ваш покорный слуга в статье «Некоторые аспекты диалектики содержания и формы» [10. С. 57–66] покусился на эту сакральную формулу, полагая, что диалектика не может так трактовать соотношение содержания и формы, отрывая их друг от друга: национальное и социальное не распределяются между содержанием и формой, а своеобразно пронизывают и то и другое. Хотя я много лет преподавал диалектику, но диалектику учил, вопреки тому, что писал Маяковский («Мы диалектику учили не по Гегелю»), именно по Гегелю.

Моя критика официальной установки внимания не привлекла, возможно, потому что «Труды по философии», изданные небольшим тиражом в провинциальном университете, были мало кому известны.

Да простятся мне эти занудные придирки к формулировке не вполне уверенно поставленного Вами риторического вопроса: «мне кажется, что ленинградскую социологию можно назвать советской по содержанию и петербургской по духу».

***В этой связи возникает такой «промежуточный» вопрос: что такое, по Вашему мнению, советская социология? Можно ли рас-
смастривать всю социологию, существовавшую в СССР, в качестве советской?***

Когда мы говорим «советское искусство», «советская философия», «советская социология» и т.п., надо иметь в виду, что слово «советское» в данном случае, так сказать, исторический «мешок», означающий, что искусство, философия, социология и т.п., о которых идет речь, существовали во время советской власти и не более. Но эти виды сознания *по своему содержанию* могли быть как советскими, так и антисоветскими, социалистическими или антисоциалистическими. Притом надо иметь в виду, что «советское» не тождественно «социалистическому». Само понятие «социалистическое» можно понимать двояко: во-первых, как то, что официально именовалось «социалистическим» (например, «социалистический реализм»). Во-вторых, то, что соответствует гуманистическим идеалам социализма, от которых подчас была далека советская жизнь. Таким образом, строго говоря, не всё «советское» было «социалистическим». Не думаю, что всю ленинградскую, как и всю советскую, социологию можно назвать «советской по содержанию», иначе бы она не вызывала стремления партийно-советской номенклатуры ликвидировать труды некоторых выдающихся социологов типа Левады. Не всё, что делалось в стране Советов, было советским по содержанию.

В 2008 г. известный эстетик Юрий Борев выпустил в Москве большую книгу «Социалистический реализм. Взгляд современника и современный взгляд». На мой современный взгляд и взгляд современника того времени, когда «искусство социалистического реализма» объявлялось высшим художественным достижением человечества, мой коллега, вольно или невольно, допускает серьезный методологический просчет: он относит к «социалистическому реализму» *всё* советское искусство, которое в лучших своих образцах было вне канонов так называемого «социалистического реализма». Даже «Тихий Дон», в отличие от «Поднятой целины», был вне его. Не

случайно прорабатывались как отступники от соцреализма Есенин и Мандельштам, Ахматова и Зощенко, Эйзенштейн и Шостакович, Борис Пастернак и Василий Гроссман и т.д., хотя они все имели счастье жить в советское время и в этом смысле были советскими деятелями культуры. То, что на советскую власть через какое-то время после поношения этих отступников от соцреализма находило временное просветление и она реабилитировала своих мучеников, награждала их государственными премиями и делала «Гертрудами» (Героями Социалистического труда), сути дела не меняет.

Итак, договоримся, что советской социологией будем называть социологию, возникшую при советской власти, вне зависимости от того, каковой она была по своему социальному содержанию. В этом плане, как я думаю, она делилась на две части: на ту область социального знания, которая стремилась своими методами и методиками дать реально-правдивую картину общественной жизни, и ту, которая подгоняла социологические данные под интересы и потребности власть имущих по принципу: «Чего изволите!» А вот уже советская социология в широком смысле слова могла быть питерской или московской, уральской или эстонской.

Так что же такое «питерская социология»?

Что касается собственно «петербургского духа», то он прозывал (но, разумеется, не исчерпывал) как форму, так и содержание будь то искусства, философии или социологии, рожденных «на брегах Невы». Поэтому, пытаясь ответить на Ваш вопрос, я могу говорить о «петербургском духе» социологии, или о присутствии в ней, говоря словами Н.П. Анциферова, «души Петербурга».

Но как определить сам «петербургский дух» в социологии или в чем/в ком-либо другом? Иногда не подводит интуиция. Вспоминаю, как одно из заседаний социологов в Кяэрику попросили вести Юрия Михайловича Лотмана, который поразил участников социологических обсуждений своей необычайной деликатностью (все говорили: «Вот это – настоящий петербургский профессор!»). Юрий Михайлович действительно был настоящим петербуржцем, как и его коллеги по Тартускому университету – экономист Михаил Бронштейн, философ Рэм Блюм, физик Чеслав Луцик, литературоведы Зара Минц (жена Лотмана), Павел Рейфман и его супруга Лариса Вольперт, в одном лице филолог и Международный гроссмейстер по шахматам. О присутствующих не говорим. Все они, коренные петербуржцы-ленинградцы, были занесены холодным ветром с невских берегов в Эстонию и здесь невольно образовали петер-

бургско-ленинградское интеллектуальное сообщество, оказавшееся для эстонской интеллигенции не инородным телом и содействующее развитию эстонской культуры и экономики. Думаю, что существование этого интеллектуального питерского сообщества сыграло свою роль и при возникновении эстонской социологии. Юло Вооглайд и другие начинающие эстонские социологи были в дружеском контакте с этим сообществом и поэтому отнеслись с полным доверием к тому, что исходило из Ленинграда, в особенности к социологической лаборатории, возглавляемой В. Ядовым, которого хорошо знали.

Что же такое «петербургский дух»? Это, на мой взгляд, ценность города, обусловленная всей его историей, его культурой, его архитектурными ансамблями и памятниками, его художественно-литературными образами (Петербург Пушкина, Достоевского, Андрея Белого, Александра Блока и т.п.) [См. 1; 2; 4; 7]

А может ли быть присущ «петербургский дух» социологии? По этому поводу я ничего не читал и, наверно, ничего и не мог прочесть. Как известно, всё познается в сравнении. Может быть, «петербургский дух» раскрывает себя в сопоставлении с «московским духом»? По отношению к философии я сам предпринял попытку такого сопоставления, сделав в 2000 г. доклад «Москва – Петербург: философский диалог» на Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. [30. См. также 19]

Своеобразие петербургской философии, в отличие от московской, определялось оппозицией особенностей этих городов. Думаю, что аналогичным образом дело обстоит и в отношении социологии. Было бы упрощением утверждать непосредственную детерминацию философской или социологической мысли местопребыванием философов или социологов. Однако противостояние двух российских столиц, различие их исторических судеб и духовно-культурной жизни находило в определенные периоды свое выражение в развитии русской философии, в диалоге ее мыслителей. Это было обусловлено такими полярными особенностями Москвы и Петербурга, как оппозиции исконно-русского и западно-европейского («окно в Европу»), центрального и периферийного, континентального и морского местоположения, столетиями естественно становящегося города и города, в основании которого лежал определенный план. Очень большое значение имел исторически изменявшийся статус городов при перемещении центра официальных структур и соперничестве новой и опальной столицы. Следует иметь в виду, что символическим представителем Москвы и Петербурга становились и те культурные ценности, которые

создавались в каждом из этих городов и которые уже сами олицетворяли их различия и противоположность. Это различия в архитектурных стилях, скульптурных памятниках, литературно-художественных образах, изображениях в живописи и графике, в легендарно-мифологическом ореоле. В философии, как и в социологии, произведения, созданные в том или другом городе, сами становились «визитными карточками» этих городов.

При этом одни факторы противостояния этих городов (географические и исторические) носили постоянный характер, другие же (функции столицы государства) – попеременно принадлежали то одному, то другому городу. Город, лишенный столичного значения, сохранял его в своих «генах» и вольно или невольно проявлял свой «комплекс неполноценности», соперничая со своим антиподом. Московский или же петербургский фон накладывался на экономическую, политическую и культурно-духовную жизнь важнейших центров России. В последнюю, кроме философии, входит также архитектура и монументальная городская скульптура, художественная литература, театр, музыка, балет, кинематография.

В области философии различие между петербургским и московским течениями особенно ярко проявлялось во время спора «западников» и «славянофилов», которые со времени их возникновения в конце 30-х годов XIX столетия сами себя называли «московским направлением», «московской партией».

Надо иметь в виду, что в течение советского периода и особенно после Отечественной войны происходил процесс вымывания как из Москвы, так и из Ленинграда потомственных, коренных жителей. Но философское и социологическое образование и возникающие философские и социологические центры в обоих городах способствовали появлению наперекор всему в период «оттепели» и в новой, и в старой столице творчески работающих философов и социологов. Однако партийное руководство «идеологическим фронтом», расположившееся в Москве, стремилось давить и подавлять любые отступления ленинградских философов от партийной линии во всех ее изгибах так же, как и своих земляков. Правда, «колыбели революции» доставалось порой больше, поскольку целенаправленно проводилась сталинская политика удушения петербургско-ленинградской культуры во всех ее проявлениях, ленинградские ученые имели меньшие возможности для зарубежных контактов со своими коллегами и нередко талантливые ленинградцы вынуждены были покидать родной город. Вместе с тем происходит интеграция творческих усилий ученых и философов обоих культурных центров страны

в противостоянии официозным установкам. Так, например, в середине 1960-х годов возникает Тартуско-Московская школа семиотики и культурологии, которая, по сути дела, является Ленинградско-Московской, поскольку ведущие ее тартуские участники – это ленинградцы, вынужденно покинувшие свой город, но сохранившие с ним тесную связь.

Попробую от общих рассуждений перейти к более конкретному ответу на Ваш вопрос: оказало ли влияние на становление социологии в Ленинграде то, что в довоенные, военные и первые послевоенные годы в городе еще жило большое число петербуржцев, в школах преподавали учителя «старой культуры», в общении сохранялись какие-то дореволюционные традиции? Иначе говоря, сохранился ли в ленинградской социологии петербургский дух?

Конечно, это не определяется только предметом исследования. Разумеется, ленинградские социологи исследовали главным образом социальные объекты, связанные с родным городом. Духовный ореол, если так можно сказать, исходящий от этих объектов, уже накладывал какой-то отпечаток на эти исследования, в особенности если исследовались ценностные ориентации жителей города с его неискоренными еще традициями. Однако, по-моему, всё дело в том, о каких конкретно социологах идет речь. Что касается, например, Кона, Ядова, Здравомыслова, Фирсова, то у меня нет никакого сомнения в их укорененности в ленинградско-петербургской культуре. И дело не просто в том, что они коренные ленинградцы, а в том, что они обладали такими качествами, как открытость по отношению к зарубежному исследовательскому опыту, отсутствие опасения того, что это может выглядеть антипатриотично; в своей научной деятельности они проявляли максимально возможную самостоятельность и независимость от вышестоящих указаний. Поэтому, в основном, ленинградская социология не угождала начальству, противостояла сервильной социологии, поэтому тот же Ядов и Кон не могли продолжать работать в Ленинградском университете и даже вынуждены были переехать в Москву, где оказался большой простор для их творческой деятельности, ни в коей мере не утратив свою петербургско-ленинградскую природу. В качестве непрямого условия «гнездования» петербургского духа в личности человека, в частности, социолога, я бы назвал *интеллигентность*. Разумеется, интеллигентность – это не отличительная особенность ленинградца-петербуржца. Она может быть присуща как москвичам, так и жителям всех других городов России. Но для петербуржцев – это необходимое условие петербургского духа, «*conditio*

sine qua non» – то, без чего нельзя. При этом петербургская интеллигентность включает «петербургский патриотизм» – любовь к ценностям родного города, духовную причастность к его истории. Лучшие петербургские традиции в социологии могли продолжаться и вне Петербурга, если их рассматривать как освоение того, что было обретено блистательной и многострадальной историей Петербурга-Ленинграда. В этом смысле не все проживавшие на Неве были носителями этих традиций (не думаю, что высадившийся в Москве в последнее десятилетие правительственный петербургский «десант» был образцом традиционной петербургской культуры), а, например, москвич Левада, на мой взгляд, эти традиции достойно продолжал в своей социологической деятельности.

Литература

1. *Анциферов Н.П.* Непостижимый город... Л.: Лениздат, 1991.
2. *Каган М.* Град Петров в истории русской культуры. СПб.: АО «Славия», 1996.
3. *Кон И.* Мальчик – отец мужчины». М.: «Время», 2009.
4. Метафизика Петербурга / ответственный редактор выпуска Любава Морева. СПб: «Эйдос», 1993.
5. *Николаев И.В.* Главная ошибка Горбачева. СПб., 1994.
6. *Николаев И.В.* The main sensation of the XX-th Century (Главная сенсация XX века). СПб., 1997.
7. Санкт-Петербург как эстетический феномен (сборник статей). СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2009.
8. *Столович Л.Н.* Об эстетических свойствах действительности // «Вопросы философии», 1956, № 4. С. 73–82.
9. *Столович Л.Н.* Эстетическое в действительности и в искусстве. М.: Госполитиздат, 1959.
10. *Столович Л.Н.* Некоторые аспекты диалектики содержания и формы // Ученые зап. Тартуского гос. университета, вып. 111, Труды по философии, V. – Тарту, 1961.
11. *Столович Л.Н.* Категория прекрасного и общественный идеал. Историко-проблемные очерки. М. «Искусство» 1969.
12. *Столович Л.Н.* Социальные функции эстетического воспитания // Ученые зап. Тартуского гос. университета, вып. 225, Труды по философии, XII, Тарту, 1969. С. 120–127.
13. *Столович Л.Н.* Эстетика и социология [Рецензия на кн.: *Давыдов, Ю.Н.* Искусство как социологический феномен. М., 1968] // «Вопросы литературы», 1970, № 1. С. 217–221.
14. *Столович Л.Н.* Природа эстетической ценности. М.: Политиздат, 1972.
15. *Столович Л.Н.* Предисловие // *Лайдмяз, В.-И.* Изобразительное искусство и его зритель. Опыт социологического исследования. – Таллин, 1976. С. 5–8.
16. *Столович Л.Н.* Искусство против фашизма. О графике Курта Магритца // «Искусство» (Москва), 1979, № 12. С. 49–53.

17. *Столович Л.Н.* Жизнь. Творчество. Человек. Функции художественной деятельности. М.: Политиздат, 1985.
18. *Столович Л.Н.* Красота. Добро. Истина. *Очерк истории эстетической аксиологии.* М.: «Республика», 1994.
19. *Столович Л.Н.* Петербург – Москва: Философский диалог // В диапазоне гуманитарного знания. *К 80-летию профессора М.С. Кэгаана.* СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001, с. 120–130 <http://anthropology.ru/ru/texts/stolovich/kagan_09.html>.
20. *Столович Леонид.* Стихи и жизнь. Опыт поэтической автобиографии Таллинн: ИНГРИ, 2003.
21. *Столович Л.Н.* История русской философии. Очерки. М.: «Республика», 2005.
22. *Столович Леонид.* МУДРОСТЬ. ЦЕННОСТЬ. ПАМЯТЬ. *Статьи. Эссе. Воспоминания. 1999–2009.* Tartu – Tallinn: ИНГРИ, .
23. *Тугаринов В.П.* О ценностях жизни и культуры. Л.: Издательство Ленинградского университета, 1960.
24. *Kuks, August.* Eesti koolinoorsoo ideaalid: 1922. a. ankeedi andmeil. Tallinn: Tallinna Keskvangimaja, 1934.
25. *Stolovitš L.* Maitsest, selle uurimisest ja kasvatamisest // «Looming», 1963, Nr 10. Lk.1555–1568.
26. *Stolowisch L.* Große Tat eines deutschen Künstlers // Kurt Magritz. In den düsteren Jahren. Grafik und Zeichnungen 1933–1945. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 1967, [S. 5–6].
27. *Stolovich L.* Social functions of aesthetic education // Art and society. Collection of articles. Moscow : Raduga, 1968. P.226–236.
28. *Stolovitš L.* Ilu ja ühiskond. Tallinn: «Eesti raamat», 1969.
29. *Stolowisch L.* Fremd ist der Mensch sich gewesen. Das grafische Schaffen von Kurt Magritz in den Jahren 1933–1945. : VEB Verlag der Kunst, 1978.
30. *Stolovich L.* St. Petersburg and Moscow: Philosophy Dialogue // VI World Congress for Central and East Europe Studies (VI ICCEES World Congress). 29 July – 3 August 2000. Abstracts. Tampere, Finland,.2000, P. 416.
31. *Tennmann Eduard.* Usk ja majandus. Tartu: «Noor-Eesti», 1938.
32. *Tork, Juhan.* Eesti laste intelligents: pedagoogiline, psühholoogiline ja sotsioloogiline uurimus. Tartu: 1940.
33. *Tõnisson, Ilmar Hans.* Rahvuse olu ja rahvuslus. Tartu: Akadeemiline Kooperatiiv, 1934.
34. *Tõnisson, Ilmar Hans.* rahvuspsühholoogia uurimismeetodid. [1936?]



Тощенко Ж.Т. – окончил исторический факультет МГУ, доктор философских наук, чл.-корр. РАН, декан социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета, главный редактор журнала «Социологические исследования». Основные области исследования: теория и методология социологии, социально-политические проблемы, промышленная социология. Интервью состоялось в 2007 году.

Жаном Терентьевичем опубликовано очень много, но мне наиболее близка его книга «Парадоксальный человек» (2001 г.). Я прочел ее до того, как договорился с Тощенко о биографическом интервью, но у меня не было мысли рассматривать его жизнь сквозь призму парадоксальности человека. И зря, книга – нестандартно автобиографична. Не заявляя этого, автор пытается понять или отразить свой негладкий, и в этом смысле парадоксальный, жизненный путь. Родившись в селе, он получил от родителей-учителей «парадоксальное» для брянщины имя Жан. На его глазах немцы зверски убили отца, но он нашел в себе силы три года ходить в школу по 16 км (в оба конца) и закончить ее с отличием. Поначалу профессора с трудом понимали его русский язык, на таком говорили в его местности, но университет от закончил с отличием. Будучи Сталинским стипендиатом, он мог сразу поступать в аспирантуру, но он уехал в Сибирь на строительство железной дороги Абакан-Тайшет.. и так далее. Многозначна, и в этом плане парадоксальна, и его надпись на подаренном им «Парадоксальном человеке»: «Борису Докторову – на память о наших общих дорогах, поисках и ухабах».

**Ж.Т. Тощенко:
«СОЦИОЛОГИЯ
ВОЗРОДИЛАСЬ
В НАШЕЙ СТРАНЕ
СНАЧАЛА КАК
ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ВИТРИНА»***

Жан, расскажите, пожалуйста, о Вашей семье, юности, школьных годах. Вы родились в 1935 г. в брянской деревне. Откуда такое нечастое в России имя?

В автобиографии я пишу «родился в семье сельских учителей». Отец, Терентий Сидорович, и мать, Полина Кирилловна (Макарова), были выходцами из крестьянских семей. По родословной отца, сохранившейся в нашей семье, фамилия Тощенко берет начало с конца XVIII века от некоего Трифона. Мой отец, потомок Трифона в седьмом поколении, заочно окончил педагогический техникум и стал первым интеллигентом в семье. Аналогичную историю имела и моя мать, родившаяся в семье крестьянина, у которого было 14 детей и 10 гектаров земли в Велижском районе ранее Витебской, ныне Смоленской области. Огромный надел зем-

* Социологический журнал. 2007. № 4. С. 149–170.

ли чуть не привел деда к раскулачиванию – спасла огромная семья, работавшая, по словам матери, как батраки, – с утра до ночи.

Мать и отец стали учителями благодаря возможностям, открывшимся перед молодежью тех лет (1920-е годы); что отражает процесс формирования новой советской интеллигенции. И они этого не забывали и были благодарны советской власти. Вместе с тем они унаследовали многие особенности образа жизни и поведения своих дореволюционных учителей. И насколько я помню мое раннее детство, родители были не только учителями в этой малой деревне на 64 двора: они также были воплощением традиций сельской народнической интеллигенции. Они искренне и преданно выполняли свою первейшую обязанность – учили детей и даже взрослых. Кроме того, мать была своеобразной медицинской сестрой, постоянно участвуя во всех мероприятиях по борьбе с разными болезнями, а также агрономом и советчиком по многим сельским заботам, а отец помогал составлять письма, ходатайства, обращения. К тому же он был хорошим пасечником и неплохим охотником. Родители организовывали курсы по ликвидации неграмотности, то есть были исполнителями огромной социальной программы, которая, на мой взгляд, наряду с планом ГОЭЛРО была стратегически и научно обоснованным планом по выходу страны на передовые рубежи в области образования.

Родители были активистами во всех делах – они стремились построить новое общество и новую жизнь. Их желание быть провозвестниками нового привело к тому, что своих детей они называли иначе, чем было принято в крестьянских семьях. Мою сестру назвали Викторией, брата – Вячеславом, а мне досталось имя Жан. Мать впоследствии говорила, что отец серьезно увлекался историей французской революции, французской литературой, и это сыграло роль в выборе моего имени. Вот и появилось такое удивительное имя Жан в ряду исконно русских имен моих дедов и прадедов: Кирилл, Сидор, Макар, Потап, Трифон и другие.

Еще одно детское воспоминание. Поздний зимний вечер (таких вечеров было много). В большой комнате собрался весь актив деревни: председатель колхоза, бригадир, звеньевые, еще кто-то. На столе большой самовар. Идет разговор о сельских делах, делах школы, других проблемах. Все пьют чай с медом отца и ватрушками и пирожками матери. Никакой водки, самогонки или вина. Разговоры длились до полуночи, и посетители покидали этот дом до следующей встречи.

Жизнь моего отца завершилась в сентябре 1941 года, он был расстрелян после нечеловеческих истязаний немецко-фа-

шистскими приспешниками. Все происходило в присутствии матери и нас, троих детей. Фашисты хотели получить сведения о партизанском отряде и местонахождении какого-то архива районных властей. Отцу припомнили и его участие в организации колхозов, и то, что он стал комиссаром партизанского отряда. Тогда это движение только зарождалось, было несовершенным, неоформленным, и в борьбу с ним, не дожидаясь немцев, включились те, кто считал себя обиженным советской властью, – не только бывшие кулаки, но и просто преступники. Когда отец потерял сознание, его расстреляли вблизи деревни, в небольшом лесу у истоков древней реки Трубеж.

На Брянщине в годы фашистской оккупации (до сентября 1943-го) существовало мощное партизанское движение. Сначала это были разрозненные отряды, затем – объединение Попудренко, одно из соединений Ковпака (это описано в книге Федорова «Подпольный обком действует»). После ухода Ковпака на Карпаты (знаменитый поход от Путивля до Карпат), его заменили другие отряды, превратившие многие лесные районы в неподконтрольные фашистам территории. Там, где немецкая власть не действовала, население жило по советским законам.

Если обобщить мои детские воспоминания об этом периоде жизни, то стоит сказать о трех самых сильных впечатлениях. Первое – это страшная гибель отца. Второе – расстрел всех жителей, от малых детей до старух, трех соседних лесных деревень за содействие партизанам. Акт устрашения осуществили венгерские войска, или, как тогда у нас их называли, мадьяры. И третье – из нашей деревни ушли воевать 127 мужчин. После войны вернулись в деревню, считая и искалеченных, 21. Поэтому мы, дети и подростки, пахали, сеяли, косили, метали стога и работали на молотилках. Эти мужские крестьянские обязанности мы несли все школьные годы. Помню свой первый заработок за сезон работы: мешок зерна и 220 кг картошки.

Школьные годы были такие же, как и у миллионов сельских детей. До 4 класса я учился в своей деревне, с 5-го пошел в семилетнюю школу в соседней (она была расположена в 2,5 км). С 8 класса я начал учиться в районной средней школе и три года проходил ежедневно по 16 км (по 8 туда и обратно). Помимо учебы, которая давалась мне легко, был комсоргом класса, посещал секцию по фехтованию, писал стихи, рисовал.

Из-за моей фамилии меня часто принимали за украинца. Но мой отец писал всегда о себе как о белорусе. Да и говор в нашей деревне отличался тем, что, имея в основе белорусский язык, был насыщен и русскими, и украинскими словами и выражениями. Дело в том, что наша деревня была расположена в том

месте, где петух кукарекал сразу на три республики – Россию, Украину и Белоруссию. В этой связи хочу вспомнить один курьезный случай. На первом курсе МГУ я сдавал экзамен по истории древнего мира. А.Г. Бокщанин, потомственный московский интеллигент, принимал экзамен по старым, до-революционным меркам. Надо было знать около тысячи дат, последовательность смены фараонов, императоров, консулов. И конечно все события – войны, походы, завоевания и т.д. «Гонял» он меня долго, я не сделал ни одной ошибки. И он, тяжело вздохнув, сказал: «Молодой человек, я ставлю вам “отлично”. Но если Вы таким варварским языком будете отвечать на государственном экзамене, вы такую оценку не получите».

Сразу после школы Вы поступили в МГУ, на исторический факультет. В силу каких обстоятельств Вы выбрали эту профессию? Кто из профессоров оказал на Вас наибольшее влияние?

Моими любимыми предметами были математика и история. По математике я занимал первые места на олимпиадах, и учительница, Александра Федоровна Юрченко, ратовала за мое математическое будущее. Но не меньшее влияние оказала на меня и другая учительница – Людмила Федоровна, в устах которой история превращалась в живописное полотно действий людей, рассказ о знаменательных событиях, служении своему народу, верности Родине. Может быть, все это, а также пример родителей, участвующих в реальных делах преобразования деревни, желание быть деятельным именно сейчас и привели к тому, что я избрал социальную науку, хотя в последний год думал поступать на мехмат МГУ на отделение астрономии.

Историческое образование дало мне понимание того, что любой процесс, любое событие имеет предысторию. Кстати, я до сих пор считаю, что современным социологам надо давать более основательную историческую подготовку. Мне во многом повезло, я слушал не только лекции, но и работал в семинарах члена-корреспондента А.В. Арциховского, с именем которого связано одно из величайших событий в отечественной археологии – открытие берестяных грамот в Новгороде, а также академика Б.А. Рыбакова, исследователя истории Киевской Руси, академика С.Д. Сказкина, медиевиста, академика М.П. Тихомирова и академика Л.В. Черепнина, специалистов по истории средневековой Руси, проф. П.Д. Зайнчковского, исследователя российской истории второй половины XIX века.

Историю КПСС нам увлеченно читал профессор Н.В. Савинченко. Этот предмет часто вспоминают недобрым словом, но у меня о нем сохранилась добрая память. Савинченко читал этот

курс как историю своей жизни, ибо сам участвовал в гражданской войне, был исключен из партии, так как не принял нэп, но потом восстановлен. На его лекции приходили студенты с других факультетов. Среди прочих преподавателей, оставивших заметный след в моем образовании, могу назвать специалиста по истории французской революции профессора (в то время доцента) А.В. Адо, исследователя международных отношений академика А.Л. Нарочницкого, а также профессора А.Г. Бокщанина, читавшего курс по истории древней Греции и Рима, профессора М.О. Косвена, дававшего яркое описание истории первобытного общества.

На факультете я активно занимался общественной работой – был комсоргом, членом бюро курса, факультета, ходил в турпоходы, агитпоходы. С 3 курса был удостоен стипендии имени Сталина, это были по тем временам фантастически большие деньги – 780 руб. при минимальной зарплате в стране в 170–220 руб.

Дипломная работа была посвящена национальному вопросу в первый год Советской власти. Я с наслаждением проводил многие дни в ЦГАОР (Центральный государственный архив Октябрьской революции), научился работать с документами, видеть связи между событиями. Я воочию убедился в том, что в те годы бурлила инициатива, создавалось множество форм учета национальных и этнических особенностей. И это делалось не под давлением, а искренне, хотя нередко и отдавало отсебятиной, а иногда просто фантазией и вздором. Но между этими стихийными событиями пробивали себе дорогу разумные предложения по учету национальных особенностей, в том числе и малочисленных народов.

Сталинские стипендиаты по традиции автоматически шли в аспирантуру. Однако Вы решили иначе – по комсомольской путевке уехали на строительство новых предприятий в Сибирь. Что привело Вас к этому решению?

Во-первых, я увидел, что глубина преподаваемых нашими преподавателями курсов напрямую зависит от их жизненного опыта. Ведь многие из них, прежде чем начать университетскую жизнь, работали в школах, издательствах, архивах, занимались общественной работой. Лекции и семинары молодых преподавателей, недавних студентов и аспирантов, были более легковесными, малоубедительными. Во-вторых, хотелось продолжить деятельность родителей, которые мечтали о лучшей жизни и считали, что ее надо самим создавать, быть ответственными за происходящее. Эти причины привели меня к решению попробовать свои силы там, где мои знания

требуются больше всего. И таким местом были, на мой взгляд, комсомольские стройки.

В стране в эти годы активно осваивалась целина, строились новые города, предприятия, электростанции, прокладывались железные дороги. И вот мы втроем – Юрий Афанасьев (один из основателей «Демократической России», до 2003 года – ректор РГГУ), Василий Гришаев (ныне завкафедрой Красноярского университета) и я – по путевке ЦК ВЛКСМ поехали в Красноярский край. Мне досталось строительство железной дороги Абакан-Тайшет, где короткое время я был в распоряжении мостоотряда № 5, воздвигавшего мосты через реки Абакан и Енисей. Затем последовала комсомольская работа, которую я начал в 1957 году в Абаканском горкоме комсомола и завершил в 1964 году секретарем Красноярского сельского крайкома ВЛКСМ. Работа с молодежью, особенно на стройках, поставила предо мной вопрос – почему на первое место выходят производственные задачи, а социальные проблемы отодвигаются на задний план? На той же дороге Абакан-Тайшет я нередко слышал руководителей разных рангов: «Главное, ребята, построить дорогу. А потом будут вам и жилье, и клубы, и места для учебы и все остальное». Но шли годы, появлялись молодые семьи, и сразу возникали проблемы с детскими садами и школами... Почему? Не видят, не знают? Или что-то другое?

Я решил, что мне не хватает экономических знаний, и поэтому поступил на заочную учебу в Иркутский институт народного хозяйства. Но меня мучили вопросы, на которые я не находил ответа в экономических штудиях. Ибо тогдашняя экономика была, как и многие годы спустя, «бесчеловечной», то есть рассматривала человека как рабочую силу, носителя профессиональных навыков. Мотивы, потребности, мнения людей, а тем более их ценностные ориентации и интересы воспринимались как нечто малозначимое, с чем не стоит считаться. А передо мною проходили судьбы, меняющиеся под воздействием факторов, которые нельзя было отнести ни к организационным, ни к экономическим, ни к производственным. Так я приходил к выводу о важности и первостепенности анализа социальных факторов.

Кроме того, на мой взгляд, происходили серьезные изменения в общественном сознании и настроении. Человек, особенно молодой, рос с более высоким чувством собственного достоинства и вполне осознанно хотел, чтобы с ним считались, чтобы его трудовая жизнь гармонировала с личной. Таким образом, на вопросы студентов, что сделало из меня социолога, я отвечаю – «Сибирь».

Затем последовала Академия общественных наук при ЦК КПСС (АОН). В этом учебном заведении преподавали многие видные советские ученые. Кто Вам наиболее запомнился? Имело ли Ваше кандидатское исследование социологическую направленность?

АОН комплектовалась по направлениям обкомов и крайкомов партии. Я как комсомольский секретарь входил в «номенклатуру», и меня дважды рекомендовали для обучения в этой академии. Первый раз, в 1962 году, меня не зачислили как «слишком молодого» (мне было 27 лет), тем более что в то время из нашего края в АОН поступали еще пять человек, обладавшие большим стажем работы и занимавшие более «серьезные» должности. Второй раз меня рекомендовали через два года. Тогда образовалась новая кафедра – научного коммунизма с социологической лабораторией при ней (возглавлял ее И. Петров, ныне доцент МГУ). Поступивших с самыми высокими баллами (у меня было 20 из 20) пригласил ректор, академик Г.П. Францев, и предложил вместе с ним начать работу на новой кафедре. Я собирался писать о судьбах молодежи на стройках Сибири, о ее проблемах, но как историк. Однако новая постановка вопроса привлекла меня, и я согласился. Начался трудный процесс превращения меня из историка и экономиста в социолога.

Я начал усиленно изучать доступную мне социологическую литературу. Но в начале 1960-х годов ее было крайне мало. Как-то мне попался на глаза словник, который был приложен к только что выпущенному двухтомнику «Социология в СССР»; там приводилось краткое толкование понятия «социальное планирование». В предисловии к книге социальное планирование было названо важной темой, которая еще не разработана. Я увидел в ней возможность ответить на вопросы моей сибирской жизни, подойти к тем проблемам молодежи, рабочей силы, для которых огромное значение приобретали как условия жизни, так и удовлетворенность ею.

Я проштудировал всю литературу по экономическому планированию, пытаюсь найти хотя бы небольшие заметки по решению социальных проблем, и изучил доступную информацию о пятилетних планах и предплановых разработках в конце 1920-х годов. В плане первой пятилетки я нашел раздел «Социально-экономические задачи»; такой раздел не встречался в дальнейшем ни в одном пятилетнем плане, а слова «социальные проблемы» исчезли из официальных документов. Кроме того, я внимательно прочитал литературу по программе ликвидации неграмотности и плану ГОЭЛРО, которые, по сути дела, были первыми в мире социальными программами по решению проблем огромной общественной значимости. И наконец, я на-

шел много интересных работ по социальному планированию в зарубежных (англоязычных) источниках. Первыми на моем пути были работы Г. Мюрдаля. Затем я обнаружил одно из первых употреблений этого слова в Новом курсе Д. Рузвельта, с помощью которого он решал вопрос о выходе США из жесточайшего кризиса конца 1920-х – начала 1930-х годов.

У меня были два научных руководителя – доцент Г.Л. Смирнов (в то время сотрудник журнала «Коммунист», в дальнейшем первый зам. зав. отделом пропаганды ЦК КПСС, директор Института философии, директор Института марксизма-ленинизма, академик) и академик В.Г. Афанасьев (в дальнейшем главный редактор «Правды», автор знаменитого учебника философии, по которому училось студенчество почти двадцать лет). В семинаре последнего по актуальным проблемам научного управления обществом я работал. Вначале они оба пытались отговорить меня заниматься вопросами социального планирования, возможно – в силу его абсолютной новизны и непонятности. Но они не стали ломать меня и подчинять своей проблематике. Афанасьев (он заведовал кафедрой после отъезда Францева в Прагу, где тот стал руководить журналом «Проблемы мира и социализма») сказал что-то вроде «черт с тобой, занимайся этой темой, но чтобы она была написана на достойном для защиты уровне». Кстати, Афанасьев в своей монографии «Научное управление обществом» (1967) процитировал мою публикацию, показав пример уважения к своему аспиранту, хотя как руководитель он мог бы и не ссылаться на меня. Этому примеру я следовал в работе со своими аспирантами.

Огромную роль в превращении меня из историка в философа и социолога сыграли лекции профессора И.С. Нарского, исследователя западной (в основном немецкой) философии, профессора Е.П. Ситковского, специалиста по Гегелю, профессора А.К. Курылева, читавшего интересные лекции по социальным проблемам советского общества. В эти годы на кафедре работал молодой Г.Н. Волков, в будущем яркий специалист по социологии науки и научно-техническому прогрессу.

Значительную роль в моем окончательном решении заниматься социологией сыграли молодые представители новой науки – В. Ядов и А. Здравомыслов, которые приезжали в АОН из Ленинграда читать лекции и вести практикумы. Несколько позже я ознакомился с реальным планом социального развития ленинградского научно-производственного объединения «Светлана», беседовал с инициаторами этого почина В.Р. Полозовым и Б.Р. Рященко. Особенно я признателен Полозову, который уделил мне много внимания, прочел мои наброски о

теоретических основах социального планирования и советовал попробовать свои силы на реальном предприятии.

Это стало мощным стимулом для того, чтобы я по собственной инициативе пошел на московский метизный завод «Пролетарский труд» на Красной Пресне и подготовил вместе со тамошними специалистами первый в своей жизни план социального развития производственного коллектива. Для меня стало органической потребностью регулярно бывать на заводе, встречаться со специалистами, выслушивать их предложения, докладывать им о проведенной работе. Мне кажется, что руководство завода было предрасположено к решению социальных проблем. Более того, оно предпринимало некоторые нетривиальные шаги, чтобы создать на заводе хороший настрой на дела. Уже в первое мое посещение завода меня поразили слова, вывешенные на транспаранте у проходной: «Доброго утра – доброй работы». И таких неформальных лозунгов-обращений было на территории достаточно.

Не было желания остаться после АОН в Москве? Ведь Москва становилась центром социологических исследований. Или тянуло в Сибирь?

Я хотел бы высказать сомнение по поводу Вашего утверждения, что Москва в то время была центром социологических исследований. В первой половине 1960-х годов еще только созревали предпосылки для появления значительных лиц и проектов, если не считать исследования Г.В. Осипова, посвященного рабочему классу. В шестидесятые годы существовало даже расхожее выражение «Москва – социологическая провинция». В то время признанными центрами были Ленинград (В.А. Ядов), Свердловск (Л.Н. Коган), Уфа (Н.А. Аитов), Новосибирск (Т.И. Заславская, Р.В. Рывкина, В.И. Бойко). Достаточно уверенно демонстрировали свои силы социологи Минска (Г.П. Давидюк), Харькова (Е.А. Якуба), Тбилиси (А.А. Габиани). Были серьезные социологические центры (я не говорю о своей лаборатории при Красноярском университете) на Алтае (В.Н. Барулин, затем С.И. Григорьев), в Иркутске (Г.И. Мельников), Горьком (С.Ф. Фролов), Куйбышеве (Е.Ф. Молевич), Перми (З.И. Файнбург), Орле (И.Т. Левыкин), Саранске (А.И. Сухарев), Челябинске (В.Г. Мордкович), Донецке, Ростове, Ереване, Ташкенте и других городах. Каждый из этих центров внес серьезный вклад в развитие социологических исследований. Тогда существовала практика регулярных встреч – конференции, семинары, круглые столы; все это давало новые возможности для углубленного решения теоретических и прикладных задач.

Сначала я не прочь был остаться в Москве, тем более что для себя окончательно решил, что с общественно-политической работой я заканчиваю и в будущем стану заниматься только наукой, то есть той деятельностью, которую я мог начать сразу после университета. Предложений было несколько. Но в это время крайком партии, направивший меня на учебу, потребовал, чтобы я вернулся в Красноярск. Я подчинился приказу, хотя решительно отказался от предлагаемых мне партийных должностей и согласился только на компромиссный вариант – быть руководителем краевой организации общества «Знание» и преподавать в вузе, сначала в пединституте, затем в только что созданном университете, который до 1967 года был филиалом Новосибирского университета.

Когда Вы начали работать в Красноярском университете? Какие курсы читали? По какой тематике проводили социологические исследования?

Когда я пришел в университет, я решил прочитать все курсы, которые шли по кафедре философии: по диалектическому и историческому материализму, религиоведению, этике. Этим я хотел восполнить недостатки своего философского образования. Но основным моим курсом была теория научного коммунизма. Я его читал как социологический, наполняя соответствующей информацией, будь то тема революции, города, деревни, культуры и т.п. Такой подход был плодотворен, ибо мои лекции слушали не гуманитарии, а физики, математики, химики, биологи (некоторые из выпускников этих факультетов потом пришли в социологию и даже стали кандидатами социологических наук). Могу сказать, что так читали лекции многие мои коллеги в вузах Сибири; недаром большинство социологических лабораторий там были под опекой кафедр научного коммунизма. А в Москве и других городах Европейской части читали научный коммунизм как нечто политизированное, идеологизированное или назидательное, что, как я знаю, глубоко не удовлетворяло студентов.

Что касается исследований, то мною в университете была создана хозрасчетная социологическая лаборатория, которая к моменту моего возвращения в Москву насчитывала почти 50 человек. Мы вели огромные договорные работы со многими предприятиями края. К удивлению одной из комиссий Минвуза РСФСР объем хоздоговорных работ у социологов превышал объем таких же договоров у физиков, химиков и биологов нашего университета. Главным направлением исследований были социальные проблемы новых производственных коллективов, было опубликовано несколько сборников.

Работа в социологической лаборатории, ежедневные контакты с реальными потребностями производства стремительно – я не преувеличиваю – обогащали меня как исследователя. Я постоянно взаимодействовал с такими замечательными организаторами производства, как директор Красноярского алюминиевого завода В.В. Стриго, начальник Главккрасноярскстроя В.П. Абовский. Знакомство с их методами работы и решения социальных проблем заставляло меня ответственно относиться к каждому нашему выводу и предложению – ведь они приобретали силу распоряжения или приказа, и только практика могла доказать результативность нашей работы. Чтобы сочесть преподавательские обязанности с проведением научно-прикладных исследований, приходилось трудиться по 16–18 часов в сутки. Порой было весьма трудно отстаивать некоторые наши рекомендации и выводы, например, на коллегии Главккрасноярскстроя, где собирались руководители строительных подразделений, воздвигавших огромное количество объектов на территории не только Красноярского края, но и Тувинской и Якутской республик. Давать рекомендации руководителям 70-тысячного коллектива – дело весьма ответственное. Но именно здесь реагирование на наши предложения было чутким и оперативным, чего я не видел в дальнейшем, когда докладывал свои рекомендации в министерствах, ЦК КПСС и других высоких инстанциях. Там была совсем другая реакция.

Это содружество науки и производства – действенное, реальное – приносило большое удовлетворение. Мне было отрадно шагать утром на работу в многотысячной толпе рабочих алюминиевого завода, здороваться со знакомыми и чувствовать себя частичкой этого огромного коллектива, которому ты приносишь пользу.

Сейчас часто говорят о притеснениях, которые социологи испытывали со стороны партийных органов: ограничения в тематике исследований, несправедливая критика. Сталкивались ли Вы с такими проблемами?

В истории нашей социологии были позорные страницы: расправа над Ю.А. Левадой, различные санкции против В.А. Ядова, запреты проводить те или иные исследования, распространять анкеты в Москве, Минске, Киеве и других городах. Немало было выговоров, замечаний практически у каждого из нас. Но в то же время я не согласен с заявлениями о «репрессиях против социологов», особенно часто звучавшими в начале 1990-х годов.

У меня отношения с партийной властью складывались своеобразно. После учебы в АОН я сразу же начал вместе с колле-

гами Красноярского пединститута М.И. Сергеевым и А.А. Фалалеевым заниматься социологическими исследованиями. Первым объектом был Красноярский алюминиевый завод. Возглавлял его молодой, 40-летний, директор В.В. Стриго. Он представлял яркий образец нового социоинженерного мышления. Свой заказ он сформулировал следующим образом: «Я знаю технологию и внедрил на заводе все лучшее, что есть в мире. Я знаю технику и использовал все, что есть лучшего в стране. Я знаю, как организовать производство и наладить управление. Но я, по большому счету, не знаю людей, их настроений, суждений, их оценки моей работы и моей команды. Дайте мне инструмент, который поможет мне более эффективно строить работу с людьми». Вот пример такого задания. «На заводе постоянно вводятся новые корпуса, – говорил В.В. Стриго, – растет производство. Нужно, чтобы новые участки возглавили талантливые люди, умелые организаторы производства. Как я их нахожу? Я слышал толковое выступление инженера на совещании. Об этом человеке хорошо отзывался главный инженер, или главный энергетик, или кто-то еще. И я принимаю решение – назначить его начальником цеха. Но, может быть, где-то есть лучший специалист, но скромный. Дайте мне инструмент, который поможет принимать верные решения». И когда мы внедрили аттестацию инженерно-технических работников, то есть оценку специалиста снизу – от подчиненных, оценку по горизонтали – от коллег и оценку сверху, мы получили хорошие результаты.

Когда Стриго уходил на строящийся Саяно-Шушенский алюминиевый завод, он поставил задачу: кого рекомендовать на его место? После комплексной оценки мы предложили кандидатуру начальника производственного отдела. Стриго удивился. «Так это же молчун, хотя и грамотный специалист, но не умеющий по-настоящему требовать, обострить ситуацию, нацелить людей на быстрое решение задач». Тем не менее, он поддержал нашу кандидатуру, и инженер Н.И. Баженов несколько лет после него успешно руководил предприятием, сделал дальнейшие шаги по совершенствованию производства, внедрению многих новаторских идей.

Что же касается моих взаимоотношений с партийными лидерами, то они были весьма своеобразными. Однажды меня пригласил на беседу первый секретарь крайкома КПСС А.А. Кокарев. Этот человек нес на себе печать сталинской эпохи, был крут, но в то же время мудр (вероятно, у него сохранилась трудовая записка – на партийную работу он пришел с поста директора завода). Прихожу в назначенное время. После

приветствия и некоторой паузы хозяин кабинета задает вопрос: «Вот тут мне докладывают, что ты ходишь по заводам и пристаешь к рабочим с какими-то анкетками. Это правда?» Я ответил, что этому меня научили в Академии общественных наук, куда меня послали по решению бюро крайкома КПСС. После некоторого молчания, кряхтения и раздумий он сказал: «Брось ты это дело, лучше ходи на рабочие собрания, там ты услышишь всю правду-матку». Но запрещать заниматься этой работой не стал, памятуя, что сам подписывал мое направление на учебу, и не куда-нибудь, а в АОН. Думаю, что если бы эту науку я привез из МГУ, другого вуза или академического института, то разговор был бы иной.

После прихода на партийное руководство края В.И. Долгих, в будущем секретаря ЦК КПСС, все ограничения были сняты. Он, проработав долгие годы директором Норильского комбината, создал уникальный город-предприятие, в котором решались все вопросы организации жизни огромного числа людей – не только производственные, но и торговли, отопления вплоть до горного солнца в детских садах. Авторитетом он пользовался колоссальным, при нем мы провели две всесоюзные конференции по проблемам управления, где он выступал с неординарными докладами, отражавшими его производственный и социальный опыт.

Ваша докторская диссертация была посвящена проблемам социального планирования?

Исследование социальных проблем производства и труда – моя первая социологическая любовь. В эти годы я познакомился с молодым и талантливым профессором В.Г. Подмарковым (к сожалению, рано ушедшим из жизни); он стоял у истоков научного направления, которое называл промышленной социологией. По его инициативе было проведено несколько всесоюзных конференций, где рассматривались социальные проблемы труда, социальное планирование и управление. Я на этих конференциях выступал с докладами, которые вызвали большой интерес, споры, возражения. Подмарков также приглашал меня на семинары по проблемам труда, где мои соображения подвергались серьезному анализу и критике. Тем более что я интенсивно продолжал сотрудничать уже не только с предприятиями, но и с административными центрами. Я осуществлял научное руководство составлением плана экономического и социального развития города Красноярска, а затем – Красноярского края; этот план закончил принявший от меня дела Г.В. Куцев (будущий ректор Тюменского университета), которого я убедил переехать из Иркутска в Красноярск.

В эти годы я вошел в круг заводских социологов, поддерживал постоянные контакты с замечательной плеядой новаторов, руководивших социологическими службами крупнейших предприятий страны: В.В. Щербиной, В.И. Герчиковым, Б.И. Максимовым, М.И. Гуревичем, А.А. Нецадиным, А.К. Зайцевым.

Не могу не упомянуть о своем участии в знаменитом грушинском проекте «Таганрог», где я определял структуру планов социального развития ряда предприятий (комбайнового, металлургического) и самого города. Были проведены семинары, переданы образцы планов некоторых предприятий Сибири местным руководителям. Именно там я почувствовал, что нащупываю не просто практические, но и научные выводы по определению форм и методов регулирования социальных процессов как для предприятий, так и для административных единиц (городов, краев, областей).

Меня серьезно обогатили постоянные контакты и совместная работа с социологическими лабораториями Уфимского авиационного института (рук. проф. Н.А. Аитов), Пермского политехнического института (рук. проф. З.И. Файнбург), Уральского института экономики (рук. проф. Л.Н. Коган), Института экономики Академии наук Украины, Донецк.

Все это – моя интенсивная работа на предприятиях, консультационная деятельность, расширение действия наших рекомендаций на города, районы и даже весь край, установление контактов как с производственными социологическими лабораториями, так и с научными центрами во многих городах – позволило мне подготовить диссертационную работу под названием «Теоретико-методологические проблемы социального планирования», которая была защищена в Уральском университете в 1973 г.

Интерес к проблемам социологии труда и управления оставался у меня и далее, я постоянно возвращался к этой тематике, печатался, выступал с докладами, следил за литературой. Показатель верности данной тематике – мои монографии «Социальное планирование в СССР» (М., 1980), «Социальная инфраструктура: сущность и пути развития» (М., 1981), «Социальное проектирование» (М., 1983, совместно с Н.И. Лапиным и Н.А. Аитовым). Я искренне горжусь одной из последних моих работ «Социология труда: опыт нового прочтения», вышедшей в издательстве «Мысль» в 2005 году, в которой, я убежден, предложен новаторский историко-генетический подход к становлению этой специальной социологической теории.

Итак, сибирский период жизни Вы посвятили исследованиям социологии труда и управления. В каком году Вы вернулись в АОН? Что изменилось в направленности Ваших исследований?

Переезд в Москву в 1975 г. был связан с тем, что руководство Академии решило организовать крупное социологическое подразделение, которое занималось бы анализом эффективности форм и методов партийной и особенно идеологической работы. К этому времени моя социологическая лаборатория в Сибири была одной из крупнейших в стране, получила достаточно широкое признание среди специалистов. К тому же я был успешным выпускником (в 1973 г. защитил докторскую диссертацию, став одним из самых молодых докторов наук в стране).

Передо мной были поставлены новые задачи, связанные с политической проблематикой. Вникнув в существо дела, я пришел к неутешительным выводам: в работе с людьми преобладали оболочка, формы, инструменты, а не содержание. В 1970-х – начале 1980-х годов много сил тратилось на политическое и экономическое образование, агитацию, пропаганду и совершенно игнорировалось то, что происходило в умах и душах людей.

Какой выход Вы нашли из этого положения, ведь Вы «служили» интересам идеологической работы КПСС? Как в этой ситуации удавалось сохранить научность и не оторваться от реальных дел и устремлений коллег?

С коллегами у меня складывались достаточно устойчивые и взаимоуважительные отношения. Я, в отличие от многих преподавателей АОН, активно участвовал во всех академических и вузовских мероприятиях страны (а не только внутрипартийной системы), регулярно выступал там с докладами и сообщениями. Вероятно, признанием моей отчетливой и явной приверженности социологическому цеху стало избрание меня вице-президентом Советской социологической ассоциации в 1983 г. и ее со-президентом – в 1990 году. Вместе с Ядовым и Здравомысловым мы образовали триумvirат в руководстве социологами страны. К сожалению, эта организация прекратила существование с распадом страны. Правда, в 1992 г. я предпринял попытку создать Союз социологических ассоциаций. На эту встречу приехали представители из 8 бывших союзных республик, готовые образовать региональное социологическое сообщество, к которому в дальнейшем могли бы присоединиться наши коллеги из других республик. К сожалению, организация просуществовала недолго. Но эта идея, думаю, должна возродиться.

Как главный редактор журнала я вижу, что и наш журнал, и наши контакты, и желание напечататься в нем растут из года в год. Более того, после почти десятилетнего молчания к нам стали поступать материалы от социологов из Прибалтики, которым мы регулярно предоставляем возможность рассказать о своих результатах.

В своей научной работе я решительно отказался от исследований политзанятий и политкружков, партийной учебы и предложил изучать общественное сознание, его состояние, тенденции изменения и проблемы, считая, что знание происходящего в умах людей позволит принимать обоснованные решения. Начиная с середины 1980-х годов проводились исследования экономического, политического, нравственного и исторического сознания. Они дали богатейшую палитру данных, свидетельствовавших о противоречиях между официально декларируемым и реальным состоянием дел. Уже первый анализ этих данных позволил мне выступить со статьей о том, что в СССР существует не одна, а много идеологий – социалистическая, националистическая, буржуазная, религиозная и множество других, более мелких по объему, но не менее реальных. Это вызвало недовольство в Отделе пропаганды ЦК КПСС – там были убеждены, что в стране только одна – социалистическая – идеология, а все остальное – пережитки. Но я эту идею даже провел в учебнике, написанном под моим руководством с участием значительного количества творчески мыслящих ученых.

Мне кажется, что данные этих исследований (я ими руководил до 1992 года включительно) до сих пор представляют ценность, ибо они уточняют многое из того, что происходило в стране в годы перестройки. Приведу один малоизвестный пример. В конце 1980-х Горбачев и его окружение еще не могли выразить отношение к рынку, всячески избегая этого слова, а тем более принятия мер в этом направлении. В 1990 году в исследовании «Партия и народ» мы получили такие данные: 43% коммунистов поддерживали идеи рынка при 28% сторонников рынка среди беспартийного населения. Иначе говоря, руководство партии отставало даже от своих рядовых членов. В то же время эти результаты отражали тот факт, что при всех минусах КПСС в ее рядах было больше далеко видящих людей, чем в среднем по населению страны. В моих ближайших планах – опубликовать эти материалы, ибо они ярко характеризуют неоднозначность, противоречивость общественного сознания 1980-х годов, когда не было ни ВЦИОМа, ни ФОМа, ни других организаций, которые бы проводили столь масштабные исследования.

Почему Вы говорите об общественном сознании, а не общественном мнении?

На мой взгляд, изучение общественного мнения связано с анализом актуальных, не терпящих отлагательства проблем или вопросов, которые волнуют все общество или значительное количество людей. Когда же мы исследуем общественное сознание, то, учитывая опыт исследователей общественного мнения, уделяем внимание вопросам «вечным», которые сопровождают человека в течение всей его жизни. Вот это сочетание актуальности, реальных результатов, полученных при изучении общественного мнения, и некоторой консервативности и традиционности дает, на мой взгляд, новый подход к анализу социальных процессов, помогает приоткрыть ранее неведомые страницы общественного сознания. Тем более что данные социологических исследований сопоставляются с данными статистики, документов, средств массовой информации, с мнениями экспертов.

Этот подход достаточно быстро привел меня к открытию такого феномена, как «парадоксальный человек». Сопоставляя результаты своих исследований с выводами коллег, я обнаружил существование удивительного явления: часто человек искренне, не замечая собственного противоречивого поведения, исповедует взаимоисключающие ценности, стремится одновременно достичь противоположных целей. То есть по отношению к экономическим вопросам он может быть либералом, к политическим – социалистом, к этническим – националистом. А если к этому добавить религиозные пристрастия, монархические ориентации и т.п., то мы получаем удивительную картину парадоксального поведения.

Данные социологических исследований заставили меня обратить внимание на то, как эти явления осмысливались научной и, прежде всего, философской мыслью. В процессе поиска я вышел на апорию Зенона Элейского (все помнят его рассуждения об Ахиллесе и черепахе), на атараксию Эпикура (как путь к достижению удовольствия), на антиномии И. Канта (мир вечен и бесконечен – мир не вечен и не бесконечен). Но особенно меня поразило одно из высказываний Б. Паскаля: «Что за химера этот человек? Какое новшество, какой монстр, какой хаос, какой узел противоречий, какое чудо! Судья всех вещей, слабоумный земной червь; носитель истины, клоака недоверности и ошибок; *слава и хлам вселенной* (курсив мой. – Ж.Т.). Узнай же, гордец, каким парадоксом являешься ты для себя! Смирись, бессильный разум, глупая природа; узнайте, что человек бесконечно превосходит человека!» В этих словах выражен предельный смысл философе-

кой антропологии, изумление перед неустранимой внутренней противоречивостью, интеллектуальной и этической амбивалентностью человеческого существа.

Это образное высказывание великого мыслителя отражает еще одну попытку познать сущность человека, его противоречивую природу, его место и роль в решении злободневных общественных проблем. Новое время породило принципиально новый стиль мышления, когда не только бог, не только государство, не только общество стали объектами пристального научного осмысления. Лучшие умы человечества обратились к человеку как мере всех явлений и вещей.

И первые же шаги на пути познания человеческой сущности вскрыли неведомые ранее трудности и аномалии, разлад человека с самим собой, с социальными институтами, в деятельность которых он вовлечен, с социальными организациями, в рамках которых он функционирует, с официальными группами, членом которых он является, то есть разлад со всем микро-, мезо- и макромиром. Этот разлад может характеризоваться самыми различными показателями – от вполне логических противоречий познания и развития до крайних форм противоречивости, парадоксальности.

Роль человека, личности в жизни общества нельзя свести только к субъективному фактору, как это делает в большинстве случаев постмодернизм. Это явление более объемное, разностороннее в своих проявлениях, и влечет за собой необходимость рассматривать не только субъективные, но и объективные условия функционирования общественной жизни.

Уже первые попытки целенаправленного анализа этого феномена показали, что парадоксальность является отражением не какого-то случайного или редко проявляющегося сочетания мало объясняемых ситуаций, а достаточно устойчивой тенденцией возникновения и существования особого вида противоречий, объем и масса которых увеличивались по мере непрерывного изменения сложившихся экономических и политических отношений, слома образа и стиля жизни, нарушения устоявшихся стереотипов и национального менталитета.

Впервые об этом я заявил в своих публикациях, базировавшихся на данных вышеназванного проекта, в частности в монографии «Общественное сознание и перестройка» (в соавторстве с В.Э. Бойковым, В.Н. Ивановым) (1990) и в серии статей в газетах «Неделя» и «Modus Vivendi» 1990–1994 годов. Однако первый системный анализ данного феномена был осуществлен в статье «О парадоксах общественного сознания» («Социологические исследования», 1995, № 11). В дальнейшем эти идеи

нашли отражение в монографии «Парадоксальный человек» (М., 2001), переизданной в 2007 году.

Что опубликовано Вами после этой книги? Какие новые подходы появились в Ваших теоретических разработках?

Меня, как и любого гражданина страны, глубоко волновали события, связанные с крахом СССР. Поэтому наряду с парадоксальностью я пытался разобраться в деятельности тех людей, которые прямо или косвенно были причастны к крушению страны. Я глубоко убежден в верности выводов, которые сделали мои коллеги из Института системного анализа РАН. Проанализировав судьбы и причины падения великих государств, в том числе и империй – Британской, Римской, Французской, Германской и более древних, они пришли к выводу, что СССР, конечно, прекратил бы свое существование, но это бы случилось примерно на два с половиной века позже, когда он бы полностью исчерпал те резервы, которые имел в конце XX века. И делают выводы, что в этой трагедии огромную роль сыграл субъективный фактор. Этот фактор был представлен не только Горбачевым и Ельциным, как пишут отдельные политологи, журналисты и политики, но и многочисленной прослойкой амбициозных деятелей, рвавшихся к власти. Огромной силой являлись этнонациональные лидеры. Первую попытку анализа я осуществил в ряде газетных и журнальных публикаций; они были обобщены сначала в книге «Постсоветское пространство: интеграция и суверенизация» (М., 1997), а затем в монографии «Этнократия: история и современность» (М., 2003).

Считаю, что я продолжил развитие своих прежних идей, но в несколько иной интерпретации. Дело в том, что эту парадоксальность в этническом сознании стали использовать власть предержащие. Вы, вероятно, согласитесь, что национальные, а потом и конфессиональные проблемы стали одной из ведущих социальных тревог в переломный период. Правда, я в этой книге не ограничился российскими реалиями и затронул, хотя и бегло, те проблемы, которые в той или иной мере были актуальны для многих стран.

Я исходил из того, что бытие современного мира выявило один из чрезвычайно тревожных факторов – преобладание этнонациональных проблем и даже преувеличение их значения и влияния. Сущность этого заметного и во многом тревожного симптома заключается в том, что национальная культура, язык, история, обычаи и традиции нередко берутся на вооружение для того, чтобы энергию одних народов направить против других, и это противостояние использовать для ук-

репления личной или групповой власти националистически ориентированных кланов или местных царьков. Современная история человечества полна трагедий, вызванных этнократическими режимами, как во всем мире, так и на постсоветском пространстве.

Опираясь на социальную практику функционирования явных и латентных этнократических режимов, этническая политика и этническая идеология стали интенсивно использовать такие их ключевые понятия, как национализм, права наций, различные стадии нарастания этнического противостояния – этноцентризм, этноэгоизм, этнофобию. Современная эпоха стимулировала порождение различных форм, типов и методов этнократического властвования, вплоть до крайних, таких как терроризм, этнические войны, этномечь и др.

Кроме того, я поставил перед собой задачу раскрыть лики современной этнократии, которая в зависимости от обстоятельств приобретает различные выражения своей сущности. А так как этнократия вмешивается во все сферы общественной деятельности, то я счел возможным рассмотреть ее влияние на экономику, государственные дела, право, культуру и общественное сознание, охарактеризовать территориальные претензии, экономические амбиции, правовой произвол. Этот подход позволил мне выйти на анализ таких уникальных явлений, как этническая миграция (до недавних пор она полностью отрицалась), этнолингвистический национализм, этническая преступность, этноправовой нигилизм, этноспазм и т.д.

Большое значение для раскрытия сущности этнократии приобрел анализ идеологического и научного прикрытия ее претензий и намерений. При этом учитывалось, что апологеты этнократии постоянно совершенствуют свои методы и средства воздействия, что делает весьма затруднительной характеристику истинной природы данного типа режимов. В этих же целях используется и этноконфессиональный фактор, призванный морально легитимировать этнократические претензии стремящихся к обладанию властью.

Наконец, мною была сделана попытка реализовать еще одну цель – рассмотреть сущностную природу тех политических деятелей, которых принято называть, особенно в политологической литературе и в журналистских изысках, национальной элитой. Характеристика ее в основном зловещей роли показывает подлинную цену широковещательных заявлений, призванных скрыть истинное лицо ревнителей национальной самобытности. В частности для меня до сих пор остается открытым вопрос: как самые «гуманитарные» специалисты – литературовед Гамсахурдия и специалист по древним языкам

Эльчибей, став президентами Грузии и Азербайджана, оказались самыми яркими шовинистами, провозгласив лозунги: первый – «Грузия для грузин», второй – «Русские – в Рязань, татары – в Казань». Но есть и более стертые проявления национальной нетерпимости, которые наносят колоссальный вред взаимоотношениям народов.

Исследуя этнонациональные проблемы, я не мог не выйти на конфессиональные, религиозные проблемы, которые были связаны с решением национальных вопросов, а нередко выступали и самостоятельной силой. Причем далеко не всегда соиздательной. Результаты этих поисков нашли отражение в монографии «Теократия: фантом или реальность», вышедшей в 2007 г. Собственно говоря, меня волновали не все конфессиональные проблемы, а только связанные с взаимоотношениями религии и власти. Именно этот аспект и образует такой феномен, как теократия.

При исследовании теократических аспектов я исходил из того, что религия во всех ее формах и проявлениях – величайшее явление в истории человечества. Она сопровождала человека на всех этапах его существования, с тех пор, когда он мыслил себя в неразрывной связи с природой, и до нынешнего времени, когда вопрос о ее роли продолжает (но по-иному) волновать большинство живущих на планете. И это оправданно, так как многие порождения культуры вышли из недр религии или были опосредованы ею. Вместе с тем мы должны признать, что далеко не все так лучезарно и беспроблемно происходило на историческом пути развития религии, различных конфессий. Мне бы хотелось обратить внимание прежде всего на хождение религии (вернее, ее служителей) во власть или использование политической властью авторитета и влияния религии.

Смею утверждать, что именно этот аспект в жизни религии – ее взаимоотношения с властью – породил самые чудовищные, самые бесчеловечные формы политического управления – теократию. Данный вид власти, в ее самых различных вариантах, реализовывал цели и установки, далекие от гуманистических устремлений миллионов людей. И весь этот анализ теократии, в конечном счете, направлен на то, чтобы предупредить о грядущей схватке религиозных течений за власть, которая может сопровождаться большой кровью и неизмеримыми бедами для всего человечества.

Тревога в связи с тенденцией к клерикализации страны находит отражение в действиях все большего количества людей. Свидетельством этого является письмо академика академиком во главе с лауреатами Нобелевской премии Ж.И. Алферовым и В.Л Гинзбургом о притязаниях православной церкви на всю систему

образования и воспитания, на признание теологии в правах науки.

Хочу еще раз подчеркнуть, что исследования этнического и религиозного сознания привели к необходимости разобраться в их специфике в современных условиях, когда они стали ареной и орудием борьбы за власть.

С кем из зарубежных социологов Вы сотрудничали, какие из форм сотрудничества Вам наиболее запомнились?

Первый мой опыт, в конце 1970-х – начале 1980-х годов, был связан с изучением образа жизни. Мы работали совместно с чехословацкими коллегами. С нашей стороны принимали участие также уральские социологи (рук. Л.Н. Коган). По единой программе мы обследовали ряд промышленных предприятий и городов.

Плодотворной, оригинальной и неожиданной по многим результатам была работа с социологами из ГДР (рук. проф. А. Вайдиг); мы изучали трудовое поведение работников в условиях новых авангардных технологий (сейчас их называют «высокие технологии»). Мы выявили и проанализировали принципиальные изменения роли и места многих рабочих профессий, изменение функций труда и управления и соответственно складывающиеся новые отношения.

На границе 1980-х и 1990-х годов мы проводили исследования с социологами Карлетонского университета (Оттава, Канада) «Путь России к рынку». Канадскую сторону представляла Джоан Дебарделебен, с которой мы вели длительные споры по трактовке тех или иных особенностей работы на производстве. Изучались предприятия нефтедобывающей, машиностроительной, пищевой промышленности, а также сфера массовых коммуникаций.

В период работы над проблемой «парадоксального человека» я обращался за советами к президенту Международной социологической ассоциации (2002–2008) Петру Штомпке, выдающемуся британскому социологу Зигмунду Бауману, известному американскому социологу и политологу Генри Тюни, которые дали высокую оценку моим результатам. (Их мнение о монографии опубликовано во втором издании «Парадоксального человека» (М., 2007).)

И наконец, хочу сказать, что с 1994 года я начал работать в международном проекте-программе по проблемам местного самоуправления (рук. К. Островский, Польша, и Г. Тюни, США). Это исследование ведется с 1967 года; к тому моменту, когда мы к нему подключились, оно было проведено в 26 странах и регулярно повторялось через три-четыре года. В России

мы вместе с Г.А. Цветковой и Г.Г. Галиевым провели три замера по 75 районам и городам и получили уникальную информацию о ходе изменений в России и возможность сопоставить эти результаты с другими странами.

Отдельно скажу о сотрудничестве с Международной социологической ассоциацией, на конгрессы которой я начал ездить с 1972 года, тогда они проводились в Варне (Болгария). Я долгое время активно участвовал в работе исследовательского комитета «Социология труда», затем в «Теории социологии». С 1982-го по 1986 год состоял членом Издательского комитета Международной социологической ассоциации.

Жан, спрошу Вас о Вашей деятельности по конституированию социологии как науки в нашей стране. Понятно, что это сложная тема, пусть кратко...

Прежде всего, я напомним, что социология возродилась в нашей стране сначала как политическая витрина. В конце 1950-х годов была создана Советская социологическая ассоциация во главе с академиком Францевым, под эгидой которой представители официальных структур, в основном философы, стали ездить на международные социологические конгрессы. В 1960-е годы социология развивалась самостийно в рамках ряда социальных наук – экономики, философии, истории. Именно к этим наукам относились кандидатские и докторские диссертации, спецкурсы в вузах; социологические темы подавались в рамках истмата или научного коммунизма. Официально слово «социология» не употреблялось – говорилось о конкретных социологических исследованиях, которые трактовались как нижний уровень исторического материализма. Может, я выражу свой личный взгляд, но такому отношению к социологии во многом способствовала так называемая теория среднего уровня, связанная с именем Дарендорфа, а также с именами Парсонса, претендовавшего на теоретическое осмысление социальной реальности, и Лазарфельда, олицетворявшего уровень конкретных исследований. Эта градация пришлась по вкусу истматчикам П.Н. Федосееву, Ф.В. Константинову, Ф.Н. Момджяну и другим, ибо такой подход ставил социологию «на место» – на уровень конкретных исследований или, по крайней мере, на так называемый средний уровень, без всякой претензии на какую-то теорию. Могу сказать, что я никогда не разделял такого взгляда и считаю, что данная классификация, как справедливо заявлял П. Бурдьё, была условной договоренностью в американской социологии, чтобы диктовать такой подход всему социологическому миру.

Но жизнь брала свое, и в середине 1970-х годов в рамках ВАКа появилась специальность «прикладная социология» как одно из направлений философской науки. Получалась весьма забавная картина – социологов официально никто не готовил, а научная степень по социологии была введена. Хотя в то время читались многочисленные социологические курсы, это было в рамках существующей, сложившейся профессиональной подготовки.

Когда наступила перестройка, в ЦК КПСС согласились на окончательное конституирование этой науки. Была создана комиссия, в которую вошел и я. Работа была долгой, со спорами в основном с официальными лицами из ЦК и Минвуза, пока не было подготовлено и принято постановление ЦК КПСС о мерах по развитию социологии в стране. Кстати, это было первое и последнее постановление горбачевского ЦК по общественным и гуманитарным наукам. Уже в 1989 году были образованы социологические факультеты в МГУ и Ленинградском университете, созданы кафедры и центры в партийных школах, а Институт социологических исследований АН СССР стал именоваться Институтом социологии.

Могу сказать еще об одном своем вкладе в конституирование социологии: существующие градации направлений по подготовке аспирантов и докторантов как требование ВАКа были сформулированы мной и после обсуждения в основном приняты в 1994 году. С небольшими изменениями этот перечень специальностей существует и сегодня. Логика моих рассуждений была такова. Во-первых, надо было сделать самостоятельным направлением теорию и историю социологии, а также методологию и методы социологических исследований; позже последние были объединены с теорией, методологией и историей социологии. Далее. Так как социология развивается и функционирует в рамках различных сфер общественной жизни (по мнению большинства философов и методологов науки, таких сфер четыре – экономическая, социальная, политическая и духовная), то вполне оправданно готовить диссертации по экономической, политической социологии, социальной структуре и социологии духовной жизни. Данный ряд венчает социология управления, которая имеет отношение к каждой их четырех сфер общественной жизни, но в то же время обладает определенной самостоятельностью. Эта логика воплощена в моем учебнике «Социология», который регулярно переиздается с 1994 года; последнее издание вышло в свет в 2005 году.

Вы отметили, что «социология возродилась в нашей стране сначала как «политическая витрина». А не кажется ли Вам, что точнее

говорить не о возрождении, но о втором рождении социологии? На мой взгляд, возрождение предполагает осознанное соединение нового с тем, что было ранее, поиск в прошлом опыте стимулов для создания чего-то нового. Однако освоение советскими социологами достижений предшественников началось довольно поздно и было настолько слабым, что говорить о возрождении у нас нет оснований.

Конечно, говорить о возрождении можно довольно условно. Но в то же время в определенной степени это оправданно. При такой формулировке вопроса мы подчеркиваем некоторую преемственность, дань традициям, призыв не забывать предшественников. Но есть и другая сторона вопроса. В реальности русских социологов XIX века, 20-х годов XX века вспоминали скорее по форме, чем по существу. О том, что это возрождение было скорее формальным, говорит тот факт, что многие разработки наших предшественников практически мало или совсем не востребованы. В этой связи хочу привести такой пример. Еще в аспирантские годы я познакомился с работой А.Н. Большакова «Деревня (1917–1927)» (запрещенной в 1930-е годы и оставленной только в спецхране). Она поразила меня своей фундаментальностью, анализом всех аспектов деревенской жизни. В ней описывалась краткая история сел одной из волостей Тверской губернии, их экономическое и социальное состояние, работа политических организаций (местных большевиков и комсомольцев). Причем давалась достаточно нелицеприятная оценка деятельности. Описывались 14 (!) форм земельной собственности – от товариществ по совместной обработке земли до коммун. Думаю, что если бы дали возможность развиваться всем этим рожденным инициативой снизу формам собственности, а не была бы навязана практически одна – колхозно-кооперативная, то сельское хозяйство не было бы в том упадке и запустении, в котором оно оказалось в 1950–1980-е годы и которое продолжается поныне. Книга заканчивается описанием быта, традиций, праздников в этих селах, даже приводятся частушки, которые распевала молодежь в те годы. Да простят меня нынешние исследователи села, но всем им очень и очень далеко до того, чтобы возродить эту традицию во всей ее привлекательности и достоверности.

Конечно, в 1960–1980-е годы перед отечественной социологией стояли иные задачи. Поэтому все крупные исследования 1960-х годов «Научно-технический прогресс» (Г.В. Осипов), «Человек и его работа» (В.А. Ядов), «Таганрог» (Б.А. Грушин) и другие отвечали на волновавшие науку и практику вопросы именно этого периода, не учитывая то, что делалось в 1920-е годы. Поэтому в этом случае более уместно говорить о втором

рождении социологии, которая во многом носила сугубо освоенный характер, больше обращала внимание на аналогичные исследования за рубежом в этот период.

По Вашему мнению, как вернее называть недавний период развития нашей социологии: советской социологией или советским периодом (этапом) российской социологии?

Я не вижу принципиальной разницы между этими формулировками. Как говорится, что в лоб, что по лбу. Сам я лично употребляю словосочетание «советская социология», так же как по отношению к социологии XIX – начала XX века – «русская социология». Нынешней этап для меня – «российская социология» (ибо он представлен не только русскими, что, кстати, характерно и для советской социологии). У всех этих этапов есть достаточно важные, определяющие черты, которые серьезно отличаются друг от друга и в содержательном, и в институциональном отношении. А общим названием для всех этих трех основных этапов является термин «отечественная социология» для внутренней аудитории и «русская» – и для внутреннего, и для внешнего потребления.

Меня больше волнует не то, как назвать эти этапы, а то, что уже в условиях советской, а затем российской социологии, то есть с конца 1970-х до 1990-х годов включительно произошел разрыв поколений в отечественной социологии, что эти годы дали мало социологов, которые по теоретическим и прикладным наработкам могли бы сравняться с плеядой исследователей, рожденных в 1960–1970-е. Может, повлияли годы застоя, не было такой потребности в нашей науке у власти имущих, может, жесткий идеологический контроль и нежелание слушать правду-матку (тем более если она свидетельствовала о серьезных упущениях, ошибках, нарастающих проблемах), но факт остается фактом – образовался разрыв между теми, кто «рождал» новую науку и теми, кому надо было перехватить это знамя.

Сейчас Вы являетесь главным редактором журнала «Социологические исследования» и деканом социологического факультета Российского государственного гуманитарного университета. Как произошло такое соединение и что можно сказать об особенностях этих видов работы?

По постановлению президиума РАН я приступил к обязанностям главного редактора «СОЦИС» в марте 1995 года. Это было очень трудное время для научных журналов: прежние связи между редакциями, издательством, типографиями были нарушены, лихорадило безденежье, снижался тираж, было трудно писать о новых реалиях, так как в стране еще ничего не устоялось.

Пришлось выстраивать новую редакционную политику. В-первых, мы стали формулировать основные задачи на целый год и просили авторов ориентироваться на наши запросы. Во-вторых, открыли рубрики, которых ранее не было в журнале: «Политическая социология», «Экономическая социология», «Экосоциология», «Этносоциология» и некоторые другие.

В-третьих, мы ликвидировали раздел «Социология за рубежом» и стали давать материалы иностранных авторов наряду с отечественными в соответствующих рубриках. В-четвертых, мы сделали ставку на поддержку наших коллег во многих городах России и бывших союзных республик. В результате у нас были специальные подборки статей белорусских, украинских, казахских, армянских социологов, тематические выпуски из материалов социологов Сибири, Санкт-Петербурга, Урала, Поволжья, а также отдельных кафедр и факультетов. В целях поощрения молодежи ввели рубрику «Первые шаги». Значительно расширилось «Книжное обозрение», стали давать материалы о социологических журналах, имевших малый тираж. Это играло роль своеобразного информационного центра, с помощью которого мы довели до наших читателей возможно большее количество публикаций, рассыпанных по многочисленным издательствам.

Что касается социологического факультета, то я пришел в РГГУ в декабре 1995 года как профессор одной из кафедр. Пригласил меня ректор Ю.А. Афанасьев, бывший мой сокурсник и сподвижник по Сибири, и дал карт-бланш для организации факультета. Это было тем более важно, что мы к этому времени существенно расходились в оценках происходящего в России. Но договоренности он соблюдал, и я затратил много времени, чтобы создать крепкий, квалифицированный коллектив. О том, что факультет приобрел определенный авторитет, говорит конкурс последних лет – 8–9 человек на бюджетное место (а в 2007 году – 11 человек).

Мы много внимания уделяем прикладному характеру социологического знания и ориентируем своих студентов на то, чтобы они могли работать в маркетинге, рекламе, в пиар-технологиях, даем им очень серьезную математическую (треть времени на первых трех курсах уходит на эти предметы) и теоретическую подготовку. Особенно я рад тому, что некоторые наши выпускники стали нашими коллегами – решили посвятить себя преподавательскому делу.

Мне думается, что часть российских социологов отказывается от марксизма, пытается противопоставить ему иные философские концепции. Что можно сказать о перспективах марксизма в России?

К сожалению, на международных мероприятиях в 1990-е годы я видел больше марксистов из других стран, чем из России. Сложилась парадоксальная ситуация – почти все представители самой марксистской страны стали критиками марксизма, а отдельные – антимарксистами. Этот угар (иначе я не могу назвать его) привел к отказу от многих достойных разработок, образованию противоборствующих групп, неуважительной критике. Стало модным придерживаться различных концепций, не дополняющих и не развивающих друг друга. Сторонникам плюрализма мнений и теорий можно возразить, что многообразие не исключает общих принципов, которых должны придерживаться социологи.

Я никогда не отказывался от марксизма. Это не значит, что я не вижу ограничений, устаревших положений, ошибочных выводов, присущих марксизму, особенно в его советской интерпретации. Свою позицию я называю неомарксистской. Для меня важны разработки раннего Маркса, в которых он большое внимание уделял человеку, личности. Исходя из этого, я в трактовке предмета социологии придерживаюсь установки, что именно человек является началом и венцом общественно-го развития, которое предстает в виде реально функционирующего сознания, действий людей в определенных условиях общественной среды.

Не могу не заметить недавно проявившуюся тенденцию – ряд людей, поносивших марксизм, теперь возвращаются на позиции здравого смысла, ранее накопленному опыту анализа социальных проблем, обнаружив, что марксизм не потерял своей убедительности и привлекательности. Надо только отнестись к нему не как к догме.

Вы были вице-президентом и со-президентом Советской социологической ассоциации, активно работаете в Российской ассоциации социологов. Поэтому не могу не затронуть в нашей беседе еще одну актуальную тему: события на факультете социологии МГУ и создание новой профессиональной ассоциации – Союза социологов России (ССР). Как Вы относитесь к этим начинаниям и в чем Вы видите генезис этих процессов?

Кризис общества проявился и в кризисе нашей науки. Что бы ни говорили о причинах событий на факультете социологии в МГУ, о расколе социологического сообщества на ряд ассоциаций и обществ, это есть отражение тех катаклизмов, которые до сих пор не преодолела страна, а соответственно социологическая наука и социологические объединения.

Что касается конфликта в МГУ, то он стал отражением того, что социологическое образование уже не отвечает ожиданиям

и устремлениям части молодежи, а руководство и преподавательский состав недостаточно четко и оперативно учитывают требования времени. Это, кстати, касается не только МГУ. Социологическое образование требует серьезного пересмотра, внимательного учета происходящих перемен не только в экономике, политике, культуре, но и в умах и настроениях людей. На мой взгляд, резко возрастают требования молодежи к преподавательскому составу, его компетентности, способности не только передать знания, но и научить методам творческой работы и постоянного поиска. А если это усугубляется ошибками в создании нормальных условий для повседневной жизни молодых людей, мы вправе ждать самых различных коллизий. Тем более что молодежь, в отличие от предыдущего поколения, более самостоятельна, требовательна. Теперешние студенты, я отчетливо вижу, относятся ко мне не как к непререкаемому авторитету, а как к старшему товарищу, который помогает им в интеллектуальном развитии, может снабдить инструментами для лучшего устройства их жизни и профессиональной карьеры.

Что касается раскола в социологическом сообществе на несколько организаций: я считаю, что необходимо собраться всем нашим президентам и скоординировать работу, ибо сообщество волнуют содержательные, а не организационные вопросы. Надеюсь, что со временем это противостояние исчезнет, и мы станем единой организацией, которую будут заботить творческое обсуждение социальных проблем, методы их анализа, а не то, кто будет президентом или вице-президентом. Хочу подчеркнуть, что только творческий подход может решить возникающие проблемы и избавиться от праха амбиций и не всегда оправданных притязаний.

Что Вы могли бы сказать в заключение?

Скажу о двух вещах. Во-первых, когда меня студенты спрашивают, с какой профессией я сравнил бы нашу специальность, я отвечаю: социолог – это социальный врач. Он призван диагностировать состояние изучаемого им общества (организации, группы или слоя) и выработать рекомендации по улучшению ситуации в желательном для общества направлении.

А что значит заниматься диагностикой? Прежде всего, всесторонне изучать состояние и тенденции развития общественного сознания. А если это перевести на язык социологических понятий, то общественное сознание предстает в виде таких компонентов, как знание, мнения, интересы, ценностные ориентации, установки. Диагностике подвергается поведение, деятельность, отдельные действия людей. Кстати, такое понима-

ние предназначения социологии позволяет мне трактовать ее предмет как исследование состояния общественного сознания, поведения и окружающей среды. Именно на этой методологической стратегии, которую я называю конструктивистской, и строится мой учебник. Иная трактовка, когда социолог берется сначала изучать все общество, социальные институты и другие макроявления, делает его похожим на социального философа и позволяет обвинить его в некотором лукавстве: он, с одной стороны, утверждает прерогативы изучения общества в целом, а с другой – обращается к анализу того, что человек знает, как оценивает то или иное явление или процесс, как ориентируется в мире фактов, как в соответствии со всем этим строит свое поведение.

Во-вторых, надо всегда отчетливо представлять ограничения нашей профессии. Человек не обязан раскрывать перед нами душу, высказывать свое мнение обо всех проблемах. Поэтому он нередко *не хочет* давать ответ на интересующий нас вопрос. Кроме того, меня возмущают факты непрофессионализма, когда задаются вопросы, рассчитанные на интеллигентскую аудиторию, на которые человек заведомо *не может* дать квалифицированного ответа. Вместе с тем наша информация о социальных процессах не должна ограничиваться социологическими опросами – они должны дополняться статистическими данными, документами, мнениями экспертов. Дальнейшее развитие социологического знания я вижу в том, чтобы социолог был высокообразованным специалистом, опирающимся на весь багаж гуманитарных наук – философии, истории, права, экономики. К сожалению, неграмотность и профессиональная некомпетентность становятся очень распространенной болезнью нашего сообщества, что приводит к серьезным кризисным явлениям в науке.



Тукумцев Б. Г. – окончил Ленинградский электротехнический институт железнодорожного транспорта с дипломом инженера по автоматике и телемеханике, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Социологического института РАН, Санкт-Петербург. Основные области исследования: социология труда, управления и инноватики. Интервью состоялось в 2009 году.

Будимир Гвидонович Тукумцев – ровесник тех, кто образует первое поколение отечественных социологов. Но в нашу науку он пришел в начале 1970-х, когда многие из представителей этой когорты уже стали признанными специалистами. Однако большой опыт хозяйственного и партийного руководителя, обостренное чувство нового в социальной сфере быстро сделали Тукумцева одним из ведущих социологов труда.

Большую часть жизни Тукумцев прожил вне Ленинграда/Петербурга, но, по моему мнению, он – заметный представитель ленинградской социологической школы. Он родился в Ленинграде, воспитывался в высокообразованной и многокультурной семье, верной традициям петербургской интеллигенции. В Ленинград он приезжал не только для обсуждения профессиональных тем с В.А. Ядовым. Ему близка была особая атмосфера, существовавшая в те годы в ленинградской социологии. Было и обратное. Тукумцев всегда воспринимался своим в Ленинграде.

**Б.Г. Тукумцев:
«ТО, ЧТО Я
ОКАЗАЛСЯ
В СОЦИОЛОГИИ,
СВЯЗАНО
СО СЧАСТЛИВОЙ
СЛУЧАЙНОСТЬЮ
И С МОИМ
ИНТЕРЕСОМ
К ПРОБЛЕМАМ
УПРАВЛЕНИЯ»***

Будимир Гвидонович, пожалуйста, расскажите о том, в какой семье Вы родились? О чем говорит Ваша фамилия, имя и отчество? Мне в Вашей фамилии слышится что-то южно-русское или татаро-башкирское. Имя Вашего отца – Гвидон – редкое. Оно от Пушкина или у него есть иное происхождение? Откуда Буди-мир? Опять же славянское (типа, Влади-мир, Вели-мир) или дань Революции?

Сначала несколько слов об имени Будимир. Для того, чтобы рассказать о его происхождении, необходимо начать с того, что мои родители были языковедами. Отец учился на Историко-филологическом факультете Петроградского университета. Мама закончила в Петрограде Бестужевские курсы. Не исключено, что именно этим объяснялось их желание найти для своего сына имя в той эпохе,

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 5. С. 11–23.

которая была им профессионально ближе. Они нашли его в древнеславянском эпосе.

Из сказания об Илье Муромце известно, что когда этот богатырь победил на Киевской дороге Соловья – разбойника, он решил показать его Киевскому князю Владимиру. Однако ни сам князь, ни его бояре не поверили, что стоящий перед ними карлик и есть гроза киевских дорог. И тогда Илья, подняв разбойника за шиворот, скомандовал «А ну-ка, Соловей Будимирович, свистни!». Что было дальше – известно. Но отсюда следует, что имя отца разбойника Соловья – было Будимир. Вот оно-то и привлекло к себе внимание моих родителей и сопровождает меня всю жизнь. Оно из того ряда старославянских имен, которые Вы перечисляли, и в которые вкладывалось определенное содержание – Владеть миром, Новить мир, Будить мир и т.д. Аналогичным образом отнеслись родители и к поиску имени для моей младшей сестры. Ее зовут Лада.

Теперь, по поводу фамилии. У моего отца была немецкая фамилия – Мейер. Его предки по мужской линии были прибалтийскими немцами, выходцами из латышского города Тукум на Рижском побережье. Дед был известным в России, отмеченным государственными наградами, менеджером ряда крупных компаний. Что касается матери моего отца, то она имела смешанное эстонско-финское происхождение и девичью фамилию Перелийнен. В этом семейном «интернационале» все говорили только по-русски.

Что касается моей мамы, то ее происхождение также имеет не одни национальные корни. Отец ее, офицер Российской армии В.И. Назаревский, закончивший службу в чине подполковника, заслуживший личное дворянство и множество боевых наград за русско-турецкую кампанию 1877–1878 гг., был украинцем. Жена его, дочь белорусского фермера, была полькой. Считали же они себя русскими, хотя в семейном быту сохранялся украинский фольклор, элементы польской национальной культуры.

Фамилия Тукумцев появилась в нашей семье незадолго до второй мировой войны в виде псевдонима моего отца. В 30-е годы редакторы печатных изданий стали намекать отцу на необходимость использования псевдонима в своих работах. Перестали печатать статьи под его официальной фамилией. Особенно остро встал этот вопрос, когда зашла речь об издании первого стандартного учебника русского языка для средних школ под редакцией академика Л. Щербы и профессора С. Бархударова, в создании которого отец принимал активное участие.

Отец сделал попытку официально переменить фамилию, но она была безуспешной. Необходимые документы, которые хранились в церкви, были к тому времени уничтожены. Поэтому всю оставшуюся жизнь он был известен среди коллег лингвистов и своих учеников как Мейер-Тукумцев. Происхождение псевдонима нетрудно угадать. В его основе город предков – Тукум (ныне Тукумс).

Я переменял фамилию в послевоенные годы. Уже после окончания института. С этого момента литературный псевдоним отца был закреплен с его согласия и по его просьбе в качестве моей официальной фамилии.

Далее, Вы спрашиваете о происхождении имени отца. Семья, в которой он был рожден, относилась к лютеранской конфессии. В соответствии с сохраняющимися там традициями новорожденному дается несколько имен. В случае с моим отцом, одним из таких имен было имя Гвидо. Поскольку в семье любили русскую литературу и знали наизусть почти все поэмы Пушкина, имя Гвидо ко времени совершеннолетия отца трансформировалось в Гвидона, и было закреплено официально.

Я родился в первый день 1927 года на Миллионной улице, в доме напротив входа в Эрмитаж. Там находилось общежитие Военно-политической академии им. Толмачева, где в ту пору мой отец работал на кафедре русского языка. Довольно скоро наша семья переехала на Петроградскую сторону, и мы поселились на улице Съезжинской. Это была типичная для Ленинграда семья питерских интеллигентов – преподавателей, ученых. Мой отец, Гвидон Романович, был известным лингвистом, специалистом по синтаксису русского языка и сравнительной грамматике русского и эстонского языков. Перед Отечественной войной он преподавал в педагогических институтах им. Герцена и им. Покровского, на областных курсах учителей русского языка эстонских школ. Мама заведовала библиотекой в школе на Петроградской стороне, где учились и мы с сестрой.

Родители уделяли нам много внимания. Нас водили в театры, музеи, на выставки. Дома устраивались семейные литературные вечера. Детская память сохранила два предмета того быта – огромную библиотеку и рояль «Беккер».

Репрессии 30-х годов чудом не коснулись нас. Но хорошо помню, что некоторые наши знакомые попали в эти политические жернова. Да и я сам, будучи еще учеником третьего класса, оказался в очень неприятной ситуации в 1936 году. Под моей партией школьная уборщица обнаружила маленький, вырезанный из тетрадной обложки портрет Сталина. Поперек портрета детским почерком было написано слово «черт». Следствие (на-

стоящее следствие) длилось более недели. Комиссия из районного отдела образования приходила к нам домой и проверяла мои тетради. Меня многократно заставляли писать какие-то фразы. В конце концов, с меня подозрение сняли. Уже значительно позже я понял, как хорошо, что это был год 1936, а не 1937. Тогда малейшего подозрения, неосторожного слова было достаточно, чтобы оказаться в следственном изоляторе НКВД. Наверное, Вам сразу же захочется меня спросить, а как я сам тогда относился к этим событиям. Отвечу. С уверенностью, что это необходимые меры. Эту веру в правоту происходящего внушала нам школа со всеми ее общественными организациями и в какой-то степени родители, которые боялись за наше будущее. Ведь даже о том, кто и кем были наши предки, чем они занимались и каковы были их заслуги перед отечеством, родители рассказали нам с сестрой только после 1956 года, после разоблачения культа Сталина.

Мирный ход нашей семейной жизни прервала фашистская агрессия 41 года. Спасая школьников от бомбежек, городские власти стали вывозить их из Ленинграда. Одних на восток и на Урал, других в Новгородскую и Псковскую области. По второму варианту оказались вывезенными и мы с сестрой, вместе с мамой, как сотрудником школы. Нашей школе было предписано жить в деревне Каменный Остров, недалеко от города Боровичи. И все бы было хорошо, если бы чуть позже не выяснилось, что мы там обречены. И не только наша школа. Все места расселения школьников в этих двух областях оказались на пути движения германских войск, окружающих Ленинград. Некоторые школы, увидев (именно так, воочию) приближающихся оккупантов, кто на чем мог, успели добраться до линии своих войск, а затем до родного города. Но были и такие, которые остались под оккупацией. Все это происходило потому, что положение фронтов было засекречено. Никто толком не знал, где войска вермахта, а где наши. В том числе, не знали об этом и органы образования, которые руководили эвакуацией детей.

Нас спас отец. Институт Покровского, где он работал, закрыли, и он отправился к нам на воссоединение семьи. Поезда по Октябрьской железной дороге ходили на тот момент от Ленинграда только до станции Окуловка. От нее отец шел пешком около полусотни километров. Добравшись до нас он сообщил, что г. Бологое взят немцами, железная дорога перерезана и немецкие части двигаются в нашу сторону. Только благодаря его информации школа успела выехать в Ленинград до подхода германских войск по железной дороге, идущей от Рыбинска.

Но в родном городе семье надолго задержаться не пришлось. Поскольку и отец, и мать к тому времени оказались безработными, а отец был «белобилетник» – инвалид по зрению, да к тому же ему было за 50, им было выдано предписание о эвакуации в Северный Казахстан. За двадцать дней до закрытия блокады мы выехали из Ленинграда в далекое степное село Иртышское Павлодарской области. Это был центр большого сельскохозяйственного района, расположенный на берегу реки Иртыш. Там родители работали учителями в средней школе. Отец был завучем. Сестра и я учились. Но я учился заочно, потому что одновременно работал в местной школе механизации сельского хозяйства трактористом, а затем инструктором тракторного дела. В ту пору мне уже исполнилось 14 лет, и я был мобилизован по закону военного времени в «трудовую армию».

По окончании войны родители оказались в Таллинне по приглашению Министерства просвещения Эстонии. Ленинградская квартира была безвозвратно занята военным ведомством, библиотека сожжена. Возвратиться в Питер им было некуда. В Таллинне отец до последних своих дней работал заведующим кафедрой русского языка Таллиннского педагогического института. Написал и издал ряд учебников по русскому языку для старших классов эстонских школ. Мама в том же пединституте до выхода на пенсию преподавала русскую литературу.

Что повлияло на выбор Вами профессии? Вы не могли изначально желать стать социологом или политологом? В 40-е годы таких профессий в СССР никто не знал. Кто Вы по базовой профессии, исходному образованию?

Не помните ли Вы, когда и почему начали задумываться о социологии и о профессионализации в этой новой области? Что манило? Новизна, романтика? Нежелание работать по первой профессии? Осознание скрытых возможностей новой науки?

На эти вопросы мне трудно отвечать раздельно, они настолько связаны, что лучше их объединить.

Проблема выбора новой для меня профессии, профессии социолога, возникла у меня, разумеется, не в начале моей жизни, когда я оканчивал школу. С возможностью заниматься социологией я столкнулся много позже, в зрелом возрасте, когда у меня за плечами был уже значительный стаж работы совсем по другой специальности. В 1943 году, еще в Казахстане, я был принят на подготовительное отделение Ленинградского электротехнического института железнодорожного транспорта (сейчас он объединен с ЛИИЖТом), который был

эвакуирован в г. Алма-Ату (теперь г. Алматы). Поступая туда, я преследовал, честно говоря, единственную цель – вернуться после окончания войны вместе с институтом в родной город. Мечты о поступлении на юридический факультет, которые посещали меня в те годы, были отброшены. После двух лет работы в сфере сельской механизации техническое образование меня не пугало. К тому же студентам железнодорожного института давали рабочую карточку на хлеб. И это имело огромное значение для студента, живущего вне семьи. Конечно, и для меня, и для моих родителей было очевидным, что я был более склонен к гуманитарным знаниям. Но, решение, тем не менее, было принято и я, сначала в Алма-Ате, а затем в Ленинграде, закончил учебу и получил диплом инженера по автоматике и телемеханике железнодорожного транспорта.

Признаюсь, во время учебы в институте я больше сил и времени уделял культурно-общественным действиям, чем углублению своих технических знаний. Учился я вполне прилично, хоть и без особого энтузиазма. На завершающих курсах был отличником. Но диспуты, лекции видных деятелей культуры в доме общества знаний на Литейном, студенческие «капустники», организация воскресников по восстановлению Ленинграда увлекали меня значительно больше и занимали все мое свободное время. Последние годы учебы я был избран секретарем комитета комсомола, был принят в партию. Но быть «беззаветным» «солдатом партии» у меня уже тогда как-то не получалось. Именно в те годы я начал впервые ощущать «двоемыслие» по отдельным идеологическим вопросам. Правда, это не мешало мне сохранять высокую идентификацию с господствующими в те времена общественными идеалами. Что проявилось, в частности, в том, что я не считал для себя возможным, когда учеба была закончена, отказаться от направления на работу в Сибирь, на Омскую железную дорогу. И прибыл туда в срок – в августе 1948 года.

А потом прошло долгих 20 с лишним лет работы по специальности. В течение этого времени я последовательно, начиная с линейного электромеханика, прошел длинную лесенку руководящих постов. Мне довелось около 16 лет быть руководителем двух линейных предприятий автоматики и связи, избираться на партийную работу, в том числе в ранге секретаря районного комитета в г.Куйбышева (ныне г. Самара). Следует отметить, что это «хождение во власть» оставило у меня тяжелое впечатление. И когда у меня обнаружили болезнь позвоночника, я воспользовался этим, чтобы оставить свой партийный пост. Последнее место моей несociологической работы находилось в г. Самаре. В конце 60-х годов я стал

главным инженером одной из служб Куйбышевской железной дороги. Честно говоря, это была достаточно скучная, бюрократическая деятельность.

Именно тогда, а был это 1970-й год, у меня появилось желание перейти на научную работу в Технический университет и заняться там единственным, на что я имел право рассчитывать, а именно теорией телемеханики. Я начал подготовку к сдаче кандидатских экзаменов. И в соответствии с требованием процедуры написал реферат по философии – «Социальные последствия научно-технического прогресса». Мне легко далась эта тема, потому что все последние годы, будучи руководителем, я читал много книг по проблемам управления, работы Ф. Тейлора, А. Гастева, В. Керженцева. С особым интересом читал я работы отечественных философов, которые под флагом критики буржуазной социологии и зарубежной науки управления давали очень толковые обзоры социологических работ западных авторов. Меня очень интересовали знания такого рода. Еще в мою бытность руководителем предприятия, с коллегами по работе, а рядом со мной оказалась группа очень инициативных, молодых творческих людей, мы постоянно совершенствовали методы управления персоналом. В частности, пытались решить проблему повышения качества труда в условиях, когда осуществление постоянного контроля над поведением работника невозможно. Для эксплуатационного процесса эта проблема была, как и сейчас, достаточно актуальна.

Уже через пару дней после написания реферата меня нашел по телефону и пригласил к себе заведующий кафедрой философии университета Е.Ф. Молевич. Ничего не говоря о содержании реферата, он сходу предложил мне подумать о переходе на кафедру философии для руководства большой социологической лабораторией, которая к тому времени была там создана. Он описал множество преимуществ такого варианта перехода в науку по сравнению с работой на технической кафедре и всячески советовал воспользоваться возможностью более глубокого знакомства с социологией. Я был ошеломлен таким неожиданным предложением, но обещал подумать.

Первая в Куйбышеве (Самаре) социологическая исследовательская лаборатория, куда меня приглашал профессор Е.Ф. Молевич, была создана в 1969 году при кафедре философии Технического университета. Инициатором ее создания, как ни странно это сегодня звучит, стал лично первый секретарь Куйбышевского обкома партии. Это был опытный и талантливый руководитель. Но даже для него подобный шаг представлял собой в те годы рискованную инициативу. Идеологическое ведомство ЦК КПСС жестко пресекало активность

по распространению социологической практики на периферии. Не случайно, все кафедры общественного технического университета г. Куйбышева, где должно было появиться социологическое подразделение (Истории партии, Научного коммунизма, Политэкономии), приняли его «в штыки» и делали все возможное, лишь бы не позволить новому научному коллективу закрепиться на кафедре философии.

Смелость, проявленная секретарем обкома, основывалась на особом статусе Куйбышевской области. Значительная часть ее промышленности представляла собой ракетно-космический комплекс. Важность для руководства страны этого комплекса создавала для Областного комитета партии определенный статус «неприкасаемости» и даже «вседозволенности».

Словом, благодаря обкому партии, социологическая лаборатория сумела получить фонд зарплаты и набрать штат. А штат был не мал – более 28 человек. Это были люди самых разных профессий, которые рискнули попробовать себя в новой области знаний и деятельности. Все они имели уже какой-то опыт работы в различных сферах, но по каким-то причинам расстались со старым местом работы. Ситуация не давала им времени для глубокого освоения нового вида деятельности. Нужно было отрабатывать зарплату. И, прежде всего, следовало определить объект исследований, его проблемы.

Поскольку большую часть сотрудников лаборатории составляли люди с гуманитарным образованием, у них появилось желание испробовать свои «исследовательские силы» на объектах кинопроката. В частности были попытки заняться проблемами кинопроката. Но вскоре выяснилось, что культура – это не тот социальный институт (в советских условиях), который способен оплачивать затраты на исследования. Попытки заняться проблемами идеологической работы, несмотря на поддержку партийных органов, также не нашли своего продолжения. Тогда группа сотрудников была командирована в Москву, где, посетив Институт конкретных социологических исследований РАН, они познакомилась с методиками и получили некоторые рекомендации по составлению на предприятиях и для предприятий планов социального развития.

Следуя в этом направлении, лаборатория, опять же при поддержке обкома партии, заключила договор на составление таких планов с двумя крупными предприятиями и приступила к работе. Можно себе представить, насколько трудно было им разобраться в социальных производственных проблемах, если подавляющее большинство из них вообще впервые увидели заводской цех.

Между тем, партийные органы, давая новой социологической лаборатории шанс на выживание, ждали от нее вполне

конкретных результатов. Ждали серьезной исследовательской работы на предприятиях на хоздоговорной основе. Никто за счет бюджета этот исследовательский коллектив содержать не собирался.

Заведующий кафедрой прекрасно понимал, что уже прошел первый год и вскоре придет пора спроса за результаты. Ему нужен был такой руководитель лаборатории, который бы, с одной стороны, пользовался поддержкой партийных органов и мог отбивать атаки местных идеологов-консерваторов, а с другой, был способен ориентировать социологические исследования в сферу реальной экономики и получать оплату за свою продукцию. Почему-то он решил, что именно я отвечаю этим требованиям и поэтому не жалел ни времени, ни сил на уговоры.

Я долго раздумывал по поводу возможного поворота в своей жизни. Сама исследовательская работа в области социологии меня не пугала. То, что я смогу заниматься исследованиями не в технической, а в социальной сфере, меня даже радовало. Тем более, что я уже в общих чертах представлял себе, о чем идет речь. Мне казалось, что в какой-то степени предстоящие исследования могли бы стать продолжением моих управленческих поисков новых подходов к руководству людьми. Значительно больше сомнений возникало по поводу реальности достижения серьезного успеха на новом для меня поприще. Насколько я буду, например, в состоянии усвоить за короткий срок основы социологического знания, методы и процедуры исследований. Ведь у меня не было даже гуманитарного образования. К тому же надо было принимать в расчет и мой возраст. В тот год мне исполнилось 44 года. Было опасение – не станет ли все это профанацией науки.

Была, правда, и еще одна проблема – материальная. Переход в Университет означал для меня и семьи заметное снижение уровня нашего дохода. Во всяком случае, до будущей защиты диссертации. Но на семейном совете было решено не принимать в расчет эту потерю. Проблема виделась лишь в неясности перспективы такого выбора.

Кто оказал влияние на становление Вас как социолога? Скорее всего это были люди Вашего поколения. Почему Вы им поверили? Как происходила Ваша специализация? Кто направлял, руководил?

Я решил связаться с кем-либо из социологического сообщества в столичных городах. После длительных телефонных поисков мне повезло. Мои друзья в Ленинграде поговорили с руководителем Ленинградского филиала московского институ-

та социологических исследований Владимиром Александровичем Ядовым. И он дал ясный и четкий ответ на интересующие меня вопросы. Он сказал, примерно, следующее. Ситуации, подобные моей, когда социологической практикой начинают заниматься не гуманитарии, обычны для нашей страны. Занятие социологическими исследованиями, безусловно, имеют перспективу. Они становятся прикладной частью большой научной дисциплины, которая будет играть важную роль в жизни общества. И еще он сказал, что готов принять меня, если я приеду к нему для консультаций.

Этим в моих сомнениях была поставлена точка. Можно сказать, что ответ Владимира Александровича решил мою судьбу. И на протяжении более чем тридцати лет, с той поры, он стал для меня и учителем, и наставником, и большим другом. При его участии в Самаре был создан авторитетный социологический центр, известный своими исследованиями и научными семинарами в области социологии труда и социально-трудовой сферы. Владимир Александрович приглашал меня и моих коллег для стажировок, включая нас в число участников проектов. Мы участвовали в известных исследованиях: «Ценностные ориентации», «Человек и его работа–76» (причем, и в Ленинграде и в Самаре). В последние годы это было исследование, проводимое В.А. Ядовым совместно с канадскими учеными: «Становление трудовых отношений в постсоветской России» (2002 г.).

В 1987 году в Самарском государственном университете на базе нашего исследовательского центра по инициативе социологической лаборатории был открыт социологический факультет. Сейчас там обучается около 900 студентов. За участие в становлении этого факультета, которое заключалось в очень конкретной помощи при составлении учебного плана, в чтении лекций студентам и преподавателям Владимиру Александровичу было присвоено звание «Почетного профессора» Самарского университета. Он подарил факультету часть своей научной библиотеки. В 1995 году в университете было подготовлено и издано тиражом в 10 тысяч экземпляров четвертое издание его книги «Социологическое исследование: методология, программа, методы».

Но все это было много позже. А тогда, в 1971 году, я пришел на кафедру философии и в первый раз увидел моих будущих коллег, которые смотрели на меня кто с надеждой, а кто с сомнениями. Одних смущало мое хозяйственно-партийное прошлое, других мой возраст.

Уже на первом этапе знакомства выяснилось, что мой производственный опыт для начинающих социологов не бесполезен.

Мы пришли к согласию, что лаборатория будет разрабатывать лишь концепции социальных планов развития предприятий, основанные на материалах опроса и полученных объективных данных. Она откажется от самостоятельности в практической части работы. Я постарался убедить своих коллег, что только с привлечением опыта и знаний специалистов предприятий возможно превращение научной концепции в конкретный план социально-экономических мероприятий. Мы договорились также о том, что опросы, которые предваряют формирование основных задач плана, должны быть более глубокими и профессиональными.

В лаборатории началась учеба. За основу были взяты книги, полученные мною от моих друзей из Ленинграда. Прежде всего, это было первое, изданное в Тарту, учебное пособие В.А. Ядова «Методология и методика социологического исследования». Благодаря этой книге мы начали использовать в работе нормальную терминологию и четко представлять себе процедуры социологического исследования. Вторым нашим приобретением стала книга «Человек и его работа», подробное изучение которой заняло несколько месяцев. Знакомство с этими двумя трудами, которые сегодня рассматриваются как отечественная социологическая классика, буквально преобразило работу лаборатории. Она стала более целенаправленной, творческой. Изменилось представление о проблемах и направленности социального развития и его критериях. Изменилось содержание опросных листов, как и задач, проводимых опросов. В работе на предприятиях появилась уверенность. Приходило первое понимание того, что мы можем и должны делать. И тогда я выехал в Ленинград для знакомства с Владимиром Александровичем Ядовым.

Какими оказались Ваши первые впечатления от новых ленинградских коллег?

Помещение, в котором располагался филиал ИКСИ РАН в Ломоносовском переулке, что за Гостиным двором, представляло собой три неопределенной формы просторных комнаты, расположенных на трех этажах, соединенных лестницей. Именно из-за такой необычной вертикальной конструкции это помещение получило в те годы название «башня». Обитатели «социологической башни» встретили меня дружелюбно, с пониманием моих проблем. Владимир Александрович с интересом выслушал мой рассказ о Самарской социологической лаборатории и разрешил мне участвовать во всех мероприятиях сектора, знакомиться с методиками исследования и, при желании, участвовать в «полевой» работе. В это время в отделе

разворачивалась работа по исследовательскому проекту «ЦО» (Ценностные ориентации). Оно предполагало использование более двух десятков процедур и методик. Ежедневно, а иногда и чаще, в «башне» шло обсуждение методологических проблем исследования. Параллельно осуществлялся «полевой этап». Опросы проводились в проектных организациях и конструкторских бюро (исследовалась социальная деятельность инженеров).

К этому следует добавить, что Владимир Александрович, будучи главой городского сообщества социологов, регулярно организовывал социологические семинары, выступал с лекциями, проводил встречи с зарубежными социологами, на которые собиралось немалое число слушателей. Семинары проводились в больших помещениях. Например, в Доме ученых. И я старался не пропустить ничего, мотаясь по городу с утра до позднего вечера. Огромную помощь в усвоении теоретических и методических разработок отдела оказывали мне милые, добрые сотрудники филиала: Галина Иосифовна Саганенко, Лилия Викторовна Бозрикова, Вера Васильевна Водзинская и другие.

«Башню» постоянно посещали известные ученые-социологи, работавшие тогда в Ленинграде. Здесь я познакомился с Игорем Семеновичем Коном, Андреем Григорьевичем Здравомысловым. Довелось мне присутствовать и на празднике, устроенном в честь приезда в гости к Владимиру Александровичу всего состава тартуской социологической лаборатории во главе с Юло Вооглайдом и Мэрю Лауристин. Общение с ними было очень интересным и полным юмора, начиная с их появления. Во главе колонны гостей, поднимавшихся по ступеням «Башни», шли два молодых человека, которые несли на плечах бочку с пивом.

Два месяца, проведенные мною в Ленинграде, трудно переоценить с точки зрения приобретения мною исследовательского опыта. Я вернулся домой со значительным багажом знаний и умений. Я научился ценить теоретические основы исследования. Получил первые навыки серьезной методической работы. Особенно обрадовало то, что Владимир Александрович предложил мне сотрудничество, проведение в Самаре некоторой части полевых работ по ряду методик проекта «ЦО». И мы ее успешно выполнили.

Встреча с ленинградцами была не последней. Уже со следующего года начался регулярный «обмен делегациями». Вскоре сектор, руководимый В.А. Ядовым, вошел в состав ИСЭПа. Мы участвовали в пилотировании методик для исследования «Человек и его работа -76». Использовали основные выводы

этих исследований для разработки социальных технологий и делахи в Ленинграде, на заседаниях сектора сообщения о их внедрении в практику. А сотрудники сектора знакомились в Самаре с результатами внедрения этих технологий. Следует упомянуть, что внедрение технологий оформлялось актами в полном соответствии с государственными стандартами. Один экземпляр таких актов мы передавали ленинградцам. В 1979 году было решено провести в Самаре совместный семинар по перспективам решения социальных проблем труда на предприятиях. В гости к нам прибыл весь состав сектора во главе с шефом. Приехали коллеги-социологи из Донецка и Минска. Это было запоминающееся событие. В работе семинара приняли участие многие преподаватели Самарского университета, включая ректора. Почему я упоминаю присутствие ректора? Потому, что это был Рябов Владимир Васильевич, который в восьмидесятых годах, будучи заместителем заведующего отделом науки ЦК КПСС, приложил немало сил, чтобы Владимир Александрович баллотировался на пост директора-организатора Академического института социологических исследований.

Со времени самарской встречи общение между Самарским социологическим центром и Ленинградской социологической школой стало регулярным. Столь же регулярными стали научно-практические семинары по проблемам социологии труда в Самарском университете, на которые съезжались социологи со всей России от Ленинграда до Красноярска. А в 1987 году на берегу Волги в здании большого туристического комплекса по нашей инициативе была проведена первая Всесоюзная конференция «Социология труда и перестройка».

Чем Ваша лаборатория зарабатывала на хлеб насущный?

Как я уже говорил, работа Самарской социологической лаборатории началась, как и во многих других местах, с составления для предприятий планов социального развития. Наш опыт по обоснованию концепций и непосредственному составлению этих планов с каждым годом увеличивался. Всего за время своей работы лаборатория подготовила, защитила и передала предприятиям области более 30 планов социального развития. Кроме руководителей предприятий к нам обращались главы территориальных образований с просьбой подготовить аналогичные планы для городских районов и малых городов. Для работы по подготовке и формированию таких планов в лаборатории создавались исследовательские группы. Их возглавляли наиболее успешные и опытные сотрудники: Ольга Кузьминична Самарцева, Анна Семеновна Готлиб, Ирина Ефимовна Столярова, Лидия Михайловна Полянцева.

Вспоминая эти годы, мне хочется отметить, что, несмотря на стандартность процедуры разработки социальных планов, мои коллеги превращали эту работу в творческий процесс. Они постоянно вносили дополнения и изменения в методики социального планирования, находили новые проблемы и новые объекты изучения. Все это открывало для них возможность публиковать нетривиальные результаты их исследований. И, тем не менее, не исключено, что, следуя таким курсом, лаборатория так бы и превратилась в некое специализированное узко-прикладное предприятие по планированию. Но перерыв в этой относительной монотонности произошел благодаря одному из наших заказчиков – Волжскому автомобильному заводу и нашим ленинградским наставникам.

Создавая концепцию социального развития автогиганта, мы столкнулись с массой социальных проблем. Они возникали и негативно влияли на деятельность персонала, несмотря на передовое по тому времени оснащение цехов. Несмотря на высокую, в сравнении с другими отечественными предприятиями, культуру производства и высокий имидж предприятия. Проблемы порождались, прежде всего, использованием на заводе преимущественно неквалифицированного труда. По нашим подсчетам (а мы создали для этого специальную методику) к неквалифицированному труду относилось более двух третей рабочих мест. Этой жестокой реальности заводскими «трудовиками» противопоставлялась официальная тарифная сетка, из которой следовало, что на предприятии трудится более 70% работников высококвалифицированного и квалифицированного труда и только четверть составляют неквалифицированные работники. Секрет несовпадения заключался в том, что составленная на предприятии тарифная сетка позволяла в условиях советской системы оплаты труда несколько повысить зарплату значительной части работников завода.

Но это не снимало всех тех последствий, которые связаны с использованием низкого содержания труда. Поэтому нет ничего удивительного в том, что наше первое исследование на заводе обнаружило небывало высокую в сравнении с другими предприятиями, где мы работали, потенциальную текучесть.

Уже на следующий год она стала реальной и привела в изумление руководство завода. С передового предприятия в течение года уволился каждый девятый работник. И вот тут произошло нечто для нас важное. Руководство завода решило обратиться к нам с просьбой, найти способ смягчения причин, побуждающих людей, в основном молодежь, увольняться с предприятия.

И мы нашли хоть и частичное, но достаточно действенное решение этой проблемы. Мы использовали методологию «мотивационного ядра», выявленного в исследовании ленинградцев «Человек и его работа». Это ядро включало три мотива: материальный, содержание работы и перспективы профессионального продвижения. Первый и второй мотив не могли быть использованы для сокращения текучести. Это было не во власти завода. Но зато организация профессионального продвижения имела перспективы. После тщательного анализа реальной и потенциальной текучести, которое было выполнено сотрудником нашей лаборатории Ириной Ефимовной Столяровой, под моим непосредственным руководством была разработана «Технология профессионального продвижения» (1973г.). Это была достаточно сложная, многоэтапная технология, предусматривающая несколько вариантов смены рабочих мест и потребовавшая создания на заводе специального контрольного подразделения. Ее внедрение в первый же год дало снижение текучести на два процента, что означало для Автогиганта сохранение на рабочих местах 1700 человек.

С этого момента наша исследовательская группа, наряду с выполнением основного плана работ, превратилась в постоянного консультанта руководства Волжского автогиганта в области управления персоналом. По их просьбе было подготовлено, обосновано и внедрено еще шесть широкомасштабных социальных технологий. Меня тогда чрезвычайно радовало отношение руководство ВАЗа к нашим разработкам. От момента завершения нашей работы над технологией до ее внедрения в практику проходило не более двух месяцев. С такой оперативностью мне встречаться не доводилось. И я, и мои коллеги испытывали гордость за свои успехи. Именно тогда я ощутил уверенность в неограниченных возможностях применения социального знания в сфере производства. С улыбкой я вспоминаю сейчас, что за свои «изобретения» мы не получали дополнительно к своей зарплате ни копейки. Мы были рады тому, что нам выдавался официальный акт на внедрение, благодарственные письма, почетные грамоты завода. Так мы проработали на заводе семь лет. За этот период я подготовил и в дальнейшем (в 1985 г.) защитил кандидатскую диссертацию по анализу проблем мотивации индивидуального труда в условиях конвейерного производства. Расставаясь, мы передали свои функции коллективу заводского отдела социологических исследований, созданного руководством завода по моей инициативе и при моем участии. Ее руководителем стал известный среди заводских социологов, выпускник МГУ Владимир Семенович Левин. Сотрудники, которые работали под нашим началом на

заводе и жили в г. Тольятти, перешли в заводской социологический отдел. Этот отдел действует и в настоящее время.

Были ли в Вашей лаборатории другие исследовательские направления?

Продолжая свою хозяйственную работу, мы постепенно все в большей степени укрепляли свои позиции по самым различным направлениям социальной инженерии. А.С. Готлиб вела исследования условий адаптации молодежи на предприятиях, О.К. Самарцева занималась анализом социального самочувствия работников, С.А. Ключников работал над проблемами снижением социальной напряженности при внедрении бригадного подряда. Нашими объектами были Самарские предприятия, а также предприятия других областей. В частности, мне довелось поработать в качестве управленческого консультанта на заводе атомного машиностроения в г. Волгодонске (1982–1984 гг.), в Строительной организации, соорудившей Хмельницкую атомную электростанцию (1983–1987 гг.), и в некоторых других организациях.

В конце 80-х, когда начался экономический кризис, у руководителей предприятий исчез интерес к повышению эффективности управления персоналом. Его заменил интерес к проблемам собственности. Эту перемену ориентации мы почувствовали очень остро. Но тут появилось новое серьезное дело. И это нас основательно выручило. Именно в этот период было принято Государственное решение о создании системы социологического образования в стране. Совместно с Е.Ф. Молевичем и А.С. Готлиб мы проявили инициативу, подготовив предложение об открытии в Самарском университете социологического факультета. Инициатива при поддержке ректората Университета была одобрена в Министерстве высшего образования, и сотрудники социологического центра включились в подготовку к открытию в Самарском государственном университете нового учебного подразделения. Это в значительной степени снизило угрозу «безработицы». Большая часть наших сотрудников была принята преподавателями на новый факультет.

Деканом факультета была назначена «ветеран» лаборатории Анна Семеновна Готлиб, которая к тому времени имела степень кандидата социологических наук. Кафедру «Социологии, политологии и управления» возглавил профессор Е.Ф. Молевич. Я оставался руководителем исследовательского центра, но на мою долю выпала подготовка учебных планов по всем дисциплинам специализации. Коллеги готовили ряд других курсов. Нельзя не сказать о том, что мы не избежали участи периферийных учебных заведений, которые в тот период создавали

социологические кафедры. По рекомендации Министерства высшего образования новая кафедра формировалась на базе ликвидированной кафедры Научного коммунизма. Следствие этой рекомендации имело далеко идущие последствия. «Научно-коммунистический акцент» в лекциях преподавателей, перешедших из старой кафедры, не исчезает, к сожалению, до настоящего времени. Но, кое в чем у нас было лучшее положение по сравнению с другими ВУЗами. Мы располагали вполне профессиональным социологическим центром с его сотрудниками и таким консультантом как В.А. Ядов. Поэтому учебные планы и программы Социологического факультета в Самарском университете до сих пор заметно отличаются от аналогичных документов других периферийных учебных заведений.

Факультет расширялся с каждым годом. Сегодня здесь функционирует пять кафедр, аспирантура, докторантура. На кафедрах работают кандидаты социологических наук, подготовленные в аспирантуре факультета. Только мною, в качестве научного руководителя, были подготовлены к успешной защите шесть аспирантов. Это позволило сформировать на факультете творческую группу ученых-исследователей проблем трудовой деятельности и трудовых отношений.

В то же время наш социологический исследовательский центр не свернул своей деятельности. Новая региональная власть, которая установилась в области после событий 1991 года, к нашей радости, стала проявлять к социологам не меньший интерес, чем прежняя. Может быть, этому способствовала наша активная презентация своей деятельности. Мы в те времена систематически выступали в печати, появлялись на телевизионном экране. Так или не так, но нам предложили сотрудничать, и у нас появился очень большой объем работы. Это позволило преобразовать наш социологический центр в Научно-исследовательский институт «Социальные технологии» при Самарском университете и приступить к систематической работе по заказам областной администрации. Официальное руководство институтом возглавил Е.Ф. Молевич. Мне, как директору по науке, было поручено руководить научной деятельностью этого института и вести переговоры с заказчиками.

Мне приходилось слышать о начатом Вами в начале перестройки региональном промышленном мониторинге. Не могли бы Вы рассказать о нем подробнее? Подолжается ли этот проект сейчас?

Да, наиболее солидным проектом в рамках нашего сотрудничества с администрацией города и области стал «Мониторинг социально-трудовой сферы промышленности и социальных ор-

ганизаций области». Его начало относится к 1995 году. Экономическая обстановка в области была сложной. На предприятиях отмечался высокий уровень социальной напряженности. И мне представилось весьма своевременным предложить руководству области программу постоянного отслеживания социальной и социально-экономической ситуации на промышленных предприятиях. При этом предполагалось сосредоточить внимание преимущественно на социальных проблемах использования трудового потенциала предприятий, организаций, и на проблемах его воспроизводства в условиях перестройки. Многомерное пространство трудовых, управленческих, правовых и социальных отношений, порождающих эти проблемы, в предлагаемом проекте обозначалось как социально-трудовая сфера. Для начала в ее пределах было выделено более десяти различных направлений анализа.

Предложение было одобрено губернатором области. Правда, этому предшествовал мой доклад на экономическом совете области. Но с тех пор, в соответствии с этим замыслом ежегодно, на шести группах объектов области, до настоящего времени осуществлялись выборочные опросы и анализ документов обследуемых организаций. Регулярно обследуются промышленные, строительные, транспортные предприятия, медицинские, социальные учреждения, а также учреждения культуры. Акцент на социальных проблемах позволяет администрации области своевременно видеть просчеты руководства предприятий и организаций в работе с персоналом. Позволяет он также дать оценку мерам по совершенствованию социальной политики Правительства области.

Важной особенностью осуществляемого проекта является то, что работа осуществляется с участием областных органов статистики. Известно, что закрытость статистиков – это извечная проблема многих социологов страны. В Самарской области эту закрытость удалось преодолеть. Статистики входят в состав исследовательской группы. Это позволяет осуществлять сравнительный анализ объективных и субъективных данных.

Непосредственным руководителем проекта с начала его основания является кандидат социологических наук, доцент Н.В. Авдошина. Я взял на себя функции консультанта исследований. Основные аналитики – кандидаты социологических наук доценты Ю.В. Васькина и В.Ю. Бочаров. Мне приятно осознавать, что все они были моими аспирантами. Не теряют они контактов со мной и в настоящее время.

С начала осуществления проекта промышленного мониторинга прошло 14 лет. Но до последнего времени он вызывал неизменный интерес у руководства области. В конце 90-х го-

дов было решено еще более расширить круг объектов анализа. Аналогичный мониторинг был начат в сфере сельского хозяйства области. В качестве руководителя мониторинга социальных проблем села работает «ветеран» нашего социологического центра А.Ф. Боковенко. Материалы исследований в рамках этого, нового проекта позволили чиновникам области сделать для себя немало серьезных открытий, о чем они, не стесняясь, говорят на совещаниях по обсуждению материалов мониторинга. Недавно, с помощью Самарского научно-исследовательского института, проект мониторинга социально-трудовой сферы задействован в Пермской области. И там он также вполне устраивает областное руководство. Успехи сотрудников Самарского научно-исследовательского института в работе над проектом «Мониторинг» не остались незамеченными. Разработка была отмечена Губернской премией за заслуги в области науки и техники. Инициатору и автору программы, а также руководителям обоих направлений мониторинга были присвоены звания лауреатов этой премии.

В заключение рассказа о своей социологической жизни следовало бы упомянуть о такой ее немаловажной составляющей, как наше социологическое научное сообщество социологов труда. Сейчас оно имеет официальное название: Научно-исследовательский комитет «Социология труда» РОС. Сформировалось же оно в рамках Советской социологической ассоциации в 1985 году. Руководство им осуществлял в те годы Б.В. Ракитский. Но уже в 1987 году он передал, через процедуру перевыборов, свои полномочия мне, воспользовавшись представительным сбором социологов труда на Всероссийской конференции в Самаре.

С этого момента Самарский государственный университет стал центром неформального творческого сообщества социологов, которые работали в области социальных проблем трудовых отношений и трудовой деятельности. И мне довелось стать координатором всей этой работы. В университете проводились регулярные теоретико-практические семинары и конференции по актуальным темам социологии труда. Для участия в них приезжали социологи из самых разных уголков страны. В числе постоянных участников были А. Алексеев, В. Герчиков, А. Готлиб, И. Козина, Л. Кесельман, Б. Максимов, В. Маркин, П. Романов, А. Русалинова, М. Слюсарянский, Ж. Тощенко, В. Щербина, Я. Эйдельман и многие другие. Место проведения научных встреч не ограничивалось Самарой. Семинары проходили в Ленинграде, в Пензе, во Владимире, в Перми. С докладами перед участниками семинаров выступали в те годы Н. Дряхлов, А. Здравомыслов, Л. Косалс, О. Маслова,

А. Назимова, А. Пригожин, Н. Покровский, Р. Рывкина, А. Тихонов, В. Ядов и ряд других ученых. Это была весьма интересная и серьезная школа для всех ее участников. Материалы встреч публиковались в Научных сборниках университетов, в которых проходили эти встречи.

На семинарах рассматривалась, например, и была одобрена первая учебная программа «Социология труда» для социологических факультетов ВУЗов. Здесь впервые были представлены и обсуждались идеи о демократизации управления в рабочих бригадах, реализованные на ВАЗе (Б. Тукумцев) и о люмпенизации трудовой деятельности в СССР (В. Герчиков). Впервые рассматривались отечественные методики оценки восприятия заработной платы и идентификации работающих со своей организацией.

Владимир Александрович Ядов говорил мне о подготовке большой книги по социологии труда. Он писал, что Вы – мотор этой работы, а он – шпindelъ... Закончили? В чем суть этого труда? Что удалось сделать?

Это был наиболее значимый совместный проект нашего научного социологического содружества. Его результатом стало создание теоретико-прикладного толкового словаря «Социология труда». Инициатива по его созданию исходила, действительно, от меня. Мне тогда, в 2001-м году показалось разумным подвести на грани веков некоторый промежуточный итог теоретических и прикладных исследований в сфере социологии труда, которые выполнялись в нашей стране во второй половине минувшего века. Представлялось вполне своевременным свести воедино и осмыслить тот понятийный аппарат, который используется российскими социологами труда в своих научных разработках и учебных пособиях. Я посоветовался с Владимиром Александровичем Ядовым и он эту идею поддержал. Нашла она поддержку и у коллег – членов нашего сообщества «трудовиков». Владимир Александрович согласился взять на себя роль ответственного редактора, но при условии, что я буду редактором составителем.

Работа по подготовке 400 статей словаря заняла три года. В ней приняли участие более пятидесяти авторов из Университетов и академических институтов России, а также Белоруссии. В нее, прежде всего, вошли исследователи и преподаватели, которые являются постоянными участниками встреч в рамках нашего «трудового» сообщества. Но наряду с этим мы обратились с предложением принять участие в работе над словарем к авторам статей и монографий по проблемам труда и трудовым отношениям, опубликованных за последние годы. Почти все

дали свое согласие на сотрудничество. И оно было успешным. Нельзя не отметить при этом, что группа авторов из Самары, была наибольшей, как по числу авторов, так и по количеству написанных статей. Самарское социологическое сообщество подтвердило свою приверженность и научный интерес к проблемам социологии труда, заложенные еще многие годы назад в сотрудничестве с ленинградцами.

Обязанности тематических редакторов в работе над словарем взяли на себя В.И. Герчиков, С.Г. Климова, В.В. Щербина (Москва), П.В. Романов, В.Н. Ярская (Саратов), М.А. Слюсарянский (Пермь), Я.Л. Эйдельман (Владимир).

В качестве ученого секретаря поддерживал постоянное взаимодействие участников проекта, с присущей ему четкостью и обстоятельностью, В.Ю. Бочаров (Самара).

Словарь, объемом в 400 страниц (27,0 п.л.), вышел из печати в издательстве «Наука» в 2006 году. Его тираж составил 2000 экз. Он стал первым такого рода социологическим изданием в России. На ежегодном конкурсе социологических изданий, проводимом Российским обществом социологов, ему было присуждено первое место. Все пятьдесят семь участников этого исследовательского проекта были отмечены «Почетными грамотами Российского общества социологов (РОС)».

Вот, пожалуй, все, что может, как-то кратко характеризовать мою работу в сфере социологии труда до 2005 года. А в 2005 году состоялся мой переезд в Санкт-Петербург, «возвращение к родным пенатам» и начало работы в Социологическом институте Академии наук.

Вы, действительно, хорошо известны в Ленинграде. Почему Ленинград, а не Москва? Или и Москва тоже?

Я думаю, что из всего, о чем я говорил ранее, становится ясным, почему я имею больше дружеских контактов в питерском социологическом мире, чем где-либо еще. Тем не менее, мне доводится достаточно часто бывать и на московских социологических тусовках. После переезда В.А. Ядова в Москву я стал появляться там чаще. Но дружба с москвичами чаще завязывалась не столько в связи с моими появлениями в Москве, сколько во время их посещения по нашему приглашению Самары. Именно в Самаре мы знакомились и обсуждали новости социологического мира Москвы. Там мы узнавали, кто над чем работает, чем интересен. Слушали научные сообщения москвичей на наших семинарах и конференциях. В Самаре постепенно сложилась благоприятная обстановка для таких встреч. Поэтому москвичи, и не только москвичи, с удовольствием приезжали к нам. Кроме вполне устраивающих их дис-

куссий на социологические темы у нас была еще Волга во всей своей красе и наше традиционное гостеприимство.

Пожалуйста, охарактеризуйте области Ваших научных интересов. Как они менялись? Под воздействием чего?

В течение первых лет моей работы на социологическом поприще мои представления о собственной научной ориентации сформировались не сразу. Тем не менее, по мере «вхождения в роль» становилось очевидным, что я работаю в сфере социологии трудовой деятельности. И это позволяло мне говорить о том, что это и есть предмет моих научных интересов. Но этим дело не могло ограничиться. Социо-инженерный характер моей работы на объектах исследования, ее прикладная направленность не позволяли оставаться в рамках только социологии труда. Внедрение в практику наших рекомендаций, основанных на результатах социологического анализа каких-то практических проблем, требовало вмешательства в сферу управления персоналом. Это побудило меня к серьезному знакомству с этой областью знаний. Я подготовил и опубликовал ряд статей по социальным проблемам управления. Довелось участвовать в дискуссиях о предмете социологии управления. Мною был подготовлен и прочитан соответствующий курс лекций для студентов Социологического факультета. Таким образом, в рамках моих интересов оказалась и социология управления.

Поскольку я занимался социальными технологиями, мне стали необходимы знания, навыки и в этой области социо-инженерной практики. И я ознакомился с опытом такой работы в России и за рубежом. Все это помогло мне предложить и внедрить на предприятиях более десятка социальных технологий. Материал этих поисков стал основой курса лекций для студентов и по этой теме. Не исключено, что меня можно считать социо-инженером, имеющим опыт разработки и внедрения социальных инноваций.

И, все-таки, несмотря ни на что, мои интересы находятся, прежде всего, в сфере социологических проблем трудовой деятельности. Причем, с годами я все больше уделяю внимание теоретическим основам этой научной дисциплины.

По мере работы в области социальных исследований трудовой деятельности у меня накапливалась неудовлетворенность тем, насколько ограниченно мы используем возможности собственно социологии в исследованиях трудовой сферы. Судя по публикациям, это не только мое мнение. Сейчас можно увидеть статьи, в которых говорится о том, что социология труда начала исчезать. Что ее предмет «растаскивается» по смеж-

ным социологическим дисциплинам. Что явно экономические или психологические исследования в области труда начинают называть социологическими. Что происходит психологизация социологии труда. Кстати, об угрозе «психологизации» социологии еще в 1971 году говорил в своем докладе А.Г. Здравомыслов, выступая на городском семинаре ленинградских социологов в доме ученых, на котором я присутствовал. К сожалению, Андрей Григорьевич оставался одинок все последние годы в своих опасениях за «социологичность» социологии труда и в своих поисках ее усиления. Наконец, многими отмечается тот факт, что в наших ведущих социологических журналах исчезла рубрика «Социология труда».

Мне представляется вполне вероятным, что причины всего этого сложились под влиянием той специфической ситуации, которая имела место в период возрождения социологии в России. Еще в 60-х годах. Следует вспомнить о том, что в середине минувшего века, когда радостно воспринимался «ренессанс» отечественной социологической науки, объект и предмет социологии труда были определены очень нечетко. Можно предположить, что на это не хватало ни времени ни сил. Да и достаточных знаний. Как пишет в своей книге «Социология труда» Данило Ж. Маркович: «В Советском Союзе утверждение социологии труда как особой науки началось не с дискуссий о ее предмете, а прежде всего с констатации тех изменений, которые произошли в содержании и характере труда в связи с автоматизацией, техническим прогрессом...». (2) Не исключено, что серьезной причиной отказа от дискуссий по поводу предмета социологии труда во второй половине XX века были жесткие рамки идеологических условий советского периода, когда кроме Маркса никакие иные авторитеты не признавались. Разумеется, крупные, классические исследования того времени (имеется в виду исследование «Человек и его работа», «Рабочий класс и научно технический прогресс» и некоторые другие) сопровождалось теоретическими разработками отдельных изучаемых проблем. Но они и не ставили своей задачей создать общие теоретические основы такой науки, как социология труда.

Это привело к тому, что к компетенции отечественной социологии труда на начальном этапе был отнесен неоправданно широкий круг социальных проблем и социальных аспектов промышленного труда и управления им. Она была в тот период единственной научной дисциплиной, к которой обращались и в русле которой работали и заводские социологи, и исследователи академических институтов. Словом все, кто был занят социальным планированием, стабильностью персонала,

адаптацией молодых рабочих и многими другими частными проблемами трудовой практики. Соответственно проблематика социологии труда была весьма обширной. Она включала в себя развитие трудовых коллективов, оптимизацию управления ими и их структуры. Под ее эгидой анализировались проблемы профессионального роста и адаптации молодых работников, условий труда, мотивации труда и образа жизни, социальных аспектов содержания труда и профилактики заболеваний, уровня жизни, межличностных отношений, отношений в коллективе и психологического климата.

Это была, по сути, не столько социология трудовой деятельности, сколько социология деятельности предприятия. Или социология социально-трудовой сферы производства. Не случайно многие исследователи того времени (в том числе и В.Г. Подмарков) называли эту отрасль социологических знаний среднего уровня «промышленной социологией».

Так не могло продолжаться долго. Начиная с 70-х годов, одним из последствий сложившейся предметной неразберихи стал «процесс распада» социологии труда. От нее постепенно начали «отпочковываться» и институционализироваться в самостоятельные научные дисциплины «Социология управления», «Социология организаций», «Экономическая социология», «Физиология труда», «Психология труда», «Эргономика», «Социология профессий». Те проблемы, которые они уносили с собой, были действительно их проблемами. Все чаще и чаще, по мере становления самостоятельных дисциплин, стали появляться претензии, что социологи труда работают «не на своем предметном поле». Все это можно было назвать кризисом социологии труда, как научной дисциплины.

Мне представляется, что настало время вернуться к уточнению и обоснованию объекта и предмета социологии трудовой деятельности. А также к определению характера ее взаимодействия с другими социологическими и социальными дисциплинами, действующими в сфере труда. Это бы позволило укрепить научные и исследовательские позиции заслуженной дисциплины в научном мире и открыть простор для творческого переосмысления ее возможностей в новых социально-экономических условиях.

К коррекции теоретических позиций подталкивает и общее повышение уровня социологического знания. Нельзя не видеть того, какой путь прошла за последние годы мировая и отечественная социология. В созданном ею полипарадигмальном научном мире необходим поиск возможности новых подходов к анализу трудовой деятельности, позволяющих полчить новое знание в этой сфере, учитывающее, в том числе,

и глобальные изменения в характере факторов социальной деятельности вообще.

..Т.е. от теории никуда не уйти...

Да, безусловно, несмотря на длительный срок прошедший после осознания проблемы, не завершена дискуссия об объекте и предмете социологии труда. Нам представляется, что когда мы рассматриваем человека в труде исключительно как субъекта трудовой деятельности, достаточно обоснованным стал бы отказ от использования в качестве объекта социологического анализа понятия «труд» и замены его термином «трудовая деятельность». Хотя эти понятия и синонимичны, нам представляется, что именно в трудовой деятельности, содержатся и появляются вновь те социальные проблемы, функционируют социальные механизмы и отношения, которые относятся к компетенции социологии. Аналог такого подхода можно увидеть и в одном из современных определений объекта самой социологии. «В качестве своего объекта эта наука традиционно рассматривает общество. Но для нынешней социологии, пишет известный польский ученый П. Штомпка, общество – это не конкретный коллектив, не конкретная людская группа, а скорее своеобразный вид деятельности, заявляющий о себе самыми разнообразными способами в различных коллективах, совокупностях, группах, формирующихся на разных уровнях» (3). Ориентация социологии труда на исследование деятельности в трудовой сфере позволяет более взвешенно подойти и к определению ее предмета.

Многообразие подходов, которое характерно для современного состояния социологии, допускает неодинаковость предметов исследований. Это применимо и к социологии труда. Так, например, марксистский подход предполагает сегодня в качестве своего предмета – отношение к труду. Здесь сформировались свои школы, своя теоретико-методологическая база, свои обоснования возможностей такого подхода. Активистски-деятельностный и институциональный подходы формируют в рамках социологии труда свои предметы исследований. В то же время следует заметить, что преимущества и недостатки этих подходов очень слабо подвергнуты специальному теоретическому анализу.

В настоящее время мои усилия направлены на более полное раскрытие возможностей хорошо известного, но, на наш взгляд, практически не используемого в отечественных исследованиях – культурного, и если следовать примеру Дж. Александера, то «культурального подхода». Использование необычного термина объясняется попыткой культуральных

социологов размежеваться с исследователями, занятыми в области социологии культуры. Исторически сложилось так, что и там определения понятия «культура» очень похожи. И там, и там культура рассматривается как способ жизни.

Тем не менее, это сходство чисто поверхностное. В методологии культурального подхода культура занимает принципиально иное место в деятельности людей, нежели то, которое ей отводится, традиционной социологией культуры. В социологии культуры под понятием «культура» понимается зависимая переменная, которая формируется под влиянием изменений в содержании деятельности и в социальной структуре общества. Культуру рассматривают как эпифеномен социального, как совокупность результатов деятельности людей, как социальное наследие. Отсюда идея культурного лага, неизменного отставания культуры от событий социальной действительности. Что касается культуральной социологии, то здесь культуре отводится совершенно иное место в деятельности людей. Она рассматривается как координатор, формирующий и регулирующий социальную деятельность. Как «движитель» социальных изменений.(4)

Приобретающий в настоящее время все большую популярность в мировой социологической практике, культуральный подход предполагает в качестве своего предмета «культуру трудовой деятельности».

Преимущество использования такого подхода заключается в возможности более глубокого анализа социальных механизмов трудовой деятельности во всем их многообразии и полноте. На наш взгляд, он дает возможность достаточно обоснованно прогнозировать характер и качество этой деятельности на перспективу и находить средства влияния на нее.

Как изменилась Ваша работа после переезда в Петербург?

После переезда в 2004 году в Петербург, с началом работы в Социологическом институте РАН, я использую открывшиеся здесь возможности как раз для работы над теоретическими проблемами современной социологии трудовой деятельности во всех ее ипостасях. В частности, большой интерес для методологических поисков представляют такие объекты исследования как научная и инновационная деятельность. В фокусе моих разработок культуральный подход к социологическому анализу именно этих видов деятельности. На Всемирном социологическом конгрессе в Дубаи в 2006 г. развитию культурального подхода было уделено значительное внимание. Но отечественная исследовательская практика еще не имеет опыта его использования. Я делаю в пределах моих возможностей попытку накопить такой опыт и благодарен В.А. Ядову,

который поддерживает мои усилия. С коллегами по сектору нашего института в 2007–2008 гг. мы реализовали программу первого небольшого эмпирического исследования на основе культурального подхода. И у нас складывается впечатление, что взятое нами направление работы достаточно перспективно. Разумеется, мы не рассматриваем используемый нами подход в качестве панацеи. Реальны и необходимы поиски и других путей реализации возможностей социологической теории в анализе проблем трудовой деятельности. Но они пока что ждут своих исследователей.

Как-то незаметно мы подошли к нашим дням, но мне хотелось бы вернуться к прошлому, к смерти Сталина и выступлению Хрущева. Вы были уже зрелым по возрасту человеку, многое видевшим, жившим в семье, много пережившей... как Вы восприняли эти события? Помимо войны эти события были формирующими Ваше поколение... Может быть, осмысление всего происходившего в те годы и практика партийной работы «раскрыли Вам глаза» и постепенно привели в социологию?

Что касается моего восприятия решений XX партийного съезда, то для меня, пожалуй, большей неожиданностью была смелость и решимость разоблачителей культа личности Сталина, которую они проявили, чем сам факт ниспровержения этого культа. Правда, в дальнейшем, многие годы спустя, я понял, что эта «смелость» помощников вождя была порождена страхом перспективы оказаться в числе ответчиков за все содеянное вместе с ним. Ведь это были люди одной политической культуры. Судя по всему, они решили опередить события и раскрыли факты сталинского произвола, о которых рядовые члены правящей партии и понятия не имели. Но тогда у меня сложилось ощущение предстоящих коренных перемен в жизни страны. Тем более, что действительно в те годы страна стала жить заметно иначе. Что же касается Сталина, то в моей юношеской и более позднего периода памяти накопилось немало фактов не в его пользу, а точнее, не в пользу проводимой им политики. Поэтому для меня он уже длительное время был не светлым образом лидера, а своего рода «злым гением». Хотя, как я уже говорил ранее, в истинность коммунистической идеи я, тогда еще, как и многие мои сверстники, веры не терял.

В ту пору мне не с кем было обсуждать происходящее. Мы были приучены опасаться подобных разговоров. Был выработан своеобразный «инстинкт самосохранения». Репрессии по отношению к людям, которых я знал, даже после войны не прекращались. И эти репрессии постепенно освобождались в моем восприятии от сложившейся еще в детстве уверенности в их не-

обходимости. Понимание необоснованности, противоестественности таких мер, стало приходиться ко мне особенно после встреч со ссыльными в Сибири, где я некоторое время после окончания института жил. Появлялись вопросы и сомнения, которыми я ни с кем не мог поделиться. Еще во время учебы в институте мой однокурсник на семинаре по истории партии спросил у преподавателя, почему у принципа «демократический централизм» в реальности действует только его вторая часть. Его осудили по 58 статье за антисоветскую агитацию. В 1949 году была репрессирована вся кафедра марксизма-ленинизма Ленинградского железнодорожного электротехнического института, в котором я учился. Годом позже мимо меня по транссибирской железной дороге, где я работал, прошли эшелоны, в которых везли на поселение в Сибирь крестьян с Западной Украины и Прибалтики. Их везли под охраной, с собаками и пулеметами на крышах вагонов. Вместе с детьми и стариками.

В те годы мне стали известны факты репрессий в отношении освобожденных из плена солдат Красной армии. Дальний родственник моей семьи в 1942 году в составе миллионной группировки наших войск, окруженной немцами под Харьковом, оказался в немецком плену. При возвращении на родину в 1945 году он по ранению, а может быть потому, что сотрудничал со СМЕРШ-ем, был отпущен домой. Но из его рассказов следовало, что все остальные обитатели его барака в немецком лагере были по прибытии на родину арестованы. Их отправили в Воркуту, в лагерь для заключенных без предъявления обвинений. В моих представлениях это не находило оправданий. Ведь была объявлена амнистия.

В литературных источниках, которые нам рекомендовались в институте по курсу «Основ марксизма-ленинизма» и которые я внимательно читал, я не находил оснований и объяснений происходящего беспредела «в обществе победившего социализма». Меня ставили в тупик публичные славословия в адрес Сталина, которые невероятно умножились после его семидесятилетия. Это было какое-то повальное низкопробное угодничество. Эпитеты, употребляемые в обращениях «к великому вождю всех времен и народов, любимому товарищу Сталину», ассоциировались у меня с обращениями эмиров к шаху в популярных в те времена веселых рассказах о похождениях Ходжи Насреддина.

Поэтому решение съезда было воспринято мною как заслуженное историческое осуждение Сталина в рамках партии. Партия, как мне казалось, как бы очищала себя, отрекаясь от сталинского стиля и методов. Я верил в то, что теперь все будет по иному. Но, как оказалось, я серьезно ошибался. Партия-монополист прекратила репрессии против своих граждан. Но

она не стала ни демократичнее, ни эффективнее. При новых генсеках она все более бюрократичивалась и расширяла поле действия телефонного права и кумовства.

Для меня это стало особенно очевидным, когда уже значительно позже, в конце 60-х годов, как руководитель предприятия, претендующего на «образцовость», я был неожиданно избран на пост второго секретаря городского райкома партии г. Куйбышева (Самары). Вот тогда-то я вплотную столкнулся непосредственно с деятельностью этой партийной машины. Разумеется на городском и региональном уровне. И был окончательно разочарован. Партия потеряла в моих глазах свою особую роль лидера экономического и социального развития.

Работал я в качестве секретаря, в ведении которого находилась промышленно-экономическая деятельность района. Очень скоро я понял, что всей своею деятельностью я дублирую государственные структуры управления. Партийные комитеты всех тех уровней, с которыми я был связан, ни в какой мере не использовали методы политического руководства. Здесь командовали. Причем нередко поступааясь принципами внутрипартийной демократии и морали. Важнейшим аргументом для принятия решения было словосочетание: «Есть мнение...». Формализм в работе партийных чиновников просто поражал. Создавалось впечатление, что никому ничего не надо, если это не связано с его личными интересами. Мои робкие попытки внести что-то новое, что-то изменить, как правило, не находили поддержки. Мы работали по заданному один раз навсегда алгоритму. Это была угнетающая рутин.

Мое пребывание на партийной должности только в одном отношении оказалось продуктивным, причем для меня самого. Я получил доступ к закрытым партийным изданиям, работам зарубежных авторов по теории социализма, к документам ЦК, в том числе к засекреченным докладом о состоянии советской экономики, о положении в странах Варшавского договора и т.п. Знакомство с этими документами и изданиями заставило меня расстаться со многими капитальными иллюзиями. В том числе с возможностью построения в нашей стране на существующей политической и экономической основе коммунистического и, даже, социалистического общества. Тогда же начало меняться мое отношение и к так называемым «ленинским идеям по превращению России в социалистическое государство». Более полное понимание несостоятельности этих концепций, и даже их авантюрного характера, пришло позже, уже в годы перестройки.

Положение партийного руководителя района открывало для меня возможность личного общения с руководителями крупных промышленных, исследовательских и строительных организа-

ций. Причем нередко в неформальной обстановке. Специалисты в области современных технологий, заслуженные руководители, имеющие огромный опыт создания и развития крупных производств, не стеснялись делиться со мной своими впечатлениями о происходящем в стране. Это были весьма откровенные нарративы, из которых складывалась достаточно яркая картина экономической и социальной политики государства в представлениях моих собеседников. Здесь было о чем задуматься и чем ужаснуться. Поскольку собеседники были со мной достаточно откровенны, я услышал в ту пору немало нелестных слов и в адрес местного партийного руководства и вынужден был соглашаться с такой оценкой. Все это не прибавляло мне оптимизма.

Я начал думать о том, как уйти с партийной работы. Выручила меня, хоть и не хорошо так говорить, болезнь. В связи с нею мне разрешили перейти на работу в аппарат управления железной дороги.

На вопрос о том повлияли ли мои разочарования на решение заняться социологической наукой, я должен ответить отрицательно. Я действительно решил после всего пережитого заняться научной деятельностью. Но то, что я оказался в социологии, связано, все-таки, со счастливой случайностью и, очевидно, с моим обостренным в ту пору интересом к проблемам управления и к исследовательской работой вообще.

Выше вы заметили, что в Вашем приходе в социологию значительную роль сыграл Е.Ф. Молевич. Не могли бы Вы чуть подробнее рассказать о нем? К сожалению, я никогда не встречался с ним, не знаю его работ. Если есть возможность, то осветите подробнее и работу Самарских социологов в целом.

С Евгением Фомичем Молевичем я познакомился в 1970 году в процессе подготовки и сдачи кандидатского экзамена по философии. Незадолго до этого он приехал в г. Куйбышев из Свердловска (Екатеринбурга). Там он работал на кафедре у М.Н. Руткевича, окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. В Куйбышев он был приглашен на должность заведующего кафедрой философии Политехнического института. Человек высокой эрудиции, блестящий лектор, он быстро завоевал к себе симпатии, как в студенческой среде, так и среди партийно-хозяйственного актива города. В своих лекциях он умело использовал факты современности, находил ответы на любые «каверзные» вопросы. Его критика недостатков в действиях органов власти, умело удерживаемая в рамках допустимого, положительно отмечалась на высоких политических этажах. Поэтому не случайно, когда встал вопрос о создании в городе первого социологического подразделения,

местом его «прописки» была определена кафедра философии Политехнического университета.

Евгений Фомич успешно справился с этой задачей. Лаборатория была создана в 1969 году, и ему пришлось взять на себя научное руководство этим новым научным подразделением. Однако, это не совпадало с его интересами. Его не увлекала исследовательская деятельность, особенно в сфере производства, о чем он откровенно говорил сам. Поэтому он приложил немало сил, чтобы найти себе преемника, который бы, будучи сотрудником кафедры и находясь в его подчинении, осуществлял научное руководство деятельностью лаборатории. Таким преемником с 1971 года стал я, о чем я уже ранее говорил. Не вмешиваясь в ход исследований, Е.Ф. Молевич не снимал с себя кураторство нового научного коллектива и был своеобразной «крышей», оберегающей его деятельность. Такой «тандем» устраивал всех.

Но уже через год, совершенно неожиданно для работников лаборатории, Евгений Фомич покинул пост заведующего кафедрой. Затяжной конфликт с руководством института и партийной организацией, не имеющий, кстати, отношения к «социологическим опытам», завершился его увольнением. И лаборатория на долгих шесть лет осталась «один на один» со всеми проблемами начинающего научного подразделения. Она тут же ощутила на себе весь консервативный пыл общественных кафедр, которых не оставляли надежды ее закрыть и которые писали петиции во все инстанции. Начинающим социологам пришлось выдержать несколько комиссионных проверок, в том числе из Министерства высшего образования. В Куйбышеве для знакомства с работой лаборатории, по просьбе кого-то из министерских проверяющих, побывал в ту пору А.И. Пригожин из ИКСИ АН СССР. Лабораторию не закрыли. А на кафедру пришел новый заведующий Н.С. Нилов. Он познакомился с заключениями работавших в лаборатории комиссий и предпочел в ее дела не вмешиваться. И страсти постепенно утихли. А социологи, продолжали свою работу, опираясь на поддержку ленинградцев и на свой более или менее уже накопленный опыт.

Позже судьба вновь свела меня с Е.Ф. Молевичем. После ухода из Политехнического института он поступил на кафедру философии вновь созданного в г. Куйбышеве Государственного университета. Там он защитил докторскую диссертацию. Если не ошибаюсь, по проблемам диалектики природы. Это позволило ему через некоторое время занять место заведующего вновь образованной, в том же университете, кафедры научно-коммунизма. И тогда он обратился к нам с предложением «сменить прописку», перейти в университет и обосновать там лабораторию при его кафедре. Мы были рады такому пригла-

шению. Мы помнили организационную поддержку, которую оказывал нам Евгений Фомич в первый год нашей работы, и воспользовались возможностью вновь работать с ним. Наш «тандем» был восстановлен. Для нас было немаловажным и то, что ректором университета в то время стал тот самый бывший заведующий отделом науки Областного комитета партии Виктор Васильевич Рябов, который курировал создание социологической лаборатории в Политехническом. К концу 1979 года почти все сотрудники лаборатории перешли на работу в университет. С этого момента центром социологической деятельности в области стал Куйбышевский, а после переименования города – Самарский государственный университет. И мы, на радостях, инициировали введение Е.Ф. Молевича в состав Правления Советской Социологической Ассоциации, действовавшего в те годы в Москве.

Там не преминули воспользоваться этим, и поручили Е.Ф.Молевичу создать на базе Самарского социологического центра Поволжское отделение ССА с центром в Самаре. В это отделение должны были войти социологи шести регионов Средней Волги от Республики Татарстан до Астрахани. Сложность этого задания заключалась в том, что объединять в тот момент было некого. Необходимо было еще создать социологические сообщества в большей части этих областей. Евгений Фомич с большой группой сотрудников лаборатории побывал в областных центрах пяти областей и в Татарстане, которые были кандидатами на включение в состав Поволжского отделения ССА. В каждой из них проходила встреча с партийным руководством. На ней обсуждалось создание областной социологической ячейки ассоциации и перспективы ее совместных действий с Поволжским отделением. Затем проводились социологические чтения с участием всех местных социологов и преподавателей общественных кафедр, занимающихся социологическими исследованиями. Приехавшие из Самары научные сотрудники рассказывали о своей работе и делали доклады по результатам выполненных исследований.

Я постоянно участвовал в этих поездках и видел, с каким интересом и удовлетворением встречали наш приезд работающие в этих регионах заводские и вузовские социологи. Этого нельзя сказать о некоторых партийных руководителях. Секретарь Волгоградского обкома по идеологии, например, вообще отказался принимать нашу делегацию. И нам пришлось сутки ждать, пока к нему не поступит соответствующее распоряжение из ЦК. Работа по созданию нового отделения ассоциации была предусмотрена согласно Правлением ССА с партийным руководством страны. Вся эта организационная работа продолжалась около

полугода и завершилась в мае 1980 года организационной конференцией Поволжского отделения ССА. Она прошла в Самаре. От имени Правления ССА участников конференции – делегатов из регионов приветствовал профессор А.Г. Здравомыслов. Председателем отделения был избран Е.Ф. Молевич.

Поволжское отделение функционировало до роспуска ССА. Ежегодно оно проводило Поволжские социологические чтения с участием социологов всех областей-участников. Приглашались социологи этих областей и на все семинары, которые проводились в Лаборатории Самарского университета, а также для участия в издаваемых научных сборниках. Регулярное общение с новыми членами ассоциации убеждало в том, что участие в работе нового отделения открыло для них новые возможности.

В конце 80-х годов, когда в стране началось создание системы социологического образования, мы серьезно задумались над возможностью подготовки социологов в нашем Университете. В лаборатории к этому моменту работало уже три кандидата наук: И.Е. Столярова, А.С. Готлиб и Ваш покорный слуга. Как я уже говорил выше, совместно с Е.Ф. Молевичем и А.С. Готлиб мы проявили инициативу в подготовке и обосновании предложения об открытии в университете социологического факультета. И здесь организаторский талант Евгения Фомича проявился вновь. Он добился того, чтобы ректорат Самарского университета обратился в Министерство высшего образования с подготовленным нами предложением организовать социологический факультет на базе социологической лаборатории и кафедры Научного коммунизма. И создание факультета было разрешено. Основным аргументом в пользу его создания было наличие в Самарском университете уже известного в стране социологического центра, располагавшего к тому времени квалифицированными научными сотрудниками. Первым деканом факультета стала Анна Семеновна Готлиб, кандидат социологических наук, одна из «ветеранов» нашей социологической лаборатории. Евгений Фомич возглавил кафедру «Социологии, политологии и управления». Он взял на себя чтение курса теоретической социологии. Этот курс он читает и в настоящее время. В конце 90-х годов он опубликовал свои лекции в виде нескольких монографий. Позднее был подготовлен еще ряд его учебных пособий. Среди его статей наиболее известна в среде социологов-«трудовиков» статья, опубликованная в «Социсе» в 2001 году: «Труд, как объект и предмет исследований общей социологии». Присутствие в названии его кафедры дисциплины «Политология» не в последнюю очередь связано с тем, что Е.Ф.Молевич уже в течение многих лет занимается этим

предметом, участвует в избирательных баталиях и читает студентам лекции по политологии.

Завершая ответ на Ваш вопрос о работе самарских социологов, можно сказать, что вся их многолетняя история представляет собой нетривиальный пример создания социологической цивилизации в одном из провинциальных регионов России, где о социологии мало кто слышал. В те далекие времена в Куйбышеве (ныне Самаре) не было ни университетского философского факультета, ни сколько-нибудь известной кафедры философии или психологии. Тем не менее, по прошествии 40 лет, созданная в конце 60-х небольшая социологическая лаборатория технического ВУЗа, превратилась в общепризнанный в России центр социологических исследований в области социологии труда. Её последнее наименование – НИИ «Социальные технологии» Самарского университета. На протяжении последних двадцати лет отсюда в рамках РОС осуществлялась координация сотрудничества социологов, работающих в области социальных проблем труда или преподающих социологию труда. Здесь было издано большое число общероссийских сборников научных статей по проблемам труда. Здесь располагался «редакционный штаб» по изданию первого в стране теоретико-прикладного словаря «Социология труда». Высокая квалификация работников лаборатории позволила создать в университете социологический факультет. За последние годы здесь подготовлено значительное число высококвалифицированных научных кадров. Общий курс социологии читается во всех высших учебных заведениях г.Самары и в большей части лицеев и гимназий. В области работает несколько коммерческих социологических центров. А многие руководители области, что немаловажно, освоили социологическую терминологию и начали понимать возможности социологического анализа. Покидая в 2005 году Самару, мне было не стыдно за свое участие в том, здесь было сделано и организовано. Я благодарю судьбу за то, что она предоставила мне возможность длительное время сотрудничать с подлинными энтузиастами, моими коллегами. Я горжусь своими учениками и уверен в их успехах.

Литература

1. Социология труда. Теоретико-прикладной толковый словарь /Отв. ред. В.А. Ядов. СПб.: Наука, 2006. – 426 с.
2. Маркович Д. Социология труда: Учебник. М.: Изд-во РУДН, 1997. С. 27.
3. Штомпка П. Социология. М.: Логос, 2005. С. 25.
4. Alexander J.C. The Meanings of Social Life. A Cultural Sociology. Oxford University Press. 2003.P.12.



Фирсов Б.М. – окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И.Ульянова (Ленина), получив диплом инженера-электрофизика, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник и почетный ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Основные области исследования: теория и методология социологии, история советской социологии, общественное сознание, процессы массовой коммуникации. Интервью состоялось в 2004 г.

С одной стороны, беседа с Борисом Максимовичем Фирсовым – это фрагмент нашего многолетнего разговора обо всем, с другой, – начало всей серии интервью по электронной почте с российскими социологами. Почти двадцать лет мы работали вместе, и мне всегда это было интересно. Мы встречались утром, зная, что предстоит сделать в течение дня, нередко работали вместе много часов, надолго задерживались на работе, продолжали наши дискуссии по дороге на метро и уже из дома обменивались телефонными звонками, чтобы уточнить детали грядущего дня. Фирсов всегда был моим руководителем. Когда мы познакомились, мне было немногим более тридцати лет, и по опыту жизни я во всем ему уступал. Но никогда он не давал мне повода, даже легкого намека воспринимать себя как подчиненного, а его – как начальника. Мой отъезд в Америку в 1994 году лишь увеличил физическое расстояние между нами и сделал еще более приятными и памятными каждую из наших встреч. Их было уже несколько в России и пока одна – в Америке.

Б.М. Фирсов: «...О СЕБЕ И СВОЕМ РАЗНОМЫСЛИИ...»*

До вступления на социологическую тропу: 1929–1962

БМ, даже притом, что биографии ряда советских социологов первого поколения включают в себя период освобожденной комсомольской и партийной работы, твой путь в социологию уникален. Ты получил техническое образование, и затем весьма успешно складывалась твоя партийная и административная деятельность. Не мог бы ты обозначить основные вехи этого движения, выделяя те обстоятельства, которые потом привели тебя в социологию?

Я вышел из блокадного и военного времени с громадным запасом жизненного оптимизма и желанием стать полезным обществу человеком. Учился в школе на одни пятерки. Правда, за коллективные

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 1. С. 2–12.

и индивидуальные художества мне в старших классах дважды снижали оценки по поведению и один раз исключали из школы, но на очень короткий срок. Наверное, во мне был ресурс коммуникабельности, неизбежной потребности что-то делать для других и уверенности в себе. Дружба была превыше всего, и я с энтузиазмом руководил похищением классного журнала и погружением его в вечность глубин реки Карповки в присутствии всего класса.

Я окончил Ленинградский электротехнический институт имени В.И. Ульянова (Ленина), один из самых престижных вузов города, в феврале 1954 г., получив диплом инженера-электрофизика с отличием. Уже на третьем курсе я был избран секретарем институтского комитета ВЛКСМ и с головой ушел в общественную работу. Лекции «мотал», пользуясь правом свободного посещения занятий, но лабораторные, курсовые работы и экзамены сдавал в срок, не разрешая себе никаких поблажек. Иначе бы я утратил моральное право призывать студентов-комсомольцев быть примером в овладении знаниями. Служение ЛЭТИ было нравственным императивом институтской профессуры и через нее – ядра студенческой массы, состоявшей из двух частей. Одна из этих частей – фронтовики, хорошо знавшие цену жизни, право на которую они отстаивали на фронтах войны. Их целеустремленность заражала. Вторая часть – вчерашние школьники, но с опытом переживания тягот военных лет, представители первого в советской истории не поротого поколения, с пробудившимся интересом к культуре, литературе, театру, спорту, джазу. Им, правильнее сказать в первом лице – нам, мне, еще предстояло пережить шок от ужасов сталинского прошлого. Не ведая, когда наступит прозрение, мы радостно глотали жизнь, оберегаемые родительской любовью и мудростью.

На моих глазах ЛЭТИ стал «эстрадно-музыкально-спортивным вузом с небольшим электротехнических уклоном». Так, с оттенком «белой зависти» называли его студенты других высших учебных заведений города. Комитет ВЛКСМ вуза, надежно прикрытый парткомом, состоявшим из трех поколений фронтовиков (преподаватели, аспиранты, студенты), находился у истоков этого принципиального изменения – создания дружественной культурной среды. Эхо «Весны в ЛЭТИ», самодеятельного студенческого спектакля-обозрения и сейчас, 50 лет спустя, греет души многих выпускников института, как и слава институтской баскетбольной команды тех лет, чемпиона СССР. Чтобы сделать понятной причинно-следственную связь между комсомольской работой и этими достижениями, скажу на современном языке, что комитет ВЛКСМ был деятельным

спонсором и инициатором многочисленных начинаний. Поддерживать и воплощать их в жизнь было интересно.

В итоге, вместо того, чтобы принять предложение кафедры – поступить в аспирантуру ЛЭТИ и заниматься электронной оптикой, я стал общественным деятелем, последовательно избираясь на должности секретаря райкома комсомола (1953–1956 гг.), секретаря обкома ВЛКСМ (1956–1959 гг.), а затем и первого секретаря Дзержинского РК КПСС Ленинграда (1959–1962 гг.). Эта эволюция требует объяснения. Я бы хотел только обезопасить себя от подозрений в карьеризме.

Существовал и существует некий альтруистический мотив принесения части самого себя на алтарь неэгоистических целей. В пору создания Европейского университета в Санкт-Петербурге (1994 г.) мне довелось защищать этот проект перед советологической профессурой Стенфордского университета. От успешности защиты зависело, согласится или не согласится «Stanford Community» взять проект и его организаторов под свое поручительство перед американскими благотворительными фондами. Защита прошла успешно, доказательством чему был прием ректором (provost) университета Кондользой Райс и главным фандрайзером – лицом ответственным за поиск денежных средств (грантов) на поддержку деятельности университета. На этой встрече были произнесены слова, которые кажутся заслуживающими упоминания: «Никогда не стесняйтесь обращаться за поддержкой идеи, в которую вы верите. Если она действительно хороша, то спонсор будет всю жизнь жалеть, что не поддержал полезное дело».

У меня никогда не было денег для поддержки разных инициатив, но идеи, высказанные другими людьми, часто не оставляли меня равнодушным. Говорить об этом во всеулышание я стеснялся, пиар в свою пользу в советские времена не процветал. Но, все же, занимая различные посты, я старался делать акцент на поддержке и помощи, что, в конечном счете, влияло на деbüroкратизацию рутинной деятельности. Ленинградский обком ВЛКСМ, в период моей работы там, помог выявить большое количество талантливой творческой молодежи. Слава балетных звезд и звезд эстрады пришла к А. Осипенко, И. Колпаковой, В. Семенову, Э. Пьехе, А. Броневицкому после того, как они стали лауреатами художественных конкурсов Московского фестиваля молодежи и студентов (1958 г.). Выпестованный при активной поддержке обкома ВЛКСМ Эстрадно-танцевальный ансамбль молодежи Петроградской стороны успешно выступил в концертных программах фестиваля. На волне фестивального успеха многие молодые авторы и исполнители смогли быстро закрепиться в сфере профессионального

искусства. Один из номеров программы ансамбля назывался «Дождик» Под музыку А. Кюнкера и песню К. Рыжова двенадцать красивых молодых девушек исполняли танец с зонтиками. Дирижеру А. Бадхену пришла в голову игривая мысль – танцевать в купальниках. Свидетельствую, что более целомудренного танца я не видел. Потому без тени сомнения номер был включен в первый показ программы ансамбля в Актовом зале МГУ. Зал аплодировал с восхищением. Однако, «начальство», секретарь ЦК ВЛКСМ Э. Туманова осудила легкомысленный номер и повелела «одеть девочек» для будущих выступлений. Я получил от нее устный реприманд за то, что, будучи секретарем обкома ВЛКСМ, «протащил» опереточное действо в святой святых для всей страны – Актовый зал МГУ и к тому же не отговорил мою жену от выхода на сцену в пляжном костюме.

Оставалась ли в то время у тебя возможность вернуться в ЛЭТИ и начать работу по полученной специальности?

К 1959 г. многие мои «однокашники» из ЛЭТИ, став аспирантами, начали защищать кандидатские диссертации, делать открытия, изобретать, писать книги и учебные пособия. Не могу сказать, чтобы я им завидовал, но все же я почувствовал, что выветриваются мои технические и математические знания, полученные в ЛЭТИ, что я теряю профессию. У меня возник план – пойти к партийному начальству и попросить отпустить меня, уже тридцатилетнего, с миром в аспирантуру ЛЭТИ. Вместо этого я оказался в зале партийной конференции Дзержинской районной партийной организации, куда меня привезли «сватать» на должность первого секретаря райкома партии. Вопросов мне не задавали, я был оставлен в списках для голосования, раз ЦК КПСС велел выдвигать молодых, но 81 делегат (из 300) проголосовал «против». Не будь тогдашнего «страховочного» правила (оставлять в бюллетене ровно столько кандидатов, сколько следовало избрать в партийный орган), мое поражение на выборах было бы неминуемым. Одеваясь вечером после закрытия конференции, я услышал в темноте раздевалки разговор бывалых партийцев. Один спросил другого, кого избрали «партийным вождем района», и получил недвусмысленный ответ: «Да этого сопляка из обкома комсомола!». Что оставалось делать? Завоевывать у людей авторитет.

Уже через год, на очередной отчетно-выборной конференции я получил один голос «против». Отношения наладились быстро на основе свода мною же установленных правил, регламентировавших мою деятельность. Я старался помнить обо всех обещаниях, не забывать ни одну из адресованных мне

официальных и неофициальных просьб. Один раз в неделю принимал всякого, кто хотел со мной встретиться, и вел жесткий учет всех адресованных мне обращений. Проводить прием было тяжело – записывалось 40–50 человек. Самый большой вопрос – жилье. Власть у меня была большая. Во многих случаях моей письменной резолюции, адресованной председателю исполкома райсовета, было достаточно для предоставления жилья, ускорения очереди, выделения площади «до подхода очереди». Я внимательно изучал мотивы обращений и реальные обстоятельства жизни людей. В спорных или сомнительных случаях, ехал к заявителю домой и, если требовалось, объяснял заявителю и членам его семьи, почему нельзя в их случае нарушить очередь, просил терпеливо ждать, когда она подойдет. Я и по сей день живу в трехкомнатной стандартной квартире, которую, мои родители получили в 1935 году. Но первый секретарь райкома КПСС, не улучшивший своих жилищных условий, не получивший квартиру в новом доме, был тогда редкостью. Оказалось, что партийный актив, жители района, обращающиеся за помощью, обо всем этом знали. Поэтому я был для них своеобразной моральной инстанцией.

Еще одно обстоятельство, которое помогло мне завоевать авторитет в глазах людей, заключалось в том, что я изначально стремился больше узнавать, чем советовать, распоряжаться, «руководить». А.Н. Изергина, научный сотрудник Эрмитажа и супруга академика И.А. Орбели, основательно просветила меня с женой по части художников-импрессионистов и выставки произведений Пикассо; сотрудники Русского музея провели со мной не один час в запасниках, где лежали тогда закрытые от всех коллекции русского авангарда; театровед и парторг Театрального института А.Юфит, ставший вскоре одним из моих близких друзей, помог прочесть уникальное собрание книг о жизни и творчестве Мейерхольда. Партнерские и доверительные отношения, а не трансляция директив, составляли ядро моей руководящей, если так можно выразиться, деятельности. Я стремился к тому, чтобы райком партии был местом, где умеют слушать и слышат.

Все двигалось успешно, почему ты ушел от, тогда это называлось, «освобожденной партийной работы»?

Конец «освобожденной партийной работе» наступил совершенно неожиданно, в мае 1962 г. Хотя мое смещение с поста первого секретаря райкома партии, высокой номенклатурной должности было предпринято за год до фактического дня «перехода на другую работу», о чем я узнал гораздо позже. Вот как это было. Весной 1961 г. всех первых секретарей РК КПСС

Ленинграда на один день командировали в ЦК партии. Нам объявили, что отныне мы включены в так называемую учетно-контрольную номенклатуру ЦК КПСС и с каждым из нас персонально хотят познакомиться работники ряда отделов ЦК. Знакомство это было скорее формальным, и все мои коллеги, вызванные в Москву, довольно быстро освободились.

Меня попросили задержаться и сказали, что со мной будут беседовать отдельно и более обстоятельно, чем с другими. Я вышел покурить и в это время ко мне подошел знакомый мне, ответственный работник ЦК КПСС, который еще год тому назад был первым секретарем одного из райкомов партии Ленинграда. Он отвел меня в сторону и сказал примерно следующее: «Тебя оставили для бесед неслучайно. Ты молод, энергичен, тебя уважают в районе и городе, можешь быстро продвигаться. Тебя будут «смотреть» несколько человек. Если пройдешь «смотрины» успешно, то тебе предложат должность инспектора ЦК КПСС, зачислят в особый кадровый резерв ЦК КПСС, а затем, какое-то время спустя, будут рекомендовать для избрания секретарем Новосибирского обкома партии по пропаганде. Разумеется, что это только план, детали которого тебе не скажут. Сегодня тебя будут спрашивать об отношении к работе в аппарате ЦК КПСС. Так что взвесь все, прежде чем начнутся «смотрины». Он ушел.

Далее все пошло по предложенному им сценарию, кроме моей реакции. У меня было три беседы прежде, чем меня представили Чураеву, члену бюро ЦК КПСС по РСФСР. Моим собеседникам, включая Чураева, я мягко говорил о несогласии работать в партийном аппарате, в Москве, объясняя это и семейными обстоятельствами, и желанием вернуться на работу по специальности, а также определенной «нелюбовью» к аппаратной работе как деятельности важной, даже почетной, но несамостоятельной. В сжатой форме я сказал Чураеву: «Партия много теряет оттого, что не дает возможности партийным кадрам периодически возвращаться к основам своей базовой профессии. Конечно, работа в партийном аппарате нужна, но заниматься ею «вечно» не следует. В общем случае профессиональная и освобожденная партийная работа должны чередоваться». Мой высокий собеседник, предложив мне чай с сушками (это считалось знаком особого расположения к человеку, приглашенному на беседу в ЦК), не мешал мне высказываться и ни разу не возразил. Более того, он сказал, что понимает мое стремление вернуться в мир электронной оптики, написать диссертацию с тем, чтобы в этом новом качестве оказать полезным для партии. Мы миролюбиво распрощались.

По приезду в Ленинград меня вызвали в обком партии. Первый секретарь обкома И. Спиридонов с некоторым раздражением сказал, что я подвел обком, отказавшись от чести работать в аппарате ЦК КПСС. Видимо, ЦК будет настаивать на том, чтобы «мягко», не называя истинной причины, перевести меня на другую работу. Через день Спиридонов сказал по телефону, что дело улажено, и я могу продолжить выполнение возложенных на меня обязанностей. События последующих месяцев заставили думать, что меня «простили». Я был избран делегатом XXII съезда партии. После съезда многократно, не менее 30 раз выступал с докладами об этом событии на партийных собраниях, разъясняя новую Программу КПСС и причины перезахоронения тела Сталина у Кремлевской стены.

На самом деле Обком с трудом уговорил Чураева не настаивать на немедленном освобождении меня от работы («никто нас не поймет, он хорошо работает и люди его уважают»). Чураев со скрипом отвел ровно один год на то, чтобы меня «убрать» с партийной работы. Весной 1962 г. система исполнения указания пришла в действие. В течение месяца мне была предложена сначала должность директора театра оперы и балета имени С.М. Кирова. Моему удивлению не было предела. Затем сделали намек на то, что в связи с реорганизацией органов милиции и внутренних дел города и области меня проектируют на должность заместителя начальника УВД. Наконец, последовал вызов в обком КПСС и новый первый секретарь В. Толстикова объявил о намерении рекомендовать меня для поступления в Академию общественных наук при ЦК КПСС. Из коротких комментариев следовало, что обкому сделан «втык» за рекомендацию «мудаков» для учебы в этой Академии, тогда как партия сейчас особо нуждается в умных и перспективных кадрах. Он добавил, что после учебы в Москве я с большой вероятностью буду выдвинут на должность секретаря обкома КПСС по агитации и пропаганде. Толстикову я сказал примерно следующее: «Я не хочу, будучи инженером, заниматься в АОН при ЦК КПСС, и заранее говорю, что сознательно “завалю” все вступительные экзамены и тем скомпрометирую обком. Разрешите мне переход в аспирантуру ЛЭТИ». Мы расстались, ни о чем не договорившись.

19 мая 1962 г. по звонку я был вызван на бюро Обкома КПСС. Вошел в зал заседаний и еще в дверях, не успев присесть, услышал слова: «Есть мнение рекомендовать Б.М. Фирсова на должность директора Ленинградской студии телевидения». Решение было принято единогласно. Это было ровно год спустя после чаепития с Чураевым.

Телевидение – живое дело: 1962–1966

Думаю, мало, кто из действующих сейчас социологов был участником съездов КПСС и занимал столь высокие как ты посты в партийной иерархии. Не мог бы ты сейчас припомнить свое мироощущение?

На мое мироощущение в ту пору повлияли и смерть Сталина, и доклад Хрущева на XX съезде КПСС. Мой друг, петербургский математик А.Вершик заметил как-то, что одни люди смогли зафиксировать разрыв с системой уже в 1956 году. Он назвал их “пятидесятниками”, которые свели свои отношения с властью до минимума или стали уходить в оппозицию. Выбор других состоял в решении исправлять ошибки партии “изнутри”. Это – “шестидесятники”. Прозрение этой части советской интеллигенции наступит позднее. Многим из этой второй и довольно многочисленной группы, куда я заносу себя, придется пережить серию «встрясок» от венгерских событий 1956 года, от пражской весны 1968 года, от афганской войны, начавшейся в 1980 году, прежде чем они изменят знак своего отношения к советскому общественному строю с «плюса» на «минус».

Исторически так сложилось, что именно “шестидесятники” составили ядро тех профессиональных когорт, которые пришли на телевидение в пору его бурного развития, начавшегося в конце 50-х – начале 60-х годов. Они находились в многосложных отношениях с внешней средой, где уже начинали прорастать корни инакомыслия, диссидентства, политический радикализм и либеральные взгляды. Внутреннее сочувствие к этим явлениям было налицо, притом, что сохранялась вера в возможность перемен к лучшему. Социальный конструктивизм и творческий активизм преобладали в их настроениях и поступках. Начало и середина 60-х годов для тех, кто занимался теорией и практикой телевидения, было временем, когда сохранялся энтузиазм и поддерживалась вера в фантастическое будущее телевизионной музыки. Надежды на это основательно подогревало развитие советского телевидения – рост числа его каналов (программ), создание общесоюзной телевизионной сети, охватывавшей всю территорию СССР, строительство крупнейшего в Европе телецентра Останкино, открытие которого намечалось на ноябрь 1967 г.

Скажу без обиняков – работать на телевидении было захватывающе интересно. Ядро профессионалов, работавших на ленинградском ТВ, моих новых коллег, видело свою миссию в интенсивном культурном просвещении телевизионной аудитории на основе высоких художественных стандартов. Сеять разумное, доброе, вечное, творить и выдумывать было девизом

людей, работавших на студии в то время и опиравшихся на поддержку самых широких слоев интеллигенции города.

Витогe наиболее известные поэты (Б. Окуджава, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, В. Солоухин, Б. Ахмадулина, В. Соснора, Г. Горбовский и др.), критически настроенные молодые писатели (И. Ефимов, В. Марамзин, А. Битов, Я. Гордин, С. Довлатов, писатели-представители старших возрастных когорт – Ю. Герман, Д. Гранин, А. Володин и др.) были авторами, героями и участниками большого числа телевизионных передач. Самые громкие имена тогдашней театральной сцены – Г. Товстоногов, Н. Акимов, Ю. Толубеев, Е. Копелян, И. Смоктуновский и др. вступили в культурный диалог с телезрителями.

Предметом особых забот Ленинградского телевидения была великая русская и зарубежная литература. Ее гуманизм импонировал ленинградской аудитории, как и намерение не избегать сложностей жизни, идти от реализма и действительной сложности конфликтов и проблем, с которыми сталкиваются герои этих произведений. Покажу это на двух примерах. Один из них – передачи о Петербурге Достоевского. Их новаторство было в том, что до хрущевской оттепели имя Достоевского подвергалось остракизму, оно лишь вскользь упоминалось в школьных учебниках литературы, творчество писателя-классика изучали небольшие группы будущих литературоведов. Утверждаю, что телевидение помогло вернуть писателя в прижизненную коллективную память не только ленинградской, но и советской аудитории.

Еще одно яркое событие – телевизионная экранизация книги Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей». Тогдашние представления об Америке были сформированы под влиянием ряда произведений официальной литературы. Я хорошо помню знаковую послевоенную пьесу «Русский вопрос» писателя Константина Симонова, которого называли «советским писателем на экспорт». Занимая высокое положение в партийно-литературной иерархии, Симонов написал конъюнктурную вещь, которая не могла дать глубокого представления об американском народе. Герои пьесы (американцы) вели однобокие дискуссии со своими русскими оппонентами. Это были не люди, а политизированные схемы. В отличие от Симонова, Стейнбек показал своих литературных героев во всей сложности их повседневных забот и переживаний, отказался от всякого рода ценностных подушек и подпорок, показав своих соотечественников такими, какими они были в реальности. Для ленинградцев это было открытием тогдашней Америки, вызвало их громадный интерес, но одновременно, в очередной раз «напрягло» цензуру.

Мы еще не были знакомы, когда я слышал о телевизионной передаче, в которой говорилось о переименовании улиц Ленинграда. Позже слышал о ней от ветеранов ленинградского телевидения. В чем там было дело?

Передача «Литературный вторник» 4 января 1966 г. – апофеоз отношения студии с цензурой и стоявшим за нею обкомом партии. Она была посвящена социальному бытованию русского языка: проблемам топонимики, государственной политики, связанной с непрерывным переименованием городов и населенных пунктов, когда взамен исторически сложившихся названий городам присваивались имена деятелей советского государства, а затем эти новые названия отнимались, если деятель попадал под машину политических репрессий. Масла в огонь подлил академик Д. Лихачев. Он выступил в защиту культурной и языковой традиции Петербурга, в котором власти под влиянием скороспелых революционных мотивов изменили практически всю систему названий улиц и проспектов. Так, Галерная улица, расположенная в районе, где строилась корабля в Петровскую эпоху, стала Красной. Но Красных улиц в стране тогда насчитывались если не тысячи, то сотни, а Галерная улица была уникальной на всем пространстве Советского Союза. Все высказывания сводились к тому, что давление идеологии обедняет язык, стандартизует устную и письменную речь, мешает культурной идентификации жителей городов и страны в целом. Социолингвистическая дискуссия взвинтила партийные власти.

В документе (от 18 февраля 1966 г.), озаглавленном «Записка отдела пропаганды и агитации, культуры, науки и учебных заведений ЦК КПСС в связи с телепередачей Ленинградского телевидения «Литературный вторник» было сказано: «Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, обсудив передачу «Литературный Вторник», освободил от работы директора Ленинградской студии телевидения т. Фирсова, главного редактора литературно-драматических программ т. Никитина, принял меры по укреплению дисциплины и повышению ответственности работников студии. Ленинградскому комитету по радиовещанию и телевидению поручено подготовить передачу, отражающую марксистско-ленинские взгляды на развитие русского языка и русской литературы»[1].

От этой «разборки» более всего пострадала телевизионная аудитория. Она с восторгом смотрела открытую дискуссию в эфире, понимая, что передача идет «в живую», а ее участники произносят собственные слова. Значит, на телевидении могут быть случаи неконтролируемого цензурой выхода в эфир. Все

это имело место в начале 1966 года, когда оставалось немногим более двух лет до Пражской весны и до установления почти абсолютной власти цензуры в советских средствах массовой коммуникации.

Одним из ведущих «вторника» был Борис Вахтин, ленинградский прозаик, переводчик, китаист. Судьбе было угодно спаять узами крепчайшей дружбы нас двоих, дотоле незнакомых людей. Я и по сей день живу под знаком необыкновенной вахтинской личности, не в силах примириться с внезапной смертью Бориса в 1981 г. Быть свободным всегда! Этому я с опозданием научился у него.

Первые шаги по социологической тропе: 1966–1969

В этой ситуации, почему ты не вернулся в ЛЭТИ или не вспомнил про АОН при ЦК КПСС, где ты мог без особого труда подготовить диссертацию, скажем, о партийном руководстве телевидением?

Заниматься в Академии да еще писать нечто о партийном руководстве телевидением (в духе этой Академии) было бы для меня самоубийством. Такое в мою голову придти не могло, как говорят, по определению. Конечно, же я мог вернуться в ЛЭТИ с тем, чтобы стать преподавателем ВУЗа. Но это требовалось не менее пяти лет – два года на то, чтобы преодолеть отставание в уровне профессиональных знаний и три года на подготовку диссертации, включая проведение технического эксперимента. Идти на это в возрасте 37 лет было сложно. К тому же во мне сидел вирус телевидения. Ведь я чувствовал необходимость его основательной перестройки в том, что касалось организации телевизионного дела в стране, управления телевидением, развития многопрограммности (многоканальности) телевидения. Как директор студии я принимал непосредственное участие в подготовке и открытии второй (местной) программы, отдал много сил разработке концепции и созданию третьей (учебной) программы Ленинградского телевидения, что было тогда большим новшеством [2] и нашло поддержку руководителей города. В середине 1965 года Ленинградскую студию телевидения посетила представительная делегация лейбористской партии Великобритании, которую наша учебная программа крайне заинтересовала. Один из моих гостей сказал тогда, что он видит в таком типе и форме телевидения мощное средство просвещения английского рабочего класса. Я не придавал его словам особого значения, но сказал, что общественный успех нашего учебного канала определен близостью его содержания профессиональным интересам целевой аудитории – инженеров

и научных сотрудников предприятий и НИИ Ленинградского Совнархоза, студентов технических вузов города. Через год, после прихода к власти лейбористов, в Англии появился «виртуальный» и общедоступный образовательный институт, вошедший в историю под названием «Открытого университета» (Open University).

Многие решили мои отношения с Владимиром Ядовым, предложившим конкурентную идею – поступить в очную аспирантуру философского факультета ЛГУ, и защитить социологическую кандидатскую диссертацию, в основе которой лежало бы эмпирическое исследование ленинградской телеаудитории. Руководители Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР не без сожаления освободили меня от должности директора ЛСТ, уступив настояниям обкома КПСС, и потому они приняли участие в моей судьбе. Было заключено негласное соглашение о том, чтобы после защиты диссертации найти способ и создать условия для моей работы «на телевидение». С этой целью Председатель Комитета Н. Месяцев попросил Министерство высшего образования найти возможность для моей стажировки в Англии.

Так я уже в сентябре 1967 г. оказался в Лондоне, в качестве стажера факультета социальной психологии Лондонской школы экономики (LSE), одновременно «прикомандированного» к Службе исследований аудитории Би-Би-Си. Последняя была создана для изучения радиослушателей (начиная с 1935 г.) и телезрителей (начиная с середины 50-х гг.). Обе «принимающие стороны» сделали все для моей успешной деятельности: профессор Хильде Химмельвейт [3] помогла мне освоить основы методов анализа аудитории. Х.Грин, тогдашний Генеральный директор Би-Би-Си и сотрудники Службы исследований аудитории создали прекрасные условия для освоения опыта проведения опросов радиослушателей и телезрителей, а также практики использования результатов исследований в управлении радиотелевизионным вещанием страны.

Однако научно-практические занятия и сбор материалов для диссертации были прерваны. Имея разрешение на продление командировки до весны 1968 г., я получил в декабре 1967 г. официальное письмо Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР с предложением занять должность Генерального директора Советского телевидения – новой структуры, которая создавалась в связи с завершением строительства телецентра в Останкино. Моим добрым гидом-советчиком в период стажировки был Владимир Дунаев, специальный корреспондент нашего радио и телевидения в Лондоне. Мы быстро сошлись и взяли за привычку примерять

английский опыт к нашим, советским условиям. Предложение Комитета, скажу об этом особо, было для меня неожиданным. Лавры Генерального директора мне никогда не снились, но продолжал гореть огонь социальных надежд на перемены к лучшему в обществе. Огонь этот, хотя и согревал душу, но, признаюсь, мешал видеть и чувствовать то, как в реальности складывается и в какую сторону развивается действительность. Не я один, а мы вместе с Дунаевым, два идеалиста, приняли решение: «Теперь, когда стало более или менее ясно, «как надо», не использовать шанс и не попытаться сделать «как надо», было бы ошибкой». Я заказал авиационный билет до Москвы на 14 декабря 1967 г.

Триумфатором я не стал. Первые два дня после прилета прошли в странном ожидании необходимого для моего случая разговора. Радиотелевизионный Комитет молчал. В свою очередь, и я решил не напоминать о себе. Ведь я известил о своем согласии принять предложенный мне пост и дате прилета из Лондона. В конце второго дня после прибытия в Москву мне позвонил по телефону в гостиницу заведующий сектором отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС В. Московский и пригласил на встречу. Испытывая некоторое чувство смущения, я это сразу почувствовал, он сказал, что обстоятельства вынуждают применить «обходную тактику» для занятия предложенного кресла. Обком КПСС, в лице первого секретаря обкома В. Толстикова, возражает против моего нового назначения, хотя бы уже потому, что обком настаивал на моем освобождении от работы на студии телевидения.

Я, со слов Московского, крайне нужный для дела человек. Поэтому «товарищи советуют» мне занять «промежуточную должность», но предварительно встать на партийный учет в Москве, в Комитете по радиовещанию и телевидению. В этом случае, я безболезненно, как колобок, уйду от «ленинградской бабушки» и прикачу, целый и невредимый к «московским дедушкам» в лице Секретариата и Политбюро ЦК КПСС. Говорили не долго. Я ограничился выражением удивления перед бессилием принципа демократического централизма и сказал, что ни понять ситуацию, ни согласиться с обходными маневрами я не могу. Последовал вопрос: «Надо ли понимать так, что вы хотите въезжать на Советское телевидение на белом коне?» Я ответил утвердительно. Поздно вечером того же дня я уехал в Ленинград проводить эмпирическое исследование ленинградской телеаудитории, благо я теперь знал, как это надо делать, и дописывать диссертацию. Срок занятий в аспирантуре истекал в феврале 1969 г.

Мой доклад о работе Би-Би-Си на коллегии Комитета по радиовещанию и телевидению в Москве весной 1968 г. занял

несколько часов. Он был посвящен высоким профессиональным стандартам всех видов управленческой и творческой деятельности Би-Би-Си [4]. Тогда это было разномыслием!

Коммуникационные исследования: 1969-1984

В 1979 году ты защитил докторскую диссертацию по коммуникационным проблемам. Каковы были главные выводы твоих многолетних наблюдений и почему после защиты ты полностью отошел от этой темы?

Напомню, прежде всего, о кандидатской диссертации. Ее защита состоялась досрочно. За это ректор ЛГУ профессор К. Кондратьев наградил меня премией в размере месячной аспирантской стипендии. С вычетами это составило 83 рубля 47 копеек. Не только для меня, мамы и жены, на плечи которых легли многочисленные заботы о прокорме аспиранта-переростка, но и для большого числа моих друзей, телевизионщиков-сослуживцев, успешная защита символизировала победу над обстоятельствами, ответ на вызов судьбы [5]. Я решил заниматься исследованиями процессов массовой коммуникации в стране и за рубежом. Речь шла о научных основах функционирования всей системы советской прессы, телевидения, в особенности, чье влияние на все стороны жизни населения становилось особенно ощутимым.

Вопрос с работой решился в считанные дни. Тогда под крылом академика А. Румянцева, директора ИКСИ АН СССР собирались энтузиасты исследований советского общества. В конце февраля 1969 г. я стал старшим научным сотрудником, а вскоре и заведующим сектором социальных проблем телевидения этого академического института. К этому времени за моими плечами был трехлетний опыт менеджера, как сказали бы теперь, крупной телевизионной компании. Я знал в деталях принципы программной политики советского и некоммерческого западного телевидения (Би-Би-Си, Образовательные каналы США и др.). Под руководством В. Ядова, Х. Химмельвейт я хорошо освоил «кухню» изучения аудитории телевидения на основе современных социологических и социально-психологических методов. Наконец, у меня была идея, которую я намеревался внедрять в сознание общества и в практику.

Суть идеи – “человекоцентризм”, ориентация любого канала массовой коммуникации на наиболее актуальные интересы людей, а не на прагматические сиюминутные цели политики и идеологии. Развивая эту идею, я исходил из некоторого социологизированного представления о телезрителе (радиослу-

шателе, читателе газет), которому должно служить человекоцентричное ТВ. Я видел, этого зрителя (1) умеющим сопротивляться любым попыткам манипулировать его мнением; (2) обладающим особым чутьем на правду, которую не сможет заглушить даже самая изощренная телевизионная риторика; (3) способным отличать культурные суррогаты от подлинных произведений искусства; (4) понимающим и тонко чувствующим специфику и природу телевидения. Согласно этой идее, на смену неразборчивой телемании должны были придти отношения, базирующиеся на равноправии сторон, диалоге, партнерстве, на осознании роли телевидения в жизнедеятельности советских людей и места советского человека в деятельности самого ТВ. Здесь многое происходило от «романтических мечтаний», не будь их, я не рискнул бы бросаться в останкинский телевизионный омут зимой 1967 г.

Останкинская история стала знаковой в моей судьбе. Дело в том, что махина нового, Останкинского ТВ вместе с большим числом подключенных к нему республиканских и городских телевизионных центров уже к 1970 году забуксовала в предчувствии брежневской стагнации. Экранный маховик начал вращаться на холостом ходу, подбрасывая ежедневно миллионам своих потребителей образцы бравурного славословия и примитивную мозаику отредактированной, «свернутой» реальности. Приукрашивание действительности было, что называется, в крови телевизионной журналистики. Этим основательно подрывалась вера в правдивость экранных сообщений. Образцово-показательные ситуации и поступки становились на экране средством создания искусственной картины всеобщего благополучия. Все это оборачивалось бегством от правды советской жизни и, как следствие, оказывалось способом гашения, торможения социальной активности.

Этому телевидению зритель, а тем более такой, каким я грезил, вообще оказался не нужен. Во главе советского телевидения и радио встал идеологический чиновник-самодур С. Лапин, человек властный, беспощадный в преследовании не только инако-, но и разно- с ним мыслящих. Он одержимо обличал всех, кто работал вместе с его предшественником – Н. Месяцевым, которого он сменил на посту руководителя общесоюзного ведомства по радиовещанию и телевидению. Я был «человеком Месяцева» в бытность директором Ленинградской студии телевидения и потому, по логике Лапина, не заслуживал никакого доверия. Лапин несколько раз с высоких московских трибун заглазно обвинял меня в некритическом отношении к опыту Би-Би-Си, ставшей «заклятым противником» нашей страны вследствие «антисоветских» радиопередач русской службы.

Сюжетов на тему «Фирсов – агент Би-Би-Си» Лапину было явно мало и он переключился еще на одну тему. В комсомольские годы я подружился с Иржи Пеликаном, Президентом Международного союза студентов. Мой приход на ленинградское телевидение совпал по времени с назначением И. Пеликана на пост директора Чехословацкого телевидения. Мы сделали многое для развития отношений сотрудничества и поддерживали личные отношения вплоть до момента, когда Пеликан, один из лидеров «Пражской весны» был вынужден сначала уйти в подполье, а затем покинуть Чехословакию. Пеликан нашел способ выразить мне дружеское сочувствие при изгнании из телевизионного рая. В 1966–67 гг. я встречался с ним в Москве и имел честь и удовольствие принимать его у себя дома. Он знал мою семью и любил жареную баранью ногу, которую искусно готовила мама. Лапин предпочитал не двусмысленно намекать на то, что друзья-приятели Пеликан и Фирсов могли свить гнездо антисоциалистической оппозиции в нашей стране. Чем черт не шутит?

Стало ясно, что идею человекоцентризма советского телевидения надо откладывать до новых времен, не зная, когда они наступят. Однако терять приобретенную нелегким трудом научную форму, утрачивать позиции одного из лидеров исследований в сфере массовой коммуникации, «работать в стол» не хотелось. В итоге я переключился на изучение путей развития массовой коммуникации в мире и с этой целью возбудил ходатайство о предоставлении стипендии ЮНЕСКО. Комиссия СССР по делам ЮНЕСКО, рабочий орган МИД СССР, проявила неординарный интерес к моей заявке. Стипендия была предоставлена. Осень и начало зимы 1972 г. я работал в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, изучая богатейшие и мало известные в нашей стране сведения о росте электронных СМК в условиях развитых и развивающихся стран и особенностях их коммуникационной (информационной) политики. Различия в языках, на которых об этом говорил мир и Советский Союз, были драматическими. В первом случае имелись в виду социокультурные и технические условия для планомерного и растущего по своим масштабам распространения информации, культуры и образования, во втором случае – мировой конфликт идеологий и способы защиты советского населения от буржуазного влияния. Учить тогда мировому опыту советские партийно-государственные инстанции было дело бесполезным. Становилось понятным, что и здесь социологическая тропа, как ни петляй, выведет лишь к светлому зданию социализма с человеческим лицом, где ничего не надо менять, настолько совершенны советское телевидение, радио и печать – верные и боевые помощ-

ники Коммунистической партии Советского Союза. Собранные ценной большой усилий документы ЮНЕСКО, труды канадца М.Маклюена и десятков других зарубежных авторов помогли мне написать добротную диссертацию по проблемам развития массовой коммуникации в мире. Однако ее успешная защита (1979 г.) только усилила впечатление, что общественный спрос на серьезные исследования постоянно падает. Стагнация общественной жизни как системное заболевание социума не могла обойти социологию [6].

Хотя, замечу, инерция первых, стартовых усилий по изучению массовой коммуникации действовала непредсказуемо длительное время, вплоть до начала 80-х годов. Мои и моих коллег исследования в 70-е гг. стали широко известны за рубежом. Мы установили сотрудничество с Научным центром по изучению массовой коммуникации Венгерского радио и телевидения (Тамаш Сечке, Пал Тамаш, Ильдиико Ковач и их коллеги) [7], университетом Тампере (школа профессора Карarle Норденстренга) [8]. Однако мы не смогли обойти запреты на сравнительные международные исследования, на открытый и бескомпромиссный диалог с нашими зарубежными коллегами, вынужденно ограничили сотрудничество семинарами и научными публикациями общего характера. Главный итог международного сотрудничества весьма характерен для тех лет, это – интенсивное развитие профессиональных связей и человеческих отношений, во многих случаях переросших в многолетнюю и прочную человеческую привязанность, которая сохранила свою силу и потенциал до настоящего времени.

Вхождение в миры общественного мнения: 1971–1984

Я вместе с тобой хоронил надежды на общественный интерес к исследованиям массовой коммуникации. Но, возвращаясь к событиям 35-летней давности, я не могу не спросить у тебя, ради истины, почему, держа, вместе со всей партией, курс на стагнацию, обком КПСС решил проводить опросы общественного мнения, да еще не по городской тематике, а по вопросам отношения населения к политике КПСС (на примере партсъездов тех лет)?

Я не могу исчерпывающим образом ответить на этот вопрос. Формальный ответ состоит в следующем. В 1969 г. ЦК КПСС принял постановление о состоянии и мерах улучшения партийно-политической информации. К выполнению этого постановления обком первоначально привлек группу социологов-преподавателей Ленинградской высшей партийной школы во главе с Андреем Здравомысловым, изучавших эффективность

внутрипартийной работы. Но главное состояло в другом – обком решил создать собственный надежный канал для регулярного сбора информации о настроениях трудящихся с опорой на научные силы всего города.

Решение необычное, но об истинных мотивах его только могу догадываться. Отсюда неформальный ответ (гипотеза) состоит в другом. В силу разных причин к тому времени возросла информационная автономия органов государственной безопасности. Один мой знакомый, генерал КГБ рассказывал мне в ту пору, что его учреждение располагает банком данных, разносторонне характеризующих едва ли не все стороны жизни страны, в целом и по регионам. Иными словами, КГБ СССР знал больше, чем ЦК КПСС. Часто от высших чинов КГБ зависело, что следует сообщать «наверх», в какой форме, с какими степенями подробности и т.д. Такую же селекцию данных производили местные партийные органы, направляя отчеты и сводки в отделы и секретариат ЦК КПСС. Автономизация информационных ресурсов становилась явлением общесоюзным. Едва ли не всякий руководящий орган хотел обладать информацией, доступа к которой не имели бы другие органы.

Дело это было совершенно новым в тогдашних условиях и не могло обойтись без экспертизы, консультаций, без зондажей общественных настроений. В начале 1970 г. исследование общественно-политической активности рабочих проводилось социологами ВПП и ИКСИ АН СССР. Исследовательский потенциал социологии получил высокую оценку. Это ускорило процесс создания «специализированной системы по изучению общественного мнения работающего населения Ленинграда» на основе предварительной проработки и проектирования всех стадий сбора и анализа исходной (первичной) информации. Мне также удалось доказать «заказчику», что запуск такой системы в действие не может происходить без крупных натурных экспериментов, которые бы раскрывали потенциал системы. Ну, а дальше, я нашел и позвал тебя, Борис Зусманович, и вместе с небольшой группой помощников (твоих и моих сослуживцев из ВПП и ленинградских секторов ИКСИ АН СССР мы совершили «прыжок в «неизвестное» – провели по всем правилам опрос общественного мнения об отношении рабочих и служащих Ленинграда к решениям XXIV съезда КПСС. Нам, как ты помнишь, этого показалось мало и мы повторили опрос через два месяца с целью проверки устойчивости полученных данных.

В чем состоял расчет, если так можно выразиться? С научной точки зрения было важно не дать заглохнуть делу, начатому Борисом Грушиным [9]. К тому времени я твердо усвоил, что если не удастся сделать что-то здесь и сейчас, надо продолжать

в другом месте и в другое время. Небольшой коллектив сектора общественного мнения и массовой коммуникации ИСЭП АН СССР, куда, кроме тебя и меня, входили К. Муздыбаев В. Сафронов, Н. Нечаева, О. Бурмыкина, В. Лосенков, М. Елизарова, Г. Булычева, работал увлеченно.

Мы с честью, скажу об этом без стеснения, преодолели свою часть дистанции. Была создана система для оперативных опросов общественного мнения различных слоев населения крупного города. Все, чем должна располагать такая система: надежные выборки, сеть интервьюеров, методики, математическое обеспечение обработки первичной информации на ЭВМ, все было содеяно и отвечало научным стандартам и критериям. Систему прокатали несколько раз (на примере изучения отношения населения к XXIV, XXV, XXVI съездам КПСС и других актуальных вопросов). Наш коллективный рекорд – разработка и апробация оперативного режима (экспресс-опрос 2000 человек с выдачей первичных результатов в течение суток от момента начала опроса). Общее число исследований, проведенных в рамках специализированной системы (1971–1984 гг.) составило 15. Тогдашние цензурные условия и правило, согласно которому вся деятельность партии не подлежала оглашению в открытой печати, не позволили опубликовать результаты опросов общественного мнения в интересах партии. Когда-нибудь будут сняты замки секретности с этой работы, и я расскажу о ней подробно [10].

Не мог бы ты вспомнить здесь о твоей встрече и беседе с Джорджем Гэллапом? Уверен, это будет интересно не только мне.

В 1977 г. я прошел стажировку при Институте Гэллапа в Принстоне. Сначала Гэллап отнесся ко мне сдержанно, наверное, это было реакцией на мой максимализм и настойчивость. Я изначально просил о разрешении провести одну рабочую неделю в стенах напряженно работающей организации и устроить мне встречи со всеми ключевыми фигурами, включая Гэллапа, и его сыновей, активных помощников и продолжателей дела своего отца. Условились, что я приеду для предварительной беседы, а там – будет видно. Мы встретились с Гэллапом в назначенное время. Лицо открытое, глаза пронизательные, манера поведения располагающая к откровенности и прямоте диалога. После краткого моего представления Гэллап взял кусок мела, передал его мне и произнес: «Идите к доске, посмотрим, что и насколько глубоко вы знаете». Секретарше он сказал, что с мистером Фирсовым намерен говорить долго, поскольку тот претендует на 7 дней стажировки вместо разового ознакомительного визита. Мэтр спрашивал меня обо всем

– понимании социальной роли феномена общественного мнения, методах его изучения, способах представления результатов исследований, этике взаимоотношений с респондентами и многом другом, включая мое собственное мнение о состоянии исследований в нашей стране.

В конце встречи он отвел 15 минут на мои вопросы и на объяснение в подробностях целей моего визита в Принстон. Я спросил его, в частности, об отношении сената и конгресса США к конкретным результатам опросов общественного мнения. Он сказал, что практически после каждых очередных выборов ему приходится заниматься социологическим ликбезом новых конгрессменов. Отправляясь на очередные слушания, после состоявшейся избирательной кампании, он знает, что один вопрос ему будет задан в обязательном порядке: «Где гарантия, доктор Гэллап, что мнение двух тысяч американцев, на которое вы ссылаетесь, представляет мнение основных слоев населения страны, а также населения в целом? Можно ли доверять вашим результатам?» Ответ на этот “коварный” вопрос он сформулировал около 40 лет назад и с той поры воспроизводил его без изменений: «Для того, чтобы оценить вкус приготовленного супа, вовсе не обязательно вычерпывать всю кастрюлю до дна. Достаточно хорошо перемешать суп и отведать одну ложку. Гарантии представительности сведений об общественном мнении – в высоком качестве выборки!» Политики всего мира похожи друг на друга. О том же позже меня часто спрашивали ленинградские партработники в периоды проведения опросов работающего населения Ленинграда по заданиям обкома КПСС.

Затем вошла секретарша и был оглашен вердикт: «Этому джентльмену из России следует показать все, что он хочет видеть, устроить деловые встречи со всеми сотрудниками, которые его интересуют. Под его честное слово (обещание не публиковать научные материалы, ввиду того, что они являются собственностью коммерческой организации) – снабдить образцами отчетов, методик, материалами, регламентирующими сбор информации об общественном мнении. Дать ему для чтения отчеты о наиболее типичных исследованиях, включая маркетинговые». Перед прощанием Дж. Гэллап сказал, что Россия как партнер его очень интересует. Он хотел бы создать филиал в Москве или Ленинграде. Сразу этого не сделать, но начинать надо, не откладывая дела в долгий ящик. Например, он готов провести на представительных выборках советско-американское исследование по любой теме, которую назовет советская сторона или я сам, как представитель академического учреждения. Правда, он догадывается, что у меня не может быть

полномочий на переговоры по такому поводу. Я не должен стесняться сказать ему об этом. Вот, что значит деликатность и предупредительность в отношениях с человеком, который сейчас не является партнером, но может им стать! Расстались мы дружески, а я целую неделю ездил из Нью-Йорка в Принстон, изучая деятельность всех звеньев Американского института общественного мнения.

Помнишь, Игорь Кон спрашивал нас: «Борисы, что вы изучаете? Общественного мнения нет». С другой стороны, мне кажется, в конце 70-х существовал оптимизм относительно частичной востребованности результатов изучения общественного мнения. Разделяли ты этот оптимизм?

Нет, не разделял. Я чувствовал неустойчивость общей ситуации в стране и понимал, что эта неустойчивость будет усиливаться. В 1975 г. нашей свободной научной жизни и работе в ленинградских секторах ИКСИ АН СССР пришел конец. Ленинградский обком партии, «встревоженный» быстрым ростом численности филиалов, отделений и секторов московских академических институтов социального профиля, решил объединить эти подразделения в рамках суперструктуры, получившей название Институт социально-экономических проблем АН СССР. Решение – роковое для развития социальных наук в нашем городе, для обширного класса научных направлений. Серьезные цели для «сливания» этих направлений в одну емкость отсутствовали. Обком искал средство для формального объединения нескольких сот научных сотрудников под одной крышей с директором-единоначальником, единой партийной организацией, единым отделом кадров, первым отделом, общими для всех часами прихода и ухода с работы и прочими чертами безрадостного советского научного быта. Мы не подпали под влияние части общих уравнилельных и безликих преобразований по одной причине. Наш сектор в момент создания ИСЭП АН СССР имел статус подразделения, занимающегося исследованиями в интересах областного комитета КПСС и эксплуатацией специализированной системы по изучению общественного мнения. С этим должны были считаться руководители вновь созданного института. Другое дело, насколько им нравилась или не нравилась наша «экстерриториальность».

Паранойя засекречивания и борьбы с утечкой информации достигла пика к началу 80-х гг. Партийно-государственная система, с одной стороны, расширяла производство потоков социальной информации в своих интересах, зная наперед, что, став собственником этой информации, она засекретит ее

и регламентирует доступ к ней не только «извне», но также «изнутри». В указанном смысле судьба наших социологических опросов была, что называется, незавидной. Их результаты были известны только первым лицам в областной партийной иерархии, редко – среднему звену и никогда – рядовым коммунистам, не говоря уже о населении города – субъекте и носителе общественного мнения. Эти результаты скрывались даже от работников ЦК КПСС, которым, вообще говоря, было известно, что в Ленинграде функционирует система изучения общественного мнения на базе использования новейших методов сбора и обработки информации. Дело доходило до курьезов. Став Генеральным секретарем ЦК КПСС, Ю. Андропов решил улучшить состояние советского здравоохранения. Для этого срочно потребовались данные о том, как оценивают медицинское обслуживание советские граждане. Один из референтов ЦК КПСС, позвонил мне и спросил, не располагаю ли я какими-то надежными сведениями на сей счет. Я ответил утвердительно, но сказал, что выслать нужные сведения не могу. Требуется официальный запрос из ЦК КПСС в обком КПСС.

Запрос состоялся, но референту пришлось сказать секретарю обкома, что «навел» его на нужный источник сведений Фирсов. Возник служебный скандал. «Дознавателей» в лице сотрудников общего отдела обкома интересовала не столько просьба из секретариата Андропова и способ ее скорейшего удовлетворения, сколько причины разглашения «тайны». «Возмутительный» случай, был должен Г. Романову – партийному руководителю Ленинграда в ранге члена Политбюро ЦК КПСС. «Хозяин» тоже возмутился и повелел информацию не передавать, впредь оберегая ее от возможной утечки. Шел декабрь 1983 г. ...

Ну, разве может быть история без конца? Конец наступил и очень скоро. Нас с тобой привлекли к разработке проекта информационной системы ЦК КПСС. Мы отвечали за подсистему машинного (на базе ЭВМ) учета и анализа писем в ЦК КПСС от многих тысяч граждан, пытавшихся улучшить свою судьбу, решить свои наболевшие проблемы. Зная, что письма в ЦК и, особенно результаты их анализа будут бдительно охраняться общим отделом ЦК КПСС, мы заранее оговорили, что наш научный вклад будет состоять в разработке батареи методов машинного анализа текстов писем, включая инструкции по кодированию, вводу закодированной информации в ЭВМ. Для апробации методического инструментария мы предложили создать экспериментальный массив информации из писем в Ленинградский Обком КПСС. Но теперь, после случая с запросом из секретариата Андропова, бдительность обкома партии воз-

росла на несколько порядков. Кто может гарантировать, что ЦК КПСС не использует методический эксперимент для оценки деятельности обкома КПСС и положения дел в Ленинграде и области? Средства «защиты» стократно превысили средства «нападения». Романов наложил вето на любые формы участия обкома КПСС в разработке информационной системы ЦК КПСС. Персонами нон-грата были объявлены все сотрудники сектора общественного мнения и массовой коммуникации ИСЭП АН СССР во главе со мною. В тот же день от нас отобрали пропуска в Смольный и изъяли из спецотдела Института все материалы, связанные с многолетним изучением общественного мнения в интересах обкома КПСС. Но рукописи не горят! Место их хранения известно.

Последующую цепочку событий невозможно забыть, и все же мне представляется крайне важным твой рассказ обо всем случившемся...

Тезис о непредсказуемости ситуации, как общего свойства жизни страны, не вышедшей из состояния застоя, имеет ко мне непосредственное отношение. В один день я перестал быть социологом и поневоле превратился в этносоциолога. В октябре 1984 г. бюро Ленинградского обкома КПСС объявило мне строгий выговор с занесением в учетную карточку (ловлю себя на том, что уже сейчас доброй половине населения России пришлось бы долго объяснять, что значат эти слова) и освободило от занимаемой должности. Расскажу обо всем эскизно. Социологам в ИСЭП'е было неуютно. Ну, разные мы были люди с политэкономами сталинского времени, по прихоти обкома партии поставленными во главе института. Разномыслие запрещалось, требовалось без колебаний поддерживать оскопленный экономический детерминизм и единственно правильное и непобедимое учение.

В нашей легкой фронде была усмотрена угроза единоначалию ортодоксальных экономистов. У них возникло подозрение, что социологи покушаются на их власть. Начались «битвы русских с кабардинцами». «Гонители» наступали, будучи не очень разборчивыми в средствах борьбы с несогласными, «гонимые», как водится, оборонялись, но по преимуществу словом. Нападать на сотрудников, к тому же работающих по заданию партийных органов, было опасно, не зная, кто «за ними стоит». Здесь можно было получить по носу. Тем временем запас недоброжелательства рос и к моменту, когда сектор был выведен из партийной зоны, дирекция уже не могла сдерживать свое недоброжелательство и перешла осенью 1984 г. в наступление. Я не знаю досье, которое было собрано на меня.

О его действительном содержании могу догадываться по «профессиональным» вопросам, которые мне прокурорским тоном задавал на бюро обкома КПСС начальник местного управления КГБ генерал Носырев. Вот один из них, ключевой для генерала. Почему именно вас, Фирсов, печатают за границей, в Соединенных Штатах Америки и как Вы к этому относитесь? Речь шла о переводах моих статей, опубликованных в журнале «Социологические исследования», который автоматически реферировался в американской печати на основе специального соглашения с ИНИОН АН СССР, о чем генералу КГБ следовало знать по чину.

Придрались, иначе не скажешь, к тому, что я передал своему финскому коллеге доклады сотрудников сектора на очередной совместный семинар. Их следовало размножить в Финляндии и выслать обратно в наш адрес. Доклады были стопроцентно просоветские, отжатые до сухого бессодержательного остатка. Более того, имелось разрешение Главлита (на мое имя) на вывоз и публикацию материалов за границей. Оно было предъявлено в момент, когда мой финский коллега уже прошел таможенный и пограничный контроль. В итоге меня обвинили по «расстрельной» статье. В проекте предлагалось за серьезные недостатки в научной деятельности, грубые нарушения установленного порядка работы со служебными документами исключить меня из рядов КПСС. Ограничились строгим выговором с занесением в ученую карточку, учитывая прошлые революционные заслуги. Правда, одновременно рекомендовали уволить из института.

Жизнь среди этнографов: 1984–1989

После всех этих бурных событий ты мягко приземлился в Институте этнографии и взялся за освоение архива кн. Тенишева. Как тебе удалось его найти? Кто-нибудь его когда-либо изучал?

Работу искать не пришлось. Директор ленинградской части Института этнографии АН СССР Рудольф Фердинандович Итс предложил мне должность ведущего научного сотрудника в группе общих проблем и дал целый год на освоение новой для меня дисциплины. Этнография наука спокойная. Пиетет к человеку, толерантность – ее родовые черты. Плюс высокая культура описания различных этносов, глубочайший интерес к особенному, индивидуальному. Плюс развитая этика научного труда. Ни одно из серьезных этнографических исследований не начинается с «чистого листа». Всякий автор, берясь за перо, начинает с того, что демонстрирует уважение к трудам своих

предшественников и коллег, работающих в смежных областях. Заметна лингвистическая образованность, профессиональная историческая подготовка. Нельзя заниматься своим этносом, не зная языка, на котором говорят его представители.

Моим главным делом стало изучение материалов Этнографического бюро князя В.Н. Тенишева (1843-1903), не успевшего осуществить главный замысел, ради которого он затеял грандиозное по тем временам этнографическое предприятие, – написать двухтомный труд под названием “Быт великорусских крестьян-землепашцев”. Но это – окончательная формулировка темы моей научной работы. Первая формулировка была связана с легендой, согласно которой Тенишев на сломе двух веков обратился к представителям образованных и правящих классов России с предложением представить судьбу России, какой она будет через сто лет. Все та же легенда утверждала, что отвечали респонденты с величайшим старанием. Очень скоро я убедился, что в действительности все было не так. С высоты позиции, очищенной от догматической предубежденности, В.Н. Тенишева справедливо считать пытливым, заинтересованным исследователем повседневной жизни русского народа, стремившимся повысить полезность этнографического знания. Он оставил нам богатейшее культурное наследство – бесценный архив коллективной памяти о великорусских крестьянах. Ввести его в научный оборот – в этом состояла главная цель работы, – значило бы обогатить источниковую базу исследований культуры русского этноса. Эта цель была достигнута. В свет вышло тщательное описание материалов бюро (чего раньше не делали этнографы, хорошо знакомые с архивом Этнографического бюро) на примере дел одной губернии [11].

Этнографический дебют оказался удачным, но все-таки в ушах все время звучали социологические трупы.

Второй раз в ту же реку: 1989–1995

Я не герой перестройки, и тем более не прораб, как плеяда моих друзей шестидесятников. Я исполнил все ритуалы того времени – голосовал за Горбачева, пока не иссяк запас его интеллектуальной энергии и решительности, утром первого дня путча вышел из рядов КПСС, прошагав в ее рядах 39 лет, и естественно, без колебаний принял сторону Ельцина. Однако во мне созрело твердое убеждение: перейти на позиции принципиальной беспартийности и не открывать беспроцентного кредита ни одному из лидеров страны, чье правление придется

на последнюю половину моей жизни. К тому же в момент, когда я получал последний, надеюсь, подзатыльник от местных властей осенью 1984 г., я сказал самому себе «Радуйся! Ты стал свободным от них».

Но тут наступил период общественной реабилитации и признания научных и человеческих заслуг В. Ядова. Он стал первым профессиональным социологом, допущенным к руководству головным социологическим институтом в системе Академии Наук СССР. В момент утверждения его в этой должности на заседании Президиума АН СССР, Г. Марчук, тогдашний Президент Академии, задал Ядову дежурный вопрос: согласен ли Ядов принять на себя эту нелегкую ношу и нет ли у него специфических пожеланий.

В советское время лица, утверждаемые на высокие посты, ждали этого вопроса. Это был момент, когда руководителей-небожителей можно было просить о чем-то необычном, разумеется, за счет казны. Ядов отказался от выпрашивания сверхлимитных благ по случаю восшествия на социологический трон страны. Я, сказал он, приму назначение только в одном случае, а именно, если будет создан филиал Института социологии АН СССР в Ленинграде, где в заточении в стенах ИСЭП АН СССР томятся несколько десятков профессиональных социологов. Марчук вздрогнул, а затем сказал, что идею надо поддержать. Создавать филиал пришлось мне. 1989–1990 гг. – единственные в истории советской социологии, когда эта наука оказалась востребованной. Обком дал безоговорочное согласие на создание нового института, согласился утвердить его директором-организатором «опального» Фирсова. Считанные недели заняла обычно многомесячная процедура сбора виз внутри отделов и управлений Президиума АН СССР. Я как-то сказал на одном из собраний Социологического института РАН – преемника филиала, что так ждут в семье ребенка, выстрадавшего прошлыми невзгодами. Жаль, поэтому, что и сейчас социология остается невостребованной не только государством, что можно считать патологической нормой, но и обществом.

Три причины повлияли на мое решение оставить пост директора филиала в начале января 1995. Это – драматическое падение уровня интереса государства к науке. Государство гарантировало лишь прозябание, будучи не в силах создать экономические, юридические стимулы для развития социального и гуманитарного знания. Вторая причина – самодостаточность части профессиональной среды. Третья причина – появление негосударственных (в любом случае не частных) форм научной и образовательной деятельности.

ЕУСПб – еще одно живое дело (начиная с января 1992 г.)

Я помню, как ты начинал прорабатывать концепцию Европейского Университета. Страшно было начинать это новое дело?

Затруднюсь вспомнить автора, который сказал, что все человечество можно поделить на три части. Первая часть, самая малая, это – изобретатели огня. В любой науке, в социологии, к примеру, в частности, их единицы. Вторая часть – люди, открывающие разные способы применения огня. Их больше, чем первых, но и не большинство. К большинству относится третья часть – те, кто греются теплом от огня, изобретенного и добытого другими. В конце января 1992 г. мэр Санкт-Петербурга А.Собчак предложил мне возглавить организационный комитет по созданию негосударственного образовательного учреждения, вскоре нареченного его основателями Европейским университетом в Санкт-Петербурге, – именем, закрепленным в конце 2004 г. актом государственной аттестации.

Я принял это предложение, тем более, что оно совпало с моим тогдашним настроением перейти из третьей во вторую лигу «игроков с огнем». Дюжина лет, отданных служению идее ЕУСПб (ректор-организатор, ректор в течение двух сроков, с 1997 по 2003 гг.), международная и российская репутация этого единственного в стране аспирантского колледжа в области социальных и гуманитарных наук, дают мне право рассматривать эти годы самым счастливым и результативным периодом моей профессиональной деятельности. Был реализован проект, авторов которого первоначально считали городскими сумасшедшими, настолько нереальными казался замысел и его подробности. Победило разномыслие, а вместе с ним и готовность рисковать во имя идеи и искать нетривиальные выходы из, казалось, непроходимых ситуаций. Победили новые принципы творчества и интеллектуального труда, которые стали возможны в пост-советской России и никогда ранее в советское время. Извини за высокий слог, но речь идет о праве предлагать общественно-полезную идею и брать на себя полноту ответственности за ее воплощение в жизнь. Достигнув успеха на этих основаниях, ты испытываешь особое мирочувствие человека, способного брать верх над обстоятельствами. Страха перед новизной и необычностью дела я не испытывал. Волновался, но это чувство сопровождает меня всегда.

Не считаешь ли ты важным назвать структуры или акторов, помогавших и помогающих Университету?

Скажу еще о новых субъектах и их роли в создании и судьбе ЕУСПб. Учредители (КУГИ Администрации Санкт-Петербур-

га, Социологический институт РАН, Петербургский экономико-математический институт РАН, СПб союз ученых) взяли на себя «родительские обязанности» на «всю оставшуюся жизнь». От них в родословной ЕУСПб обозначилось право на поддержку со стороны Правительства и Законодательного собрания ЕУСПб. Без этого, сознаюсь, было бы трудно выйти «в свет», «выбиться в люди». Оба выражения здесь будут уместными. Члены *Попечительского совета* выступили в трех одинаково важных и бескорыстных ролях. Одна из них – поручительство своим именем за академическую репутацию университета. Суть второй роли – экспертиза стратегии развития университета. Третья роль – поддержка словом и делом повседневной деятельности университета. При взгляде «снизу вверх» Попечительский совет – инстанция моральной ответственности ректората и подразделений ЕУСПб за качество жизни в российском и международном образовательном и научном сообществе. Три главных *спонсора* (число, их на самом деле, гораздо больше) – фонд Форда, фонд Макартуров, Международная программа поддержки высшего образования (Институт открытого общества, фонд Сороса) помогли создать условия для обучения талантливой научной молодежи из Санкт-Петербурга и других регионов страны, соответствующие самым высоким международным стандартам.

Имею честь и обязанность заявить, что беспрецедентную по своим масштабам и многолетнюю помощь спонсоров отличало и отличает полное отсутствие «аннексий и контрибуций», что в переводе с ранне-большевистского языка на современный, означает выполнение добровольно принятых спонсорских обязательств без каких бы то ни было предварительных условий идеологического или политического характера. Чем больше выветривается альтруизм из нашего национального менталитета, тем сильнее растет подозрительность, что альтруизм отсутствует у других наций. Как гражданин России я выражаю сожаление, что вклад международных благотворительных фондов в поддержку российского образования и российской науки не встретил душевного отклика у властей моей страны и остался неотмеченным. Ни извиняться, ни благодарить мы по-прежнему не умеем.

В поисках самого себя

Решение оставить ректорский пост я принял без колебаний еще в период выборов на второй срок (весна 2000 г.). Официально заявил об этом год спустя, попросив Попечительский и учебный советы озаботиться поиском преемника. Альтернативных

кандидатов не появилось – слишком большими достоинствами обладал номинированный мною и поддержанный университетским электоратом Николай Вахтин, сын и единомышленник Бориса Вахтина, проработавший со мной все эти годы в качестве заместителя председателя организационного комитета, а затем – первого проректора ЕУСПб. Январь–апрель 2003 года я провел в стенах Института Кеннана (Вашингтон, США) в качестве стажера-исследователя высокого уровня, что дало мне возможность отключиться от многосложных ректорских обязанностей и заняться поиском –разведкой темы научных исследований на перспективу. Скрытый мотив моего отъезда в США – сознательное намерение оставить Н. Вахтина одного на капитанском мостике во время зимне-весенней навигации 2003 года.

Все годы ректорства я старался быть «играющим тренером» и поддерживать научную форму. В какой-то степени это удалось. Я написал книгу по истории советской социологии [12] и опубликовал около четырех десятков статей о том, что меня волновало и интересовало как социолога: историческая динамика советской и пост-советской культуры, судьбы научных элит и интеллектуалов в современном российском обществе, связи истории и социологии, проблемы развития науки и высшего образования и др. Чувствуя, что могу сделать гораздо больше, я все же не смог преодолеть гравитацию ректорского поста. Административная деятельность всегда оставалась на первом месте, научная – на втором, преподавательская – на последнем, да и в минимальных дозах. Ответ на вопрос о том, чем и во имя чего следует жертвовать, скорее всего, этический и личный. Мое решение состояло в том, чтобы наступить на горло собственной научной песне и, находясь на ректорском посту, при прочих равных условиях всегда отдавать предпочтение общеуниверситетским интересам. Удалось мне это сделать или нет – пусть судят университетские коллеги. Мое внутреннее ощущение состоит в том, что университет был для меня эти годы Большой Целью, и никогда не был средством.

...и теперь что...?

Из Вашингтона я вернулся с двумя приобретениями. Одно из них – модель жизни в послеректорский период. Она опирается на идею самофинансирования научной деятельности, чему весьма активно и с высоким КПД учили и учат слушателей университета. Конечно, можно было внести на заседание ученого совета проект «Закона о Первом ректоре Европейского университета в Санкт-Петербурге». Прецеденты имеются. Не скрою, что мои коллеги спрашивали меня, чего бы я хотел. Я ответил, что предпочитаю уйти от всяких административных

дел и тем более от попыток продолжать хотя бы в самой малой степени вмешиваться в руководство и управление университетом. Я хочу заниматься наукой и прошу предоставить мне рабочее место в стенах университета. Что касается денег, то я буду сам добывать их для себя, участвуя в международных и российских научных конкурсах и, опираясь на статус, которым наделил меня университет. Так стал главным научным сотрудником ЕУСПб и получил два гранта на поддержку своих инициативных научных проектов.

Меня интересует выбор тобою тем для этих грантов. Они – продолжение коммуникационных исследований, этнографических поисков, наблюдений последних лет за тем, что происходит в стране...? Почему именно эти темы?

Грант *фонда Макартуров* – на индивидуальный проект «Ментальные миры современного российского населения». Могу повторить [13], что фатальная власть ментальности над нами непрерывно растет. В расплывчатости определений ментальности и ускользании форм ее бытия заключены определенные преимущества, например, возможность ухватывать в анализе “нечто”, что не попадает в фокус других наук. Именно такой способ познания выбрал М. Вебер, угадывая и открывая “нечто непознанное, но существующее” (дух капиталистической предприимчивости) в проявлениях «очевидного» (протестантская этика). Мне интересно проложить путь к открытию тайн ментальности.

Фонд Форда поддержал еще один мой проект «Разномыслие в России 1953–1991 гг.: идеи, носители идей, роль культуры, искусства и науки». Тема этого проекта – социальная история разрушения монолита советской системы. Бесспорно, что эта история будет многократно переписываться, ввиду постоянного открытия новых фактов и документов. Но все же я вижу особую пользу в том, чтобы она была предложена теми, чья сознательная жизнь и деятельность пришлась на советское время.

Результаты исследования я намерен изложить в книге, сложив их с личными впечатлениями о событиях прожитой жизни. Про часть событий я смогу сказать лишь то, что я их формальный свидетель и современник. Линия судьбы такова, что они не стали источником и причиной моих глубинных переживаний в моменты и периоды их свершения. Рефлексия во многих других случаях наступит позднее, в более зрелую пору жизни, когда придется с головой погружаться в волны исторических перемен, определять, а то и переопределять свое отношение к тому, что происходило в твоей же собственной стране. Человеческий, профессиональный, да и гражданский

долг станут главными причинами напряжения памяти, мобилизации творческих сил и настройки моего сознания на волну анализа разномыслия, включая мое собственное в тех случаях, когда оно возникало. Я постараюсь не столько оглядываться на былое время, сколько понять его в необходимых деталях в назидание самому себе и для пользы вечной молодых граждан новой России, воспринимающих советскую эпоху понаслышке.

Примечания:

1. Распятые. Писатели жертвы политических репрессий. Вып. 6. Слово, взятое в цепи / Автор-составитель З. Дичаров. – СПб.: Издательство Русско-Балтийский информационный центр, БЛИЦ, 2000. С. 17–18.
2. *Прасолов Р.С., Серобабин А.И., Фирсов Б.М.* Телевидение и обучение. М.: Искусство, 1972.
3. Профессор Хильде Химмельвейт (Hilde Himmelweit, 1918–1989), известна своими работами в области социальной психологии. Ее книга *Television and the Child* (1958) получила широкое признание в Европе и Америке.
4. *Фирсов Б.М.* О некоторых направлениях в деятельности Британской радиовещательной корпорации – М.: Изд-во Комитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР, 1968; Методы изучения аудитории английского радио и телевидения / Сост. Б.М. Фирсов. – Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации N 41. М.: Изд-во ССА, 1969.
5. Результаты изучения ленинградской телеаудитории опубликованы в: *Фирсов Б.М.* Массовая коммуникация // Журналист. 1967. № 2. С. 50–52; *Фирсов Б.М.* Среднего зрителя нет // Журналист. 1967. № 12. С. 42 – 45; *Фирсов Б.М.* Ваше мнение о телевидении. М.: Изд-во Комитета по радиовещанию и телевидению при СМ СССР, 1968; *Фирсов Б.М.* Телевидение глазами социолога. М.: Искусство, 1972.
6. Материалы, собранные в ЮНЕСКО, были частично рассмотрены в книге: *Фирсов Б.М.* «Пути развития средств массовой коммуникации». – Л.: Наука, 1977 и использованы в докторской диссертации: *Фирсов Б.М.* «Массовая коммуникация в условиях различных социальных систем». Диссертация на соискание ученой степени доктора философских наук (специальность 09.00.09 – Прикладная социология). Ленинград. 1979.
7. Массовая коммуникация в социалистическом обществе / Под ред. А.В. Дмитриева, Н.С. Мансурова, Т. Сечке, П. Тамаша, Б.М. Фирсова. – Л.: Наука, 1979; A tomegkommunikacio a szocialista tarsalalom eleteben / Szerkesztette A.V. Dmitrijev, B.M. Firsov, N. Manszurov, Szecsko Tamas, Tamas Pal. – Budapest: Akademiai Kiado, 1980; Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации. Материалы 2-го советско-венгерского симпозиума, Ленинград, 17–23 сентября 1977 г. / Отв.ред. Т. Сечке и Б.М. Фирсов. – Будапешт – Л.: Изд-во Научного центра Венгерского радио и телевидения, 1979; Человек социалистичес-

- кого общества и процессы массовой коммуникации. Материалы 3-го советско-венгерского симпозиума, Будапешт, 18–22 сентября 1979 г. / Отв. ред. Т. Сечке и Б.М. Фирсов. – Будапешт – Л.: Изд-во Научного центра Венгерского радио и телевидения, 1980; Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации. Материалы 4-го советско-венгерского симпозиума, Ленинград, 2–6 июня 1980 г. / Отв. ред. Б.М. Фирсов и Т. Сечке. – Л. – Будапешт: Наука, 1981; Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации. Материалы 5-го советско-венгерского симпозиума, Будапешт, 21–27 сентября 1982 г. / Отв. ред. Т. Сечке и Б.М. Фирсов. – Будапешт – Л.: Изд-во Научного центра Венгерского радио и телевидения, 1983.
8. Social Role of Mass Communication. Report of the Second Finnish–Soviet Seminar. Tampere : University of Tampere, 1982; City – Way of Life – Mass Communication. Report of the Third Soviet – Finnish Seminar. Tampere: University of Tampere, 1984.
 9. Докторов Б. Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13.
 10. Алексеев Б.К., Докторов Б.З., Фирсов Б.М. Общественное мнение и социальное управление // Социологические исследования. 1979. № 4. С. 23–32; Они же. Изучение общественного мнения: вопросы организации исследований // Социологические исследования. 1981. № 1. С. 78– 85.
 11. Быт великорусских крестьян-землепашцев (по материалам Этнографического бюро кн. В.Н. Тенишева) / Сост. и авт. вступительной статьи, описания материалов Владимирской губернии и научно-справочного аппарата Б.М. Фирсов и И.Г. Киселева. – СПб.: Изд-во Европейского дома, 1994.
 12. Фирсов Б.М.. История советской социологии 1950 – 1980-х годов. Курс лекций. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2001.
 13. Фирсов Б.М. Ментальные миры современного российского населения // Телескоп. 2003. № 4. С. 4–9; 2004. № 5. С. 2–8.

Третье поколение. Призванные помогать

Во второй половине 60-х становящаяся советская социология остро ощутила потребность в специалистах, готовых к использованию методов обработки первичной информации, формированию выборок, освоению методологии феноменологических поисков. Поиски ответов на эти вызовы был возложен на вчерашних выпускников математических, физических факультетов, филологов с профессиональным знанием языков. Так происходило формирование третьего поколения социологов. Каждый из них появился в социологии случайно, но вместе их приход в эту науку был закономерностью.

Рассмотрение путей, которыми входили в социологию представители первого и второго поколений, позволяет наметить присущие каждой профессиональной когорте *ведущие роли, или функции*, в процессе становления в стране социологии. Эти роли не распределялись каким-либо режиссером, внешней силой, властными институтами, они были избраны участниками процесса самостоятельно, часто выстраданы. Путь каждого социолога во многом был случаен, а вот функции поколений – и в обнаружении их заключается одно из достоинств поколенческого анализа – закономерны, объективны. Они – следствие исторических процессов, составляющих фон и суть второго рождения современной советской/российской социологии. В начале 60-х «процесс пошел», и далее на десяток лет все было, по большому счету, предопределено.

Первому поколению социологов предстояло доказать самостоятельность социологии как науки, и это была не просто науковедческая тема, но вопрос феноменологии, методологии и организации науки, но прежде всего *проблема политико-идеологическая*. Второе поколение – если говорить в целом – почти не участвовало в дискуссиях о специфике марксистской социологии, оно, опять же в основном, приняло концепцию трех уровней социологии и решало задачи *расширения предметного поля* исследований в опоре на свой солидный «до- и внешнесоциологический» научный и практический опыт.

Формирование следующего, третьего, поколения (время рождения представителей этой группы заключено в интервале 1935–1946 гг.), тоже несет в себе следы «ненормальности» развития российской социологии, т. е. ее длительного отсутствия и затем второго рождения.

Обычно каждое новое поколение в науке растет под наблюдением двух предыдущих, но в данном случае такого не могло быть. Вторые к моменту зарождения третьего еще не набрали той силы, чтобы активно влиять на становление входивших в науку новых людей, да и вчерашние студенты и молодые ученые предпочитали консультироваться у самых

**Данные об опрошенных представителях третьего поколения
российских социологов**

| ФИО | Год рождения | Годы прихода в социологию | Год защиты канд./ докт. дис. |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| Беляев Эдуард Викторович | 1936 | 1960 | 1966 |
| Божков Олег Борисович | 1941 | середина 60-х | нет |
| Воронков Виктор Михайлович | 1945 | конец 80-х | нет |
| Гофман Александр Бенционович | 1945 | начало 70-х | 1974/1994 |
| Ионин Леонид Григорьевич | 1945 | начало 70-х | 1974/1983 |
| Кесельман Леонид Евсеевич | 1944 | начало 70-х | нет |
| Константиновский Давид Львович | 1937 | 1968 | 1970/1998 |
| Могилевский Роман Семенович | 1938 | 1966 | 1973/нет |
| Панова Людмила Васильевна | 1938 | 1966 | 1975/нет |
| Петренко Елена Серафимовна | 1940 | 1968 | 1973/нет |
| Протасенко Татьяна Захаровна | 1946 | конец 60-х | нет |
| Саганенко Галина Иосифовна | 1941 | 1962 | 1974/1991 |
| Смирнова Елена Эмильевна | 1941 | конец 60-х | 1971/1993 |
| Травин Игорь Иванович | 1936 | 1971 | 1978/нет |
| Толстова Юлиана Николаевна | 1942 | 1969 | 1977/1993 |
| Шереги Франц Эдмундович | 1944 | 1973 | 1976/нет |

первых. В доминирующем числе случаев учителями, наставниками третьего поколения были социологи первого призыва (самопризыва), более того, формирование второго и третьего поколений происходило *последовательно-параллельно*, а не строго последовательно. Во всяком случае, первые шаги по рекрутированию третьего поколения делались не позже, чем начинало складываться второе.

В середине 60-х некоторые из третьей профессиональной когорты уже считали себя социологами, тогда как будущие представители второй работали по своей базовой специальности: юристами, журналистами, историками, переводчиками и т. д. На кафедрах философии ведущих университетов страны стали утверждать аспирантские темы социологической направленности, таким образом, некоторые старшие представи-

тели третьего поколения становились кандидатами наук ранее их будущих коллег из второго поколения.

Для такого хода дела были объективные предпосылки. В этот период создавались хозрасчетные социологические лаборатории в университетах, открывались академические социологические подразделения, под идею социального планирования формировалась сеть заводских социологов, под руководством социологов первого поколения разрабатывались и проводились крупные исследовательские проекты, давшие теоретико-эмпирический материал для ряда ставших классическими в отечественной социологии книг. Происходило осознание того, что без освоения трудных разделов планирования процедур сбора и обработки больших массивов информации задумывавшиеся проекты не смогут быть реализованы. Все более ясным становилось, что для развития социологии необходимы люди, способные целенаправленно заниматься освоением зарубежных теоретических и методических достижений, заглядывать в прошлое науки.

Третье поколение начинало входить в социологию в начальные 60-е, и это движение продолжалось в течение всего следующего десятилетия. Лишь младшая часть этого поколения, учившаяся на философских факультетах университетов, приходила в социологию более или менее осознанно. Все остальные, учившиеся на философских факультетах во второй половине 50-х или получавшие другие специальности в университетах и институтах, как правило, не знали, что это за наука.

В силу ряда причин третье поколение оказалось представленным в нашем массиве заметно большим в сравнении с двумя предыдущими поколениями количеством социологов. Для этого есть объективные причины, отмечу две главные. Во-первых, в гипотетической генеральной совокупности советских/российских социологов представителей этой когорты, очевидно, было больше, чем социологов первых двух поколений. Во-вторых, пути представителей третьего поколения в социологию более вариабельны, значит, необходим больший материал для выявления моделей их вхождения в науку.

Возможно, *главное отличие* третьего поколения от второго заключается в том, что оно осознанно, целенаправленно рекрутировалось и создавалось первым, тогда как второе – приходило само. Соответственно, роль, назначение, функции третьего поколения несли в себе не только черты времени, политических, идеологических и социальных особенностей советского общества второй половины 60-х – первой половины 70-х годов, но и в значительной степени определялись науч-

ными интересами и личностными чертами социологов первого поколения. Все они к тому времени были докторами наук, авторами основополагающих для отечественной социологии книг, руководителями крупных проектов и подразделений академических институтов. Они имели возможности, правда, не очень широкие, набирать штат сотрудников и руководить аспирантами. И делали это, прежде всего, отталкиваясь от собственных научных интересов, текущих производственных потребностей, представлений о том, какими они видели своих младших по возрасту коллег. Естественно, они осуществляли свой выбор из того человеческого и профессионального «материала», который представляла им эпоха.

Анализируя состояние только оформлявшейся советской социологии во второй половине 60-х годов, можно выделить тенденции ее развития, определявшие механизмы рекрутирования новых кадров, и тематику, которую им пришлось разрабатывать. Нет смысла сравнивать глубину возникавших, существовавших проблем, но, безусловно, среди главных была проблема математической обработки результатов анкетных опросов. Особенностью того времени были большие объемы выборок и большое число вопросов, включенных в анкеты. Использовались и другие методы сбора информации, но доминировало анкетирование. Математики нужны были для обеспечения анализа первичных данных, планирования выборок, разработки приемов шкалирования измеряемых установок. Освоение зарубежного опыта и некоторое оживление контактов с западными специалистами требовали привлечения людей с профессиональным знанием языков, потому в социологические коллективы приглашались люди, профессионально знающие иностранные языки. Еще одно обозначившееся исследовательское направление – овладение методологией и практикой феноменологической социологии; начинала осознаваться ограниченность жестких позитивистских концепций и методов. Наряду с изучением современных для того времени социологических теорий и эмпирических приемов, зарождался интерес к истории зарубежной и отечественной социологии, этот факт также детерминировал характер притока молодых в науку.

В силу всего сказанного, третье поколение российских социологов обозначается как «призванные помогать».



Беляев Э. В. – окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, кандидат философских наук, профессор Колумбийского университета, Нью-Йорк, США. Основные области исследования до эмиграции: методология социологии, математические методы в социологии. Интервью состоялось в 2010 году.

Эдуард Викторович Беляев – один из первых сотрудников первой в СССР социологической лаборатории в ЛГУ, он – автор первой в стране диссертации по математическим методам социологии. В значительной степени благодаря ему была переведена на русский язык книга американских ученых Уильяма Гуда и Пола Хатта по методам в социальных исследованиях, сыгравшая

заметную роль в освоении советскими социологами методов сбора и анализа информации. В 1976 году он иммигрировал во Францию, а через год – в США. С 1978 года он – сотрудник Колумбийского университета в Нью-Йорке. В течение четверти века Беляев фактически был оторван от социологической жизни в СССР/России. В 2002 году в «Социсе» была опубликована его первая после отъезда статья, позже появились и другие. Его имя вернулось в отечественную социологию.

**Э.В. Беляев:
«ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ –
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
ЧЕРТА
МОЕЙ ЛИЧНОСТИ»***

Эдик, не мог бы ты рассказать о своей родительской семье, о годах, предшествовавших поступлению в университет?

Происхождение и семья – обычные вопросы, с которых начинают биографии, имея в виду, что их освещение помогает понять характер и поведение героя биографического повествования. Наверное, это в основном так. Но применяя к себе этот метод, я вижу его неадекватность. Я думаю, что эти внешние характеристики (где родился, какой была твоя семья) мало что объясняют в моем характере и в моей жизни. Скорее то, что я жил в Ленинграде всю жизнь, вплоть до отъезда в Париж и затем в Нью-Йорк, и то, что половина моей жизни прошла в Советском Союзе, являются наиболее важными факторами.

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2010. № 3. С. 2–11.

Могу с тобою согласиться, и все же...

Видишь ли, в интеллектуальном отношении, я думаю, я сделал себя сам, или, может быть, более правильно – так получилось, потому что это не было сознательным процессом. Как-то моя жена-психолог назвала меня “самодидактом”. Наверное это правильно. Я происхожу из простых городских советских служащих. Мой дед по материнской линии привез свою семью в тогдашний Петроград в начале Первой мировой войны из г. Александровска, что находится в Латвии. У меня до сих пор есть родственники в Латвии, в Риге, а часть родственников еще в те годы уехала в США. Моя мать была тогда еще ребенком четырех лет. По ее рассказам, это было очень трудное время для них. Дед был евреем и портным – классическое сочетание! С тех пор, как его семья поселилась в Петрограде в 1914 году, она все время, и я в том числе, жила в одном и том же доме, в той же квартире вплоть до 1972 года. Тогда дом пошел на капитальный ремонт, и я с матерью переселились в другое место, но тоже поблизости, в центре города.

В квартире первоначально было четыре комнаты и большая кухня. Народу было много: у деда было девять детей, мои дядья и тетки. Когда они стали создавать свои семьи, только одна тетка сумела уехать из квартиры. Так что все время становилось теснее, потом кухню разделили пополам, сделав еще одну комнату для семьи одного из моих дядей. После войны (дед умер до войны и до моего рождения) стало даже хуже, потому что одну комнату город у нас отнял, отдав ее совершенно чужим людям. Я говорю об этом так подробно, потому что в этой тесноте (одно время в пяти комнатах квартиры жило 17 человек!) прошло 35 лет моей жизни, включая блокаду Ленинграда. Конечно, эта ситуация была вовсе не уникальной. Мой научный руководитель Игорь Семенович Кон помог мне переселиться в отдельную комнату в той же квартире, когда ее жильцы – мой двоюродный брат со своей семьей – получили новую квартиру, где-то около 1963 г. И. Кон ходил в горком партии просить, чтобы мне отдали эту комнату, маленькую и совершенно темную.

Отец, русский, родом из Тверской губернии, по-видимому, из крестьян, но это только моя догадка. Отца я не знал: его арестовали, когда мне было несколько месяцев, и сослали куда-то в Центральную Азию. После войны мать долго пыталась его разыскать или хотя бы получить от него или от государства деньги на мое содержание; мы очень бедно жили, что я понимаю полностью только сейчас, когда вспоминаю те послевоенные голодные годы. Денег мы не получили, но Министерство обороны ответило, что отец пропал без вести. Мы не нашли и

его мать после войны: она, видимо, умерла во время войны или уехала обратно в Тверскую область, родные места. Тверского адреса мы не знали.

Никто в моей семье, ни с материнской, ни с отцовской стороны, за исключением одного дяди с материнской стороны, но я не очень уверен, не имел высшего образования. Я первый, хотя и не самый старший из моего поколения. Моя мать вообще окончила четыре класса, так как не на что было жить и надо было идти работать. Она всю жизнь работала на почте, даже во время блокады Ленинграда. И я летом, когда детсад не работал, проводил время с ней на почте или на улице катался на самокате, уезжая иногда один довольно далеко от ее работы. Она работала в почтовом отделении на Московском вокзале. В те летние дни 1943 и 1944 гг. я был совсем один, только иногда со взрослыми, со-работниками матери, на почте.

Именно в это время, я помню, я начал задавать себе и окружающим вопросы естественно-научного характера, если можно так выразиться о вопросах ребенка шести-семи лет. Я помню, что взрослые не могли ответить на мои вопросы, а читать я еще не умел: мать только тогда начала учить меня буквам. Я родился в 1936-м и пошел в школу в 1944 г., мне было 8 лет.

Есть еще одно очень важное воспоминание, относящееся к 1945 году. В середине или в конце августа советское правительство объявило о войне с Японией. Я не только об этом знал, но был очень доволен, что мы покончим с японцами. Мне сейчас очень странно, что в девять лет я не только интересовался, но и эмоционально реагировал на такие события. А запомнил я этот эпизод, потому что, будучи у матери на работе, я поделился своими эмоциями с одной работницей, которая была на фронте и вернулась домой инвалидом. В ответ она мне сказала – это до сих пор звучит у меня в ушах: как ты можешь радоваться, ведь опять погибнет много людей! Мы разговаривали на эту тему еще несколько минут, но я плохо помню этот разговор. Зато ярко помню, что он был!

Приведенный эпизод важен мне не потому, что еще тогда были “диссиденты”, несогласные с политикой правительства и готовые сказать об этом другим, а потому, что это знак в моей интеллектуальной биографии. Я этим вовсе не хочу сказать, что я стал подвергать сомнению действия советского правительства – это придет десятилетием позже.

Я только хочу сказать, что начали проявляться в дополнение к моим естественно-научным интересам социальные интересы.

Эта двойственность – естественно-научные и социальные интересы – определяющая черта моей личности. Эта двойствен-

ность сохранилась до сих пор. Мне трудно сказать, какие интересы перевешивают. Этот двусторонний интерес сказывается на моем поведении и принятии решений до сих пор. И хотя профессионально я занимаюсь социальными дисциплинами, не одной, а несколькими сразу, большую часть того, что я читаю, составляют книги по естественным наукам.

Мой глубоко внутренний интерес к естественно-научному и социальному проявился спонтанно, никто никогда не толкал меня ни в ту, ни в другую сторону. У меня нет никого, на кого я мог бы указать, что сей человек оказал на меня влияние, толкнул меня к определенным интересам. Но были книги, которые в детстве я читал с необыкновенным удовольствием. Это были книги Якова Перельмана о физике и астрономии, которые я читал в 3–5-м классах. В 4-м классе я записался в кружок по астрономии во Дворце пионеров, который прилежно и с удовольствием посещал года два. Однажды наш преподаватель по кружку пригласил нас на астрономическую конференцию. Странно, что он нас пригласил, и я, конечно, почти ничего не понял. Но я помню, что там шли разговоры о космологии, помню, что там выступал известный астроном, профессор Кирилл Федорович Огородников, помню, что там шли разговоры о том, что физические законы могут не действовать в отдаленных от нас уголках Вселенной, что произвело на меня необыкновенное впечатление. Помню и шутку, которую бросил кто-то из аудитории выступавшему: «Это похоже на плотность нулей в полупустом пространстве», вызвавшую дикий гогот аудитории.

Но были и книги по биологии, детские, конечно. Особенно хорошо запомнил одну про историю жизни на Земле, с иллюстрациями, на которых были изображены вымершие животные. Я стараюсь уже много лет вспомнить ее название и не могу. Может быть, я никогда не знал ее названия, поскольку подобрал ее уже где-то полуразорванной. Я не помню ни одной книги по социальным или историческим вопросам, которую я бы читал в то время (я видимо просто не читал таковых), за исключением одной хорошо известной в Советском Союзе книжки «Мифы Древней Греции». Чуть позже в средней школе (8–10-м классах) я уже читал многое по социальным вопросам, по истории в том числе. Чтобы не было недоразумений – речь, конечно же, идет о детских и юношеских советских книгах, которые я брал в библиотеке.

Я чуть было не закончил свое образование после 4-го класса: дома было так голодно и тесно, что бедная моя мать пыталась отдать меня в Нахимовское училище. Ничего из этого не вышло. Думаю, что я прошел бы по состоянию здоровья. Но были

два препятствия, которые существовали в то время и которые меня преследовали вплоть до поступления в университет. «Слава богу!» – говорю я теперь. Одно – мое полудеврейское происхождение, а другое – совсем уже смешное – факт, что я провел войну в осажденном Ленинграде; вдруг меня завербовали в шпионы, когда мне было пять лет, кто знает! Вторая попытка была после окончания 7-го класса, которая тоже кончилась ничем. Мать пыталась устроить меня в мореходное училище. Но я уже был рад, что ничего не получилось. И такая же история была перед окончанием 10-го класса: учеба в университете тогда стоила около 200 рублей в год, если я правильно помню (плату за обучение отменили, когда я был уже на 3-м курсе – опять же, если я правильно помню), и мать сомневалась, что мы сможем выкрутиться. Но я получил серебряную медаль после окончания школы и имел право поступать без экзаменов. И мать согласилась на мое поступление. Это был 1954 год.

Итак, мы добрались до того момента, когда ты стоял перед выбором профессии...

Моя главная психологическая проблема в этом отношении, как я уже сказал, состояла и состоит до сих пор в том, что меня очень интересует естествознание и большие системы, с одной стороны, и социально-политическая борьба и международные отношения – с другой. Это психологически объясняет практически всё в моей интеллектуальной жизни и в моих выборах. После окончания школы, благодаря медали, у меня были большие возможности для выбора. Первым вариантом был Институт международных отношений – знаменитый МГИМО. Но я не сумел получить рекомендацию от ленинградского горкома комсомола, у меня не было никаких особых заслуг перед комсомолом и не было никаких специальных знакомств. Так что этот желательный выбор закрылся автоматически. Тогда я стал думать о поступлении в Ленинградский университет. На какой факультет? Это оказалось для меня исключительно трудным решением. Меня манили два факультета: математико-механический, отделение астрономии, и философский. Сначала я решил подать документы на мат-мех, на астрономию. Просмотрел внимательно перечень изучаемых предметов и в последний момент передумал. Пошел на философский факультет, изучил их программу и нашел, что они дают философию естественных наук. Решил подавать туда документы. В ситуации моего психологического разброса философский факультет был идеальным сочетанием социальных и естествознательских вещей. Не оказалось, что я не мог поступать на этот факультет, потому что туда принимали – по крайней мере в том году –

только уже отработавших на производстве и членов партии.

Мой интерес к международным отношениям был очень силен. Будучи «в отпуске» – от МГИМО и философского факультета, я решил зайти с другой стороны и изучить китайский или какой-нибудь индийский язык, чтобы, в конце концов, перейти на дипломатическую службу. Я был достаточно софистицирован, чтобы понимать, что к чему, и просчитывал на годы вперед.

Меня ждала очередная неудача. Мне объявили, что места на китайском отделении уже заполнены. Думаю, что это было вранье: скорее всего опять подвела моя биография – происхождение и ленинградская блокада. И хотя я по паспорту был русский, но анкета выдавала, что мать моя – еврейка. Надо сказать, что именно по причине происхождения мои очень талантливые друзья не поступили в ЛГУ.

Мне было предложено: корейский язык или ничего. Я был страшно подавлен, но время поджимало, и, чтобы не потерять год, я согласился. Так я оказался на корейском отделении.

Основное разочарование, оказалось, меня ждало впереди. С самого начала нас стали толкать на историко-теоретические изыскания в корейском языке, изучение каких-то частиц в каком-то веке. Я категорически не желал иметь ничего общего с этим, хотя мне нравилось языкознание. До сих пор нравится.

Но в том году философский факультет из-за своих правил недобрал студентов, и ему было разрешено объявить дополнительный набор из студентов других факультетов. Это была огромная удача. Я и еще один студент нашей корейской группы, нас было всего четверо в группе, тут же перевелись.

Философский факультет привлекал меня не столько философией как таковой, сколько тем, что там было редкостное многообразие предметов. Я изучил их расписание занятий довольно тщательно: я мог посещать занятия по естественным предметам, что я и сделал впоследствии. Например, я прослушал полный курс физики элементарных частиц на физическом факультете, математическую логику на мат-мехе (читал Н.А. Шанин).

На философском факультете мне первоначально нравилась история философии, на первом курсе была история древней философии, хотя я не думаю, что я все отлично понимал, и диалектический материализм, поскольку его тесно связывали с естествознанием, моей первой любовью. Отсюда и преподаватели, которых я запомнил и которые мне очень нравились: Г.С. Кватер (который преподавал на полставки, он умер в середине курса), он был одним из самых лучших преподавателей, которых я знал; В.А. Штоф, В.И. Свидерский и, значительно

позже, И.С. Кон (истмат на 3-м курсе, по-моему) и Ю.А. Асеев (современная западная философия на 4-м и 5-м курсах). У Асеева я писал диплом по позитивистской философии. Из преподавателей, которых я терпеть не мог, я должен выделить В.Я. Ельмеева, хотя я не слушал его курсов. Были и те, к которым я относился совершенно равнодушно, хотя терпеть не мог их предметы, к примеру, А.А. Галактионов (русская философия). Были те, к которым я просто не испытывал никакого уважения, например, В.П. Рожин, заменивший В.П. Тугаринова в должности декана. Рожин был удивительно серым бюрократом, у него не было ни одной светлой мысли, даже в неофициальной обстановке от него несло жуткой скукой. Мы все (студенты) хорошо понимали, что в истмате (который он преподавал) не особенно разойдётся, но ведь Игорь Кон тоже читал истмат! И у него это было даже очень интересно! Тугаринов, который был деканом факультета до Рожина, тоже был номенклатурный работник, отвечавший за факультет, но все-таки у него работала голова. Я судил, конечно, как студент и, может быть, Володя Ядов и Игорь Кон знают совсем другого Рожина.

Будучи в университете, я очень много читал, но не по студенческим курсам, а по древней литературе, Эсхила, например, европейскую классическую литературу, включая поэзию, особенно французскую и русскую предреволюционную, и Фрейда, который, как ни странно, был доступен в библиотеке. Я также много читал по философии математики, точнее – по основаниям математики и естествознания вообще.

В годы, когда ты учился на философском факультете, в стране происходили многие – как показало время – историкообразующие явления и процессы, что ты мог бы вспомнить?

Действительно, мои студенческие годы совпали с циклопическими событиями в стране и в мире – XX съезд КПСС и Венгерское восстание. Мы, студенты, были ознакомлены с речью Хрущева, нам ее зачитали на специальном собрании, и мы, конечно же, обсуждали ее на занятиях и вне занятий. Интеллектуально, я думаю, мы были подготовлены лучше, чем студенты других факультетов к этому событию. Речь Хрущева, конечно шокировала, но нельзя забывать, что Сталин умер за три года до этого, и в стране вовсю уже происходили перемены. Это отражалось в наших курсах и семинарах. Но после речи Хрущева происходили колоссальные сдвиги в университетском комсомоле и в студенческой среде вообще. На философском факультете это выразилось в деятельности Игоря Огурцова, он был в нашей студенческой группе, и Ми-

хаила Молоствовова и его друзей, которые были в старшей (на год) группе. Огурцов был очень замкнутый, и, хотя я был с ним в хороших отношениях, я практически ничего не знал о нем и его интересах, а если бы знал, не одобрил бы по чисто мировоззренческим убеждениям. Он скоро был арестован за свою националистически-религиозную “деятельность”. Нашу группу это никак не коснулось.

Молостлов, в будущем – известный правозащитник и политик, депутат Государственной думы, был настоящим комсомольцем-энтузиастом. Он играл какую-то большую роль в университетском комсомоле. Нам стало известно о его и его друзей аресте на специально созванном собрании, это было на 4-м курсе, где нас предупредили, чтобы мы не занимались подобного рода “работой”. Я лично комсомольской работой в университете никак не занимался и потому все эти аресты меня глубоко не затрагивали. Несмотря на это, погасить наш энтузиазм, связанный с “оттепелью”, было не просто. Особенно большое значение имело для нас Венгерское восстание. Мы горячо обсуждали эти события в коридорах и даже с преподавателями (Г.С. Кватер был одним из них). Мы хорошо понимали связь всех этих событий с XX съездом. Для меня лично в интеллектуальном плане были интересны геополитические последствия происшедших за последние годы событий – смерть Сталина, преобразования в стране, речь Хрущева, Венгерское восстание. Конечно, я не формулировал свои размышления в таких терминах, я их просто не знал в то время, но я выстраивал все события в цепочку, искал последствия во всем мире и их взаимосвязь и строил для себя какие-то интерпретации. Появились первые сомнения и в том, что нам преподавалось на лекциях и семинарах. Разговаривать всерьез на эти темы мне было не с кем. Отношения с преподавателями не были настолько близкими.

Интеллектуально большое значение имела для меня моя дипломная работа по позитивистской философии, руководителем которой был Асеев, как я уже упомянул. Это была моя первая самостоятельная работа, я и тему для себя сам определил. В последний семестр для работы над дипломом мы были освобождены от всех занятий. Я не помню, о чем конкретно я писал, но я сделал для себя большое мировоззренческое открытие: на философском факультете большое внимание уделялось, совершенно естественно, понятию “истины”. Вот я и сделал для себя открытие, что никакой истины просто не существует. “Истина” – просто интеллектуальная выдумка. К любому тезису в своей работе я мог найти совершенно противоположные и одинаково убедительные и законные аргументы. Я мог струк-

турировать тезис, как мне вздумается, и все было бы вполне “законно”. Мне сейчас трудно сказать, как развивалась моя мысль, но я подозреваю, что мои занятия основаниями математики и математической логикой в предшествующие годы оказали свое влияние (хотя там есть совершенно противоположные точки зрения на этот предмет). Я ни с кем не поделился своим “открытием”, получил “пятерку” за свою дипломную работу, но с тех пор идея, что истина – это интеллектуальная выдумка, определяла и определяет мое профессиональное и практическое поведение.

Я хотел бы здесь подчеркнуть, что XX съезд и Венгерское восстание были решающими событиями в моем интеллектуальном развитии и, думаю, что не только в моем, но и всего моего поколения (когорты) и, подозреваю, когорты И. Кона и В. Ядова тоже. Последующий откат, после отставки Н. Хрущева в 1964 году, воспринимался и толковался мною и группой друзей-аспирантов именно через призму этих гигантских событий. Именно тогда, в первые годы университета, благодаря этим событиям зародилась, а потом и стала усиливаться неприязнь, переросшая в ненависть к Советскому государству. Я упорно сопротивлялся вступлению в партию (и никогда не вступил в нее, несмотря на нажим и преграду в карьере, которую представляла беспартийность в социологии). Я стал с ненавистью воспринимать невозможность читать, что хочу, и публиковать, что хочу, я воспринял как личную трагедию всё, что произошло с Юрием Асеевым.

Из сказанного тобою следует, что в годы твоего студенчества на философском факультете работали и учились люди разного мировоззрения, скажем – шестидесятники и не принявшие «оттепели». Были люди «которые писали» на других, и были, на «которых писали». Были – вернувшиеся из ссылки и поселений, были – спокойно занявшие их места. Мои историко-биографические штудии, биографические беседы многое открывают. Чтобы ты как очевидец тех событий, знавший многих людей, мне посоветовал? Имеет ли смысл сегодня – если есть в целом достоверные данные – писать о человеческой слабости, иногда предательстве людей?

Безусловно, с моей точки зрения, если у тебя есть материал. Они были такими же участниками событий, как и все “хорошие”, и “хорошие” были не на все 100% “хорошие”. Это необходимо, если ты хочешь представить историю, эпоху. Надо знать, почему «плохие» стали такими. Они жили в «плохую», очень трудную эпоху, чреватую большой личной опасностью. Но многие из них были активными людьми (генетически), и они нашли свою нишу в «плохости». Анализ этого поможет

понять то ушедшее общество, а также в какой-то мере и наше. Я отлично понимаю трудности такой работы. Я понимаю, что и «хорошие» и «плохие» будут необъективны. Как из этого выйти, не мне судить. Может надо давать параллельные интервью или параллельные материалы на какую-то тему или конкретный вопрос. Но в принципе я «за» обеими руками. Я рассматриваю коллизию «хорошие–плохие» как борьбу, которая имеет личные, социальные и политические стороны.

Тогда еще один вопрос на эту сложную для историка современности тему. Год назад в журнале «Телескоп» было опубликовано интервью Дмитрия Шалина с Галиной Саганенко и Валерием Голофастом, состоявшееся в апреле 1990 года [1]. В частности, Голофаст сказал тогда: «Я был достаточно молодым человеком... Полная утрата иллюзий [произошла] где-то в середине правления Хрущева, потому что стало ясно, что все предложения фальшивые, абсолютно [все]. И никакой надежды, что они когда-то будут реализованы. То есть для меня никогда не было проблемы и, следовательно, для меня всегда существовал мир общественных правил игры и внутренний мир моего восприятия, моей оценки, который всегда был дистанцирован. Я мог принимать или не принимать политические конвенции, но это не имело значения. В общем, для меня [этот процесс] в моей биографии начался очень рано... Я научился спокойно переносить эту двойственность и особой проблемы не испытывал <...> я знал, что существует другая жизнь, существует более широкий мир». Почему ты не мог занять подобной позиции?

Потому что, по-видимому, я другой человек. Каждый находит свою нишу в жизни, что в значительной мере зависит от наших генов. Для меня не стояла задача «принимать или не принимать политические конвенции», как говорил Голофаст. Для меня это придуманная интеллектуальная позиция, придуманная скорее всего во время интервью или когда человек был уже совсем зрелым и пытался объяснить с собой. Я делаю, что я хочу, оглядываясь при этом, нет ли поблизости опасности, и, соответственно, меняю свою тактику. Но при этом для себя я буду гнуть свою линию (делать, что я хочу) и просто уйду от других, если вижу, что ничего не могу сделать или что для меня это опасно. Это мои гены. Не хочу никого критиковать, именно потому, что у других другие гены и они нашли другую нишу, но этот тип приспособления («политические конвенции») – вступить в КПСС/Единую Россию «чтобы что-то сделать полезное» – очень распространен в России/СССР и ведет к застою общества, а потом к революции и т.д. Естественно, это только один из тысячи других взаимосвязанных факторов, в результате чего Россия вертится по кругу.

Ты дважды отметил влияние XX съезда, КПСС и Венгерского восстания, произошедших в 1956 году, на твое понимание социального мира. А что можно сказать про смерть Сталина и Пражскую весну?

Я бы сказал, что не смерть Сталина, а ее последствия оказали на меня большое влияние. Я имею в виду такие события, как арест Берии и абсурдное обвинение против него (шпионаж в пользу Англии) и разброд в коммунистических партиях Европы. Все это заставило меня сильно задуматься над происходящим. Что касается Пражской весны, то интерес был к ней огромный у меня. Недаром, как я писал тебе, больше всего из конференции в Кяэрику я запомнил мои прогулки с Игорем Коном и Володей Ядовым, где мы живо обсуждали происходившее в Чехословакии. Но к тому времени я уже был законченный «антисоветчик», и потому к моему мировоззрению Пражская весна мало что добавляла. Я обдумывал это событие уже в чисто геополитических терминах, думал о геополитических последствиях. Я понимал, что советская власть не может просто так оставить Прагу и позволить ей жить, как она хочет. И события внутри страны не оставляли места оптимизму.

В каком году ты окончил университет и что было затем?

Обучение завершилось в 1959 году, опасным моментом было распределение, так как грозило отправкой на работу в отдаленные места. Я, ленинградец, категорически не желал никуда уезжать ни за какие коврижки, о чем откровенно сказал распределительной комиссии. В результате я остался без преподавательской работы и был посажен на философском факультете так называемым “лаборантом”, иначе – мелким техническим служащим, ниже секретарши. Но я не жалел, что не поехал преподавать в какую-нибудь глушь; я повторю ту же стратегию в Париже и Нью-Йорке. Я выполнял какую-то ерунду и познал идиотизм всей той деятельности, которую я исподтишка саботировал. У меня была возможность заниматься своими любимыми делами. Проработал я так недолго, по-моему, всего год. “Преобразования в обществе” дошли, наконец, до факультета. В. Ядову предложили сформировать социологическую лабораторию. Насколько я знаю, первую в стране (1960 год). Он взял в лабораторию меня и Веру Васильевну Водзинскую, которая работала рядом со мной в той же комнате. Она была старше меня, одного возраста с Ядовым, и работала лаборантом уже несколько лет. Еще в лаборатории в те первые дни были А.Г. Здравомыслов, не помню, откуда он пришел, и Борис Орнатский. Я был самым молодым в этой команде.

Я не буду говорить, какие цели ставились перед лаборато-

рией, упомяну лишь, что официально мы должны были заниматься “изучением коммунистического отношения к труду”; Ядов уже осветил подробно этот вопрос [2]. Важно другое. Мы понятия не имели, как подходить к той или иной проблеме, какие существуют методы и проч. Может Володя что-то и знал, но лучше всех был осведомлен, конечно, Игорь Кон, который был другом Володи, и с которым у меня тоже были ученически-дружеские, так сказать, отношения. Игорь дал нам соответствующие книжки, и мы устроили у себя в лаборатории “семинары” по ним. Поскольку я мог сравнительно свободно читать по-английски, я читал дома эти книги и “докладывал” прочитанное в лаборатории. Потом мы обсуждали, как это можно применить к нашей работе. Не помню, сколько месяцев так продолжалось, но на основе этих семинаров мы создали соответствующую анкету, или вопросник, и провели исследование по использованию свободного времени среди рабочих и служащих Ленинграда [3]. Интересно, что, проводя эту работу, мы все прекрасно понимали весь идиотизм “коммунистического отношения к труду”. И если у нас попадались подобные фразы в официальных разговорах или в текстах, это потому, что мы понимали: иначе просто было нельзя.

Эти идеологические, а иногда и финансовые и физические трудности для лаборатории существовали в течение многих лет даже после моего отъезда в 1976 году. Понимал ли декан факультета Рожин идиотизм “коммунистического отношения”, я не знаю. Но в любом случае он как номенклатурный работник должен был придерживаться этой линии и соответственно руководить нами – напоминаю, что наша лаборатория была сначала при философском факультете, частью факультета. Внутри же лаборатории отношения были очень неформальными в тот первый период и довольно искренними и откровенными. Заслуга в этом несомненно принадлежит Ядову. И сотрудники его обожали. Насчет Здравомыслова я не знаю – это отдельная история. У нас была очень сплоченная команда.

Когда ты учился на философском факультете, вам преподавали какие-либо социологические курсы?

Когда я был студентом и даже много позже, когда я был аспирантом, никаких курсов по социологии не существовало в ЛГУ и, может я ошибаюсь, но мне кажется, что в годы моей аспирантуры в 1963–1966 годах таких курсов не было нигде в стране. Иногда мы читали лекции по социологическим методам в разных местах, включая партийные органы, и, я думаю, уже после моего окончания аспирантуры такие лекции стали модными. Когда я снова вернулся в лаборато-

рию Ядова, я лично читал такие лекции по социологическим методам исследования в разных местах, включая Владивосток и Южно-Сахалинск. Но эти лекции были предназначены для преподавателей вузов, для некоторых работников на заводах или для партийных и комсомольских вождаков. Часто это были те группы людей, которые хотели организовать у себя свои собственные социологические группы. Я был во Владивостоке специально для этой цели три раза в 1966, 1968 и 1972 годах. Там в университете образовалась группа под руководством преподавателя университета Николая Свиридова, с которой я тесно контактировал. Просто нужно помнить, что когда мы начали в 1960 году, мы сами практически ничего не знали о социологии и ее методах. Поэтому мы и проводили семинары внутри нашей группы (лаборатории Ядова), чтобы научиться, как делать социологию. Поэтому я не думаю, что даже позже, когда я был аспирантом, были какие-то социологические курсы, предлагавшиеся каким-либо советским университетом. Что касается того, знал ли я Ядова в то время, когда он предложил мне работать у него, то да, конечно, ведь мы оба были на философском факультете, только я недавно его окончил, а он защитил недавно диссертацию. Но мы не были друзьями в то время.

Я временно покинул по согласию Володи лабораторию, когда был принят в аспирантуру на философский факультет в 1963 г. и вернулся обратно, как только защитил диссертацию в июне 1966 года [4].

Выше ты сказал, что руководителем твоей аспирантской работы был Игорь Кон. Не мог бы ты чуть более рассказать о том времени?

Теперь, думаю, стало понятно, что меня толкнуло к позитивизму – естествознание и интерес к математике, особенно к основаниям математики. Когда я поступил в аспирантуру после нескольких лет работы в лаборатории Ядова, Игорь Кон стал моим руководителем. Он знал о моем интересе к естественным наукам и математике. В студенческие годы и потом в аспирантуре я много читал по основаниям математики и по математической логике. Поэтому Кон предложил тему для моей диссертации, близкую к моим интересам: использование математики в западной социологии. Я был очень доволен. Так что вот мой математический бэкграунд. Статистику я изучал на философском факультете еще будучи студентом (был у меня такой курс) и позднее в лаборатории Ядова я “преподавал” математические методы остальным в нашей группе (Галина Саганенко пришла в нашу лабораторию значительно позже).

Опять-таки, это был Игорь Кон [П1], кто дал нам книги по этим предметам, и, поскольку я знал английский довольно хорошо и интересовался математикой, Володя Ядов поручил мне прочитать эти книги и доложить остальным, что там есть и как мы можем использовать эти методы. Была среди них и работа У. Гуда и П. Хатта по эмпирическим методам социологии [5].

Есть вопрос, относящийся к твоим аспирантским – и чуть позже – годам. Скорее всего и по факультету, и в силу сотрудничества с Коном ты знал тогда Игоря Голосенко, знал о начинавшихся им исследованиях по творчеству Питирима Сорокина, истории русской дореволюционной социологии. Интересовала ли тебя эта тематика? Ведь, кроме всего прочего, Е.В. де Роберти был одной из крупных фигур российской, европейской позитивистской социологии, он хорошо знал естественные науки того времени. Да и Сорокин отдал должное позитивизму. И в целом, позитивизм был широко представлен в российской философии и социологии конца XIX – начала XX вв.

Да, с Голосенко я был не только знаком, но мы были в приятельских отношениях. Относился и отношусь к сделанному им с большим уважением. Я читал тогда некоторые его работы. Я немного интересовался Сорокиным и, по-моему, что-то было в моей диссертации о нем, но не очень много. Все-таки главным в диссертации для меня была математика в социальных науках, а не позитивизм как таковой. Русская социология, как и старая социология вообще, меня не привлекали, если они не имели прямого отношения к математике. Но после защиты диссертации тогдашняя современная теоретическая социология меня очень привлекала, особенно все, что было связано с теорией систем, в частности Талкотт Парсонс (хотя он и относится к “функционалистам”) и тогдашний (не сегодняшний) Амитаи Этциони. Пол Лазарсфельд и другие были, конечно же, очень привлекательны в силу их близости к математике. Но три имени были мне по-настоящему интересны: Джеймс Колман, Анатолий Раппопорт и Николай Рашевский. Последние два вообще не социологи. Я даже получил от них в подарок их книги, хотя книжку Раппопорта я вынужден был читать в спецхране. Еще раз: позитивизм, как и философия вообще, очень скоро перестали притягивать мое внимание. Зато кибернетика, теория систем, теория сетей и теория графов занимали почти все моё внимание.

Можно допустить, что тебе не очень были по душе эмпирические исследования Ядова, но в проекте по ценностным ориентациям ты участвовал. Там ведь был простор и для твоих построений...

Дело, конечно, не в Ядове. Я работал у него с удовольствием, потому что там была по-настоящему творческая атмосфера,

коллективная работа и дружеские отношения. То, что мне не нравились опросы и что на этом все строилось, я никогда не скрывал, после того как понял, **что** собственно такое опросы. Я говорил об этом на наших лабораторных обсуждениях. Так что это ни для кого не было секретом. Я участвовал в “ценностных ориентациях” полностью в построении концепции и вплоть до окончания сбора эмпирического материала. Я был уволен из института в 1973-м. В предисловие к книге Ядов включил упоминание обо мне, назвав меня Черняевым (по его собственному объяснению в личной беседе мне и другим). Это понятно, поскольку я был *persona non grata*.

Вот так много открывается, своеобразный «знак» времени...

Я помню о твоей статье по математическим проблемам в социологии, опубликованной в конце 60-х в журнале «Вопросы философии». Детали забылись, но помню, что она была прозападной, то есть, в моем понимании, верной. Не мог бы ты вспомнить историю появления этой работы, ведь мне представляется, что она была одной из первых по данной тематике...

Я совершенно забыл, о чем была эта статья, так что я взглянул в список моих публикаций. Статья приблизительно называлась “К вопросу об измерении в социологии” (я перевожу с английского, поскольку у меня есть только английская версия моего списка публикаций). Она была опубликована в «Вопросах философии» 1967, № 7, то есть вскоре после того, как я защитил диссертацию, которая была по математическим методам в социологии. А это, видимо, значит, что упомянутая статья была по всей вероятности основана на моей диссертации. Моим научным руководителем был Игорь Кон, а оппонентами Юрий Левада и Галина Андреева (из МГУ), оба доктора наук к тому времени. Насколько я знаю, это была первая работа по математике в социологии в послевоенном СССР, но может я ошибаюсь. Она анализировала различные математические подходы в социальных науках на Западе. Там была и историческая глава, которая анализировала использование математики начиная с Кетле (XVIII век) до середины XX века. Затем большое внимание уделялось, конечно, методологии использования математики в социологии и ее полезности. Поскольку ничего подобного не было сделано в то время в СССР (по крайней мере, я не знал об этом и не знаю до сих пор), я ничего не упоминал в диссертации о математике в новой советской социологии. Хотя надо сказать, что вскоре после моей защиты я был на конференции в Новосибирске, где я встретился с людьми, которые интересовались математикой в социологии (Ф.М. Бородкин и другие). В ЛГУ моя диссертация была встре-

чена крайне враждебно на философском факультете, но тем не менее ученый совет ее одобрил.

Ты долго будешь удивляться, во всяком случае, я был почти в шоке, но после неоднократных попыток – ты мне дал лишь примерное название – в Интернете я нашел твою статью в «Вопросах философии» за 1967 год [6]. Статья, прямо скажу, – историческая. Теперь я могу попросить тебя прочесть ее снова, через 42 года... до этой статьи в СССР не было традиции изложения вопросов измерения, шкалирования, и потому ты мог сам в море существовавших методов, направлений избрать то, что тебе казалось важным. Как и почему родилась именно эта конкретная структура текста? Ты с кем-либо консультировался? С кем-либо из математиков обсуждал изложенное?

Я ни с кем не консультировался, потому что мне не с кем было консультироваться и, помимо прочего, никто в этих вопросах, во всяком случае, около меня, не разбирался в то время. Я прочитал эту свою статью по твоему совету и могу подписаться под всем, что там написано (к моему собственному удивлению). Сейчас я только писал бы ее чуть по-другому. Больше я вряд ли могу что-то добавить к тому, что было сказано уже здесь. Но я думаю, что статья была заказана «Вопросами философии» благодаря Игорю Кону, который всегда помогал своим аспирантам во всем, хотя к тому времени я уже защитился. К тому же я уже был автором в этом журнале за год до этого. Наверное это тоже имело значение.

Моей и журнала задачей в этой статье, как я представляю это теперь, было показать, как осуществляется измерение в социологии и что оно – сложная штука. А поскольку журнал все-таки философский, требовался методологический подход к измерению, а не просто практический. С сегодняшней колокольни мне думается, что требовалось показать, что измерение в социологии возможно и законно. Ведь тогда в советской социологии, истмате было огромное количество настоящих врагов применения математики в социологии. Признавалась только статистика.

Ты упомянул более раннюю публикацию в «Вопросах философии». Может вспомнишь ее название? Чему она была посвящена?

Это была рецензия на Первый всесоюзный симпозиум по социологии [7]. Интересное событие, скорее всего – забытое. Я нашел этот выпуск в библиотеке Колумбийского университета, в котором я работаю, привожу краткое содержание этой заметки.

Симпозиум состоялся в Ленинграде с 16 по 19 февраля 1966 г., в нем участвовало 600 человек, из них 380 представ-

ляли различные города страны. Этот форум был посвящен итогам и проблемам социологических исследований. Его организовали несколько организаций, в том числе наша лаборатория. Согласно анкете, проведенной на симпозиуме, 25% социологов имели философское образование, 27% – бывшие историки, около 5% – инженеры и математики. 75% заявили, что знакомы с методологией и техникой социологического исследования.

Помимо пленарных заседаний было четыре секции:

- методология, методика и техника, математические методы – под председательством В. Ядова; был также его доклад на эту тему;
- технический прогресс и трудовая деятельность (Г.В. Осипов);
- духовная жизнь общества и личность (Ю.А. Замошкин);
- быт, градостроительство, досуг (А.Г. Харчев).

А.А. Зворыкин отметил, что в течение 1960–1964 гг. было опубликовано 10 000 работ, прежде всего, в области социологической теории и методов.

В 1-й секции, кроме прочего, был доклад Т. Заславской «Некоторые методологические проблемы моделирования миграции населения и движения рабочей силы села». В.А. Устинов (Новосибирск) говорил об опыте использования ЭВМ. Доклад Э. Беляева и О. Белых посвящался применению теории графов в управлении коллективами и построении оптимальных структур потоков информации в коллективах. Остальные математические доклады не выходили за рамки статистики.

Во 2-й секции говорилось о методологических вопросах социологии труда, социальных структур, о мобильности, профессиональной ориентации молодежи, о кадрах в сельском хозяйстве, текучести рабочей силы. Выделяется доклад О.В. Водзинской о трудоустройстве и выборе профессии молодежью.

В 3-й секции были заметны доклады А.К. Уледова «Изучение структуры общественного сознания в социалистическом обществе» и И.С. Кона «Методологические проблемы исследования личности».

В 4-й секции – доклады А.В. Баранова «Социологические аспекты градостроительства» и И.А. Громова «Свободное время в процессе социализации». В статье содержалась критика некоторых работ за их непрофессионализм. Отмечались разрыв между общей теорией (истмат и научный коммунизм) и конкретными исследованиями, а также отсутствие профессиональной подготовки кадров.

Мое общее впечатление, с точки зрения сегодняшнего дня: в то время социология еще не вышла из объятий ис-

тмата и научного коммунизма: большинство докладов по теории и методологии были в этих рамках. Только несколько эмпирических исследований были действительно профессиональными.

Профессор Юлиана Толстова из Высшей экономической школы (Москва) многие годы исследует различные аспекты использования математических методов в социологии. Недавно она написала мне: «У меня в 2009 была третий раз переиздана книжка “Измерение в социологии”. Там в библиографии фигурирует: Белых О.В., Беляев Э.В. Возможности применения теории графов в социологии // Человек и общество. Вып. 1. Л.: 1966. Я говорю о теории графов, поскольку пользуюсь обобщенным понятием измерения: измерение – это процесс моделирования вычлененного исследователем фрагмента реальности в любой формальной системе (числовой, другой математической, логической, лингвистической...) Сейчас “в моде” социальные сети, а там теория графов – основа. И у В.И. Паниотто есть книжка про графы в социологии. В общем, целая линия, родоначальником которой в России является Беляев». Что ты помнишь в связи с этой работой?

Я помню, что теория графов была связана в наших головах с человеческими организациями и с возможностью их эффективного управления, тогда меня начали интересовать организации и их функционирование. Возможно, в связи с этим, когда подвернулась возможность напечатать что-то в сборнике «Человек и общество», мы ухватились за это.

Мы с Белыхом были аспирантами на философском факультете, и мы часто вели длинные дискуссии по многим предметам. Мы были близки по духу к Г.П. Щедровицкому и хотели присоединиться к его семинару. Из этого ничего не вышло в силу расстояния и финансов. Это было слишком дорого – ездить на семинары в Москву.

Была еще только моя (без Белыха) статья по графам в «Философской энциклопедии» (1970) [8]. Очень лестно ощущать себя «советским первоисточником», но как насчет Ф.М. Бородкина в Новосибирске, который тоже интересовался использованием идей математики в социальных науках? Я, к сожалению, ничего о том уже не помню, кроме того, что был Бородкин, который был старше меня, он был знающим человеком. Кроме того, был еще Владимир Лефевр, который опубликовал книгу о рефлексивных уравнениях в середине или начале 1970-х годов. Приблизительно в то время, когда я уже уезжал. Но Лефевр не имел, насколько я помню, никакого отношения к официальной социологии в СССР.

В интервью, которое я провел в 2006 году с А.Г. Здравомысловым [9], он вспоминал: «В числе прочих работ я перевел книгу Гуда и Хатта “Методы социального исследования” (этот учебник приобрел Игорь Семенович Кон и передал нам)». Я просил Кона вспомнить, как все было. Его ответ опубликован. Что тебе помнится об этой работе?

Не помню ничего, кроме того, что я уже сказал. То, что Здравомыслов перевел Гуда и Хатта, для меня, откровенно, открытие. Но, повторяю, я, может быть, просто не помню. Один только момент: книга-то была в одном экземпляре. Если я ее читал и «докладывал», то, значит, Здравомыслов должен был ее перевести уже значительно позже, когда мы изучили эту книгу.

... это нечто новое, если можно, чуть подробнее...

Последовательность событий была такова:

1960–1963: я работаю в лаборатории, и мы все учимся. Здравомыслов должен был присутствовать на этих семинарах. При этом я не переводил (насколько помню) формально весь текст, но делал устно его выжимки и анализ, которые готовил дома. Я ничего не печатал на машинке (насколько помню), но писал все от руки. Никаких формальных записей этих семинаров, по-моему, не велось.

1963–1966: я – в аспирантуре. Иногда я прихожу в лабораторию, но далеко не каждый день. Вот в это время Андрей и мог делать формальный перевод. Я еще раз повторяю, что я никогда не знал об этом переводе, для меня это полное открытие, я его никогда не видел. Я узнал об этом переводе впервые от тебя. Почему я думаю, что этот перевод был сделан, возможно, в эти годы? Потому что: а) был один экземпляр книги (по крайней мере, в 1960-63-м) и он был в моих руках; б) я ничего не знал о формальном переводе; в) ты упоминал, что перевод был найден в архиве Веры Каюровой, которая пришла в лабораторию несколько позже нас первых пятерых (Ядов, Здравомыслов, Водзинская, Орнатский, Беляев), когда проводились семинары; г) Здравомыслов уезжал на год в Африку (не помню год) и, возможно, этот перевод был ему подспорьем в языковой подготовке или в том, ради чего он уезжал в Африку.

1966 осенью я снова в лаборатории.

Спасибо, по-моему, теперь многое прояснилось в переводе книги Гуда и Хатта. Твое знание английского связано с тем, что ты хотел в будущем стать дипломатом?

Знание английского идет от изучения его в университете. В школе я изучал немецкий, но звучание английского мне очень

правилось и было главной причиной моего перехода на английский в университете, хотя я начал самостоятельно без всякой помощи изучать его в последних классах школы. И конечно, я чувствовал, что английский более важен.

Не мог бы ты вспомнить, с какими понятиями, терминами при переводе этой книги возникали сложности? Ведь тогда в русском языке социологическая терминология была достаточно бедной...

Абсолютно не помню. По-моему, нас это не очень занимало. Мы просто, по-моему, пользовались английскими вариантами терминов. Но один забавный эпизод помню: читая, я набрел на слово “babysitter”. Мне казалось, что оно настолько вне контекста, что я не понимал о чем идет речь (и другие тоже). Я спросил Игоря Юона, который часто бывал на наших семинарах, и он объяснил, что действительно речь идет о “няне”.

Не кажется ли тебе странным, что, будучи приверженцем использования математических методов в социологии, ты не принимал (возможно, это не точный термин) метод опроса? Ведь многие статистические методы использовались именно при анализе материалов опроса?

Абсолютно не кажется. Повторяю, меня интересовали и до сих пор интересуют большие социальные системы и моделирование этих больших сложных систем. Дмитрий Шалин даже говорил мне несколько лет назад, что я «застрял» на системах. Опросы без привязывания к большой системе, где они являются ничтожно малой частичкой ее анализа, только вводят в заблуждение и полезны только для манипуляций заинтересованных лиц. Да, разработана очень софистицированная методика проведения и анализа опросов, но не эта математика меня интересует и интересовала. Мой интерес отражен в моей недавней статье, которую я тебе прислал.

Мне представляется, что сейчас, в связи с разработкой концепции возрождения российской социологии, ряд авторов пытается связать проблематику использования математических методов в российской социологии с работами Чебышева, Маркова и других русских математиков. Мне же представляется, что прежде всего следует говорить об использовании достижений английской статистической школы: Гальтон, Пирсон, Спирмэн, Фишер, Госсет, Юл и другие. Что ты думаешь по этому поводу?

Что касается математики в советской социологии тех дней и претензий, что она вышла из русской математической школы, то, вежливо говоря, это полнейшая чушь. В те дни мы были в основном заняты изучением методов социологии, как они

использовались на Западе, в основном – в США. Отсюда наши интересы к измерениям и измерительным шкалам. Это верно не только для нашей лаборатории, но также и для других мест. Просто надо помнить, что все начинали с нуля. Так что ты прав в своей оценке ситуации.

Что касается меня, то «да», я знал о работах А.А. Маркова-ст., но скорее через западных авторов, пытавшихся моделировать общество, в частности через теорию графов и теорию сетей. Возможно, что В. Лефевр, который математик и работы которого появились, когда я уже уезжал из СССР, ближе к этим утверждениям, но они появились, как я сказал, в начале 1970-х годов. Надо спросить его, он работает в Калифорнии.

Продолжал ли ты после защиты, живя еще в СССР или уже на Западе, проблематику использования математических методов в социологии?

После моего отъезда из СССР я больше не вернулся в социологию в традиционном смысле этого слова по разным причинам, но отчасти потому, что я не мог всерьез принимать разного рода опросы общественного мнения и тому подобные вещи. Я начал интересоваться более общими вопросами, касающимися общества, такими, как большие организации и обществом как целой единицей, задолго до того, как я уехал из Советского Союза. Так что, по сути, я вернулся к моим «врожденным» интересам к механизмам, которые движут обществами. В поисках даты той статьи в «Вопросах философии» 1967 года я наткнулся на ряд статей, написанных мной по математике в социальных науках [П2]. Я забыл о них. Я их никогда не перечитывал после их публикации. С моей сегодняшней перспективой они, наверное, очень детские и слишком примитивные. В прошлом году я написал большую статью для российского дальневосточного журнала «Ойкумена» [10] по их просьбе, где я проанализировал современные попытки в России в области приложения математики к социальным наукам. Я плохо помню, что было в этой области в СССР в 1970-е годы, но современные попытки постыдны и ужасны, несмотря на тот факт, они, предполагается, «основаны» на современных методах, таких как теория сложности (сложные динамические системы), теория хаоса и т.п., которые я считаю исключительно важными для понимания социальных проблем и общества в целом. Может быть, кому-то моя такая резкая оценка покажется неприличной, особенно потому, что среди этих людей есть заслуженные математики. Но я считаю, что в нынешнее время, в отличие от 1960–70-х годов, всё открыто, надо только быть дисциплинированным, как следует работать и быть честным и быть самому открытым к новым идеям. Это то, что я не нашел у этих людей.

Ты мимоходом заметил о своей стратегии поведения в Париже и потом в Нью-Йорке. Как ты оказался во Франции и почему потом переехал в США?

Я оказался в Париже (1976 год), потому что был женат на француженке. На следующий день после официальной регистрации я был уволен из Института, но был выпущен из СССР только через три года, будучи три года без работы. Меня, конечно, никуда не принимали. Получение характеристики на отъезд в нашей лаборатории, которая была привязана по партийной линии к Ленинградскому отделению Академии наук (потому присутствовали на том собрании не только члены нашей лаборатории), вылилось в неприличный спектакль. Я понимаю необходимость занять официальную позу и «разоблачить врага народа», чтоб другим неповадно было, но есть границы приличия, и Володя Ядов остался в этих рамках, в отличие от ряда других.

А в 1977 году я переехал в США, во Франции было практически невозможно найти работу. Видимо, надо было уезжать из Парижа. Потому, получив устное приглашение и официальное поручительство (по их собственной инициативе!) от семьи Д. Шалина, я решил переехать в Нью-Йорк. Я жил у них полгода, пока не устроился на своем месте. Им самим было жутко трудно, но ни разу я не слышал и не чувствовал от них никакого недовольства по поводу моего пребывания.

Повлияли ли на твое решение уехать из СССР политика антисемитизма и факты его бытового проявления?

Нет, ни в коей мере. Я лично испытывал на себе антисемитизм, только когда был в начальной школе, от родителей своих приятелей и при попытках поступления куда-нибудь. Начиная с моей учебы в университете я лично больше никогда не сталкивался с антисемитизмом, даже на бытовом уровне. На мое решение, кроме моей женитьбы, повлияла общая атмосфера в стране, которая к середине 1970-х годов стала просто удушающей. Мое увольнение из института на следующий день после официального оформления брака только подчеркивает эту атмосферу.

Как ты относился к диссидентским движениям? Что разделял, с чем не был согласен?

Никак. Я не был “официальным” диссидентом, не был знаком ни с кем из них (И. Огурцов не в счет, потому что он просто учился в нашей группе), с их идеями и целями. Возможно, комсомольские органы и КГБ считали меня скрытым диссидентом, потому как меня не пускали за границу. Но о том мне

ничего не известно. Если они так считали, они были правы. Однако психологически я не тот человек, который примыкает к движениям. Я сам в себе. Как я уже сказал, мое поколение воспиталось под знаком XX съезда и ненавидеть тупорыльную советскую власть я начал очень рано. И все это было во мне и обстоятельствах моей жизни, а не вовне и не в демонстрациях.

Проведенные биографические интервью и их анализ показывают, что на ряд социологов разных поколений заметное влияние оказали различные формы неформальной, андеграундной культуры. Если говорить о Ленинграде, то полузакрытые джазовые концерты и фестивали, спектакли и «капустники» типа «Весна в ЛЭТИ», молодежные тусовки (тогда такого слова не было) в местах типа «Сайгон». Ты в каком-либо плане был вовлечен в эту культуру?

Очень-очень поверхностно. Да, я бывал с близкими друзьями в «Сайгоне», но ни с кем не был знаком из той толпы, что бывала там регулярно. Я не бывал ни на каких «капустниках», меня никогда не интересовали песни типа песен Высоцкого (и сейчас не интересуют). Но я был очень увлечен джазом. Меня интересовала именно музыка, только музыка и некоторые музыканты, которые потом стали знаменитыми, как Гаранян, Вихарев и др. Все социально-политические коннотации, связанные с джазом, были, но только на втором плане. И я, конечно, слушал «Голос Америки», как джаз, так и новости. Короче, вся эта андеграундная культура затронула меня очень мало, только косвенно, и не оказала на меня практически никакого влияния. Что оказало на меня влияние, так это серьезное чтение, когда я был студентом, и размышления над прочитанным. Андеграундная культура к этому ничего не добавляла мне.

Выше ты заметил: «И хотя профессионально я занимаюсь социальными дисциплинами...» Что это за комплект дисциплин, чем этот комплекс связан? Методологией, предметом?..

Комплект очень простой – экономика, общество (социально-политические институты) и культура (в социологическом смысле). Иначе говоря, общество в целом. Я понимаю, что с точки зрения профессионалов это совершенно не профессионально. Мне все равно. Это то, что меня интересует. Когда я в последний раз был в России, я предложил Ядову напечатать главные идеи моих лекций в России [11]. Он напечатал, за что я ему очень благодарен, но мне потом передавали (насколько это правда, не знаю), что, по его мнению, написанное мною – не социология. С моей же точки зрения, это-то и есть социология. Главная идея там была в том, что для анализа общества надо брать воедино факты социальных институтов, экономики и

культуры. Это единое целое и, поскольку оно единое целое, каждое общество проходит свои тропки развития. Разрыв фактов на разные социальные науки дает картину, которая никак не помогает ни в объяснении происшедшего, ни в том, что дальше делать. Игорь Кюн в твоей ссылке и, как я понимаю, Дима Шалин, а возможно и некоторые другие, сожалеют, что я не “профессионал” (в частности, что мало пишу), а я по природе своей не мог быть таким профессионалом, а главное не хочу им быть. Я достаточно вижу таких профессионалов вокруг, для которых писание самое главное на свете, даже если оно просто мусор. Но именно так работает академия.

Статья в «Социологических исследованиях» была твоей первой публикацией в России после отъезда? Есть ли развитие, подтверждение твоих идей, высказанных в ней?

Да, в самом деле она была моей первой публикацией в России после моего отъезда за 26 лет до этого. Мне кажется, что люди, занимающиеся практикой социально-политическо-экономической трансформации, то есть политики и некоторые экономисты, сознают, что каждая страна проходит свой особенный путь. Практики вынуждены работать в хаосе реального общества и интуитивно понимают, что хаос, в котором они работают, – уникален и потому все теоретические идеи преобразования приобретают свою особенную форму в каждом специфическом случае, а действия сети акторов, естественно, отличаются от страны к стране. Что касается академии (теоретиков и прочих писателей), то эти идеи тоже медленно, но проникают в литературу. Однако указать точно авторов и названия работ я не могу. Сам я не писал на эту тему, потому как такие чисто методологические вещи ведь не поощряются в американских журналах. Им подавай цифры, для чего у меня нет ни времени, ни денег. Я хотел бы еще раз подчеркнуть здесь, хотя я уже говорил об этом в статье, что никто (включая западных экономистов и политиков) на самом деле в конце 1980-х и в 1990-х годах не знал, что “правильно” и что “неправильно” и какие будут последствия. Я возвращаюсь к этому потому, что читал гнусные инвективы в российской прессе в связи со смертью Егора Гайдара. Задним числом легко указывать на ошибки, работать в реальном хаосе, который представляет собой любое общество всегда, но особенно во время трансформации, – совсем другое дело. Вацлав Клаус, бывший премьер-министром во время президентства Вацлава Гавела, как-то сказал в ответ на заданный ему вопрос, что его правительству удалось сделать из намеченного: «Не больше 40 процентов», но при этом он гордился этой цифрой.

Как родилась твоя статья для журнала «Ойкумена»? Кто и почему обратился к тебе? Эта статья – отражение твоего интереса к социальным наукам в целом или к России?

Эта статья не есть отражение моего интереса к России, но она есть отражение моего интереса к социальным наукам и к России только в той части, что описывает работы российских математиков, а, следовательно, и культуру современной России.

Мой знакомый, Евгений Журбей, который работает во Владивостоке и Находке, хотя я познакомился с ним в Нью-Йорке, когда он был здесь в командировке, является одним из редакторов журнала «Ойкумена». Он и предложил мне проанализировать так называемую «клиодинамику», которая, по его словам, очень модна в современной России. Речь идет об области исследований, объединяющей подходы математического моделирования и исторического анализа, которую начал изучать Петр Турчин, профессор популяционной динамики университета в Коннектикуте. В процессе подготовки я прочитал другие статьи, близкие к этой тематике, в частности статьи российского математика Георгия Малинецкого, который, по моему мнению, мягко говоря, интеллектуально нечестен, так же как и его коллеги. Я хотел бы продолжить эти исследования, но пока не вижу заинтересованных в ней лиц. Журбей предложил мне другую статью – по анализу и сравнению западной и современной российской социологии, но меня это мало интересует, и я собираюсь отказаться от этого предложения.

Статья, о которой мы говорим, называется «Действительно ли Россия близится к распаду, как предсказывают математики?» Я бы не хотел просить тебя углубляться в конструкции клиодинамиков, но как бы ты сейчас ответил на вопрос, являющийся заголовком твоего исследования?

Я не занимаюсь и не хочу заниматься предсказаниями, но думаю, что люди страны, в конечном счете, после какого-то времени хаоса здорово выиграли бы от такого распада, как выиграла Турция, осколок Оттоманской империи, или Венгрия и Австрия. Но, как я сказал, каждая страна протаптывает свои тропки. Я хотел бы математически показать, и для этого мне нужен коллега-математик, что Россия является такой, какая она есть, и какая она стала во времена Путина, потому что она огромная по территории, с неравномерной и низкой плотностью населения и огромным количеством экономических единиц, которые были государственными во время советской власти. Такая страна с такой историей, какую мы знаем, всё время будет отставать.

Когда я читал эту твою статью, мне представлялось, что она выполнена в парадигматике, методологии Ильи Пригожина или, во всяком случае – по проблематике, которой посвящены многие из его работ. Так ли это? Как ты в целом относишься к наследию Пригожина в области социологии?

Она выполнена в парадигматике Пригожина только в том смысле, что мысли Пригожина с мыслями многих-многих других легли в основу современной концепции сложных динамических систем. Русские преувеличивают, однако, его значение, просто потому, что он русский по происхождению, что смешно. Пригожин – один из десятков других естествовников и математиков, из работ которых сложилась современная концепция систем. Когда я писал статью, у меня не было никакой мысли о Пригожине, зато я помнил об Институте Санта Фе (The Santa Fe Institute), с именем которого связаны многие современные идеи в этой области.

Хочу задать один вопрос одновременно личного и внеличного характера. В последние полтора-два десятилетия некоторые авторы, говоря о становлении на рубеже 50–60-х годов социологических исследований в СССР, используют термин «возрождение». Имеется в виду то, что это было продолжение социологии, возникшей в России во второй половине XIX века (профессор А.А. Галактионов, возможно, он еще читал лекции по русской философии тебе, говорит о русской социологии, начиная с XI века), и исследований, проводившихся в первые полтора послереволюционных десятилетия. Мои интервью показывают, что скорее было «второе рождение» – то есть к социологическим исследованиям приступило поколение, не знавшее работ российских и советских социологов, работавших до них, а часто и не подозревавшее о том, что все это было. Ты застал время рождения современной советской социологии, что ты мог бы сказать о происходившем?

Полностью согласен с тобой. Как бы это ни называлось, но не было никакой преемственности, именно потому что мы не знали, что было в этой области до революции и вплоть до 1930-х годов. Мы только знали, что что-то было. Да, иногда мы делали открытия, что кто-то из европейских или американских социологов – русского происхождения. Но они не занимались Россией или Советским Союзом, поэтому какое значение имеет, что они были “русские”? Советские же социологи и психологи были нам совсем не известны. Если я вынужден был читать в спецхране книгу А. Раппопорта (математика), которую он мне прислал на мое имя, как я мог знать, что было и что был и что советские социологи и психологи 1920-30-х делали, поскольку их имена были уничтожены из советской памяти и

библиотечных каталогов? Например, это был, по-моему, Игорь Кон, кто принес к нам в лабораторию имя Л.С. Выгодского. Что касается эмпирической социологии, то даже если бы мы знали раннюю советскую эмпирическую социологию, как она могла бы нам помочь с ее устаревшими методами? Я где-то читал, что украинцы (ничего против них не имею и приветствую Украину как самостоятельное государство) решили сделать Иисуса Христа украинцем. А русские, как мы хорошо знаем, считают «что Россия – родина слонов». Продолжение социологии в России с XI века – это в том же ключе.

Примечания:

П1. В то время по просьбе Игоря Кона я написал статью о месте математики в позитивистской социологии; она вошла в его книгу в качестве отдельной главы: Кон И.С. Позитивизм в социологии. Л.: ЛГУ, 1964.

П2. Названия могут быть неточными, это – обратный перевод с английского: Критика математических моделей в неопозитивистской социологии // Философия марксизма и неопозитивизм, М., 1963; О вопросе измерения в социологическом исследовании // Семинар по применению количественных методов в социологии. Новосибирск, 1966. № 1; Методологические проблемы применения моделей в социологии // Некоторые вопросы методологии научного исследования / ЛГУ. 1968. № 2; Эксперимент по сравнению различных шкальных методов качественных индексов // Информационный бюллетень Советской социологической ассоциации. 1968. № 9 (возможно, эта статья была написана в соавторстве).

Литература

1. Шалин Д.Н. Галина Саганенко и Валерий Голофаст: Гарвардское интервью // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 3 <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/saganenko_golofast.html>.
2. Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 3. С. 2–11. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 183–209.
3. Ядов В.А., Беляев Э.В., Водзинская В.В. и др. Изучение бюджета времени как один из методов конкретно-социологического исследования // Вестник ЛГУ. Экономика. Философия. Право. 1961. № 23. Вып. 4.
4. Беляев Э.В. Математические методы в социологии США: критический анализ. Автореф. дисс. ... канд. философ. наук. Л.: ЛГУ им. А.А. Жданова, 1966.
5. Goode W.J., Hatt P.K. Methods in Social Research. New York: McGraw-Hill, 1952.

6. Беляев Э.В. Проблемы социологического измерения // Вопросы философии. 1967. № 7. С. 22–33 <<http://sysres.isa.ru/vf-s/docs/67-7-22.pdf>>.
7. Беляев Э.В., Саганенко Г.И., Дмитриев Ю.А., Голод С.И. Всесоюзный симпозиум социологов // Вопросы философии. 1966. № 10. С. 156–165.
8. Беляев Э.В. Теория графов // Философская энциклопедия. Т 5. М.: Советская Энциклопедия, 1970. С. 207–208.
9. Здравомыслов А.Г.: «Если мы не можем объяснить нечто воздействием высших сил, значит – надо искать объяснение в мире людских отношений» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 5. С. 2–10.10. Беляев Э. Действительно ли Россия близится к распаду, как предсказывают математики? // Ойкумена. Регионоведческие исследования, 2009. № 2. С. 56–69; 2009. № 3. С. 60–70 <<http://www.ojkum.ru/>>.
11. Беляев Э.В. Трансформация: у каждой страны уникальный путь // Социологические исследования. 2002. № 10. С. 37–46.



Божков О.Б. – окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета, сотрудник Социологического института РАН и преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Основные области исследования: социология средств массовой информации, методология и методика, компьютерные технологии в социальных исследованиях. Интервью состоялось в 20011 году

Почти десять лет назад Олег Борисович Божков рассказал Геннадию Семеновичу Батыгину о своих ранних годах, школе, начале трудовой жизни, становлении профессионального журналиста. Подробно описал процесс своего вхождения в социологию, работу в ведущих социологических институтах Ленинграда/Петербурга, обозначил направления общественной и гражданской активности, особенно в перестроечные и постперестроечные времена. Поэтому в нашей электронной беседе все происходившее до начала века, не обсуждалось. Оно лишь присутствовало, ибо от него никуда не деться. Божков предложил название интервью: «Каким я был, таким остался», я не спорил, ему виднее. Приводимое ниже описание его современной деятельности, скорее подтверждает сказанное им, чем заставляет сомневаться. Он продолжает работать в Институте социологии РАН, преподает в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств, представляет питерскую социологическую ассоциацию в штабе РОС, т.е активен во всех сферах своей деятельности.

О.Б. Божков: «КАКИМ Я БЫЛ, ТАКИМ ОСТАЛСЯ»*

Прошло дещь лет с после твоего разговора с Геннадием Батыгиным [1], что в тогда сказанном тебе кажется необходимым уточнить, развить, немного дополнить?

После опубликования батыгинского интервью Светлана Иконникова меня поздравила, но высказала определенную претензию по тому поводу, что я почти ничего не сказал о деятельности в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств (СПб ГУКИ).

В «судьбоносном» 1989 году там была открыта специальность «социология культуры». Первыми преподавателями были твой покорный слуга и Игорь Травин, чуть позже была приглашена Галина Саганенко. Именно об этом, пожалуй, стоит кое-что добавить.

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 4. С. 2-5.

Вот и добавь... за дюжину лет в стране и в социологии произошло множество событий, сейчас социология совсем не та, какой она была в конце перестройки, соответственно, скорее всего, стал иным и процесс подготовки социологов. Каких социологов готовит ваша команда? Чем ваши выпускники отличаются, скажем от подготовленных в стенах Петербургского университета?

Первый выпуск социологов кафедры истории и теории культуры – 17 человек – состоялся в 1994 году. Двое из этого выпуска давно уже кандидаты социологии: Катерина Соколова (дочь Эльмара Соколова) и Яков Костюковский. Из этого же выпуска в Социологическом Институте РАН работает Алла Родионова, она вот-вот выйдет на защиту.

В этом году состоялся восемнадцатый выпуск. Почти из каждого выпуска два, а то и три или четыре человека поступали в аспирантуру и закрепились в социологии. Хотя, конечно же, КПД получается не очень большим: из почти 250 выпускников лишь около 30 человек (по моим сведениям) не только работают по специальности, но и защитили диссертации.

Травин с первого курса читал общую социологию, Эльмар Соколов – историю социологии, а на втором и третьем курсе я читал студентам методологию и методику исследований. Когда пришла на кафедру Саганенко, мы с ней разделились: она вела одну группу 2 и 3-й курс, а я другую. И мои группы, и ее вполне прилично сдавали «госы», в каждом выпуске непременно были дипломные работы методологического и/или методического характера. В общем, как говорит Саганенко: «Мы преподаем хреново, но лучше всех».

И мы имели немало возможностей убедиться в правоте её слов. К нам в институт (СИ РАН) на практику приходят студенты из «базовых кафедр» разных вузов: это и социологический факультет СПбГУ, и Инжекон, и Финэк, и РГПУ им. А.И. Герцена, и Смольный институт и, конечно же, СПб ГУКИ. Так вот, по методике и технике исследований наши студенты действительно лучшие.

Я никогда не был склонен считать, что «молодежь стала хуже». Вспоминая свои школьные и студенческие годы, я вовсе не идеализирую свое поколение. Нынешние в чем-то такие же разгильдяи, какими были мы в их возрасте, но среди них так же, как и среди нас в прежние времена, попадаются очень серьезные студенты.

Какие курсы ты преподаешь сейчас?

На протяжении четырех семестров (2 и 3 курс) я читаю курс методологии и методики социологических исследований. В начале двухтысячных годов я начал читать новый курс для соци-

ологов - «Компьютеризация социальных исследований», или «Компьютерные технологии в социальных исследованиях». Сначала этот курс предполагал читать на протяжении двух семестров и для его обеспечения через Иконникову «пробил» открытие небольшого компьютерного класса при кафедре. Идея состояла в том, чтобы ознакомить будущих социологов с теми компьютерными программами, которые действительно полезны и необходимы при работе.

Вводная лекция была призвана развеять миф о том, что ЭВМ – умная вещь, и объяснить, что основное достоинство современной вычислительной техники состоит лишь в том, что ЭВМ с колоссальной скоростью умеет различать единички и нолики. Все остальное – это достижения «постановщиков задач», а затем уже программистов.

И хотя я читаю этот курс уже почти 10 лет, я и сам не очень им доволен, отчасти из-за технической его необеспеченности. Пять компьютеров в этом мини-классе работают автономно, они не связаны сетью. У меня нет никакого инструмента управления процессом обучения. Пока объясняю одним студентам, другие тут же переключаются либо на игрушки, либо залезают в «контакт», либо на свою электронную почту. К тому же, техника старая и очень медленная, пока грузится тот же SPSS, можно и кофе выпить, и сигаретку выкурить, а то и вздремнуть.

Чтобы закончить этот сюжет, стоит сказать и том, что на других факультетах для будущих библиотекарей, музеевцев, педагогов и консультантов по проблемам семьи и детства я читаю односеместровый курс «Введение в социологию (34-36 часов – один семестр).

Если можно, немного собственно о специфике твоих курсов..

Отчасти я уже ответил на твой вопрос. Более подробно имеет смысл поговорить о методологии и методике социологических исследований. В конце 80-х – в начале 90-х и я, и Галина Саганенко строили этот курс по традиционным американским канонам (по Гуду и Хатгу, Пэнто и Гравитцу и т.п.) и, конечно же, по В.А. Ядову и А.Г. Здравомыслову. Но затем эти каноны перестали удовлетворять нас по причине их сильного «технизма».

Я «заболел» следующей идеей. С одной стороны, я попытался выстроить, если не континуум методов сбора первичной социологической информации (идея Валерия Голофафа [2]), то, по крайней мере, выстроить их в некотором порядке по формальным критериям. Уже около 10 лет излагаю студентам свою схему, так называемое «кольцо интерактивных ме-

тодов», докладывал ее на разных научных конференциях, но, к сожалению, пока не опубликовал этот подход.

С другой стороны, с моей точки зрения, в рамках этого курса необходимо делать акцент на теоретическом осмыслении изучаемых социологом проблем. Без этого практически невозможен ни осознанный выбор методов сбора первичной информации, ни осознанный выбор методов обработки и анализа социологической информации. Методологическая литература по вопросам теории, как правило, посвящена теориям естественных наук, а найти внятный и ясный пример хоть какой-нибудь социологической (или социальной) теории, сопоставимый по строгости и завершенности с теориями естественных наук мне пока не удалось. В отечественной социологии сегодня много стенаний о невостребованности теоретической социологии, о её практическом отсутствии в России, но очень мало теоретических разработок или построений.

Ты продолжаешь свои социологические экспедиции?

У меня был замечательный опыт – в течение восьми лет я ездил в социологические экспедиции в деревни нечерноземной зоны Северо-Запада РФ (Тверская, Новгородская, Вологодская и Ленинградская области). Сначала по гранту РФФИ (2001-2003 гг.), посвященному генеалогиям сельских жителей, а затем (по этим же местам) по грантам РГНФ, посвященным сельским руководителям среднего и низшего звеньев управления в период кардинальных социально-экономических и политических перемен (2004-2008 гг.). Каждая экспедиция – это три летних месяца «в поле»; три группы по 8-10 человек. В эти группы обязательно входили студенты (не только мои собственные из ГУКИ, но и из других питерских вузов). Некоторые студенты ездили со мной по несколько раз. Но даже те, кто съездил хоть однажды, получили более надежные и прочные профессиональные знания, нежели те, кто только слушал лекции и выполнял контрольные и самостоятельные работы. Перед экспедициями все студенты (и не только студенты) проходили инструктаж и методический тренинг, участвовали в своеобразных семинарах, где речь шла о содержательной стороне проекта, о задачах исследования, об основных гипотезах, обсуждались вопросы построения и оптимизации эмпирической базы исследования. Я хотел добиться, что бы они не чувствовали себя (и не были) «просто рабочей силой» или «неграми», а чтобы понимали, что и зачем они делают. И это принесло-таки определенные плоды.

Конечно, было бы здорово (и, думаю, гораздо более эффективно) строить преподавание именно в таком режиме, но это,

опять же, к сожалению, невозможно по разным причинам, говорить о которых в рамках интервью не совсем уместно.

Насколько я понимаю, ты продолжаешь работать в Социологическом институте РАН. пожалуйста, расскажи о направленности твоих исследований. Безусловно, буду благодарен и краткому рассказу об Институте. Хотя я не работаю в нем свыше 17 лет, меня интересует его работа... прежде всего в плане сохранения принципов и духа «ленинградской социологической школы».

Да, я работаю все там же в качестве старшего научного сотрудника (без степени), и руковожу небольшой группой социально-культурных изменений и Биографическим фондом, созданным в 1989 году по инициативе Валерия Голофаства при участии Татьяны Протасенко, Нины Цветаевой. В 2007 году наш коллектив пополнил Константин Дивисенко, выпускник РГПУ им. А.И. Герцена. Именно благодаря ему, Биографический фонд приобрел «второе дыхание», Костя привел в порядок регистрацию единиц хранения, создал электронный каталог, который существенно облегчил и поиск необходимых материалов и работу с ними. Подробнее о фонде говорить не стоит, так как и его история, и структура много раз описаны в наших публикациях (см. журнал «Телескоп», а также сборники научных трудов СИ РАН). Как говорит наш директор Ирина Елисеева: «Биографический фонд – это жемчужина нашего института».

Похоже, нынешняя структура СИ РАН доживает свои последние месяцы, и как будет называться мое подразделение, и каким будет мой официальный статус сказать трудно.

Время летит быстро, и сейчас ты – один из совсем немногих, кто помнит место и роль в нашей профессиональной жизни Ленинградского Отделения советской социологической ассоциации. Сейчас ты являешь одной из ключевых фигур Санкт-Петербургской социологической ассоциации, участвуешь в программах РОС. Что ты скажешь обо всем этом?

.... Действительно, в интервью десятилетней давности я почти ничего не говорил (а, впрочем, Геннадий Батыгин и не спрашивал) о моем участии в работе Советской социологической ассоциации, членом которой являюсь с 1969 года, а позже – в работе СПАС. На этом сюжете стоит остановиться подробнее, тем более, что сейчас это очень большой вопрос и для меня лично, и для социологического сообщества.

Ты, конечно же, помнишь «революционные» 1987-1989-е годы. Собрание ленинградского отделения ССА в новом Доме политпросвета, на котором был «прокачен» Борис Парыгин

и с триумфом возвращен к рулю ленинградского отделения Ядов. На этом собрании присутствовала Татьяна Заславская (если мне память не изменяет, она тогда была президентом ССА). С острой критикой, с обвинением ее чуть ли не в плагиате выступал Василий Ельмеев. Когда он со товарищи понял, что их время прошло, то вместе с коллегами демонстративно покинул собрание.

Потом развалился Советский Союз, и Советская социологическая ассоциация «приказала долго жить», её правопреемником стало Российское общество социологов (РОС). Время было смутное и не очень понятное. Мы в Питере долго решали, как нам быть: входить в состав РОС или не входить. И было другое собрание социологов – в Доме журналистов на Невском. Александр Тихонов настаивал на том, что мы должны остаться ленинградским отделением РОС, но «победила» другая партия и была создана самостоятельная ленинградская социологическая ассоциация СПАС (Санкт-Петербургская ассоциация социологов), впрочем, тоже правопреемница ленинградского отделения ССА. Это было уже году в 1991 или 1992-м. На том собрании было избрано коллективное руководство СПАС в лице Александра Тихонова, Виктора Воронкова и Владимира Костюшева. Тихонов, сохранивший свое членство в РОС, получил от РОС право, чтобы СПАС именовался ассоциированным членом РОС. В этом не совсем внятном статусе СПАС находится до сих пор.

На мой взгляд, самым активным и интересным периодом в жизни СПАС был период, когда во главе организации был Костюшев. Именно тогда СПАС провел конференцию, посвященную ленинградской социологической школе (1994 г.); издал два справочника «Кто есть кто в ленинградской социологии» и «Справочник социологических учреждений Санкт-Петербурга»; работал молодежный семинар СПАС, который собрал талантливых студентов-социологов из разных питерских вузов. Результаты работы семинара воплотились в очень насыщенном сборнике статей его участников [3].

А затем потихоньку-полегоньку активность стала угасать. Хотя проводились конкурсы и студенческих работ, и профессиональных публикаций членов СПАС. Кстати, под эгидой СПАС в компании с Европейским университетом, СИ РАН и Леонтьевским центром проходили все пять чтений памяти Валерия Голофаства.

Был и такой эпизод в нашей истории (не помню точно, в каком году): председателем правления СПАС был избран Дмитрий Иванов, который очень быстро осознал, что «сел не в свои сани» и добровольно подал в отставку. Так мы дожили до

мая 2005 года, когда вообще встал вопрос о том, а не «свернуть ли эту лавочку»? После долгой дискуссии и жарких споров решили, что профессиональное сообщество необходимо. Хотя, Роман Могилевский, например, говорил о том, что надо в корне менять саму форму и принципы этого профессионального объединения. Но... он тогда остался в меньшинстве.

В середине лета 2006 года, когда почти все были в отпусках, Михаил Илле случайно зашел на почту, куда обычно приходила корреспонденция СПАС и получил там повестку в суд, который должен был рассмотреть вопрос о прекращении деятельности СПАС, так как эта организация нарушила какие-то законы о регистрации. Этот документ мы получили, когда до срока подачи апелляции оставалось два или три дня (суд-то уже состоялся без нашего присутствия). В городе были только мы, даже посоветоваться было не с кем. Пошли к юристу на консультацию, и он посоветовал нам «не дергаться», а учредить новую организацию. Что мы и сделали, наняв юриста, который руководил нами и учредил НОО «СПАС» (Научную общественную организацию «Санкт-Петербургская ассоциация социологов»), что называется «под ключ». В мае 2007 года мы провели учредительное собрание, на котором был принят Устав и избрано руководство нового СПАСа. Я выступил на этом собрании с программной речью и был избран председателем правления.

Кое-что сделать удалось. Был проведен конкурс студенческих работ, конкурс публикаций членов СПАС. Мою инициативу о возрождении творческих секций СПАС поддержали Елена Здравомыслова, Анна Темкина и Светлана Ярошенко; так началась работа секция гендерных исследований. Борис Максимов и Будимир Тукумцев сделали попытку возродить (когда-то очень сильную и творческую) секцию социологии труда. Михаил Соколов вышел с инициативой изучения корпуса современных питерских социологов; этот проект успешно реализуется. Начались социологические чтения «Социология вчера, сегодня, завтра», посвященные памяти Валерия Голофа.

За два года, прошедшие со дня этого собрания моя личная ситуация существенно изменилась. К тому же, в 2008 году на 3-м всероссийском социологическом конгрессе меня выбрали вице президентом РОС по Северо-Западному федеральному округу. И по совокупности причин на следующем отчетно-выборном собрании я не стал баллотироваться на должность председателя, но вошел в состав правления. В 2009 году председателем правления НОО «СПАС» стала Мария Мацкевич.

Вообще говоря, не только меня посещает иногда уныние

по поводу состояния нашего профессионального сообщества. Просто я не даю себе воли поддаться этому унынию. Я думаю, что такая разьединенность нашего брата, отчасти следствие любимой Ядовым идеи полипарадигмальности: с одной стороны, и, с другой, небрежение теоретическим осмыслением социальных проблем.

Чем прошедшее десятилетие в твоей профессиональной деятельности отличается от последнего десятилетия завершившегося столетия? Если отличие есть, то чем они обусловлены, полярные позиции ясны: «вызовами времени» - «сменой личных интересов».

Если говорить о принципиальных отличиях, то самое главное, пожалуй, состоит в том, что я стал более самостоятельным, перестал чувствовать себя мальчиком. И, особенно после смерти Голофаства, осознал, что больше нет интеллектуальных подпорок, на которые всегда можно было опереться. Это осознание пришло не вдруг и не сразу. Я довольно долго испытывал острую нехватку сначала Батыгина, а потом - Валерия. Может быть именно для того, чтобы преодолеть этот «комплекс неполноценности» я и взялся за освоение творческого наследия Голофаства и за организацию голофастовских чтений. С одной стороны, это, безусловно, - дань его таланту и попытка осмыслить это наследие, а, с другой, - это и борьба с собой и за себя.

Относительно причин отличий («вызовы времени» или «смена личных интересов») трудно сказать. Это, по-моему, неудачная оппозиция. Я бы сказал так, если и можно обнаружить «смену личных интересов», то она вызвана «вызовами времени». А что же касается собственно «вызовов времени», то именно им была посвящена заключительная часть нашей беседы с Батыгиным. Правда, он все клонил к тому, что «время изменилось, и что новые времена неизбежно ведут к индивидуализации» (конечно, я грубо передаю здесь его интенцию). Но эта неудовлетворенность разобщением социологов и разрушением социологического сообщества продолжает меня волновать. Я продолжаю думать, что это не правильно, что что-то происходит в нашем «датском королевстве». Кстати, разрушение уже весьма заметно, но ведь оно не окончено, оно продолжается. И с этим можно и нужно бороться.

В моей классификации поколений советских/российских социологов мы оба относимся к третьему. Первое - «отцы». Второе - лишь немного младше первого, но отличается от него механизмом формирования, оно - «первые ученики первых учителей». Нашу генерацию я называю «призванной помогать», вспомни, тогда активно призывали математиков, лингвистов, философов. К момен-

ту, когда мы немного накопили опыт, власти начали «прикрывать» социологию, во всяком случае, карьерные лифты были почти отключены. Согласен ли ты с тем, что наше поколение можно назвать “призванное помогать”?

Мне это название кажется очень уж искусственным. Дело в том, что мы (наше поколение) не столько помогали, сколько искали себя и, кажется (а теперь уже и не кажется), нашли. Если первые два поколения только наметили тропинку, то мы её протаптывали и сделали похожей на дорогу. И следующие поколения уже шагали более спокойно и более уверенно.

Заметь, на ниве социологического преподавания из стариков «засветились» (из ленинградцев) только Ядов и Здравомыслов. В основном преподавательской деятельностью занимались Иконникова, Владимир Лисовский, Эльмар Соколов, Альберт Баранов, а потом Дмитрий Шалин, мы с тобой и другие. Кстати, почти весь преподавательский корпус на ниве социологии – это как раз представители нашего, т.е. третьего и последующих поколений. Не так ли? Поэтому я бы назвал это поколение иначе. Например, «ходоки» или «последователи». Вот такие у меня соображения по поводу твоих вопросов.

Литература

1. Божков О.Б.: «...Горизонт раздвинулся и стал намного шире» // Социологический журнал. 2004. №.1-2.
2. Голофаст В.Б. Континуум опросных методов // Человек социалистического общества и процессы массовой коммуникации. Советско-венгерские исследования массовой коммуникации. Том III, Ленинград-Будапешт: 1981. С. 105-111.
3. Молодежные движения и субкультуры Санкт-Петербурга (социологический и антропологический анализ) / Отв. ред. В.В. Костюшев – СПб.: Норма, 1999.



Воронков В.М. – окончил экономический факультет Латвийского государственного университета. В 1991 году он создал и с тех пор руководит Центром независимых социологических исследований (Санкт-Петербург), который стал одним из ведущих в стране негосударственных институтов, занимающихся академическими исследованиями и подготовкой социологов. Основные области исследования Воронкова: гражданское общество, этничность, миграция; повседневность, социальная структура, качественные методы в социологии. Интервью-эссе закончено в 2011 году.

В моей коллекции биографических повествований короткий рассказ Виктора Воронкова – второй, выполненный в формате интервью-эссе. Сложный жанр, но Виктор справился с ним, поскольку для него изложение своего долгого пути в социологию является своего рода «проекцией на себя» тех методологических принципов, которые он многие годы успешно реализует в своей профессиональной деятельности.

Виктор отмечает, что осознал себя социологом лишь в возрасте 43 лет, подразумевая, что поздно. Безусловно, не рано, но и не критично. В силу отсутствия в СССР социологического образования, ряд представителей разных поколений, но не первого, становились социологами много позже 30-ти, иногда и за 40.

**В.М. Воронков:
«Я ОСОЗНАЛ СЕБЯ
СОЦИОЛОГОМ
В ВОЗРАСТЕ 43 ЛЕТ»***

Если честно говорить, то никакой я не советский социолог? Таким я себя осознал только в возрасте 43 лет, когда советская власть была на последнем издыхании. И в новый институт социологии, созданный Б.М. Фирсовым, я пошел не без некоторых колебаний. Если исходить из концепции push и pull факторов, то скорее меня вытолкнула из Института социально-экономических проблем АН СССР (ИСЭП) чудовищная среда с обилием идеологических монстров, своим присутствием осквернявших даже мысли о науке. А привлекательность социологов была умеренной. У меня не было там друзей, никакими социологическими достижениями я себя не запятнал, социологического образования я не получал (впрочем, его никто тогда

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 6. С. 2-5.

не получал), в профессиональной среде социологов был чужим, соответствующей идентичности у меня не было. А маргиналом не очень-то и хотелось становиться.

Думаю, что до конца 80-х годов моя история представляет для науки о-очень ограниченный интерес. Впрочем, к социологии я пришел вполне «закономерно». Это я сейчас понимаю, что каждый человек социолог. Только не каждый, слава богу, делает из этого профессию. Если бы не советский режим, то я стал бы социологом раньше. Мне кажется, что к этому меня привели следующие причины:

- невозможность представить свою деятельность вне науки (результат детской и юношеской социализации),
- интерес к людям,
- любовь к статистике с детских лет (как ни парадоксально это звучит при моем тотальном неприятии количественных методов в исследованиях уже лет 20),
- явная шизоидность, аргументом чему служит то, что я страстный коллекционер и любитель всяческих классификаций и упорядочиваний,
- желание переделать мир, который мне не очень нравился.

Но поскольку ты предпочитаешь, чтобы твои информанты начинали изложение своей интеллектуальной биографии с детства, то я перехожу к хронологии. Вырос я в семье «настоящего» ученого (не какого-нибудь социолога!) и успешной журналистки. Отец стал выдающимся химиком, академиком (активно работает до сих пор на подступах к 90-летию). Число его бесконечно цитируемых публикаций приближается к четырем тысячам, чему я до сих пор безмерно дивлюсь со своей жалкой сотней текстов, из коих значение имеют разве что штук 20. Ну, 30. Два следствия выбора такого родителя:

- идентичность ученого проявляется уже в подростковом возрасте и только усиливается по мере взросления,
- доминирует ощущение уверенности в жизни и гражданского бесстрашия; это, видимо, от неосознанного ощущения серьезной поддержки, «если что» (наблюдаю нечто подобное у Дани Александрова* при всей несхожести наших характеров); если бы не это, то меня бы доконали мои комплексы, с которыми я до сих пор с трудом справляюсь.

Учился в школе я без проблем, но являлся, видимо, проблемой для педагогов. Поэтому меня из двух школ выгоняли.

* Социолог и историк науки Даниил Александрович Александров – сын академика Александра Данилович Александрова.

Что-то не вспомню учителей, которые оказали бы на меня благотворное влияние, подвигли на что-нибудь или к которым я испытывал бы особую благодарность. Хотя в старших классах был общественно активен, но активность была явно альтернативной. В 15 лет перебрался с родителями из Ленинграда в Ригу, где поступил в университет по окончании школы. Хотя я явно был гуманитарием, но наукой, естественно, считал физику, на коей и проучился год, умирая от тоски. Потом не поступил на химию, отделался от иллюзий, поработал год на заводе и нашел компромиссный вариант – экономическая кибернетика. Впрочем, увлечение учебой быстро прошло. Я больше увлекался потреблением культуры, писанием стихов, спортом. В последнем достиг немалых успехов, побывав даже чемпионом Латвии (бегал на средние дистанции).

Если перечислять моих биографических ассистентов, то следующим после родителей стал близкий человек Борис Иванович Карпенко, известный матстатистик, просидевший чуть не 20 лет в сталинских лагерях. В его замечательной библиотеке я обожал рыться с ранних лет. А когда он вернулся из лагерей, то беседы с ним серьезно повлияли на мои пристрастия к статистике и, особенно, к демографии. Экономическое образование я получил при уже сложившемся убеждении, что стану демографом. И, действительно, еще до окончания университета меня пригласили в лаборанты только созданной лаборатории демографии при латвийском статуправлении. Там я даже успел поучаствовать в опросе женщин, «лежащих в стационаре по поводу аборта» (почти «социология»), а в сборнике по итогам исследования среди авторов стояла моя фамилия. С чего я и начал отсчет собственных научных публикаций. Впрочем, и до этого я много чего публиковал в газетах-журналах, в том числе научно-популярного.

Шел 1969 год. Ввод советских войск в Чехословакию в августе 68-го стал для меня самым знаковым событием в жизни, самым сильным потрясением (я был целый месяц в Чехословакии и выехал оттуда за день до ввода войск). Но это отдельная очень важная для меня история, определившая мою гражданскую позицию на всю оставшуюся жизнь.

В конце 1970 года я оказался в Иркутске (поехал опять же вслед за отцом). Начал работать в Институте географии Академии наук в рамках своих интересов, на этот раз в области географии населения. Как и в демографии здесь можно было вволю побаловаться со статистикой и поиграть с незамысловатыми математическими моделями. На фоне активной внеучебной жизни (я был президентом Клуба молодых ученых Академгородка) и нравов советской академии шло быстрое

охлаждение интереса к научной карьере и даже к науке в том формате, который я наблюдал. Могу много рассказывать об этом, но ограничусь только итогом. В те же времена я, сдав кандидатские экзамены, намеревался поступить в аспирантуру к Борису Урланису, который был тогда безусловно лучшим советским демографом. Борис Цезаревич при встрече в Москве очень благосклонно ко мне отнесся. Однако мой энтузиазм постепенно иссяк.

Так случилось, что короткое время я вел семинары по политэкономии в иркутском университете. Серьезно к этому не относился. Шел на ночь впереди студентов, штудирова толстенный учебник Цаголова (студенты ограничивались учебником «для домохозяек»). На семинарах у филологов и журналистов больше обсуждал неведомую простому советскому студенту литературу, самиздат, возбуждал дискуссии о культуре. Были доносы. Однажды пришла комиссия послушать мой семинар. Так завершилась моя преподавательская карьера. С тех пор у меня возникла идиосинкразия на формальное преподавание.

В Иркутске я дружил со своим вторым биографическим ассистентом, литературным критиком Евгением Раппопортом, который окончательно сформировал мои литературные вкусы, ввел в иркутскую литературную тусовку. Там, кстати, было немало достойных людей: Вампилов, Распутин еще доруссопятского разлива, мой близкий друг Анатолий Кобенков, поэт божьей милостью. Должен признаться, что культура в сфере моих интересов постепенно оставила науку далеко позади (та наука, которой мне предложили заниматься в академических институтах, была скучна и непримечательна). И эту «несправедливость» устранили впоследствии только события конца 1980-х годов.

В 1975 году я вернулся в Ленинград, который когда-то любил «до слёз». Здесь появился мой третий биографический ассистент Михаил Борщевский, который многие годы был для меня наиболее близким среди друзей. Благодаря ему, я тут же вписался в тесную дружескую компанию, где он был безусловным лидером и где каждый в той или иной степени считался социологом. Люди всё были примечательные, многие из них стали позже по-разному известными. Для исследователей профессиональных сетей надо бы их перечислить: Валера Глухов, Валера Петров, Наташа Петрова, Сережа Розет, Алик Сарно, Галя Старовойтова, Саша Тихонов, Игорь Травин, Юра Щеголев, Гриша Забельшанский, кого-то точно забыл упомянуть.

Борщевский был человеком исключительно ярким, умным и бесконечно обаятельным. Возглавляя одно время сектор в ИСЭП'е, где я стал работать с января 1976 года, он умело имитировал бешеную деятельность, запросто писал бессмысленные

тексты, которые назывались годовыми научными отчетами, без особых проблем втяхивая руководство наукообразные результаты непроведенных исследований. В то же время на популярных тогда в инакомыслящей среде семинарах и неформальных дискуссиях он блистал своими креативными идеями и запоминающимися выступлениями. В другие времена Миша безусловно стал бы заметной звездой на социологическом небосклоне. Но других времен для него – как ученого! – не случилось.

Надо сказать, что в ИСЭП'е никто почти ничего толком не делал. Народ тусовался по интересам, курил в коридорах, трепался и рассказывал анекдоты, устраивал дружеские попойки, По моим наблюдениям, «работали» только те немногие, кто строил сознательную карьеру или писал диссертацию, а также несколько чудаков не от мира сего. У большинства рабочими были лишь пара ноябрьских недель в году, когда все лихорадочно писали годовые отчеты о своих «научных заслугах», нервно поглядывая в потолок. В этих отчетах важно было соблюсти формальные требования, отпечатать всё без грамматических ошибок и помарок, а содержательную часть вряд ли кто серьезно читал.

Надо сказать, что основной своей задачей, как мне кажется, администрация института считала обслуживание обкомовских идеологов. Обком спускал временами задание оправдать очередную инициативу чиновничества (будь то желание отправить всех выпускников школ в ПТУ или задумка перевести всех на трехсменный график работы). ИСЭП брал под козырек и имевшие немалый практический опыт в опросах социологи быстренько формулировали соответствующие вопросы в анкете. А уж если первый секретарь обкома Романов в очередном докладе ссылался на полученную цифру («тут нам социологи подсчитали»), то гордость переполняла участников опроса, которые ко всему получали и какую-то дополнительную премию.

Впрочем, наука в некотором смысле существовала и в стенах института. Она ютилась в тихих коридорных разговорах и вообще носила устную форму. Полагаю, что немалое число замечательных идей ярко вспыхнуло в этих неформальных беседах и тут же бесследно затухло. В этом устном мире почти не осталось следов от таких ярких мыслителей, например, как Олег Вите или Эдуард Фомин. Я помню, как письменный текст Эдика, представленный для публикации, был почти на каждой странице перечеркнут жирным крестом возглавлявшим тогда наш сектор директором института Ивглафом Ивановичем Сиговым. А Олег Вите, числившийся в секторе Гортензии Михайловны Романенковой лаборантом и ведший временами

дискуссии в коридоре с кем-то из ведущих исэповских ученых, получал выговор от внезапно появившейся начальницы, которая кричала, что в его обязанности входит общение с пишущей машинкой, а не, например, с Валерием Голофастом.

Руководили институтом недалекие люди, ушибленные идеологией, но при этом довольно мирные и желавшие только, как мне кажется, чтобы всё выглядело не хуже, чем у других. Много лет директорствовавший Ивглаф (имя произошло от имен родителей – Иван и Глафира) Сигов, когда-то в армии, как говорят, заведовавший солдатским клубом, был далек от науки, не сильно умен, часто нес ахинею и служил объектом насмешек институтских острологов. Но при этом я его знал как человека незлобивого и даже в каком-то смысле прилично-го в рамках собственной, конечно, ограниченности. А экономическим отделом, где числился я, заведовал профессор Виктор Андреевич Воротиллов, опытный начетчик сталинского разлива. Даже в те времена и на фоне целого ряда других монстров он выглядел уже как-то неприлично.

Марат Николаевич Межевич ко времени перестройки возглавил наш сектор, который можно было бы считать социологическим (его название без конца менялось вокруг темы городских исследований), хотя он формально и не относился к социологическому отделу. Но часть сотрудников явно демонстрировала соответствующую идентичность. Межевич был человеком уважаемым, талантливым, искренним марксистом, хорошо знавшим первоисточники, однако несколько зашоренным в своем стремлении всё объяснить через Маркса, удерживаясь в рамках официальной идеологии. Характерные для советского ученого компромиссы полностью отразились в личности Межевича. Но и здесь он выделялся нетривиальностью мышления. Во введении к его докторской диссертации, написанной в мрачные времена андроповщины, первой ссылкой на обязательный партийный авторитет была цитата не из Андропова или Брежнева, как полагалось бы, а из второстепенного и никакого Черненко. В каком восторге я пребывал, когда перед самой маратовой защитой к власти неожиданно пришел именно Черненко! Но, честно говоря, был Марат не столько социологом, сколько социальным философом.

Зато выдающимся социологом ощущал себя Альберт Васильевич Баранов, который был натурой художественной, нравился женщинам, не чужд был мании величия и числил себя, между прочими заслугами, отцом советской социальной психологии. Его креативность была через край, идеи были одна фантастичнее другой. Особой аргументацией Альберт себя не утруждал, – главное, чтобы было красиво. Как вспоминала

Галя Старовойтова, Баранов пришел в науку с изобретенной им математической формулой всей мировой истории.

Про «настоящих» социологов из ядовского отдела я судить не могу, поскольку не участвовал в их кухне. И только временами доходили слухи о каких-то конфликтах и скандалах в их среде или с администрацией института. Мои контакты с социологами участились в связи с моим кагэбэшным делом, когда меня судили за распространение антисоветской литературы. Поскольку Андропов указал переквалифицировать дела такого рода из политических на другие уголовные, то мне пришили «валютную» статью; разумеется, я не имел к ней никакого отношения, но мой адвокат, опытный специалист по защите диссидентов Семен Хейфец, посоветовал мне согласиться с продажей золотой монеты. Якобы в связи с моим делом провели обыск у Андрея Алексея, с которым я до того был едва знаком.

Что еще было характерно для ИСЭП'а, так это высокий процент стукачей. Кагэбэшный куратор чуть ли не открыто вербовал сотрудников. А в период расследования моего дела и последовавшей вскоре чистки социологического отдела сотрудников постоянно вызывали в органы. Поскольку же в специальном журнале надо было фиксировать все причины отсутствия на рабочем месте, то сотрудники затруднялись с записью. Один Олег Божков презрел кагэбэшные предостережения и нагло писал «ушел по вызову КГБ».

Такой был институт. Думаю, что типичный для обществоведческих того времени. Во время перестройки только забрезжила надежда на изменения. Увы. Активное участие социологов в общественных движениях (пионером борьбы долгое время был Леонид Кесельман), их активная борьба за изменения в институте не были поддержаны другими отделами. Характерным примером здесь могут служить выборы нового директора ИСЭП'а. Претендентов было трое – Анатолий Чубайс, Марат Межевич и Анатолий Когут из экономистов, человек крайне скучный, бесцветный, вообще никакой. Мы с Алексеем Кудринным и Ириной Карелиной составили группу поддержки Чубайса. Но победил закономерно Когут, а Чубайс получил совсем мало голосов. Вскоре Борис Фирсов увел социологов в новый социологический институт. И для меня уже вопрос выбора не стоял. С 1989 года начался новый этап моей профессиональной жизни.

Кстати, в 80-е годы я фиксирую еще одного (четвертого, по моему представлению) своего биографического ассистента – Олега Вите, который оказал большое влияние на мое научное мировоззрение. Олег был выдающимся (не побоюсь этого сло-

ва!) марксистским теоретиком, великолепным дискуссионщиком, тексты которого выделялись своей выверенностью и совершенной логикой (практически все они остались, увы, манускриптами). Жаль, что Олег впоследствии отошел от академической деятельности, став видным экспертом-аналитиком.

Теперь собственно о социологической карьере. В 1988 году возникло две группы социальных исследователей, которые занялись изучением общественных движений. Одна из них, костяк которой составили Ольга Ансберг, Ирина Левинская и Валентина Узунова, наблюдала и анализировала акции и публикации русских националистов. Другая – под руководством Владимира Костюшева – состояла из «маргинальных» социологов (в сравнении со вполне этаблированными в советской социологии), которым перестройка дала блестящий шанс реализовать себя в новых условиях. Вскоре эта группа в новом институте социологии конституировалась как сектор исследований общественных движений. Почти все ее участники сделали впоследствии блестящие профессиональные карьеры (Андрей Алексеев, Владимир Гельман, Александр Дука, Елена Здравомыслова, Анна Темкина, Ольга Цепилова, Александр Эткинд). Я активно участвовал в обеих командах. Кроме всего, я стал исследовать диссидентскую среду, проводя биографические интервью с бывшими диссидентами, для чего колесил по городам и весям.

В это же время я реализовал еще одну идею. Теоретические знания и некоторый опыт проведения опросов подвигли меня на мысль создать независимый «временный творческий коллектив» для зарабатывания денег на становящемся рынке заказных исследований. Я подключил к этому делу Эдика Фомина и целый ряд студентов, которые как-то волонтерили вокруг нашей группы исследователей общественных движений. Что мы только не исследовали: пути расширения читательской аудитории ленинградских газет и оценку пассажиропотока на предполагаемой скоростной железнодорожной трассе Ленинград-Москва, перевод на хозрасчет Союза художников или студии научно-популярных фильмов и перестройку деятельности геологического института и т.п. Тупо применять известные методики опросов не очень-то хотелось. Придумывали новые. Жаждалось творчества. Поэтому я стал размышлять над тем, как можно углубить понимание тех общественных процессов, которые стремительно разворачивались на глазах.

Примерно в 90-м году на очередном семинаре сектора исследований общественных движений Володя Костюшев, выслушав мое сообщение о собранных биографиях диссидентов, выразил свое удовлетворение тем, что сказал: - Теперь уже

пора измерять! - После чего я, наконец, изложил мучавшие меня сомнения по поводу измеряемости многих социальных явлений, по поводу привычно используемых нами методов исследования и т.д. Наблюдения в течение пары лет акций различных групп в перестроечных движениях, сбор биографических интервью и, наконец, участвующее наблюдение в радикальной части спектра демократического движения привели меня к пониманию роли качественных исследований, если говорить, разумеется, о понимающей (а не о «объясняющей») социологии. Помимо собственного исследовательского опыта, на эти размышления меня натолкнуло чтение обнаруженных у Андрея Алексеева в архиве брошюрок (отпечатанных тиражом чуть ли не в 50 экземпляров) с записями интервью, сделанных Сергеем Белановским. И только после этого я взялся за чтение Вебера и другой социологической классики, результатом чего стало то, что открыл в себе феноменолога, конструктивиста и ненавистника позитивизма.

«Три источника, три составные части» моего мировоззрения это собственный полевой опыт, прочтение «Социального конструирования реальности» Питера Л. Бергера и Томаса Лукмана (объявленного мной в то время библией социолога), превратившего в руины уже до того поколебленные устои прежних позитивистских взглядов на мир и методологические размышления гениального полевого исследователя венского антрополога Роланда Гиртлера, которые он изложил в своих замечательных книгах. А аргументация Патрика Шампаня, Пьера Бурдьё и ряда других исследователей по поводу того, что «общественного мнения не существует», навсегда разорвала мои отношения с миром количественных исследований. Я стал типичным микросоциологом – некоторые сказали бы, антропологом, - и этим вызван ряд моих текстов, критикующих количественников.

В начале 90-х мне попала в руки вышедшая за десятилетие до того с грифом «для научных библиотек» книга четырех английских социологов про новые направления в социологической теории (удивительным образом их шельмовал Сергей Белановский, который сам пропагандировал качественные методы, оставаясь при этом, правда, позитивистом). Одновременно я познакомился с работами Леонида Ионина конца 70-х(!), который писал о феноменологической перспективе в социологии (конечно, в жанре критики), о понимающей социологии (по этой теме он защищался). Изложенные там идеи меня захватили. Я только поражался, как равнодушно прошла мимо них советская социология и сам Ионин в том числе.

В виде краткого отступления, ответу на твой вопрос о том, не смягчил ли я свою позицию по поводу количественных исследований. Поскольку меня сама жизнь привела к моим теперешним научным представлениям, то я не верю, что в одну повозку можно впрячь коня и трепетную лань. Пропасть между позитивистами-количественниками и конструктивистами бездонна. Это разные науки в рамках социологии в широком смысле, захватывающей все социальные науки. Моя наука изучает правила, по которым люди действуют. И я не вижу способа понимать неисчислимое разнообразие этих правил во множестве социальных мильё, нежели как тесное общение с людьми через участвующее наблюдение и - в вынужденных случаях - через интервью. Так что теперь, открывая ту или иную статью, я ее почти сразу игнорирую, если вижу таблицы, формулы и цифирь массовых опросов. Эта схоластическая социология для меня бесполезна и не интересна.

Я пытаюсь, как полагается, держаться хронологии, чтобы тебе легче стало бы потом анализировать мой путь социализации. И здесь пережожу к созданию независимого института, который - так уж получилось - стал «главным делом моей жизни», а на самом деле попросту на много лет вперед занял всё время, которое я раньше делил между семьей, друзьями, культурой, коллекционированием, путешествиями и пр.

А дело было так. Шел 1990 год. Сидели мы с Олегом Вите на кухне у Лены Здравомысловой и обуреваемые перестроечной жадной деятельностью (а чего мы только не инициировали или не задумывали в это увлекательное время!) сочиняли название проектируемого института. Тогда много чего учреждалось негосударственного. Я же всю свою академическую жизнь мечтал ни от кого не зависеть, заниматься только тем, чем хочется, и только с приятными людьми. И, надо сказать, я свою мечту реализовал. Институт независимых исследований был учрежден. После отъезда Олега в Москву мы его перерегистрировали уже с Эдиком Фоминым. Позже он получил свое окончательное название Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ).

Сначала мы плохо понимали, чем и как будем заниматься. Понятно, что хотелось зарабатывать деньги. И потому худо-бедно продолжали рыночную деятельность, отрывая время от исследований социальных движений. Радикально изменил нашу жизнь первый выезд на Запад весной 1991 года, когда мы шестером (вместе с Олегом Вите, Александром Дукой, Еленой Здравомысловой, Анной Темкиной и Ольгой Цепиловой) делали доклады в Гамбурге и Берлине. Там завязались первые «судьбоносные» знакомства в профессиональном сообществе.

В 1994 году я разорвал, наконец, пуповину, связывавшую меня с Академией (а позже даже удивлялся, чего это я так цеплялся за прошлое?!). Возглавляемая формально мной в институте социологии группа «политической социологии» (я, Олег Вите и Александр Дука) распалась, а Фирсов поставил передо мной вопрос ребром: или институт социологии или ЦНСИ (сам он вскоре стоял перед схожей дилеммой и выбрал Европейский университет).

То, что ЦНСИ сразу вышел на международную арену, надо сказать спасибо биографическому ассистенту центра замечательному немецкому социологу Ингрид Освальд, сыгравшей в нашей судьбе выдающуюся роль. Именно благодаря ее усилиям, мы через год получили сразу три первых исследовательских гранта от фонда Berghof и приобрели под офис трехкомнатную квартиру, перенеся таким образом семинарские занятия со студентами из кухни нашей с Леной Здравомысловой квартиры во вполне респектабельную обстановку. Потом началась череда фондов, грантов, поездок, конференций, публикаций. Число сотрудников перевалило на четвертый десяток. Сработало интуитивное правило «ни одного дня в советской социологии» при приеме сотрудников. ЦНСИ уже давно стал вполне международным институтом с многосторонней деятельностью, достаточной известностью и многочисленными заслугами, отмеченными в сообществе. Так в прошлом году мы получили награду Фонда К. и Дж. Макартуров как самый креативный и успешный независимый исследовательский центр в мире (среди тех, кого Фонд поддерживал).

Мне трудно отделить повествование обо мне от повествования об ЦНСИ. Потому буду краток. Мы приложили много сил, чтобы реабилитировать качественные методы исследования, к которым в российской социологии относились иронически. И полагаю, что наша борьба за понимающую социологию была вполне успешной. Как писала Наталья Космарская* в своей книге, ЦНСИ является бастионом конструктивизма в России. Я сам довольно много писал о методологических проблемах социологического исследования, стирая границу между социологией и антропологией, но наиболее продвинутые тексты мне удалось в сфере исследований этничности и особенностей функционирования публичной сферы. Впрочем, в России (в отличие от сообщества зарубежных коллег) я больше известен как борец с «количественниками». Мне удалось как-то

* Космарская Н.П. «Дети империи» в постсоветской Центральной Азии: адаптивные практики и ментальные сдвиги (русские в Киргизии, 1992–2002). М.: Наталис, 2006.

инициировать дискуссию на эту тему, опубликовав статью в «НЗ», а другую в «Телескопе».

Вообще, надо подчеркнуть, что я сторонник широкой специализации. Интересуясь самыми разными сторонами социальной жизни, я инициировал и провел немало исследований в никак не связанных между собой областях. Однако, если как-то позиционироваться, то я бы идентифицировал себя как исследователя этничности, национализма, миграций и методолога качественных полевых исследований. Что касается связи моей гражданской позиции с профессиональной, то я изложил это пару лет назад в том же «НЗ»*

Нужно максимально рефлексировать свою неизбежную ангажированность в нашей профессии. И, конечно, приятно было бы заниматься «чистой наукой». Однако в условиях, когда мои права на свободу исследования ограничены (как и прочие свободы в России), я не вижу иного выхода, нежели заниматься публичной социологией, став экспертом для гражданского общества (а не обслуживая власть), спустившись в окопы гражданского общества, чтобы вместе с другими бороться с господствующим режимом.

* Воронков В. О политизации общественных наук // Неприкосновенный запас, 2009, 1. С.33-44.



Гофман А. Б. – окончил исторический факультет Ленинградского педагогического института им А.И.Герцена, доктор социологических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва. Основные области исследования: история и теория социологии, социология культуры, потребления, индустриального дизайна и моды. Интервью состоялось в 2005-2006 годах.

В 1999 году я познакомился с А.Б. Гофманом – автором небольшой, но емкой книги «Семь лекций по истории социологии». Я купил ее в Петербурге и не отрываясь прочел за время перелета в Сан-Франциско. В начале лета 2005 года В.А. Ядов познакомил меня заочно с Александром Бенционовичем Гофманом, указав его среди наиболее успешно работающих «шестидесятилетних» социологов и отметив, что его «Семь лекций по истории социологии» студенты считают наилучшим пособием. Я сразу же позвонил Гофману в Москву, и мы договорились об интервью. В конце того же года, будучи в Институте социологии РАН, я в третий раз познакомился с ним, уже лично. Те, для кого это интервью будет первой встречей с Гофманом, уверен, постараются затем обстоятельно познакомиться с его работами. А в последующем они будут обращаться к ним постоянно.

**А.Б. Гофман:
«СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ ... –
ЭТО СФЕРА
СВОБОДЫ»***

Позитивизм и социология

Саша, в нашем телефонном разговоре мы обнаружили общие симпатии к позитивизму... пожалуйста, продолжи эту тему.

Несмотря на то, что я, в отличие от тебя, «чистый» гуманитарий и по образованию и, вероятно (а может быть, неизбежно), по способу мышления, тем не менее, я, как и ты, тоже чувствую себя «позитивистом». Но при этом понятие позитивизма и в философии, и в социологии мне представляется в высшей степени многозначным, неопределенным и выражающим самые разные и даже противоположные теоретико-методологические позиции. Мне приходилось уже высказываться по этому вопросу и устно (в частности, в 1995 г. на международной конференции

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 2. С. 2–13.

в Бордо, Франция, где в течение одного дня я руководил заседанием на тему «Позитивизм в современной социологии»), и письменно – на страницах «Социологических исследований» [1]. Поэтому здесь я, видимо, частично повторюсь; кажется, Бернард Шоу говорил: «Люблю цитировать самого себя, это очень пикантно».

Мне кажется, что слово «позитивизм» давно уже напоминает такие слова, как «счастье» или «любовь», в том смысле, что каждый понимает его по-своему. Например, в советские времена в любом учебнике марксистско-ленинской философии можно было прочитать примерно следующее определение предмета этой дисциплины: «Философия – это наука о наиболее общих законах природы, общества и человеческого мышления». Под этим определением безоговорочно подписались бы родоначальники «первого» позитивизма Огюст Конт и Герберт Спенсер. В таком случае следует предположить, что либо Маркс, Энгельс и Ленин были не диалектическими материалистами, а позитивистами, либо Конт и Спенсер неосознанно, сами того не подозревая, были марксистами-ленинцами, либо, наконец, позитивизм и марксизм-ленинизм – это одно и то же. И то, и другое, и третье выглядит маловероятным или абсурдным.

В социологии, на мой взгляд, эта многозначность позитивизма особенно велика. Подобно мифическому Протею, он постоянно меняет свои обличья. Например, родоначальник «первого позитивизма» Огюст Конт выступал против применения математических методов в социологии (хотя и был математиком по своей основной «специальности»). Но именно применение математических методов в XX веке стало восприниматься как одна из главных характерных черт позитивизма в социологии. К сегодняшнему дню мы располагаем уже множеством позитивизмов, как реальных, так и тех, что существуют лишь в воображении их противников. Если что и объединяет различные разновидности «позитивизма», так это то, что для многих он стал бранным словом. (В России в этом отношении в последние годы с ним может конкурировать разве что мифический «либерализм», который постоянно и самозабвенно критикуют со всех сторон, обвиняют во всех грехах и который не существует нигде, кроме как в сознании его критиков.) Иногда даже складывается впечатление, что критика позитивизма в социологии родилась раньше него самого. Многочисленные ниспровергатели позитивизма, сменяющие друг друга на протяжении многих лет, сначала рисуют заведомо вульгаризованный и отталкивающий образ этого нехорошего явления, а затем победоносно его «преодолевают». Но потом уже их самих обвиняют в том же, и история повторяется.

На мой взгляд, за критикой этого мифического «позитивизма» часто скрываются, осознанно или неосознанно, с одной стороны, критика социологии и науки в целом, а с другой – стремление утвердиться в них же. На это можно, конечно, возразить, что наука не стоит на месте, что изменяются эталоны научности и старые рамки позитивизма мешают ее дальнейшему развитию. Именно этим и занимаются в последние годы сторонники «постмодернизма» или те, кто пытается внедрить его в социологию. Нередко такого рода критика может быть полезной и играть стимулирующую роль для развития социологического знания. Но в этих случаях речь чаще всего идет не о социологии, а о чем-то другом: о философии познания, социальной мысли, социальной метафизике и т.п. И не надо последние выдавать за первую, во-первых, потому, что это нечестно (извините за морализаторство), во-вторых, потому, что это смещение препятствует развитию как социологии, так и других форм социального и гуманитарного знания.

Итак, я тоже позитивист. Но не «натуралистический» позитивист, так как признаю специфику наук о человеке, обусловленную особенностями их объекта. Какими? 1. В данном случае, в отличие от естественных наук, человек познает самого себя (в этом отношении такой выдающийся противник социологии, как Вильгельм Дильтей, был совершенно прав), и в социологии мы имеем дело с одной из форм *самопознания* человека и общества. 2. Социальная реальность представляет собой одно из главных измерений человеческого существования, а потому – это сфера *свободы*. Как писал Анри Бергсон, еще один выдающийся противник социологии, внесший неоценимый вклад в ее развитие (мне посчастливилось перевести на русский язык издавна любимую мной книгу «Два источника морали и религии», сопроводив ее послесловием и комментариями), свобода – это факт, и из всех научно и достоверно установленных фактов она является самым достоверно установленным (цитирую по памяти, поэтому, видимо, неточно, но смысл именно такой).

Саша, ты сказал, каким позитивистом не являешься, а каким являешься?

Я позитивист в том смысле, что, несмотря на признание специфики социологии как гуманитарного знания, исхожу из принципиального единства науки, эпистемологического и этического. Я позитивист, потому что считаю социологию наукой, следовательно: 1) отличной от других форм знания (обыденного, морального, религиозного и т.п.), хотя и не противоположной перечисленным в скобках формам; 2) требующей

применения определенных правил и процедур доказательства, проверки, опровержения и т.п.; 3) обязательно включающей номологические высказывания; 4) являющейся знанием систематизированным, отличным от хаотического набора сведений; 5) отличающейся особой этикой, предписывающей выводить должное из сущего, а не наоборот. И т.д. Здесь я уже цитирую первую из «Семи лекций по истории социологии» и таким образом плавно перехожу к теме, о которой мы решили поговорить обстоятельно...

«Семь лекций по истории социологии»

Твои «Семь лекций по истории социологии» стали сразу хитом и удерживают первенство в этом жанре уже много лет. Как возникла идея книги? В чем ты видишь причину ее успеха?

Я занимался историей социологической мысли со студенческих лет, затем в аспирантуре и после ее окончания. В общем, я был специалистом в этой области, точнее, или прежде всего, – в области истории французской социологической мысли. Естественно поэтому, что у меня возникла подобная идея. Замечу, что книги по истории социологии сегодня в России пишут не только специалисты; нередки случаи, когда человек прочитает 2–3–5 книг в данной области – и вперед: излагает то, что прочитал, своими (или не своими) словами, слегка изменяя (или не изменяя) прочитанное, – и готово. Иногда такие книги называются учебниками, что дает больший простор для явного и неявного плагиата. Ранее я писал статьи по истории социологии, участвовал в написании коллективных трудов. Когда в начале 1990-х годов Фонд Сороса объявил конкурс на соискание грантов по учебной литературе в области социальных и гуманитарных наук, я решил принять в нем участие не только как член авторского коллектива, но и как индивидуальный автор.

Ты спрашиваешь, в чем я вижу причину успеха моей книжки? Мне, конечно, трудно ответить более или менее определенно на этот вопрос, могу лишь строить предположения. Одно из них: может быть, дело как раз в том, что этот текст написан специалистом. Для меня очевидно, что научные книги, в том числе учебники и учебные пособия, должны писать специалисты. И не надо говорить о том, что критерии здесь неопределенны. Это, конечно, так, да и бывают выдающиеся дилетанты, вклад которых в науку огромен (эта тема может быть предметом отдельного обсуждения). Тем не менее, на мой взгляд, мы слишком часто забываем о том, что в социологии, как и в

любом виде профессиональной деятельности, будь то работа актера или сантехника, между профессионалом и непрофессионалом различия *существуют*. Вроде бы это очевидно, но, к сожалению, в нашем социологическом сообществе этот трюизм хорошо бы вспоминать почаще.

Еще одна причина популярности «Семи лекций», как мне кажется, состоит в том, что они написаны популярно, как ни тавтологично выглядит это предположение. Убежден, что язык науки вообще и социальной науки в частности специфичен и требует специальных усилий и изучения, если мы хотим на нем говорить и читать. Это значит, что книги или статьи по социологии не могут и не должны читаться так же легко, как «Граф Монте-Кристо» или «Гарри Поттер». Это же, кстати, относится и к языкам различных искусств. Существует исторический анекдот, прекрасно иллюстрирующий эту проблему. На одной из парижских выставок Пабло Пикассо к нему обратилась некая дама со словами: «Месье Пикассо, Ваше искусство мне совершенно непонятно. Почему так происходит?». «Мадам, а Вы говорите по-японски?», – спросил ее в свою очередь художник. «Нет», – с удивлением ответила женщина. «Я тоже», – сказал Пикассо.

И тем не менее, я полагаю, что мы, социологи, должны стремиться к максимально возможной ясности своих высказываний, особенно, конечно, в учебной литературе. К этому я стремился, в частности, в «Семи лекциях», стараясь в то же время ничего не упрощать, не обходить сложных проблем, а, наоборот, рассматривать их в первую очередь. Вообще я думаю, что иногда ясность автору можно использовать в качестве своего рода лакмусовой бумажки качества производимого им текста: если попытаться прояснить его хотя бы самому себе, и после этого он не покажется бессмысленным, банальным или сомнительным со стилистической точки зрения, то, возможно (хотя и не обязательно), это текст неплохой. Факт публикации означает стремление автора осуществлять коммуникацию с читателем; в противном случае он должен наслаждаться своим текстом, читая его самому себе, близким родственникам или друзьям. Следовательно, автор сначала сам должен понять, что он хочет сказать, а затем постараться наиболее эффективным образом сообщить это читателю. Именно это я и старался сделать в упомянутой работе, как, впрочем, и в других.

Когда вышло первое издание лекций? Сколько изданий уже было?

Первое издание вышло в 1995 году в московском издательстве «Мартис». Затем в течение двух лет я совершал слабые

попытки переиздать книгу, но неудачно: либо у издательств не было средств, либо они не хотели рисковать, либо они были очень гордыми и желали быть обладателями «права первой ночи», а не печатать второе издание. Я совсем уже было махнул рукой на это дело, но неожиданно издательство «Книжный Дом “Университет”» само меня разыскало и предложило переиздать книгу. Второе издание вышло в 1997 г. С тех пор это издательство неоднократно ее переиздавало. В 2006 г. вышло 8-е издание, не считая того, что вошло в сборник моих работ «Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии» [2]. Кроме того, существует и интернет-версия этой книги. Хочу отметить, что все издания стереотипные, я ничего в них не добавлял, не убавлял и не изменял.

Кстати, может быть, в переизданиях и, следовательно, относительно большом (по нынешним меркам) общем тираже содержится еще одна из причин той популярности, о которой ты спросил. Если, как ты говоришь, книга и стала хитом, то не сразу, а примерно со второго издания, когда тираж стал более или менее значительным. И наоборот, если бы не было изданий, последовавших за первым, то, возможно, и популярности особой бы не было, хотя бы потому, что книга была бы недоступна. Это старая проблема, касающаяся любого товара, в том числе книг. С одной стороны, издатели вроде бы стараются выпускать то, что, *по их представлениям*, востребовано и будет пользоваться спросом. И это, безусловно, хорошо. Ни к чему повторять практику советских времен, когда повсюду лежали горы никому не нужных книг по общественным наукам. Но с другой стороны, *сами эти представления* издателей, далеко не всегда соответствующие реальным и потенциальным потребностям, диктуют предложение и тем самым формируют спрос. В частности, книги «легкого» жанра, например детективы, продаются буквально круглосуточно на всех углах. Я не настолько наивен, чтобы думать, что книги по социальным и гуманитарным наукам могут равняться по тиражам с детективами или эротикой. Но подозреваю, что даже «Критику чистого разума» покупали бы гораздо чаще, если бы ее предлагали так же настырно и повсеместно.

Интересен, на мой взгляд, опыт Франции по пропаганде книг социального и гуманитарного жанра, с которым я немного знаком. Когда там выходит книга подобного рода, к ней сразу привлекается общественное внимание: она выставляется на самое видное место в витринах магазинов, в газетах появляются рецензии, на телевидении устраиваются беседы с автором, дискуссии и т.п. Это не значит, что все эти труды высокого качества. Но даже низкое качество, не говоря уж о высоком, в

таких случаях должно быть на виду. У нас же в данной области идет некий книжный поток, где-то что-то выходит, но никто, в общем, не пытается всерьез разбираться, что в этом потоке качественно, а что нет; видимо, этим заниматься придется уже потомкам. Впрочем, я, кажется, отвлекся.

Чем определилось содержание лекций: именно эти семь, а не пять или девять?

Признаюсь, на этот вопрос у меня тоже нет определенного и однозначного ответа. Так и хочется ответить: «Так получилось». Проблема выбора темы (тем) для исследования или «представления» определенных теорий, направлений, подходов, авторов всегда стоит перед историком социологической мысли; он неизбежно сталкивается с проблемой критериев такого выбора (частично я обсуждаю этот вопрос в первой лекции). Помимо общих критериев, о которых идет речь в первой лекции, я, разумеется, руководствовался и личными критериями и мотивами, в частности и прежде всего тем, насколько хорошо я смог разобраться в определенной сюжете, чтобы написать о нем. Очень многих тем в этой небольшой книге нет не потому, что я считаю их недостаточно важными для истории социологии, а просто потому, что у меня до них не дошли руки и (или) я не считаю себя в них достаточно компетентным. Мне бы очень хотелось, чтобы в книжке были лекции о Спенсере, Максе Вебере или Зиммеле, и тогда их было бы восемь, девять или десять, но я решил остановиться на тех семи, что уже подготовил. Да и сакральное число «семь» было привлекательным. Первоначально мои планы были гораздо более обширными, но потом я увидел, что и в таком объеме и при таком подходе книга представляет собой нечто более или менее завершенное и целостное. Кроме того, и времени было не так много, и сейчас у меня такое ощущение, что если бы тогда, в 1994 году, я не приказал бы себе остановиться, то я писал бы ее и сегодня. Поэтому я и указал в предисловии, что это «избранные страницы» истории социологической мысли, на которых, впрочем, осуществляется попытка представить на нее определенную и, по возможности, последовательную точку зрения.

Впрочем, вопрос о том, почему в той или иной книге по истории социологии нет того или иного классика или какого-то направления, можно задавать всегда, и думаю, что далеко не всегда автор сможет или захочет дать на него убедительный ответ. Например, в известной книге Реймона Арона «Этапы развития социологической мысли» [3], основанной на его лекциях в Сорбонне, нет главы о Спенсере. Конечно, можно объяс-

нить отсутствие этой главы нелюбовью автора к позитивизму; но ведь «позитивист» Дюркгейм в его книге представлен, хотя Арон относился к нему весьма критически.

В чем ты видишь особенность своего подхода к истории социологии или ее изложению?

Чтобы не повторяться, я могу лишь сослаться на «Семь лекций», особенно на маленькое предисловие «От автора» и лекцию первую. Кроме того, об этом речь идет в уже упоминавшемся небольшом тексте из журнала «Социологические исследования», озаглавленном «История социологии и история социальной мысли. Общее и особенное» и вошедшем в мою книгу «Классическое и современное», а также в предисловии к этой последней книге. В этих текстах, как мне кажется, содержится достаточно лапидарный ответ на твой вопрос. Здесь же ограничусь лишь тем, что отмечу некоторые существенные моменты.

Очевидно, что наше представление о том, что есть или какой должна быть история социологии, теснейшим образом связано с тем, как мы понимаем собственно социологию. Последнее позволяет нам, в частности, очертить пространственные и временные границы этой дисциплины, определить, что и при каких условиях относится к ней, а что нет. Самое главное, такое понимание содержит в себе некий образец, или эталон, «подлинной», «настоящей» социологии, а это влияет на нашу трактовку того, что достойно войти в ее историю.

Я выделяю четыре группы критериев социологического знания. Это критерии онтологические, эпистемологические, этические и институционально-организационные. Если говорить коротко и упрощенно, то цель истории социологии состоит в исследовании всего того, что так или иначе соответствовало данным критериям. Это позволяет нам надеяться, что мы имеем дело с историей именно *социологии*, а не чего-то иного. Но здесь есть одна серьезная опасность. Она состоит в том, что если отмеченный эталон слишком узок, жесток и однозначен, если он совпадает с одной определенной теорией или даже парадигмой, которые представляются историку социологии единственно верными, то мы рискуем получить от него не историко-социологическое исследование, не картину истории социологии, а проекцию на эту историю лишь одной теории или парадигмы. Иначе говоря, вместо истории социологии мы в лучшем случае получим только ее часть, совершая логическую ошибку *pars pro toto*, принимая часть за целое.

Учитывая сказанное, я хочу подчеркнуть, что выделяемые мной критерии достаточно широки и универсальны, чтобы по-

добная ошибка не совершалась. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на социологию нередко оказывают влияние, причем значительное, *несоциологические теории*. Это относится не только к отдаленному прошлому, когда социология еще не выделилась в самостоятельную дисциплину, но и к сегодняшнему дню. Например, такие влиятельные в современной социологии фигуры, как Мишель Фуко или Жан Бодрийяр, строго говоря, социологами не являлись и сами себя таковыми не считали. Но это не мешает им оказывать огромное воздействие на развитие социологического знания. Более того, даже противники социологии как таковой, считавшие ее несостоятельной в принципе, оказывали и оказывают на нее существенное влияние. Достаточно снова вспомнить в этой связи Вильгельма Дильтея. Очевидно, что такого рода «несоциологи» или «антисоциологи», оказавшие на социологию большое влияние, всегда привлекали и будут привлекать пристальное внимание историков социологической мысли.

Пользуясь случаем, хочу высказать свое мнение по поводу трактовки социологии как «мультипарадигмальной», или «полипарадигмальной» науки. Эту точку зрения отстаивают Джордж Ритцер и Владимир Александрович Ядов. Преимущество ее очевидно: она антидогматична. Это особенно важно в наших условиях, где на протяжении многих лет вдалбливалось «единственно верное учение» и где и сегодня желающих утвердить другое «единственно верное» более чем достаточно. Проблема, однако, в том, что «мульти- (поли)парадигмальный» подход лишает смысла само понятие парадигмы и ее использование. В данном случае, видимо, незаметно для самих приверженцев данного подхода произошла подмена понятия парадигмы понятием теоретического направления (течения, ориентации или школы). Да, социология – это наука, в которой, при нормальном ее развитии, существует определенное множество направлений (течений и т.п.). Но парадигм, если иметь в виду тот смысл термина «парадигма», который ему придал Томас Кун (а другой смысл не имеет смысла, извините за каламбур), много быть не может по определению. В каждый данный момент их может быть одна, две, но никак не «мульти» и не «поли». Если же их (как будто) появилось много, то это означает, что *нет ни одной*: это ситуация парадигмального вакуума. Если же речь идет о применении «мульти- (поли)парадигмального» подхода в одном, отдельно взятом исследовании, то трудно представить, как это реально возможно. В данном случае, по-видимому, подобный подход можно рассматривать просто как предложение взглянуть на предмет исследования с различных сторон, с различных точек зрения. Но тогда по-

нятие парадигмы оказывается совершенно неуместным. Трактовка парадигмы как понятия «безбрежного», на мой взгляд, его девальвирует и мешает его действительно плодотворному использованию в социологии.

Интересуется ли молодежь историей социологии или просто изучает, чтобы сдать?

Я бы добавил к этому еще один, третий вариант: «или стремится сдать, не изучая?» На этот тройственный вопрос у меня также нет однозначного ответа. В массе своей молодежь, как и взрослые, сегодня лучше знает историю социологии, знает многие имена и теории, о которых раньше и слыхом не слыхивали. Но часто это знание очень поверхностное. Даже аспиранты нередко в своих диссертациях просто приводят джентльменский набор из имен классиков (Дюркгейм, Вебер, Зиммель, Сорокин и т.д.) или модных авторов (Хабермас, Бурдьё, Бодрийяр, Гидденс и т.д.), совершенно не понимая, о чем речь, исполняя своего рода ритуал, и пишут банальнейшие вещи, ссылаясь на эти авторитеты. Например, приходится в кандидатских диссертациях по проблематике потребления встречать такое дежурное утверждение: «Французский социолог Бодрийяр (Бурдьё и т.п.) доказал, что потребление бытовых вещей выполняет не только утилитарные, но и символические, статусные и прочие функции». А то мы раньше этого не знали! Такого рода дежурно-ритуальная «история социологии» у молодежи, как, впрочем, и у взрослых, встречается довольно часто. В целом же мой ответ будет, может быть, не очень определенным, зато, вероятно, верным: одна часть молодежи изучает историю социологии с подлинным интересом и знает ее гораздо лучше, чем студенты в мое время; другая часть – «изучает просто, чтобы сдать»; третья часть – стремится сдать ее, не изучая. Что касается количественного соотношения этих частей, то здесь я не могу сказать ничего определенного; по моему, оно меняется от года к году и от одного университета к другому, и никаких закономерностей здесь, по моему, пока уловить невозможно.

Отмечу также, что интерес к чисто академическим занятиям у молодежи, а история социологии очевидным образом относится именно к такого рода занятиям, вообще, как мне кажется, снизился в последние полтора десятилетия. Современные молодые люди больше ориентированы на те или иные формы практической и утилитарной деятельности. Не хочу оценивать это явление в целом как положительное или отрицательное. Может быть, это и хорошо; возможно, как раз утилитаризма, трезвого, разумного и не шкурного, нам недоставало в про-

шлом и недостает теперь. Но в то же время, в нашем обществе в целом, не только у молодежи, наблюдается, на мой взгляд, то, что можно назвать детской болезнью утилитаризма и его имитацией. И я иногда сталкиваюсь с наивно-утилитаристским отношением к знанию как таковому, своего рода боязнью узнать что-то лишнее, что в дальнейшем может не пригодиться в «реальной», «практической» жизни. Правда, обычно такое встречается у слабых студентов. Приходится доказывать, что невежество и отсутствие теоретической подготовки совсем не означают будущих успехов на практическом поприще.

История социологии – дисциплина книжная. Нередко сегодня, когда говоришь студенту, что нужно прочитать какую-то книгу или статью, следуют два вопроса: а) есть ли это в Интернете; б) где это можно купить? Если выясняется, что нужной публикации нет ни в Интернете, ни в магазине и надо идти в библиотеку, то это – нечто экстраординарное и ужасное. Библиотека иногда воспринимается как галеры. И дело здесь, разумеется, не в занятости: ведь библиотека – как раз то место, где занятия в значительной мере (по идее) и должны происходить. Понятно, что Интернет сегодня конкурирует с библиотекой и в определенной степени заменяет ее. Но вытеснить ее он (пока, во всяком случае) не может. К тому же в Интернете очень уж много мусора, сквозь который бывает трудно пробраться к серьезным трудам. В общем, можно сказать, что сегодня отношение студентов к истории социологии служит достаточно надежным индикатором отношения к библиотеке. Кто любит первую, любит и последнюю.

Эмиль Дюркгейм

Ты уже многие годы занимаешься исследованием творчества Дюркгейма, издал множество работ по этой теме. Кто заинтересовал тебя Дюркгеймом? Или почему ты увлекся его социологией?

Я, действительно, многие годы изучал творчество Дюркгейма и написал о нем ряд работ. Из-за этого некоторые думают, что я вообще всю жизнь только им и занимаюсь. Я перевел на русский язык ряд его текстов с комментариями и послесловиями. И очень доволен, в частности, тем, что мне удалось обнаружить три ошибки в оригинальных французских изданиях Дюркгейма, указав на них в комментариях. Так что в русских изданиях этих ошибок нет, тогда как во французских они воспроизводятся, если только их не ликвидировали в самое последнее время (я говорил о них французским коллегам, специалистам по Дюркгейму). Хочу отметить, что очень люблю

переводить классиков, выдающихся представителей социологической и социальной мысли, и относиться к переводимым текстам как к своим собственным, в том смысле, что дорожу ими не меньше. Переводить подобные труды – большое наслаждение: ты как будто проникаешь в мышление автора и паришь в тех же интеллектуальных высотах, что и он. К тому же это прекрасная школа мыслительного мастерства.

О Дюркгейме я впервые услышал от моего учителя Игоря Семеновича Кона; он же рекомендовал мне заняться изучением его творчества. Я учился тогда на 4-м курсе истфака ЛГПИ им. А.И. Герцена и с самого начала учебы интересовался философией истории и социологией. Очень живо представляю себе сегодня время и место этого разговора с Игорем Семеновичем. После этого я стал внимательно изучать труды Дюркгейма и о нем. Затем – дипломная работа о его социологии религии и кандидатская диссертация – о его школе под названием «Французский “социологизм” и его эволюция. Историко-критический анализ». Как мне представляется теперь, ретроспективно, в Дюркгейме меня привлекали scientизм, строгая научность, а также его социальные идеалы, социальный реформизм, основанный опять-таки на науке, и многое другое. Хотя, учась у Дюркгейма и будучи специалистом по его творчеству, я не считал и не считаю себя дюркгеймианцем.

Меня интересует личное и внеличное в судьбе именно теоретика социологии. Что можно сказать про Дюркгейма: почему его социальная философия такова, а не иная?

Относительно социальных и личных предпосылок и импульсов социологии Дюркгейма уже написано очень много, и не хотелось бы говорить об этих серьезных вещах вскользь, мимоходом. Сошлюсь опять-таки на свои тексты, посвященные ответам на поставленные вопросы: это послесловия к изданным мной книгам Дюркгейма «О разделении общественного труда. Метод социологии» и «Социология. Ее предмет, метод, предназначение» [4], а также одна из «Семи лекций», посвященная его творчеству.

Понимали ли Дюркгейма современники? Что они не принимали? Что наиболее высоко оценивали?

Ответить на этот вопрос не просто, просто потому, что не просто само понятие «современники» (извини за еще один каламбур). Кажется, у Анатоля Франса я когда-то прочитал об одном человеке, которому совершенно нечего было о себе сказать, поэтому он написал о себе в визитной карточке: «Современник».

Понимали ли Дюркгейма современники? Да, понимали. Но по-разному. Кто-то что-то принимал, а что-то не принимал, кто-то нечто оценивал высоко, а кто-то именно это – низко. С одной стороны, Дюркгейм основал знаменитую школу, к которой принадлежали или из которой вышли многие выдающиеся социальные ученые. С другой стороны, ему и его школе во Франции противостояли другие школы, направления и «индивидуальные» социологи: Тард и прочие «психологи», «биологи», школа «социальной науки» и школа «социальной реформы», основанные Фредериком Ле Пле, «католические социологи», марксисты и т.д.

Было ли все-таки что-то, что объединяло Дюркгейма если не с «современниками» как таковыми, то с чем-то вроде «духа эпохи», был ли он его выразителем? Думаю, что да, и этим объясняется популярность и доминирующее положение его социологии и представителей его школы в академических и университетских структурах в Третьей республике с начала XX в. В своей кандидатской диссертации и в работе «Дюркгеймовская социологическая школа» (1979) я выделил три идеологических символа, или принципа, которые отстаивали Дюркгейм и его сторонники и которые составляли ценностное ядро его социологии. Это *сциентизм, солидаризм и антиклерикализм*. Эти же принципы, в утверждение которых Дюркгейм внес существенный вклад, были ключевыми, доминирующими в Третьей республике. Данное обстоятельство в определенной мере объясняет успех дюркгеймовской социологии во Франции того времени [5]. Эти же ценности не вызывали симпатии у других его «современников»: монархистов, клерикалов, нацистов, левых радикалов и т.п. Во Франции начала XX века этим последним силам не удалось одержать верх. Но отношение к дюркгеймовским воззрениям, которые сочетали в себе черты либерализма, умеренного консерватизма и реформистского социализма, у них было однозначно негативным.

После Второй мировой войны авторитет дюркгеймовской социологии во Франции падает. И только впоследствии он снова растет, в частности, благодаря интересу к ней за пределами Франции: в США, Великобритании и других странах. Да, нет пророка в своем отечестве!

Кстати, вообще, вероятно, большинство самых основательных, фундаментальных монографий о творчестве Дюркгейма и его школы (о сборниках статей не говорю) выполнены и опубликованы не во Франции. Вот примеры, взятые наугад: Т. Parsons. The structure of social action (1937, США); Н. Alpert. Emile Durkheim and his sociology (1939, США); S. Lukes. Emile Durkheim. His life and work 1972, Великобритания); Т. Clark.

Prophets and patrons (1972, США); W. Pickering . Durkheim's sociology of religion (1984, Великобритания); M.Fournier. Marcel Mauss (1994, Канада , хотя и издано во Франции) и т.д.

В американских учебниках Дюркгейм, Вебер и Маркс – «три источника, три составные части» современной социологии. Что в последние годы делается с дюркгеймианой? Дюркгейма сразу признали в России?

При жизни Дюркгейма, в России, как и в США, его не считали первостепенной фигурой, например, в сравнении с Тардом. Его воспринимали как серьезного, добросовестного социолога, стремящегося основывать свои выводы на фактических данных, но не очень оригинального, уступающего в отношении оригинальности мышления Тарду или Зиммелю. Но впоследствии оценки изменились, что, впрочем, постоянно случается с творчеством классиков; это вполне нормально и случит одним из показателей развития науки.

Дюркгейм не был одинок в ряде пунктов своей научной программы, что и проявилось в большом числе приверженцев, вошедших в его школу. У него, конечно же, были и предшественники, и последователи, и единомышленники. Даже с Максом Вебером, чья научная программа была явно противоположной дюркгеймовской, у него было гораздо больше общего, чем казалось им обоим; это особенно хорошо видно сегодня [6].

Твоя книжка «Эмиль Дюркгейм в России» посвящена не столько ему, сколько анализу рецепции его творчества в России, что мне представляется чрезвычайно важным для понимания российской социальной мысли и социальной действительности рубежа XIX – XX вв. Эта небольшая работа находится на стыке таких дисциплин, как история социологии и социология социологического познания (или социология социологии), хотя позиция последней дисциплины реализована, по-видимому, недостаточно и можно было реализовать ее гораздо полнее.

Я уже отмечал сомнения современников Дюркгейма в оригинальности его идей. Максим Максимович Ковалевский, указывая на определенные достижения Дюркгейма, писал, что, в сущности, он воспроизводит идеи Зиммеля. Были и споры по поводу приоритета. Евгений Валентинович Де-Роберти подчеркивал, что его собственные идеи предшествовали дюркгеймовским, но научное сообщество этого не признало. На мой взгляд, приоритет Де-Роберти сомнителен, хотя в некоторых высказываниях (не в теориях и исследованиях) можно обнаружить известную близость отдельных формулировок у него и у Дюркгейма: речь идет о суждениях, обосновывающих соци-

ально-реалистическую точку зрения о том, что общество – это особая реальность, не сводимая к реальности индивидов. Но с еще большим основанием можно указать в таком случае на другого предшественника французского социолога в данном отношении, а именно, Вундта, у которого мы находим характерный для Дюркгейма способ доказательства специфики социальной реальности по отношению к индивидуальной.

Главное в теме «Советский и постсоветский Дюркгейм», которой я посвятил последнюю главу в книжке «Дюркгейм в России» и статью в основанном Дюркгеймом журнале [7], наряду с характеристикой эволюции восприятия Дюркгейма в России после 1917 г. до конца XX в., – это, как мне кажется, краткое рассмотрение десяти функций специфического и институционализированного в Советском Союзе жанра, получившего название «критика буржуазной идеологии» и существовавшего, в частности, в социологии.

Что делается с дюркгеймианой в последние годы?

У нас последние годы издавались и переиздавались труды Дюркгейма, труды о нем, а также его последователей: Марселя Мосса (сборник его работ, озаглавленный мной «Общества. Обмен. Личность», я делал в общей сложности 14 лет и с божьей помощью издал в 1996 г.; так что начинался Мосс как советский, а завершился как постсоветский) и Мориса Хальбвакса [8, 9]. Несколько лет назад вышел сборник трудов Мосса, посвященных религиозной проблематике. Недавно опубликован у нас классический труд участника школы Дюркгейма сиолога Марселя Гране «Китайская мысль» [10].

Хотя три из четырех главных трудов Дюркгейма впервые за пределами Франции вышли в России, последний и главный его труд «Элементарные формы религиозной жизни» (1912) у нас не издан до сих пор, если не считать фрагментов, переведенных Питиримом Сорокиным до революции 1917 г. и мной после революции 1991 г. Почему? Помимо серьезной квалификации, перевод этой книги требует больших затрат труда и времени. Мне поступали предложения от некоторых издательств, но без оплаты делать эту работу я не мог (предлагавшиеся ими «гоноары» не в счет), хотя раньше подобную работу делал практически бесплатно (видимо, потому что здоровья, сил и времени было побольше). Один раз я уже даже заключил договор (предполагался более или менее реальный грант на перевод), но эта попытка не удалась. Потом пошли другие планы, проекты и большие преподавательские нагрузки. Так что пока лично я не планирую этой работы, хотя мечтаю (правда, наверное, в моем возрасте мечтать уже неприлично) когда-нибудь это сделать.

А может быть, найдется молодой квалифицированный социолог или этнолог, знающий французский, который осуществит это. Главное, чтобы не было халтуры, которой, к сожалению, больше, чем бы хотелось.

Что касается зарубежной дюркгеймианы, то в последние годы во Франции труды Дюркгейма и его последователей регулярно публикуются, главным образом в парижском издательстве « Minuit », в серии « Quadrige ». Состоялся ряд конференций и симпозиумов, посвященных творчеству Дюркгейма и Мосса, в частности в Париже, Бордо и Оксфорде; в некоторых из них я принял участие. По их результатам вышли сборники статей, в том числе « Durkheim d ' un si cle l ' autre » (Paris: Presses Universitaires de France, 1997), « Marcel Mauss. A centenary tribute » (New York; Oxford: Berghahn Books, 1998), « Durkheim's *Suicide*: A century of research and debate » (London and New York: Routledge, 2000). После этого появился еще ряд трудов по дюркгеймовской тематике, в том числе и в самое последнее время. Буквально вчера, 12 марта 2007 г., получил от моего друга из Оксфорда, прекрасного человека и крупного специалиста по Дюркгейму, Билла Пиккеринга новую книгу о классике, « Защита дюркгеймовской традиции. Религия, эмоция и мораль » Джонатана Фиша (Fish J. S. *Defending the Durkheimian Tradition. Religion, Emotion and Morality*. Aldershot, 2005). В Оксфорде существует Центр дюркгеймовских исследований, созданный благодаря усилиям того же Пиккеринга. Центр издает ежегодник « Durkheimian Studies / Etudes durkheimiennes »; я являюсь членом редколлегии и иногда кое-что в нем печатаю. Характерная черта всей этой дюркгеймианы – сочетание уважительного и аналитико-критического отношения к творчеству Дюркгейма. По-моему, это правильно: в науке, как и везде, а может быть, более чем везде, максима « Не сотвори себе кумира » имеет важнейшее значение. Особенно для России.

Методология истории социологии

Саша, мне кажется, что настоящая история науки (социологии) – это трансформация прошлых построений, достижений, выводов на язык современной науки. Если трансформировать нечего, то это учение в прошлом. Так ли это?

Думаю, что первая часть твоего тезиса относится не к истории науки, а к науке как таковой. В самом деле, занятие наукой, как и искусством – это творчество (к сожалению, в наш технизированный век об этом слишком часто забывают), и в

этом смысле оно – «трансформация прошлых достижений...». Как говорил Гейне (эти слова вполне относятся и к научному творчеству): «Первый человек, который сравнил женщину с цветком, был великим поэтом. Второй, кто это сделал, был обыкновенным болваном». Но если мы сталкиваемся с подобной «трансформацией» в такой дисциплине, как история социологии, и, шире, науки и, еще шире, любой истории, то это будет уже нечто иное. Это нечто будет тем, что можно назвать «под видом истории». И верить такому знанию в качестве исторического я бы поостерегся. В этом случае (я не говорю о таких «трансформациях», как обычные фальсификации истории в угоду сиюминутным интересам и устремлениям, пусть даже самым благородным, с точки зрения фальсификаторов) мы будем иметь дело не с историей науки, а с проекцией одной теории, «современной», на историю этой науки. Отчасти я касался этой темы выше.

Другое дело, что разные эпохи по-разному «прочитывают» определенные достижения прошлого, интерпретируя те или иные из них под углом зрения последующего развития. История науки – это ее коллективная память, и коллективная амнезия, утрата этой памяти, ее расстройство («трансформация») в данном случае означали бы, что наука должна была бы каждый раз начинать заново или откуда-то не оттуда. Более того, мы даже не могли бы отличить новое от старого, уже достигнутого, и постоянно ломались бы в открытую дверь, что и случается нередко с учеными, не знающими историю своей науки. История науки, особенно гуманитарной, как прожектор, высвечивает в ее прошлом то одно, то другое, так что казалось бы навсегда похороненные идеи оживают вновь.

Возьмем, например, творчество Герберта Спенсера, которое часто интерпретируется, на мой взгляд, искаженно как его сторонниками, так и его противниками. Кстати, я думаю, что Дюркгейм был обязан ему гораздо больше, чем сам признавал. Судьба научного творчества Спенсера была драматичной. На рубеже XIX – XX веков он был самым известным и влиятельным социологом в мире. В 1902 г. , на второй год присуждения Нобелевских премий, он был выдвинут на соискание этой премии по литературе. Правда, он ее не получил (в том году она была присуждена выдающемуся историку Теодору Моммзену). Но и сам факт выдвижения имеет значение; ведь с тех пор, насколько я знаю, никого больше из социологов на соискание Нобелевской премии не выдвигали. Наступили 1920–1930-е годы, и Спенсера в социологическом сообществе стали воспринимать как интеллектуальный анахронизм. Толкотт Парсонс в 1937 году задавал риторический вопрос: «Кто

нынче читает Спенсера?» – и констатировал: «Спенсер мертв». Но вот пришли 1950–1960-е годы, и выяснилось, что он жив: в связи с возникновением неоэволюционизма в социологии его идеи снова вошли в актуальное научное обращение. Я не хочу сказать, что «Спенсер и теперь живее всех живых» (перефразируя известные слова Маяковского о Ленине), однако полагаю, что его научное наследие и сегодня продолжает быть актуальным во многих отношениях. Спенсер – не только иллюстрация превратности судеб социологических идей, но и демонстрация того, что история социологии имеет огромное эвристическое значение и служит средством получения нового знания.

Признаюсь, мне не совсем ясна вторая часть твоего тезиса: «Если трансформировать нечего, то это учение – все в прошлом». Вообще, трансформировать можно все. По-моему, если мы признаем нечто ценным в истории науки, то это автоматически означает, что мы собираемся с этим что-то делать, как-то это использовать, в том числе и трансформировать, а также: изучать, воспроизводить, применять, развивать, преодолевать, дополнять, подтверждать, опровергать и т.д. Если не признаем, то мы ничего этого не делаем. Но то, что нам сегодня представляется не имеющим ценности, завтра может оказаться интересным и перспективным. Для этого, в частности, и нужна история науки.

Что наиболее современно в творчестве, выводах Дюркгейма?

Участь всякого классика в науке состоит в том, чтобы быть критикуемым, опровергаемым и преодолеваемым. Это относится и к Дюркгейму. Как говорил Макс Вебер, научная работа неизбежно предполагает, что сделанное сегодня обязательно устареет в более или менее обозримом будущем. Но, рискуя добавить, устареет не обязательно навсегда. Сегодня Дюркгейм как «нормальный» классик «нормальной» науки, разумеется, во многом устарел, и многие теоретики и специалисты в разных областях социологии заняты как раз тем, что это доказывают. Но это же означает, что он жив, и его творчество продолжает привлекать к себе внимание исследователей.

Дюркгейм делал акцент на нормативной стороне социальных систем, рассматривая социальные нормы как нечто уже сформировавшееся и автономное по отношению к создающим и воссоздающим их социальным действиям индивидов. Его интересовало главным образом то, как социальные нормы, ценности, институты, организации влияют на индивидов, формируют их. Современная социология, прежде всего теоретическая, больше озабочена решением противоположной проблемы: как вывести нормы, ценности, институты из порождающих их

действий индивидов и объяснить их этими действиями. На мой взгляд, невозможно утверждать, что один подход правильный, а другой нет: они друг друга дополняют. Отчасти я касаюсь этой темы в статье «Существует ли общество?», опубликованной в журнале «Социс» в 2005 г. [11].

Само понятие общества, находившееся в центре внимания Дюркгейма, по-моему, в высшей степени актуально и в социологическом, и в социально-практическом аспектах. Здесь моя точка зрения расходится с позицией некоторых зарубежных коллег, таких, как Ален Турен или Джон Урри. Особенно важной эта категория мне представляется для России, где раньше ее пытались подменить понятием класса, а сегодня – понятием этноса. Прежняя подмена сыграла печальную роль в прошлом страны, последняя может сыграть такую же роль в настоящем и будущем. Пока мы не осознаем, что Россия – это прежде всего *общество* людей, граждан, создававших и создающих ее, очень разных (что очень хорошо), но при этом объединенных общими традициями, ценностями, идеалами, достижениями и утратами, языком и т.д., у нас ничего не получится.

Большое значение сегодня имеет идея социальной солидарности, которая играет ключевую роль в дюркгеймовской социологии и вместе с тем – в истории российской социологии. Эта идея также чрезвычайно важна и для социологии и для общества, особенно современного российского.

На мой взгляд, сегодня актуальной и перспективной является такая отрасль, как социология морали, которую начинал разрабатывать Дюркгейм. С его точки зрения, прочностью, устойчивостью и длительностью обладают только те социальные явления, которые имеют серьезное нравственное основание. На актуальное значение социологии морали Дюркгейма в последнее время справедливо, по-моему, указал Ганс Йоас.

Ответить же кратко на вопрос о том, что в целом наиболее современно в творчестве Дюркгейма, я, признаюсь, не готов: опасаясь вульгаризованного или упрощенного ответа. Мне кажется, вопрос этот слишком серьезен, чтобы можно было ответить на него в двух словах. Во всяком случае, сейчас я этого сделать не могу. Может быть, когда-нибудь смогу или, наоборот, отвечу пространной статьей или книгой.

Какое место занимают научные биографии ученых в анализе их творчества? В частности, в какой мере творчество Дюркгейма обусловлено особенностями его ранней социализации, влиянием на него его семьи, ближайшего окружения?

Очевидно, в анализе творчества социальных и гуманитарных ученых их место более значительно, чем в изучении иссле-

дований представителей естественных наук. Известны прекрасные образцы трудов такого рода, например, труды Митцмана или Бендикса о Максе Вебере, Стивена Льюкса о Дюркгейме или Марселя Фурнье о Марселе Моссе. Существуют при этом разные типы историко-социологического исследования. Иногда важна логика развития социологического знания сама по себе, независимо от того, каковы личные или социальные обстоятельства этого развития. Но абстрагироваться от этих обстоятельств – значит, зачастую, лишать себя возможности по-настоящему и глубоко понимать движение социологической мысли.

Безусловно, творчество Дюркгейма, как и любого классика, в огромной мере связано и с особенностями его социализации в детстве и юности, и с влиянием его семьи и вообще социальной микросреды. Здесь можно вспомнить и религиозное воспитание в раннем детстве (в его роду было восемь поколений раввинов, включая отца, возглавлявшего иудейскую общину в Вогезах), и отказ от традиционных занятий и религии предков, и дружбу с Жаном Жоресом во время учебы в Высшей Нормальной школе и т.д. Обо всем этом написано достаточно много. Замечу однако, что ряд факторов, которые мы воспринимаем как влияния *микросреды*, в свою очередь были результатом воздействия социальной *макросреды*.

Когда ты анализируешь те или иные положения философии Дюркгейма, есть ли между вами мысленный диалог?

Да, подобный диалог у меня существует. И не только с Дюркгеймом, но и с Монтеスキё, Моссом, Бергсоном и другими мыслителями, которыми мне приходилось заниматься. И не только тогда, когда я анализировал их воззрения, но и спустя многие годы. Мне кажется, что в каком-то смысле этот диалог носит постоянный характер. Я очень люблю посещать места, связанные с их жизнью, их могилы: в это время я испытываю настоящий священный трепет. Такого рода чувства я испытывал на могилах Конта на кладбище Пер-Лашез, Дюркгейма и Сартра на кладбище Монпарнас, в замке Ла Бред Монтескиё под Бордо, у дома, где жил Бергсон на бульваре Маженда в Париже и т.д. В эти моменты мой диалог, видимо, становится не только мысленным, но и лично-эмоциональным. Эти люди и эти места превращаются в элементы моего собственного Я, и диалог становится в каком-то смысле диалогом не только с ними, но и с самим собой. Впрочем, нечто подобное я испытывал когда-то на могиле Пушкина в Святогорском монастыре, Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне, в позапрошлом году – в Иерусалиме, на Галилейском озере и в Назарете, а прошлым летом – в Пятигорске, в лермонтовских местах.

Немного изменю направление нашего разговора. Что можно сказать о российской истории социологии, в том числе мировой, советского и постсоветского периодов?

О советской истории социологии могу сказать, что ее высокие образцы в 1960–1970-е годы, на мой взгляд, содержались, прежде всего, в трудах моего учителя и научного руководителя в аспирантуре Игоря Семеновича Кона. Несмотря на сильное идеологическое давление «нерушимого блока коммунистов и беспартийных», неизменно и уверенно побеждавшего на всех выборах, ему удавалось поддерживать высокие стандарты профессионализма и научной этики в истории социологии да и в социологии в целом (наряду с некоторыми другими социологами). Конечно, неизбежное присутствие идеологических штампов «единственно верного учения» не могло не сказаться на качестве его трудов, но профессиональный уровень все равно был высоким, и для меня лично, в частности, они служили эталоном. Я имею в виду, например, такие его работы, как «Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли» (1959), «Позитивизм в социологии» (1964) и некоторые другие. Конечно, сегодня можно пронизировать над его книгами тех лет, и слава Богу. Но уровень многих нынешних книг в этой области ниже, и это грустно. В 1979 г. под редакцией И.С. Кона вышла книга «История буржуазной социологии XIX – начала XX в.» (М.: Наука, 1979), в написании которой, наряду с другими специалистами, посчастливилось участвовать и мне. Несмотря на все очевидные трудности ее создания и неизбежные штампы, о которых я упомянул, книга получилась действительно хорошей. Свидетельством тому служит, в частности, тот факт, что на протяжении многих лет и вплоть до настоящего времени из нее продолжают заимствовать прямо и косвенно, ссылаясь иногда для приличия, а иногда и не ссылаясь. В 1989 г. эта книга с небольшими изменениями была издана в московском издательстве «Прогресс» на английском и, кажется, еще на каких-то европейских языках под названием «История классической социологии» [12]. Как-то в Москве я разговорился с одним французским социологом, и он, упомянув об этой книге, на которую случайно наткнулся во Франции, долго и с большим энтузиазмом расхваливал ее научные и дидактические достоинства. И это о книге, созданной в труднейших советских условиях.

О постсоветской истории социологии замечу, что, несмотря на большое количество мусора и плагиата, она все же развивается. Появляются интересные работы. С надеждой смотрю на молодежь. Правда, пока развитие происходит, как мне кажется

ся, больше «вширь». Хотелось бы, чтобы это сопровождалось более интенсивным развитием «вглубь».

Изучение истории советской социологии еще только начинается, и мне трудно пока делать какие-то выводы по этому поводу. Что касается истории русской социологии в целом, то здесь в последние годы многое сделано, но и предстоит сделать еще очень много. О некоторых особенностях русской социологии и социальной мысли рубежа XIX – XX вв. я написал в книжке «Эмиль Дюркгейм в России» (прежде всего, в главе 6). Я имею в виду такие ее черты, как высокая степень политической и нравственно-практической ангажированности; большое значение иррационалистических тенденций; подчиненность социально-научного знания беллетристике и литературно-публицистической эссеистике; относительно невысокая степень признания автономии и ценности научного знания по отношению к другим формам знания, к «жизни»; преобладание «субъективного» метода над «объективным». Это не значит, что не было иных тенденций. Но они не были преобладающими.

Социология моды

Саша, историей социологии хоть и не очень многие, но занимаются. А вот социология моды, мне кажется, – это что-то экзотическое для России. Для меня было приятной неожиданностью прочесть в одном из выпусков популярного «Огонька» интервью с тобой, в котором ты был представлен как «самый модный российский профессор, преподаватель отделения менеджмента и теории моды МГУ» [13]. Могу я попросить тебя кратко остановиться и на этом направлении твоих исследований?

О самом предмете опять коротко говорить трудно именно вследствие того, что я занимаюсь им много лет. Поэтому снова отсылаю к своим работам, специально ему посвященным, прежде всего, конечно, к книге «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения». [14]. Среди прочих работ по этой проблематике я опубликовал в 2004 г. статью под названием «Вечные возвращения. Заметки о модных циклах» в специальном номере «Европейского журнала социальных наук» [15], посвященном памяти моего французского друга, социолога Филиппа Бенара (Besnard), который был прекрасным человеком и социологом и, помимо прочего, занимался проблематикой моды, в частности, модой на имена, даваемые родителями новорожденным. В последнем случае я начал осуществлять свою давнюю мечту: объяснить французам, что такое мода.

Таким образом, думал я, будет осуществляться своего рода разделение труда: французы будут делать моду, а я буду объяснять им, что они делают (шутка).

Ну а если серьезно, то интерес к моде как одной из форм социальной регуляции и саморегуляции поведения у меня давний и устойчивый. Он начался с того, что я заинтересовался таким антиподом моды, как обычай, и опубликовал несколько работ на эту тему. Помню, мне в 1969 или 1970 году об одном московском социологе сказали, что он исследует проблемы моды, и я очень удивился тому, что можно заниматься столь мелкими, незначительными вещами. Сам-то я в это время изучал творчество Дюркгейма и считал, что только такого ранга объект достоин моего профессионального интереса. Но затем я понял, что ошибался. Не случайно многие классики социологии считали своим долгом обращаться к проблематике моды. Впоследствии я много лет работал во ВНИИ технической эстетики, где занимался социологией индустриального дизайна и массового потребления, непосредственно участвуя в исследованиях, разработках и проектировании бытовых вещей. И все эти годы я осуществлял свой собственный проект: разрабатывал теорию моды. Конечно, она носит междисциплинарный характер: здесь и семиотика, и теория культуры и т.п., но прежде всего я рассматривал ее как объект социологии и социальной психологии.

Одной из главных трудностей в изучении моды является, на мой взгляд, идентификация объекта исследования, так как за моду часто принимают нечто иное и наоборот, сама она оказывается вне поля зрения исследователя. Еще одна проблема, особенно острая в данном случае, – это постоянное и часто неосознанное вторжение обыденного знания в научное тогда, когда желательно от него несколько дистанцироваться. Рассматривая моду как процесс постоянный, я разработал теоретическую модель этого явления и далее уже анализировал его, опираясь на эту модель и стараясь не «соскочить» на другое явление. В связи с этим я стремился избежать распространенной семиотической ошибки, совершаемой даже серьезными аналитиками моды. Речь идет о том, что модные значения неосознанно помещаются внутрь самих знаковых носителей этих значений, того, что я называю модными объектами, чаще всего – одежды. Но модные значения, собственно «модность», в одежде не содержатся, так же как опасность сама по себе не содержится в предупреждающем дорожном знаке, предупреждающем об опасности, если только этот знак не сорвать и не использовать как холодное оружие, не ударить им и т.п. Модные значения коренятся в определенных ценностях, приписываемых участ-

никами моды определенным способам поведения, культурным образцам («модным стандартам»), выступающим в качестве их знаков. В каких ценностях? Как и почему происходит смена «мод»? Что такое мода по существу? Что такое не-мода или анти-мода? На эти и другие вопросы я попытался ответить в приведенных выше и других работах. Книга о моде, которая является моей докторской диссертацией, защищенной в 1995 г. в Институте социологии РАН, читается, на мой взгляд, легко; я специально работал над этим, разъясняя используемые термины и приводя множество примеров.

Тем не менее, я столкнулся с двумя забавными случаями жалобы на ее непонятность и недостаточную доступность. Когда вышло первое издание книги, я подарил ее одному приятелю, жена которого работала директором магазина одежды. Когда мы с ним встретились на следующий день, он мне сказал: «Ты знаешь, книга у тебя какая-то странная, жена сегодня ночью читала-читала, ничего не поняла». Я понял тогда, что она надеялась найти в этой книжке советы и рекомендации, способствующие продаже одежды. И это при том, что я предупредил, что книга научная. В другой раз, после выхода второго издания книги, ко мне в бухгалтерии издательства обратилась с жалобой работница этой бухгалтерии, причем в полускандальной форме: «Что это за книгу Вы написали, ничего непонятно. Вот сестры Сорины написали, там все ясно: что носить, когда носить, где носить, как шить». Я тогда резко ответил ей: «А Вы и не должны были понять, это книга научная». «Между прочим, я кандидат технических наук», — обиделась она. «Так ведь технических, — сказал я. — Если бы я не понял что-то в каком-нибудь сопромате, я бы воспринял это как должное и никому претензий по этому поводу предъявлять бы не стал. Почему же Вы в этом случае должны все понять легко и без всякого напряжения?». Мораль сей басни такова: можно, конечно, считать моду явлением несерьезным, но заниматься ею все равно надо серьезно.

Вообще, требования к популярности в социальных и гуманитарных науках гораздо выше, чем в естественных, что вполне понятно и естественно. Помню, что даже газетные статьи известных ученых о проблемах современной физики или химии, которые мне попадались, были непростым чтением; статьи подобного уровня сложности, написанные гуманитарием, в газете наверняка бы не напечатали. В общем, как я уже говорил, стремиться к ясности нужно. Но это не значит, что научную книгу по социологии любой обыватель, без всякой подготовки, читающий ее, лежа на диване, не напрягаясь, должен понимать. Не должен. И все это не противоречит сказан-

ному мной выше относительно необходимости для социолога стремиться к ясности и коммуникации с «непосвященными», со средой, с обществом.

Замечу еще раз, что мода для социологии – предмет давнего и устойчивого интереса. Многие классики социально-философской и социологической мысли обращались к ее изучению и (или) высказывались о ней. Это и Энтони Шефтсбери, и Адам Смит, и Кант, и Спенсер, и Зиммель (которому иногда незаслуженно приписывают некоторые идеи Спенсера относительно моды), и Габриэль Тард, и другие. Знаменитый архитектор, дизайнер и теоретик архитектуры Вальтер Гропиус утверждал, что каждый более или менее известный, уважающий себя архитектор считал своим долгом спроектировать стул. Аналогичным образом можно сказать, что если не все, то многие классики социологии считали своим долгом создать теорию или концепцию моды. И сегодня социологи в разных странах постоянно касаются этой проблематики. Для нашей социологии сегодня это также предмет совсем не экзотический: выходит немало публикаций, защищается немало диссертаций по данной проблематике. Правда, уровень большинства работ пока невысок, немало повторений давно известных вещей под видом новых или прямого плагиата. Впрочем, и зарубежные работы о моде зачастую носят довольно поверхностный или банальный характер.

...Безусловно, социология, как и другая наука, имеет право быть элитарной, не всегда всем понятной... А какие-либо эмпирические исследования по социологии моды ты проводишь?

Мне кажется, что специальное, профессиональное, – не то же самое, что элитарное. Существуют специализированные субкультуры, в том числе профессиональные, со своими ценностями, навыками, языком и т.п. Существует великий закон разделения труда. Как и профессор Преображенский в булгаковском «Собачьем сердце», я сторонник разделения труда (но не элитарности!). В Большом пусть поют, а социологи пусть занимаются своим делом. В этом смысле социолог, по-видимому, должен быть подобен любому профессионалу, будь то скрипач, врач, сантехник или профессиональный футболист.

Эмпирических исследований по социологии моды я не провожу. В 1970–1980-е годы, когда я работал во ВНИИ технической эстетики и разрабатывал эту проблематику, я участвовал в создании разного рода методик и проектов формирования предметной среды, сотрудничал с дизайнерами-практиками, бывал на показах мод и т.п. Но я всегда был и остаюсь, говоря словами Парсонса, «неизлечимым теоретиком», хотя и постоянно стремящимся к тесному взаимодействию с эмпириками

и эмпирическим материалом. Я не разделяю точку зрения, согласно которой есть теория как нечто более или менее готовое к употреблению, а есть «исследование». Теория – это не своего рода пиджак, который исследователь-эмпирик, приступая к работе, выбирает себе по вкусу. Это тоже исследование; если речь идет о конкретном объекте, то оно заканчивается в тот же день, что и его эмпирическая часть.

Вообще мне кажется, что разделение на теоретиков и эмпириков «нормально», так же как и активное взаимодействие между ними. Здесь закон разделения труда тоже действует. Бессмысленно говорить о том, кто важнее или нужнее. История социальных (и естественных) наук, как и современность, знает примеры выдающихся исследований и исследователей, представляющих обе специальности.

В целом, проблематика моды в последние годы в моих научных интересах не находится на первом плане. У меня есть ощущение некоей выполненной работы, завершенного теоретико-социологического исследования моды. Разумеется, такого рода работа не имеет завершения; это все равно, что сказать: закончено исследование смысла жизни или счастья. И я так или иначе обращаюсь и, наверное, буду возвращаться к этой вечной теме, которая всегда будет меня интересовать. Но на сегодняшний день у меня есть вот это ощущение завершенной работы по данной проблематике, выполнить которую было моей целью. *Feci quod potui, faciant meliora potentes*. Я сделал, что мог, пусть кто может, сделает лучше.

Сейчас мое исследовательское внимание сосредоточено на проблеме соотношения социокультурных традиций и инноваций в современной России. По данной теме я руковожу исследовательским проектом и опубликовал некоторые работы, в том числе о гражданской религии в современной России и о значении в этой связи социологического мировоззрения (см. об этом, в частности: [16, 17]).

Немного собственно биографического

Саша, наконец задам тебе ряд вопросов, с которых обычно начинал «пытать» моих жертв... о родителях, о юности, студенческих годах....

Не буду вдаваться сейчас в детали «себя», это требует еще серьезных воспоминаний и самоанализа, может быть, если удастся, я когда-нибудь напишу мемуары; не исповедь, как сейчас нередко пишут, потому что *опубликованная исповедь* – это *contradictio in adjecto*, нечто вроде белой черноты.

Я вырос в семье бессарабских евреев. Мои родители – простые малограмотные люди. Один мой дед был пастухом, другой – столяром, но в живых я их не застал. Родился я в Волгограде, где мама была в эвакуации, а в 1947 г. родители вернулись в Кишинев, где жили до войны. В средней школе, как и в высшей, у меня были прекрасные учителя. Достаточно сказать, что замечательная учительница Анна Сауловна Мундер, преподававшая мне французский язык до 8-го класса (а я, очевидно, был одним из любимых ее учеников), получила образование в Сорбонне. В Кишиневе я окончил школу рабочей молодежи, работая слесарем-сборщиком на заводе, производившем стиральные машины. Так что интерес к общественным наукам с семейными традициями никак не мог быть связан. В 1963 г., сразу после окончания школы, поступил в Герценовский институт в Ленинграде, на исторический факультет. Хотел поступить на философский в ЛГУ, но меня не допустили к экзаменам, так как у меня не хватало пяти месяцев рабочего стажа, а на философский факультет, как и на юридический и журналистики, требовалось не меньше двух лет стажа работы.

Но как получилось, что сын малограмотных родителей решил заняться философией? Что-то или кто-то подтолкнул?

По-моему, никто и ничто не подталкивало к этому, во всяком случае *снаружи*. Все мои друзья поступали в технические вузы и стали инженерами, и я, поступая на гуманитарный факультет, был белой вороной. Многие уговаривали меня не совершать этой ошибки, доказывая, видимо, вполне обоснованно, что на этом поприще меня не ждет ничего хорошего. Так что социальная среда, влияние которой нам, как социологам, так хочется видеть, если и толкала меня куда-то, то совсем в другую сторону. Впрочем, если как следует поискать, то, конечно, можно найти и влияние среды. Но, вероятно, были некие *внутренние* стимулы сделанного мной выбора. В средней школе, которую я окончил с серебряной медалью, у меня проявлялись склонности к гуманитарному знанию, к языкам и т.п. Мне кажется, что в детстве у меня было очень развито воображение, и я до довольно солидного возраста верил в реальность сказочных персонажей и Деда Мороза. Еще дольше я верил в коммунизм как светлое будущее всего человечества. Будучи в детстве и юности усердным читателем газет и веря тому, что в них писали, я, видимо, стал приверженцем какой-то формы социального и гуманистического идеализма. Может быть, все это сказалось при выборе жизненного и профессионального пути.

Итак, ты поступил в Герценовский институт, что далее...?

Социологии в Герценовском, конечно, тогда еще не было. Но я с самого начала активно самостоятельно занимался философией, философией истории и социологией. О годах учебы у меня сохранились самые светлые воспоминания. Со второго курса я обучался по так называемому индивидуальному плану со «свободным расписанием». Это означало, что я мог не ходить на лекции или ходить только на те, которые считал нужными, посещая только семинары и французский язык. Надо сказать, что я обучался в специальной группе, где готовили преподавателей истории на иностранном языке. Сначала меня туда не приняли из-за «неарийского» происхождения (печально известный «пятый пункт»), и я учился в обычной группе, но потом все же перевели в эту группу, «обменяв» на парня, которому этот французский был до лампочки и которого туда ранее силком затащили. «Обменом» остались довольны все. В Институте – прекрасная библиотека, усердным читателем которой я был все студенческие годы. Кроме того, я часто посещал Публичку, в том числе – спецхран, куда меня устроил один из моих любимых преподавателей, историк Юрий Васильевич Егоров. Так что я довольно рано стал читать качественную литературу, как старую, дореволюционную, так и новую. Обязательными предметами я занимался главным образом во время сессии и перед ней, а остальное время – тем, что меня интересовало. Поэтому у меня не было «перехода» от истории вообще к истории социологии.

Кто в те годы оказал на тебя наиболее сильное влияние? У кого ты занимался в аспирантуре?

Учителя – особая тема. С учителями мне вообще здорово повезло и в школе, и в институте, и в аспирантуре, и за это я бесконечно благодарен судьбе и, разумеется, им самим. Прежде всего, среди институтских учителей, конечно, необходимо упомянуть профессора Эльмара Владимировича Соколова; к несчастью, он ушел из жизни в апреле 2003 года. Он руководил в Институте философским кружком, в котором я состоял с первого курса и был его старостой. Он был моим старшим другом, проводил со мной много времени и в значительной мере научил меня думать. Я его очень любил, и благодарность к нему сохранится навсегда в моем сердце. Другим моим учителем в студенческие годы и впоследствии был и в известном смысле всегда остается Игорь Семенович Кон. Он был моим научным руководителем в аспирантуре и образцом, которому я хотел подражать, хотя у меня не всегда это получалось. Встреча с Игорем Семеновичем, перед которым в студенческие

годы, в аспирантуре и впоследствии я благоговел и которым восхищался и продолжаю восхищаться до сих пор, была, безусловно, одной из самых больших и несравненных удач в моей жизни. Наконец, еще одним прекрасным учителем для меня стал Юрий Александрович Левада, в семинаре которого мне посчастливилось участвовать. Были и другие замечательные учителя, о которых я еще надеюсь когда-нибудь рассказать. Впрочем, «были» – неверно сказано, и прошедшее время здесь неуместно. Они продолжают ими быть и сегодня.

Когда мы начинали интервью, вопроса, который я сейчас задам тебе, не могло быть. В конце 2006 г. скончался Ю.А. Левада. Ряд лет ты был причастен к его семинару. Не мог бы ты поделиться своими воспоминаниями о Ю.А. Леваде, его семинаре?

Юрий Александрович Левада скончался 16 ноября прошлого года. Это тяжелейшая утрата для меня, как и для многих людей, знавших его. Несомненно он останется со мной, в моем сознании столько, сколько буду я. Но уже то, что он *был* в моей жизни, большое счастье и подарок судьбы. У каждого, кто общался с ним, был, конечно, свой Левада. Я скажу несколько слов о своем. Я познакомился с ним заочно как с автором книги «Социальная природа религии». Эта небольшая по размеру книжка поразила меня не только совершенно новым для меня содержанием, но и необычностью самого стиля изложения, существенно отличавшегося от всего, что я читал до того. Спустя пару лет я впервые увидел Юрия Александровича; это было в 1968 г. в ЛГУ, где он выступал оппонентом на защите докторской диссертации Владимира Александровича Ядова (впоследствии он был оппонентом на защите и моей докторской диссертации, чем я, конечно, горжусь). Затем, после переезда в Москву, я познакомился с ним лично, был, как я уже сказал, участником его семинара и нередко общался с ним в формальной и неформальной обстановке. Знакомство с Левадой означало одновременно вхождение в особую среду, которая на долгие годы стала моей, среду высококвалифицированных коллег, порядочных людей и друзей.

Юрий Александрович был несомненным лидером и учителем, но при этом удивительным образом он не лидировал и не учил. Его влияние происходило как бы само собой, без каких-либо внушений, нравочений или дидактических ухищрений. Важен был сам пример его личности и деятельности. Для меня это была постоянно профессиональная и нравственная школа, точнее, община. О Леваде и его школе (а это была и есть научная школа в подлинном смысле слова), надеюсь, еще будет написано немало, основательно и серьезно. Сейчас же я бы хо-

тел отметить, помимо высочайшего профессионализма, такие его качества, как честность и любовь к свободе. Эти две черты, как мне кажется, теснейшим образом взаимосвязаны: только свободный человек может быть честным, и наоборот. Вслед за Токвилем он мог бы сказать: «Я любил бы свободу во все времена, но теперь я ее просто обожаю». Его свободолюбие носило столь же естественный и непоказной характер, как и лидерство. В нашей стране это качество встречается не так уж часто, считается чем-то не очень обязательным, подозрительным или даже вредным, хотя многие кардинальные проблемы российского общества порождены именно отказом от свободы как фундаментального онтологического свойства человека. Мало кто это осознает, но это так: плата за отказ или уход от свободы для общества, как правило, бывает очень высокой, особенно в долгосрочной перспективе. Левада же, как и многие выдающиеся люди в истории России, заплатил довольно высокую цену за любовь к свободе и стремление к ней. Это относится и к советскому, и к постсоветскому периодам его жизни и деятельности. Думаю и надеюсь, что его нравственное и профессиональное влияние на российскую социологию и российское общество будет расти. Если же этого происходить не будет, то это будет означать лишь одно: их собственную деградацию.

В опубликованном интервью Геннадий Батыгин неоднократно возвращается к теме своего еврейства. Подробно остановился на этом вопросе Владимир Шляпентох [18; 19]. Есть ли в твоей карьере что-либо, детерминированное национальностью? Хотел бы ты об этом рассказать?

Хочу заметить, что внимание к своей собственной и чужой этничности, национальной принадлежности, на мой взгляд, нормально и «естественно» (впрочем, мне приходилось писать, что нет более искусственного понятия, чем понятие «естественное»). Но в определенных пределах. Когда подобное внимание приобретает утрированный характер, оно зачастую является признаком личной (или) социальной патологии, вызванной разного рода исключительными, индивидуальными и социальными, обстоятельствами. Если человек повсеместно, постоянно и непрерывно, 24 часа в сутки, ощущает себя только русским, евреем, инуитом или индейцем намбиквара, а не москвичом, сибиряком, парижанином, профессионалом в какой-либо области, отцом, футболистом, филофонистом и т.п., а также, между прочим, *человеком*, то его моральные и интеллектуальные качества мне представляются весьма сомнительными.

Относительно моего еврейства хотел бы уточнить, что специально еврейство никто во мне не формировал. Да и в наших

условиях это было, конечно, почти невозможно. Я не посещал (и не мог посещать, даже если бы захотел) хедер, не изучал Талмуд, не учил иврит. Я понимаю идиш, на котором говорили родители. Но меня не водили в синагогу. Вероятно, еврейское происхождение и среда в детстве как-то влияли на меня «объективно» и непроизвольно, но как именно – это предмет для специальных размышлений и анализа.

Более определенным можно считать «негативное» влияние на меня моего еврейства в форме антисемитизма. Ведь в СССР каждый еврей по происхождению непроизвольно и автоматически становился членом своего рода полулегальной, третируемой и презираемой категории под названием «евреи». Само слово «еврей» практически не фигурировало в СМИ и воспринималось как оскорбление. Считалось (впрочем, это сохраняется и сегодня), что еврей как минимум не должен афишировать своего еврейства, а еще лучше – отмежеваться от него или осудить его. Не думаю, что именно еврейство привело меня в социологию. Но благодаря антисемитизму у меня, как и у любого еврея (или не-еврея, любого человека в подобной ситуации), было больше стимулов. Я с раннего возраста стал понимать, что если хочу чего-нибудь добиться, то должен как можно больше и лучше работать, что могу рассчитывать только на свои силы. Это, впрочем, не помешало мне встретить на своем жизненном пути великое множество порядочных, добрых и просто нормальных людей разных национальностей, которые мне так или иначе помогали, за что, конечно, огромное спасибо им и судьбе. И антисемитизму тоже спасибо: ведь это мощный стимулирующий фактор в деятельности социолога, если ему повезло родиться евреем. Ура! На этой оптимистической ноте можно и закончить...

...можно, но вот последний вопрос: что ты можешь сказать о нашем поколении российских социологов?

Вообще-то, в понятиях поколенческих я не пытался пока специально осмысливать себя, своих друзей и коллег, близких мне по возрасту. Боюсь, что об этом я ничего интересного или полезного пока сказать не могу. Понятие «поколение», как и понятие «современники», которого мы коснулись выше, мне представляется весьма дифференцированным. В моем «поколении», как и в предыдущих, что-то и кто-то меня привлекает, а кто-то и что-то – отталкивает. Такого рода суждения о поколениях, носящие, конечно, ценностный характер, а не хронологически-возрастной, требуют определенной временной дистанции, и, находясь «внутри» поколения, очень легко ошибиться. В шестидесятые годы понятия «шестидесятники» не

существовало, да и позднее оно относилось лишь к определенной, может быть, небольшой части современников, которые отождествляли себя с определенными идеалами, связанными с первой попыткой десталинизации. В случае с моим поколением, 1945 года рождения и около того, нужно учитывать и демографический фактор, обусловленный войной: нас просто мало, людей, родившихся и выживших в это время.

Что касается социологии, то в 1960-е годы, когда я был студентом, она рассматривалась у нас как новая (в очередной раз) научная дисциплина. Она была модной наукой, чего, к сожалению, нельзя сказать о нынешнем времени. Но моды, как известно, возвращаются. Надеюсь и даже уверен, что и мода на социологию вернется, причем достаточно скоро. Эта социология, будет, конечно, отличаться от сегодняшней, оставаясь при этом самой собой.

Литература

1. *Гофман А.Б.* История социологии и история социальной мысли: общее и особенное (1996) // Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 360–361.
2. *Гофман А.Б.* Семь лекций по истории социологии: Учебное пособие для вузов. М.: Мартис, 1995; 8-е изд. М.: Книжный Дом «Университет», 2006.
3. *Арон Р.* Этапы развития социологической мысли / Общ. ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.: Прогресс, 1993.
4. *Дюркгейм Э.* О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991; Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М.: Канон, 1995.
5. *Гофман А.Б.* Дюркгеймовская социологическая школа // История буржуазной социологии первой половины XX века / Под ред. Л.Г. Ионина, Г.В. Осипова. М.: Наука, 1979. (То же в кн.: Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 429–470.)
6. *Гофман А.Б.* Заметки к сравнительному анализу Дюркгейма и Макса Вебера (1989) // Гофман А.Б. Классическое и современное. Этюды по истории и теории социологии. М.: Наука, 2003. С. 422–428.
7. *Гофман А.Б.* Эмиль Дюркгейм в России. Рецепция дюркгеймовской социологии в российской социальной мысли. М.: ГУ ВШЭ, 2001. Глава; Gofman A.B. Durkheim sovietique et postsovietique // L'Ann e sociologique. Paris, 1999. Vol. 49. No. 1. P. 65–81.
8. *Мосс М.* Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / Составл., пер. с франц., послесловие и комментарии А. Б. Гофмана. М.: «Восточная литература» РАН, 1996.
9. *Хальбвакс М.* Социальные классы и морфология / Пер. с франц. А.Т. Бикбова, Н.А. Шматко. М.: Институт экспериментальной социологии, 2000.

10. *Гране М.* Китайская мысль. М.: Республика, 2004.
11. *Гофман А.Б.* Существует ли общество? От психологического редукционизма к эпифеноменализму в интерпретации социальной реальности // Социологические исследования. 2005. № 1.
12. *A history of classical sociology / Ed. by I.S. Kon.* Moscow: Progress Publishers, 1989.
13. На крючке смерть модника: Интервью // Огонек. 2002. № 46 (ноябрь). С. 56–57.
14. *Гофман А.Б.* Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994; 3-е изд. СПб: Питер, 2004.
15. *Gofman A.* Les éternels retours. Notes sur les cycles de mode // Revue européenne des sciences sociales. 2004. Т. XLII. No. 129. P. 135–144.
16. *Гофман А.Б.* Социология и гражданская религия в современной России // Социология и современная Россия. Сб. статей / Под. ред. А.Б. Гофмана. М.: ГУ-ВШЭ, 2003. С. 84–107.
17. *Гофман А.Б.* От какого наследства мы не отказываемся? Традиции и инновации в постсоветской России // Россия реформирующаяся. Ежегодник – 2004 / Отв. ред. Л.М. Дробижева. М.: Институт социологии РАН, 2004. С. 369–370.
18. *Батыгин Г.С.* «Никакого другого пути я даже помыслить не мог...» // Социологический журнал. 2003. № 2.
19. *Шляпентох В.* Социолог: здесь и там. В кн.: Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: Центр социального прогнозирования. 2006. С. 598 – 658.
20. *Ядов В.А.* «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №4. С. 6.



Ионин Л.Г. – окончил философский факультет Московского государственного университета, доктор философских наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва. Основные области исследования: истории социологии, социология культуры, политики. Интервью состоялось в 2006-2007 годах.

Одним социальным исследователям Леонид Григорьевич Ионин известен его работами по теории и истории Западной социологии, другие – знают его как культуролога, третьим – наиболее интересен его социально-политический анализ процессов, протекающих в современной России. Но уверен, мнения всех сойдутся в том, что написанное им всегда обладает принципиальной новизной, концептуально, информативно и изящно.

Предлагаемое интервью необычно по истории своего рождения и потому – по структуре. Его первая часть – это ответы Ионина на вопросы профессора Петербургского Университета В.В. Козловского. Когда я решил беседовать с Иониным, мне показалось абсурдным спрашивать его о том, что уже вошло в опубликованное интервью («Журнал социологии и социальной антропологии». 2003, выпуск 1), и я благодарен Козловскому за разрешение использовать его текст.

Вторая часть интервью – это итог моей электронной переписки с Иониным. В итоге получился текст, достаточно полно рассказывающий о его жизни и исследованиях.

Л.Г. Ионин: «НАДО СОГЛАШАТЬСЯ С СОБСТВЕННЫМ ВЫБОРОМ»*

ЧАСТЬ 1. УЗЛЫ СЕТИ

Кто Вы – социолог, политолог, социальный ученый или интеллектуал?

Наверное, каждое из этих обозначений в какой-то степени характеризует мои занятия. Но сам себя я рекомендовал бы скорее как социолога. «Интеллектуал», на мой взгляд, звучит слишком высокопарно или слишком по-французски. Социальный ученый – это перевод с английского, и мне он режет ухо. Я бы назвался обществоведом, но это слишком ассоциируется с советским «обществоведением». Политологом в профессиональном смысле я не являюсь, хотя политической занимаюсь как наблюдатель, как комментатор, как консультант, иногда как теоретик и как практик в области политологического образования. Социологический интерес

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 3. С. 2–14.

шире политологического и, как мне кажется, может вмещать в себя последний. Так что я предпочел бы называться социологом, но в широком, очень широком смысле слова. Социология для меня скорее не профессиональное определение, а обозначение способа видеть мир.

Как бы Вы определили профиль и характер Вашего социологического ремесла? Это Ваше призвание или только профессия?

Я уже определил: это способ видеть мир. Если же попытаться сказать точнее, то это постоянные попытки распространения социологических схематизаций или концептуализаций на все более и более широкие области знаний. Это одновременно и больше, и меньше, чем профессия. Это больше, чем профессия, поскольку здесь не существует неизбежных профессиональных границ в том, что касается объектов изучения, применяемых методов и т.п. Здесь, как говорил известный философ, anything goes. В то же время, это меньше, чем профессия, потому что при таком подходе много необязательного, ненадежного, проблематичного и недостает надежности и прочности профессионально самоограниченного, а потому и самоуверенного существования.

Что побудило Вас заняться социологией, а не другим ремеслом?

В школьные времена – книга Джека Лондона «Мартин Иден». Герой там увлекся Спенсером, и это была утопия универсального знания, все объясняющего и дающего ответы на все вопросы. Вот этот горизонт меня манил, хотя сам Мартин Иден плохо кончил. После уже, когда я учился на философском факультете МГУ и Спенсер вовсе не был моим любимцем, начала складываться советская социология, на факультете открылась кафедра социологии, и что-то меня туда привело – какое-то ощущение душевной и ментальной приспособленности именно к этой области мысли. И до сих пор мне не кажется, что я ошибся.

Как сложился Ваш жизненный и профессиональный путь? Нашим читателям, несомненно, будет интересно узнать, кто Вы как исследователь, какой была Ваша карьера в науке.

Что касается жизненного пути, то он простой, хотя и не совсем прямой. После школы я проучился полтора года на геологическом факультете МГУ – это соответствовало моему характеру в то время, – потом три года работал на телевидении. Это было Центральное телевидение СССР, оно находилось на Шаболовке под всем известной Шуховской башней. Поступил на вечернее отделение философского факультета, перевелся на

дневное – вот, собственно, и весь «период исканий». Официантом, матросом, рубщиком тростника или сборщиком бананов быть не пришлось, хотя часто хотелось. А потом – стандартный путь: аспирантура, кандидатская, младший, старший и т.д. научный сотрудник, доктор, профессор – все это было в Институте социологии Академии наук. В 1996 г. перешел в Высшую школу экономики – сначала профессор, потом зав. кафедрой на социологическом факультете, теперь вот – декан политологии. Это нормально. У философов, к которым я себя также отношу (может, потому, что учился на философском факультете), внешняя биография обычно скучная. Весь драматизм – в голове и в книгах. Исключений мало.

Но, как всегда бывает, даже самая скучная биография всегда насыщена жизненной драмой, которая в объективных справочных данных не передается. Поэзия, любовь, природа, дружба, эстетические впечатления – все это не входит в «объективку», но все это часто в гораздо большей степени формирует личность, чем приписанность к тому или иному институту или формальному статусу. Для того чтобы представить или понять чей-то жизненный путь, надо проследить внутреннюю для человека сеть значений, которая «сеть» не только в том смысле, что одно связано с другим, – она как бы покрывает всю жизнь в целом. Приведу пример, чтобы было понятно, что я имею в виду. В 1975 г., когда я уже работал в Институте социологии, мы с моей первой женой снимали дачу в Переделкино. Тогда как раз родился наш сын, и мы решили его крестить в переделкинской церкви. Мы хотели там договориться на пятницу, но женщина, продававшая свечи, сказала, что не надо, лучше в понедельник, потому что в пятницу служит отец Николай, который все сообщает «в органы», а в понедельник будет другой батюшка. Мотивация этого крещения не была чисто традиционной, она была жизненно-эстетической. Древняя церковь в Переделкино принадлежала роду бояр Колычевых, Колычевым был противник Ивана Грозного митрополит Филипп, я в то время увлекался творчеством Эйзенштейна, меня потряс его фильм «Иван Грозный». Рядом, на переделкинском кладбище лежал Борис Пастернак, поэзия которого сопровождает меня всю жизнь. Крещение было, очевидно, кроме своего изначального смысла приобщения к Богу, символическим приобщением ко всему этому. Дополнительной ячейкой в сети. Это был не изолированный эпизод, а именно сеть, причем, как я сказал, покрывающая всю жизнь. Через три года я опубликовал в журнале «Социологические исследования» фрагменты переписки Эйзенштейна с Вильгельмом Райхом – классиком «сексуальной революции». А потом, через 20 с лишним лет – перевод

«Массы и власти» Элиаса Канетти, с чьими книгами я впервые познакомился у Наума Клеймана – куратора музея Эйзенштейна, с которым мы жили в одном доме, но с которым я познакомился через посредство женщины, которую тогда любил и которая обожала поэзию Пастернака. А сейчас вот я передал в Ваш журнал для публикации статью на тему, близкую к темам Вильгельма Райха. Все это, следовательно, ячейки одной сети, которая, как я сказал, в объективке не прописывается. Такая параллельная жизнь и, может быть, базовая жизнь.

Но и это еще не все. Можно идти дальше, можно говорить об «узлах» в этой сети. Скажем, такой узел, как упомянутое крещение, где вдруг множество «нитей» пересеклось во времени и в пространстве. Узлами могут быть какие-то эстетические переживания, впечатывающиеся на всю жизнь и непонятным образом отражающиеся во всем или вносимые во все, с чем сталкиваешься и чем занимаешься. Все это и будет называться «жизненный и профессиональный путь». Но его эксплицировать страшно трудно.

Вот еще один пример такого узла. В 1982 г. я по линии Фонда Александра фон Гумбольдта ездил на год в Германию (тогда ФРГ), где в Билефельде занимался социальной феноменологией. Однажды на небольшом частном коллоквиуме в Орлингхаузене, под Билефельдом, я сделал доклад на тему «Две реальности “Мастера и Маргариты” М. Булгакова». «Мастер и Маргарита» относится к числу моих любимых книг. Я хотел взглянуть на магию и на события романа с точки зрения феноменолога. Аудитория подготовилась – в централизованном порядке купили для всех книжку Булгакова в немецком переводе. Доклад понравился, и один из коллег – профессор Б. Вальденфельс, которого, кстати, у нас сейчас довольно много публикуют – сказал, что было бы неплохо его дать в выходящем у него сборнике, но, жаль, уже слишком поздно – неделю назад сданы корректуры. А через день он позвонил и радостно прокричал, что это магия, что такого не бывает, но издательство разрешило включить статью даже на этой стадии. «Проделки Воланда», – сказал он. Так завязался узел, от которого потянулись нити. Через 10 лет статья опубликовалась дома, в «Вопросах философии», потом я включил ее в «Социологию культуры», а через 20 лет в Крыму прошел мой мастер-класс на тему «Новая магическая эпоха» и вышла книга «Постмодерн – новая магическая эпоха» под моей редакцией, собственно, из этого маленького коллоквиума в Орлингхаузене и выросшая.

А если еще вспомнить, что в Орлингхаузене стоит огромный родовой дом семейства Веберов, где подолгу жил Макс Вебер,

а после его смерти Марианна Вебер готовила к печати его рукописи, где жили и трудились предки и родственники Макса Вебера, – текстильные фабриканты, с которых он списывал типы «героев» «Протестантской этики и духа капитализма», и если принять во внимание, что ныне в ВШЭ я готовлю издание на русском языке главного труда Макса Вебера «Хозяйство и общество», — то станет ясно, что это очень значимый узел... Кстати, заграничные поездки, хотя бы эта – в 1982 г. – должны быть внесены и в объективную биографию. Потом было еще несколько долгосрочных командировок, да и частных поездок, которые стали важны с точки зрения формирования мышления.

Что повлияло на Ваш выбор и Ваши приоритеты в исследованиях, на Ваше увлечение наукой, точнее, такой ее областью как социология?

Социология была новой для нас, а потому сулила перспективы, открывала горизонты. Что же касается исследовательских приоритетов в более узком смысле, то здесь я могу ответить точно, что повлияло, точнее, кто повлиял. Заведующим отделом, к которому я был приписан как аспирант в Институте социологии, был И.С. Кон. Когда речь зашла о выборе темы для моей диссертации, он сказал, что есть такой интересный исследователь в Америке – Г. Гарфинкель, который изобрел этнометодологию, но о котором у нас, можно сказать, никто не знает. Я стал читать Гарфинкеля, и начала разматываться ниточка в обратном направлении – сначала А. Шюц, потом Гуссерль, потом философия жизни и герменевтика (т.е. прежде всего Дильтей) и т.д. Потом немножко в другую сторону – Кули, Джордж Мид, интеракционисты. В таком соседстве естественным образом возникли Зиммель и Макс Вебер. В общем, Игорь Семенович, хотя он этого наверняка не помнит, дал очень ценный совет, и, если взглянуть на то, о чем я писал, можно сказать, что я всю жизнь ему следую. Тематически следую, хотя в методологическом смысле вижу все совсем не так, как И.С. Кон. Были ведь и другие факторы, которые сильно действовали. У меня всегда был интерес к германской философии, к ее парадоксальному духу, состоящему в стремлении по ту сторону явного и данного. Мне кажется, у меня всегда был интерес к парадоксу и стремление к радикальным теоретическим решениям. Всего этого у Гарфинкеля и у тех, с кем он был духовно в прямом или отдаленном родстве, оказалось в избытке. Поэтому они всегда на меня влияли. Мне всегда неинтересны были «линейные» банальности вроде позитивизма, эволюционизма и пр., которые замалчивают парадоксальный смысл общества и жизни. Конт когда-то высказал глубоко-

мысленную банальность относительно того, что, мол, в старости человек осуществляет задуманное в молодости. Кьеркегор, процитировав его, добавил: пример – Свифт, в молодости он построил Бедлам, а в старости сам поселился в нем. Мне кажется, что последнее точнее описывает природу социального существования.

В чем на Ваш взгляд, состоит Ваш вклад в развитие социологии?

Я недавно с интересом узнал, что, по результатам науковедческих исследований, самыми популярными темами в отечественной социологии являются социальная феноменология и социология культуры. То-есть, именно то, о чем я все время писал, причем одним из первых у нас. Лыщу себя надеждой, что в этом есть и мой вклад.

Если же конкретнее, то он состоит, на мой взгляд, прежде всего в двух вещах. Во-первых, я оказался удачным посредником, приведя в отечественную социологию некоторые новые социологические направления и новые фигуры из западной социологии. Это касается так называемой понимающей социологии, социальной феноменологии и т.п. и таких фигур, как Шюц, Гарфинкель и др. Знаю это из первых уст от некоторых коллег, которые говорили, что социальная феноменология в моем изложении (в книге «Понимающая социология») и в переведенном мною английском томе «Новые направления в социологической теории» буквально перевернула их социологическое мировоззрение. Это ведь был конец 1970-х, когда у нас господствовали функционализм в теории и позитивизм в эмпирическом исследовании. И то, и другое перенималось с Запада, чаще всего некритически и неререфлексивно, и все вместе называлось марксистской социологией. Вдруг оказалось, что возможна и другая социология. Конечно, это важно! Во-вторых, мне кажется, что я сам постоянно демонстрировал возможность мыслить альтернативно в социологии. Разумеется, не я один, но, надеюсь, моя роль была не последней. Я мог бы назвать еще несколько моментов, которые считаю важными в своей работе, но пусть лучше ее оценивают другие.

Кто были Ваши учителя и кумиры?

Учителей в науке в прямом смысле не оказалось. Я, наверное, в этом сам виноват, потому что раньше всегда сторонился групповой работы и групповой мысли и не очень верил в «наставничество». Я обязан И.С. Кону за описанный выше совет и возможность участвовать в начавшейся тогда (во второй половине 1970-х) систематической работе над историей

социологии, а также Г.В. Осипову, под началом которого в Институте социологии я долго работал и который давал полную возможность заниматься тем, чем хочешь желанием доказать, что ты лучше всех, и тебе есть, что сказать, – лучше начальника не придумать. Впрочем, он – сложный человек, и, насколько я знаю, не все из тогдашних сотрудников разделяют мои взгляды.

Но были, конечно, учителя другого рода – те, по чьим книгам я учился, кому я считаю себя духовно близким и у кого многое почерпнул и старался выразить в собственных работах. Это очень разные писатели. Это Георг Зиммель, которого я ценю за остроту мысли, отстраненность и глубинную иронию. Что касается чисто социологических вещей, то важнее всего у него учение о чистых формах взаимодействия, анализ социальных групп в их историческом становлении, теория «духа капитализма» (интеллектуализм и монетарная экономика), а также блестящие анализы «стиля и ритма» социальной жизни. Далее назову Карла Поппера, который взорвал позитивизм изнутри, превратив плюс в минус и сумев из минуса сделать плюс (я имею в виду его фальсификационизм и антииндуктивизм). Он продемонстрировал творческую силу негативной установки, причем не в спекулятивной философии, как Гегель и его последователи, а в теории науки. Мне не кажется столь уж ценной его книга «Открытое общество и его враги». Как любая идеологически ориентированная работа, она сначала глубоко убеждает и как бы открывает глаза, но потом начинаешь видеть в ней натяжки, предрассудки и понимаешь, что реальность глубже идеологии и разнообразнее. Я ценю Альфреда Шюца за спокойствие и последовательность в описании «неописуемого», то есть обычно нетематизируемой повседневности, Пола Фейерабенда – за радикализм и экстравагантность, Василия Розанова – за иронию и консерватизм. Ими я зачитывался, у них, следовательно, учился. Это совершенно разные мыслители, их просто невозможно привести к общему знаменателю, но вот в моей голове и в моей биографии все это как-то непротиворечиво соединяется. Я не вижу в этом соединении какой-то необходимости. Наоборот, я допускаю, что все это цепь случайностей. Скажем, совет И.С. Кона писать о Гарфинкеле, открытие Розанова во время германского пребывания в начале 1980-х, предложение написать статью о Поппере в сборник, издаваемый Институтом философии – все это жизненные случайности. А настоящая научная биография должна характеризоваться объективной необходимостью собственного развития. Значит, необходи-

мость надо искать на каком-то ином уровне существования, и это было бы правильно, но это выходило бы за рамки предмета нашего разговора.

Вы – известный в России и за рубежом специалист в области истории социологии, социологии культуры, других отраслей социальных наук. Какова на сегодняшний день ситуация в социологических теоретических и эмпирических исследованиях в России и за рубежом?

Это – очень большой вопрос, и трудно ответить на него коротко и в то же время аргументированно. Поэтому пусть это будет субъективная оценка. Для российской социологии ныне характерна вторичность. Все, что у нас есть, – это, в основном, переложение западных моделей и направлений социологического мышления, и в этом смысле современная российская социология практически целиком несамостоятельна. Виной тому, на мой взгляд, два обстоятельства. Первое – это поспешный и тоже, в общем-то, не самостоятельный, то есть мотивированный не изнутри социологического развития, а внешними, политическими факторами, разрыв с марксизмом. Второе – это языковой барьер. Первое – важнее. Я не говорю здесь о том, хороша или плоха была марксистская социология, надо или не надо было ее сбрасывать «с парохода современности», – но это была некая позиция, гарантировавшая суверенитет на собственной социологической территории. Но вот марксистскую социологию отбросили, и оказалось, что сказать-то нам, в общем, нечего, что «российской социологии» не существует, а есть только «социология в России».

Это обидно. Не за марксизм обидно, а за то, что российской социологии нет. И не надо здесь говорить, что наука интернациональна, развивается поверх границ и т.д. Есть американская, французская, немецкая и т.д. социологии, каждую из которых характеризует некое методологическое, тематическое или стилевое единство. У французов это проявляется наиболее ярко, в России же совершенно отсутствует. Но и в этих, замитованных на Западе темах и направлениях, мы отстаем на 10–15–20 лет, причем отстаем не от «передовых образцов», что бы за таковые ни считалось, а от среднего уровня. Средний уровень – это уровень текущих журнальных дискуссий. Осмеюсь утверждать, что сам контекст нынешних социологических дискуссий на Западе для отечественных социологов, в основном, непонятен. Этому может быть несколько объяснений. Во-первых, – отставание во времени – мы позднее стали заниматься проблемами, на которых сосредоточена западная социология.

В-третьих, и это самое важное – существует некое, если можно так выразиться, объективное непонимание, происходящее из того, что проблемы западных обществ, а следовательно, и проблемы, обсуждаемые западной социологией, не являются нашими проблемами. Говоря словами поэта, «не наша дичь». И не удивительно, что соответствующие обсуждения не получают у нас отклика и остаются непонятыми. Более того, их мало кто стремится понять, потому что нет социальной мотивации к их исследованию, а если кто их понимает и старается сформулировать это понимание для отечественной социологической аудитории, то отклика не получает. Аудитория молчит. «Что он Гекубе? Что ему Гекуба?» В то же время наши, отечественные проблемы, то есть проблемы, важные для нашего общества, социологией не формулируются, а если и формулируются, то в каких-то маргинальных областях типа геополитики или евразийства, каковые считаются консервативными или реакционными. Таким образом мы сами себя загоняем в тупик. В общем, как мне кажется, отечественная социология находится в состоянии какого-то полураспада. Теоретически она полностью дезориентирована. Что же касается эмпирических исследований, то здесь тоже беда. Политическая и коммерческая ангажированность привела к резкому количественному росту исследований и к явному снижению их качества.

Я, наверное, слишком сгустил краски, но пусть это будет полемическое заострение. Разумеется, есть интересные статьи и книги, есть отдельные направления, последовательно реализующиеся и достойные внимания, например, экономическая социология. Но в целом нынешняя российская социология не радует. От своих корней (до 1917 г.) она отрезана, и эту связь вряд ли можно восстановить. От марксизма в любой его разновидности, придававшего ей какие-никакие профиль и стиль, она отказалась сама. Западный опыт она пока еще не может освоить, свои же собственные проблемы и теории найти и сформулировать не в состоянии.

В каком направлении, с Вашей точки зрения, развивается современная мировая и российская социология?

Российская социология, с моей точки зрения, как я сказал, никуда пока что толком не развивается. Развиваются отдельные исследователи и, может быть, некоторые направления. Сама же она стоит на месте, как витязь на распутье, не понимающий, куда ему нужно.

С мировой социологией, под которой следует понимать западную, или буржуазную, социологию, дело обстоит сложнее. Она постепенно входит в конфликт с меняющимся когнитив-

ным стилем эпохи, точно схваченным так называемыми философами постмодерна – Лиотаром, Фуко, Бодрияром и их последователями, а также их предшественниками, такими, как Витгенштейн, другие лингвистические философы, В. Беньямин. Социология – это единокровное дитя модерна. Она родилась на заре модерна от духа научности, который непорочно оплодотворил Огюста Конта, и достигла кульминации своего развития в трудах классиков социологии на рубеже XIX – XX веков. Если цель науки, определившей суть модерна, – рациональное познание, «расколдовывание» мира, по Максус Веберу, то задачей и целью социологии оказалось – расширить это познание на общество, дольше всего остававшееся «нерасколдованным», и, тем самым, постичь суть модерна. Социология, таким образом, оказалась саморефлексией модерна и наиболее полным и последовательным проявлением его когнитивного стиля и духа. Не случайно базовая социологическая схема модерна ярче всего, пожалуй, представленная у Тённиса в его концепции развития от *Gemeinschaft* к *Gesellschaft*, до навязчивости повторяется у всех классиков социологии – у Маркса (в «Коммунистическом манифесте»), у Зиммеля, у Дюркгейма, у Макса Вебера – вплоть до самого Тённиса, самого позднего из классиков. Если не вдаваться здесь в более подробные объяснения, то можно выразить суть дела таким псевдоуравнением: дух науки=духу модерна=буржуазному духу=духу социологии. В этом смысле, кстати, Карл Маркс – вполне буржуазный социолог и социолог модерна, хотя он и заключил свою концепцию модерна в оправу из христианской философии истории с идеей апокалиптической революции пролетариата и коммунизмом на месте тысячелетнего Царства Божия.

Социология, следовательно, есть базовый метанарратив модерна, и вызывает сомнение, сумеет ли она приспособиться к зарождающемуся стилю мышления новой когнитивной эпохи – эпохи постмодерна. Конечно, внутри ее тоже пробиваются концепции, родственные постмодернистским если не по духу, то по стилю выражения, но все равно сколь бы пестро ни расцветивалась базовая схема у Гарфинкеля, Бурдьё, Кнор-Цетины, Гофмана, Латура и др., в основе все равно неизбежно обнаруживаются Маркс, Зиммель, Дюркгейм, Вебер. Создается впечатление, что западная, или буржуазная, социология – а только таковая имеется, другой нет и, наверное, не может быть – не в силах взломать свою железную клетку с прутьями из рациональности, закономерности и развития. Если это так, то мы живем в преддверии конца социологии, а в какие формы этот конец может вылиться, я сказать затрудняюсь.

Но это общая, генеральная тенденция. Если посмотреть на более конкретные направления развития современной социологии, то мне кажется, наиболее важные движения в сторону социологии культуры и социологии знания в духе интеракционизма и «понимания», а также сдвиг в направлении антропологизации социологии. Может быть, это и есть направления прорыва.

Чем характеризуется развитие отдельных отраслей современной социологии?

Мне кажется, именно тем, что в них – в индустриальной социологии, в социологии науки, социологии образования и других – начинают реализовываться указанные выше теоретические подходы.

Вы долгое время работали в Институте социологии РАН. Поддерживаете ли Вы в настоящее время связи с ним и почему предпочли преподавательскую деятельность в ГУ-ВШЭ чисто академической работе в системе РАН?

Я продолжаю быть сотрудником Института социологии, хотя, со стыдом признаюсь, не уделяю работе для института столько времени, сколько должен бы уделять. Ну, а перешел в ГУ-ВШЭ по многим причинам. Во-первых, в советское время я как беспартийный к работе со студентами допущен не был. Не скажу, что я так уж жаждал делиться знаниями в аудитории, но все же это другая область деятельности, в которой хотелось себя попробовать. Попробовал, нашел в этом смысл и удовольствие. Во-вторых, в 1990-е гг. академические институты оказались в горестном состоянии. Дело даже не в недостатке финансирования. Из них начала утекать жизнь. В то же время университеты получили какой-то новый импульс, в них жизнь была ключом, хотя денег тоже было не в избытке. Открывались новые специальности, новые факультеты. Образование резко выделилось как орудие социальной мобильности. А поскольку все в стране дифференцировалось и разделялось по слоям и кастам, образование оказалось востребованным. Так что именно в университетах была жизнь. И Высшая школа экономики была, да и остается сейчас, наверное, самым живым, энергичным, динамично развивающимся из всех российских университетов. К сегодняшнему дню также не очень многое изменилось. Университеты по-прежнему живы, Академия по-прежнему не совсем мертва. В ней сейчас, по моему, только одно процветающее подразделение – Президиум. Но при этом я вовсе не хочу сказать, что Академия изжила себя, что она – пережиток советского времени, что ей суждено уме-

реть, как бронтозавру, не сумевшему приспособиться к новому климату жизни. Дело в том, что кипение в университетах не всегда имеет прямое отношение к науке. С моей точки зрения, попытка переместить науку из Академии в университеты не удалась. Наука в российских университетах не прививается или прививается с трудом. Не становится органичной частью университетской жизни. О причинах этого можно много говорить, но важно следствие: Академия вновь нужна. Разумеется, она нуждается в реформировании на всех уровнях – от Президиума до институтов. Она должна стать компактнее, рациональнее, – не нужны институты по пятьсот человек. Она должна найти новые способы взаимоотношений с окружающим миром... Ну и могу назвать еще одну причину моего перехода – это материальный фактор. Не буду кривить душой – это важный фактор, если моя зарплата в университете в десятки раз превышает то, что я получал бы в Институте социологии.

Своими публикациями и публицистической деятельностью Вы известны и за рубежом, и в России, Вы являетесь автором ряда трудов по социологии и другим отраслям науки. Какие из них представляются Вам наиболее научно значимыми?

Самые значимые – те, которые будут написаны. А из уже изданных ближе всего два: «Социология культуры: путь в новое тысячелетие» (это вышедшее в 2000 г. очень сильно расширенное переиздание книги 1996 г.) и «Свобода в СССР» (1997 г.). Еще очень важным мне представляется вышедший в прошлом году в Харькове сборник статей «Постмодерн: новая магическая эпоха», где я выступил в качестве составителя и редактора, а также – не побоюсь этого слова – и вдохновителя. У этой книги интересная история и интересное строение. История началась с того, что социологический факультет Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина и Восточноукраинский фонд социальных исследований пригласили меня провести мастер-класс на тему, которая мне интересна. Темой была избрана та, что стоит в названии книги. На сайте факультета была помещена моя одноименная статья и объявлен конкурс эссе на эту тему. Отобрали пятнадцать молодых преподавателей, аспирантов, кандидатов наук. Организаторы подготовили шестисотстраничный ридер. Само мероприятие состоялось в мае позапрошлого года в Крыму, в Кичкине возле Ялты. За неделю мы провели в аудитории 36 часов. Читали, обсуждали, фантазировали, сочиняли. Это для всех нас были дни, наполненные открытиями – и в мире, и в самих себе. Это для всех участников, и для меня тоже, было необыкновенное

время. А потом решили, что каждый из участников мастер-класса напишет новые статьи на ту же тему, и все будет издано отдельной книгой. И это магическим образом состоялось, за что я благодарен организаторам. В книге оказалась воспроизведенной вся структура нашей работы: моя иницилирующая статья, конкурсные эссе, избранное из ридера – то, что было предметом обсуждения, статьи, написанные уже дома после мастер-класса, а в конце – запечатленные переживания и ощущения участников. В ней, если судить по большому счету, много слабостей, недоработок, следов спешки. Но в ней есть то, с чем так редко удается столкнуться, – мысль в развитии, ощущаемый духовный рост, след живой интеллектуальной жизни – не только результат, но и процесс. Мне эта книга очень дорога, как и все ее авторы. На следующий год (то есть в 2002 г.) состоялся еще один мастер-класс по той же модели и, в основном, с теми же участниками. Тема была определена так: «Новая магическая эпоха-2: трансформация гендера». Надеюсь, будет еще одна книга.

Можно ли говорить о вполне разработанной теоретически и эмпирически социологии культуры российского общества? Могли бы Вы определить ее содержание?

Я не думаю, что социология культуры вообще может существовать как теоретически и эмпирически разработанная единая дисциплина, если, конечно, не ограничивать искусственным образом понятие культуры, как, например, то, что входит в ведение Министерства культуры, или еще как-нибудь. Культура – это вторая, помимо природной, среда человека, и в этом смысле она тождественна обществу. Практически любая социологическая категория может быть осмыслена как категория культурного анализа. Группа, институт, слой, общность – все это феномены культурной природы. Как сказал один известный культурфилософ (Ф. Тенбрук), между обществом и культурой – «бесшовное соединение». Поэтому, с моей точки зрения, между социологией культуры и тем, что можно назвать общей социологией или социологией как таковой, тоже – бесшовное соединение. Различие – в некотором сдвиге аналитического подхода. Социология как таковая рассматривает структуры как ставшее и для членов общества объективно данное, а социология культуры сосредоточивает взгляд на самом процессе становления, полагая его не законченным и принципиально не заканчивающимся. Другими словами, все в обществе, что для социологии природно, или, точнее, квази-природно, для социологии культуры – артефакт, изготовление которого никогда не прерывается. Именно поэтому социальная

феноменология, социология знания, интеракционизм, частично витгенштейнианство для социологии культуры – важные методологические орудия. Если согласиться с такой позицией, то и традиционно понимаемые области культуры, такие, как социология чтения, например, социология художественного творчества или художественного восприятия, или социология кино, литературы и т.п. могут получить интересные перспективы развития. Такая позиция кажется мне важной и необходимой еще и потому, что, с одной стороны, делает социологию культуры одним из центральных направлений социологического анализа (а то ведь раньше она культивировалась, как культура в советское время, по остаточному принципу, как нечто второстепенное и дополнительное по отношению к социологии как таковой), а с другой стороны, освобождает самую социологию от навеянного на нее позитивизмом вечного сна и самоуспокоенности.

В 1999 в № 3 нашего журнала была опубликована достаточно критичная рецензия на Вашу книгу (учебное пособие) «Социология культуры», вышедшую в 1996 г. Может быть, Вы хотели бы ответить авторам рецензии, которые посчитали Ваш подход методологически ограниченной авторской социологией?

Я не хотел бы здесь ввязываться в теоретический спор, во-первых, потому, что для этого надо излагать позицию другой стороны, а это требует дополнительного места в журнале, во-вторых, потому, что это было давно, и, может быть, уже не актуально. Если это кому-то интересно, можно прочесть рецензию и сравнить с тем, что я сказал выше о моем понимании социологии культуры. Тогда станет видно, что с авторами рецензии я во многом согласен и многое ими отмечено правильно. Другое дело, что эти правильно отмеченные факты мы часто по-разному оцениваем – то, в чем они видят минус, я воспринимаю как плюс. Например, они критикуют мой подход как «авторскую социологию». Но я очень рад, что это замечено и отмечено. «Авторская социология» – это вовсе не обидно. Были ведь и есть и другие замечательные «авторские социологии» – у Георга Зиммеля, например, или у Ирвина Гофмана. Очевидно, авторская социология – это такая социология, метод которой трудно однозначно эксплицировать и в готовом виде «приложить» другому исследователю к другим феноменам. Кроме того, авторскую социологию можно понимать как социологию, более тесно, чем в обычной научной практике, связанную с личностью автора, из чего опять же следуют трудности экспликации и воспроизведения результатов. Мне кажется, именно авторской социологии в нашей стране недостаточно, а безликих, не вы-

ходящих ни за какие рамки банальных воспроизведений как своего, так и чужого, больше, чем нужно. Что же касается методологической ограниченности, то здесь я не согласен: как можно назвать методологически ограниченным подход, который претендует на то, чтобы объяснить все другие подходы?! Скорее, наоборот, его можно обвинить в чрезмерной широте, что может грозить утерей позитивного содержания.

Как Вы оцениваете уровень современного социологического образования за рубежом и в России?

Из моего личного опыта у меня создалось впечатление, что уровень образования в России и за рубежом примерно одинаков. Я имею в виду, конечно, лучшие российские университеты, в основном, московские и петербургские. В провинции дело обстоит хуже, поскольку хуже с преподавательскими кадрами. Падение же научного уровня в российской социологии имеет место при переходе из университета в жизнь. О том, почему это происходит, я уже говорил.

Насколько в настоящее время в обществе высок интерес к социальным наукам?

Трудно дать однозначный ответ. Интерес кажется высоким, если судить по конкурсу в социальные и гуманитарные вузы. Среди абитуриентов есть прагматически мотивированные и романтически мотивированные. Прагматическая мотивация состоит в том, что диплом здесь, как правило, легче получить, чем в инженерном или естественнонаучном вузе. Романтическая мотивация состоит в характерной для предшествующего десятилетия вере в то, что социальные науки хранят в себе волшебный ключик к социальному благополучию общества, и этот волшебный ключик раньше был недоступен, потому что мешали марксизм и советская власть, а теперь его легко добыть. Но эта вера уже сходит на нет; уже ясно, что волшебного ключика не существует. Поэтому и романтическая мотивация сходит на нет, а перспективы реализации прагматической мотивации ограничены. Да, диплом получить сравнительно легко. А что дальше? Педагогическое или исследовательское поприще, с точки зрения прагматика, мало перспективно. Остается социально-технологическая деятельность в самых разных сферах жизни. А это, как ни грустно сознавать, – не наука. Поэтому я, если честно говорить, не вижу перспективы высокого интереса именно к наукам, по крайней мере до тех пор, пока педагогическая и научная стезя будут отождествляться в практическом социальном мышлении с путем неудачника в жизни.

Способствовала ли ранее в советское время и способствует ли сейчас академическая институционализация социологических исследований решению социальных проблем в России?

Думаю, что нет, не способствовала и не способствует. Вообще социология как орудие улучшения социальной жизни – это иллюзия раннего позитивизма Сен-Симона и Конта. Эта иллюзия неоднократно возникала вновь и естественным образом разрушалась при попытках решить проблемы или построить что-нибудь достойное на базе социологических рекомендаций. Примером может быть, скажем, попытка реализовать программу «Великого общества» в США президента Л. Джонсона. Скоро началась вьетнамская война, не предусмотренная социологами, и идея благополучно умерла. К слову здесь пришелся Вьетнам. В Южном Вьетнаме американские социологи и культурантропологи разработали впечатляющую программу модернизации, целью которой было разрушение традиционной крестьянской общины и создание процветающей агрикультурной отрасли с одновременной ликвидацией социальной базы Сопrotивления. Чем это все кончилось как для Америки, так и для Южного Вьетнама, Вы знаете. Наконец, институционализация социологии в советское время не только не привела к решению социальных проблем, но непосредственно предшествовала распаду Советского Союза и страшной социальной катастрофе. Этот список можно продолжать долго, но вот обратных примеров, то есть примеров успешного решения проблем на социологической базе, я не припоминаю. Может быть, у Вас они имеются? Разумеется, это не значит, что социология не может давать информацию о состоянии общества. Но это далеко не единственный и не исключительно надежный источник информации. А сами социальные проблемы решаются не наукой, а политикой, у которой иные, чем у науки, цели, иная мотивация решения проблем, иные методы и иные информационные предпочтения.

Каково Ваше нынешнее восприятие атмосферы советского общества 1950-80-х годов?

Затрудняюсь прямо ответить. В качестве ответа надо писать трактат, и не один.

Скажите, пожалуйста, насколько значимы 1950-80-е годы в Вашей профессиональной деятельности?

Мне лично в пятидесятилетнем году было пять лет. Шестидесятые были счастливыми годами любви, надежд, ученья, космических полетов и открытых горизонтов. Это для меня лично, хотя космические полеты были не мои, а Юрия Гагарина и других

космонавтов. Но они переживались как события жизни страны и моей собственной жизни. В семидесятые на жизнь легла некоторая тень. В восьмидесятые горизонты закрылись.

Все это нуждается в пояснении. Это не социальная хронология, а моя персональная. Шестидесятые годы для меня – не «оттепель» (хотя Эренбурга я читал с интересом) и не «возрождение надежд на подлинную реализацию идеалов социализма», а мои личные весна и юность, лишь совпавшие с «оттепелью», на которую мне, строго говоря, было наплевать. На социализм мне тоже было наплевать. У меня была философия (точнее, романтическое представление о ней), была любовь, я жил в великой стране, и этого мне было достаточно. Этого порыва мне хватило надолго – на обе диссертации, на несколько книг, на поездки за границу. Я мало замечал существовавшие мрачные реалии. Это не потому, что я был приспособленцем или, наоборот, искренним партийцем. В партию меня не принимали и до конца этой самой партии так и не приняли, хотя я несколько раз подавал заявление. Очевидно, у тех, кто его рассматривал, было безошибочное классовое чутье. Поэтому у меня не появилось потом возможности говорить, как говорили «прорабы перестройки», что я вступил в партию, чтобы подорвать ее изнутри. На самом деле, как мне теперь кажется, я долго оставался счастливым и наивным человеком, полагавшим, что таланта и честного труда достаточно. Намного раньше были написаны поэтом строки, которые я считаю точно выражающими мой взгляд на мир в то время, как, впрочем, и сейчас: Столетье с лишним – не вчера, \ \ Но сила прежняя в облатне \ \ В надежде славы и добра \ \ Смотреть на вещи без боязни, \ \ Хотеть в отличие от хлыща \ \ В его существованьи кратком \ \ Труда со всеми сообща \ \ И заодно с правопорядком...

Так и я хотел, но уже не получалось. В восьмидесятые, после большой поездки в Германию я понял, что горизонты закрыты, что писать то, что публикуют, и говорить то, что будет выслушано, я не могу. А для того, что я могу и хочу, места нет. И дело не в КГБ, которое придет и арестует, а просто это никому не нужно. Писать в стол я не умею, да это и безнадежно. Для мысли необходим диалог, для того, чтобы создать что-то значительное, нужно, чтобы кто-то это прочел, увидел, оценил, испытал восторг, наконец. Только в глазах другого можно увидеть, чего ты достиг. Другими словами, нужна аудитория, нужно сообщество. Опыт показал, что все, что потом, когда «уже можно», вынимается «из стола», оказывается, как правило, жалким и бессильным, произведенным из собственного желудочного сока, по выражению О. Мандельштама. Поэтому я завял и долгое время ничего не писал, хотя, наверное, о чем-то думал.

Говоря все это, я отчетливо осознаю, что это моя личная, а не всеобщая драма, потому что, какой бы тяжелой ни была в Советском Союзе атмосфера для философов, социологов и других «социальных ученых», инженерам, врачам, футболистам, рабочим, полярникам, военным, спортсменам, естествоиспытателям, лесникам, садовникам и т.д. и т.п. удавалось реализовать себя с гораздо большим успехом. А людей этих специальностей и склонностей гораздо больше, чем «социальных ученых» и «интеллектуалов». Поэтому я не склонен обобщать эти достаточно локальные трудности и объявлять на этом основании СССР царством зла, несвободы и т.п. Это было очень сложное общество с очень сложной историей в XX веке, гораздо более сложной, чем у нынешних западных демократий, потому и приведшей к большим издержкам, которых и Запад не вовсе избежал. И отсутствие свободы в СССР не нужно понимать слишком обобщенно. Не было политической свободы и свободы интеллектуального поиска, то есть не было того, что нужно очень немногим, но вовсе не нужно большинству, которое от отсутствия этих свобод не испытывает дискомфорта. Вообще, мы совсем не знаем этой страны, хотя большинство из нас – ее жители, и залепляем суть дела ярлыками, просто сменив плюс на минус. А это – целая Атлантида, только затонувшая совсем недавно. Такое неряшливое отношение многих к собственной великой Родине меня очень огорчает.

Каково Ваше отношение к периоду перестройки и времени реформ 1990-х годов?

Я сам в меру своих сил в этом участвовал, прежде всего, своей публицистической деятельностью. Перестройка, как известно, закончилась тем, что дом рухнул. Но центральный столб устоял. Его и начали реформировать. Только наивный человек может считать, что период реформ когда-нибудь закончится. Когда мы говорим «период реформ», то как бы предполагаем, что вот проведем реформу финансовой системы, реформу государственного управления, реформу пенсионного обеспечения, реформу энергетики, еще какую-нибудь реформу, и дальше все пойдет само собой, все сделается «невидимой рукой рынка», а мы отдохнем от праведных революционных трудов. На самом деле, реформирование – это нормальный жизненный процесс нормального общества, потому что потом настанет пора административной реформы, реформы здравоохранения, реформы налогообложения и т.д., а только покончим с этим, как, глядь, уже пора снова реформировать финансовую систему, государственное управление, систему железных дорог, металлургию, энергетику и пр. и пр. Достаточно посмотреть на политический

процесс США, Великобритании, Германии, других стран, чтобы увидеть, что они не вылезают из реформ. Рынок же сам по себе ничего реформировать не может. Для этого нужна вполне видимая и сильная рука государства.

Ваши нынешние теоретические пристрастия и принципы?

Я о них, в общем-то, сказал достаточно. Можно лишь добавить, что сильнее стали антропологические мотивы, которые я, по мере моих сил, пытаюсь связать с культур-социологическими. Это легко увидеть в материале, который прилагается к нашему интервью.

ЧАСТЬ 2. О СТРАТЕГИИ ПОДЧИНЕНИЯ СУДЬБЕ

Леня, твое поступление на геологический факультет, работа на ТВ, учеба на философском, знание языков говорят о том, что в твоей семье ты не первый, имеющий высшее образование. Из какой ты семьи?

Я – второй в семье, имеющий высшее образование. Интеллигент, так сказать, во втором поколении. Против снобистских ухмылок могу заметить, что Ломоносов был вообще – в первом. Семья – рабоче-крестьянского происхождения. Советская власть (оставляя в стороне ее прочие качества) разрушила сословно-кастовую систему и стала могучим орудием социальной мобильности. Своего рода система вертикального взлета. Хотя иногда и не менее вертикального падения («созидающий башню сорвется...», как писал Гумилев.) У отца было не совсем вертикально и очень трудно, но это было восходящее движение. Он родился на Алтае, поступил в военное училище в Омске, где они познакомились с мамой и поженились. Воевать он начал в 1939 г. (Халхин-Гол), а закончил в 1943 гвардии майором и Героем Советского Союза, демобилизовавшись по причине тяжкого ранения, в результате которого провел год в госпиталях. А потом – партийная работа (начальник военного отдела обкома в Омске), Высшая партийная школа, Москва, Академия общественных наук, диссертация, преподавательская работа. Так я, родившись в Омске, где-то в пятилетнем возрасте стал жителем Арбата и Никитских ворот. И с тех пор – в Москве.

Очень интересно про «Мартина Идена» и Спенсера. Для меня идеи Спенсера в изложении Д. Лондона оказались подготовкой к знакомству с работами Гальтона, Пирсона, Спирмена и основой моего интереса к математической статистике. Ты обратил внимание на

собственно философию Спенсера. Может быть ты и до «Мартина Идена» читал что-либо философическое? Правда, геология тоже могла быть наваяна Спенсером.

Я не помню, чтобы читал что-то философическое до «Мартина Идена». Могу только сказать, что мое чтение было разносторонним и неупорядоченным. Это ведь было детство. Философом с детства я не был, в отличие от Поппера, например, который пишет, что в семилетнем возрасте он стал марксистом, а в восемь – разочаровался в марксизме. В Спенсере (в изложении Джека Лондона) для меня была важна, наверное, романтика открытого горизонта познания, а не позитивизм. Я не помню сейчас, но я не уверен, что вообще воспринимал Спенсера как позитивизм. Это было такое диффузное представление о философии, как мудрости, а не о профессиональной специализированной философии. И в этом смысле с ним смыкались мои тогдашние романтические представления о геологической профессии.

Одно из рабочих название книги, которую я собираю из интервью, – «Судьбы российских социологов». В судьбе есть что-то от предначертанности... я начинаю думать, что понятие «знак судьбы» – не просто художественный образ... может твоя переделкинская история с выходом на Пастернака и Канетти и история вокруг «Мастера и Маргариты» это некие знаки судьбы, мимо которых ты не проскочил?.. все выглядит слишком целостно, чтобы говорить о цепи случаев.

Целостность возникает «потом», она есть результат интерпретации ex post facto, если вообще не post mortem. «Не проскочить» мимо «знаков судьбы» нельзя, нечто становится знаком судьбы лишь после того и в результате того, что ты мимо этого не проскочил. Просто надо не сопротивляться жизни, состоящей в твоих собственных внутренних импульсах. Кажется, Сенеке принадлежит афоризм: соглашающихся судьба ведет, сопротивляющихся тащит. У меня в жизни было очень много начинаний-ответвлений в разные стороны – как в профессиональной области, так и во внепрофессиональной, – к примеру, геология, попытка вступить в КПСС, работа на телевидении, игра на бирже, политконсультирование, журнализм, изучение Парсонса, искушение остаться за границей в 90-ые годы и др. И не сказать, чтобы результат этих начинаний был катастрофическим, просто что-то как-то не получалось. Это как будто идешь по дороге, состоящей из постоянных развилок. Сворачиваешь направо, шагаешь, и вот скоро чувствуешь, что либо грязь слишком много, либо в гору все время, что раздражает, либо вообще воздух какой-то не тот. Идешь обратно и

поворачиваешь налево. А потом оказывается, что эта стрелка, указывающая налево – «знак судьбы». Потому что идетя легко и далеко. Поэтому я научился довольно легко отказываться от начатого, не сожалея о том, что не удалось, не перечитывая написанного, не пересчитывая скрупулезно затраченные ресурсы (что, мол, нельзя, чтобы все это пропало, не принеся результата) и подчиняясь жизненному импульсу.

Это и есть, по-моему, стратегия подчинения судьбе, по Сенеке. У меня она оказывается успешной. Например, попытка вступления в КПСС. Мне говорили, что, не будучи членом партии, мне не защитит докторской, не получить профессорского звания, не поехать за границу и т.д. Я решил, что надо вступать и подал заявление. Несколько месяцев или даже лет секретарь партбюро Института социологии с косящими от постоянного вранья глазами (как секретарь в журнале, у Булгакова) говорил мне, что «нет анкеты», тогда как я видел, что в институте принимают в партию кого попало. Я и бросил ходить к нему. И обе диссертации защитил, и за границу поехал и т.д. Наверное, можно было подключить какие-то связи, воздействовать через райком, тем более, что возможности некоторые имелись, но я на все это плюнул. Потом партия развалилась, и я оказался «в белом жилете», а активисты перестройки метавшие свои партбилеты с трибун в грязь, узнав, что я не был в партии, начинали оправдываться, что они, мол, вступали, чтобы развалить изнутри и т.п. Другой пример: моя попытка (точнее сказать, возможность) остаться за границей. Я в 90-е годы довольно долго работал в Германии и в других странах, и ввиду того, что ситуация в России была горестной, вопрос о том, чтобы остаться, возникал сам собой и неоднократно. Но я не смог принять такое кардинальное решение, отчего сейчас счастлив. Для меня за границей (я имею в виду постоянную жизнь) воздух не тот. Как сказал один телевизионный острослов, невозможно каждый день просыпаться с мыслью: «немцы в городе».

Все это не означает, что всем надо было не вступать в партию или всем не оставаться за границей. Стратегия подчинения судьбе содержательно всегда сугубо индивидуальна. Надо только следовать первичному жизненному импульсу и не пытаться силой «переломить» самого себя и тем самым судьбу. Тогда жизнь легче и стрессов меньше. И неврозов. Это жизненная философия, которую я не представляю в качестве образца для подражания. Тем не менее, это и есть интуитивное нащупывание того, что потом и складывается как судьба, как предназначенность. Такая вот протестантская этика, хотя и в своеобразном варианте.

Вообще-то переход от Спенсера к Гарфинкелю довольно парадоксален, наверное, что-то было между ними, когда ты еще учился на философском факультете? Может именно Пастернак и Булгаков?

Ты придаешь слишком большое значение Спенсеру в моей биографии. Может быть, я сам виноват – надо было сказать не «Спенсер», а «Джек Лондон». Это вовсе не был переход от одной «парадигмы» к другой «парадигме». Гарфинкель появился в моем поле зрения уже в аспирантуре, до этого, как мне кажется, я каких-то выраженных специфических интересов в философии и социологии не имел. Я видел философию и науку более или менее эстетически. Конечно, и Булгаков («одна теория стоит другой» – слова Воланда, если помнишь), и Пастернак («всесильный Бог деталей»), и Мандельштам, и многие другие уже составили во мне некий умственный и душевный настрой, позволивший узнать в понимающей социологии то, что чем я буду заниматься. Отсюда, наверное, и получились микроуровень и релятивизм как такие метасоциологические основания моего собственно социологического интереса.

Почему после факультета ты пошел в социологическую аспирантуру, а не в философскую?

Думаю, что это довольно случайный выбор. Масса обстоятельств играет свою роль: отношение к тебе на той или иной кафедре, выбор, который делают приятели, то, на какой кафедре работает преподаватель, у которого пишешь курсовые, сиюминутная увлеченность какой-то темой и т.д. Не думаю, что выбор был принципиальным и глубоко продуманным. Да и не было достаточных оснований для обдуманного и рационального выбора. Это ведь вообще глубоко парадоксальная ситуация: выбор профессии, или даже, как здесь, выбор специализации делает человек молодой и неопытный, который не знает этой профессии или специализации и не может знать, что его ждет на пути. Ну, а дальше он следует логике избранной профессии (или специализации), все более представляя себе, что его ждет впереди, но не имея уже ни сил, ни возможности изменить свой выбор, если то, что впереди, ему почему-то не нравится. То есть он все более удаляется от альтернативного будущего, которое исчезает, не реализовавшись. Но если следовать тому, что я сказал выше о судьбе, так оно и должно быть. Надо соглашаться с собственным выбором. И если посмотреть на этот мой выбор из сегодняшнего дня, я склонен сказать, что он был, наверное, правильным.

В твои аспирантские годы социология многими трактовалась как теоретико-эмпирическая наука, а социолог – был человеком с анкетой. Тебя в эту сторону никогда не тянуло?

Странно, но никогда не тянуло. Мне приходилось участвовать в исследованиях и самому проводить, но без особого увлечения. Хотя я понимаю, в чем здесь интеллектуальный интерес и привлекательность.

Не приходилось ли тебе посещать семинар Ю.А. Левады? Если да, что ты мог бы сказать об этом форуме?

Посещать не приходилось, хотя я многих из участников знал, да и вообще все это происходило рядом, буквально в соседней комнате. Но дело в том, что это было психологически затруднительно. Они были надменные, гордые собой, приобщенные к мудрости, так сказать, и свысока посматривали на профанную публику вокруг. Мне такая позиция никогда не нравилась. Да и вообще наука – не подходящее место для эзотерических кружков. Я поясню: эзотерических не в том смысле, что они были закрытыми и чужие не допускались (допускались: приходите, кто угодно!), но в том смысле, что надо было принять какую-то особую установку благоговения по отношению к руководителю семинара и провозглашаемому им, в общем-то, как это позднее стало видно, достаточно вторичному знанию. Поэтому я и не ходил. Наука – это все-таки профессия, а не служение.

Это касается семинара, как он проходил в ИКСИ еще до Руткевича, до разгона, так сказать. Но, объективно говоря, обстановка в институте был хорошая и творческая не в последнюю очередь благодаря Ю.А. Леваде и его семинару. Потом с Руткевичем пришли В.И. Староверов, Ф.Р. Филиппов и другие, начавшие чистку и выдергивание любого «сорняка», выраставшего выше предписанного уровня. Староверов, по-моему, стал инициатором борьбы за ликвидацию иностранных слов в социологии. «Социальную мобильность», например, заменили тогда на «социальные перемещения». «Мобильность» – термин буржуазной социологии, поэтому у нас ее нет, у нас есть «перемещения». «Мобильность» нельзя было писать в статьях про советское общество, употреблять в докладах. Тут не надо преувеличивать – все это было лишь в рамках института, не более. Но все равно: хочешь показать лояльность новому руководству – пиши «перемещения». Хочешь бросить вызов – пиши «мобильность».

Мы с другими аспирантами (а я был в это время аспирантом) тогда над этим сильно потешались, и выдумывали русские варианты других «буржуазных» терминов. Я лично придумал русские эквиваленты двух важнейших социологических терминов, чем до сих пор горжусь. Это «социальная стратифика-

ция» – «общественный слоепорядок», и «социальная структура» – «обществосклад». По-моему, это неплохо.

Ну, а потом семинар Левады перешел в ЦЭМИ вместе с самим Юрием Александровичем, и я с ними встречался уже гораздо реже.

Я многим нашим отцам-основателям задавал вопрос о том, знали ли они, начиная свои социологические исследования, работы до-революционных социологов и тех, кто работал в 20-е годы. Нет – не знали. Я согласен с твоими словами: «От своих корней (до 1917 г.) она отрезана, и эту связь вряд ли можно восстановить». Получается, что постхрущевская советская социология возникла из ничего, лишь из атмосферы «оттепели». Так ли это?

Нет, она получилась из духа оттепели и американской социологии – Беккера-Боскова, например. Ну и существовали не совсем еще забытые работы 20–30-х годов, С. Струмилина, например, Б. Бруцкуса и других экономистов с мощным социологическим интересом. Эти последние работы имели приемлемую, в общем, для начальства мотивацию (быт рабочих, демография, другие социальные вопросы) и не входили в конфликт с идеологической установкой. Поэтому я бы сказал так: в области теории базой становился функционализм, достаточно легко сочетавшийся с системным вариантом марксизма, а в области эмпирии – социально-экономическая проблематика, связанная с отечественной наукой 20–30-х годов. Поэтому нельзя сказать, что постхрущевская социология возникла из ничего.

Что же касается того, что отцы-основатели «не знали», то я не очень в это верю. Они, конечно, «не знали» эти работы с точки зрения того, что они составляют особый период в институционализированной истории социологии, но имена эти им были знакомы, как вообще была знакома технократическая культура ранней советской общественной науки. Что, они про НОТ, ЦИТ и Гастева не знали? А с В. Подмарковым, например, они не были знакомы? Судя по его работам, он знал. Я думаю все-таки, что они знали. Это не было глубоко рефлексированное знание, может быть, даже они не рассматривали себя как продолжателей их дела, но в атмосфере все это присутствовало.

Я поздно начал задумываться об истории советской социологии, и потому не говорил на эту тему с Игорем Голосенко. А тебе приходилось обсуждать с ним значение дохрущовской русской социологии?

К сожалению, систематически мы с ним это не обсуждали, хотя и собирались обсудить, полагая, что впереди – неисчерпаемые возможности общения. Дело в том, что именно я пробил, как принято говорить, самую первую, ротапринтную публика-

цию составленной Игорем библиографии русской дореволюционной социологии. Это было где-то в конце 70-х в Институте социологии, или в Институте социологических исследований, как он тогда назывался. Позже эта библиография выходила уже в нормальном книжном формате. Мы уточняли разные детали, но до серьезного разговора дело не дошло, потом было некогда, а потом стало поздно.

Отвечая на один из вопросов Владимира Козловского, ты сказал про отечественную социологию: «От марксизма в любой его разновидности, придававшего ей какие-никакие профиль и стиль, она отказалась сама...». Почему это произошло? И почему это случилось так быстро?

Здесь, на мой взгляд, много причин. Во-первых, – и это главное – от марксизма отказались по политическим причинам. Все-таки это была идеология того прошлого, от которого страна уходила. И считалось, что с прошлым необходимо рвать целиком. В результате, высказывание симпатий к марксизму стало считаться проявлением какой-то политической неблагонадежности. Жечь надо было не только партбилет как таковой, но «все сто томов моих партийных книжек». Это был период угара демократии, и отказ от марксизма оказался одним из составляющих нового политического энтузиазма. Кроме того, марксизм был для многих невыносим по причинам личного характера – он был как обязательное блюдо, осточертевшее до невозможности. Все эти «ленинские определения классов» опротивели с самого первого курса университета. Хотелось забыть о них навсегда, что было, отмечу, по существу неправильно, хотя психологически понятно.

Кроме того, марксизм отождествлялся с цензурой, идейным и социальным гнетом, запретами и ограничениями свободы. Партийные олигархи преуспели в своих дедукциях и прекрасно умели обосновать, что можно, а что нельзя, базовыми максимами марксизма. Из того, что мировая история есть история борьбы классов, замечательным образом выводился, например, запрет на поездку за границу неженатому человеку. Вообще, советская жизнь со всеми ее причудами и особенностями осмысливалась как совокупность выводов из основополагающих идей классиков. Это была очень интересная идеократическая система, в ней присутствовала некая схоластическая изощренность. Но в результате партийные идеологи добились того, что стало казаться, что жизнь наша действительно построена по Марксу, что во всех запретах действительно виноват марксизм. Надо ли говорить, что на самом деле виноваты были те, кто запрещал, а марксизм они просто использовали в своих интересах! Начали сажать, и вождь объявил, что по мере построения социализма классовая борьба усиливается. Но ведь он

не вывел необходимость сажать из этого якобы марксистского тезиса, который, кстати, Марксу не приснился бы в самом дурном сне. Он просто попытался таким образом легитимировать собственную политическую стратегию. И если мы сейчас говорим, что в этой беде виноват марксизм, то мы считаем Сталина великим и адекватным теоретиком и действительным продолжателем Маркса. Советский социализм нас травмировал, и травма оказалось столь сильной, что подавлению и вытеснению подверглось все, что было связано с травмирующей ситуацией. В первую очередь, это марксизм. И это продолжается до сих пор. Про-психо-анализировать, что произошло с нашей социологией, так и не удается, почему мы и живем до сих пор в состоянии антимарксистского невроза.

Ты отмечаешь, что в основе постмодернистских концепций есть и Маркс. Присутствует ли что-либо в советском марксизме, что может оказаться полезным для мирового марксизма?

На мой взгляд, опыт советского марксизма во всех его разновидностях, начиная с 20-х годов не может не быть полезным. Я приведу пример. Фрейдомарксизм Вильгельма Райха, соединявший идеи марксизма и психоанализа Фрейда, стал основой студенческих бунтов и сексуальной революции 60-х годов. Грубо говоря, от Фрейда был секс, а от Маркса – революция, и все это органично так соединилось. Мы живем сейчас в мире, сформированном этой сексуальной революцией. Чтобы в этом убедиться, достаточно включить на пять минут телевизионную рекламу. Но мало кто знает, что фрейдомарксизм – в значительной степени продукт марксизма 20-х годов, а сам Вильгельм Райх, состоявший в Германской коммунистической партии, публиковался в главном советском партийном теоретическом журнале «Под знаменем марксизма» (впоследствии был переименован в «Большевик», потом в «Коммунист», потом – уже во время перестройки парадоксальным образом – в «Свободную мысль») и имел единомышленников среди авторитетных в то время советских теоретиков (А. Залкинд, например). Это уже потом, когда случился нацизм в Германии, сталинский переворот и духовная стагнация – в СССР, Райх уехал в США и началась новая эпоха в его жизни, но идейные основы этой поистине всемирной сексуальной революции сформировались частично в идейном контексте марксизма и именно советского марксизма. Это иллюстрация к вопросу о том, есть ли что-то в советском марксизме, что может оказаться полезным или важным не для мирового марксизма даже, а для мировой жизни вообще.

Фрейдомарксизм – это уже прошлое, уже история. Антиглобализм – это наша совершенно актуальнейшая современ-

ность, и его трудно даже просто мыслить без марксизма, в том числе, без советского марксизма в многообразии его форм и проявлений.

Каковы, на твой взгляд, перспективы марксизма в новой России? Спрошу проще: они есть или их нет?

Думаю, что есть, несмотря даже на то, что и по сей день марксизм является у нас в политическом смысле какой-то «черной меткой». Несколько лет назад, а именно в 1998 г. исполнилось 150 лет Марксову «Манифесту коммунистической партии». Не было на Западе практически ни одной значимой газеты или журнала, которые бы не посвятили этой дате – выходу в свет произведения, во многом определившего судьбы современной цивилизации, – газетный разворот или тематическую подборку статей. Единственная страна, где эта дата вовсе не была замечена, – это, конечно, Россия. Так и живем, как в городе Глупове, мечемся толпой, то возносим кумиров, то сбрасывая их с откоса в речку. Но время идет, появляются новые люди, не пережившие травмы, о которой я говорил, зарождается определенный интерес к жизни в СССР, и на этом фоне может возникнуть интерес к марксизму.

Кстати, интерес к марксизму вовсе не означает обязательства принять его как практическую идеологию, необходимо хотя бы исследовать опыт его применения в Советском союзе. Хотя бы в терминах социологии знания. СССР, как я уже сказал, – уникальное идеократическое государство, и социологам просто нельзя пройти мимо такого опыта. А мы проходим, и вполне равнодушно, а в социологии знания перепеваем Мангейма и более поздних американцев. Но здесь надо говорить не только о роли марксизма. Советский Союз как социальная организация, советская история и советские биографии представляют собой великолепный социологический и политологический материал. Социология партий (начиная с РСДРП), элиты, системы господства, группы интересов, условия и классы, геополитика, политическая культура и т.д. и т.п. – все это лучше всего изучать на примере становления советской системы. А мы в вузах начинаем изучать политическую историю собственной страны словами «после распада СССР...», а политическую теорию иллюстрируем примерами из Америки и Европы – которых мы по существу не знаем, поскольку не изучаем достаточно систематически, – но не из нашей собственной жизни, не из жизни наших собственных отцов и дедов. В результате студенты не знают и не понимают собственной страны, и страна не понимает самое себя.

Недавно в телевизионной дискуссии умные люди спорили о том, надо нам укоренять собственную традицию в России до 1917 года или начинать ее с 1991 года. Вопрос о том, что

советское время – тоже часть нашей традиции, вообще не стоял. Советское время – это-де «выпадение из истории». Это неправильно и даже губительно, со всех точек зрения. «Советский проект» – вполне модернистский, вполне европейский проект, и опыт его осуществления – уникальный опыт, который получила наша страна. Этот опыт, на мой взгляд, может и должен быть осмыслен, должно быть объяснено, что в нем хорошо, что плохо, и почему. Не надо запихивать его, как скелет, в шкаф. И не надо рассматривать его исключительно с точки зрения абстрактного гуманизма, то есть не надо делать эту точку зрения решающей применительно к любой теме. Гегель как-то писал, что мировой дух ведет свое дело *en grand*, и не жалеет жертв для своих целей. Моральное негодование – правильный и, в известных случаях, необходимый настрой, но реагировать моральным негодованием на глобальные процессы мировой истории – это все равно, что морально негодовать в адрес цунами, похоронившего 30 тысяч людей, или на приближение астероида, грозящего погубить человечество. Это, по меньшей мере, непрактично. Также неправильно по моральным основаниям признать цунами небывшим. Здесь действуют свои законы, и их надо изучать и знать, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем избежать его разрушительного воздействия.

Я вроде бы очень далеко ушел от заданного вопроса, но на самом деле все это очень далеко тесно связано. Вопрос о марксизме для нас сейчас – это не вопрос о том, «правильной» теорией был марксизм или «неправильной», и надо его «возродить» или не надо. Марксизм и его существование в советском контексте надо исследовать, чтобы глубже понять как сам марксизм с его поистине гигантским потенциалом, так и нашу собственную страну на протяжении целого века ее истории.

Несмотря на то, что первая философия, с которой я познакомился, был позитивизм в интерпретации Эрвина Шредингера, и моя основная профессиональная деятельность – изучение общественного мнения, в моих историко-наукоеведческих студиях я все более – когнитивист. В частности, я придаю большое значение принципу пристрастности историка в биографических исследованиях. Является ли это формой приключения возможностей «авторской социологии»?

Ясно, что беспристрастного исторического исследования быть не может, как впрочем, не может быть «беспристрастного» исследования и в, казалось бы, вполне строгих науках. Это во многих исследованиях показано от П. Фейерабенда до Б. Латура. Что же касается «авторской социологии», то, конечно, в ней должен предполагаться более высокий, чем в «стандартной», анонимной, что ли, социологии, уровень пристрастности. Однако эта пристрастность не должна влечь за собой переход на

позиции не-науки, то есть публицистики, искусства, моральной проповеди и т.д. Наука должна оставаться наукой.

Ты говоришь: «Вообще социология как орудие улучшения социальной жизни – это иллюзия раннего позитивизма Сен-Симона и Конта. Эта иллюзия неоднократно возникала вновь и естественным образом разрушалась при попытках решить проблемы или построить что-нибудь достойное на базе социологических рекомендаций». В моем недавнем интервью с Ядовым, он сказал: «Надо по возможности влиять на движение социальных планет». Как бы ты прокомментировал это ядовское суждение?

Я согласен с Владимиром Александровичем. Почему бы не влиять, если это соответствует темпераменту и если к этому есть какие-то возможности! Каждый может это делать – и социолог, и историк, и публицист, и вообще любой специалист. Не надо только питать иллюзий, что социолог в силу своей профессии знает, что и как надо делать, чтобы было «правильно», и что для того, чтобы иметь успех, политик и общественный деятель должен обязательно следовать рекомендациям социологов.

В книге по российской социологии 60-х годов Геннадий Батыгин писал (стр. 11) об уникальности советской социологии, полагая, что ее коммуникативные ресурсы были рассчитаны не на профессиональную аудиторию, а на общество в целом. По его мнению, «советская социология осуществляла власть над умами и – в той степени, в какой обществоведы участвовали в легитимизации социальных порядков, – власть над властью». Что ты скажешь по этому поводу?

По-моему, это некоторое преувеличение. Применив к нашим реалиям средневековую формулу, можно сказать, что в советское время социология была «служанкой», а отнюдь не «госпожой» политики. Она была не властью над властью, а – инструментом власти и в этом смысле ее коммуникативные ресурсы действительно были рассчитаны не только на профессиональную аудиторию.

А что можно сказать в этом смысле о современной российской социологии?

Да, в общем, то же самое. Социология существует как источник информации для власти и как инструмент пропаганды – в СМИ. Чтоб она властвовала над умами – в этом я сомневаюсь.

Ты много работал на Западе, и потому у тебя есть возможность для сопоставления того, как работали советские и западные социологи. Не думаешь ли ты, что советское социологическое сообщество жило в определенном гетто или в резервации?

Я бы эти слова здесь не применял, они звучат здесь двусмысленно. Что такое гетто? Это анклав особой культуры, где правила жизни отличаются от правил жизни окружающего общества, и куда свободно стекаются или насильственно собираются носители этой самой особой культуры. У нас же наоборот ценности нашей жизни как социологов определялись извне, а не вытекали из нашей социологической идентичности. Нас не изолировали от общества, а наоборот, насильственно растворяли в нем, лишая возможности рефлексии и профессионального самоопределения. Было бы прекрасно, если бы в СССР сформировали резервацию для социологов, где они жили бы по нормам собственной (социологической) культуры. Но об этом оставалось только мечтать...

Впрочем, нет, элементы такой резервации существовали – это Академия наук – своеобразная республика ученых в возрожденческом смысле, где наука была самоцелью и где удавалось иногда что-то серьезное и важное сказать и сделать. Там было гораздо больше свободы, чем в вузовской социологии, можно было самому выбирать темы, меньше ссылаться на вождей, присутствовали элементы «гамбургского счета», были – опять же элементы – научной, а не партийно-административной иерархии. Но всего этого было очень мало и очень недолго, может быть, до середины 70-х годов. А потом эти зачатки свободного исследовательского духа были по-скалозубовски решительно раздавлены.

Но может быть, ты имеешь в виду, что мы были отрезаны и изолированы от мирового социологического сообщества? Но в этом смысле социологи разделяли судьбу всего народа. Все жили в гетто, а не только социологи. Мы были там же, где «...народ, к несчастью, был».

Думая о том, что сказало наше поколения об обществе, в котором мы жили, я прихожу к мысли о том, что наиболее полно о нем сказали Бродский, Довлатов и Шемякин. Неужели дело в той свободе, которую они почувствовали на Западе?

Нет, с этим я не согласен. Как западная свобода может повлиять на художника? Что, вдохнул он, так сказать, воздух свободы, и родились бессмертные строки? Ну, а как тогда объяснить Ахматову, Булгакову, Платонова и многих других, да Пушкина хотя бы, которые на Запад не уезжали, а сказали о своем времени так, как никто другой не сумел, в том числе и эмигранты? Или как объяснить, наоборот, наших коллег-социологов, которые на Запад уехали, а ничего особенного о нашем обществе не сказали? Ну да, все можно напечатать, все можно выставить. Но ведь надо еще написать и создать то, что предстоит напечатать и выставить. Нет, все-таки главная

свобода – она внутри. Кажется, Вергилием сказано, что небо, а не душу меняет тот, кто уезжает за море. Поэтому я думаю, что для самореализации в творчестве география пребывания не играет решающей роли.

Это был общий тезис. А потом начинаются детали. Важны обстоятельства отъезда, степень его насильственности, внутренняя мотивация, обстоятельства жизни на Западе, темперамент художника и т.д. Кого-то эта западная свобода вообще может погубить, а кого-то возродить к жизни. Обстоятельства жизни на Западе Бродского и Довлатова – совсем разные обстоятельства, и успех их на Западе – разный успех. Одним из мотивов отъезда может быть поиск адекватного художнического сообщества, которое в Союзе отсутствовало. Но здесь многое зависит от вида искусства. Писателю и поэту найти такое сообщество за границей труднее, чем скульптору, который использует более универсальный язык. Шемякин, например, эмигрировал в Париж, а потом из Парижа эмигрировал в Нью-Йорк, но не потому, что там «больше свободы», а потому что там богаче и разнообразнее художественное сообщество. Но еще труднее найти за границей свое сообщество социологу, который хочет что-то сказать о России. Это сообщество там практически отсутствует, потому что тамошним социологам в подавляющем большинстве просто неинтересна тема России.

Думаю, что отвечая В. Козловскому на вопрос о 1950–1980-х годах, ты недооценил значение отсутствия политической, интеллектуальной свободы для деятельности «инженеров, врачей, футболистов... садовников». В воспоминаниях представителей этих профессий встречаешь те же «стоны», что и в мемуарах социологов. Не так ли?

Я не знаю, кого конкретно ты имеешь в виду. Но если подойти в целом, то, конечно, с одной стороны, ты прав. Все – советские люди, и всем что-то было запрещено или, наоборот, предписано, в одной и той же мере. Невозможность поехать за границу, например, невозможность прочесть какой-то роман или увидеть какое-то кино. Или пережить вмешательство парткома в личную жизнь. Но, с другой стороны, возможность самореализации в профессиональной сфере у «инженеров, врачей, футболистов» была несравненно выше, чем у социологов, философов, экономистов. Доказательством тому – блистательные советские достижения в естественной науке, в технике, спорте и почти полное отсутствие достижений в общественных науках. Конечно, и в этих успешных сферах было, почему «стонать». Достаточно вспомнить буржуазные «лженауки» – генетику и кибернетику. Но все же чаще всего причины крушения творческих планов там были либо внутринаучными (скажем, непризнание научным сообществом), либо административно-

финансовыми (скажем, финансовая нецелесообразность реализации какого-то проекта). Но очень редко идеологическими, то есть априори исключавшими возможность мыслить в определенном духе или искать в определенном направлении.

Как случилось, что ты – социолог-теоретик, историк социологии стал политологом? В чем близость и в чем несхожесть этих профессий?

Как и все остальное в моей жизни, мое (частичное) обращение в политологию произошло случайно. В Высшей школе экономики открывался новый факультет и не нашлось, наверное, более подходящего кандидата на должность декана. А я согласился с удовольствием, ориентируясь, скорее, не на научную специфику политологии, а на перспективу административно-управленческой работы, в которой хотелось себя попробовать. Ведь речь шла не о существующем стабильном подразделении, а о новом, которое предстояло создать. Так что это была творческая работа. Я проработал «политологом», точнее, деканом факультета политологии, шесть лет – от набора первого курса бакалавров до первого выпуска магистров – и вернулся в социологи. Хотя, разумеется, я воспринимаю эти обозначения («социолог», «политолог») как достаточно условные.

В той мере, в какой политология является наукой, то есть эмпирической наукой, она мало чем, если вообще отличается от социологии. Их понятия и инструментарий почти тождественны. В теоретическом содержании имеются некоторые различия, появляются своеобразные понятия (например, политический режим), которые, правда, при попытке их эмпирической интерпретации неизбежно снова социологизируются. Не случайно имена классиков социологии и классиков политической науки в значительной степени – одни и те же имена. Это Макс Вебер, Парето, Михельс и др. Полнее всего познавательная специфика политологии проявляется на самом абстрактном уровне – в политической философии – от Аристотеля до Токвиля. ...Такой вот краткий отчет социолога о визите в область политологии. Добавлю еще, что политологам присуще некоторое элитарное самосознание и претензия на знание о том, какой должна быть «правильная» политика. Но в этом они тоже не одиноки. Социологи тоже иногда на это претендуют.

В какой мере в твоих политологических построениях ты учишь результаты современных социологических (жестких) исследований и в частности – итоги опросов общественного мнения?

Опросы общественного мнения нельзя не учитывать. Это необходимая предпосылка любого политологического анализа текущей ситуации. Но важнее то, что политология вообще

существенно меняется. Она все более перестает быть гуманитарной, «разговорной» дисциплиной и становится строгой наукой. Сама политика перестает быть интуитивным предприятием с некоторым элементом обратной связи – возникают процедуры формирования и оценивания политических проектов, методики их «имплементации», оценивания их результатов. Политику приходится «считать». Поэтому политология в значительной степени превращается в социологию («жесткую» социологию) и менеджмент. Опросы общественного мнения становятся в этой связи одним из необходимых элементов разработки, контроля осуществления и оценивания результатов политических проектов. Надо только оговориться, что эти процессы происходят в мировой политической науке. В нашей отечественной политологии они еще только лишь намечаются. У нас, к сожалению, политология остается пока, в основном, разговорным жанром, и под именем политологов слишком часто выступают телевизионные комментаторы.

Можно ли сказать, что такое русскость в современном толковании, существует ли она?

Мне кажется, под «русскостью» нельзя понимать некий фиксированный набор черт и характеристик, остающийся равным самому себе во все периоды российской истории, будь это этнические или национально-психологические характеристики. Какие бы черты мы ни выделили, всегда можно сказать, что да, это правильно, но были случаи, когда Россия и русские вели себя по-другому. И это «по-другому» будет служить опровержением нашего образа, нашей модели «русскости».

Я предпочел бы пойти по другому пути и считать, что «русское» – это синтетический продукт российской истории. Составляющие этого синтетического образа довольно легко выявить. Первое – это *стихийный демократизм*, выражающийся, прежде всего, в прямой демократии. Здесь можно сослаться на древнюю демократическую традицию – северные русские республики (Господин Псков и Господин Великий Новгород), ополчение Минина и Пожарского в 1612 году, особая роль казачества – отнюдь не маргинального явления в российской истории, крестьянская община с ее традициями деревенских сходов, да и Советы, объединявшие в себе законодательную и исполнительную функции власти в начале своего существования выглядели продуктом прямой демократии. Второе – *авторитаризм*. Это поистине ядро русской культуры, на этой основе строились и самодержавие, и советская власть. Третье – *патернализм*. Важно, что первое и второе с третьим, т.е. прямая демократия, с одной стороны, и авторитаризм и патернализм, с другой, – не противоречат друг другу. При желании легко

можно увидеть, что авторитарная квазиотцовская власть отнюдь не является ничем не ограниченной властью. Здесь имеет место своего рода моральный контракт: «дети» платят «отцу» любовью и послушанием до тех пор, пока «отец» по-отцовски их любит и о них заботится. Если же ответной любви нет, контракт считается разорванным. И грядет эпоха русской свободы. Поэтому, например, гибель самодержавия – не только и не столько результат деятельности демократических партий, сколько результат пренебрежительного отношения самодержавия к своей «отцовской» роли, забвения им своих обязанностей по «контракту». Четвертая составляющая – *революционаризм*, я бы сказал, тотальный революционаризм, понимаемый как стремление разрушить все и на пустом месте отстроить все заново (как у Ленина), либо просто все разрушить без всякой мысли о созидании (как у Нечаева). Последняя составляющая «русскости» – *мессианство*, понимаемое как ощущение некой миссии, доверенной или порученной России Богом или историей. Об это много написано, но лучше всех – у Андрея Платонова, в «Котловане», например.

В разные периоды истории на первый план выходила какая-то одна из этих черт, но все они присутствовали всегда. Из всего этого (того, что здесь отмечено курсивом) складывается образ «русского» – как русской политической культуры, так и русского национального характера. Это продукт истории России, а не совокупность этнически и психологически определенных черт. К истории я добавил бы еще географию – это продукт истории и географии России. Гигантские пространства России и единство нации можно было удержать и сохранить только в условиях жесткого авторитарного правления. Кто-то, по-моему Г. Вернадский, сказал, что самодержавие и крепостничество были ценой, которую русский народ заплатил за свое национальное самосохранение. Можно продолжить эту мысль, сказав, что коммунистический авторитаризм был ценой, которую Россия заплатила за свое «сверхдержавное» величие. Платя эту цену, мы не просто *оставались* сами собой – мы *становились* тем, что мы есть сейчас. И наши сегодняшние проблематичные отношения с либерализмом и демократией западного типа тоже объясняются нашей историей и географией, которые, в принципе, не изменились и не изменятся до тех пор, пока – и в той степени, в которой – Россия остается собой.



Кесельман Л. Е. – окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета, многие годы работал в петербургских социологических институтах РАН, с 2004 года живет в Германии. Основные области исследования: производственная социология, прогнозирование социальных процессов, разработал и успешно применял технологию уличных опросов. Интервью состоялось в 2005 году.

На рубеже 80-х – 90-х Леонид Евсеевич Кесельман с его крохотной группой единомышленников сделал невозможное. С помощью технологии уличных опросов они выявили и зафиксировали отношение населения Ленинграда/Петербурга к важнейшим политическим событиям тех лет. Это была феерическая продуктивность. Бывало, утром я покупал газеты с результатами опроса Кесельмана, проведенного накануне, днем слышал его комментарии по радио, а вечером видел его на экране телевизора. Внешне мы были слегка похожи, и в метро у меня иногда спрашивали: «Вы Кесельман?». Я честно отвечал: «нет» и с гордостью добавлял: «но я его знаю».

Интервью длилось более полугода; было трудно начать и сложно завершить. Кесельман, отвечая по электронной почте на мои вопросы, написал очень много. Здесь – лишь фрагменты нашей беседы. Но и в них просматриваются жизненные коллизии, которых не было у российских социологов первого поколения, но которые испытали шедшие за ними.

**Л.Е. Кесельман:
«...СЛУЧАЙНО
У МЕНЯ ОКАЗАЛСЯ
БЛОКНОТ
“В КЛЕТОЧКУ” ...»***

**Меня сформировали события,
укладывающиеся в дюжину лет,
начавшихся возле моего 13-летия**

Интервью – не мемуары: не тот уровень осмысления прожитого, не та степень интимности в изложении. Согласившись на беседу со мною, что ты попытаешься высказать?

В процессе этого своеобразного кейс-стади попробуем восстановить процесс формирования и суть того своеобразного «советского» способа миропонимания, который лег в основу моих концептуальных схем и социального воображения. Не сам же я сочинил всю ту систему социальных координат, в которой худо-бедно существовали все мы до того, как обнаружилось, что остальная часть человечества живет в ином пространстве представленный об устройстве мира, в который погружены люди.

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. . № 5. С. 2–.

Хорошо, начнем с твоих первых впечатлений о мире, в который ты попал шесть десятилетий назад.

Появился я на свет вьюжной зимой 1944 года в Казахстане, неподалеку от станции Талды-Курган в бараке эвакуированных из Одессы. Осенью 1941 года моя мама – Ида Розенберг с годовалым ребенком – моим старшим братом – успела попасть на один из последних транспортов, уходивших из осажденного черноморского порта. Отец моего старшего брата, первый муж мамы, – военврач, начальник военного госпиталя Анатолий Беруль – остался в осажденном городе вместе со своим госпиталем, где и погиб. Под Новороссийском вырвавшийся из осады транспорт с одесскими беженцами был атакован немецкими бомбардировщиками, но маме с ребенком на руках удалось спастись с тонущего корабля. Из Новороссийска железнодорожными эшелонами – дальше на восток, пока не оказалась в Талды-Кургане.

Отец мой – Евсей [2] Кесельман, румынский подданный, осенью 1940 года жил в местечке Килия, находившемся на территории Бессарабии. Похоже, в тех местах русский язык в диковинку не был – по крайней мере, мой отец им владел, как родным. Впрочем, окончив Бухарестский университет, он свободно владел и десятком других, экзотичных для тогдашней советской жизни языков: итальянским, французским, немецким, но про это он старался никогда не говорить. Даже о его университетском прошлом я узнал после его смерти. При мне родители всегда говорили на русском, а если им надо было обсудить что-нибудь, не касающееся детских ушей, переходили на идиш.

Университетское образование в довоенной Румынии было доступно далеко не всем, а отношение советской власти к его обладателям и прочим буржуазным элементам для освобожденных от «румынского ига» доблестной Красной Армией не было особым секретом. Хотя отец не афишировал свое «буржуазное прошлое», его мобилизовали в «трудовую армию» – нечто среднее между невооруженным штрафбатом и стройбатом. В составе одного из подразделений этой трудармии он попал в Казахстан, где и встретился с молодой красивой вдовой, потерявшей два года назад на фронте своего мужа. Неожиданно попав в среду, где большинство ранее приобретенных и всячески поощрявшихся житейских навыков, считавшихся в его прошлой жизни положительными, оказались запретными, он так и не смог адаптироваться к советской действительности и умер в 1960 году.

После эвакуации мы несколько лет пытались обосноваться в знакомых отцу бессарабских городишках: Килие, Болграде,

Измаиле, Черновцах. Первые два знаю лишь по родительским рассказам, но Черновцы (у нас произносилось «Черновицы»), в которых мы жили около года – до середины 1949 года, – помню более отчетливо. Помню вечернюю «Кобылянскую» – центральную улицу города, вечерами ее заполняла прогуливающаяся публика, демонстрировавшая окружающим знаки послевоенного благополучия – габардиновые одежды и упитанных еврейских детей. Ни я, ни мой старший брат особой упитанностью в то время не выделялись, да и особенного благополучия, как, впрочем, и противоположных крайностей, в семье не было. В Черновцах я приобрел опыт жизни в детском садике. Вначале это был обычный детский сад, потом в связи с какими-то семейными проблемами меня отдали в «круглосуточный садик», в котором надо было оставаться на неделю. Садик был расположен в десятке трамвайных остановок от дома, но, несмотря на это, я, вызвав всеобщий переполох, сбежал из него, и, пройдя пешком «полгорода», явился домой с заявлением о том, что в «круглосуточный» ходить больше не буду. Меня вернули в обычный.

Что было дальше?

Поздней осенью 1949 года мы переехали в Трускавец. Здесь я пошел в первый класс школы, которую закончил весной 1961. В этом городке и происходила основная часть моей «социализации». Вообще, «сформировавшие меня» события укладываются, примерно, в дюжину лет, начавшихся где-то возле моего 13-летия. Там и находится большая часть «населения» моего социального пространства.

В то время, когда мы оказались в Трускавце, расположенном на территории недавно присоединенной к СССР («освобожденной») Западной Украины, здесь еще продолжалось активное сопротивление так называемых бандеровцев. Какая-то часть их укрывалась в окрестных лесах, остальные жили под видом лояльных обывателей. Ночами они нападали на часовые или на дома советских активистов. Запомнились почти регулярные, под оружейный салют, похороны солдатиков с одинаковыми шрамами от удара ножа на левом виске. Венки из остро пахнущих еловых веток, духовой оркестр, выдувающий траурную мелодию, и песня, которую мы разучивали на уроках: «Замучен тяжелой неволей, ты славною *смертью* почил, ...». Заупокойная мелодия о том, что *«из наших костей* подымется мститель суровый» вызывала видения покойников. Ребенок я был впечатлительный и перед этими уроками пения меня охватывал ужас. Другое дело – безудержный звонкий оптимизм песенки из кинофильма «Дети капитана Гранта»,

увертюру Дунаевского к которому можно ставить в качестве музыкального эпиграфа к главным радостям жизни – летним поездкам к Черному морю в Одессу.

В послевоенные годы для нас детей, чьи родители, как правило, прибыли в эти места из восточных районов страны, эмоционально-оценочное значение слова «бандеровец» почти не отличалось от слов «гитлеровец» или «фашист». Гитлеровцев мы победили, дойдя вместе с добродушным русским богатырем Алешей (в исполнении Бориса Андреева) до их логова в Берлине, а здесь остались разбежавшиеся по лесам банды их наемников, переметнувшиеся на службу американским империалистам. Короче, бандеровцы – это наши смертельные враги, убивающие невинных советских людей. Но «наше дело правое, мы победили», и на главной улице Трускавца олицетворением этого стоит в полный рост на высоком постаменте «бронзовый» генералиссимус. Как и большинство главных улиц в тогдашнем Советском Союзе, она носила тогда имя Сталина, после XX съезда – Ленина, теперь – Степана Бандеры. Генералиссимуса давно сняли, и не исключено, что скоро на его месте появится казненный доблестными советскими разведчиками ОУНовский лидер.

Во второй половине 50-х у тебя начинало формироваться отношение к социальной реальности. Ты помнишь, как это происходило?

Мое отношение к советской реальности формировалось в условиях перемен, начавшихся после сталинских похорон. О том, что представители верховной власти, чьи красивые портреты вызвали искренний детский восторг, могут быть неправы, я начал догадываться летом 1953, когда узнал, что Берия оказался вражеским агентом, за что был арестован, судим и расстрелян. Однако и после этого честные, мужественные лица, возвышавшиеся над золотыми маршальскими погонами и грудью, увешанной орденами и медалями, еще какое-то время убеждали меня в мужестве и справедливости их носителей.

Представление об «историческом значении» XX съезда КПСС возникло в моем сознании, скорее всего, позже самого этого события – в феврале 1956 мне едва исполнилось 12 лет, однако «эзоповы» - при детских ушах – разговоры старших о содержании хрущевского доклада я помню отчетливо, ведь все не предназначенное для детских ушей вызывает у них особый интерес. К таким разговорам я прислушивался очень внимательно. К этому времени я уже регулярно читал не только «Пионерскую правду», но и «взрослые» газеты.

Телевизоров в нашем быту тогда не было, впервые я увидел настоящий телевизор – КВН с большой линзой-аквариумом перед крохотным экраном – ближе к окончанию школы, где-то в 1959. Визуальную информацию о событиях в мире мы получали в основном из киножурналов, обязательно предварявших показ художественного фильма. В «Новостях дня» можно было увидеть лишь «внутренние сюжеты», картинки из зарубежной жизни давались в «Иностранной кинохронике». Хорошо помню кинохронику о венгерских событиях осени 1956 года. Повешенные на будапештских столбах, автоматчики на броне советских танков. Показывали и кадры Суэцкой войны.

Важным источником информации о мире был в это время радиоприемник, по нему можно было слушать не только Москву или Киев, но и Варшаву или Краков. Особенно хорошо принималась у нас Варшава, чьи передачи позволяли узнавать о полузапретных западных музыкальных новинках задолго до их появления на самопальных пластинках, сделанных из старых рентгеновских пленок.

Да, действительно, яркие впечатления...

После седьмого класса почти половина ребят пошла работать или поступили в средние училища или техникумы. Поэтому в старших классах нас осталось совсем мало: девять девочек и трое ребят. Двое из троих – я и Игорь Куцевич в это время увлеченно играли в шахматы и с не меньшим азартом таскали на тренировках штангу. Третий – Володя Павленко, закончил потом философский факультет, и сейчас, как и я, работает в Социологическом институте РАН. Игорь - тоже в Петербурге. Несмотря на его несомненный поэтический талант, он после школы пошел во Львовский медицинский. Закончив его, подался в аспирантуру на кафедру спортивной медицины в Ленинградском медицинском и одновременно поступил на психологический факультет университета. Какое-то время руководил специальной лабораторией, разрабатывавшей психологические тесты для отбора летчиков в гражданской авиации. Год назад выпустил свой первый поэтический сборник. Мое сближение с поэтическим миром произошло не без его влияния.

Не мог бы ты вспомнить о том, что тебе нравилось читать?

В шестом-седьмом классе то была преимущественно включенческая литература, причем некоторые книги не просто прочитывались, но отдельные их сюжеты подвергались в детском воображении дальнейшему развитию. Особенно нра-

вилось мне развивать в своем воображении натуральное хозяйство «Робинзона Крузо». Среди сохранившихся в памяти: «Путешествие Гулливера», «Граф Монтекристо», «Остров сокровищ», «Дети капитана Гранта», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «20 тысяч лье под водой», «Всадник без головы», «Айвенго», «Легенда об Уленшпигеле», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль», «Человек-амфибия», «Туманность Андромеды». Но особое впечатление произвели на меня «Мартин Иден» и северные рассказы Джека Лондона. Кто-то из нынешних знакомых, увидев мое фото того времени, заметил: «похож на юношу, начитавшегося Джека Лондона». Возразить нечего.

Мне повезло поспеть к началу возвращения долгое время не издававшихся, покрытых ореолом полузапретности книг; у таких читателей, как я, этот ореол порождал дополнительный интерес. В Трускавце был неплохой книжный магазин, но самую «ценную» литературу мы доставали у продавцов выносных книжных лотков – с небольшой – «по знакомству» – наценкой. Так я стал обладателем собственного тома с текстом «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца». Эта книга в то время была буквально растаскана на цитаты. Особенной популярностью пользовалась она у участников бесконечных шахматных поединков, среди которых мы с Игорем были далеко не последними. Таким же образом приобрел я «Приключения бравого солдата Швейка», бывшего, наряду с великим комбинатором, источником нашего пижонского цитирования. Тогда же я приобрел трехтомник Михаила Кольцова; «Три товарища» и «На Западном фронте без перемен» Ремарка; «Фиесту» и «Прощай, оружие» Э. Хемингуэя; «Конармию» И. Бабеля и рассказы М. Зощенко.

Мои школьные успехи в последних классах школы росли обратно пропорционально усилиям, затрачиваемым на освоение школьной программы. Уроки после школы я почти не готовил, но читал очень много.

В 1961 году я закончил школу, получив вместе с аттестатом зрелости специальную бумагу – «свидетельство о квалификации лаборанта «химика-биохимика». К окончанию школы я выполнял норму второго спортивного разряда по тяжелой атлетике (при собственном весе 56 кг. выжимал 75 кг., столько же поднимал в рывке и 105 – в толчке), такая же «спортивная квалификация» была у меня и по шахматам. В последнем классе я умудрился заработать в качестве руководителя шахматного кружка в местном дворце пионеров почти год производственного стажа.

Поиски себя

С этим багажом ты поехал в Ленинград. Как все складывалось?

После школы ветер дальних странствий дунул в мои книжные паруса и двинул инфицированное «одесскими» впечатлениями дитя романтического времени в Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ). Для поступления не хватило каких-то баллов, и следующий год пришлось провести в Трускавце. Вначале в качестве ученика краснодеревщика на местной мебельной, а затем «наблюдателем» трускавецкой гидрогеологической станции, осуществлявшей мониторинг местных минеральных источников. Но основным содержанием жизни было чтение и по преимуществу эмоциональное освоение прочитанного. «Звездный билет» В. Аксенова как бы легализовал новый способ видения и существования в мире сохраняющих свою власть жестких партийных директив и стал чуть ли не манифестом того слоя, идентификация с которым к тому времени была для меня и близкого мне окружения абсолютно естественной. Тогда у меня начало формироваться отчетливое осознание своего неприятия официальной «партийной идеологии».

...и тебя снова потянуло в Ленинград?

В следующем году я опять поступал в «свою корабелку» (ЛИИВТ), но перед сочинением по литературе умудрился сильно простыть. Писать без грамматических ошибок я и сейчас не мастак, а тогда с температурой под 40 это оказалось просто невозможным. Пришлось снова корректировать учебный план. Возвращаться в Трускавец было неловко, и я пошел в путевые рабочие треста «СевЗапТрансСпецСтрой» строить подъездные пути. Жил «по лимиту» в общежитии.

Почти одновременно со мной в нашей бригаде путевых рабочих появились двое «художников» из Челябинска – Колька Рыжков и Володя Мишин, не сдавших вступительные экзамены в Мухинское училище. На работу они часто ходили с листами ватмана и в свободные минуты норовили рисовать. Но чаще обсуждали работы своих коллег, работавших в русле отвергавшихся советским официозом отклонений от классического реализма – импрессионизма, экспрессионизма, сюрреализма и, страшно сказать, абстракционизма. Вскоре мы стали друзьями. Ребята открывали для меня миры Ван Гога, Сезанна, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Матисса, Моне, Пикассо, Сальвадора Дали, я им «взамен» – читал «с выраженьем на лице» ироничного Михаила Светлова и восторженно романтического Эдуарда

Багрицкого; популярного открывателя бунтарских истин Евгения Евтушенко или ранние вербальные изощренности вокруг «Треугольной груши» Андрея Вознесенского.

Иногда мы выбирались в кафе «Восток» на улице Правды, где проходили встречи с «молодыми поэтами» и первыми исполнителями «авторской песни», или в «Кафе поэтов» на Полтавской, где можно было слушать читавших только что написанные стихи и обмениваться копиями распечатанных на пишущей машинке поэтических и других литературных и философских текстов. После публикации в «Новом мире» «Одного дня Ивана Денисовича» мне в какой-то момент показалось, что и в самом деле настало «время, когда пусты лагерь, а залы, где слушают люди стихи, – переполнены». Казалось, стоит только назвать вещи своими именами, и окружающий мир сразу же преобразится. Надо было только найти эти слова.

Но ты не оставлял мысли о получении высшего образования...

Приближалась осень 1963 года, а с ней и призыв в армию. И хотя армия в то время еще не успела превратиться в то пугало, которым она является сейчас, перспектива, как минимум, трех лет солдатчины у меня особого восторга не вызвала, и я пошел в Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), главным достоинством которого было наличие в нем военной кафедры.

В институте, кроме нескольких специальных библиотек, была и довольно богатая «общая» – с художественной и прочей «неспециальной» литературой. В этой библиотеке я почти сразу стал «своим» читателем, пользующимся возможностью в числе первых читать свежие литературные журналы. Но главное, завоевав своим восторженным интересом к книгам доверие у их хозяек, я получил и доступ к тем полкам, на которые они должны были откладывать книги, изымавшиеся из открытого доступа. Это было несколько шкафов в самом деле «запрещенной литературы», которую настоящий советский человек должен был «перед прочтением сжечь».

Чего там только не собралось за долгие годы! Все издания Б. Пастернака, снятые с открытого доступа после его награждения Нобелевской премией. Еще не реабилитированный О. Мандельштам, Н. Гумилев, М. Цветаева, почти вся поэзия начала века. На тех же полках оказались сочинения Ш. Монтескье «О духе законов» и «Персидские письма», в которых я обнаружил показавшиеся мне убедительными рассуждения о принципах и способах построения «справедливого общества». От Монтескье я перешел к Дидро и Вольтеру, потом к другим энциклопедистам. Их рассуждения, дошедшие до меня

с задержкой почти в два столетия, как бы открывали передо мной смутно подозревавшиеся очевидности. Чем больше я осваивал это пространство смыслов, тем явственней становились масштабы пробелов в моем образовании. Ради доступа к этим запретным плодам стоило корпеть над заданиями по математическому анализу, начертательной геометрии и сопромату, не имевшими ничего общего с все больше затягивавшей меня «этикой и эстетикой» человеческих отношений.

И что?

Учился я на своих «мостах и туннелях» без особого восторга, все чаще предпочитая ЛИИЖТовским занятиям университетские лекции И.С. Кона или М.С. Кагана. Лекции эти проходили обычно в большой аудитории истфака, при большом стечении не только университетского народа, но и множества таких же восторженных идиотов, каким был в это время я сам. Однажды М.С. Каган заметил, что современный интеллигентный человек должен еженедельно прочитывать не меньше трех книг объемом в 300–350 страниц каждая, и я с ужасом отметил, что не всегда дотягиваю до этой нормы. И все из-за того, что массу времени должен тратить на совершенно не нужные мне занятия. Выяснив, что перевестись из ЛИИЖТА в университет нельзя, я забрал свои документы и пошел сдавать вступительные экзамены на отделение этики и эстетики философского факультета.

На экзамене по литературе я выбрал свободную тему «Что такое в жизни счастье?». Но разве можно на такую тему в прозе? И я написал сочинение в стихах. Получился прекрасный триптих, каждая часть которого демонстрировала свою философию счастья. Тут было и счастье свершившейся мечты, и счастье трусливого обывателя, и счастье самоотверженного подвига. Я был убежден, что за такое сочинение ничего кроме «пятерки» поставить нельзя. Но мне за него даже двойку не поставили. Кол!

Этого только и ждали в военкомате, и в ноябре 1964 я оказался в эшелоне, везущем новобранцев на Северный Кавказ, в Махачкалу. Впрочем, саму Махачкалу я тогда не увидел. Необычно теплой для декабря ночью нас выгрузили недалеко от нее на станции Манас, где мы успели окунуться в еще не остывшее Каспийское море, а утром нас повезли на грузовиках дальше в горы, на окруженную двенадцатью рядами колючей проволоки «площадку» с пусковыми шахтами для баллистических ракет, работавших на жутко ядовитом «гептиле».

Таким образом, начались «армейские университеты»?

В начале был «карантин», официальной целью которого была подготовка новобранцев к воинской присяге. Но основная

задача, которую решали тогда наши командиры, сводилась к выбиванию из наивно пытавшихся сохранить свою естественную человеческую самостоятельность новобранцев всякую мысль о возможности делать что-либо «не по приказу». Мои «студенческие» замашки и привычка «все подвергать сомнению» сразу же стали объектом особо пристрастного внимания моего «взводного», который буквально засыпал меня нарядами вне очереди, количество которых явно превышало общую совокупность аналогичных наказаний, полученных всеми остальными новобранцами нашего взвода. Вряд ли его отношение ко мне диктовалось какими-то «этническими предрассудками», скорее, ему, деревенскому парню, доставляло удовольствие демонстрировать превосходство над «столичным пижоном», который постоянно пытался показать свою «грамотность».

Так как наш «объект» обладал повышенной секретностью и автономными системами жизнеобеспечения, да к тому же мы находились вдали от каких-то мест, куда можно было бы пойти «в увольнение», практики воскресных увольнительных у нас просто не существовало. Попавшие на такие площадки могли за три года службы так ни разу и не увидеть человека, одетого в гражданскую одежду. Но где-то через три или четыре месяца мне все же случилось выбраться из окружения голых скал в расположенную между Каспийским морем и подножием Тарки-Тау столицу «солнечного Дагестана» – Махачкалу.

В местных книжных магазинах можно было найти многое из того, о чем в это же время в Ленинграде и мечтать нельзя было. Понятно, что во время службы в армии я не только рыскал по Дагестану в поисках книжного дефицита. Но именно там я как-то очень быстро научился «не путать» обстоятельства внешнего физического пространства, в котором я вынужден был находиться, с обстоятельствами, затрагивающими мой внутренний мир. Присутствие в этом внутреннем мире (вопреки его кажущейся «виртуальности») было куда более реальным и значимым для меня. Я мог в переполненной десятками людей казарме читать или писать так сосредоточенно, как я не всегда могу сейчас в намого более комфортабельных условиях. Я научился сосредоточенно «думать о своем» и при этом удерживать на периферии сознания («контролировать») массу внешних обстоятельств, иногда довольно быстро меняющихся. Если бы мне перед армией сказали, что я смогу пройти через то, через что потом действительно пришлось пройти, я бы ни за что не поверил. Если бы мне самому пришлось отвечать сейчас на итоговый вопрос своей первой социологической анкеты «Чему тебя научила армия?», я бы, вероятно, ответил: «Уходить в свой мир в самых неподходящих для этого обстоятельствах».

Ты что, опрос провел в армии?

Где-то к концу первого года службы, получив десять суток «с прицепом» за то, что, будучи комсоргом роты, «увел» ее в полном составе в соседнюю станицу в самоволку с ночевкой, я неожиданно был «досрочно» (на двенадцатые сутки) освобожден из Владикавказской гауптвахты и вызван в штаб части в Махачкалу, где мне предложили занять офицерскую должность освобожденного секретаря комсомольской организации воинской части. На мое замечание: «Я еще «молодой», кто меня выберет», мне было сказано: «Выборы – наша проблема, от вас требуется только согласие».

А через месяц после «избрания» я и провел свой первый *анкетный опрос* на тему «Чему научила тебя армия?». Свидетельством общей «надежности» полученных данных были повторяющиеся в разных вариациях ответы комсомольцев нашей части на итоговый открытый вопрос, воспроизводивший название анкеты: «пить водку и врать». В ноябре 1967, чуть ли не день в день через три года после призыва в ряды доблестных вооруженных, я, наконец, был демобилизован.

Что было затем?

Погостив пару недель в Трускавце «на маминых пирогах» и вдоволь попижонив в этом навсегда оставшимся «малой родиной» городе детства, я двинулся в Питер. Марксистско-ленинская этика и эстетика, как собственное сугубо профессиональное занятие, меня уже не привлекала. Да и другие отделения философского факультета тоже утратили ореол источника некоторого сакрального знания, которое могло бы как-нибудь продвинуть к пониманию окружающей действительности. Не говоря уже о возможных способах ее усовершенствования.

Впрочем, была еще только зима, и до вступительных экзаменов в ВУЗ оставалось более полугода. Мне уже было двадцать четыре и надо было вначале найти работу и жилье, учиться теперь я мог только на вечернем или заочном. Пытаясь заглушить смутный «комплекс вины» за свою слишком «сладкую жизнь», доставшуюся мне в последние годы службы в армии, я решил никак не обнаруживать свою причастность к «околополитической элите» и пойти в простые рабочие. Но не на стройку – пронизывающие зимние ленинградские ветра я хорошо запомнил по работе в СевЗапСпецСтрое – а на завод. Большинство заводов давали «лимитную» прописку лишь станочникам или слесарям с относительно высокой квалификацией, которой у меня не было, и мое трудоустройство несколько затянулось. В середине января мне все же удалось устроиться «по знакомству» в заготовительный цех машиностроительного

завода имени Карла Маркса на место, не требующее особой квалификации – рубщиком металла.

Работа немудреная, и на освоение хотя и мощного, но нехитрого, чуть ли не дореволюционного станка у меня ушло не более получаса, однако, нарубив за день тонн пять шести-метровых штанг диаметром 45 мм. на маленькие заготовки длиной около 180 мм., в конце смены рук своих я уже не чувствовал. Но через пару недель я настолько освоился со своей тяжеловесной машиной, что, не особенно напрягаясь, стал выполнять поручаемые задания быстрее, чем мне успевали подготовить следующее. Стали образовываться «окна», которые я, не особенно стеснясь, заполнял чтением предусмотрительно прихваченных с собой, аккуратно завернутых в газету книг или журналов. Цеховое начальство косилось и старалось поскорее нагрузить меня новой работой, но и ее, как правило, хватало ненадолго, и я снова начинал мозолить глаза своим явно несоответствующим сложившимся нормам поведением. Но, сообразив, что мои несколько непривычные для этих мест «заскоки» не представляют особой опасности, ограничилось советом не читать в присутствии высокого заводского начальства и других, изредка заглядывающих в наш Богом забытый цех, гостей.

В результате у меня возникло не только как минимум пара дополнительных часов в сутки для чтения, но и масса времени для осмысления прочитанного. Я давно уже заметил, что думается гораздо лучше не тогда, когда ты сосредоточенно пытаешься осмыслить тот или иной сюжет, а когда занят каким-то относительно однообразным физическим трудом, содержание которого практически никак не отвлекает сознание. Поэтому, вскакивая в пол-шестого утра, чтобы поспеть к шести тридцати к заводской проходной, я никогда не чувствовал, что делаю это по принуждению чуждых обстоятельств, а скорей предвкушал предстоящее вскоре погружение в недочитанное и недодуманное накануне.

От социализации к профессионализации

Почему твой выбор пал на экономический факультет? Какое направление экономики ты выбрал?

В самом начале 1968-го в «братской Чехословакии» произошла смена партийного руководства, стимулировавшая волну надежд на осмысление, а затем и решение массы проблем сложившейся к тому времени социалистической жизни. Из нашей советской прессы понять что-либо о происходящем на

родине бравого солдата Швейка было трудно, разве что хорошо освоив науку чтения «между строк». Но Володя Павленко, в детстве освоивший близкие для нашей малой родины (Галичины) славянские наречия, пристрастился в то время к чтению польской и чешской прессы, по какому-то недосмотру свободно продававшейся в ленинградских киосках. Всякая наша встреча тогда начиналась с его рассказов о трудно воображаемых переменах, происходивших в этой, еще недавно ничем не выделявшейся среди других, стране «социалистического лагеря». Эти перемены примерялись к нашей собственной жизни, что, даже с поправками на несколько большую дозволенность, всегда существовавшую для братских демократий, рождало ощущение какой-то фантастической нереальности происходящих там изменений. Возникла надежда на осуществимость и в нашей стране «социализма с человеческим лицом», ставшая, как я понимаю, вершиной и смыслом интеллектуальных поисков «шестидесятников». В этом смысле и я был одним из тех, кто лишь после дружного обвала социалистических режимов, последовавшего в конце восьмидесятих годов, обнаружил принципиальную неосуществимость этого «идеала».

А тогда, отвергая довлевшую над нами реальность, я пытался понять, как и каким образом эта реальность может быть преобразована в более «правильную» и справедливую. После знакомства с попавшим в мои руки переводом «Социальной психологии» Т. Шибутани показалось, что выход может подсказать этот новый для меня способ понимания социальной реальности. Книга настолько увлекла меня, что я отдал за нее привезенный из армии том Б. Пастернака из Большой библиотеки поэта и уже готов был идти на психфак. Но вечернего на отделении социальной психологии тогда не было, и я подал документы на отделение политэкономии экономического факультета, ориентируясь на первую часть в названии будущей специальности.

Кто из преподавателей был тебе ближе?

Приобщение к профессии началось с чуть ли не постраничного заучивания наизусть «Капитала». Параллельно с этим нам читался и курс политической экономии капитализма, логика которого была очень хорошо изложена в учебнике Э.Я. Брегеля. Поскольку он незадолго до того уехал в Израиль, курс надо было осваивать по любому учебнику кроме этого. Но эффект запретного плода действовал сильнее – и в результате «мы экономисту учили и по Брегелю». Была еще масса чисто идеологических курсов, открываемых историей КПСС. Но после всех моих идеологических прививок, тем более после ввода

братских танков в Прагу и беззастенчивой лжи разгоревшейся травли А. Солженицына и А. Сахарова, все эти курсы воспринимались не более как изложение логики чуждой идеологии, которая интересна лишь своими слабыми, заведомо опровергаемыми местами. Из не вызывавших отторжения курсов запомнились лекции Л.С. Бляхмана. Было и несколько чисто математических курсов по теории вероятности и математической статистике, которые оченьгодились мне в дальнейшем.

Вскоре обнаружилось, что большинству моих сокурсников преподаваемые предметы нужны лишь для получения диплома о высшем образовании, и я стал приглядываться к более активной студенческой жизни на дневном отделении нашего факультета. Как-то на доске объявлений прочел сообщение о назначенном на субботу – удобное для меня время – заседании СНО по проблемам политической экономии капитализма. Курировал эти заседания В.Л. Шейнис. Через какое-то время, протудировав только что вышедший у нас перевод книги Ф. Кумбса о кризисе образования в современном мире, на одном из заседаний этого СНО я сделал доклад на эту тему. Следующий мой доклад был посвящен категории «производительный труд» и полемике вокруг нее. Виктор Леонидович никогда официально не числился среди моих преподавателей, но обе мои курсовые работы и диплом были написаны под его дотошным контролем.

В студенческие годы ты начал работать в ленинградских секторах Института социологии РАН СССР, в коллективе В.А. Ядова. Как это произошло?

Где-то на третьем курсе нас, студентов-вечерников, стали подталкивать к переходу на работу, близкую к будущей специальности. Я решил, что самой близкой может быть работа лаборанта при одной из кафедр политэкономии. Надо было лишь смириться с переходом с двухсот рублей, которые я получал на заводе, на лаборантские 80. Чего проще, и вообще не в деньгах счастье, – решил я и начал обход этих кафедр. Вполне интеллигентные дядечки, как правило, доктора наук, весьма вежливо разговаривали со мной равно до того момента, пока я не называл им свою фамилию. После чего они так же вежливо начинали объяснять мне причины, по которым еще пять минут назад вроде бы имевшееся у них место сейчас несвободно, и мне лучше обратиться еще куда-нибудь. Трудоустройство по профессии явно затягивалось, и я как-то рассказал об этом В.Л. Шейнису, и через некоторое время он предложил мне обратиться к одному из сотрудников ленинградских секторов Института конкретных социальных исследований АН

СССР, ведавшему набором интервьюеров для работы в секторе В.А. Ядова.

Вскоре состоялось мое первое знакомство с «сектором». Выдержав достаточно пристрастный экзамен у весьма молодого человека, требовавшего от своих подчиненных обращения к себе по имени-отчеству, я был принят в группу интервьюеров. Мне выдали толстую пачку всевозможных инструкций для интервьюеров, которые я должен был внимательнейшим образом изучить и неукоснительно соблюдать. Работа оказалась не только ответственной, но, самое главное, очень интересной. Особенно нравилась мне работа с глубинным интервью – ЦО-8, которое было самой трудоемкой из всех 18 методик проекта «ЦО» (ценностные ориентации). В нем должны были участвовать сразу двое интервьюеров. Один вел беседу, в соответствии с подробно разработанным «путеводителем», а в обязанности второго входила максимально близкая к тексту запись «протокола» интервью. Роль «интервьюера» и его «ассистента» мы должны были исполнять поочередно.

В отношении к порученным «ролям» и их исполнению наша команда была очень неоднородна. Мои исходные ресурсы (масса пригодившихся в этом новом для меня деле ранее приобретенных навыков, но главное, искренний интерес неопита) способствовали все более частому попаданию протоколов, выполненных с моим участием (в роли интервьюера или его ассистента), на глаза проглядывавших их авторов проекта (в том числе и В.А. Ядова). Это, вероятно, и способствовало моей «стремительной карьере» – примерно через месяц мне предложили стать руководителем группы интервьюеров. Поскольку в тот период «полевые работы» официально считались основным содержанием деятельности сектора и с информации о состоянии дел на этом «направлении главного удара» начинались все секторальные заседания, то примерно в это же время произошло и мое «допущение» на эти собрания «клуба избранных». Поначалу меня приглашали лишь для страховки главного руководителя поля, который из-за своих постоянных командировок в Москву не всегда был в курсе дел, и мне иногда приходилось давать нужные справки за него. Но спустя несколько месяцев командировки завершились окончательным переездом в Москву, и мне было предложено взять на себя ответственность за все поле.

Но к тому времени ты уже завершал свое образование?

Не совсем. До получения диплома мне оставалось еще добрых пара лет. Но тогда это было не столь важно – учиться теперь предстояло не столько в университете, сколько на рабочем месте.

Приближалось время подготовки и защиты дипломной работы, и пора было определяться с темой. Проще всего было бы представить в качестве таковой слегка обновленный и расширенный вариант курсовой работы, посвященной анализу понятия «производительный труд» и полемики вокруг него. По рекомендации Шейниса, я направил ее на конкурс студенческих работ, где она, по его данным, несмотря на свою откровенную антиортодоксальность и едкие саркастические реплики в адрес тогдашних политэкономических генералов, благополучно прошла все местные инстанции и вышла на общесоюзный уровень. Превратить ее в дипломную работу по политэкономии было сравнительно несложно. Однако я уже понимал, что в будущем мне больше не придется иметь дело с чисто экономическими проблемами и, скорее всего, я буду заниматься примерно тем же, чем уже и так занимаюсь в секторе у В.А. Ядова. Значит, мой диплом должен был быть связан с конкретикой социологического опроса.

Сочетание интереса к политэкономической категории «труд» и центральных гипотез исследования, описанного в выученной мной к этому времени чуть ли наизусть книге «Человек и его работа», подсказывало и основную задачу такого опроса. Он должен был быть направлен не только на проверку гипотезы о «превращении труда в первую жизненную необходимость», но и на обнаружение конкретных форм этого, согласно тогдашним догмам неизбежного, процесса. Имея подробное описание опроса ленинградских рабочих, проведенного сотрудниками В. Ядова в 1962 году, и обывенный опыт организации куда более сложного опроса инженеров в проекте «Ценностные ориентации», я чувствовал, что смогу без посторонней помощи выполнить эту работу. В.А. Ядов был не против. Но А.Г. Здравомыслов заметил, что авторскому коллективу не следовало бы совсем бесконтрольно отдавать такое ответственное исследование в руки новичка. Делать инициативную работу «под контролем» я и сейчас не в состоянии, а тогда тем более. Под руководством В.Л. Шейниса я написал дипломную работу на тему: «Категория производительный труд в политической экономии капитализма», за что и получил квалификацию, которой мне так и не привелось воспользоваться: «экономист – преподаватель политэкономии». А разработанный тогда проект повторного исследования по «Человеку и его работе» был осуществлен спустя несколько лет.

По какой тематике ты работал в дальнейшем?

В соответствии со сложившимся в секторе «разделением труда», я занимался в основном проблемами обработки данных, а затем плавно перешел к более общим вопросам методики

и техники социологического исследования. Этому способствовало не только сложившееся «разделение труда», но и мое собственное нежелание втягиваться в более предметные по своему содержанию области социологии, все больше попадавшей под идеологический контроль. В методику тогда еще не очень лезли, что и собрало в этой сейчас мало популярной области очень приличную компанию свободно мыслящей публики. На этой «нейтральной территории» я встретился не только со многими своими российскими коллегами, но и с ныне «иностранцами»: Валерием Хмелько и Володей Паниотто, Сергеем Раппопортом и Геворком Погосяном. Ну, а методическая оснащенность, в свою очередь, позволяла свободно работать хоть в социологии труда, хоть в социологии театра. Последней при поддержке Всероссийского театрального общества до самого начала перестройки я занимался вместе с несколькими другими представителями нашего «социологического цеха» (Б.М. Фирсовым, А. Алексеевым, О.Божковым и тобой), а также с сотрудниками театрального института Ю. Барбоем, В. Дмитриевским, А.Я. Альтшуллером и Б. Кудрявцевым.

По-моему, начало перестройки ты встретил безработным. Как это произошло? Что помогло вернуться в Институт?

Одной из официальных причин моего скандального увольнения из ИСЭПа, было «проведение несанкционированного социологического исследования». Правда, истинной причиной был не формально вменявшийся мне в вину анкетный опрос сотрудников института, посетивших премьеру Молодежного театра «Проводим эксперимент», приуроченную к XXVII съезду КПСС, а выступление на одном из институтских семинаров, посвященных тому же съезду. Искренне поверив инициатору перестройки, я призвал коллег поддерживать решения партийного форума и покончить с имитацией научной деятельности, осуществлявшейся доживавшей, так мне казалось, последние дни администрации института. Мой «прогноз» осуществился с точностью до наоборот, и с тремя строгими выговорами, полученными в течение двух недель после того выступления, я был выставлен из конторы с «волчьим билетом».

Но времена менялись, и через три месяца после моего изгнания, благодаря этим изменениям и заступничеству приближенных к М.С. Горбачеву А.Г. Аганбегяна и Т.И. Заславской, я вернулся в институт «победителем» и почти «прорабом перестройки». Теперь я мог, не обращая внимания на явное неудовольствие дирекции института, высказывать в ее адрес все, что я о ней думал. Мог вывешивать на «стене гласности» третьего этажа вырезки из крамольных прибалтийских газет,

коротичевского «Огонька», егоряковлевских «Московских новостей», ленинградской «Смены» и других перестроечных изданий, взламывавших устоявшиеся представления о должном. Постоянно нарастающая волна гласности, почти ежедневно вносящая в нашу жизнь переосмысление, казалось бы, нескрушимых официальных норм жизни и старых представлений, создала вокруг еще недавно незыблемых правил ореол некоторой неопределенности. В этой ситуации для осуществления несанкционированных опросов уже не требовалось особой смелости.

Рождение Центра изучения и прогнозирования

Вспомним 1989 год. Не мог бы детально описать возникновение твоей схемы уличных опросов?

Можно сказать, что вначале возникла не столько идея, сколько сама практика такого опроса. Случилось это, можно сказать, на стыке осознания актуальной потребности в информации об отношении избирателей одного из Ленинградских округов к первым в советской истории альтернативным выборам 1989 года и полного отсутствия обычных при решении подобной задачи ресурсов. Пасмурным февральским днем, мучаясь сомнениями по поводу эффективности предвыборных собраний, которые проводил 28-летний Юрий Болдырев (противостоявший первому секретарю Ленинградского горкома КПСС А. Герасимову) в красных уголках, вмещавших не более полусотни избирателей почти полумиллионного избирательного округа я, преодолев некоторое внутреннее сопротивление, обратился к стоящему в конце пивной очереди мужику с вопросом: «Вы уже приняли решение, как будете голосовать на предстоящих выборах?». Он не послал меня подальше, а ответил по существу, и вскоре я обнаружил, что, пользуясь нехитрыми приемами, можно в считанные минуты получить достаточно надежную и к тому же дифференцированную статистику мнений большого количества людей.

У меня случайно оказался с собой блокнот «в клеточку» в половину формата А-4. Разделив одну из его страниц на десять колонок, я получил «пустографку» для записи кодов получаемой информации. Данные о каждом из опрошенных состояли из четырех позиций. Первая – основная позиция содержала варианты ответов конкретного человека (репондента). Поскольку в выборах участвовало только два кандидата, то полный «веер ответов» состоял всего из шести вариантов, «закрывавших» практически все возможные ситуации. Это

мог быть либо один кандидат; либо – другой; респондент мог колебаться в выборе между кандидатами, мог не знать о предстоящих выборах, мог знать о выборах, но не хотел в них участвовать, и, наконец, нельзя было исключить, что человек не захочет рассказывать о принятом решении.

Пол и принадлежность к четырем возрастным группам (до 30 лет, между 30 и 45, от 45 до 60, старше 60 лет) определял «на глаз». Еще одна позиция – «культурный уровень», которым я, экономя время, попытался тогда заменить показатель образовательного уровня, вызвала в последствии наиболее сильную критику. Впрочем, в дальнейшем довольно быстро мы перешли на стандартный вопрос об образовании.

Опросив за два часа примерно 100 человек, я уже в метро по дороге домой подсчитал общее распределение ответов. Насколько я помню, пять человек ничего не знали о предстоящих выборах; примерно столько же было не желавших участвовать в них (до этого времени участие в выборах было не столько правом, сколько «почетной обязанностью» гражданина СССР). За кандидата от КПСС предполагали голосовать 13 человек, а за его, как тогда казалось, никому не известного оппонента – 57. Человек 12 не определились с выбором, а остальные – не захотели рассказывать о своем выборе.

В ходе этого импровизированного опроса я почувствовал, что симпатии моих собеседников к Юрию Болдыреву заметно превышали мои ожидания. Такое свидетельство его популярности не могло не радовать. Ведь и начинал я опрос, видя какую информационную блокаду ему устроила команда кандидата власти. Мало кто верил в возможность победы над первым секретарем горкома партии. Возможно, в этих наблюдениях случилось какое-то аномальное смещение, вызванное относительно небольшим объемом выборки, – подумал я и решил, что полученный результат нуждался в проверке.

Вернувшись в округ, я опросил до вечера еще двести человек. С последними из них общался уже при падающем из витрин магазинов свете. Распределение позиций, полученное на общей выборке в триста единиц, практически не отличалось от того, которое было получено на первых ста. Именно эта устойчивость данных, а не относительная «простота» их получения стала для меня главным аргументом в пользу «научной обоснованности» обнаруженного метода. Впрочем, в тот вечер у меня не было уверенности в том, что полученный результат и впрямь может претендовать на столь высокие критерии. Я понимал, что вся эта самодеятельность нуждалась в серьезной проверке.

И как ты решил все это проверять?

На следующий день я рассказал Марии Мацкевич и Владимиру Гельману, которые вместе со мной участвовали в этом инициативном «социологическом сопровождении» избирательной кампании, о своих воскресных приключениях, показал им полученные результаты и попросил продолжить работу и довести выборку хотя бы до 500 человек. В понедельник вечером у нас были такие данные. Но и они мало отличались от тех, что были получены на первой сотне. Не скажу, что это окончательно убедило нас в их надежности. Во вторник, немного расширив круг интервьюеров, мы стали обладателями данных, в надежности которых сомневаться уже было очень трудно. Тем не менее, для общей очистки совести, а заодно и для обучения более широкого круга наших друзей этому нехитрому занятию, мы довели нашу выборку в начале до полутора, а затем и до двух с половиной тысяч. Когда, после нескольких контрольных опросов, мы в который раз получили соотношение 53:15 в пользу этого «никому не известного», мои умудренные предыдущим советским опытом коллеги лишь ухмыльнулись: дескать как секретарь райкома (таков был основной статус председателя окружной избирательной комиссии) сможет сообщить об этом своему прямому начальнику – первому секретарю горкома? Представить такое в то время и впрямь было очень трудно.

Каким официальным структурам ты прежде всего поведал свои находки?

В то время у нас не было никаких иллюзий по поводу того, что наши данные могут быть как-то опубликованы в официальной печати, мы были наивны, но не настолько. Поэтому свои результаты вместе с описанием процедуры их получения мы направили в Окружную избирательную комиссию, которой, в случае вынужденной «коррекции», предстояла, по нашим данным, довольно трудная работа. Одновременно наши результаты были отправлены в Ленинградский горком партии, первый секретарь которого был в этой истории главным заинтересованным лицом; в Ленинградский обком партии, в Центральную избирательную комиссию. Мы передали их Т.И. Заславской, возглавлявшей Советскую социологическую ассоциацию, корреспондентам газет и журналов, которые, хотя и не могли опубликовать наши данные в своих изданиях, немало способствовали «сарафанному радио», достаточно эффективно компенсировавшему в те времена отсутствие свободной прессы. Произошло это примерно за неделю до назначенных на 26 марта выборов.

Ты верил в то, что к твоим данным прислушаются?

Ни мы, ни наши друзья особенно не рассчитывали на эффективность этого «предупреждения». Гораздо больше надежд возлагалось тогда на институт доверенных лиц, имевших право представлять оппозиционных кандидатов как в соответствующих избирательных комиссиях, так и непосредственно на отдельных избирательных участках, а также на команды «наблюдателей», работавших на уровне участковых комиссий. Именно они имели возможность не только непосредственно наблюдать за подсчетом голосов на конкретных участках, но и получать подписанные копии протоколов. Может наше предупреждение как-то и подействовало, но скорее всего, – общая атмосфера того времени, в которой наш «прогноз» был лишь одним из элементов, не позволила «скорректировать» этот результат в «нужном» направлении. Никто тогда на это не решился, и Болдырев получил свой мандат с результатом предельно близким к тому, который был приведен в наших «подметных письмах». Мы же приобрели статус народных героев, своей верностью профессиональной этике способствовавших общей победе добра над злом.

«Болдыревский сюжет» был единственным или за ним последовали другие исследования?

Он просто оказался наиболее известным эпизодом. Аналогичные сюжеты в остальных ленинградских избирательных округах на фоне этого ушли в тень. После того, как мы отработали нашу технологическую оперативную уличного опроса в «своем округе», о чем практически сразу же стало известно нашим друзьям и коллегам; к нам стали обращаться представители других округов, с просьбой провести аналогичный опрос и у них. В ответ мы предлагали им выделить 15–20 психологически устойчивых, коммуникабельных людей. За полтора-два часа перед первым выходом «в поле» эти волонтеры проходили у нас «инструктаж», в ходе которого им рассказывали про основные правила и приемы, с помощью которых они должны были собирать данные о настроениях избирателей. Энтузиастов среди воодушевленной перестройкой ленинградской интеллигенции тогда хватало, сама технология была проста, поэтому до 26 марта мы успели провести опросы практически во всех избирательных округах города. В каждом из них в течение дня удавалось опросить не менее тысячи респондентов. Вечером того же дня в ВЦ нашего института мы заканчивали обработку собранных данных на институтской БЭСМ-6, бывшей тогда одной из самых, если не самой мощной машиной, использовавшихся в то время советскими социологами. Но по-

могала нам не только и не столько эта машина, сколько люди работавшие на ней.

На обсуждение итогов твоих прогнозов пришло почти все руководство Ленинградской партийной организации...

Случилось это после того как в середине апреля того же 1989 года в ходе очередного нашего «инициативного исследования» на почти пяти тысячной выборке обнаружилось, что две трети коммунистов Ленинграда выражают своему обкому недоверие, и это почти сразу стало всеобщим достоянием. Через неделю на заседании Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации должно было состояться обсуждение вопроса об участии ее членов в только что завершившейся избирательной кампании. Среди отчитывавшихся об этой работе были и мы. Где-то около трех часов дня, у входа в ИСЭП, располагавшийся на «правительственной трассе» точно посередине между Смольным и Большим домом, нас с Машей Мацкевич остановил первый секретарь Дзержинского райкома И.А. Бобров. «Похоже, Леонид Евсеевич, вы на свой праздник опаздываете?» – обращается ко мне, доброжелательно улыбаясь, человек, которого до этого я имел честь видеть лишь издали – он в президиуме, я в последних рядах «на галерке». А тут выясняется, что он знает меня в лицо и по имени-отчеству. Когда к тебе обращается такое высокое начальство, надо соответствовать. «Да, нет, еще есть минут десять. А Вы тоже к нам?» – «Не только я». Остановились на солнышке. Обмениваемся какими-то ни к чему не обязывающими словами. Вдали на фоне по-весеннему высокого неба (28 апреля) контур Смольного собора и практически пустынная – без пешеходов – улица. В какой-то момент где-то на полпути от Смольного замечаю большую группу людей, идущих во всю ширину тротуара. «Похоже, какая-то демонстрация» – указываю я нашему собеседнику на приближающуюся к нам толпу. «Да, гости на ваш праздник идут» – ухмыляется он. В центре приблизившейся группы различаю знакомый по газетным фотографиям характерный седой «ежик» первого секретаря Ленинградского обкома, а рядом с ним такие же «широко известные» лица других партийных начальников города и области. «Неужто и в самом деле к нам?» – искренне удивляюсь я. «К вам, к вам», – смеется он и устремляется навстречу своему начальству. Мы же заходим в вестибюль института, где нас встречает торжественный караул из предусмотрительно принявших угодливые позы руководителей института.

К этому моменту наша семинарская комната, рассчитанная, в лучшем случае, на полсотни человек, уже была заби-

та коллегами и другими сотрудниками института, которым пришлось размещаться по трое-четверо на каждой двухместной «парте». Первый ряд этой аудитории был предусмотрительно освобожден, его вскоре заняли наиболее важные из гостей (их охранники были вынуждены, нарушив инструкцию, остаться в коридоре и, смешавшись с толпой сотрудников ИСЭПа, не попавших в аудиторию, вытягивали шеи в тщетной попытке ничего не упустить из происходящего).

Похоже, заработавшись в ВЦ, мы пропустили начало подготовки к этому мероприятию и только теперь поняли, что отчитываться придется не только перед своими коллегами, но заодно и перед практически полным составом бюро Ленинградского ОК КПСС, который мы терроризировали своими «подметными письмами» все последнее время. Но сейчас, похоже, они не в обиде. Часа три подряд они мужественно сидят на жестких досках в тесном душном помещении, и искренне пытаются найти ответ на мучающий их вопрос: «Что теперь им делать?». В их присутствии бюро Северо-западного отделения Советской социологической ассоциации, признает нашу профессиональную пригодность и принимает решение об учреждении Центра изучения и прогнозирования социальных процессов. С этого дня слово «прогноз» вводится в обозначение нашей команды, и продуктов ее деятельности.

Во что со временем превратилась технология уличных опросов? Кто кроме твоего Центра ее применяет?

Сама по себе техника «уличного опроса» в различных своих версиях используется достаточно широко. Меня же всегда несколько смущало такое обозначение, упрощающее суть нашего метода. Это название возникло в ту пору, когда главной отличительной его чертой представлялся свободный от внепрофессионального контроля и цензуры выход исследователя «на улицу», к людям, освобождающимся от тотального контроля над своим сознанием. В книжке, описывающей наш метод [3], говорится, что его можно было бы обозначить как «*делегированное наблюдение*». Ведь суть не в том, что мы опрашиваем на улице, а в том, что в ходе общения с людьми мы фиксируем не столько вербальные формулы их ответов, сколько наблюдаем за общей реакцией своих собеседников на поставленные перед ними вопросы. В этой версии метод использовался сотрудниками старого ВЦИОМа, а так же во многих исследованиях, проводившихся в Москве, Самаре, Воронеже, Кемерово, в Прибалтийских республиках (накануне их выхода из СССР) и даже во время недавних «электоральных событий» в Украине. Сейчас, насколько я понимаю, наиболее адекватно воспроиз-

водится эта версия в исследованиях, осуществляемых под руководством В. Звоновского.

Ты работаешь в условиях переходного общества... меняется все в базе и в социальных институтах. Можно ли в этих обстоятельствах говорить о социальном прогнозировании?

Знаешь, тут «не до жиру». Тем более, сейчас, да и всегда, куда важнее понять, что происходит в нашем непредсказуемом, скрытом от обыденного сознания своей кажущейся очевидностью, социальном мире. К тому же, в обыденном сознании, да и в представлениях значительной части «политического класса» и отечественной «политической элиты» прогнозирование, как правило, ассоциируется с предсказанием фатально неизбежных событий. В такое «прогнозирование» я в принципе не верю. Для меня прогноз привязан к простейшему алгоритму: «если – то или тогда».

Что же касается электоральных прогнозов, то здесь мы имеем дело не столько с собственно социальным прогнозированием, сколько с более или менее качественным измерением по существу уже происшедшего. Другое дело, что обыденному сознанию и заинтересованным заказчикам такое измерение зачастую преподносится как «прогноз».

Примерно какое количество исследований проведено вашим Центром?

Честно говоря, не считал, к тому же боюсь, что тебя интересует не то, что можно, в самом деле, обозначить словом «исследование», а то, что мы на своем языке называем разовым замером, другие же, не мудрствуя лукаво, – опросом. Так вот, если об исследованиях, то по большому счету на протяжении последних 15 или около того лет мы заняты практически одним и тем же исследованием процессов трансформации социального сознания, внутри которого при желании можно выделить какие-то частные направления. Например, исследование интернальности/экстернальности, или на более привычном языке – принятие ответственности за свое благополучие и судьбу в целом (интернальность) или приписывание ее внешним обстоятельствам (экстернальность). Речь идет не о личностных свойствах, а о свойствах социального сознания, характеризующих различные участки социальные пространства (общества или группы людей); или одни и те же общества, но на разных этапах их развития. По большому счету, торможение на пути к радужным перспективам, открывшимся постсоветским обществам в августе 1991, которое мы вынуждены наблюдать в нашей стране, вызвано не столько злой волей

или ошибками плохих руководителей, сколько естественной инерцией экстернатальности социального сознания, доставшейся нам от нашего прошлого. Знание реальных факторов изменения этой базовой характеристики социального сознания позволяет более адекватно понять многие, не вызывающие нашего восторга, явления последнего времени. Среди этих «частных» направлений можно назвать исследования социального пространства наркотизма (на эту тему у нас вышли две книжки [4] и не менее полусотни статей). В отличие от медиков и других специалистов, активно занимающихся этой проблематикой, мы рассматриваем ее не сквозь призму отношения человека к наркотикам, а как систему отношений внутри социума по поводу того, что в нем называется наркотиками. Есть среди этих тем и адаптация различных социальных групп к изменяющимся социальным и экономическим условиям. Есть и отношение к насилию. Есть и другие. В целом таких «частных направлений» наберется около десяти. Если же речь о том, что мы называем «замерами», то, даже не считая того, что делали по нашим программам коллеги из других регионов, счет идет на сотни.

С самого начала своей деятельности ты тематически дистанцировался от тех, кто изучает общественное мнение. Почему тебе показалось это важным?

Изучающих общественное мнение интересуют мнения людей, нас же, если речь идет об электоральных сюжетах, больше интересовало их поведение. В других же случаях концептуальное видение своего предмета ничем не связывало нас с этим понятием. Да и с самого начала моего присутствия в профессии, мне, как правило, приходилось заниматься не столько «мнениями», сколько поведением и детерминирующими его факторами. Среди них бывали «ценности» и «нормы», но практически никогда не было «мнений». Короче, не мой это язык и не мой способ понимания социальной реальности.

Где расположено социальное?

В последние годы ты развиваешь концепцию трансформирующегося социального поля. Какие обстоятельства – личные, собственно научные, общесоциальные – обусловили твой интерес к этой теме? Ты обнаружил какой-то тупик, из которого ищешь выход в опоре на ТСП?

Ну, во-первых, не последние, а, как минимум, лет 35 или практически все время своей причастности к тому, что у нас

называется социологией. Меня всегда, скажем так, смущало стремление редуцировать социальный мир к некоторым осязаемым материальным (иначе говоря, вещным) субстанциям. Такой достаточно наивный (примитивный, вульгарный и т.п.) «материализм» естественен для обыденного сознания (или для научной мысли эпохи французского Просвещения), но попытка понять социальное устройство мира, не замечая того, что все возрастающая масса обстоятельств человеческого существования не может быть редуцирована к этим вещным проявлениям, мне всегда представлялась неадекватной. Собственно этому была посвящена уже моя самая первая курсовая работа по политэкономии, анализировавшая понятие «производительный труд».

Не мог бы ты назвать имена социологов или философов физики, работы которых ты учитываешь в развиваемых тобою построениях?

Имена, что называется, на слуху. Уже больше ста лет вслед за Э. Дюркгеймом все мы знаем, «что социальные факты надо рассматривать как вещи». Формула немудреная, но большинство числящих себя по нашему ведомству воспринимают ее в качестве то ли метафоры, то ли некоторого условного правила вербальных действий, которое не требует никакого специального, социального воображения, позволяющего увидеть реальную, а не условную материальность социальных фактов. Факты эти, являющиеся одной из форм проявления (существования) социальных силовых полей, не только вполне онтологичны, но и имеют для нас большую императивность, чем многие не введенные в социальный оборот явления вещного мира. Их пространство для каждого отдельного человека и всех людей вместе, как минимум, столь же реально, как и мир физически осязаемых предметов и людей.

Не мог бы ты ввести меня в суть твоих построений? Прежде всего, от чего ты отказываешься?

По моему убеждению, основным объектом и предметом социологического исследования являются не сами люди (их доступные внешнему наблюдению свойства), а социальные детерминанты, или социальные силовые поля, которые собственно и определяют способ миропонимания, ценностные ориентации и социальную деятельность людей. Существенно то, что эти поля «виртуальны», т.е. не обладают свойствами внешне наблюдаемой вещной, «материальной» субстанции и не редуцируемы ни к отдельно взятой личности или группе, ни ко всей совокупности людей, существующих в каждый данный момент на Земле.

Параметры социального пространства не улавливаются обыденным сознанием, а социология – это наука не о людях, а о социуме и его социальных «силовых» полях, в пространстве которых и осуществляется деятельность каждого отдельного человека и сколь угодно многочисленных групп (обществ).

Соответственно, от социолога ждут не заверений в том, что человек для него «главней» социума, а познания свойств тех социальных полей, в пространстве которых вынуждены жить люди. Между тем большая часть нашего профессионального сообщества, занятого социальными исследованиями, по-прежнему упорно ищет социальное внутри индивидуального. До середины семидесятых это делалось с помощью различных версий функционализма и всевозможных арифметических манипуляций с первичными показателями индивидуального сознания, теперь же «серьезные» исследователи практикуют «качественные методы», позволяющие с помощью извлечений из более или менее углубленных интервью иллюстрировать те или иные гипотезы о свойствах социума. Однако эти «качественные методы», даже в самых лучших своих проявлениях, – не более чем хорошо иллюстрированная социальная философия, коей, согласно нынешней моде, увлечено наше сообщество.

...и какова природа этих социальных полей?

На первом этапе своего становления «социальное поле» являлось следствием актуального взаимодействия ограниченной совокупности индивидов. Но не только. Уже в самом начале социального поля определялось также и результатами их «предыдущей» активности, т.е. нормами, способами миропонимания, технологиями социальной и прочей деятельности, причем «веса» актуальной и прошлой активности были соотносимы. Сейчас же люди вынуждены проживать не только свои индивидуальные, но и совокупную «глобальную» общечеловеческую судьбу в пространстве уже существующих социальных полей, которые по своей «мощности» много превышают «мощность» любой индивидуальной активности.

В современном (актуальном) социальном процессе люди, как правило, являются лишь источником биофизической энергии социального поля (социальных полей). Но направленность их социальной активности детерминирована социальными полями и, прежде всего – социальной активностью предшествовавших поколений. Основная «масса» нынешних глобальных социальных полей обладает собственной инерционной энергией, а потому относительно мало зависима от актуальной активности отдельных людей, сколь угодно больших групп, да и всего населения планеты.

В этом случае, что собственно изучает социолог?

Для социолога индивид и его сознание является объектом наблюдения, а не субъектом, обладающим адекватным представлением об устройстве интересующего исследователя социального пространства и его силовых полей. В отличие от психолога, он ищет в человеке не индивидуальное, обеспечивающее его уникальность, а общее, «надиндивидуальное», обеспеченное его социализацией и актуальным воздействием социума (его силовых полей). Поэтому различные формы наблюдения за проявлениями действия этих полей представляются мне более адекватным социологическим методом, нежели широко используемые сейчас формы опросов, заимствованные у смежных дисциплин, в которых «опрашиваемый» в явной или неявной форме предстает как носитель объективного знания о свойствах этих полей.

Скажу жестче: люди, как правило, не могут быть объектом социологического изучения, а если и являются, то лишь в качестве элементов социального пространства, проявляющих для исследователя действие социальных полей, которые и должны быть основным объектом нашего изучения. Обратное – один из мифов, все еще господствующих в обыденном сознании, да и «профессиональное» от него далеко не свободно, особенно при отсутствии сколько-нибудь развитого социального воображения. Пока же считается вполне приемлемым числить себя по нашему ведомству при полной атрофии элементарных зачатков такого воображения. По-моему, это все равно, что считать себя музыкантом при полном отсутствии слуха.

Ты – жестче, и я – жестче. Можно ли утверждать, что единственным предметом социологии является социальное поле, а единственным социологическим методом – наблюдение?

Не единственным, а основным. Ведь социальный мир и детерминирующие формы и способы его «жизни» социальные поля существуют не в «безвоздушном пространстве», а в конкретной массе других обстоятельств, так или иначе влияющих на социальное поведение людей, а через них и на социальные нормы и ценности и их трансформацию. Скажем, цунами, смахнувшее сразу несколько стран Южной Азии, или накрывшая Новый Орлеан волна, сами по себе, хотя и значимые, но по началу лишь внешние для социального пространства обстоятельства. Однако последствия таких природных катаклизмов оказывают мощное воздействие не только на тех, кто пострадал от их разрушительных последствий, но и на общую систему представлений, норм и ценностей всех людей, населяющих нашу планету.

Как бы ты охарактеризовал отношение твоих коллег к развиваемой тобой концепции социальных полей?

У меня нет ощущения, что эти представления близки сколь-нибудь широкому кругу тех, кто числится по нашему ведомству. Скорей наоборот. Раньше меня это как-то смущало, но сейчас мне кажется, что, с учетом истории становления социальной мысли, в которой большая часть ее проявлений относится скорей к протосоциологии, такое отношение «большинства» вполне естественно. Это совсем не означает моей исключительной причастности к истинному знанию, но лично мне моя картина мира дает возможность видеть и понимать его лучше, чем это можно сделать с помощью других схем. Уверен, рано или поздно, со мной ли, без меня наше сообщество, а вслед за этим и «массовое сознание» преодолет нынешние атавизмы обыденного сознания и научится понимать окружающее социальное пространство более адекватно. Да и сейчас, как ты знаешь, словосочетание «трансформирующееся социальное пространство» прижилось в названии нашего постоянно действующего междисциплинарного семинара, который так и называется: «Актуальные проблемы трансформации социального пространства». В прошлом году вышел увесистый том с тем же названием, предисловие к которому, кстати, написал В.А. Ядов [5].

Профессиональные и гражданские наблюдения

Существует вечный спор о власти и интеллигенции: насколько близко аналитик социальных процессов может подходить (сотрудничать) с властью?

В социальном поле функция интеллигенции направлена на экспериментальный поиск и испытание новых моделей и форм социальной жизни. Это нетрудно увидеть в многовековой истории науки и искусства, являющихся основным полем деятельности сообщества и отдельных представителей творческой интеллигенции. В свою очередь «власть» ориентирована на закрепление уже найденных и тем или иным образом прошедших экспериментальную проверку моделей и форм социального поведения.

Исходя из этого, как мне кажется, и следует искать ответ на твой вопрос. Естественно, что отмеченная закономерность – хотя и важный, но далеко не единственный регулятор реальных отношений «власти» и «интеллигенции». Поэтому нет смысла искать однозначно линейных соотношений между двумя этими социальными группами и, тем более, отдельными их

представителями. И, тем не менее, попытки «власти» игнорировать результаты поисково-экспериментальной деятельности «творческой интеллигенции», тем или иным образом транслируемые ей экспертным сообществом, чреватые существенными издержками для всего подконтрольного этой власти социального пространства. Еще более опасны попытки присвоения властью «экспериментально-поисковой» функции. Российская история последнего столетия это хорошо иллюстрирует. Столь же непродуктивными оказываются подчас и опыты перехода интеллигенции во власть. Правда, в этом случае может иногда сработать механизм, предупреждающий об опасных последствиях задуманного «эксперимента над социумом», но тем не менее настоящий представитель этого сословия – в лучшем случае, «умный еврей при губернаторе», но ни в коем случае не собственно губернатор, и уж тем более не император.

Ты верил в то, что к результатам твоих исследований, итогам наблюдений власть прислушивалась?

Мне никогда (за исключением очень короткого периода, открывшегося после августа 1991 года) не приходило в голову идентифицировать себя и свои приоритеты с интересами и приоритетами власти. В лучшем случае, с властью можно было как-то взаимодействовать при достижении каких-то очень конкретных задач (например, получить ресурсы для проведения интересного тебе и по каким-то причинам ей исследования). Но чаще складывалось так, что само соприкосновение с ее представителями вызывало у меня почти физическое чувство брезгливости («власть отвратительна как руки брадобрея»). Поэтому обычно меня меньше всего интересовало, прислушивается ко мне власть или нет. Более того, та власть, которую мне обычно приходилось наблюдать в жизни, и без меня имела массу услужливых добровольцев, готовых нашептать в ее уши все, что она благосклонно согласится услышать. На заре перестройки Абел Гезович Аганбегян по поводу подобной ситуации шутил: «Совсем власть оторвалась от народа, захочешь ей задницу лизнуть, так не допрыгнуть».

Я же всегда считал, собственно за тем и пошел в эту профессию, что социолог должен работать на общество и, в первую очередь, на ту его часть, которую власть пытается изолировать от возможности осознания реальных социальных координат своего существования. Знаешь ли ты, что наши военные до сих пор упорно блокируют возможность спутникового определения реальных координат физических объектов на российской территории? Во всей Европе, Штатах и т.д. такие системы позволяют сейчас практически мгновенно, а главное, абсолютно

точно устанавливать собственное местонахождение или местонахождение интересующего тебя объекта и кратчайший путь к нему. А у нас даже карты для туристов до сих пор делаются со специальными отклонениями от реальности (по крайней мере, до самого последнего времени так издавались). Точно так же действовала наша власть весь советский период своего существования, да и сейчас, похоже, пытается восстановить эту идеальную для себя модель. В такой ситуации нормальный социолог обязан адресовать свои результаты напрямую всему обществу, а уж как оно ими распорядится, это отдельный вопрос.

Что изменилось за последние годы в отношениях социологии и власти?

«Власть», что называется, несколько свихнулась в стремлении навязать обществу свою версию «социальных координат», в которых оно оказалось по милости этой самой власти. Выглядит это не очень эстетично, но, насколько я понимаю, нынешнее наше общество это пока не очень волнует. Наиболее адаптированная его часть научилась решать свои проблемы без участия этой самой власти, а нередко и в обход ее. Мы хотели общества потребления, мы его имеем. Большую его часть, увы, не очень волнуют проблемы нравственности и социальной справедливости, если они не становятся препятствием к собственному индивидуальному благополучию. Его – как и нынешнюю власть – больше интересуют проблемы роста потребления. В этом отношении можно сказать: «народ и партия едины». Постоянно растущую часть «адаптированных» мало интересует, что «они» друг другу в этой Думе или правительстве говорят и обещают. Адаптировавшись к новой жизни, в азартные игры с государством они давно не играют.

Теперь – немного о нашем поколении, втором в советской-российской социологии. Границы поколений трудно указать, принадлежность к ним определяется не только годами рождения, но и самоидентификацией. Тем не менее, мы с тобою точно укладываемся в одно поколение, которое я по, скажем, созвучию с шестидесятниками называю «шестидесятилетними». Что ты скажешь о нашем поколении?

Если считать, что все мы (питерские-ленинградские) в той или иной мере «дети Ядова» или его ближайших друзей-товарищей по становлению советской социологии конца пятидесятых – начала шестидесятых, то мы и впрямь второе поколение. Но это лишь в самом общем случае (смысле), ибо, как мне представляется, на границе между первым и вторым поколениями этой самой советской социологии можно обнаружить

массу персонажей, которые с одной стороны вроде бы сами ее отцы-основатели, с другой – такие же «дети» Ядова «со товарищи», как и мы. Не думаю, что у меня есть основания числить себя в одном ряду с Ю. Вооглайдом, А. Алексеевым, Б. Тукумцевым и т.д., однако, насколько я понимаю, они так же, как и я, являются «его» прямыми учениками. При этом они пересеклись с ним или другими отцами-основателями несколько раньше, что позволяет членить второе поколение на более ранних и более поздних. Можно и первое поколение разделить на семерку (или около того) «учителей»: В.А. Ядов, И.С. Кон, Ю.А. Левада, В.Н. Шубкин, Б.А. Грушин, Л.А. Гордон, В.Э. Шляпентох, – и их первых последователей. К тому же, следует, наверное, учесть и масштаб вклада конкретных представителей каждой когорты. Короче, если по самоидентификации, то я ощущаю себя одним из младших представителей «второго поколения», т.е. ядовских последователей. И хотя после меня у него «случилось» еще масса народу, про них я уже почти ничего не знаю. Как ученики младших классов отчетливо различают старшеклассников, тогда как для самих старшеклассников «малышня» почти неразличима.

Сам я учеником был достаточно плохим, ибо там, где другие доверяли «шефу» или подчинялись его авторитету, я часто не соглашался и спорил с ним, пытаясь отстаивать свое понимание (особенно в вопросах методики, бывших поначалу зоной моей ответственности). Делал это излишне эмоционально, что, естественно, снижало убедительность моих аргументов, и наши споры нередко заканчивались его «административным решением».

Тем не менее, считаю Ядова своим основным, если не единственным учителем, ибо именно у него научился говорить не только себе, но и вслух: «не понимаю». На одном из первых секторальных семинаров, на который я был допущен «ядовскими небожителями» в качестве новоиспеченного руководителя группы интервьюеров, мне довелось впервые услышать его: «не понимаю». Он, по моим тогдашним представлениям, знающий все (или почти все) о загадочном для меня мире социальных отношений, публично признавался в непонимании каких-то арифметических пустяков, прозрачных даже для меня – студента третьего курса. Это было не укоряющее младших непонимание старшего, а искреннее желание любознательного человека понять пока непонятное. Для меня это было потрясением. До этого я как-то не догадывался, что всякое познание начинается с осознания непонимания, но тогда в этой фразе мне услышалась не столько глубинная методология познания, сколько внутренняя раскрепощенность, доведенная до пижонства...

По-твоему, что мы сделали? Мы только продолжение отцов-основателей или пошли дальше? Или, наоборот, сдали? Почему мы такие, какие мы есть?

Наша «самость», как мне представляется, в том, что мы начинали (а потом долгое время работали) в командах «отцов-основателей». Совокупность обстоятельств способствовала тому, что представители «второго поколения», даже добившись административной самостоятельности, в советский период предпочли продолжать свой профессиональный путь по лыжне, проложенной «первопроходцами». Мы долгое время оставались под их концептуальным, да и просто «политическим» прикрытием. К тому же в рамках своих команд у многих из нас возникли свои внутрипрофессиональные специализации. Свои пути, если таковые все же появились, большинство героев второго поколения стали прокладывать лишь к концу советского периода. Но это уже не столько советская, сколько начало новой «постсоветской» социологии, освобожденной от идеологического присмотра правящей партии. У нее своя история, в которой часть этого «второго» поколения сумела вписаться в ряды первого поколения российской (постсоветской) социологии, тогда как другие так и остались в плену «заизвестковавших» их профессиональное сознание формул и методов эпохи советской социологии.

Ты не учился в аспирантуре, не был соискателем и, по-моему, никогда не ориентировался на подготовку кандидатской. Но, сейчас, анализируя прошлое и настоящее, я вижу, что ты не один такой. Почему среди наших друзей и коллег относительно немногие защищали диссертации?

В советский период у тех, кто шел в социологию, можно было выделить два типа профессиональной мотивации. Один можно свести к той или иной форме жизненной карьеры, требовавшей от человека по возможности большей адаптации к сложившимся в тот период нормам профессионального поведения, стержнем которых был статусный рост, тесно связанный с защитой кандидатской, а затем и докторской диссертации. Не то, чтобы все защищавшиеся в тот период были карьеристами, но обычный для большинства профессий квалифицированного труда статусный рост был для них, как минимум, естественен.

В другом типе доминировал интерес к самому процессу существования в профессии, позволявшей узнавать об окружающем социальном пространстве массу интересного. Я не говорю о том, что второй тип мотивации возвышает тех, кому она присуща. Отнюдь. Тем более, что в большинстве случаев люди мотивировались обоими типами, и речь может идти лишь о

большей или меньшей выраженности каждого из этих мотивов, их пропорциональном соотношении. Для меня наглядным примером «статусной карьеры» в нашей профессии был в то время Володя Магун, безусловно, один из самых заметных членов ядовской команды, с блеском защитивший свою кандидатскую диссертацию почти сразу после окончания психфака и тем не менее так и остававшийся в статусе младшего научного сотрудника весь период своей работы в ИСЭПе. Формально в том же статусе были Олег Божков и я, но мы все это время имели солидную добавку от нашего участия в театральные исследования, то есть зарабатывали значительно больше, чем «МНС со степенью» В. Магун. Так стоило ли тратить время и силы на всю эту имитацию научной деятельности и бюрократическую волокиту, когда вокруг столько интересных дел?

Более года ты делаешь трудоемкую и важную работу – отслеживаешь российский интернет и ежедневно рассылаеть широкому кругу специалистов «знаковые» материалы о текущей политике. Я понимаю, что это и есть пример наблюдения за трансформирующейся социальной реальностью. В чем смысл твоего дела?

Во-первых, не весь российский Интернет – лишь те его части, которые представляют для меня профессиональный интерес (правда и за литературными новинками в Интернет-версиях толстых журналов и электронных библиотеках немного приглядываю). При «быстром» Интернете на выделенной линии с неограниченным трафиком, который у меня есть, это не так уж трудоемко. А рассылаю потому, что знаю об относительно меньших возможностях моих коллег. В этой ситуации грех было бы не «поделиться», к тому же информация – не деньги, сколько не делись, ее меньше не станет.

Получается ли в результате «наблюдение за трансформирующейся социальной реальностью»? Наверное. Но ведь всякий человек, обреченный проживать свою судьбу в пространстве этой самой трансформирующейся социальной реальности, так или иначе, хочет он того или нет, вынужден ее наблюдать (глаза бы на нее не смотрели!). Другое дело, что Интернет обеспечивает относительно больший объем информации, а выработанный способ ее прочтения дает несколько больший обзор. Впрочем, пока я просто наблюдаю.

Борис Докторов.
КАК ЭТО БЫЛО (комментарий к интервью
с Л.Е. Кесельманом)

2 июня 1986 года я взял толстую тетрадь большого размера и начал записывать в ней дискуссию, происходившую на одном из семинаров Института социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССР, в котором я тогда работал. Так случилось, что я продолжал записи в той тетради в последующие дни, и постепенно фиксация всего происходившего стала привычкой. Мои друзья немного подшучивали надо мною, но я продолжал начатое. Когда почти 200 страниц были заполнены, началась другая тетрадь, за ней третья... Я не только кратко записывал события, в которых участвовал, но вклеивал в «амбарную книгу» программки семинаров, визитные карточки людей, с которыми встречался, некоторые фотографии, планы и результаты работ, которые я делал, газетные вырезки, имевшие отношения к происходившему... Сейчас завершается тетрадь №19, и прошедшие почти двадцать лет представлены на трех тысячах страницах.

Отмеченное Л. Кесельманом заседание Бюро Северо-Западного отделения Советской социологической ассоциации, состоявшееся 28 апреля 1989 года, планировалось как рядовое профессиональное мероприятие, но оно стало необычным. Я тогда был Председателем Бюро, потому участвовал в подготовке заседания, вел обсуждение и следил за реализацией принятых решений. И сегодня считаю необходимым добавить к описанию Кесельмана ряд деталей, интересных и важных для будущих историков советской, тем более – петербургской социологии. В моих тетрадях сохранился необходимый материал.

Прежде всего отмечу, конец зимы – весна 1989 года были временем активного участия социологов Ленинграда в политической жизни города. Мониторинг отношения избирателей к кандидатам в Народные депутаты СССР, участие в избирательных кампаниях, работа наблюдателями на избирательных участках в день голосования, сотрудничество с нарождавшимися тогда неформальными движениями – это лишь несколько направлений деятельности членов Социологической ассоциации.

Известные горбачевские выборы состоялись 26 марта 1989 года. Примерно через месяц ленинградские корреспонденты «Правды» писали: «Факт ныне общеизвестный: шесть партийных и советских руководителей Ленинграда и области, в том числе первый и второй секретари обкома КПСС Ю. Соловьев и А. Фатеев, первый секретарь горкома А. Герасимов, не набрали достаточного количества голосов избирателей и не получили мандаты народных депутатов СССР» [6]. В статье отмечалось о предупреждении социологов о том, что на выборах «может не пройти ни один из руководителей города». Несмотря на сокрушительный проигрыш номенклатуры, 10 апреля 1989 года мне как одному из руководителей социологической ассоциации позвонила инструктор ОК КПСС Аксана Михайловна Никитина, которая от имени заведующей отделом пропаганды Галины Ивановны Бариновой и от себя просила поблагодарить Кесельмана за материалы о выборах, которые он им направлял. Тогда же она обещала организовать встречу с Бариновой. Никитина хорошо знала социологов города, несколько лет она проработала в ИСЭП.

Судя по фактам, приведенным в названной статье, и по звонку Никитиной, партаппарат начал анализировать ошибки ведения избирательной кампании и, скорее всего, почувствовал необходимость налаживания контактов с социологами. 14 апреля состоялась полутора часовая беседа с Бариновой и Никитиной, в которой говорилось о необходимости создания системы изучения общественного мнения в городе и области.

В начале третьей декады апреля секретарь Бюро ассоциации Галина Алексеевна Румянцева разослала членам Бюро повестку заседания, намеченного на 28 апреля на 15 часов. Предполагалось рассмотреть четыре вопроса, среди которых были: 1. Об участии социологов в выборах народных депутатов СССР; 2. О деятельности общественного Института по изучению и прогнозированию социальных процессов. Кесельман был одним из тех, кто готовил первый вопрос, и единственным докладчиком по второму вопросу. По существовавшей в то время традиции информация о планировавшемся Бюро была направлена и Никитиной, как тогда говорили, «курировавшей социологию».

27 апреля я был неожиданно приглашен в обком КПСС, где на встрече с Бариновой и Никитиной мне было сказано о возможном приходе на заседание Бюро руководителей партийных организаций области и города. Было подчеркнуто, что это будет встреча именно с социологами, а не с руководством ИСЭП, которое будет об этом специально извещено. Меня просили не очень популяризировать намечавшуюся встречу; я сообщил о ней лишь членам Бюро, с которыми у меня были наиболее добрые отношения: А.В. Баранову, М.Н. Межевичу, Б.М. Фирсову и И.П. Яковлеву.

Далее было все, как вспоминает Кесельман. Когда я, встретив высокое партийное руководство в вестибюле института, поднялся в предназначавшуюся для заседания аудиторию, я увидел в ней очень много народу. Не знаю, как это произошло, как распространялась информация.

По первому вопросу, согласно записям в моем «гроссбухе», выступил 21 человек; видимо эта встреча мне сразу показалась необычной, в дневнике зафиксированы даже данные о том, сколько времени говорил каждый из них. Началось все в три дня, и до половины седьмого «гости» слушали социологический анализ избирательной кампании и причины их неудач.

В 18:32 я сказал: «Еще пару месяцев назад мне могло лишь присниться, что я говорю: «Слово представляется кандидату в члены Политбюро ЦК КПСС, первому секретарю ленинградского обкома КПСС, тов. Соловьву Юрию Филипповичу», но вот именно это я сейчас и говорю». Слова Соловьева у меня записаны так: «Жизнь заставила нас придти к вам. Не то, что мы провалились. Это – благо. Жизнь заставила нас пересмотреть планы. То, что вы сегодня рассказываете, для меня – откровение. Я не знаю, где лежат материалы ваших исследований. Мы должны работать совместно. Без социологии нам не обойтись. Общество так быстро изменяется, что нужно его изучать, прогнозировать. Мы проведем Бюро обкома КПСС по социологическим исследованиям. Будем решать ваши вопросы». И еще несколько предложений. Выступление было коротким, затем последовало полтора десятка вопросов.

Мои записи в целом совпадают с тем, как в небольшой заметке «Завершилась война с социологами?» передала содержание выступления

Соловьева корреспондентка «Московских новостей» Нина Беляева, не знаю как оказавшаяся на этом заседании. Возможно, я тогда не смог купить выпуск газеты на русском языке, у меня хранится лишь вырезка из английского издания [7]. Ленинградские газеты ничего не писали об этом событии, скорее всего – не было на то указания.

Соловьев свое обещание выполнил. 18 мая 1989 года состоялось Бюро обкома КПСС, на котором в полном соответствии с практикой того времени рассматривался вопрос «о дальнейшем развитии социологических исследований в целях изучения, формирования и учета общественного мнения в практике партийной работы» [8].

Возможно, это вообще было одно из последних в истории КПСС рассмотрений проблем социологии. Говорилось о многом, планы были приняты напряженные и многообещающие. Однако выполнять все это никому не пришлось. В стране начинались события, в которых социологов никто не слушал. А через два года с небольшим не стало КПСС, а затем и самой страны.

Примечания

1. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. редактор Г.С.Батыгин. Санкт-Петербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института. 1999; Б.М.Фирсов: «...О себе и своем разномыслии...» // Телескоп. 2005. №1. С. 2–12; Я.И. Гилинский: «...Я начинал как чистый уголовник...» // Телескоп. 2005. №2. С. 2–12; Я.С. Капелюш // Телескоп. 2005. №2. С. 13–21; В.А. Ядов: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп. 2005. №3. С. 2–11; 2005. №4. С. 10
2. В исходной еврейской транскрипции – Егошуа, что мало отличается от булгаковского Иешуа. Но поскольку религиозные реминисценции в те времена не шибко поощрялись, то вместо вполне естественного Егошувича (а в просторечии и вовсе – Исусовича) я оказался «Евсейчем».
3. *Кесельман Л.Е.* Уличный опрос в социологическом исследовании. Самара–Санкт-Петербург: Самарский областной Фонд социальных исследований. Институт социологии РАН. Санкт-Петербургский филиал. 2001.
4. *Кесельман Л.Е.* Социальные координаты наркотизма. Санкт-Петербург: Медицинская пресса. 1999; Кесельман Л.Е., Мацкевич М.Г. Социальное пространство наркотизма. Санкт-Петербург: Медицинская пресса. 2001.
5. Актуальные проблемы трансформации социального пространства / Под общей редакцией С.А. Васильева. Санкт-Петербург: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2004.
6. *Волинский Н., Логинов В.* Затянувшаяся пауза. Размышления о некоторых уроках выборов в Ленинграде // *Правда*. 20 апреля 1989. С. 2.
7. *Belyaeva N.* Is The War With Sociologists Over? / *Moscow News*. №20. 14 May. 1989.
8. В обкоме КПСС / Ленинградская правда. 19 мая. 1989.



Константиновский Д. Л. – окончил Политехнический институт в Челябинске, доктор социологических наук, руководитель Центра социологии образования, науки и культуры Института социологии РАН, Москва. Основные области исследования: социология образования, социальная структура, моделирование социальных процессов. Интервью состоялось в 2006 году.

У интервью с Давидом Львовичем Константиновским – долгая история. 4 июля 2001 года беседу с ним провел Геннадий Семенович Батыгин. В силу каких-то причин текст не был сразу опубликован в «Социологическом журнале», а в начале июня 2003 года Батыгина не стало. Журнал возглавил Константиновский, который по понятным причинам воздерживался от публикации своего интервью. В конце

лета 2005 года мне стало известно о существовании беседы Батыгина и Константиновского, и я предложил Давиду «нарастить» старый текст его ответами на мои вопросы. Он согласился, наше интервью – проходившее по электронной почте – состоялось в апреле-июле 2006 года. Соответственно, публикуемый текст состоит из двух частей: «События прошлого века» и «События наступившего века».

Социологи старших поколений, прежде всего те, кто занимался проблемами образования и вопросами построения математических моделей социальных процессов, давно знают работы Константиновского; в анализе обоих направлений он – один из пионеров. Необычна конфигурация его жизненной траектории: выпускник челябинского политеха, работавший в «оборонке» и в Институте ядерной физики, журналист и писатель «вдруг» становится социологом. Его результаты признаются коллегами, он много публикует... но на несколько лет был вынужден уйти из социологии, однако затем вернулся и успешно работает.

Д.Л. Константиновский: «ТАКИЕ ВОТ ДИНАМИЧЕСКИЕ РЯДЫ...»*

ЧАСТЬ I. СОБЫТИЯ ПРОШЛОГО ВЕКА

Давид Львович, расскажите, в какой семье вы воспитывались?

Мой отец родом из Варшавы, отсюда – польское звучание моей фамилии. Во всех анкетах я писал, что место рождения отца – Варшава, не видя в этом факте ничего удивительного или предосудительного: отец родился в 1907 году, и Польша в то время была частью Российской империи. Однако все начальники первых отделов, прочитав мою анкету, вздрагивали и начинали пристально меня изучать. Воспитывался отец в детском доме под Киевом, и семью с его стороны я не знаю. У меня хранится справка: «Дано сие в том, что сирота Лева Константиновский действительно находился на иждивении детского приюта...».

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 4. С. 2–13.

Кем был ваш отец?

Это интересная история... Когда отец подросток, он поехал на Урал. Там, работая токарем на заводе, он начал писать. Был сотрудником сначала одной комсомольской газеты, затем другой, вырос до ответственного секретаря, а впоследствии редактора уральской комсомольской газеты. Потом работал в Москве, в «Комсомольской правде». В июле 1937 года, когда всю «Комсомольскую правду» в одночасье арестовали, он и еще несколько человек чудом уцелели. Отец в это время был в командировке на «Магнитострое». Его вызвали, и когда он приехал, аресты уже закончились. Помещения редакции оказались опечатанными, и лишь в коридоре сидел один человек. Этот человек, сотрудник редакции, был замечательный. «Ты что тут делаешь? – сказал он отцу. – Чтобы к вечеру тебя в Москве не было». Более того, он дал ему такую бумагу (я потом нашел ее, когда отца не стало), что якобы редколлегия «Комсомольской правды» не возражает против его увольнения. Одним словом, он отца официально отпустил. Отец снова уехал на Урал, в Челябинск. Там я и родился.

Постепенно отец снова начал работать в газете, и впоследствии, уже через много лет, он стал заместителем редактора областной газеты, а затем и редактором. Это было беспокойное время, и за него крупно «брались» и в 47-ом, и в 49-ом, и в 52-ом, но, в общем, как-то везло. Все это я знаю, надо сказать, не от него. Для отца все, что началось в 30-х годах, а может, и раньше, было настолько большой травмой, что он никогда об этом не говорил – вообще никогда, абсолютно. Он, видимо, был из тех, кто искренне верил и потом понял, что он и другие – обмануты. Эти обстоятельства его биографии я знаю от его друзей, которые тоже по разным чудесным обстоятельствам уцелели: кто-то был в командировке, кто-то попал в Норильск, где директор комбината помог выжить – разные были ситуации. Эти люди меня находили и рассказывали об отце. А для него это было такое потрясение, что он никогда об этом не говорил.

Отец оказал на меня очень большое влияние. Да и не только на меня. Я видел, как разные люди приходили к нему за советами, а потом, когда я вырос, люди много старше меня рассказывали, что по его советам жили.

Со стороны мамы была интересная история. Бабушка была из местечка в Белоруссии, известного тем, что Наполеон при отступлении жег там свои знамена. Дедушка, который происходил из очень бедной семьи, выучился сам. Он сумел заработать какие-то деньги и поехал в Томск, где только что открылся Томский университет и куда евреев брали без процентной

нормы, то есть там не существовало ограничения на прием еврейских детей. Дедушка выучился на врача. Он участвовал в русско-японской войне, долго был в Манчжурии... Бабушка к нему, естественно, ездила и, видимо, подзадержалась. По дороге от него, на станции Тайга, она родила маму. Потом опять села на поезд, проехала еще немного, и, доехав до Челябинска, решила, что хватит. Сошла с поезда, продала кольца, купила дом и осталась жить с мамой в Челябинске. Потом началась Первая мировая война. Дедушку перевели в Николаев, где была военно-морская база. Он погиб на этой войне. А бабушка осталась в Челябинске и работала зубным врачом в монастыре. Вот такая история семьи...

Как вы учились в школе? Были ли вы отличником?

Учился я, прямо скажем, с пятого на десятое. Все мне было как-то неинтересно... Нет, поначалу я учился хорошо, а потом – шаляй-валяй, и так было до девятого класса. В девятом классе я понял, что родители жутко переживают. Отца как-то вызвали в школу, и я случайно увидел, как он шел туда, с каким лицом (отец мне ничего не сказал – все переваривал в себе). И тут во мне совесть, что ли, заговорила... Я пошел, взял все учебники, начиная с пятого класса, и быстренько, месяца за два их прочел. Обнаружил, что все, о чем говорилось так мудро, на самом деле очень легко и просто. Это случилось где-то во второй четверти, а в третьей четверти я был уже круглый отличник, к великой радости всего класса.

Почему же к радости? В школе отличников обычно не любят...

Конечно! И в нашем классе отличников не любили, их, естественно, всегда колотили... Но тем, что я стал отличником, мы как бы «тем отличникам» доказали...

И мы, мол, можем...

Да, именно так. Эта история вообще была каким-то переломным моментом. Я до этого времени не занимался никаким спортом, а тут пошел в какие-то секции, получил разряд по конькам, по лыжам. И окончил школу я даже с серебряной медалью. Золотую я уже не мог получить, потому что были старые грехи. Но и серебряная всей «камчатке» в классе доставила большое удовольствие.

Сложилась ли у вас установка на продолжение образования – гуманитарного, а не технического?

Именно на гуманитарное образование. Учителя меня очень в этом поддерживали. Должен вам сказать, что я с детства

был совершенно «заражен» газетой, журналистским делом, книгами. Работа отца мне нравилась больше всего. Я был счастлив, когда мог зайти за ним на работу. Он читал полосу, а я смотрел, как делается макет. Вся эта техника, это ремесло притягивали меня...

Запах типографской краски...

Да, и запах краски... Иногда отец проводил такие эксперименты: «Ну, ладно, все равно от тебя не отделаешься! Давай – вот на этой полосе есть две ошибки. Тебе даются три минуты». Привычным, натренированным взглядом ошибки быстро находят. Все это мне очень-очень нравилось; я просто благоговел перед редакцией, перед отцом, его друзьями.

А в какой университет поступили?

С университетом была такая история... Естественно, я хотел идти на журналистику, но отец был категорически против, поскольку знал, что это такое. Но мое желание было настолько сильно, что он не стал препятствовать. Я приехал в Москву и пошел на собеседование в МГУ на факультет журналистики. Человек, проводивший собеседование, сразу задал мне вопрос: «Расскажите основное содержание труда Иосифа Виссарионовича Сталина о языкознании». Я встал и ушел. Честно вам скажу, я не был никаким идейным диссидентом! Но просто такие вещи в моем сознании не укладывались, понимаете... Я понял, что мне здесь делать нечего.

Вообще-то сталинские работы о языкознании грамотные.

Да, это действительно интересные вещи, и я их потом смотрел, уже в зрелом возрасте. Но тогда все это было окружено такой помпой, в таком было, что ли, контексте... Кроме этого, в памяти была еще история с моей теткой... Она работала в институте генетики, в Ленинграде, и когда его разгромили, Сталин тогда круто с генетиками разобрался, была вынуждена уехать в Красноярск, по пути останавливалась у нас... Какое-то понимание от всего этого у меня осталось...

Итак, вы не поступили в МГУ?

Я просто ушел и все.

Не получив даже двух баллов?

Нет, никакого собеседования вообще не было, я просто встал и ушел. И уехал обратно.

Что было потом?

Я стал учиться в Челябинске в Политехническом институте. Тогда все вокруг были инженерами...

Это был танковый институт?

Можно так сказать... Кроме того, это был год, когда наше Министерство обороны спохватилось: в мире уже появились новые системы синхронизации орудий и прочие хитроумные вещи, а у нас ничего подобного еще не было. Срочно создали специальный факультет, всего из двух групп, туда я и пошел. Компания подобралась очень хорошая: собрали способных ребят, из Ленинграда и других центров приехали хорошие преподаватели. Они очень старались сделать из нас специалистов, эти пришлые преподаватели. Во всей этой истории с моим образованием отец занял очень мудрую позицию. Он сказал: «Давай так: получи какую-нибудь нормальную специальность, а потом делай, что хочешь». Надо сказать, кадры он подбирал своеобразно: например, очень неохотно брал на работу выпускников факультета журналистики.

Не брал на работу журналистов?

Если брал, то только каких-то уж очень способных. Я всех этих людей узнал потом. А однажды отец (это было, кажется, на Магнитке) увел замначальника цеха. Отец сказал ему: «Вы очень хорошо рассказываете – попробуйте, напишите». Тот написал один раз, другой... И потом отец окончательно его переманил, и тот стал классным журналистом.

Замначальника цеха?

Да. Настоящий технарш из технарей, который никогда ни о какой журналистской работе думать не думал... Отец вообще старался брать профильных специалистов, – таких, которые бы не только могли писать, но еще знали бы дело, о котором пишут. Итак, я получал «нормальную специальность», не загадывая о будущем, и одновременно начал работать в институтской многотиражке. Именно работать, всерьез, у меня даже справка есть о зачислении на работу. Работал я с замечательным человеком, Сергеем Владимировичем Тулинским. И начал писать. Это были очерки, рассказы. Их печатали в газетах, журналах. Отец старался меня попридержать: подожди, говорил, не торопись, вот это у тебя еще плохо, это ты еще узнаешь...

Вы писали прозу?

И прозу, и стихи. Со стихами связана смешная история. Была одна девушка, она пела в кинотеатре... вы, может быть, помните, были в кинотеатрах такие артисты...

Конечно, еще бы.

Так вот, была совершенно потрясающая девушка (да она и сейчас такая), была прекрасная мелодия, и срочно нужны были слова. Я написал для нее за одну ночь эти слова, а потом появился композитор и попросил написать еще, а потом я уже начал подрабатывать и получать за это деньги. Когда с деньгами было туго, наша компания жила за счет этих подработок. Я, может быть, первый, кто написал слова для песни про космонавта, вернее, это была песня жены космонавта. Но композитор сказал: да вы что, это научная фантастика. И не стал писать музыку. А немного погодя – Гагарин полетел.

После института вы, судя по всему, пошли в журналистику?

Нет. Мне предлагали остаться в политехническом, но я был полон романтики, и всей нашей компанией мы решили, что надо ехать. Куда? Конечно же, в Сибирь. Было направление в Новосибирск, туда мы и уехали. Это было в 1959 году.

В Академгородок?

Там начинались первые стройки. Но мы-то поехали, естественно, в «почтовый ящик». Был такой период «почтовых ящиков»: интересные люди, интересная тематика. Все как-то очень хорошо ко мне относились, старались что-то передать, чему-то научить. Мой начальник таскал меня по стране, по разным заводам и все время что-то объяснял и чему-то учил. Это было замечательно. Мне повезло еще в том, что, когда возникала какая-нибудь совершенно нестандартная задача, ее давали именно нам. Для этого и держали наше подразделение и при нас целый цех. Если не было такой задачи, то было просто сплошное безделье. Потом появлялась такая задача, «спускалась» нам, и мы ее срочно решали. Это было очень здорово, и я был очень увлечен.

И платили хорошо?

Особенно за каждую такую задачку. Все было замечательно, но, как ни удивительно, постепенно все начали сбегать в Академгородок, в Институт ядерной физики. Он в городке был самый «продвинутый». Сбежал и я, начал работать там у Г.И. Будкера [1]. Непосредственным начальником моим был А.А. Наумов [2]. Впоследствии он работал в Институте физики высоких энергий, в Протвино, был замом А.А. Логунова [3]. (А кроме того, лет через двадцать он стал моим тестем.) Мы делали ускоритель на встречных пучках.

Это было нелегко?

Да, особенно поначалу. Трудно было включиться: там были другие задачи и очень высокий класс работы. Потом более или менее освоился.

Вы были научным сотрудником или инженером?

Научными сотрудниками у нас были только теоретики. Мы занимались сооружением этой машины. Конечно, мы не строга-ли и не паяли – мы ее настраивали, испытывали... У Будкера возникла идея, а технического уровня, на котором эту идею можно было бы воплотить, никто толком себе не представлял. И каждый раз казалось – ну все, ничего не получится. И всегда находилось какое-то решение... Это было очень интересно, просто здорово. Но постепенно, по мере того как я включался в работу, я начал осознавать, что у меня не остается времени на то, чтобы делать что-то еще. По этому поводу у меня были жесткие разговоры с Наумовым. Я говорил ему: «Алексей Александрович, рабочий день начинается в девять, реально мы включаемся в двенадцать – час дня. Давайте, я буду приходить в одиннадцать-двенадцать, а с утра что-нибудь попишу, почитаю». На это он мне отвечал: «Понимаете, вы приходите в девять, поэтому мы включаемся в двенадцать. Если вы будете приходить в двенадцать, то включаться мы будем в три».

Видно, вы принимали решения спонтанно и быстро?

Моя траектория в жизни отчасти связана с альпинизмом. Спонтанности там немного, но решения надо принимать быстро. Я занимался альпинизмом и даже имел звание инструктора. Однажды случилось так, что у нас начальником спасательной службы стал выдающийся человек, который руководил крупнейшими стройками Советского Союза по академической линии – А.В. Блещунов [4]. Он прислал мне телеграмму, чтобы я находился в Новосибирске на вокзале на таком-то пути, во столько-то часов. Прихожу, а там стоит отцепленный вагон. Стучу в дверь, мне открывает солдат с винтовкой. Оказывается, это и есть нужный вагон. Тут же подходит еще какой-то молодой человек, которого я в первый раз вижу, а Блещунов на минутку выходит к нам в тамбур и говорит: «Значит так, ребята. У меня времени нет, у меня совещание идет. Вы дружите». И ушел. И действительно, оказалось, что мы с этим незнакомцем нашли друг друга. И Блещунов меня убедил, что надо переезжать в Академгородок. Убедил, надо значит надо. В общем, я начал работать в Институте ядерной физики. А потом стал рваться на части. В конце концов понял, что надо из Института ядерной физики уходить. Это было очень тяжело, и все мне говорили, что я большой дурак, если бросаю такое дело...

И тут, это было в 1968 году, появился Шубкин...

Вы уже слышали о социологии?

Кое-что знал, читал, интересовался, но ни одного живого социолога не видел... Познакомившись с Владимиром Никола-

евичем [5], я загорелся. Он очень здорово рассказывал о том, что делает. Я понял – не в обиду физикам будь сказано, – что частица – это, конечно, здорово, но это неживая природа. А здесь – люди, человеческие судьбы, соотношение между тем, что человек задумывает и тем, что получает в жизни... Мало что есть более интересное на свете.

Как вы познакомились с Шубкиным?

Опять же случайно. В Академгородке все время собирались какие-то компании, на одном из этих сборищ мы и встретились. К тому времени, когда я встретился с Шубкиным, я уже вовсю флиртовал с газетами, печатался в «Литературке», ездил от ЛГ в качестве корреспондента, работал в многотиражке Академгородка. В общем, гуманитарный «разврат» уже начался.

Получается, вы были физиком-лириком?

Эта дискуссия была придумана как раз для физиков, которые интересовались лирикой. Дискуссию затеял Игорь Андреевич Полетаев [6] вместе с Ильей Эренбургом. Я был знаком с Полетаевым. Думаю, что он не преувеличивал, когда говорил, что все произошло случайно: просто под настроение он написал письмо в газету, которое было подхвачено комсомольской печатью. Это было вполне в духе времени, и та дискуссия прилась очень кстати. Конечно, сейчас она кажется наивной. Тогда и «Литературка» все время затевала разные дискуссии. И я, признаться, причастен... Как-то я водил группу новосибирцев на зимнее восхождение на Тянь-Шань. Группа была маленькая – четыре или пять человек. Мы работали, а потом устроили себе день отдыха: спустились покататься на лыжах в Чимбулак. Это курорт с горнолыжной трассой, под катком Медео, недалеко от Алма-Аты. Место замечательное, просто сказка: реликтовый лес, горы... День был воскресный, солнечный, и народу на трассе было очень много. И вдруг этот заповедный лес загорелся. Это было ужасно. Самый настоящий пожар... Мы, новосибирцы, тут же ринулись тушить лес. Потом, спустя какое-то время, приехали пожарники. Мы к тому времени были все черные. Когда мы стали приходить в себя, то обратили внимание, что никто, кроме нас, не отреагировал на пожар. Все просто продолжали кататься. Я написал об этом очерк для газеты – уверяю вас, без всякого морализаторства, я никого не клеймил, просто пытался понять, почему люди так себя вели. Я действительно был озадачен. Когда мы вернулись на трассу, все отнеслись к нам с сочувствием, спрашивали, что это с нами случилось, отчего мы такие черные, да зачем нам

это было надо. В «Литературке» по этому поводу разгорелась большая дискуссия, которая длилась около полугода. В ней участвовали публицисты, психологи. Пытались понять, объяснить этот случай.

Потом вы встречались с человеком, который убедил вас переехать в Академгородок?

Да, Блещунов продолжал принимать участие в моей судьбе и дал мне очень много. Однажды он позвонил мне в Новосибирск из Москвы и предложил срочно приехать. Конечно, я тут же вылетел. А он, должен вам сказать, дружил, что называется, с кем не надо, например, с родственниками Цветаевой, а это тогда не поощрялось, собирал материалы о ней и многое другое подобное делал, чего фигуре его ранга не положено было в те времена, ну и получал за это соответствующие замечания. В конце концов ему сказали: выбирайте, или-или. И вот я прилетаю, прихожу в его квартиру – номер в гостинице «Москва». Он меня усаживает рядом, вырывает листок из тетрадки и пишет заявление: «Прошу освободить меня от должности...». Через десять минут он поехал отвозить заявление, а я – был свободен, мог улететь обратно. Вот такой он дал мне воспитательный урок. Он стал после этого рядовым инженером, жил с матерью в коммуналке. Но еще много замечательного сделал. Создал первый негосударственный музей. Молодежь его боготворила.

Как дальше складывалась ваша литературная судьба?

«Литературка» развивалась, выросла до двухтетрадной газеты (вначале она выходила в одну тетрадку). Туда пришел Александр Иванович Смирнов-Черкезов, человек крутой, он и делал самую интересную тетрадку, где печатались материалы, что называется, общественного звучания. Произошла «революция», полный переворот, в редакцию пришли новые люди. Отношения у нас со Смирновым-Черкезовым поначалу не сложились, потому что я был человек из старой «Литературки». А потом он прочел – как рецензент – рукопись моего романа, написал замечательную рецензию, в том духе, что вот приятно удивлен и переменяет свое мнение обо мне, в общем, мы с ним крепко подружились.

О каком романе идет речь?

Роман называется «...Следовательно, существую». Он с большим трудом вышел в середине 70-х, в Москве, в «Советском писателе», а сначала был опубликован в журнале «Сибирские огни». Были прекрасные внутренние рецензии, в частности,

А. Бека [7], но роман не печатали. А за границей он уже должен был выйти. Тогда мой замечательный редактор, Ольга Маркова, пошла к начальству и сказала: «Вы что, хотите, чтобы еще одна история произошла, как с “Доктором Живаго”?». И получилось: меня включили в план изданий.

Тогда вы и стали членом Союза писателей?

Нет, это произошло еще в 64-м году. Меня как-то быстро приняли в Союз, хотя история была непростая: с одной стороны, многие клеймили меня как прозападного писателя, но нашлись и достаточно авторитетные люди, которые меня защищали. В конечном счете, приняли.

Надо сказать, вам повезло с редактором.

Редактор – очень важная фигура, и везенье здесь действительно важно. У меня были Елена Рубеновна Расстегаева в Новосибирске, Марина Владимировна Иванова, выпускница легендарного ИФЛИ, в «Советском писателе», Инна Андреевна Сергеева в журнале «Дружба народов», они очень много для меня значили. И не только для меня! Да и с критиками везло, независимо от того, хулили они меня или хвалили. Расскажу совершенно замечательную историю. Попал мой роман в рукописи на рецензию к Вере Васильевне Смирновой, критику старшего поколения, ее слово считалось непререкаемым. Получаю копию рецензии. Она начинается так: «Я читала этот роман, переходя от недоумения к возмущению...». И так далее. Ну, значит, все, судьба рукописи решена. Лидин спрашивает, как дела. Я ему рассказываю спокойно, дело-то решенное. А он вдруг говорит: «Вы должны быть джентльменом до конца. Вам нужно позвонить ей и поблагодарить за рецензию». Представляете? Я – тридцатилетний, с самомнением технаря из Академгородка, отвергнутый автор, – и буду звонить и благодарить? В тогдашнее мое сознание это не помещалось. Лидин [8] убеждал меня: «Представляете, она будет думать, что вы обижены!». Я не звонил, Лидин напоминал. В конце концов, Лидин взял с меня слово, и я, из уважения к нему, позвонил Смирновой. Едва я представился, он воскликнула: «А, это человек, который написал тот чудовищный роман! Я должна вас видеть. Пожалуйста, приезжайте ко мне, я больна». Я отнекивался, потом поехал в Переделкино. Я сказал ей, что не собираюсь выполнять ее требования к роману, и чистосердечно и прямо объяснил, почему. «А что вы думаете дальше делать с романом?». Я рассказал, как собираюсь дальше работать над рукописью (то был первый вариант). Мы разговорились. Она стала рассказывать о своей дружбе с Андреем

Белым, о путешествии Маршака в Палестину, я очень много узнал такого, чего бы никогда не узнал. Расспрашивала меня о нашей академгородковской жизни, – конечно, она у себя на даче в Переделкино была в другой реальности. На прощанье Вера Васильевна сказала: «Когда сделаете новый вариант, пришлите мне». Следующая рецензия была с рекомендацией опубликовать.

Кто из писателей входил в круг вашего общения?

Меня постоянно поддерживал Алексей Иванович Кондратович, он был заместителем Твардовского в «Новом мире», а потом был «сослан» главным в «Советскую литературу на иностранных языках». С.П. Залыгин [9] очень поддерживал меня некоторое время. Сверстники помогали, когда бывало трудно. Особо я признателен замечательному прозаику Владимиру Германовичу Лидину. Он очень много для меня сделал. Лидин был человек старой закалки, работал военным корреспондентом еще в Первую мировую войну. Я однажды у него сидел, когда, я уже не помню кто, говорил ему: «Ну как же, вы же сидели у Родзянки, когда я вбежал...». Он был изысканный прозаик, очень известный в то время. Познакомился я с ним случайно. Проходило совещание молодых писателей, на котором меня, как обычно, клеймили, а Лидин, как и положено классику, сидел и дремал. Потом все стали преподносить ему свои публикации, а у меня ничего при себе и не было. Когда я проходил мимо него, он посмотрел на меня и говорит: «У вас есть что-нибудь с собой? Дайте почитать». Я отвечаю, что ничего из того, что напечатано, у меня здесь нет, но есть два рассказа рукописных, которые я таскаю с собой, понимая, что чего-то в них не хватает, а чего именно, понять не могу. Он говорит: «Давайте». Взял эти листки и ушел. На следующий день все мы, и консультанты, которые меня громили, сидим и ждем Лидина, а его нет и нет. Потом дверь приоткрывается, он заглядывает и пальцем подзывает меня. Выхожу. Мы садимся в коридоре на подоконник, он достает эти листочки и говорит: «Вы знаете, если вы разрешите, я тут дописал два слова, тут одну фразу, вот теперь получается». И действительно, рассказы получились! Это – мастер... Он сказал мне много приятного, и потом, когда мы с ним вошли в аудиторию, он все повторил вслух. Такой был человек. У меня сохранилось яркое воспоминание о Сергее Антонове [10]. Помните, был такой замечательный рассказчик? Как-то на очередном собрании из меня сделали котлету, причем очень нечестным путем: брали вырванные из контекста куски, зачитывали их и говорили с трибуны: «Вы можете что-нибудь понять?». А он встал, про-

изнес пламенную речь, потом подошел ко мне, пожал руку и сказал: «Спасибо за рассказ». Это был поступок с его стороны и очень сильная поддержка.

Отец поддерживал вас?

Он был очень суровым моим критиком. Он ведь признавал только по-настоящему профессиональное. И еще он боялся, что я себя подставляю. Я всегда знал, что у меня есть его моральная поддержка, что он за меня очень сильно переживает. Но и только. Мои первые рассказы в толстом журнале проходили долго, с большим трудом. А когда, наконец, было решено их печатать и меня пригласили на аудиенцию к главному редактору, тот в заключение разговора спросил: «Послушайте, а вы не сын Левки Константиновского?». Так отца звали в его журналистской молодости. «Да? – удивился главный. – А что же он не позвонил, вас тут столько мучили...».

А в социологию вы попали лишь благодаря случайности? Получается, что Шубкин сбил вас с верного пути?

Нет, конечно, наша встреча произошла не на пустом месте. Я что-то читал, интересовался, более того, пользовался социологическими материалами. Но до встречи с Шубкиным у меня не было ко всему этому эмоционального отношения. Было просто интересно. Встреча с Шубкиным придала этому интересу эмоциональную окраску. Я почувствовал, что это живой, дышащий материал: «...здесь дышат почва и судьба». У Шубкина был сектор в Институте экономики у А.Г. Аганбегяна [11]. Он предложил мне: «Походите к нам, может, вам понравится». Я стал захаживать в институт и наконец совсем перешел туда. А потом Шубкину предложили организовать отдел в Институте истории, филологии и философии у А.П. Окладникова [12].

Как все начиналось? Это был, кажется, 1969 год, может быть, Первое мая. Мы стояли с Шубкиным на солнышке, и я ему сказал: «Знаете, у вас же на самом деле получаются динамические ряды. Почему вы их не считаете? Я попробовал – получается очень интересно». Я нарисовал картинку, и это заинтересовало Шубкина. Он предложил мне написать статью, и с этого началось. Потом Шубкин опробовал меня на социологическом семинаре Сибирского отделения Советской социологической ассоциации и начал выпускать на публику. Я стал задумываться об аспирантуре: смотрю, все поступают, почему бы и мне не попробовать? Написал заявление, пошел к Шубкину. А Шубкин и говорит: «Вы что, Давид, с ума сошли! Я осенью в Москву уезжаю (дело было в начале лета) и на вас

оставляю хозяйство. Вы должны быстро защититься, какая тут может быть аспирантура? Вот вам ключ от моей квартиры. Я уезжаю в отпуск, пожалуйста, к моему возвращению напишите диссертацию». Я сел у Шубкина, как сейчас помню, с коробкой сигар, которую мне прислали с Кубы, и к приезду Шубкина написал первый вариант диссертации. Шубкин посмотрел: «Ну что, нормально...» Потом, конечно, я все это перерабатывал, сделал второй вариант. Надо сказать, у нас был очень хороший коллектив, очень симпатичные люди, они мне сильно помогали...

А кто тогда работал с Шубкиным?

Кочетов, Женя Гражданников, Аня Ашкинази... Она жила в Москве и в Новосибирске формально не работала, но принимала активное участие в исследованиях. Вообще-то вначале я не хотел защищаться. Хотел написать работу, потому что это было интересно, а защищаться? – казалось лишним делом. Конечно, меня убеждали, даже секретарь райкома проводил со мной беседу: лейтенантские звездочки, по крайней мере, надо иметь. Защищался я в Москве, в Институте конкретных социальных исследований, в январе 1970 года.

Забыл спросить: вы были членом партии?

Я вступил в партию в Институте истории, Шубкин давал мне рекомендацию.

Тогда в Новосибирске это, наверно, было не очень трудно?

В Академии наук в партию легко не вступали. Я вовсе не хотел вступать в КПСС. Нет, я не был диссидентом, но мне казалось, что мне это совершенно не нужно. Меня, однако, убедили в том, что нужно. Убеждения были такого рода: чем больше нас там будет, тем больше полезного мы сделаем, в смысле – сможем изменить к лучшему. Да, именно так. На меня это произвело впечатление, и я согласился. Ни на какие блага и преимущества я не рассчитывал, их у меня и не появилось. Единственно, чего я боялся, это всякого рода «чистилищ», через которые надо проходить. Меня успокоили, что все будет сделано чисто формально.

Давид Львович, как формулировалась тема вашей диссертации?

«Вопросы социального прогнозирования в области образования: опыт построения математико-статистических моделей». На материале динамических рядов, которые получились у Шубкина, были сделаны математико-статистические модели,

и на их основе можно было предсказывать личные планы и шансы на реализацию этих планов для разных групп выпускников школ. Это была работа по анализу дифференциации личных возможностей – та проблема, которая меня первоначально захватила и за которую я взялся.

Кто оппонировал вам на защите?

Первым оппонентом был В.А. Ядов [13], вторым – Г.А. Слесарев [14]. Ядов, правда, заболел, свалился в гриппе и передал с «Красной стрелой» свой отзыв. Тогда Шубкин мобилизовал В.Г. Подмаркова [15]. Вся защита проходила под публичные комментарии В.Э. Шляпентоха [16], который сел, конечно, в первом ряду и громко подавал реплики типа: «Слишком четко говорит, будет много вопросов». Это был еще ученый совет при вице-президенте А.М. Румянцеве [17]. Все прошло нормально, хотя и не абсолютно гладко. Маститые философы, которые были в совете, начали возмущаться по поводу того, как изменялась динамика. «Ну как же, – стали они возражать, – у нас ведь плановое хозяйство, все идет в соответствии с научно-техническим прогрессом, с потребностями в кадрах...». Пришлось пояснять, что, кроме философии, есть еще и статистика. Потом по материалам этой работы мы с Шубкиным написали статью в «Вопросы философии» [18]. Статью опубликовали, наверно, благодаря Шубкину.

С этой статьей связана интересная история. «Послушайте, – говорил мне редактор, – у вас ведь нет ни одной ссылки на Маркса». – «А что, надо?». – «Да, надо». – «А если я не сделаю, что будет?». Он подумал и говорит: «Да ничего не будет». И оставили без ссылок.

Как дальше складывалась ваша работа?

Шубкин уехал в Москву, в ИКСИ, а я стал завсектором в Институте истории, конечно, сначала и.о. Это было в конце 1969 года. В январе 1970-го, когда я защищался, Шубкин уже работал в Москве. Я тогда много времени проводил в Москве, треть года, по крайней мере. С командировками проблем не было, ездили постоянно...

А кто оставался у в секторе?

Гражданников, Валя Ковалева, Магна Траскунова. Кочетов к этому времени уехал из Академгородка. Это был соавтор Шубкина в его первых работах. Так или иначе, мы продолжили изучать динамические ряды, и, кроме того, пошли по сибирским регионам. Этому соответствовал профиль Института, который, как предполагалось, должен был охватывать

всю Сибирь до Дальнего Востока. Мы включили в исследование Тюменскую область, Алтай, Бурятию, Туву, Хакасию. Тут Всеволод Костюк очень активно действовал. Шла нормальная работа. Какое-то время все шло замечательно, а потом, в 1977 или 1978 году, начались неприятности. Дело в том, что в издательстве «Наука» вышла, наконец, наша с Шубкиным книга «Молодежь и образование» [19]. Одновременно появилась моя собственная книжка, которая называлась «Динамика профессиональной ориентации молодежи Сибири» [20], сделанная на шубкинском динамическом ряде и материале регионов. Я пытался на количественных показателях проследить генезис выбора профессии, изменения в оценках профессии, жизненных планах школьников от восьмого к выпускному классу. Получилось так, что в один год у меня вышли две книги: одна в «Науке» в Москве, другая в «Науке» в Новосибирске. И одновременно начались неприятности. Может быть, дело было в том, что у заведующего нашим отделом была только одна монография. А может быть, просто возникло отчуждение... Стали происходить мелкие, но досадные эпизоды. Например, надо подавать заявку на вычислительные машины. Мне говорят: не беспокойтесь, все уже давно для вас оформлено, все в порядке. А когда приходит время считать, оказывается, что ничего не оформлено и работать нельзя. Были и более серьезные вещи. Например, у меня отобрали аспирантов. Им просто пригрозили, что, если не перейдут от меня к заву, то плохо будет... Потом получилось, что Шубкин на меня обиделся. Я ему был нужен для проведения какого-то семинара в Польше, а мне сказали, что документы мои потеряны. Шубкин мне не поверил. Он сказал: «Ну, как это документы потеряли... Подумаешь, в Польшу поехать, делов-то...». Такие вот дела начались...

Началась нормальная академическая жизнь...

Да уж, тут я зажил настоящей жизнью. Это было даже интересно, развлекало. Потом стало круче. У меня произошла беда: скончалась жена. Было жуткое время. Тут-то в институте за меня взялись всерьез. Сектор упразднили, потом оказалось, что во всем отделе не хватает стола только для меня. Обстановка была жесткая. Я сидел в библиотеке, один, никто, кроме меня, в библиотеку не ходил. При этом строго фиксировалось, когда я пришел, когда ушел. И тут у меня, к несчастью, вышла еще одна монография, в соавторстве с Траскуновой и Костюком [21]; они были моими сотрудниками. Пошел донос в обком партии, меня стали вызывать и требовать объяснений. Главное обвинение состояло в том, что «он совершенно не работает в

Институте». Это при том, что во всем отделе у меня было три монографии, у заведующего отделом – одна, и больше вообще ни у кого таких публикаций не было. Делу был дан ход. Разбирал его секретарь обкома по идеологии, который курировал науку. Примечательно, что он был соавтором статей того человека, который написал донос. Что значит соавтор, одновременно секретарь обкома – понятно. Через какое-то время я заметил, что меня избегают. Идет человек навстречу и переходит на другую сторону улицы. Очень близко к маминым рассказам о тридцатых годах. Например, чтобы подписать характеристику, приходилось целыми днями гоняться по институту за ученым секретарем, который убегал от меня.

Нелегко пришлось ученому секретарю!

Я понял: надо уходить. Вопрос ставился просто: ты нам чужой, мы тебя не хотим, и всё... Новосибирск, Академгородок – не Москва, где у этой истории мог бы быть какой-то резонанс. Кроме того, мне тогда было не до борьбы. Пока жена была со мной, я мог как-то все это игнорировать. А тут я остался без нее, старшая дочь только окончила школу, а младшая пошла в первый класс. Я вообще не представлял себе жизни без Людмилы; брак у нас был необыкновенный, можно сказать, симбиоз. Поначалу мы жили трудно, а тут как раз началось время, когда мы, по тогдашним понятиям, могли себе позволить практически всё. И вот, как в книжках бывает, в этот момент беда и пришла. Кроме того, мне начали звонить какие-то незнакомые люди, тоже из академической среды, которые находились в сходной ситуации. И эти люди явно стали душевно не совсем здоровы. Это производило тяжелое впечатление. Не то, чтобы это заставило меня сдаться, но я подумал, что побеждать или даже просто противостоять натиску такой ценой – это абсурд. Жуткая ситуация. И я решил: зачем мне эта мелкая возня. В конце концов, я от них не так уж сильно зависел. Зарплата доставалась слишком дорогой ценой. Кроме того, я уже совершенно не имел возможностей работать. Ни провести обследование, ни просто сосредоточиться, не говоря о том, чтобы заниматься расчетами.

Мне помогали, без помощи не знаю, что бы со мной было. Разные люди мне тихо сочувствовали, но это же учреждение, где все жестко просмагривается. Был, например, человек, который не только мне сочувствовал, но и всячески старался помочь, – Леонид Васильевич Решетников [22]. Он возглавлял писательскую организацию, сам был хороший фронтовой поэт, лауреат, классик фронтовой поэзии... Так вот, он пытался делать какие-то шаги, чтобы защитить меня, но на него нажи-

мали со всех сторон. Были просто смешные вещи: в Будапеште у меня вышла очередная книжка, а на презентации вместо меня поехал родственник одного писательского руководителя. В общем, со всех сторон взяли в оборот, и я понял, что в Новосибирске мне делать нечего. В Москве у меня стояла пустая квартира... Это, кстати, в доносе мне тоже ставилось в вину, хотя в Академгородке у многих были в Москве забронированы квартиры. А у меня она стояла совсем пустая где-то года три, даже четыре. Я очень не хотел уезжать. Даже после того, как уволился, я никак не мог оторваться от городка. Тогда многие уезжали. Как-то в очередной раз пришел обедать в Дом ученых, а официантка, которая всегда меня кормила обедом, швырнула мою тарелку на стол и сказала: «Ну, все мои клиенты уже уехали, вы один остались».

Какое-то время я еще пожил в Новосибирске, потом все-таки уехал в Москву. Шубкин предпринимал какие-то шаги, чтобы меня взяли в Институт международного рабочего движения; водил меня даже к какому-то начальству. Но ничем это не кончилось. К счастью, выходили книги, были гонорары. Я читал грошовые лекции в обществе «Знание». Ну, в общем, жил без постоянной работы и продолжалось это достаточно долго. Как член Союза советских писателей, я мог себе это позволить: с точки зрения закона никакого криминала не было. Но, конечно, жить без постоянной работы – это было лихо. Выручали книжки, которые выходили в разных местах...

Почему Шубкин не мог найти вам работу в московском академическом институте?

Не знаю, видимо, не получалось. Потом он сказал: «Давайте подождем». Может быть, за мной что-то тянулось. Трудно сказать. А, может быть, я просто не очень-то был тогда нужен. Не Шубкину, а вообще.

Были, конечно, какие-то контакты, предложения. Может быть, это глупо звучит, но меня ведь привлекала в социологии именно тема, которой я занимался. Эта тематика грела меня. Всем остальным я мог бы заниматься как холодный сапожник. Я ведь интересовался разным и писал на разные социологические сюжеты. Было интересно, я втягивался в эту работу, но – не зажигался. Я надеюсь, что по текстам этого не видно. А когда я пишу по нашим сюжетам, я чувствую воодушевление.

В конце концов я стал читать лекции в «керосинке» – Институте нефти и газа на факультете повышения квалификации, на почасовке. Попал я туда совершенно случайно, благодаря Ольге Захаровой, ныне известной переводчице литературы [23]. Мне дан был номер телефона и сказано: «Позвонишь,

спросишь такого-то. Им нужен человек, который бы читал лекции с Вебером». Я на другой же день звоню по этому телефону, спрашиваю этого человека, а мне говорят: у нас такого нет. «А что, ушел, уволился?» – спрашиваю. «Нет, – говорят, – у нас такого никогда и не было». И вдруг девушка, которая отвечает мне, говорит: «А вы, собственно, по какому поводу звоните?». Я отвечаю: мне, мол, сказали, что вам нужен лектор по социологии. Оказалось, они как раз искали такого человека. Такое вот чудесное совпадение. И я начал читать курс социологии. Было очень интересно. На ФПК приезжали люди с северных промыслов, из Сибири. Когда я заканчивал лекцию, они меня обступали и начинали: «А знаете, вот у нас в управлении...». В институте ко мне хорошо относились, но взять на постоянную работу, видимо, не могли, начались всякие проволочки. Я понял, что-то тормозит.

Потом случилось так, что из НИИ культуры позвонили Шубкину и попросили кого-то порекомендовать. Он назвал меня, и несколько месяцев я работал в НИИ культуры. Конечно, это было хорошо, но я почувствовал, что не мое это дело, не могу, и всё.

И сколько продолжалась эта морочка?

Года до 1988-го, наверное. Мои приятели старались мне помочь, во что-нибудь втянуть. И втянули наконец в кооператив, который занимался научно-техническими проектами. Нет, это был не комсомольский кооператив. Там не было никаких комсомольцев, никаких кредитов, льгот, даровых помещений – ничего. Это была просто команда инициативных ребят. Все эти центры научно-технического творчества молодежи по сравнению с нами были королями, а мы пробивались сами, как могли. Это были ребята, которые раньше где-то преподавали, чем-нибудь заведовали, работали в НИИ. Народ был у нас непустой. И все начинали с нуля. Это было забавно, это было классно. В частности, мы готовили менеджеров. Я читал лекции, проводил, вместе с другими, деловые игры. Заодно пытались ржавый корабль продать. Организовали совместное предприятие, поставили маркетинг, рекламу, чего там только не было... Это уже был конец 1980-х – начало 1990-х. Потом у нас была колоссальная бизнес-школа, в которой мы готовили брокеров для биржи К.Н. Борового [24] и для других подобных организаций в масштабе всей страны. Лучшие московские преподаватели командами загружались в самолеты вместе с компьютерами и проводили школы одновременно в пяти местах, от Камчатки до Калининграда. Колоссальная деятельность... Потом все пошло на спад, стало превращаться в совсем иное,

когда возникло понимание, что учиться-то, в общем-то, не надо. Я не знал, как выйти из этой игры, нужен был только толчок...

И тут позвонил Шубкин. Позвонил и сказал: «Давид, надо бы увидаться». Перед этим мы с ним давно не перезванивались и не виделись. У меня в это время были какие-то сделки, я говорю: «Хорошо, давайте тогда-то». А он: «Нет, давайте поскорей». Вечером еду к нему, у машины дверь не закрывается, я ее к сугробу притулил, поднимаюсь к Шубкину: что случилось? А он говорит, что у него освободилось место и он предлагает это место мне. Я нет, чтобы подумать, какое там... Решение было мгновенным. Единственное, о чем я спросил: как писать заявление, уже забыл, как это делается.

Шубкин у вас – как бес в «Фаусте»...

Точно. Я написал заявление. Шубкин меня предупредил, что это не окончательное решение, что он должен еще будет пойти к директору. На следующий день он позвонил мне и рассказывает: «Я пришел к Ядову с Вашим заявлением, а он мне говорит: ты что, про Константиновского мне рассказывать будешь? В общем, выходите на работу». Я все бросил и пошел к Шубкину. Состояние у меня было такое, как будто я был в ссылке, и вот наконец вернулся. Знаете, меня когда-то очень интересовали декабристы. Нет, я не мнил себя декабристом, не думайте, я вполне здоров. Так вот. У декабристов в ссылке была очень комфортная жизнь. И у меня в то время жизнь была обустроенная, я мог себе позволить практически все, что хотел. И вот представьте себе декабриста, которому приходит высочайшее соизволение, что он может вернуться в Санкт-Петербург. Да, я знаю, что у меня будет безденежье, будет трудно, но я могу вернуться в свой круг – вот главная ценность. В общем, я был безумно счастлив. Это уже был 1994 год. Я помню, как мы с Шубкиным купили первый компьютер, и я стал выстраивать динамические ряды уже в новом виде.

Опять за свое?

Да, опять за свое. И опять вышел на ту же дифференциацию, те же самые сюжеты. Это было более интересно, потому что теперь можно было сравнивать разные времена.

Но зарплата уже была не та, что раньше?

Зарплата была символическая, да и то, если была. И это было для меня большой трудностью. Да, это было время, когда нельзя было позволить себе заниматься только научной работой. Но бизнесом заниматься тоже было нельзя. Надо быть

полностью включенным в исследовательскую работу, иначе ты подставляешь себя и других. Первое время было тяжело. Я же нигде не преподавал поначалу... А потом втянулся в разные виды деятельности. Привык преподавать. Даже прочитал курс по социологии рекламы. Надо сказать, что опыт рекламного дела у меня есть еще по кооперативным временам. Ничего, детям курс вроде нравился.

Я слышал, что вы еще преподавали за границей?

Я дважды был в Париже. Первый раз – в Высшей школе социальных наук, у Алексиса [25] и Владимира Береловичей [26]. И потом в качестве приглашенного профессора в университете «Эколь нормаль супериор» [27], моим деканом был Кристиан Бодло [28]. Это видный исследователь и незаурядный человек. Ему, например, принадлежит (в соавторстве) одна из наиболее известных французских работ по образованию [29]. Он совсем недавно вышел на пенсию, продолжает работать, только что выпустил новую книгу. Еще не могу не упомянуть: недавно он отдал свою почку жене, чем спас ее. Узнал я об этом от нашего общего друга, Лизы Непомнящей, которая переводила меня в университете, я французского не знаю. Процедура с почкой была долгая и тяжелая, рассказывает Кристиан о ней с юмором. Эта очаровательная женщина, его жена, кстати, родственница Воронцовых и гордится своей причастностью к Пушкину... Быть в «Эколь нормаль» – это было замечательно. Даниэль Берто [30] мне объяснил, что теперь я достиг самого высшего, чего можно достичь. Берто вообще очень интересный человек. Вы его знаете?

К сожалению, немного знаю...

Понимаю. Он очень интересно откликнулся на то, что я получил за монографию по социологии образования диплом первой степени в Российском обществе социологов, – написал мне большое послание на русско-английском языке, смысл которого состоял в том, что теперь он видит, что в России не всё сплошная коррупция.

Давид Львович, вы защитили докторскую диссертацию, стали известным социологом, являетесь заместителем директора Института социологии РАН... Вы довольны, как сложилась ваша судьба?

Я в институте, в который всегда мечтал попасть. Занимаюсь любимой тематикой. На нашу работу есть спрос. Дочери одарили внучками и внуками, у меня прекрасная семья, растет сын, который носит имя деда и, поскольку наследует его имя, и подпись свою скопировал с его документов.

Вы знаете, я и мои родные безумно благодарны тем людям, которые вытолкнули меня из Академгородка. Хотя городок мне снится, а когда вокруг хорошая компания или красивый пейзаж, я невольно говорю: «Как в Академгородке». Все смеются, потому что заранее знают, что я именно это скажу. Но судьбе не станешь противостоять, тем более – меняющемуся времени. Иногда кто-нибудь приезжает оттуда и спрашивает: «Слушайте, а если бы вы сейчас встретились с этими людьми, которые вас преследовали, что бы вы сделали?». Да если бы не они, я бы никогда сюда не вырвался. Знаете, именно так и решается проблема теодицеи. О добре и зле можно судить не по самому поступку, а по всей цепи, которую он тянет за собой из прошлого в будущее. И тогда в конце концов кажущийся злодей оказывается благодетелем.

ЧАСТЬ II . СОБЫТИЯ НАСТУПИВШЕГО ВЕКА

Давид, поскольку в первой части этого интервью ты отвечал на вопросы Геннадия Батыгина, было бы естественным вспомнить и немного поговорить о нем... Тебе не кажется, что в своих последних работах Батыгин был не только социологом, но и (почти) писателем? Я имею в виду его стремление к некоему синтезу текста и контекста, его повышенное внимание к стилю изложения. Иногда мне кажется, что лишь его погруженность в теоретико-методологическую сферу науки и, как следствие, недостаточный опыт жизненных наблюдений удерживали Геннадия от собственно писательства. Если бы он занимался не методологией, а анализом тех или иных предметных направлений социологии, он начал бы писать какую-то свою прозу.

В свете того, что я здесь сказал, это естественно. Кроме того, не надо забывать, что Батыгин был человек колоссальной эрудиции, плюс память у него была феноменальная. И огромные литературные пассажи необъятными цитатами хранились у него в голове. Конечно, не потому, что он просто их запоминал. Мне сразу было ясно, что он тяготеет к литературе, к художественному восприятию. Может, это было и внутренним импульсом к нашему сближению.

Так случилось, что тебе выпала честь продолжить одно из последних крупных начинаний Батыгина – руководить созданным им «Социологическим журналом». Что ты скажешь по этому поводу?

То, что меня пригласили в журнал, почитаю величайшей для себя честью. Это такое доверие – слов нет.

Этот журнал – журнал Батыгина. Создан им и его журналом остается. Лучшая публикация в журнале после кончины Батыгина – указание на титуле, что журнал основан Батыгиным.

Когда вышли первые номера без Батыгина, мы, и прежде всего, конечно, Лариса Алексеевна Козлова [31] – она была и остается заместителем главного редактора, очень волновались. Реакция читателей была – и в письмах из России, и из-за рубежа, и в телефонных звонках от людей, не всегда знакомых, – радость оттого, что журнал жив, в сочетании с некоторой долей изумления. Это окрылило, именно так. Была и другая реакция. Пошли статьи, которые авторы их робели бы послать в журнал при Батыгине. Но это вскоре после того, как были отбиты (не без затрат нервов) первые такие набег, прекратилось.

Главная задача журнала – держать планку, такой высокий уровень, который задал Батыгин. Оставаться профессиональным, высокопрофессиональным изданием. И мы видим, что именно это востребовано. Конечно, нельзя представить себе, что журнал не развивается. Но развивать должно его лучшие стороны.

Наши проблемы – не в том, каким и как делать журнал. Мы ориентируемся на задание, которое нам дал Батыгин, на профессиональное сообщество, на динамику социологической мысли, и тут более или менее все ясно (хотя ошибки не исключены). Проблемы наши – финансовые: на что издавать журнал. Да они у многих изданий, конечно же, таковы. Время щедрых грантов – а именно благодаря им журнал встал на ноги – кончилось. Помню разговоры с Батыгиным, он сетовал на людей, которые настаивали, чтобы научный журнал стал самоокупаемым... Очень много сделал для журнала Национальный фонд подготовки кадров, в последнее время нам помогал Институт социологии, нас выручает Фонд «Общественное мнение», вдруг деньги могли прийти из любящего нас университета... Сейчас трудно. И все-таки мы сделаем так, чтобы журнал жил. То есть сделаем это благодаря нашему сообществу.

В твоей жизни был момент, когда, возможно я ошибаюсь, ты мог оставить социологию, не возвращаться в инженерию, но полностью перейти в журналистику и/или в писательство. Почему ты так не поступил?

На самом деле были такие «моменты», притом это были такие вспышки в сознании, что ли, моменты истины? Помню, я еще студентом был, брал для газеты интервью у человека интересной судьбы, вышел от него, был осенний вечер, и, когда заталкивал блокнот в карман плаща, – понял, что вот это и есть высшее счастье: спрашивать людей, узнавать их судьбы и писать об этом. Я чувствовал себя тогда журналистом и, наоборот, действительно отчасти был им (будучи в то же время

студентом-технарем), но не кажется ли тебе, что и социология – о которой в те годы не слышно было или можно было услышать только с прилагательным «буржуазная» – здесь явно присутствовала? И метод, и проблематика... Кстати, ведь в социологии я увлекся именно тематикой В.Н. Шубкина и только в этом направлении согласен был работать, скорее, увлекся социологией именно потому, что в шубкинской тематике можно исследовать судьбы людей.

Мне по душе взгляды на человека как на социальный институт, в том смысле, что формируется такое положение вещей, когда не институт определяет, кем или чем является индивид, а он сам, – выступая, может быть, в разных ролях, близких одна другой или не очень. Может быть, преувеличение относить это к самому себе, но это, надеюсь, как-то объясняет, «оправдывает» мое поведение, то, как складывалась линия жизни.

К тому же я бы не разделял социологию, журналистику, литературу на совершенно разные отрасли, сферы деятельности или цеха. Возможно, следует говорить о том, что произросли они из одного корня, затем несколько подразделились, что естественно на этапе, когда каждая ветвь совершенствуется, даже специализировались, но – давайте прибегнем к привычной терминологии – объект и предмет у них ведь остались общие (по моему убеждению, которое, конечно, не все разделяют). Теперь или позднее, когда каждая ветвь достигла определенной степени совершенства, можно бы им и объединиться. Или сблизиться. Я, по крайней мере, вполне представляю себе такой синтез.

Кстати, попытки исследовать соотношения социологии и литературы предпринимались. Это делал Владимир Канторович [32], автор книги «Социология и литература». Соединение социологии с публицистикой вообще плодотворно. При этом я подразумеваю не только и не столько использование данных социологических исследований в журналистике. Это-то самое простое. Гораздо важнее другое: соответствующий взгляд на явления жизни, интерпретация их, исходя из понимания функционирования общества, социологическое воображение.

Почему я не ушел в писательство, когда меня заставили уйти из социологии? Нет, сначала я ушел. Да у меня других вариантов и не было. Профессиональным писателем стал с ощущением, что это и есть мое призвание, я на том месте, которое мне предназначено. Но это были еще восьмидесятые, даже начало восьмидесятых. А потом ситуация изменилась и в литературе.

Не знаю, смог ли бы сейчас быть профессиональным писателем. Знаю литераторов, которые попытались перестроиться и

«идти в ногу со временем», пробуя писать то, что может быть хорошо востребовано на нынешнем книжном рынке. Ничего из этого не вышло. Не собираюсь брюзжать, это вообще отдельная тема. Читаю из нового с удовольствием то, что соответствует моему вкусу, и избегаю того, что не соответствует. Как правило, это малотиражные издания; к счастью, среди издателей распространен обычай поддерживать такую литературу.

Сказывается и то, что для меня важно – в какой я компании. Подозреваю, что стал писать не только потому, что происходящее со мной и вокруг само складывалось в слова. Но и потому, что писатели, становившиеся моими кумирами, в моем воображении соответствовали моему идеалу и как личности. Позже, знакомясь с ними, я убеждался, что они в самом деле таковы. Мне повезло, я застал некоторых из своих кумиров. Я ведь стал членом Союза писателей еще совсем молодым. Вахтерша Дома литераторов кричала мне вслед, что вообще-то нельзя проходить по членскому билету родителей.

Не стану утверждать, что писать перестал. Одна готовая повесть давно лежит в рукописи, другая в черновике, рассказ написал для себя и положил в стол. Как профессиональный актер автоматически повторяет чужую мимику, тренируя свое мастерство, так и литератор, воспринимая мир вокруг себя, бессознательно набрасывает в уме, как бы он это описал. Когда, совсем уйдя в какие-нибудь полностью поглощающие меня дела, перестаю, например, переводить цвет листвы в метафоры, – мир вокруг тускнеет. Словом, пока сложилось так, как сложилось. Дальше видно будет. Несколько лет назад Анатолий Васильевич Никульков, который, будучи главным редактором журнала «Сибирские огни», сделал неслыханное – отдал четыре номера журнала под мой роман о судьбе Байкала, – написал мне, что скоро настанет время, когда надо будет осмыслить произошедшее в эти годы, и это будет время для того, чтобы именно я нечто написал. Это, конечно, более всего комплимент. Но, может быть, в нем есть и еще что-то, назовем это пожеланием старшего по отношению ко мне поколения.

А может, социология – идеальное сочетание того, что по душе технарю с литературными наклонностями. И потому, что социологу полезны и литературные навыки, и привычка пользоваться точными методами. И потому, что мне, утратившему связь с каким-либо «вещным» занятием, приятно (и необходимо) иметь в руках профессию, все же связанную с неким производством. И потому, что сейчас мне в работе нужно сочетание ремесла с искусством...

На самом деле вопрос, который ты задал, я часто задаю себе, – может, в несколько иной форме. Спрашиваю себя, пра-

вильно ли живу, в смысле – то ли делаю, для чего предназначен, для чего рожден на этот свет. Сомнения такого рода, полагаю, естественны и вызваны вовсе не какой-либо неуверенностью в своих силах и прочем. Наоборот, спрашиваю себя строже, когда получается то, что делаю. Примерно так: это получается; а может, получалось бы и что-то еще (или – нечто другое), более трудное, более близкое к предназначению? Это, пожалуй, главное, в чем надо проверять себя. Независимо от возраста и прочего. Выбор мне дался непросто и потребовал упрямства. Помню, как случайно услышал разговор, где один из собеседников рассказал, что я ушел с ускорителя и стал тем, кем стал, а другой, уважаемый человек, коротко отреагировал: «Дурак!». А ускоритель-то ведь мне снился потом годами... Я не жалею о выборе, но проверяю себя. Недавно общался с ламой, настоящим ученым ламой из Непала, и – разве мог удержаться? – спросил его, верно ли выбрал путь в жизни. Он тщательно сверялся со своими книгами, идентифицировал меня по родинке, а потом сказал, что все я сделал правильно, это мое предназначение, потому что так могу помогать людям. Надеюсь, в его древних книгах нет ошибки.

Ты и после кандидатской продолжал заниматься образованием, т.е. не искал других областей, где можно было бы применить динамические ряды (демография, динамика общественного мнения...), но изучал образовательную систему... другими словами, ты не стал социологом-методологом, методистом, а стал социологом-предметником... Потому, верно ли я скажу, что в тебе победил «журналист, писатель, инженер человеческих душ», а не просто «инженер»?

Борис, спасибо, это как раз очень точно. С одной поправкой: дело не собственно в образовании как таковом. Не само по себе (в первую очередь) оно меня интересует. Образование тут – при всем моем пиетете по отношению к нему – выступает (далее, чувствую, у меня последует банальное, прошу извинить, и словечко «выступает»), конечно же, ясный признак того) как индикатор аспираций людей и средство реализации их чаяний. Меня интересует, чего люди хотят в сфере образования, в связи с образованием, от образования, и насколько им это доступно. То есть образование как существенная часть человеческих ожиданий, как важная часть судьбы. Отсюда интерес и к сфере образования, и к неравенству, социальной мобильности и прочему с этим связанному. Когда смог вернуться в социологию, я снова стал смотреть динамические ряды по материалам Шубкина – что они показывают? И обнаружил, что самое яркое, существенное (на мой, конечно, взгляд) – видное

по этим материалам изменение ориентаций людей из разных социальных групп в образовании и шансов на реализацию их жизненных планов. Это, по существу, не про образование. Это про людей. Про перемены во всем обществе, не только в образовании, и прежде всего не в образовании. Конечно, по существу, я увидел сюжет. Из жизни. Из истории. И не мог не загореться. Оставалось написать этот роман, он с таблицами и диаграммами, называется «Динамика неравенства» [33] и условно ему присвоен жанр монографии. Через пару лет вышла еще одна книга [34]. «Процесс пошел...».

Владимир Николаевич Шубкин во многом определил твою жизнь. К сожалению, он давно и тяжело болен, так что мне не приходится надеяться на интервью с ним. Не мог бы ты немного рассказать о значении его исследований и о его человеческих качествах?

Спасибо, Борис. О Владимире Николаевиче мало написано по сравнению с тем, чего он заслуживает. Правда, у него есть хорошая автобиографическая проза, и есть публицистика, которые позволяют получше его понять тем, кто не знает или мало знает его лично (да и тем, кто знает хорошо).

Мне трудно говорить о нем отвлеченно, со стороны. И не только потому, что он мой учитель. Мы очень давно знаем друг друга. Дружили семьями в Академгородке. Потеряли жен. Прошли вместе через всякие неурядицы в социологии, например, наша книга «Молодежь и образование» задержалась с выходом на семь лет. Хотя Шубкину доставалось, конечно, больше, ему приходилось держать удар в первую очередь.

Думаю, все мы в нашем профессиональном сообществе обязаны Шубкину, и не только работающие в тех областях, где он был особенно активен. Он, с несколькими другими известными фигурами, был пионером и выдержал первые и последующие нападки, и первые получил травмы, и первых добился достижений. Уже его кандидатская диссертация, по форме экономическая, была по существу социологической. А уж те работы, которые последовали потом, остаются и сейчас образцами. Уступки, необходимые в известные годы, практически незаметны, он умел говорить, например, о неравенстве так точно, в деталях и доказательно, что придирки были невозможны. Это не значит, что путь его был гладок. Чего стоило ему, например, обвинение в том, что его исследование поссорит молодежь со старшим поколением; массив анкет был заперт в помещении Новосибирского университета, и Шубкин с сотрудниками переписывали каждую анкету от руки и выносили затем эти драгоценные листочки. Исследования по молодежи

и образованию, которые он начал в Академгородке, положили начало банку информации, не имеющему аналогов в мировой социологии. А международные исследования? Созданная им методика была потом использована бесчисленное множество раз; шутили, что вся страна была покрыта слоем шубкинских анкет. Кстати, только Ядов попросил у Шубкина разрешения использовать его анкету, это был исключительный случай, а обычно ее просто считали общенародным достоянием. Это, конечно, некорректность, а с другой стороны – признание.

Очень велика роль Шубкина в становлении самосознания социологов. То, что он написал и вообще всячески старался внедрить в умы коллег по поводу моральной, нравственной стороны нашего труда, его роли в жизни общества и отдельных людей, – это не менее ценно, чем его отраслевые исследования. На эту характеристику профессиональной работы как-то далеко не всегда, признаемся, в нашем сообществе обращают внимание. Будто выборка, использование изоциренных методик или удача в получении хороших заказов – важнее нравственных качеств исследований (и исследователей!) или что-то в этом плане ищут. Социологический анализ должен сочетаться с гуманистическими представлениями о человеке – в этом смысл предостережений и размышлений (но не морализаторства) Шубкина, прозвучавших очень своевременно и очень значимо [35]. Как публицист, он обращался не только к коллегам, но ко всем, кто мог и хотел его услышать, утверждая ценность и достоинство личности [36].

Именно в этом плане – «как наше слово отзовется» – он заболел и о том, как будут поняты и использованы результаты его работ. Когда меня просят привести примеры применения результатов социологических исследований в практике – затруднений не возникает. Шубкин инициировал принятие властями специальных мер для смягчения социальных последствий демографических процессов, связанных с окончанием Второй мировой войны, последствий, еще и усиленных реорганизацией школьного образования. Дело в том, что в середине – начале второй половины 60-х годов оканчивали среднюю школу юноши и девушки, родившиеся в первые послевоенные годы, когда солдаты вернулись с фронта и рождаемость естественным образом резко возросла; а тут еще решили сократить длительность обучения и сделать в 1966 году сдвоенный выпуск из средней школы. Шубкин обратил внимание властей на вероятные негативные последствия, и в результате Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по расширению обучения и устройству на работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеоб-

разовательные школы в 1966 году» [37]. Постановление было подкреплено решениями XXIII съезда КПСС, включившего «вовлечение в производство или на учебу молодежи и подростков, оканчивающих общеобразовательные школы» [38] в главные социально-политические цели пятилетки. Какова бы ни была ограниченность этой единичной меры, она дала в свое время положительные результаты. В республиках и областях были дополнительно изысканы рабочие места, расширен прием в вузы, техникумы, ПТУ. Все это действительно дало амортизирующий эффект – позволило смягчить проблемы и для юношей и девушек, вступавших в жизнь, и для общества в целом.

Другой пример. Наше поколение помнит, как власти пытались регулировать социальный состав студентов. Здесь не место обсуждать возможности и границы контроля, целесообразность и проч. Упомяну только, что административные меры по регулированию состава зачисляемых в вузы вкупе с подготовительными отделениями изменили на некоторое время состав первокурсников, однако не привели к таким же переменам в составе оканчивающих вузы: «льготники», выпускники подготовительных отделений интенсивно отсеивались за годы учебы [39]. Кроме того, в ходе борьбы за единообразие социального состава студенчества и населения страны ухудшалось качество подготавливаемых специалистов, поскольку вузам приходилось понижать уровень требований. Дети рабочих и крестьян, к тому же, не пошли на подготовительные отделения так массово, как ожидали их организаторы [40]. Словом, этот опыт показал неэффективность такого подхода. Его результат – издержки и негативные явления. Тем более ни в коем случае не могут быть приемлемыми дискриминационные меры. Между тем в других странах соцлагеря пошли дальше. В Польше, например, были введены баллы за социальное происхождение. В результате происходили и анекдотические случаи; если, например, отец ребенка получал повышение и из рабочего становился служащим, то шансы ребенка на поступление в вуз автоматически падали. Готовились и у нас меры пожестче, чем были. И вот А.М. Румянцев дал нам задание: объясните, что шансы надо выравнять, но так, чтобы не снизить интеллектуальный потенциал. Добавил: «Напишите поубедительнее». А может, сказал – «пострашнее», как теперь мне кажется. Аргументы у нас тогда были: те самые модели, о которых я упоминал. И так, направляемый Владимиром Николаевичем, еду в Президиум Академии... У меня хранится номерной экземпляр книжечки с грифом «Для служебного пользования», рукопись которой я, волнуясь, отдавал в руки Алексею Матвеевичу в его огромном вице-президентском кабинете. «Передам это на самый верх», –

сказал он. Не стану утверждать, что благодаря этому докладу у нас не пошли дальше того, что было, а наоборот, смягчили ситуацию. В таких делах нельзя точно указать причины и следствия. Но – было сделано, что можно, при этом именно используя практические выводы из наших исследований.

Вот вкратце о В.Н. Шубкине как социологе.

О человеке. Я пишу это тебе, Борис, в день рождения Владимира Николаевича. Ему исполнилось 83 года. Он принимает поздравления.

Его жизнь могла бы стать основой для большого романа о судьбе нашей страны. К счастью, удалось издать дневники его отца, учителя-словесника [41]. В этой книге – не только картина жизни барнаульской гимназии, но, может, главное – образ русского интеллигента. Вот истоки шубкинського ума, характера, нравственных правил. В тридцатые годы – репрессии, Шубкин остается без отца и без перспектив. Все двери закрыты. Даже когда начинается война, его не берут в армию. Потом ему удается пойти на фронт. И он попадает в самые горячие точки Великой Отечественной. Тому, кто хочет понять, чем действительно была война, советую читать, что о ней написал сержант Шубкин [42]. Ранения, контузия, чудесное спасение... После войны – экономический факультет МГУ, потом – успех, международное признание. Сначала была книга о количественных методах, которая стала событием в нашей социологии [43]. «Социологические опыты» [44] сделали классикой нашей науки, за ними последовали другие книги [45]. Горжусь, что одна из них у нас общая [46].

Как определить жизнь Владимира Николаевича? Испытания – триумф – испытания? Или: испытания несправедливостью, лишениями, болью – испытание успехом – испытание болезнью? Или еще как-то? Судьба его не щадила и не щадит. Он боролся и борется с ней. Труженик, мыслитель, учитель для очень многих. Его послания коллегам, согражданам, миру – получены. Авторитет его был и остается огромным. Мы, те, кто работает с ним давно и постоянно, знаем его как человека сердечного, заботливого, но и требовательного.

Это не биографический очерк, а самый короткий из возможных ответов на твой вопрос. В заключение скажу, может быть, главное. Он человек теплый. Особенный. Нам повезло, что он был и остается с нами.

В течение пяти лет ты был заместителем директора института. Теперь руководишь центром. Как ты воспринимаешь эту перемену, что изменилось для тебя?

К должности заместителя директора никогда не стремился.

Это была идея Ядова – чтобы я стал заместителем у Л.М. Дробжевой. Меня вдруг вызвал Шубкин к себе домой, сел на стул посреди комнаты, усадил меня на другой, напротив, и сказал, что два дня сопротивлялся Ядову («Я ему сказал Давида не отдам!»). Я сначала и понять-то не мог, о чем речь. Ну а потом Ядов убедил Шубкина. Так это произошло. Где-то полдня мы просидели один против другого, и теперь уже Шубкин убеждал меня, что это нужно. За эти годы и обретения были, и потери, баланс подводить не стану. Работа в команде в непростой ситуации – вот что это было. Очень много было волнений по поводу судьбы института, вот это, наверное, было главным... Волю моих учителей, Ядова и Шубкина, я не мог не выполнить. Надеюсь, с этим все в порядке. Вышел срок – пришло время поступить по известному образцу. В конце концов, славный пример из древности – выращивать капусту – это мудро... Понять некоторые механизмы функционирования института и академии – вот это было полезно. Я вспоминал (опять-таки не сравниваю себя с ним!) Худенко, который, поднявшись по министерской лестнице, сказал себе: «Теперь я знаю, как это все работает», – пошел и попросил дать ему колхоз.

Разорваться между административными обязанностями и работой по проектам – невозможно, то или другое страдает. Или это я такой, у человека другого склада этой проблемы нет? Возможно. В общем, тут опять надо было делать выбор. За год или около того до конца срока директорства Леокадии Михайловны я сказал о своих планах. Так что ответ на твой вопрос: чувствую я себя теперь гораздо лучше. Могу погружаться в проекты и не ждать телефонного звонка с недоуменными вопросами, чем это я занимаюсь, почему меня нет на дирекции и т.п. Теперь у меня – ощущение свободы. Конечно, относительной. В шутку или всерьез, можно сказать, что я воспользовался реорганизацией в личных целях.

А новой дирекции нужно пожелать много всякого разного... Времена предстоят нелегкие. Вот то, что структура института стала более четкой, в ней прорисованы более крупные направления, – это, на мой взгляд, очень верный шаг. Как в предыдущие годы, нужно было для сохранения института работать по многим отдельным направлениям, так теперь требуется кооперация. Это необходимо, чтобы институт был конкурентоспособным. Это у меня не заявление о лояльности, я старался убеждать в этом, когда был заместителем директора, говорил и М.К. Горшкову, когда он пришел в институт. Осталось «немногое»: чтобы структура заработала, сотрудничество подразделений стало реальным. Наш Центр социологии образования, науки и культуры включает людей высокой социологической квалификации и в то же время

вполне толерантных, и нам сотрудничество, надеюсь, удастся.

Прекрасно, ты уже давно занимаешься образованием. Не можешь ты сказать, чем новая российская система образования лучше советской, в чем она ей уступает? Каковы перспективы в этой сфере жизни?

Борис, как говорится – спасибо за вопрос, но ответить на него даже пространной тирадой в интервью – невозможно. И еще: я как раз против оценок, основанных на «больше-меньше», «лучше-хуже». Как нет «молодежи» или «населения», их нельзя рассматривать «в целом», можно только дифференцированно, скажем, по группам, хотя и это – приближение, огрубление, так нет и «образования» вообще. Российское образование сейчас представляет собой сферу очень разнообразную и потому сложную. Одномерный подход тут был бы неправильным. Потому и отказались мы, мои коллеги и я, от одномерных оценок в проекте по доступности качественного образования, и настаиваем на этом. Я не уклоняюсь от ответа. Но я изучаю образование, следовательно, я не знаю о нем достаточно, если бы знал – зачем изучать? А раз не знаю... Конечно, нынешнее наше образование в чем-то лучше стало, в чем-то хуже. С доступностью, я много об этом писал, показывал на цифрах, – стало значительно хуже. Но от легковесных суждений про образование хотел бы предостеречь. Не надо забывать, что это источник, из которого не наливают всем поровну. Так было и, наверное, будет всегда. И каждый здесь берет, сколько захочет и сможет. Один из тоненькой струйки много выпьет, а другой из реки сделает маленький глоток. Что же касается прежнего нашего образования, – у меня обиды на него нет. Учителей своих вспоминаю с благодарностью. Историка нашего Анатолия Ивановича Александрова, именем его теперь названа наша школа. Уж на что это идеологизированный предмет! Только потом понял, как много он нам давал, притом как бы невзначай, а ведь это дорого могло ему обойтись. А Евгения Сергеевна Рудольская, классный руководитель, русский язык и литература? Ей стольким обязан. Недавно праздновали ее юбилей. Она так же энергична, недавно только перестала аккомпанировать себе на лекциях. Но любую аудиторию покоряет по-прежнему... Звонила мне, когда обиделась на юную журналистку, которая брала у нее интервью по поводу юбилея. Девушка сказала: «Вы такая знаменитая, а как живете, телевизор у вас допотопный, и вообще...».

Давид, с тех пор, как ты отвечал на вопросы Геннадия Батыгина, прошло пять лет. Какие исследования тебе за это время удалось провести? Что опубликовать?

Все это продолжение, а хотелось бы думать, развитие, того

же – про замыслы людей относительно своей жизни и их реальные судьбы. Были проекты и вслед за ними книги про работающих студентов, социально-гуманитарное образование, непрерывное, доступность школьного и высшего образования... Не только тематика расширяется, но и появляются новые подходы, методики. Новые проекты – объемные, одному не под силу. К счастью, прежние коллеги рядом, а что особенно важно, есть новые, молодые, замечательно образованные, трудоголики, чрезвычайно креативные. То, что я встретил их и мы стали работать вместе, – большая удача. К счастью, мы востребованы, работы много. Надеюсь, это не только потому, что популярна тематика, но и благодаря нашей репутации, а она – результат нашего труда. Результатами проекта по доступности качественного общего образования мы гордимся. Хотя поначалу проходил он трудно. Сама задача была трудная, и убеждать других было нелегко. Это обычное дело: сначала идея всем кажется странной, а в конце концов все начинают считать ее своей. Ну да это хорошо, пускай... Надо думать, что дальше. Вот что очень хотелось бы сделать в будущем, так это написать о людях, которым обязан. Я очень обязан людям, которые меня, назовем это правильно, взрастили. И хотел бы хоть самым кратким образом поблагодарить их. Нужно ли это им? Теперь, когда многих из них нет? А когда были – чувствовали они мою благодарность? Умел ли я ее выразить? Не был ли невнимателен, осознавал ли их значимость, не считал ли, что то, чем они были для меня, – просто в порядке вещей?.. И, конечно, надеюсь продолжать заниматься образованием. Потому что оно и в жизни всего мира, и в жизни каждого человека – как та точка опоры, о которой, по легенде, говорил Архимед.

Примечания

1. Герш Ицкович Будкер (1918–1977), академик АН СССР.
2. Алексей Александрович Наумов (1916–1985), член-корреспондент АН СССР.
3. Анатолий Алексеевич Логунов (р. 1926), Москва, академик РАН СССР.
4. Александр Владимирович Блещунов (1914–1991), крупный строитель, выдающийся альпинист, известный коллекционер.
5. Владимир Николаевич Шубкин (р. 1923), д.ф.н., главный научный сотрудник Института социологии РАН.
6. Игорь Андреевич Полетаев (1915–1983), один из пионеров развития кибернетики в СССР.
7. Александр Альфредович Бек (1902–1972).
8. Владимир Германович Лидин (1894–1979).

9. Сергей Павлович Залыгин (1913–2000).
10. Сергей Петрович Антонов (1915–1995).
11. Абел Гезевич Аганбегян (р. 1932), академик РАН.
12. Алексей Павлович Окладников (1908–1981), академик АН СССР.
13. Владимир Александрович Ядов (р. 1929), д.ф.н. заведующий отделом Института социологии РАН.
14. Геннадий Александрович Слесарев (р. 1931), к.ф.н., в то время работал в Институте социологических исследований АН СССР, Москва.
15. Валентин Георгиевич Подмарков (1929–1979).
16. Владимир Эммануилович Шляпентох (р. 1926), д.э.н., в настоящее время – профессор Мичиганского университета, США.
17. Алексей Матвеевич Румянцев (1905–1993), академик РАН.
18. *Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н.* Личные планы и их реализация // Вопросы философии. 1970. № 7. С. 32–42.
19. *Константиновский Д.Л., Шубкин В.Н.* Молодежь и образование. М.: Наука, 1977.
20. *Константиновский Д.Л.* Динамика профессиональных ориентаций молодежи Сибири. Новосибирск: Наука, 1977.
21. *Костюк В.Г., Траскунова М.М., Константиновский Д.Л.* Молодежь Сибири: образование и выбор профессии. Новосибирск: Наука, СО, 1980.
22. Леонид Васильевич Решетников (1920–1990).
23. Ею переведены, например: Бадентэр Э., Бадентэр Р. Кондорсе: ученый в политике. М.: Ладомир, 2001; Дали С. Дневник одного гения. М.: Эксмо-Пресс, 2006 и др.
24. Боровой Константин Натанович (р. 1948), предприниматель, политик.
25. Алексис Берелович, доктор, профессор, Высшая школа социальных наук (EHESS, Париж), Франко-российский центр гуманитарных и социальных наук (Москва).
26. Владимир Берелович, доктор, профессор истории (Женевский университет), директор по науке Высшей школы социальных исследований (EHESS, Париж), директор Центра изучения русского, советского и постсоветского общества (EHESS).
27. Ecole Normale Supérieure .
28. Кристиан Бодло (Baudelot C.) , известный французский социолог.
29. Baudelot C. and Establet R. Le Niveau Monte: R futation d'Une Vieille Id e Concernant la Pr tendue D cadence de Nos coles. Paris: Seuil, 1989.
30. Даниэль Берто (Daniel Berthouх), профессор, руководитель Центра по социальной мобильности Дома наук о человеке в Париже.
31. Лариса Алексеевна Козлова, к.ф.н., зав. сектором социологии науки Института социологии РАН, зам. главного редактора «Социологического журнала».
32. Владимир Яковлевич Канторович (1901–1977).
33. *Константиновский Д.Л.* Динамика неравенства. Российская молодежь в меняющемся обществе. Ориентации и пути в сфере образования. М.: Эдиториал УРСС, 1999.
34. *Константиновский Д.Л.* Молодежь 90-х: самоопределение в новой реальности. Профессиональные ориентации российских старшеклассников 90-х годов: планы и их реализация. М.: ЦСО РАН, 2000.

35. *Шубкин В.Н.* Пределы // Новый мир. 1978. № 2.
36. Публицистика В.Н. Шубкина собрана в его книге «Насилие и свобода» (М., изд-во «На Воробьевых», 1996).
37. Собрание постановлений Правительства СССР. 1966. № 3.
38. Материалы XXIII съезда КПСС. М., 1966. С. 229.
39. *Аитов Н.А., Филиппов Ф.Р.* Управление развитием социальной структуры советского общества. М.: Наука, 1988. С. 94.
40. *Герчикова В.В.* Современное высшее образование: функции, реализация, перспективы. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1988. С. 76–81.
41. *Шубкин Н.Ф.* Повседневная жизнь старой русской гимназии. Из дневника словесника Н.Ф. Шубкина за 1911–1915 годы. СПб.: Изд-во РХГИ, 1998.
42. *Шубкин В.Н.* Пашкин подарок: Повести. Предисловие В.А. Ядова «Вторая жизнь Владимира Шубкина». М.: ИС РАН, 1999.
43. Количественные методы в социологии / Ред. А.Г. Аганбегян, Г.В. Осипов, В.Н. Шубкин. М.: Наука, 1966.
44. *Шубкин В.Н.* Социологические опыты. М.: Мысль, 1970.
45. *Шубкин В.Н.* Начало пути (проблемы молодежи в зеркале социологии и литературы). М.: Молодая гвардия, 1979; *Шубкин В.Н.* Трудящаяся молодежь: образование, профессия, мобильность. М.: Наука, 1984; *Шубкин В.Н., Чередниченко Г.А.* Молодежь вступает в жизнь (социологические исследования проблем выбора профессии и трудоустройства), М.: Мысль, 1985; *Шубкин В.Н.* Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века (По материалам международных исследований) / Под ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина, В.А. Ядова. Серия «Научные доклады», № 96. М.: Московский общественный научный фонд; Институт социологии РАН; Университет штата Мичиган, 1999 и др.
46. См. 19.



Могилевский Р. С. – окончил юридический факультет ЛГУ, кандидат философских наук, научный руководитель Агентства социальной информации, Санкт-Петербург. Основные области исследования: общественное мнение, анализ рынка. Интервью состоялось в 2005-2006 годах.

Вообще говоря, я мог бы сам написать о том, что в постперестроечное время было сделано Романом Семеновичем Могилевским. Хранящийся у меня архив нашей электронной переписки, начавшейся ранней весной 1999 года, насчитывает сотни писем разной длины: от нескольких слов до многих страниц. Это и обсуждение научных вопросов, и просто разговоры «за жизнь».

Кроме того в начале 2000-х я принимал участие в нескольких аналитических проектах, выполнявшихся его исследовательскими организациями, участвовал в двух проведенных им в Петербурге научных конференциях и множество раз встречался с ним в неформальной обстановке.

В 1988 году Роман, будучи сложившимся ученым, руководителем крупных исследовательских проектов и автором большого числа научных публикаций, круто изменил направление траектории своей жизни. Он оставил знакомую, но представлявшуюся ему мало перспективной область финансируемой государством науки и ушел в лишь зарождавшуюся сферу научного бизнеса. И этот переход оказался успешным.

Р.С. Могилевский: «Я БЫ НАЗВАЛ СЕБЯ СОЦИОЛОГОМ- КОНСУЛЬТАНТОМ...»*

Задавать вопросы было проще, чем находить ответы

Когда и как у тебя появился интерес к устройству общественной жизни?

Очень рано, в детстве. Сначала возник интерес к вопросам «общей жизни», к тому, что происходило за пределами семейного круга. Этому способствовала атмосфера в семье, разговоры и обсуждения различных событий, моя любовь к художественной литературе. Газеты читал постоянно, радио было включено с утра до позднего вечера. Легко было стать рабом пропаганды. Но официальные оценки одних и тех же событий часто менялись, не сходились концы с концами. В этих условиях возникал естественный вопрос: почему? Кроме того, то, что говорилось и

* Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 2. С. 2–13.

писалось, в большинстве случаев не совпадало с тем, что сам наблюдал и чувствовал, возникало ощущение фальши, обмана, всеобщей лжи. Гораздо позже мне попалась толстая книга одного русского священнослужителя, названная им «Ложь как образ жизни коммунистов» – мне она показалась очень точной и объективной. Когда оценка того или иного факта или события представляется ложной – это ведь не только результат анализа, но и эмоциональная реакция, часто предшествующая трезвому размышлению. Думаю, что каждый человек на эмоциональном уровне легко отличает ложь от правды. Другое дело, что он дальше «делает» с этим ощущением. Меня это заставляло задавать себе непростые вопросы «общего характера» и искать на них ответы. Конечно, задавать вопросы было проще, чем находить ответы. Но поиски ответов – это не плохая школа для человека, когда формируются его представления о том, чем он будет заниматься в будущей жизни.

Расскажи о своей семье, где ты родился, где заканчивал школу...

Я родился в 1938 г. в Одессе. Мать Фаина Марковна Резник работала медсестрой, а отец Семен Исаевич Могилевский по образованию энтомолог, по профессии фитопатолог. В 1940 г., практически перед самым началом войны, отец защитил кандидатскую диссертацию и опубликовал несколько книг. С началом войны отец ушел на фронт. В 1942 г. при вторичном взятии немцами Ростова-на-Дону он погиб в бою. Мы с матерью были эвакуированы в Башкирию. Жили в небольшом башкирском городе Бирске. Мать работала в воинской части вольнонаемной. Сразу после окончания войны воинскую часть перевели в Ленинград, разместили в пригороде в г. Пушкине. Здесь я прожил большую часть своего детства и юности, здесь поступил в школу, которую окончил в 1956 г. Два года проработал электромонтером в Военно-морском училище, затем поступил в Ленинградский государственный университет.

Можно ли сказать, что детские, подростковые впечатления, рассуждения повлияли на твою профессию?

Не думаю. Пожалуй, ими объясняется только вектор поиска. Мне было ясно, что выбор должен касаться гуманитарных профессий, легко дававшихся мне в школе. Технические – совсем не были интересны, литература, которой очень увлекался в ранней молодости, так и осталась первой любовью, не более того. С другой стороны, дисциплины, которые могли бы рассказать об истории и его проблемах, тогда в школе не преподавались. История, которая могла бы стать главным интересом, самым вульгарным образом расправлялась со своим

предметом, от чего тошнило. Незадолго до окончания школы свой выбор остановил на юриспруденции – единственной науке, которая казалась мне интересной с точки зрения будущих занятий. Возможно, определенную роль в формировании интереса к будущей профессии сыграло чтение сборников речей старых русских юристов А. Кони, Ф. Плевако. Эти книги можно было найти в библиотеках даже в то время. Нравилась логика, прекрасная риторика, умение видеть за фасадом различных уголовных дел внутренний смысл и мотивы поступков людей. К тому же, эта профессия, казалось, не была подвержена конъюнктуре, без нее не могло обойтись ни одно государство. Чьи интересы обслуживала юридическая наука и практика и как трактовала свою миссию – об этом в тот период я не очень задумывался.

Мы с тобою одного поколения, но я не помню, чтобы в школах интерес к гуманитарным наукам был велик.

Я сказал бы, что в разные периоды моего «школьного детства», а оно продолжалось с 1946 по 1956 гг., предпочтения моих сверстников менялись. К окончанию мной школы математические и технические дисциплины в жизненных планах школьников доминировали. По моим наблюдениям, гуманитарным дисциплинам отдавались предпочтения в сталинский период и сразу после. Небольшие либеральные веянья в постсталинский период оживили интерес к точным и техническим наукам. С моей точки зрения, в этом заключался определенный парадокс, имеющий разные объяснения. Я предложу свое.

Идеологические контексты, которые внушались обществу и рядовым гражданам, касались именно гуманитарных, философских и экономических проблем. Власть пыталась выстроить систему аргументов, направленных на идеологическую самозащиту, самооправдание, транслируя эти аргументы через средства массовой информации, по каналам школьного и вузовского образования, через произведения искусства. Обществу был навязан смысловой и ценностный контекст, задававший критерии высокого и низкого, хорошего и плохого, правильного и ложного. Это касалось и представлений о том, какие профессиональные карьеры «правильные».

Правильным было изучать труды основоположников марксизма-ленинизма, нести их в массы. Эти планы не были ментально связаны с положением на рынке труда, стремлением достичь успеха, добиться хорошей жизни. Лозунг: «прежде думай о Родине (партии, вожде), а потом о себе» – делал свое дело. Конечно, речь идет о социальных намерениях, а не о том, как выстраивались профессиональные карьеры в реальности.

Но, с другой стороны, нельзя не признать доминирование гуманитарных увлечений среди школьной и вузовской молодежи в те годы. Что касается предпочтений технических и физико-математических специальностей в постсталинский период, то рискну сделать предположение, что оно объяснялось тем, что эти специальности трактовались молодыми людьми как относительно свободные от идеологического влияния.

Ты хорошо учился, сразу поступил в Университет?

Учился по-разному, но к экзаменам собирался, поэтому итоговые оценки всегда были более чем хорошими. По окончании школы подал документы на юридический факультет ЛГУ. С первого раза не поступил, но, отработав два года, предпринял еще одну попытку, набрал максимальное число баллов и был принят. Было это в 1958 г.

Какие у тебя воспоминания об учебе в Университете на юридическом факультете?

Мне очень повезло. Я застал на факультете и активно поддерживал со своими друзьями атмосферу студенческой жизни, которая характеризовалась радостным и веселым общением, острыми спорами, интересом к новому опыту и знаниям, к знакомству с забытыми науками и учебными дисциплинами, с запрещенными авторами и точками зрения. Возникали необычные инициативы как во вне учебной жизни, так и в учебном процессе (которые, впрочем, позже часто признавались идеологически вредными, но в тот период особых бед их авторам не приносящими). Я говорю, что мне повезло, потому что вскоре эту атмосферу власти сильно поменяли. На факультет стали принимать только молодых людей, пришедших из армии или с производства, более взрослых, более серьезных, коренным образом изменивших стиль студенческого общения. Началось закручивание гаек в стране, и, конечно, это не могло не отразиться на атмосфере обучения на факультете. Но всё изменить было уже невозможно.

На факультете продолжали работать и вести студенческие научные кружки Алексей Иванович Королев, бывший в то время деканом, Леопольд Иоганович Каск, Олимпиад Соломонович Иоффе, Михаил Давидович Шаргородский, крупнейшие специалисты и замечательные преподаватели, открывавшие новые горизонты науки и профессиональной деятельности. Л.И. Каск, потерявший на фронте обе руки, был одним из самых, как бы сейчас сказали, креативных ученых факультета. Именно он вел студенческий кружок «Кибернетика и право», где возникал абсолютно новый контекст понимания правовой

реальности. В рамках этого кружка возник интерес к изучению проблем социологии права, к работам Е.Эрлиха, русских ученых Л.И. Петражицкого, Н.С. Тимашева, Н.С. Коркунова и др., положивших основу русской версии социологии права. Мы стали искать в библиотеках книги этих и других авторов, связывающих правовые реальности с реальностями «естественной жизни», у нас возникал более общий интерес к тому, что составляло предмет на тот момент запрещенной науки – социологии.

Существенную роль в формировании социально-ориентированного мышления у студентов играли лекции Королева, умевшего органично связывать изменения в системе права с социально-историческими изменениями. Именно факультет оказал решающее влияние на формирование научных интересов как моих собственных, так и моих друзей и сокурсников. И ни, как позднее случилось, вышли за пределы «базовой компетенции» факультета, готовящего практических работников правовой системы и ученых-правоведов.

Следуя этим интересам, многие выпускники впоследствии преуспели в смежных областях науки. Упомяну своих близких друзей: Павел Николаевич Лебедев стал крупнейшим специалистом в области общей теории социального управления; Юрий Алексеевич Суслов был одним из инициаторов реабилитации и развития социологии девиантного поведения, много работал над проблемами социологии организации, одним из первых смело вводил в наш научный оборот зарубежный опыт исследований в области социологии права; Эдуард Афанасьевич Фомин после бурного интереса к проблемам теории систем и использованию в праве идей кибернетики проявил себя как крупный ученый, создавший оригинальные версии теории права и разработавший ряд интересных концепций в области специальных социологий. К сожалению, жизнь этих людей была короткой, а настоящее признание – я уверен – их еще ждет. Мне же выпало счастье сотворчества с этими людьми.

Что интерес к социологии сформировался у тебя в студенческие годы?

Скажем, уточнялся вектор интереса. Но прежде, чем этот интерес перерос в профессиональный выбор, были три года работы следователем в Следственном управлении Министерства охраны общественного порядка (так тогда называлось МВД) по Ленинграду, куда я попал по распределению. Тогда мне казалось, что годы работы в МВД пройдут зря, бессмысленно; это был способ остаться в Питере, но ни интереса, ни желания работать не было. Теперь же, с высоты прожитых лет я вос-

принию эту работу иначе. Я получил уникальную возможность увидеть изнутри, как функционирует большая бюрократическая система, как влияют социально-политические институты «общего назначения» на реализацию правоохранительных функций. Многое из того, что впоследствии было прочитано у Т. Парсонса и Р.Мертонa, пришлось наблюдать воочию. Для меня неформальные и формальные структуры, латентные и явные функции и прочие понятия структурно-функционального анализа предстают в виде лиц, событий и определенных действий той организации, в которой я работал. Это дало мне не мало для профессионального самоопределения, но я почувствовал большое облегчение, когда, отдав три года этой работе, сумел от нее избавиться.

В годы работы в МВД тебе не предлагали вступить в КПСС, ведь ты не был членом партии?

При поступлении на работу я не был членом КПСС, в тот период при МООП был создан новый большой департамент – Следственное Управление, нужны были люди. Поэтому дополнительных препятствий не создавалось. Но через определенное время мне предложили вступить в партию. Тогда я спросил, будет ли это совместимо с тем, что я собираюсь после трех лет работы уйти из «органов». Для человека, не желающего вступать в партию, это был самый сильный, а иногда и единственный ход. С того времени ко мне больше с подобными предложениями не обращались.

Кроме того, определенное влияние оказало и то, что я, случалось, конфликтовал с начальством по поводу квалификации тех или иных преступлений и порядка принятия решений относительно движения уголовных дел. Хотя мои непосредственные начальники были весьма квалифицированными юристами, введенный порядок не позволял им считаться с самостоятельной ролью следователя, закрепленной в УПК. Над ними тоже были начальники, которые такое поведение не одобрили. Фактически их слово было последним при квалификации преступлений. Если учесть, что в те годы (как, впрочем, и сейчас) в абсолютном большинстве случаев суд шел на поводу у следствия и государственного обвинения, судьба подозреваемого часто решалась на административном уровне, а не на уровне работы следователя. С этим я мириться не мог. И дело даже не в принципах, а в том, что на моих глазах были сломаны судьбы людей, которые, с моей точки зрения, были невиновны. Я вступал в споры, иногда острые. Начальство не могло этому радоваться. Так что и в партию вступить не заставили и не чинили препятствий, когда, проработав три года, я уволился из МВД.

Два десятилетия работы в НИИКСИ

Как складывалась в дальнейшем твоя карьера?

После окончания срока работы по распределению я уволился из Следственного управления. К тому времени мои друзья, кто отслужив в армии, кто по распределению, стали работать в Институте комплексных социальных исследований (НИИКСИ) при ЛГУ. Мне захотелось к ним присоединиться. В тот период (а это был 1966 г.) Институт находился под неусыпным контролем парткома и отдела кадров ЛГУ, и попасть в него человеку с фамилией Могилевский было весьма непросто. Несмотря на поддержку одного из проректоров ЛГУ, помнившего меня еще со студенческих лет и знавшего о моих успехах в учебе, потребовалось шесть месяцев, чтобы начальник отдела кадров ЛГУ С.И. Катькало и тогдашний директор Института В.Я. Ельмеев согласились принять меня на работу. В течение последующих 22 лет я работал в НИИКСИ. Начал с должности младшего научного сотрудника и закончил и.о. заведующего социологической лабораторией.

Тебе снова повезло: НИИКСИ был одним из первых институтов, в которых после долгого перерыва стали осуществляться эмпирические социологические исследования.

Безусловно, этот институт займет важное место в послевоенной истории становления социальной науки в стране. Он был образован в конце 1965 г. как межфакультетская структура Ленинградского государственного университета в результате слияния нескольких существовавших при факультетах лабораторий, а также открытия новых. Это были различные по профилю деятельности структуры, занимающиеся психологическими, экономическими, юридическими, социологическими и культурологическими исследованиями. Некоторые лаборатории возникали по проблемному принципу, например, лаборатория проблем молодежи. Такой принцип объединения научных дисциплин в рамках одного научного плана получил название комплексности. Предпринимались попытки научного обоснования принципа комплексности, впрочем, не очень удачные. Тем не менее, комплексность, даже в форме эклектического объединения разных предметов и методов, стала органической чертой организации работы в институте и нашла отражение в его названии.

Ты не в курсе, как удалось создать НИИКСИ, получить на это разрешение властей?

Скорее всего, существовал личный интерес каких-то научных боссов в создании новой организационной структуры внут-

ри Университета, могли быть какие-то корпоративные резоны. Но главное, с моей точки зрения, не это. В те годы в стране во всю давали о себе знать проблема снижения «эффективности общественного производства», низкая эффективность труда, дефицит товаров народного потребления, низкий уровень жизни. Политическое руководство того времени предложило обществу свое объяснение происходящему. Оно склонно было считать, что все дело в низкой дисциплине труда, высокой текучести кадров и других негативных проявлениях «человеческого фактора». Несмотря на стремление изменить ситуацию административными, организационными и пропагандистскими методами, проблемы не решались. Тогда-то и появилась идея комплексной детерминации поведения работников и комплексного воздействия на поведение для повышения эффективности труда. Эта идея нашла воплощение в практиках разработок планов социального развития коллективов и сопутствующих этому научных исследованиях.

Несмотря на утопичность этих практик, они дали серьезный толчок развитию ряда научных направлений. Идея социального планирования стала ключевой в работе НИИК-СИ, а исследования и разработка планов – главным направлением его научной деятельности. Таким образом, институт был создан под актуальный социальный заказ, а идея его создания в этом контексте пользовалась благосклонностью политического руководства города и администраторов Минвуза. Конечно, деятельность НИИКСИ отнюдь не сводилась к работе над планами социального развития, институт занимался сугубо научными направлениями (например, работы социологической лаборатории над проблемой социализации, юридической – в области социологии права). Но социальное планирование являлось визитной карточкой НИИКСИ и хорошим аргументом в отстаивании необходимости его самостоятельного существования, а такие дискуссии велись достаточно часто: противников самостоятельного существования института из числа университетских деятелей было предостаточно. Кроме того, эта тематика послужила хорошим идеологическим прикрытием для работ в других областях, в частности, для масштабного использования эмпирических социологических исследований. Это позволило в подцензурных условиях осуществлять сбор эмпирических данных, адекватно раскрывающих социальную реальность того времени, и одновременно развивать методологию, интегрировать собственный и зарубежный опыт проведения социологических исследований.

Кого из крупных ученых, работавших в те годы в НИИКСИ, ты мог бы сейчас назвать?

Их было немало. Достаточно назвать Владимира Александровича Ядова, крупнейшего социолога нашей страны, который некоторое время работал в социологической лаборатории; лидера советской психологической науки, академика Бориса Григорьевича Ананьева; юриста, академика Джангира Алибасовича Керимова, который одно время был директором института, психологов Евгения Сергеевича Кузьмина, Иосифа Марковича Палая, Анатолия Леонидовича Свенцицкого, Игоря Павловича Волкова. В институте работали такие известные всей стране специалисты, как экономист Владимир Романович Полозов, социолог, правовед Лев Иванович Спиридонов, социолог, специалист по проблемам молодежи Владимир Тимофеевич Лисовский, юрист Яков Ильич Гишинский, ныне один из крупнейших мировых экспертов в области девиантологии. В тот же период сформировались как высококлассные специалисты тогда еще молодые Павел Николаевич Лебедев, Юрий Алексеевич Суслов, Эдуард Афанасьевич Фомин, Валентин Евгеньевич Семенов, Елена Эмильевна Смирнова, Николай Генрихович Скворцов, ныне декан Социологического факультета СПбГУ, Зинаида Васильевна Сикевич, Лариса Андреевна Баранова, Александр Николаевич Шаров и многие другие. Впоследствии многие продолжили работу в других научных учреждениях, где получили высокое научное признание. Возможно, не всегда признание вклада в науку некоторых сотрудников института было адекватно их реальным заслугам. Уверен, пройдет время, и многие из тех, с кем мне довелось работать, займут достойное место в истории науки.

Что стало предметом твоих собственных исследований?

Я начал работу в юридической лаборатории НИИКСИ, которая в тот период работала над тематикой социальной обусловленности права. Руководителем лаборатории был Владимир Васильевич Орехов, ныне доктор юридических наук, профессор. Наша исследовательская работа состояла не столько в анализе законодательства, сколько взаимодействия правовых норм с социальной реальностью, в исследовании социальной эффективности права. Конкретным предметом исследований стала дисциплины труда как актуальная и комплексная социально-обусловленная проблема.

С коллегами по лаборатории я занимался проблемой социальной обусловленности дисциплины труда и социальных факторов ее укрепления. На предприятиях проводились эмпирические исследования, публиковались научные работы. Я до-

вольно плотно работал над этой проблемой. Итогом явилась диссертация на тему «Социологические проблемы социалистической дисциплины труда», которую я защитил в 1984 г. В диссертации я пытался обосновать тезис, что дисциплина труда это некоторая производная от того, как устроено общество и труд, и что никакими организационными и административными мерами ситуацию не изменить, пока не изменятся общие условия функционирования общества и трудовой деятельности. С моей точки зрения, дисциплина труда не являлась проблемой правовой науки и, даже, социологии права. Она была макросоциальной проблемой и требовала общетеоретического описания средствами общесоциологической теории. Написано это было без прямых выводов и политических инвектив, так что защита прошла без проблем.

Новые планы лаборатории, которые тогда «спускались сверху», касались правового обеспечения планов социального развития предприятий, а в дальнейшем крупных городов. Более всего меня привлекала работа над проблематикой планирования городов, в русле которой я с коллегами стал заниматься проблемами социологии преступности. Мне кажется, что для меня эта тематика до сих пор является одной из наиболее интересных направлений профессиональной деятельности. Эта научная дисциплина с длительной историей, представленная замечательными авторами, богатая разнообразными научными концептами. В процессе работы над этой тематикой я познакомился с замечательными работами криминологов чикагской школы, с классической работой Э. Дюркгейма «Самоубийство», с работами русских дореволюционных криминологов. Вместе с Сусловым мы опубликовали статью по социально-пространственным аспектам преступности, навеянную работами криминологов чикагской школы. Кажется, впервые в наш научный оборот вводились представления о существовании в СССР пространственных аспектов воспроизводства социальной структуры, о территориальных проблемах социального неравенства и их связи с преступностью. Криминальные эффекты выводились из факторов социального расселения общественных групп и их взаимодействия. Это не только формировало более точное представление о социальной обусловленности преступности, но и давало представление о взаимосвязи различных типов преступности и других проявлений девиации. Работа над этой проблематикой позволила мне написать и опубликовать в Великобритании и Франции небольшой текст, в котором был предложен, с моей точки зрения, абсолютно новый концепт, объясняющий взаимодействие общества и преступности без привязки к теории права. Этой публикацией я до сих пор горжусь.

Как складывалась твоя карьера с конца 1970-х гг.?

Я не могу сказать, что мои способности не были замечены в Институте. Впрочем, это никак не сказывалось на моей профессиональной карьере и материальном положении. Должностному росту мешали отсутствие партийности, национальность, а строптивость характера отталкивала начальство. Несмотря на покровительство некоторых важных персон из институтской администрации, даже освобождающиеся вакансии мне не предлагались. Лишь в конце 1970-х гг., благодаря ходатайству доктора юридических наук Ильи Григорьевича Филиановского, «сосланного» в институт с юридического факультета ЛГУ на должность руководителя хоздоговорной группы, мне предложили стать его заместителем. После его отъезда за рубеж, я возглавил эту группу, объединявшую сотрудников разных лабораторий вокруг исследования проблем социального развития крупных городов.

Подобная работа потребовала от меня освоения навыков управления большой группой специалистов разного профиля, а также изучения теории и опыта планирования и комплексного решения проблем развития городов. Одновременно формировался интерес к проблеме качества жизни населения крупного города как некоего интегрирующего концепта для всех направлений исследований и составления комплексного плана. Наряду с литературой, которая публиковалась по этой проблеме у нас в стране и касалась главным образом критики буржуазной концепции качества жизни, (что, впрочем, не мешало нам находить в этих книгах много важной информации об опыте исследований за рубежом), был переведен и опубликован ряд работ, посвященных городам, прежде всего, публикации ученых так называемого Римского клуба. Важную роль в становлении моих собственных представлений о развитии крупных современных городов сыграла книга Э. Форрестера «Динамика развития города».

Эта литература, а также работы ленинградских ученых позволили специалистам НИИКСИ сформулировать эффективный прикладной концепт комплексного социального планирования. Он явился основой разработки Институтом комплексных планов социально-экономического развития Мурманска, Калуги, Пензы, Орла и других городов. Научными руководителями этих работ явились доктора экономических наук В.Р. Полозов, Б.Р. Рященко, В.Я. Ельмеев, А.С. Пашков. Они осуществляли общенаучную разработку методологических основ комплексного социального планирования в русле марксистской традиции. Мне не кажется, что разработанная ими методология сыграла сколько-нибудь важную роль в работе над планами

социального развития конкретных городов. Здесь требовались конкретные знания и эффективные теории среднего уровня. Впрочем, для меня наиболее важным элементом социального планирования явилась сама возможность проводить эмпирические социологические, социально-психологические, юридические и экономические исследования, получать и осмысливать информацию, которую в тех условиях другими способами мы не могли бы ни собрать, ни использовать для обоснования теоретических и практических выводов.

Работа над этой тематикой позволила мне написать книгу [1], как мне кажется, одну из первых в стране, по проблематике качества жизни населения крупного города. Главная мысль книги состояла в том, что объективно у жителей крупных городов формируются новые потребности или меняется характер старых, и этот процесс оказывает решающее влияние на оценку людьми своего социального благополучия и последующую социальную динамику. Государственные и общественные институты и системы принятия решений не давали адекватный ответ на социальный запрос, даже сохранение прежних условий уже не рассматривалось людьми как удовлетворяющая людей стратегия. Скопилось недовольство, неудовлетворенность, пессимизм, девиации и протест. Даже осторожная оценка качества жизни в тот период позволяла предположить скорые социальные изменения.

Как и большинство книг того времени, моя монография была рассчитана на читателя, умеющего читать между строк. Не обошлась она и без ритуальных заклинаний, с которыми мне сильно помог редактор, – без этого вряд ли она бы увидела свет, (хоть и шел 1985 г., но в Университете свое летоисчисление), но в целом книга честная и в некоторых частях представлявшая оригинальный взгляд на известные и новые проблемы.

Так что, если говорить о моих интересах в академической науке, то можно выделить социологию права, теории организации, социологические проблемы развития города и проявлений городской преступности, главный же направление научных интересов – концепция качества жизни и социальных индикаторов. Когда я уходил из Института, у меня было опубликовано свыше 100 научных работ, но по настоящему ценными я считаю не более десятка публикаций.

По пути, проложенному Гэллапом

Что стало причиной того, что ты ушел из НИИКСИ в совсем новую область – независимые социологические службы?

Отчасти это было связано с трудностями карьерного роста и низкой зарплатой, но главное, со стремлением заниматься

тем, чем хотелось, без дурацких «указаний сверху». Государственный институт даже в новых условиях казался мне большой бюрократической системой, достаточно безразличной к существу работы. Его функции по большей части сводились к «освоению бюджетных средств» и созданию рабочих мест для «хороших (своих)» или «плохих (не своих)», которых иногда «ссылали» в институт, людей. Освоил, создал – хорошо работаешь, не освоил, не создал – плохо. Один мой друг попал в офис Министерства высшего образования СССР сразу после событий 1991 г. Он наткнулся на старые отчеты НИИКСИ, внешний вид которых с очевидностью свидетельствовал о том, что их никогда никто не читал. Лично меня это не удивило, но вряд ли это следовало считать нормальным.

В конце 1988 г. ко мне обратился питерский социолог Вадим Семенович Гороховский с предложением организовать независимую исследовательскую организацию, работающую на коммерческой основе. Одновременно с таким же предложением он обратился к социологу Андрею Алексеевичу Вейхеру. Предложение вызвало у нас удивление: чтобы создать новую научную организацию, нужно было получить специальное разрешение Совета Министров СССР. Однако человек необычайной энергии и целеустремленности Гороховский добился встречи с председателем плановой комиссии Ленгорисполкома В. Большаковым и получил его согласие. Были подписаны соответствующие документы. Организация была создана, и я перешел в нее на должность заместителя директора по научной работе. К нам с Вадимом присоединился А. Вейхер, затем И. Гурвич. Несколько позже закон потребовал от нас переоформления статуса организации. Потребовалось наличие Учредителей. Тогда нашим учредителем стала Ленинградское отделение Советской Социологической Ассоциации. Мы стали называться СНИЦ – Социологический Научно-Исследовательский Центр. Этот период жизни заслуживает отдельного рассказа – абсолютно новый опыт научного и делового существования без «ценных указаний» сверху, без плановых заданий и бюджетного финансирования.

Ни ты, ни твои коллеги никогда ранее не проводили электоральные опросы и не занимались изучением рынка. Времени на обучение не было, все делалось «с колес». Какие были проблемы, как вы их решали?

Действительно, много делалось «с колес», что-то «по наитию». Но все мы имели большой опыт проведения социологических исследований, как бы они в то время не назывались.

Добавлю к этому еще один малоизвестный факт своей и не только своей биографии. Я вместе с коллегами по НИИКСИ

в январе 1986 года я провел первый в Питере телефонный опрос. Не помню, как возникла идея обратиться к «телефонной технологии» сбора информации. Мы знали о таких опросах за рубежом, но сами опыта не имели. Интервьюерами были сами исследователи, звонили с институтских телефонов, все делали кустарно, как могли. Но опыт приобретался, а вместе с опытом появились и важные вопросы, ответы на которые тоже составили часть развития и становления «телефонной методологии».

Что касается теоретической, методологической и коммуникативной базы исследований, то нам повезло: в то время уже не было критического дефицита литературы и профессиональных обменов.

Ты задал вопрос об опыте политических исследований и электоральных опросах. Действительно, они составляли значительную долю тех работ, которые мы проводили. Скажу, что опыт социологического сопровождения избирательных компаний приобретался вместе с самой практикой проведения демократических выборов. Облегчало дело несколько обстоятельств. Во-первых, электоральные опросы это лишь разновидность опросов общественного мнения. Под тем или иным обличьем эти опросы проводились и прежде, и самое главное, существовала литература, которой можно было пользоваться: работы Б. Грушина и В. Шляпентоха, Ю. Левады, и, конечно, В. Ядова. Не всегда исследования этих авторов специально были посвящены опросным методологиям, но они давали необходимые основы для получения и анализа данных. Кроме того, в профессиональных кругах ходили книги на иностранных языках и рукописные издания книг западных авторов по методологии и практикам опросов общественного мнения, статистическим и опросным процедурам, проблемам выборки и оценки надежности данных. В круге чтения была и твоя книга по надежности данных.

С моей точки зрения, в главном разработка методологии опросов общественного мнения по электоральной и политической тематике принципиально не отличалась от разработки общей опросной методологии и техники. Действительная роль политических и электоральных исследований, говорю об этом со всей серьезностью, прежде всего, состоит в том, что именно политические и электоральные исследования стимулировали появление рынка исследовательских практик, на котором выяснялась реальная, а не фальсифицированная цена социологического «продукта», и да пусть меня простят коллеги, и самих социологов. Этот рынок с самого начала отличался высоким уровнем конкуренции и потому порождал наиболее

эффективные практики работы. Распространяясь на все виды социологических исследований, он стимулировал такие процессы, как использование наиболее перспективных методологий и техник работы, применение новых компьютерных технологий сбора и обработки данных, и все это делалось в силу имманентных, а не административных или инициативных причин. Уверен, что рыночные исследовательские практики дали толчок развитию российской социологии, который коснулся и не рыночных секторов нашей науки. Для меня в этом подлинное значение развития политических и электро-альных исследований.

Теперь – о наших проблемах. Поначалу, все было проблемой. Найти заказчика, подобрать и обучить интервьюеров и супервайзеров, наладить процедуры сбора и обработки данных, снять офис, привлечь на свою сторону общественное и профессиональное мнение – проблемам не было числа. Три первых месяца работали без всяких доходов – все расходы производились из своих собственных денег, залезали в долги. Упорство, не желание отступать, поддержка коллег, в том числе из Ассоциации – все это определило работоспособность организации и ее успешность.

Как ты тогда позиционировал свою деятельность? Брались за все или были какие-то особые направления, которые были для тебя главными?

Объектами творчества и коммерции стали самые горячие темы тех дней, рожденные перестройкой политических институтов, модернизацией экономики и социальных отношений. Работать было потрясающе интересно. Несмотря на то, что приходилось браться практически за любую тему, постепенно намечались относительно самостоятельные направления работы. Эти направления различались и типом применяемой научной методологии – опросы мнений и аналитическая работа с вторичными данными, статистический анализ, анализ публикаций в СМИ и т.п. – и объектами анализа: политика, экономика, экология, качество жизни, позже разные типы рынков. Мне кажется, что в целом с научными задачами мы успешно справлялись, чему в первую очередь способствовала квалификация специалистов Центра.

Однако с самого начала обнаружили и острые проблемы. В частности, наш опыт управления быстро устаревал из-за наступления новых времен. Это мешало нахождению внятной концепции управления экономикой Центра, обеспечению роста доходов, рациональному расходованию средств. Отсутствовали эффективные инструменты продаж наших «услуг».

Не хватало экономических знаний и опыта хозяйствования. Самый грамотный в этих вопросах социолог В. Гороховский стал Генеральным директором СНИЦ. С отношениями в коллективе после избрания В. Гороховского руководителем организации и связана первая производственная драма, характерная для многих самоуправляемых организаций того времени. Вадим справедливо привлекал наше внимание к проблемам экономики и финансового управления, умению «считать деньги», однако предлагавшаяся им модель управления нам казалась вполне советской, как тогда говорили, командно-административной. Мы полагали, что функцию финансово-хозяйственного менеджмента следовало отделить от управления процессом исследования, отдать гендиректору хозяйство и финансы, а исследовательский процесс осуществлять на началах самоуправления. Но в этой схеме исчезал «главный менеджер», осуществляющий общий контроль над работой организации. Вадим не мог с этим согласиться. По-видимому, кроме психологических причин, были здесь опасения того, что организация останется без управления, обеспечивающего успех. Возник конфликт, в котором каждая из сторон считала себя правой. Как и в каждом конфликте, в нем проявилась эмоциональная сторона, взаимные подозрения, упреки, обиды, обвинения. Коллектив принял решение об освобождении Генерального директора от должности. Другой роли Вадим не принял и ушел из компании. Меня избрали Генеральным директором. Сейчас я думаю, что человеческая драма явилась следствием организационного конфликта: обе стороны – коллектив и директор – не смогли внятно объяснить друг другу, в чем объективная природа конфликта, какие организационные преобразования могли бы вывести конфликт на цивилизованный путь. К сожалению, этого не случилось, и уход Гороховского не снял проблемы. Хотя работы было в то время достаточно, проблемная ситуация сохранялась. И мой подход к управлению во многом базировался на прежнем опыте, на представлении об экономике, как об «управлении расходами».

Экономика зарабатывания денег требовала других знаний, других навыков и инструментов управления, они приобретались тяжело, методом проб и ошибок. В какой-то степени все мы люди с академической карьерой, пришедшие в тот период в бизнес, пережили синдром В.Черномырдина, который, будучи Председателем Советом Министров РФ, управлял экономикой страны и параллельно обучался основам рыночной экономики.

Думаю, вы были одними из первых (первыми) в городе, кто начал осваивать САТІ. Как это происходило? Когда начались переговоры с Финским Гэллапом о создании в Петербурге их филиала?

Так вышло, что, если первое знаковое событие – «драма», о которой я рассказал выше, случилась со мной в начале работы в новой организации, то второе – ознаменовало конец.

В 1991 г. мне было ясно, что работа преимущественно в сфере исследований социальных и политических проблем не позволяла развивать финансовый успех компании не только по «внутренним» причинам, но и по «внешним». Не был сформирован полноценный рынок информационно-аналитических услуг, местные правительственные структуры работали в основном с академическими институтами и «проверенными» специалистами. Новых институций и новых лиц боялись, им часто не доверяли. Бизнес только начинал долгую дорогу собственной социально-политической идентификации. Политики проявляли интерес к исследованиям только по поводу выборов, а средства массовой информации предпочитали получать социальную информацию бесплатно. Предложение превосходило спрос. Доходов для накоплений и реинвестиций не хватало. А ведь требовалось также переобучение персонала и лучше это было делать в зарубежных образовательных центрах, где можно было познакомиться с лучшими исследовательскими практиками. Необходимо было обновлять оборудование, улучшать офис, что в условиях непрерывного роста арендной платы сделать было не просто. На все это не хватало средств. Требовался финансовый партнер, лучше зарубежный, который предоставил бы инвестиции в развитие.

В этот период ты и Борис Максимович Фирсов познакомили меня с Лейлой Лотти – директором финской компании «Суомен Гэллап», замечательной женщиной, менеджером и исследователем, добрым и отзывчивым человеком. Я рассказал Лейле о нашей компании. Она, как стало ясно позже, искала партнера в России. Лейла сделала нашей компании несколько заказов на исследование рынков. Качество нашей работы, по-видимому, ее удовлетворило. Через несколько месяцев, прошедших после нашего знакомства, она предложила мне поставить в СНИЦ компьютерную систему телефонных опросов – САТІ, которая позволяла существенно повысить качество и оперативность проведения телефонных опросов и была бы в то время первой такого рода системой, установленной в Петербурге. Естественно, что такое предложение предполагало участие финского партнера в капитале нашей компании. Мне казалось это справедливым, и я предложил нашим сотрудникам, которые вместе со мной к тому времени являлись акци-

онерами СНИЦ, принять соответствующее решение. Однако я получил отказ. Я провел переговоры с финским Гэллапом относительно открытия в Петербурге филиала компании. Идея была поддержана финскими партнерами. В 1995 г. была открыта дочерняя компания финского Гэллапа – АОЗТ «Санкт – Петербург Маркет Фактс» (впоследствии ЗАО «Гэллап Санкт-Петербург»), я стал ее директором.

Для меня эта история стала еще одним уроком. Когда СНИЦ акционировался, мы разделили акции между всеми сотрудниками практически поровну, как говорится, по справедливости. Вскоре потребовалась модернизация компании и привлечение для этого ресурсов, но руководитель не мог принять решение, его доля голосующих акций лишь немногим отличалась от долей других акционеров. Главный урок состоял в том, что на начальной фазе модернизации увлечение догматами народного капитализма служит дурную службу. Люди хотят все, сразу и поровну. Высокая концентрация капитала в одних руках способствовала бы появлению ответственного собственника, готового рисковать. «Справедливое распределение акций» препятствовало модернизации. Эта болезнь в определенной степени коснулась и нашего коллектива. Моя ошибка состояла в том, что я, хотя и после споров и дискуссий, пошел на такую схему акционирования, несмотря на то, что прекрасно понимал степень риска. СНИЦ – действующая компания, пусть ее менеджеры и те акционеры, которые в ней уже не работают, сами решат, кто был прав в том давнем споре.

После СНИЦ началась эпоха Гэллапа...

Дочерняя компания финского Гэллапа начала свою деятельность в Петербурге в 1995 г. Она несколько раз меняла свое имя, пока учредители компании не остановились на имени «Гэллап – Санкт Петербург», под которым она была зарегистрирована и существовала до дня реорганизации. Я стал Генеральным директором компании. Это было самое лучшее время в моей трудовой жизни, как с точки зрения профессионального самоутверждения, так и с точки зрения освоения принципиально нового опыта: делового и человеческого. Я познакомился с новым опытом корпоративного строительства в масштабе большой исследовательской организации, ведь финские учредители имели дочерние компании в Москве, Украине, странах Балтии. Я познакомился с высокой и новой для меня корпоративной культурой управления и ведения исследований. Я познакомился с людьми – менеджерами и собственниками, которые олицетворяли для меня новый европейский стиль делового общения и решения возникающих

проблем, наконец, я познакомился с Финляндией – страной, которая стала мне очень дорога, где отношение к людям, образ жизни и отношение к труду я до сих пор считаю образцовыми. Говоря о людях, с которыми мне пришлось работать, не могу не упомянуть Л. Лотти, Й. Йокинена, М. Хирванена. Также я имел удовольствие познакомиться с Т. Периллой, также представлявшей в то время финский Гэллап; с ней мы сохранили дружбу до настоящего времени.

Я получил опыт строительства и управления большой исследовательской компании в Петербурге, в нем было много и негативного и позитивного, опыт пользования знаменитым международным брэндом, которое открывало многие двери. Благодаря своей работе, я сотрудничал со многими яркими петербургскими и московскими экспертами, политиками, журналистами и чиновниками. Особенно отмечу знакомство с Анатолием Александровичем Собчаком, с которым мы обсуждали политические проблемы после его возвращения из Парижа, и с Галиной Васильевной Старовойтовой. Мне безмерно жаль, что их уже нет с нами.

Тогда я вновь позволил себе расширить область профессиональных увлечений. Осваивал методы и технику исследования рынков, стал глубже понимать проблемы социологии политики, и, прежде всего, электоральной политики, постигал новые для себя качественные методы, такие как фокус-группы, концептуальные тесты, глубинные интервью. Сожалею о том, что тот период в 2002 г. окончился.

Примерно, за год у материнской компании, по-видимому, возникли финансовые трудности. Финские учредители продали часть своих акций крупной финской финансовой корпорации, а затем стало известно, что контроль над финским Гэллапом перешел к TNS – крупнейшей международной исследовательской корпорации. За этим последовало репрофилирование и закрытие некоторых из дочерних компаний финского Гэллапа, усиление финансового менеджмента и ориентации на прибыль концерна. Петербургской компании было предложено стать полевым партнером московской компании Gallup Media Russia, расширяющей свою деятельность в Петербурге. Фактически речь шла об использовании петербургской компании в качестве «сборщика данных» для московского офиса. Это не соответствовало ни научным амбициям, ни уровню квалификации большинства персонала. Ими было принято решение об уходе из компании. Конечно, не последнюю роль в принятии TNS решения сыграло то, что доходы Петербургского Гэллапа не шли ни в какое сравнение с доходами московских компаний группы, ориентированных «матерью» целиком на

маркетинговые и медиа- исследования – наиболее лакомые куски исследовательского рынка. Но при этом не были учтены ни особенности петербургского рынка, ни особенности и стратегическое значение позиционирования нашей компании как исследователя общества, политики и качества жизни. И сейчас, и тогда была две правды: правда TNS и наша правда. С моей точки зрения, сохранение прежнего позиционирования компании позволило бы ей стать серьезным фактором политической и деловой жизни Петербурга и, благодаря этому, начать приносить собственникам солидные дивиденды.

Какими в этот период были «личные творческие планы», что удалось и что не удалось сделать?

Отмечу четыре главных направления.

Во-первых, исследования проблем российских модернизации, реформирования социальных, политических и экономических институтов. Хотелось понять смысл, эффекты и возможные сценарии их осуществления.

Во-вторых, появился интерес к теории и исследовательским практикам бизнеса, прежде всего, к использованию социологических методов в маркетинговых и рекламных исследованиях. Особенно интересной мне казалась теория корпоративного гражданства, социальной ответственности бизнеса, в которой обнаруживались ответы на многие вопросы социологии бизнеса. Думаю, мне удалось сделать по этим вопросам ряд важных публикаций в новых деловых журналах, таких как «Топ – менеджер», «PR – диалог» и др.

Третьим направлением работы явилась политическая социология, и, прежде всего, ее электоральные аспекты. Интегрирующим стал интерес к проблеме «публичного бытия социологии», то есть социологии, встроенной и живущей по законам публичной жизни, журналистики, политики, повседневности. Особенно важной в этой части является функция социологии как выразителя интересов различных социумов, взаимодействующих в социальном пространстве. Тот, кто внимательно следил за эволюцией социологии, вероятно, согласится со мной, что она выполняла и продолжает выполнять важную функцию в диалоге власти и общества, в наведении мостов между различными социальными акторами. Я старался уяснить место и роль социологии в обуреваемом конфликтами петербургском сообществе, раскрыть причины, мешающие наведению мостов и роль социологии этом процессе. Наконец, я продолжил публикации по тематике качества жизни применительно к разным объектам и сферам жизнедеятельности города. К моменту моего ухода из компании мною было опубликовано

ликовано свыше 150 работ. Активно участвовал в различных конференциях, семинарах, круглых столах.

Давай вернемся к «Гэллапу». Как бы ты оценил роль этой компании в развитии социологических исследований в Петербурге?

Эту роль трудно переоценить. Хотя «Гэллап» не был первой компанией в Петербурге, проводившей социологические исследования на коммерческой основе, именно ее деятельность положила начало регулярного и публичного сканирования общественных, политических, экономических проблем, связанных с социальными и экономическими трансформациями, становлением бизнес-процессов в городе. Мы поставили на поток проведение опросов общественного мнения по большинству актуальных проблем, стремились подвергать углубленному анализу развитие социальной и политической ситуации в городе, публично презентовали результаты в средствах массовой информации.

Многие из этих исследований проводились «за свой счет» и отнюдь не только потому, что это для нас становилось рекламой, мы видели в этом свой общественный долг. Мы первыми в городе стали использовать современные технологии и программные средства, значительно повышающие эффективность исследований. «Гэллап» дал толчок распространению современных компьютерных технологий сбора, обработки и анализа данных, таких, например, как САТІ и САРІ. В исследовательской практике мы способствовали широкому распространению так называемых качественных методов, фокус-групп, различных тестирований, неформализованных интервью. Появление в Петербурге компании со столь мощным, пользующимся международной известностью брэндом, собственная деятельность компании, отмеченная рядом ярких достижений, обусловили ее высокую известность в городе и авторитет. Компания становилась одним из влиятельных акторов социального пространства города, к ее мнению прислушивались, с ее выводами считались. Политики, журналисты, депутаты и администраторы уже не могли не учитывать результаты исследований и опросов общественного мнения при принятии решений.

Авторитет нашей компании влек за собой рост авторитета других социологических компаний и организаций, хотя, очевидно, что пользователи часто не различали социологические исследовательские практики и академическую работу социологов, все называя социологией. Пусть! В целом рос интерес и значимость результатов социологического творчества и институтов этой науки. Сейчас в Петербурге, едва ли не каждый день сталкиваясь с публикациями, использующими резуль-

таты исследования мнений и выводы из осуществленных исследований проектов, обращая внимание на постоянные апелляции руководителей и представителей обществственности к мнениям социологов по всем горячим общественным событиям, участвуя в множестве круглых столов, конференций и семинаров, на которых присутствие социологов стало обыденным, я думаю – начало этому положил «Гэллап».

Компания «Гэллап–Санкт-Петербург» заставила политические, административные и бизнес круги прислушиваться к общественному мнению, а население уважать результаты исследований социологов. С появлением компании «Гэллап» в Петербурге было положено начало созданию полноценного рынка социологических услуг, наметился правомерный водораздел между академической социологией, независимыми некоммерческими научными объединениями и исследовательским бизнесом социологов. Начали внедряться конкурентные принципы в работу институтов «социологического рынка», включая образовательные учреждения. Воспитанные в конкурентной среде, в атмосфере свободного творчества сотрудники компаний, в своем большинстве молодые люди, демонстрировали образцы высокопрофессиональной работы и успешных карьер. В первую очередь это относилось к компании «Гэллап»: кажется, в Петербурге нет в настоящее время сколько-нибудь известной социологической компании, которую не возглавляли или в которой не работали бы люди, прошедшие школу «Гэллапа». Наши достижения и неудачи способствовали профессиональному росту социологов и обучению способам деятельности, гарантирующим успех.

С какими проблемами сталкивался «Гэллап» в работе, что создавало трудности?

Проблем и трудностей было немало, частично они имели объективные основания, частично возникали из-за ошибок менеджмента. Мы работали на петербургском рынке, капитализация которого не шла ни в какое сравнение с московским, да и не только с московским. Компания, ориентированная на финансовый успех, должна была следовать логике российского рынка: хочешь успеха – становись московской «колонией». Собственный рынок был весьма ограниченный, а Москва непрерывно и в больших объемах заказывала полевую работу, диктуя цену и определяя стандарты ведения работ.

Между тем, миссия организации, носящей имя Гэллапа, не позволяла становиться чисто полевой компанией, ориентированной исключительно на коммерческий успех и зависи-

мое партнерство с более сильными компаниями. Мы не могли не проводить опросы общественного мнения, благодаря которым и возник брэнд, не могли не исследовать элементарные процессы, не оценивать развитие общественно-политической ситуации, не заниматься исследованиями эффективности рекламы. К тому же эти темы входили в круг профессиональных интересов и умений большинства специалистов компании. Так что независимая, самостоятельная деятельность компании с акцентом на ее социальную миссию, диктуемую брэндом, стало нашим выбором. Однако было ясно, что настоящие деньги зарабатывались лишь на быстро растущем рынке маркетинговых и особенно медиа-исследований. Мы старались работать во всех направлениях, развивать маркетинговые исследования, но при этом сохраняли основное позиционирование компании. С точки зрения ведения бизнеса, это была рискованная стратегия.

По настоящему успешная работа в двух основных сегментах информационно-аналитического рынка требовала больших ресурсов, очень крупных инвестиций, на которые наш учредитель не мог или не хотел идти. Могла быть также иная стратегия: реорганизация компании, диверсификация бизнеса. Ни то ни другое сделано не было, и это наложило существенный отпечаток на скорость и масштаб экономического развития компании, на рост доходов персонала.

Ты можешь задать вопрос, почему учредитель со 100% участием не предпринял попытку изменить стратегию своей работы на петербургском рынке, ведь в конечном итоге это была его задача. Дело в том, что учредитель предоставил менеджменту компании карт-бланш и не особенно стремился вмешиваться в его работу. Он уже имел две успешные московские компании, одна из которых была занята маркетинговыми исследованиями, другая – медиа. Учредитель мог позволить себе дать возможность менеджменту нашей компании «поискать рыночную нишу», соответствующую условиям успешного ведения бизнеса в Питере. Кроме того, он не возражал против нашего позиционирования, но решительно не хотел вмешиваться в политику и социальные пертурбации в другой стране. Стратегический поиск он передал в руки питерского менеджмента, надеясь при необходимости получить сигнал от Генерального директора, который должен был направлять решения учредителя. Мне же в тот период казалось, что стратегия, которую я для себя определил как наилучшую приведет к быстрым и успешным финансовым результатам при сохранении универсального характера работы компании, поэтому я не спешил с «отмашкой».

О какой стратегии ты говоришь?

Это очень важный вопрос. Казалось бы, занимая почти монопольное положение на рынке социологических услуг, мы могли диктовать ему свои условия, расширять свою долю и собирать хорошую прибыль. Только вот проблема заключалась в том, что пространство, где мы работали, еще трудно было назвать в настоящем смысле рынком. Монопольным клиентом (если говорить о солидных заказах) было государство, различные институты власти, которые обладали необходимыми финансовыми ресурсами. В тот период заказы по большей части распределялись без конкурса, исполнителями становились в большинстве случаев научные учреждения, принадлежащие тому же самому государству. Чтобы быть причастным к этой системе, надо было либо становиться частью этой научной инфраструктуры, либо, работая, учитывать интересы заказчиков.

Независимое существование вызывало подозрение и недоверие и у власти, и у оппозиции того времени. Независимыми заказчиками можно было с полным основанием считать иностранные организации и наши СМИ. Однако спрос на социологическую информацию со стороны иностранных заказчиков в Питере был невелик, а СМИ предпочитали бартер: информацию в обмен на рекламу на их страницах. Для меня стало очевидным, что нельзя заставить власть финансировать исследования на наших условиях и отказаться от халявы и халявщиков, если сам не становишься «властью», то есть человеком, обладающим способностью «вмешиваться в цепь событий, чтобы что-то изменить».

К 2000 г. я занял определенное место в деловых, профессиональных и политических кругах города, об этом свидетельствовал, в частности, рост предложения работ со стороны серьезных клиентов, и это же давало мне надежду, что я и впредь буду деловым партнером многих потенциально важных для нашего рынка заказчиков. Но я ошибся с оценкой скорости входа серьезных клиентов на рынок, скорости формирования потребности в социологических знаниях с их стороны и понимания важности объективной оценки проблем. Фактически только сейчас с другой организацией я пожинаю плоды своей стратегии, но на момент реорганизации компании нужного для новых хозяев уровня финансовых достижений не было достигнуто, значит, не было главных для них аргументов сохранения позиционирования компании.

Является ли избранная мною стратегия универсальной? Думаю, что нет! Скорее она является альтернативной процессу развала компании при заданном позиционировании, разделению ее бизнеса. Стоило ли препятствовать ее специализации,

работе в узком сегменте рынка для быстрого достижения высокого финансового успеха? Не знаю. Я до сих пор уверен, что если бы удалось достичь понимания с учредителями – старыми и новыми – в отношении стратегии работы компании на петербургском рынке, то она сохранилась бы в прежнем позиционировании, сохранила бы универсальный характер и прибавила бы в своих финансовых показателях.

Все начинаю снова...

Какими были твои следующие проекты?

Ко времени ухода из «Гэллапа» у меня уже была собственная небольшая семейная фирма, занимавшаяся исследованиями исключительно в сфере туризма. Сегодня – это достаточно большая компания «Агентство Социальной Информации» (АСИ), успешно оперирующая на петербургском рынке социологических и маркетинговых исследований. Определенную роль в ее становлении в «постгэллаповский» период я сыграл, правда, основные её успехи пришли благодаря собственному менеджменту компании. Я был главным образом занят в других проектах, увлекался новыми темами исследований и организационными проектами, сотрудничал и консультировал различные организации коммерческие и некоммерческие фонды, СМИ и бизнес.

Создается впечатление некоторой всеядности...

....согласен! Когда я думаю о своей научной идентификации, то вот какие мысли приходят. С молодости до нынешних дней люблю живое общение, люблю участвовать в обменах мнениями. В студенческие годы и в научной работе любил дискуссии, участие в семинарах и конференциях. Любил предлагать казавшиеся мне инновационными решения и идеи и не жалел расставаться с ними, отдавать другим. Процесс больше нравился, чем результат. Мне была тягостна кропотливая работа с литературой: не с уникальными инновационными публикациями, поражающими воображение, а именно дотошное изучение массы источников, застольная научная работа, без которой трудно представить себе труд академического ученого.

Мне удавались прогнозы, построенные на минимуме информации. Эти прогнозы могли касаться макросоциальных изменений или судьбы отдельного депутата на выборах, но часто они бывали точны. Я вряд ли был бы способен создать развернутую научную теорию, но выдвинуть и обосновать новаторскую идею или решение у меня получалось. В бизнесе такой тип

специалиста именуется консультантом или экспертом. С этой точки зрения, я бы назвал себя социологом-консультантом, или социологом-экспертом.

Мне нравилось не только созерцать, но и участвовать в социальных изменениях, ставить практические цели и добиваться результатов. В давние годы учебы я участвовал в издании факультетских газет, за которые не раз был бит парткомом, и организовывал студенческие научные конференции. В НИИКСИ я увлекся практикой планирования социального развития, и мне нравилось постигать методы управления городом. А самому было очень интересно управлять научным коллективом.

Сейчас я занимаюсь общественной деятельностью, публикуя результаты опросов и выступаю в СМИ как политический эксперт. Мне нравится публичная деятельность, ибо она может способствовать положительным социальным изменениям, хотя я понимаю, что в большинстве случаев мои надежды тщетны.

Я многое понял, читая твои работы о великих американцах – основателях опросной методологии и родоначальниках изучения общественного мнения. Я обратил внимание на то, что их вряд ли можно отнести к тому типу ученых, который получил широкую распространенность в Европе. Как правило, их научные (аналитические) интересы переплетались с интересами к деятельности в областях журналистики, бизнеса и политики, и эти переплетения часто создавали кумулятивный эффект – в виде высоких индивидуальных достижений и общей эффективности. Сейчас таких людей чаще называют консультантами, экспертами, но никак не кабинетными учеными. Мне близка подобная идентификация, хотя, конечно, я не сравниваю себя с великими американцами.

Каков твой опыт взаимодействия с частным бизнесом?

Все бизнесмены, которые вместе со мной создавали новые организации, были очень разными людьми, по характеру, по стилю принятия решений, по методам ведения бизнеса. Но было и то, что их объединяло. Они очень успешные бизнесмены, достигшие серьезных результатов в своих бизнесах: консалтинговом, медийном, торговом. Это люди, несомненно очень талантливые, имеющие хороший уровень общей культуры и знания, необходимые для ведения бизнеса. Не говоря уже об их природной хватке, силе и уме. Однако была общая черта, которую я интерпретирую как негативную. Многие наши бизнесмены мне напоминают лилипута из известного анекдота, который, женившись на баскетболистке, всю ночь ходил по ней и говорил: «Это все мое!». Занятие интересное, но я бы ска-

зал не функциональное. Бизнес по своей философии и «телу» больше, чем любой отдельный бизнесмен. Теоретически наши капиталисты понимают, что существует разделение функций собственников и менеджеров, сфер стратегического управления и стратегического маркетинга и текущих управленческих функций, только вот в практике управления они редко учитывают это разделение.

В чем тут дело, то ли в старых привычках, то ли в новых страхах, то ли еще в чем, но всем этим людям необходимо управлять всем и вся. Для меня это обернулось тем, что я становился не равноправным партнером, а предметом полезного использования. Совсем как в прошлые времена. Разделить дело так, чтобы работать на общую цель, но каждому заниматься своим делом, не получалось. Главным собственным достижением этих лет я считаю финансовую и профессиональную самостоятельность, которые позволяли мне выходить из ситуаций, которые казались бесперспективными. Постгэллаповское время не прошло зря. Было много творчества, интересных дел, достойных доходов и интересного общения. Были реализованы уникальные творческие проекты, решены многие важные проблемы. Сейчас я в качестве собственника управляю бизнесом АСИ, являюсь независимым специалистом, консультирую политиков и предпринимателей, выступаю в качестве эксперта.

Теперь спрошу тебя о твоей работе со средствами массовой информации, у тебя большой опыт подобного сотрудничества.

Да, это очень большая часть моей жизни и работы. Мне даже трудно сказать, какое количество интервью и комментариев я дал средствам массовой информации, сколько опубликовал статей в газетах и популярных журналах. К тому же мне пришлось вести колонки в ряде газет, особенно ценна для меня работа на питерских страницах газеты «Известия» – одной из немногих газет близких мне по духу. Сейчас постоянно комментирую результаты исследований в газете «Санкт-Петербургский Курьер».

Наиболее интересным для меня явилась работа на ТВ. В начале 2004 г. телекомпания СТО пригласила меня в качестве автора и ведущего в программу, которую мы назвали «Мнение Петербурга». Еще одним соавтором и ведущим стал журналист Виталий Шиншин. Кажется, это одна из тех редких программ, которые целиком были посвящены рассказу о мнениях жителей Петербурга по самому широкому спектру проблем – политических, экономических, культурных и повседневной жизни. В этой еженедельной программе ведущие знакомили телезрителей с мнением политиков, общественных деятелей,

экспертов и обычных граждан по волнующим их проблемам, а также публиковали результаты профессиональных опросов общественного мнения по этим же проблемам. Подготовка и ведение программы доставляло мне истинное удовольствие, хотя хлеб этот не казался мне легким. Участники программы представляли различные точки зрения на любую обсуждаемую проблему, открыто комментировали события, освещая их так, как им они представлялись, давали различные оценки. «Мягкие» комментарии ведущих становились частью этого диалога, они вплетались в ткань общей дискуссии. Это давало возможность телезрителям выслушивать всех и вырабатывать свою точку зрения. К сожалению, серьезные финансовые проблемы привели телекомпанию к необходимости сворачивать вещание. Большое число программ было закрыто. Одной из последних была приостановлена работа программы «Мнение Петербурга». Надеюсь, что владельцы канала найдут выход из положения и вернут эту и многие другие программы в эфир.

Должен ли быть социолог публичной личностью?

Исследовательский бизнес, которым я занимался, требовал участия в рекламных и имиджевых акциях. Без этого не было бы успеха в делах. Но я был бы неискренен, если бы свел все дело исключительно к деловой мотивации. Должен сознаться, что в моих поступках присутствовало стремление к общественной пользе, так как я ее понимал. Мне казалось, что право граждан на информацию должно обеспечиваться и в отношении, той информации, которую получают социологи. Граждане должны знать о точке зрения или о точках зрения профессионального социологического сообщества на события их жизни. Меня можно обвинить в мессианских наклонностях. Возможно, что это так: по моему, никто до конца не знает, почему он следует той или иной жизненной стратегии. Я не исключение! Вот только, я рассматриваю это как свой долг, абсолютно не считаясь с тем, изменится ли после этого мир или останется прежним. Как говорил герой замечательного кинофильма «Мимино», – «я ТАК думаю!» Но дело, в конце концов, не во мне. Дело в том, каким должно быть поведение социолога в публичной сфере и должна ли вообще им осуществляться публичная деятельность. Я не собираюсь полемизировать с некоторыми моими коллегами о миссии социологии, социологических институций и отдельных социологов. Если кому-то из моих коллег кажется, что социология исключительно академическая научная деятельность и круг общения по профессиональным вопросам должен быть ограничен научным сообществом, я не стану спорить. Просто у меня другая точка

зрения. Кроме того, не я один активно занимаюсь публичной деятельностью. Многие мои российские коллеги участвуют в качестве экспертов в обсуждении важнейших социальных, политических и экономических проблем на различных, и не только научных, форумах, активно участвуют в деятельности СМИ. Это особенно касается тех коллег, которые занимаются полстерской деятельностью, которую трудно представить без публичного диалога с политиками, государственными деятелями, журналистами и общественными активистами. Московское социологическое научное сообщество, например, одно из самых публичных, и потому и самых влиятельных.

Я считаю, что необходимость и целесообразность публичной деятельности уже не предмет профессиональных споров, а вопрос частного выбора. Но признание это влечет за собой обсуждение правил и принципов публичной деятельности отдельных социологических институций и отдельных социологов. Мои взгляды на этот вопрос нашли отражение в «Профессиональном кодексе социолога», который я разработал для Санкт-Петербургской Ассоциации Социологов (СПАС). Этот кодекс, в разработке отдельных частей которого принял участие Виктор Воронков, был утвержден на Общем собрании СПАС и опубликован в журнале «Телескоп».

В Кодексе сформулированы следующие принципы профессионального поведения. Первый принцип касается политической деятельности и политических пристрастий социологов. Я считаю, что их необходимо исключить из публичных социологических практик. Личное мое отношение к политике проявляется на выборах, в дискуссиях с коллегами – политологами, на научных собраниях и конференциях. Я не скрываю того, что имею правые убеждения, что считаю правую идеологию наиболее эффективной и «человекоориентированной», что голосую постоянно за правых политиков. Но я делаю все, чтобы это никак не сказывалось на моей профессиональной деятельности и на представлении результатов исследований публике. Я ни прямо, ни косвенно не подстраиваю под чей-то интерес результаты исследований, и уж тем более не занимаюсь их фальсификацией. Считаю, что объективное знание может помочь людям, которые имеют полезные для граждан намерения, и воспрепятствовать тем, кто использует социологические исследования во зло. Второй принцип – это предоставление информации и консультаций всем организациям и лицам, которые имеют законные права получать и распространять информацию, независимо от личных симпатий или антипатий исследователя. Социологическая фирма, особенно, если она работает на коммерческой основе, и отдельный со-

циолог не являются «магазинами только для белых». Дело не в том, чтобы закрывать информацию от власти или, напротив, от оппозиции, от несимпатичных политиков или наоборот представлять информацию политическим силам, которым симпатизируешь, а в том – насколько объективны, полны и надежны результаты, которые ты представляешь. Для меня вопрос использования результатов (если только не уходить в специальные области ядерной энергетики или генетики и т.п.) лежит за пределами компетенции исследователей и не подконтролен социологическому сообществу, за исключением тех случаев, когда результаты фальсифицируются политиками или используются для того, чтобы опорочить какие-то организации или людей, причинить им вред. Подобные прецеденты требуют немедленного вмешательства социологического сообщества. В Кодексе социолога описано, как следует вести себя социологическому сообществу в лице Ассоциации в этих случаях. Но исключения только подтверждают правила.

Следующий принцип состоит в том, что надо находить собственные ресурсы для проведения исследований по наиболее острым и актуальным проблемам нашего бытия и открытого и гласного обсуждения этих проблем. И дело не в том, чтобы исключить вполне цивилизованный принцип эксклюзивности в отношениях с клиентами, а в том, что исследования многих проблем представляет интерес для всего общества и могут не иметь конкретных «заказчиков». Долгое время доходы компаний, в которых я работал, позволяли создавать ресурсы для проведения подобных исследований «за свой счет». Это лучший путь. Но не всегда осуществимый. И еще один принцип: принцип «следования принципам», даже если на этом пути стоят серьезные препятствия. Такое случалось и в 1991 и в 1993 гг., когда организации, которые я возглавлял, продолжали свое дело в условиях государственного переворота или развязанных оппозицией всполохах гражданской войны. Исследовали, опрашивали и сообщали о результатах. Скажу, что властям в тот период легко было принять решения, ибо общественное мнение, в том числе определенное в ходе социологических опросов, было на их стороне. Но трудный вопрос состоит в том, что делать, если оно было бы против. Публиковать результаты и выходить на площадь или не публиковать вообще? Конечно, жизнь есть жизнь, и иногда приходится поступаться принципами, но я стремился следовать им, независимо от того, как складывалась ситуация.

Как случилось, что результаты твоих многолетних исследований сознания петербуржцев не обобщены в книге?

Книга об этом – отложенный проект. Сохранились документы, сохранились материалы исследований, сохранились впечатления о событиях, сохранились намерения. И тогда, и сейчас не хватало одного: возможности без суеты и спешки посидеть за компьютером месяцев этак шесть, не меньше. То, что мне нравилось все это новое время: проводить исследования и заниматься бизнесом на исследованиях, практически не оставляет времени на осуществление больших литературных проектов. К тому же заметь, практикующего социолога никто не кормит, он сам зарабатывает себе на хлеб. Правда, в последнее время заметил появление внутренних импульсов – остановиться и подвести хотя бы промежуточный итог своим раздумьям. Посмотрим, удастся ли!

О важном понемногу

Большая часть твоей социологической карьеры состоялась в советские времена. Нет ли у тебя ощущения, что в то время ты работал в «социологическом гетто»?

И да, и нет. Конечно, если говорить об объективных границах наших возможностей, то ты нашел совершенно точное определение ситуации. Перед менеджментом любого обществоведческого института властью ставилась главная задача: осуществлять контроль за информацией, людьми и идентификацией науки как марксистско-ленинской. На это же работала и партийная вертикаль. Информация контролировалась «на входе» и на «выходе», селекцией источников и рецензированием работ, отбором «правильных» людей при найме на работу, при перемещениях кадров и при выборе кандидатов на заграничные поездки. Занятие определенных должностей требовало партийности и принадлежности к титульной нации. Все научное творчество должно было быть сведено к развитию марксистской теории или использованию марксизма в качестве единственной методологической основы исследований. Все это обеспечивалось административным ресурсом, неформальным контролем, идеологическими практиками и партийными установками, действующими как закон. Но в тот период, о котором я говорю, обеспечить тотальный контроль уже было невозможно. Информация приходила по каналам, которые власти трудно было контролировать, например социологи многое почерпнули из статистической теории и методологии, в том числе из зарубежных переводных книг, необходимая информация поступала из источников, посвященных критике буржуазной социологии. Сейчас понятно, что некоторые из этих

книг и создавались для того, чтобы предоставить специалистам нужную информацию. Официальным правилам подбора кадров, кадрового продвижения и занятия должностей противостояли институты знакомств, блатов и социальных связей, а иногда и «покупка» должностей. Сложно было и с базовой научной идентификацией, ибо началась эрозия самих догматов, пошли разговоры о неоднородности марксизма. Толчек этим дискуссиям дали, в частности, работы Ильенкова и Батищевых, фактически положивших начало ревизии марксизма с позиции «правильного марксизма», определявших ранние работы Маркса как «настоящий марксизм».

И в НИИКСИ можно было говорить и о специалистах, свято веривших в каноны, или цинично их использующих для обеспечения карьерных успехов, и о людях, стремившихся «творчески развивать марксизм», упомяну, например, талантливейшего Л.И. Спиридонова, который возглавил разработку темы: «Социализация личности как функция общества». Но были также ученые, и их было достаточно много, которые, делая ритуальные поклоны в сторону марксизма, занимались конкретными проблемами, используя для этого ту методологию, которая позволяла им их решать. Явно или не явно. Это, прежде всего, относилось к социальным психологам.

Понятно, что субъективно значительная часть специалистов отнюдь не рассматривали условия своей работы как условия «гетто». Возможно, что некоторые из них только в таких условиях могли делать научную карьеру. И было еще одно обстоятельство, которое нельзя обойти молчанием. Большинство начальников и рядовых служащих, по крайней мере, в нашем институте уже не очень-то хотели становиться церберами и доносчиками; медленно и малозаметно, но начали меняться общественные представления о хорошем и плохом, правильном и не правильном, достойном и не очень. Университет, в целом, и наш Институт, в частности, бывало, что и прикрывали «идейно провинившихся». Нескольких преподавателей «сослали» с факультетов в НИИКСИ, явно спасая от более серьезных наказаний. Думаю, что эти процессы можно было наблюдать и во многих других обществоведческих институтах. Начинался закат империи.

В.А. Ядов трактует марксизм как одну из составляющих базы современной мировой социологии, однако многие российские социологи стараются дистанцироваться от марксизма. Что ты скажешь по этому поводу?

Не мне поправлять Ядова. Очевидно, у него есть резоны так утверждать. У меня другая точка зрения. Я полагаю, марк-

сизм займет свое место в музее истории социологии, не более того. Он не прошел испытание историей. Ни один из догматов марксизма не был подтвержден исторической практикой. Отношение труда и капитала, классов, роль государства, экономический прогресс – весь этот круг проблем не только получил иные более точные трактовки, но и нашел и находит свои решения там, где Маркс видел непреодолимые противоречия. С точки зрения теории познания, марксизм страдал панлогизмом, пытаясь выстроить универсальные и непротиворечивые конструкции там, где их принципиально, в силу открытого и развивающегося характера общества и множества других причин выстроить было нельзя. Марксизм можно обвинить и в номинализме, философии, заимствованной из донаучных постулатов средневекового мышления. Народ, классы, пролетарии, общество, государство, эксплуатация – эти общие понятия являлись для марксизма не научными понятиями, а объектами реальной жизни, что стало методологическим и ценностным оправданием чудовищных административных практик и революционного разбоя. Марксизм в ряде случаев указал на реальные проблемы, ну и что? Достаточно ли этого, чтобы оправдывать чудовищно одномерное и далекое от жизни учение, породившее (и кажется продолжающее порождать) к тому же столь же чудовищные социальные практики. Я прожил большую часть жизни под знаменем «единственно верного учения», в школе, институте и на работе постоянно звучали марксистско-ленинские догматы. Я наблюдал освещенную ими жизнь во всей ее «красе». И не стоит мне говорить, что это, возможно, было извращение марксизма. Это была именно та жизнь, в которой нашли воплощения основные положения марксистской теории. Несвободная и бедная во всех смыслах жизнь. Дай Бог, чтобы моим детям не пришлось вновь жить такой жизнью!

Мой анализ текстов интервью с Б.Фирсовым, В. Ядовым, Б. Грушиным, Я. Гилинским и другими показывает, что в течение последних 15 – 20 лет все они сделали больше, чем за предыдущие годы работы. Думаю, что дело в ощущении свободы творчества. Чем бы ты объяснил это?

Я абсолютно с этим согласен. Как бы ни оценивать новые времена, но нельзя отрицать, что они принесли свободу творчества, о которой раньше приходилось только мечтать. Но я хотел бы заметить, что свобода для меня это не только внутреннее ощущение. Тогда пришлось бы признать правоту тех наших коллег, которые говорят, что они и при советах были свободны, внутренне свободны. Для меня свобода – это пре-

жде всего совокупность реальных обстоятельств жизни: право получать и распространять любую необходимую мне информацию, высказывать в любой форме свои взгляды на тот или иной предмет, право читать и писать, что считаешь нужным, право беспрепятственно выезжать из страны и участвовать во всех научных форумах, куда тебя приглашают, заказывать и получать любые книги, знакомиться с точкой зрения любых авторов. Такая свобода – это воздух, которым дышит наука и который позволяет ей развиваться. Как бы ни критиковать нынешние порядки, но до последнего времени мы все это имели и, потому, и работалось ладно. Для меня свобода это то, без чего я лишаюсь возможности заниматься своим делом, думать и жить.

Но можно задать себе и такой вопрос, кто в большей мере выиграл от наступления свободы, те, кого ты упоминаешь, или новые поколения исследователей-социологов. Кажется мне, что новые поколения выиграла в большей мере. У них возникла возможность получать качественное образование и не только за рубежом. Напомню о том, что в Петербурге, прежде всего усилиями Б.М. Фирсова, создан на европейские гранты и помощь города негосударственный Европейский Университет, который, с моей точки зрения, дает своим слушателям образование европейского уровня, готовит исследователей международного класса. Некоторые из них продолжают преподавать в Университете, готовят следующие поколения специалистов, в том числе социологов. Упомяну также Независимый Центр Социологических Исследований, который, благодаря своим создателям Виктору Михайловичу Воронкову и Эдуарду Афанасьевичу Фомину (ныне покойному), стал ведущим исследовательским центром города, объединившим талантливую молодежь. Есть и другие примеры институциональных изменений в инфраструктуре социологической науки, связанных с наступившей свободой. Результаты не замедлили сказаться. Сейчас в нашем городе можно назвать два десятка молодых талантливых специалистов, работающих на мировом уровне. Природа наделила их талантом, но мастерами их сделала свобода.

Но спроси этих людей, как они оценивают условия своей работы, и большинство станет критиковать новые порядки и нынешние условия творчества. Человек всегда хочет иметь больше, чем он имеет. Или столько же, сколько имеют люди в других местах. Они молоды. У меня же есть что с чем сравнивать. Сравнение не просто в пользу нынешних времен, но просто эти времена невозможно сравнивать. Очень важно сохранить и преумножить эти достижения, а вот здесь есть большие тревоги и сомнения. Значит надо здесь и сейчас пользоваться тем, что имеем и защищать достигнутое.

Что ты скажешь о том поколении в российской социологии, кому сейчас шестьдесят. Это наше с тобой поколение. Мы только продолжили начинания отцов-основателей или пошли дальше, в чем наша «самость» или ее нет?

Трудно ответить на этот вопрос. Россия большая, и ситуация в Москве и Петербурге может, как небо от земли, отличаться от ситуации в других регионах. Кроме того, как у всех нас, у меня свой круг общения, как обстоят дела в «других кругах» не всегда можно знать. Я хорошо знаю питерскую ситуацию, отчасти московскую, но, что происходит в других регионах, почти не знаю. Вот с этими оговорками, все же должен сказать, что для меня твой вопрос не бессмыслен.

Проще всего говорить о молодом поколении социологов, живущих в Петербурге и Москве. Оно взяло все от новой жизни. Не буду повторять то, что уже сказал о нем, с чисто научной точки зрения это преуспевающее поколение. Много ли оно взяло от предыдущего, то есть нашего – не знаю, рискну предположить, что не много. Скорее оно базировало свой успех на установившихся в стране общих условиях научного творчества и профессионального роста.

И вот здесь настало время дать оценку «шестидесятилетним», почему их опыт оказался не вполне востребованным новым поколением. В большинстве своем это люди талантливейшие, высокообразованные и, как сейчас говорят, высококреативные. В Питере я в этот ряд, прежде всего, поставил бы тех, кто работал и работает в академическом Институте Социологии (специально не буду называть фамилии, чтобы по забывчивости не обидеть кого-то, не назвав), но не только. На это поколение объективно выпала сложная миссия. Кроме восстановления и развития традиций русской социологической школы, продолжения дела «отцов-основателей», оно должно было обеспечить новое вхождение (возвращение «на равных») в мировое социологическое сообщество, участие российских ученых в мировой социологической элите. Двери для этого уже были открыты. Кажется, у них было все, что нужно, чтобы решать эти задачи, развивать науку и утверждать свое заметное место в ней (кстати, некоторые это сумели сделать, выехав из страны, или внутри, но я говорю о большинстве). Но в молодости им пришлось преодолевать условия несвободы, условия, к которым ты применил понятие «социологическое гетто», диктаторское вмешательство власти в науку и утверждение «единственно верного учения» в качестве канона с помощью, как бы сейчас сказали, «административного ресурса», и кризисы, пришедшие вместе со свободой в новые времена. Пережить экономический кризис, когда не-

обходимо было думать, прежде всего, о хлебе насущном (мне рассказывали, что один известный питерский социолог, чтобы прокормить семью, до сих пор вынужден заниматься извозом), социально-психологический кризис или кризис идентификаций, неизбежный при радикальных изменениях общественно-экономических устоев, институциональный кризис, когда радикально изменялась организационно-хозяйственная структура научной деятельности и финансирования науки, наконец, парадигмальный кризис, когда коренным образом менялись общая идеология и система ценностей внутри страны, и социологические парадигмы в общенаучном пространстве. На бытовом уровне это означало едва ли не ежедневную необходимость выбора траекторий жизни и творчества, выбора нового пути или модернизации старого. Ситуация не самая благоприятная для творчества и профессионального самоутверждения. Некоторых она вводила в шок, некоторые просто останавливались, отдельные ученые уезжали. Поэтому это поколение не может похвастать научными достижениями, равными тем, которые демонстрировало первое послесталинское поколение советских социологов или тем более лидеры мировой социологии. Думаю, что лучшее, что сейчас может сделать поколение «шестидесятилетних», к которому я отношу и себя, это не сходить с пути, продолжать работать, преодолевая кризисы, и не мешать новым поколениям работать по тем канонам, которые они сами себе изберут, там, где они захотят, и в том направлении, которое им покажется правильным.

Если подводить некоторые итоги, то, чтобы ты назвал главным уроком, полученным тобой в жизни?

Коротко я бы сказал о следующем. Лично я стремился в жизни ни на кого не надеяться, делать свою жизнь по «самому себе», никому не создавать проблем без крайней надобности, никому не завидовать, не множить врагов специально, но не бояться их заработать, если делаешь то, что ты считаешь важным. И, как бы это пафосно не звучало, слушать зов судьбы и следовать этому зову. Да, еще: хорошо делать свою работу. Впрочем, здесь многое зависит от внешних обстоятельств. Мне кажется, что хорошо делать нашу социологическую работу можно только в условиях, когда общество в ней заинтересовано, когда оно видит в ней смысл. А общество нуждается в объективном знании, когда нет режима личной политической власти, когда не ограничиваются свободы и права человека, действуют конкурентные условия политической, экономической и научной жизни, доминируют демократические ценности при принятии решений. Когда власть находится с обществом

в режиме равноправного диалога и партнерства, и их отношения по характеру не являются обслуживанием одного другим. А также тогда, когда внутри профессионального сообщества отсутствуют кланы малых и больших начальников, реализующих функцию обслуживания власти, или препятствующих равному доступу к ресурсам науки. Когда внутри творческой части нашего сообщества при решении сугубо научных проблем не возникает желание выносить «методологический сор из избы», апеллировать к «внешним силам», чтобы защитить свою позицию. Это все мешает, а иногда и просто исключает возможность эффективной работы. Я наивно полагаю, что наше профессиональное сообщество должно быть активно в защите и отстаивании этих принципов, ибо люди моего возраста хорошо знают к чему приводит их нарушение.

Литература

1. *Могилевский Р.С.* Проблемы качества жизни населения крупного города. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989.



Панова Л. В. – окончила экономический факультет Ленинградского кораблестроительного института, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Социологического института РАН, Санкт-Петербург. Основные области исследования: социальное планирование, экология. Интервью состоялось в 2007-2008 годах.

Биография Людмилы Васильевны Пановой — уникальное сочетание многих коллизий, встречавшихся в жизнеописаниях социологов ее поколения. Она — из семьи, пострадавшей при коллективизации, но сумевшей подняться. Ее путь в социологию начался на экономическом факультете технического вуза, включил в себя освоение «постоттепельевской» культуры и мало знакомого советским людям в начале 60-х образа жизни рижан. Панова многие годы работала в команде первооткрывателей социального планирования. Эта тематика зародилась в Ленинграде, ее разрабатывали десятки коллективов всей стране, она была одной из «визитных карточек» советской социологии, но уже в конце 1990-х оказалась невостребованной.

Интервью с Пановой – одно из самых трудных среди проведенных мною. Она относится к тому типу людей, с которыми легко, приятно общаться, которым есть что рассказать о себе, но которые делают это с огромным нежеланием.

**Л.В. Панова:
«САМЫЕ
ИНТЕРЕСНЫЕ
МЫСЛИ
БЫЛИ УПАКОВАНЫ
В МНОГОСЛОЙНУЮ
ОБЕРТКУ
ПАРТИЙНЫХ
ДОКУМЕНТОВ»***

Люда, ты ленинградка? Пожалуй-ста, расскажи о твоей родительской семье, как далеко ты способна проследить историю твоей семьи?

Я родилась в Ленинграде в 1938 г., но мои родители приехали в Ленинград в 1930 г. из Белоруссии, оба были из крестьянских семей. Папа (1904 г.) из семьи середняков, т.е. батраков у них не было, но было крепкое хозяйство: три лошади, пахотная земля, кусочек луга и даже леса, строились ведь сами, и мой отец, еще подростком (16 лет) участвовал в строительстве дома, который стоит до сих пор. Последний раз я там была лет 20 назад. Жили они в деревне, в 100 км от Минска. Мой дед (1864 г.) жил там уже во втором колене, а поселился в этих местах прадед. Конечно, трудно сказать, что это абсолютно верно, но судя по давним рассказам

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 4. С. 2–9.

родни, попал он туда из запорожских казаков, после какой-то заварухи... более глубоких корней не знаю.

Мой дед окончил церковно-приходскую школу и был грамотным, а бабушка не умела ни читать, ни писать, родила 11 детей, из которых выжили пятеро. По характеру, энергии мой отец был очень схож только со старшей сестрой. Интересно, как она выходила замуж. Сосватали ее, когда ей было 18 лет, а поженились они только через четыре года, потому что ее жених уехал в Америку, да, да, лесорубом, и там заработал деньги, чтобы купить землю. Купили хутор в Западной Белоруссии, и почти сразу границу закрыли, и они попали в состав Польши. Работали на себя и жили, видимо, неплохо, во всяком случае, когда она смогла приехать к своим в 1939 г., то лила горькие слезы – такая была бедность.

Конечно, семью моего отца раскулачили, забрали и лошадей, и весь скот, и мой дед, как рассказывали, первый раз в жизни плакал, когда забирали его любимую лошадь – Горбулю. Видишь, каких подробностей я тебе насказала. Ну ладно, вернусь к отцу. Рядом с их деревней было местечко Грозово, там была семилетняя школа, вот и все его образование. Прожил он в своей деревне до того, как забрали в армию в 1922 г. Служил в Витебске и уже в армии учился на каких-то командирских курсах, предлагали остаться служить, дослужился до старшего лейтенанта, но тут познакомился с моей мамой, и решили все иначе. Судя по всему, именно мама хотела в большой город, и они уехали в 1930 г. в Ленинград, у мамы к тому времени здесь уже была старшая сестра.

Про маму знаю совсем мало, жила в деревеньке под Витебском, осталась в восемь лет без матери, а в 16 лет выдали замуж, судя по фотографиям, была очень красива. Но что-то там не заладилось, в общем, когда она познакомилась с моим отцом, то жила одна и была работницей на швейной фабрике.

В Ленинграде отец пошел на Кировский завод устраиваться учеником слесаря, но был уже, конечно, в партии с армейских времен, и его быстренько через райком отправили организовывать торговый кооператив в Тихвинский район. В общем, за семь лет дослужился до зам. управляющего ленинградской конторы по сбыту молочной продукции, как она точно называлась, я не помню. Вот такая тебе вертикальная мобильность, деревенский парень попал в начальство с довольно большим штатом сотрудников, персональным автомобилем и т.д. 1937 год их организацию как-то обошел, никого не трогали, а в 1941 – война, служил командиром батальона МПВО в Ленинграде, на фронт не отправили, вот и остался жив.

И ты в годы войны была в Ленинграде?

Я была в Ленинграде до конца ноября 1941 г., потом меня с няней как-то переправили к ней в деревню в Вологодскую область, а вернулись мы все из эвакуации в мае 1944 г.

Когда смотришь в прошлое из сегодняшнего дня, многого не понимаешь, почему так происходило. Я говорю про эвакуацию детей. Меня отправили с няней в 1941 г. к ней в деревню в Вологодскую обл., а сестру, которой было 10 лет, со школой на Валдайскую возвышенность, куда немцы пришли еще в июле. В общем, отец сумел пробраться туда как-то на последних поездах и забрал ее еще до прихода немцев. А я так и прожила в этой деревне до августа 1942 г., когда мама с сестрой эвакуировались уже летом, и мы все вместе поселились в селе Никольском на реке Шексне. Может быть, этот год жизни без своих и заставил меня понимать, что надо карабкаться изо всех сил самой, чтобы быть не хуже всех, потому что городскому, и видимо довольно избалованному ребенку приходилось там не просто.

В мае 1944 г. отец приехал за нами и забрал в Ленинград, нам повезло, дом не разбомбили, жили мы в коммуналке, но у нас были две большие комнаты и прекрасные соседи. В общем, казалось, что все будет замечательно, мама занималась нашим воспитанием: музыка, танцы и все такое. Но в 1949 г. она умерла в возрасте 46 лет, так что основным мотивом моей дальнейшей учебы был не столько интерес к чему-то конкретному, сколько необходимость сделать то, о чем она нам постоянно говорила в последний год своей жизни: получить образование.

Никакими способностями я не отличалась, но училась хорошо, особенный интерес был к физике и химии, читала много и по счастью классику, это уже от мамы, которая, несмотря на отсутствие какого-либо образования, постоянно читала, особенно Достоевского, и собрала неплохую библиотеку русской классики. Однако казалось, что чтение это для удовольствия, а работать нужно там, «где принесешь больше пользы»; чувствуешь мой пионерско-комсомольский дух? Да, я была правдивой пионеркой и комсомолкой, считала, что это все чрезвычайно важно, и даже в студенческие годы на целину ездила не потому, что было интересно, а потому, что так надо. На целину ездила со студенческим отрядом после второго курса, стало быть, в 1957 г., были мы, кажется в Кустанайской области, проку с нас почти не было, но впечатлений очень много, и от природы – степь, и от новых людей. Если ты когда-нибудь ездил со студенческими отрядами, то знаешь эту жизнь.

Учиться я хотела только в техническом вузе, и хотела поступить на какое-нибудь техническое отделение «Корабелки».

...в самом начале 60-х я тоже был на целине, тоже в Кустанайской области, а уже если говорить о Ленинградской области, то – во многих местах... Может быть в Кораблестроительный институт кто-либо из твоих друзей поступал или ты жила близко? Почему вдруг такой выбор?

С «Корабелкой» было все очень просто, моя сестра ее закончила, тоже по недоразумению. Поступала на юридический факультет университета, но не прошла по конкурсу, а в «Корабелку» ее взяли по протекции приятеля отца, чтобы год не пропал, вот так и вышло. А поскольку я хотела только в технический ВУЗ, то и отправилась туда же.

Но меня по счастью не взяли на технические факультеты из-за плохого зрения, и оказалась я на экономическом факультете этого института.

Вот здесь мне и помогли мальчишки-технари расширить круг интересов. Не знаю, почему они пошли учиться в корабелку, но они интересовались многим, и живописью, особенно современной (для тех лет), и музыкой и джазом, и классикой. Очень часто мы ходили в Университет на всякие публичные мероприятия, помню, что слушали А.Д. Александрова, почему-то это было на матмехе, на 10-ой линии, и на филфаке лекции о современной поэзии, и выступления А. Вознесенского и т.д. ЛЭТИ тогда приютил джазовых музыкантов, конечно, мы были в восторге, ну в общем много всякого было.

Ты говоришь об открытых лекциях, поэзии, джазе... ты относишь себя к шестидесятникам? Что сегодня следует вкладывать в это понятие?

Это довольно трудный вопрос. Судя по тому, как сейчас пытаются обрисовать шестидесятников, к ним относят и диссидентов, открыто выступавших против режима, и талантливых людей, которые работали внутри этой системы, как бы, и не критикуя ее впрямую, но создавая такие произведения, в которых ее пороки и просто смешные стороны были очевидны. Стремилась ли они к обличениям, скорее как я думаю, их художественный взгляд был мало зашорен теми агитками, которыми пытались заполнить жизнь не только авторы партийной пропаганды, но, и менее талантливые, и менее внутренне самостоятельные писатели, режиссеры, художники. Может быть, 60-е годы дали возможность первым быть более свободными в своем мироощущении, во всяком случае, в 70-е годы тюрьма, лагерь уже грозили многим, хотя было и это, было и лишение гражданства, но все это уже работало против приличного имиджа власти, и людей участвовавших в этих деяниях. Ну, невозможно же, например, слушать без стыда тексты судеб-

ных заседаний по высылке И. Бродского, и не только потому, что его изгнали из страны, думаю, ему как поэту это только пошло на пользу, несмотря на потерю языковой среды. Стыдно от того, как это делалось, что там говорилось, все это свидетельствовало об отсутствии элементарного понимания разнообразия жизни и хоть какой-нибудь культуры. Наверное, можно сказать, что шестидесятники были первым поколением, выросшим уже внутри советской системы, которое пыталось видеть жизнь и показывать ее нам не как плоскость, по которой идут строители социализма, коммунизма, или как черное и белое, а в ее многообразии, где есть все, как и в каждом человеке – плохое, хорошее, высокое, смешное, грешное, праведное, ну не знаю еще, как продолжить этот ряд, но думаю, он почти бесконечен. Было ли у всех шестидесятников схожее мировоззрение, может быть, и нет, но отчетливо видно стремление к честности, более глубокому пониманию, что такое жизнь человека в любой социальной оболочке. Мне кажется, что скорее следует говорить об атмосфере 60-х, в которой было больше свободы, больше надежд, желания наполненной и открытой жизни. Думаю, что к шестидесятникам скорее можно относить тех, кто создавал эту атмосферу, а просто воспринявших ее с радостью, вряд ли. Этим людям, в том числе и мне, просто повезло, что их молодость пришлась на это время, и их внутренний мир формировался в надеждах, а может быть, и иллюзиях 60-х.

Не помнишь ли ты представление «Весна в ЛЭТИ»? Это было заметным социо-культурным событием...

Да, я это прекрасно помню, мы на него ходили, и удивлялись, что, наконец, с нами говорят тем языком, который нам понятен и близок. Этот спектакль про современность, про нас студентов, казался живым, потому что рассказывал о нашей жизни, так как мы бы сами рассказали, если бы хватило таланта. Я не знаю, как он создавался, но такое впечатление, что это был один из лучших студенческих капустников, во всяком случае, на своих институтских вечерах в корабелке мы старались делать что-то похожее, в меру своих возможностей. Думаю, что этот спектакль стал, как ты говоришь заметным социо-культурным событием потому, что он больше соответствовал нашим представлениям о том, что в студенческой жизни важно и интересно. Во всяком случае, в моем сознании был слишком сильный разрыв между тем, что мне казалось нужным, полезным, интересным, и «официальными объяснениями», которыми нам забивали голову, все время

было ощущение фальши. Здесь же, как я вспоминаю сейчас, не было никакой тяжеловесности, вранья, вымученной идеологии, которой было так напичкано все вокруг.

...будет возможность, расскажи Б.М. Фирсову [1] о твоих впечатлениях от «Весны в ЛЭТИ», он ведь был одним из главных организаторов того грандиозного по тем временам представления...

Да, продолжим о твоём обучении...

В профессиональном плане я практически не получила никакого образования, ни о какой социологии слыхом не слыхивала. Это – точно сформулированный результат моего обучения. Нас учили всему понемногу, и сопромату, и начертательной геометрии, и я даже не помню, как назывались предметы, связанные с судостроением, что-то типа сборки корабельных конструкций. Собственно экономические дисциплины – это политэкономия, экономика судостроения, статистика. Единственное, что было интересно, это как ни странно, статистика, казалось, что с помощью ее методов можно что-то увидеть и понять в первоначально кажущейся хаотичной информации. Вот с таким совершенно разрозненным запасом знаний я и начала работать, но быстро выяснилось, что и они не нужны там, где я оказалась. Я уже говорила, что начала работать, как и положено было после завершения нашего факультета, на заводе в Риге в отделе труда и заработной платы, это была осень 1960 г. Поскольку я училась хорошо, то могла выбрать место по распределению, и мне хотелось что-то еще увидеть, кроме своего города. Ну в общем, попала я в ужасную обстановку, работу, которую надо было выполнять, я успевала сделать буквально за полчаса, а потом надо было изображать, что ты чем-то занят, читать книги было нельзя, и я писала письма всем, кому только можно было написать – изображала занятость, и так восемь часов. В общем, мне стало ясно, что «так жить нельзя».

Не помнишь ли ты свои первые рижские впечатления? По тем временам это был Запад... Не видела ли ты различий между тем, как люди жили в Ленинграде и в Латвии?

Да, впечатления были довольно сильные, прежде всего от самого города, и совсем другого стиля общения. Я не воспринимала Ригу, как Запад, но удивлялась чисто бытовым вещам, другие кафе, как-то иначе ведущая себя публика, может быть более вежливая, но и более закрытая. Вежливость была безукоризненной, и в транспорте, и в русскоязычной библиотеке, и в театре. Во всяком случае, я ни разу не столкнулась с неприязнью по отношению к себе как к русской, хотя понятно, что

любить нас было не за что. Может быть потому, что я в основном общалась с такими же молодыми, какой была тогда сама (22 года), особенной разницы в интересах не видела.

Вернулась в Ленинград через год, и пошла работать экономистом в банк, там пока осваивалась, было вполне интересно, но потом началась рутинная работа, и я стала подумывать про аспирантуру. Сначала думала про Финансово-экономический институт, сходила на кафедру финансов, где мне дали программу вступительных экзаменов и т.д. Вряд ли бы из этого что-нибудь вышло, но тут мне по настоящему повезло. В 1966 г. меня порекомендовали Владимиру Романовичу Полозову, который как раз получил ставки для своей социально-экономической лаборатории в НИИ Комплексных социальных исследований (НИИКСИ). Институт тогда располагался в бывшем особняке, или дворце, Бобринских на Галерной улице (тогда – Красной), в котором можно было увидеть сохранившиеся росписи потолков. Никакого профессионального интереса я для него не представляла, но он все-таки принял меня на работу, хотел взять на ставку инженера, я была и этому радехонька, но такой ставки не оказалось, и попала я в младшие научные сотрудники.

Какой проблематикой тогда занималась лаборатория В.Р. Полозова, кто из твоих ровесников или людей старших тебя, работал в этом коллективе?

Когда я пришла к Полозову в НИИКСИ, у него уже работали люди, с которыми он начинал научные исследования еще на экономическом факультете, работая там доцентом. Занимались они проблемами труда, профессиональной и квалификационной структурой рабочих, условиями труда, проблемами женского труда, все это позже объединялось понятием социальной структуры производственного коллектива. Но подбирались они к тому, что впоследствии определилось как планированием социального развития трудового коллектива. Работал с ним Ряценок Борис Романович, Грибовский Юлий Валерьянович, Комаров, не помню имя отчество, они были его ровесники или чуть младше. В лаборатории начинали работать человек десять, потом Полозов привел еще трех выпускников экономического факультета, но выбор оказался не очень удачным, они довольно быстро ушли в преподавательскую работу, ведь кафедры политэкономии были во всех вузах, они были моими ровесниками, все учились уже после армии. Уже при мне пришли талантливые молодые ребята Виктор Рязанов, Валерий Цветаев, Михаил Марков, но работали в лаборатории недолго, экономический факультет оказался более привлека-

тельным. Все они впоследствии защитили докторские диссертации по экономической тематике.

В то время было довольно много договорных работ с предприятиями, видимо, поэтому была возможность приглашать людей с факультетов, помню, что работали Б.Р.Рященко, А.А. Федосеев, А.В. Дмитриев, который уже потом, при А.С. Пашкове стал зам. директора НИИКСИ. Надо сказать, что новую струю в нашу работу внес Марат Межевич, появившийся, кажется, в 1969 году. Он занимался проблемами социального развития уже не в рамках предприятий, а на уровне территориальных общностей, т.е. наша тематика вышла за пределы трудовых коллективов. Теперь уже территория, город рассматривались как локальная социальная среда жизнедеятельности людей, и именно там виделись наиболее широкие перспективы по управлению социальным развитием. И как мне кажется, его работа представляла собой попытку создания социологической теории города, и была более тесно связана именно с теоретическими проблемами социального развития, не случайно он очень быстро нашел общий язык с П.Н. Лебедевым и Л.И. Спиридоновым.

Я недолго работал с В.Р. Полозовым в 1980-х годах в социологическом отделе Института социально-экономических проблем АН СССР и вспоминаю его как очень порядочного человека, но ученого несколько консервативных воззрений? Так ли это? Был ли он таким, когда ты начинала работать с ним?

Да, Владимир Романович был, безусловно, порядочным человеком и большая умница. Думаю, что его книга по социально-экономическим проблемам труда (1970 г.) для людей, разделяющих марксистские позиции, интересна даже сейчас. Он был марксистом по убеждениям, может быть, это производило впечатление некоторого консерватизма в те годы, когда ты его знал, а может быть так казалось потому, что общие условия работы в общественных науках были очень тяжелыми, ни шагу нельзя было ступить без оглядки на партийные документы, решения съездов, пленумов и т.д., все это хорошо известно. Но то, что он вышел с замыслом социального планирования, было достаточно новой идеей для того времени. Основная задача формулировалась как планомерное продвижение к социальной однородности общества, и эти самые планы рассматривались в качестве своего рода инструментов, которые будут способствовать, если не ее решению, то приближению к этой цели. Казалось, что научно технический прогресс, управляемый в интересах человека, дает возможность значительного ослабления различий не только в условиях жизни, но и в характере труда. Вот так я понимаю позицию Полозова В.Р. сегодня.

Я вспоминаю В.Р. Полозова как человека сдержанного, закрытого...

Скорее следует говорить, что большинству из нас, его коллег, было нелегко с ним работать потому, что знали и понимали несопоставимо меньше, чем он, а Владимир Романович ставил такие высокие планки, что мы, а может только я, часто терялись. Ну, вот тебе пример, как-то мне надо было выступать на семинаре в лаборатории, наверное, это было где-то в 1969 г., что-то о распределительных отношениях, предварительно, конечно, обсуждали с ним свои выступления, я что-то говорю об основных вещах в докладе, он слушает, одобрительно кивает, да, да, все хорошо, но вот реплика: «почитайте еще «Немецкую идеологию», это будет очень полезно». Мне это даже в голову не приходило, т.е. понимаешь, у него были совсем другие ассоциации, которые мы трудно улавливали. Но вел он себя с нами как истинный руководитель, требовал, чтобы мы участвовали в конференциях, писали статьи, и много возился с нашими текстами. Уже позже, когда издавались Методики по социальному планированию, и было довольно много желающих попасть в число авторов, в т.ч. и москвичей, присутствие там наших фамилий он отстаивал неизменно.

Как происходило твое социологическое крещение? Что тебе тогда показалось интересным в новой науке?

Не знаю можно ли сказать, что участие в разработке анкет, опросах и анализе полученных материалов, было социологическим крещением. В 1967 г. мы в рамках разработки плана социального развития завода «Электроаппарат» проводили опрос, вот тогда мне и пришлось участвовать в подготовке кусочка анкеты, касающегося уровня жизни работников предприятия. В целом этот опросник, как и другие в рамках подготовки планов социального развития, были направлены не на проверку каких-либо определенных гипотез, а скорее, на описание социального портрета коллектива данного предприятия. Наверное, я скорее должна говорить не об интересе к социологии, а к исследованию социальных проблем, связанных со структурой потребностей и распределением (дифференциацией доходов, использованием, как их тогда называли, фондов общественного потребления). Может быть, поэтому значительно позже, уже в конце 80-х я легко вошла в тематику социальной политики.

Ты смогла реализовать твою задумку с аспирантурой? Кто был твоим руководителем и по какой теме ты готовила диссертацию?

В аспирантуру я поступила только в 1972 г., т.е. ушло почти шесть лет на решение всяких жизненных проблем, сдачу кандидатских экзаменов и всякое другое. Я и тогда задавала

себе вопрос: «Зачем тебе аспирантура, если и здесь в институте ты занимаешься исследовательской работой?». Но дело в том, что работа была очень разнообразной, и участие в разработке тех самых планов социального развития, а следовательно сборе информации, анализе, написании отчетов, подготовке методик и т.д. Как-то не получалось сосредоточиться на одной теме и найти время, чтобы все оформить в виде диссертации.

Хотела я поступить на кафедру политэкономии, но в то время отношения между НИИКСИ и экономическим факультетом, особенно кафедрой политэкономии, были довольно сложные. Владимир Романович ушел с факультета, по-моему, в 1969 году, и нас там не очень то привечали. Короче говоря, кафедра мне отказала, хотя был такой профессор Владимир Иванович Котелкин, который соглашался быть моим руководителем, он работал по договору в нашей лаборатории, и я была в его группе. И тогда не без протекции меня взял Леонид Соломонович Бляхман на свою кафедру отраслевых экономик. В силу разных обстоятельств материалы, которые были наработаны в социально-экономической лаборатории НИИКСИ, оказались недоступны для моей диссертации. Бляхман предложил мне взять очень конкретную тему, как и полагалось для такой кафедры, «Социально-экономические проблемы стимулирования инженерно-технического труда» и отправил меня к Всею Ирмовичу Шкаратану, они как раз закончили опросы работников машиностроения Ленинграда. Вот по этим материалам я и начала писать. Но к тому времени у меня уже были некоторые связи с промышленными социологами, и на ЛОМО мне помогли провести опрос по одной из методик, на которую меня навел Бляхман Л.С.

Тогда только появилась (1973 г.) переводная книжка Д. Пельца и Ф.Эндрюса «Ученые в организациях». На их разработках, касающихся мотивации, коммуникаций в творческом коллективе, сходства и различий в стратегиях научных разработок, координации деятельности и т.д., я, можно сказать, и сделала работу. Вот здесь, наверное, можно говорить об использовании социологических методов и моем большем приближении к социологии. В общем, диссертация оказалась несколько в стороне от социального планирования, но как часто бывает, кажущиеся неудачи приносят много полезного и интересного. В лаборатории Шкаратана шла очень интересная научная жизнь, я близко познакомилась с Аллой Назимовой, Галиной Силантьевой. Их дипломники потом несколько лет проходили у нас в НИИКСИ практику, а меня часто звали в качестве рецензента дипломных работ, контакт этот был очень приятным и полезным, я много чему у них научилась.

Вместе с большой группой ученых ты на протяжении многих лет работала по тематике социально-экономического развития. Не могла бы ты кратко сказать, в чем была сверхзадача этих поисков...

Внутри тематики социально-экономического развития, я работала довольно долго, почти 20 лет, но это была очень разная работа. Я участвовала в разработке планов социального развития предприятий, по разделу повышение жизненного уровня работников, вот там мы и занимались проблемой дифференциации оплаты труда и доходов. Любопытно, что собираемая информация и по годовым отчетам предприятий, и по анкетным данным показывала, что происходит явное уменьшение дифференциации и в заработной плате, и в доходах, и тогда это казалось отражением позитивных процессов нарастания социальной однородности. В первых методиках по разработке планов социального развития коллективов предприятия (1970 г.) даже ставилась такая задача, как сближение уровней заработной платы различных категорий работников и повышение оплаты труда низкооплачиваемых групп. Значительно позже пришло понимание, что уравнивательные процессы не идут на пользу ни эффективности труда, ни позитивному отношению к работе. И в последующих вариантах этой методики, которая выходила уже под грифом ВЦСПС, Госплана и Госкомитета по вопросам труда и заработной платы формулировки стали более осторожными, речь шла о социальной политике регулирования заработной платы, где важным направлением считалось уменьшение числа низкооплачиваемых работников. Думаю, что это была вполне разумная позиция, потому как вывод о том, что главным для рабочего является содержание труда, а не заработок был не вполне справедлив.

Наверное, надо сказать о том, что определенную роль в развитии социального планирования на предприятиях сыграла хозяйственная реформа, которая тогда проводилась, ее часто называли косыгинской. Как я понимаю, замысел состоял в том, чтобы ввести элементы хозрасчета, дать предприятиям большую свободу в распоряжении частью прибыли, в виде коллективных фондов, которую они могли тратить на свои нужды и не только для развития производства. Часть этих средств направлялась в фонд материального поощрения и фонд социально-культурного развития и жилищного строительства. Конечно, это была свобода в очень жестких рамках, потому что создавать эти фонды можно было только по централизованно определяемым нормативам, но все-таки предприятия получили возможность поддержки своих работников более или менее по своему усмотрению. Собственно эти средства и составляли материальную основу планов социального развития.

Если более конкретно говорить, о том, чем лаборатория занималась, то наверное, надо выделить два направления. Во-первых, мы участвовали в разработке самих планов социального развития предприятий и готовили методики по составлению этих планов. Участие в разработке этих методик считалось весьма важным, возможно потому, что это казалось воплощением научных замыслов в другую уже проектную стадию, пригодную для практического применения. Но может быть, свою роль в таком отношении к этой работе играло и то обстоятельство, что она поддерживалась партийными и профсоюзными структурами на уровне нашего ленинградского обкома и ВЦСПС. В 1970 году в Москве даже устроили выставку на ВДНХ, посвященную социальному планированию. НИИКСИ представило как бы общий замысел этой выставки в графическом виде с разными схемами по основным разделам плана, которые долго утверждались нашим обкомом, и неохотно переделывались после их замечаний. А такие успешные в те годы предприятия, как «Светлана», «ЛОМО», «Электрораппарат», и не помню уже какие еще, демонстрировали свои технические достижения.

Но главным все-таки была исследовательская работа, в основном по трудовой тематике, касающаяся проблем квалификационно-профессиональной структуры рабочих, социально-экономических аспектов использования женского труда, движения и текучести кадров. Проводили опросы работников предприятий, и вот тут уже включались самые разные направления. Помимо социально-структурных характеристик, вопросы, касающиеся условий жизни (доход, характеристика жилья, насыщенность предметно-вещной среды и т.д.), и потребностей (социальных и бытовых), мотивации участия в общественной работе, отношения к различным мерам борьбы с правонарушениями, много внимания уделялось возможностям повышения образования и если так можно сказать культурному облику работников. Конечно, полученные результаты касались лишь работников данного предприятия, но все-таки это давало возможность дифференцированного описания различных социальных групп. Отдельно надо сказать о работе по обобщению опыта развития социального планирования в восточно-европейских странах, занимался этим Леонид Куприянов, он потом работал в Институте социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССР и в 1984 году издал на эту тему хорошую книжку.

Уже позже, когда Полозов ушел в ИСЭП, по-моему в 1976г., стали заниматься разработкой планов социального развития города, я занималась этим в Калуге и Пензе. Этой работой руко-

водил уже Роман Могилевский [2], исследовательская работа была больше ориентирована на анализ социальной структуры населения, уровня и качества жизни, я занималась анализом уровня жизни различных групп населения. Сопоставление таких результатов с доходами и расходами городского бюджета давало какую-то основу для понимания, какие группы населения нуждаются в поддержке и финансовых возможностей для этого. Мне кажется, что эта работа была уже близка к современному пониманию социальной политики, может быть не столько в ее реальном воплощении, потому что деятельность местных органов была довольно жестко регламентирована спускаемыми сверху планами, сколько в научном понимании того, что Павел Николаевич Лебедев определял, как социальное управление.

Я думаю, что сверхзадача планирования социального развития состояла в попытке найти инструмент для сбалансированности экономического и социального развития. Да, риторика была вполне в духе того времени, ставились задачи планомерного преодоления социально-экономических различий между работниками в характере и условиях труда, все более полного удовлетворения материальных потребностей трудящихся и роста их трудовой и социально-политической активности. Но по сути дела, я думаю, это вполне можно рассматривать, как определенный инструмент социального партнерства, когда экономические результаты деятельности предприятий, в известной мере, «доставались» работникам, в форме коллективного потребления, прежде всего через социальную инфраструктуру предприятия.

Вообще появление потребности в осмыслении и регулировании последствий экономического развития, как тогда говорили, научно-технического прогресса, в интересах человека и его жизни, было, как мне кажется, новым и важным направлением в научной жизни 60-х годов.

Не было ли в замысле социально-экономического развития стремления к созданию механизма решения проблем одних социальных групп в ущерб интересам других?

Не думаю, что в планировании социального развития и на уровне предприятий, и на уровне городов был заложен механизм большего расслоения социальных групп. И задачи, да и конкретные разработки были направлены скорее на выравнивание условий жизни и характера труда, насколько это было возможно, в силу технологического разнообразия. Да, теперь очевидно, что сближение в оплате квалифицированного и неквалифицированного труда не привело ни к чему хорошему.

му, поиски стимулов к эффективной деятельности только в самом содержании работы, не оглядываясь на заработок, не дают позитивных результатов. По-моему наглядный пример тому состояние нашей нынешней науки, талантливые, сильные люди туда не идут, думаю не потому, что научная работа не привлекательна, а потому, что эта работа просто не дает возможности более, менее приличного существования. Но что касается обеспечения жильем, медицинским обслуживанием и разными другими услугами социальной инфраструктуры, то можно, я думаю, говорить об определенном приближении к равенству различных слоев населения в то время, хотя теперь понятно, это было скорее равенство в бедности, вечном дефиците всего и вся. Разумеется, и тогда существовал узкий слой, который жил иначе, но вряд ли это было следствием того, что называлось социальным планированием. Конечно, я не говорю о сельском населении, но деревня к тем порам уже была полностью разорена.

Что касается большей однородности в характере труда, то основная ставка делалась на быстрые темпы технических преобразований, собственно в планировании социального развития и была предпринята попытка выделить социальные факторы, способствующие ускорению этого процесса, прежде всего повышение образования и профессиональной подготовки. Мне кажется, что и сегодня, без красивых слов о преодолении социальных различий, перспективные предприятия уделяют большое внимание и обучению своих работников, и удовлетворению их социальных потребностей.

Не превратилось ли со временем это направление в некую магию, игру, формалистику?

Да, сегодня этот вопрос вполне уместен, когда уже на своем горьком опыте знаешь, что плановое хозяйство, в том виде в каком оно было у нас, не может быть эффективным. Но в рамках существовавшей тогда экономической системы, социальное планирование представляло собой попытку, теперь уже очевидно, что безнадежную, сделать экономику более чувствительной к потребностям человека. Конечно, сейчас кажется странным, что в 1987 году, когда уже становилось очевидным, что потеря темпов экономического роста, вечный дефицит, низкий уровень жизни населения, это не «временные трудности», а неотъемлемое свойство централизованного планового хозяйства, еще издавали последние «Методические рекомендации по планированию социального развития коллектива производственного объединения». При этом, число участников этой работы был чрезвычайно большим. Ви-

димо, еще была надежда на частичное исправление огрехов плановой системы, а может быть, людьми руководили другие мотивы.

Как, на твой взгляд, можно было бы сегодня сформулировать итог всей этой огромной работы?

Думаю, что из этой работы выросло много научных направлений, может быть внутренне с ней и не связанных, но развивавшихся под ее прикрытием, потому что она была официально разрешена. Паша Лебедев занимался проблемами социального управления, что было очень близко к идеям социальной политики, Яков Гишинский [3], как он сам тебе об этом говорил, если я правильно помню, свою девиантологию тоже начинал делать под прикрытием социального планирования, Марат Межевич – социальными проблемами территориальных сообществ и т.д. В научном плане социальное планирование – это был официально разрешенный путь, двигаясь по которому можно было начать заниматься социальными проблемами нашего общества в самых разных аспектах. Думаю, что главный итог этой работы, конечно, не в том, что она способствовала социальному развитию нашей страны, – чем кончился наш социализм, вместе с плановым хозяйством, хорошо известно. Но она, безусловно, расширила горизонты нашей общественной науки, заставив многих обратиться к проблемам социального развития с разных точек зрения.

Что, по твоему мнению, из сделанного в этой области могло бы представлять сегодня интерес для науки и практики?

Это для меня очень трудный вопрос, потому что радикальное изменение способа экономической жизни требует и других подходов к осмыслению социального развития и его соотношения с ориентацией экономики. Если говорить конкретно о социальных проблемах на предприятиях, то думаю, что в рамках социального партнерства, некоторые идеи социального планирования вполне могут работать. Например, то, что тогда называлось коллективным потреблением, т.е. возможность для работника предприятий пользоваться различными элементами инфраструктуры, которыми владело предприятие (детские сады, санатории, поликлиники и т.д.), вполне соответствует всякого рода социальным пакетам, предоставляемым сотруднику в той организации, где он работает. В научном плане, я могу только повторить то, что уже пыталась сказать – идеи планирования социального развития близки к проблемам социального партнерства и социальной политики.

Как ты думаешь, в какой мере социологические работы 60-х – 80-х годов позволяют сегодня понять, что реально происходило в советском обществе?

Я думаю, что социологические исследования тех лет, несмотря на их обязательное идеологическое оформление, по поводу «передового советского строя», давали и реальное представление о том, что происходило в нашем обществе. Я ничего не хотела бы, а может и не смогла бы, выделить, в качестве ярких примеров. Но если вспомнить конец 80-х, то очевидно, что без предварительной научной работы, вряд ли могло возникнуть понимание, что движение в том же направлении не сулит ничего хорошего, было ясно, что развивать «развитой социализм» невозможно, тупик был совершенно очевиден. И мне кажется, что если сегодня развернуть, как я уже говорила все идеологические упаковки в работах тех лет, то можно довольно отчетливо увидеть каким было наше общество.

Твой ответ – думаю – бальзам на душу В.А. Ядова, с которым я сейчас обсуждаю наше прошлое. Мне он тоже близок... я не считаю, что мы все вместе ничего не сделали... но не могла бы ты услышать голоса тех, кому сейчас 30-35 и кто отрицает все нами сделанное... представь, что ты отвечаешь на их вопросы, попробуй дать примеры, заставить их, если не пересмотреть их позиции, то хотя бы засомневаться в их безупречности...

Переубеждать кого-то дело довольно трудное, особенно на конкретных примерах. Скорее, я бы сказала молодым, почитайте внимательно то, что было сделано Заславской Т.И. [4], Ядовым В.А. [5], Лапиным Н.И. [6], Грушиным Б.А. [7], перечень имен хорошо известен тем, кто работал в те годы. Несмотря на все ограничения того времени и вынужденные экивоки в сторону идеологических установок, возникнет довольно правдивая картина того, каким было наше общество. Думаю, что и в ряде экономических работ тех лет, так или иначе, просматриваются попытки не только увидеть реальность, но и показать, что и как можно изменить в механизмах развития того общества. Я бы к их числу отнесла, например, Аганбегяна А.Г., Абалкина Л.И. Другой вопрос надо ли, чтобы молодежь училась на этом прошлом нашей общественной науки, и было ли там что-то, что может быть полезным им сейчас, когда страна стала другой. Не знаю можно ли извлечь из этого инструментальную пользу, но во всяком случае, понимать устройство своего общества в прошлом, мне кажется нужно.

Галина Саганенко как-то сказала Ядову, что наше поколение – потерянное для науки. Разве?

Нет, я так не думаю, по-моему, это довольно односторонний взгляд. Конечно, то, что мы были вне мировой науки, мягко говоря, не принесло ничего хорошего. Много было и довольно бессмысленных направлений, например, политэкономия социализма, пытавшаяся обосновать преимущества и общественной собственности, и планомерного развития и т.д., в этом русле и не могло быть развития. Но, мне кажется, что были исследователи, и я бы сказала сильное научное сообщество, которое не только пыталось понять нашу реальность, но и держать высокую интеллектуальную планку в своей работе. А это чрезвычайно важно и для тех, кто учился у этих людей.

Предпринимала ли ты попытки вступления в КПСС, предлагали ли тебе стать членом партии?

Нет, я не предпринимала попыток вступить в КПСС, но предлагали. Наверное, это был 1979 год, тогда у нас в НИИКСИ был секретарем парторганизации Лисовский В.Т. Вообще, внутреннее ощущение необходимости участия в каких-то общественных делах было у меня довольно сильным в старших классах и на первых курсах института, занималась и комсомольской и профсоюзной работой. Но весь этот энтузиазм был сбит слишком рьяной непримиримостью институтской комсомольской организацией к тому, что могут существовать другие взгляды и интересы. Все это пристально-негативное, если так можно сказать, внимание к тем, кто отличался от большинства и потому, что хотел носить узкие брюки, и потому, что интересовался джазовой музыкой и читал не только русских и советских классиков, но и другую литературу. Даже вполне легально печатавшийся в наших журналах Ремарк был под подозрением. Его книги не должны были быть образцом для подражания советской молодежи. Можно сказать, что сначала меня скорее отталкивала форма всей этой навязчивой пропаганды. Конечно, попытка что-то понять началась с XX съезда, только после этого, дома с отцом мы начали говорить о событиях 30-х годов. И я помню, что первый мой вопрос был о том, верил ли он, что те, кого обвиняли, действительно были врагами народа (какая зловещая и фальшивая риторика). Разговор был очень трудным, но главное, что он сказал, я помню и сейчас – это была машина, которая уничтожала, чаще всего лучших, и ее невозможно было остановить. Общая истерия не могла заставить оставшихся думать, что эти люди были виновны в том, в чем их обвиняли, но и сделать что-либо они не могли. Мой отец говорил, что ему очень повезло, конечно,

прежде всего, потому, что его не забрали, но и еще потому, что не пришлось активно участвовать в осуждениях, разбирательствах и т.д. Но голосовать «так, как надо», конечно приходилось. То, что потом называлось оттепелью, представлялось мне, как осуждение и отказ от этого ужасного прошлого, но пришли 70-е годы, с партсобраниями по поводу тех, кто хотел уехать, и всем этим комическим антуражем, типа «КПСС – ум, честь и совесть нашей эпохи». Желания участвовать в этом не было, не было и необходимости, потому, что верхней точкой своей карьеры я всегда рассматривала должность старшего научного сотрудника и не больше.

Многие среди тех, кого я уже опросил, вспоминая 60-е – 80-е годы, говорили об обстоятельствах, факторах, принципиально затруднявших работу социологов: ограничения в выборе исследовательской тематики, цензура и самоцензура, страх перед КГБ, трудности в контактах с зарубежными учеными... в какой мере все это знакомо тебе, испытано тобою?

Не могу сказать, что лично я в своей работе испытывала сильное идеологическое давление, наверное, потому, что это ложилось на плечи моих руководителей. Но, что было тяжело, это читать работы особенно тех людей, кого знала лично. Все, особенно самые интересные мысли, а ведь мы многое обсуждали совершенно неформально, должны были быть упакованы в многослойную обертку партийных документов. Конечно, я понимала цензурную необходимость этого, но на разворачивание этих упаковок у меня уходило много времени и сил, не говоря уже о необходимости проделывать все это в своей работе. Во всяком случае, переводные книги, если ты помнишь, многие из них выходили под грифом «для научных библиотек», читались, и понимались, и усваивались гораздо быстрее.

Как социолог и экономист как ты оцениваешь то, что в стране произошло в начале 90-х? Был ли у России другой путь развития?

Мне кажется, что для оценки того, что произошло, нужны какие-то точки отсчета. Я думаю, что одной из таких точек является понимание, что к этому времени стала очевидной неэффективность плановой экономической системы, основанной исключительно на государственной собственности. Я. Корнай это очень убедительно показал в теоретическом плане, и мы это знаем и по снижению темпов экономического роста, и невозможности решать другие проблемы, в частности, расширения потребления, улучшения качества жизни, а ведь страна к тому времени прошла путь индустриального развития. Та экономическая система была не пригодна для дальнейшего

развития, видимо переход к рынку был неизбежным. Но конечно, существовала и другая проблема – как это делать. Мы, к сожалению, пошли своим обычным путем «так жить нельзя», «разрушить все до основания, а затем...», «за ценой не постоим» и т.д. Большинство людей понесли очень большие потери, и не только в материальном плане. Вседозволенность верхних эшелонов власти, наиболее предприимчивых людей, мне, кажется, сопровождалась порчей нравов. Я не знаю, был ли у нас другой путь развития, без тех тяжелейших потерь, которые страна понесла. Скорее на этот вопрос надо ответить отрицательно по той простой причине, что история не знает сослагательного наклонения. И потом, ведь не только в России радикальные перемены сопровождаются великими потрясениями жизненных основ, мы еще можем утешаться, что не было больших кровопролитий. Очень жаль, что стремление, по крайней мере, части населения к демократическому развитию страны не состоялось. Может быть, быстрый переход к новому типу общества нельзя было осуществить, в силу наших исторических корней, культурных традиций, и России требуется больше времени, чтобы такой способ жизни оказался для нее приемлемым, во всяком случае, сейчас этого не случилось, но я не думаю, что мы должны идти каким-то своим, особым путем.

Как ты воспринимаешь то, что происходит в стране в последние годы?

Прежде всего, эмоционально, все время испытываешь стыд за то, что происходит. Как будто, пришли «умные, строгие» дяди и сказали распалившимся детям – хватит, поиграли в свободу мнений, позиций и довольно. Конечно, стабильность дело важное, но попытки вернуться к единомыслию, поклонение верховной власти, откровенное лизоблюдство – все это, мягко говоря, не радует. Думаю, что большинство людей в последние годы, действительно, стали жить лучше и это чрезвычайно важно. Но, во-первых, нет никакой уверенности, что это результат действительно экономического развития страны, а не сырьевой конъюнктуры, нефтедоллары пока льются потоком, но ведь он не вечен. Во-вторых, большой стабилизационный фонд дело хорошее. Но сохранение его, главным образом, как амортизационной подушки, означает, в том числе, и неумение найти в экономике те точки приложения неожиданно свалившимся огромным доходам, которые, действительно, стали бы точками роста на длительную перспективу, и хотя бы медленно продвигали страну на путь не только сырьевого развития. Я уже не говорю о возобновлении попыток играть роль сверхдержавы в условиях, когда значительная часть на-

селения пребывает если не за чертой бедности, то рядом с ней. А когда изредка сообщается, что в стране от 700 тыс. до 2 млн. беспризорных детей (вот такой разброс цифр), становится страшновато. Я думаю, что большая часть людей теряет родительский инстинкт не потому, что они нелюди, просто не выдерживают очень тяжелых условий жизни, ломаются особенно на фоне вызывающего процветания немногих. Мы расценивали времена после 60-х как застойные, думаю, что современную общественную жизнь можно сказать то же самое. Может быть, это и в порядке вещей, что люди меньше интересуются политикой и больше тем, чтобы их семьи жили в достатке и спокойствии. Судя по всему, значительная часть нынешних тридцатилетних работает весьма интенсивно на собственное благополучие и не особенно интересуется такими проблемами, как свобода слова, свобода политического выбора, участие в решении каких-то общественных проблем. Вопрос в том, хорошо ли это? У меня ответа нет, может быть, когда они встанут на ноги, появится интерес не только к материальному благополучию, но и к другим ценностям, может быть будет возможен и эволюционный путь развития страны в русле демократических традиций. Но пока атмосфера очень душная.

По какой тематике ты сейчас работаешь?

Сейчас я работаю в секторе, который называется социология здоровья, руководит им Нина Львовна Русинова. Кажалось бы, мало общего с тем, чем я занималась раньше. Но в сущности, здоровье населения это одна из важнейших и интереснейших социальных проблем, в которой очень ярко отражается благополучие или неблагополучие общества, как экономическое, так и социальное. Почему в России, не самой бедной стране мира, жизнь людей так коротка, что приводит к невероятно высокой смертности, особенно мужчин, возможны ли не только исследования социально-обусловленных различий в здоровье, но и попытки уменьшить неравенства в здоровье, что важнее поведение самих людей или общая политика государства по сохранению здоровья? В общем, все это чрезвычайно интересно и я думаю, что мы занимаемся полезным делом, тем более, что подобралась хорошая команда – с нами много работает Вячеслав Владимирович Сафронов.

Люда, воспоминания – очень трудное и вместе с тем приятное дело. Какое у тебя осталось ощущение от общения с прошлым?

Да, конечно, воспоминания дело не простое и может быть не столь уж и приятное, потому, что смотришь на себя ту с позиций человека, прожившего довольно длинную жизнь,

и видишь, как много не понимала, не умела правильно оценить и поступить. Может быть, это относится не столько к профессиональной жизни, сколько к жизни вообще, ну в общем почти по Пушкину... Что же касается работы, могу сказать, что мне невероятно повезло с людьми. Я работала в атмосфере высокой требовательности, но и неизменного доброжелательного отношения не только ко мне. В нашем узком кругу общение, в том числе и деловое, строилось на полном доверии и стремлении сделать свою работу так хорошо, как ты можешь.

Ты помнишь, что я долго не решалась взяться отвечать на твои вопросы, но теперь я благодарна тебе, за то, что как бы прошлась по своей жизни еще раз. Не могу сказать, что ощущения были все сплошь светлыми, но в целом, повторю еще раз, моя работа, как и мой ближний профессиональный круг, были для меня чрезвычайно интересны и важны.

Литература

1. *Фирсов Б.М.: «...О себе и своем разномыслии...»* // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №1. С. 2-12. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 535-566.
2. *Могилевский Р.С.: «Я бы назвал себя социологом-консультантом...»* // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 2. С. 2-13. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 759-795.
3. *Гилинский Я. И.: «...Я начинал как чистый уголовник...»* // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №2. С. 2-12. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 369-399.
4. *Заславская Т.И.: «Глоток свободы был слишком основательным»* // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 5. С. 5-14.
5. *Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...»* // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №3. С. 2-11; 2005. №4. С. 2-10. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 183-233.
6. *Лапин Н.И.: «Наша социология стала полем профессиональных исследований, свободных от идеологического диктата»* // Социологический журнал. 2007. №1. С. 111 -148. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 89-127.
7. *Докторов Б. Б.А. Грушин. Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения* // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. №4. С. 2-13. См. настоящую книгу, Т. 3. С. 22-60.



Петренко Е. С. – окончила Московский инженерно-физический институт по специальности «вычислительная техника», кандидат философских наук, директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение», Москва. Основные области исследования: методы анализа и интерпретации результатов опросов, общественное мнение. Интервью состоялось в 2006-2007 годах.

Конец 60-х – начало 70-х в советской социологии – период надежд, грандиозных проектов, многочисленных семинаров. Почти все знали друг друга. Самым старшим из социологов было чуть более пятидесяти. Одна из черт того времени – осознание социологами, уже накопившими собственный опыт эмпирических исследований, необходимости сотрудничества с математиками и людьми, знающими вычислительную технику. Именно в те годы стечение разных обстоятельств, в том числе – «мистических», привело Елену Петренко в аспирантуру Института конкретных социальных исследований АН СССР. Ей повезло с учителями, наставниками, а им – с толковой и быстро схватывающей премудрости социологического измерения ученицей и коллегой. Елена не просто участвовала в серьезных проектах, но результаты ее работы придавали им уникальность, пионерное значение.

Отважусь сказать, что не знаю, кто в России имеет больший опыт организации и проведения общенациональных опросов общественного мнения, чем Елена. И я вижу в этом проявление тех мистических сил, которые привели ее в социологию.

Е.С. Петренко: “СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ В МОЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ...”*

Дорогие, которые мы выбираем

Лена, как бы ты определила свою нынешнюю профессиональную специализацию: исследователь общественного мнения, специалист в области методики, техники и организации опросов общественного мнения? Вопрос этот связан с тем, что ФОМ – не “академическое” подразделение, а научно-практическое.

Замечу: вопрос непростой. Бедные-бедные наши респонденты! Как же им напряжно отвечать на подобные вопросы о *роде их профессиональных занятий!* Правда, мы им карточку даем, где есть варианты возможных корректных ответов, несмотря на странную (универсалистскую) форму вопроса, с этими вариантами соотнесенную только на взгляд разработчика анкеты. Вопрос-то адресован всем:

* Социальная реальность. 2007. № 2. С. 79–95.

и помощнику повара, и конструктору, и почасовой сиделке, а варианты ответа: руководитель, специалист, технический исполнитель (служащий), рабочий, другое. Вот интервьюер и разбирается, как кодировать помощника повара – или как специалиста, или как рабочего, или как технического исполнителя...

Если использовать твою подсказку, то, на первый взгляд, получается, что, конечно, я – исследователь общественного мнения, но о-о-очень специфически озабоченный инструментальными, измерительными задачами. Главные мои временные затраты – менеджмент и участие в программировании общенациональных опросов, чтобы вовремя и корректно был сформулирован вопрос (при этом не столько формулирую, сколько предложенные коллегами формулировки обсуждаю и корректирую), чтобы респонденты (эксперты) были отобраны корректно, чтобы не было сбоев при обработке и визуализации полученных результатов и т.п. Одним словом, целый день при деле, а что сделала за сей безумный день – одному Богу известно, правда, вроде бы обошлось без сбоев.

Бывают, конечно, минуточки, когда разглядываю полученные свежайшие распределения ответов – удивляюсь и радуюсь тогда частенько. Уверенно назвать себя сегодняшнюю исследователем все же язык не поворачивается. Может быть, остатки прежней исследовательской роскоши удастся удержать на разного рода презентациях и семинарах или когда книжки, статьи читаю.

Так что отвечу тебе честно: моя должность – директор по исследованиям, а выбирая из предложенных тобой (замечу, не альтернативных) вариантов ответа – скорее, все-таки специалист в области методики, техники и организации опросов общественного мнения.

Можно ли сказать, что в целом ты работаешь по профессии, то есть в той области социологии, к которой готовила себя, поступив в аспирантуру?

В любом случае – не без этого. Правда, когда собралась идти в аспирантуру, ничего подобного в виду не имела. Смутные мои ожидания были связаны, я теперь думаю, скорее всего, с некими романтически воображаемыми процедурами и алгоритмами обработки и анализа результатов эмпирических исследований, с получением “красивых группировок” данных, с обсуждением результатов с интересными людьми и т.п.

Каково твое базовое образование? Когда, почему и как произошел твой “скачок” в социологию? В какой мере это было случайным, в какой – результатом целенаправленного поиска?

Родилась я под Москвой, в поселке фабричном Вербилки. До сих пор думаю, что это одно из райских мест. Там старинный (Гарднер) Дмитровский фарфоровый завод, роскошные леса, реки: Дубна и – в моем детстве – маленькая, но целебная Якоть.

В школу пошла в Москве, но папу послали запускать ускорители в Дубне, и когда я пошла во второй класс, мы стали жить в Дубне. Там я и школу окончила. А в институте училась в Москве.

Окончила я Московский инженерно-физический институт по специальности “вычислительная техника” в середине 60-х. Диплом писала по перцептрону Розенблатта. О-о-очень романтичный, кибернетизированный, наполненный таинствами и грядущими откровениями... А по распределению оказалась в “ящике”, где должна была выверять какие-то алгоритмы, нарисованные квадратиками на “синьках”. По этим “синькам” в Копьяре “зашивались” программы, управляющие пуском каких-то ракет.

Не выдержав и года, сбежала... в Госкомстандартизации в странненькую исследовательскую группу, которая под руководством врача-физиолога Юрия Макарова изучала воздействие вибраций на организм трактористов. В составе этой группы, почему-то называвшейся “группой эргономики”, были математик-программист Саша Кузнецов, детский психолог Инна, врач-терапевт Ольга Яковлевна Кобринская и я, молоденькая и очень амбициозная. Группа проводила эксперименты: испытуемого трясли в “кресле тракториста”, при этом до и после этого измеряли различные психофизиологические реакции. Я должна была “распознавать образы” после обработки полученных результатов программой, которую должен был написать наш программист под моим присмотром. “Образы” образами, но меж тем появились две наши коллективные публикации по результатам наблюдений за реакциями испытуемых. Это для меня тогда был весьма даже значимый результат.

Как-то Ольга Яковлевна, с которой я, несмотря на разницу в возрасте, очень близко подружилась, познакомила меня с “совершенно удивительным человеком” – Ильей Борисовичем Мучником.

Илья практически сразу нагрузил меня какими-то делишками, и я стала писать программы на АЛГОЛе. Мучник привел меня в 25-ю лабораторию в Институт автоматики и телемеханики (ИАТ), который тогда располагался на Каланчевке. Вот уж где РАСПОЗНАВАЛИ образы! Вот уж где царил пир интеллекта! Здесь на семинарах под руководством М.А. Айзермана блистали не только Э.М. Браверман и Л.И. Розоноэр, но и их

ученики и последователи (тогда еще аспиранты и м.н.с.) – С. Меерков, В. Лумельский, А. Дорофеюк, Н. Завалишин, А. Чернявский. Я обалдела и захлебнулась от этого пиршества духа – и поняла, что ничегошеньки не смыслю в “распознавании образов”. Но мне было безумно интересно, не всегда и не все понимая умом, вчувствоваться в удивительно изящные математические построения Э. Бравермана, которые спустя несколько лет оформились в метод потенциальных функций. Постепенно я все больше и больше времени стала проводить в 25-й лаборатории, получая зарплату в “группе эргономики”. Через несколько месяцев я завершила создание программы для БЭСМ, которая довольно успешно на основе обучающей последовательности умела распознавать образы, то есть неплохо классифицировала предъявляемые объекты. Вскоре В. Вапник подготовил и выпустил сборник трудов аспирантов ИАТ, где была и моя с И. Мучником статья про использование этой программы для “распознавания образов”. Руководитель “группы эргономики” стал ворчать про мое постоянное отсутствие на месте получения пусть ничтожной, но зарплаты. Я стала нервничать. Это был конец июня 1968 года.

Не могла бы ты кратко и понятно сказать, в чем суть “распознавания образов”?

Если упростить до абсурда, то это выглядит примерно так. Каждая единица, подлежащая распознаванию (классификации), предъявляется своими параметрами/характеристиками/значениями. Например, город описывается тремя переменными: число жителей, доля мужчин и доля женщин. Город Г1 имеет характеристики Ч1, М1 и Ж1. Эти характеристики обозначаются тип/класс/образ А. Другой город Г2 с характеристиками Ч2, М2 и Ж2 обозначается как образ Б. По характеристикам следующего города Г3 вычисляется расстояние (например, эвклидово) до образа А и до образа Б. Пусть город Г3 ближе к городу Г2, а не к городу Г1, значит, он принадлежит к классу Б. Затем параметры класса Б (описание класса) пересчитываются как средние между характеристиками Г2 и Г3. Так продолжается до тех пор, пока параметры классов становятся в соответствии с тем или иным критерием устойчивыми, или все города, “классовая принадлежность” которых не установлена, оказываются исчерпанными. На этом процесс “обучения” заканчивается. И далее относительно любого города, про который не было известно, к какому классу он относится, выносится заключение, что он относится к тому из классов А или Б, “расстояние” до которого меньше.

Социологические штудии

Я тебя прервал, а ведь ты уже приблизилась к социологии...

Вот именно. Как-то летом 1968 года мой муж, Валентин Петренко, который работал в районе метро “Динамо”, идя с работы к метро, прочел объявление, что Институт конкретных социологических исследований АН СССР объявляет прием в аспирантуру. Он посоветовал мне пойти в эту аспирантуру, аргументируя это тем, что публикации у меня есть и экзамены кандидатские (философия и английский) сданы, а попав в аспирантуру, я разрешу развивавшийся конфликт с “эргономикой”. Я возражала, что, мол, И. Мучник ни за что не разрешит мне идти в какую-то чужую аспирантуру, а если поступать туда без его одобрения, то он меня заставит уйти из любой чужой аспирантуры. На что Валентин резонно заметил, что меня пока еще ни в какую аспирантуру не зачислили и говорить, в том числе и с Мучником, пока совершенно не о чем. Дело лишь в том, чтобы поехать на “Динамо” и отдать документы. На мой вопрос: “А что это за наука такая – социология?” я получила ответ: “Кто ее знает, но слово-то красивое...”

В результате подала документы, после чего, не задав мне ни единого вопроса, меня зачислили в аспирантуру ИКСИ АН СССР. Моим руководителем оказался всесильный тогда основатель ИКСИ д.ф.н. Г.В. Осипов, тотчас перепоручивший меня своему коллеге к.ф.н. Э.П. Андрееву.

О своем зачислении в аспирантуру ИКСИ Илье я сообщила по телефону. Он разозлился страшно. Кричал, что я сама не понимаю, куда попала, что это чекистский институт. Немного поутих, когда я объяснила, что ИКСИ – институт академический, открытый, имеет вывеску и убогое подвальное помещение. Когда я приехала к И. Мучнику в Институт проблем управления, который к тому времени превратился в ИАТ, он потребовал, чтобы я организовала ему встречу с Г.В. Осиповым, дал мне клочок бумаги с каким-то телефонным номером, обязал явиться завтра на работу (ясное дело, в ИПУ) к 9.00 и сразу же позвонить по этому телефону. Кому, зачем, для чего звонить – не счел нужным объяснять.

Как происходил выбор направления твоего аспирантского исследования? В чем оно заключалось?

Тема аспирантской работы тоже свалилась на меня почти мистически. Поутру, придя в 25-ю лабораторию ИПУ раньше всех, набрала телефонный номер, который И. Мучник передал мне накануне. “Леночка?! – услышала в трубке игривый муж-

ской голос. – Буду через 10 минут”. Кто будет? С какой стати будет? И зачем будет? Я понятия не имела.

Пришел Мучник, а через 10 минут влетел-ворвался-вбежал плотный, ярко-рыжий и лысый в то же время мужчина – Владимир Эммануилович Шляпентох, который моментально привлек Илью к обсуждению какой-то статистики, затем темпераментно обрисовал увлекательнейшие перспективы занятия социологией и особенно – выборкой, несколько раз объявил, что Леночке надо обязательно поехать в Академгородок, подружиться с Таней Заславской, и... внезапно распрощавшись, скрылся за дверью.

На другой день, записавшись на прием к Г.В. Осипову, я поехала на “Динамо” вместе с Мучником. Когда мы с Ильей вошли в кабинет-клетушку Осипова, Мучник сказал, чтобы я подождала в приемной. Минут через десять Илья позвал меня в кабинет и сказал, что, мол, он с Геннадием Васильевичем обо всем договорился. Темой моей работы будет репрезентативная выборка, работу я буду делать в ИПУ, на аспирантские лекции я должна ходить, но потраченное на них время мне все равно придется отработывать в выходные дни. Осипов добавил, что у него только одна просьба – чтобы Э.П. Андреев был в курсе моих дел. На том и распрощались.

Я так подробно воспроизвела, казалось бы, просто проходной эпизод поступления в аспирантуру, потому что он очень сильно перевернул мою жизнь.

Как складывалась твоя работа, какие были основные трудности, кто поддерживал, кто мешал? Были ли сложности с защитой кандидатской диссертации?

Наверное, складывалась работа нормально. Под приглядом Ильи писала какие-то программы. Ходила на лекции в Институт философии, слушала Леваду, Кона, Галкина, Бурлацкого, Грушина и приезжего Ядова. Дневала и ночевала в ЦСУ, выписывая статданные по городам и областям РФ. Побывала в Академгородке, где познакомилась с Т.И. Заславской, В.Н. Шубкиным и совершенно потрясающим тамошним социологическим сообществом.

Диссертацию писала под патронажем Мучника. В основе ее лежала типология (то есть автоматическая классификация) российских городов как основание дизайна стратифицированной территориальной выборки. Первым оппонентом Мучник определил мне Т.И. Заславскую, вторым оппонентом В. Шляпентох посоветовал пригласить Ю. Самсонова. Ведущую организацию – Центральный экономико-математический институт АН СССР – представляла милейшая Н.М. Римашевская. Отзывы на реферат

были из Ленинграда, Новосибирска, Свердловска. На защиту прибыли не только В.А. Ядов, О.И. Шкаратан из Ленинграда, Б.А. Грушин, к этому времени (1973 год) демонстративно переставший посещать заседания Ученого совета ИКСИ, которыми уже руководил М.Н. Руткевич, но и явилась практически в полном составе возглавляемая Э.М. Браверманом 25-я лаборатория ИПУ. Зал Ученого совета был переполнен и как-то не по-академически возбужден (а может быть, мне просто так казалось). От этого возбуждения я потеряла представление о реальности и почему-то очень темпераментно спорила с моими оппонентами. Во время этой моей выходки "группа поддержки" из 25-й лаборатории с торжествующим видом поглядывала на недоумков-гуманитариев, присутствовавших в зале. И еще победно сверкала стеклами очков председательствовавший Руткевич.

Одновременно с тобою, чуть раньше или чуть позже, методическими задачами социологии стали заниматься многие математики, физики, инженеры. Чем ты могла бы это объяснить?

Мне кажется, здесь все очень просто. В начале 60-х в одночасье ставшие социологами российские гуманитарии ощущали свою явную некомпетентность в количественном и статистическом анализе, при этом понимали, что без одного социологии не обойтись. Поэтому они так или иначе привлекали к своей работе технарей и математиков: меня (гуманитарную невежду) без звука зачислили в аспирантуру, а уж тех технарей, которые сами тянулись к гуманитариям, всячески поощряли, заинтересовывали и приваживали. Неудивительно, что рядом со мной в "ближнем социологическом окружении" оказались мои однокашники: Сергей Чесноков, который тоже учился в МИФИ, только на другом факультете, Олег Генисаретский и Саша Голов, с которыми мы учились на одном потоке. (Другая история – кто из нас и куда потом профессионально мигрировал.)

Между тем технари, в отличие от гуманитариев не очень много времени тратившие на разного рода операционализации, частично действуя методом проб и ошибок, но очень оперативно, все делали быстро и прямо с колес. Они практически сразу заняли ведущие позиции и статусы при проведении эмпирических исследований и обработке их результатов. Даже самые искушенные из гуманитариев типа Ядова поглядывали на своих помощников-технарей с уважением, а порой и с опаской...

Теперь не могла бы ты кратко рассказать, в чем была суть твоей работы: метод, результаты.

Суть моей работы состояла в экспериментальной демонстрации возможности использования метода автоматической

классификации для построения стратификации на промежуточных ступенях территориальной выборки. А именно методом автоматической классификации строилась стратификация (иными словами, типология) больших городов Российской Федерации. Классификация городов проводилась по данным ЦСУ СССР о социально-демографической и социально профессиональной структурах населения российских городов от 100 до 500 тысяч жителей. Типы городов строились автоматически. Для этого задавалось число типов, которые следовало построить. Затем вычислялись “расстояния” между социальными структурами городов. И “близкие” города объединялись в один тип, которому придумывалось название-объяснение, почему эти и именно эти города попали в данный тип. Ясное дело, что при назначении разного числа типов получались разные классификации, для каждой из которых можно было предложить свою содержательную легенду. И вот здесь меня ждало первое в моей исследовательской жизни “открытие”. Это совершенно удивительное чувство явления НОВОГО знания! Независимо от того, на 5, или на 12, или на 25 типов классифицировать города, все время выделялся один и тот же тип, в состав которого входили одни и те же города. Единственное, что я с ходу могла разглядеть, – была невеликая численность их населения. И все!

Я стала просматривать социологические публикации по урбанистике. И моментально наткнулась на монопромышленный город. И все стало на свои места. Это и был тот тип, который намертво отпечатался в социальной структуре населения! Я балдела, я наслаждалась понятной только мне музыкой названий: Альметьевск! Прокопьевск! И лихо строчила страницы диссертационной работы про мощь метода автоматической классификации...

Твоя выборка была до выборки Сергея Чеснокова для Бориса Грушина или после? Или они были принципиально различными?

В диссертации ничего “вкусного” специфически выборочного не было. Был обзор литературы, было влечение (как я сейчас убеждена – не совсем корректное) автоматической классификации в методологию стратифицированной выборки. Но главным (не имеющим, между прочим, отношения к выборочному методу), по-настоящему главным было – использование методов автоматической классификации для анализа социальной информации.

Посему говорить о “моей выборке” как об альтернативе “выборки Чеснокова”, я бы не стала. Если уж использовать такие дефиниции, то спустя года полтора после защиты дис-

сертации. И здесь речь должна идти о принципиально разных выборочных проектах.

Конечно, в основе дизайна выборки (я бы называла их *выборка Грушина* и *выборка Шляпентоха*) лежали совершенно разные принципы. Если помнишь, у Грушина был “крест”: по параллели и меридиану брались города, поселки и села, где по квотам, рассчитанным на основе данных госстатистики Чесноковым, выбирались респонденты.

Дизайн Шляпентоха – “натуральная” территориальная вероятностная выборка (так же, только с более строгим дизайном, мы, все российские поллстеры, сейчас и работаем). Так вот в этой последней, территориальной, имела место процедура стратификации территориальных объектов, коей на примере городов (проще говоря, типологии городов) и была посвящена моя диссертация. А упаковывалось все это в стратегию использования априорной информации при проектировании территориальной выборки.

После защиты ты начала работать в команде А.Г. Здравомыслова или В.Э. Шляпентоха. Это была наиболее сильная в советской социологии группа по методике опросов. Пожалуйста, вспомни, кто в нее входил, какие темы вы разрабатывали, и, если можно, про климат – мне кажется, он был очень продуктивным.

Защищалась я, уже работая у А.Г. Здравомыслова в секторе методики и техники, точнее в московской его части. Ленинградская часть сектора, насколько я помню, состояла из О. Божкова, Н. Часовой и Т. Абисовой. В Москве, как мне помнится, кроме меня в состав сектора поначалу входили В. Пациарковский, Э. Андреев, А. Кабыща, Е. Нерсесова, С. Пашенко и еще кто-то. В. Андриенков был тогда еще при Г. В. Осипове. М. Косолапов и Г. Денисовский были, не помню где, скорее всего, в ареале В. Колбановского. Г. Татаровой, Ю. Толстой, В. Гайдиса и Ф. Шереги еще не было в ИКСИ. А Т. Ярошенко, О. Маслова, Г. Ошанина и красавица В. Поседко были в группе Шляпентоха, которая поначалу была как бы самостоятельной и в сектор А.Г. Здравомыслова не входила.

Помню свое методологическое “крещение”. Родив дочь Ксюшу, после четырех месяцев декрета я явилась на работу в сектор А.Г. Здравомыслова в статусе м.н.с. Замечу, мало чего понимая в методике, а прочитанные книжки как-то топорщились в голове, не укладываясь хоть во что-нибудь связное, логичное. А.Г. Здравомыслов в первый же день выдал мне анкету из исследования В.А. Ядова (!) по ценностным ориентациям инженеров и предложил (обязал) выступить рецензентом на заседании сектора через два дня. Я несколько часов беспо-

мощно листала эту анкету. Потом позвонила со своей бедой моей институтской подруге, которая к тому времени успешно работала в ИПУ. Она резонно рассудила, что поскольку я – инженер и она – инженер, если мы опросим друг друга по этой анкете, то сразу поймем, хороша она или никуда не годится. В результате этого (по сути, экспертного, лингвистического) тестирования мы искромсали всю анкету в пух и прах. Но предложить внятный вариант вопросника нам с подругой явно было не по зубам. Она посоветовала обсудить, что делать с анкетой, со Шляпентохом. Последний, увидев учиненный нами полный разгром ядовской анкеты, пришел в неистовый восторг, объявил о “моей несомненной гениальности”, а на мой недоуменный вопрос, что же мне делать, ответил: “Возьмите ручку и записывайте”. Он надиктовал мне почти всю новую анкету, попросил меня как инженера поотвечать на новый вопросник, предложил после этого изменить несколько вопросов и быстренько со мною распрощался. Убегая, он скороговоркой пробормотал “Леночка, не волнуйтесь, Ваш А.Г. будет очень доволен”.

На другой день на заседании сектора присутствовал В.А. Ядов и еще двое его сотрудников. Выступающие сотрудники и из нашего сектора, и из сектора Колбановского указывали на отдельные просчеты в анкете, в целом одобряя ее и рекомендуя с учетом сделанных замечаний отправлять в поле. Я сидела в полном недоумении. Ну хорошо, думала я, мы с подругой мало чего в этой “их социологии” понимаем, но Шляпентох не мог же ошибаться!

Здравомыслов дал мне слово последней. Народ зашумел, стал потягиваться и переговариваться. Я залпом выкрикнула обнаруженные нами с подругой несуразности в анкете. Именитые и не очень участники заседания сначала изумленно замолкли, выжидательно глядя на Здравомыслова. Последний, явно удовлетворенно, спросил меня: ну и что же Вы предлагаете? Я с выражением прочитала вариант вопросника, предложенный Шляпентохом. Эффект был сильный. Ядов полностью согласился с предложенной версией, выкинув лишь несколько вопросов, а за мной закрепилась репутация хорошего методиста. Я все это так подробно рассказываю, поскольку ясно понимаю, что социологический поворот в моей профессиональной жизни носил несколько мистический характер: мой путь в нужном месте и в нужное время пересекся с путями ключевых акторов (“отцы-основатели”, называли мы их на наших аспирантских тусовках) российского социологического возрождения в 60-х годах прошлого века. Только сегодня, когда я вспоминаю имена участников упомянутой тусовки – Г. Денисовский, А.

Левинсон, М. Мацковский, С. Чесноков, М. Косолапов, Е. Таршис, И. Фомичева, А. Пригожин, И. Журавлева, С. Наталушко, С. Клигер, Я. Рейзема и др., – мне становится ясно, насколько безукоризненным был вкус наших “отцов-основателей”, которые выбрали нас в свои ученики.

Несколько месяцев спустя в результате реформаций, творимых в институте тогдашним директором М.Н. Руткевичем, В.Э. Шляпентох со своей группой тоже оказался в нашем секторе методики и техники. Затем появились аспиранты Шляпентоха Франц Шереги и Владас Гайдис. Как-то само собой меня прибило к группе Шляпентоха, которую все чаще стали именовать “группой выборки”. Это было в начале 70-х. Возник грандиозный проект по созданию территориальной вероятностной десяти тысячной выборки для изучения читателей “Правды”.

И. Мучник, ясное дело, поначалу принимал активное участие в этом проекте, но постепенно как-то отошел в сторону, оставив своего аспиранта Е. Синицина нам в помощь. Работа над проектом была для меня большим творческим наслаждением. Мы выдумывали и осуществляли множество методических экспериментов, въедливо осваивая американский опыт проектирования и реализации территориальных выборочных дизайнов. Мы перенесли на российскую почву процедуру отбора респондентов в семье (домохозяйстве) по карточке Киша. С большим занудством изучали существующие формы территориальной регистрации населения в разных городах и всях необъятного СССР, проводили эксперименты по оптимизации времени суток для проведения интервью...

Было очень трогательным и казалось совершенно сказочным, невероятным произошедшее много лет спустя знакомство с Лесли Кишем во время организованного Шляпентохом в конце 80-х моего фантастического визита в Америку. Он оказался очень доступным, моторным и быстро мыслящим мужичком, который, на мой тогдашний взгляд, не очень-то был похож на профессора-классика.

Ты активно работала в проекте Шляпентоха по “Правде”. Вспомни и о задачах, и об организации исследования.

Теперь уже я могу точно утверждать, что работа в проекте по “Правде” была моим “золотым веком”. Интереснейшая каждодневная напряженная работа не прекращалась и в часы обеда, и в часы досуга, которые мы – группа Шляпентоха – частенько проводили вместе.

Когда основная кабинетная работа – анкета читателя, дизайн выборки и основные инструкции по отбору на верхних

ступенях – была начерно закончена, наша группа выборки под славным руководством В.Э. Шляпентоха приступила к проектированию последней ступени всесоюзной территориальной выборки.

Последняя ступень для реализации процедуры вероятностного отбора домохозяйств требует основы выборки, то есть документов, где они (домохозяйства) поименно зарегистрированы по собственным адресам проживания. На поиск таких документов мы и нацелились. На поверхности лежала идея, что в качестве таковых можно использовать похозяйственные книги в сельской местности, домовые книги жилищно-коммунальных служб – в местности городской. Вооружившись письмами от редакции “Правды”, мы (к этому времени группа выборки сжалась до трех человек – В. Шляпентох, Т. Ярошенко и я) отправились в ближайшую жилищную контору. Вскоре стало ясно, что для того чтобы сделать внятную инструкцию по отбору домохозяйств, надо было как минимум описать особенности регистрации граждан в разных типах домовладений (ведомственных, муниципальных, частных и т.п.), различных административных единицах (крупные, малые города, пгт и т.п.), различных областях, краях и республиках СССР.

Результаты наших изысканий мы изложили в монографии “Территориальная выборка в социологических исследованиях”, которая вышла в издательстве “Наука” в 1980 году, – увы, без фамилии Шляпентоха. Но это все впереди, а пока мы отправились по городам и весям в поисках разнообразных форм первичной регистрации граждан. Трудно себе вообразить, но при всей прозе регистрационных форм наши штудии были почти детективно захватывающими.

Упомяну кратко о трех наших феерических экспедициях – в Таджикистан, Грузию и Молдавию. Мы отправились туда с целью освоения всего спектра региональных особенностей форм регистрации домохозяйств, чтобы внятно прописать в инструкции по отбору респондентов на последней ступени всесоюзной территориальной выборки возможные препоны и препятствия на пути равновероятностного отбора – и в горном районе Таджикистана, и в молдавском поселке.

Поскольку мы путешествовали под патронажем “Правды”, то, с одной стороны, нас принимали на высоком партийном уровне (с черными лимузинами и шикарными номерами обкомовских и цековских гостиниц и дач), а с другой (как вскоре стало нам ясно) – не спускали с нас “зоркого ока”, каждодневно протоколируя все наши визиты и беседы. А нам было безумно интересно, выбрав по таблице случайных чисел название населенного пункта, часа через полтора оказываться там,

ворошить и разбирать записи в домовых и похозяйственных книгах. Выбрав наугад адрес домохозяйства, тотчас отправляться туда и проводить интервью со случайно же отобранным членом из этой семьи.

Уже в Таджикистане мы столкнулись с одной странностью. Населенный пункт для пилотажа выбирался по таблице случайных чисел, но когда мы туда приезжали, нас встречали как долгожданных гостей – накрытыми столами со свежеприготовленными среднеазиатскими яствами (видимо, в то время как наши черные лимузины неспешно ехали по длинной дороге, гиды-хозяева устремлялись в нужное место и оказывались там загодя).

Там же, в Таджикистане, мы, несмотря на охранные грамоты от “Правды”, впервые столкнулись с политической провокацией. Спустя часа два после одного из интервью (по-моему, в Душанбе) нас пригласили в “высокий” кабинет, хозяин которого без особых обиняков обвинил нас в антисоветской пропаганде. Минутную тревожную паузу прервал возмущенный вопль Шляпентоха, который громогласно объяснил хозяину кабинета, что он, видимо, не понимает, кто нас сюда послал и зачем, как важна наша миссия и что может ожидать тех, кто вздумал сорвать нашу работу. Хозяин кабинета расплылся в улыбке, пообещал наказать нерадивых помощников, которые ввели его в заблуждение, заверил нас в своей дружбе и готовности помочь и т.п.

В Грузии, несмотря на роскошный прием, нам в явном виде несколько раз дали понять, что все наши шаги, визиты протоколируются. Но мы как бы не брали это в голову и продолжали свои изыскания и путешествия.

Конечно, все это, наряду с прочими обстоятельствами, способствовало тому, что Володя Шляпентох принял решение уехать. С момента, когда он публично заявил о своем намерении, вокруг нас образовалась некая разреженная пустота – почти все хорошие якобы знакомые, завидев кого-либо из нас в коридоре института, разбежались по первым попавшимся кабинетам, единицы (например, Миша Косолапов) поступали прямо противоположным образом. Гена Батыгин, который, в общем-то, и не имел с нами в те времена особых дел, напротив, зачастил в нашу комнату, вел с нами длинные неспешные разговоры, а встретив кого-либо из нас в коридоре, раскланивался, обязательно останавливался, заводил долгую и непременно громогласную беседу на первую попавшуюся тему. Собственно говоря, с тех времен и до самой его кончины меня связывала с ним нежная дружба, а в последние годы его жизни мне повезло работать с ним над общими проектами.

Решение Шляпентоха об отъезде из СССР (за несколько месяцев до заявления публичного) резко интенсифицировало профессиональную деятельность нашей группы выборки.

Во-первых, надо было закончить работу над двумя рукописями книг – “Территориальная выборка” для издательства “Наука” и “Социально-демографические показатели в социологических исследованиях” в издательстве “Статистика”. Шляпентох под благовидным предлогом за несколько месяцев до публичного объявления об отъезде оформил в издательствах свой отказ от авторства этих книг. И мы должны были как можно быстрее запустить рукописи в производство. Как это ни удивительно, обе монографии были изданы – и лишь потом Шляпентох сделал официальное заявление о своем отъезде.

Во-вторых, Шляпентох развил немыслимую активность (как бы сейчас сказали, мощную PR-кампанию) по созданию, усилению, упрочению моего научного авторитета (имиджа). Все это во имя того, чтобы после его отъезда дать хоть какой-то шанс выжить нашей группе выборки. Под лозунгом “ни дня без текста, ни часа без строчки!” я писала какие-то бесконечные тезисы, тексты выступлений. Ежедневно (порой по несколько раз в день) выступала и со Шляпентохом, и без него на научных тусовках, семинарах, конференциях. За несколько недель я перезнакомилась с огромным числом знаменитостей среди обществоведов, историков, экономистов, политических обозревателей, журналистов. И каждому из них Шляпентох многократно, настойчиво и убежденно втолковывал, что, мол, Леночка – и есть будущее советской социологии, что если Леночка говорит, что плохо, то надо все переделать, и т.п. Отмечу, что эта PR-кампания была весьма успешной, а ее плоды я пожиная до сих пор.

В-третьих, мы штудировали самые последние монографии по методологии американской социологии, которые присылала для Шляпентоха Хелен Мицкевич. Особенно мы увлеклись работами Ирвинга Гофмана; придумывали методички, позволяющие учитывать гофмановские самопрезентации при конструировании вопросников, при создании сценариев интервью. Это был очень интенсивный интеллектуальный тренинг. Именно в этот период я почувствовала себя методистом, поняла, что не выборка, а взаимодействие интервьюера с респондентом, интервью как действие (коммуникативный акт и когнитивное взаимодействие, сказала бы я сегодня) профессионально интересуют меня больше всего. Хотя я отдавала себе отчет в том, что выборка – это мой конек, гарант профессиональной востребованности.

В конце 2006 года, благодаря Францу Шереги, В.Э. Шляпентох “вернулся” в Россию – я имею в виду книгу, в которой собраны важнейшие работы Шляпентоха, опубликованные им до отъезда. В книгу вошло и обстоятельное интервью со Шляпентохом, в котором он вспоминает и те события, о которых ты пишешь. Передают ли они колорит того времени, его интеллектуальную и социальную окрашенность? Ведь это все крайне важно для истории нашей науки.

Как известно, “...каждый слышит, как он дышит... как он дышит, так и пишет...” У каждого своя особая картина реальности. Моя и Володина “реальности” существуют как бы в разных пространствах. Мое восприятие жизни – розовое, до восхищенного щенячьего залиvistого лая. Его – трезвое до скептицизма, эмоциональное, часто выливавшееся в сильнейшее возмущение посредственностями, которые правили тогда бал. Для воспоминаний не существует критериев адекватности, каждый несет в себе *свое* прошлое. Так что чем больше будет проекций второго пришествия российской социологии, тем объемнее будет представление о тех временах.

Потом Шляпентох уехал. Давно это было. Какие изменения в твоей жизни последовали за этим?

После отъезда Шляпентоха группа выборки была расформирована. Таню Ярошенко перевели на работу в социологическую группу, работавшую в райкоме КПСС, а меня для преемственности оставили в институте в секторе методики.

Ясно, что в институте не было шансов нам с ней работать вместе. Через весь широчайший круг знакомых Шляпентоха, оставленных им мне в наследство, я пыталась найти приличную организацию, где мы с Татьяной могли бы вместе заниматься методикой и выборкой. Вскоре я получила предложение из Гостелерадио, где организовывался центр по изучению телеаудитории, в котором надо было проектировать выборки для проведения дневниковых исследований среди москвичей с целью измерения рейтингов телепередач (причем мне предлагали очень неплохую зарплату). Меня заверили, что через месяц-два получится “выбить” еще одну ставку и для Ярошенко.

Прошли месяц, два, три, а со ставкой как-то ничего не получалось. Когда же я устроила руководству Центра жесткий прессинг, мне было сказано, что для Ярошенко ставки не будет никогда, а для любого другого помощника проблем со ставкой нет. На мое возмущенное “Почему?!” было сказано примерно следующее. Понимаете ли, Гостелерадио – идеологическая организация. Председателем Гостелерадио является Кравченко. В Центре уже работает Василенко. Вот недавно взяли Вас

с фамилией Петренко. Если сейчас взять еще и Ярошенко, то председателя могут заподозрить в странной кадровой политике. Стало понятно, что в “идеологической” конторе Петренко и Ярошенко вместе работать не должны. Я снова стала активно искать работу для нас двоих.

Кто-то из знакомых посоветовал поговорить с Иосифом Дискиным, который возглавлял НИЦ при Минкультуры СССР. Мои представления о том, что Минкультуры – тоже организация идеологическая, и вдвоем там нам опять места не найдется, не помешали мне встретиться с Дискиным. НИЦ располагался в подвальном помещении на Староконюшенном. Когда я пришла на встречу с Иосифом, он отрекомендовался моим давним поклонником и учеником. Был восторжен и любезен. Познакомил меня со своими сотрудниками: Н. Бажовом, В. Высоцким, Е. Пузиковой (как потом выяснилось, аспиранткой В. Шляпентоха), С. Адосинским, Н. Карасевой. Эта компания очень вальяжных и раскованных молодых людей не производила впечатления идеологически озабоченных. Скорее, наоборот. Иосиф сказал, что я могу хоть завтра выходить на работу в качестве руководителя социологического отдела, куда войдут Е. Пузикова и Н. Бажов. Я, уже опытная, ответила, что выйду в тот день, когда в отделе будет работать еще и Т. Ярошенко. Иосиф позвонил через несколько дней и сказал, что мы с Татьяной можем нести свои трудовые книжки.

Спустя несколько месяцев к нам присоединился Г. Кунцман, за него ходатайствовал Я. Капелюш, который в то время работал в НИИ Минкультуры РФ. Кунцман работал с ним в таганрогском проекте Грушина.

Наш отдел занимался изучением культурно-просветительных работников, готовил отчеты и аналитические записки для управления кадров Минкультуры. Вот тогда-то мне открылась еще одна потрясающая сфера. В поисках исторических корней культпросветработников мы добрались до народных домов, обществ трезвости и просветительской деятельности земств в конце XIX века. Оказалось, что давнюю традицию в России имеет не только культурно-просветительская работа, но и социологические методы широко использовались в этой деятельности в земствах и народных домах. Здесь прочитывались почти гофмановские схемы взаимодействий между работниками народных домов и жителями подопечных селений.

Через два года наш НИЦ превратился в подразделение института Гипротейтр, при этом он продолжал заниматься теми же самыми вопросами и записками для управлений Минкультуры. В моем отделе появились новые сотрудники: О. Здравомыслова, Г. Добровольская, А. Рабинович, М. Тарусин. Мы

уже занимались всеми нетворческими категориями кадров подведомственных учреждений.

Примерно в те годы в подразделении Дискина стал еженедельно работать знаменитый семинар Юрия Левады (отмечу, что тогда дать крышу этому семинару – это был поступок!). В нашу самую большую 25-метровую комнату набивалось чуть ли не до сотни человек. Все каким-то чудом размещались сидя. Захватывающие дух доклады, искрометные обсуждения, из которых я понимала едва ли треть, позволяли жить в интеллектуальной атмосфере. Тем более что любой семинар завершался выступлением Ю.А. Левады, которое проясняло все туманности и заумы.

В эти годы я далеко отошла от “академической социологии”, практически потеряв контакты с большинством своих бывших коллег.

Перестройка. ВЦИОМ

Кто тебя позвал во ВЦИОМ? Ты ведь не только занималась выборкой, но была в директорской команде.

Как-то летом перестроечного 1986 года А. Левинсон спросил меня, не знаю ли я чего о том, что Б.А. Грушин организует новый Центр изучения общественного мнения. В то время я ничего об этом не слышала. Левинсон заметил что-то вроде: ну, значит, это опять не про нас – и был, как оказалось, не прав.

В конце сентября того же 1986 года мне позвонил Илья Мучник и в своей обычной манере произнес: “Лена! Сегодня вечером Вам будет звонить Заславская. У нее к Вам предложение, на которое Вы сразу же соглашайтесь!” На мои недоуменные вопросы: какое предложение, о чем речь? – прозвучало лишь привычное императивное: позвонить ему после разговора с Заславской.

Вечером звонит Татьяна Ивановна и рассказывает, что ВЦСПС организует Всесоюзный центр изучения общественного мнения, она будет директором, Б.А. Грушин – ее заместителем, мне предлагается стать ученым секретарем. Что условия будут хорошие, что уже сейчас ищется помещение и готовится Постановление о создании Центра. В ближайшие месяц-два надо начинать работать. Я, запуганная Мучником, ответила, что с удовольствием принимаю ее предложение. На том и распрощались.

Позвонила Мучнику и пересказала разговор. Потом набралась смелости и заявила, что не хочу быть ученым секретарем, что мне надоело быть начальником, что мое дело – выборка,

которую, если не сделать путем, то Центр будет бессмысленным при самых идеальных грушинских вопросниках. Через полчаса разговора он отступил и сказал: сами разбирайтесь, кто кем у вас будет.

В конце ноября мне вновь позвонила Татьяна Ивановна и сказала, что постановление о создании ВЦИОМа практически готово, надо собираться и начинать работать, – и назначила встречу у нее дома. На встрече, кроме Заславской, Мучника и меня, были Б. Грушин, Я. Капелюш, П. Авен и рыжеватый молодой человек, которого я раза два видела у Мучника, – Саша Ослон. За чашкой чая обсудили основное распределение ролей и обязанностей: Заславская – директор, Грушин – замдиректора, Капелюш – полевой отдел, Ослон – отдел обработки данных, за мной – выборка, а вопрос об ученом секретаре удалось отложить на потом.

В начале декабря все были зачислены на работу во ВЦИОМ, который расположился в просторных административных помещениях Центрального дома туриста на Ленинском проспекте. Мы с Ослоном сидели в одной комнате друг напротив друга.

Спустя несколько недель во ВЦИОМ пришли А. Кинсбургский – в отдел Я. Капелюша, А. Толстых и А. Сагомонов – в отдел теории. Почти одновременно с ними появилась Лейла Васильева, тогда еще в качестве секретаря Б. Грушина.

Где-то в начале 1987 года Мучник прислал мне в помощь Е. Козеренко и С. Новикова. А к лету в моей команде появился М. Тарусин.

Я. Капелюш с А. Кинсбургским пытались сформировать сеть. Но дело двигалось не очень спешно. Помимо Москвы появилось не более трех регионов. Проводить всесоюзный опрос по трем точкам было всем невозможно. Как ни крути, три области – есть только три области. Тем не менее решили провести опрос в трех областных центрах по квоте, связанные параметры которой (прости, Господи!) мне пришлось просто сочинить. Только после громогласных и жарких дебатов руководство с обиженными физиономиями согласилось объявить своим спонсорам, что первый опрос Центра будет точечным – в трех региональных столицах. Мне же пришлось проглотить не только “фантазийную” квоту, но и сентенцию, что среднее по трем городам даст *некую* оценку мнений взрослых жителей страны.

Пока возились с полевым персоналом, спонсоры настойчиво требовали от директората хоть каких-нибудь результатов опросов общественного мнения. Чтобы их утихомирить, решили проанализировать почту популярнейшего в то время “АиФ”. И тут случилось ЧП.

Дело в том, что в те годы тональность самостийной читательской эпистолярки задавали граждане “старого формата”, которым все в то время происходящие перестроечные вывихи были глубоко отвратительны (сегодня похожую реакцию вызывает, скажем, гей-парад). Работой с почтой руководил Я. Капелюш, который с присущей ему скрупулезностью отобрал, по договоренности со мной, каждое 30-е письмо и составил добросовестный отчет, снабдив его цитатами из писем.

Отчет был отправлен заказчикам из ЦК и ВЦСПС. На следующий день – страшный скандал, с вызовом на ковер директора. Дело в том, что в одном из писем имя Генерального секретаря сопровождалось матом. Но все как-то рассосалось. Тут подоспели результаты опроса в трех областных центрах, которые оказались для Генсека куда более приятными, чем пресловутое письмо. В центральной прессе появились первые публикации результатов опросов ВЦИОМа и многополосные интервью с Татьяной Ивановной.

Весной 1988 в Праге проходила конференция по изучению общественного мнения в странах народной демократии. Т. Заславская взяла меня туда с собой (судя по всему, к этому решению приложил свою “железную руку” И. Мучник). В Праге я занудливо выпытывала у поляков, чехов, венгров про их выборочные дизайны. Немцы работали с точно выверенными по статистике квотами, а венгры, поляки – с вероятностными выборками на основе достоверных избирательных списков. Увы, ничего конструктивного для нашего российского хаоса со статданными и с регистрационными формами из этих разговоров и бесед у меня не складывалось. Правда, несколько раз в разговорах о казусах при полевом отборе респондентов и почти “экстремальных” путях их нивелирования у меня возникло ощущение, что где-то я все это уже видела. И только в самолете на обратной дороге меня озарило: земцы! Ну конечно, у них не было сколько-нибудь удобоваримых регистрационных документов, но они знали статистические правила и, собрав тихийный (практически “соломенный”) массив данных, перевзвешивали результат по имеющимся (уже более или менее надежным) данным общероссийской статистики.

По возвращении мы с С. Новиковым ликовали по поводу такого простого и в целом корректного решения. К концу весны он уже сделал программу, которая блистательно рассчитывала весовые коэффициенты. Е. Козеренко рассчитывала выборочные планы. М. Тарусин добывал статданные для их расчетов. И у Я. Капелюша уже задышала вполне дееспособная сеть региональных отделений.

Московское отделение возглавил еще один протеже И. Мучника – А. Соколов, а спустя несколько месяцев Мучник прислал ему в помощь и Е. Коневу.

Не прошло и двух лет, как теоретический отдел ВЦИОМа возглавил Ю. Левада, вслед за ним подтянулись Л. Гудков, Б. Дубин, А. Левинсон, А. Гражданкин, Н. Зоркая, Л. Седов, А. Голов. С их приходом как бы слегка трансформировалась и тематическая направленность опросов центра. Для примера упомяну опрос читателей “Литературки”. Команда Левады сделала анкету об отношении к перестройке и опубликовала ее в газете. ВЦИОМ был наводнен сотнями мешков, набитых заполненными анкетами. По результатам анализа этих анкет впоследствии была подготовлена монография “Простой советский человек”.

Из Новосибирска Т. Заславская пригласила на работу Л. Хахулину, И. Рывкину, З. Куприянову. Эта команда укрепила блок социально-экономических исследований, который получил свое институциональное оформление с приходом В. Рутгайзера на пост еще одного заместителя директора ВЦИОМа. Он пришел со своей командой – С. Шпилько, М. Красильниковой, Н. Ковалевой.

Отдел Ослона тоже расширялся. У него уже работали И. Статникова, которую одной из первых привел Я. Капелюш, В. Гродский, А. Данилова, Л. Блехер. Каким-то непостижимым для меня образом Ослон умудрялся вводить данные опросов и довольно быстро получать таблицы распределений.

Ясно, народ прибывал. А что в те годы делал ВЦИОМ?

В конце 1988 года в “Литературной газете” был проведен уже упомянутый прессовый опрос об отношении к реалиям перестройки, подготовленный отделом Ю. Левады.

Под патронажем Б. Грушина запускается исследование о ТВ, тираж анкет для которого (на цветной бумаге, с копиркой, с разными шрифтами – с невиданной по изяществу версткой) был сделан в США и самолетом доставлен в Москву.

По результатам пресс-опроса “ЖП” команда Левады подготовила монографию “Есть мнение”, которая вышла в 1990 году.

Заславская и Рутгайзер в это время изучали трудовые отношения.

В 1989 году возникло заметное напряжение между “экономистами”, “поллстерами” и “теоретиками”. В конечном счете это привело к тому, что осенью того же года Б. Грушин покинул ВЦИОМ, организовав частную фирму (фирму-конкурент!) “Vox Populi”. С ним ушли Я. Капелюш, А. Кинсбургский и А. Семченко.

Для Т.И. Заславской это было трудное время. Я ее успокаивала, что мы справимся, несмотря на уход Грушина. Я оставила выборку на Новикова и Козеренко и стала ученым секретарем. Первым делом бросилась к Ослопу, и мы с ним чуть ли не за вечер сделали первый выпуск бюллетеня “Общественное мнение в цифрах”, в который вошли таблицы и первые диаграммы по результатам очередного опроса. Дальше Саша практически сразу поставил на поток производство и регулярный выпуск этого издания.

Это была очень ценная работа. Возможно, я один из немногих, кто сохранил все выпуски этой серии.

Миша Тарусин стал вместо Капелюша руководить полевым отделом. Через месяц ВЦИОМ практически вышел на рабочий ритм, пережив травму – уход Грушина.

В 89-м году помимо опросов по социально-экономической тематике были проведены два крупных всесоюзных исследования: отношение населения к религиозным ценностям (по адаптированному американскому опроснику) и исследование “Советский человек” по программе отдела Левады.

Лена, мы начали с тобою это интервью летом 2006 года – в конце года умер Ю.А. Левада. Ты работала с Левадой ряд очень насыщенных событиями лет, имела возможность обсуждать с ним многие профессиональные и общие вопросы. Какие впечатления у тебя сохранились о Юрии Александровиче как ученом и человеке?

Мне удивительно повезло в жизни: во второй половине 60-х, оказавшись в аспирантуре ИКСИ АН СССР, я познакомилась с Ю.А. Левадой – слушала его лекции по истории философии. И сейчас отчетливо помню зачарованно внимательную тишину нашей аспирантской аудитории, в которой звучит негромкий, слегка высоковатый голос, рассказывающий про платоновскую пещеру. Помню пронзительно сияющую голубизну его внимательных глаз, неспешную речь, не очень четкую дикцию... У Левады была удивительная манера внимательно вглядываться в аудиторию (сейчас бы я сказала – тестировать), отслеживая возникающие диссонансы, которые всенепременно прояснялись в его подытоживании сказанного. Потом были его знаменитые семинары, встречи у общих знакомых и, наконец, работа с ним во ВЦИОМе вплоть до начала 90-х.

Ты на днях верно написал: что о Леваде сейчас ни скажи, получается некролог... Сейчас главное – его тексты читать, а не слова о том, каким Леваду кто-либо помнит.

Что касается меня, то вот очень значимый (на мой нынешний взгляд) фрагмент из Публичной лекции Полит.ру, прочи-

танной Ю.А. Левадой в декабре 2005 года, который, кстати, нашего ВЦИОМовского бытования касается.

«...Когда нам случилось собраться вместе во второй раз, лет уже 16 с хвостиком назад, то оказалось, что прежде всего предстоит заняться одним из вариантов “новой социологии”. И вот к “новой социологии” можно отнести с некоторой долей условности опросы общественного мнения... На самом деле почти нигде в мире эти опросы к социологии не относятся... Но... у нас и социология – не социология, и поэзия – не поэзия... В последние 15 с хвостиком лет, когда как будто бы всякие ограничения (по крайней мере – теоретические) сняты и можно заниматься чем угодно, думая как угодно, мы оказались во многом в том же состоянии, как наша литература или художественная культура: ограничений нет – можете писать или рисовать все что хотите, а писать и рисовать – нечего. Что оставалось? Делать то, что мы могли. Мы могли и попытались превратить изучение общественного мнения в средство изучения общества, в отрасль социологии, социологии понимающей... Мы собираем мнения многих тысяч людей – и мы обязаны их понимать. Обязаны понимать, что это значит. Обязаны через это стекло, увеличительное или волшебное, кое-что увидеть... Не то что мы придумали особую науку, но особое применение общераспространенным способам мы попытались придумать – иногда успешное, иногда – нет. Условно говоря, я называю это “малой социологией”. Не путая с большой. Но имея в виду то, что мы здесь стоим и пытаемся что-то сделать... а вот результат иногда пугает. Пугает, заставляет ежиться. Но что делать? К сожалению, это не наша продукция такая, это мы живем в таких условиях, и нам приходится в большой мере заниматься тем, что разбивать наши собственные и чужие иллюзии. Иллюзии о том, что мы освободились и нашли новую дорогу... о том, что достаточно хорошего знания – и можно будет верную дорогу подсказать. Ну, если не правящим людям, то остальным – оппозиции, критикам. Оказывается, что... подсказывать – скорее всего вообще не наше дело. Наше дело состоит прежде всего в том, чтобы понимать. Если сумеем понять, можно строить какие-то предположения о том, что может быть дальше...»

Полтора десятилетия с ФОМом

В 90–91-м годах ВЦИОМ уже стабильно проводил регулярные всесоюзные опросы, в основном по заказу Госкомтруда, ВЦСПС и иногда – по заказу зарубежных спонсоров.

Весной 1991 года группа сотрудников ВЦИОМа организовала общественную некоммерческую организацию Фонд “Общественное мнение” под руководством А. Ослона. Это было

сделано, чтобы получить возможность проводить работы по тематике, выходящей за круг интересов наших тогдашних заказчиков. На заработанные деньги предполагалось проводить собственные исследования, экспериментировать с методикой, приобретать технику и т.п.

Ситуация с оперативными опросами августа 91-го и в дни после путча подробно описана нами в монографии “Эпоха Ельцина”. В это напряженное время мы изобрели технологию “прародительницу” наших нынешних еженедельных опросов “Мониторинг” и “Пента” и, как это ни смешно, технологические приемы, которые и по сей день используются при проведении общенациональных экзит-поллов и нами, и другими опросными фирмами России и СНГ.

Осенью 1991 года ФОМ взялся за выполнение нескольких заказных исследовательских проектов, в этой работе участвовали и сотрудники ВЦИОМа. И... возникло, как и в период ухода из ВЦИОМа Б. Грушина, великое напряжение. В январе 1992 года я забрала трудовую книжку из ВЦИОМа и стала директором по исследованиям ФОМа.

С января этого же года ФОМ стал финансировать общероссийский (абсолютно некоммерческий) проект “Народ и политика”, идеологом которого стал Игорь Клямкин (не являвшийся сотрудником ВЦИОМа), а предметом изучения было отношение россиян к гайдаровским реформам, событиям перестройки и представления граждан о будущем. Появление весной сообщений СМИ о первых результатах этого исследования и несколько ярких интервью И. Клямкина не способствовали снятию напряжений между ФОМом и ВЦИОМом. Напротив, день ото дня отношения обострялись. И где-то в конце мая ФОМу было в категоричной форме предложено освободить помещения ВЦИОМа.

В июле 1992 года мы (я, Ослон, основная часть сотрудников полевого отдела и отдела обработки) собрали свои бумаги, переданный нам в аренду правозащитниками единственный компьютер и на двух грузовичках перебрались в детский садик на Обручева, 26.

Понятно, началась в полной мере самостоятельная жизнь...

Вот именно. Тогда у ФОМа были отличные отношения с региональщиками (мы никогда не задерживали оплату работы региональных партнеров). Наши заказы они выполняли в первую очередь. Ослон с отделом обработки смог быстро организовать работу по вводу данных не только в Москве, но и в регионах. Это дало нам существенное преимущество в скорости получения результатов опросов по сравнению с любыми другими фирмами.

В августе нам уже удалось наладить еженедельные общероссийские опросы, которые мы назвали “Пента”. А с середины сентября Евгений Киселев в еженедельной, самой популярной тогда аналитической телепрограмме “Итоги” на всю страну вещал: “Как показал последний опрос Фонда «Общественное мнение»...” О нас узнали. Мы становились популярными.

В 1992 году мы выполняли работы по социологическому сопровождению работы телеканала НТВ, по заказам “Демократического выбора России”, “Яблока”, а также опросы по заказам “Комсомолки”, “Коммерсанта”, рекламных агентств, банков и т.п. При этом мы продолжали на собственные средства дважды в год проводить опросы в рамках проекта “Народ и политика”.

Через пару лет мы уже могли снабжать компьютерами региональщиков, сделать первый косметический ремонт в своем офисе, начать работы по оборудованию зала для проведения фокус-групп.

Наряду с другими опросными фирмами мы участвовали в сопровождении избирательной кампании 95-го года. И еще: мы работали и быстрее, и чуточку точнее, чем другие (даже Грушинская) фирмы.

Перемены в нашей жизни произошли в начале 1996 года, когда Ослон вошел в состав группы А. Чубайса, а опросы ФОМа стали информационным сопровождением предвыборной кампании Б. Ельцина. При этом мы договорились неукоснительно придерживаться правила, что все результаты опросов являются публичными и вывешиваются для всеобщего ознакомления на нашем сайте. Придерживаемся его и до сих пор. Наши заказчики и подписчики получают “Доминанты” – информационный бюллетень по результатам еженедельных общенациональных опросов – всего на два часа раньше, чем эти же результаты размещаются на нашем сайте www.fom.ru.

Следующие 10 лет нашей работы довольно полно представлены двухтомниками “Социологические наблюдения”, выпущенными в 2003 и 2005 годах Институтом Фонда “Общественное мнение” (который мы создали для реализации издательского проекта), и ежемесячным журналом “Социальная реальность”, который стал регулярно выходить с 2006 года.

На мой взгляд, в постперестроечные годы российские социологи менее активно и менее продуктивно стали заниматься методическими исследованиями. Если я не прав, то в чем? Если прав, то почему это произошло?

Ты прав лишь отчасти. Твое суждение справедливо (опять же отчасти) лишь в отношении начала 90-х. Да и то в это время

над методологией активно работали (иначе бы не выжить) – правда, ничего практически не публиковалось. А потом все пошло: и “4 М”, и “СОЦИС”, и “Социологический журнал” (про Питер, Киев, Иваново, Саратов и т.д. не говорю). Вот с прошлого года и наша “Социальная реальность” появилась.

Иваново под патронажем А.Ю. Мягкова вообще стало методической Меккой. Те или иные методические исследования ежегодно проводит ФОМ. В регионах активно работают наши партнеры, которые и собственное методическое реноме поддерживают, и на своих региональных, и на зарубежных заказчиков работают. Они даже организовались в ассоциацию, которая периодически тестирует и ранжирует общенациональные столичные опросные фирмы. Так что здесь ты не совсем прав.

Каковы основные направления методических исследований ФОМа?

Если говорить коротко и корректно, то это в основном те направления исследований, о которых мы рассказываем студентам в рамках проекта “ФОМ-Кафедра”. Прежде всего – когнитивные аспекты интервью и следствия коммуникативного взаимодействия интервьюер – респондент. Сейчас мы много внимания уделяем развитию “мягких” методов, работаем с открытыми вопросами, планируем использовать приемы включенного наблюдения, этнометодологические штудии и т.п.

В течение первых десяти лет проведения опросов общественного мнения в США, несмотря на войну и проблемы экономического развития, там сложилась сильная ассоциация полстеров и университетских ученых, появился журнал, объединивший всех, кто занимался методикой и техникой опросов, был создан общенациональный архив результатов исследований (Центр Роупера), вышли книги (учебники) по природе общественного мнения и методике его изучения. В России первое десятилетие уже давно завершилось – что из перечисленного есть в стране?

Повторю: есть ассоциация полстеров (региональных). Есть несколько (пусть пока и обособленных) методологических журналов. Есть как минимум три корпоративных журнала: “Вестник Левада-центра”, ВЦИОМовский “Мониторинг” и наше издание – “Социальная реальность”, которые стараются расширять свои корпоративные рамки.

Создан и постоянно пополняется архив результатов. Да и книги выходят очень активно – только мы издали вполне приличную методическую библиотеку. А вот другой пример. Недавно я отрецензировала монографию А.Ю. Мягкова и И.В. Журавлевой “Эффект интервьюера в персональном ин-

тервью”, которая скоро должна выйти в свет. На мой взгляд, это будет методический бестселлер. Так что все здесь у нас как у людей.

Хотел бы вернуться к упоминавшемуся выше интервью со Шляпентохом. У него иная, менее оптимистическая оценка масштабов и направленности методических исследований, проводимых сегодня в России. По твоему мнению, это происходит в силу его неосведомленности или из-за использования им иных критериев в оценке?

Думаю, не столько из-за “неосведомленности”, сколько по причине его невключенности. Володю сегодня, на мой взгляд, больше интересуют содержательные результаты, фактические распределения ответов респондентов. Он пристально изучает таблицы с результатами наших опросов и с результатами опросов других российских фирм, пытается найти ответы респондентов на интересующие его вопросы в публикациях и на сайтах. Частенько, я думаю, Шляпентох досадует, что не о том мы спрашиваем, а если и о том, то уж точно не так. Говоря словами моей мудрой мамы, когда смотришь, как кто-то твое дело делает, то кажется, что все не так, нескладно, хочется дать по лбу и все переделать. Думаю, в большой мере методический скепсис Шляпентоха относительно нашей работы связан именно с этим. Возможно, я не права...

Россия входит в период парламентских и президентских выборов. Есть ли в связи с этим у ФОМа какие-либо новые исследовательские программы, организационные начинания?

Безусловно, сегодня наступает некий рубеж в работе ФОМа. И связан он не с выборами. Здесь наши и методологические, и методические, и производственные мощности в рабочем состоянии – выверены, отлажены, пристрелены и безукоризненно нацелены. Но эти технологии мы уже освоили. Сегодня мы готовимся к новым методологическим и технологическим поворотам. Это, с одной стороны, разработка и использование “мягких” инструментов, приемов этнометодологии, а с другой – онлайн-новые технологии. Помимо этого мы нацелились и на предметную и тематическую диверсификацию. Все это неминуемо потребует создания целой индустрии для методического экспериментирования и тестирования как технологий, так и новых системных инструментариев. Бог даст, что-нибудь получится.



Протасенко Т. З. – окончила философский факультет ЛГУ, старший научный сотрудник Социологического института РАН, Санкт-Петербург. Основные области исследования: социология города, биографический анализ, формирование и динамика электората. Интервью состоялось в 2010-2011 годах.

Татьяна Захаровна Протасенко относится к младшей части третьего поколения советских/российских социологов, и мне было интересно видеть, чего в ее биографии больше: черт, присущих представителям именно этой когорты или тем, кто составляет, следующее – четвертое поколение.

В разрабатываемой мною лестнице поколений отечественных социологов межпоколенные границы объявлены «мягкими». Принадлежность к поколению определяется прежде всего годом рождения человека, но не только им. Важен и путь вхождения в социологию. Татьяна пришла в социологию, еще будучи студенткой, раньше многих более старших представителей четвертого поколения. К тому же, ее руководителями были социологи первого и второго поколений, а среди ее коллег большинство – из ее профессиональной когорты.

Отсюда и ценность ее воспоминаний о социологической реальности. Они охватывают большой интервал времени, от конца 60-х до – сегодняшнего дня. Они дополняют многое из рассказанного другими ленинградскими/петербургскими социологами, но одновременно содержат массу нового.

Т.З. Протасенко: «СТАНОВЛЕНИЕ МЕНЯ КАК СОЦИОЛОГА ШЛО ЗИГЗАГАМИ»*

Таня, в одном из твоих писем ты заметила: «... ты пришел в социологию, так как был интерес к методам, а для меня – история моей семьи. Образ жизни. Повседневность». Пожалуйста, разверни это все...

Начну с дня рождения... Я верю в некие совпадения и предначертания... Я родилась в семье военного.

Мой отец Захар Сергеевич Протасенко – родом из Белоруссии (1909 г.р.), его семья жила в Могилевской области, недалеко от границы с Украиной, какое-то время эти земли активно осваивались украинцами, поэтому фамилия наша имеет украинское звучание и образована от имени моего предка Протаса. Бабушку звали Матрона – таково белорусское звучание имени Матрена. Отцовская семья была весьма зажиточна, ее благо-

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 2. С. 2 – 13

состояние зижделось в основном на птицеводстве. Отец часто вспоминал, что в детстве ему приходилось постоянно приглядывать за огромным количеством гусей и уток. Уже в 15 лет он стал заведующим продуктовой лавкой в селе. В семье было семь человек детей, он – младший. Потом он много им всем помогал, уже когда уехал на учебу в Ленинград. Он поступил на рабфак (примерно в 1927 г.), оканчивал еще какие-то курсы по повышению квалификации, поработал секретарем Обкома комсомола в Хибиногорске, вернулся в Ленинград. И, не поступив в летное училище по состоянию здоровья, а стать летчиком была его детская мечта, закрепился в органах КГБ (ЧК, МГБ). Связь с семьей была осложнена, поскольку семья была крестьянская и небедная. В 1934 году его родители умерли в Голодомор. Он не смог даже их похоронить. А потом навестить могилу – не пустило руководство. И побывал он на малой родине только раз, а может быть, просто не хотел мне рассказывать подробности. Во время войны его старший брат был в партизанах... А во времена Чернобыля деревня Струмень, его родовое гнездо, попала под чернобыльское облако, и все мои родственники были вынуждены покинуть насиженные места; они даже советовались со мной – надо это делать или нет. К сожалению, после распада СССР, контакты практически прекратились...

В чем заключалась работа твоего отца?

Где бы он ни работал, как правило, он возглавлял отделы контрразведки. Это мог быть крупный город. И совсем маленький. Так, он руководил контрразведкой на станции Окуловка Новгородской области на перегоне Москва-Петербург. Наверное, предполагалось, что шпионы и враги могли быть, как никак железная дорога на пути в Москву и обратно. Там он и встретил мою маму – в ту пору молоденькую хорошенькую девушку из семьи железнодорожного служащего, в чьей семье было девять детей. Для женитьбы на моей будущей маме было несколько препятствий. Он был женат, но быстро развелся, старшая мамина сестра была незамужем, он быстро выдал ее замуж за своего ординарца, и главное препятствие – папаша закрывал в селе церковь по постановлению властей. А моя бабушка была очень набожна. Однако папаша обаял будущую тещу. И свадьба состоялась. Вскоре они уехали в Ленинград. Во время войны мама получала на отца похоронки. Но он выжил и продолжил свое авантюрное шествие по жизни.

Несколько слов о маме – Анне Николаевне Ивановой (1917 г.р.). Бабушка по материнской линии была тоже из весьма зажиточной семьи подрядчика. Ее выдали замуж за железнодо-

рожного служащего – это было престижно. Он был небогат, но невеста имела большое приданое. Отец мой был весьма буйного и авантюрного нрава – и мама, держала семейный быт. Когда у отца начались проблемы по службе, пошла работать и много сделала для цементированья семьи. Она была типичная жена военного, стоически принимала выверты судьбы и приключения моего отца.

18 февраля 1946 года в нашей квартире в Красноярске собралась очередная компания по расписыванию «пульки» в преферанс. Моя мама была очень добропорядочная женщина: не пила, не курила, но преферанс любила самозабвенно. В час ночи 19 февраля 1946 года она вдруг поняла, что я вот-вот появлюсь на свет, папаша в этот момент выигрывал. И все ее уговаривал потерпеть... Однако маму увезли в роддом, и там в 4 часа ночи на стыке знаков Водолея и Рыбы появилась я. Утром компания долго праздновала это событие. Думаю, что это отразилось на моем характере и судьбе – известный авантюризм. Переплетение характерных черт двух знаков.

Кто из родителей на тебя более повлиял: отец или мать?

Отец и жизнь моей семьи.

Среда чекистов – интересная, их я наблюдала, конечно же, больше всего в личной жизни. Любопытно, что мне никогда не предлагали с ними сотрудничать в качестве осведомителя, лишь один раз я работала на них в качестве стенографистки.

В силу обстоятельств мы много путешествовали. Переезжали, и я постоянно оказывалась в разных социальных средах. Видела множество социальных групп. Мне приходилось наблюдать и приспособливаться. Где-то было интересно, где-то вынужденно, чтобы выжить. В годы войны отец был подполковником КГБ, входил в руководство СМЕРША Ленинградского фронта. Он обладал очень язвительным и критическим умом, мог выступить с критикой самого высшего руководства. В итоге поплатился, в 51-м году уже в чине полковника, он чудом избежал репрессий, успел собраться и уехать вместе с семьей в течение трех часов. Около года мы жили в деревенском подполье, я оказалась после элитных военных кругов, мы тогда жили в Чите, в самых бедных деревенских. К счастью, умер Сталин. Мы переехали в Ленинград. Отца реабилитировали. Но он никогда больше не вернулся в свою контору, а занялся моим воспитанием.

Потом мы жили – с 1954 г. по 1974 г., – в уникальной коммунальной квартире на углу Маяковского и Невского. А до этого почти год прожили в маневренном фонде во флигеле дома 108 по Невскому проспекту. Любопытно, что ныне в этой

квартире на первом этаже находится офис туристической фирмы «Бон Вояж», которая организует все мои турпоездки. Вот такие параллели.

В общем путешествии по жизни с родителями привело меня к интересу к самой жизни, к интересу к повседневности. Я вообще по жизни наблюдатель. Кстати, недавно я прочла несколько работ Владимира Ильина, где он представляет свою концепцию социологии как образа жизни, «интеллектуально переваренной социологом эпохи», говорит о принципе двойной рефлексии. Мне это очень близко, так же, как и «невывключаемое наблюдение» Игоря Травина.

Очень интересно, чуть позже указанного тобою времени я жил в огромной коммуналке в нескольких минутах ходу от тебя, на Поварском переулке, вблизи Владимирской площади...

Жильцы моей коммунальной квартиры представляли собой срез тогдашнего ленинградского общества. Женщина-доцент Технологички, семья рабочего с пятью детьми. Пожилая пара: он – бывший гусар с усами, она дворник, и работала дворником во время войны. А потом она была фактически частным предпринимателем – стирала и гладила на дому вещи соседей. Также в этой квартире жила семья еще одного военного, мясник с Кузнечного рынка, пенсионеры с сыном-уголовником. Довольно безобидным. Но когда напивался, то, как всякий русский мужик, становился невменяем, бил родителей и орал, мы его регулярно «сажали». Отсидев годик в тюрьме, он возвращался. Как ни в чем ни бывало. В 1956 году вернулись репрессированные родственники хозяина дома. Мы жили в его бывших апартаментах (на втором с половиной этаже – это было типично): в них было комнат 10, но поскольку они были разделены – комнат стало около 15-ти, да и квартира с роскошными каминами и сквозными дверями, была разделена на две. Одна часть имела выход во двор – бывший «черный» вход, другая – с «белым» входом – выходила на Невский. Мы жили в этой части. Приехавшие родственники бывшего домовладельца были его сестра и племянник. Племянник работал учителем труда в профтехучилище, сестра уже была пенсионерка.

Может быть теперь ты вспомнишь о школьных годах, скорее всего ты училась в одной из школ в центре города... Какие у тебя воспоминания остались об этом периоде?

Я окончательно оказалась в Ленинграде в 1953 году, где и пошла в школу. Школа находилась на ул. Восстания, 8, № 209, огромный дворец с огромными классами и потолками высотой метров шесть. В 90-е годы, как-то придя на вечер встречи выпускников, а он всегда проходит 2 февраля, я узнала историю

нашего учебного заведения. Во время учебы мы ее не знали. Это был Павловский институт благородных девиц. И история нашего заведения в общей сложности к концу 20-го века насчитывала 200 лет.

В школе я училась образу жизни по-ленинградски (или по-питерски). Вообще говоря, я довольно рано осознала, что Ленинград – это вам не Москва и не Россия. Он – особый. Это я поняла еще тогда, когда в нашем дворе дома в Чите, где жили в основном военные, появились семьи из Ленинграда. И дети, и их родители были другие, непохожие... Это я запомнила очень хорошо. А когда обосновалась в Ленинграде, я это осознала еще лучше. Мне приходилось многому учиться. И до сих пор, хоть я и прожила в этом городе более полувека, у меня нет идентификации с ним. Я другая, мне ближе Москва. Ее менталитет. Стилль поведения, образ мысли. Люблю ли я этот город – не знаю; это город декаданса. Им можно болеть, но любить вряд ли... Однако – так случилось. Я тут живу.

В первом классе – школа была еще женская. Со второго – началось совместное обучение. Однако еще в первом классе у нас сложилась тесная компания. Хотя состав школы был очень смешанный: дети кухарок, потомки дворян и интеллигентов, но наша компания была достаточно однородной. В первых – мы все были отличницами, во-вторых, семьи были очень интересные. Одна моя подруга была из семьи архитектора-реставратора и художницы, а предки – были дворяне. Единственные, они этого не скрывали. Вторая подруга имела деда профессора. Помню, меня совершенно потрясло, что в их семье выпускали домашнюю стенгазету. У еще одной подруги дед был известный часовщик, отец – инженер-судостроитель, мать врач. Это была семья евреев-интеллигентов с питерско-украинскими корнями. У четвертой моей подруги родители были учителя, но, как выяснилось совсем недавно, оба деда были священнослужители...

В этой школе девушек обучали эксклюзивной специальности – стенографистка-машинистка. А мальчиков – помощник машиниста. На женские специальности был конкурс. Я его прошла. Поскольку была отличницей. Но в этой школе мое сознание отличницы почему-то сошло на нет, мне все надоело. Я начала бунтовать. И наконец-то целенаправленно стала реализовывать свои интересы – стремление познавать мир. Путешествовать в пространстве и по жизни. В школе было много скандалов. Эпатажа. Если до 9 класса на родительские собрания в школу ходила всегда моя мама, то с 9-го класса «отмазывал» меня папаша. Одевал ордена и шел учить жизни учителей... С 15-лет я много ездила. В основном летом. На

Кавказ, в Украину, Карпаты, Прибалтику. Именно там на туристской тропе, в компаниях у костра – возникало ощущение личной свободы.

Чтобы покончить со школой, скажу, что жизнь наша была достаточно интеллектуально бурной, с хождениями в музеи и театры. Постоянно торчали в ТЮЗе на Моховой. У нашей всеобщей бабушки-дворянки там была знакомая и давала нам контрамарки. А брат одной моей одноклассницы – курсант Дзержинки – был помешан на современных поэтах и постоянно таскал нас на концерты чтецов – в частности, Михаила Павлова. Он читал много неопубликованных стихов Евтушенко, Вознесенского, Рождественского и других. Мы с помощью стенографии их записывали, а потом размножали. В ту пору я очень любила Вознесенского (за форму), Евтушенко и Аксенова. Последних двух за социологичность, как это можно сейчас назвать.

Вообще говоря, мой интерес к разным сторонам жизни связан именно с тем, считаю ли я их «социологичными». Это касается и повседневной жизни. И интереса к тем или иным людям, отношениям к спектаклям, книгам, песням.

А еще была «Литературная газета», на которую в 60-е годы я стала подписываться. Самой интересной была 16-я страница, помню гениальный текст Григория Горина «Остановите Потапова», он у меня хранится до сих пор. Это абсолютная социология. Там описаны сутки одного служащего. Конечно же, московского. Как он прыгает с места на место. Успевая поработать. Встретиться с массой людей. В том числе с любовницей. Сходить в театр. Решить кучу проблем ...и вернуться домой. Чтобы завтра начать все сначала. Мы это воспринимали иронически. Но сейчас-то понятно, что это и есть современный образ жизни, которого мы были лишены, особенно в Ленинграде. Теперь многие из нас живут такой жизнью; я во всяком случае, не имея машины, за день бываю в разных местах – от пяти до восьми мест. Даже подсчитала. Очень редко дело ограничивается перемещением дом-работа-дом.

Вернемся к школе... ведь ее все же предстояло закончить...

11-й класс был в моей жизни очень тяжелым периодом. Все-таки 11 лет школы, особенно нашей, было слишком большим испытанием. Весь 11-й класс я воевала с учительницей математики. Все дело в том, что я слишком рано стала подкрашиваться, и еще в 9-м классе чуть не довела до обморока нашу классную руководительницу, когда выкрасилась в рыжий цвет хной. А в 11-м все уроки математики начинались с того, что математичка подходила ко мне, пристально на меня смотрела и говорила – опять накрасилась, за дверь.

Но тут случились математические олимпиады, они тогда были популярны. Не помню, как я попала на районную олимпиаду, но я оказалась в числе победителей, была отправлена на городскую и там заняла призовое место. Как-то особенно красиво решив очередное тригонометрическое уравнение. Представители РОНО или чего-то там еще пришли в школу меня награждать на урок. А меня нет, я за дверью, читаю Аксенова. Скандал. Опять же вмешался папаша, меня вернули в класс, попросили потерпеть и быть скромнее. Однако в школе я была чуть ли не единственной победительницей Олимпиады. И меня терпели. Но в апреле я заболела каким-то супер-гриппом. Огромная температура. Непонятные симптомы, и меня отправили в Боткинские бараки, очень, кстати, приличные по тем временам. Отдельные боксы. У меня был второй случай в городе – лечили «на разрыв аорты». Но появилась в школе я только в мае. А тут экзамены. Сначала я хотела оформить по болезни отказ от экзаменов, хотелось лучших оценок. В итоге сдала все очень прилично.

Нужно было определиться. Я очень устала от борьбы, от болезни и хотела отдохнуть, подумать и оглядеться. Поразмышлять... Не тут-то было. Высшее образование – это был фетиш в наше время, если ты не поступал в ВУЗ, ты был никто... Мне закатили в семье первый скандал, и я решила поступать. Куда? В «большой» университет. Почему-то он мне очень нравился. И ездить было удобно. Поступать в соответствии с моими жизненными ценностями можно было только на географический или геологический, хотелось путешествовать. Но географический имел перспективу стать учителем, этого я не хотела.

И тут опять вмешалась моя семья. В основном мама. Родители уже старели, и им не хотелось надолго меня от себя отпускать. В итоге после длительных уговоров я подала документы, конечно же, на филологический, на английское (переводческое) отделение. Это при том, что английский я знала не очень, да еще имела характеристику с записью – комсомолка, но активного участия в общественной жизни не принимала. Сейчас я осознаю, что по-видимому это был подспудный протест и намерение провалиться... Так и случилось... Конкурс был огромный, надо было набрать 20 баллов из 20, а я, получив пятерки по сочинению и русскому, получила тройку по истории. В общем, не прошла по конкурсу.

Догадываюсь, и здесь пригодилась профессия стенографистки, которую ты осваивала в школе. Так?

Я не расстроилась. Расстроились мои родители. Три недели я отдыхала, но помню, что мне даже в голову не приходило,

что можно не работать. И мама работу мне нашла очень быстро. Она в ту пору работала референтом прокурора города и знала многих начальников отделов кадров. В том числе «Большого университета». Они там посоветались. Я к ней пришла, и она меня отправила на философский факультет, где требовалась стенографистка-машинистка Ученого Совета.

Я пришла, приняла меня Светлана Николаевна Иконникова. Разулыбалась. Сказала, ой, какая хорошенькая девочка. А у нас так много мальчиков... Потом заканчивая разговор, спросила, а стенографирую-то я как? Да нормально, имею диплом съездовой стенографистки, скорость хорошая. Ну, и хорошо, если надо, поможем. Так я с 17 сентября 1964 года получила рабочее место в деканате философского факультета. Мне там нравилось. Новый круг общения, это при том, что слово философия я вообще-то даже по-моему и не знала. Приличная зарплата, как сейчас помню – сначала 69 рублей. А потом 75. Это делало меня достаточно независимой от семьи.

Круг общения у меня остался прежний. Прежние компании, прежние подруги. Самая моя близкая подруга в ту пору тоже, наконец-то ушла из той сферы деятельности, куда ее отправил отец-инженер. Она закончила судостроительный техникум и вознамерилась поступать в Мухинское на отделение моделирования одежды, которое только-только открыли. Куда вскоре и поступила, предварительно поработав в Доме моделей, где я постоянно у нее торчала. Вот такой был наш круг общения. Факультет был предметом наблюдения, но не более.

В составе факультета тогда было отделение психологии и мини-лаборатории. В том числе инженерной психологии. Я участвовала даже в каких-то экспериментах. У нас проводились разные интересные мероприятия, пел Евгений Клячкин. Но главным событием в те годы были лекции Игоря Семеновича Кона по социологии личности, это на меня повлияло в части профессионального определения. Помню зал истфака, когда люди висели чуть ли не на водосточных трубах.

Итак, ты была уже втянута в атмосферу философского факультета.. предстояло сделать еще один шаг...

Но я в это особенно не вникала, поскольку учиться на факультете не собиралась. Хотя на некоторых защитах диссертаций мне стало вдруг интересно. А к социологии интерес появился позже, когда я уже поступила на философский факультет. По-моему в феврале 1966 года при активном участии факультета и декана факультета В.П. Рожина в Ленинграде на территории главного здания АН СССР состоялся первый Всесоюзный социологический конгресс. Мне это слово – соци-

ология – как-то нравилось гораздо больше, чем философия. Приехали любопытные люди. Мне удалось с ними познакомиться, поскольку я частично стенографировала, частично отмечала командировки. Кое-что я послушала. И это меня заинтересовало.

А весной 1965 года меня вызвала к себе Иконникова и спросила – ты вообще думаешь куда-нибудь поступать? Я начала что-то мямлить. Она меня спросила – а замуж ты не собираешься? Нет. Тогда будешь поступать на философский факультет. Да я ничего в этом не понимаю – поймешь. Вот тебе моя книга и т.п. Если бы не ее талант уговаривать, никогда не пошла бы учиться на философский факультет... В общем уговорила. На дневной я еще поступать не могла – нужно было иметь 2 года стажа, да и работать мне нравилось.

На факультет я поступила. На философское отделение. Было еще отделение научного коммунизма. Конкурс как-то прошла с легкостью. Даже без всякого блата. Считаю, повезло с билетами. И по истории были хорошие вопросы. Я оказалась на одном курсе с Дмитрием Шалиным. Там было еще несколько интересных людей, которые в итоге через год перевелись на дневное отделение. На первом курсе с Димой я общалась мало, да и вообще все-таки философия меня не очень интересовала. Хотя увлеклась французской философией – Гельвеций, Гольбах, и др. Но я училась с легкостью – у меня в то время была очень хорошая память. Время от времени мне подбрасывал работу Ядов – я печатала ему анкеты по опросам по телевидению и по досугу.

После 1967 года на факультете стали принимать школьников без стажа производственной работы. Контингент учащихся, атмосфера на факультете очень изменилась. Все-таки вчерашние школьники, не вобравшие в себя армейскую муштру и производственную мораль, создавали другую мыслительную атмосферу, были более раскованны, наивны. К тому же среди них было больше ленинградцев, которые также меняли общефакультетский, если так можно выразиться, менталитет, внося в него более современные городские стандарты.

К твоему обучению на философском факультете мы вернемся... сейчас чуть в сторону... Ты знаешь, что меня интересует влияние различных форм неформальной культуры на особенности понимания того, что происходило в нашем обществе. Трудно предположить, что в той свободной компании, в которой ты оказалась еще в школе, да еще живя в центре Невского, ты прошла мимо самиздата. К тому же – ты умела печатать...

Ты прав. В моей жизни рано появился самиздат и именно благодаря моей специальности, умению печатать на машинке.

Были разные друзья-приятели, друзья-друзей, которым хотелось иметь собственные экземпляры самиздатовских произведений. Я, конечно, их читала, но сказать, что увлекалась, не могу. Помню несколько произведений. Во-первых, печатала во множестве экземпляров «Автобиографию» Евтушенко, «Реквием» Ахматовой. Поэму о дожде Бэлы Ахмадулиной. «Превращение» Кафки. Как я сейчас понимаю, это была не политика. Не правозащитные тексты – это была другая литература.

Я недаром вспомнила о компаниях. В это время в моей среде и социальной, и пространственной, было очень популярно собираться в компании. Накануне любых праздников мы друг другу задавали вопрос: «Где ты будешь? В какой компании?». Компании нелепо образуются.... Я ведь жила на углу Невского и Маяковского, где было кафе «Ленинград», до войны – «Бристоль». Там я время от времени встречала завсегдаев, и они мне много интересного рассказали. От улицы Маяковского до Литейного начиналась знаменитая «стометровка», где во времена стилига и позже было модно фланировать – встречать друзей. Наблюдать жизнь и себя показывать.

В одном из твоих писем сказано: «Я жила в центре города, и ясно, не могла не бывать в «Сайгоне». Однако, о нем и о нас в нем у меня иное мнение, чем у Лены Здравомысловой». Поясни, пожалуйста, свое мнение...

Помимо всего я увлеклась горными лыжами и регулярно ездила на Кавказ. С тех пор очень люблю Грузию и Армению. Реже ездила в Карпаты. Коктебель освоила много позже. Основными обитателями лагерей в горах были москвичи, киевляне и новосибирцы. Ленинградцев было очень мало... А на нашем факультете на лыжах, по-моему, никто не катался. И я фактически существовала в двух параллельных мирах – училась в одном, развлекалась и жила в другом. Как я говорила, много времени проводила в компаниях обитателей «Мухи» и им подобных старых знакомых с Невского. Поэтому я редко заглядывала в «Сайгон».

Его обитатели меня не интересовали. Некоторых я знала очень хорошо – они жили рядом. Некоторых я встречала в компаниях мимоходом, и они меня не заинтересовали. Некоторые оставляли у меня омерзительное впечатление опустившихся людей. Мне кажется, дело в том, что кое-что в компаниях, в которых я время от времени проводила досуг, и в «Сайгоне» было общее. И чтобы получить это, мне не надо было идти в «Сайгон». Мне хватало общения в другом месте. Кроме того, как мне теперь кажется, у меня изначально посредством воспитания, особенно моими деревенскими родственниками,

было заложено презрение к неработающим людям, чтобы не называть их тунеядцами. Я считаю до сих пор, что только посредством работы, дела человек может себя реализовать. И в этом смысле «Сайгон», с моей точки зрения, был, конечно, очень интересным местом для наблюдения социологов, но в плане личностного обогащения – вряд ли. Поэтому я там и бывала нечасто.

«Сайгон» в то время был местом встречи для многих странников жизни – в отношении многих было известно, что он в такое-то время будет в Сайгоне или в книжном скверике на Литейном. И он туда в это время приползал, даже если совсем не держался на ногах. Потом в этот круг общения были включены еще несколько точек: подвал Дома Актера «Советское Шампанское», где продавали коктейль фифти-фифти (коньяк пополам с шампанским), кафе «Эльф» на Стремянной и кафе «Ольстер» на Марата, когда открылся после ремонта ресторан «Невский». «Ольстер» вообще был экзотикой, потому что там собирались геи. Часто перед закрытием там можно было видеть танцующих в обнимку мужчин. Чаше всего я бывала в Сайгоне, когда должна была встретиться со своим бойфрендом, как сейчас сказали бы. Да, конечно, атмосфера, но все же... Да, место культовое, и его нужно было сохранить. Хотя бы потому, что таких у нас больше не было... Любопытно, что закрыл это кафе Собчак – наш великий демократ...

Осенью 2009 года, по-моему в октябре, я была на праздновании юбилея «Сайгона» – что-то запамятовала: 50 или 45 лет праздновали. В скверике недалеко от кафе «Эльф» на Стремянной. Я там провела часа четыре. Знакомых фактически не встретила. Думаю, что многие умерли, кто-то уехал, кто-то изменился до неузнаваемости. Однако пришли целыми семьями с детьми. Даже с грудными. Было много милиции. Которая не вмешивалась и аккуратно поддерживала порядок. Из знакомых – были актер Сергей Мигицко и художник Дмитрий Шагин. Никого из исследователей «Сайгона» не встретила – а зря. Нужно было бы поспрашивать, посмотреть. Пофотографировать...глядишь и любопытные бы идеи появились...

В то время было несколько книг, которые на меня повлияли в плане дальнейшего самоопределения. В середине 60-х перевели книгу Лесли Уоллера «Банкир», где в очень занимательной форме описывалась конкурентная борьба в среде банкиров и политиков в США. Авантюрные игры. Победы, политтехнологии... Я эту книгу прочла запоем, и мне тогда казалось, что у нас никогда ничего подобного быть не может, но меня это очень заинтересовало... Не прошло и 30 лет, как я сама оказалась в центре подобных событий. Это была изби-

рательная кампания Собчака весной 1996 года. Начало моей социолого-политтехнологической деятельности...

Так, Таня, вернемся на факультет..

... первый курс я закончила вполне прилично, и Иконникова предложила мне перевестись на дневное. Подумав, я согласилась – все-таки совмещать учебу и очень увеличившуюся нагрузку стенографирования было трудно. Но была одна проблема, я должна была найти себе замену. Найти было трудно. Специальность редкая. Но через каких-то людей мне посоветовали Валю Узунову (БД: Валентина Георгиевна Узунова – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии РАН). Она пришла. Мы друг другу понравились. Но она мне по секрету призналась, что стенографирует не очень хорошо, и это дело не слишком любит. Но я уже настроилась переходить. И уговорила Валю придти на мое место, пообещав ей помогать, что и делала достаточно регулярно. Именно поэтому мы стенографировали защиту докторской диссертации Ядова вдвоем. А еще ранее я стенографировала защиту А.А. Бодалева, Л.М. Веккера, Л.Н. Столовича и др. С Валею мы подружились, потом жизнь нас сводила и разводила. А сейчас мы живем совсем рядом и иногда по вечерам, общаясь, вспоминаем нашу молодость.

Я перешла на дневное отделение на второй курс. Мне это время как-то не очень запомнилось. Потому что мне пришлось досдавать довольно много предметов, ведь список изучаемых предметов на дневном и вечернем различались.

Специализация у нас началась на третьем курсе, а на втором – еще шли общефилософские курсы. Помню, с большим интересом читала Гельвеция «О человеке» и писала на эту тему реферат Е.П. Водзинскому. А еще потрясла Марию Семеновну Козлову, которая вела у нас семинары по диамату, тем, что заявила, что меня не удовлетворили аргументы критики Лениным, приводившиеся им в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Найти линию поведения на факультете мне было непросто. С одной стороны, я хорошо знала многих преподавателей, включая и со стороны поведения их в неформальной обстановке. С другой стороны, однокурсники не считали меня своей, поскольку до этого я работала в деканате, и преподаватели меня знали. К тому же, на факультете доцентом, а потом профессором работала Зоя Михайловна Протасенко. Она была моей однофамилицей, но многие считали ее моей родственницей – то ли тетей, то ли мамой. Даже Здравомыслов думал, что мы родственники. И я закончила факультет с этим подозрением многих в отношении меня. И

когда я получала отличные оценки – многие считали, что это все по благу, а когда оценки были не очень – некоторые даже злорадствовали...

Весной на втором курсе 1967 года мне пришлось стенографировать Общеуниверситетскую перевыборную комсомольскую конференцию. Ситуация там была достаточно скандальная. А инициаторами скандала были философы: в том числе Валерий Глухов, потом мы с ним работали у Шкаратана. А тогда он учился на год меня старше. Два дня я там работала. Объем стенографирования был огромный, и в качестве поощрения мне предложили поехать в группе социологов ЦК ВЛКСМ в Югославию.

Руководителем был Владимир Тимофеевич Лисовский. В составе группы поехали С.И. Голод, Л.А. Свенцицкий, А.А. Баранов, Л.С. Бляхман и еще несколько интересных людей. Было несколько студентов и половина комсомольцы с промышленных предприятий. Типичный состав как отражение смычки интеллигенции и рабочего класса.

Да, тебе понравилась та поездка, наверное, захотелось посмотреть и другие страны...

После поездки в Югославию я поняла, что путешествовать в страны Восточной Европы можно через поездки в студенческие строительные отряды. Это в наше время было достаточно распространено. К тому же существовала студенческая практика по обмену в университетах тех же стран. После 3-го курса у нас образовалась возможность поехать по обмену в университет в Прагу – летняя практика в августе 1968 г. Я выдержала конкурс среди желающих поехать. К тому же это был профиль почти социологии. Но тогда наши войска вошли в Прагу, и за день до того мы получили телеграмму: «Мы к вам не приедем, и мы вас не ждем». Каюсь, но единственным чувством было глубочайшее разочарование и раздражение по причине того, что внешние обстоятельства не дают мне получить желаемое.

После 4-го курса, в августе 1969 г., я поехала в Лейпцигский университет по той же программе, что и неудавшаяся поездка в Прагу. К сожалению, курс, по которому предполагалась практика, был по научному коммунизму. Социологией тогда в ГДР не занимались. Впечатления были потрясающие: оказывается есть места, где идеология сплошь коммунистическая, более крутая и жесткая. По сравнению с ними – у нас был сплошной идеологический либерализм. После нашего пребывания на наш факультет пришел отзыв о том, как мы там учились и практиковались; учились хорошо, уровень знаний высокий, но разболтаны в плане идеологическом, задавали

странные вопросы. И по поводу меня тоже прошлись: слишком много вопросов и не в той идеологической тональности. А до того, как доехать до Лейпцига, мы остановились в Варшаве. Идея промежуточной остановки была моя; три дня в Варшаве и общение со студентами и преподавателями Высшей партийной школы, почему-то они нас принимали, было очень интересно и познавательно. Это при том, что прошел год после Праги. Но их больше интересовали собственные проблемы. Будучи в Лейпциге, мы также общались со студентами из Праги и Кракова. И это тоже был большой пласт информации. Весьма неоднозначной. Так я продолжала постигать мир и делать собственные выводы.

Мы как-то откликлись, что с Югославией?

Благодаря А.В. Баранову, эта поездка стала для меня судьбоносной, я отправилась в путь по освоению социологии. В Белграде он взял меня на встречу в университет, и я навсегда заболела социологией города. До сих пор не могу понять, как в 1970 году я могла на философском факультете защитить диплом на тему: «Социологические проблемы планировки городов». И до сих пор я пользуюсь теми материалами и работками. А курсовые я писала по наущению того же Баранова на пару с Галиной Старовойтовой по проблеме социализации в городе. Я познакомилась с нею на 4 курсе, она писала психологическую часть, я – социологическую.

Рецензентом курсовой, которую я писала на третьем курсе, выступал Валерий Голофаст, который работал вместе с Барановым в Ленинградском секторе Института философии, у А.Г. Харчева. Писал он рецензию на мою курсовую и на 4-м курсе. У меня до сих пор хранятся его комментарии. Так мы с ним познакомились.

Если оценивать в целом учебу на философском факультете с точки зрения моего приобщения к социологии, то следует отметить некоторые особенности процесса. Читали социологического материала нам немного: специализация наша называлась истмат-социология. Помню курс лекций Г.С. Антипиной по малым группам, лекции Э.В. Соколова по культуре. Зарубежную социологию и философию мы изучали с целью критики, курсы так и назывались – критика того-то и того-то. На четвертом курсе запомнились лекции В.Р. Полозова по социальному планированию; там было кое-что практическое. Был курс по социальной структуре, но не помню, кто читал, возможно, тот же Полозов. Уже в конце обучения мы все пребывали в весьма раздраженном состоянии, поскольку М.А. Киссель, который должен был защищать докторскую диссертацию, читал свой

курс по буржуазной философии целый месяц в феврале, а мы уже должны были уйти на диплом.

Гораздо большее влияние на меня оказала работа в библиотеках. Нам тогда довольно свободно давали разрешения на посещение спецхранов в Публичной библиотеке и в библиотеке АН СССР. Там я прочла многие книги по социологии – как современной, так и начала 20-го века. Зиммель, Вебер, которые еще были напечатаны в России, Чикагская школа. Впоследствии в библиотеках я активно осваивала книгу Эмитаи Этциони «Активное общество». Им и его понятием «социальная энтропия» я болела долго. Как болею сейчас Зигмунтом Бауманом с его термином «Текучая современность».

... а что с внефакультетской деятельностью?

Вообще говоря, вся учеба в университете все-таки существовала параллельно моей личной жизни. Смешно, но постоянно всплывают воспоминания, весьма отвлеченные: окна моей комнаты выходили на Невский. И все мои знакомые, проходя мимо, смотрели, горит или нет в моей комнате свет. Горит – значит дома. И шли ко мне на огонек.

Моя квартира в то время была перекрестком дорог. Судеб. Людей... Напротив находился ресторан «Невский» – я знала наизусть весь их музыкальный репертуар. А также девушек, которые приходили часам к семи, потом часть из них, неразобранных, исчезала, чтобы появиться опять к 12-ти. Там же я назначала свидания – из окна было видно – пришел или нет.

Мои навыки в стенографии меня не отпускали. Так, на 3-м курсе в октябре-ноябре 1967 г. мне пришлось стенографировать процесс противников режима Брежнева, созданная ими организация называлась Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. Главной причиной, почему они решили бороться с властью, называли нарождающийся культ личности Брежнева. А в качестве идеологической основы – постоянно упоминали книгу Милована Джиласа. Он в СССР проходил под реномэ – югославский ревизионист. Помню, в числе главных организаторов были И.В. Огурцов (его упоминает Эдик Беляев в своем интервью), Е.А. Вагин – из Пушкинского Дома и Михаил Садо. Очень колоритная фигура, с восточного факультета, ассириец, который увлекательно рассказывал историю своего народа. Был еще один студент с юрфака, точно не помню фамилию. Его отец был военный моряк, он жил в Кронштадте. И это, по-видимому было отягчающим обстоятельством. В их идеологической концепции была смесь всего, чего только можно, в том числе ленинских работ и Джиласа. Меня потому и пригласили стенографировать, что я училась

на философском факультете и кое-что могла понимать в их писаниях и идеях. Характерно, что в заключительной речи Огурцов себя виновным не признал и заявил: «Я уеду в Сибирь и, как Ленин, создам там новую партию.» За точность не ручаюсь, но смысл тот же. Смешно, но сидя за столом, в зале суда, я читала книжку Яна Флеминга, которую купила в Югославии и которую чуть не конфисковали на границе как запрещенную, про Джеймса Бонда – «Из России с любовью», в которой чуть не на первых страницах описывается подробно обстановка кабинета генерала КГБ.

Не буду подробно останавливаться на происходившем, но впечатление от всего этого действия было неоднозначно. И сторона обвинения, и обвиняемые являли собой любопытный предмет для наблюдения. То, что я там услышала, увидела, узнала, является основой для скепсиса в отношении диссидентов и всяческой оппозиции (плюс прибавились мои включенные наблюдения в течение современного политического процесса). То есть работает пословица: лучше один раз увидеть и услышать вживую, чем сто раз услышать или прочитать. Вывод же заключается в том, что наблюдения за разными сторонами жизни, в том числе и за диссидентами, и за обитателями «Сайгона», и за диссертантами – позволили мне сформировать собственный взгляд на эти стороны жизни, которые легли в основу принятия многих жизненных решений.

... А мой интерес к Ирвину Гофману обязан Дмитрию Шалину. Курсе на 3-м или 4-м он попросил меня напечатать какой-то свой текст по поводу Гофмана и Джорджа Мида. Я ими заинтересовалась. Мид меня не увлек, а Гофман – весьма. Опять же моя первоначальная профессия сыграла свою роль. Интересно, помнит ли об этом Дима?

... я узнал у Дмитрия, он помнит, похоже даже, что у него где-то хранится этот текст... существует еще одна сторона студенческой жизни: комсомол; что тебе в связи с эти вспоминается?

Напомню, в школе я категорически не хотела заниматься общественной работой, но на факультете – поступила цинично – и стала членом бюро ВЛКСМ факультета. Это давало кое-какие дивиденды, в частности, для поездок за рубеж. Тогда же я освоила еще некоторые формы деятельности и новые социальные группы. Стала ездить в студенческие строительные отряды. Это опять же давало некоторое ощущение свободы, несмотря на формально жесткие законы в отношении сухого закона и других форм поведения, если ты пребывал в отряде где-нибудь в глуши. Однажды, уже будучи в аспирантуре, ездила на Алтай на границу с Монголией – свобода была и

экономическая в части заработков, и в распределения доходов. И в плане поведения. А также в плане освоения новой действительности. Так, на Алтае большинство жителей вообще не знали, где находится какой-то Ленинград. Физику в школе преподавала женщина с 6-классным образованием. Многие мужчины имели по две жены. И даже ко мне посватался один чабан. Причем по всем правилам – пришел в штаб отряда и сказал, что ему нужна вторая жена. Одна – будет работать, вторая, то есть я – его улаживать.

Вспоминается еще одна форма нашей повседневности, которая давала много наблюдений и информации для социолога. Это стояние в очередях. Наиболее интересны и опять же социологичны были очереди за коврами и подписными книжными изданиями. Почему-то в них присутствовало много интеллигентов и интеллектуалов. В этих очередях приходилось стоять долго, они были не ситуативны и одноразовы, а длились годами, надо было регулярно отмечаться, в этих очередях завязывались знакомства и случалось много разговоров – совсем как на кухонных посиделках.

Ты написала про аспирантуру... кто был твоим руководителем?

К определению своей судьбы после факультета я отнеслась, как всегда, легкомысленно. Мне хотелось идти работать, поскольку научная деятельность меня никогда не привлекала и, к тому же, я относилась к диссертациям как таковым: к их написанию и защите – слишком скептически, поскольку за время работы стенографисткой Ученого Совета хорошо изучила внутреннюю кухню этого дела. Преподавать марксистско-ленинскую философию я не хотела, хотя Лариса Ивановна Новожилова, которая была одно время зам. декана на факультете, а потом стала заведовать кафедрой философии в Театральном институте, предложила мне работу. Я согласилась, но потом что-то на срослось. И Альберт Баранов предложил мне пойти в аспирантуру в сектор О.И. Шкаратана с написанием диссертации по городской социологии, тем более, что сектор на этом специализировался. Я пришла, понравилась Шкаратану, и он, фактически, забрал меня к себе. Предложил пойти в аспирантуру к нему, так как поступить к нему было проще, чем к Баранову. Альберт согласился, я тоже. Так осенью 1970 года я оказалась в Москве, сдавала экзамены в Институт конкретных социальных исследований АН СССР. Сдала. 4 января 1971 года началась моя учеба в аспирантуре.

Диссертация моя не была полностью по городской социологии, она называлась «Социальные факторы дифференциации потребления в городе». Так в мою жизнь вошла тематика

потребления и уровня жизни, а также социальной структуры. Эти темы также остаются в поле моего наблюдения до сих пор.

Получается, что все гладко складывалось. Что помешало тебе закончить диссертацию в годы аспирантуры? Делала ли ты позже попытки завершить работу?

На мой взгляд, все было вовсе не гладко, становление меня как социолога шло зигзагами. Возможно, это было предначертано судьбой. Я ведь все время сопротивлялась, но в итоге вышла на колею социолога-практика. Коллектив, которым руководил Шкаратан, был очень интересным. Он состоял из двух групп: одна часть находилась под юрисдикцией Ленинградского финансово-экономического института, поэтому территориально мы и располагались в этом институте, другая – входила в состав ИКСИ АН СССР, как сектора Ядова, Здравомыслова и Кона. Все вместе условно называлось объединенной лабораторией.

У Шкаратана я прошла большую школу по проведению социологических опросов: от «А» до «Я». Составляла программы исследований, анкеты, кодировала, работала интервьюером. Больше всего мне нравилась работа интервьюера, опросила я на своем веку (включая и работу в журналистике) тысячи людей.

Все началось в октябре 1971 года во время исследования досуга рабочих в Минске, я опрашивала рабочих «Белазы», «Тракторного завода», разных фабрик про особенности их досуга. Забавно, но именно опрос на рабочем месте был наиболее популярен в те времена. Производственный принцип ставился во главу угла всего жизненного процесса: от функционирования партийной ячейки до места опроса. Рабочие отвлекались от работы и отвечали на наши вопросы. Потом я опрашивала таким же образом рабочих «Скорохода» в Ленинграде при повторном исследовании «Человека и его работы» в 1976 году по программе Ядова. Происходили даже дискуссии: «Кому нужна, как ее там, Ваша социология?» – спрашивали меня рабочие, быстро приделывая очередную деталь к страшеньким моделям. А я отвечала: «А кому нужны ваши туфли?» В итоге договаривались. Иногда мои респонденты начинали вести разговоры за жизнь, тайком вынимая из потайного места шкалики спиртного, предлагали выпить, приглашали на свидания. Бывало, спрашиваешь их про семейное положение – а они: «Не скажу, зачем вам знать?». Или отвечают вполне серьезно: «Да, женат, но ты никому не говори».

Можно сказать, что всю социологическую кухню я освоила в аспирантуре у Шкаратана через практическую деятельность (опросов у нас было немало) и через семинары, которые проходили регулярно и очень активно. Шкаратан как-то заставил меня принять тезис, что главное в социологии взгляд через призму социальной структуры. А то, чем занимается Ядов, не совсем социология – слишком силен психологический привкус... И до сих пор я осталась на этой точке зрения. Несмотря на то, что потом долго работала с Ядовым.

Овсей Ирмович умел собирать талантливых и неординарных людей, умел ставить задания и заинтересовывать. Правда, можно ему было посочувствовать – такими людьми трудно управлять и удерживать около себя – что и случилось впоследствии при организации ИСЭПА – лаборатория фактически распалась на три группы. Правда, отмечу, оказал влияние и его характер. Шкаратан для руководителя порой бывал слишком импульсивен и непредсказуем. Замечу, что с точки зрения руководителя, для меня наилучшим был Ядов, он умел находить язык с любым и ненавязчиво направлять, умел слушать и замечания делать так, что ты начинал думать, что на самом деле это твое...

В итоге часть сотрудников ушли вместе со Шкаратаном и образовали его сектор. Часть ушли вместе с Барановым в сектор социологии города и в другой отдел, а мы – я, А.Н. Алексеев и О.Б. Божков – образовали сектор социалистического соревнования.

... я ведь был рядом, но не помню этого факта.

История была такова. Примерно за год до образования ИСЭПа, году в 1973, в сектор Шкаратана пришел работать Алексеев, по-моему он приехал из Новосибирска. Тогда Овсей к нему очень благоволил. Была создана группа по изучению образа жизни – первоначально в нее входил Алексеев, Глухов, я, Галя Еремичева, Ира Рябикова, Володя Павленко. Потом после окончательного распада сектора Здравомыслия, который уехал в Москву (в его секторе в Ленинграде были какие-то трения), к нам пришел Олег Божков. В конце 1973 года я вчерновую обсудила диссертацию, Шкаратан за два месяца до окончания аспирантуры перевел меня в заочную аспирантуру, потому что ему удалось выбить место младшего научного сотрудника. Он меня туда оформил. И я, таким образом, получила должность.

Отмечу еще один момент. В конце 1973 года я сделала еще одну попытку вернуться от занятий наукой, фактически стала работать у Шкаратана референтом-стенографистской, нахо-

дилась при нем, записывала его мысли, кое-что писала сама, оформляла бумаги и делала еще кучу дел. Овсей Ирмович очень хитро использовал это время, чтобы убедить меня все-таки заняться делом, т.е. наукой – прикладной социологией, поскольку, по его мнению, у меня был социологический талант. И я сдалась. Полноценной наукой, т.е. защитой диссертации я так и не занялась, но осталась в социологии. И рада этому. В итоге я оказалась в группе Алексеева и активно занялась исследованием под названием «100 вопросов о Вашей жизни».

Это было исследование обо всем. Собирались у меня на Невском. Самое интересное в этом исследовании, а опросили мы 501 человека, был принцип отбора респондентов. Мы взяли три района: один центральный – Смольнинский и два смешанных, где были микрорайоны старой и новой застройки: Выборгский и Кировский. Мы опрашивали на определенных улицах каждый 11-й дом и каждую седьмую квартиру в этом доме: потрясающая школа жизни и социологическая практика. Было еще ноу-хау – в конце анкеты-интервью каждый интервьюер писал свои впечатления о ходе опроса, как встретили, кто присутствовал, какая была обстановка, настроения, эмоции – особенно отрицательные и т.п. Но, к сожалению, это было так глобально, что выхлопов с этого исследования нет. Нет ни публикаций, ни отчетов. Именно тогда отношения у Шкаратана и Алексеева стали портиться – да и немудрено – слишком у них были разные взгляды на жизнь и принципы человеческих отношений. В момент формирования ИСЭПа я ушла от Шкаратана с Алексеевым, но и тогда мне все это не слишком нравилось. Я чувствовала, что работать с Андреем долго не смогу. Для руководителя, несмотря на внешнюю мягкость, он порой бывает жестким и бескомпромиссным, ориентируясь прежде всего на свои жизненные принципы и установки, и, сам того не замечая, может подавлять своих коллег. А мне с моей «патологической» склонностью к личной свободе это принимать трудно. Именно поэтому я всю жизнь стараюсь иметь много начальников, а не одного главного, терпеть не могу соблюдать внешние правила и сроки. Все это я устанавливаю себе сама.

В октябре 1974 вместе с большой группой социологов, включая Михаила Борщевского, Галю Старовойтову, Валю Узунову, Божкова и почти весь сектор Шкаратана, но без Алексеева и Глухова (они остались в Ленинграде доводить до конца вышеупомянутый опрос), мы оказались в Казани, где проходило панельное исследование по машиностроителям. А месяцем позже опросы шли в Мензелинске и Альметьевске. Будучи в Казани, я получила предложение вступить в партию.

Я намеревался спросить тебя и про твоё вступление в КПСС.

Предыстория такова. Во время аспирантуры у нас сложилась довольно хорошая компания из аспирантов, и я постепенно стала отходить от своих старых друзей, срастаться с новой средой. В круг общения входили: я, Валя Узунова, Володя Лосенков, Дима Шалин, Володя Рукавишников (он пришел в аспирантуру ИКСИ годом позже меня после окончания Военмеха и повлиял на меня активной пропагандой новых математических методов обработки данных), временами к нам присоединялись Даня Дондурей и Леша Семенов. В какой-то момент Дима Шалин оказался то ли секретарем бюро ВЛКСМ ленинградских секторов, то ли входил в состав бюро, но именно он рекомендовал меня на должность секретаря бюро и даже упрашивал согласиться. Итак, я стала секретарем. Наша организация не занималась ничем и не делала ничего. Главное было – собрать взносы. Порой мне приходилось вносить свои деньги. Самое памятное комсомольское собрание нашей структуры, когда мы должны были исключить Шалина из своих рядов, поскольку он собирался эмигрировать, а членов ВЛКСМ на местожительство за границу не выпускали. И, несмотря на то, что ему оставалось до автоматического выхода из комсомола по возрасту чуть больше месяца – нам пришлось проводить это собрание. Диму поджимали сроки. Нужно было изобрести формулировку – смотреть друг другу в глаза мы не хотели, поскольку все всё понимали. Сочувствовали, но испытывали определенное раздражение – он уезжает, а нам отдуваться... В итоге изобрели нечто вроде – исключить за потерю связи с организацией...

Итак, в октябре 1974 года, когда я была в Казани, мне позвонил Шкаратан и потребовал, чтобы я срочно выезжала в Ленинград; он получил для меня место для вступления в партию. Тогда это именно так и делалось – места для вступления в партию выделялись ограниченно, особенно для служащих. Для меня удалось получить место, потому что я была членом ВЛКСМ и секретарем. Как всегда, я повзбрыкивалась, но пришлось ехать. Шкаратан был настойчив. Я приехала, как всегда, вступала с приключениями, но в итоге я вступила.

Вернулась в Казань. Опрос мы закончили и накануне ноябрьских праздников через Москву возвращались в Ленинград. И именно в Москве мы узнали, что создается ИСЭП, с 1 апреля 1975 года. Начиналась новая эпоха и в наших личных жизнях. И в жизни социологов.

Прошли годы, как ты сейчас вспоминаешь то ИСЭПовское время?

Это оказалась совершенно незнакомая для многих среда, потому что мы стали жить по распорядку типично советского

учреждения: приходиться в 9:15, уходить в 18:00. И хотя Алексеев сочинил нормы распорядка дня с двумя обязательными присутственными днями – понедельник и четверг – все это было трудно воспринимается. Мы приходили, и не знали, что делать. Потом открыли кафе, и там стали варить приличный кофе, это было счастье. Поэтому часов в 10 мы туда бежали и трепались там обо всем. Отдушиной было чтение детективов. Ими увлекались и Ядов, и Голофаст. В то время в Ленинграде было несколько домашних клубов любителей детективов, которые «держали» питерские старушки, знающие не один иностранный язык. У них были знакомые, которые привозили детективы из-за рубежа. Они их переводили, а я и подобные мне люди их размножали. Эти-то самиздатовские, но переплетенные, книжки мы и читали.

Сейчас я понимаю, осталась бы я работать у Шкаратана по крайней мере еще несколько лет, то наверное я бы доделала диссертацию и защитилась. А в ИСЭПе, хотя время от времени бывших аспирантов собирали и предлагали защититься, процесс шел вяло. Да и стимулов не было: ни материальных, ни карьерных. А потом подспудно у меня сформировалась идея доказать, что можно занять определенную нишу в социологии, найти свое место, получить известность и без защиты диссертации. Правда, нужно осознавать, что в других, даже близких сферах, придется играть по другим правилам. При этом ты нарушаешь правила игры, принятые в нашей сфере – и эта двойственность ролевых правил – весьма сложное дело. Особенно сложно – в нашей среде, где тебя часть членов нашего сообщества будет подвергать остракизму...

Вскоре нас всех перевели в сектор Б.Д. Парыгина. Несмотря на его предложение о более тесном сотрудничестве, мы решили уйти. И после длительных переговоров оказались в секторе В.А. Ядова. Но нас разделили, Божков пошел к Валерию Голофасту, а я – к Азалии Алексеевне Киссель, поскольку опыт исследования трудовой сферы у меня имелся, к тому же я успела поработать на проекте «Человек и его работа-1976» в качестве составителя программы, разработчика анкеты и, прежде всего – руководителя группы интервьюеров. Алексеев, мне кажется, был напрямую завязан на Ядова. Какое-то время мы в секторе достаточно спокойно просуществовали, описывали данные по 1976 году, кое-что делали на стороне. Ты помнишь, атмосфера в ИСЭПе была тошнотворная, отношения Алексеева с руководством Института, парторганизацией испортились окончательно, и он ушел на завод.

Безусловно, помню. Эта сторона жизни ленинградских академических социологов уже нашла отражение во многих проведенных

мною интервью, потому давай пропустим следующее десятилетие... Мне кажется, что в начале перестройки Голофаст, Петр Шелищ и ты что-то делали по созданию Общества защиты потребителей. Потом или тогда ты занялась прикладными исследованиями... Пожалуйста, повспоминай.

Общество потребителей фактически создавалось одновременно с клубом «Перестройка», и Шелищ, активно сотрудничая с активистами этой структуры, вел переговоры и с А.А. Собчаком, который в итоге на какое-то время стал Председателем Российского общества потребителей. Петр был его номинальным замом, но на самом деле руководил Обществом.

Он же окончательно притащил меня в практическую социологию. Интересно, что при А.Н. Тихонове – в качестве зама предисполкома Собчаке – нам не заказывали опросов общественного мнения, хотя и я, и Шелищ, и И.И. Елисеева входили в некую структуру, вроде экспертного совета при Тихонове и иногда обсуждали городские проблемы и способы их решения. Я это к тому, что непрофессионалы в области социологии, но профессионалы в области управления – доверяют социологам больше, чем выходцы из нашей среды или те, кто считают себя демократами. Они, как и деятели КГБ, «знают, как надо»... и им эксперты не нужны.

В 1993 году Шелищ стал депутатом Государственной Думы, и год я проработала у него официальным помощником. При этом мне было разрешено совмещать работу помощника депутата с работой в нашем Институте. Правда, я согласилась на эту работу с трудом и вскоре поставила на ней крест.

В августе 1990 года была организована первая в Ленинграде негосударственная газета «Невское время», и меня пригласила Алла Манилова, одна из разработчиков концепции газеты и ее организатор, к себе на работу, чтобы регулярно писать колонки с использованием социологических данных. Этим я занимаюсь до сих пор в разных газетах. Я не очень люблю писать, готова больше говорить. Она предложила мне наговаривать ей в свободной форме тексты, мол, она потом будет их оформлять... Но сделала это только один раз, и вытолкнула меня на стезю журналистики (я выросла до члена Союза журналистов), я довольно долго писала колонки в основном по социальной проблематике. Потом плавно перешла и на политику... Делала целые развороты по уровню жизни населения Петербурга (под общей рубрикой «Как мы жили... в такой-то и такой-то период»). По признанию многих читателей газеты, эти выпуски они вырезали, хранили и изучали.

Параллельно началось мое сотрудничество с Алексеем Кудриным, с которым мы работали в ИСЭПе и который к тому

времени стал вице-мэром, замом Собчака по экономике. Году в 1993 как-то он ехал по Шпалерной улице, и увидел меня на тротуаре, остановился и предложил встретиться – у него были идеи регулярного изучения общественного мнения в связи с предпочтениями населения в плане приоритетов бюджетной политики. Причем он хотел, чтобы по результатам исследований я публиковала статьи в газетах, в частности, в «Невском времени». В итоге мы (т.е. я, В. Голофаст и О. Божков с привлечением разных людей) оформили договор с ведомством Кудрина и стали регулярно проводить исследования. Нам формулировали задания, и мы изучали предмет. Договоры не проходили через Институт (в ту пору мы еще были филиалом Института Социологии РАН). В Институте об этом прослышали, и с тех пор у меня с институтом отношения осложнились.

Но какое-то время я занималась исключительно этими опросами, и в политику не лезла. В то время как Л.Е. Кесельман вовсю консультировал депутатов, я по разным причинам, не без влияния и скепсиса Голофаста в отношении подобной деятельности, держалась от этого в стороне. К тому же я понимала, что эта деятельность будет занимать у меня очень много времени, а главное – душевных сил, а у меня на руках были мама и сын.

... теперь что-то складывается...

Все изменилось в конце апреля 1996 года, то был разгар избирательной кампании по выборам губернатора Петербурга. Ситуация была сложная: жестокая конкуренция мэра Анатолия Собчака и его зама Владимира Яковлева. Социолого-психологическое сопровождение кампании вел доктор психологических наук, профессор психологического факультета Александр Иванович Юрьев. В апреле с ним случилось несчастье: кто-то плеснул ему в лицо кислотой... ясно, что из избирательной кампании он был выведен.

В конце апреля ночью раздался звонок от Кудрина, он настоятельно попросил меня войти в избирательную кампанию, об этом же меня попросила и Манилова. В то время они (да и сейчас также) для меня являлись авторитетами и людьми, которым я считала себя обязанной – прежде всего с точки зрения положительного влияния на мою судьбу и изменениям в ней. И я согласилась. Хотя, не скрою, был некоторый страх, чисто физический, и не только за себя, но и свою семью. Все помнят, какие это были времена. Бандиты... не всегда поймешь, где свой, где чужой... И течение кампании это подтвердило. Я насмотрелась там всякого, увидела, как могут себя вести с виду очень приличные и уважаемые люди. Но в период борьбы за

власть могут потерять человеческий облик. Тогда же я познакомилась со многими интересными людьми, с бизнесменами и политиками...

Тогда я «разошлась», фактически я работала не столько социологом, сколько политтехнологом. Напридумывала много разных вещей, иногда на грани фола. Я придумала впервые использовать в кампании «двойников». Это напрашивалось само собой: один вице-мэр Собчака В.А. Яковлев был его СОПЕРНИКОМ, а другой вице-мэр по культуре и т.п. В.П. Яковлев находился в команде Собчака. Мы придумали листовки-обманки... Тогда же я чисто эмпирически определила важные тенденции избирательных кампаний, определяющие соотношение противников и сторонников кандидатов... этими наработками я пользуюсь до сих пор.

Ты была одна из социологов, участвовавших в той избирательной кампании?

Нет, были и другие, мы, естественно, являлись конкурентами, и являемся таковыми до сих пор. Другое дело – как мы себя ведем, если оказываемся по разные стороны баррикад или, наоборот. Если нашими услугами пользуется один и тот же кандидат, мы можем оказаться и конкурентами, и спарринг-партнерами. С Романом Могилевским мы не раз работали в одной команде – и держали нейтралитет, а с Кесельманом – практически всегда оказывались соперниками. Иногда непримиримыми. Причем я отношусь к соперникам более лояльно, чем они ко мне. Дело в том, что, по моему мнению, все наши данные весьма субъективны, и потому никогда не считаю их истиной в последней инстанции. В то время как некоторые мои коллеги склонны стоять именно на такой точке зрения. При этом они даже могут пойти по пути уничтожения конкурента. Дело в том, что наши заказчики со временем научились не доверять какому-либо одному социологу и заказывают опросы разным, порой конкурирующим фирмам и людям, а потом сами делают выводы... Да еще иногда специально в целях пиара и т.д. сталкивают нас лбами. Вот на это и нельзя попадаться, надо учиться быть терпимым и к своим коллегам, и к своим заказчикам. Хотя надо отдать должное, с некоторыми социологами, работающими со мной на одной поляне, мы находимся в конструктивном диалоге, стараясь «сверять часы», проверяя и обсуждая свои данные. Наиболее полезные и конструктивные диалоги у меня всегда получаются с Дмитрием Гаврой, даже если мы с ним работаем по разные стороны баррикад. Ранее мы с ним вместе работали в ИСЭПе., теперь он зав.кафедрой на факультете журналистики в «большом» университете.

И что произошло затем?

Кампания по выборам 1996 года меня многому научила. Но было желание никогда больше туда не возвращаться. Однако опыт жизненный я серьезно пополнила, увидела изнутри жизнь элит, старых и новых. В том числе близко соприкасавшихся с криминалом. Уже тогда к нам стало много приезжать москвичей – это еще больше укрепило меня в мысли, что Москва и ее представители очень отличаются от питерских людей. Мне с ними было всегда легко общаться. И меня очень часто, до сих пор отправляют с ними контактировать. Наводить мосты ... Тогда же я достаточно близко общалась с Владимиром Владимировичем Путиным. Несмотря на миф о том, что именно он руководил кампанией Собчака, это было не так. Как ни странно, он больше занимался пиаром, общением с прессой, отсматривал рекламные видеоролики. Тем более, что Игорь Шадхан – известный режиссер-документалист, автор знаменитого фильма «Контрольная для взрослых» – находился с ним в приятельских отношениях. Именно он и делал ролики. И я вместе с ВВП ездила это смотреть в обстановке строгой секретности. Именно там я обратила внимание на одну замечательную особенность Путина. Возможно, это было и влияние его деятельности, но думаю, что все же – личностная особенность. Он умел по мимике, даже если ты очень скрывал свои эмоции, по взгляду, по практически незаметным признакам понять твою реакцию на что-либо, понять нравится тебе это или нет. По свидетельству некоторых людей, с которыми он работает до сих пор, это очень помогает ему на заседаниях правительства и на разного рода совещаниях. В том числе и на международном уровне.

Техническим штабом тогда руководил Кудрин. Обстановка, повторяю, была тяжелая. Прежде всего из-за большого количества двойных агентов, которые работали на обоих кандидатов, на Яковлева и на Собчака.

Вскоре после окончания кампании и проигрыша Собчака многие мои знакомые и коллеги по выборам уехали в Москву. А я осталась в Питере. Очень тяжело было решаться в 50 лет на переезд. Хотя это был реальный шанс поменять судьбу и среду обитания.

Вообще говоря, избирательные кампания очень тяжелая психологическая нагрузка, особенно если ты сильно во все вовлекаешься и переживаешь. После первых кампаний я выходила, можно сказать, с «личностными потерями», очень трудно восстанавливалась, все время искала подтекст в поступках людей. Но потом, году в 2000 в период выборов президентом Путина я наконец-то адаптировалась и научилась

воспринимать все отстраненно, инструментально. Научилась доказывать политикам, что в их проигрышах виноваты не социологи. Читать им краткие лекции по социологическому ликбезу, объяснять возможности социологии и социологов в период выборов. И поэтому с большинством людей, с которыми я работала на выборах, у меня остаются хорошие, дружеские отношения.

Потом у меня было много кампаний... Назову несколько интересных, трудных, страшных... Выборы в Законодательное собрание Петербурга в 1998 г., когда убили Галю Старовойтову. Я тогда с ней часто общалась, поскольку работала в объединенном штабе, куда входил и ее блок.

1999 год – выборы в Госдуму. Тогда мы провели достаточно интересные исследования, которые показали, что в тройку лидеров «Союза правых сил» надо вводить Сергея Кириенко, несмотря на то, что его имя было связано с дефолтом... На него хорошо реагировала молодежь. И СПС тогда выборы очень хорошо прошел, в частности, в Питере.

2000 год: выборы Путина. Здесь у меня, с точки зрения социолога, были наиболее комфортные условия – я не входила в штаб кандидата в президенты, только проводила различные опросы общественного мнения. Независимость социолога в подобных кампаниях очень важна. Тогда тебя не смогут обвинить в ангажированности. У меня было еще несколько опытов подобной работы, в том числе и во время выборов губернатора Петербурга в 2003. Тогда приоритетным кандидатом была Валентина Матвиенко, которая и выиграла выборы.

Пока, Таня, все смотрится несколько абстрактно, не могла бы ты оживить это примером из твоей аналитико-консультативной деятельности в ходе президентских кампаний?

Могу. Недели за три до дня голосования по выборам президента в 2000 г. я столкнулась с влиятельным представителем городской власти. И он меня спросил – Татьяна Захаровна, Вы понимаете, какая на Вас лежит ответственность? А в чем дело? – ответила я. – Ну, как же. У нас есть данные Вашего опроса, где определены результаты голосования по Питеру на выборах президента. – И что? – Ответила я. – Все еще может измениться. Ведь впереди три недели агитационной работы. – Нет. Это для нас является *плановым* ориентиром, – ответил он.

Результаты голосования пугающим образом были похожи на наши предварительные результаты. И это не подвигло меня на то, чтобы бить себя в грудь и кричать, какие мы точные и тому подобное, но заставило задуматься. И до сих пор я не могу сделать однозначный вывод – ведь такие цифры были, но

такой точности за три недели до выборов не бывает. А, может, это ноу хау – и результаты выборов надо определять за три недели. Потом – ерунда... Но ведь был включен административный ресурс... И на последних выборах в ГД и президентских – попадание социологов было пугающе точным. Аналогично моему случаю. Стоит задуматься и обсудить. Но никто этого фактически не делает. А среди практиков избирательных кампаний появился термин – *социологические ориентиры*, а еще наши политики теперь опираются на мнение «референтных групп».

В том же 2000 году мне пришлось поработать в тесном контакте с Матвиенко, которую Путин выдвинул кандидатом на пост губернатора Петербурга. Интрига была запутана, учитывая то, что Собчак, которого поддерживал Путин, проиграл Яковлеву в 1996 году, а с другой стороны, именно поэтому Путин оказался в Москве и стал кандидатом в президенты. Он выдвинул Матвиенко, она примерно месяц тогда тут работала как кандидат, мы проводили постоянные опросы о ее шансах на победу, и именно по результатам этих опросов она была снята с дистанции. На моей памяти вперые данные социологии сыграли такую роль при принятии решений. А потом это стало происходить достаточно регулярно. Роль социологии и социологов росла и пугающе, с моей точки зрения, растет. Я это называю «социологической дубиной». Когда при ссылке на данные опросов принимаются решения. Я же считаю, что власть должна знать мнение народа. Но не обязательно слепо ему следовать... В таком случае на нас ложится слишком большая ответственность. И не социологи должны определять, в том числе векторы развития страны, назначение на посты, нужно или не нужно что-то строить или разрушать... Большинство не всегда право с исторической точки зрения... Характерный пример – ход принятия решения об отмене строительства Охта-центра в ранее запланированном месте. Решение принималось со ссылкой на результаты общественного мнения, хотя действительный сценарий был намного сложнее и отягощен множеством интриг. Охта-центр катком прошелся по судьбе некоторых социологов, поскольку они стали заложниками властных решений. Я с коллегами из Мегаполиса и СНИЦа регулярно проводила опросы по Охта-центру. Результаты были отрицательные, питерцы категорически не принимали этот проект. Сама же я, посмотревшись на то, как воплощались в жизнь грандиозные градостроительные проекты в разных уголках мира, включая города, гораздо старше Петербурга, была активной сторонницей этого проекта в данном месте. Это очень осложняло мою жизнь.

Вспоминаются выборы в ЗАКС Питера осенью 2002 года. Тогда я консультировала в последний раз СПС – несмотря на мои правые убеждения, консультировать наших правых чрезвычайно трудно. В итоге такие люди, как я, оказываются в вакууме – нам не за кого голосовать. Тогда по результатам опросов выявилась абсолютно четкая тенденция, доходы тех, кто собирался и в итоге пришел на выборы, примерно в 1,5 раза ниже доходов тех избирателей, кто на выборы не пришел.

В 2003 году летом-осенью в результате различного рода интриг я не работала внутри штаба Матвиенко по выборам губернатора, работал Роман Могилевский. В принципе я очень этому рада. Потому что смогла проводить опросы, какие хотела. И накануне выборов мы смогли провести опрос, результаты которого убедительно доказывали, что будет второй тур. Могилевский доказывал обратное, что обойдутся одним туром. В итоге пришлось проводить второй тур, данные голосования сошлись с нашими данными опросов. И вот тут я горжусь нашими достижениями, потому что данные не афишировались, ничего подогнать не могли.

Весной 2007 года выборы в ЗАКС впервые проходили по новому партийному принципу – поэтому приходилось проводить очень много опросов с определением рейтингов партий и лиц-паровозов, которые были на виду в целом по России, в целом по Петербургу, да еще на фоне избирательных округов, которых в Питере 50. Система подсчета голосов и определения проходных кандидатов и окончательного состава ЗАКСа была очень затруднена.

Потом выборы президента весной 2008 – с постоянным обсуждением – пойдет Путин на третий срок или нет. В тот избирательный цикл я, к сожалению, работала в составе избирательных штабов по Петербургу: «Единой России» и кандидата в президента Дмитрия Медведева. Работа была осложнена постоянными контактами с представителями одной из конкурирующих сторон.

Результатом моей «бурной» деятельности во время избирательных кампаний стали многочисленные контакты с властью и бизнесом, что помогает получать мне заказы на опросы. В частности, со Смольным я работаю очень плотно. Не раз приходилось выступать на заседаниях правительства, причем я нашла определенную форму изложения наших результатов: и письменную, и устную. К сожалению, моя работа в СМИ, адаптация социологических данных для власти – окончательно испортили мой «научный стиль». Я и раньше-то грешила бытовизмами, упрощенским изложением результатов работы, а теперь и подавно с трудом перехожу на научный стиль.

Вообще говоря, суметь правильно и доходчиво изложить наши результаты, нужно долго учиться. Помню слова Кудрина: максимум – это 3 страницы, лучше – 1,5, а вообще-то нужно укладываться в несколько фраз...

Работа во время избирательных кампаний много чему учит. В том числе, конечно, появляются контакты, которые в обычное время ты получить не можешь. Так, я неоднократно работала вместе с московскими политтехнологами, в том числе с фирмой «Никколо М», с известным политологом Александром Ципко, с Маратом Гельманом, с Александром Любимовым и многими другими. Я наблюдала, как работают на выборах совершенно неожиданные фигуры. Включая артистов. К примеру, мне пришлось возить на одно мероприятие Михаила Боярского в Нижний Новгород.

Во время выборов пришлось наблюдать многих интересных людей – как они отличаются порой в реальной жизни от экранных образов! Попробую перечислить тех, общение с которыми запомнилось, как с положительными, так и отрицательными эмоциями: Путин, Собчак, Нарусова, Немцов, Анатолий Чубайс, (а с его братом Игорем я вместе училась на философском факультете), Хакамада, Егор Гайдар и его дочь, Черкесов, Миронов, Дмитриева, Белковский, Ходорковский, Артем Тарасов, Михаил Прохоров, Сергей Кириенко, Теймураз Боллоев, Алексей Мордашов и многие другие.

На выборах появляются иногда совершенно экзотические фигуры. Так, на выборах губернатора Петербурга и на выборах в ГД в качестве кандидата выступал Сергей Прянишников, продюсер порнофильмов. Он один из самых интересных людей, которые на меня произвели впечатление. Мы с ним много говорили о бизнесе, о современной России, и он был очень социологичен. В итоге я делала для него опросы и даже немного консультировала.

Вообще говоря, разные там олигархи и прочие состоятельные люди очень любят поговорить за жизнь, они все стихийные философы, поэтому им зачастую бывает очень интересно поговорить с социологом. Как ни странно, в большинстве своем они леваки, готовы даже писать на эту тему. Так, Александр Аладушкин – макаронный король Питера, а в 90-е годы поддерживавший материально газету «Невское время», сам регулярно там публиковался под псевдонимом. Издавал книги, которые раздавали на мероприятиях на Дворцовой.

Вспоминаются разные политические тусовки с потрясающими участниками. На одном мероприятии, под названием «Ночь после выборов», в гостинице «Астория» собралась настолько экзотическая компания, что это сейчас кажется не-

реальным. В числе участников – наряду с социологами, политехнологами, журналистами, действующими политиками и кандидатами в депутаты оказались вообще несовместимые фигуры с точки зрения здравого смысла. Там появился криминальный авторитет Владимир Кумарин (Барсуков), в ту пору находившийся на свободе, а сейчас находящийся под следствием, которому могут в числе прочих обвинений предъявить и обвинение в причастности к убийству Старовойтовой. Там был Руслан Линьков, помощник Старовойтовой, получивший тяжелое ранение во время ее убийства. Там «зажигал» областной депутат Андрей Нелидов, будущий губернатор одной из северных областей, назначенный Дмитрием Медведевым, который неоднократно пел свою любимую песню – «И Ленин такой молодой...»

Замечу, сейчас, такое уже невозможно. А в те времена, во всяком случае по опросам 2000 года, в состав первой двадцатки самых влиятельных лиц Петербурга всегда входили фигуры, осторожно выражаясь, с неоднозначной репутацией – вышеупомянутый Кумарин, Вячеслав Шевченко, братья Мирилашвили.

Теперь – об участии социологов в избирательных кампаниях, в частности: кто проводит опросы? как они проводятся?

Есть разные формы участия социологов. Хорошо, когда мы сами выбираем кого, когда и по какому вопросу опрашивать. Но чаще всего социологу предлагают войти в избирательный штаб кандидата или партии и «вести социологическое сопровождение». Это означает, с одной стороны, разными путями и методами собирать социологическую информацию во время кампании, а, с другой стороны, сообщать ее членам штаба, интерпретировать, сравнивать, анализировать и, что хуже всего, делать прогнозы и нести за них ответственность. У серьезных заказчиков на такую работу всегда есть средства, поэтому информация собирается разными способами. Используется работа в фокус-группах для отработки программ, выдвижения гипотез, формулировки лозунгов и т.п. Проводятся регулярные опросы общественного мнения. Как правило, они направлены на сбор разнообразной информации о ситуации на электоральной территории. Это очень большие опросы, и именно они наиболее похожи на те, которые мы проводим в научных целях. Чем ближе дата голосования, тем чаще проводятся так называемые рейтинговые опросы с определением шансов на победу кандидата или партии. Чаще всего – это телефонные интервью, но есть и те, кто предпочитает уличные интервью. А я, если есть финансовые возможности, практикую одновременные опросы и на улице, и по телефону. Поскольку

структура избирателей на улице и по телефону несколько различается. Потом мы сводим обе выборки в одну – так проще делать прогнозы. И апофеоз – экзит-поллы. Не все их делают. С одной стороны, они требуют достаточных средств. С другой, для властей экзит-поллы бывают нежелательны, потому что затрудняется фальсификация результатов выборов, использование административного ресурса. Хотя бывали случаи в моей практике, когда экзит-поллы давали осечку.

Один из главных вопросов – кто собирает для меня информацию. Используются разные пути. Некоторые работают с колл-центрами. Некоторые набирают команды интервьюеров для конкретной работы в период данной избирательной кампании. Некоторые опираются на собственный ресурс. К ним отношусь и я. Как правило, со мной работают команды интервьюеров, костяк которых сформирован много лет назад. С одной стороны, это хорошо – я знаю все их возможности и проблемы, и даже возможности исказить информацию. С другой стороны, время от времени людей нужно менять, потому что замыливается их взгляд, а от влияния субъективного фактора никуда не денешься. Приведу пример: несмотря на мои инструкции, результаты поддержки А.А. Собчака по моим опросам были всегда несколько лучше, чем по результатам опросов команд его противника, и наоборот – у них результаты их кандидатов были лучше, чем у нас. Поэтому надо заказывать опросы разным командам полстеров, что я время от времени и практикую. Потом надо все это складывать, умножать, делить и т.п. – а затем включать интуицию.

Начиная с 2002 года, все опросы делает мне команда Социологического Центра «Мегаполис», которым руководит Сергей Исаев, я в нем являюсь научным руководителем. Однако, для проверки результатов время от времени я заказываю опросы Центру прикладных исследований Социологического факультета СПбГУ, СНИЦУ, фокус-группы, как правило отрабатывает Роман Могилевский (Агентство социальной информации). Тем не менее, когда я веду социологическое сопровождение избирательной кампании, то я и несу ответственность за все эти процедуры и за чистоту результатов. Ответственность немалая, тем более, что у заказчиков есть мнение, что за свои деньги они должны получить только победу.

В течение одной избирательной кампании, бывает, мы опрашиваем до 100 000 человек. Бывает, и больше. Особенно большие выборки случаются в период региональных кампаний. Например, в Питере 50 избирательных округов. Сложная система подсчета голосов: по партиям и по кандидатам. Материал накапливается огромный, жаль только, что потом он, как правило, лежит мертвым грузом.

Похоже, ты стараешься синтезировать жесткие и мягкие методы изучения установок... Есть ли в этом влияние В.Б. Голофаства?

Понимаешь, Валерий не был однозначным качественником, но не без его влияния складывалось мое позитивное отношение к качественным методам как методам формулирования гипотез и оформления идей. Понять тенденции как в плане динамики, так и распространенности явления можно, только включая количественные методы. Поэтому я широко пользуюсь сочетанием фокус-групп и опросов в избирательных кампаниях и внедрила такую методологию при выполнении исследований для Смольного.

Ты мне писала, что интерес к качественным методам Голофаств принес из его поездки во Францию. Я хотел бы с тобой согласиться, но, замечу, что в воспоминаниях В.А. Ядова есть замечание о том, что он пригласил Голофаства в свой сектор, задолго до его поездки во Францию, именно потому, что уже тогда Валерий был знаком с феноменологической социологией. Я вообще связываю интерес Голофаства к мягкой социологии с его юношеской увлеченностью поэзией. Что ты скажешь по этому поводу?

Главное в Голофастве была широта его взглядов. Постоянные размышления и осмысление действительности. Поскольку он знал много языков, он мог изучать разнообразные тексты, все, что появлялось нового за рубежом. «Чувство нового» у него постоянно присутствовало. В определенный момент качественные методы были тем острым новым явлением, которым он болел. Но мне кажется, что последнее время он как бы «перешел» качественные методы. Возможно, он увлекся чем-то новым, считая, что эти методы где-то исчерпали себя. У него в жизни, по его словам, не раз бывало так, что он как бы подходил к определенному рубежу, и потом больше к этому не возвращался. Так у него было и с увлечением поэзией. Он практически перестал писать стихи в конце 70-х.

Похоже, ты стала известным в Петербурге человеком...

В определенной мере ты прав. В плане работы с органами власти – я стала публичной фигурой, поскольку достаточно часто выступаю по радио и по ТВ как эксперт. Это имеет свои плюсы и свои минусы. Иногда мне кажется, что минусов больше. Особенно тогда, когда тебя начинают узнавать на улице и предъявлять претензии, не соглашаться с высказанным тобой мнением, устраивать публичные дискуссии, лезть знакомиться или о чем-нибудь просить. Так, в период монетизации льгот, в разных местах, включая пункты приема коммунальных платежей, ко мне обращались в требованием в достаточно агрессив-

ной форме разъяснить политику властей, а также предъявляли претензии, что социологи врут; по нашим опросам, против введения этой меры высказывалось гораздо меньше населения, чем на самом деле. «Вы все врете» – говорили они мне.

Были и смешные случаи. После одной длинной политической дискуссии по ТВ, в которой я участвовала, я проснулась знаменитой в рамках нашего двора – особенно среди мужчин, которые с утра шли опохмелиться в наш домашний маленький магазинчик. И когда я там появлялась, они называли меня звездой, пропускали без очереди, разве что выпить вместе не предлагали. И хотели продолжить политические дискуссии. Это к вопросу о том – должны ли публичные фигуры общаться с народом, ездить в метро, а не исключительно в собственных авто. Честно признаюсь, когда на меня в общественном транспорте внимательно смотрит какой-нибудь пенсионер, я выхожу.

Моя публичность и данные опросов общественного мнения, которыми я владею, приводят зачастую к скандальным ситуациям. Особенно это касается опросов по поводу отношения населения к разным градостроительным проектам и рейтингам ВИП-персон. Не раз происходили утечки информации или попросту воровство данных. А последующие публикации бывали тенденциозными. Герои рейтингов пытались выяснять со мной отношения. Вплоть до того, что однажды (в 1994 году), мне пришлось объясняться с фигурантами рейтингов самых богатых, по мнению населения, петербуржцев, часть из которых имела криминальный душок. И не далее как месяц назад мне опять были предъявлены претензии – почему в рейтинг не попал конкретный человек. А поскольку подобными данными интересуются не только политики и журналисты, но и сотрудники иностранных консульств, мне порой кажется, что я могу оказаться героиней публикаций WikiLeaks.

Чем бы, Таня, тебе хотелось завершить нашу беседу?

Итак, лишь на седьмом десятке я, наконец, поняла, что в итоге оказалась в нужном месте в нужное время. Мне нравится сидеть на нескольких стульях – в науке, рядом с властью, в СМИ; это интересно. Дает много впечатлений, будит мысль, рождает гипотезы. Дает, наконец, возможность зарабатывать и быть достаточно независимым. Это для меня важно, потому что я по-прежнему много путешествую. Прошлым летом я наконец решила и проехала на автобусе пол-Аргентины. Одно из главных впечатлений там – лицо Троцкого, которое смотрело на меня с плакатов даже в самом маленьком городке; они отмечали годовщину его убийства... Причем, несмотря на

достаточно многочисленные командировки – я даже поучаствовала в качестве наблюдателя на референдуме по принятию евро в Швеции – я предпочитаю путешествовать самостоятельно, благо сын составляет мне кампанию – на собственные деньги. Только такие поездки дают ощущение свободы, которую я очень ценю. Люблю одиночество в толпе, оно сродни одиночеству в сети – где главное анонимность участников. Я довольно часто одна хожу в кафе и рестораны. Люблю оказаться на каких-нибудь приемах и фуршетах, где меня если и знают, то поверхностно, и мне не надо ни с кем ходить как «шерочка с машерочкой», можно подглядывать за жизнью участников... Люблю собраться в течение часа и поехать в Хельсинки, сесть в автобус, потом придти в кафе на Эспланаде, взять чашку кофе и сидеть. Наблюдая жизнь... Встать и куда –нибудь побрести... Мой девиз всегда был – не оглядывайся назад, живи в своем времени.

Спасибо, Боря, твоя настойчивость была для меня очень полезна – я многое вспомнила и кое-что для себя определила...



Саганенко Г. И. – окончила математико-механический факультет ЛГУ, доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского Университета культуры и искусства. Основные области исследования: математические и качественные методы социологии, наркомания, социология образования. Интервью состоялось в 2010 году.

Раньше Галины Саганенко в Ленинграде социологией стали заниматься лишь И. С. Кон, В. А. Ядов, А. Г. Здравомыслов и еще пять-шесть человек. Да и в Союзе в то далекое время социологов было совсем немного. Что касается прихода в социологию специалистов с математическим образованием, то с вероятностью 0,99 она – первая. С нее начинается развитие этого процесса в нашей стране.

Сначала ее имя вошло в историю советской/российской социологии как автора «Человека и его работы», потом – укрепилось как активного участника проекта по изучению иерархической структуры ценностей. Затем с небольшими просветами вышли книги Галины, однозначно закрепившие за нею лидерство в анализе качества первичного измерения в социологии.

В последние годы она раскрылась еще в двух ипостасях. Первая, страстная и в высшей степени продуктивная гражданская и научная деятельность в сфере борьбы с наркоманией. Вторая, не менее привлекающая ее и эффективная преподавательская работа.

Г.И. Саганенко: «ДОРОГИ ХВАТИТ НА ВСЕХ»*

Галя, мы с тобою знакомы десятки лет и все же есть часть твоей жизни, которой я не знаю, давай туда и заглянем. Пожалуйста, расскажи о твоих более ранних годах, о родителях, где училась, чем интересовалась?

Боря, смотрю я на эти твои вопросы и впадаю в прострацию – мое детство было так давно и уже мало что волнует меня из тех времен. Хотя все говорят, включая «товарища Фрейда», – что все мы вышли из детства. Под настроение, наверно, можно было бы что-то вспомнить. Например, пионерские лагеря, когда я жила в Бурят-Монгольской АССР, где провела 14 лет своего детства.

Училась я вроде очень хорошо, но получить все пятерки было почти невозможно. Например, география говорила, что даже она не знает географию на пять. Раз меня чуть было не послали в Артек в 6-м

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2010. № 5. С. 2–14.

классе – у закончивших на «отлично» учебный год тогда была такая привилегия, из рабочего поселка при Авиационном заводе съездить в Артек. Но поехал мой одноклассник – Юра Бадмаев, хотя вроде и не был он в том году явным отличником, но папа его был из местных национальных кадров.

В 6-м классе во второй четверти в очередной раз не получилась у меня пятерка по математике, я, видимо, рыдала безудержно. Учительница утешала меня: «в следующей четверти обязательно должно получиться». Так что в третьей четверти – вся дорожка по математике напротив моей фамилии была сплошь заполнена почти одними пятерками.

С середины 7-го класса мы переехали в Таганрог. У отца была какая-то авария на заводе в Улан-Удэ (был он замначальника цеха на Авиационном заводе), и он на полном гоноре схватил семью и полетел к братьям в родной город Таганрог. Качество жизни в семье резко изменилось.

Поначалу на новом месте как-то не стало получаться у меня с пятерками по математике. Просто спрашивали как-то по-другому, не так, как в Улан-Удэ. Потом выправилось. Школу заканчивала на серебряную медаль, но оценку по сочинению в Ростове-на-Дону (туда отвозили письменные работы претендентов на медаль) снизили до тройки, в итоге обошлось без четверок, но и без медали. Так что сдавала в вуз все пять вступительных экзаменов.

Годом раньше меня закончив школу, уехал в Ленинград мой брат Гарри и поступил на немецкое отделение Ленгосуниверситет. Целый год в 10-м классе я решала задачи из Моденова, чтобы тоже поступить в вуз. Был такой популярный сборник задач, которые давались на вступительных экзаменах в сильнейшие вузы страны: в МГУ на мехмате, в МВТУ им. Баумана, возможно и в ЛГУ на мат-мехе. Искушение было после окончания школы поехать в Бауманку, но мне она казалась сложнее, чем мат-мех.

Брат уже год как жил в Ленинграде. Отец договорился на заводе, и на заводском самолете-кукурузнике – я впервые пользовалась воздушным транспортом – добиралась не куда-нибудь, а в Ленинград. Встретил меня брат, на пару дней поселилась я у брата моего отца. Жили они тогда в коммунальном подвале на 2-й линии. Интересно, через десятки лет я вдруг оказалась буквально в этом же самом, но уже благоустроенном подвале – в нем сейчас располагается общественная организация помощи зависимым людям «Наш путь», с которой сотрудничают наша организация.

На следующий день, сдав документы в приемную комиссию на математико-механический факультет ЛГУ, я получила

направление на проживание в общежитии на Васильевском острове – на Детской, 50. Потом оказалось, что мало-помалу я прожила на этой Детской около восьми-девяти лет.

Не так давно сели мы с внучкой на велосипеды и вечером по опустевшему городу проехали до дома №50 на Детской улице – была идея показать ребенку места своей «боевой славы». Увы, общежитие «экспроприировали» у студентов и модернизировали его под элитный дом для сотрудников Университета.

Более двух лет назад ты писала мне: «...Я поступила на матмех ЛГУ в 1957 году, приехав из провинциального Таганрога и выдержав конкурс в 4,2 человека на место; получила 21 из 25 баллов и была зачислена на факультет. Матмех на моих глазах перемалывал судьбы огромного числа людей, особенно сильно пускали под откос производственников. На втором курсе в 17 лет я тоже чуть была не перемолота той бездушной машиной, которая, видимо, называется классическим обучением». Что ты имеешь в виду под «переламывала судьбы» и «бездушной машиной»?

В те годы принимали по отдельному конкурсу производственников с двухлетним стажем и тех, кто после армии. Я думаю, на нашем курсе было зачислено процентов 20% такого народа. Потом все они так или иначе были вынуждены уйти с матмеха, остались единицы. Одну-другую двойку какому-нибудь бедолаге старшего возраста мат-мех ни за что не прощал. Видимо, образцовый студент для мат-меха – это тот, который регулярно ходит на лекции, тщательно записывает «диктовки» преподавателей, выучивает их, сдает экзамены. Так рождалась масса записных отличниц: с парочкой из них я потом работала или параллельно, или в одном учреждении, их «звездность» потом никак не обнаруживалась.

Конечно, было много реально сильных математиков. Потом еще комсомольское бюро мат-меха было сплошь из «отпетых» отличников, студентов-аспирантов – Василий Малоземов, Владимир Демьянов, Владимир Демьяненко ... Они, наверное, сейчас весьма солидные люди, но я имею в виду те далекие годы и мое ерничанье относится к тому времени... Они задавали мне на комсомольском бюро такие смешные вопросы: «Можно ли меня считать порядочной девушкой, если я танцую ночью?»

Первый «десант» на картофельные поля Мельниковского поссовета Приозерского района был заброшен нашим достославным деканатом еще в августе, сразу после нашего зачисления в вуз, и руководили тогда той картофельной страдой как раз наши «производственники». Нас поселили, видимо, на заброшенном хуторе, а человек нас было не мало – око-

ло 30-40. Как-никак были серьезные проблемы – и как нас кормить, и как принимать и сдавать трудовые разрядки, как достать, наконец, мясо, чтобы сварить нормальную еду – большая физическая нагрузка целый день на свежем воздухе, особенно для ребят требовала нормальной еды. И пробыли мы там до начала ноября. Там и услышали по радио, что СССР запустил первый Спутник земли.

Если учесть, что я прилетела в Ленинград в жарком июле с маленьким чемоданчиком, с двумя штапельными платьями, одной парой туфель – то это и была вся моя «совхозная экипировка». Меня наши производственники-руководители оставили на кухне, ибо в осеннюю пору на поле работать мне было не в чем и основное – полное отсутствие обуви.

Ты спрашиваешь – почему «матмех переламывал». Помню, было много разных производственников. Большинство их по-вылетало на первых сессиях.

Насколько я помню, на первом курсе мы жили в нашей комнате в таком составе – Майка – из детдома, победительница каких-то гимнастических первенств, окончившая ПТУ – профорг нашего первого курса, Людмила Мальцева, Ольга Бондаренко. Майка вылетела из-за каких-то проблем с профсоюзными взносами – они у нее как-то размотались не оприходованными. Людмила, возможно, ушла с мат-меха, когда я отсиживалась, восстанавливалась от матмеховских психологических травм у мамочки в городе Корсакове на Сахалине. С астрономом Ольгой Бондаренко мы заканчивали мат-мех одновременно, она тоже сходила в «академку» годом позже. Перед окончанием вуза мы выясняли с ней, кто из нас хуже учился, это был, как ни смешно, предмет нашего гонора – она взяла наши зачетки и пошла выводить среднюю, разница оказалась на 1/1000 или 1/100, кто тогда победил – вроде зафиксировали, но, встречаясь потом пару десятков лет, каждый приписывал это скромное достижение со знаком «хуже» себе. Мой брат на филфаке также не выдержал жизненного прессинга – и тоже побывал в «академке». Такая вот была тенденция. Видимо, многие из тех иногородних, кто не брал перерыв, просто сгорели. Учеба-то тогда была реальная, загрузка полная, денег на проживание в обрез.

На втором курсе, решила я послать матмех на все четыре стороны и стала переводиться в Лесотехническую академию на факультет, где вообще не было девиц. В ректорате мне предложили замечательный девичий факультет – целлюлозно-бумажный. Но я решила разрабатывать лесоуборочные комбайны, хотя в технике разбиралась никак. Меня уже брали в «Деревянную академию» на тот сугубо мужской факультет – как-никак все прошедшие конкурс на матмех безоговорочно

в других вузах признавались корифеями. Но тут моя приятельница с биофака заявила мне совершенно без тени сомнения – если уж что и заканчивать, то только Университет – он в те годы был единственным с таким статусом. И решила я тогда поменять стратегию выживания и просто взять «временный развод» с мат-мехом. На дворе был апрель-месяц, сессия вся была досдана, в деканате мне объявили, что уже назначили мне стипендию, и чего же вы проситесь в «академку». Тем более что в академку мы вас не можем отправить – нужно медицинское заключение, но можно уволиться с правом восстановления. Остановиться я уже не могла, на любых условиях должна была «взять паузу».

Понятно, вот тогда-то ты и отправилась на Сахалин...

Мама моя в Корсакове работала в общепитовской столовой завпроизводством и считала, что добыла к моему приезду «хлебное место» – продавать газированную воду с сиропом. Мол, вот прошлым летом, ее протезе заработала 300 рублей (порядком я могу ошибаться – но видимо так – раз в 10 больше стипендии). Накрасила я тогда, как юная Лолита, красной помадой губы и стала торговать водой, и нужно было не доливать сироп, чтобы был «навар». Как-то не задалась у меня эта коммерческая деятельность, через тройку недель сдала я взятую трехлитровую банку сиропа, доплатила за недостачу сиропа три рубля. И устроили меня на службу в Управление культуры г. Корсакова – поработала кассиром во всех трех его кинотеатрах. Эта культпросветработа оказалась созданной для меня. Упаковать деньги для инкассатора и составить финансовый отчет по разнице номеров билетов – не было для меня проблемой.

Просмотрела тогда многие фильмы помногу раз до сих пор помню финских «Женщин Нискавуори», венгерский «Железный цветок». Удивлялась специфике «работы с людьми»: оказывается, народ (зритель) может «доставать» человека (меня – кассира) через малюсенькое окошечко, в которое можно только просунуть денежку.

Вернулась я на матмех к четвертому семестру, но тут мне объявили, что правила поменялись, и что восстанавливаться надо было с начала учебного года. В деканате меня научили написать в Министерство высшего образования письмо с объяснением ситуации, и вскоре я была восстановлена с 4-го семестра.

Одновременно с обучением на мат-мехе ЛГУ ты проходила и «жизненные университеты», которые, думаю, потом помогли тебе в твоей социологической деятельности не менее, чем полученные

тобою знания по математике. Поделись воспоминаниями об этой стороне твоей жизни.

Возможно, первым пунктом на моем эмпирически-познавательном пути была почта. Так во втором семестре моего обучения я получила «пару» по истории КПСС, и стипендия моя «сделала мне ручкой». Решили мы с братом про отсутствие стипендии в родной город Таганрог не сообщать (там осталось еще двое маленьких детей и чего зазря родителей напрягать). Но брат-то ел докторскую колбасу (классная вещь – колбаса была нежнейшая, аромат отменный, до сих пор при воспоминании текут слюнки), а я пошла получать трудовой опыт на более скромном питании.

С начала второго курса устроилась я на почту. Общежитие было на Детской улице у Смоленского кладбища, а почтовое отделение ну прямо напротив нынешней станции метро «Василеостровская». Где сейчас сама станция метро – там как раз были дома моего участка. Первая смена – с 5-30 утра. Лестницы узкие, ступеньки высокие. Седьмые-шестые этажи. Лицтов не было. По-моему, я ходила только по черным лестницам. На каждой площадке бак для пищевых отходов. Годы спустя, пытаясь обсуждать сомнительную целесообразность этих бачков – я наткнулась на непреклонное убеждение ленинградцев – «Как это – без бачков?!» И масса аргументов «за». Казалось, вонючие бачки на площадках должны будут сопровождать всю нашу жизнь, но пришел на отечественные эмпирии «капитализм» – другая эстетика жилого дома и другие способы добывать ресурсы для экономики страны.

Разнокалиберные почтовые ящики прибиты на дверях каждой квартиры, на одной двери их могло быть пять, шесть и более; квартиры, надо полагать, были все сплошь коммунальные. На ящиках приклеены полоски с названиями из газет: «Ленинградская правда», «Смена», «Известия», еще раз «Известия»... Я искренне удивлялась, зачем столько отдельных ящиков, и уже тогда, выступая за консолидацию граждан, всю пачку газет совала в один ящик, что пошире, считая, что когда в квартире будут разбираться, кому какую газетку – наладится их общая коммуникация.

Но на следующее утро обнаружилось мое незнание жизни и менталитета наших дорогих граждан – поступало две-три жалобы от подписчиков, тетенька-бригадир пропесочивала восемнадцатилетнюю «корректировщицу» общественных отношений...

Итак, проблемами СМИ я занялась намного раньше, тебя, Борис. Нынче это называлось бы – полевая работа, метод наблюдения, акционистские исследования, контент-анализ.

Согласен, Галя, я социологией вообще начал заниматься позже тебя и, в частности, изучением СМИ. Что было дальше?

Мой брат в те же времена смущал меня своими рассказами о сказочной сытной жизни – он с приятелем устроился на хлебозавод на Красноармейской. Каждый день они до отвала ели торты, какие-то разные кондитерские вкусности. Сердобольные работницы, жалеючи студентов, подкармливали их яичницей чуть ли не из дюжины яиц. Уверенная, что кондитерский цех прилагается к каждому хлебозаводу, я рассталась с близкой к матмеху почтой и отправилась за «хлебосольным счастьем» на Петроградскую сторону на Хлебозавод №1, на Барочной улице. Поступив на работу, к своему несказанному удивлению-разочарованию, я обнаружила, что там пекли только круглый черный хлеб. Лишь в каком-то элитном цехе производилась еще соломка, но до нас она не доходила, только и всего, что пачка соломки иногда проплывала мимо моего носа в чьих-то руках. Так что обходились мы просто горячим черным хлебом.

Устраиваясь тогда на временную работу, я искренне считала и уверенно обещала кадровичке, что пришла к ним работать всерьез и надолго, примерно на полгода, спасая им проблему нехватки рабочих рук (про отсутствие кондитерского цеха я еще не знала).

Первый опыт профессиональной «социализации» на заводе – начальница моей ночной смены дала мне в руки корчевку с железных ворсом и послала меня лезть на четвереньках под огромной круговой плитой-конвейером (диаметром так метров на 12-15) и чистить кафель в жуткой жаре, в полутьме и согнутом состоянии. Другое задание было еще более мучительным: нужно было просто сидеть сбоку у той же жужжащей круговой плиты в ярко освещенном зале, в жарнице и смотреть, и, если куски теста из делителя промахивались мимо холщовой тарелки, выхватывать их из цепи. Эпизодически я засыпала и обнаруживала себя падающей на ту самую цепь конвейера, которую спасала от кусков теста.

Проработала я на том хлебозаводе 21 день. Таким образом, с текучкой кадров и летунами, в кои ряды, видимо, входила и я, познакомилась я чуть ли не раньше, чем Л.С. Бляхман и О.И. Шкаратан.

Потом была ситценабивная фабрика им. Веры Слуцкой. Находилась она на Косой линии Васильевского, совсем недалеко от моего общежития. Там я работала при станке на покраске ткани. Моя рабочая функция состояла в том, чтобы горячую ткань как-то быстро-быстро укладывать слоями на тележку, откатывать ее и заполнять следующую. Иногда этот процесс

останавливался – оборудование выходило из строя, и я, лежа на двухметровой горе ткани, могла почитать книжку. Ближайшее начальство было недовольно, мои аргументы – мол, оборудование простаивает, чего бы ни почитать – не брались в расчет и «воспитание» возобновлялось.

Впоследствии, изучая отношение к труду молодых рабочих и превращение его в первую жизненную потребность, я умело отличала ориентацию на заработок от ориентации на содержание труда.

Было одно «темное пятно» в той моей рабочей биографии. Когда махать влево-вправо на укладке ткани я уставала, а эта подлая ткань с покраски текла и текла водопадом, то я так потихоньку ткань на станке придерживала, она рвалась, я по инструкции останавливала станок, шла разыскивать ремонтника и соответственно получала 15-20 или более минут на передышку.

Так что поведение луддитов в Англии мне, наконец, стало не по-книжному понятным, а социальная история России была прочувствована мною и спиной и душой.

Действительно, многие аспекты организации труда и отношения к нему ты постигала на практике. Были еще интересные «кейсы»?

Была у меня одна навязчивая идея – устроиться в трамвайный парк им. Леонова. Он был в незаселенной части Среднего проспекта, в 15-20 минутах пешком от общежития. Постоянно катаюсь на матмах на трамваях этого славного парка, я видела его объявления, зазывно приглашавшие меня вроде бы на разные работы, и я шла выяснять свои возможности. Но каждый раз, как нынче выразительно говорят – был «облом», ибо мне предлагали только работу кондуктора: сумка на шее, на веревочке рулончики с билетами, и я протискиваюсь через пассажиров взад и вперед по вагону. Представить, что кто-то из знакомых и даже незнакомых обнаружит меня за этим публичным занятием, в очередной раз ошарашивало меня своей категорической неприемлемостью, и я опять ретировалась с глубокой мыслью на челе – мол, подумаю.

Однако, оценивая свою будущую работу социологом, очень сожалею, сколько было потеряно возможностей живьем, буквально в прямом смысле коснуться тех самых широких народных масс и репрезентативных товарищей, которых вскоре судьба предложит мне изучать под патронажем В.А. Ядова.

... ты всюду работала недолго, третий семестр пролетел быстро, ты, скорее всего пересдала экзамен по истории КПСС и училась уже на втором курсе. Что происходило в твоём «университете жизни»?

В третьем семестре я получила жестокий «неуд» на первом экзамене по математическому анализу, хотя готовила его тщательно и считала, что выучила предмет на пять. Все произошло мгновенно, примерно за пару минут, только за суету вокруг одного слова в определении двух сходимостей. Жизнь опять ударила по голове и чуть не полетела кувырком. И я решила взять тайм-аут...

Эта несправедливая и даже жестокая двойка дала мне потом возможность увидеть проблему в многочисленных аспектах, обосновать проект и получить грант в РГНФ – «Право на образование в российском обществе. Практики депривации в системах российского образования». Много лет спустя, став успешным и увлеченным преподавателем, при первой встрече со студентами я иногда излагаю им свое «воспитательное-образовательное кредо», примерно в такой вот редакции: «Студенты, вы должны учиться спокойно, я никогда вас не буду доставать, ибо вот суть моих гуманистических убеждений – нет такой темы и даже целого учебного предмета, а тем более отдельного вопроса, который бы стоил судьбы студента. Правда, это не значит, что я не смогу вынуть из вас нормальные знания».

Судя по тому, что ты закончила мат-мех, ты потом продолжила свою учебу. Теперь как ты решала материальные проблемы?

С третьего курса удалось поменять трудовую ориентацию, и стали мы с приятелями искать формы самореализации в сфере интеллектуального труда. Я даже не думаю, что зарабатывать деньги было основным мотивом устроиться на очередную работу – просто, если что-то проплывало мимо носа, если была какая-то идея прихватить шанс, зацепиться, примериться к новым обстоятельствам, я старалась этим воспользоваться. Это как сейчас с грантами – если я чувствую, что есть у меня определенное представление и ресурс, чтобы заявиться на этот жанр работы/исследования – я почти всегда ввязываюсь в эту социально-методологическую интригу. В сумме я получила грантов 20-25, не считая грантов на поездки, и моих студентов/выпускников научила находить привлекательные темы и грамотно оформлять проекты на конкурсы.

К концу третьего курса я путешествовала по «злачным местам» с камчадалкой Ниной Дмитриевой, или «Димой», как ее все звали.

Нину я знал, она потом училась на нашем курсе... она не производила впечатления любительницы работать, тем более – на полях...

Первый интеллектуальный опыт можно классифицировать как «смешанный». Устроились мы в начале сентября на третьем курсе в Институт теоретической астрономии АН СССР на полную ставку лаборанта – 74 руб. Фокус состоял в том, что нас, студентов, подражали тогда только на то, чтобы, оформив нас на работу, отправить на месяц в совхоз, хотя можно даже сказать по «профильной проблематике» – изучать звезды на небе в натуральных условиях. Сельхозразнарядки тогда были жесткие – какие бы вы ни были разнаучные работники, а итва за урожай не отменялась. Научные работники не хотели отрываться от своей творческой самореализации, и отдел кадров ИТА частично решил проблему совхозной повинности за счет студентов и скромных денег. На полях Волосовского района нас «академиков» было человек 35-40, включая будущего академика (уже в прямом смысле), тогда еще молодого и веселого парня.

Мы, трое мат-меховских студентов по найму, проблему трудовой повинности решали по-разному. Один – съездил в совхоз только раз, но с двумя бутылками водки. За это бригадир выдал ему справку об отработке в совхозе течение 2,5 месяцев. Он оказался наиболее креативным из нас и хорошо заработал в ИТА.

... Да именно так, Дима появилась пару раз, пробыла в сумме не более 10 дней, получила потом деньги за полтора месяца. Лично я честно зарабатывала свои кровные 74 руб. – целый месяц с энтузиазмом бросала клубни картошки в ведро и наблюдала модели участия академических работников в героической страде. Одна установка у «академиков» была очень четкая – в отдалении от полей была железная дорога, и эпизодически проходили по ней товарные поезда. Идет поезд, работнички садятся на ведра и начинают считать вагоны. Если число вагонов четное, то перекуривают 30 минут, а если нечетное – то добавляют еще минут пятнадцать.

Та осень была урожайной не только на картофель, но и для меня – урожайность была на выговоры. В сумме их было три. Деканат объявил выговор за пропуски занятий – ударный труд на сельской ниве у них не принимался к зачету. Комсомольское бюро матмеха разбиралось с моим «моральным обликом» и объявило мне выговор «за организацию танцев ночью» (формулировку «за организацию» потом мне удалось отбить, осталось – «за танцы ночью») и деканат в купе с комсомольским бюро выселил меня из общежития; формально, «за танцы», но фактически за выяснение отношений с помощницей коменданта – уборщицей, ставшей начальницей на тот пресловутый

вечер. И перешла я «на нелегальное положение» – проживала в том же общежитии, но без законного статуса, и моя судьба была отдана на милость вахтеров. Но была от той несправедливости и значительная польза – через пару месяцев, когда воспитательная акция заканчивалась, я добилась того, что меня перевели в соседнее филологическое общежитие (мой аргумент в борьбе за новый ареал обитания – что в том общежитии живет мой брат и объединение наших семейных ресурсов снизит накал наших материальных проблем). Там я узнала, что есть другие категории студентов, а именно «филологи», которые колоссально отличались от того, что имело имя «математики». Филологи существенно расширили мое восприятие мира. Кстати, и дружили мы с ними потом долго, а с матмеха – были многолетние контакты только с теми, кто жил в общежитии.

Тем самым я приуговтавливалась к своей будущей профессиональной деятельности – социология ведь не занимается персонами, а только групповыми субъектами. И «профессиональное занятие» – почти в любой социальной проблематике, как потом обнаруживал мой статистический анализ, являлось сильным дифференцирующим фактором.

После ИТА была Аэродинамическая лаборатория в Главном здании ЛГУ. Это такое замечательное гуманистическое учреждение и, по-моему, из чисто альтруистических идей подкормить студентов они брали нас на лаборантские полставки и давали нам обсчитывать на электрических тогда счетных машинках профили крыла самолета (по-моему, сто раз просчитанные до нас). Так мне нужно было найти 14 неизвестных из системы 14 линейных уравнений. Еще нужно было прогнать несколько итераций, так чтобы система решений сходилась. Я добросовестно билась со сходимостью этих решений, которые, однако, упрямо не собирались это делать, и хотя была уже и пятая, и восьмая итерация, и очередной раз я начинала с нуля, а приемлемого решения все не было.

Зато я научилась считать с приличной скоростью. Но самое главное, приспособилась запоминать шестизначные числа. До сих пор запомнить номер телефона для меня не проблема. В социологии мне это очень пригодилось – мои первые от социологии шефы Андрей Григорьевич Здравомыслов и Владимир Александрович Ядов очень уважали корреляции как инструмент проверки своих нетривиальных гипотез, а считать их в лаборатории могла только я, и считать их нужно было в большом количестве.

Это еще не все... еще было, к примеру, оформление математических докторских. Каким-то образом я оказалась в ла-

борантах года на два у парторга мат-меха, астронома Алексея Алексеевича Никитина.

...у меня с ним были очень добрые отношения...

Да, он был мягким человеком. Легко можно прикинуть, сколько формул нужно было вписать в четыре экземпляра докторской диссертации примерно страниц так на 250. И еще надо понимать, что докторская переписывалась не один раз. Так что почерк мой шлифовался и шлифовался, а формулы в тексте вскоре стали стоять как гвардейцы на параде.

Потом у меня еще долго сохранялся навык вести записи читабельным почерком.

Моя страсть к систематическим записям явилась одним из решающих факторов, позволившим мне в 1987 г. создать уникальный научный труд о депривации в ИСЭПе ведущих социологов страны (В.А. Ядова, Б.М. Фирсова, приуроченного к уничтожению В.Б. Голофаства и др.) и поделиться результатами своего анализа с Президиумом Отделения экономики Академии наук СССР в лице академика А.Г. Аганбегяна и с Комитетом партийного контроля ЦК КПСС. Отправив в феврале в инстанции документ убийственной силы на 16 страницах, как раз накануне 27-го Съезда КПСС, я понимала, что сейчас меня начнут доставать по всем статьям, и мне понадобится много крепких нервов и недюжинного здоровья, так что на следующий день я с утрачка побежала купаться в проруби у стен Петропавловки. Мороз был на 13 градусов, на следующий день я укрепилась в правильности своего выбора – искупалась при минус 23 градусов, осталась жива, и с тех пор купаюсь круглый год.

...кто знает, Галя, может быть без такого плотного знакомства с реальной жизнью ты бы и из социологии потом сбежала...

... Борис, это скорее мой жанровый прием – пытаться задним числом подверстать «к моим университетам» какую-то социологическую интерпретацию, ... хотя, все может быть, ты в чем-то и прав. ... Но ничего такого социологического я тогда не чувствовала и ничего из моих жизненных опытов мне не пригодилось в той научно-позитивистской социологии, которой мы занимались. Социология никогда не имела прямого отношения к жизни, так же, как и сейчас – к сожалению. Просто все это мне добавляло устойчивости в жизни. Но думаю, это наверняка косвенным образом вошло в мое преподавание социологии, в мою благотворную коммуникацию со студентами. Чему имею сейчас классную возможность учить студентов: пробуйте больше, пробуйте разное, говорю им, ни от чего не отказывайтесь,

не передавайте никакие свои возможности другим, «давайте заниматься своим сексом сами». А то у нас есть такая глупая установка – если ты как-то извернулся, сачканул, отсиделся, ничего не сделал, вытянул оценку, переложил свою работу на плечи других, на помощников, вот это, мол, и есть правильная организация труда. Ни в коем разе!

Думаю также, что и то обилие исследовательских тем, которые меня будоражат и дают мне возможность получать самые разнообразные гранты в самых разнообразных фондах, имеют истоки в той пред-социологической одиссее. Социология получила мою открытость миру и мое любопытство и, в конечном итоге, способность уйти от шаблонов и стереотипов, находить массу сюжетов для исследований и проектов.

Из-за того, что училась я плохо, то считала, что я чего-то не выучила или что-то зевнула и потому надо, мол, сейчас самой разобраться что к чему. К тому же двигаться «по классике» (начинать с истории предмета, вникать во всякие математические основания статистики, осваивать логику дисциплины и пр.) – не было ресурсов, поэтому я начинала сразу с решения практических задач, так что я в первую очередь эмпирик и в социологии – эмпирический исследователь.

К сожалению, я в своей деятельности потратила массу времени на веру в некий академический формат, на стереотипы, на непонимание своих возможностей, на стояние за спинами «классиков»... но, оказалось, никто особо умного в методологии и эмпирии не сочинил, хотя, несомненно, были масштабные организационные проекты... А сейчас эти искуснейшие методические пилотажи и вообще никому не нужны.

Думаю, что у тебя в запасе есть еще схожие истории, но пора перейти к рассказу о том, как ты оказалась в социологической лаборатории.

Да, переберусь к ключевому социологическому сюжету: «первый математик в стане социологов» (среди питерских – точно первый)...

В общем, некоторые из нашей «поисковой команды» научились хорошо слышать и видеть. И увидел кто-то из нас объявление в газете «Ленинградский университет» примерно такого содержания – «Социологическая лаборатория философского факультета приглашает студентов на кодировку материала». У меня был 4-й курс, по-моему, была весна, когда мы с Димой появились в социологической лаборатории Ядова в разваливавшемся тогда Меншиковском дворце на его правой половине, где-то там можно было обнаружить Варьярины палаты с печными изразцами. (Запомнились там деревянные полы с заплатками,

которые всегда были намазаны темно-бордовой дешевой мастикой. Теперь это филиал Эрмитажа). Скорее всего, задания по кодировке нам объяснял Андрей Григорьевич Здравомыслов, который чаще Ядова занимался организационными делами. К тому же он уже напридумал массу всяких выразительных индексов – например, делил какую-то левую оценку «работы» на оценку «дисциплины» или «инициативы», а потом эти значения нужно еще было квантовать, чтобы представить целым числом от 1 до 10 и вбить значение в перфокарту.

Речь шла о кодировании анкетной информации фундаментального лабораторного исследования «отношение к труду молодых рабочих», ставшего потом знаменитым в стране и многократно повторенного в разных точках СССР. Книга с названием «Человек и его работа», простодушно описывающая страсти первого эмпирического исследования и его участников, была переведена в нескольких странах. Закодировав положенные мне 500 штук анкет, я заработала свои 37 руб. Просмотрев несколько кодировочных листов, я обнаружила в них ошибки. Ядов страшно испугался – как же так, ошибки! Провели строгий статистический эксперимент на 10 анкет и обнаружили по 2-5 ошибок на анкету. В общем, было принято решение – все остальные из 2665 анкет перекодировать заново. Мне это не стоило больших усилий, но дало первый приличный социологический заработок.

Потом я писала в лаборатории диплом. Он назывался примерно так – «Математические методы в социологии». Могу заметить, что таким мелочам, как эмпирические расчеты средних там или дисперсий, или использование статистических критериев, выбор уровней значимости, или там оценки ошибок всякого рода, корреляции для малых и больших выборок и т.п. – на кафедре теории вероятностей и математической статистики, которую я заканчивала, не обучали. Все осваивала сама в рабочем порядке.

Не помнишь, были ли трудности с утверждением твоей темы на кафедре? Все же в то время никто не представлял, что такое социология.

Думаю, что никаких особых трудностей не было. Слава богу, что человек сам нашел тему.

И потом тебя распределили к В.А. Ядову? Тоже дело непростое...

Меня не смущало после окончания университета поехать, как и многих наших иногородних выпускников, в какой-нибудь город Жуковский, Калининград и т.п. под Москву или в

какой-нибудь еще «почтовый ящик» – спрос на математиков в стране был большой. В те времена остаться в Ленинграде после вуза было фактически невозможно, разрешения на прописку получали единицы и лимитчики (работники для тяжелых производств). Ядов уже осознал, что математик – полезный работник в деле изучения массы респондентов, помноженных на массу признаков. А на те «скромные хлеба» пригласить гордого выпускника матмеха с ленинградской пропиской, нечего было и рассчитывать – у Ядова была только ставка лаборанта на 83 рубля, временно освободившаяся от Эдуарда Беляева.

Поэтому он пошел договариваться с ректором А.Д. Александровым, и в итоге меня оставили по распределению в Ленинграде, предоставив место в студенческом общежитии.

Потом были мои слезы в процессе многократных мытарств, когда мне не давали права на вступление в кооператив в моих попытках самостоятельно решить свою жилищную проблему. После очередных слез я заявила Ядову – никуда больше не пойду, пока не будет «звонка». И был «звонок», видимо, из Отдела науки Ленинградского обкома КПСС, и мне разрешили вступить в жилищный кооператив. Но это еще не был конец. Моя частично заплаченная квартира уже всю строилась, но я потеряла всякую прописку – когда мы перешли из ЛГУ в Академию наук, и моя, как оказалось, незаконная студенческая прописка была выявлена в Большом доме на Литейном. И опять после многократных мытарств я заявила Ядову – никуда не пойду, пока не будет «звонка». И, видимо, опять был «звонок», и меня прописали в общежитии Академии наук. Потом было новоселье на Альпийском переулке: Владимир Александрович, Игорь Семенович Кон, Дима Шалин, Вера Васильевна Водзинская, Галина Красноносенко, Галина Пожарская, Вера Николаевна Каюрова сидели на березовых чурочках, и было пение, кто-то из гостей хорошо настроил нашу спевку, может это был Андрей Григорьевич. Лаборатория подарила в мою пустую квартиру кресло и торшер. Потом была свадьба с Игорем Степановым и личный подарок от Ядова – комплект на стенку разделочных досок; до сих пор я использую их в своем кухонном хозяйстве. Потом родился сын Володя, и Ядов стал его крестным отцом...

Закончив мат-мех, я забыла о нем, как о черном сне. Я нередко перед своими новыми студентами во вступительной беседе на тему «Что есть такое Учеба, или Учебы бывают разные» озвучиваю вот эту живописную картину: «Заканчивается мой пятый курс, уже сдан госэкзамен по марксистко-ленинской философии. Осталась только защита диплома (а дипломная работа была уже в кармане)... Состояние ожидания и душев-

ного подъема. Я сажусь на электричку, время примерно конец апреля – начало мая, заехала куда подальше за Кавголовое, солнечный день, пробираюсь по пустому прозрачному лесу, проваливаюсь по колено в рыхлом снегу и кричу – кричу в полный голос: «Все!.. Все кончилось!.. Кончилась вся эта бодяга с напряжениями, обязательками, математиками, экзаменами! Кон...чи...лась!... Ура...а...а!».

У меня появилась масса регулярных занятий: скалолазание, альпинизм, тренировки-тренировки-тренировки и любимое хобби – социология. И когда через 20 лет я вдруг получаю открытку, что наша студенческая группа приглашает всех на общую встречу, я была в панике – с кем же это я училась, как бы это вспомнить, ведь у меня было две группы. При окончании ЛГУ я от альбома отказалась, так что не было материала, чтобы сохранять живые образы и имена и систематически предаваться воспоминаниям.

Если мне придется писать воспоминания, буду ориентироваться на твои сюжеты... я поступил на два года позже, работал осенью на тех же полях, что и ты, летом – стройки, ради денег – Бадаевские склады, прядильно-ниточный комбинат им. Кирова, какой-то жиромасло завод на Обводном канале, целина и прочее, но мои воспоминания о матмехе – самые светлые. Ты права, Демьянов и Малоземов стали известными математиками, с последним я переписываюсь... Давай сделаем так, про твое, как ты говоришь, главное хобби - социологию, поговорим ниже, а пока – кратко об альпинизме и скалолазании... грех не вспомнить...

Я долго соображала – «благодаря» или «вопреки» матмеху я состоялась. Сначала я думала «вопреки» – я ведь не должна была выжить, вообще должна была добровольно «повеситься», ибо человек, даже изредка получающий пары, по мнению записных отличников, не достоин был жить на этом свете.

Примерно это выразили мне на той двадцатилетней встрече – «Ну надо же, ты была *хуже* всех нас,... а теперь ты *лучше* нас». В каком смысле – *хуже* вас? Это вы ходили с задранными носами, носили как на блюде свои четверки-пятерки и считали, что они – мера всех ваших достоинств. А мы дружили, любили, танцевали, занимались спортом, тоже учились – между прочим, приобретали жизненный и профессиональный опыт, получали свои шишки и делали выводы. По какому праву вы вообще порицаете или хвалите людей? И ваше нынешнее «лучше нас» – не есть свидетельство вашей справедливости/объективности, а признак все еще длящейся глупости.

Сейчас я склоняюсь к оценке «благодаря *мат-меху*» – он щипал, кусал, налетал, сшибал, приходилось защищаться,

в общем, научилась держать удар. Потом, да и сейчас – когда начинают наезжать обстоятельства или отдельные товарищи, я становлюсь упругой как мячик, у меня появляется любопытство, захватывает интрига, желание проверить себя, твердая убежденность – а вот не дамся, выстою или найду решение. Мне очень много дала необходимость противостоять трем институтским директорам, беспределу в наркомании, отчужденности в образовании.

...Вижу, Галя, как говорится, «накатило»... и все же – немного про скалолазание и альпинизм... ведь и это было частью твоей жизни...

Боря, ничуть не накатило – ты спросил, я рассказала. Ну да ладно.

Теперь про спорт. Сначала о своей квалификации: кандидат в мастера спорта по альпинизму и кандидат в мастера спорта по скалолазанию: это два совершенно разных вида спорта. Альпинизм – это восхождения на вершины, это категории сложности, это группа заинтересованных в успехе людей, несколько дней на один маршрут, рюкзаки под 20 и более кг., это выносливость, терпение, сосредоточенность, это снаряжение: веревки, крючья, ледорубы, примусы, палатки, еда, аптека, это реальные опасности и шанс улететь в мир иной. Скалолазание – это маркированный маршрут на 2 или 22 минуты, пояс, скальные туфли, магnezия, секундомер, скорость, судьи, зрители, вопли трибун, результат, победа, протокол.

Когда я училась на матмехе, я много раз пыталась заняться спортом. Были волейбол, легкая атлетика, велосипедная секция, теннис. Ну, было сложно соединить учебу, подработки и спорт. Но вот кончилась учеба, ура-ура-ура. И я сразу пошла в четыре секции: в спортивную гимнастику (я и так в нее ходила), в легкую атлетика – очень хотела освоить гладкий бег, большой теннис и скалолазание. Оставила я все другое, увлеченная скалолазанием, альпинизмом, инструкторством, успехами в соревнованиях.

В скалолазании ты нужен всякий – как спортсмен, как товарищ, как кампанейский человек, как организатор, как повар, как... Ты сразу попадаешь в гармоническую среду – люди, нагрузки, поездки, Карелия, вся страна, сообщества (не только Университет, но и Политехи, ЛЭТИ, Горняки), все радуются друг другу. Вдруг я обнаруживаю, что хорошо понимаю, что я бы сделала, чтобы пройти то или иное сложное место на скале. Здоровья у меня было невпроворот, сильные руки, зарядку мы всегда делали на Смоленском кладбище на пару часов, спортивная гимнастика. Но главное, думаю, все принимающая, гармоническая, комфортная среда.

Успехи пошли сразу. В первый год судьи меня сняли с соревнований за якобы выход за ограничение (обидно было – время было классное). Но на второй год у меня уже было первое время на «Буревестнике», минус штрафные баллы – итого третье место. На первенстве города Ленинграда – заработала, правда, лишь седьмое место – перегорела. Взяли меня на сборы на Чемпионат Союза в Крым. Все показывали на эту восходящую звезду, называли «черной пантерой». На следующий год – я была настроена выиграть оба первенства. Но, увы – перелом лодыжек 30 апреля – на стремительном спуске дюльфером прыгнула в снег (в тот год снега было невообразимое количество), под стопой оказалась небольшой камень, и плакали мои лодыжки, плакали и мои первенства в том году, плакала и моя поездка в горы в своей компании. На следующий год я стала таки чемпионкой Ленинграда. В 1974 г. я защитила в Москве в Институте социологии кандидатскую диссертацию и за пару недель до этого выиграла с большим отрывом первенство ленинградского Буревестника и первенство города Ленинграда. «Двойной дубль» – даже была такая заметка в какой-то ленинградской газете.

Я сумме семь раз была чемпионкой Ленинграда в тех или иных видах скалолазания. А также дважды была призером – на чемпионате Советского Союза и на чемпионате ВЦСПС. Были и другие заметные победы.

А тренировать не пробовала?

Как-то оказалось, что я тренирую прилично – ко мне потянулись все девицы из города. Когда набралось уже под 30 человек – я взмолилась – мы, помню, зимой тренировались в спортзале на Смольной улице, и никаких секций шведской стенки нам уже не хватало. Из моих тренерских успехов. Для начала в общежитии на Детской я раскопала Нину Путинцеву, тоже студентку матмеха, но курса на 2-3 моложе меня, тоже гимнастку. Тот же наш тренировочный полигон – Смоленское кладбище, склепы, огромные деревья для лазания, иногда наши утренние зарядки оформлял какой-нибудь эксгибиционист в кустах. Я Нину поставила на ноги, она стала выигрывать соревнования. Потом на нее положил глаз Виктор Новиков, стал ее персонально тренировать с нагрузками по три раза в день, в сумме она стала 6-кратной чемпионкой Советского Союза. Ученик, что называется, превзошел своего учителя – Нина фактически была профессионалом, а я всего лишь любитель с массой других занятий и увлечений. Многие годы и поныне Нина Тимофеевна Новикова – доцент спорткафедры секции скалолазания СПбГУ. Я элементарно и быстро доводила

девиц до 1 разряда, но выше не бралась – нужна была другая отдача и другие вложения.

Я могла организовать тренировки даже на одном пне – на любом минимальном ресурсе. Ходили тогда все мои девицы на тренировках спокойно по набережной Макарова по верху решетки, отделяющей набережную от Невы – это более метра высоты и ширина всего 10–11 см (!). Помню, выстроились мы человек 5–7 и идем по верху, тренируем равновесие, никому не мешаем. Останавливается милицейская машина, выходят блюстители порядка, а мы все так и стоим на этой «жердочке». Они – типа «слазьте», а мы им в ответ «не слезем, у нас тренировка», «занимайтесь лучше своими хулиганами», а нас за ноги боязно схватить, вдруг мы свалимся на ту сторону в Неву, покрутились они и уехали. Разумные были тогда милиционеры, сейчас бы наверняка «открыли огонь на поражение».

Или еще такая маленькая фишка! Я хорошо подтягивалась, и все мои воспитанницы тоже умели это прилично делать. На скалах в Карелии (наша скальная альма-матер – озеро Ястребиное) до сих пор передается из поколения в поколение легенда – как мы, спортсменки из ЛГУ, «порвали» скалолазов из Горного. А дело было так – в секции ЛГУ не хватало серьезной еды и мы, трое девиц, отправились разводить соседей-горняков, чтобы добыть нужные нам консервы. Наше условие было простое – банку тушенки и банку сгущенки на кон, закладываемся на подтягивание, но первым должен предъяться их парень. Последнее условие они как-то пытались оспорить, но мы не сдавались. Толпа народу. Выставили они своего молодца – вжик-вжик-вжик... вжик-вжик... пятнадцать, ... посмотрел победно на нас, ... шестнадцать... и соскочил с выражением лица типа «теперь стреляйтесь». Я подошла – вжик-вжик-вжик... вжик-вжик... шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Апофеоз! Забираем банку сгущенки и банку тушенки и удаляемся. Ветераны и молодежь все еще при встрече выражают уважение моей персоне.

Теперь собственно о социологии... итак, ты вошла в ядовскую лабораторию в 1962 году... очень похоже – первой из математиков, во всяком случае, нашего поколения, оказалась на социологическом производстве... Ядов, Эдик Беляев вспоминают, как ты их обучала... что тебе помнится? Здесь очень важны детали...

Все жаждали приобщиться к научным методам, а какая наука из социологии, если не будет математики. Помню, я обучала группу О.И. Шкратана. Он был страшно доволен, что договорился в бухгалтерии Военмеха платить мне серьезные деньги – по 6 рублей за академический час (!). Он сам и 5–6

его сотрудники добросовестно слушали мои лекции. А я что-то в каких-то книжках вычитывала, все больше по теории вероятностей, сама более или менее пыталась понять что к чему и затем грузила эти теоретические построения на свежую голову ходячих за знаниями. Не думаю, что было все понятно, но первую 20-ти часовую преподавательскую тренировку я получила благодаря Овсею Ирмовичу.

Попозже я хорошо стала понимать, что людей нужно научить практическим вещам. Помню, я читала несколько лекций в Университете марксизма-ленинизма. Партийные тетки были чванливые и нетерпеливые, но я их «укрошала» методическим изложением материала. Так что они усваивали и как получать одномерные распределения по отдельным вопросам, и как важно подсчитать средние, и что средних недостаточно, а нужно еще «измерить» однородность ответов группы и обязательно подсчитать средние отклонения...

У Ядова в основном была забота обсчитывать материал, обучала сотрудников по ходу, объясняя, что дают те или иные расчеты и показатели. Техника феерическая – получаешь распределения на табуляторе (так называлось то техническое сооружение), прогоняешь стопку 80-колоночных перфокарт с массивом данных – задаешь колонку для сортировки, и перфокарты проваливаются в карманы в соответствии с их дыркой на анализируемой строке), затем эти рассортированные стопки считаешь – маленькие вручную, большие опять прогоняешь на табуляторе (у него был механический счетчик). Тогда шел всюю первый полномасштабный проект лаборатории «Человек и его работа».

Кстати, первые долгие годы окружающая социологическая публика относилась ко мне с большим пиететом, считала меня высококвалифицированным специалистом, у которого всегда можно проконсультироваться по существу. Теперь же, когда я стала в десятки раз круче, разностороннее и эффективнее, никакой пропорциональности в уважении не обнаруживается, чаще всего наоборот – этакое чванство, типа «подумаешь», единичные случаи, когда как-то заинтересуются, спросят, а что это у вас такое.

За рубежом ситуация другая. Не успели мы с Голофастом показать Элиоту Краузе из Северо-восточного университета США наши данные по четырем социально-профессиональным группам из проекта «Образ жизни» – он тут же приглашает нас на Конференцию в Бостон. На 13-м Всемирном конгрессе в Билефельде пытаюсь показывать с дискетом нашу программу ДИСКАНТ для анализа текстовых исследований, и тут же получаю приглашение от Е. Вейцмана из США участвовать в

монографии – он делает вторую, после Ренаты Теш, книгу с описанием программ, только что разработанных для качественных исследований. Вскоре получаю приглашение на конференцию по ТЕКСТ-анализу, организованную германским методологическим центром ZUMA в Манхейме. И т.д.

У нас – тотальное равнодушие. Смешно, но никому не нужна программа по анализу текстов – все делают анализ текстовых массивов «на коленке» Одно из уникальных исключений – семинар в мае 2010 года, организованный руководством Факультета социологии СПбГУ для своих сотрудников – для того чтобы послушать только меня. У меня и мысли не было, что я там буду единственная выступающая «солистка» и мне нужно будет озвучить большую «партию» на тему «Качество социологического образования». И у меня оказалось целых сорок-пятьдесят минут (!) – и я взхлеб про гуманистическую социологию, про методический минимум, про методологический максимум, про социальную реальность в образовании, про студентов, про процессы и проекты.... Удалось затронуть множество важных методологических и обучающих коллизий. Семинар вроде выполнил свою миссию, и я вроде была принята, ибо впервые никто не возникал в распространенной в родном отечестве манере «а вот я делаю не так».

Математическое приложение к монографии «Человек и его работа» – это твоя первая публикация?

Это приложение называется «Статистический аппарат анализа первичных данных» и до сих пор является образцом классической прикладной работы – все изложено последовательно, с четкими и реальными примерами (кстати, написала я этот труд через пару лет после своего неблестящего окончания матмеха). Многие социологи в нашей стране использовали нашу монографию как учебное пособие в двух отношениях: и для систематической разработки методологии своих исследований – здесь они пользовались содержательными главами книги, и для систематического освоения инструментария математического анализа данных – это мой большой раздел. Лет через двадцать, встретив меня на одной из конференций в Москве, один из известных социологов страшно удивился – Как? Эту работу написала женщина и она еще и такая молодая, а я-то всегда считал, что ее написал заматерелый ученый.

Ты участвовала в проекте В.А. Ядова по ценностным ориентациям только как математик или уже осваивала некую новую роль?

Был такой бесконечный проект под названием «ЦО» – Ценностные ориентации. Мы его у Ядова начали обсуждать, когда

еще шло исследование «Человек и его работа». Помню, одно время мы имели кров во дворце, который занимал политпрос какого-то района на наб. реки Мойки рядом с Невским проспектом. А.Г. Здравомыслов от нас тогда уже ушел. Как раз в то время нами руководил И.С. Кон, Владимира Александровича тогда отстранили от руководства сектором из-за каких-то политических претензий к нему. Обычно наши запланированные заседания проходили по такому формату – Игорь Семенович, поддерживая канонические академические традиции, всегда давал нам 15-20 минут на разминку, опоздания и пр., сибаритствовал, рассказывал анекдоты, мы обменивались новостями. В конце концов, надо было обратиться к научно-академической части, переход к чему оформлялся И.С. такой сакраментальной фразой «А теперь обратимся к нашим баранам» и передавал бразды правления Владимиру Александровичу, чтобы обсуждать уже сам проект.

А у В.А. уже давно зародилась наполеоновская идея, во много раз круче, чем «Человек и его работа» – разработать с нуля социологическую теорию и подтвердить ее действенность эмпирическими данными и проверками. Чтобы доказательство было неотвратимым, нужно было эти ЦО прихватить со всех сторон – во-первых, выстроить их на всех возможных уровнях (набралось таковых как минимум пять) и, во-вторых, учесть все существенное вокруг их – реальные условия в труде и досуге, поведение в сфере труда, в сфере досуга, (позже приплюсовали еще и семью), эффективность в работе, психологические характеристики респондентов и др. Ну, в общем 20 разных методик и в сумме потом получилось 1000 разных признаков на душу одного респондента, не считая обширного интервью (из которого мы выуживали только два показателя). Ну конечно, нужно было разработать надежные методики по всем этим делам, провести солидный пилотаж всего этого исследовательского хозяйства и организовать опросно-исследовательский десант наверное на полгода на 13 или около того проектных институтов Ленинграда. Ну, а в итоге доказать, что ЦО и прочие установочки влияют на то, какие результаты у человека получаются. Инженеры были самой подходящей публикой, чтобы то, что у них в голове и в их намерениях, как-то корреспондировало с тем, что они делают.

Распределили каждому сотруднику разработку методик с учетом его интересов. Я автоматом включилась в проверку каждой методики на устойчивость и обоснованность – как ее отдельных признаков, так и итоговых показателей, вносила предложения по коррективам.

У меня до сих пор полно данных тех проверок. Могу удостоверить, что устойчивость М. Рокича была никакая – эксперимент был и на 12 студентах, и на 50 более серьезных респондентах. Методика состояла из двух автономных списков по 18 ценностей, и респондент должен был дважды уверенно расставлять таковые ценности на 18 мест по их индивидуальной значимости. Большинство ценностей при повторном опросе улетали на 6–8 и более рангов вверх или вниз. Но весь мир до сих пор пользуется Рокичем, доказывает то, чего нет у многих респондентов, и естественно не замечает того, что у них есть, тем более что поменялась и эпоха, и ценности, и смысл жизни. Польза от всего этого огромного материала по проекту ЦО в том, что есть на чем обучать студентов и продвигать аспирантов.

Пожалуй, для меня самая добротная и разумная методика была разработана В.В. Водзинской на изучение ценностных установок и реального поведения человека в сфере свободной от работы – в досуге. Методика в значительной степени не устарела и даже спустя 35 лет студенты, анализируя методику, легко находят ее достоинства и с удовлетворением их отмечают.

В проекте ЦО мне досталась разработка собственной в паре с Ядовым методики ЦО-6 (вроде называлась «Ценностные ориентации в работе»), и была она «проективной», потому что все вопросы задавались в форме «если бы вам пришлось выбрать между...». Она стала одной из самых компактных и обоснованных методик, с весами на каждый предлагаемый ответ – просто конфетка, хотя конечно весьма искусственная...

А потом три наших славных хлопца – Эдик Беляев, Дима Шалин и Павел Буторин – почему-то в один момент покинули нашу славную родину, перебравшись на ПМЖ за границу. Что поимел из-за этого Ядов, хорошо знает он сам и всякие райкомы-обкомы. Но методики ребят оказались без хозяина, и большинство их досталось мне. Я с чувством зашкаливаемой ответственности подняла эти упавшие было научные «знамена» и гордо пронесла их до самой нашей генеральной публикации «Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности». Ядов, когда расписал все наши участия во введении к книге, ахнул: «Саганенко (называл меня то по имени, то по фамилии), у тебя чуть ли не больше всех!».

Еще в этот проект по ЦО я впервые пристроила причинный анализ, насчитала и нарисовала этих причинных моделей видимо-невидимо. До сих пор есть у меня целый альбом этих научных изысков, вот только сейчас до таких тонкостей никто не добирается. Студентам показываю как диковинку – вот до чего мы раньше упирались в нашей научной наивности.

Было в нашей книге «Саморегуляция...» мое убедительное доказательство – значимость влияния фактора (на примере регрессионных моделей) зависит от той совокупности признаков, среди которых он включен в анализ. Ну, например, влияет ли на размер зарплаты такой фактор как, к примеру, общий стаж или такой фактор как возраст. Вот если брать их по отдельности, то о-го-го как влияет и тот, и другой фактор, а если включить оба в одно уравнение – то от возраста не остается ничего, еще и отрицательная нагрузочка у него обнаружится.... Я считаю, что это очень важный методологический момент. Но большинство наших аналитиков от социологии запросто игнорируют такие выяснения и произвольно демонстрируют нам простейшие доказательства и «неопровержимые» связи.

В 1974 году ты защитила кандидатскую диссертацию по надежности социологических исследований, в 1979 и 1983 годах появились твои книги по этой проблематике. Эта тема у тебя возникла как обобщение твоей повседневной работы или, наоборот, были общего характера сомнения в качестве исходной информации и результатов социологических исследований, и ты решила посмотреть, что там есть в действительности?

Я же уже говорила – в те времена была этакая очумелость от науки, от ответственности, от способности и возможности все доводить до конца. К тому же с самого первого шага я «подсела» на качество социологических данных. Самую первую работу (помимо диплома), которую предложил мне Ядов, была «дифференцирующие возможности разных шкал» (мы с Ядовым выступали с этими результатами в Сухуми на конференции «Количественные методы в социологии»). На одних и тех же респондентах (30 + 30 человек, две студенческие группы философского факультета, кстати, Валентина Ломовицкая, будущий дока в социологии науки, училась тогда в одной из них) на скромном списке из 7 ценностей мы сравнивали оценки по пяти шкалам (5 баллов, 10 баллов, 5 упорядоченных номинальных формулировок, ранжирование, парные сравнения), материал собирали раз в неделю, итого потратили на опросы целый месяц.

Проверяла я для Ядова все вдоль и поперек, и появлялась у меня масса разных идей, как эффективно анализировать данные. А также вводила в наш научный арсенал все больше и больше математических методов. Когда нас, разные рассыпанные по Ленинграду научные сектора московских учреждений АН, собрали в 1975 году под крышей ИСЭПа, появился у нас тогда такой важный ресурс, как Вычислительный центр на 100 сотрудников (раньше они относились к Математическому

институту им. Стеклова). Но они только хотели обучить всех нас языку программирования АЛГОЛ и отправить «на самообслуживание». Но я выдержала на ученых советах института буквально битву за достойное программное обеспечение для социологов. Зав вычислительным отделом В.И.аршавский – вот, мол, Саганенко – математик, а чурается программирования. А я – мы, мол, научимся только выполнять простейшие арифметические действия на БЭСМ-6, а нам нужно сделать доступные стандартизированные программы обработки для любых наших эмпирических массивов и для любого уровня продвинутой исследовательской деятельности. В результате у нас оказалась такая передовая для того времени пакет разнообразных методов обработки социологических массивов, на него был спрос в стране, В.Т. Перекрест не раз представлял его в Москве.

В общем, сначала появилась книга по изучению сути и качества первичных данных – в первую очередь, стандартизированных опросов, контент-анализа. Материал, на котором мы дотошно сидели 3–7 лет в проекте ЦО. Эти разработки были сначала оформлены как кандидатская «Измерение уровня надежности исходной информации в социологическом исследовании». Книга же называлась более длинно «Социологическая информация. Статистический аппарат анализа первичных данных социологического исследования» и вышла в 1979 году.

Пригласили в 1978 г. польские методологи Лютинские шесть советских социологов на методологическую конференцию в Варшаву (москвичи, конечно, собирались заполнить все эти места сами), но случайно поляки добрались до Ленинграда и обнаружили, что у меня есть масса чего по теме. Излагала я на той конференции множество разработанных мною приемов, как проверять всякую надежность социологических данных, которые потом были описаны в моей первой книжке, выступала перед самим президентом Международной социологической ассоциации Стефаном Новаком, мой доклад длился два с лишним часа (!), он сетовал, что на следующий день не сможет принять участие в дискуссии, но прибыл-таки (это у них такое отношение, если что-то по существу и впервые!)...

Лет 10 после того, как провели полевой этап, я с дикой страстью анализировала первичные данные по нашим бесчисленным методикам, консультировала социологов в городе, писала статьи. И у меня появилось много идей, что же за материя мы получаем на выходе социологического исследования. Поэтому родилась вторая книга «Надежность результатов социологического исследования». Отмечу, все эти изоцированные методологии, методы, приемы относились только к стандартизированным вопросам и методикам.

Книгу мы делали с тем же, что в первой книге, редактором издательства «Наука», Ленинградское отделение Татьяна Богдановой; последние штрихи были ею внесены в рукопись, когда я уже вызвала скорую, чтобы ехать рожать Лену. Лена родилась 25.02.83, а книга была сдана в набор 28.03.83. Можно считать, что партнером по этому проекту был мой готовый объявиться миру ребенок.

Во второй книге более креативным, как сейчас говорят, оказался раздел, посвященный выборке и отбору данных, репрезентативности и пр. В принципе был еще хороший материал на третью книгу по устойчивости и надежности результатов от разных математических методов и вообще по сравнению смысла результатов, полученных на одном и том же материале. Но до такой книжки руки так и не дошли.

Что помешало?

Пришла перестройка и сумасшедшая динамичность общества. Для меня стало очевидно, что никакими стандартизированными методами и закрытыми вопросами перемены в мире, стране, личной жизни не схватить и не отследить, и я по уши ушла в новую технологию, стала специалистом по открытым вопросам, классификациям и анализу массивов текстовых суждений, эффективным компьютерным разработкам, обеспечивающим поддержку качественных исследований.

Свыше 10 лет длились супер-трудоемкие, но благостные ежегодные опросы читателей Государственной публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина (ныне ее имя – Российская национальная библиотека) об очередных переменах в стране, что я старалась проводить ежегодно по одним и тем же методикам с открытыми вопросами. Исследование каждого года «садились на голову» предыдущего, еще не сошедшего «на продажу» с моего «конвейера». Материал был сложный, но ситуация в стране и личной жизни людей менялась стремительно, и мне хотелось как-то ее зафиксировать. Именно об этом я каждый год объявляла ученым в залах в ГПБ на Садовой при очередном опросе – «Ваши высказывания – уже свидетельства реального времени и я, прежде всего, фиксирую их и сохраняю для истории»... Нужно было разбираться с массой массивов, начать хоть как-то классифицировать высказываемые респондентами идеи примерно по 30–40 признакам, каждый раз это 6–8 тысяч суждений, самое трудное – научиться все это проговаривать гуманитарным текстом, находить и выстраивать новую терминологию.

Началось также преподавание (тогда, слава богу, был всего один курс – «методика и техника социологических исследова-

ний». Сейчас у меня 7 или 8 курсов). Пошли проекты, поддержанные разными фондами. Начались поездки за рубеж.

Мне кажется, что в середине 80-х или чуть позже ты стала отходить от количественного определения уровня надежности социологического измерения к более общей интерпретации этого понятия. Не этому ли была посвящена твоя докторская диссертация, защищенная в 1991 году?

Под докторскую у меня была опубликована монография и сделано множество новых разработок. Идеи разрастались в своем разнообразии и объеме, – материалы уже вылезали как тесто в хорошей квашне из любой нормальной тары, стекали на стол, стулья, на пол. Нужно было что-то решать. Стратегии, как справиться с этим «осьминогом», у меня не было. Но тут вдруг соединись три благодатные вещи. Первое – напряги от студентов и лекций. Второе – вдруг открывшаяся возможность представить диссертацию в виде доклада – можно было отложить на потом миссию спасения всей методология в стране и мире и выбрать какую-то одну четкую перспективу. И третье – учение Шри Чинмоя – современного индийского философа; на встречу с его последователями нас по радио заманивала кафедра иностранных языков Финэка. По пункту 1: я запросилась в «академку» от тягот преподавания, хотя бы на пару месяцев, что, мол, надо бы завершить докторскую (о диссертации удачно напомнил директор Б.М. Фирсов). Оказалось, что сидеть за своей конкретной (хотя и безбрежной) научной темой в сто раз проще, чем крутиться на 360 градусов перед студентами с преподаванием всего и вся по методологии и методам. По пункту 2: оказалось, можно защищаться по докладу и я выбрала только одну глобальную идею – уже упоминаемые мною три уровня эмпирической доказательности в социологии, которые так замечательно усиливали друг друга. По пункту 3: я действительно дошла до той встречи и медитации. Все хорошо легло на мое настроение ощущать себя в этом мире: вставать рано, со всеми здороваться, медитировать, с радостью относиться к миру, легко двигаться в мире своих идей... И вот на колоссальном драйве, в один присест я написала каркасный текст «Уровни эмпирической доказательности в социологии». Я боялась даже объявить, что написала свой «шедевр» за три недели. Естественно, это был очень сырой драфт, но я уже поставила его обсуждение на заседании сектора социальной политики, в котором я тогда числилась. Никита Серов, один из немногих кто читал и более того квалифицированно разбирался в читаемом, – отметил как уникальные некоторые мои постановки, среди них «конкретность исследовательской си-

туации». Самым непримиримым критиком моей методологии оказалась Лиля Бозрикова, которая пыталась приписать мне игнорирование значимых фигур социальной мысли того славного времени. Но тут у меня был убедительный аргумент – моя диссертация была в форме доклада, и тем самым все проблемы со скромным объемом текста и отсутствием цитирования выдающихся персон снимались. В общем, сектор диссертацию одобрил и сделал соответствующее заключение.

Я уже всю переписывала текст. В те времена у нас не было персональных компьютеров, и самым почитаемым работником в научной среде была профессиональная машинистка. Еще в предшествующий период своей научной одиссеи я выработала «принцип трех итераций» – три перепечатки и ни на одну больше. Излишнее совершенство вредит производству. Так я писала кандидатскую, после третьей итерации обнаруживала опечатки, но не убирала их, считая, что они придают некоторое очарование сухому академическому тексту. С докторской я обошлась по тому же формату.

Я попросила поставить мое выступление на ученом совете нашего филиала, хотя по ВАК-овским нормативам этого и не требовалось. Обсуждение на Ученом совете в Филиале было в конце мая 1990 г. – там уже ранг присутствовавших был намного выше. И текст был уже другой. Пиетет к моей персоне был высоким, никто не думал наезжать на меня из личностных пристрастий, ставить меня на место. Отмечали в основном мои первопроходческие заслуги, делали замечания по отдельным оборотам, уточняли суть моих уровней эмпирической доказательности в социологии.

В начале июня с третьей итерацией текста я была уже в Москве, в Институте Социально-политических исследований АН СССР, делала доклад на заседании диссертационного совета, которым руководил Геннадий Васильевич Осипов. Там уже собралось четыре директора института (Осипов, В.И. Ядов, предшественник Ядова – В.Н. Иванов, и кто-то еще), А.Г. Здравомыслов, в общем вип-персоны от социологии. Я уже была почти на равных с этими реномированными персонами и методологические заслуги мои считались бесспорными, я убедительно объясняла слабости методологических позиций, которые были задействованы в отечественной социологии. Геннадий Васильевич предложил мне самой назначить день защиты, я подсчитала – что только с осени все закрутится, распечатка реферата, рассылка и все такое и выбрала 30 октября.

Мои оппонентами были Геннадий Батыгин и Владимир Паниотто из Киева, тогда еще был Советский Союз, и было единое научное пространство. Батыгин сообщил мне, что отзыв

написал (но не передал его ученому секретарю совета Марине Покровской), Паниотто считал, что отправлять отзыв по почте или привезти его с собой – то на то и получится. В итоге ученый секретарь М. Покровская заявила, что раз нет отзывов, она не будет делать рассылку членам Диссертационного совета и что вообще обычно все это делают сами диссертанты и пр., и пр. Я сказала – нет проблем, завтра приеду. Пошла на вокзал, мест не было, удалось договориться только на третью полку за полную стоимость в плацкартном вагоне. Когда я устраивалась на ночь на верхней полке, сосед по купе смотрел на меня с глубоким удивлением и сочувствием. Я утешила его, что ситуация на самом деле смешная, а не драматическая. И успешно прибыла в Москву на свою докторскую защиту.

Были ли какие-либо неожиданные предложения после защиты?

Кстати я вспомнила о более ранних «неожиданных» предложениях. Перед защитой еще кандидатской я выступала на семинаре в Институте социологии в Москве. Г.В. Осипов сразу же отметил методическую выверенность и полезность моих разработок и сделал мне сразу два предложения. Первое – тут же прочесть цикл лекций для аспирантов Института Социологии, чтобы повысить методическую грамотность будущих специалистов. Все аспиранты были собраны как по тревоге, их было целый зал, и я прочла за ближайшие пару дней часов на 6 лекций.

Второе, благодаря моему докладу, Осипов вдруг обнаруживает, что его детище, уже почти готовая к публикации «Рабочая книга социолога», имеет существенный пробел – отсутствие раздела о методах выявления качества первичных данных, и попросил меня срочно засесть за его написание. Я, естественно, согласилась. Он вызвал меня командировкой в Москву, поселил меня на месяц в «купеческой» гостинице «Спутник», приставил ко мне «цербером» Владимира Андреевича, и я стала готовить материал. В общем «Рабочая книга» вышла с полным «боекомплект».

Когда я выступала на докторской предзащите, Г.В. Осипов предложил мне работать в его институте экспертом по методическим вопросам, и я не отказалась. Проработала я у него года так три. По моей концепции и разработанной мною методике было проведено исследование «Ситуация в общественных науках» (о настоятельности проведения такого исследования было тогда Постановление Президиума АН и Г.В. Осипов взялся провести требуемое исследование). Общая численность тогда высшего слоя АН СССР (членов-корреспондентов и академиков) была вроде 886 человек. Г.В. Осипов кого-то послал

в командировку в Дальневосточное, Уральское и Сибирское отделения Академии наук, кого-то – в научные центры на юг. Я опрашивала в Ленинграде.

Но началось мое исследование с общения с А.А. Фурсенко, он был тогда заместителем Ж.И. Алферова, а я должна была выступить лишь «эмиссаром» – передать 86 анкет в Ленинградский научный центр (столько тогда было академиков и членов-корреспондентов в нашем городе). Встретились, беседуем, все нормально. Выкладываю анкеты и вдруг: «Нет, нет и нет, исследование вам только навредит...». Я удивилась – «Но это же не мое исследование!». Оставила анкеты, считая, что вопрос будет решаться не мною. Но А.А. Фурсенко тут же отбыл в отпуск, а анкеты осели у какого-то клерка.

Звоню Г.В. Осипову в Москву и рассказываю о ситуации. Он спокойно отреагировал на мое сообщение и предложил мне: «А вы, Галя, опрашивайте сами. Есть такой справочник Who is who, там вы все имена найдете».

Это была особая для меня коллизия – общаться с учеными этого уровня по данному поводу в данном формате. Сначала я страшно «заскучала» – как это лезть к ученым с какими-то анкетами и «заскучала» долго, недели так две-три. Потом вдруг подумала – а чего ты так страдаешь? да, когда ты еще сможешь провести такого уровня исследование – опрашивать академиков? тебе ведь такое уникальное поле подготовили! В общем, поменяла я установку со страдательной на заинтересованно-познавательную. Нашла я этот справочник, выписала имена и фамилии 86 потенциальных респондентов, адреса институтов и телефоны. Еще несколько раз повздыхала перед первым звонком и начала с Александровых. Их в моей картотеке оказалось трое.

Самое трудное, мне казалось по началу, передать персонально анкеты и, когда я в Ленинграде довела выборку человек до пятидесяти (далее выборка окончательно забуксовала), я поняла, что самое трудное – не раздать анкеты, а получить их обратно с ответами. Всего я получила 34 заполненные анкеты. Очень прилично, учитывая загруженность, разъезды, возраст, болезни и даже две смерти академиков. Всего по стране было собрано 202 заполненные анкеты, от академиков и член-корреспондентов. Ответили тогда на анкету ведущие ученые, социологи, экономисты, филологи... – анкеты, как правило, были подписаны – интересно было читать ответы Т.И. Заславской, А.Г. Аганбегяна, А.Д. Александрова. К сожалению, когда я уже не могла регулярно появляться в Москве и, прощаясь с ИСПИ, я не догадалась попросить отдать мне анкеты. Я храню все собранные мною анкеты с открытыми вопросами по

разным исследованиям, плюс у меня есть все их электронные базы данных. Сегодня это учебный, научный и даже исторический материал.

Уже многие годы ты как социолог работаешь с общественной организацией «Матери против наркотиков». Что тебе удалось сделать в этой области?

Когда я оказалась в «Азарии» («Матери против наркотиков» – это только наш девиз), организация имела всего один рабочий стол на 4-м этаже на Измайловском проспекте 14, прямо под нашим институтом (столом в своей рабочей комнате поделилась с нами сочувствующая нам сотрудница из какого-то отдела). Разные организации города выделяли нам помещения, чтобы мы могли проводить наши семинары, вести консультации и встречи. Долго мы бились за получение собственного помещения в разных районных управлениях городского имущества.

На Измайловский-14 мы привели русского князя Андрея Гагарина, очень пожилого человека из США, который создал в Санкт-Петербурге фонд «Развития человеческого потенциала», и мы получили там первый для меня грант. В 2000-м году Адмиралтейское КУГИ выделило нам (наконец-то!) в аренду на 5 лет помещение для работы «Азарии» – разбитое в хлам цокольное помещение на 177 кв. метров, без пола, с тоннами битого кирпича, без канализации и др. Ремонт помещений государство «доверяет» самим НКО. Хотя говорится в каких-то документах, что ремонт будет включен в счет погашения арендной платы – ничего такого не было, даже не заикайся. В 2005 году «Азарии» с трудом продлили арену только на 1 год – за пять лет ровно три раза мы не проплатили аренду на предстоящий квартал вперед до 11-го числа (страшное прегрешение организации, которая на свою работу ни рубля не получила от государства).

За счет гранта сделали минимальный ремонт и провели исследования. Наш волонтер Е.А. дотошно три месяца записывала звонки в Азарию – набралось 250 звонков, из которых мы сделали электронную базу данных. Звонки были из Питера и других городов: иногда от самих наркозависимых, чаще – от родителей и соседей. Проанализировали и узнали, какой спектр ситуаций в семьях, когда они начинают обращаться к общественным ресурсам. Волонтер Н.В., по моей просьбе, начала собирать биографии от родителей с описанием того, как проблема наркозависимости детей вошла в их семьи.

Независимый институт социальной политики поддержал в 2001 году нашу заявку, и при участии волонтеров «Азарии»

я смогла реализовать большой исследовательский проект на 12 модулей. Я буквально захлебнулась от обилия материала и поняла, что исповеди и ужастики, так любимые журналистами, ни на йоту не помогают российскому обществу продвигаться в понимании проблемы.

В 2003-м и 2004-м годах два моих международных проекта были поддержаны Советом министров Северных стран. Я в качестве руководителя сетевых проектов получила важнейший опыт перемещаться в «международном пространстве»: организовывать международные мероприятия, возить туда и приглашать сюда людей, наши партнеры по проектам Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Санкт-Петербург, Северо-запад России. За счет нового гранта Фонда Гагарина удалось поднять из небытия около 15 российских родительских организаций, познакомить их друг с другом, узнать разнообразный опыт и специфику развития помогающей деятельности на местах. В начале 2005 на базе собранного разнообразного биографического материала опубликовала книгу «Лицом к лицу с наркоманией» с важным подзаголовком «Перемены идут, перемены возможны».

Для трех лидеров российских родительских организаций Институтом «Открытое общество» было организовано турне по шести городам Германии, чтобы мы ознакомились с историей социальной политики в области наркомании и эффективно действующими в стране структурами и программами. Были еще учебно-ознакомительный семинар, посвященный опыту разных стран по введению заместительной терапии в Медицинской Школе Аннеберга в Зальцбурге, конференция по сексуальным и репродуктивным правам наркопотребителей в Амстердаме. Выступала на международных конференциях в Софии и Москве с докладами на тему о специфике российской антинаркотической политики, о статусе наркозависимых больных в стране, о потенциале движения родителей, эффективности работы через родителей. За последний год выступила раз восемь на разных конференциях, круглых столах, пресс-конференциях.

В нашу организацию (я председатель организации уже девятый год) каждый день приходят на свои программы до 120–160 человек. В «Азарии» 10 постоянно действующих видов деятельности – еженедельный семинар для города с выступлениями разнообразных ведущих специалистов в этой сфере, телефонные консультации, первичный прием родителей волонтерами, 15 групп самопомощи, подготовка ежегодного справочника, рассылка ежемесячного бюллетеня и др. А также отдельные поддержанные фондами проекты.

Мне есть что сказать на любом уровне встреч и обсуждений о ситуации с наркоманией и об антинаркотической политике в нашей стране. В последнее время я публично заявляю – наркомания стала выгодна всем: власти, здравоохранению, милиции, СМИ, адептам профилактики и, как оказалось, исследователям (последние защитили уже сотни диссертаций). Невыгодна она только зависимым ребятам и их семьям.

Уже первые два-четыре года работы и исследований в «АЗАРИИ» дали мне как социологу на порядок больше, чем 20 лет самой дотошной работы в секторе Ядова. А сейчас уже прошло более 10 лет как я в «Азарии». Как я благодарна тому, что плохо училась в университете – ибо стала понимать, почему фунт лиха и убрала свою школьную «звонкость», так же я благодарна и тому, что оказалась на этом проблемном поле. Пришло понимание социальной реальности, осознание реальных проблем и общества, и людей, обнаружилось колоссальное разнообразие источников для социологического анализа, пошла реальная отдача и в прикладной деятельности, и в науке, на общественном поприще. Я одна из немногих социологов имею такую структуру как общественная организация, которая обеспечивает мне иные возможности реализовать множество жанров взаимодействия с обществом, разбираясь с проблемами на макро и микро- уровнях по наркомании (и не только), включать студентов в волонтерскую деятельность.

Количество эмпирических проектов, которые я реализовала одна – более полусотни, в том числе лонгитюдный, базированный на текстовых ответах проект длиной 12 лет. Я твердо уверена, что лучше делать небольшие проекты, делать их много, в разных областях и разного жанра, чем один «на все времена». Ядовский проект по ЦО – это на круг 13 лет, 13 сотрудников, 13 бюджетных ставок, не болит голова за аренду помещения и коммунальные услуги, за тираж методик и пр., и пр. Это тогда, при всех недостатках советского строя, можно было мобилизовать еще и мощный партийный ресурс.

Уже два десятилетия ты все более азартно, самоабвенно преподаешь социологию. Когда в 2008 году на социологическом конгрессе в Москве ты рассказывала мне немного об этом, у тебя глаза блестели,... чем сейчас тебя привлекает эта деятельность?

Последние годы я стала считать, что все социальные и личностные проблемы в основном идут от неадекватного образования, хотя «нормативная система» образования имеет значительные ресурсы, чтобы оказывать влияние и вносить общественные перемены (значительно больше, чем семья). Генеральная проблема системы образования, однако, состоит в

неадекватных содержания учебного материала и форматах обучения/ коммуникации по поводу знания – это мое убеждение, подкрепляемое массой аргументов. Содержание учебников отчуждено от коллизий современного общества и от проблем реального человека. Никакой опыт маленького ли, взрослого ли учащегося не нужен системе. Форматы обучения не предполагают коммуникации, партнерства, совместного поиска.

Начну «сначала». Поскольку аспирантуру я не оканчивала и никаких систематических учебных лекций по социологии никогда не слушала, то, начиная в 1989 году в Академии культуры (нынче Санкт-Петербургский университет культуры и искусств) готовить социологов, я пошла чисто по академическому варианту. Для меня маяком была твоя, Борис, лекция, прочитанная как-то в ИСЭПе для тамошних аспирантов. Конечно, как всегда первая лекция была на тему «Объект и предмет социологической науки». И я тоже взялась объяснять студентам, что есть предмет, что есть объект социологической науки. Народ стонал, поскольку в лекции соединились вперемешку классические пассажи по предмету науки, разнообразие позиций репутированных персон, основные направления научных исследований в СССР и вздыбленная реальность 90-х годов. И все это я пыталась донести до понимания начинающих социологов с учетом того, что лектор я тогда была молодой и неискушенный. Так получилось, что тогда в своем преподавании я не опиралась на свой опыт: книги, диссертации, результаты двух десятилетий собственных изошренных эмпирико-методико-методологических исследований. Перед каждой лекцией я тупо нагребала уйму чужих книг и выискивала зерна, перлы и прочие замечательные фрагменты в священных письменах. Случалось, что я забывала листочек с выписками. Начинались паника и судорожные попытки вспомнить, чего же я там понавывисывала... Никто никогда не учил нас доверять самим себе.

... начиная преподавать, все нервничают, испытывают неуверенность... что потом?

Потом я осознала все это, отбросила стереотипы и придуманные правила и встала на собственные ноги. Теперь главное, что я пытаюсь добиться и в отношении студентов, – поставить их на собственные ноги, чтобы они начали доверять самим себе. Попробую донести мой подход в серии взаимосвязанных идей-тезисов. Хотя на бумаге ниже они идут в какой-то последовательности, но используются в преподавании в разном сочетании и разном порядке. И пусть это будет так.

Студенты должны начать говорить с первого дня, а не когда придут экзамены или будет специальная подготовка к семи-

нару. С первого дня и по любому социально-нагруженному поводу. Беру, например, переведенный на русский учебник Э. Гидденса, делаю ксерокс оглавления, разрезаю его на главы и раздаю по листочку студентам. Прошу их на базе этих нескольких формулировок, рассказать, что такое у Гидденса доставшаяся ему «социология тела и здоровья» или «социология семьи». И сама беру листочек, чтобы самой почувствовать характер этого задания.

Знание должно быть каркасным и с самого начала. Хоть я не преподаю общую социологию и мои лекции идут только со второго курса, я не вижу, что у студента есть целостное восприятие социологии – поэтому привлекается Гидденс. Знание у меня строится кумулятивно и аддитивно, каждый делает свою часть (как в примере с «листочками» из Гидденса), а в сумме получается частично полный Гидденс. Полное оглавление затем раздается для изучения и пополнения картины, что есть социология через ее составляющие. В заключение – листочки-шпаргалки убираются, и каждый пишет по памяти, что Гидденс встроил в свою социологию, необходимо (коряво, гладко, как угодно) пояснить, что содержит каждая из глав Гидденса.

На экзамене по методологии на третьем студент сдает не один, а все 30 вопросов, они те же, что и на госэкзамене. Вопросы солидные, каждый примерно на кандидатскую. К примеру: «Социальная и социологическая информация. Вопросы взаимного перехода». Для каждого вопроса я задаю «каркасную структуру». Так, названный вопрос я раскрываю следующим образом: «Разнообразии и виды социальной информации, создаваемые в обществе. Проблемы доступа к информационным ресурсам – общественным и индивидуальным. Виды социологической информации, способы ее актуализации. Социологическая информация как база данных, как совокупность систематически организованной информации, содержащая единицы наблюдения (объекты) и описывающие их тексты/признаки. Вопросы взаимного перехода – от социальной к социологической информации и наоборот». Это всего-навсего один вопрос.

На экзамене студент должен перечислить по памяти максимум позиций из 30 и пояснить смысл каждой. За первый заход каждый может сделать только часть, например, 12-16, при этом обнаруживается, что в 3–5 вопросах студент «не въехал» в их суть. Получает перечень вопросов на следующую итерацию, и так за несколько ходов он доберется до самостоятельного освещения всех 30 вопросов. Результат нормальный, все живы, все осилили высшую методологию и даже перевели

их в свою голову. Конечно, мелкие истерики бывают: мол, чересчур долго, есть хочется. Но я же, говорю, предупреждала – приходите с бутербродами. Только что на лекции в сентябре пятикурсники с удовольствием вспомнили эффект от той сдачи тридцати вопросов «оптом» на третьем курсе.

Еще главный метод обучения – «выставка» (на экзамене тоже все чаще его использую). Раскладываю разный материал, штук так 10–15. Это может быть отдельная анкета, массив заполненных анкет, таблица из биометрических методов Ю. Урбаха, книга «Голоса молчащих» (о насилии в семье), устойчивость данных по М. Рокичу, каталог поддержанных грантов, рейтинг университетов, чей-то диплом... Объясняю на примере 2–3 кейсов, как бы следовало отдельный материал анализировать и как про него говорить, как выстроить оптимальную презентацию. Нужно каждому за занятие/экзамен/зачет сделать анализ 3–5 примеров, найти их принципиальные детали. И рассказать это другим – поделиться с другими и этим материалом, и своими открытиями. Все начинают достаточно быстро разбираться в самом разном материале, научаются выстраивать презентацию продуктов разного жанра, самостоятельно и аргументировано говорить.

Существует проблема: студентам сложно найти темы для курсовых и дипломных работ. За пять лет учебы студент «по нормативу» должен сделать 4 проектные разработки. Но если преподаватель не борется с рефератами в качестве курсовых проектов, не отслеживает содранные тексты, то и четырех собственных работ не набирается. Преподавание методов не предполагает, что накопление тематического разнообразия реальности – это отдельная коллизия и этим надо специально заниматься со студентами. Для этого используются разные приемы, в частности выполнение заданий в виде «кейсов» и «разговоров». Главное не выучить учебник В.А. Ядова по методам, а выработать ощущение эмпирического разнообразия реальности – так что темы начинаешь видеть тут и там, ощущать их привлекательность, желание ввязаться в ту или иную познавательную коллизию.

Мне кажется, что твой преподавательский стиль просматривается...

...сейчас только добавлю одну деталь. Вообще-то свою первую встречу со студентами я начинаю не с Гидденса, а с принципиально иной, архи-важной коллизии. Я учу их видеть вокруг себя и отслеживать самого себя в разных социальных контекстах. Первое обращение к группе: коротко скажите «кто вы» и так, чтобы я могла выделить «вашего лица необ-

щее выражение» и запомнить. Только не говорите, что вы студент, 2-го курса, что вам 18 лет и пр., это все мы знаем почти точно. Хоть какую-нибудь «фишку» о себе. Паника – впервые смотрят на себя, что же я есть такое, большинство с огромным трудом находит что-то сказать о себе. Объясняю – вот видите, вы в учебном процессе никому не были нужны, поэтому вы уже себя забыли, вы нужны в учебном процессе лишь только как школяры – записали, выучили, ответили, получили оценку. Потом на каждое наше занятие они приносят по «три кейса» – три социально-нагруженных эпизода, которые за неделю так или иначе задели их. Прошу их писать кратко и по существу только фактуру этого социального фрагмента, в чем их открытие, каково их заключение. И еще одно задание: нужно принести один «разговор» – через какого-то другого человека открыть другой мир. Это не интервью, в котором спрашивающий ведет свою линию, здесь живой интерес, желание сделать так, чтобы собеседник приоткрыл двери в созданные или открытые им миры...

Галя, спасибо тебе огромное. Надеюсь, еще поговорим и о прошлом, и о твоих новых достижениях.

Борис, что меня не удовлетворяет в нашей беседе? Мне не удалось сказать, к чему я пришла. О гуманистических миссиях образования, о том, что другое образование/обучение возможно, что есть для этого адекватные и эффективные инструменты, как появляются увлеченные студенты... Что образование это освоение/открытие для себя социальных и культурных пространств, усиление доверия к самим себе (и студентов и преподавателей тоже), изменение характера и способов коммуникации в образовательном процессе... Что обучение/образование дает ощущение, что дорог впереди много, что дороги хватит на всех...

Если не будет меняться образование по существу, мало что изменится, а общество и человек будут продолжать нести колоссальные потери...

Тем более, есть повод продолжить нашу беседу.



Смирнова Е. Э. – окончила Ленинградский институт холодильной промышленности по специальности инженер-механик, доктор философских наук, профессор факультета социологии Санкт-Петербургского Государственного университета. Основные области исследования: социология образования, методология и методы социологического исследования. Интервью состоялось в 2005 году.

Елену Эмильевну Смирнову я знаю давно. Тогда мы были в том возрасте, когда окружающим при обращении к нам в голову не приходило добавлять к нашему имени отчество, а сами мы через несколько минут разговоров переходили на дружеское «ты».

До середины 1980-х наши встречи были эпизодическими, но позже меня заинтересовали вопросы преподавания социологии и, поскольку Лена долгие годы успешно занималась общими проблемами образования, у нас возникла общая тема для обсуждения. Мне эти несколько встреч-бесед дали многое.

В ходе интервью с Леной я понял, что нас объединяет не только принадлежность к одному поколению; много общего обнаружилось в наших личных судьбах. Возможно, поэтому работа над интервью шла легко, быстро, я постоянно испытывал чувство комфорта.

**Е. Э. Смирнова:
«...ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЧАСТИ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ БЫЛО,
НО ИНКРИМИНИРОВАЛОСЬ
РАСПЕЧАТЫВАНИЕ
ГОРОСКОПОВ»***

Дорога в социологию... через технику и психологию

Лена, ты ленинградка? Расскажи немного о твоей семье...

Я родилась в Ленинграде 3 января 1941 года в доме на Среднем проспекте Васильевского острова на углу 10 линии. Этот красивый дом, отделанный серым кирпичом, жив и сейчас. В августе меня, маму и бабушку практически одним из последних поездов родственники отправили в эвакуацию. Мы долго скитались по просторам Зауралья, Алтая и Сибири, пока не соединились с моим отцом в маленьком городке Бугуруслан. Там прошло детство, в котором черный хлеб с солью и подсолнечным маслом были лакомством. В этом городке я увидела воочию: то, что ты вырастил сам – это твой «хлеб», потому

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований 2006. № 1. С. 2- 10.

что до сих пор помню полки магазинов – там стоял черный плиточный чай, конфеты «Весна» и крабы «СНАТКА». Конфеты и крабы никто не покупал. Этот город увидел белые батоны и сливочное масло в магазинах лишь с приходом к власти Н.С. Хрущева. Там я закончила семь классов и вернулась в Ленинград к родственникам. Родители приехали позже, т.к. получили свою долю репрессий. Может, живя в Ленинграде, я не получила бы той любви к цветам и кустам, собакам, кошкам и птицам, которые и сейчас делают иногда мою жизнь такой красивой. А может, сказывается кровь прадедов, которые по обеим линиям родства были крестьянами, любили землю и умели на ней работать. Я петербурженка в третьем колене. Мой дед проработал на Путиловском заводе 30 лет мастером, его ценили, и это видно еще и по тому, что он зарабатывал совсем не так, как современный профессор.

Годы были тяжелые, но мне хорошо помнится, что в школе мы жили очень дружно, не помню, чтобы нас обижали учителя. Уж униженных (как теперь) в школе тогда не было. Школу я завершила в Ленинграде. С одноклассниками мы до сих пор встречаемся каждый год, жаль, что не в нашей школе – она стала восьмилеткой через несколько лет после нашего окончания.

Что привело тебя на дорогу социологии? Как ты теперь это понимаешь? Семья, учителя, друзья, случайное стечение обстоятельств?...

Ответ довольно прост: не было бы счастья, да несчастье могло. Я закончила институт Холодильной промышленности по специальности инженер-механик. Попала я в него учиться случайно: занималась на подготовительных курсах, да так и осталась учиться. Выбор профессии – сложнейшая штука, особенно в той ситуации, когда учишься ровно и успешно. После окончания школы думала и об экономике, и о химии, и о строительстве. Многие предметы казались интересными, и литература, и химия, и психология. Но я закончила школу в 1958 году, а к тому времени психфака еще не было в Университете. А конкурсы в вузы были по 8–10 человек на место.

Закончив вуз, пошла работать конструктором в НИИ Метрологии. Не прошло и двух лет, как я поняла, что никакого конструктора из меня не выйдет. И я стала серьезно размышлять о том, что же делать дальше. И тут я знакомлюсь с А. Сопиковым [1] и Э. Беляевым [2], которые работают у В.А. Ядова [3] и что-то уже тестируют. Они предложили мне кое-что проверить на моем рабочем месте. Мне это показалось интересным, меня всегда тянуло к людям, к общению, был особый интерес

понять, что собой люди представляют, почему они поступают так, а не иначе ... Они же предложили мне ходить на открытые ядовские семинары. Вот тут-то коготок и увяз. Этот интерес и привел меня в социологию.

Сначала было очень трудно, непонятно, так далеко от всей моей прежней жизни. Стала читать, в основном это были самиздатовские переводы. А. Сопиков в это время активно сотрудничал с Г.П. Щедровицким [4]. И у меня появилась возможность бывать на некоторых его семинарах. Дальше – больше. Новые друзья-социологи помогли устроиться на объединение «Красногвардеец» промышленным социологом. Как часто нам помогают люди! На «Красногвардеец» мне помогли попасть два замечательных человека – Д. Гуцин [5] и Л. Нафтульев [6]. Промышленность тогда широко вводила должности инженера-социолога, эти специалисты занимались главным образом «доводкой» методики НИИКСИ по социальному планированию. Отдала дань этому и я. И случилось так, что мне на рецензию дали отчет группы О.И. Шкаратана [7] по какой-то узкой теме. Он прочитал мою рецензию и пригласил работать у него в лаборатории Финансово-экономического института. Все это время я активно посещала ядовские заседания. У О. Шкаратана собралась уже грамотная социологическая публика, шли семинары, многое обсуждалось, велись различные практические темы. Приходили с докладами разные толковые люди – математики, экономисты, психологи. Не раз слушала Г.Н. Черкасова [8], о котором остались самые светлые воспоминания: мыслил свежо, не зажато, был открыт новым идеям, к людям относился тепло, весь он был какой-то не партийный и не советский. Не всех помню того периода, но Алла Назимова [9], Галя Силантьева [10] вспоминаются с радостью, ибо связано это было не только с работой, но и очень хорошими отношениями.

...вектор интересов определился, когда ты начала работать в социологии?

Когда проект группы В.А. Ядова, связанный с диспозициями, был утвержден, у него появились ставки, и в 1970 году я поступила на работу в ИКСИ РАН на должность младшего научного сотрудника. Работала я в психологическом направлении под руководством А. Сопикова, и занимались мы пилотажем методик, которые отвечали гипотезам Проекта - интеллект, семантический дифференциал Осгуда, ригидность и другие. Пилотажи проходили на заводах, главным образом, в конструкторских бюро. Хорошо помню, что инженеры, с которыми мне пришлось общаться, относились к нам с пониманием, все

наши «психологические выверты» старались понять и выполнить так, как мы о них просили. И еще важно отметить, как тщательно выполнялись все пилотажные процедуры. Только методика Осгуда пилотировалась в вариантах 5-ти, 7-ми, 9-ти и 11-членных шкал. Каждый результат пилотажа обсуждался на семинарах. Часто решающее слово оставалось за Галей Саганенко [11], которая оценивала результаты математически. Не помню, как было дело у других участников Проекта, но меня Галина столько раз заставляла все проверять и считать различные коэффициенты, что, наверно, я сто стальных перьев исписала, в прямом смысле слова километры бумаги извела на различные подсчеты, таблицы и схемы. Сегодня это звучит смешно, но ведь в те времена все делалось вручную. Одних коэффициентов Спирмена было подсчитано сотни.

Запомнился мне момент, когда уже были описаны все методики и подготовлены к публикации в Москве. Все тексты-описания, инструкции по сбору и обработке материалов, экспозиционные материалы, протоколы были вычитаны и выверены. Помню большие зеленые папки, которые были подготовлены для отправки в Москву. И помню удивительное чувство радости от сделанного дела у всех.

К тому времени возник ли у тебя интерес к какой-либо теме?

На этапе проведения пилотажа меня заинтересовал феномен толерантности, да и в дальнейшем меня не оставляла мысль о том, что это свойство личности может «сработать» на гипотезу избирательности человека в сфере труда. Была создана специальная методика для оценки влияния определенной информации на процесс восприятия человеческого лица. Идея была проста: оценивают ли люди одно и то же лицо одинаково или по-разному в зависимости от подписи под портретом («фашист», «убийца» или «лауреат литературной премии», «гуманист»). Предварительно в контрольной группе был сделан отбор «равноценных» фотографий, по критерию красоты. Соответственно в экспериментальной ситуации использовались идентичные по красоте портреты. Сама эта методика в основной проект не вошла, но ее материалы стали основой моей кандидатской диссертации, руководителем которой был А.А. Бодалев [12].

Здесь уместно чуть уйти в сторону. Когда работа уже была завершена, произошла защита кандидатской диссертации А.Сопикова на факультете психологии. Она была посвящена теме конформности; конформность трактовалась им как свойство личности следовать за другими в более или менее сильной форме. Защита шла при отрицательном внешнем отзыве (какая могла быть конформность у советского человека!).

Но работа была выполнена грамотно, обоснованно, к тому же ей предшествовали американские эксперименты. Потому факультет встал на ее защиту, и она была утверждена Советом факультета и далее ВАК. Но после этого прецедента А.А. Бодалев предложил мне «запрятать» толерантность поглубже и сосредоточиться в диссертации на «эффектах восприятия человеческого лица».

Тема была повернута в сторону проблем измерения. В ней была представлена идея о том, что измерение свойств личности можно осуществлять в разных подходах. Классический групповой (статистический) подход фиксирует различия в двух группах (контрольной и экспериментальной) после воздействия некоего фактора. В рамках этого подхода мы ничего не можем сказать о каждой отдельной особи (если это мыши) или человеке [13]. Этот подход мало интересен для психологии и не всегда – для социологии. Возможно иное построение (полугрупповой подход), в котором контрольная группа дает некую базовую шкалу. Данные каждого индивида соотносятся с ней, занимая на ней определенное место. Таково, например, измерение интеллекта по методике Векслера. Групповые данные отражают собственно, некое частотное распределение от низких показателей к высоким. Выбор границ «нормы» – особая смысловая и математическая процедура. Все, что оказывается за пределами «типичного» (массового) относится к отклонениям (супер высокий интеллект квалифицируется как гениальность). Место индивида на этой шкале собственно и говорит об уровне развитости свойства. На этом строятся многие классические тесты. Можно создать собственную, индивидуальную шкалу личности, если получить реакцию личности в контрольной и экспериментальной ситуациях. То есть, возможно построение сугубо индивидуальной шкалы, что бывает важным в случае, например, более глубокого изучения ценностей

Чтобы подстраховать мою защиту от возможных нападков на толерантность, [14] на защиту пригласили еще и математиков, которые авторитетно подтвердили, что все данные проверены с помощью хи-квадрата и других математических коэффициентов. Это был 1971 год, когда известные сегодня студентам коэффициенты воспринимались как высокое, почти сакральное знание. Вот так я и стала кандидатом психологических наук. Как сейчас я вижу членов того Ученого совета: Б.Г. Ананьев [15], А.Ц. Пуни [16], В.Н. Мясищев [17] – седовласые, прозорливые, живые классики. Не могу забыть, как Б.Г. Ананьев на открытых семинарах факультета психологии поддерживал идеи не только своих коллег, но и студентов, касались ли они опытов над крысами или социальной психологии. Прекрасная

аудитория во Дворце Бобринского, уже и тогда слегка обветшавшая, с подтеками от дождей, казалась особым островком, где внимание, эмоциональные отклики были видны невооруженным взглядом. Многие сотрудники НИИКСИ эти семинары помнят по сей день. Совершенно очевидно, что контакты психфака и института дали большое развитие обеим структурам. Если я правильно это помню, то в основе создания НИИКСИ лежали идеи Б.Г. Ананьева. А сегодня так радуют глаз работы по толерантности во многих областях человеческой жизни. Но писать об этом начали только после начала перестройки.

Ты права, я прекрасно помню мои ощущения той атмосферы...

Взаимодействие НИИКСИ и психологического факультета – особая страница жизни института. Обе организации в 70-х годах располагались во Дворце Бобринского на Красной улице, теперь – опять Галерной. Этот особняк заслуживает хоть небольшого описания. В нем сохранилось тогда всего несколько помещений с остатками былого великолепия. Небольшой овальный кабинет директора выходил своими высокими окнами в сад с высокими деревьями, и весной из окон были видны цветущие каштаны. В нем сохранились книжные шкафы. Потолок был расписан мелкими звездами. Многие завлабы признавались, что во время скучных заседаний они пытались сосчитать их количество. Благородные пропорции и уют этого кабинета практически всех приводили в восхищение. Юридическая лаборатория располагалась в красной гостиной (наше местное название). Она сохранила темно-красный шелк на стенах, зеркала и позолоту. Еще две лаборатории – социологическая и лаборатория Лисовского [18] сохранили только немного лепнины. Практически все остальные помещения имели простой рабочий вид, стены были покрашены масляной краской. В те времена сохранились в нескольких помещениях и уникальные бронзовые люстры. Само здание имело П-образную форму. Факультет занимал одно крыло, НИИКСИ помещался в центральной части. Второе крыло было отдано поликлинике. Крылья здания на первом этаже имели помещения, окна которых были вровень с тротуаром и работать в них было сложно, ибо время от времени они подвергались нашествиям крыс. Нашей лаборатории пришлось там просуществовать несколько лет, и эти проблемы нам были знакомы.

Мне кажется, что в те годы активно развивались многие направления психологии...

Да, соседство двух близких по духу организаций во многом делало их жизнь совместной. Должна сказать, что семинары под руководством Б.Г. Ананьева и проходившие на факультете

защиты привлекали много разного народа, в том числе, и сотрудников института. В те времена социальная психология, менее зажатая, чем социология, являлась для нас своеобразной отдушиной. Аудитория, где проходили эти мероприятия, вмещала около 150 человек и часто была переполненной.

Созданный в 1966 году факультет психологии, имел несколько лабораторий. Лабораторию социальной психологии возглавлял Е.С. Кузьмин, который многое сделал для развития этой области науки в советское время. Его ученики стали видными специалистами, докторами наук. В.Е. Семенов сейчас возглавляет НИИКСИ, Свенцицкий А.Л. и Волков И.П. заведуют кафедрами. Многие труды того времени известны и востребованы сейчас. Лабораторией инженерной психологии руководил Б.Ф. Ломов, который позже стал директором Института психологии в Москве. Работал тогда на факультете и Веккер Л.М., глубокий ученый, очень интеллигентный человек. Позднее он уехал в Германию. Вся эта блестящая плеяда ученых, энтузиастов науки создавала атмосферу творчества. Идеи перетекали из одной организации в другую, что подпитывало их обеих. Это сотрудничество начало ослабевать с 1976 года, когда факультет переехал в другое здание. Связи сохранялись долгое время, но их интенсивность постепенно снижалась. Возможно, последующая своеобразная замкнутость НИИКСИ на свои конкретные проблемы, стала основой его самосохранения, но не развития.

В каком-то смысле, завершая этот период, нельзя не сказать о конференциях, которые происходили во времена 60-х – 70-х годов в Вильнюсе, Кяэрику, Минске, Новосибирске и других городах. Может быть, я ошибаюсь, но помнится, что на них преобладала социальная психология. От них веяло интересом и вниманием к человеку, его жизни (пусть производственной, в основном), они давали ощущение некоего прорыва: как бы сегодня сказали, от институционального к личностному, от организации к человеку, который не есть простой винтик огромной машины.

Работа в НИИКСИ

Вспоминаю, что вскоре после защиты ты перешла из Академии Наук в НИИКСИ...

Диссертация была завершена, защищена и довольно быстро прошла утверждение в 1972 г. К этому времени в секторе В.А. Ядова стали происходить различные кадровые подвижки, и я поняла, что лучше мне перейти в другое место. В этом же

году я получила предложение от В.Т. Лисовского работать в его лаборатории, куда перешла в качестве старшего научного сотрудника. Началась новая страница в моей жизни.

У В.Т. Лисовского была большая по тем временам лаборатория, человек 12, он был признанным властями социологом, имел большие исследовательские возможности. Его тематика охватывала разные группы молодежи: школьников, студентов, молодых специалистов. Под его руководством проводилось поистине огромное количество исследований по многим городам и весям СССР. Все они выполнялись в виде анкетных опросов. Его труды сегодня хорошо известны. Они широко публиковались в виде его авторских монографий, а также сборников статей и тезисов его сотрудников. Наряду с массовыми опросами, Лисовский постоянно использовал и такие методы сбора информации, как диспуты, анализ писем, общение с различными группами молодежи (например, кришнаитами). Нам тогда казалось, что шеф «чудит». Но теперь я вижу, что он, скорее всего, интуитивно использовал качественный подход в изучении молодежи. Он был активен и открыт, ему нужны были новые идеи, он держал таким образом руку на пульсе молодежных движений, улавливая те веяния, которые в массовых опросах было не «схватить», которые еще не стали типичными. Нужно отдать ему должное в том, что при наличии цензуры, он умудрялся показать то, что «не разрешалось», что можно было обнародовать в некоем полемическом ключе, осуждая некоторые явления в меру социальных ограничений того времени. Не случайно он стал Лауреатом премии ВЛКСМ, в этом просматривается некоторая знаковая роль того времени.

Первая моя тема в лаборатории В. Лисовского – молодые специалисты, связь успешности их работы и учебы. Эти специалисты (как объект изучения) и определили профиль моей дальнейшей работы на многие дальнейшие годы. В этой лаборатории было удивительное расслоение. Был хороший костяк, который работал, читал, ходил на семинары, но были и люди, которые приходили на работу чтобы попить чай; дело их не интересовало. А еще у нас появлялись люди, «сосланные» с других факультетов, например, за такие провинности как доношительство. Так к нам пришел Ю.Д. Марголис [19], замечательный человек, историк, он занимался у нас историей студенчества. Его манера мыслить, взгляды часто заставляли нас как-то «оглядываться окрест» и задавать себе «странные вопросы». Из этой лаборатории впоследствии вышли доктора наук З. Сикевич [20], В. Панферов [21], Р. Зотов [22], А. Козлов [23]. И все они оказались людьми нестандартными с особой и неповторимой судьбой. В.Т. Лисовский влетал в лабораторию

как вихрь, часто роняя из портфеля свои бумаги, чем-то нас озадачивал, требовал статей, анкет, участия в диспутах. В то время мы знали почти все факультеты ЛГУ, их деканов и профессоров, поскольку в массовых опросах часто участвовали семь, восемь и более факультетов Университета. Эти связи были плотными, в ряде случаев дружескими, деканы часто ставили перед нами свои задачи.

У меня хранится много книг, подаренных мне Володей, а на одной из них надпись: «Члену ВКПб...» Я в одной из анкет вопрос о партийности почему-то так и обозначила. Чем мне ВКПб показалась лучше КПСС? Видимо, уже тогда стало заметно, что я белая ворона. Отнюдь не диссидент, просто я искренне не понимала, почему нужно жить в формальном мире, почему утром диктор телевидения не может по-человечески сказать: «Доброе утро, люди, желаю вам всем хорошего дня!». Или почему нужно «гноить» социолога за вопросы о сексуальной жизни.

Лаборатория была дружной, мы часто собирались вместе то дома у кого-то, то в кафе, пели, смеялись, подкалывали друг друга. Почему-то мне больше всего помнится песня Сережи Пелевина [24], где есть такие строки: «Хочется быть женщиной, хочется красивой, а надо быть опять секретарем». Наверно, потому, что жизни она как-то очень соответствовала.

Как в твоих исследованиях появилась тематика образования?

Произошло ЧП: Минвуз СССР поручил НИИКСИ заняться темой «Модель специалиста» и создать для этого лабораторию. Здесь необходим комментарий, ибо данная история не забыта вузами, а ленинградские социологи в этой работе (кроме вузовских) участия не принимали. Идея шла от вузов, постоянно задававших себе вопрос: «К чему нужно готовить специалистов, чтобы, приходя на рабочее место, им не приходилось учиться заново?». Люди, пытавшиеся ответить на этот вопрос, сразу разделились на две категории. Первую, – составили философы. Каждый из них точно знал, каким должен быть специалист, например, идеологически ориентированным, профессионально грамотным, имеющим коммунистические идеалы и способным вести людей именно к ним. Только почему-то у каждого философа получался «свой» специалист. Вторую группу составляли люди, ориентированные на практику, на знание ее требований и норм. Философы ругали их за «узость мышления», за то, что «узкий» специалист не способен видеть далее своей конкретной специальности. На что практики ехидно отвечали: терапевт имеет широкий профиль, однако зубы вы у него не будете лечить [25].

И вот в этой ситуации директору НИИКСИ, Пашкову А.С. [26]. было необходимо создать новую лабораторию. Естественно, что старожилы института за такой неблагодарный и опасный труд браться не захотели. Никому не казалось привлекательным разрабатывать эту спорную тему, да еще отчитываться прямо перед Министерством. Один за другим кандидаты на должность завлаба отпадали, а сроки в те времена «спускались» жесткие. Тогда и вызвал меня Алексей Степанович в свой овальный кабинет и предложил возглавить лабораторию. Он думал, что это ненадолго, что пройдет пара лет и все закончится. Я размышляла несколько дней. Тема была мне интересна, специалисты как объект изучения уже «влезли в душу», хотелось поработать самостоятельно. Сложности как-то не пугали – не боги горшки обжигают. А специалисты как объект влекли своей непознанностью, широтой, какими-то новыми возможностями, тогда по ним работ почти не было. И я согласилась.

Постепенно собирался коллектив новой лаборатории – уходили люди из лаборатории НОТ и инженерной психологии; из этих двух лабораторий составили новую, нашу, с довольно диким названием – Лаборатория по исследованию проблем подготовки специалистов в высшей школе. Приходили новые сотрудники, постепенно рождалась концепция не «модели специалиста», а «модели деятельности специалиста». В самом деле, для чего готовится специалист? Для выполнения определенных, как правило, четко очерченных обязанностей. Эти обязанности требуют наряду с теоретической подготовкой конкретных знаний и умений, способности выполнять некий набор функций, решать заданные проблемы. Широта подготовки ведет к тому, что время освоения профессии растягивается на длительное время. Последующие наши исследования процесса становления специалиста показали, что на это требуется семь – девять лет.

Так постепенно рождалась концепция изучения деятельности специалиста, обобщенная, сопряженная с его подготовкой. Бесплезно было изучать деятельность специалистов, не строя некие «мостики» к учебному процессу. Этот переход был необходим, а потому вся исследовательская схема была ориентирована на те элементы деятельности, которые присутствуют в практике и одновременно могут быть учтены, встроены в учебные планы. Разумеется, мы понимали, что деятельность не может быть «простой калькой» текущей реальности. Она связана с профессиональной и социальной стороной функционирования любого профессионала, с его ростом как руководителя, и главное – с перспективой развития той отрасли, где работает специалист.

И с чего же вы начали?

Первой стала модель деятельности промышленного психолога. А.А. Бодалев, тогда уже декан психологического факультета, активно поддержал эту идею, т.к. факультет хотел расширить поле своей деятельности. Уже появились психологи в космической сфере и других оборонных областях, на некоторых крупных заводах. Социальная психология как-то стала проникать в нашу жизнь, чему способствовали и планы социального развития. Уже не только ученые писали о социальной совместимости людей, эта тема обсуждалась журналистами, она привлекала внимание многих. Поваяло в те времена какими-то человеческими ветрами. Как я узнала впоследствии, даже в ЦК КПСС зав. отделом психологии В.П. Кузьмин [27] делал попытки развития психологии в СССР, опираясь на западный опыт. Человек он был умнейший, писал интересные статьи и делал многое для развития психологии.

Второй стала модель деятельности химика-технолога. Ее создание поддержал Л.А. Серафимов [28], который в Минвузе курировал наше направление. Профессор-химик, заведующий кафедрой тонкой химической технологии, связанный со многими заводами и НИИ, где работали их выпускники, он понимал, что наше высшее образование недостаточно связано с практикой, что эту линию образования необходимо корректировать. А тут и случай подвернулся проверить наши идеи на своих выпускниках. Методический инструментарий составлялся совместно с его кафедрой. Это была длительная, интересная и сложная работа. Много лет в лаборатории мы вспоминали, как осваивали химическую терминологию, искали понимания с сотрудниками кафедры, не очень умело объясняя наши задачи. Но краеугольные камни методики были созданы: перечни проблем, знаний и умений, функций и типов деятельности. Эти перечни являли собой многоуровневую конструкцию: от общего ко все более частным. Я тогда часто вспоминала школу В.А. Ядова: этапы исследования, принципы конструирования самих подходов и методов, пилотаж...

Работа с перечнями [29] происходила в режиме интервью, что было само по себе непросто. К тому же многие наши химики работали в закрытых предприятиях, их еще надо было «отловить». Несмотря на специальные письма кафедры, личные звонки с просьбой о помощи, часто интервью приходилось брать то в проходной (без стола и стула), а то и в скверике около предприятия. Нередко приходилось использовать и обходные пути. Наши сотрудники обошли километры заводов, часто возвращаясь в бензине и мазуте – почему-то с трубопроводов везде капало. Мы создали специальную инструкцию по командиров-

кам: надо было захватить нужное количество карточек для ранжирования, протоколов, теплую и запасную одежду, ибо пропадали мы в командировках неделями. О. Крокинская [30], П. Смирнов [31], Л. Скабовская – люди, которые прошли все этапы этой большой работы. Первые двое – сейчас уже доктора наук. Потом химики говорили нам, что свой учебный план они сильно скорректировали. Значит, наш труд не пропал даром.

Одним из следствий этой работы был вызов меня в Смольный, где тогда располагались городской и областной комитеты КПСС. Оказалось, что прогнозы развития области тонкой химической технологии (мы вели специальные интервью с ведущими специалистами) попали в поле зрения КГБ. И инструктор в Смольном сказал приблизительно следующее: «Ты что, сукина дочь, соображаешь, что натворила?» А я соображала только одно: дело нужно делать, как следует. Без прогнозной части модели быть не может. И вот иду я по коридору Смольного и вижу на красной дорожке какие-то пятна – оказалось, что это мои слезы. Позже поняла, что это была высокая оценка, но тогда глушила обида.

Потом все эти проблемы постепенно переросли в вотум недоверия ко мне лично. Меня стали вызывать на партком НИИКСИ и есть поедом. По профессиональной части претензий не было, а инкриминировалось распечатывание гороскопов. Сделали это ради шутки. В этой ситуации я особенно остро чувствовала себя белой вороной. Интуитивно ощущала, что чего-то я не понимаю, но ответа на прямой вопрос: в чем моя вина, – так и не получила. Может быть, «носом не чуюла» каких-то тенденций, конечно, была слишком аполитичной (в партии никогда не состояла), не отразила в модели нужной идеологии (хотя блок такой был). Всегда было смешно слышать в голосе инструкторов райкомов и Обкома КПСС искреннее удивление, что я не член партии и мне нужен специальный пропуск, чтобы к ним прийти. А исследований по их заданиям было проведено немало. И в них нужной идеологической направленности, видимо, тоже не ощущалось.

Перву твой рассказ... тебе предлагали вступить в КПСС?

Нет, не предлагали. Не случайно объяснение «для себя» звучит просто: чувствовали, что я белая ворона и серо-черной никогда не стану, потому что не смогу понять, не смогу принять, не стану делать... Многие вопросы партийные работники не могли мне объяснить... Но это мое понимание.

Хорошо, теперь, пожалуйста, вернемся к основной теме.

Не быть бы мне завлабом далее, да помог упомянутый выше В.П. Кузьмин из ЦК партии. Он считал, что нашу работу нельзя закрывать. Соответственно был звонок в НИИКСИ прямо

Пашкову. Он дал мне хорошую характеристику, и стали мы работать дальше.

Удивительным человеком был Алексей Степанович Пашков. Никою не «гноил», умел представить НИИКСИ на любом уровне. Его чутье, умение вести свой корабль среди идеологических рифов вызывают удивление и сейчас. Его толерантность к научной тематике, как мне кажется, помогла удержаться в институте и даже что-то сделать для науки таким людям как Паша Лебедев [32], Яков Гишинский [33], Юра Суслов [34], Роман Могилевский [35] и другим. Все перечисленные имена известные сейчас в российской социологии. Конечно, кто-нибудь сегодня может сказать, что они могли сделать гораздо больше. Да, могли, однако стоит рассмотреть и другой вариант – они могли быть вообще потеряны для науки. НИИКСИ в те времена был неким заповедником, в котором в достаточно суровых условиях ограничения высказываний и публикаций, тем не менее, выросли люди, которыми сегодня можно гордиться.

Была еще модель метеоролога. Все эти модели делались не только для практики, для вузов – шла отработка концептуального и методического инструментария. Наша главная задача состояла именно в этом. Соответственно все это было постепенно опубликовано; некоторые вузы использовали наши результаты. Часто об этом мы узнавали много лет спустя. Забавно, но, кажется, в 2003 году пришли военные и попросили материалы по модели деятельности. По-видимому, и сейчас вопрос о подготовке специалистов стоит остро, а другой методики никто еще не предложил.

Пришла перестройка, и мы занялись напрямую образованием – теми его новыми формами, которые появлялись на наших глазах. И с неким ужасом и отвращением произносили слово «рынок образовательных услуг». Кое-что успели изучить: какие новые образовательные формы появились, кем они востребованы, зачем это нужно людям...

В эти же годы мы участвовали в Программе «Молодежь Германии и России», которая делалась совместно с Университетом г. Лейпцига. Его возглавлял с нашей стороны В.Т. Лисовский, а с немецкой - Ута и Курт Штарке, социологи ГДР, люди активные, заинтересованные, стремившиеся раздвинуть те преграды, которые существовали раньше. Они любили Володю Лисовского, делали многое для того, чтобы границы не мешали развитию социологии, чтобы шли исследования, чтобы студенты учились «вживую», воспринимая материал из рук – в руки.

Но НИИКСИ, как ни старался вписаться в рыночные условия, в полной мере не смог этого сделать. Были трудные времена, госбюджетное финансирование не позволяло людям

просто прожить. Наши исследования не были востребованы. Постепенно сотрудники лаборатории стали искать другие места работы. Мне предложили заведование кафедрой социологии образования в Университете педагогического мастерства, что я и сделала с нелегким сердцем. С наукой связи порывать не хотелось. После моего ухода лаборатория была закрыта.

На заре перестройки ты защитила докторскую диссертацию по социологии. Не могла бы сформулировать ее общие выводы?

Диссертация защищалась в 1993 году в форме научного доклада, ее тема – «Профессиональная деятельность: структура, функции, динамика». К моменту ее защиты уже было опубликовано четыре коллективных монографии нашей лаборатории по проблематике моделей деятельности. Они являли собой завершённый цикл: методологические основания конструирования модели, описание инструментария с рабочими документами, опыт приложения в различных областях. Основой всех этих построений и была профессиональная деятельность как сложное социальное явление.

Сформулирую три основных результата-вывода. *Во-первых*, была предложена схема изучения профессиональной деятельности специалистов, которая позволяла через ряд ее параметров (функции, проблемы, типы деятельности) качественно и количественно ее представить. Эта схема далее дала возможность сравнить разные профессии и обозначить в них общее и специальное. *Во-вторых*, анализ данных представителей разных профессий показал, что специалист в практической деятельности может оказаться «производственнымником», «технологом», «руководителем», «социотехником». Из чего следовало, что в вузовской подготовке обучение этим функциям в той или иной мере должно быть предусмотрено. Насколько мне известно, такая трактовка «профиля» специалиста и сегодня не реализуется. Наконец, важнее всех других выводов был тот, что системы деятельности и системы подготовки, складывавшиеся веками, никогда не «смотрели прямо в лицо друг другу», каждая развивалась по своим законам. Они испытывали влияние друг друга, процесс «притирки» шел постоянно. Но это происходило спонтанно, в ситуации возникновения проблем, опережения развития или отставания какой-то из систем. В любой из моделей находились «лакуны», которые вуз не заполнял в обучении: некоторые проблемы никогда не затрагивались в вузе, о ряде типов деятельности выпускники никогда не слышали... Вот и учились на рабочем месте методом проб и ошибок.

Не так давно, я перебирала свой архив и нашла некоторые бумаги по моей диссертации. Возможно, ты и сам уже забыл,

но, выступая на защите, ты сказал: «Елена Эмильевна сама не до конца понимает значение, что она представила, отразила в своем докладе... в нем можно было бы жестко и однозначно сформулировать очень интересные методологические выводы».

Отвечу тебе через 13 лет после того события. Да, ты был прав. Какие-то вещи я поняла спустя восемь-девять лет, какие-то еще позже. Догадаться бы мне тогда попросить тебя быть моим научным консультантом! Увы, увы... Попутно скажу, что, возможно, я и тогда могла выйти на некоторые обобщения, но не было у меня *уверенности*, что наши данные действительно, дают для этого основания. Где-то через 8–10 лет, увидев подтверждения некоторых наших выводов у других исследователей, я поняла, что тогда имела право на ряд заключений, но тогда-то я этого еще не знала.

Сейчас у государства нет денег для развития модели деятельности специалистов, а частный бизнес еще не готов к сотрудничеству с наукой в этой области. И все же, чем, с твоей точки зрения, отличаются требования к специалисту периода «застоя» от требований к современному специалисту?

Гибкость в выборе места работы, готовность «подстроиться», понять требования своей сферы и среды; способность донести свои предложения и идеи; умение работать в команде с другими профессионалами. Важным является и умение «доучиваться», то есть самостоятельно получать те знания, которых не хватает. Впрочем, написав, задумалась: поскольку в советское время социологи были то ли первопроходцами, то ли подпольщиками, то от них требовалось то же самое.

Как бы ты завершила рассказ об институте, которому было от дано два десятка лет?

О НИИКСИ – как «спящей красавице». Институт возник в 1965 году, на заре социологии в СССР как институт комплексных социальных (не социологических!) исследований. Долгое время существовал на основе идей социального развития. В нем были люди думающие, трудоголики, ориентированные не только на прикладные проблемы, но на науку. Как же получилось так, что этот «первенец» не стал яркой личностью? Может, потому, что изначально ему никто не позволил стать кометой, готовой сгореть?

Все сотрудники понимали рамки, в которые они были поставлены, все знали о возможных последствиях самого незначительного отклонения от «генеральной линии» партии, все знали, что их работы сколь-нибудь «вольного» стиля мышления» никогда не будут опубликованы. В Москве жизнь текла

свободнее, хотя и там люди подвергались гонениям, им тоже приходилось несладко. Однако там вырастали, становились известными такие ученые как Ю. Левада [36], Б. Грушин [37], Г.П. Щедровицкий и многие другие. И сейчас, вспоминая прошлое, создается впечатление, что институт был как растение, произрастающее на скудной арктической почве. Идея комплексности не дала мощной ветви. Практически каждая лаборатория решала свои проблемы: темы, которая объединила бы весь институт после социального планирования, я не помню. Даже работа в программе «Народы России» (это уже конец 80-х годов) не осуществила развития идеи комплексности. Социальность так же не расцвела пышным цветом.

Всеми этими рассуждениями я не хочу хоть как-то принизить роль института. Просто задаюсь вопросом, почему он не реализовал те идеи, которые лежали в его основании. Одна из самых первых гипотез: мера идеологической зажатости и тотального контроля в области идеологии в Ленинграде, по моим ощущениям и оценкам многих моих коллег, была более сильной, чем в Москве. Там все же бывали какие-то просветы. В чем-то полегче было на периферии.

Один из примеров: кадровый отбор в НИИКСИ проводился С.И. Катъкало [38], чье недремлющее око и чутье и на пушечный выстрел не подпускало девиантов любого рода. Мне и самой пришлось с этим столкнуться при попытке взять на работу «нестандартных» людей. Создается впечатление, что многократная фильтрация кадров вела к кристаллизации. Если люди и имели идеи, то со временем оостеневали, предпочитая выполнять конкретные заказы, понимая, что иначе просто окажутся на улице, не имея никакой возможности заниматься социологией. А может, никто не надеялся, что наступит время, когда удастся «выкрикнуть слова, что давно лежат в копилке?» В частной беседе Я. Гишинский слегка поправил меня: «А сборники «Человек и общество»? Ведь они многое внесли в социологию тех времен!». Он, безусловно, прав. В те времена они многое значили. Но до сих пор меня мучает вопрос о том, что многие идеи остались висеть в воздухе, не получили дальнейшего развития. Надеюсь, что эта интересная страница советской социологии еще будет кем-то описана много более подробно.

Мое личное отношение к НИИКСИ связано с сожалением, что эти годы мы варились в собственном соку, что не было того *силового поля*, которое было в неформальной школе Г.П. Щедровицкого, в других московских группах, о которых я знаю только понаслышке. Будь это поле тогда в институте, развитие людей, тематики шло бы иными темпами и с другими результатами.

Еще один этап жизни...

Что это за институция – Университет педагогического мастерства? С какими идеями ты туда пришла?

Университет педагогического мастерства (бывший Ленинградский институт повышения квалификации учителей) повышает квалификацию учителей и дает второе высшее образование. Сейчас он снова переименован. Теперь – в Государственную академию постдипломного педагогического образования. Его структура включает кабинеты, в которых повышается методический уровень учителя и кафедры, обеспечивающие теоретическую подготовку.

Я пришла на кафедру социологии образования с мыслью, что хорошо бы узнать учителей как социально-профессиональную группу. Без исследования системы школьного образования вряд ли удастся создать систему обучения социальным знаниям. Да надо было еще и узнать, а что именно востребовано в педагогической среде. Почти сразу после моего прихода при кафедре была создана лаборатория изучения школьного образования. С этим небольшим коллективом мы занялись сначала учительством (как оно менялось на наших глазах!), затем школьниками, и, наконец, родителями. Много было получено интересных данных, приведу лишь ряд фактов.

В каждом исследовании старшеклассникам задавался вопрос об их самочувствии в школе. И всегда 5% говорили, что они испытывают в школе чувство унижения. Сложна педагогическая среда и «трудно быть молодым».

Было интересно зафиксировать, что молодые родители уже живут по иным правилам. Они выстраивают образовательные стратегии своих детей с момента выбора детского сада. Новая генерация родителей видит в образовании следующие ценности: лучшая жизнь и развитие ребенка. Лучшая жизнь представляется не просто достойной (как материальное благополучие), но и как возможность для ребенка найти себя там, где он может и хочет себя реализовать. Отсюда следует простая схема: хороший детский сад, специализированная школа, соответствующий вуз. Их идеология проста: «без хороших знаний не достигнешь успеха в жизни».

Удивительно, на какие жертвы ради образования своих детей идут родители, в большинстве своем небогатые, не имеющие каких-бы то ни было экономических перспектив.

Современные родители фактически уже давно частично оплачивают обучение школьников (хотя взнос сильно варьирует от требований и статуса школы). Платят за дополнительное обучение, охрану, ремонт класса, мебель и учебники, экскур-

сии и пр. Я знаю не одну семью, которая продала квартиру, дачу, библиотеку, чтобы ребенок мог учиться в вузе. Справедливости ради следует отметить, что в основном это относится к семьям интеллигенции, у которых образование «в крови» многих поколений.

Радостно было наблюдать взрыв инициативы в школах, исходящий не сверху, а снизу, от учителей. Именно в 90-х годах чего только не пробовала изменить школа в своих стенах: менялись учебники, взгляды на жизнь, ее организацию, на отношения... Когда наш коллектив в конце 90-х годов писал главу в монографию «Российская школа в сумерках образования» [39], уже чувствовалась какая-то пробуксовка, что-то начало стопориться. В заключении было сказано о том, что за сумерками могут следовать и закат, и рассвет.

Похоже, что рассвет не наступил. Все те же сумерки, снова управление сверху, инициативы притушены, боюсь, что наступает эпоха рутины. Но не могу не надеяться, что потенциал, который прорывался, совсем угас. Познав хорошее, человек не может не стремиться вернуться к нему.

С сожалением скажу, что в педагогической среде социология оказалась мало востребованной. Педагоги разного уровня слишком погружены в свои сугубо профессиональные проблемы, такие, например, как построить урок, каких авторов включить в курс литературы. Мысль о том, что жизнь много шире обучения, ими принимается, но мало затрагивает внутришкольные задачи. По сути, отношения педагогики и социологии образования с момента их выстраивания в 19 веке остались теми же.

В 90-х годах значительное число школ Петербурга попыталось обратиться к жизни: возникали Советы старшеклассников, Попечительские советы, ребятам стали давать возможность участвовать в жизни школы как ее субъектам. Повеяло некоей демократизацией. Однако эти идеи не укрепились и не выросли в школьную жизнь. Школа снова закапсулировалась, вернулась к своим классическим проблемам: обучение, успеваемость, дисциплина. Термин социализация, кажется, так и остался термином. Социализация не воспринимается как острейшая проблема, которую школа намерена решать. Я снова почувствовала себя белой вороной и вернулась к своим, родным социологам – на факультет социологии СПб ГУ, на кафедру прикладной и отраслевой социологии. Сначала было грустно расставаться с исследовательской работой. Казалось, что уже никогда не ощутишь то чувство волнения и сомнений, которое всегда испытывала, беря в руки первые эмпирические данные. Нужно было перестраиваться на работу со студентами.

Какие курсы, ты читаешь?

Первые два года я читала базовый курс «Методология и методы социологического исследования». Он читается на втором курсе, когда студенты еще не очень способны усваивать серьезные методологические позиции. Правда, далее в процессе учебы к этим знаниям обращаются и другие преподаватели, в процессе курсовых работ студенты начинают что-то делать практически. Недавно появилась лаборатория, в которой студенты занимаются освоением конкретных методов. Очень важно, что эта деятельность – часть учебного процесса. Наконец-то мы перестаем учить езду на велосипеде теоретически.

Параллельно готовился курс «Социология образования», который предлагался сначала как спецкурс. В 2003 году он вошел как обязательный курс для социологов, и я постоянно читаю его на дневном и вечернем отделениях факультета. К сожалению, студенты стремятся работать в области политических исследований, public relations, экономической социологии, им эти направления кажутся более престижными и хорошо оплачиваемыми. Социология образования как область деятельности еще не престижна. Но я думаю, что ситуация изменится со временем, надеюсь, что социологи все-таки будут работать в образовании там, где принимаются решения, связанные с ним. Мне кажется нонсенсом, что районные управления образованием (и Комитет по образованию тоже) до сих не знают образовательных, воспитательных и социокультурных потребностей родителей; что нет своеобразных социальных карт «опасных для детей зон» каждого района; не изучаются проблемные семьи (чей вес в ряде районов очень велик) и т.д.

Время оказалось благосклонным ко мне. Удалось получить грант РГНФ, по которому занимаемся проблемой субъектного подхода в образовании. И снова можно окунуться в эмпирику, снова общаться с такими коллегами, как В. Собкин [40], Д. Константиновский [41], Г.Е. Зборовский [42], участвовать в конференциях, обсуждая с коллегами насущные, часто – большие, проблемы образования.

Ты первая из социологов Петербургского Университета, кого я интервьюирую. Каково у вас отношение к тому, что раньше называлось буржуазной социологией, эмпирической социологией?

Буржуазная социология – какое емкое слово для социолога советского времени! Как раскупались книги с названием «Критика буржуазных теорий.....»! Только в этих публикациях и можно было прочесть хоть что-то о теоретической мысли на Западе.

Сегодня многое стало доступным и осваивается на факультете очень активно. Слушая защиты студентов, магистров,

аспирантов, докторантов, видишь, как далеко шагнула в этом направлении наша социология. Возможности стали много шире еще и потому, что на факультете и в Петербурге в целом уже побывало много зарубежных ученых и педагогов с лекциями и докладами. За последние годы на факультете выступали с докладами Ю. Фельдхоф, Н. Луман, Рытлевский Р. Уже с середины 90-х годов осуществляется сотрудничество с университетами Берлина, Магдебурга, Ганновера, Вены, Утрехта, Стокгольма, Билефельда и др. Факультет участвует в различных международных проектах. Что особенно важно – за рубеж активно ездит молодежь – студенты и аспиранты. Их свежий ум впитывает новые идеи как-то активнее, они схватывают не только суть теорий, но еще и тип мышления, мировосприятия и что-то еще вроде «местных эманаций». В этой области, как мне кажется, все сегодня обстоит достаточно благополучно. Идет нормальный процесс освоения того, что наработано в мировой современной социологии. Эмпирическая социология развивается, без нее наша сфера теперь не мыслится.

В.А. Ядов трактует марксизм как одну из составляющих базиса современной мировой социологии, однако многие российские социологи стараются дистанцироваться от марксизма. Что ты по этому поводу скажешь?

«Марксизма», кажется, в российской социологии не стало, а вот Маркс изучается, включается в работы именно там, где его идеи уместны, несут объяснительную силу. Теперь при защите любой работы, слава богу, не нужно цитировать Маркса как «заклинание о дожде», но его отсутствие в работе по делу, по теме может вызвать справедливый вопрос.

А теперь несколько более широко о том, что стало, по сути, «текущей нормой» (нормой бытования) нашей повседневной практики в отношении к теориям [43]. Практически ни одна диссертационная работа не строится на одной теории, все они опираются на несколько теорий. Если теоретически, а тем более – эмпирически, изучается некое социальное явление, к его описанию и объяснению привлекаются различные авторы, что научному сообществу представляется естественным и правильным. Поэтому мне хочется сказать так: политеоретичность, адекватная изучаемой проблематике – вот норма последних лет. В лекциях последних лет транслируются наиболее современные теории, они же являются основой многих дипломных и диссертационных работ.

Более сложным является другой вопрос: о претворении теоретических идей в эмпирике, их проверке на «нашей почве». Здесь все обстоит как-то сложнее. Если теоретическая глава,

например, кандидатской диссертации выглядит блестяще, то процесс претворения теоретических положений в эмпирические конструкции происходит упрощенно, с заметными потерями. Может быть, подготовка наших аспирантов по своему объему времени не дает им возможности сделать все достаточно объемно? Может быть, в России еще не накоплен необходимый педагогический опыт? Может быть, вопрос в том, что многие теории могут быть реализованы лишь при наличии достаточно больших исследовательских коллективов? Вопросов в этой области больше, чем ответов.

Что ты скажешь о нашем поколении в советской/российской социологии? В целом я полагаю, что мы – второе поколение. Границу трудно провести, принадлежность к поколению определяется не только годами рождения, но и самоидентификацией... я по, скажем, созвучию с «шестидесятниками» пока называю нас – «шестидесятилетними». Что мы сделали? чего не сделали? в чем наша самость или ее нет? что мы добавили к тому, что сделали первые? или ничего? Мы только продолжение отцов-основателей или пошли дальше?

Поколение «шестидесятилетних» – вопрос непростой, прежде всего потому, что этот слой социологов очень неоднороден. Во-первых, в нем много философов, есть юристы, психологи, математики, инженеры, экономисты. Размышляя о них, прежде всего, думаешь о том, что все эти люди – «маргиналы по истокам»...

Сложившееся профессиональное мышление сильно ориентирует человека на определенный стиль мышления, на видение любой проблемы в своем ракурсе... Отсюда и возникает идея нашей «маргинальности». Надеюсь, такая постановка вопроса не будет обидной. Я прибегаю к этому образу, исходя из позиции, что «правоверный» социолог должен произрастать и формироваться все-таки в социологической традиции «с младых ногтей». Нам этого не было дано, а потому мы не успели многое освоить во-время («блажен, кто во-время...» – по Пушкину). Мы развивались рывками (при появлении возможностей), мы не имели возможности выбрать место работы и тематику, мы не имели возможности публиковать то, что считали важным, а, значит, не имели и отклика на свои идеи.

Возможно, у нас уходило слишком много сил духовного плана на преодоление сильнейшего сопротивления философов эмпирическим исследованиям (знаменитый «ползучий эмпиризм»), попытки наконец-то «узаконить» и ввести в повседневный научный обиход те западные концепции, которые были необходимы для понимания социальных институтов и

процессов. Чтобы обозначить сложности этого времени достаточно вспомнить, что нельзя было ссылаться на труды Г.П. Щедровицкого.

Вторым, на мой взгляд, важным признаком нашей группы является интерес к социологии, желание заниматься ею, работать в этой области «вопреки всему».

Что же мы сделали? Думаю, главное, что мы сделали, это сохранили и приумножили то, что сделали «шестидесятники». Конечно, это скорее мнение о «модальной» совокупности», а не отдельных личностях. Наука не может существовать без некоего «питательного бульона» – то есть людей, которые ее поддерживают, верят в нее, работают не ради славы и денег, а потому, что хотят работать именно в социологии, а не в другой, может, более престижной или «хлебной» области. Идеи «шестидесятников», обозначивших некоторые ключевые моменты социологии, «шестидесятилетние» развили, сделали массовыми и доступными следующим, и более широким группам. Среди этого поколения выросли и теоретики, такие как Я. Гилинский, и такие исследователи общественных процессов как Роман Могилевский, Леонид Кессельман [44], Татьяна Протасенко [45]. Я могу говорить всерьез только о петербуржцах, ибо их профессиональная жизнь происходила на моих глазах. Но далеко не всех питерцев я знаю.

Возможно, что одной из важных заслуг является возникновение многих новых исследовательских центров изучения общественного мнения, политических процессов – это уже дело именно «шестидесятилетних». Может быть, можно сказать, что «шестидесятилетние» вывели социологию на более широкую арену из академических лабораторий.

С этим поколением я ассоциирую и волну «качественников», среди которых не могу не назвать В. Воронкова [46] и его коллег. Скорее всего, мои суждения довольно однобоки, ибо глаз мой и внимание всегда были направлены в сферу образования. Возможно, вопрос этот глубже: следовало бы посмотреть работы людей этого слоя, тогда ответ был бы более обоснованным. Да и, к сожалению, общение с москвичами, сибиряками, прибалтами и другими нашими коллегами за последнее десятилетие так ослабло, что трудно составить более или менее целостную картину.

Обращаясь мысленно к нашим коллегам, живущим во многих городах России, нужно сказать, что они создали свои школы и направления. Правда, здесь будет трудно отделить «шестидесятников» от «шестидесятилетних». Эта грань очень сложна и возрастные границы очень условны. Юло Вооглайд и Ассер Муруттар создали свою эстонскую школу, социоло-

ги Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Саратова, Алтая внесли свой вклад. Я практически не знаю историю их развития, но среди них много «шестидесятилетних».

И все же, мне кажется, что ключевой термин в оценке «шестидесятилетних» – *приумножение и приращение*. Ведь многие из них учили и растили кадры молодых – в вузах, университетах, в своих лабораториях и Центрах. Они создавали новую генерацию членов иного научного сообщества – более свободного и открытого. Как-то этот вопрос то-ли «забывается», то ли находится не периферии наших профессиональных обсуждений при оценке возрастных групп.

Мы постоянно учились, мы маргиналы еще и потому, что перескочили из одной эпохи в другую, не потеряв некой здоровой преемственности в социологии, сохраняя ей верность и постоянную мотивацию на ее развитие.

Теперь мой последний вопрос: какие отличительные черты модели деятельности современного российского социолога ты могла бы выделить?

... я же не философ! Я не считаю возможным выдвигать непроверенные идеи. Можно напридумать что угодно. Но первое, что нужно знать, так это где они работают и что они там делают. Потому что делают они то, что востребовано. Это не означает, что этим и можно ограничиться. Но мы (преподаватели социологии) и *этого не знаем*. Я знаю только про исследователей. А если это PR? Кадровая политика, здравоохранение, образование? Есть еще какие-то виды деятельности, сильно отличающиеся: например, социотехник (решает конкретные социальные проблемы), социолог-психолог – при отборе персонала т.д. и т.п. Как бы это объяснить? Я не хочу этим сказать, что нужно специально готовить для этих отраслей отдельно и специально. Но интуитивно понимаю, что подготовка (как учебные дисциплины и как учеба в поле) как-то должна учитывать многообразие возможных рабочих мест социолога, его способность понять свою реальность, потребность своего окружения, и привести управленцев туда, где есть некое решение. Кстати, в практике оно практически никогда не бывает только (или чисто) социологическим.

Короче, ты задал очень сложный для меня вопрос. Над ним думать надо, а не вещать. Но две вещи мне видны: мотивация на профессию и гибкость соответственно сложности ситуации в сфере занятости, ее изменчивости. О гибкости уже сказала чуть раньше. Модель деятельности, в моем понимании – это сложная конструкция, а не умозрительные заключения. Тем более, что спектр возможностей для работы социологов не так уж велик.

С другой стороны, я убеждена, что они нужны в разных администрациях, ибо там принимаются часто дикие, совершенно нечеловеческие решения. Могла бы – насильно вводила бы их туда. Но это, видимо, пока только мои мечты.

Вместо заключения: Е. Смирнова спрашивает, Б. Докторов отвечает

Е.С.: «Если мы закончили, не могли бы мы поменяться ролями? Я хотела бы напомнить тебе один сюжет и задать вопрос».

Б.Д.: Вообще говоря, такого не было, но эта рубрика историческая, и если твой вопрос имеет отношение к прошлому, то попробуем.

Е.С.: Хорошо, сначала напомню ситуацию. На защите докторской диссертации ты включился в дискуссию с моим оппонентом профессором Анатолием Андриановичем Галактионовым, который не хотел признавать мое исследование социологическим, а, скорее педагогическим. Не привожу полностью твоего выступления, но в частности, ты говорил:

«... оппонируя предыдущему оппоненту, мне хотелось бы остановиться на том, что эта работа – современное... социологическое исследование. Прежде всего мне хотелось бы отметить общую логику познания и изложения предмета. Это не Еленой Эмильевой открыто, но ею глубоко освоено: очень удачное соотношение макро- и микроподходов. В ее первых работах (я читал все ее исследования; и был рецензентом одной из ее книг) она начинала, действительно, в очень узкой и очень специальной нише, которую мы называем средний уровень социологии, и это был довольно узкий срез познания. По мере развития ее работ мы видим и новое понимание социологии: ей удалось показать действительно развернутый социологический взгляд на предмет.

Второй момент. Это синтетичность методологии. Прежде всего я увидел в работе естественное соединение социально-психологических и социологических построений. Вот это как раз конкретизация, или иллюстрация, общего вывода о соотношении макро- и микровзглядов на предмет исследования.

Следующее, это достаточно свободное и вместе с тем умелое использование различных социологических теорий среднего уровня. Сегодня уже говорилось о деятельностном и функциональном подходах и т.д. Все это еще раз подтверждает синтетичность и взвешенность работы. Наконец, мне кажется, особо удачным объединение в исследовании статистики (портрет профессионала, специалиста) и динамики, т.е. процесса становления специалиста. Мне кажется, что это вторая обсуждаемая на Совете работа (после докторской диссертации Н.К. Серова),

в которой рассматриваются проблемы социологии процесса. Но если Серов анализировал процесс на теоретическом и методологическом уровнях, то в выносимом на защиту исследовании показано, как сложный по своей природе социальный процесс, может быть изучен...»

Е.С. По сути, ты «начал играть» на поле моего опонента, т.е. сосредоточился на методологии, но при этом говорил о той методологии, которой они не владели, но не признались бы в этом никогда.

Е.С. Теперь я хочу спросить тебя: «Ведь мы не были в те времена ни соратниками, ни друзьями. Мне-то было ясно, что ты – профи, а мне большего не нужно. Но тобой что двигало? Зачем тебе было нужно ввязываться в эту свару? Вопрос, что называется, «лобовой», но он имеет отношение к «шестидесятилетним», ибо среди них такие же, как ты, встречались, но много больше было тех, кто не ввязывался... Я это хорошо помню по тем временам, когда меня «ели поедом в НИИКСИ».

Б.Д.: Я не помню сейчас точно последовательность защит, в которых я участвовал, но мне кажется, что до твоего Совета я как официальный опонент по докторской диссертации выступал с отрицательным отзывом, причем сразу сказал соискателю, что отзыв будет негативным и, если он хочет, может сменить опонента. Может, мне слово дали, полагая, что я выступлю против твоей работы?

Безусловно, никаких личностных мотивов в моем участии в твоей защите не было. В действительности, было две общие причины. Во-первых, меня тогда мало интересовала предметная направленность твоей диссертации, но я видел в ней новизну и практическую ориентированность, и потому считал важным поддержать твою интерпретацию социологического исследования, а также его методолого-процедурный аспект. По моим тогдашним представлениям, тот Совет мог не разобраться в этом, и мне хотелось как-то аргументировать актуальность, современность твоих методических решений.

Во-вторых, я тогда был одним из руководителей социологической ассоциации города, и мне представлялось необходимым делать все возможное для объединения социологов, работавших в разных институтах и разных парадигмах. Твоя защита давала для этого определенную возможность.

Е.С. Действительно, диссертационные советы тех времен «могли не разобраться» в той социологии, которой мы следовали, они в основном состояли из философов, прогрессивных, интересующихся, но.... Хотелось разворачивать уже иную социологию, не как придаток философии советских времен, а как свободную, самостоятельную, многопрофильную науку.

Примечания ведущего рубрики

1. Аркадий Петрович Сопиков (р. 1940), после работы в группе Ядова В.А. работал в Академии педагогических наук, читал лекции в вузах Петербурга.
2. Беляев Эдуард Викторович (р. 1936), эмигрировал в 1976 г., живет в Нью-Йорке, США.
3. Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №3. С. 2-11 и №4. С. 2–10. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 183-233.
4. Георгий Петрович Щедровиций (1929–1994).
5. Гуцин Дмитрий Александрович, доцент философского факультета ЛГУ.
6. Нафтульев Лев Михайлович, промышленный психолог.
7. Шкаратан Овсей Ирмович (р. 1931), Москва.
8. Черкасов Гелий Николаевич (1928 –1988).
9. Назимова Алла Константиновна (1932), ст.н. сотр. ЛФЭИ, в Москве работала в Институте рабочего движения АН СССР.
10. Силантьева Галина Александровна (1938), после работы в лаборатории О.И. Шкаратана работала доцентом кафедры социологии и НОТ ЛФЭИ.
11. Саганенко Галина Иосифовна (р. 1940), Петербург, профессор, работает в ИС РАН Петербурга.
12. Бодалев Алексей Александрович (р. 1923), декан психологического факультета ЛГУ, далее – декан психологического факультета МГУ.
13. В социологии этот подход используется очень часто: например, мы сравниваем число выпускников школ до момента каких-то событий и после.
14. Толерантность традиционно понимается как терпимость к другим мнениям, поведению. В советское время это понятие не только не было принятым, но реакция на него могла оказаться такой же, как и на конформность. О терпимости к западным взглядам, образу жизни и писать-то было нельзя.
15. Ананьев Борис Герасимович (1907–1972).
16. Пуни Авксентий Цезаревич (1898–1985).
17. Мясичев Владимир Николаевич (1893–1973).
18. Лисовский Владимир Тимофеевич (1929–2002).
19. Марголис Юрий Давидович, доцент, затем профессор исторического факультета ЛГУ.
20. Сикевич Зинаида Васильевна, (р. 1942), профессор кафедры социальной антропологии.
21. Панферов Владимир Николаевич (р. 1939), профессор Педагогического университета им. Герцена.
22. Зотов Роман Алексеевич, доктор философских наук.
23. Козлов Анатолий Александрович (р. 1947), профессор факультета социологии СПбГУ.
24. Пелевин Сергей Михайлович, доцент юридического факультета ЛГУ.
25. Вопрос о балансе фундаментальных и прикладных знаний в подготовке специалиста очень сложен. Образовательные системы разных стран решают его по-своему. Вхождение России в Болонский процесс поставило его снова.

26. Пашков Алексей Степанович (1921–1996).
27. Кузьмин Всеволод Петрович (1926–1989).
28. Серафимов Леонид Антонович, доктор технических наук, профессор.
29. Стандартный перечень – рабочий термин того исследования. Например, перечень функций включал такие как: инженерная, техническая, исследовательская, техническая, организационная и др. Сначала происходила процедура их ранжирования по важности в деятельности специалиста, затем внутри каждой функции эта процедура повторялась.
30. Крокинская Ольга Константиновна (р. 1948), профессор кафедры прикладной социологии Государственного педагогического университета им. Герцена.
31. Смирнов Петр Иванович (р. 1942), профессор кафедры теории и истории социологии факультета социологии СПбГУ.
32. Лебедев Павел Николаевич (1937–1993).
33. Гишинский Яков Ильич (р. 1934). См. интервью с Я.И. Гишинским «Я начинал как чистый уголовник...». Телескоп. 2005. №2. С. 2–12.
34. Сулов Юрий Алексеевич (1939–1989).
35. Могилевский Роман Семенович (р. 1938), Президент «Агентства социальной информации».
36. Левада Юрий Александрович (р. 1930), д.ф.н., профессор, руководитель «Левада-центра», Москва.
37. Докторов В. Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп. 2004. №4. С. 2–13. См. настоящую книгу, Т. 3. С. 22–60.
38. Каткало Сергей Иванович, проректор по работе с кадрами ЛГУ.
39. Эту книгу заказало американское издательство «Mellen Press Ltd», и вышла она только в Америке в 2002 г. В ней приняли участие также философы, и историки образования. Наша глава называлась «Новая школа – поливариантная модель» и была посвящена как раз тем переменам, которые происходили в школах Петербурга и России в 90-х годах.
40. Собкин Владимир Самуилович (р. 1948), д. психолог.н., исследователь проблем советского и российского образования. В настоящее время Директор Центра социологии образования РАО, профессор, академик РАО.
41. Константиновский Давид Львович (р. 1937), д.с.н., зав. сектором, Институт социологии РАН.
42. Зборовский Гарольд Ефимович, д. филос. наук, профессор Екатеринбургского университета.
43. В своих рассуждениях я, конечно, опираюсь на тот опыт, которым владею. Как член ряда Советов по защитах, читаю и слушаю большое количество диссертационных работ. Именно этот опыт дает мне основание для некоторых выводов об освоении и применении зарубежных теорий современными молодыми социологами.
44. Кесельман Л.Е.: «...Случайно у меня оказался блокнот “в клеточку”...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №5. С. 2–13. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 688–724.
45. Протасенко Татьяна Захаровна (р. 1946), Социологический Институт РАН, С.-Петербург.
46. Воронков Виктор Михайлович (р. 1945), директор Центра независимых социологических исследований, С. Петербург.



Толстова Ю.Н. – окончила механико-математический факультет МГУ по отделению математической логики, доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва. Основные области исследования: теоретические вопросы использования математики в социологии, математические модели в социологии, основы преподавания математики для социологов.

По-разному сложились профессиональные судьбы математиков, «призванных» в социологию в конце 60-х – начале 70-х годов. Кто-то, не почувствовав интереса к этой проблематике, покинул эту науку и занялся разработкой более традиционных – в то время – для математиков тем. Значительная часть «пришельцев» с математической подготовкой, приобретя ученые степени, постепенно нашла себя в иных нишах социологии. Юлиана Толстова – одна из тех, относительно немногих, кто остался верным избранному направлению – исследованию комплекса методологических и инструментальных аспектов применения математики в социологии.

**Ю.Н. Толстова:
«НЕКОРРЕКТНО
ГОВОРИТЬ О ТОМ,
ЧТО МАТЕМАТИКА
“ПРИКЛАДЫВАЕТСЯ”
К СОЦИОЛОГИИ»**

Юля, давай начнем наш разговор не с любимых нами математики и социологии, а поговорим «за жизнь». Где ты родилась, в какой семье? Где кончала школу? Что тебя интересовало в те годы?

Про семью действительно хотелось бы сказать пару слов. Родители много чего мне рассказывали про корни нашей семьи, я с этим росла и четко понимаю, чувствую, что предки каким-то опосредованным образом во мне присутствуют. Говорить о себе, не говоря о них, я просто не могу.

У моих родителей очень интересные корни. Мама (Швецова Л.В.) – из семьи потомственных металлургов южноуральского города Златоуста. По крайней мере, трое из них прославились участием в создании знаменитого златоустовского булата. Мой прапрадед был крепостным рабочим, помогавшим знаменитому металлургу Аносову, вошедшему в историю как создатель булата. Судя по всему, помощь была

весьма существенной. Это отражено в семейных преданиях и нескольких художественных произведениях. Так, в двух сказках Бажова фигурируют Швецовы: мой прапрадедушка, брат прадедушки, дедушка.

Папа (Толстов Н.П.) – из семьи казачьего полковника Уральского казачьего войска. Семья – своеобразная, в её истории весьма ярко отражается история страны. Познакомились мои бабушка и дедушка на русско-японской войне. Много интересных фактов об этой войне сохранилось в семейных преданиях (как история повторяется!). Пожениться им было непросто, поскольку они были выходцами из слишком разных слоев общества. Казачья нагайка была символом террора, разгрома рабочих и крестьянских выступлений. А бабушка с детства восприняла традиции тогдашней русской интеллигенции: оппозиция к монархии, к религии, сочувствие к угнетаемому народу и т.д. Она окончила гимназию в г. Шуя с золотой медалью, потом фельдшерско-акушерскую школу в Москве. Такое образование у девушек в те времена было нечастым. Перед венчанием она сказала своему будущему мужу, что если он будет участвовать в разгоне демонстраций рабочих, она с ним сразу разойдется, какова бы ни была ситуация, сколько бы детей ни было и т.д. Он принял ультиматум и сдержал слово, хотя это было непросто. Он умер в 1916 году. Сейчас в интернете много пишут о его брате – последнем атамане Уральского казачьего войска.

Я родилась в Москве, весной 1942 года. Примерно в это время было разрешено снять маскировку с окон. До тех пор ночью по улицам регулярно ходили патрули, следящие за тем, чтобы никаких полосок света из окон не выбивалось. Войну мама встретила, будучи студенткой 2-го курса института иностранных языков. Институт эвакуировался в Среднюю Азию. Мама не поехала. Отец в это время воевал под Москвой. Мама просто не могла уехать, расценивая отъезд как предательство (без пафоса, все делалось как-то естественно). Кроме того, в ней все время жила полнейшая уверенность в нашей победе. Именно в октябре 1941 года, когда фрицы (я с детства привыкла именно к такому названию гитлеровцев) ближе всего подошли к Москве, маме пришлось лечь в роддом на сохранение.

Однажды мама стояла дома у окна и услышала, как бомба упала недалеко (как потом выяснилось, в Кисельном переулке), оконная рама упала на маму через несколько минут, когда взрывная волна дошла до нашего переулочка (Печатников переулочек на Сретенке). Но на ближайших дома бомбы не падали. Наш дом взорвали лет пять назад, испортили исторический

вид старинного Московского района; толщина стен была в две длины кирпича.

Моей первой длинной и совершенно правильной фразой, произнесенной в начале 1944 года, было повторение сказанного Левитаном насчет того, что «войска первого Белорусского фронта ...». Игры были соответствующие.

Жили мы в центре Москвы, на Бульварном кольце, в коммунальной квартире (пять семей). И только в 1952 году к нам был проведен газ. До тех пор – печка, керосинка, дрова, холодная вода в единственном кране на кухне. Канализация, слава богу, была. В детстве я очень обижалась на маму за то, что она не дает мне пилить и колоть дрова. Очень хотелось!

Папу демобилизовали в 1944 году. Контузия. Товарищи его не узнавали. Он всегда был очень веселым человеком, и я его знала именно таким. Но на войне он разучился улыбаться; и это не метафора. Не скоро пришел в норму. Когда я училась в школе, у нас было принято приглашать участников войны на пионерские собрания для выступлений с воспоминаниями о войне. И я все время удивлялась, почему папа ни разу не согласился прийти на такое собрание. Поняла это, когда стала взрослой. По нескольким его фразам. В начале 80-х, незадолго до кончины, он очень коротко описал один пережитый военный эпизод: они врываются в деревню буквально на плечах немцев, которые перед отступлением закопали по пояс в землю пленных красноармейцев и проехали по ним танками...

Отец считал одним из объяснений того, почему немцы дошли до Москвы, то, что наши бойцы долгое время не могли стрелять в людей. Молодежь была воспитана в духе человеколюбия. Пока решится стрелять, самого кокнут. И еще он говорил, что в этом отношении ситуация изменилась после того, как Красная Армия погнала фрицев от Москвы, и наши войска увидели обстановку в тех деревнях, которые побывали в оккупации...

Кстати, своеобразная обстановка была в Москве после войны. Я росла с мыслью о том, что люди без руки-ноги – это норма. И еще об одном своеобразном воспоминании. Когда в школе учителя спрашивали каждого ученика, кто у него родители, мне было очень неловко отвечать о том, что мой отец там-то работает. Моя фамилия было в конце списка, почти всех опрашивали передо мной, и ответы моих одноклассников об отцах были примерно одинаковы: погиб, погиб, погиб... А у меня - вдруг жив... До сих пор помню чувство неловкости.

Почти сразу после демобилизации отец отправился в экспедицию в Среднюю Азию. Это поколение думало в первую очередь не о своем личном благополучии, не о своем кармане. И здесь я хочу сказать два слова о своем дяде.

Старший брат отца, Толстов С.П. был членкорром, «открывателем» хорезмской цивилизации. Несмотря на броню (был профессором МГУ), добровольцем ушел в ополчение, был ранен, лежал в госпитале где-то в Сибири, потом какое-то время жил в Ташкенте. И в то время (постановление Президиума АН СССР от 22 декабря 1942 года) ему было поручено организовать в Москве Институт этнографии и возглавить его (в научном плане его важнейшим научным направлением стало изучение этнического состава стран, представляющих интерес во время войны и после победы над фашизмом [1] ; и это – в декабре 42-го!), что и было сделано. Директором он проработал примерно 20 лет. В 1943-1945 годах дядя был какое-то время деканом исторического факультета МГУ. Там в это время училась Светлана Сталина. Однажды он ее вызвал, чтобы распечь за прогулы. Пригрозил, что пожалуется отцу. Она была очень напугана, просила его этого не делать, и с тех пор не имела ни одного нарушения дисциплины.

Мой отец был художником-прикладником, и с юного возраста участвовал во всех экспедициях старшего брата, помогал ему как художник. Сначала это были этнографические экспедиции в Заволжье – изучение многочисленных населявших эту территорию народов – мордва, татары и т.д. (тут много чего можно было бы рассказать), потом – Хорезм, археологическая постоянная многолетняя экспедиция, самая крупная археологическая экспедиция в СССР (она прекратила свое существование в 2003 году). Работа в Хорезме была прервана войной. Но как только появилась возможность, тут же была возобновлена (1946). Мне очень запомнились сказки из среднеазиатской жизни, рассказываемые мне отцом. Пески, верблюды, черепахи и т.д. Это тоже как-то вошло в жизнь. Средняя Азия – как часть родной страны...

Когда мой папа выступал на поминках своего старшего брата (1976 год) он сказал, что главной чертой брата, определившей его жизненный путь, был интернационализм... Таково было поколение наших родителей. Мыслили отнюдь не бытовыми категориями.

По линии отца ты принадлежишь к старому казачьему роду.. После перестройки возникло множество казачьих землячеств, ассоциаций, «кругов».. тыходишь в какие-либо из этих структур?

Нет, не вхожу. А структур действительно много. В частности, в 1991 году была учреждена Уральская казачья станица в Москве. Учреждение состоялось в Знаменском соборе на улице Разина, где состоялся станичный сход выходцев из Области Уральского казачьего войска и их потомков, проживающих в

Москве и Московской области. Атаманом станицы в течение какого-то времени был один из внуков Сергея Павловича. Я не могу подобные действия воспринимать всерьез. Какая может быть казачья станица в Москве? Странные эмоции охватывают, когда смотрю на фотографии нынешней молодежи в казачьей форме. Увидишь боковым зрением, сердце дрогнет: сразу возникают в сознании образы, связанные с поколением дедов. Приглядишься - а это ряженая современная молодежь.

Правда, декларированные цели деятельности станицы лежали в историко-культурном русле. Это, конечно, полезно и интересно. Но заниматься этим серьезно у меня не было возможности. Кроме того, политика здесь все время где-то рядом. Это специфично для всех казачьих объединений. А политические взгляды современных казаков мне в основном не по душе. Да, нам есть чем гордиться. Свободолюбие, чувство чести, очень развитые в казачестве, в полной мере свойственны и моим дедам-прадедам. В семейных преданиях сохранились такие истории, которые заставляют гордиться своими предками. Об этом я могла бы много рассказать. Но в каждом явлении имеется не одна сторона. В казачестве тоже. Так, совершенно вразрез с трактовкой истории казачества современными «казаками» идет то, что я говорила выше о «соглашении» между моими бабушкой и дедушкой. А об этом я очень много слышала от своего отца. Кстати, наверное, для социологов было бы интересно проанализировать различие интерпретации одних и тех же событий разными поколениями. И я могла бы привести яркие примеры. В интернете (в журнале «Горынычъ») размещена история казачьего рода Толстовых, написанная упомянутым выше моим двоюродным племянником. Много фактов, связанных с жизнью деда, взяты племянником из записок моего отца. Так вот, трактовка некоторых из этих фактов отцом прямо противоположна той, которая дается племянником. Вроде всё правда, а на самом деле – ложь. И мой племянник сам, вероятно, об этом не догадывается. А уж трактовка в постперестроечной печати поведения Сергея Павловича в 30—50-е годы, когда бушевали известные идеологические споры! Зачастую – ничего похожего на правду.

Кстати, в Австралии живут (некоторых уже нет) мои троюродные братья-сестры, потомки Владимира Сергеевича Толстова, последнего атамана уральского казачьего войска (упомянутого выше брата моего деда). Он эмигрировал из России после разгрома белой армии. Именно его казаки разгромили штаб Чапаева в станице Лбищенской. И вот тут гордиться их потомкам нечем. Это было не просто убийство безоружных людей (как известно, нападение было совершено ночью, чапаевцы

спали). Тут были пытки и издевательства почище фашистских. Слава богу, В.С. лично в этом не участвовал. Сложно все. Не умеем мы воспринимать жизненную диалектику.

Да, интересная у тебя семья... уверен, можно писать о ней и писать... но может поговорим теперь о твоей школьной жизни...

Что сказать? Училась в обычной московской школе. Кончила её с золотой медалью. Сдавали, между прочим, штук семь экзаменов на аттестат зрелости. Стояла проблема выбора вуза. Надо было потратить июль месяц (шел 1959 год) на подготовку к поступлению на конкретный факультет; речь шла только об МГУ, другие варианты не рассматривались. Замечу, система репетиторства тогда была развита весьма слабо. Поступали в вузы мы с тем, что усвоили в школе. И ведь прекрасно это получалось у большинства десятиклассников! Не могу жаловаться на уровень существовавшего тогда среднего образования.

... не все так просто.. скорее всего ты судишь по московским школьникам...

Думаю, что и на периферии образование было приличным по сравнению с современной ситуацией. Наверное, в Москве лучше было, но... Как я выбирала, куда идти после школы... Все предметы мне нравились примерно одинаково. Папа посоветовал при таком раскладе идти на мехмат: всегда можно перейти на другую специальность, математика везде пригодится. Послушалась.

В течение многих лет у меня не проходило чувство глубокой благодарности школьной учительнице математики – Корт Лидии Ивановне. Я почти физически все время ощущала, что моё поступление на мехмат - её заслуга. Кстати, еще два человека из нашей школы вместе со мной на мехмат поступили. Вот так, школа давала достаточно знаний для поступления в серьезный вуз.

К блату поколение моих родителей относилось однозначно: никаких просьб по поводу своих детей не могло быть, потому что не могло быть никогда.

Что запомнилось по студенческим годам?

Много переживаний у меня было во время обучения на мехмате. С одной стороны, замечательная студенческая жизнь – хорошие ребята, целина, многочисленные походы и т.д. Считалось как-то неприличным проводить в Москве «длинные» выходные. Рюкзак на плечи – и в поход. Сейчас как вспомню, так и сама не могу объяснить наше поведение: дождь идет, рюкзак тяжеленный, а вот надо зачем-то км 20 в день пройти,

дойти до какой-нибудь заранее намеченной речки, чтобы на ее берегу устроить очередной привал...

С другой стороны, в процессе моего обучения на мехмате не было главного. Глядя на однокурсников, я быстро поняла, что такое настоящая увлеченность математикой. На курсе было много талантливых ребят, для которых постоянное решение математических задач было формой существования. Все перемены спорят, скажем, о том, как можно решить задачу, заданную на семинаре. И я страшно им завидовала, поскольку у меня такой увлеченности не было. А математика, она сродни музыке; ремесленником здесь быть неинтересно. Или дар божий надо иметь, или уйти в сторону. Много у меня было терзаний по этому поводу, хотя училась вроде бы прилично, какой-то интерес, конечно, был, но хотелось большего. Пыталась куда-то перейти, изучать что-то другое. И интерес к гуманитарным наукам все время жил внутри.

А ведь на мехмате тогда было целое созвездие талантливейших ученых, ряд моих однокурсников сейчас пишут воспоминания о наших учителях.

Скажу о Софье Александровне Яновской профессоре мехмата, моей научной руководительнице. Это – своеобразный специалист, работавший на стыке математики и философии. Добрый, интеллигентный человек. В годы революции занималась в Одессе подпольной работой как член РСДРП и даже была расстреляна белогвардейцами, пуля попала в шляпу, и С.А. осталась жива. Я была свидетелем, когда к ней однажды с каким-то вопросом подошел студент по фамилии Толмачёв, и она как-то вся потемнела, услышав эту фамилию, и сказала о том, что в годы гражданской войны в Одессе был губернатор с такой фамилией и что это был необычайно жестокий человек, борьбу с которым она вела вместе со своими товарищами.

Она взяла меня в аспирантуру. Умерла, когда я была на втором году обучения. Моим научным руководителем стал Александр Владимирович Кузнецов (он фактически был моим руководителем и при С.А.). Таких людей вообще, наверное, больше нет и не было. Талантливейший математик, новые идеи у него просто фонтанировали. В силу своеобразия жизненного пути, он формально не получил даже среднего образования, не говоря уж о высшем. Но в юности систематически посещал все (действительно ВСЕ) курсы, которые читались на мехмате. И не просто их прослушал, а хорошо (и весьма критически) освоил и прекрасно помнил их содержание. И в то же время – полное отсутствие карьеризма. Каким-то чудом он женился, у него родился сын, и Софья Александровна буквально заставила его получить кандидатскую степень, обосновывая

это необходимостью обеспечивать ребенка (до того все попытки заставить его защититься были напрасными). Она приложила немало усилий, чтобы он стал кандидатом, несмотря на отсутствие и всяческих дипломов, и самого диссертационного «кирпича» (но публикации, яркие и интересные, у него были). А докторскую диссертацию он так и не написал, хотя под его руководством несколько человек получили степень доктора наук. Он очень много сил тратил на своих учеников. Правда, зачастую, общение с ним было весьма своеобразным. Работал он по ночам. Я несколько раз приходила к нему домой часов в 11 вечера. И помню, как часа в 2-3 ночи все силы тратила на то, чтобы глаза держать открытыми, а он идею за идеей подкидывал. И среди них были весьма нетривиальные. После женитьбы он уехал в Кишинев, и много сделал для того, чтобы создать там школу алгебраической логики. Может быть, для современной молодежи будет небезынтересно то, как Кузнецов относился к проблеме оформления соавторства со своими учениками. Я была свидетельницей разговора А.В. с одним из его молдавских учеников: «Вот, дескать, в написании этой статьи моя роль была явно более значимой, чем Ваша, так что моя фамилия должна быть на первом месте. А в этой статье, конечно, Вы больше сделали, так что Ваша фамилия должна быть первой».

Верно ли я поняла, что ты специализировалась по математической логике и в аспирантуре работала по этой тематике? Чем завершилась твоя аспирантура?

Да, я с 3-го курса специализировалась по математической логике. Начало было своеобразным. Софья Александровна использовала забавный педагогический прием: активно привлекала студентов для того, чтобы они осваивали интересные неопубликованные результаты Кузнецова и на этой базе писали курсовые работы. Я попала в эти «сети». Взяла у А.В. несколько «интервью» и аккуратно изложила формулировку и доказательство одной из предложенных А.В. теорем (естественно, достаточно сложной), это послужило ядром курсовой.

Практику на 5-м курсе я проходила в Институте прикладной математики АН СССР под руководством Олега Борисовича Лупанова, который потом был деканом мехмата. Это тоже очень светлая личность. И очень добросовестно относился к воспитанию молодежи. Он стал научным руководителем моей дипломной работы. Я несколько раз приходила к нему домой, в малогабаритную квартиру в хрущевской пятиэтажке в Новых Черемушках. До сих пор у меня сохранилось чувство восхищения той виртуозностью, с которой он решал задачи,

генерировал новые идеи. И я благодарна О.Б. за его научное руководство. Благодаря ему, я на базе диплома написала свою первую научную статью, опубликованную в приличном журнале («Проблемы кибернетики»).

Тема кандидатской диссертации у меня была довольно тяжелой: доказательство полноты некоего логического исчисления (введенного в научный обиход тем же А.В.). Подобные задачи всегда очень трудны. А.В. говорил на заседаниях кафедры, что эта тема не очень-то диссертабельна из-за своей сложности. Мои результаты свелись к тому, что я строго доказала, что ни один из тех путей решения задачи, который мне предлагал А.В., не может привести к цели. Доказательства не были простыми, но такой результат не диссертабелен. Я сделала пару публикаций, и с диссертацией было покончено.

Как ты оказалась в социологии?

На распределении (а тогда в основном устраивались на работу именно так) возникла возможность пойти работать в социологическую лабораторию при строительном институте. Пошла сознательно, социология меня интересовала. Это был 1969 год (в аспирантуре я была довольно долго: вмешалась известная женская проблема с декретным отпуском и т.д.). Сначала было интересно участвовать в анкетных опросах, писать планы социального развития для конкретных предприятий (тогда это было модно). Но главный интерес возник на другом пути. Пришлось познакомиться с методами социологического исследования, коих к тому времени в нашей социологической среде было известно немало. Было переведено много интересных западных работ [2]. Стали появляться наши разработки, в основном в Новосибирске [3]. Надо сказать, что на мехмате мне не пришлось «пройти» практически ничего из того, что потребовалось для работы. Учебная программа этого не предусматривала. Но, вплотную занявшись освоением новых для меня методов, я очень остро почувствовала роль мехматского образования. Мехмат научил меня языку, дающему возможность читать профессиональную литературу. Я быстро уверилась в том, что без 5,5 лет, проведенных на мехмате, я вряд ли смогла бы успешно работать в социологии. Интересно отметить, что мехмат накладывает сильный отпечаток на всех своих питомцев в смысле воспитания определенного взгляда на мир, подхода к решению научных задач и т.д. Собратьев по образованию, как правило, всегда можно узнать, даже если видишь человека в первый раз. С ними легко находить общий язык и при рассмотрении социологических задач. Однако, к сожалению, в последние годы я стала замечать некое измене-

ние ситуации не в лучшую сторону, что весьма грустно... Но это – особый разговор.

Начав работать на социологическом поприще, я довольно скоро поняла, что «стык» математики и социологии – очень интересная сфера. Использование математического языка в процессе решения социологических задач по существу означает стремление как можно более четко понять, в чем задача состоит, почему её имеет смысл решать тем или иным способом, что в содержательном плане даст такое решение. Четкая постановка подобного рода вопросов и означает использование математического языка. Он может быть частью уже существующего языка математики, а может явиться чем-то новым. В последнем случае само рождение новых языковых конструкций и формирование правил работы с ними может не только помочь решить социологическую задачу, но дать почву для рождения новой ветви математики. В истории науки имеется много примеров соответствующего плана. Ярким примером такого рода является рождение теории вероятностей. Правда, она родилась из желания решать задачи, встающие не при изучении общества, а в азартных играх. Но потом именно социальные исследования «подкидывали» много материала для продвижения вперед теории вероятностей и математической статистики; у нас почему-то считается, что последняя возникла под воздействием естественных наук, а ведь это не так. В XX веке примером возникновения математической теории под воздействием потребности социологии (и психологии) может служить теория измерений.

Другими словами, математика существует как бы в двух ипостасях. Во-первых, как наука, занимающаяся изучением формальных объектов с использованием формальных правил. Во-вторых, как наука об отражении свойств реального мира в формальных структурах. Второй аспект для социологии очень актуален и слабо разработан (хотя для естественных наук о таких вещах говорится в литературе; пример – рассмотрение процесса рождения геометрии в Древнем Мире). Для успешного использования математического языка в социологии нужно начинать с «земли», с глубокого анализа первичного отражения социальной реальности в формальные конструкты. Это – задача, в которой социологии больше, чем математики. Это и интересно.

Серьезно заниматься такими проблемами (в какой-то мере – философскими, гносеологическими), работая в сугубо прикладной социологической лаборатории, невозможно. Нужна академическая среда. На какой-то социологической «тусовке» я познакомилась с Молчановым Виктором Ивановичем - ор-

ганизатором первого методологического отдела в Институте конкретных социальных исследований АН СССР (так тогда назывался нынешний ИСРАН). Он активно начал меня агитировать перейти работать в АН. Я согласилась. И вот с 1973 года там работаю (с 1996 года – на полставки, так как с сентября 1996-го я – профессор Вышки (НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики, попросту - Вышка). Довольно скоро в рамках отдела была создана группа математических методов, руководителем которой я стала. Группа существовала до середины 90-х годов. И мне очень хочется сказать несколько слов о своих товарищах по работе. В группу входили талантливые, увлеченные и совершенно не карьерно настроенные люди, очень светлые по своим человеческим качествам. Среди них была Галина Галеевна Татарова, которую сейчас хорошо знает социологическое сообщество. Так что не буду о ней говорить. Не могу не упомянуть Клариссу Дмитриевну Аргунову и Олега Васильевича Лакутина. К.Д. уже ушла от нас в 1993 году. Она была очень образованным, начитанным человеком, писала прекрасные стихи. Окончила мехмат, но потом много лет не имела возможности работать по специальности: муж был дипломатом, она вместе с ним жила за границей. Когда они вернулись в Москву, она сразу нашла работу по специальности, стала работать в нашем отделе. У нее были очень интересные разработки в области изучения взаимодействий (сочетаний значений разных признаков, обуславливающих интересующее исследователя явление) и качественного регрессионного анализа (т.е. регрессии с дихотомическими переменными; сейчас эти подходы широко используются нашими социологами, а тогда они были практически неизвестны в России, да и в Штатах, в Ann Arbor'е, только-только начали разрабатываться). Клара обладала тем сочетанием качеств, которое не очень-то часто встречается: будучи квалифицированным математиком, она остро чувствовала содержательный характер решаемой социологической задачи. С большим энтузиазмом она занималась выбранной проблематикой. Такой выбор обуславливался убеждением К.Д. в том, что именно поиск взаимодействий отвечает сущности многих социологических задач. Насчет этого Клара даже советовалась с С.А.Айвазяном, встречаясь с ним в неофициальной обстановке на каком-то теннисном корте (я деталями не интересовалась). Мне хочется отметить, что чем больше времени проходит с того момента, как Клара от нас ушла, тем больше я убеждаюсь в ее прозорливости. Как мне сейчас кажется, анализ роли взаимодействий выводит нас на вопрос о роли понятия признака (переменной) для социолога.

Так ли она велика в социологии, как в естественных науках? Ведь это понятие было введено в науку только в первой половине XVII века Декартом, и сделано это под воздействием запросов именно естественных наук. Я все больше прихожу к убеждению, что в социологии понятие признака, как правило, имеет смысл рассматривать как нечто номинальное (связанное с логическим номинализмом), употребляемое для удобства, а значимыми для социолога (т.е. реальными в смысле известной дихотомии «реализм-номинализм») представляются отдельные значения разных признаков и их всевозможные сочетания (т.е. взаимодействия). Эта точка зрения косвенно подтверждается разработкой в последние десятилетия большого количества методов, направленных на поиск взаимодействий, что, иногда называется поиском деревьев решений, сюда же относятся модные ныне решетки понятий, виньетки в психологии и т.д.).

Кларисса Дмитриевна написала несколько интересных работ [4], вырисовывалась диссертация. Но она так и не была сделана. Осталась рукопись. Я давала ее нескольким студентам. В нескольких дипломных работах Кларины результаты были использованы. Я чувствую себя виноватой в том, что до сих пор не доредактировала текст Клары до того уровня, чтобы его можно было опубликовать.

Олег Васильевич Лакутин... Не знаю, что с ним стало. Он перешел на другую работу где-то в начале 1990-х, поскольку жить на ту зарплату, которую мы в это время получали (инфляция – с тремя нуликами), стало просто невозможно. О.В. – блестящий программист, грамотный математик, чувствующий социологическую материю. Одна плодотворная идея сменяла другую. Придумает что-нибудь интересное, запрограммирует соответствующий подход настолько, чтобы можно было показать окружающим – и уже новая идея поглощает его сознание. Публикаций было мало. Пакет программ не доведен до «товарного» уровня. Многое из блестящих идей осталось в истории. К примеру, он разработал интересные подходы к сравнению парных коэффициентов связи. Выявил, от каких параметров конкретной выборки эти показатели зависят и в значительной мере сделал атлас для десятка коэффициентов. Издание такого атласа было бы очень полезно для социологов.

Пожалуйста, поясни, о чем идет речь...

Известно, в одной и той же ситуации один коэффициент может быть равен 0,3, а другой – 0,9 (при условии, что оба в принципе изменяются от 0 до 1). Встает естественный вопрос: чему верить? Есть связь или нет? Конечно, в таких случаях

надо смотреть на модель, стремиться понять содержательную сущность связи, отраженной тем или иным коэффициентом. В одном смысле связь есть, в другом – нет. Тем не менее, остаются вопросы типа: что можно ожидать от энтропийного коэффициента при таком-то объеме выборки и таком-то виде таблицы сопряженности, если коэффициент Гудмена равен 0,4. Атлас так и остался недоделанным. Об этом весьма сожалели те специалисты, которые его видели.

Что удержало тебя в социологии?

Да, я надолго задержалась в социологии... 38 лет являюсь сотрудником Института социологии РАН, 15 лет работаю в Вышке, 17 лет преподавала в МГУ, столько же – в ГУУ (Государственный университет управления). Конечно, причиной такого постоянства послужил интерес к проблематике. Мне было интересно глубже проанализировать гносеологические аспекты использования в социологии математического языка. Заметим, что я говорю не о математике, а об её языке. Приемы, которые задевает социолог, применяя т.н. математические методы, – это не математика. Тут слишком много содержательных представлений, нестрогости, видоизменений известных математических положений, их адаптации к конкретной социологической ситуации. Вариться в этом котле было интересно. Мне хотелось бы надеяться, что что-то практически полезное мною было сделано: выдвинута серия методологических принципов анализа социологических данных; проанализировано само понятие такого анализа с точки зрения специфики его использования в социологии; расширены и углублены представления о социологическом измерении; изучена роль понятия признака и др. Сейчас я не буду говорить подробно.

Продолжим разговор о работе твоих коллег-математиков.

Наверное, надо вернуться к тому, что было сделано в 70 - 80-е годы отделом методологии, в том числе сотрудниками нашей «математической» группы. Я полагаю, что самое главное наше достижение в области методов состояло в выпуске целой серии монографий (в основном, коллективных), посвященных описанию большого количества методов анализа данных. Эти монографии вышли в издательстве «Наука», под эгидой ИСАН СССР [5]. 4 монографии из числа названных вышли под моей редакцией (соредактор - В.Г.Андреенков). Главная инициатива издания большинства монографий и «пробивание» этих книг через ученый совет Института принадлежат В.Г.Андреенкову (Молчанова на посту заведующе-

го отделом сменил В.Н.Варыгин, ему на смену ему пришел В.Г.Андреевков). Содержание обсуждалось в Отделе и, конечно, в нашей группе. Авторы подбирались по всему Союзу. Мы старались, чтобы описываемые методы действительно отвечали уровню науки того времени и чтобы их авторы были «гибридными» специалистами в описанном выше смысле: и в математике разбирались бы, и в социологию в достаточной мере были бы погружены. В них имеется и описание многих западных подходов, отнюдь не потерявших своей актуальности в наше время, и много отечественных, весьма интересных наработок. Помимо монографий, нашей группой было подготовлено семь ротапринтных сборников, содержащих статьи авторов из самых разных регионов страны. И сейчас эти книги не потеряли своей актуальности. Но, к сожалению, они слабо известны нашей молодежи. И, что уж совсем трудно понять, некоторых из этих работ нет даже в библиотеке Института социологии, под грифом которого книги выходили. Это всё – следствие нашей «перестройки».

В 1979 и 1991 годах в основном нашими силами были проведены Всесоюзные конференции по методам социологических исследований [6]. В 1991 организовали журнал «Социология: 4М (методология, методы, математическое моделирование)». Это была долгая и непростая история. Организация нового журнала была непривычным делом, проходящим со скрипом. Главными «пробивальщиками» были мы с Ковчegovым В.Б. (потом он исчез где-то за океаном). Чтобы облегчить процесс, главным редактором журнала мы попросили стать В.А.Ядова, на что он сразу согласился. В середине 90-х годов за журнал взялась Г.Г.Татарова, став со временем его главным редактором. И её заслугой является то, что он стал ВАК-овским журналом, пользующимся большим авторитетом среди специалистов. Очень жаль, что сейчас Г.Г. отказалась от редакторства (добровольно! На пике популярности журнала и своей известности как необычайно добросовестного редактора, которого с полным правом зачастую можно было назвать соавтором публикуемых в журнале статей других авторов).

Юля, ты рассказала немного о твоей группе и работах твоих коллег, теперь – о твоих кандидатской и докторской работах. Кто руководил? по каким темам делались твои исследования? когда защищалась?...

Мои кандидатская и докторская диссертации отразили те научные направления, о которых я коротко сказала. Еще работая в строительном институте, я «по долгу службы» осуществляла типологию строительных организаций. Пользова-

лась методами классификации. Ознакомилась с литературой (ее хватало; и переводной, и «доморощенной»); многие работы неплохо было бы почитать и современной молодежи; у нас сейчас классификация как-то в загоны; а ведь это – один из основных способ получения нового знания в любой науке). Передо мной встало большое количество вопросов. Алгоритмов много, каждый в принципе дает разные результаты на одних и тех же данных. Как содержательный смысл социологической задачи (и как понимать этот смысл?) должен определять выбор отдельных формальных элементов алгоритмов? В частности, как выбирать функцию расстояния? Как при этом учитывать тип используемой шкалы? И что такое этот тип с точки зрения познания социальных явлений? В литературе эти вопросы по существу не рассматривались. Ну, я как-то крутилась, пыталась ответить на запросы практики. Выдумывала свои алгоритмы, проводила эксперименты. Приходилось самой программировать. Тогда персоналок не было. И SPSS тоже. Простишь выделить время на «Минск-22» (потом - на «Минск-32»), приходишь где-нибудь ночью в помещение вычислительного центра с огромными бобинами магнитных лент и крутишь их в больших шкафах – лентопротяжных механизмах. Компьютер занимал приличных размеров комнату. Слава богу, это было уже не то время, когда в окошечко подавали компьютерщику задания и получали результат расчетов где-нибудь через неделю (найдешь ошибку – жди еще неделю, чтобы её исправить). На «Минсках» тут же можно было что-то изменить и прокрутить еще раз. Так постепенно у меня родилась своеобразная теория того, как функцию расстояния надо сопоставлять со шкалами. В основе лежало желание построить адекватные некоторым постановкам задачи алгоритмы классификации строительных организаций. Но позже существенную роль в выработке теории сыграло общение с В.А.Ядовым. Еще находясь в Ленинграде, он часто приезжал в Москву и делился с сотрудниками нашего отдела своими проблемами. Его ленинградский коллектив тогда делал большой проект по ценностным ориентациям. Известные алгоритмы классификации явно не годились в определенных ситуациях. Заложенный в них формализм явно не отвечал сути многих задач. Размышления над задачами привели к своеобразным результатам. Я потихоньку научилась четко понимать, как надо трактовать «суть» задачи (и, соответственно, формализовать его). Родилась диада понятий: классификации как результата формального действия алгоритма и типологии как такого разбиения на группы, которое подавалось содержательной интерпретации с точки зрения априорных представлений исследователя о типе, Были

разработаны конструктивные способы «превращения» классификации в типологию. Это нашло существенное отражение в нашей книге «Типология и классификация...», а наработки по Ядовским запросам – в Приложениях к выпущенной его командой коллективной монографии [7].

В результате родилась кандидатская диссертация. В ней были и математические теоремы, и рассуждения о содержательных аспектах типологизируемых объектах, и предложения по способам сочетания формализма с содержательным пониманием типа и спецификой исходных данных (в первую очередь – с типом соответствующих шкал). Встала проблема: на какие науки защищать такую работу? Где защищать? Социологических наук тогда не существовало. Социологи защищались на философские науки. Я выбрала специальность «Математические методы и применение вычислительной техники в экономических исследованиях», которая числилась по линии технических наук. Естественно, диссертационный совет Института социологии не имел права принимать защиты по техническим наукам. Я подала документы в ЦЭМИ (Центральный экономико-математический институт АН СССР). Пришлось досдавать экзамен по специальности. Встал вопрос насчет руководителя. Кое-кто из докторов наук, работающих в ИСИ АН СССР предложили мне свои услуги. Я отвергла. Пошла в ЦЭМИ к Юрию Николаевичу Гаврильцу (очень известный специалист в области моделирования социальных явлений). До сих пор стоит перед глазами его возмущенное лицо: «За кого Вы меня принимаете? Быть руководителем уже готовой работы?!». Еще одна светлая личность! В общем, пошла я на защиту без научного руководителя. Оказалось, что ни в каких бумагах нигде не написано, что руководитель должен существовать. Функции его расписаны, а вот о существовании – нигде ни слова. Гаврилец стал первым оппонентом. И, надо сказать, в определенном плане спас меня на защите.

Но сначала надо сказать, что мне «повезло»: примерно в то время, как я окончательно решила идти защищаться в ЦЭМИ, ВАК затеяла (женский же род надо использовать?) очередную реформу диссертационных советов, в результате которых избранная мной специальность перестала относиться к области технических наук, перешла в экономические. Но тут уж я не думала, решила смириться с этим, хотя мне самой смешно считать себя экономистом. Тема диссертации: «Исследование особенностей функции расстояний и характера исходных данных в социально-экономических задачах классификации».

Теперь о самой процедуре защиты. Поначалу процесс шёл прекрасно. И вдруг председатель совета говорит: «Допускаю,

что работа хорошая, но почему она должна защищаться на экономические науки? В ней много разных математических теорем. Пусть соискательница идет на совет по физико-математическим наукам». У меня сердце в пятки ушло. Ну, думаю, конец. Действительно, моя работа – не экономическая, но уж и не на физ-мат науки, это точно. Содержания у меня больше, чем формул. Вот тут и выступил Гаврилец с горячей речью о том, что наиболее значимые научные результаты обычно вырастают на стыке наук. Ну, и меня отнес к этому стыку. В результате голосование было – один воздержался, остальные – «за». Шёл 1978 год.

Ну а докторскую диссертацию я защитила в 1993 году. Название: «Логика и методология математического анализа социологических данных». Не знаю даже, что об этом сказать. Все как-то естественно получилось. Правда, помогло то, что оказалось возможным защититься по совокупности публикаций, специального «кирпича» я не делала. Небольшую книгу написала (правда, самой мне она не нравится: ограничение объема не дало возможности снабдить работу достаточным количеством примеров, многие положения выглядят формалистически, хотя за каждым – реальная социология) [8], ну и много статей было опубликовано. После защиты по сути занимаюсь тем же. В этой сфере очень много проблем.

Как ты объяснишь тот факт, что среди нашего поколения социологов, во всяком случае, в Москве и Ленинграде, много математиков и физиков. Продолжу твой московский перечень: Елена Петренко, по-моему, Семен Клигер, Михаил Косолапов, Франц Шерри, Сергей Чесноков.. в Ленинграде: Галина Саганенко, Борис и Людмила Докторовы, Юрий Щеголев, Сергей Розет.. Наши коллеги из Киева: Валерий Хмелько и Владимир Паниотто. В чем дело?

Как нынче модно говорить – интересный вопрос. Действительно интересный, полезно было бы на него ответить. Но не простой. Сначала я хочу сказать, что твой перечень далеко не полон. Математическим моделированием социальных явлений активно занимались в ЦЭМИ (Ю.Н.Гаврилец и сотрудники его лаборатории; С.А.Айвазян с сотрудниками), большая группа исследователей в Новосибирске (И.Б.Мучник, Б.Г.Миркин, Ф.М.Бородкин в ИЭиОПП; Н.Г.Загоруйко и сотрудники руководимого им коллектива, а также Г.С.Лбов, Е.Е.Витяев в ИМ Новосибирска и т.д.). Говоря о Москве, надо упомянуть Г.А.Сатарова, А.И.Орлова, В.О. Рукавишникову. В Питере интересные публикации по математодам были у нынешнего директора Социологического Института РАН И.И.Елисейевой. Многих достойных упоминания специалистов я не назвала.

В чем же дело ... Вот, ты занимаешься благородным и очень нужным делом по фиксации фактов развития российской социологии, созданию ее истории, тебе карты в руки – изучи вопрос. Шучу. Конечно, тут каждому стоит задуматься. А понять ситуацию надо хотя бы для того, чтобы что-то из прошлого использовать в настоящем. Ведь сейчас положение с методным обеспечением отечественной социологии весьма проблемно.

Я сейчас, без глубокого анализа, могу высказать только какие-то ориентировочные гипотезы.

Во-первых, к середине 60-х годов уже был сформирован научный «канал», к которому математики могли присоединяться. Я имею в виду становление анализа данных как самостоятельной дисциплины, родившейся где-то в середине XX века. Само его рождение явилось результатом практических запросов многих наук, в том числе и социологии. Дисциплина эта своеобразна. Она активно использует математику, но, наверное, не меньше, чем наполовину, носит содержательный характер. Интересно отметить, что поначалу сторонники установившихся в математике критериев строгости вообще не причисляли анализ данных к математике, поскольку тут – и масса не доказанных положений и эвристических алгоритмов, и отсутствие четких принципов соотнесения выборки и генеральной совокупности, и принципиальная необходимость человеко-машинного диалога. Я была свидетелем эпизодов, когда «истинные» математики не допускали выступления специалистов по анализу данных на своих семинарах (наверное, тут можно провести аналогию с тем забавным фактом, что знаменитый русский математик А.А.Марков (старший) (1856-1922) презирал Карла Пирсона за допущенные последним нечеткости в математических доказательствах; книги Пирсона стояли неразрезанными в библиотеке Маркова). Но к 60-м годам многие математики стали проявлять активный интерес к анализу данных. Лидером здесь был Запад. Но научное сообщество СССР двигалось в ту же сторону. Многочисленные полезные социологам работы публиковались, прежде всего, в экономической и социально-экономической литературе, но много полезного можно было почерпнуть и из технической, геологической, биологической литературы (красноречив пример существования общества классиологов, проводившее регулярные конференции, куда приглашались представители самых разных специальностей, и делались попытки обобщения соответствующих наработок в области решения задач классификации). Западные работы по анализу данных систематически переводились на русский язык. Выходили серии

книг (правда, в основном - под «шапками» экономики или статистики [9]). Это не могло не сказаться и на социологии. Так, большую роль как в области внедрения в практику отечественных социально-экономических исследований западных наработок, так и в рождении аналогичных отечественных разработок сыграл научный коллектив, руководимый С.А.Айвазяном (ЦЭМИ). Были организованы общероссийские семинары, в очень большой мере способствовавшие развитию анализа данных и пользовавшиеся колоссальной популярностью среди «социологов-методников». Например, семинар по экспертным оценкам при МГУ и ИПУ (Институт проблем управления) АН СССР (первые руководители – Ю.Н.Тюрин и Б.Г.Литвак), семинар по анализу данных, руководимый С.А.Айвазяном. На этих семинарах часто выступали гости из самых разных городов СССР. Делали доклады и математики-социологи. Результаты публиковались. Продвижение математики в неформализованные науки, в том числе, в социологию, стало явлением в отечественной науке.

Во-вторых, можно провести исторические аналогии. Похоже, что в истории нашей страны нередко возникают периоды, когда общая социальная ситуация обуславливает то, что среди молодежи рождается массовое стремление к работе (учебе) в естественно-научных, либо же, напротив, в гуманитарных областях. И именно туда уходит основной интеллект нации. Берем какого-нибудь Базарова (имею в виду тургеневского героя) - явное отторжение гуманитарного знания, культ естественных наук. Потом, на стыке веков – стремление к гуманитарному знанию. Скажем, известный русский статистик А.И.Чупров (1874-1926), окончив физико-математический факультет МГУ, считает нужным пять лет проучиться в Германии, чтобы получить социально-экономическое образование. И это делалось сознательно, вполне отвечало стремлению тогдашней интеллигенции помогать народу. Известно, что подобные настроения явно декларировались, говорилось о долге образованных людей перед народом и т.д. Отсюда – огромное количество социологических исследований (имею в виду земскую статистику), развитие соответствующего методического направления (массовое анкетирование, фокус-группы в виде деревенских сходок, рождение и развитие представлений о выборке, первые попытки использования в социологии тогдашних наработок той области науки, которая позже получила название математической статистики). Математика и социология взаимодействуют.

Первые пятилетки – явный крен в физико-математико-техническое образование, что вполне понятно. И вот предприе-

строечное время. Большинство из того поколения, о котором шла речь выше, начали ощущать наличие чего-то неладного в датском королевстве. Практические жизненные наблюдения начинали противоречить коммунистическим идеалам. Естественно, возникало желание разобраться с этим делом. Интеллектуальная масса, сосредоточенная в физико-математической сфере, начала перетекать в гуманитарные области.

В-третьих, как уже отмечалось, западная социология в 60-м году уже была обеспечена приличным методным арсеналом, ряд разработок имелось и в отечественной науке. Могли ли этот арсенал освоить социологи, вышедшие в основном из философии и научного коммунизма? Вряд ли. Встала соответствующая проблема. Хорошие социологи стали активно привлекать к своей работе профессионалов-математиков. И тут я снова хочу вспомнить Владимира Александровича Ядова. С самого начала моего знакомства с ним меня поразила широта его взглядов, способность оценить самый заковыристый математический метод с точки зрения его пользы для социологии. Конечно, он не вникал в математические формулы, использовавшиеся в том или ином методе, но умел прекрасно оценивать содержательную суть метода. И ведь, насколько я знаю, во всех его проектных коллективах обязательно числились один-два математика (в 70-е – 80-е годы это были Галина Иосифовна Саганенко и Людмила Дмитриевна Докторова).

Собственно, моя биография подтверждает сказанное: на распределение аспирантов мехмата приходит за специалистами человек из социологической лаборатории инженерно-строительного института!

В-четвертых, как я уже говорила, к середине 60-х годов уже была накоплена русско-язычная литература, описывающая применения математических методов в западной социологии. Постепенно становилось ясно, куда можно двигаться в деле освоения западных достижений и формирования задач для дальнейшего развития методов.

Непосредственно в области социологии первые переводы осуществлялись под редакцией Г.В.Осипова. Правда, в связи с этим мне хотелось бы упомянуть еще одного сотрудника ИС АН СССР, математика по образованию, эффективно работавшего в области социологии и, к сожалению, ушедшего от нас: Адольфа Васильевича Кабыцу. Он был правой рукой Г.В.Осипова при подготовке многих изданий и именно ему мы обязаны тем, что в этих изданиях нашли отражение результаты из области математико-методического арсенала социолога [10]. Адик был очень скромным и увлеченным своим делом человеком. Такую гору двигал, не требуя ничего в награду.

Можно также вспомнить тоже покинувшего этот мир математика по образованию, много лет проработавшего в Институте социологии, Эдварда Павловича Андреева. Он написал первую в нашей стране докторскую диссертацию по методам измерения в социологии. Я хорошо помню, какую оценку собственному творчеству он давал: «Я прекрасно понимаю свою роль в науке. Библиография к моей диссертации содержит более тысячи наименований. И каждую работу я подержал в руках, о каждой что-то сказал в диссертации». Я лично много чего узнала именно из публикаций Эдварда Павловича [11].

В-пятых, в русской культуре имелся некий базис (затрудняюсь сказать, сохранился ли он сейчас), некая традиция широкого взгляда на всю науку в целом. Этот базис в неявном виде подталкивал социологов к использованию математики, а математиков – к осмыслению своей роли в обществе, к осознанию философского значения своей науки. Здесь, наверное, не место подробно об этом говорить. В качестве примера можно назвать творчество уже упомянутого мной А.А.Чупрова. В связи с моей собственной биографией, назову также еще раз Софью Александровну Яновскую. По моему мнению, сейчас в области методного обеспечения социологии наступила потребность говорить о пересмотре некоторых традиционных представлений. И большую помощь в этом могут оказать работы С.А. Перечитывая их сейчас, я была поражена тем, что она пишет как будто для меня. О том, например, что, вообще говоря, математика, конечно, не должна отступать от принятой в ней строгости, но в периоды рождения новых математических направлений (под воздействием практики других наук) стремление к этой строгости может быть вредным.

Теперь можно перейти и к твоей преподавательской деятельности...

Институт социологии занимался педагогической деятельностью в течение многих лет, еще до рождения профессионального высшего образования. Время от времени на всевозможных организованных Институтном курсах повышения квалификации читали лекции многие сотрудники нашего отдела. И в первую очередь здесь надо назвать А.О.Крыштановского, обладавшего незаурядным педагогическим талантом (сложные положения мог донести до сознания людей, совершенно не обладающих специальной математической и вообще методной подготовкой). Я тоже принимала участие в преподавательском процессе.

В 1989 году родилось высшее социологическое образование в СССР. Именно в этом году в МГУ был организован первый

в стране социологический факультет. С 1989 до 2006 года я читала на этом факультете лекции (и семинары вела, конечно) по анализу данных, теории измерений, многомерному шкалированию, методам классификации. А начала я свою педагогическую работу в МГУ в то время, когда факультет еще даже и не был организован, социология существовала в рамках кафедры философии. С 1996 года по настоящее время работаю в Вышке. Здесь к списку преподаваемых мной дисциплин добавились теория вероятностей и математическая статистика. С 1991 по 2009 год я преподавала также в ГУУ. Преподаваемые там мною дисциплины были тоже методные, с математической «начинкой», но назывались они немного по-другому. В 90-е годы, когда наши зарплаты рухнули, мне пришлось также недолгое время преподавать в Педагогическом университете, РГГУ, Международном университете и не помню уж, где еще. Были периоды, когда работала одновременно в 7-ми местах. Не от жадности, а потому, что хотелось своих детей каждый день обедом кормить. Зарплаты были почти нулевые.

Хочется остановиться на двух моментах: на связи преподавания и науки и на проблеме преподавательских кадров.

Читала курсы я, естественно, по своим программам. Мне было очень интересно первой в нашей стране писать учебные программы по анализу социологических данных и методам измерения в социологии. Методов ко времени рождения нашего профессионального математического образования было известно много. И встал вопрос: как их преподносить. Надо было из огромного методного арсенала выбрать наиболее подходящий материал и создать единую теоретическую платформу, единую систему взглядов (опирающуюся, естественно, на содержательные социологические представления и на анализ роли математики как средства получения социологического знания), в рамки которой вписывался бы известный аппарат. Ну, что-то, как мне кажется, удалось сделать.

Что касается анализа данных, то я свела почти всё к анализу номинальных данных (такие методы, как классический регрессионный анализ, факторный анализа поначалу читались в курсе математической статистики). И в основу всего курса положила то, каким образом тот или иной метод относится к отдельным альтернативам номинальных признаков и как объединяет эти альтернативы друг с другом, как объединяет признаки целиком. В основу же курса по теории измерений было положено рассмотрение любого отображения реальных объектов в элементы того или иного формализма как процесс моделирования: что моделируется, как моделируется, как

должны интерпретироваться результаты моделирования и т.д. Методы классификации, многомерное шкалирование вписывались в те же концепции.

По теории вероятностей и математической статистике литературы было много, но ориентирована она была на студентов-технарей. Эти дисциплины долгие годы преподавались в СССР студентам технических вузов. Я взялась за эти дисциплины потому, что хотела их «переиначить» для студентов-гуманитариев. Ведь в гуманитарных науках даже само определение вероятности надо интерпретировать не совсем так, как это принято у технарей.

Погрузиться в это было интересно. Работа нашла выражение в моих книжках по анализу данных, методам измерения, многомерному шкалированию, математической статистике [12]. Вроде студенты хорошо воспринимают предлагаемую логику построения всех курсов, довольны учебниками.

Погружение в процесс преподавания убедил меня в том, что наука и преподавание – органически связанные друг с другом виды деятельности человека.

С преподавательскими кадрами было очень плохо. Ведь тут требовались такие педагоги, которые и социологию знают, и математическим аппаратом хорошо владеют. Таких у нас ни один вуз не готовит. Я старалась таких преподавателей «выращивать» из своих же студентов. Много лет на каждого уходило. В МГУ (имею в виду только соцфак, ситуацию на других факультетах я не изучала) была очень тяжелая обстановка. В 2008 году там даже было нечто вроде восстания студентов, жаловавшихся на то, что их плохо учат. Но это – свой разговор. Мне тяжело думать об этом: МГУ – моя альма-матер всё-таки. Однако бренд МГУ работал, и там попадались очень хорошие ребята. В Вышку я «перетащила» 4 выпускника МГУ (и некий резерв остался). Прекрасно работают. Ну и ряд моих бывших студентов, выпускников Вышки, занимаются преподаванием методных («математических») предметов социологам на родной кафедре.

В течение четырех с половиной лет (до начала 2010 года) я заведовала кафедрой методов сбора и анализа социологической информации факультета социологии Вышки. Организована кафедра была Крыштановским в 1999 году, он же был первым её заведующим. При нем кафедра не успела толком сформироваться, была маленькой, многих дисциплин явно не хватало. Кроме кафедры, А.О. занимался факультетом в целом, поскольку одновременно был и его деканом. В 2005 году Александра Олеговича на стало... 50 лет в том же году отметили... Я сменила А.О.

К этому времени у меня накопилось довольно много соображений по общей организации воспитания будущего социолога в области методов. Работа в качестве заведующей кафедры дала мне возможность кое-какие из этих соображений реализовать.

О структуре дисциплин, преподаваемых на кафедре, я бы хотела сказать более подробно, чем просто перечислить их. Дело в том, что все курсы, введенные мною, не появлялись просто так, а определялись общим видением профессии социолога. По большому счету, речь шла о том, чтобы из студентов делать специалистов, способных на современном научном уровне решать стоящие перед каждой наукой задачи: описание, объяснение, предсказание. При всей тривиальности этого положения, внедрение его в жизнь (в педагогическую практику) потребовало определенных усилий. Для решения задач описания, студент должен хорошо понимать, что такое признак. Здесь, помимо того, о чем я уже сказала выше, встанет вопрос о поиске латентных переменных. Соответствующий блок должен явно присутствовать в программе (многочисленное шкалирование, латентно-структурный анализ и т.д.). Для решения задач объяснения нужны современные методы поиска статистических связей (отнюдь не только регрессионный анализ, а, скажем методы моделирования структурными уравнениями) и классификации. А методы эти бывают весьма и весьма непростыми, требуют и введения новых дисциплин, и поиска новых преподавателей. Прогноз – своя история. Реализация указанных соображений потребовала некоторой реорганизации учебных планов.

Как мне кажется, успешным оказалось и введение методной курсовой работы на втором курсе (это у нас поначалу называлось методным практикумом). Два слова хочу сказать подробнее, поскольку, как мне кажется, это пример, достойный подражания. Для более успешного усвоения методных приемов студент должен реализовать определенный набор методов в процессе проведения собственного исследования по любой нравящейся ему социологической теме (естественно, список тем предлагается, но учитываются и желания студентов). Набор методов фиксируется, он объединяет то, что студенты проходят в курсе, называемом обычно «Методология и методы социологического исследования» и в курсе «Анализ данных». И самое сложное здесь – соединить первый этап исследования – методологическую его часть и выбор методов сбора данных – с этапом анализа данных. Эти два этапа у нас обычно не связываются в единое целое ни в сознании студента, ни в сознании очень многих «взрослых» социологов, хотя

в явном виде никто вроде бы и не спорит с тем, что все исследование, начиная с самого смутного вычленения проблемы до интерпретации результатов анализа данных является органически единым процессом. На практике же при реализации первого этапа мало кто задумывается о методах анализа данных. В результате эти методы, будучи более-менее случайным образом выбранными в конце исследования, работают весьма неэффективно, фактически не служат способами получения нового социологического знания.

При выполнении нашей курсовой работы студент должен уже в процессе постановки задачи и формирования гипотез планировать применение конкретных методов. Конечно, для этого задача должна быть поставлена определенным образом. Скажем, в числе прочих методов, мы требуем обязательного применения хотя бы одного метода классификации. Для этого содержательная задача должна быть поставлена таким образом, чтобы в ней имело смысл, например, построение типологии каких-либо объектов (для осуществления которой и будет использован алгоритм классификации). В программе исследования ставится цель построения такой типологии. Обеспечивается ее выполнение: формируется соответствующее признаковое пространство, выбирается функция расстояния. Конечно, здесь велика роль научного руководителя. Можно сказать, что имеет место явное «насилие» над социологической постановкой задачи, поскольку мы идем от метода: раз правила «игры» требуют применения метода классификации, мы должны так «извернуться», так поставить задачу, чтобы для её решения использование классификации стало естественным.

Такой подход оказался очень полезным. Студент начинает по-настоящему понимать связь задачи и математического метода, понимать, зачем методы нужны. А это – великая вещь. Ведь подавляющая часть студентов, даже освоив те же методы классификации (научившись и теоретически объяснять, как эти методы работают, и реализовывать их на компьютере), в глубине души считают, что никакие методы им не нужны, что использование методов – это красивый «бантик» на дипломной работе. Это – типичное явление для отечественной социологии. А благодаря нашему практикуму в сознании студента происходит сдвиг. Сейчас, пожалуй, можно сказать, что подход себя оправдал (методную курсовую работу студенты-второкурсники пишут уже четвертый год.

И еще одно положительное следствие выполнения описанной курсовой работы имеется. Студент формирует программу исследования до того, как проходит анализ данных. Но для

того, чтобы постановить задачу в заданном ключе, он должен что-то знать о методах. Для этого читается пара лекций, где «на пальцах» объясняется суть всех требующихся методов. Делается это только на содержательном уровне, самая «серьезная» математика – это задание каждого респондента как точки признакового пространства (двумерного, конечно) и рассмотрение разных способов расположения точек в этом пространстве. Оказалось, что такое знакомство с методами обеспечивает не только нужную постановку задачи, но и хорошее восприятие курса анализа данных, читаемого через полгода после постановки задачи. Математический язык становится органической частью социологического языка.

Идея такой курсовой работы с большим трудом пробила себе дорогу в учебный план. Поначалу аргумент у меня был только один – мой собственный многолетний педагогический опыт. Но теперь вроде все убедились в эффективности такого педагогического мероприятия.

Как об определенном достижении кафедры можно сказать о выработке системы формирования тем дипломных работ. Эти работы отличаются от того, что делается на других кафедрах. Студенты должны рассмотреть такую социологическую задачу, которая для своего решения требует изобретения каких-то новых методических подходов. В действительности своеобразной методике требует решение любой серьезной социологической задачи (яркий пример – творчество Ядова). Однако состояние отечественной социологии таково, что часто приходится называть работу методной, когда она являет собой просто добросовестно выполненное социологическое исследование. Ведь именно добросовестность требует использования математических методов. От этого никуда не деться. Мне кажется, что наши студенты научились это понимать.

В ходе нашей короткой встречи на Конгрессе социологов в 2008 году ты мне кратко рассказывала о специфике твоего понимания множества граней соприкосновения математики и социологии. Не могла бы ты все это подробнее изложить? Что тебя не устраивает в доминирующих в нашем профессиональном сообществе взглядах на «пару»: социология и математика?

Я считаю, что некорректно говорить о том, что математика как бы «прикладывается» к социологии. Такое «приложение» обычно понимается так. Применяю кластерный анализ, нажимаю кнопки, смотрю, что получилось. Ничего не получилось. А вот давай-ка нажму кнопки для факторного анализа. Вдруг

что выйдет. И т.д. Это очень распространенный, но никуда не годный подход. Выбор метода должен определяться разработками первой стадии проведения исследования, о чем шла речь выше. Математический язык – часть социологического. Когда мы строго ставим задачу и формулируем, что хотим сделать, по определению возникает математический язык. В частности, мы можем предложить нечто пока не известное в математике. Я об этом уже говорила.

Социолог должен отслеживать модель, заложенную в методе, должен анализировать собственные априорные представления о сути решаемой задачи и делать так, чтобы эти представления отвечали модели.

Социолог должен думать о «модели восприятия», т.е. о том, как спросить респондента о чем-то, как трактовать ответы, как эти ответы соотнести с тем, что надо социологу и т.д. И никогда не использовать те или иные способы измерения просто потому, что их все используют.

Измерение я понимаю широко, как некий подход к моделированию. По сути считаю, что все социологическое является неким измерением, понимаемым достаточно широко. Такой подход побуждает исследователя постоянно думать об используемых моделях. Это делается в любой науке. Науки без моделирования не бывает. Но во многих науках (в технических, например) обычно бывает ясно, где реальность, где модель, ясно, какие модельные предположения мы используем. А в социологии это – сплошная головная боль.

Я могу согласиться с тобою во многих положениях вашей программы подготовки студентов. Вместе с тем, ты понимаешь, что большинство студентов будет работать не в академических структурах, а в организациях, ориентированных на проведение оперативных исследований (не только опросов), программа которых формируется иначе, чем это могли делать наши учителя: В.А.Ядов, В.Э.Шляпентох, Б.А.Грушин и другие. Как вы учитываете это обстоятельство в ваших курсах?

Методы, которым мы учим студентов, могут использоваться в любом исследовании, не зависимо от способов получения исходной информации и от глубины тех вопросов, на решение которых исследование направлено. Мы учим студента «подстраивать» аппарат под конкретные задачи. В одной задаче можно удовлетвориться подсчетом процентов, в другой – необходимо использовать сложный комплекс нетривиальных методов построения причинной структуры. Естественно, студенту говорится о том, что программы могут быть разные, в том числе глубокие и не очень.

Мне кажется, что за поставленным вопросом не стоит особой проблемы. Студент получает широкие и глубокие знания о чем-то, а в жизни он может использовать незначительную часть всего этого. От задачи надо идти. И это подчеркивается всеми преподавателями в общении со студентами.

Кроме того, наши студенты слушают и такие курсы, которые прямо направлены, например, на маркетинг. На факультете имеются также т.н. базовые кафедры ФОМ, ВЦИОМ, Левада-Центр, ГФК-Русь (известная западная маркетинговая компания). Эти кафедры обучают студентов сложившимся в названных организациях правилам работы. Кроме того, ту же проблему решает сама жизнь, поскольку именно в соответствующих организациях работают и многие наши студенты, и многие преподаватели, подходящие примеры встраиваются во многие курсы.

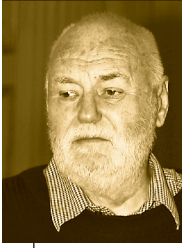
Кстати, математические методы (как в смысле собственной их разработки, так и в смысле внедрения новейших западных достижений) в наше время в России сосредоточиваются в основном в маркетинговых компаниях. Но эти компании не очень-то готовы делиться с обществом своими ноу-хау. А вот сотрудники ГФК учат наших студентов маркетинговым методам. Это вызывает большой интерес. Лучшие выпускники кафедры идут именно в маркетинг. Это происходит естественно, поскольку там больше платят. Но это – палка о двух концах. На защитах дипломов мне часто приходит в голову весьма горестное соображение: в России, стране, имеющей массу проблем, к решению которых по идее должны быть призваны социологи, лучшие молодые социологические умы, владеющие «хитрыми» методами, направляют свой интеллект на выяснение, скажем, того, как помочь соку «Добрый» опередить по продажам сок «Тропиканка» (беру пример из очень хорошей в методном отношении дипломной работы, данные для которой девочка брала из исследований, проводимых в маркетинговой фирме, где она работала).

Честно говоря, меня больше беспокоит то, чтобы чисто практические приемы не затмили академическую составляющую. Тот, кто владеет этой составляющей, может идти работать куда угодно. Обратное движение совершать гораздо труднее. Другими словами, основная проблема – не в том, что надо приобщать студентов к сугубо практическим оперативным исследованиям (хотя, конечно, надо), а в том, чтобы они по-настоящему поняли, как можно получать новое социологическое знание. Проводя эту линию, приходится преодолевать много препятствий. И не всегда это удается.

Литература

1. *Раппопорт Ю.А., Семенов Ю.И.* Сергей Павлович Толстов: выдающийся этнограф, археолог, организатор науки// Выдающиеся отечественные этнологи и антропологи XX века. М.: Наука, 2004. С.197.
2. См., например, сборники: Математические методы в современной буржуазной социологии. М.: Прогресс, 1966; Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972; Математические методы в социальных науках. М.: Прогресс, 1973.
3. Количественные методы в социологии / Под ред. Аганбегян А.Г., Осипов Г.В., Шубкин В.Н.. М.: Наука, 1966 (первое издание этого сборника вышло небольшим тиражом в 1964 году в Новосибирске); Распознавание образов в социальных исследованиях / Под ред. Загоруйко Н.Г. и Заславской Т.И.. Новосибирск, 1967; Моделирование социальных процессов. М.: Наука, 1970. Последний сборник вышел в серии «Социология и математика», в редколлегии которой состояли: Аганбегян А.Г., Андреев Э.П., Гаврилец Ю.Н., Моисеев Н.Н., Осипов Г.В., Устинов В.А.. (Это было многострадальное издание. Сначала его встретили «в штывки» за пропаганду буржуазных идей, а в 1990-е годы те же люди привели издание этого сборника как свидетельство того, что отечественная наука уже в 1970 году достигла передовых рубежей в области использования математики в социологии.) О том, что относительно высокий уровень разработки и применения математических методов в российской социологии 60-70-х годов не был случайностью, что за этим стояли некоторые объективные потребности науки, свидетельствует бурное развитие соответствующих разделов нашей науки в следующее десятилетие, о чем можно прочитать в: *Andreenkov V.G., Tolstova Y.N.* Brief overview of soviet literature on mathematical methods in sociology (1973-1983) *Bull. de methodologie sociologique/ 1985, #3, Paris, p. 4-38*
4. Например: *Аргунова К.Д.* Качественный регрессионный анализ в социологии. М.: ИСАН СССР, 1990; *Аргунова К.Д.* Взаимодействие признаков в регрессионных моделях // Социс, 1987. №2. С. 102-112
5. При моем активном участии были выпущены следующие коллективные монографии, ответственными редакторами которых были Андреенков В.Г., Толстова Ю.Н.: Типология и классификация в социологических исследованиях. М.: Наука, 1982; Анализ нечисловой информации в социологических исследованиях. М.: Наука, 1985 (это – сборник, а не коллективная монография); Интерпретация и анализ данных в социологических исследованиях. М.: Наука, 1987; Математические методы анализа и интерпретация социологических данных. М.: Наука, 1989.
6. По итогам конференции 1979 года был выпущен сборник: Математические методы в социологическом исследовании. Отв. ред. Рябушкин Т.В.. М.: Наука, 1981; результаты конференции 1991 года отражены в шести ротапринтных выпусках сборника тезисов «Методы социологических исследований». М.: ИС АН СССР.
7. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / Отв. ред. Ядов В.А.. Л.: Наука, Ленинградское отд., 1979.

8. Толстова Ю.Н. Логика математического анализа социологических данных. М.: Наука, 1991.
9. К примеру, книга Харман Г. Современный факторный анализ. М.: Статистика, 1972. была издана в серии «Зарубежные статистические исследования». А основополагающая для социологического измерения монография: Суппес П., Зинес Дж. Основы теории измерений // Психологические измерения. М.: Мир, 1967 - в одном из сборников серии «Библиотека сборника "Математика"», под редакцией известного математика, специалиста по анализу данных Мешалкина Л.Д..
10. Упомяну коллективную монографию, в которой я принимала участие как автор: Логика социологического исследования / Отв. ред. Осипов Г.В.. М.: Наука, 1987. Активнейшую роль Кабыща сыграл также в подготовке известного социологического словаря, вышедшего под редакцией Осипова Г.В. и несколько раз переизданного, а также в подготовке «Рабочей книги социолога».
11. О творчестве Андреева Э.П. дает представление книга: Осипов Г.В., Андреев Э.П. Измерение в социологии. М.: Наука, 1977. Замечу, я не во всем соглашалась с Э.П. Расхождение наших взглядов можно увидеть, посмотрев написанную в то же время книгу: Клигер С.А., Косолапов М.С., Толстова Ю.Н. Шкалирование при сборе и анализе социологической информации. М.: Наука, 1978.
12. Толстова Ю.Н. Анализ социологических данных. М.: Научный Мир, 2000; она же Измерение в социологии. М.: Книжный Дом «Университет», 2009 (3-е изд.); она же. Основы многомерного шкалирования. М.: КДУ, 2006; она же. Математико-статистические методы в социологии (математическая статистика для социологов) М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2009.



Травин И. И. – окончил исторический факультет МГУ, кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского Университета культуры и искусства. Основные области исследования: качество жизни, проблемы города. Интервью состоялось в 2005 году.

Биография Игоря Ивановича Травина – идеальная иллюстрация сходства и различий, присущих двум первым и третьему поколениям советских социологов. Его мировоззрение формировалось практически в той же политико-социальной среде, что и социологов, родившихся на рубеже 1920-х – 1930-х годов, но свой путь в социологию он начал вместе с представителями «военного поколения». Сочетание этих общекогортных качеств, а также профессиональных и личностно-коммуникативных делают

Травина интересным участником дискуссии по многим проблемам социологии и удивительным собеседником. Именно с этими ощущениями я обратился к нему с просьбой об интервью, и я рад, что мои воспоминания, касающиеся 70-х – начала 90-х, нашли полное подтверждение в ходе нашего телефонно-онлайнного общения. Рассказ Игоря – он наговаривал ответы на диктофон – о себе, о людях, с которыми он работал, его суждения о многом, что происходило в московском и ленинградско-петербургском социологическом сообществе, позволяют не только глубже заглянуть в недавнее прошлое, но почувствовать его.

Перечитав текст интервью, я подумал о том, как повезло студентам Травина. Они общаются со свидетелем и участником многих важнейших событий в истории отечественной социологии. Некоторые из них со временем поймут, что его лекции – это состав, цементирующий все существующие поколения российских социологов.

**И.И. Травин:
«В СОЦИОЛОГИЮ
Я ПРИШЕЛ
СОВЕРШЕННО
СОЗНАТЕЛЬНО»***

Игорь, я не помню, когда ты родился, хотя еще не забыл, как мы отметили твоё пятидесятилетие. Расскажи немного, откуда ты, каких корней...

Родился я в 1936 году, в Москве. И поэтому ныне, в эти годы я разменял восьмой десяток, в 2006 году отметил 70 лет. Вот таковы мои возрастные границы. Что касается поколенческой принадлежности, то здесь дело связано не с возрастом, а с тем, когда и в какой момент я вообще пришел в социологию. Вот я посмотрел свою трудовую книжку – произошло это в 1971 году 12 января. Таким образом, можно сказать, что в социологии я провел уже полжизни собственной. Ни много, ни мало. Что касается корней, то я москвич во втором поколении. Но меня не минула чаша всех военных бед и событий, потому что в годы войны

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2008. № 1. С. 2–11.

по сути дела семья прекратила свое существование. Мама и ее брат погибли на фронтах, отец – он, правда, с нами не жил, – я не знаю, но его в годы войны тоже не стало. И мы, по сути дела, остались с бабушкой, которая меня и воспитывала вот с этого момента, с 1942–43 года. В 1943 году я пошел в школу и в 1953 году ее благополучно закончил.

Что касается моих устремлений тогда, то я, как большинство ребят моего поколения, был ориентирован на какие-то технические профессии. И не от большого ума поступал в такие престижные инженерные ВУЗы, куда по разным причинам не попал. Попал я в техникум и его почти закончил. Но тут вдруг у меня произошел поворот и в 1957 году я поступил на Истфак. И с тех пор я ушел в гуманитарную сферу в чистом виде, расставшись со всеми техническими амбициями навсегда, хотя с техникой я потом соприкасался, но уже в другом качестве. Вот такая история.

Что предшествовало твоему приходу в социологию? Ты получил историческое образование, работал в области дизайна... под воздействием каких обстоятельств ты начал профессионально заниматься в другой сфере деятельности?

В Университете на истфаке я учился на отделении истории и теории искусств. Значит искусствоведческом. И диплом у меня искусствоведческий. Но так, справедливости ради и предметом моей гордости является то, что это отделение было самым высококонкурсным в Университете, в год моего поступления я выдержал конкурс 26 человек. Так что, в общем, оказался там в результате довольно серьезных напряжений.

Чуть подробнее, как у студента технического техникума возник интерес не просто к истории, но к истории искусств. Моя сестра закончила аналогичный факультет в Ленинградской Академии художеств, так что я представляю, насколько это специфическая область истории.

Если отвечать на вопрос, как возник интерес, то самым простым способом – начал читать книжки. Книжки начал читать тоже, как говорится, побуждаемый интересом к тому, а вот почему так. Почему это, скажем, в Третьяковке сосредоточен один тип, один характер живописи, а в Пушкинском музее, Музее изобразительного искусства – я все-таки в Москве вырос – вдруг появляются какие-то другие люди. Кто такие импрессионисты? Кто такой Пикассо? Это были 50-е годы, к этому моменту наступила оттепель, и стало более спокойно с точки зрения доступности каких-то явлений в искусстве. И, тем не менее, окончательно не были закончены споры по

поводу того, кто у нас реалист, кто у нас формалист. Там шли дискуссии довольно бурные. И это, в общем-то, было не безынтересно. Я должен сказать, что, например, большое влияние на меня оказал вышедший тогда двухтомник известного искусствоведа, классика, Михаила Владимировича Алпатова по истории искусств, который я прочел неоднократно, публикации разных людей, с которыми мне приходилось сталкиваться. И постепенно для меня сложилось некоторое представление о том, что здесь пора в чем-то разобраться. Конечно, огромную роль, и в том числе и в выработке каких-то мировоззренческих позиций сыграл Московский фестиваль 1957 года. Потому что все свалилось, как говорится, сразу, в одно место в эти две недели. Эта гигантская выставка, на которой чего только не было. Это постоянно звучащая другая музыка, в первую очередь, конечно джаз. Рока тогда еще в природе не было. И в принципе, вот это общение постоянное, так сказать отсутствие барьеров на эти две недели. Потом все вернули на круги своя опять, что-то начали запрещать, что-то ограничивать. Но эти две недели как раз сыграли огромную роль, и надо сказать, что я почти без умолку две недели разговаривал с немцами, говорил по-немецки. Это мне позволило спокойно сдать вступительный экзамен. Трудно сказать даже, что здесь сыграло большую роль – жизненные обстоятельства, общая такая политическая, духовная атмосфера в стране. Это все-таки 1957 год. Так что вот такова предыстория.

Недавно я писал о Галине Старовойтовой [1] и Борисе Грушине [2]. Я старался показать, что их миропонимание возникло, в частности, под влиянием атмосферы «Сайгона», которую и ты знаешь. Одно время был не чужд этой атмосфере и Валерий Голофаст. Что касается Грушина, то здесь – явно влияние московской «банно-пивной» культуры... было ли что-либо подобное у тебя в твои студенческие годы?

Если говорить о том, что было в мои студенческие годы, то да, конечно. Были, правда, немножко другие обстоятельства, потому что Москва жила, так сказать, большим числом всяких событий, точек и т.д. У меня были самые своеобразные и самые странные связи. Скажем, я ходил в мастерские художников, попадал на какие-то выставки. Или, скажем, было там тоже такое немаловажное обстоятельство – у меня были очень хорошие отношения с московскими джазовыми музыкантами. Они и по сию пору сохраняются. Тогдашний Московский джаз-клуб устраивал какие-то концерты, какие-то фестивали и т.д. Это, в общем, все был событийный ряд. Он, конечно, был тогда, – правда, еще этого слова не было – скорее андеграундный. Но он существовал в том виде, в каком, за десять, за пять лет до

этого его и быть-то не могло, скажем, в 1953–54 году. Так уж для точности могу сказать, что я закончил школу в 1953 году, то есть в год смерти Сталина. Вот такой интересный рубеж получился. Поэтому конечно московская культура, а субкультур было множество. Это были не только субкультуры кафе. У нас, кстати, была тоже своя точка – это было расположенное напротив МХАТа кафе «Артистическое». Не знаю, есть оно сейчас или нет. Там много народа собиралось самого разного. И критики театральные, и журналисты, и художники, лидеры тогдашнего авангарда, такие как ушедший уже Юрий Соболев или Юло Соостер, Толя Брусиловский, там еще какие-то люди были. И это был один круг людей, которые между собой общались. Я не могу сказать, что этот цикл длился долго. Он был, может быть, год-полтора, два от силы. Но он, конечно, сыграл свою роль в формировании круга общения, в формировании интересов, кроме тех, которые были связаны непосредственно с процессом обучения. Но и сам процесс обучения у нас был достаточно интересный, потому что мы ездили на архитектурные практики. Университет отвез меня во Владимир, Суздаль, Псков, Новгород, Тбилиси, Ереван. Где я только не был, что называется за деньги налогоплательщиков. Это были обзорные архитектурные практики, и мы были, конечно, в очень многих вещах связаны все-таки с художественным миром. И, наконец, последнее, тоже немаловажное обстоятельство – где-то курсе на третьем я с моим приятелем, ныне покойным, к сожалению, Иваном Купцовым, мы просто начали ходить по редакциям. В том числе в «Московский Комсомолец». В «Московском Комсомольце» были ребята, которые были на пару лет старше нас. Они только что выпустились из Университета, и мы их еще в Университете застали. Так сказать пересекались в одних дворах университетских. И вот они нам потихоньку давали какую-то работу. То есть не так давали – мы что-то приносили, какие-то тексты, а их у нас брали. И должен сказать, что я к моменту окончания Университета много чего уже опубликовал – и журнальные какие-то были статьи, и газетные публикации текущие. То есть, была практика, был навык, попросту говоря, шел процесс постановки пера. Это было крайне важно. Поэтому я должен сказать, что эта атмосфера по-разному на разных людей действовала, но она действовала всегда. Это атмосфера неформального общения, это атмосфера неформальных событий, в том числе. Хотя формальные события тоже были весьма небезынтересны. Так что вот такие обстоятельства я хотел бы отметить, как общий культурный историко-эстетико-социальный фон, в котором я, начиная с 1954–55 годов, прожил большую часть своей жизни.

Поехали дальше...

...в конце обучения я занялся дизайном. Написал дипломную работу по дизайну, и шесть последующих лет моей жизни были связаны с дизайном. Я сначала работал в проектном бюро художественно-конструкторском. А потом учился в аспирантуре. Но понятно, что поскольку я не проектировщик и не художник, то я занимался историей, теорией, методологией проектирования и т.д. Но надо представить себе общий интеллектуальный фон того времени. Это 60-е годы, так что я себя справедливо могу причислять к поколению шестидесятников. Потому что уже с начала 60-х годов я, так сказать, находился в активной фазе своей деятельности – работал в сфере новационных каких-то процессов и проблем. В частности, в области дизайна, тогда, ты наверно помнишь, разворачивались весьма серьезно такие движения интеллектуально-общественные, как скажем системное. А в рамках системного движения или близко к нему какое-то количество людей занималось обсуждением проблем социального проектирования.

Социальные проектировщики работали в сфере социологии, в сфере градостроительства. И в сфере дизайна тоже. Во всяком случае тот круг людей, с которым я соприкасался – а соприкасался я по сути дела с отцами современного дизайна. Работал я с таким художником и архитектором как Евгений Абрамович Розенблюм, теоретиком дизайна Карлом Моисеевичем Кантором, написавшим знаменитую, очень известную книжку «Красота и польза». У меня он даже потом оппонировал на диссертации. В общем, это были люди, в интеллектуальной ауре которых я как бы обретал собственное представление об этом мире и о профессии. Поэтому понятно, что все идеи социального проектирования, а в дизайне они выражались в идеях комплексного подхода к проектированию, такого подхода, который был бы в принципе ориентирован на решение социальных, в том числе, задач.

В принципе, никто тогда на этом языке не разговаривал. Поэтому для меня, например, понимание того, что здесь есть какая-то социологическая составляющая, пришло довольно поздно. Но ощущение этого родилось рано. Я понимал, что дизайн решает, в том числе социальные задачи, а не просто задачу эстетизации окружающей искусственной среды с помощью вмешательства художественно-конструкторских средств, приемов, методологий и т.д. И когда я уже пришел в аспирантуру три года спустя, я уже был ориентирован, конечно, на социологическую проблематику. Мне казалось, что можно извлечь кое-какую информацию просто непосредственно из вот этих самых опросных данных и т.д. Но потом я с этим заблуждением пос-

тепено расставался. Но самое главное заключалось в том, что и диссертация, а позже и книжка – это были работы, конечно, вытекавшие из этой парадигмы – средовой, методолого-проектировочной, парадигмы социального проектирования.

Несколько позже она актуализировалась в так называемом средовом движении, в котором я тоже принял определенное участие. Может быть не столь деятельное, но тем не менее. Вот такая была моя общая стартовая позиция. Вот с этого стола стартового я и пошел, в том числе и в социологию. Потом по окончанию аспирантуры я три года проработал в довольно своеобразном и тогда очень интересном месте. Место это называлось Институт информации автомобильной промышленности. А интересно оно было в первую очередь тем, что это был конец 60-х годов, и автомобильная промышленность развивалась очень динамично и очень с большими перспективами, в том числе социальными. Строился Волжский завод, реконструировался и частью строился заново АЗЛК – Москвич. В общем, мы стояли на пороге автомобилизации, в которую потом и въехали в 70-е годы. И получилось так, что я эти три года имел возможность всерьез познакомиться с динамичной и интересной отраслью промышленности.

Вот таким образом я опять как бы вернулся в технику, но уже вернулся, обладая другим взглядом – взглядом скорее все-таки гуманитария, может быть даже и социолога. Хотя я себя таким еще и не считал. Но, во всяком случае, был у меня к этому интерес. А потом, как всегда, работали социальные сети. Помогли мои друзья, люди из академических кругов, работавшие в разных академических учреждениях. Я искал работу в то время, заканчивался цикл этот, надо было уходить из этого института – ушел директор, развалилась та команда, которую мы там сформировали в свое время. В общем, бывают такие реорганизационные циклы. И меня свели тогда, и даже не свели, а просто позвонили Федору Михайловичу Бурлацкому. И он, так сказать, не видя меня в глаза, не зная ничегошеньки, но по рекомендации тех людей, которые меня ему представили, взял меня на работу в НИИКСИ. В Институт конкретных социальных исследований. И я, во-первых, с этого момента работаю в социологии, и, во-вторых, в Академии наук. Вот таков предшествующий цикл моих работ.

Мы познакомились в Институте социологии (скорее всего это было еще на Новочеремушкинской). Какой тематикой ты тогда занимался, в какой структуре работал?

В этом смысле в социологию я пришел совершенно сознательно. Пришел со своим собственным видением и со своим

предметом. Предмет был прост и не затейлив. Любая спроектированная человеком вещь является и результатом проектной деятельности и затем помогает, включает человека в решение каких-то социальных проблем и задач. Не важно, что это – автомобиль, мебель, электронные приборы, бытовые, информационные комплексы и т.д. Это, в общем-то, некое инобытие социальных процессов, отражаемое и отраженное в вещах. Этому были посвящены мои первые работы. В принципе, я их вел самостоятельно. Никаких у меня учителей не было. Я даже не могу сказать, что я у кого-то учился. Единственное, человек, которому я в какой-то степени обязан пониманием каких-то вещей, по видимому, все-таки будет Игорь Васильевич Бестужев-Лада, в секторе которого я некоторое время числился. Потому что так получилось, что я довольно рано попал вообще в котел организационной работы, научно-организационной. Потому что меня то назначали ученым секретарем, то меняли, потом опять назначали. У меня просто не было ученой степени, а так бы я там зацепился. Дело было, видимо, связано с тем, что у меня в трудовой книжке по предшествующей работе в автопроме стояла эта запись – Ученый секретарь. Во всяком случае, в этом качестве я так и проработал.

Ты – один из относительно небольшого числа людей, помнящих приход в Институт М.Н. Руткевича. О том периоде в моих интервью вспоминали Т. Заславская [3], А. Здравомыслов [4], Н. Лапин [5], В. Шляпентох [6], В. Ядов [7] ... как ты вспоминаешь то время?

К моменту, когда я пришел в Институт, – а это был 1971 году – он уже был сформирован в основных своих составляющих. Можно сказать, что и в основных группировках и в основных направлениях. И там шли свои конфликты, свои напряжения. Я в этом смысле был никто, ничей, звать меня было никак – пришел с улицы, и ниоткуда. Это было удобство моей позиции. А то обстоятельство, что я стал ученым секретарем, поставило меня в положение, когда я, по сути дела, был со всеми на деловой ноге. Но никаких приоритетов по своему положению у меня не было. В этом не было необходимости. Поэтому со всем поколением и московских, а в последствии и петербургских людей у меня сложились просто добрые, нормальные, деловые отношения. Они-то и стали основным залогом моего последующего пути в социологии.

До 1972 года, то есть до прихода Руткевича, все были на месте. Работали семинары разного рода, например, семинар Ю.А. Левады [8]. Работали в той или иной степени то, что называлось проектами; у нас, на нашей почве, Б.А. Грушин начал использовать это понятие. Все были живы, здоровы, работали

в Институте, и у меня со всеми постепенно складывались добрые отношения и поэтому, если говорить чисто поколенчески, то я наверно принадлежал все-таки ко второму поколению, к поколению учеников. Хотя понятно, что ученические связи меня ни с кем не связывали, меня связывали скорее отношения такого делового сотрудничества. Вот такая у меня была первоначальная судьба.

Я тогда же постарался, используя возможности публикационные, возможности участия в конференциях, свою тему как-то заявить. Она встретила одобрение. Люди, с которыми я соприкасался – это были люди, которых теперь уже нет. Например, Зоя Алексеевна Янкова, которая ко мне очень хорошо относилась, и я таким образом был связан со специалистами по семье. В Питере как урбанист, занимающийся все-таки проектированием, я довольно быстро нашел общий язык со Овсеем Шкаратаном и его сотрудниками, с Мишей Борщевским и этим кругом людей. И, в общем, так сказать, это была моя маленькая, узкая, окольная тропка, которая меня впоследствии привела и к диссертации, и я на эту тему написал работу. Но основные конечно коллизии состояли в том, что я занимался все-таки организационной работой.

Что следует сказать – конечно же, конфликты шли острее. Начиная с 1972 года из Института люди уходили буквально колоннами, как я называл, с развернутыми знаменами, с барабанным боем. Ушел Бурлацкий со своими ребятами политологами, ушли такие люди, как Александр Абрамович Галкин. Какое-то время еще подержался Грушин, но потом ушел, хотя участники его Таганрогской эпопеи потихоньку рассыпались, перемещались куда-то. Ушел Лапин, тоже забрав людей. Не много, правда, но тем не менее. Левада, в общем, тоже – сектор рассыпался. И собрался он только уже в годы перестройки, в первом составе ВЦИОМА. Сейчас часть их работает в Левада-центре, кое-кто из того первоначального состава. В общем, атмосфера была такая, не то чтобы гнетущая, но напряженная была. Приходилось все время оглядываться. Но у меня были очень добрые отношения со всей ленинградской частью, с Владимиром Александровичем Ядовым, Овсеем Ирмовичем Шкаратаном и с Борисом Максимовичем Фирсовым [9]. Я бы даже сказал, что отношения носили дружеский характер. Мне потом очень помогло это после переезда в Петербург, Ленинград тогда еще. Вот такая у меня была судьба. То есть, как бы тематики у меня особой не было, за исключением, пожалуй, последних двух-трех лет, когда вдруг неожиданно-негаданно актуализировалась проблема образа жизни. Она просто мне оказалась наиболее близкой, потому что то, чем я занимался

лучше всего операционализировалось конечно через понятия образа жизни, через условия жизни, жизненные стандарты и т.д. Тем более что речь шла, конечно же, о жилой среде.

Вообще, проблема образа жизни актуализировалась в академических разработках и потом в гуманитарно-философских и экономических довольно своеобразным образом. Она выросла из задания Сводного отдела народнохозяйственного планирования Госплана. Там был такой очень деятельный, очень интересный человек, с которым мы тоже были очень хорошо знакомы и сотрудничали – все социологи, кто этим занимался – Александр Иванович Смирнов. Вот он это и придумал. Он это придумал как антитезу понятию уровень жизни, по которому мы были абсолютно неконкурентоспособны с развитыми капиталистическими странами, мы не выдерживали ни по одному стандарту. Но вот, так сказать, была идея найти какие-то преимущества социализма, в чем они состоят. Вот тогда, собственно говоря, и сформулировалась эта идея образа жизни, в котором уровень жизни есть, он присутствует, но он не является доминирующим, главным. А основное это, конечно, сфера сознания, духовного развития, идеологическая составляющая, понятно, и т.д. Все мы этим занимались довольно большие циклы временные. Вот тогда этим занялись несколько самых разных людей. В первую очередь, Игорь Васильевич Бестужев-Лада, который довольно много внес в осмысление, в понимание, в понятийный аппарат и т.д. Этим занимался в Институте Вадим Роговин и сектор Бестужева-Лады, в котором это все в той или иной степени разрабатывалось.

Для меня очень важен вопрос о твоей прописке в социологических поколениях. В моей классификации ты по возрасту – на «нижней» границе третьего, «моего», поколения (1936-1947), но по ряду обстоятельств твоей социализации ты близок и ко второму поколению (1924-1935) (в нашем городе, это – Алексеев [10], Гишинский [11], ... Фирсов). Ты мне поможешь с классификацией, если скажешь, кто был твоим руководителем в аспирантуре и кто тогда еще «ходил» в аспирантах?

Насчет классификации поколений – почему и к какой группе я бы себя отнес. Я бы сказал так, что моими современниками, моими друзьями, товарищами, коллегами были те люди, которые в тот момент или были на позициях, скажем, младших научных сотрудников, или вот только делали какие-то шаги, или были аспирантами. У меня были очень хорошие отношения с очень многими людьми из Грушинского проекта – с Георгием Токаровским, Эдуардом Петровым, Томом Петровым. Очень хорошие отношения сложились с молодыми ребятами, кото-

рые работали в то время у Бурлацкого. Это было так сказать, первое поколение политологов. И конечно, в первую очередь это аспиранты: Александр Гофман [12], Леонид Ионин [13]. Это вообще, так сказать, диапазон людей от Магадана, откуда приехал Женя Кокорев, до, скажем, Литвы, Молдавии. В общем, со всеми я был очень хорошо знаком. И с кем-то более дружен, с кем-то так сказать поддерживал добрые отношения. С кем-то просто выпивал и закусывал во время всяких событий, аспирантских утверждений, защит и т.д. Так что, я так полагаю по наивности, что, будучи немножко, как я уже сказал, чуть старше по возрасту, поколенчески я, конечно, принадлежу к тому составу людей, которые начали формироваться на рубеже 60-х–70-х годов, в конце 60-х.

У тебя была небольшая, но добротная книжка о вещном мире, и, если не ошибаюсь, по этой же теме ты защищал кандидатскую. Когда это было? Чтобы ты сейчас выделил в той работе самое важное?

Моя тематика конца 70-х годов была связана с образом жизни, с его вещной составляющей. У меня так и диссертация называлась, там были сведены эти два понятия – вещная среда и образ жизни. Вот такие обстоятельства определяли первое пятилетие моего пребывания в социологии, в социологическом сообществе. Но затем в 1976 году произошел резкий поворот чисто житейский. Хотя содержательно он мало чем отличался от предшествующих. Я переехал в Питер. Но там, правда, опять начались кое-какие сложности. Я не то, чтобы был лишен возможности заниматься социологией, но там были свои задачи – мне поручили руководство сектором информации. У меня тогда сложились очень хорошие отношения с ИНИОНОМ. Мы даже начали формировать гуманитарный обществоведческий центр ленинградский. Но вот потом в связи со сложившимися драматическими обстоятельствами я, так сказать, из этой работы ушел. И какое-то время мы вместе просидели у В.К. Потемкина, занимаясь соцсоревнованием. Правда, по счастью у меня были очень хорошие отношения с Маратом Межевичем, и поскольку я все-таки занимался городской проблематикой, в ней даже что-то соображал, смею надеяться, Марат меня все-таки перетаскил во вновь образованный сектор городского образа жизни. Тем более, что это были мои проблемные интересы. Значит, можно сказать так, что в свое время – отвечая на твой вопрос о приходе Руткевича – с одной стороны, там конечно атмосфера в чисто моральном отношении была довольно напряженная. Как я уже сказал, уходили люди, к руководству Институтом выдвинулись какие-то совсем другие персонажи,

и в этом отношении те люди, о которых ты говорил – тот же Шляпентох, я уже не говорю о Грушине или Леваде, Лапине – они оказались, если не в конфликтной ситуации, то в ситуации, в общем, оппозирующей. И дело даже не только в том, что у них с Руткевичем были какие-то научные противоречия, сколько в том, что Руткевич, по-видимому, получив соответствующую установку, весь этот дух оппозиции из Института постепенно выдавливал. Понимаешь, у меня есть такое подозрение, вот какого характера. Поскольку все инициативы тогда исходили из недр Отдела науки Центрального Комитета партии – там назначали комиссии все время, представители этого ведомства довольно часто бывали у нас в Институте, на всяких собраниях и т.д. – у меня было такое ощущение, что в тот момент ЦК партии был очень обеспокоен тем, как удержать монополию на информацию, которая полностью принадлежала партийным органам. А социология эту монополию частично разрушала. И хотя она была подконтрольна, хотя ей задавали сектора определенные, информационное представление, задавали все возможности, которые могли быть использованы – тем не менее, все время существовал вот этот независимый источник информационный, который создавал такие иногда довольно сложные моменты. Мы с тобой прекрасно помним, испытали на собственной шкуре. И Ядов тоже пострадал из-за некоего документа, который в принципе вдруг неожиданно-негаданно попал и был прокомментирован на Западе, и вроде бы как у него оказался какой-то неучтенный экземпляр этого доклада, в общем, тут были сложности большие, конечно, в этом смысле. Хотя это все было в неявном, таком латентном виде. И сейчас это скорее предмет моих, так сказать, гипотез, домыслов, размышлений, а не четкого знания о том, что это было только так, а не как иначе.

По тому, в какой среде ты начинал работать, можно предположить, что ты был рядом с самоиздатом и тебе было знакомо диссидентское движение. Открыли ли они тебе какие-либо новые горизонты или твое историческое образование тебя во многом подготовило к тому, что эта литература и эти люди привнесли в существовавшую в стране культуру?

Если говорить о моих ориентациях на диссидентскую субкультуру, то знаешь, как-то так получилось, что они были минимальными. Я никогда не пропускал того, что шло мне в руки, и читал тогда, когда для этого были возможности. Но у меня никогда не было такого настойчивого стремления соприкасаться с этой средой. Тем более, что получалось-то ведь довольно интересно. Скажем, так получилось, что я в Москве

был на полудюжине выставок, которые потом имели какие-то вообще совершенно фантастические последствия, вплоть до знаменитого приезда Хрущева в Манеж со всеми его выкриками и истериками по поводу художников. Это был уже, помоему, 1959 год или около того. Была «бульдозерная» выставка. Две недели спустя в качестве компенсации была выставка в Измайлово. И вот я, честно говоря, если и соприкасался с этой андеграундной субкультурой, то только таким образом. Помню, что у нас был даже такой эпизод, когда меня и лидера московского джаза, ныне историка, известнейшего человека, Алексея Баташова вызывали в ЦК комсомола. И с нами там инструктор вел странную заинтересованную беседу о том, что не является ли это таким проникновением американской субкультуры. Мы как всегда говорили, что джаз играют американские негры, а это угнетенная часть общества, всякую ерунду, конечно. Или, скажем, если это были художники, то это были люди, писавшие, работавшие в абстрактных манерах разного рода. Если это были музыканты, джазмены, да и другие, то это были люди, которые играли музыку, не поощряющуюся для публичного исполнения. Или даже авангардную вообще и т.д. Так что здесь довольно широкий был спектр. И он не ограничивался только самиздатом. Можно сказать о том, что это была и живопись, это была и музыка, это было еще много чего такого, а не только тексты, которые как-то лучше оставались известными в этом смысле. А вот эти андеграундные течения, скажем, того же самого российского авангарда, все эти направления, школы, группы и т.д. – они, в общем, сейчас довольно хорошо описаны. Но как-то никто особенно не обращал внимания на их роль, потому что все-таки считается по сию пору, и наверно справедливо, что большую роль в этом смысле, в смысле влияния на сознание общественное, сыграла литература. Потому что понятно, что ни у живописи, ни у музыки не могут быть такие аудитории, которыми обладает живое слово.

Когда ты перебрался в Ленинград?

В Ленинград я перебрался по приглашению личному тогдашнего директора Института социально-экономических проблем (ИСЭП) АН СССР Гелия Николаевича Черкасова, и при поддержке и патронате Ядова. Надо сказать, что был человек, который этому вообще противостоял и, в общем, он меня всячески уговаривал этого не делать. Это был Овсей Шкаратан. Кстати, он впоследствии довольно быстро из Института ушел, а потом и переехал в Москву. Он, так сказать, меня все время уговаривал не делать этого шага. Я сейчас, когда взвешиваю,

скажем, вторую половину 70-х – начало 80-х годов, я так полагаю, что и та ситуация, которая сложилась – будем называть его Институтом социологии, потому что он менял названия совершенно фантастическим образом несколько раз – и в ИСЭПе, можно это квалифицировать фразой из знаменитого анекдота: «оба – хуже». В ИСЭПе начался знаменитый конфликт между социологами и сменившим Черкасова Ивглафом Ивановичем Сиговым. Московский Институт трясло по другим обстоятельствам – там менялись директора, очень серьезно изменялся, обновлялся состав. В общем, там происходили тоже какие-то свои процессы. Я так полагаю по наивности, что если бы я остался там, то мне бы там тоже было не больно комфортно. Ну, значит, Ленинград так Ленинград. И в Ленинграде, в общем, со всеми перипетиями, со всеми сложностями дожив где-то до 1986–87 года я все-таки как-то, наконец, стабилизировался в проблематике. Она осталась той же, которой я занимался; город и образ жизни. И вот какое-то даже количество людей, тех с которыми я поработал 10–15, а то и 20 лет, уже теперь есть. Можно сказать так, что я все-таки никуда не уйду от проблем города. Чем бы я ни занимался, чтобы я не делал – городская проблематика остается доминирующей.

Игорь, ты знаешь дух Москвы и Ленинграда (Петербурга), я помню твои устные эссе о «Новой Голландии», о ротах Преображенского полка... Видишь ли ты присутствие в «ленинградской социологии» духа города, как, скажем его видят не только в поэзии Серебряного века, но и в творчестве Бродского, Рейна.... Довлатова?

Что касается присутствия духа города Ленинграда, Петербурга, я бы сказал, что вот в социологических подходах, честно говоря, я больших различий не вижу. Разве что – и пусть тут на меня московские коллеги не обидятся – это некая склонность питерских социологов к такой дотошной фундаментальности. Причем ведь, это кого там не возьми. Скажем, Владимир Александрович Ядов по теории личности проделал такой цикл работ. Или Игорь Семенович Кон. Или скажем даже такая, казалось бы, совсем в советской истории лежащая работа, как, допустим, работа по социальной структуре города, по машиностроителям Ленинграда, которую сделал Овсей Шкаратан. Вот они отличаются длительностью такого цикла исследовательского, большой надежностью, выверенностью данных. Не всегда и не все из этого попадало потом в печать и публикации, хотя большей частью это попало. Но я так полагаю, что здесь все-таки такая фундаментальная дотошность, которая скорее отличала питерскую школу. Хотя понятно, что в дотошности и фундаментальности Грушину

тоже не откажешь. Тут вопрос скорее индивидуального, субъективного взгляда. На большее я в такой оценке просто не претендую.

Извини, продолжим...и так, что было с твоей диссертацией?

Диссертацию я защищал в 1978 году. Кстати, о рецензиях, я должен сказать, что книжка была принята очень доброжелательно. С одной стороны, мне помогли друзья, например, одну рецензию мне организовал Франц Шереги [14], какие-то еще были. Так что в принципе я не могу сказать, что она прошла незамеченной – ее как бы до сих пор помнят те, кто этим занимается. И хотя я не продолжил это направление, я его продолжал и поддерживал в другом виде, в других направлениях. Самое важное все-таки в той работе, если отвечать на твой вопрос, была попытка подойти к проектированию вещей с социальных позиций. В какой-то мере эти позиции были обусловлены нашими, я бы сказал, социалистическими утопическими представлениями о возможности достигнуть равенства, равноправия, в том числе, и в области организации жизненного пространства. В принципе, на это и была направлена вся советская архитектура, которая по сути дела создала такое нивелированное жизненное пространство, в котором все жили в одинаковых квартирах, все квартиры были обставлены одинаковой мебелью, все располагали приблизительно одним кругом доступности товаров и т.д. Вот, пожалуй, это была одна из основных идей, от которой я не то чтобы сейчас отказался – я-то все-таки полагаю, что дизайн, в принципе, и ведущие теоретики дизайна эту идею как-то сохраняют, что дизайн – это способ организации пространства жизни человека. А поскольку пространство жизни человека это, в том числе, и пространство социальное, то значит понятно, что от дизайна до социологии шагов не так много. Это все-таки какие-то взаимосвязанные, взаимообусловленные области деятельности. Хотя сейчас, в нынешнем состоянии и того и другого эту связь уловить довольно трудно. А что касается города, то, конечно, здесь социальные противоречия, обострение этих противоречий, да и вообще социальные проблемы выступают достаточно остро.

Найденное тогда тобою о вещном мире людей остается справедливым и сейчас? Все же та реальность и сегодняшняя российская – много различаются. Что инвариантно, неизменно?

Я так полагаю и думаю, что справедливым остается сейчас то, что я сказал. Это и Марксова позиция. Она еще очень интересно и своеобразно была развита и обоснована в книге Карла

Кантора, которую я упоминал – «Красота и польза». Кантор, кстати, был наверно одним из людей, которые были знакомы с Марксом не понаслышке. Человек, который был прекрасно ориентирован в марксистской теории. И, в общем, то, что он писал в этом отношении, я так полагаю, сохраняет какую-то свою актуальность. Тут вопрос другой, что вот это нивелирующее социалистическое равенство, по-видимому, постепенно ушло из идей социального проектирования. А значение вещей как вообще социальных индикаторов, как отражение, зеркало социальной жизни, ни на минуту, ни на секунду не утрачивает своего смысла. Мы все-таки живем в том мире, который мы сами себе организовываем, и в зависимости от того каким социальным статусом мы обладаем, какие социальные взгляды разделяем и т.д. Инвариантна и неизменна вот эта составляющая.

Кстати, должен сказать, что есть все-таки работы, которые в этой тематике существуют. Например, вторым или третьим изданием свою книжку о моде выпустил Саша Гофман, мой старший друг еще со времен ИСЭПа. Самое интересное, что если говорить о том, как мои связи сложились и как они сформировались – значительная часть людей, с которыми у меня были хорошие, дружеские отношения, это были аспиранты тогдашние. Они были немножко моложе меня по возрасту, но стаж научной деятельности у нас был приблизительно одинаков. Поэтому я по сию пору вожу дружбу с Сашей Гофманом, у меня хорошие отношения с Леонидом Иониным. Вот с этим кругом людей. С Геннадием Батыгиным, покойным, были очень хорошие отношения, потому что Гена в свое время пришел лаборантом в наш сектор, и я его, что называется, с молодых ногтей знаю и помню.

Я, по-моему, более-менее внятно ответил. Я еще раз хотел бы подчеркнуть роль работ, которые в свое время сыграли, появились на арене. Скажем та же самая работа Кантора «Красота и польза». Это проблема развеществления, то есть проблема того, как вещь, грубо говоря, начинает выступать не просто как фундаментальная, утилитарная, как какой-то предмет, предназначенный для выполнения каких-то функций, а как символ, утрачивая свое первоначальное утилитарное значение, и обретая значения совершенно иные, символические. Как бы семантизируя другие смыслы какие-то. Вот, пожалуй, таким невнятным образом я только так могу сказать о том, что же меня во всем этом интересовало. Поэтому, в принципе, это и есть справедливо сейчас. Другой вопрос, что это реализуется сейчас другими способами, на других уровнях, в другом количественном составе. Въехали мы в итоге все-таки в эру

потребления, и даже сверхпотребления в значительной степени. И тут уже началась дифференциация совершенно бешеная. Достаточно посмотреть, скажем, только на автомобильный парк, который мимо нас проезжает в течение пяти-шести минут. Вот этого наблюдения, между прочим, достаточно для того, чтобы понять, какова же, насколько резкой является эта дифференциация. Где пролегают ее границы и ее критерии. Вот они лежат, в том числе, и в этом. Кто на каких машинах ездит, кто в каких домах живет, кто что строит для себя, кто на что ориентирован и т.д.

Верно ли я понял сказанное тобою чуть выше, что мы сегодня не используем научный потенциал, накопленный в недавнем прошлом?

Вопрос относительно того, что все-таки актуально, довольно сложен на самом деле. Например, то обстоятельство, что мы целый ряд вещей обозначили, а развитие эти вещи не получили – с моей точки зрения, обусловлено, в том числе, и какими-то драматическими коллизиями, происходящими в социологии в целом. Вот Здравомыслов не даст мне соврать, я при каждой встрече уговариваю его – он сейчас переиздал кое-какие работы, в том числе “Человек и его работа” переиздал, “Конфликтологией” занялся – уговариваю его переиздать, подготовить заново “Потребности. Интересы. Ценности”. И с моей точки зрения, здесь, например, ключевой оказывается проблема интереса. Ведь мы сейчас живем в зоне напряженнейших отношений, в которых по сути дела напряжения никакого нет. Потому что ни партии политические, ни движения и т.д. не обладают четко артикулированными, выраженными интересами. Социальная структура формируется – классов со своими, опять-таки артикулированными интересами, в том смысле в каком были они в свое время, их не существует. Интеллигенция, например, довольно многочисленная и увеличивающаяся по объему – это скорее все то, что Солженицын назвал “образованщина” – так только где-то попыталась сформулировать свои ключевые жизненные интересы в годы перестройки. Но на этом дело и закончилось. Поэтому, с моей точки зрения, целый ряд вещей такого характера был бы актуален сейчас, если бы мы этим занялись. Я так полагаю, что, конечно же, и ядовские работы в этом направлении, и все работы тех, кто занимался проблемой ценностей, актуальны по сию пору. Идет изменение структуры ценностей, состава, критериев, есть какие-то иные артикуляции этого ценностного мира, его иные проявления. Но пока что мы о ценностях говорим в некоем собирательном виде – мы говорим, что вот, меняется система

ценностей. Как меняется? Что на что меняем? Каков, так сказать, темп этого обмена? Каково его содержание? И т.д. Поэтому можно сказать так, что в те годы, конечно, было много чего сделано такого, чего сейчас просто не повторить. Скажем, по сути дела не воспроизводим ни по составу, ни по процедурам, ни по объему, допустим, Таганрогский проект. Кто сейчас в силах и в состоянии был бы изучить все формы проявления общественного мнения, общественного сознания в том объеме, в каком это сделал Грушин в свое время. Конечно, ушли многие формы, ушла идеологическая составляющая всякого рода. Но информация-то, во-первых, не утратила своего гигантского системного характера. А мы ее все время разлагаем на какие-то элементы. И мы, скажем, постоянно заменяем серьезность подхода к информационному полю, даже современного города, каким-то анализом конкретных пиар-компаний, пиар-акций и т.д. Хотя пиар это одна из форм современного проявления информационного потока, информационного поля, актуализация каких-то, в том числе и ценностных, в том числе и связанных с интересами, суждений, позиций и т.д., которые в принципе интереса не имеют. Интересно скорее сама технология. Мы даже на переходе, на переходном периоде имели уникальный опыт, который сейчас не воспроизводим. Вспомни нашу передачу “Общественное мнение”, которая обязана своим появлением Тамаре и Владимиру Максимовым. Кто нам сейчас даст четыре часа эфирного времени, прямого эфира? Тогда, правда, рекламы не было. Кто позволит нецензурированную, незаписанную прямую речь выводить в эфир с улицы, как у нас это происходило, когда мы выставляли так называемые “Свободные микрофоны” в каких-то узлах города? Кто сейчас в состоянии вести дискуссию на этом уровне? Да и потом, где такие дискуссионты? Не забывай, что в свое время мало того, что к нам приезжали все ведущие социологи, Ядов был постоянным участником. Приезжал Владимир Николаевич Шубкин, Юрий Александрович Левада, Евгений Аршакович Амбарцумов, постоянно участвовали будущие министры Е. Ясин, А. Шохин. А с другой стороны, мы впервые предьявили А.А. Собчака живьем именно у себя. И сразу стал ясен масштаб этого человека. Ему понадобилось две минуты, чтобы обратить на себя серьезное внимание. Так что понятно, что очень многие вещи сейчас просто немислимы, потому что тогда, в годы перестройки были свободнее каналы массовой информации.

Чем ты занимаешься в последние годы?

Последние годы я занимался целым рядом проектов, связанных с социальной структурой, с эволюцией. Одна из конечно ярких страниц моей, да и нашей коллективной жизни – это

восьмилетний опыт работы с финнами. Очень плотной, очень насыщенной, очень результативной. Все-таки мы сумели его отразить в двух книжках. Не говоря уж о том, что у нас гигантский совершенно накоплен материал эмпирический. Мы его весь сейчас перевели на электронные носители и т.д. Вот эта сторона дела. Она нас очень, конечно, во многом вооружила новыми подходами, новой методологией, новыми взглядами на вещи. В этом смысле нельзя отказывать нашим финским друзьям, которые, в общем, много что сделали. Мало того, что они нас просто поддержали физически в довольно тяжелые годы. Мы получили финансовый грант в том числе. Но работа была очень продуктивной. Она, конечно, наверно не имела каких-то больших перспектив для продолжения.

Затем у меня была пара проектов, связанная вообще с городской средой. Например, я когда-то написал и опубликовал у Шкаратана статью под названием «Армия и город», в которой опять-таки с точки зрения социально-структурных составляющих, касавшихся истории, да и нынешнего состояния Ленинграда, попробовал посмотреть, а как вообще выглядят современные вооруженные силы в структуре общества, какое они место занимают. Я начал с элементарных вещей – я просто посмотрел, какое пространство они занимают. Оказывается, что довольно значительное, и эта статья скорее шла по жанру социальной истории. Но впоследствии мои сотрудницы, в общем, решили посмотреть и нынешнее состояние. Родился двухлетний проект, мы его реализовали. К сожалению, у нас нет такой манеры – завершать проект серьезной публикацией, не вышло.

Очень интересный проект я реализовал на базе старых своих архитектурных связей. Меня познакомили с московской семьей историков архитектуры. Это ныне ушедшая Ирина Коккинаки и Андрей Гозак. Они искали социолога-урбаниста. Кроме меня больше никого не нашлось ближе Питера. Они-то москвичи. И мы сделали очень небезынтесную работу по 20-30-м годам, по индустриальным городам советским. Интерес этой работы заключался в том, что проект носил международный характер. Дело в том, что индустриальные центры первых пятилеток проектировали не только инженеры, которые создавали технологию металлургических, автомобильных заводов, но и проектировщики-градостроители. В частности, бывший в 20-е годы главным архитектором Франкфурта-на-Майне Эрнст Май несколько лет работал в Советском Союзе. И он стоял у истоков проектирования таких индустриальных городов как Магнитогорск и Новокузнецк. В обоих городах мы были, посмотрели. Там довольно много следов от этого. Они к этому

очень уважительно относятся – местные архитекторы и историки, потом я поработал и в архивах западных, в частности в Роттердаме. И обошел пешком и отснял все целые, живые поныне кварталы Эрнста Мая во Франкфурте. Они строились в конце 20-х годов, пострадали в войну, были восстановлены немцами, реновированы, как они называют, в 60-е годы. И сейчас существуют в полном объеме. Это то, что мы бы назвали рабочими кварталами. Они так и были ориентированы первоначально. Сейчас у них поменялся социальный состав – сейчас там живут в основном мигранты. Интереснейший материал. И вот там очень многие вещи становятся ясными – откуда пошло массовое строительство у нас. Оно ретранслировано, оно было импортным товаром. Его привезли те люди, которые большой командой приехали в эти уральские, сибирские города проектировать социалистические новые урбосистемы. Сейчас мы попали в большой международный проект, который ведет Европейский Совет. Проект связан с неравенством, с проблемами неравенства. Говорить о нем пока рано. Вот девочки сейчас работают очень интенсивно, очень усиленно, большие эмоции в этом смысле. Через год посмотрим, что из этого получится.

Занимаясь историей отечественной социологии, я часто вспоминаю наше ИСЭПовское время. Нельзя все хаять, но, мне кажется, что в силу социальных макрообстоятельств то время оказалось для нас всех потерянним. Сказать то, что хотелось, было невозможно... согласен ли ты?

Если говорить о судьбе поколения, то я хочу еще раз сказать, что информационная база, особенно возможность ее критического анализа, были под жесткой цензурой идеологической. И поэтому очень многие вещи были просто невозможны. Мне в свое время, например, Шкаратан высказал такой упрек. Он сказал – смотри, ты написал книжку, а почему ты не написал ничего, ни слова о том, какую социально-дифференцирующую роль играет вещная среда в жизни людей. Я говорю, Сева, извини меня, а как я это мог бы сделать. Как я мог бы писать, скажем, о бедности в 70-е годы в советское время. А это отражением бедности, индикаторов бедности естественно является – то какие вещи люди носят, чем они обставляют свое жилье, в каком жилье они, наконец, живут. Так что в том числе и это. Или скажем, социокультурные процессы. Мы все, что писали о массовой культуре, или писалось кем угодно – это критика. Но никто, никому в голову не пришло, что по другому быть не могло. Что та культура, которая была поддержана, прокламирована, продвинута – она и не могла

не быть вот такой массовой, оглупляющей, одуряющей. Ведь это был способ каким-то образом удерживать население в узде повиновения, идеологического в том числе.

Одно из самых светлых воспоминаний тех лет – вечерние посиделки в секторе Голофаста... я в те годы занимался методическими проблемами и узко видел социологическую проблематику... на тех посиделках затрагивались разные социальные проблемы, общие вопросы жизни... казалось то был треп, но сегодня я понимаю, что тот треп был важнейшей составляющей нашего бытия... что ты думаешь?

Вот здесь твой вопрос очередной касается... я бы даже сказал, не то, что посиделок у Голофаста, хотя они, конечно, сыграли свою роль, сколько вообще среды общения. И вот ее мы, к сожалению, утратили. Утрачивали целыми блоками. Вспомни, что раза два в год мы куда-нибудь катались в Эстонию – вы по своим коммуникационным делам, я на свои средовые посиделки. И скажем, пересечение – вы больше работали с Марио Лауристин, а, например, мне пришлось больше работать с такими людьми, как Мати Хейдметс, Круссвал, с Юло Вооглайдом общались, с литовцами сколько было всяких контактов интересных. Я уж не говорю о Сергее Рапопорте, который даже к нам приезжал по весне. Утратилась среда, утратилась среда и интернационального общения и научного. Я, например, совершенно не представляю себе, чем, допустим, занимается кое-кто из моих старых знакомых московских, вроде Полины Козыревой, Миши Косолапова, кто по счастью жив, здоров и еще работает. И это конечно одна из потерь, это утрата среды. Поэтому, например, я в значительной степени все-таки доволен тем обстоятельством, что мне удастся преподавать в последние двадцать приблизительно лет, общаться со студентами.

Они, в общем, как-то оседают, кое-то количество этих ребят нам удалось привлечь. Мы сейчас выпустили 180 человек и человек 20 защитилось, кое-кто работает у нас в институте. То есть, мы как бы сумели целое поколение новое воспитать. Мы – это Галина Саганенко, Олег Божков, еще целый ряд людей, работающих в Институте. Поэтому мог бы написать и о Голофасте. Но я хотел бы только оставить за собой вот какое право – право на субъективную, скажем, не оценку, – у меня оценки Голофаста самые позитивные с точки зрения того, что он думал, что он говорил, что он писал, к сожалению меньше и реже, чем это можно было бы. А вот скажем свой взгляд на это – он может быть... Поэтому я пожалуй страничку, две, полторы мог бы написать, если бы ты нам какой-то такой актер

возгласил, что ребята, попробуйте что-то сделать на эту тему. Попробуем. И в этом смысле, то, что ты совершенно справедливо назвал бы трепом, на самом деле у нас же нет других предметов и других тем для разговоров, что мы сами себе думаем об обществе, о людях, об отношениях и т.д. И даже если это вещи, которые могут носить анекдотичный характер, или скажем реакция на какие-то события – это, в общем, форма такого аналитического потока.

Я бы сказал так, что о массовом сознании все много чего знают. Есть кое-какие представления о том, что называется потоком сознания. Но вот никто никогда не задумывался над тем, что зачастую поток сознания бывает еще аналитическим, особенно у людей, которые к этому склонны. Я могу сказать, что у меня не умолкающий, и не прекращающийся поток сознания. Но там всегда содержатся элементы какого-то анализа, каких-то обобщений и т.д. Я бы даже сказал – я даже сформулировал свой принцип. Он связан с общими принципами понимания в социологии. А выглядит эта процедура следующим образом. Если я сталкиваюсь с какой-то новацией, с каким-то явлением первый раз – я фиксирую его как наблюдение, и результат его. Второй раз я уже обращаю на него внимание. А вот с третьего и четвертого раза начинаю считать. Иногда этот произвольный счет приводит к довольно небезынтересным выводам и представлениям. Потому что, как не парадоксально, мы много чего разработали – процедурно у нас все внятно. Но нет вот какого-то внятного представления том, а как процедурно должно строиться понимание, из каких оно вообще должно состоять элементов, что вообще такое понимание, кроме того, что это какая-то форма фиксации действительности. В каком виде? Она вроде не требует счета, но тем не менее. В общем, пока наверно все.

Не мог бы ты продолжить этот «поток сознания» и написать немного о Валерии Голофасте? Мне так обидно, что я не успел проинтервьюировать его... хотя мы постоянно переписывались... мы ответственные за то, чтобы имена наших друзей не забывались...

Что касается моего неупорядоченного потока сознания, очень сложно выделить, предположим, тот его ручеек, ту его струйку, которая будет связана с какими-то воспоминаниями, – теперь это уже воспоминания, ничего другого не остается – по поводу Валерия Голофаста. Мы вообще сошлись с ним как-то очень быстро, мгновенно. То есть, это был один из первых новых людей... Вас-то я кого-то знал – Бориса Фирсова, тебя, еще каких-то людей. А с ним я столкнулся впервые, когда приехал – вот как сейчас помню, ходил тогда с пышными

бакенбардами такими, вообще такой был человек экстраординарный. И, в общем, стало ясно, что в принципе, вот как я говорил по поводу Марата... Мы, правда, с Валерием иногда вступали в какие-то оппонирующие отношения, по поводу чего-то спорили. У него была такая знаменитая поговорка, на которую мы с Божковым иногда издевательски реагировали. Он начинал иногда какой-то цикл, период разговора с вводной, вводного пассажа – «меня интересует». На что мы с Божковым нагло отвечали – «пойди и поинтересуйся». Суть заключалась в том, что при прочих равных условиях у него интерес зачастую был, я бы сказал, шире чисто физических возможностей. Потому что, все-таки то обстоятельство, что он последний десяток лет или даже побольше начал заниматься культурой – это ведь, мало того, что сложный массив. Это массив многомерный, это массив многоуровневый. Он просто емкий, безумно гигантский, так сказать, по своему объему. Но одно дело, когда я, допустим, занимался тем же самым изобразительным искусством, живописью, скульптурой, графикой, архитектурой, дизайном в Университете. Я не могу сказать, что у Голофаства не было фундаментального образования – он был филолог. Но были вещи, которые, скажем, для него были сложновоспринимаемыми. И вот зачастую разговор касался вот этого – «меня интересует». На это мы ему либо этот интерес, участники разговора, пытались каким-то образом прояснить. Либо начинали просто говорить «возьми и поинтересуйся». Это я бы сказал канва, структура всего этого. А уж что там входило в непосредственный перечень этих интересов – это уму непостижимо. Это были самые разные, самые негаданные, самые неожиданные вещи.

Я помню, что он в свое время, когда возглавил сектор, и уже мы как-то более-менее стабилизировались в своем положении – я не помню, был ли это еще ИСЭП или уже Институт социологии – он организовал ряд семинаров, на которые приглашал самых неожиданных людей, просто на удивление. Я помню, что там были чисто исторического характера доклады, были культурологические. Скажем, огромный доклад сделала Елена Петровна Островская, с которой я сейчас в Университете работаю, по поводу индологии. Или пришел человек, который занимался ювелирным производством в ленинградской фирме. Он рассказывал про золото, про драгоценные металлы. Причем так вот, очень технологично, как скорее рассказывает производственник, а не искусствовед. И вот этот интерес Валерий все время старался расширить, увеличить объем понятий и знаний. И тут понимаешь, в чем дело – дело в том, что у меня есть своя теория о матричной природе социализации. Вот есть

некоторое количество ячеек, которые в этом социализационном цикле 25-летнем или каком-то заполняются. Вот они заполняются и потом оказываются заполненными настолько, что для новых поступлений места нет. И приходится волей или неволей от каких-то допустим ценностей, от каких-то новаций не то, чтобы отказываться. А вот они оказываются для тебя неактуальными. Для меня, например, как для человека, который в музыкальном смысле воспитан на музыкальном авангарде, на музыке начала XX века и XXI-го, на джазе в значительной степени – я уж тут честно признаюсь, что я даже еще что-то писал – рок-культура для меня оказалась уже невостребованной, просто потому что места нет. Она обладает своими особенностями, она требует более внимательного, четкого прочтения. И значит, так получилось, что обошелся без нее, и сейчас обхожусь. Вот такие скажем вещи естественны для человека, для индивида, для личности. А у Валерия было это стремление все это каким-то образом интериоризовать, вместить в себя, найти какие-то способы это как-то интегрировать. Иногда это получалось, иногда не очень. По-разному выходило. Но, по крайней мере, всегда это было довольно интересно, потому что всегда был повод для активного взаимодействия. Я не могу сказать, что уж оно было такое полемическое по своей природе, скорее нет. Скорее, скажем, ориентация на такую поглощающую познавательную деятельность у него, по-моему, не прекращалась ни на минуту.

Поскольку мы вспоминаем наших ушедших коллег и друзей, расскажи побольше о Марате Николаевиче Межевиче?

По поводу моих связей, отношений с Маратом Межевичем. Должен сказать, что мы как-то с ним очень быстро подружились, сошлись. Хотя он лет на пять старше меня, он все-таки принадлежал, наверно, к первому поколению, в этом смысле. Но нас, конечно, роднило вообще то обстоятельство, что он и я историки. Разных школ, разных факультетов и т.д. Надо сказать, что Марат занимался военной историей и историей флота. Одна из его книжек вышла в 80-х годах. Причем написал он ее вместе с большой компанией московских военных историков по истории русской армии XVIII века. То есть, он как бы не утрачивал интереса ни к чему, многие вещи для него были актуальны совершенно естественным образом. Но и понятно, что мы, в общем, так сказать, вместе расковыривали эту проблему, так сказать, городского образа жизни. В принципе, тогда она как бы стояла еще на уровне индикаторов, то есть общих представлений, общих составляющих. Шли, так сказать, большие споры. Причем самые разные люди вно-

сили в это свой вклад. Например, очень серьезную работу сделал в свое время Грушин, представив структуру показателей образа жизни. И как-то у нас с Маратом получилось тесное взаимодействие, которое привело впоследствии к тому, что он получил возможность формировать сектор городского образа жизни и меня привлек туда практически сразу. Поэтому я прекратил занятия социалистическим соревнованием и начал заниматься классической урбанистикой в том виде, в каком я ею всегда занимался. Поэтому я бы сказал так, что это был хороший товарищ. Тем более, что мы даже долгое время жили через дом на Малой Морской улице. Отношения у нас были самые дружеские. Хотя, в общем-то, они носили основу в первую очередь совместных профессиональных интересов. И потом, конечно, эта среда общения – она крайне много значит. Потому что у человека должно быть в жизни человек пять-шесть, с которыми он может разговаривать по довольно широкому кругу проблем. Вот Марат как раз относился к этим людям, он был гуманитарий широкого профиля, человек хорошо образованный в историческом плане и прекрасно разбирающийся в урбанистике, в градостроительстве. В общем, у нас с ним никогда не было никаких оппозиций, противоречий. По-моему, мы не больно много и спорили-то. Довольно много у нас было общего с точки зрения единства взглядов.

Сейчас ты значительную часть своего времени и своей души отдаешь преподаванию. Когда это началось? Как называется твоя институция, кафедра? Я то-ли слышал, то-ли читал мнение Галины Саганенко: «Мы учим плохо, но много лучше других». Уверен, что твой состав преподавателей обеспечивает высокий уровень обучения... в чем главная «изюмина», «пружина» вашего подхода?

Финальная часть – по поводу преподавания. Я должен сказать, что преподавать я начал с твоей легкой руки. Ты уж, наверно, этого не помнишь, ты меня свел с Николаем Мысиным, который тогда был то ли зам. декана, то ли еще кто-то в ВПШК – в школе культуры. И я буквально головой, так сказать, в омут бросился преподавать. Да не что-нибудь, а курс массовой коммуникации. Целый год, ничего, выстроил потихоньку, собрал все, что можно было. Конечно, в первую очередь, в какой-то степени с помощью ваших работ – Бориса Максимовича Фирсова, и я года четыре его эксплуатировал, читал в ВПШК. Потом пришла Светлана Николаевна Иконникова к Фирсову и сказала, что она собирается учредить специализацию «социология культуры» и ей нужны преподаватели. Хитрый Фирсов, который к тому времени уже имел, конечно, сложившийся и готовый проект Европейского Университета,

и понятно и очевидно, уже сложившийся в его представлении круг людей, которые у него должны были работать, он вывел ее на тех, кто в его замыслах особенно не был задействован. Но их оказалось тоже немало. С 1990 года мы начали работать. Значит, туда вписались Галина Саганенко, Олег Божков, Яков Гишинский, я. Да, Саша Клецин какой-то цикл читал там семью. И вот, короче говоря, какой-то контингент людей из Института пришел на работу – тогда он назывался Институт культуры, сейчас он называется Университет. И бог знает, как еще будет называться. Вот мы тогда начали работать с этим первым выпуском. Выпуск оказался довольно сильный, интересный. И так вот потихонечку к 2008 году мы выпустили уже 15-й выпуск, это около 200 человек. Олег Божков сейчас затеял проект, если получит грант, – а если не получит, все-равно будет его реализовывать – посмотреть биографии этих людей этих 200 человек, которых мы выпустили. Кроме того, что это дипломированные специалисты, это люди, которые, – часть, по крайней мере, – кончили аспирантуру. Около 20 человек из этого состава защитили диссертации. Кое-кто работает у нас в Институте, кое-кто рассыпан по разным местам. Преподают довольно многие. Во всяком случае, у нас сейчас по сути дела почти весь социологический цикл за малым исключением, укомплектован нами, сотрудниками института. Например, с большой любовью студенты воспринимают занятия и лекции Аллы Корниенко, Олег ее туда втащил. И она очень успешно работает, отдавая довольно много и времени и сил. В общем, очень интересно работает.

Я должен сказать, что здесь есть две стороны дела. Вот их надо в какой-то степени отметить. Дело в том, что идет такая последовательная социологизация гуманитарного знания. Постепенно, постепенно, вот с того момента, когда мы появились в Университете теперь, нас начали втягивать в чтение циклов лекций – условно говоря, эти лекции можно назвать «Введение в социологию». Это семестр, где-то часов 40, самые разные факультеты. И потихонечку мы как-то заняли свою позицию. И я бы сказал, по отношению к которой благожелательное в принципе восприятие того, что мы делаем, того, что мы читаем, того какие мы предлагаем циклы лекций и т.д. Так что у нас постепенно еще сложились отношения с Университетом, я имею в виду с Университетом Культуры.

Дело в том, что у нас как-то довольно странно складываются отношения с большим Университетом. Я не могу сказать, что там никто не работает, но парадокс заключается в том, что, как правило, там работают совсем другие люди, по сравнению с тем составом, который работает в Университете Культуры.

В общем, довели мы все это до какого-то логическо-структурного завершения, получили все необходимые документы вроде лицензий и т.д. То есть, мы по полному праву все это делаем. Сейчас посмотрим, подведем первые итоги – а что же все-таки сделано за эти 15 лет, кроме того, что мы просто, как говорится, настрогали 200 дипломированных социологов. У нас там, правда, немножко странноватая форма. Они называются “культурологи – социологи культуры”. Это уже всякие вузовские бюрократические формулировки, которые таковы, и иными быть не могут. Можно сказать так, что есть сравнительно небольшой контингент студентов, которые конечно интересуются социологией. И есть большая часть людей, которая интересуется получением образования вообще, а по востребованности – по выражению Бурдье, как символический капитал – социологический диплом не самый худший. Вообще есть такой интересный феномен сейчас. Довольно высоки конкурсы и высок процент студентов на платных и бесплатных, бюджетных и небюджетных отделениях, заканчивающих гуманитарные специализации. Дело в том, что если ты получишь диплом химика, то так тебе в химии и жить большую часть жизни. А диплом гуманитарной специализации дает какую-то свободу маневра. И должен сказать, что, например, у нас, наш Университет – гуманитарный вуз. С хорошим уровнем подготовки общегуманитарной по всем специализациям. Он, в общем, находится все время где-то в числе пяти-семи самых конкурсных ВУЗов города. Но одно дело там музыкантов эстрадно-джазовых готовит факультет. Понятно, что здесь есть разница и т.д. А кому нужны музееведы? Оказывается нужны. И нужны в больших количествах, как носители гуманитарного образования, общегуманитарного, серьезного, качественного, хорошего и т.д. Так и наши социологи. Часть их них – к сожалению, закрепить мы их не в состоянии – перемещается в те 40 коммерческих структур, которые сейчас действуют в городе. Часть работает преподавателями, в том числе у нас, в общем, это какой-то потихонечку складывающийся, формирующийся рынок. И в этом смысле ребята четко дифференцируют и свои интересы, и то, на что они ориентированы.

Олег сделал большое дело, он прокрутил довольно большой контингент – я уж не знаю, сколько у него там, это у него надо спросить – через свои экспедиционные исследования. Вот они каждое лето на протяжении семи-восьми лет ездят. И уж человек 20, по крайней мере, через его экспедиции прошло. И это большое дело. То есть мы, попросту говоря, все-таки стараемся дать какой-то эмпирический навык, какой-то навык участия в реальных проектах. И надо сказать, что ребята к

этому тянутся. Во всяком случае, на практиках у нас все время звучат пожелания-просьбы – а вот как бы нам еще чего-нибудь руками, самим поделать. Так что я думаю, что при прочих равных условиях мы сами во многом вольно или невольно являемся продолжателями традиций советской социологии. Хотя многому обучились, много новых веяний освоили, но тем не менее. Скорее всего, мы своих студентов ориентируем именно туда. Вот, скажем, мне приходится сталкиваться с аспирантами Европейского Университета – вот те уже ориентированы, конечно, на западные парадигмы, на западную методологию. Им иногда очень трудно бывает объяснить, что ребятки у нас есть собственный уникальный опыт, и он должен быть отражен в исследовательской работе. Но вот не всегда выходит.

Одной из сквозных тем всех последних моих интервью является вопрос о роли, месте марксизма в современной (постперестроечной) российской социологии. Какой взгляд на марксизм вы культивируете? С чем студенты согласны, что отрицают?

Что касается вопроса о роли и месте марксизма, то извини меня, но я при прочих равных условиях, занимаюсь еще и социальной структурой. И совершенно понятно, что вообще та же самая формационная теория Маркса, она не являясь абсолютной и не являясь универсальной, просто занимает свое место. То место, которое по ее объяснительным возможностям ей принадлежит. Но без нее социологический мир был бы не полон. Вот я наверно так отвечаю на этот вопрос.

Спасибо, Игорь.

Литература

1. Докторов Б. Галина Старовойтова. Фрагменты истории российской социологии как истории с «человеческим лицом» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 6. С. 8–13.
2. Докторов Б.З. Он изучал людские мнения «нещадно, вопреки всему». Памяти Бориса Андреевича Грушина (1929–2007) // Социологический журнал. 2007. № 4. С. 171–184.
3. Заславская Т.И.: «Я с детства знала, что самое интересное и достойное занятие – это наука» // Социологический журнал. 2007. № 3. С.137–169. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 16-49.
4. Здравомыслов А.Г. «Если мы не можем объяснить нечто воздействием высших сил, значит – надо искать объяснение в мире людских отношений» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 5. С. 2–10.
5. Лапин Н.И.: «Наша социология стала полем профессиональных исследований, свободных от ...» // Социологический журнал. 2007. № 1. С. 111–148. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 89-127.

6. Шляпентох В.Э.: «Только эмпирическая социология в СССР была ареной творчества для гуманитариев» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 6. С. 1–13.
7. Ядов В.А.: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 3. С. 2–11; 2005. № 4. С. 2–10. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 183–233.
8. Докторов Б. Жизнь в поисках «настоящей правды». Заметки к биографии Ю.А. Левады // Социальная реальность. 2007. № 6. С. 67–82.
9. Фирсов Б.М.: «...О себе и своем разномыслии...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 1. С. –12. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 535–566.
10. Алексеев А.Н. Познание через действие. (Так что же такое “драматическая социология”?) // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 5. С. 11–23.
11. Гилинский Я. И.: «...Я начинал как чистый уголовник...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. . № 2. С. 2–12. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 369–399.
12. Гофман А.Б.: «Социальная реальность ... - это сфера свободы» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. . № 2. С. 2–13. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 621–653.
13. Ионин Л.Г.: «Надо соглашаться с собственным выбором» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. . № 3. С. 2–14. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 654–687.
14. Шереги Ф.Э.: «Тогда я и пришел к выводу: СССР стоит перед распадом» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. . № 5. С. 5–14. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 1000–1026.



Шереги Ф. Э. – окончил математическое отделение физико-математического факультета Ужгородского университета, кандидат философских наук, директор Центра социального прогнозирования. Основные области исследования: методология и методы социологии, социология образования, науки, девиантного поведения, прикладные социологические исследования, общественное мнение, маркетинговые исследования. Интервью состоялось в 2006-2007 годах.

Приезжая в Москву, я всегда стараюсь встретиться с Францем Шереги, но при этом от многих слышу, что они его давно не видели. Почему же это происходит?

Первая причина: Шереги всегда безумно много работал и остается верен себе. В последние годы им проведено огромное число прикладных социологических исследований по широчайшему спектру проблем, он – один из пионеров маркетинговых исследований в России, он много пишет и регулярно издает.

Вторая причина: Шереги не любит «тусовку», ему милее – более глубокие формы общения. Его не прельщают дискуссии, ему много ближе, роднее внутренний диалог. Но он не нелюдим: он многих знает, и его многие знают. Созданный и руководимый им Центр социального прогнозирования публикует не только свою продукцию, им издан ряд книг советских/российский социологов, причем даже тех, с логикой и выводами которых он не согласен.

**Ф.Э. Шереги:
«ТОГДА Я
И ПРИШЕЛ
К ВЫВОДУ: СССР
СТОИТ ПЕРЕД
РАСПАДОМ»***

**Сначала была
«социологическая академия»**

Нередко я интересуюсь тем, почему наши коллеги стали социологами, хотя их ответы скорее раскрывают, как, в силу каких обстоятельств они выбрали этот путь. Тебе я не стану задавать вопрос «почему?», а потихоньку начнем раскручивать «как ты стал социологом»...

С детства у меня не было однозначной мечты или цели – кем стать? Мое понимание смысла жизни, сообразно ценностям жителей малого городка Виноградов (до вхождения Прикарпатского края в состав СССР в 1946 г. город назывался Севлюш), воплощалось в понятии «семья». Все остальное – это для обеспечения условий жизни семьи. С таких позиций кем и где работать для меня не являлось

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 5. С. 5–14.

ценностью, но лишь конкурентоспособным средством, призванным удовлетворить не мои личные профессиональные амбиции или «таланты», а потребности семьи. Этот приоритет у меня сохранился по сей день, поэтому свое занятие прикладной социологией считаю рутинным инструментом заработка на жизнь, и не более того.

Естественно, как и у всех в молодости, у меня были планы реализовать себя в профессии, но то были мимолетные увлечения: стать священником (католическим, так как в этой церкви я посещал курсы), поэтом или писателем, мясником (пойти по стопам отца), а в выпускном (10-м) классе школы – юристом или философом. В итоге, после семи лет обучения в венгерской и трех лет обучения в русской школе, я поступил на математическое отделение физико-математического факультета Ужгородского университета (столица Закарпатья). Проучился один год (на украинском и русском языках) и со второго курса меня забрали в армию, по причине послевоенной «демографической ямы» забирали всех студентов 1–3 курсов. И три года прослужил под Москвой. После окончания службы, будучи женатым и с ребенком, обучение в университете продолжил заочно; три последних года – экстерном, так как жил я в Московской области, а обучение продолжал в Ужгороде. Кстати, в аспирантуре Института конкретных социологических исследований Академии наук СССР я начал обучение в 29 лет (в 1973 г.), продолжая работать переводчиком на двух работах. Так что и здесь обучение фактически проходило как бы заочно. В итоге систематического высшего образования я не получил и считаю себя «самоучкой».

Если можно, поясни, как ты оказался в среде социологов...

Это произошло случайно, пытался уйти от изнуряющей рутины переводческой работы с венгерским языком, который и по сей день является для меня родным. Получилось так, что работая с 1968 года переводчиком-синхронистом в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в Москве, я перевел лекции, семинары, зачеты и экзамены по философии, политэкономии, истории КПСС, научному коммунизму, международному рабочему движению, а с 1971 года – по прикладной социологии, которые читал проректор по науке ВКШ Владимир Смирнов, социолог из города Горького (Нижний Новгород), и многим другим гуманитарным предметам. Также приходилось переводить выступления делегатов на съездах, конференциях различных политических и общественных организаций; при этом до 1971 года я продолжал заочно изучать математику в Ужгородском университете. Таким образом, непроизвольно

я получил и гуманитарно-политическое (естественно, марксистское) образование.

Мне pravidло было переводить лекции по философии и прикладной социологии. Последняя мне импонировала своей рациональностью и связью с математикой. В августе 1973 года я случайно прочитал в газете «Вечерняя Москва» объявление о приеме в аспирантуру ИКСИ АН СССР. Так как я подсознательно уже искал возможность сменить специальность переводчика, то по наивности подал документы в аспирантуру на заочное отделение. По наивности потому, что в советские времена «с улицы» в аспирантуру не поступали, как правило, места были распределены заранее. Реферат я подготовил по выборочным методам в социологии. Еще до вступительных экзаменов в Отделе аспирантуры мне предложили переписать заявление на очное отделение, что я и сделал. В последующем я узнал, что инициатором этого был Владимир Эммануилович Шляпентох [1], меня лично не знавший, но рецензировавший мой реферат по выборочным методам.

В итоге, «случайно» я поступил в аспирантуру и мне назначили руководителем Шляпентоха. Сектором, к которому я был прикреплен, руководил Андрей Григорьевич Здравомыслов [2]. Здесь же работали Эдуард Андреев, Ольга Маслова, Елена Петренко [3].

Да, глядя в прошлое, можно сказать, что ты попал в очень сильный научный коллектив. Как началось обучение?

Ты знаешь, я довольно быстро осознал, что, подобно мольеровскому персонажу из пьесы «Мещанин среди дворян», – «говорю *прозой*». Иными словами, социологии в аспирантуре я не учился, просто расширил свой кругозор о социологах и углубил – по методам прикладной социологии. Что касается собственно «социологического видения» социальных проблем, я им уже тогда владел полностью и более широко, чем советские социологи. Более того, при сдаче кандидатских экзаменов в аспирантуре мне приходилось снижать свой уровень до «коммунистических догматов», иначе я бы их не сдал (я не имею в виду собственно марксизм, который изучал с интересом).

Я не делал различий в восприятии текстов советских или иностранных социологических работ, для меня они представляли собой только источник информации для сопоставления с моими личными взглядами, полностью автономными и в советское, и в нынешнее время. Именно этим объясняется тот факт, что в своих работах я никогда никого из социологов или философов не критиковал, относясь к ним только к позиции коллегиальности и права на собственное автономное мнение,

но в то же время «единицы раз» (в конце 70-х – начале 80-х годов) участвовал в научных симпозиумах, и никогда – в научных конференциях или конгрессах, то есть сознательно избегал и по сей день избегаю массовой научной коммуникации.

Я пришел в советскую социологию случайно, причем как «белая ворона» и остался «белой вороной» и в российской социологии. Иначе говоря – пришел в социологию «ниоткуда», «побродил» в кулуарах словно незваный, но «дикий» гость, и остался в российской социологии как неудобный объект, который в какой-то мере мешает, но к которому «притерлись» и мимо которого можно проходить не замечая, коли в нем нет надобности. Меня такое положение в целом удовлетворяет, так как и о советской, и о российской социологии я очень невысокого мнения и ностальгии по ней никогда не испытывал и не испытываю по сей день.

Пожалуй, это все так... Но если не аспирантура, то что предопределило твою склонность к анализу социальных процессов?

Укажу три причины, вытекающие из условий моей социализации.

Первая причина – географическое расположение Закарпатья. Это географический центр Европы, в котором сталкивались политические интересы различных государств. В течение первой половины XX века, да и ранее, в течение 800 лет эта область являлась территорией Австро-Венгрии, после первой мировой войны – Румынии, потом Чехии, в 1938 году часть области выделилась в самостоятельное государство «Закарпатская Русь» со столицей в городе Хусте, потом снова отошла Венгрии, после войны преобразовалась в Закарпатскую Украину, в итоге – вошла в состав Советского Союза как Закарпатская область. Население области не успевало переучивать «государственные языки», гимны и законы.

Вместе со сменой государств, поглощавших область, менялись и политические системы: капитализм, «мелкодержавный» шовинизм, фашизм, в итоге в 1948–49 годах национализация, создание колхозов и установление социализма. Это способствовало формированию у населения социального иммунитета по принципу: «кесарю кесарево, а я сам себе на уме». Эта неподверженность никакой политической идеологии и скептицизм относительно законодательств характеризует население Закарпатья по сей день. Она же является основой умения самостоятельно анализировать любые политические и социальные процессы, делать независимые выводы и принимать автономные решения. Так «от природы» я стал *политиком*.

Вторая причина – национальный и этнический состав населения. Испокоин веков область населяли горные украинцы (гуцулы), русины (в долине), венгры, румыны, словаки, немцы, австрийцы, евреи, с 1946 года – русские. Не принимая государственной идеологии, коренное население самоидентифицировалось по конфессиям. В каждом селе имелось по 1–2, а в небольших городах – по 4–5 церквей: униатская (византийская, или греко-католическая), римско-католическая, протестантская, православная, иудейская, кроме того, секты пятидесятников, субботников, еговистов и др. Совместное существование и оппозиция меняющимся государствам, попеременно поглощавшим область, способствовало выработке у населения этнической и конфессиональной толерантности и солидарности. Все с детства говорили на 2–3 языках, в зависимости от национального состава населения города, в частности, дома и в школе – на родном языке, в официальном общении или в случае незнания языка собеседника – на официальном государственном языке соответствующего периода; в период СССР – на русском. В такой среде я стал чувствовать и понимать суть *межэтнических и межконфессиональных отношений* «своим нутром».

Этому способствовало и то, что я вырос в интернациональной семье: мать – еврейка, отец по матери – австриец, по отцу – венгр, жена – русская. В закарпатской среде было принято гордиться этнической и конфессиональной принадлежностью, при этом не кичась и уважая этническую и конфессиональную принадлежность других. Выдавать себя за кого-то другого было равноценно лишиться человеческого обличья. Кстати, в этом отношении в Москве я столкнулся с ранее мной невиданными масштабами этнической и конфессиональной мимикрии, для меня ставшими очевидными только в начале 1990-х годов, после распада СССР. В советский период по своей наивности я не мог даже предположить возможность «раздвоенной» этнической жизни в столь массовом масштабе.

Третья причина – личный жизненный опыт, в существенной степени повлиявший на восприятие мной политических и производственных отношений.

Личный политический опыт заключался в том, что все население Закарпатья формировалось в капитализме и примерно до 1960-х годов социализм воспринимало как временное явление, равно как и советскую «оккупацию». В течение семи лет в венгерской школе меня учили «капиталистические» учителя. Через страдания матери, по причине ее национальности, меня лично затронули как немецко-венгерский фашизм, так и сталинские репрессии (в период «дела еврейских врачей»).

Что касается формирования моих социально-экономических воззрений, то они станут понятными, если я только перечислю профессии, по которым работал: сельскохозяйственный рабочий в полеводстве, садоводстве; сапожник, пекарь, мясник, артист венгерского народного театра, студент университета, военнослужащий, заведующий библиотекой, учитель венгерской школы, репетитор по подготовке к поступлению в вуз по математике, физике и французскому языку; переводчик-синхронист венгерского языка в политической системе и в войсках (на пограничных курсах высшего офицерского состава), аспирант, ответственный секретарь журнала «Социологические исследования», научный сотрудник, преподаватель вуза, предприниматель.

Приехав в Москву из Центральной Европы и имея богатый личный опыт всевозможных социальных отношений, в том числе и капиталистических, я считал себя в социальном отношении более зрелым, чем советские социологи. Думаю, что история подтвердила мою правоту.

Франц, как вам в школе объясняли вхождение Западной Украины в СССР? Наверное, дома вы слышали иную версию?

Общепринятая официальная версия была простая – советские войска освободили земли Украины. Нас эта, да и любая иная официальная версия «не коробила», так как все мы, кстати, даже местные украинцы (гуцулы) и русины, обладали превентивным «генетическим» иммунитетом недоверия к любой официальной информации – и советской, и несветской – даже если она была объективной. Отчуждение населения Закарпатья от любой государственности как института власти всегда было абсолютным.

Как ты и окружавшие тебя люди воспринимали события 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии? Видать, иначе, чем жители других регионов СССР.

События в Венгрии мы воспринимали с надеждой на падение тоталитаризма и изменение судьбы области (возвращение ее Венгрии или Чехии, ибо среди населения области бытовало мнение, что Закарпатье отошло СССР лишь сроком на 12 лет, в виде «контрибуции», согласно Тегеранскому соглашению). Аналогично воспринимали и события в Чехословакии. В начальные дни чехословацких событий я переехал жить в Московскую область (июль 1966 года) и начал работать переводчиком в Высшей комсомольской школе. Я и здесь открыто выражал сомнения в правильности решения о взводе советских войск в Чехословакию. Коллеги и декан иностранного факуль-

тета, где я работал, пытались аргументировать необходимость такого шага, но не пытались переубедить меня, считая, что я «с провинции», да еще не русский, а посему политически и идеологически незрелый. Кстати, такая позиция давала мне определенные преимущества: я мог говорить свободно и без последствий то, за что других, как минимум, уволили бы с работы.

Можно сказать, что еще до поступления в аспирантуру ты получил образование в «социологической академии».

Пожалуй, так. Потому свои социологические «опусы» я пишу «от жизни», а не по заученным шаблонам. Естественно, я знал многие работы западных социологов, изданных в Венгрии без всякой цензуры. Однако в шаблонах никогда не нуждался и не нуждаюсь: ни в советских, ни в западных, при всем моем уважении к профессиональной деятельности и советских, и западных социологов.

К социализму с начала 1960-х и до начала 1980-х годов я относился лояльно, особенно к провозглашавшимся моральным принципам. Более того, состоял в КПСС в течение 25 лет, вступил во время службы в армии. По социально-философским и экономическим взглядам по сей день считаю себя марксистом, и эту свою позицию вряд ли изменю. Что касается логических методов теоретической социологии – я гегельянец.

«Вхождение» в советскую социологию

До поступления в аспирантуру, ты все же был знаком с общими положениями советской социологии?

До 1973 года о социологах я знал мало. Будучи занятым в вузовском учебном процессе как переводчик, я был информирован, что наибольшей популярностью в вузах, где преподавали прикладную социологию (таких было немного) пользовались учебники В. Ядова [4], А. Здравомыслова и Г. Андреевой. Как безукоризненные в дидактическом плане, эти книги не смогла заменить даже изданная в последующем Институте социологии «Рабочая книга социолога». Среди аспирантов и преподавателей популярностью пользовались также книги В. Шляпентоха по проблемам достоверности социологической информации. Ни с кем из социологов я лично знаком не был и познакомился только в аспирантуре.

Мое первое впечатление об ИКСИ АН СССР было восторженным. Придя из политической системы, где в производственных отношениях господствовала строгая иерархия, я

был поражен открытием для себя академической демократии, особенно у социологов, которая мне показалась сродни западной демократии. Ранее подобных производственных отношений в СССР я нигде не встречал. Увиденное с самых первых дней укрепило меня во мнении – в правильности которого я уверен и сегодня, – что советские социологи явились не только важным предвестником демократических перемен в СССР, но и приложили большие усилия для приближения этих перемен.

Будучи хорошо знаком с практикой преподавания исторического материализма, научного коммунизма и прикладной социологии, в последующем я сделал вывод, что институционализация прикладной социологии в СССР явилась следствием разделения труда в рамках марксистского обществоведения в связи с давлением молодого поколения обществоведов, и не только. Этого также требовало нарастающее карьерное давление молодых кадров политической системы; в 1970-х годах возраст Первого секретаря ЦК Комсомола был около 50 лет.

Процесс разделения труда в общественных науках я наблюдал со студенческих лет. Уже в начале 1960-х годов «лишние» партийные кадры, имевшие военные заслуги, но не имевшие достаточного образования, направлялись на работу директорами школ или, в редких случаях, в вузы преподавателями истории КПСС. В 1970-х годах внутрипартийная конкуренция обострилась и партийных функционеров стали направлять в аспирантуру для подготовки преподавателей гуманитарных дисциплин для вузов; чаще всего они становились заведующими кафедрами.

Чтобы мест в вузах хватило для всех «перемещенных» партийных кадров, началось расширение и дробление общественных дисциплин, преподавание которых было обязательным и на естественнонаучных, и на технических факультетах вузов. Говоря о расширении, я имею в виду появление таких курсов, как: научный атеизм, международное рабочее движение, колониализм и неоколониализм. «Дробить» же начали исторический материализм, дополнив его научным коммунизмом (в странах Восточной Европы – научным социализмом) и в ограниченных масштабах легализовав прикладную социологию. Этим объясняется тот факт, что в советскую, тем более – в российскую – социологию многие специалисты, даже среди известных социологов, пришли с партийных и комсомольских должностей или после окончания Института международных отношений. Это были не состоявшиеся дипломаты, но хорошо владевшие иностранными языками и способные освоить опыт западной прикладной социологии.

По большому счету, развитие прикладной социологии в СССР (равно как и в Венгрии, Польше и т.д.) с позиции мировой общественной науки было *сугубо внутренним делом страны*. Советские социологи наверстывали упущенное за годы тоталитаризма и, по моему мнению, представителей западной социологии этот процесс интересовал лишь в политическом плане – удастся советской социологии выжить, или не удастся, и в какой степени она сможет интегрироваться в международную социологическую коммуникацию.

Такая позиция вполне естественна, так как предмет прикладной социологии – преимущественно проблемы конкретного («собственного») общества или государства. Гиперболизация социологических проблем в СССР происходила по инициативе отечественных социологов, в первую очередь не как процесс интенсивного развития научных знаний, а как вуалированное проявление профессиональной конкуренции.

В связи с этим отмечу еще одну особенность советской социологии, удивившую меня еще в аспирантуре – неимоверное число межличностных конфликтов, вроде бы по поводу научной корректности позиций исследователей. Эти дискуссии, порой перераставшие во взаимное «хаяние» и в кулуарах, и на страницах изданий, в значительной степени уменьшали коллегиальность в развитии зарождавшейся вновь советской социологии.

Итак, ты многое знал, но было что-либо, оказавшееся для тебя неожиданным?

В аспирантуре, во время работ в научных библиотеках, я был приятно удивлен открытием для себя богатой практики прикладной социологии в СССР в 1920-х годах, в последующем в специальной статье в журнале «Социологические исследования» я обобщил методический опыт этих исследований. Но удивляло меня и то, что большинство советских социологов обращались к этому опыту редко, предпочитая изучать опыт западных социологов. Хотя понять их можно – требовалось быстрее наверстать упущенное.

Я вошел в советскую социологию как «ученик», когда она уже стала легитимной, и моим намерением было «освоить науку у ученых» (с детства к учителям, независимо от обстоятельств, я относился только с уважением и благодарностью). В первый год обучения в аспирантуре я не дифференцировал советских социологов по «учености», а дифференцировал только по критерию «знаю – не знаю» и стремился больше узнать о всех специалистах в стране, занимавшихся социологией в исследовательских институтах или вузах.

Начитавшись социологических изданий, примерно через год я стал дифференцировать социологов по критерию «ученый – идеолог». В итоге в составе первого поколения социологов к *ученым* я отнес и по сей день отношу Б. Грушина [5], В. Ядова, А. Зравомыслова, В. Шляпентоха, А. Харчева, Т. Заславскую [6], Б. Фирсова [7], Б. Докторову [8], И. Кона, Г. Андрееву, В. Шубкина.

Франц, приятно оказаться в такой великолепной команде, но ты понимаешь, что к первому поколению я никак не принадлежу...

...Остальных я отношу к «идеологам». Это отнюдь не умаляет профессиональной значимости многих других советских социологов, но прежде всего как идеологов или социальных философов. Вряд ли я ошибаюсь в оценке, так как работая в 1977–78 годах ответственным секретарем журнала «Социологические исследования», у меня была возможность узнать всех социологов страны, заказывая им статьи для журнала. «Научная импотенция» многих была поразительной.

Глядя в прошлое, как бы ты оценил роль власти в развитии советской социологии в 70-х годах.

В мою бытность аспирантом в социологии еще действовала цензура, поэтому проводить исследования было сложно, требовалось разрешение специальных органов. Кроме того, денег на исследования не выделяли, поэтому полевая стадия исследований (опросы) проходила на общественных началах, что не гарантировало необходимого качества. Однако энтузиазм исследователей был велик, и я его тоже разделял.

В то же время у меня нет оснований утверждать, что в 1970-х годах и далее советская власть подавляла прикладную социологию. Во-первых, в крупных университетах и в политических образовательных учреждениях преподавали курс прикладной социологии. Будучи аспирантом, в 1974–76 годах я лично читал курс – 60 часов – по прикладной социологии и социальной психологии на венгерском языке для руководителей венгерского союза молодежи в Высшей комсомольской школе. Также проводились исследования по идеологической тематике и вопросам политического управления. Подобные исследования проводились и профсоюзными организациями, и силовыми ведомствами (например, исследования по проблеме наркомании, проводившиеся Анзором Габани в пенитенциарных учреждениях Грузии). И если конфликты в академических институтах имели место, то порождали их сами ученые этих институтов своими бесконечными междоусобицами.

Наряду с московскими социологами у меня большое уважение вызывали ленинградцы, с которыми я познакомился благодаря моему активному содействию, а также Новосибирские социологи, во главе с Т. Заславской. В общем, за годы аспирантской учебы я познакомился с большинством советских социологов и как бы влился в их среду.

Пожалуйста, припомни о работе с Анатолием Георгиевичем Харчевым и немного расскажи о нем. Он – бывший ленинградец и мно- гими читателями «Телескопа» будет интересно прочесть о нем.

Еще до окончания аспирантуры А. Харчев, главный редактор журнала «Социологические исследования», пригласил меня в журнал ответственным секретарем (у двух предшествующих ответственных секретарей возникли конфликты с цензурой и их пришлось уволить). Я полтора года проработал в журнале.

Харчев был ученым с прагматическим стилем мышления, «железной» логикой и одновременно широким, системным видением. Занимаясь социологией семьи, он старался развить направление, которое, после его смерти и смерти Михаила Семеновича Мацковского в академических кругах оказалось забытым. Это был блестящий главный редактор первого советского периодического социологического журнала Академии наук. Он не только поднял журнал на уровень, который после него не смог удержать ни один главный редактор, но, умело используя редакционную коллегию, при помощи журнала поддерживал достойный уровень советской социологии, по сути, формировал научную культуру советской прикладной социологии. Посредством журнала он стимулировал развитие социологической культуры не только в академических кругах, но и в вузах, в том числе в провинции. Он стимулировал советских социологов делать и писать *свою* социологию, а не только переписывать западные работы. Как участник войны, самостоятельно прошедший через все ухабы карьерного роста, без чьей либо поддержки, он никогда не допускал компромисса в ущерб совести и морали. Он умел находить приемлемые решения с представителями партийной власти в том, чтобы журнал «Социологические исследования» сохранял свой научный облик и не оказался под давлением партийной идеологии. Его ранняя смерть явилась большой утратой для интеллектуального ядра советской социологии.

После защиты кандидатской диссертации по квотной выборке я ушел работать старшим научным сотрудником в Научно-исследовательский центр Высшей комсомольской школы. Это позволяло надеяться на решение жилищной проблемы.

Какие исследования проводились в НИЦ ВКШ?

Хотя мотивация прихода в 1978 году в Научно-исследовательский центр ВКШ у меня была сугубо житейская, тем не менее, здесь я начал активную социологическую практику. В итоге десятилетие с конца 1970-х годов оказалось для меня периодом интенсивной профессиональной деятельности в прикладной социологии. Во-первых, я продолжал оставаться членом редколлегии журнала «Социологические исследования» и тесно сотрудничал с его главным редактором, Харчевым Анатолием Георгиевичем, с которым у меня сложились тесные дружеские отношения.

Кроме того, я продолжил активную преподавательскую деятельность на советском и зарубежном факультетах ВКШ, читая на русском и венгерском языках две дисциплины – прикладную социологию и социальную психологию. Я старался поддерживать тесные научные, в основном личные, контакты с социологами академических институтов. Сотрудничал на полставки в НИИ профсоюзов по проблемам наставничества (здесь же работал в области социологии труда один из старейших специалистов – Станислав Флегонтович Фролов, а также по совместительству руководил сектором исследования проблем трудового воспитания А. Харчев).

Масштабные социологические прикладные исследования стали разворачиваться в НИЦ ВКШ до моего прихода. По инициативе и под руководством Владимира Мухачева, приехавшего в Москву из Свердловска (вновь переименован в Екатеринбург), в 1977 году было начато масштабное социологическое исследование (оно продолжалось почти пять лет) по проблемам профессиональной ориентации в образовательных учреждениях и отношению к труду молодых рабочих, интеллигенции, работников сельского хозяйства. Идея этого исследования была заимствована из книги А. Здравомыслова и В. Ядова «Человек и его работа». Это было Всесоюзное исследование, в котором участвовало до 30 исследователей в Москве и не меньше – в регионах страны. Было получено огромное количество интересного эмпирического материала, однако, в связи с началом кризиса в стране в 1980-х годах, уходом из Центра многих исследователей, дальнейшая судьба этих материалов неясна. Опубликована лишь небольшая их часть, в основном в изданиях НИЦ ВКШ.

В последующем в НИЦ ВКШ стали проводиться прикладные исследования по нравственной культуре молодежи (руководил Сергей Плаксий, ныне ректор Независимого университета бизнеса), по актуальным проблемам молодежи для эмпирического обоснования положений первого проекта Закона о молодежи,

разработка которого велась под руководством Игоря Ильинского (ныне ректор Московского гуманитарного университета), Джахан Поллыевой (ныне сотрудник аппарата Президента по вопросам образования и науки) и Валерия Лукова (ныне директор Научной части Московского гуманитарного университета). Здесь же в начале 1980-х годов подобное масштабное Всесоюзное исследование было проведено по проблемам политической культуры молодежи под руководством профессоров Юрия Ожегова, Валентины Левичевой, Евгения Леванова. Часть материала опубликована во внутренних изданиях НИЦ ВКШ, судьба остальной части материалов неизвестна.

Чем ты занимался?

Начав работу в НИЦ ВКШ в качестве старшего научного сотрудника (в 1990 году завершил в качестве заведующего Отделом изучения общественного мнения) я получил максимальную свободу действий. Первое крупное самостоятельное исследование я затеял в 1978 году в связи с предстоящим Съездом комсомола. Меня интересовал характер реакций молодежи на проблемы, которые прозвучат в докладе съезду, степень интереса рядовых комсомольцев к этому политическому форуму и дискуссиям, актуализированным подготовкой к съезду. Одним словом, я собирался изучить общественное мнение советской молодежи. Для этого мне предоставили все условия и средства, хотя прямого заказа со стороны ЦК комсомола не было. В этот же период меня познакомили с Михаилом Горшковым (ныне директором Института социологии РАН), являвшимся научным сотрудником на кафедре социальной психологии А.К. Уледова в Академии общественных наук при ЦК КПСС, тогда он завершал работу над кандидатской диссертацией по проблемам общественного мнения. Горшков предложил свое участие в исследовании и высказал мнение о целесообразности снятия не просто среза, а изучения динамики общественного мнения, для чего требовалось три «замера»: за неделю до начала работы форума, в период его работы (четыре-пять дней) и спустя неделю после завершения работы съезда. Я согласился с его предложением. Результаты исследования мы в последующем опубликовали в журнале «Социологические исследования». Измерили ли мы динамику именно общественного мнения? Вряд ли. Скорее мы получили некую картину состояния и формирования идеологизированного массового сознания советской молодежи. Но эта картина была объективной, т.е. мы сняли эмпирическую картину того, что в реальности рождалось на советской почве [9]. В последующем мы провели вместе с М. Горшковым еще три опроса общественного мнения молодежи

в периоды очередных съездов комсомола и два опроса в периоды проведения съездов КПСС. Все эти исследования не имели практических последствий, кроме как удовлетворения нашего научного любопытства. Но в этом нам никто не мешал.

Далее меня заинтересовали вопросы формирования идеологического сознания молодежи в условиях доступности советских и зарубежных телепередач. Такая ситуация складывалась в приграничных зонах СССР. В качестве объекта исследования я выбрал Закарпатскую область, и не только потому, что население здесь мне было хорошо знакомо, но потому, что здесь были общедоступны для просмотра восемь телеканалов: два – венгерских, румынский, чешский, словацкий, украинский (из Киева) и два центральных, «московских». Это был не просто опрос населения, но наряду с анкетой, респонденты в течение одной недели ежедневно заполняли хронометрический дневник телезрителя, который в последующем кодировался на основании опубликованных в местных газетах телепрограмм. Были получены интереснейшие результаты, о которых мы ранее не знали. В частности, сравнивая обращения респондентов к телеканалам различных государств, мы определили, что, если все тематические передачи, независимо от канала, или страны, респонденты выбирают только *на основании интереса* к содержанию самой передачи, то выбор политических передач полностью обусловлен *авторитетностью канала*. В связи с этим те, кого интересовали политические передачи советских каналов, смотрели их только по «московскому» каналу, но игнорировали «киевский» канал. Касательно политических передач на зарубежных телеканалах, то и венгры, и румыны, и словаки (проживающие в Закарпатье), предпочитали смотреть венгерский канал, как наиболее достоверный. Активно участвовавший в этом исследовании секретарь Закарпатского обкома комсомола Владимир Гоблик защитил кандидатскую диссертацию в Институте социологии АН СССР, но из-за идеологической «остроты» материала в дальнейшем он не был опубликован и в свете 1990-х годов оказался утерянным.

Первый серьезный социальный заказ, который был мне поручен, исходил от центральных политических органов в 1982 году (ЦК КПСС и ЦК комсомола). Было предложено изучить социальные проблемы строителей Байкало-амурской железнодорожной магистрали (БАМ), в том числе мотивацию приезда на «стройку века», планы строителей на будущее. Удивительным было то, что, несмотря на высокий политический заказ, начальник ГлавБАМстроя (статус зам. министра) К.В. Мохортов в течение длительного времени находил повод не пускать интервьюеров на БАМ. В итоге у меня и работников

ЦК комсомола состоялась встреча с Мохортовым в Москве. Он ознакомился с анкетой, я пообещал исключить из анкеты острые вопросы о социальных проблемах строителей, после чего Мохортов дал указание руководителям участков БАМа допустить к работе наших интервьюеров. Сознаюсь, никаких сокращений в анкете я не сделал, я знал степень занятости руководителей такого ранга и был уверен, что читать анкету он больше не будет. Исследование было очень трудным и в высшей степени интересным. Со мной вместе исследованием руководил Евгений Белкин, ныне профессор, сотрудник Совета Федерации РФ [10].

Результаты исследования меня поразили. Исходно я думал, что оно необходимо для понимания причин нежелания молодежи ехать на БАМ. Однако обеспеченность рабочей силой на БАМе оказалась 120–140%. При этом молодежь, приехавшая из европейской части СССР, через четыре-шесть месяцев действительно разрывала контракт и уезжала с БАМа. Это было вызвано низкой зарплатой и отсутствием элементарных бытовых условий для проживания, жили в вагончиках. Оставались рабочие, приехавшие из регионов Сибири и дальнего Востока. Они занимали места высокооплачиваемых специалистов, зарабатывали «приличные» деньги, их вполне устраивал климат, и они никуда не уезжали. Досрочно уезжавшую со стройки «европейскую» молодежь никто не задерживал. В действительности на стройке они были не нужны. Просто в советские времена социальные фонды предприятиям и стройкам выделялись в соответствии с числом занятых. Средства, высвобожденные за счет досрочно уехавших молодых работников, руководство БАМ под различными «экономическими» предлогами разворовывало.

Поразило меня и то, что, хотя стройка объявлялась и пропагандировалась как интернациональная, в действительности 85% приезжавших на БАМ составляли русские. Например, в составе бригад, приезжавших из республик Средней Азии, русские составляли 95% (из Прибалтики – 60%, Украины – 40% и т.д.). По итогам исследования на БАМе я подготовил информационно-аналитическую записку в ЦК комсомола, которая – предполагалось – должна была быть ужата до 3-х страниц и направлена секретарю ЦК КПСС по идеологии М. А. Сулову. Однако этого не произошло, так как Сулов скоропостижно скончался. В итоге всю БАМовскую проблематику, за исключением небольших конфликтов между консультантами ЦК партии и ЦК комсомола за остроту материалов исследования, «спустили на тормозах». Меня в это «разбирательство» не втягивали.

Однако я заинтересовался противоречием между информацией об интернациональном составе строителей магистрали, усиленно распространявшейся официальной пропагандой, и выявленной мною высокой национальной однородностью приезжавших отрядов строителей. Тогда я пришел к неожиданному для себя выводу о том, что русские (и «русскоязычные») вытесняются из национальных республик. Сделать это предположение меня стимулировал еще один факт, выявленный в ходе исследования: среди мотивов поездки молодежи на БАМ «стремление заработать деньги» находилось на 3–4 месте, а средняя зарплата, несмотря на тяжелый труд и сложные климатические условия, всего в 1,6 раза была выше, чем у строителей в среднем по стране. В 1983 году я срочно провел еще два аналогичных опроса на «интернациональных» стройках – Канско-Ачинском топливно-энергетическом комплексе (КАТЭКе) и в Волгодонске, на строительстве завода «Атоммаш». «Интернациональная» по замыслу структура отрядов строителей, рекрутированных на стройки по комсомольскому призыву, на самом деле здесь также оказалась почти мононациональной – в основном русские или «русскоязычные» (украинцы, белорусы).

Таким образом, уже в 1983 году у меня не осталось сомнений в том, что русская молодежь, и вообще представители нетитульных национальностей, стали вытесняться из национальных республик. Центральная власть об этом знала и содействовала переселению русских путем финансирования так называемых «ударных строек». Я сделал следующий вывод: социальные фонды национальных республик стали скудеть, рабочих мест, где имелись социальные гарантии (детские сады, дома отдыха, профилактории, возможность получить жилье), с трудом хватает только для представителей титульных национальностей; такая ситуация может привести к межнациональным противоречиям и центральная власть постепенно «выводит» из национальных республик русскую молодежь. Тогда я и пришел к выводу: СССР стоит перед распадом.

Я высказал свое мнение некоторым представителям ЦК комсомола, с кем совместно работал во время исследования БАМа. Они не стали возражать, но посоветовали на эту тему открыто не рассуждать. Кстати, мысль о распаде СССР ко мне уже приходила и ранее, после окончания аспирантуры, в 1977 году, и основана она была сугубо на сочетании классово-теории Маркса и теории колониальных систем, которую я помнил еще с периода моей работы переводчиком.

Как-то вечером осенью 1977 года, по дороге из Института социологии к метро, я высказал своим друзьям-аспирантам

из Института Ягфару Гарипову и Леониду Веревкину мнение о том, что постепенное расширение национальной интеллигенции и бюрократии (служащих) национальных республик, рост численности рабочего класса – одним словом, становление более прогрессивной социальной структуры – приведет к стремлению национальных республик выйти из состава СССР по причине боязни конкуренции, которую они явно не выдерживали с аналогичными представителями социальной структуры метрополии (т.е. России). Я не помню, что мне ответили коллеги, но больше об этом мы не говорили и лишь Ягфар Гарипов напомнил мне об этом разговоре после распада СССР в начале 1990-х годов.

О перспективах СССР мы много беседовали и с А. Харчевым, к которому я часто приходил домой. Уже в начале 1980-х годов он отзывался о перспективах СССР очень пессимистично и считал эту страну отсталой феодальной империей.

Да, я хорошо помню твои построения тех лет. Все выглядело логично, но внутренне согласиться с ними было трудно...

Я продолжил свои исследования. В 1985 году издательство «Молодая гвардия» попросила НИЦ ВКШ провести исследование читательских интересов молодежи; исполнить его поручили мне и я взялся за эту тему с интересом. Вначале были проанализированы все издательские планы «Молодой гвардии» с 1974 по 1985 годы. В те годы утверждалось, что в СССР нет повышения цен, что цены стабильны на все виды товаров народного потребления. После проведенного анализа тематических планов я с удивлением обнаружил, что это совсем не так, начиная с 1975 г. доход «Молодой гвардии» от реализации книг увеличивался не за счет роста числа наименований или роста тиража изданий, а за счет повышения средней цены книги. Я впервые «воочию» увидел один из индикаторов усиления в стране инфляционных процессов и открыто написал об этом в нашем отчете [11]. В исследовании были сделаны прогнозы по поводу возможного изменения структуры читательских интересов населения СССР. Читательские предпочтения сравнивались с данными аналогичных исследований, проведенных социологами Библиотеки им. Ленина (в этот период социологическую лабораторию возглавляла Валерия Дмитриевна Стельмах), а также исследователями 1920-х годов. Наши выводы вызвали большой интерес и бурно обсуждались в НИЦ ВКШ с участием руководства издательства «Молодая гвардия», исследовательской лаборатории библиотеки им. Ленина, НИИ Госкомпечати и Всесоюзного общества книголюбов. Потом я сделал двухчасовой доклад для сотрудников в издательстве «Молодая гвардия».

В это же время, под «координирующим» контролем районных управлений культуры, были разрешены открытые выступления рок-групп. По своей инициативе я провел исследование слушателей первого открытого рок-концерта, состоявшегося в клубе Московского института международных отношений (МГИМО), инициированного известным рок-музыкантом Андреем Макаревичем. В проведении опросов нам помогал известный певец Александр Градский.

Помнится, что ты проводил опросы в преддверии принятия различных законов...

Да, были масштабные исследования за две недели до вступления в силу и спустя год после принятия Закона об алкоголизме, аналогичные исследования по Закону о кооперативах. И много других исследований, в том числе по политической тематике, которые я чаще всего проводил совместно с Михаилом Горшковым. Рассказать о всех исследованиях, проведенных мной в советский период, не хватило бы целого тома.

Но я умудрялся проводить их даже в Монголии, для аспиранта АОН при ЦК КПСС Даждавы и моего аспиранта в ВКШ Пагвы. При визировании анкет для тиражирования я говорил, что они – на бурятском языке, что мне надо провести методический эксперимент, чтобы сравнить, когда респонденты в национальных республиках отвечают откровеннее, на анкеты с русским тестом, или с текстом на национальном языке. Опросы проводились в Монголии самими аспирантами, анкеты возвращены в СССР и здесь обрабатывались. Диссертации были успешно защищены.

Стать узким специалистом в социологии мне так и не удалось по причине своего «разбросанного» стиля работы.

Тебе мешали работать?

Никто этим исследованиям не мешал, наоборот, поддерживали и предоставляли средства для их проведения. Я должен со всей ответственностью сказать, что исследовательское творчество в политических организациях отличалось большой степенью свободы – ни Главлит (цензура), ни политические руководители в дела ученых в целом не вмешивались. Мы даже старались помогать ученым академических институтов в тех организационных вопросах, решение которых для них было затруднительным. Как ни парадоксально, но уже в начале 1980-х годов критика застойности государственной системы в политических образовательных и научных учреждениях звучала более остро и открыто, чем в академических. Не случайно и реформы были инициированы политическими институтами.

«Интеллигентская междуособица» процветала и в политических научных учреждениях, ибо и здесь было достаточно «климов самгиных», то есть «интеллигентов-половых тряпок», но это была конкурентная борьба за «политический» статус и мало кто претендовал на статус собственно научный. Ведь многие научные сотрудники в политических учреждениях в прошлом были партийными или комсомольскими работниками, по тем или иным причинам для дальнейшей политической карьеры невостребованные. Научное разделение труда происходило более мирно, чем, скажем, в академической системе, а заниматься такими черновыми работами, как прикладные исследования, вообще никто не стремился. Для этого имелись «рабочие лошади», типа меня, не допускаясь в «масонскую» элиту.

В начале 1980-х годов у нас с М. Горшковым родилась идея подготовить учебное пособие по прикладной социологии, доступное для широких масс (студентов, политработников, управленцев). Мы с большим энтузиазмом сформировали коллектив авторов и подготовили такой учебник, издав его в «Политиздате» [12].

Наступили новые времена

Как ты реагировал на весь комплекс событий конца 1980-х?

Кризис в государстве достиг высокого уровня и для меня вновь стал актуальным вопрос – как выживать? Я начал искать коммерческие возможности реализации своих социологических навыков и в итоге нашел «хозрасчетные» работы в Министерстве иностранных дел, Союзе советских писателей, комсомольских организациях, на ряде предприятий. Так в 1988 году началась моя карьера предпринимателя. Благо для меня эти отношения не были новшеством – с детства формировался в подобной среде. Осенью 1990 года зарегистрировал свою частную социологическую фирму, которая успешно функционирует по сей день под названием «Центр социального прогнозирования». Пока это «всеядная» организация, так как в России нет необходимой рыночной конъюнктуры для специализации в области информационных услуг, во всяком случае – для прикладной социологии. Она задумывалась как организация по производству информации по экономическому и политическому маркетингу. Однако, выжить только за счет таких исследований в России трудно, поэтому пришлось вернуться к прикладной социологии и выполнять социаль-

ные исследования более сложного, с точки зрения тематики, характера. Это в основном прикладные социальные исследования для министерств и ведомств. С фондами я работаю очень редко. С 1990 по 2006 год под моим руководством Центр социального прогнозирования выполнил не менее 400 различных проектов.

В 2000 году я подумал, что богатый эмпирический материал, накопленный мной за 20 лет исследований, мог бы послужить повышению социологической грамотности в вузах, где с начала 1990-х годов бывшие преподаватели исторического материализма, научного коммунизма и истории КПСС в массовом порядке стали преподавать социологию. Мой центр на собственные средства стал издавать результаты прошлых и настоящих исследований в форме тематических книг. Уже издано более 40 собственных [13] книг и работ других авторов, в основном по социологии, демографии и статистике. Большею частью они бесплатно рассылаются нами в библиотеки и на кафедры социологии или обществоведения университетов, а также ученым. Это книги, отражающие опыт советской и российской прикладной социологии. Отчасти, изданием своих книг мы преследуем и прагматическую цель – создаем рекламу своему центру.

В 1970-80-х годах я старался поддерживать тесные контакты с известными социологами СССР, так как всегда был рад любой научной коммуникации. Я всегда высоко ценил умение А. Здравомыслова рассуждать о социологических проблемах логично и глубоко аргументированно. Пожалуй, среди всех социологов, с кем я близко знаком, А. Здравомыслов обладает наибольшим талантом скупрулезного аналитика. Мы мало контактировали с В. Ядовым, хотя в годы его «опалы» и ссылки в Институт истории техники и естествознания АН СССР, при моих приездах в Ленинград, я всегда старался его разыскать, посидеть и побеседовать. Не вызывает сомнения, что абсолютное большинство социологов 1970–1990-х годов в методическом отношении профессионально сформировались на учебниках В. Ядова.

Высокая преданность профессиональной этике всегда отличала Б. Фирсова, исключительно коммуникабельного в научном отношении, хорошего организатора и рассказчика. Я всегда высоко ценил широкую научную эрудицию и высокий интеллект И. Кона, приверженность социологии и научную тактичность Т. Заславской. Искреннее уважение у меня всегда вызывал В. Шляпентох, и не потому, что он был моим руководителем в аспирантуре, а потому, что он обладал вы-

соким чувством собственного достоинства и был настоящим ученым-интеллигентом. Под этим я понимаю то, что он мог допускать ошибки в научном процессе, что естественно для любого ученого, но полностью исключал для себя размен принципа приверженности строгой науке на «околонаучную карьеру». Об этом я написал в предисловии к книге В. Шляпентоха «Проблемы качества социологической информации» [14], равно как и о коллегах-социологах моего поколения, друзьях, в предисловии к книге Б. Докторовы «Отцы-основатели...» [15]. (БД: замечу, книга Владимира Шляпентоха и моя также изданы «Центром социального прогнозирования».)

Твой Центр работает в области прикладной социологии, политических и маркетинговых исследований. Ты много публикуешь, но уклоняешься от участия в социологических «тусовках». Это твоя осознанная линия поведения или просто нет времени?

Постепенно, с отдалением от «академистов», у меня сформировалась следующая позиция в российской исследовательской практике.

Основной целью нашего Центра остается то, что было задумано на стадии его становления: стать «фабрикой» по производству оперативной интеллектуальной информации по экономическому и политическому маркетингу, то есть быть сугубо коммерческой фирмой. Поэтому при первой же возможности, когда экономическая конъюнктура в стране улучшится, центр вообще откажется от исследований научного характера. Я лично считаю, что из науки ушел, в научной коммуникации не участвую и участвовать не собираюсь, занимаюсь коммерцией – производжу и продаю информацию. Книги по итогам эмпирических исследований, которые я за свой счет издаю – это повседневная профессиональная рутина и отношения к науке не имеет. Что касается некоторых моих теоретических изысканий – я их рассматриваю как хобби в свободное от работы время. Речь идет о построении категориальных динамических моделей в социологии с применением диалектической логики и принципа исторической ретроспективы, в основе которой лежит концепция развития общественно-экономических формаций (по Марксу, а по Гегелю – развития цивилизаций). Ряд таких моделей опубликованы в вводных главах моих книг.

Я уже почти два десятилетия не контактирую с академической социологией, однако у меня есть свое представление о советско-российской социологии. По моим наблюдениям, она зародилась как естественное требование демократизации

советского тоталитарного политического режима, как один из предвестников его краха, произошедшего в начале 1990-х годов. Советская прикладная социология – это естественный результат эволюции советского обществознания от феодальной философской теологии к капиталистическому эмпирическому мифотворчеству, во многом также идеологизированному. Не случайно нынешние академические общественнонаучные институты России в большой мере состоят из бывших ученых образовательных и исследовательских учреждений коммунистической партии.

Еще в аспирантуре мне как-то В. Шляпентох сказал, что в СССР в прикладной социологии изобретать нечего, так как за рубежом уже все создали. В последующем я неоднократно убеждался в правоте его слов. Даже старшее поколение советских социологов в основном излагало идеи, заимствованные у западных социологов, в некотором смысле адаптировав к советской социальной практике. Что касается советских (или российских – все равно) учебников по социологии, то они представляют собой результат самообразования на основании западных учебников и книг. Естественно, подготовленные советскими социологами учебники сыграли и по сей день играют очень большую роль в подготовке целой плеяды советских (имеются в виду и республики бывшего СССР) и российских социологов. Советские социологи внесли *некоторую* лепту в объяснение социальных процессов в Советском Союзе, и то – весьма условную, так как Союз развалился без их, или даже вопреки их предсказаниям.

Но они ничего не создали в теории социологии, кроме компиляций на основании заимствований из зарубежных работ (такие же компиляции написаны социологами Венгрии, Польши, Болгарии и т.д.). Все то, что было создано ст ящего в советской социальной науке – это интерпретация марксизма, теория колониализма, неоколониализма, политэкономия капитализма. Научность здесь была возможна потому, что эти проблемы не касались социалистической системы. Но как только Советский Союз развалился и была создана рыночная Россия, эти теории стали «задевать власти за живое», и их поспешили объявить ненаучными.

Поразительно, но от своих «ранее научных» взглядов оказалось значительное число советских (даже бывших коммунистических) социологов. О какой социологической науке тогда речь? Или науку можно менять как перчатки, в зависимости от «погоды»? Кроме того, с конца 1980-х годов в науку за «научным поплавком» ринулись не востребовавшие партийные

работники и сотрудники силовых структур. В 1990-е годы и по сей день торговля дипломами, в том числе в академической системе, превратилась в грязный бизнес. Ранее уважаемые профессора сейчас с привлечением своих сотрудников и на своих ученых советах за деньги «штампуют» для полуграмотных бюрократов и нуворишей от бизнеса дипломы кандидатов и докторов наук, девальвируя эти ученые степени до нельзя. Тогда о каком научном сообществе социологов может идти речь? Такой процесс разложения советской социологии наблюдается с конца 1980-х годов. Именно с этого времени я прекратил тесные контакты с сообществом социологов, предпочитая заниматься бизнесом. Просто вижу в этом больше пользы и для себя, и для российской социологии.

Что, с твоей точки зрения, произошло в 1960-х: возрождение советской социологии или ее второе рождение. На мой взгляд, возрождение предполагает осознанное соединение нового с тем, что было ранее, поиск в прошлом опыте стимулов для создания чего-то нового. Мне представляется, что и освоение советскими социологами достижений их предшественников было настолько слабым, что говорить о возрождении у нас нет оснований. К тому же, и в силу политико-идеологических обстоятельств, в доперестроечное время задача «возрождения» даже и не формулировалась.

Я согласен с этим выводом. Мало кто из первых советских социологов знал о практике советской социологии 1920-х годов. Да и опираться только на этот опыт было бы недостаточно, так как за период запрета советской социологии на Западе были достигнуты значительные успехи в развитии методов прикладной социологии и изучения общественного мнения. Поэтому приобщение советских социологов к опыту Запада в решающей степени способствовало успехам советской прикладной социологии. Это не умаляет научности и большой исторической значимости опыта советской прикладной социологии 1920-х годов.

Как точнее называть период развития отечественной социологии с начала 60-х до начала 90-х годов: советский период российской социологии или советская социология?

По большому счету оба названия выражают одно и то же. Я не вижу разницы между Советским Союзом и Россией, ни в экономическом, ни в политическом отношениях, ни в менталитете населения. СССР – это Россия колониального периода. Сейчас колонии отпали, вот и все. Что касается рынка в России – это только легализованная теневая экономика,

которая в советский период была переплетена интересами с коммунистической партийной и государственной бюрократией, а сейчас – с той же коммунистической партийной бюрократией (иной нет во власти) и силовыми структурами. Наверное, различие лишь в том, что в советский период было правомерно говорить о власти плутократии, а сейчас – о власти олигархии. Да и социологи те же самые, только стараются говорить немного по иному. Думаю, правильно говорить о советской социологии.

Теодор Шанин, давно работающий в российской социологии и многое сделавший для ее развития, недавно сказал: «Кризисы... происходят не в социологии, а у социологов, которые, вдруг сцепившись друг с другом, создают кризисные ситуации. ... российский кризис в данную минуту – это больше кризис социологов, чем социологии» [16]. Ты мог бы согласиться с ним?

Я полностью с ним согласен. То, что проявилось как «склока» среди социологов, на самом деле есть результат растворения социологов как ученых девальвированными в 1990-е годы «научными коммунистами», «истматчиками» «соцполитэкономами», «научными атеистами» и прочей «отрыжкой» от социальной науки, которых власть в 1990-е годы спасла, оставив в вузах в качестве «социологов» и «политологов» для затуманивания мозгов молодняка. К сожалению, профессиональные советские социологи (в том числе академические) были заняты своими проблемами (самоспасением или карьерой в новом «мутном» обществе – все равно) и не удосужились открыто высказать свое мнение о засорении науки апологетами от коммунистической идеологии. Сейчас, окрепнув после первого испуга, новоиспеченные «социологи», коих за 15 лет стало «тьма» в российских вузах, открыто возродили свой облик партийных холуев и коммунистических адептов в виде инициированных ими «околонаучных дрызг» советского типа. Я не имею в виду конкретных людей... но лицемерие в социологической профессии, коей они никогда не владели и не владеют по сей день, да и не смогут овладеть, ибо на это не способны генетически.

Все происходящее говорит о том, что у нас, после первого испуга, вновь возродилось и стало легитимным советское массовое сознание, отличительной чертой которого всегда являлись психологическая раздвоенность, холуйство, крепостная забитость и услужливость, и в связи с последним – склонность к фашизму.

С другой стороны, все это брэнно и пройдет. История не раз «корректировала» это государство (как и другие государства, либо уничтожало их, если население не корректировало свой

«шаг» с поступью истории), а посему подкорректирует и в будущем, и все станет на свои места.

Сейчас легко или трудно заниматься в России бизнесом в информационной сфере?

Бизнес, особенно малый и средний «задавили» серьезно. Работать стало очень трудно. Общая атмосфера в стране соответствует брежневскому периоду. Для основной массы населения – это «своя» среда и с точки зрения «подтягивания» тылов вполне объективная. Однако, интеллектуальной части общества долго еще ждать, пока «тылы» напьются водки и подтянутся к рынку из состояния иждивенчества... Кстати, это не просто брежневская ситуация, тогда все-таки господствовал «кандовый» социализм. Наша нынешняя ситуация по модели полностью соответствует ситуации в России в 1900–1910- годах. Это я вычитал в двух замечательных эссе Вебера о политической ситуации в России, написанных им в 1906 году. Поэтому не удивительно, что часть интеллигенции вновь заговорила об эмиграции, ссылаясь на бесперспективность будущего своих детей. Логика в этих рассуждениях есть, хотя я продолжаю питать надежду, что все еще сложится по цивилистному.

Исходя из нынешнего «базара» в среде социологов я хвалю сам себя за прозорливость в начале 1990-х годов и свою автономизацию. Не люблю тратить свое время на бесплодные дискуссии. Что касается недавних скандалов в среде социологов – это верный признак начала гибели бывших «коммуняк», которые хотя и оккупировали власть в социологии, однако, явно находясь «не в своей теме», чувствуют себя и уязвимыми, и уязвимыми, а посему – обреченными на гибель. Более того, на этот раз реакция, кстати, не демократов, а их собственных нынешних покровителей, будет более жесткой, чем в начале 1990-х годов, по причине острой конкуренции между ними самими. Дело в том, что изменения, произошедшие в производственных отношениях, неминуемо приведут к полному кризису институтов надстройки и этот кризис только предстоит. Иное дело, сколько пройдет до этого времени. Думаю – лет пять-семь.

Примечания

1. Шляпентох В. Социолог: здесь и там. В кн.: Шляпентох В.Э. Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: ЦСП. 2006. С. 598 – 658.

2. *Здравомыслов А.Г.*: «Если мы не можем объяснить нечто воздействием высших сил, значит – надо искать объяснение в мире людских отношений» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 5. С. 2–10.
3. *Петренко Е.С.*: «Социологический поворот в моей профессиональной жизни носил мистический характер...» // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 79–95. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 817-842.
4. *Ядов В.А.*: «...Надо по возможности влиять на движение социальных планет...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 3. С. 2–11; 2005. № 4. С. 2–10. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 183-233.
5. *Докторов Б.З.* Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13. См. настоящую книгу, Т. 3. С. 22-60.
6. *Заславская Т.И.* «Я с детства знала, что самое интересное и достойное занятие – это наука» // Социологический журнал. 2007. № 3. С. 137-169. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 16-49.
7. *Фирсов Б.М.*: «...О себе и своем разномыслии...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 1. С. 2–12. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 535-566.
8. *Докторов Б.З.*: «Мне наиболее интересны методы познания и сам исследователь...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 3. С. 2–13. См. настоящую книгу, Т. 3. С. 344-379.
9. Результаты этого и других исследований, проведенных мной в советский период, довольно обстоятельно изложены в серии моих книг: *Шереги Ф.Э.* Социология образования: прикладные исследования. М.: Academia, 2001; *Шереги Ф.Э.* Социология права. Прикладные исследования. С.-Петербург: Алетейя, 2002; *Шереги Ф.Э., Абросимова Е.А.* Правовые инициативы некоммерческих организаций России. М.: Университет, 2002; *Шереги Ф.Э.* Социология предпринимательства: прикладные исследования. М.: ЦСП, 2002; *Шереги Ф.Э.* Социология политики: прикладные исследования. М.: ЦСП, 2003; *Шереги Ф.Э., Арефьев А.Л.* Наркотизация в молодежной среде: структура, тенденции, профилактика. М.: ЦСП, 2003; *Шереги Ф.Э.* Социология девиации. Прикладные исследования. М.: ЦСП, 2004; *Шереги Ф.Э., Зайцев С.Б.* Оценка наркоситуации в среде детей, подростков и молодежи. М.: Моск. гор. фонд поддержки школьного книгоиздания, 2004; *Арефьев А.Л., Чепурных Е.Е., Шереги Ф.Э.* Международная деятельность в области образования. Практика, исследования, анализ. М.: ЦСП, 2005; *Шереги Ф.Э., Стриханов М.Н.* Наука в России. Социологический анализ. М.: ЦСП, 2006; *Шереги Ф.Э., Д.Л. Константиновский, Арефьев А.Л.* Взаимодействие российских вузов с международными фондами и организациями. М.: ЦСП, 2006.
10. *Белкин Е.В., Шереги Ф.Э.* Формирование населения в зоне БАМ. М.: «Мысль», 1985.

11. Часть материалов этого исследования была опубликована в журнале «Социологические исследования», а в последующем, в качестве раздела изданной мной книги «Социология предпринимательства».
12. Как провести социологическое исследование. Коллективная монография / Под ред. Горшкова М.К. и Шереги Ф.Э., 2-е дополненное издание. М.: Политиздат, 1990.
13. Некоторые из этих книг указаны в пункте 9.
14. *Шляпентох В.Э.* Проблемы качества социологической информации: достоверность, репрезентативность, прогностический потенциал. М.: ЦСП, 2006.
15. *Докторов Б.З.* Отцы-основатели. История изучения общественного мнения. М.: ЦСП, 2006.
16. *Шанин Т.* «Ректор не должен занимать свой пост пожизненно» <<http://www.polit.ru/analytics/2007/08/23/mvshsen.html>>.

Четвертое поколение. Спасенные перестройкой

Рожденные в 50-е уже могли избрать и избирали социологию либо при поступлении в вузы, либо уже обучаясь в них. Однако шансов для этого было немного. Для этого надо было «случайно» оказаться в кругу, в котором были социологи (к примеру, родители) или люди, имевшие о ней представление. Оба этих канала формирования будущих социологов только начинали функционировать, поэтому в целом механизм рекрутирования четвертого поколения социологов мало отличен от того, что сложился при образовании третьей профессиональной когорты.

Понятно, почему и в книге о российской социологии, вышедшей под редакцией В.А. Ядова в конце 90-х [1], и в коллекции биографических материалов, собранных под руководством Г.С. Батыгина [2], и в монографии по истории отечественной социологии Б.М. Фирсова [3], и в биографических интервью, опубликованных в последние годы в социологических журналах, представлены – за редчайшим исключением – лишь истории жизни и деятельности социологов первого и, много реже, второго поколений. Во-первых, к рубежу веков с их именами были связаны основные достижения советской социологии, и они были главными участниками всех важнейших событий происходивших в нашем профессиональном сообществе. Соответственно, они были и главными – и остаются ими – акторами историко-социологических исследований, затрагивающих вторую половину прошлого столетия. Во-вторых, путь в социологию и деятельность тех, кто составляет третье поколение, еще не представлялись оформившимися и не попадали в рамки науковедческого анализа. Тем более сказанное относится к следующей, четвертой, профессионально-возрастной группе. В-третьих, предметно-объектные характеристики любой тематики расширяются крайне медленно, и историко-науковедческая область – не исключение. Должно было многое произойти как внутри российского социологического сообщества, и в методологии изучения прошлого-настоящего-будущего, чтобы эта традиция была нарушена и жизненные траектории социологов третьего-четвертого поколения оказались частью историко-науковедческого изучения. Замечу, что методология исследований прошлого, в значительной мере опирающихся на биографический материал, предполагает и включение в разработку биографий представителей пятого поколения постхрущевской социологии. Образующие его, согласно изложенной выше лестнице поколений, родились в интервале от 1959 до 1970 гг., таким образом, старшие в этой общности уже отметили свой полувек юбилей, а младшие – «разменяли» пятый десяток;

лишь организационные причины не позволили мне опросить кого-либо из них.

Четвертое поколение составляют, образно говоря, «дети первого поколения», и не только потому, что соотношение возрастов этих групп социологов оправдывает такое название, но и потому, что среди них уже могли быть и есть дети тех, кто начинал развивать социологию в СССР. И, как в любой подвижной общественной системе, родители и дети входят в мир в разных социальных обстоятельствах и устраивают свою жизнь по-разному, так и в мире науки, в частности – в социологии, должна наблюдаться эта закономерность. И для историко-биографического исследования признание этого обстоятельства становится импульсом к выявлению этих различий.

Название настоящего раздела – «Спасенные перестройкой» – кратко итожит важнейшие положения сравнительного анализа деятельности первых трех поколений социологов и четвертого. Перестройка определила оригинальность этой младшей в проводимом анализе плеяды социологов. Если бы не принципиальные политические, идеологические, социально-экономические изменения, произошедшие в тот период, то профессиональная жизнь четвертого поколения складывалась бы иначе: концептуальный аппарат, предметно-объектное поле их исследований, арсенал методов и прочие аспекты их профессиональной деятельности были бы, прежде всего, продолжением освоенного их старшими коллегами. Во всем этом было бы мало новизны.

Есть один принципиальной важности момент в изучении деятельности социологов четвертого поколения; он почти очевиден, но мне не встречалось его обсуждение в отечественной науковедческой литературе. Если обратить внимание на творческую и общественную активность представителей первого и второго поколений социологов, учесть, что младшим из них уже свыше 75 лет, а старшим – более 80, и допустить, что подобная включенность в дело и подобное небезразличие к вопросам развития профессионального сообщества будут присущи и ученым четвертого поколения, то становятся яснее некоторые черты движения российской социологии в следующие десятилетия. Ведь в 2030–2040-е определенная часть рассматриваемого поколения еще будет проводить исследования, преподавать, формировать отношение к прошлому, в том числе – к достижениям тех, кто создавал постхрущевскую советскую социологию. Многие во всех нишах социологии того периода будут задаваться ими и их учениками. Фактически, четвертое поколение – последнее, представители которого являются од-

**Данные об опрошенных представителях четвертого поколения
русских социологов**

| ФИО | Даты жизни | Годы прихода в социологию | Годы защиты канд./ докт. дис. |
|--------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------|
| Бачинин Владислав Аркадьевич | 1949 | конец 80-х | 1980/1991 |
| Беспалова Юлия Михайловна | 1955 | середина 80-х | 1984/1999 |
| Давыдов Андрей Александрович | 1954 | начало 80-х | 1989/1996 |
| Здравомыслова Елена Андреевна | 1953 | начало 70-х | 1997/ нет |
| Илле Михаил Евгеньевич | 1952 | 1976 | без степ. |
| Ильин Владимир Иванович | 1950 | конец 80-х | 1980/2000 |
| Козлова Лариса Алексеевна | 1956 | 1973 | 1989/нет |
| Мягков Александр Юрьевич | 1954 | конец 70-х | 1984/2003 |
| Семенова Виктория Владимировна | 1950 | первая половина 70-х | 1981/2000 |
| Тарусин Михаил Аскольдович | 1958 | начало 80-х | без степ. |
| Черикова Алла Евгеньевна | 1951 | конец 80-х | 1978/2003 |
| Ядов Николай Владимирович | 1957 | начало 80-х | 1989/нет |

новременно и советскими, и российскими социологами. Следующие – будут «чисто» российскими.

В разработанной схеме поколений годы рождения четвертого расположены в интервале 1947–1958 гг., в котором центральными оказываются 1952 и 1953 гг.; это двенадцатилетие почти полностью «покрыто» годами рождения наших респондентов. Оценивая многие особенности процесса становления социологов во второй половине 70-х – начале 80-х, можно предположить, что общая численность ученых этого поколения много выше, чем социологов каждой из предыдущих когорт, но никакие иные параметры всей совокупности социологов четвертого поколения мне не известны.

Четвертое поколение социологов – послевоенное – формировалось в атмосфере, складывавшейся в СССР после смерти Сталина. XX Съезд КПСС и «венгерские события» не могли

коснуться их напрямую, но освоение целины, полеты первых спутников и Юрия Гагарина, «пражская весна» – составляющие той социальной атмосферы, в которой прошла их юность и ранняя молодость.

Литература

1. Социология в России / Под редакцией В.А. Ядова. 2-е изд. М.: Изд-во Ин-та социологии РАН, 1998.
2. Российская социология шестидесятих годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.
3. *Фирсов Б.М.* История советской социологии 1950–1980-х годов. Курс лекций. Санкт-Петербург: ЕУ в СПб., 2001.



Бачинин В. А. – окончил философский факультет ЛГУ, доктор социологических наук. Санкт-Петербург. Основные области исследования: социология морали, права, религии, культуры, социальная философия. Интервью состоялось в 2010 году.

В конце 80-х Владислав Бачинин, будучи уже сложившимся специалистом в области этики, почувствовал наступление нового времени, когда можно будет спокойно прислушаться к своим внутренним ощущениям, к внутреннему голосу. После защиты докторской по социологии в 1991 году он продолжал свои исследования в пространстве этики, социологии и литературы, однако в начале 2000-х жизненные обстоятельства привели его в религию. Но не в православие, а в евангелическую церковь.

Первоначальный текст этого интервью был больше представленного ниже и назывался «Есть ли Бог в социологии?». За последние два десятилетия российская социология стала многопарадигмальной, но, как заметил В.А.Ядов, предвзято публикуя это интервью в «Социологическом журнале»: «Владислав Аркадьевич представляет достаточно маргинальное для социологии направление, которое не вполне вписывается в нашу дисциплину». В этих словах Ядова я слышу не столько критику бачининского понимания российского общества и миссии социолога, сколько указание на специфику его взглядов и построений.

**В.А. Бачинин:
«...ОБЪЕДИНЯЮЩИМ
НАЧАЛОМ
ВЕРЫ И НАУКИ
ВЫСТУПАЕТ
ЛИЧНОСТЬ УЧЕНОГО-
СОЦИОЛОГА, ЕГО
МИРОВОЗЗРЕНИЕ»***

Владислав, пожалуйста, расскажите о своей родительской семье. Насколько глубоко Вы знаете ее историю?

Борис, начну не с далекого, а с близкого, и не с себя, а, если позволите, с Вас, точнее с Вашего метода, в дискурсивном пространстве которого я оказался по Вашей воле и внутри которого должен осмотреться...

Для начала несколько впечатлений о Вашем жанре. Ваш поколенческий, то есть биосоциокультурный подход к истории российской социологии обладает не только фундаментальной онтологией, но и известной долей условности. Но он имеет неоспоримое достоинство: он хорошо работает. То, что Вы «нарыли» за последние годы, уникально, Вы напали на золотую жилу. Дескриптивно-аналитический позволяет свести воедино методы объ-

* Социологический журнал. 2010. № 3. С. 123–147.

яснения и понимания. Принцип дистанционного конструирования общего текста интервью тоже не вызывает отторжения. Впрочем, всё это Вы знаете лучше меня, иначе бы не занимались тем, чем занимаетесь...

Что же касается моей генеалогии, то она вполне обычна: единственный сын простых родителей. Отец работал на Уралмашзаводе. Начиналась семейная жизнь родителей в том самом классическом советском бараке, который описал корифей нашей андеграундной поэзии Игорь Холин:

Дамба. Клумба. Облезлая липа.
Дом барачного типа.
Коридор.
18 квартир.
На стене лозунг:
МИРУ МИР!
Во дворе Иванов
Морит клопов,
Он бухгалтер Гознака.
У Романовых пьянка,
У Барановых драка.
Или:
Пили. Ели. Курили.
Пели. Плясали. Орали.
Сорокин лез целоваться к Оле.
Сахаров уснул на стуле.
Сидорова облевали.

Сегодня меня это не удручает, ведь и Спаситель родился в хлеву. Удручает другое: страшная, безжалостная машина государства-людоеда обрубила все корни, связывающие меня с прошлым, вычеркнула из памяти образы всех предков, заткнула рты живым. Ничего важного и существенного от своих родителей об их прошлом я практически так и не узнал [1, 2].

От насильственно вызванной амнезии помогли избавиться книги. Благо отец был большим книголюбом, подписывался на все выходящие в 1960-е годы собрания сочинений. В доме образовалась большая библиотека. Благодаря этому я хорошо учился в школе, а позднее, после армии, демобилизовавшись в июне, уже в августе поступил в Ленинградский университет на философский факультет, сдав вступительные экзамены на все пятерки.

Когда, под влиянием каких обстоятельств формировалось ваше представление о будущей профессии? Это сразу был мир социальных отношений или исходно были иные интересы?

Были два ключевых момента, два решающих выбора. Первый – это когда я, колеблясь между философским и филологическим факультетами, спросил отца, какой предпочесть. Он решительно высказался за философский. Ленинград же я выбрал исключительно по эстетическим мотивам.

Второй – это когда я в конце 1980-х, будучи уже кандидатом философских наук, размышлял о теме докторской диссертации и о совете, в котором можно будет ее защищать. И вот тогда я почувствовал, что прозываться профессиональным философом, быть доктором философии мне почему-то не хочется, что между политическим режимом моей страны и статусом философа как такового есть решительное и серьезное несоответствие. Философ должен быть свободен, философская мысль должна быть свободной. В СССР можно быть только преподавателем философии, но не философом. И я решительно развернулся в сторону социологии, где противоречия, подобные этим, ощущались не столь болезненно.

Анализ интервью с социологами первого поколения заставил меня предположить, что их переход в социологию был – пусть отчасти – «бегством» от преподавания философии и политэкономии социализма. Но Вы точно обозначили это явление, хотя в Вашем случае это происходило много позже. И всё же поясните, что значит: «в СССР можно быть только преподавателем философии, но не философом»?

Философ – это мыслитель. А истинный мыслитель – всегда неконформист. В СССР же неконформисты всегда были обречены. Даже самых ярких из них не спасали их таланты, напротив, усугубляли их участь. Всё совершалось по Достоевскому: Цицеронам отрезали языки, Коперникам выкалывали глаза, Шекспиров побивали камнями. В результате такая порода людей, как свободные философы, вывелась. Зато мощно работала государственная машина по производству преподавателей марксистской философии.

В контексте истинной, не суррогатной, философии идти на компромисс с какими-то внешними силами постыдно, но в социологии состоять на государственной службе вроде как бы и не очень-то унижительно. По крайней мере, не становишься заложником экзистенциальных диссонансов. Так что двигался я не от объекта, не от его проблем, требующих решения и пробуждающих познавательный интерес, а от субъекта, то есть от самого себя, от своего самоощущения, что мне тогда казалось вполне оправданным.

Ситуация, конечно же, вполне банальная, но вместе с тем и достаточно симптоматичная: в некогда стройных рядах профессиональных идеологов, окормляемых государством, нача-

лись разброд и шатания. Уже не надо было следовать генеральной линии, делать то, что требуют партия и родина, а можно было спокойно прислушаться к своим внутренним ощущениям, к внутреннему голосу.

Еще недавно это было достаточно опасно, по крайней мере, для карьеры. Так, в середине 1980-х, меня, пожелавшего уволиться из вуза, где я тогда работал, и уехать в другой город, партком не отпустил. А поскольку я не подчинился и продолжал процесс самоувольнения, то на заседании горкома члены бюро единогласно проголосовали за исключение меня из партии. И только решающий жест первого секретаря спас меня от высшей меры партийного наказания. Он заявил, что, поскольку я еще молод и зелен, то можно ограничиться строгим выговором с занесением в карточку.

Найти же в социологии тему докторской диссертации по душе, так, чтобы на них не было жаль ни сил, ни досуга, не составляло труда. Такую тему я нашел. Это была проблематика, связанная с методологическими основаниями социологии морали. И в 1991 году, в возрасте 42-х лет, я стал доктором социологии и почти сразу же профессором, поскольку занимал должность заведующего кафедрой.

Похоже, Вы пришли в социологию, подобно первым советским социологам, говоря словами В.А. Ядова, «самоучкой». Так ли это? Они не могли опираться на опыт российских социологов, работавших до революции и в первые постреволюционные годы, и активно изучали достижения западной социологии. Через что, через освоение достижений каких ученых пролегал Ваш путь в социологию?

Меня, по правде говоря, никогда не привлекала эмпирическая социология. Ее узкий, ограниченный прагматизм, не позволявший никаких метафизических вольностей, мне всегда был тягостен. Наибольшей привлекательностью для меня обладала сорокинская модель социологического дискурса, тесно соприкасающегося с дискурсами историософии, социальной философии, культурологии, эстетики, литературоведения, правоведения и т.д.

Была и еще одна, во многом маргинальная форма социологизирования, связанная с литературой, художественной социографией. Сейчас она привлекает все больше и больше внимания, правда филологов, а не социологов. Откройте любой номер «Нового литературного обозрения», лучшего из современных российских гуманитарных журналов, и убедитесь в этом. Но в 1980-е годы наши социологи почти не замечали литературу. Я же, однако, не мог не видеть множества точек соприкосновения между антропоцентрированной социологией (ее тогда

с легкой руки И.С. Кона называли социологией личности) и социально озабоченной литературой. Ведь я в университете специализировался по кафедре этики и эстетики и был крепко заточен на постоянное внимание к искусству и литературе.

Но в нише, которую Вы избрали для себя, работал ряд успешных философов-социологов. Вы назвали И. Кона, можем вспомнить наших земляков М. Кагана, Э. Соколова, москвича Г. Батыгина, Л. Столовича из Тарту, В. Бакштановского из Тюмени. Что касается парадигматики «НЛО», то она во многом базируется, как мне кажется, на философии Ю. Левады и его последователей. Какие пласты этой проблематики разрабатывались Вами?

Практически ни один из названных Вами ученых не был чистым социологом. Не был им и я. Чтобы быть стопроцентным социологом, надо родиться от мамы и папы-социологов, окончить социологический факультет, защитить кандидатскую и докторскую по социологии и иметь все публикации исключительно по социологии. Такая степень социологической дистилляции в жизни мало доступна, да и вряд ли имеет какую-то повышенную ценность. Хорошо это или плохо, каждый решает сам.

Что касается моей проблематики, то она берет начало, как и многое в моей профессиональной деятельности, у Достоевского. Через него я вышел на массу проблем, связанных с методологическим статусом социологии, девиантографии, криминологии, социологии морали, права и религии. Об этом у меня есть книги и статьи [3, 4].

Мне известно высказывание Я.И. Гилянского: «Работы Бачина очень любят современные отечественные... криминологи. Так, советник Конституционного суда, д.ю.н., проф., генерал-майор милиции (в отставке) В.С. Овчинский считает Бачина крупнейшим отечественным ученым-криминологом. Наиболее известный криминологический журнал «Российский криминологический взгляд» регулярно публикует статьи Бачина». Что вы можете сказать по этому поводу?

Да, работы по криминологии у меня есть [5–7]. Их я начал писать, когда работал в юридических вузах системы МВД и даже носил погоны подполковника милиции. В том, что я вышел на эту стезю, тоже в какой-то степени «виноват» Достоевский.

Пока что сказанное Вами о себе – это некая свернутая конструкция, давайте развернем ее... Может быть, Вы могли бы обстоятельно рассказать о вашей родительской семье, школе, службе в армии, выборе вуза и т.д.?

Борис, вопросы резонные. Однако есть одно «но». Я сомневаюсь, что перипетии моей ранней биографии представляют

интерес для кого-либо. Я не сторонник той социологии, которая ограничивается скольжением по внешним событиям и фактам. В моих глазах внешнее – это только условие существования внутреннего и лишь повод для разговора о нем. Дипломированный гуманитарий, в том числе и социолог, без внутренней жизни, без духовных исканий, без выношенных убеждений – это человек, ряженный под ученого. Можно быть ходячей социологической энциклопедией, но если нет динамики внутренней жизни, то для истинной науки такой человек мертв.

Скажу Вам откровенно: меня удручают те публичные признания профессиональных социологов, в которых речь идет только о внешнем и нет ничего о внутренней жизни. Может быть, кому-то это и интересно, но мне – нет. Пусть я покажусь излишне категоричным, но мне думается, что человек без внутренней жизни, без духовных исканий не имеет права быть ученым-гуманитарием.

Всё, что было в моей жизни до 2001 года, можно сравнить с хорошо загрюнтованным холстом с едва намеченным рисунком. Внешне это вполне вписывается в шекспировскую схему «*Вся жизнь – театр. Все люди в нем актеры, и каждый не одну играет роль...*» Классик, как известно, перечисляет семь ключевых социальных ролей, которые удастся сыграть человеку от рождения до смерти. У меня их было чуть больше: я был школьником и студентом, солдатом и офицером, мужем и отцом, кандидатом философии и доктором социологии, ассистентом и профессором, подполковником милиции и пастором протестантской церкви и т.д.

Перечислять разные мелочи суетной жизни не хочется. За исключением тех, которые только внешне кажутся мелочами, но на самом деле были точками бифуркации, поворачивающими жизнь в новое *духовное* русло. Подчеркиваю: в *духовное*!

Для меня такой точкой стало начало 2001 года, когда произошла некая встреча, изменившая мое мировоззрение, мою душу, словом, всю мою жизнь.

Маленькое пояснение. Я с юности люблю Достоевского. Моя первая курсовая работа на третьем курсе называлась «Гегель и Достоевский: к проблеме “разорванного сознания”». Когда я показал ее Г.М. Фридлендеру, возглавлявшему тогда группу Достоевского в Пушкинском доме и вскоре ставшему академиком РАН, он тут же принял ее в академический сборник. До сих пор встречаю ссылки на нее. Затем был диплом «Достоевский и Сартр», десятки статей и две монографии о Достоевском. Так вот, должен признаться, что мне всегда почему-то был неинтересен ранний, докаторжный Достоевский.

Это, конечно, был даровитый литератор, но до уровня Данте и Шекспира ему было еще очень далеко. Реальность такова, что и в личностях гигантского масштаба присутствует много мякины. Что уж говорить о нас, простых смертных...

Владислав, известно высказывание Эйнштейна о том, что Достоевский дал ему больше, чем Гаусс.

Это очень характерная мысль, точно подмечающая свойство гения – давать, даровать любому человеку от своих духовных богатств столько, сколько тот сможет вместить.

Веничка Ерофеев как-то сказал, что Библия основательно прочистила ему мозги. В СССР почти все нуждались в прочистке мозгов, как, впрочем, и сейчас в России. Будучи студентом философского факультета ЛГУ, я не мог достать Библию. Впрочем, если бы сильно захотел, то, наверное, достал бы. Однако ведь и особого-то желания не было. И учителя вокруг были такие, что зарождению такого желания никак не способствовали.

Так вот, в этих условиях мне мозги прочистил, точнее, начал прочищать Достоевский. Он дал мне больше, чем все философы Запада и Востока, прошлого и настоящего вместе взятые, поскольку их я воспринимал только умом, а его еще и сердцем.

Более антисоветского писателя в русской литературе не было. Он делал что-то невероятное с человеческой душой. Внешне я оставался как бы «советским человеком», комсомольцем в университете, затем членом КПСС на работе в вузе, а внутри что-то происходило. Помню, например, с каким трудом я изучал и сдавал историю КПСС и политэкономии социализма. Учеба давалась легко, с третьего курса вообще в зачетке пошли одни пятерки. А эти два предмета переваривал со страшным трудом. Сейчас догадываюсь, что, вероятно, на почти бессознательном уровне срабатывал духовный иммунитет, включалась здоровая, спасительная реакция отторжения суррогатных дисциплин, в которых зло преподносилось как добро. Одновременно происходили внутренние мутации, незаметные не только для внешнего взгляда, но и для самого себя. Они исподволь меняли структуру души и духа. Тексты Достоевского оказались для меня пролегоменами к Библии.

И я вижу себя тогдашнего, до 2001 года, каким-то бледным контуром, каким-то вялым наброском личности, пребывавшей в духовной полудремоте, пытающейся духовно воспрянуть и не могущей проснуться, не способной освободиться от идеологического морока, окутывавшего практически всех, кто меня тогда окружал.

Прежде чем просить Вас рассказать о Вашем движении к этому новому состоянию, я хочу спросить, были ли какие-то предощущения, ощущения того, что Вы подходите (Вас ведут) к чему-то новому, к перерождению, или для Вас все произошло внезапно, как озарение. Смогли ли Вы «перечитать» прошлое как движение к случившемуся в 2001 году?

Известно старинное выражение «путь в Дамаск». Это новозаветное обозначение парадигмы духовного прозрения, духовного возрождения.

Для меня «путь в Дамаск» оказался ночным экспрессом «Петербург-Москва» зимой 2001 года. Не через тюрьму, иглу или пулю, а через любовь к женщине. Но это уже отдельная история...

Если обратиться к Вашей статье об апостоле Павле, то возникают, по крайней мере, два вопроса, касающиеся Вашей жизненной ситуации. Первый – о предпосылках катарсиса. Савл был воспитан одновременно в духе иудаизма и эллинизма и являлся ярким противником первых христиан. И по дороге в Дамаск он превратился в последователя Христа. Как в этих категориях проинтерпретировать Ваше очищение, произошедшее по пути из Петербурга в Москву?

Я бы не стал говорить о катарсисе. Катарсис – вещь мимолетная. Древние греки обозначали этим словом, прежде всего, акт очищения желудка. Очистился, прошло время и надо всё повторять. То, что произошло со мной, было не катарсисом, а, скорее, метанойей, переменной, перестройкой ума, и даже шире – не только ума, но и души, и духа.

Если оставить в стороне всю бесконечно длинную причинно-следственную связь, а взять только ее ближайшие звенья, то у меня это несколько событий.

Первое. Моя мама, живущая в другом городе, ломает ногу, шейку бедра. Неудачная операция, защемившая нерв, заставляет ее страдать от сильных болей. И вот в начале зимы 2001 года внезапный звонок о том, что ей очень плохо. Я бросаю всё, мчусь на вокзал, сажусь в первый попавшийся поезд, идущий до Москвы.

Второе. В поезде я, отдышавшись и придя в себя, иду к проводнику за постельным бельем. Проводника нет, его дверь закрыта. Стою, жду. Впереди меня, в пол-оборота ко мне стоит, тоже в ожидании, женщина. Проходит несколько минут, проводника всё нет. Я к этому времени был уже в разводе. Невольно начинаю ее рассматривать и вдруг вижу, что это красивая женщина при всех достоинствах. И так же невольно, где-то в глубине моего существа, начинает звучать что-то вроде популярного тогда шлягера: «Ах, какая женщина! Кака-а-а-я

женщина!..» Обратил внимание на ее профиль с носиком с легкой горбинкой, выдающим весьма сильный характер, и с некоторой грустью подумал: «Да, такую крепость, наверное, ни наскоком, ни осадой не возьмешь...» Опускаю прочие детали... Одним словом, моя попытка познакомиться не была отвергнута. Я узнал, что она не замужем, едет в Москву на международную христианскую конференцию, куда приглашена как пастор евангельской церкви. Я попросил разрешения прийти к ней в церковь после возвращения в Петербург и получил его.

Третье. Пробыв с мамой две недели и вернувшись в Питер, я в первое же воскресенье пошел по данному мне адресу на Английскую набережную. И, действительно, увидел целый зал прихожан и Наташу на сцене, ведущую служение. По окончании попросил разрешения ее проводить. Стали встречаться, дружить и через восемь месяцев поженились. Нас венчал Наташин епископ, присутствовала почти вся церковь, были и мои друзья-однокурсники с женами.

И никто никогда не убедит меня в том, что наша встреча с Наташей была случайностью...

Пожалуйста, расскажите немного о евангельских церквях России. Мне кажется, это явление новое в российской религиозной и культурной жизни.

Чтобы сказать «немного», лучше сказать не об отдельных евангельских церквях, а о евангельском движении в целом. Оно связано не только с протестантизмом. И в русском православии присутствует его духовная струя, идущая от Нила Сорского [8–10]. Об этом я писал в ряде работ.

Если же говорить по существу, то евангелизм – это первородный субстрат первоначального, апостольского христианства, не искаженный социально-региональными, национальными, политическими и прочими наслоениями. Его идеи и принципы существуют исключительно в том виде, в каком они представлены в Библии. Стоять на позициях евангелизма можно, будучи и католиком, и православным, и протестантом. Поэтому во всех трех христианских вероисповеданиях имеются его представители. Но если в православии и католицизме они выступают в качестве неконформистов и являются скорее исключениями, чем правилом, то в протестантизме составляют абсолютное большинство.

Неприятие протестантско-евангельским сознанием ритуально-обрядового, театрализованного церковного формализма и его живой интерес к тексту Библии очень привлекательны для современного гуманитария-интеллектуала. Библия ста-

новится для него буквально настольной книгой, которую он читает каждый день. Привычка работать с гуманитарными текстами оказывается здесь очень кстати.

Евангельские церкви – не секты, не проповедуют никаких ересей, не настраивают верующих ни против государства, ни против католиков или православных. Они просто дают человеку, способному здраво мыслить и чувствовать, возможность быть христианином, не грузя себя исполнением многочисленных, довольно обременительных обрядов.

Кстати, социальный евангелизм оказал существенное влияние на становление американской социологии. Так, например, Т. Парсонс, будучи секулярным социологом, вынужден был это признать в своей «Интеллектуальной автобиографии».

Евангельское христианство – это не упрощенное и не суррогатное христианство. Напротив, оно дало возможность оставаться христианами людям, которые из-за неприятия театральной обрядовости католичества и православия наверняка стали бы атеистами.

Верно ли Вас называть религиозным, христианским социологом и как Вы определяете предмет и тематику Ваших исследований?

Да, именно так я себя идентифицирую, поскольку полагаю, что фундаментальная мировоззренческая типологизация всех социологов обусловлена мировоззренческим водоразделом *вера – безверие, религиозность – секулярность, христианство – атеизм*. Среди религиозных социологов есть, разумеется, не только христиане, но и иудеи, мусульмане, а среди христианских социологов – православные, католики и протестанты. Но всех их связывает одно: они считают Бога главной, первичной детерминантой всех социальных явлений и процессов, воздействующей на ход последних через конкретных социальных субъектов, их мотивационные, нормативно-ценностные, экзистенциальные и прочие душевно-духовные структуры.

Религиозные социологи – это не мракобесы и не «чудики», а аналитики, объект внимания которых несравненно шире объектов внимания их коллег-атеистов. Они включают в дискурсивное поле, кроме материальной и духовной (антропогенной) реальностей, еще и реальность трансцендентную. Это необыкновенно усложняет структуру социологического дискурса и весьма затрудняет работу внутри него. Но самое главное: с атеистическим мировоззрением работать с этим материалом невозможно.

Чтобы не бросать камней в коллег, ограничусь ссылкой на образ Ивана Карамазова. Этот, необыкновенно одаренный,

почти гениальный юноша, отличающийся чрезвычайной силой интеллекта, одновременно обнаруживает поразительную слепоту, когда нужно понять достаточно простые и очевидные вещи из окружающей его жизни. Самым красноречивым подтверждением этого можно считать то, что в его сознании никак не уместился тот факт, что действительный убийца отца – это Смердяков.

Иными словами, атеизм деформирует мировоззрение, резко сужает внутренний мир аналитика, лишает его глубины, а с ней и способности адекватно понимать очень многие вещи.

В последнее десятилетие много говорят о возрождении российской социологии. Хочу Вас спросить, рассматриваете ли Вы себя в качестве ученого, продолжающего разработки русских дореволюционных религиозных мыслителей (социологов). В основном это были представители православия, но не только.

Я бы сказал так: слухи о возрождении российской социологии весьма преувеличены. Это похоже на разговоры о возрождении демократии в современной России. Есть отдельные интеллектуальные всполохи и гейзеры, но в целом приходится пока жить надеждой на грядущее возрождение.

Мы должны помнить, что сама семантика понятия *возрождение* предполагает хотя бы частичное восстановление чего-то, ранее уже существовавшего, потом отринутого, забытого и теперь вновь обретшего ценность в глазах новых поколений ученых. Годится в данном случае и термин *деконструкция*, дополняющий *возрождение* новыми смысловыми оттенками.

В социологии было забыто, отвергнуто, то, что можно отнести к ее мировоззренческим основаниям духовно-экзистенциального характера. Вообще ее основания существуют в двух главных формах – христианской и секулярной [11, 12]. Эпоха раннего русского модерна буквально навязывала первым поколениям российских социологов секулярные подходы ко всем теоретическим, методологическим и прочим проблемам.

Мое личное глубокое убеждение состоит в том, что истинное духовное возрождение гуманитарного (в том числе и социологического) дискурса станет возможным лишь после того, как для отечественных социологов их методологический атеизм, механически принятый и столь же механически-автоматически проводимый в их текстах, сменится чем-то более осмысленным, более адекватным реальному складу человеческой сути, более аксиологически нагруженным, более экзистенциально значимым. Беда методологического атеизма в том, что он малопродуктивен, слабо эвристичен.

Среди русских мыслителей серебряного века мы знаем немало тех, кто, пообщавшись с марксистами-позитивистами, это поняли, отшатнулись от них и более уже никогда к ним не примыкали.

Сегодня практически во всех сферах гуманитаристики есть верующие ученые-христиане, православные, католики, протестанты. Вот только среди пишущих социологов практически нет верующих, не скрывающих свою веру, способных транскрибировать ее в соответствующие теоретические тексты. В этом отношении основная масса социологов упорствует в своих привычных атеистических пристрастиях и при этом не имеет серьезных мировоззренческих оснований.

Есть ли, кроме Вас, в современной России профессиональные христианские социологи, работающие в светских исследовательских центрах или в религиозных аналитических/образовательных организациях? Каков в целом уровень работ в этой области?

На этот вопрос я уже практически ответил. Тех, кто все-речь бы взялся за дело возрождения той контрсекулярной социологии, которая была в России до победы большевиков, у нас практически нет. Имеющиеся попытки двигаться в этом направлении являются пока эпизодическими и довольно робкими. Государству, РАН, вузовским начальникам не нужны социологи-христиане.

Насколько я понимаю, Вы и те немногие специалисты, которые работают в парадигме христианской социологии, встречают «непонимание» не только со стороны секулярной социологии, но также и православной. Так ли это? В чем Вы видите принципиальное различие Вашей и православной трактовки общества и человека?

Непонимание или недопонимание – вещи совсем не страшные и, к тому же, преходящие. Если в обществе есть условия для цивилизованных диалогов и дискуссий, то рано или поздно непонимание может смениться пониманием. Важно, чтобы на пути к взаимопониманию не стояли такие «подпольные» монстры, как нетерпимость и ксенофобия.

Конфессиональные, деноминационные различия между верующими гуманитариями также не страшны. При наличии общей библейской платформы и стремления к сотрудничеству они преодолимы. Я, например, всегда с большим интересом читаю социально-богословские труды как протестантов, так и католиков и православных, и с равным уважением отношусь к их авторам.

Вы начали заниматься Достоевским еще в студенческие годы. Чем в главном отличается Ваш современный подход к пониманию его личности и творчества от того, что Вы писали до 2001 года?

Моё понимание личности и творчества Достоевского существенно изменилось после 2001 года. Мне стало интересно в Достоевском то, как ему удавалось противостоять мощному натиску секулярных умонастроений, уже тогда захлестнувших Россию. Меня вел, прежде всего, мой сугубо личный интерес христианина, вынужденного жить и мыслить в секулярном окружении.

Я ясно увидел, как Достоевский креп и мужал в качестве христианина. Его христианство было поначалу завуалированным и даже каким-то робким в «Преступлении и наказании» и в «Идиоте», где он как бы еще стеснялся прослыть ретроградом-консерватором в глазах прогрессивной общественности и передовой молодежи. У него в первом романе носитель христианских убеждений – юная невольная блудница, а во втором – «чудик», почти юродивый, начавший свою сознательную жизнь с сумасшествия и закончивший ее сумасшествием.

Но в последнем романе, «Братьях Карамазовых», я вижу совсем другого Достоевского, который ни от кого не скрывает своей веры, которому дороги его христианские истины и глубоко наплевать на мнения и «прогрессивной общественности» и «передовой молодежи», называемой им «нигилятиной», потому что он хорошо знает истинную цену их мыслям, словам и поступкам.

И в повседневной жизни поздний Достоевский – это истинный христианин. Чего стоит ситуация смерти этого еще сравнительно молодого по нашим понятиям, 59-летнего мужчины в расцвете творческих сил. Он не рыдал о покидаемой семье, об оставляемых без отцовского попечения малых детях, не тосковал о гигантских творческих замыслах, которым уже не суждено было реализоваться. Вера в Христа дала ему спокойную и твердую убежденность в том, что смерть для христианина – это, как говорил апостол Павел, не утрата, а приобретение.

Однажды современники Толстого были свидетелями двух реплик, которыми обменялись он и Владимир Соловьев. Толстой сказал Соловьеву: «Не понимаю, как вы, такой умный человек, можете верить в воскресение Христа!» Владимир Соловьев ответил: «Не понимаю, как вы, такой умный человек, можете не верить в воскресение Христа!»

Сегодня эта антиномия звучит так же остро и категорично, как и сто лет тому назад. И сегодня она продолжает разделять всех рафинированных интеллектуалов, писателей, философов, психологов, социологов и прочих «умных людей».

Мне кажутся интересными Ваши рассуждения о петербургскости Достоевского – мыслителя, говорившего о «подполье» как о месте зарождения «деструктивно-криминальных мотивов»[5]. В одной из своих работ Вы говорите о близости концепций А. Тойнби духовным поискам Достоевского. Еще в советское время творчеству Тойнби было посвящено немало серьезных исследований (в том числе и М.А. Киселя); был ли в них или в позднейших работах философов истории зафиксирован этот «параллелизм»?

Здесь сложно говорить о «параллелизме». Тойнби создал универсальную историософскую концепцию, в которую вписываются как исторические судьбы ряда цивилизаций, так и творческие судьбы огромного числа интеллектуалов, в том числе Достоевского.

Вы приравниваете понятие «подполья» к современному понятию андеграунда. Усматриваете ли вы в Ленинграде 1960–1980-х гг. и в современном Петербурге элементы того самого «подполья» (андеграунда)?

Да, в работах об Игоре Холине у меня есть такое сопоставление. Я могу говорить, как минимум, о трех видах «подполья». Первое – это то, о котором писал Достоевский, то есть та мотивационно-экзистенциальная сфера, тот маленький персональный ад, который человек носит в себе и в котором он держит под замком всё самое темное и жуткое, что в себе ощущает.

Второе – социокультурное «подполье», а по сути, тот самый андеграунд, который существовал в советской культуре позднего тоталитаризма, в том числе в Ленинграде эпохи «Сайгона» и Г.В. Романова. Его формы изменчивы – от самых возвышенных до самых низменных.

И третье – это социально-криминальное «подполье», закрытый, brutальный мир мафиозно-клановых и тюремно-лагерных отношений.

У каждого из этих «подполий» своя социально-историческая судьба. Наше же славное время знаменательно тем, что оно сорвало со всех трех социокультурных заморы и вся та жуть, которую в нормальном цивилизованном обществе принято держать под замком, попёрла из этих «подполий», как содержимое прорвавшейся канализации, по всем городам и весям, накрыв российскую культуру по самую макушку, включая кремлевские шпили и Останкинскую башню.

«Подполье» – это не только антропологема, но и социологема, требующая к себе внимания со стороны современных аналитиков. Эта категория могла бы весьма неплохо работать на современных дискурсивных площадках. Не имея конкурирующих аналогов (фрейдовский концепт подсознания несрав-

нимо беднее и ограниченнее), она может сослужить хорошую службу и социологам.

Что, по Вашему мнению, упускает российская секулярная социология в исследовании социальной структуры общества? Чем следует дополнить, в каком направлении развивать эти изыскания? Аналогично – относительно исследований российской элиты.

Существуют неплохие работы специалистов по социологии религии, исследующих конфессиональную структуру российского общества. Они, правда, рождают больше вопросов, чем ответов. Но позитивное движение в этой области существует.

Что же касается российской элиты, то следует заметить, что кроме политической, интеллектуальной, богемно-артистической, бизнес-элиты, существует еще и элита духовная. Это, как правило, не академики, не директора исследовательских институтов, не режиссеры и телеведущие и даже не лауреаты Нобелевской премии, а верующие – люди разных профессий и социальных статусов. М. Вебер, также мысливший, по преимуществу, секулярными категориями, называл наиболее ярких среди них «виртуозами религиозности». Так вот, для отечественных «элитологов» эта категория российских граждан как бы совсем не существует.

Выше Вы заметили, что Вас не привлекала эмпирическая социология. Конечно, это особое направление нашей науки. Но в целом существует ли необходимость в развитии прикладных исследований в рамках религиозной социологии? Каково их место? Какова цель? Кто может выступать заказчиком этого рода работы?

Вопросы очень резонные. Не любя эмпирическую социологию, я ни в коем случае не отрицаю ее необходимость и с уважением отношусь к специалистам, у которых есть склонности и таланты заниматься ею. Их опыт, конечно же, должен использоваться и используется религиозными социологами, исследующими, например, проблемы внутренней жизни христианских церквей. Сегодня в христианской среде совсем не редкость различные опросы, анкеты, интервью, тесты и прочее. Социологические методы индивидуально-группового самоанализа и самопознания оказываются там очень кстати.

В Ваших исследованиях Вы активно выступаете не только как теоретик, но и как историк русской, прежде всего дореволюционной, социологии. Многие ли, на Ваш взгляд, сделано в отечественной социологии в отношении изучения наследия этих ученых?

Хотя мне и приходилось по ходу решения ряда теоретических проблем окунаться в историю социологического дискурса, я не

считаю себя историком русской социологии. Однако то, что я наблюдаю в этой области, пока не вселяет в меня особого оптимизма.

История русской социологии по-своему уникальна. В ней отчетливо присутствуют знаки ее связей с социальным богословием. В ней очевиднее, чем где бы то ни было, представлено движение христианского сопротивления агрессивному духу наступающего модернизма-секуляризма.

Видеть это, понимать всю духовную глубину этого сопротивления и адекватно передать его истинный смысл можно лишь при условии нахождения в духовной близости, а не в духовном отдалении от этого материала. Нынешние же историки социологии, будучи в основном атеистами, как правило, ограничиваются изучением трудов представителей секулярного направления. Что же касается их обращений к религиозно мотивированной, экзистенциально фундированной сфере социологического дискурса, то они либо обходятся самыми общими суждениями о ней, либо демонстрируют социально-богословскую и мировоззренческую ограниченность.

К этому добавлю, что ни один современный социологический текст не обладает мировоззренческой индифферентностью. Ни религиозный, ни этический нейтралитет здесь невозможен. Во всем том, о чем говорит автор, непременно проступают знаки либо веры, либо безверия. Даже если автор стремится во что бы то ни стало продемонстрировать свой неподкупный объективизм, глубинные следы его экзистенциальных ориентаций обозначатся. Выпрыгнуть за пределы бинарной оппозиции «вера – безверие» не дано никому.

Здесь, однако, возникает комплекс теоретических социально-аксиологических проблем, касающихся качества, истинности, аналитической глубины социологических знаний, продуцируемых субъектами, признающими существование Бога, и их коллегами, отрицающими Его существование.

Отвлекаясь от этого сюжета, замечу, что в историко-социологической сфере существует еще одно интереснейшее направление, заслуживающее самого пристального внимания, – это область русской публицистической и художественной социологии, оказавшей существенное влияние на формирование русского социологического текста.

Пожалуйста, прокомментируйте Вашу последнюю мысль. Я несколько лет просил недавно умершего А.Г. Здравомыслова, видевшего в А.И. Герцене одного из основоположников русской социологии, развернуть подробнее эту тему. Для меня самого социология во многом начиналась с известного сборника «Физиология Петербурга».

Русский социологический текст не монистичен ни содержательно, ни структурно, ни мировоззренчески. Он напоминает

не столько континент, сколько архипелаг, один из островов которого – социография. Она же, социография, представляет собой изобразительно-познавательную, дескриптивно-аналитическую область, разрабатываемую писателями и публицистами с сильным социальным темпераментом и ярко выраженными аналитическими способностями. В ней широко используются творческие возможности художественного и социологического воображения для воссоздания картин интересующих человека социальных реалий.

Привлекательность этого пути для творческих личностей состоит в том, что он дает возможность видеть предмет изображения объемно, во всей полноте его структурно-содержательных и пространственно-временных параметров, восстанавливать его прошлое, прогнозировать будущее, моделировать недостающие компоненты и тем самым проникать на значительную аналитическую глубину, которой не в состоянии достичь ни теоретическая, ни эмпирическая социология с их довольно грубым инструментарием.

Многих крупных писателей эпохи русского модерна можно зачислить в разряд социографов или считать стихийными социологами, что, в общем-то, почти одно и то же. Масштабы их дарований позволяли им решать наряду с художественно-эстетическими задачами еще и задачи познавательно-аналитического характера, что делает их творения интересными и для ученых – профессиональных социологов, антропологов, психологов, культурологов, философов.

Важная особенность социографии состоит в том, что она открывает такие грани описываемых ею социальных и духовных реалий, мимо которых обычно проходит теоретическое познание. Добывая важную социальную информацию, художник слова не только тщательно ее фильтрует и придает ей высокую степень художественной типизации, но и вводит в систему определенных ценностных координат, дает им соответствующую гражданскую, нравственную оценку, завуалированную или открыто декларируемую. В результате в каждом эстетически и социально значимом литературном тексте складывается художественно-образная система, ориентированная не только на сущее, но и на должное, маркированная характерными ценностями, нормами, идеалами. Такое произведение способно, во-первых, привлечь общее внимание к насущным социально-нравственным проблемам, пребывавшим до этого на периферии массового сознания, и, во-вторых, породить в процессе читательского восприятия не только познавательный, но и катарсический эффект.

В России такая работа велась Ф. Достоевским, Г. Успенским, Л. Толстым, А. Чеховым, А. Платоновым, М. Булгаковым,

А. Зиновьевым, А. Солженицыным, Венедиктом Ерофеевым и другими мастерами слова, которые стали фактически летописцами-социографами тех ментальных и морально-психологических мутаций, тех антропологических катастроф, которые переживали их соотечественники на протяжении последних полутора столетий.

В годы коммунистической диктатуры, когда научно-теоретический, в том числе социологический, анализ антропологических катастроф был крайне затруднителен и почти невозможен, художественное творчество оставалось одной из немногих, нередко полуправильных, а то и вообще нелегальных, сфер подпольно-публичных размышлений на тему «Что с нами происходит?».

Если говорить о влиянии социографии на социологию, то здесь годится всё то же сравнение русского социологического текста с архипелагом. Как влияет один из островов на другие острова? Если вы к такому острову подплыли, исследовали его, заключили с его обитателями различные экономические, юридические, культурные и прочие конвенции, то он входит в вашу жизнь и влияет на нее. Если контактов нет, то нет и влияния. Если кто-то из социологов интересуется литературой, обращается к ее дескриптивно-аналитическим ресурсам, то социография начинает воздействовать на его дискурсивное мышление. Но это воздействие всегда очень индивидуально и заслуживает отдельного исследования в каждом частном, персональном случае. Было бы весьма любопытно провести исследование на тему: «Какую художественно-публицистическую литературу читали русские социологи раннего, зрелого и позднего модерна?»

Свой ответ вы начали словами «русский социологический текст...» Разве все сказанное не распространяется на западно-европейский социологический текст? На мой взгляд, Бальзак и Стендаль, Диккенс и Теккерей не менее социографичны, чем, скажем, Толстой и Достоевский.

Разумеется. Строго говоря, социографичен любой текст. И у Данте, и у Софокла, и в Библии мы найдем обильную информацию, интересную специалистам по исторической социологии. Дело только за добротной методологией по «выпариванию» социологической информации из несоциологических текстов. Я полагаю, что следом за лингвистическим поворотом в философии вполне возможен филологический поворот в социологии (социологический поворот в филологии уже происходит), который и предложит решения этой методологической задачи.

Не могу не спросить Вас о Вашем прочтении творчества и судьбы Андрея Платонова. Вы писали не только о Достоевском, но и об Игоре Холине, Веничке Ерофееве. Есть ли у Вас статьи о Платонове?

Статей о Платонове у меня нет, о чем я сожалею, поскольку его тексты российским социологам следовало бы читать постоянно, чтобы не забывать, в какой стране мы живем, и не строить никаких иллюзий. Платонов – это картины не только прошлого, но и настоящего, не только сталинского «чевенгура», но и путинско-медведевского духовного «котлована», который продолжает углубляться, готовя сумрачное будущее для нашей «безжалостной к себе родине».

И сегодня над нами нависает всё та же платоновская химера – чудовище сверхгосударства, сконструированного по законам репрессивной социальной физики. И сегодня вокруг нас миллионы всё тех же несчастных «совков» с их долготерпением, изживающих свою духовно скудную жизнь, продолжающих надеяться, что не вылезаящие из телевизора дяденьки под триколорами сдержат свои красивые слова и их благодетельствуют.

Сегодня русский телевизор рождает почти те же чувства, что и платоновский текст, – ощущения неправоты, несправедности, нелепости, гротескности российского существования. Как говорил Василий Шукшин: «Куда ж мы пришлёпали?»

Чем Ваше сегодняшнее отношение к наследию Питирима Сорокина отличается от того, которое было в годы Вашего вступления в социологию?

Здесь налицо прямая аналогия с изменением моего отношения к Достоевскому. В Сорокине, как, впрочем, и во всяком другом отечественном или зарубежном социологе, мне в настоящее время интересна, прежде всего, духовно-религиозная составляющая его социального мышления, степень приближенности его творческого «я» к миру абсолютных ценностей, смыслов и норм.

В «Телескопе» № 6 за 2009 год сделан намек на появление новой рубрики, пока под условным названием «Невыключаемое наблюдение». Сам термин предложен И.И. Травиним и использован А.Н. Алексеевым в кратком обозначении направленности этой рубрики. Суть в том, что социография может быть не только «писательской», но и социологической. Иными словами, современная «мягкая социология» может «спуститься» или «подняться» до социографии. Что Вы думаете по этому поводу?

Согласен с тем, что форм социографии может быть довольно много, поскольку социальная информация присутствует

и в высокой поэзии, и в телепроповедях нынешнего русского патриарха, и в милицейских протоколах. Профессиональный же социолог, тяготеющий к социографическому письму, отличается от поэта, священнослужителя или милиционера тем, что специально заточен на дистилляцию важной для него социальной информации.

Вообще, невыключаемая социологическая «камера видеонаблюдения» – это для кого-то вещь довольно опасная. Наблюдающий социолог, как и писатель, – в чем-то летописец-соглядатай, эдакий Пимен...

Вы мне писали, что сейчас в «Социологических исследованиях» находится Ваша статья «Есть ли Бог в социологии?». Не могли бы Вы обозначить основные выводы этого текста?

Я благодарен Вам за столь живой интерес к теме «Есть ли Бог в социологии?». Однако то, что представлено в статье, – только малая часть той мировоззренческо-методологической конструкции, на которую она опирается. Я усложню поставленную Вами задачу и попробую по возможности кратко, тезисно сформулировать суть своей позиции. Сегодня, когда я отвечаю на этот Ваш вопрос, 12 апреля. Вот Вам мои двенадцать апрельских тезисов.

Первое. Христианство не является для социологии чем-то совершенно чужеродным. Не следует забывать, что если «роды» социологии как самостоятельной дисциплины состоялись в середине XIX в., то ее «эмбриогенез» протекал в предыдущие столетия. То есть, строго говоря, не ранний секулярный модерн, а эпоха христианской классики и более ранние культуры служили питательной средой и создали весь комплекс необходимых предпосылок и определяющих условий для ее рождения. Вполне можно говорить об иерархии генеалогических уровней, предшествовавших рождению социологии. Они, эти уровни, соотносятся, по меньшей мере, с тремя цивилизациями – греческой, римской и христианской. Образно говоря, культура Греции – это «прабабушка» социологии, Рим – ее «дедушка», а христианская Европа – ее родная «мать». То есть в иерархии прародителей ближе всего к социологии располагается не языческая античность, а христианская культура.

Второе. Огюст Конт, выдавший социологии свидетельство о рождении, изъял социологию из христианского интеллектуального интертекста, резко обрубил всё то, что могло ее связывать с теологией и метафизикой, и поместил ее в сугубо позитивистский контекст. Тем самым он осиротил социологию, лишив теологию и метафизический дискурс родительских прав.

Третье. Чтобы представить социологическое сознание как изначально секулярное, Конт произвольно деконструировал интеллектуальную историю, предложив ее сугубо авторскую версию. Вот результаты это деконструкции:

- редуцирование всех идеальных устремлений культурного сознания к системе положительных знаний, не выходящих за пределы здравого смысла;
- редуцирование духовной жизни человека к рассудочной жизни интеллекта, интересующегося исключительно посторонней действительностью и пренебрегающего трансцендентной реальностью;
- редуцирование содержания интеллектуального мира, сведение его к идеям и принципам, вписывающимся в пределы сциентистски ориентированного мировоззрения;
- редуцирование системы социологической науки к функциональному инструменту по исследованию лишь тех реалий, которые вписываются в идентификационный реестр позитивистского сознания.

Четвертое. Для Конта «Бог умер» гораздо раньше, чем для Ницше. Но одновременно для него «умер» и человек, превратившись в естественное, органическое образование, в «политическое животное».

Пятое. Устранив Бога, Конт создал, как ему казалось, обширное пространство интеллектуальной свободы, обосновал позицию методологического либертинажа. Не потому ли предложенная Контом модель социологической науки была с готовностью принята, прежде всего, секулярно ориентированной творческой интеллигенцией?

Шестое. С подачи Конта социологии вменялось и до сих пор вменяется требование быть совершенно чистой, не замеченной ни в каких предосудительных связях с интеллектуальной религиозно-метафизической «архаикой». Это, однако, не уберегло ее от другого изъяна. Новорожденное социологическое сознание, пораженное недугом сциентизма, прониклось убежденностью в том, что единственный заслуживающий внимания и пребывающий вне конкуренции метод социального познания представляет собой прямую кальку с естественно-научного метода с присущими тому принципами детерминизма, эмпиризма, «фактоцентризма» и проч.

Седьмое. Конт сделал всё, чтобы при помощи позитивистской методологии вынуть из основания социологии ее мировоззренческую (морально-этическую, религиозную, экзистенциальную) составляющую. Из-за этого социологическое сознание, с самого начала оказавшееся за гранью предельных смыслов и ценностей бытия, лишилось способности сопротив-

латься brutальным нажимам мощных социально-этатистских, идеологических систем.

Восьмое. Вопреки усилиям Конта по дезактивации того духовного потенциала, который несли в себе теология и метафизика, последние и по сей день оказывают весьма сильное сопротивление релятивистским и редукционистским усилиям секулярного, в том числе позитивистского, мышления, доказывая необходимость своего присутствия в дискурсивном пространстве модерна-постмодерна.

Девятое. В контовской, сугубо авторской, версии родословия и генезиса социологии было много интеллектуального произвола, теоретического волюнтаризма. В подобных случаях вновь образовавшиеся рациональные конструкты могут до поры до времени выполнять какие-то несложные функции, но рано или поздно неизбежно наступает момент, когда социологическое сознание вынуждено поставить задачу о выяснении своего истинного культурно-исторического родословия, заняться вопросами собственной генетической идентификации.

Десятое. Как это ни парадоксально звучит, но на этапе становления социологии как самостоятельной науки никто не нанес ей столь серьезного урона, как ее основатель, оторвавший свое детище от классических интеллектуальных сфер. В сущности, Конт подвел под социологию ложное основание, которое заметно оголило ее аксиологическую структуру и серьезно ослабило ее эвристический потенциал. Ведь на самом деле природа социологического знания отнюдь не такова, какой ее изобразил Конт. Истинное основание западного (а вслед за ним и российского) социологического текста составляет культурно-исторический синтез начал теологии, метафизики и эмпирической науки. Это обстоятельство, бывшее не слишком заметным в момент рождения социологии, обнаружилось и отчетливо проступило впоследствии, когда внутри социологического дискурса пролегли, наряду с позитивистским направлением, также и другие: метафизически окрашенная «субъективная социология» П. Лаврова, Н. Михайловского, Н. Кареева вместе с «социологией духа» Г. Зиммеля, К. Манхейма и др., а также теологически фундированная социология Вл. Соловьева, С. Булгакова, Н. Бердяева, Л. Стурцо и др. Здесь от социологических идей уже никто не требовал прохождения через верификационные процедуры, заимствованные из области естественно-научных методов.

Одиннадцатое. В настоящее время мало кто решается открыто возражать против утверждений, будто культура без Бога – это лишь деформированное, ущербное подобие истинной культуры. Но если заявить, что социология без Бога – это

неполноценная, ущербная социология, то это вызовет бурю возмущения со стороны большинства современных социологов. И это несмотря на то, что сейчас ведущие социогуманитарные дисциплины медленно, но неуклонно перемещаются из секулярного дискурсивного пространства в пространство контрсекулярное. Социологии же, однако, только еще предстоит сделать это.

Двенадцатое. Сегодня внутри отечественной социологии царит почти абсолютный религиозно-теологический вакуум. Ученые-социологи не имеют представления о том, что у их науки может быть какой-то иной облик, кроме секулярного. Не спасают никакие методологические изыски – ни математическое фундирование поисковых процедур, ни прочее подобное.

Мировоззренческая нечувствительность социологического сознания, его экзистенциальная анемия не позволяют ему ощутить и осознать тупиковость того секулярного пути, на который некогда вытолкнул социологию ее «отец-основатель» Огюст Конт.

Я, разумеется, сознаю, что споры атеистов и христиан, как и споры социологических «физиков» и «лириков», не предполагают полной и бесповоротной победы какой-то одной из сторон. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Верифицировать ни одно из этих двух утверждений невозможно, как невозможно верифицировать многие из тех мировоззренческих, нравственных, экзистенциальных истин, которыми живет или от которых умирает человеческий дух. Но размышлять об этих вещах крайне важно и совершенно необходимо как для нашего собственного духовного здоровья, так и для блага нашей любимой науки. Не всем нравятся такие разговоры про мировоззренческие основания социологии, а кому-то они вообще представляются излишними. И это понятно: чтобы говорить о мировоззрении, нужно, как минимум, иметь его.

Мне могут возразить: мол, вера и наука несовместимы! Не буду раздражаться трактатом на тему, которой посвящены тысячи книг. Ограничусь, для краткости, доводом-метафорой: пол с потолком, фундамент с крышей тоже не совместимы буквальным образом. Но в структуре целостного здания при посредстве множества промежуточных конструкций они не только прекрасно совмещаются, но и существовать друг без друга не могут. В социологии (как, впрочем, и в любой другой исследовательской сфере) таким объединяющим началом выступает *личность* ученого-социолога, его *мировоззрение*. Этой личности потребны не только теоретические знания и эмпирические факты, но и направляющие идеи, верные ориентиры, надежные критерии, каковыми могут быть только абсолютные

смыслы, ценности и нормы. Приводить же с умным видом перечни социально-детерминирующих факторов всего этого и еще многого тому подобного, полагая, что этим и должна заниматься социология, – дело техники, совсем не хитрое. Если чьему-либо социологическому сознанию нравится бултыхаться в этой хляби релятивизма, переубедить его не стану.

Владислав, не могли бы Вы немного рассказать здесь о «деле Бачинина» в СИ РАН. Мне кажется, что произошедшее – редкостный случай и он не может быть опущен в нашей беседе. Тем более что в книге А.Н. Алексеева и Р.И. Ленчовского «Профессия – социолог», которая вот-вот выйдет, будет представлена фактура этого события.

Социологами пришел управлять не имеющий заслуг перед социологией экономист – И.И. Елисеева, как если бы к окулисту пришел начальник-стоматолог. Почти сразу же она предложила мне возглавить кафедру на ее прежней работе, в ФИНЭКе. Я, загруженный в то время издательскими обязательствами, отказался. На это место был взят А.А. Клёцин, ставший вскоре замом директора по науке в СИ РАН, а мне, как я позднее узнал, этого отказа не простили.

Было еще несколько попыток приблизить меня к «престолу» – избрали главным научным сотрудником, назначили председателем институтского диссертационного совета, выбирали в разные комиссии. Работал потихоньку, отчитывался нормально. Ученый секретарь института мне говаривала: «Мы вашими книгами перед Москвой за весь институт отчитываемся». На мой вопрос: «А что ж остальные-то?..», она отвечала: «Ленятся...»

И всё бы ничего, но в РАН ввели систему оценок в баллах нашей деятельности – книг, статей, докладов на конференциях и т.д. и, соответственно, стимулирующих надбавок за это к зарплате. И тут началось... Средний показатель по институту был – 30 баллов на человека. А у меня более трехсот, в 11 раз больше. После каждого подсчета мне к зарплате полагалось по 30–40 тысяч рублей этих самых «стимулирующих надбавок», в то время как другие получали по три тысячи, а иные вообще ничего. Если у зама по науке три публикации за два года, то сами понимаете, что мои десятки книг, полсотни статей в рецензируемых журналах и эти заоблачные надбавки выглядели как наглый вызов всему коллективу, как грабеж среди бела дня бедных институтских пенсионеров и их голодающих детей...

Затем подкатали очередная аттестация и московская директива о сокращении штатов. В их преддверии дирекция и заказала сочинить на меня «донос». В.В. Козловский и К. Муз-

дыбаев дали, однако, маху: пространный «донос» на десять страниц содержал десятки фальсифицированных, подставленных данных. Проколы «сиранских» мудрецов были столь очевидны, что я легко всё опроверг в своем часовом докладе на ученом совете. «Оппоненты», однако, и глазом не моргнули и продолжали гнуть свою линию...

После этого было еще много разных дрязг, самые гнусные из которых состояли в том, что открыто вступившиеся за меня на ученом совете А.Н. Алексеев и Н.Р. Корнев попали под сокращение вместе со мной. Симпатизировавший мне Я.И. Гилинский тоже вскоре покинул институт, помянув его недобрым словом в своем интервью на «Эхе Москвы». Экономя место и время, скажу лишь предельно коротко о дальнейшем. Я подал в суд и судебным решением был восстановлен на работе с выплатой мне компенсаций за вынужденный прогул и причиненный моральный вред. Но городская коллегия отменила решение районного суда.

Во всей этой истории самое интересное и важное для меня не ее причины, не сама фабула, а ее следствия и плоды.

Я вижу, как через описанные выше события Бог подтолкнул меня сменить прежнюю жизненную парадигму на более естественную и здоровую – покинуть мегаполис, убивающий душу и тело. Выбрали с Наташей Старую Руссу – маленький красивый городок, древние соборы и церкви, монастырь XII века, знаменитый на весь мир курорт минеральных вод, куда люди приезжают даже из Австралии, купания в соленом озере, где вода по составу такая же, как в Средиземном море, дом-музей Достоевского, места, описанные в «Братях Карамазовых», две реки, сошедшиеся вместе в трехстах метрах от моего дома, рыбалка и прочее.

Еще в марте прошлого года, в самый разгар судебной тяжбы с СИ РАН поехали с Наташей в Руссу и сразу же купили дом в «золотом» историческом кольце, рядом с курортным парком. Теперь ходим туда гулять, как в Летний сад, пьем там минеральные воды, как печорины с грушничками.

Лето, осень и зиму перестраивал дом, сделал себе на втором этаже 40-метровый кабинет-библиотеку. Из его окон в радиусе 300–400 метров видны: с западной стороны допетровский многоглавый собор-красавец с золотыми куполами и колокольным звоном, от которого просыпашешься по утрам. Из южного окна вижу старинную Георгиевскую церковь, прихожанином которой был Достоевский, затем старообрядческую Никольскую церковь, заложенную в год Куликовской битвы, и здание бывшей синагоги. Из восточного окна вид на курортный парк и главное здание курорта. С северной стороны – суровая, как

древняя крепость, Свято-Троицкая церковь XVI века, старинный монастырь XII века и совсем недалеко от дома – протестантская церковь евангельских христиан. В этом окружении душа не скучает и не тоскует. Летом всё утопает в зелени, а зимой в сугробах. Тишина и покой.

Не будь в моей жизни «сирановского» казуса, шмыгал бы я сейчас по каменным джунглям, как суетливый муравей, и вдыхал бы в душных подземельях метро гриппозные миазмы тысяч таких же муравьев...

В Старой Руссе меня совершенно оставили простуды и всяческие мелкие недомогания, от которых я страдал в городе, как любой горожанин. Здесь я обрел возможность спокойной, созерцательной жизни – работать в саду, писать пейзажи и натюрморты, ходить на рыбалку, любоваться восходами и закатами и при этом писать статьи, книги, ездить на интересные для меня конференции, словом, реализовывать обширные творческие планы. Тем более что сегодня интернет позволяет и в провинции сохранять тесные творческие контакты с коллегами и всем ученым миром. С месяц назад провел интернет и уже разослал по журналам с десятков статей и столько же заявок на конференции.

Поэтому, пользуясь случаем, передаю привет Елисейевой, Козловскому и иже с ними. Я на них не сержусь, обиды никакой не держу, а, напротив, благодарю за те блага, которые через них Бог даровал мне.

Литература

1. *Бачинин В.А.* Поэтический репортаж из недр барачного «подполья» // Вопросы литературы. 2008. № 5
2. *Бачинин В.А.* «Человек барачный»: поэтическая девиантография Игоря Холина // Человек. 2008. № 5.
3. *Бачинин В.А.* Достоевский: метафизика преступления. Художественная феноменология русского протомодерна. СПб.: СПбГУ, 2001.
4. *Бачинин В.А.* Достоевский: философия, социология и психология преступления. Харьков: Основа, 2001.
5. *Бачинин В.А.* Достоевский как введение в русский криминологический дискурс: антропологема «подполья» // Российский криминологический взгляд. 2007. № 2.
6. *Бачинин В.А.* Геноцид, дискриминация и ксенофобия в религиозной сфере // Российский криминологический взгляд. 2008. № 1.
7. *Бачинин В.А.* Макросоциальная криминография и виктимология Александра Солженицына // Российский криминологический взгляд. 2008. № 3, 4.
8. *Бачинин В.А.* Византизм и евангелизм: генеалогия русского про-

- тестантизма. Очерки исторической социологии религиозно-гражданской жизни. СПб.: СПбГУ, 2003.
9. *Бачинин В.А.* Национальная идея для России: выбор между византизмом, евангелизмом и секуляризмом. Исторические очерки политической теологии и культурной антропологии. СПб.: Алетейя, 2005.
10. *Бачинин В.А.* У истоков российского протестантизма // Вопросы истории. 2007. № 3.
11. *Бачинин В.А.* О двух парадигмах социологического мышления // Социологические исследования. 2004. № 8.
12. *Бачинин В.А.* Социологическая мысль между секулярностью и контрсекулярностью // Свободная мысль. 2010. № 2.



Беспалова Юлия Михайловна – окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, доктор философских наук, профессор кафедры общей и экономической социологии этого университета. Основные области исследования: социология культуры, личности, качественные методы. Интервью состоялось в 2010–2011 гг.

Меня связывают с Юлией Михайловной Беспаловой несколько памятных встреч в Тюмени и Москве и регулярная переписка продолжительностью в шесть лет. Мне интересны проблемы, которыми она занимается, привлекают ее поиски в новых разделах социологии, своеобразна ее культура и система взглядов на российскую историю и современность. В суждениях Беспаловой я вижу переплетение Сибирского и Петербургского: глубокий интерес к классической русской литературе и классическому русскому театру и одновременно попытки разобраться в постмодернистских тенденциях в культуре и социологии. Она принадлежит к четвертому поколению советских/российских социологов, и многое в ней – типично для этой профессиональной когорты. Тем не менее, ее суждения показывают, насколько миры социологов детерминированы обстоятельствами, в которых они формировались как личности и профессионалы.

**Ю.М. Беспалова:
“В СОЦИОЛОГИИ
Я ОКАЗАЛАСЬ
И СЛУЧАЙНО,
И НЕСЛУЧАЙНО”***

Юля, так случилось, что наше знакомство возникло на базе общего интереса к изучению биографий и попытках понять биографический метод. Естественно, что в нашей переписке мы часто обращались к прожитому нами. Но все это больше охватывало период нашей профессиональной жизни. Давай сначала уйдем в начало, и даже не в твое... в то, что я называю предбиографией. Пожалуйста, расскажи о твоей большой семье, о родителях.

Семейная память нашего рода насчитывает пять поколений сибиряков.

Я принадлежу к уже пятому поколению. История моего рода – это история ряда российских противоречий, когда в нескольких поколениях одного большого рода, смешались православные, раскольники и иудеи, дворяне и сибирские некре-

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 1. С. 1–11.

постные крестьяне, белые и красные, те, кто был за царя и против Великой Октябрьской социалистической революции и те, кто ее отстаивал, как наиболее справедливое возмездие против царского и капиталистического гнета. Смешались противники и защитники сталинского режима. Вся история российская и сибирская в нашем роде.

Мой прадед по матери встречался с Г. Распутиным, мой дед, Георгий Дмитриевич Беспалов работал под непосредственным руководством В.Блюхера, был участником Северного экспедиционного отряда, созданного для борьбы с белым движением. Командиром моего отца, Михаила Наумовича Зингера, во время обучения в тюменском военном училище, был будущий известный актер Евгений Матвеев.

Моя сибирская родословная началась с того факта, что прапрадедущка по матери Гавриил Герасимов приехал в Тюмень около 1870 года на лошадях из Смоленской губернии. Жена прапрадедущки – прапрабабушка Елена была дворянкой из рода Болотовых. Рано лишившись родителей, она вышла замуж за мещанина и поехала с ним в Западную Сибирь.

Из Интернета я узнала, что дворянский род Болотовых – это род священо – церковнослужительский. Интересно, что две сестры прапрабабушки, ставшие бесприданницами, ушли в монастырь. Бабушка вспоминала, что по просьбе ее бабушки Елены она писала письма в город Великие Луки, Холм, в Воскресенский женский монастырь, ее преподобию игуменьи Паллады Болотовой.

После отмены крепостного права в России в 1861 году многие люди отправлялись в Сибирь в поисках лучшей доли. Отмена крепостного права коснулась как крестьян, так и дворян, владельцев крепостных душ. Многие из них, утратив в лице своих крепостных источник существования, разорялись. Город Тюмень стоял тогда на пути переселенческого движения.

Род моего деда ведет начало от приуральских крестьян. Отец деда был линейным сторожем и жил в будке на железной дороге неподалеку от Тюмени. За участие в забастовке в 1905 году он был уволен с работы и переселился с семьей в Тюмень.

Моя мать, Лариса Георгиевна Беспалова кандидат наук, доцент, много лет была преподавателем Тюменского пединститута и Тюменского госуниверситета. Ею заложены основы преподавания литературного краеведения в высшей школе области. Мать – автор ряда книг об истории культуры края, многочисленных публикаций и остропроблемных выступлений на страницах периодической печати. В свои 87 лет она по-прежнему среди энтузиастов родного края, ее статьи нередко появляются на страницах научных журналов и газет.

Отец – родом из Белоруссии, из древнего города Полоцка, он участник Великой Отечественной войны, награжденный 7 орденами и множеством медалей. Среди его наград две медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, а также ордена «Отечественной войны», «Красной звезды», «Трудового красного знамени», «Знак Почета», «Дружбы», «За заслуги». До 83 лет он проработал в региональной системе УВД. Написал несколько книг об истории ГУВД области и своих товарищах по работе. «Гордись, Юля, у тебя уникальный отец, его все знают и очень уважают», – постоянно говорят мне бывшие папины коллеги и ученики. На парадах, посвященных Дню победы, 9 Мая, папа на трибуне в военной форме с множеством орденов принимает парад, или, отдавая честь участникам парада, стоя едет на «военной» машине под Красным знаменем. Удивляет не потерявшаяся с годами его уникальная выправка.

Есть у меня и старшая сестра – Елена (родовое имя, как и мое имя – Юлия), которая живет в Санкт-Петербурге и работает в Политехническом университете, она кандидат наук, доцент.

Один очень личный и, возможно, трудный для тебя вопрос, но он естественен, когда обсуждаешь связь человека с прошлым его семьи. Летом 2010 года ты впервые была в Полоцке, искала следы семьи отца, погибшей там в годы оккупации. Что дала тебе эта поездка в эмоциональном плане и в твоём видении биографического метода?

Полоцк, один из древнейших городов в Белоруссии, – это трагическая страница нашей семейной памяти. Меня всегда интересовала история папиной семьи и родственников с папиной стороны. В середине августа 2010 года мы с мужем оказались в Полоцке. С помощью бывших тюменцев, теперь живущих в Полоцке, мы объездили места массовых расстрелов, еврейские захоронения, были на старом еврейском кладбище. Я также работала в библиотеке и основные сведения о папиной семье узнала из «Книги памяти». Папины отец, мать, сестра и младший брат были расстреляны фашистами в 1941–1943 гг. (один из старших братьев погиб на фронте под Ленинградом, а другой пропал без вести под Сталинградом).

На сегодня сохранился только один памятник мирным жителям Полоцка – жертвам фашизма – ученикам бывшей сталинской школы (теперь гимназии №1). В разных районах Полоцка в ямах лежат десятки и сотни тысяч безымянных людей, военнопленных, подпольщиков, партизан, мирных жителей, и среди них мои родственники.

Папа спасся чудом. Когда в конце июня мирные жители и войска отступали, он, его родители, младший брат и сестра шли вместе. Они прошли уже более 50 километров, когда папа попросился у своего отца пойти вместе со своими школьными товарищами и получил разрешение. Отец договорился с ним о месте встречи в городе Ленинграде, где жил его старший сын (все думали, что война скоро окончится и фашисты не пройдут далеко). Больше о своих родных мой отец никогда не видел. Почему и как они снова оказались в Полоцке – всю жизнь задает себе он вопросы.

В истории папиного рода ярко проявляется проблема личной судьбы и значение прошлого в индивидуальной биографии. Того прошлого, которое возвращается к нам часто очень дорогой ценой, но к которому мы постоянно обращаемся, чтобы обрести себя в настоящем.

Меня давно интересует, как люди, принадлежащие к семьям с глубокой историей, воспринимают свое место в этой структуре. Не можешь ли ты сказать что-либо по этому поводу? В частности, нет ли такого ощущения, что, став на сторону одних предков, скажем, «красных», ты в определенном смысле отталкиваешь от себя других – «белых». Тем более, что в обществе за последние годы заметно изменилось отношение к обеим этим группам?

Мой прадед по матери, слушая черную тарелку радио, обычно говорил: «Ну-ка, ну-ка, что там еще товарищи придумали?» Слово «товарищи» при этом он всегда произносил с едкой иронией.

Но мой дед, будущий муж его дочери, офицер-прапорщик царской армии, командир роты, в 1918 году вместе с ротой перешел на сторону Красной армии. Когда его спрашивали, почему он не остался у белых, дед отвечал, что его возмутило крайне жестокое отношение колчаковцев к сибирским крестьянам.

Отмечу, что Колчак установил в Сибири самый жестокий военный режим за всю историю Гражданской войны. Очевидцы вспоминали, что он и его атаманы устроили в городе Омске настоящую мясорубку, целые возы трупов провозились по городу. Множество убитых было и в Тюмени. Помогали Колчаку в установлении сурового режима чехи, их называли белочехами. Они же и сдали Колчака красным, пожелав вернуться в свою страну (красные поставили им такое условие для возвращения).

Тем не менее, зная такие противоречивые (с точки зрения современного прочтения отечественной истории) факты, я, как и другие мои родственники, никогда и никого из нашей семьи не «отталкивала». Мы могли только кому-то больше сочувство-

вать, в зависимости от личной симпатии. Есть история страны, а есть человек в истории, это связанные, пересекающиеся, но не идентичные вещи. Исторические крайности могут мирно сосуществовать в семейной памяти.

О том, что семейная память зачастую не тождественна памяти исторической, нередко более объективна, хорошо написал социолог А.Алексеев. Отмечу, что историческая память нашей страны часто формировалась (и теперь формируется) под влиянием социального заказа, политической конъюнктуры, ставки на вырванные из общего контекста, куски российской истории, поэтому она воспринимается «урезанной», неточной, неполной, оторванной от семейной памяти. Сохраненные семейные истории, даже по прошествии многих лет, могут стать основой для личностной интерпретации исторической памяти нашей страны, способствовать общественной информированности и пониманию.

Уважая семейное прошлое, я воспринимаю себя как некую «точку недрожимости» на семейном дереве, корни которого уходят в глубь веков, а ветви устремлены далеко в будущее.

И вот началась собственно твоя жизнь... что-то было важное, знаковое в совсем раннем периоде твоей жизни, до школы?

Важным было то, что я родилась в пространстве Западной Сибири. Место моего рождения – город Тюмень.

Я была ребенком в 1960-е. Помню редкие поездки с дедом на телеге, запряженной лошастью, частые прогулки с ним по лесу в теплый летний день, что было несказанным удовольствием...

Знакомость нашей территории, ландшафта и природы я постоянно ощущаю.

Живя в Тюмени, трудно не стать краеведом. По дороге в Тобольск – родное село Распутина, Тобольск – не только место заключения Николая II, но и родина Менделеева. Вблизи Тюмени – Ялуторовск, где отбывали ссылку многие декабристы. В годы войны в Тюмени находилось тело Ильича, и этот факт многие годы оставался тайной для советских людей... Что представлял собою город Тюмень до открытия в ваших местах нефти и газа и притока большого числа высоко образованной и интеллигентной молодежи из Европейской части страны?

В моем детстве Тюмень хлестко называли «столицей деревень». Такое отношение к городу вызывала знаменитая тюменская грязь, в которой, были такие случаи, намертво застревали люди и животные.

Тюмень имеет свою давнюю древнюю историю. Основана она в 1586 году. Расположен город по берегам реки Туры при впадении в нее речки Тюменки.

Наш город, в древности Чинги-Тура (или Чимги-Тура), стоял на древнем водном торговом пути из Центральной Азии на Урал. Название Тюмень имеет ряд трактовок. Большинство ученых считают, что слово «тюмень» пришло из тюркского языка, где оно означало «10 тысяч воинов». Есть в тюркских языках и еще одно значение данного слова – «отдаленное место, провинция». В алтайском языке «Тюмен» означает «вниз» и «нижний». То есть Тюмень – это город в низовьях, вниз по течению. Это правильно, если смотреть со стороны Урала.

До сих пор происхождение названия города будоражит умы ученых. Есть версии, что «Тюмень» – это перешедший в название административный термин (в Средней Азии так называли небольшие территории, районы); или что Тюмень происходит от названия речки Тюменки, притока реки Туры.

Тюмень сегодня – слово женского рода, однако раннее название нашего города относилось к мужскому роду и склонялось, как слово «пельмень».

Гости Тюмени нередко спрашивают о том, есть ли у города свое «лицо».

Лицом Тюмени обычно называют место главной Тюменской площади, высокий берег Туры с видом на здания Гостиного двора, Музея и Монастыря. Я же считаю лицом города старинные купеческие постройки. К сожалению, их со временем становится все меньше и меньше. Тюмень – это, прежде всего, старинный купеческий город.

Предпринимательство началось в Тюмени с ямской службы, просуществовавшей здесь не одно столетие и сыгравшей значительную роль в хозяйственном освоении и развитии края. Город до сих пор сохраняет в себе дух сибирского старообрядческого предпринимательства.

Однако наибольшего развития тюменское предпринимательство достигло во второй половине XIX – начале XX вв. Сибирякам знакомы имена К. Высоцкого, П. Подаруева, И. Игнатова, Н. Машарова, А. Текутьева, И. Колокольникова, Н. Чукмалдина и др., которые боролись за открытие морского пути из Сибири – по Северному Ледовитому океану – в Россию и Европу, проектировали и создавали каналы Таз-Турухан и Карское море-Обь, проводили работу по соединению каналами рек для создания единой системы водоснабжения, строили водно-сухопутную дорогу от Оби до Печоры, железную дорогу Екатеринбург-Омск, проектировали железнодорожные пути для соединения российских рынков. Благодаря поддержке и средствам тюменских предпринимателей, получила развитие сибирская наука: был создан первый в Сибири университет, организованы и профинансированы научно-исследовательские экспедиции (Н. Норденшельда,

Х. Даля, А.В. Григорьева, Бременского общества полярных исследований и др.). Оказывая поддержку любой инициативе в развитии науки, купечество выделяло средства на премии для исследователей, организацию научных выставок, издание научных трудов, поддержку преподавателей, учреждение стипендий и т.д. Купечеству Западной Сибири принадлежит заслуга в создании библиотек, музеев и типографий. Способствовала просвещению народа и торговля книгами. Впечатляющим подтверждением культуры тюменского купечества служили домашние библиотеки предпринимателей.

В советский период Тюмень стала сибирской глубинкой, где развивалось в основном сельскохозяйственное производство. В годы войны производственный потенциал города вырос за счет эвакуированных с европейской части страны предприятий. Стало расти топливное, деревообрабатывающее, машиностроительное производство, рыболовство. Новая страница в истории Тюмени и Тюменской области в целом началась с 1964 года, с открытия нефти и газа.

К концу XX века Тюмень вновь стала капиталистическим городом. Так, большая часть жилого фонда, организаций, промышленных предприятий находится в частной собственности.

К сожалению, сегодня тюменское предпринимательство обезличилось. Ярких имен почти нет. Если раньше главным делом предпринимательства было служение своему краю, то теперь, когда главным мотивом стал личный успех, выдающихся предпринимателей, готовых всеми силами помогать региону, почти не стало. В 2000-х годах тюменцы с удивлением узнали, что среди мировых долларовых миллионеров, четыре имеют отношение к нефти и газу Тюмени. Что оставалось моим землякам – порадоваться за их успех и понять, почему большая часть населения страны и региона живет ниже черты бедности.

Я допускаю, что и в школе, где ты училась, могли преподавать очень образованные люди со сломанными – как мы сегодня понимаем – судьбами. Так ли это? Расскажи вообще о твоих школьных годах?

Я окончила начальную школу, а затем поступила в среднюю школу №25, где в свое время учился талантливый певец Юрий Гуляев. В период моего обучения приоритетным предметом была математика. Она мне давалась туго, оценками в школьном аттестате я похвастаться не могу. Гуманитарные же предметы: литература, история и др. мне нравились и шли намного легче.

Мои школьные годы проходили в подготовке уроков, а также в посещении разнообразных кружков: танцевального, драматического, музыкальной школы и пр.

Насчет сломанных судеб учителей, сказать что-либо определенное не могу. Знаю, что мои учителя были в большинстве людьми, воевавшими или пережившими Великую Отечественную войну. Именно война трагическим образом повлияла на их судьбы: многие потеряли на войне близких. Говорили, что на глазах учительницы биологии фашисты уничтожили мужа и детей.

Вспоминаю с самыми добрыми чувствами моих учителей литературы, истории, английского языка, Елизавету Александровну Зубареву, Маргариту Леонидовну Осипову, Александру Ивановну Нохратову, учителя географии, астрономии и военного дела Ивана Герасимовича Дмитриченко и др.

Однако учителем от бога, обладающим редким талантом воспитателя, был физрук Геннадий Павлович Крюковский. Ради того, чтобы встретиться и поговорить с ним, бывшие ученики приходили в школу через много лет после ее окончания. Удивительно, что Геннадий Павлович знал и помнил по именам всех своих учеников, для каждого у него находились добрые слова, независимо от успехов на поприще физкультуры и спорта.

Прежде, чем мы начнем говорить о твоём движении в социологию и характере твоей профессиональной деятельности, как бы ты в целом охарактеризовала сферу своих научных интересов?

В образовании, преподавании и науке – филолог, языковед, этик, «научный атеист», философ, культуролог и социолог...

Долгий ряд, и социология в нем – замыкающая... начнем сначала... Что определило твой выбор филологии и языковедения? Где ты обучалась этим премудростям?

В 1972 году я поступила на филологический факультет Тюменского государственного университета, а в 1977 году с отличием его закончила.

Мои родители, как и я сама в то время, иного образования, чем русский язык и литература, для меня не представляли. Сколько себя помню, я постоянно читала. В нашей домашней библиотеке в то время уже было несколько тысяч книг. Повлияло на мой выбор и то, что моя мать преподавала в университете русскую литературу, а старшая сестра окончила этот вуз (тогда – педагогический институт) по специальности английская филология. Много позже, читая дневники деда и записки бабушки о своем детстве, написанные в духе «наивного письма» (термин Натальи Никитичны Козловой), я с удивлением обнаружила явные литературные склонности их авторов. Отмечу, что философского или социологического об-

разования в годы моего обучения в университете не было, они появились много позже.

Учиться на филологическом факультете было очень интересно. Многие мои преподаватели были людьми профессиональными, талантливыми, влюбленными в свое дело. Такой была преподаватель иностранной литературы, Нина Андреевна Шеломова, хорошо владевшая немецким и французским языками, состоявшая в переписке с известным писателем Генрихом Беллем (автором произведений «Бильярд в половине десятого», «Дом без хозяина», «Потерянная часть Катарины Блюм» и др.). Под ее руководством я написала дипломную работу о творчестве американского драматурга Артура Миллера. Готовя диплом к защите, я встретилась с определенными трудностями. Критически высказавшийся о СССР, Миллер мгновенно был выброшен из вузовских программ и репертуара советской сцены. Защитить диплом мне удалось, только разбавив текст о Миллере рассуждениями о другой западной драматургии, а также изменив название работы. Лилия Поликарповна Овчинникова интересно преподавала античную литературу и литературу средневековья, Инна Вячеславна Володина высокопрофессионально учила нас методике преподавания литературы. Отличалась необыкновенной преданностью своему предмету, преподаватель старославянского и древнерусского языков Мария Алексеевна Романова: на студенческих практиках, посвященных сбору сибирского фольклора, диалектов и говоров, она самозабвенно сопровождала студентов в самые дальние западносибирские деревни, переплываясь туда на лодке. Талантливо преподавали общее языкознание, методику преподавания русского языка, ономастику Валентин Иванович Безруков, Иван Иванович Саморуков, Николай Константинович Фролов. Курс советской литературы нам хорошо читал Лазарь Вульфович Полонский.

Наши преподаватели требовали от нас не только эстетического постижения предметов, а досконального знания текстов, внимания к деталям, чутья к языку. Моя мать преподавала на нашем курсе очень немного, но хорошо запомнилась моим однокурсникам «чувством экзаменационного ужаса», которое испытало не одно поколение филологов перед требовательным преподавателем русской литературы и литературного краеведения. Ее вопросом: «Что лежало под диваном Обломова?» – старшекурсники пугали новичков. «Не тапочки, а... пыль лежала под диваном Обломова!» – эту литературную деталь, как и многие другие, большинство студентов запомнило навсегда. Преподаватели учили нас не только поэтике художественного текста, а нацеливали на черный труд текстологов, исследователей литературы и языка.

И в настоящее время я считаю, что русская и советская литература, ярко рисуящие жизнь «униженных и оскорбленных» в разные времена российской истории, в плане изучения социальных настроений, отношения людей к социальным и экономическим реалиям, более «социологичны», чем некоторые современные теории, рассматривающие российскую жизнь в свете личного материального успеха и представляющие социологию как техническую дисциплину, обслуживающую бизнес и политические процессы.

Конечно, студенческие годы были не только постоянной учебой: были уборочные с «посиделками» под звездным вечерним небом и песнями под гитару, литературные вечера, танцы, походы в театр, обучение на факультете общественных профессий, где я выбрала пение, выступления с хором на университетских и городских концертах.

Безусловно, о социологии мы будем говорить много, но не могла бы ты сразу пояснить, раскрыть, что стоит за «более социологична» и какие из современных теорий об устройстве российской жизни ты имеешь в виду?

Я говорю о роли русской и советской литературы для социологии, в том числе и о множестве точек соприкосновения литературы и социологии, которые, к сожалению, остаются незамеченными наукой. Будучи важным средством познания социальной жизни, отражая действительность, обращаясь к человеку, литература (как и искусство в целом) может опережать науку, раньше науки улавливать изменения в различных сферах жизни общества. Можно говорить об огромном значении литературы в плане «человековедения» и убеждаться в этом, читая деревенскую прозу или произведения городской литературы (В. Распутина, В. Солоухина, Ф. Абрамова, С. Воронина, В. Белова, В. Шукшина, В. Астафьева, Ю. Трифонова, А. Битова, Т. Толстую, Л. Улицкую, Л. Петрушевскую и др.). Антропоцентрический подход становится сегодня особенно актуальным и для социологии.

Я имела в виду и исследовательские способности искусства, возможности использования в науке информации, получаемой с помощью искусства, а, кроме этого, то целостное видение социальных систем, социальных настроений и надежд, которое свойственно непредубежденному, вневедомственному, не скованному запретами и стереотипами писателю.

К сожалению, российская социология до сих пор продолжает слепо копировать теоретические построения, рожденные на Западе, забывая проверить, как они работают на отечественной почве и работают ли вообще (таковы, на мой взгляд,

теория среднего слоя, теория элит и т.п.). Печально то, что из-за ориентации некоторых ученых на сиюминутные заказы власти, а не на стратегические интересы российского большинства, продолжает хиреть социология труда, мало или почти не рассматриваются категории социальной справедливости, равенства, прогресса и т.п.

С моей точки зрения, основные недостатки состоят в том, что отсутствует опора на знание прошлого, нет идеологической ценностной составляющей, ориентирующей общество на прочные моральные критерии. Так, в основу своих теоретических построений большая часть ученых продолжает ставить критерий «успеха» в противовес критериям «служения».

Ты работала по полученной профессии?

По профессии «филолог» я работала около четырех месяцев в редакционно-издательском отделе Тюменского индустриального института (позднее нефтегазового университета), куда сразу же после окончания университета поступила на работу.

Так случилось, что меня пригласили работать сразу на две кафедры данного вуза: кафедру философии, заведующим которой был Федор Андреевич Селиванов (он преподавал в университете логику), и вновь образованную кафедру этики и эстетики, заведующим которой стал Владимир Иосифович Бакштановский.

Немного подумав, я выбрала кафедру этики и эстетики, т.к. решила, что она больше соответствует моему образованию. Я год проработала на этой кафедре младшим научным сотрудником, а затем стала преподавателем и поступила в аспирантуру. Мне очень повезло в том, что я оказалась на данной кафедре, там я встретилась с талантливыми учеными и знакомыми для меня людьми, оказавшими большое влияние на мою дальнейшую деятельность.

Чрезвычайно деятельный и инициативный, В.И. Бакштановский, создал в Тюмени школу прикладной этики. Он защитил в начале 80-х докторскую диссертацию о рациональных основаниях морального выбора личности, и в дальнейшем концепция морального выбора личности была включена им в доктрину этики успеха. Бакштановскому принадлежит также разработка теоретико-методологических основ гуманитарной экспертизы и консультирования, в которых особое место занимают методы игрового моделирования нравственно значимых позиций и ситуаций. Сегодня он – автор ряда трудов по этике, возглавляет НИИ по прикладной этике в Тюменском государственном нефтегазовом университете и является редактором университетского научного журнала «Ведомости».

Кафедра этики и эстетики была в 80-х – 90-х годах центром общественной науки в Западной Сибири. Владимир Иосифович талантливо организовывал всероссийские и региональные конференции, многодневные деловые игры, в которых участвовали ученые-обществоведы – философы, социологи, этики, историки, а также журналисты, деятели культуры и практики. На конференциях обсуждались вопросы перестройки как ситуации морального выбора, «точек роста» современного знания об обществе, морали и воспитания, специфики этического знания, его роли в нравственном поиске нашего времени, создавались «банки идей» развития российской общественной науки и этики.

Результатом этой работы были многочисленные публикации: монографии, учебные пособия, сборники научных и журнальных статей, практикумы по этике. Для нас – молодых специалистов, действовали «школы молодых ученых» в Москве, Минске, Тбилиси, мы проходили научные стажировки в крупных городах России.

Пользуюсь случаем рассказать и о других западносибирских и российских ученых, с кем мне посчастливилось встретиться и работать.

Сегодня в некоторых научных статьях о советских обществоведах нередко пишут как о «чужих», стоящих на пути «истинного» научного прогресса. Как будто, сами пишущие не являются наследниками отечественной науки. А вы-то кто? Хочется иногда задать вопрос некоторым авторам. Сегодня надо осознать, что требуется уделять значительно больше уважения и к национальной истории, и к национальной общественной науке, и к представляющим ее именам. Для того чтобы наука развивалась, необходимо создавать и оценивать ее прошлое. Прошлое же науки – это в первую очередь значимые имена, они придают науке смысл, делают ее «живой».

В памяти науки заключено огромное количество важной информации, хотя и неиспользуемой в данный момент. Ряд научных систем, фрагментов мировоззрения могут лежать «невостребованными» в течение длительного времени. Тем не менее, когда появляется насущная потребность, в нужный момент распечатывается соответствующая кладовая памяти. Ключами же к данным кладовым являются имена ученых.

Федор Андреевич Селиванов – «патриарх» тюменской философской школы. Под его руководством кафедра философии тюменского индустриального института стала «кузницей» региональных кадров. Из стен данной кафедры вышли многие способные ученые-обществоведы.

Николай Дмитриевич Зотов-Матвеев (1937 – 2006) – самообытный сибирский ученый, философ и этик, знаток поэзии и

литературы. Его талантливые философские и этические эссе, которые он произносил на защитах диссертаций, надо было бы записывать. Зотов одним из первых заметил, что из науки и образования постепенно вымывается их глубинный гуманный и гуманитарный смысл. «Кругом одна информация, информация, информация... все словно опьянели от этого слова... Плодить уродцев стали, людей совершенно ущербных... Какие грехи связаны с образованием прямо? Я считаю, что образование есть от-влечение, (от-волочение от чего-то главного), развлечение (раз-волочение на части), у-влечение (у-волочение за чем-то одним). Сегодня мы ставим вопрос о взаимоотношении образования и духовно-нравственного воспитания. Я смотрю на эти вещи мрачно, потому что образование воздействует на духовно-нравственное воспитание вредоносно. То, что было для науки и техники прогрессом, стало глубоким регрессом для человеческого бытия... ..», – отмечал он [1].

Слушая аргументации «вечных» спорщиков в области методологии и методики науки, Николай Дмитриевич говорил: «Представьте каждый в своей руке горсть опилок, а затем бросьте эту горсть перед собой. Вы увидите, что, разлетаясь, опилки образуют рисунок. Каждый рисунок из опилок, если он у вас получился, по-своему красив и своеобразен. Но все ваши рисунки разные. Точно так же, как и рисунок из опилок, повторить в точности методический прием невозможно, да и не имеет смысла». Он считал, что творческие исследовательские подходы всегда пронизаны индивидуальностью, а иногда и неповторимы.

Даже сам вид Николая Дмитриевича говорил об его «неангажированности», он постоянно и везде ходил со старым рюкзаком, говоря, что так ему удобнее.

Юрий Михайлович Федоров (1936–2001), талантливый русский философ, социолог и социальный психолог, автор «трехкнижия» «Сумма антропологии» (изданного в Новосибирске, в издательстве СО РАН в 1994, 1995 и 2000 гг.) и предложивший субъектоцентристскую концепцию развития истории и общества, человек незаурядного ума. В конце 80-х его прикладные разработки, сделанные в Азербайджане, призваны были помочь стабилизировать ситуацию в стране, но они не были востребованы. Он был еще и тонко чувствующим поэзию переводчиком, переводившим современных польских поэтов и среди них особо восхищавшийся слепым Анджеем Бартынским, с которым постоянно переписывался.

Отмечу, что Н.Д. Зотов и Ю.М. Федоров были соратниками В.И. Бакштановского в научных поисках, однако они выступали его последовательными оппонентами, высказывая свою точку зрения на развитие морали и этики.

Владимир Петрович Парубочий (1938–2006) – талантливый специалист в области эстетики, его лекции в университете марксизма-ленинизма привлекали множество слушателей. Клара Григорьевна Барбакова (в свое время также работавшая на кафедрах философии и этики и эстетики), создавшая региональную социологическую школу в Тюмени, ставшая впоследствии создателем и первым ректором одного из тюменских вузов. В самом начале 90-х в Тюмень приехал социолог, Геннадий Филиппович Куцев, создавший вторую региональную социологическую школу и в течение ряда лет возглавлявший Тюменский государственный университет.

На конференциях, школах молодых ученых и просто в жизни, я нередко встречалась (а со многими была знакома лично) с ведущими учеными, философами, этиками и социологами, «патриархами» общественной науки и более молодыми ее представителями. Назову Александра Ивановича Титаренко, Леонида Михайловича Архангельского, Генриха Степановича Батищев, Игоря Семеновича Кона, Абдусалама Абдулкеримовича Гусейнова, Гела Деметьевича Бандзеладзе, Владимира Анатольевича Блюмкина, Владислава Николаевича Шердакова, Юрия Вагановича Согомонова, Валерия Николаевича Сагатовского, Феликса Никитича Щербака, Эльдара Владимировича Соколова, Валентина Николаевича Коблякова, Виктора Тимофеевича Ганжина, Светлану Николаевну Иконникову, Владимира Тимофеевича Лисовского, Елену Эмильвну Смирнову, Рубена Грантовича Апресяна, Елену Леонидовну Дубко, Ольгу Прокофьевну Зубец.

Многих из них уже нет с нами. Однако эти ученые до сих пор являются для меня ИМЕНАМИ, много сделавшими для развития отечественной общественной науки. Они задавали основные акценты общественной теории, способствовали тому, что советская наука имела богатое, разнообразное содержание, далеко выходящее за рамки господствовавшей и в обществе, и нередко в головах самих ученых, идеологии.

Кандидатскую диссертацию по философии на тему: «Морально-деловые качества руководителя социалистического коллектива: характеристика, пути формирования» (руководитель В.И. Бакштановский), я защитила в 1984 г. в ЛГУ им. А.А. Жданова, в диссертационном совете по этике. Я была соискателем кафедры этики, которой заведовал тогда Владимир Георгиевич Иванов. Он – «человек-солнце». На лице Владимира Георгиевича обычной была доброжелательная улыбка, а в характере чувствовались теплота и человечность ко всем без исключения людям, в том числе к аспирантам и соискателям. Мне приходилось бывать у него дома. Я хорошо помню маленькую «двушку», которая ломилась от книг, и в которой негде было присесть, а

Владимир Георгиевич и его жена всегда гостеприимно угощали нас чаем. Владимир Георгиевич, уже тогда известный ученый, был остроумным и живым собеседником, писал юмористические стихи. После защиты он вручил мне как подарок свою книгу «История этики средних веков» с такими стихами:

«Развеив мрак средневековья
Настало утро Возрождения...
В твой день Победы
Я, с любовью,
Вручаю это сочинение...
...Сибири дальней сторона
Недаром этикой славна...
Средь дивных звезд
Страны Полночной
Твои сверкают ярче очи
И звонче пламенная речь-
Тебе наследие беречь!..»

Среди преподавателей кафедры этики были и такие известные в науке имена как Моисей Самойлович Коган, Надежда Вениаминовна Рыбакова.

Хорошо помню очень яркого в жизни и в науке М.С. Когана. Готовя кандидатскую диссертацию, а позднее и докторскую, я много времени проводила в Публичной библиотеке им. М.Е.Салтыкова-Щедрина. Там я постоянно видела Когана. Когда он появлялся в читальном зале библиотеки (выглядел Моисей Самойлович очень импозантно), к нему, как на огонек, слетался «сонм бабочек» – аспирантов и аспиранток. И он со всеми беседовал, учил, помогал.

Огромное значение для меня имело одобрение моей работы суровой Н.В. Рыбаковой. Я ее очень боялась, т.к. говорили, что Рыбакова за версту чует фальшь и «порубила» немало лихих аспирантских голов. Мою работу ей дали на рецензирование, когда она была уже тяжело больна и лежала в больнице. К моей радости, Надежда Вениаминовна мою диссертацию одобрила и дала замечания, которые очень помогли мне в дальнейшей работе.

Судя по названию темы и зная некоторые идеи В.И. Бакштановского, я думаю, что твоя работа была в определенной степени социологической. После кандидатской у тебя была возможность продолжить философско-этические исследования или подойти ближе к социологии. Ты избрала второй путь... как это произошло?

В социологии я оказалась и случайно, и неслучайно (так как всерьез считаю, что случайного в природе и в обществе нет).

Среди моих коллег-обществоведов было немало социологов. В то время, о котором я пишу, т.е. 80-е – 90-е годы, западносибирские обществоведы работали нередко сообща, творческими коллективами, резкого деления на направления не было, так как многие научные темы были взаимосвязаны. И мне пришлось участвовать в социологических исследованиях.

Свою докторскую диссертацию на тему: «Ценностные ориентации западносибирского предпринимательства второй половины XIX – начала XX вв.: становление и развитие (на материалах второй половины XIX – начала XX вв.)», которая внутренне стала для меня продолжением моей прежней работы, я защитила в 1999 году по специальности «Социология духовной жизни». Помогала мне в выборе темы исследования и была моим консультантом по диссертационной работе петербургский ученый, Светлана Николаевна Иконникова.

Диссертацию я начала писать в 1994 году. В этом году я находилась на пятимесячных курсах повышения квалификации в Республиканском гуманитарном институте при Санкт-Петербургском государственном университете. Отмечу, что в настоящее время данные формы повышения квалификации признаны архаичными. Я не могу с этим согласиться. В основе системы повышения квалификации обществоведов лежала концепция поступательного роста специалиста на всем протяжении научной и практической деятельности. Сегодня же реализуются новые «рыночные» формы обучения регионов через, так называемых, “гостевых ученых” или «гостевых профессоров». Не умаляя значимости известных в науке имен, можно высказать сомнение в том, что они часто посещают российскую глубинку.

Решение писать докторскую диссертацию пришло ко мне быстро. Посмотрев на серый, перестроенный город, с множеством нищих на улицах и в центре, на Невском проспекте, я решила, что самым приятным для меня местом будет знакомый мне с давних пор читальный зал Публички. Тема диссертации пришла ко мне сама. Иркутский социолог, научной темой которой было исследование шаманских традиций, как-то загадочно сказала мне: «Тема своего автора всегда найдет и притянет». Возможно, что и так. Однако, поскольку моя прежняя диссертация была связана с «деловым человеком», я решила снова писать о деловом человеке, но в несколько ином ключе. На мой выбор повлияло и то обстоятельство, что моя мать открыла для регионального литературоведения имя сибирского купца, просветителя и литератора – Н.М. Чукмалдина.

Занявшись западносибирскими предпринимателями, я решила реконструировать экономическую и духовную жизнь

российского общества и установить преемственную связь в ценностных ориентациях прошлых и современных предпринимателей. Работ по данной теме не было, хотя было известно, что издавна выделялись четыре основных типа или профиля российской деловой культуры: центральный, северо-западный, южный и восточный – сибирский.

Я выступила с докладом на семинаре, который вела С.Н. Иконникова, и получила одобрение руководителя и слушателей. Несколько позже тема моего исследования была утверждена на заседании ученого совета Республиканского гуманитарного института.

Готовя диссертацию, я много работала с архивными документами, с газетными, литературными, научными источниками, опрашивала экспертов. Однако основным методом работы был качественный – биографический, с помощью которого я рассматривала реализацию экономических, социально-политических, правовых, нравственных, эстетических, художественных и региональных ценностей в деятельности ведущих предпринимателей Западной Сибири (М.К. Сидорова, А.М. Сибирякова, Н.Д. Машарова, А.И. Текутьева, И.П. Колокольникова, К.К. Шешукова, П.И. Подаруева, Ф. Колмогорова, Н.М. Чукмалдина, И.И. Игнатова и др.).

Мне приходилось использовать и другие качественные методы исследования, например, изучать невостребованные ранее тексты, в том числе, имеющие служебный характер (письма, записки, предпринимательские счета).

Сегодня о качественных методах, в том числе и о визуальных методах социологических исследований (визуальной социологии), много говорят и пишут. Мне же пришлось идти своим путем: я вспомнила о методе изучения римской культуры по скульптурным портретам выдающихся людей, в которых красноречиво выражались их нравственные качества. Портреты римлян, сделанные из камня, ясно показывали как доблесть, патриотизм и силу духа в начале римской истории сменили тщеславие, коварство и пороки – в ее конце.

Мне пришлось в голову применить аналогичный метод качественного исследования и сравнить содержание фотографий, надписей и рисунков на могилах предпринимателей прошлого и настоящего времени, для того, чтобы понять, прервалась ли связь, между ценностными ориентациями прошлого и современного предпринимательства. Изучив визуальные данные, я убедилась в принадлежности предпринимателей прошлого и настоящего к разным социальным слоям. Если на могильных плитах предпринимателей конца XIX – начала XX вв. сохранились надписи и рисунки, ясно говорящие об уважении

сограждан и просветительских заслугах купечества, то в ряде фотографий, рисунков и надписей на современных могилах можно было явственно увидеть атрибуты силы и власти, говорящие о прошлой криминальной деятельности людей, позиционировавшихся в обществе как предприниматели.

О ценностных ориентациях предпринимательства прошлого я писала выше. Ответ же о перспективах возрождения социально и нравственно ответственного предпринимательства в Западной Сибири для меня остается открытым. С моей точки зрения, возрождение ценностей предпринимательской культуры возможно лишь в том случае, если современная Россия найдет путь развития, соответствующий особенностям ее экономики, социальной структуре общества и менталитету основных этносов.

Не встречались ли тебе работы по крупному российскому предпринимательству, выполненные еще в дореволюционное время? Если такие работы были, расскажи немного о них.

Да, встречалась. О российском предпринимательстве писали такие известные авторы, как П. Бурышкин («Москва купеческая»), В. Гиляровский («Москва и москвичи»), а также американский ученый Р. Пайпс («Россия при старом режиме»), утверждавший, что развитое предпринимательство в России было в большинстве старообрядческим. Автор доказывает, что самые многочисленные и лучшие образцы промышленной деятельности показали российские купцы, которые либо вышли из среды староверов, либо ощутили на себе их большое влияние.

О западносибирском предпринимательстве писали такие видные дореволюционные исследователи Сибири, как В. Андриевич, П. Словцов, Н. Ядринцев, А. Щапов. Они отмечали необыкновенное развитие в Западной Сибири промышленного и торгового класса. Ученый-демократ А.П. Щапов обратил внимание на то, что склонность к предпринимательству поощряло семейное воспитание в Сибири. Характеризуя сибирскую семью, он отмечал, что отцы в Сибири «большой частью любят тех сыновей, которые с ранних лет обнаруживают большие буржуазные наклонности и приобретательские способности» [2, с. 13].

Назову еще дореволюционных авторов, в чьих работах рассматривались ценности западносибирского предпринимательства – это Н. Абрамов, К. Голодников, П. Головачев, К. Носилов, А. Мелких, И. Левитов, С. Шарипов и др.

“Здесьнее купечество гораздо образованнее русского, более податливо на общественные дела”, – говорил о западносибирских купцах Н. Абрамов [3].

О купечестве Западной Сибири писали и иностранцы, например А.Глейнер, его работа называется «Сибирь – Америка будущего», а также французский исследователь К.Оланьон, написавший книгу «Сибирь и ее экономическая будущность».

Оланьон отмечал: «Сибиряк-купец похож на своего собрата в коренной России. Но самое происхождение его, затрудненность путей сообщения и другие жизненные препятствия, которые приходилось ему преодолевать, сделали его более самостоятельным, может быть, более смысленным и энергичным, а иногда и более предприимчивым...» [4, с. 98].

Дореволюционные исследователи обращали внимание и на склонность к предпринимательству сибирской женщины. Многие сибирские промыслы находились в руках женского населения, и достатки скапливались в женских руках (об этом можно прочесть, например, в работе Л. Скалозубова «Из поездок по Тобольской губернии в 1895 г.»).

Старообрядческое предпринимательство исследовали такие дореволюционные российские и западносибирские писатели и ученые, как Н. Костомаров, А. Щапов, Н. Ядринцев, П. Головачев, И. Завалишин и др.

Есть работы о западносибирском предпринимательстве, которые написаны самими предпринимателями. Назову книги крупного западносибирского, а затем московского купца Н.Чукмалдина, – «Мои воспоминания», «Записки о моей жизни», публицистические заметки «Письма из Москвы» (часть его работ была переиздана в наше время [5]).

Как вмещалась революция 1917 года в жизнь основной части западносибирского предпринимательства, их семей? В ценностных синдромах кого – директоров крупных промышленных структур при советской власти или владельцев современных крупных бизнесов – обнаруживается больше сходства?

Известно, что первыми из предпринимателей России поддержали революционное движение старообрядцы (причины крылись в общественной дискриминации староверов, двойном налогообложении, церковных притеснениях). Основная гигантские промышленные предприятия, накапливая миллионные состояния, старообрядцы открыто помогали тем, кто впоследствии уничтожил их как класс.

С начала революции в регионе начала нарастать агрессивность беднейших слоев населения по отношению к «буржуям». В Тюмени производились обыски купцов. Возвращавшиеся с фронта солдаты, выступали в роли агитаторов, настраивая крестьян против торговцев и зажиточных односельчан. На тюменскую буржуазию была наложена двухмиллионная «контрибуция»:

Были случаи, когда проводились аресты и расстрелы предпринимателей без суда и следствия. Первые документы Советской Власти в Тюмени хорошо передают обстановку того времени:

«Приказ № 5 Коменданта города Тюмени по охране революции

Объявляю для сведения буржуазии города Тюмени:

а) до моего сведения доведено, что буржуазия принимает меры к выезду из города, вывозя свое имущество.

Предупреждаю, меры все приняты:

б) буржуазия, попытавшаяся выехать без разрешения, будет расстреляна беспощадно.

в) При том, довожу до сведения – ввожу буржуазии круговую поруку – за каждого скрывшегося будет расстреляно десять.

Комендант города Тюмени Владимир Шебалдин.

Начальник штаба Новиков.

Адъютант Шуравлев» [6, с.439].

В этих условиях предприниматели вынуждены были срочно покидать дома и, если это было возможно, бежать за границу (сегодня нередки случаи переписки потомков предпринимателей с региональными краеведами, есть факты, когда родственники предпринимателей помогают ставить памятники своим предкам, а их наследники даже претендуют на сохранившиеся купеческие дома).

На вопрос о сходстве в ценностных ориентациях предпринимательства прошлого с руководителями крупных промышленных предприятий советского времени или организаторами крупного бизнеса, должна сказать, что большого сходства мною не замечено.

Основой ценностных ориентаций западносибирского предпринимательства было просветительство (а не только благотворительность, как пишут некоторые исследователи). К просветительской деятельности относится борьба предпринимателей за культурное развитие Сибири, постройка Северного морского пути, железной и сухопутных дорог. Однако центральное место в просветительской деятельности предпринимателей Западной Сибири занимает становление сибирского образования и науки. Это создание школ и других учреждений, которые помогали сибирякам получать образование. Западносибирские предприниматели выступали и как ученые, они оставили

данные, важные для наук, изучающих Сибирь (работы Сидорова и Сибирякова по освоению Северного морского пути, их наблюдения о природных и минеральных богатствах Севера, о быте, обычаях, этнических и религиозных особенностях народов Сибири и др.).

За годы социализма в советской культуре сложился ряд ценных форм хозяйственной деятельности. Моделями делового человека стали стахановцы, ударники труда, выдающиеся администраторы-управленцы, талантливые производственники, представляющие собой особый склад делового человека советской эпохи.

Советская власть делала ставку на трудовой героизм, бескорыстное служение победе "общего дела", что, однако, не оставляло места для развития культуры повседневного труда и личной предпринимательской инициативы.

В ценностных же ориентациях крупного современного предпринимательства просветительство и благотворительность, как, впрочем, и бескорыстное служение общему делу, обнаруживаются довольно слабо.

Мы знаем, что формирование крупного предпринимательского слоя происходило у нас, в силу обстоятельств, скорее и не на базе естественной конкуренции, а путем искусственного и случайного превращения в предприниматели представителей бывшей номенклатуры, комсомольских, научных работников, а также за счет выдвинутых из полукриминальной среды. Значительное влияние на предпринимательскую карьеру оказывали сети личной поддержки избранных со стороны представителей власти (что базировалось на теневых интересах).

Все это привело к тому, что крупный бизнес не просто игнорирует национальные интересы, а, наоборот, за исключением немногих его представителей, реализует свои частные интересы за счет национальных.

Ты заметила мимоходом, в скобках: «случайного в природе и в обществе нет». Оставим в стороне природу, поговорим об обществе и человеке. Скорее всего, ты имела в виду роль судьбы – темы обозначенной в твоей книге о западносибирских предпринимателях. Есть ли, по-твоему, здесь предмет для секулярного обсуждения или здесь действует Божья воля?

Такой предмет, конечно, есть. Судьба для меня – это, прежде всего, жизнь целостная, понятая во взаимосвязи поступков и происшествий, объединяющая внешнюю событийную сторону жизни, а также внутреннюю духовную сторону. Судьба включает метания души и духа, взлеты и падения, сомнения,

колебания, радости и драмы, которые не совпадают с биографической стороной жизни. Кроме того, судьба человека – это часто жизнь законченная, свершенная.

В книге я писала об именах, биографиях и судьбах западно-сибирского предпринимательства. О социальной роли имени я говорила выше, когда вспоминала о своих учителях. Термины же биография и судьба оказались для меня, как для исследователя, неравнозначными.

Задуматься на тему судьбы меня заставил факт, с которым я встретила, изучая биографию Н.М. Чукмалдина. Он умер в 1901 году за границей, в Берлине, куда уехал лечиться. Он мог бы быть похоронен с почестями в Москве, однако завещал похоронить себя в родной деревне Кулаковой, расположенной близ Тюмени, где родился и вырос, и которую описал в своих книгах. В Кулаковой на средства Чукмалдина была построена красивая церковь. Когда тело предпринимателя привезли в Тюмень, крестьяне, жители деревни, несли его гроб через весь город на руках. За городом, они, хотя и водрузили гроб на катафалк, выпрягли лошадей и везли его на себе до самой деревни. Старожилка Кулаковой вспоминала, что при церкви был построен «приклад», куда и поместили гроб Чукмалдина. Гроб был до половины закрыт стеклом, так что умершего было видно по грудь. Он лежал, как спал. Все удивлялись, что тело так хорошо сохранялось. Кулаковцы говорили, что из гроба был выкачан воздух, поэтому тело не разлагается.

Судьба останков Чукмалдина была драматичной. В самом начале 30-х секретарь сельсовета и двое кулаковских активистов занялись перезахоронением останков предпринимателя. Они с трудом разбили гроб, вытащили тело Чукмалдина, притащили к вырытой на кладбище яме и сбросили туда.

События, которые произошли вскоре, дали кулаковцам повод говорить, что судьба послала возмездие за святотатство. Этим же летом у активистки, которая ногами пинала тело предпринимателя в яму, утонула в реке Туре 17-летняя дочь. Ее затащило в глубокую яму, из которой раньше брали песок. Утонувшую девушку долго искали, а когда нашли, она почти разложилась. Тело ее сильно разбухло, положить в гроб его было невозможно. Так и похоронили девушку без гроба. Мать очень убивалась по дочери, сильно плакала.

В настоящее время останки Чукмалдина не найдены. Однако его имя знают и помнят в Сибири. Построенная им в Кулаковой церковь, восхваляющая прекрасной архитектурой, сегодня полностью восстановлена.

Как видно из вышеизложенного, границы судьбы человека часто не совпадают с границами его биографии. Судьба может быть связана с теми началами, которые не вмещаются в биографию и жизнь, она может быть длиннее или короче жизни, может стать судьбой-мифом или судьбой-легендой.

Сменим немного тему и поговорим о дне сегодняшнем... В журнале «Социологические исследования» регулярно публикуются статьи о развитии социологических исследований в российских регионах. Чтобы ты сказала на эту тему? Оправданно ли говорить в целом о «столичной» социологии и провинциальной?

В журнале «Социологические исследования», а также и в других социологических журналах, нередко публикуются статьи тюменских авторов, посвященные региональным проблемам: анализу и реализации управленческих решений, деятельности органов государственной власти и муниципального управления, территориальной целостности и единству области, устойчивому развитию региона, особенностям молодежной политики в Тюменской области и др.

С тем, что современная российская социология не едина, а разделилась на «столичную» и «провинциальную», я неожиданно встретила на III Всероссийском социологическом Конгрессе (Москва, октябрь, 2008). Своё отношение к происшедшему на Конгрессе, я выразила в отзыве, который назвала «У каждого свои встречи в метро...».

Внимательно прочитав программу Конгресса, я увидела, что названия мероприятий повторялись, т.е., по сути, одинаковые встречи проводились в разных местах. Столичные коллеги легко ориентировались в ранговых, научных и околонаучных мероприятиях. Региональному же ученому, не знающему подводных течений в научном сообществе, нелегко было сориентироваться, куда идти и в чем участвовать.

Многое на данном Конгрессе говорило об отсутствии единства в социологическом сообществе, разделении его на противоположные, а иногда и враждующие группы. Призывы к консолидации перекрещивались со взглядами, свидетельствующими о крайней бескомпромиссности и конфронтации. К корифеям науки уже не относились как к корифеям. Было немало ненужного самомнения и не смягченных резкостей.

На Конгрессе, за исключением нескольких имен, почти не давали слова социологам из регионов. Их мало слушали, к ним мало обращались и в основном упрекали в непрофессионализме.

Не желая вступать в противоречия, в большинстве не понимая их скрытой сути, ученые из глубинки, будучи членами

трех крупных социологических объединений одновременно (Российского Общества Социологов – РОС, Российской Социологической Ассоциации – РОСА и Союза Социологов России – ССР), вели себя по отношению к взрывной части сообщества так, как сказано в известном стихотворении В. Долиной:

«Не приближаясь, стороной иду по кромке,
По самой кромке от взрывной его воронки...».

Тем не менее, помогать профессиональному становлению региональных ученых почти никто из столичных ученых не стремился, не стремится и сегодня.

Посещают регионы в настоящее время в большинстве «дельцы» из столицы, перехватившие либо в Москве, либо у местных заказчиков, средства на региональные исследования. Работая по трафаретным схемам, не зная и не желая знать насущных конкретных региональных проблем, под маркой профессионализма они используют провинциальных коллег, в основном, для черной «полевой» работы.

Не могу не отметить, что сегодня не только в социологии, но и в других сферах, вновь начала муссироваться тема передовой «столичности» и недалекой «провинциальности». Как писал Виктор Астафьев: «Если по старинному, благостно тихому, архитектурными памятниками украшенному городку идет человек с вольно распахнутой волосатой грудью и на пузе у него болтается фотоаппарат или серенькая кинокамера, напоминающая птаху с клювом, если на лице этого человека царит гримаса пресыщенности, походка у него вальяжно-усталая, говорит он, как ему кажется на свежайшем остроумно-ехидном жаргоне... кривит губы, глядя на все местное: «Вот когда я был в Варне, в Баден-Бадене, то там...», – это он, столичный житель, отдыхает на российских просторах... Иной столичный житель присвоил себе право считать себя почти голубых кровей породой или нацией, и на этом основании желающий получить все лучшее, свежее поперед остального народа...» [7, с.234].

Несомненно, надо организовывать поездки ведущих социологов из столицы по провинциальным университетам. Надо прямо сказать, что в провинции есть серьезные трудности с квалифицированными преподавательскими кадрами. Можно и надо финансировать дистанционное обучение, записывая курсы лекций лучших столичных преподавателей на видеокассеты. Нужно разработать специальную программу поддержки и развития провинциальной социологии. Однако этой работы в полном объеме пока не проводится.

Ты пришла в социологию, имея базовое филологическое образование, и относишься к тому поколению, среди которого мало кто имеет социологическое образование. Ты хорошо знаешь тюменских, уральских социологов, недавно заведовала кафедрой социологии в ТГУ, потому не могла бы сказать, каково базовое образование окружающих тебя социологов твоего поколения?

Базовое образование социологов моего поколения, также как и твоего, в основном не социологическое. В социологии работают историки, филологи, математики, специалисты, закончившие технические вузы, и другие.

Тем не менее, должна отметить, что обучение социологии началось в Тюмени с 1975 г., когда в вечернем университете марксизма-ленинизма был открыт двухгодичный социологический факультет [8]. На нем читались курсы социологии, социальной психологии, методологии и методики социологического исследования. На факультете учились работники социальных и социологических служб, руководители предприятий, отделов и организаций, аспиранты и преподаватели из различных вузов города. В 1976 г. был создан Тюменский филиал Сибирского отделения Советской социологической ассоциации. Первым его председателем стал Ю.М. Федоров, а позже К.Г. Барбакова и Г.Ф. Куцев.

В 1988 г. в Тюменском государственном университете появилась кафедра экономики и социологии труда (позже социологии и социального управления), которую курировал Г.Ф. Куцев (с 1981 г. ректор данного вуза).

В Тюменском индустриальном институте и в Тюменском государственном университете были созданы социологические лаборатории, занимающиеся крупными исследовательскими проектами (например "Человек на Севере").

В период социально-экономических реформ отделы, занимающиеся промышленной социологией в регионе, в большинстве были разрушены. Так, к началу 1990-х не осталось ни одной социологической лаборатории на предприятиях города. Сохранилась лишь вузовская социология, хотя и ориентированная в большинстве на практические региональные проблемы и нужды.

В Тюменском государственном университете в 1991 г. был открыт первый Совет по защите диссертаций, а затем – кафедра экономической социологии. В настоящее время подготовка профессиональных социологов осуществляется также и в Тюменском государственном нефтегазовом университете. И в том, и в другом университетах открыта аспирантура, докторантура, работают Советы по защите кандидатских и докторских диссертаций.

В 1997 г. был создан региональный институт прикладных социологических исследований (возглавил доктор социологических наук А.Н. Силин). В 2002 г. в Тюменском нефтегазовом университете был открыт институт гуманитарных исследований с сектором социологических исследований (возглавила его доктор социологических наук В.В. Гаврилюк). Сегодня в тюменских университетах издаются журналы – “Вестник Тюменского государственного университета” (ТюмГУ) и “Социология. Экономика. Политика” (ТюмГНГУ), включенные в перечень ВАК РФ.

В Тюменской областной Думе работает информационно-аналитическое управление. Оно осуществляет мониторинговые исследования социально-экономического развития и социального самочувствия населения региона. В настоящее время ученые региона работают над проектом гуманитарного и социологического форума.

Насколько хорошо ты знакома с социологами твоего поколения, работающими в Москве, Петербурге, в других регионах?

Среди известных мне современных социологов трудно вычленить мое поколение. Однако со многими социологами я знакома по работам, с некоторыми встречалась лично на конференциях различного уровня, о других узнала из Интернета.

Отмечу, что в перестроечное и постперестроечное время непосредственные контакты ученых затруднились по материальным и иным соображениям.

Ты присутствовала на одной из моих лекций, когда я попросил студентов третьего курса ТГУ назвать фамилию хотя бы одного известного современного российского социолога. После затянувшейся паузы кто-то робко произнес: «Питирим Сорокин». Как ты думаешь, в чем причина отсутствия интереса к совсем недавнему прошлому?

Не только студентам, но и новому поколению отечественных ученых мало известно, как складывались научные коллективы в советский и постсоветский период, чем они занимались и продолжают заниматься, какие индивидуальные творческие идеи до сих пор не востребованы.

В этом плане сегодня можно назвать лишь ваш проект с Д. Шалиным под названием «Международная биографическая инициатива», который знакомит с именами и деятельностью признанных мастеров российской социологической науки, а также небольшую работу В. Радаева, посвященную учителям-основателям экономической социологии в России.

Поэтому считаю и твою сегодняшнюю работу очень актуальной и своевременной. Процесс развития социологии нельзя понять и

оценить без учета вклада конкретных лиц, тех, кто олицетворял и продолжает олицетворять ее лично и персонально.

По каким направлениям, разделам социологии ваш факультет готовит специалистов, находят ли ваши студенты работу по специальности?

Раньше наши кафедры готовили студентов по специализациям: социология образования, социология управления, социология рекламы, экономическая социология, сейчас же, в связи с изменениями в образовательном процессе, выпускают бакалавров и магистров социологии.

Поскольку промышленной социологии не стало, наши студенты чаще всего работают в центрах маркетинга, рекламы и пиар, в кадровых службах, а отдельные преподают в вузах.

В одном из интервью социолог твоего поколения сказал, что среди его знакомых, ряд социологов в 90-е годы ушли из науки. Наблюдалось ли подобное в вашем регионе?

Нет, в нашем регионе все происходило наоборот. В 90-х ряд моих коллег (как и я сама) защитили докторские диссертации и пришли в вузовскую науку.

Недавно в петербургском социологическом журнале «Телескоп» ты опубликовала статью о песнях, которые поют в вашей семье? Это у тебя отдельная «наболевшая» тема или часть более крупного замысла?

Это часть более крупного замысла, связанного с глубинным изучением человеческого мира. Отмечу, что центр интересов социологии в последнее время резко меняется. Все определеннее говорится о рождении новой или «третьей социологии», социологии социальной экзистенции (социального существования).

Как справедливо отмечал В. Голофаст, поскольку социология сегодня вынуждена активно развивать связи с другими науками и практическими видами социокультурной деятельности, ей нужно значительно расширять свою источниковедческую базу, а в частности, обращаться к личным текстам [9].

Процесс погружения в слои жизни человека требует поиска особых инструментов глубинного анализа индивидуального – новых методов качественного анализа.

Поэтому свою работу, с твоей помощью, я назвала «Обращение к себе» (в данном названии я использовала фразу из твоего письма). Я обращаюсь к «житийному», документальному, мемуарному жанрам, биографиям, судьбам, именам, а также человеческому или «очеловеченному» пространству, месту и времени. Однако для меня не менее важно и интересно изучение песен, которые пелись или поются сегодня в семьях,

дневников, рецептов семейной кухни, семейных альбомов, устойчивых семейных высказываний и выражений (социокультурный опыт людей кодируется не только в мимике, жестах, телодвижениях, но и в словах, выражениях).

Обозначенная проблематика пока не стала предметом специального научного рассмотрения. Здесь необходим и серьезный теоретический анализ, и эмпирические исследования. Конечно, новые подходы не обесценивают старые, а, наоборот, добавляются к ним, развивая и обогащая социологическое видение.

Безусловно, важна историко-культурная ценность найденных личных текстов, а также их экзистенциальная значимость. Но этим их ценность не исчерпывается. Погружение в личностный мир дает возможность проникнуть в мир повседневной жизни простого человека, понять социальный контекст его надежд, представлений и ожиданий. Отмечу, что тема повседневности уже прочно вошла в сферу современного исследовательского интереса и обросла собственной традицией. Так, для изучения повседневности создала оригинальную методологию «чтения человеческих документов» Н.Н. Козлова, когда сопоставляла социально нормированный язык с ненормированной повседневной речью.

Особое значение имеют архитипические, подсознательные аспекты исследуемых текстов. Культурно-символические структуры возникают как богатые и сложные смыслы, имеющие скрытый характер.

Изучаемые мною материалы дают примеры живого текста, а также и живого языка, нередко утраченного, забытого. Это и изучение речевых жанров, обыденной речи, которое всегда оставалось на периферии.

Особую роль играют и социокультурные контексты, выражающие смысл процессов и событий, происходящих в обществе, таких, например, как смена социальных структур, политических систем, социальных технологий.

В таком подходе к личным документам соединяются воедино творческий и научный подходы, что может стать «уникальным шансом» [10, с. 74] для развития социологии.

Какое место ты могла бы отвести в российской социологии религиозным социологическим направлениям, в том числе – православной социологии?

Это еще один спорный вопрос, дискутируемый сегодня российскими учеными.

Религиозная социология предполагает исследование социальной реальности с религиозных позиций, при условии использования строго научных социологических методов позна-

ния. Вместе с тем, современная социологическая наука не имеет необходимого набора познавательных средств для изучения иррациональной компоненты религиозной жизни.

Тем не менее, на мой взгляд, появление религиозной социологии это, прежде всего, напоминание о полипарадигмальности современной науки. Это и попытка научного исследования с учетом религиозного опыта, религиозной (в том числе православной) точки зрения. На первый план выступает духовное бытие общества, сфера отношения человека к Богу (общение человека с Богом, жизнь в Боге).

Православная (христианская) социология имеет своим источником русскую религиозную социально-философскую мысль (С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк и др.). Христианским социологом был во многом и П.А. Сорокин. Среди современных ученых-социологов, развивающих направление религиозной социологии, я могу назвать В.А. Бачинина и И.П. Рязанцева.

Я думаю, что религиозная социология расширит возможности социологии, введет в нее большое количество неизученной или неучитываемой ранее информации, заключающейся в изучении связей человека и Бога.

Юля, ряд моих вопросов были из тех, что расположены «по самой кромке от взрывной воронки», но ты не уклонялась и от ответов на них. Спасибо тебе за беседу.

Литература

1. *Зотов-Матвеев Н.Д.* Образование и духовность. Русская линия <<http://rusk.ru/autor.php.7dau=9347/>>.
2. *Миненко Н.А.* Русская крестьянская семья в Западной Сибири (XVIII – первая половина XIX вв.). Новосибирск: Наука, 1979.
3. *Абрамов Н.* Город Тюмень // Тобольские губернские ведомости. 1858, №№ 50, 51, 52.
4. *Оланьон К.* Сибирь и ее экономическая будущность/ Пер. с фр. СПб.: 1903.
5. *Чукмалдин Н.М.* Мои воспоминания. Избранные произведения. Тюмень: СофтДизайн, 1997.
6. *Вычугжанин А., Отрадных О.* История банковского дела Тюменской области. Тюмень: Слово, 2004.
7. *Астафьев В.* Жизнь прожить. М.: Современник, 1986.
8. *Гаврилюк В.В.* Тюменские социологические практики // СОЦИС, 2009, №3. С. 148–150.
9. *Голофаст В.* Социология семьи. Статьи разных лет. СПб: Алетейя, 2006. С. 279–280.
10. *Штомпка П.* Визуальная социология. М.: Логос, 2007.



Давыдов А.А. – окончил психологический факультет МГУ, где специализировался в области психометрики, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН (Москва), вице-президент Российского общества социологов. Основные области исследования: социология труда, методология социологических исследований, общая теория систем.

Я давно знаю Андрея Давыдова и согласен с теми, кто считал его маргиналом. Но, скорее всего, я наделяю это слово иным содержанием, чем те, кто имел в виду «чуждачество». По большому счету наука делается поколениями ученых, но прорывы в ней совершаются именно маргиналами. Я многие годы изучал математические и философские проблемами симметрии и потому знаю, насколько мощными, эвристически ценным являются исследования в области «золотого сечения». Андрею повезло, он нашел тему, которая «завела» его, и он оказался профессионально и лично готовым к ее разработке. От этого выиграла и российская социология.

**А.А. Давыдов:
«МОИ ЗАНЯТИЯ
“ЗОЛОТЫМ
СЕЧЕНИЕМ”
ВОСПРИНИМАЛИ
КАК ЧУДАЧЕСТВО
НАУЧНОГО
МАРГИНАЛА»**

Андрей, мы знакомы уже многие годы, когда-то познакомились в Институте социологии. Но ведь было время, когда ты не только не работал в нем, но и вообще не работал. Пожалуйста, начни с того, если знаешь, сколько поколений твоей семьи по отцу или матери живут в Москве.

Бабушка и мама родились в городе Яхроме (Московская область, 1 час от Москвы на электричке), дед родился в поселке Вербилки (Московская область, 1,5 часа от Москвы на электричке). Дед жил в г. Клину. Отец родился в деревне Гармониха Московской области. Можно сказать, что мои предки из ближнего Подмосковья.

Дед – Борис Леонидович Шелякин – заслуженный врач РСФСР. По линии деда, все родственники врачи или ученые (физиологи и физики). Так, дядя – Вячеслав Зудин – доктор медицинских наук, был заведующим кафедрой патофизиологии Томского Университета. Другой дядя – Лев Борисович

Шелякин – был заведующим кафедрой физики твердого тела физического факультета МГУ им. Ломоносова. Прапрадед – Леонид Михайлович Шелякин был художником. Прапрабабка – дворянка, Мария Евгеньевна Крутицкая.

По линии отца – все родственники крестьяне-середняки. Бабушка – учительница начальных классов (с 1 по 4 класс). Отец бабушки – главный инженер ткацкой фабрики в г. Яхроме. (градообразующее предприятие Яхромы). Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Мои родители – физики-ядерщики, работали в атомном НИИ вместе с Зинаидой Васильевной Ершовой – ученицей и сотрудницей Ирен Жолио-Кюри (дочери Пьера и Марии Кюри, жены Фредерика Жолио-Кюри). Мама была заместителем начальника отдела, имеет изобретения в области атомной промышленности. Сейчас она уже на пенсии. Отец – умер.

В какой мере коснулись вашей большой семьи события 37–38 годов и война?

Муж сестры деда был репрессирован, в 1954 году его реабилитировали. Он все выдержал и вернулся домой.

Во время войны мой дед Б.Л.Шелякин воевал, был начальником военного госпиталя. Майор, имеет боевые награды: два ордена Отечественной войны, орден Красной Звезды и медали. Один дядя (Сергей Леонидович Шелякин) воевал, погиб на фронте. Другой – Владимир Леонидович Шелякин воевал на Ленинградском фронте, был ранен, имеет боевые награды. Выжил. Мужья сестер бабушки (по материнской линии) воевали.

Муж одной из сестер бабушки попал в плен, был в концлагере Бухенвальд. Выжил. Мои дяди по линии отца воевали и все выжили. Бабушка, вместе с моей мамой во время войны жила в Яхроме, работала на трудовом фронте: рыла противотанковые рвы, работала в колхозе и т.д.

Да, семью ты здорово выбрал, теперь начнем разговор о тебе...

Я родился в Москве 29 декабря 1954 года. После 8 класса поступил в ПТУ – профессия – радиомонтажник.

... неожиданно.. среди моих опрошенных есть социолог старшего поколения, начинавший свой жизненный путь с ремесленного училищ, но он был из послевоенной нищей деревни.. как произошло, что ты – из семьи с рядом поколений людей с высшим образованием, включенными в науку, оставил школу и пошел в ПТУ?

В школе мне было просто неинтересно. Я учился в школе № 154, где учились, в основном, дети сотрудников Института

атомной энергии им. Курчатова. Школьные друзья, преимущественно, закончили физический факультет МГУ. Друзья детства у меня были будущие физики.

Единственный предмет, который меня интересовал – биология. По биологии всегда получал 5, по остальным 3-4. Любимый журнал в школьные годы – «Наука и жизнь». Практически каждый день ходил в районную библиотеку, читал научно-популярные журналы, книги по истории науки, об ученых и т.д. Художественная литература меня никогда не интересовала, как и сейчас. У меня мозги естествоиспытателя (возможно, это генетика), т.е. исследователя, а просто так формально заучивать материал, как это тогда преподавали в школе, мне было неинтересно. Кроме того, не отличался примерным поведением (бездумно хулиганил по молодости и глупости), за что и был после 8 класса выгнан из школы в ПТУ. Одновременно пошел учиться в вечернюю школу, в 9 класс. О вечерней школе в те годы хорошо показано в популярном фильме «Большая перемена». ПТУ я закончил с отличием, но знал, что это «не мое». Я всегда хотел заниматься наукой.

Затем, с 1973 по 1975 гг. служил в Советской Армии связистом, в Среднеазиатском Военном округе (в Казахстане, под Алма-Атой), «от звонка до звонка». Сержант, командир взвода. В армии учился в вечерней школе в ближайшем поселке, закончил 11 класс и получил диплом о среднем образовании.

В армии, как и в школе, не отличался примерным поведением. Самоволки, пьянство. Но многое прощалось, поскольку я единственный из части учился в вечерней школе, но самое главное – все приказы по службе исполнял точно и в срок с выдумкой, т.е. был спецом. Техника мне давалась легко, но это «не мое». В армии много читал. Но не думал конкретно о психологии. Единственное, о чем думал – дослужить до дембеля, а там новая жизнь.

Дождлся, и что далее?

Единственное место, где я хотел учиться – МГУ. Тогда это был высший научный класс! Чтобы подготовиться к экзаменам, поступил на фабрику-прачечную монтером контрольно-измерительных приборов; по образованию ПТУ я был радиомонтажником, а по военной специальности – связистом. Моя работа состояла в том, чтобы устранять неполадки, а они бывали не так часто, поэтому свободного времени было много. Целенаправленно готовился на факультет психологии МГУ, где нужно было сдавать биологию, математику, сочинение и историю. Эти предметы мне давались относительно легко. Накупил пособий по этим предметам для поступающих в Вузы и

каждый день на работе по 2-4 часа читал, конспектировал, запоминал, писал сочинения на время. На фабрике-прачечной отработал один год, подготовился и поступил на психфак МГУ. Психология меня интересовала, особенно телепатия (тогда это было модно), функционирование мозга, психологические тесты.

Таким образом, после армии я сразу поступил на дневное отделение факультета психологии МГУ им. М.В.Ломоносова и в 1981 году закончил его. Специализировался на психометрике.

Диплом на психфаке я писал на тему «Исследование музыкального исполнительского образа» совместно с аудио-лабораторией училища Гнесиных. В училище Гнесиных договаривался со студентами-исполнителями, которые имели опыт исполнительского мастерства на фортепьяно 10-15 лет, а также с профессорами и просил их в специальной комнате играть фрагмент 16 cis-моль этюд Шопена. Причем играли они десять раз: дважды – специально невыразительно, а восемь раз – выразительно. Все записывалось на специальную аппаратуру. Затем профессора Гнесинки экспертно оценивали выразительность исполнения; оценка была достаточно грубой: «выразительное – невыразительное (отсутствует психологический образ)». После этого в одном ядерном институте Дубны мой школьный товарищ (к тому времени мои школьные друзья уже закончили физфак МГУ и работали в физических институтах) достал мне 12-ти канальный японский частотомер, с помощью которого я проанализировал и записал частотный спектр выразительных и невыразительных исполнений для всех исполнителей. Вся комната была завалена распечатками спектрограмм. В результате были выявлены частотные различия между выразительным и невыразительным (отсутствует психологический образ) исполнениями. В частности, невыразительное исполнение более быстрое, более громкое, частотный спектр более ровный и т.д. Был выявлен частотный механизм исполнительского приема пианистов «крещендо». Это нужно было для того, чтобы на психфаке МГУ и в Гнесинке создать компьютерную систему, по типу американского ОСИРИСА, которая бы обучала выразительному исполнению фортепьянных произведений. Играешь на фортепьяно, перед тобой экран компьютера, на котором две линии – верхний и нижний порог выразительно исполнения. Каждый звук исполнителя – точка на экране. Если точка выходит за границы – то исполнение невыразительное. Здесь включается психологический механизм обратной связи и эффект обучения фантастический. Вещь крутая!

Действительно, интересно ты подошел к теме. Кто из великих преподавал вам?

Нам читал лекции Алексей Николаевич Леонтьев и Александр Романович Лурия (оба ученики Льва Семеновича Выготского), Блюма Вольфовна Зейгарник (ученица и сотрудница Фрейда), Юлия Борисовна Гиппенрейтер, Нина Федоровна Талызина, Борис Митрофанович Величковский и другие известные ученые. Преподавала нам и Галина Михайловна Андреева.

Ты занимался в университете общественной работой, был ли у тебя интерес к политике?

В Универе я общественной работой не занимался. Занимался спортом – карате. Тренировался каждый день по 2–4 часа. Зато потом, в Мосгортехстрое, был секретарем комсомольской организации. В Институте социологии АН СССР, куда поступил позже – был председателем Совета молодых ученых Института.

К политике интереса никогда не было.

После окончания университета я был распределен в Мосгортехстрой на должность инженера-социолога, так сложилось.

Так, что-то в твоём пути прорисовывается.. что привело тебя в Институт социологии РАН (тогда – АН)?

На работе я занимался социологией, психологических знаний было явно недостаточно для этого. Каждый день после работы отправлялся в «Ленинку», читал учебники и материалы по социологии. Как правило, их авторы работали в Институте социологии АН СССР.

Как-то в 1984 году я приехал в Институт социологии в отдел методики и своими вопросами замучил «до смерти» Михаила Косолапова и Юлиану Толстову. Показал им некоторые результаты своих методических экспериментов по измерению установок, которые я сделал на работе. Возможность для этого у меня была. Регулярно проводили опросы общественного мнения работников, я уже стал начальником социологической службы треста. В тресте работали 25 тысяч работников-строителей, которые ремонтировали жилые и общественные здания в Москве, в том числе и Кремль.

Мой подход состоял в разработке новой методики (сделал два теста измерения ценностей в сфере труда), интеграции разработок в области психометрики (графические шкалы, использование психологических моделей интеграции информации и т.д.) и использование многомерных статистических методов анализа – факторного анализа и многомерного шкалирова-

ния на ЕС ЭВМ в Институте социологии. На психфаке нам прилично давали факторный анализ и многомерное шкалирование, поскольку изначально – это математические модели интеллекта и восприятия, которые были разработаны в рамках математической психологии.

В 1984 году я поступил в заочную аспирантуру Института социологии РАН к Нине Владимировне Андреевской. Тема защищенной кандидатской диссертации «Теоретико-методологические и методические проблемы измерения фундаментальных ценностей в сфере трудовой деятельности». В диссертации я максимально использовал багаж психфака и результаты исследований в Мосгортехстрое.

Когда ты прекратил работу в тресте и перешел в Институт социологии РАН? Почему ты оставил самостоятельную, хорошо оплачиваемую работу и перешел, скорее всего, на позицию младшего научного сотрудника с очень небольшими деньгами? Что толкало тебя на эту дорогу?

В 1985 году Андреевская рекомендовала меня на должность младшего научного сотрудника во вновь создаваемый при Институте Центр изучения общественного мнения. Им тогда руководил Валерий Семенович Коробейников. Я работал в группе Георгия Давидовича Токаровского. Занимался расчетом выборов и статистическим анализом данных опросов общественного мнения на ЕС ЭВМ Института, благо в Мосгортехстрое я «набил руку» на расчетах выборов и анализе данных. Анализ данных на психфаке МГУ нам давали очень прилично, поэтому проблем здесь никогда не было. Кроме того, анализ данных был для меня сам по себе интересен.

Переход в Институт посчитал за счастье, поскольку для родителей и для меня научная деятельность в Академии Наук – высший профессиональный приоритет в жизни. Престиж науки и АН СССР в семье, среди друзей, среди окружающих и для меня лично был сумасшедшим. Да и кроме того, можно было защитить диссертацию и довольно безбедно существовать на должности старшего научного сотрудника, имея библиотечные дни. Это я все хорошо знал по жизни своих родителей и от своей жены, которая закончила биологический факультет МГУ и работала в Институте географии АН СССР в отделе геоботаники под руководством Н.И. Базилевич (классик советской и мировой геоботаники), у которой моя жена писала кандидатскую диссертацию.

Теперь понятно, почему я думал, что у тебя математическое или физическое образование... в 1984-1985 годах я регулярно ездил

в Москву и бывал в вашем секторе и в отделе Владимира Андреевкова.. насколько мне кажется, ты довольно скоро сосредоточился на исследовании собственной темы, не связанной напрямую с изучением общественного мнения – «золотое сечение», так ли это? Расскажи, пожалуйста, об этих поисках..

После защиты кандидатской диссертации меня заинтересовала, да, что там заинтересовала, просто «схватила намертво» тема «золотого сечения» для анализа социальных систем. Что-то притягивало, чувствовалась научная перспектива. Вроде, все очень просто в вычислительном плане, а глубина всего этого чувствовалась неимоверная. Стал сотрудничать с сотрудниками Института системного анализа РАН (раньше он назывался Всесоюзный научно-исследовательский институт системных исследований (ВНИИСИ)), в частности, с Вадимом Николаевичем Садовским, классиком системного подхода в СССР. Кстати, в Институте системного анализа РАН я защитил докторскую диссертацию в Диссертационном совете академика АН СССР Д.М. Гвишиани. Моими официальными оппонентами по докторской были: чл.-корр. АН СССР Н.И.Лапин (он раньше возглавлял отдел социологических исследований во ВНИИСИ), д.э.н. Ю.Н.Гаврилец (из ЦЭМИ), д.ф.н.С.А.Эфиров (от социологии).

Много работал, публиковал – тема «золотого сечения» «не отпускала». Как буд-то наваждение, от которого невозможно было избавиться и которое «навязано» извне.

Давай здесь не будем торопиться... не все будущие читатели знают, что такое «золотое сечение», хотя слышали, что данное понятие имеет отношение к гармонии, искусству. Пожалуйста, расскажи, что такое «золотое сечение» и как, почему ты начал разрабатывать эту тему. Ведь трудно допустить, что однажды утром, попив чаю или кофе, ты подумал: «А не заняться ли мне...?»

В «Ленинке» я регулярно просматривал научные и научно-популярные журналы по разным наукам, реферативные журналы, новинки книг. Однажды я прочитал научно-популярную книгу А. С. Сони́на о симметрии и связанных с нею понятиях [1], и эта работа определила мою научную увлеченность «золотым сечением» на долгие годы. «Золотое сечение» – это одна из

мер соразмерности частей в целой системе, где $\frac{a}{b} = 1,618\dots$, где

a – размер большей части, b – размер меньшей части. Например, для целого (100%), состоящего из двух частей, «золотое сечение» будет иметь место тогда, когда $a = 61,8\%$, $b = 38,2\%$. «Золотое сечение» как один из общесистемных параметров гармоничного соотношения частей имеет солидное теорети-

ческое и эмпирическое обоснование в общей теории систем, теории природных и социальных систем.

Готов с тобой согласиться в том, что книга Сонины подтолкнула тебя к этой теме. Но как психолог ты понимаешь, что были какие-то внутренние предпосылки к тому, чтобы взять и открыть эту книгу, дочитать ее и «взбодриться» на несколько лет. Скорее всего, испытывая какой-то дискомфорт, ты что-то искал.. что?

Не могу рационально объяснить, почему меня «захватила» эта книга. Так же, как и не могу рационально объяснить свой постоянный интерес к функционированию мозга и космологии. Возможно, социология изначально менее таинственна (как попроще), чем эти темы.

Как я понял, в разработке этой темы ты прежде всего ориентировался на «системщиков». А как твои коллеги по Институту социологии воспринимали твои поиски?

Некоторые относились негативно, некоторые наши математики (Михаил Косолапов, Юлиана Толстова), которые знали о «золотом сечении», ряде Фибоначчи – со скептической ухмылкой. Некоторые относились положительно, например, Александр Крештановский. В целом, большинство коллег относилось либо безразлично, поскольку были незнакомы с данной проблематикой, либо негативно. Но никто не препятствовал заниматься «золотым сечением», воспринимая это как чудачество научного маргинала. Более того, в моей первой монографии [2] В.А.Ядов сначала был рецензентом книги, а потом написал предисловие к ней. Он отметил, что ничего в этом не понимает, но возможно, здесь что-то есть. Вторым рецензентом этой работы был Вадим Николаевич Садовский, которого я считаю своим научным учителем в области системного подхода. Он не возражает.

Мои работы трижды выдвигали на ежегодную премию РАН им. М.М.Ковалевского по социологии, но премии я не получил. В первый раз выдвигал Н.И. Лапин, во второй раз – Институт системного анализа РАН, социологический факультет МГУ и Н.И. Лапин. В последний раз – Институт социологии РАН и Институт системного анализа РАН. Члены экспертной комиссии по премии мне откровенно говорили, что они в этом ничего не понимают и не могут оценить полученных эмпирических результатов и разработанных компьютерных систем, поэтому премию мне не дадут. В тоже время в журнале «Социологические исследования», в изданиях Института социологии РАН, мои статьи о «золотом сечении» в социальных системах всегда публиковали.

Книга, о которой ты выше сказал, имеет в своем заголовке новый термин – «модульный анализ». Пожалуйста, разверни немного, что это такое?

Основная идея модульного анализ социума состоит в том, что между соотношениями размеров частей и функциями в социальных системах существуют следующие соответствия (см. таблицу 1). Пример дан для двух частей. В экспертно-диагностической системе МАКС расчет пропорций между частями системы осуществляется для любого числа частей.

Таблица 1

Соответствие пропорций и функций в социальных системах

| Размеры двух частей | Пропорция | Функция |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 50 : 50 | $50:50=1$ | Статичное равновесие |
| 51,5 : 48,5 | $51,5:48,5=1,062$ | Динамическое равновесие |
| 55,3 : 44,7 | $55,3:44,7=1,237$ | Развитие новых элементов |
| 61,8 : 38,2 | $61,8:38,2=1,618$ | Развитие новых свойств |
| 69,1 : 30,9 | $69,1:30,9=2,236$ | Развитие новых отношений |
| 76,4 : 23,6 | $76,4 : 23,6=3,237$ | Баланс сохранения и развития |
| 83,3 : 16,7 | $83,3 : 16,7=4,998$ | Сохранение сложившихся отношений |
| 89,4 : 10,6 | $89,4 : 10,6 = 8,434$ | Сохранение сложившихся свойств |
| 94,4 : 5,6 | $94,4 : 5,6 = 16,857$ | Сохранение сложившихся элементов |
| 99,7 : 0,3 | $99,7 : 0,3 = 297,2$ | Динамический коллапс |

Примечание: золотое сечение – $61,8:38,2 = 1,618$ (ряд Фибоначчи)
 Функция – Развитие новых свойств

Данные пропорции выступают в качестве аттракторов (притягивающих режимов функционирования), «спектра» режимов функционирования социальных систем, «констант» в социальных системах.

«Переход» от одной пропорции к другой в динамике осуществляется «скачком», причем наиболее вероятно к соседней пропорции. Это подтверждают результаты обширных эмпирических исследований по различным показателям (экономика, демография, культура, политика, общественное мнение и т.д.) по различным странам мира за длительный период времени.

Модуль – это одномерное частотное распределение n частей, с соответствующей функцией. Упорядоченные по размеру

(от большего к меньшему) n частей в модуле – убывающая геометрическая прогрессия. Здесь существует связь с распределением Ципфа (распределением ранг-размер).

Социальная система – множество модулей. В экспертно-диагностической системе МАКС вычисляется более 100 числовых характеристик для одного модуля, множества модулей в статике и динамике, осуществляется компьютерное моделирование социальных систем с заданными пропорциями и функциями.

Пожалуйста, приведи несколько примеров, иллюстрирующих эвристические свойства использования твоего концепта «золотое сечение».

При использовании разработанной мной с А.Н. Чураковым компьютерной системы МАКС-3 [3], в которой были «заложены» «золотое сечение» и ее производные, были получены прогнозы с ошибкой менее 5%. В частности,

Криминология:

- * зарегистрированное количество осужденных в РФ;
- * количество зарегистрированных преступлений в РФ;
- * структура зарегистрированных преступлений в РФ.

Политика:

- * доля избирателей, участвующих в выборах Президента РФ;
- * распределение голосов избирателей на выборах в Государственную Думу РФ;
- * результаты голосования депутатов Государственной Думы РФ;
- * результаты голосования депутатов Московской Городской Думы.

Экономика:

- * доля занятых в отраслях экономики России;
- * доля теневой экономики в РФ;
- * численность зарегистрированных безработных в РФ.

Однажды с Ю. Толстой, «на спор», я за два месяца до выборов написал на бумажке, сколько процентов зарегистрированных избирателей придет на выборы в Государственную Думу. Этот прогноз был основан на «золотом сечении». Эту бумажку Толстова спрятала в сейф. По результатам явки, ошибка моего прогноза составила около 2%.

Какая статистика лежала в основе именно этого твоего прогноза?

Я сначала «перелопатил» данные о явке избирателей в странах мира за период около 50-ти лет и выявил частоту доли наиболее вероятной явки избирателей, а также закономерности динамики изменения участия в выборах, построил математическую стохастическую (вероятностную) модель, с учетом результатов явки избирателей в России, и на ее основе сделал прогноз.

...ты меня заинтриговал.. ты знаешь, что в 2008 году я проводил мониторинг президентских выборов в США и, в частности, анализировал точность прогнозов исхода голосования. С начала этого года я приступил к изучению хода текущей президентской кампании и, конечно же, к анализу методов долгосрочного прогнозирования борьбы за Белый дом; напомним, День выборов – в начале ноября 2012 года. То, что сейчас происходит в области методологии и технологии прогнозирования результатов выборов, можно охарактеризовать как активизацию историко-математических подходов. Не могли бы мы с тобой в рамках нашего интервью посмотреть, как работает твой прогнозный метод за год до выборов? Если это можно сделать, какие данные тебе необходимы?

Только материалы о динамике явки (доля избирателей в %) по США за много лет. Насколько я помню из своих данных, которые я собирал по странам мира, в США приходят, в среднем, на выборы Президентов США около 50-55%. И это очень устойчиво за многие президентских выборов.

К какому уровню или пласту социологии (теория, методология, методы)ты относишь свои разработки? Скорее всего в них присутствуют все пласты, тогда поясни немного их соотношение.

Мои разработки – это общенаучный системный подход, который включает в себя, как неразрывные части, – общую теорию систем и частную теорию социальных систем, общесистемную методологию и методы системного анализа и моделирования и на их основе разработка компьютерных систем. На некоторых этапах работы я двигался дедуктивно (от общего к частному), на некоторых этапах – индуктивно (от частного к общему), но в целом, использовал общесистемный принцип параллелизма – одновременно и теория, и методология, и методы, и компьютерные системы. Иными словами, если представить стандартную иерархию: 1) Теория, 2) Методология, 3) Методы, 4) Компьютерные системы, то я часто двигался не «сверху вниз» и не «снизу вверх», а «сбоку», одновременно захватывая все уровни. Это стандартный методологический принцип системщиков, принятый в Институте системного анализа РАН.

Довольно скоро сектор общественного мнения прекратил свое существование. В. Коробейников ушел из Института, Е. Башкирова создала известную фирму РОМИР, Г. Токаровский – умер. В какой структуре ты продолжил работу?

С Леной Башкировой я «делил» один стол в комнате Института. После защиты кандидатской диссертации меня заин-

тересовала тема «золотого сечения», и тогда я ушел из группы Геры Токаровского и создал свою группу. Момент был очень подходящий, поскольку директором Института стал В.А.Ядов и, первое, что он сделал, объявил «Юрьев день» – сотрудники могли перейти в другой отдел, группу или создать свою группу. Спасибо Гере Токаровскому, он не противился моему уходу, понимая, что опросы общественного мнения – это фабрика и конвейер, а мне уже поднадоело делать одно и то же. Я создал группу «Законы социальных систем», «переманил» еще одного сотрудника И.В. Мокина из отдела Коробейникова, у которого я был научным руководителем по кандидатской диссертации. Игорь Мокин под моим руководством защитил кандидатскую диссертацию «Методические проблемы измерения социальной дисгармонии». Принял на работу математика-программиста А.Н. Чуракова, который впоследствии защитил под моим руководством кандидатскую диссертацию «Методология и методика разработки компьютерных систем в социологии». Мы вместе с ним разработали компьютерную экспертно-диагностическую систему МАКС, компьютерную систему для анализа текстов «Контент-анализ ПРО», системы Data Mining «Ксения» и «Алекс». Для разработки «Ксении» и «Алекса» приняли в группу еще двух математиков-программистов. Все это было «круто замешано» на «золотом сечении» и ее производных. Тут уж я развернулся по максимуму, работал, как проклятый. Здесь и биологические, и физические системы, и социальные системы, и системный подход, и математика, и Computer Science. *Все это – мое.*

Недавно ты присылал мне результаты анализа революций, прокатившихся в мусульманских странах. Это у тебя некое «боковое» направление поисков или ты увидел здесь возможности для проверки и развития твоей методологии и технологии? Что политологи говорят о твоих результатах? Мне кажется, что они могут иметь значение для принятия стратегических решений в области международной политики России..

Разработанная А. Чураковым и мной экспертная система МАКС сделала это в автоматическом режиме менее, чем за одну минуту. Грех было не подsunуть МАКСу известные эмпирические данные и из любопытства не посмотреть, что получится. Тем более, что «на все про все» ушло около 10 минут, включая сбор данных, а МАКС на русском языке генерирует отчеты. Это скорее была игра с любимой игрушкой. Политологи, работающие в другой, активистской парадигме – это группы действия, неблагоприятные социально-экономические условия, неудовлетворенность населения, недоверие органам власти и

т.д. и им трудно воспринять факт наличия общесистемных законов, действующих в любых системах. Но при этом, мои полученные результаты политологи используют.

Если я не ошибаюсь, ты – профессор социологии «Вышки». Какие курсы ты читаешь и как ты оцениваешь погруженность твоих студентов в социологию? В целом, по твоему мнению, зачем они пришли учиться «на социолога»?

Нет, я никогда не был профессором «Вышки». В «Вышке» на кафедре методов сбора и анализа социологической информации (зав. кафедрой была Ю. Толстова) я вел бесплатные мастер-классы по системному анализу социальной динамики. Вычислительные примеры брал из своей деятельности в качестве консультанта в крупных российских корпорациях – вейвлет-анализ (от англ. *wavelet*), фрактальный анализ, «нейронные» сети, многомерный статистический анализ временных рядов, модели системной динамики и т.д. Острая проблема, с которой я столкнулся, ведя мастер-классы, низкая изначальная подготовка (уже со средней школы) социологов в математике. А те, кто изначально разбирается и любит математику и информатику – не идут в социологи. Среди подавляющей части российского населения бытует мнение, что социология – это гуманитарная дисциплина, «приправленная» опросами общественного мнения. Хотя это совсем не так. По моим наблюдениям, сейчас идут в социологию, в основном, «за корочкой» о высшем образовании.

Я пять лет был профессором кафедры социологии Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Сейчас это Университет. Читал курсы по эмпирической социологии для студентов разных факультетов. Социология, тем более, эмпирическая социология, была для студентов МГИМО непрофильным предметом, но старались студенты всю – это специфика МГИМО.

Есть еще одна линия твоей деятельности, ты – вице-президент Российского общества социологов. Каково твое главное направление работы в РОС?

В РОС я руковожу Исследовательским комитетом «Системная социология», а как вице-президент РОС – отвечаю за сайт РОС. Когда четыре года назад, меня выбрали на должность вице-президента сайта РОС не было. По моей инициативе он был сделан, и мы его «раскрутили». Приходилось делать все с нуля и многое, на начальном этапе, самому: был модератором сайта, завязывал нужные контакты в Сети, размещал информацию, организовывал дискуссии по социологии на сайте,

работал с авторами материалов, следил за новостями в Сети и т.д. Это каторжная работа «на износ» в режиме «нон-стоп», но я фанат Социологии 2.0 (Интернет-социологии). С другой стороны, в этой работе виден конкретный и полезный для людей результат – сколько посетителей повторно пришли на сайт РОС, сколько сайтов перепечатывают материалы с сайта РОС. К сожалению, значение информационных технологий в российскую социологию приходит поздно и внедряется часто «со скрипом».

Мог бы я просить тебя высказать твою точку зрения по поводу причин, обусловивших появление планов проведения двух Съездов российских социологов? Не создает ли это предпосылки для раскола российского социологического сообщества?

Российское социологическое сообщество давно расколото. Есть группа социологов под руководством Г.В.Осипова, которая обладая административным академическим ресурсом, рвется к власти, мечтает стать Боярской Думой при Царе и выдумывать идеологические спекуляции, типа «Москва-третий Рим», «особый путь России», православная социология и т.д. При этом, членом данной группы состоит В.Добренков (декан социологического факультета МГУ), публично уличенный РОС, научными сотрудниками Института социологии РАН и Общественной палатой РФ в плагиате. Т.е. членами данной группы попираются основополагающие нормы научной этики. К этой группе примыкают, по моим наблюдениям, социологи, чьи работы неинтересны и неизвестны международному социологическому сообществу, но неплохие организаторы, особенно по части получения научных званий член-корр. РАН и действительных членов РАН. С моей точки зрения, это люди, которые «любят себя в науке, а не науку в себе». Я бы образно сказал, что это «отрыжка» негатива советской социологии. Хотя, справедливости ради надо сказать, что в советской социологии было и много хорошего. Я это успел ощутить «на собственной шкуре», например, когда стал финалистом I Всемирного конкурса работ молодых социологов (Мадрид, Испания, 1990). Тогда АН СССР и Институт социологических исследований АН СССР полностью оплатили мою поездку и сняли с меня все организационные проблемы поездки в Испанию на Всемирный социологический конгресс. Там для финалистов конкурса читали специальные лекции ведущие социологи мира в прекрасном монастыре Эль-Эскориал, летней резиденции отдыха испанских королей.

Есть другая группа социологов (В. Ядов и др.), к которой принадлежу я, которая считает, что социология – это наука,

цель которой – объективные знания о социальной действительности. Это широкие научные международные контакты, публикация собственных новых теорий, методов и результатов в ведущих международных социологических журналах, т.е. все то, что является Наукой, а не идеологией или «одобряем-с» существующей власти. Свою позицию я высказывал неоднократно и открыто в Сети, в частности, подписался под Открытыми письмами ряда уважаемых мной российских социологов (В. Ядов, Б. Фирсов и т.д. и еще более 90 известных российских социологов). Кстати, сбор подписей под Открытым письмом Президенту РАН Ю. Осипову с требованием прекратить вакханалию в российской социологии, в частности, с нелегитимным Всероссийским социологическим конгрессом, созданием новой академической социологической ассоциации и другими безобразиями, продолжается и сейчас на сайте РОС.

Спасибо, Андрей, хотелось бы через какое-то время продолжить нашу беседу.

Литература

1. Сонин А. С. Постигание совершенства. Симметрия, асимметрия, диссимметрия, антисимметрия. М.: Знание, 1987.
2. Давыдов А.А. Модульный анализ и конструирование социума». М.: ИС РАН, 1994.
3. Модульный анализ и конструирование социума (МАКС) <<http://www.aha.ru/~crimexp/WIN/maks.htm#record>>.



Здравомыслова Елена Андреевна – окончила философский факультет ЛГУ, кандидат социологических наук, профессор Европейского Университета в Санкт-Петербурге. Основные области исследования: гендерная социология, феминистская перспектива, репродуктивное здоровье. Интервью состоялось в 2008–2009 гг.

Согласие на автобиографическое интервью я «выбил» у Елены Андреевны Здравомысловой в августе 2007 года.

Исходно этот текст начинался как и все мои электронные интервью: были конкретные вопросы, было стремление Лены ответить на них. Но, прочитав летом 2009 года все написанное ею, я понял – по стилю и логике ее изложения, – что мои вопросы не помогают ей раскрыться, а, наоборот, сдерживают развитие этого процесса. Наше очень давнее знакомство и дружеские отношения позволили мне отклониться от моей традиционной методики интервью и перейти к тому, что можно назвать интервью-эссе. Я обозначил лишь несколько тем, по которым хотел бы получить ее суждения, оставив все остальное на ее усмотрение.

Итак в сентябре 2009 года это интервью было записано.

Возможно, кто-то найдет эту форму интервью слишком «мягкой», не позволяющей интервьюеру получить ответы на многое интересующее его. Соглашусь с этим. Но использование интервью-эссе открывает и новые горизонты для изучения всего комплекса вопросов, связанных с исследованием прошлого-настоящего российской социологии. И потому я не отказываюсь от этого метода.

**Е. А. Здравомыслова:
«МОЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ
“СЧАСТЛИВЫМ
БРАКОМ”
ГЕНДЕРНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
С КАЧЕСТВЕННОЙ
МЕТОДОЛОГИЕЙ»***

Я стараюсь писать «правду», и потому начну с того, что у меня не было никакого желания становиться социологом, не сформировался профессиональный интерес ко времени поступления в университет. Учеба в английской школе № 80 давалась легко, ясно было, что профиль у меня гуманитарный – я занималась в литературном клубе «Дерзание» во Дворце пионеров, который был рассадником всякой контркультуры и новых литературных веяний и отличных знаний. Ясно было одно и без проблематизации – я поступаю в ЛГУ. Это означает, что по социальному происхождению принадлежу к той социальной группе, где получение высшего образования (причем именно университетского) считается нормальной частью жизненного пути. Тут нет точки бифуркации,

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 6. С. 9–15.

т.е. передо мной не было выбора – учиться или нет. Выбор в пользу высшего образования был сделан, в том числе и для меня моими предками.

Филфак мы на семейном совете как-то сразу отбросили как некоторое несерьезное образование, считая, что знания, приобретаемые там, могут быть получены факультативно и среда, так сказать – девичья... Философский факультет – несмотря на идеологические уклоны – родители считали тем местом, где получают хорошее базовое образование, воспитание мозгов там имеет место. В общем считалось, что надо развивать мои интеллектуальные способности через чтение зауми. У меня не было противопоказаний. Я читала «материалистов Древней Греции» – это такая небольшая антология по древнегреческой философии – и знала наизусть различные афоризмы Гераклита-Демокрита; типа: в одну реку нельзя войти дважды. Или про огонь мерами возгорающийся – мерами потухающий. Или про: «познай самого себя» и про: «путь вверх и вниз один и тот же». Эта афористичность художественная очень соответствовала моему юношескому философскому романтизму. В общем, я собиралась заниматься на философском либо теорией познания, либо историей философии, а о социологии в принципе не задумывалась. Мое близкое окружение из Дворца пионеров (справедливо) считало, что я поступаю на идеологический факультет – очень многие ассоциировали философский факультет с научным коммунизмом и историей партии, и я, оправдываясь, говорила, что мой интерес ориентирован на «чистое знание» – хочу, так сказать, понять, что же такое трансцендентальное единство ашперценции. В общем, интерес к новым словам скорее носил филологический характер. Я вообще-то думаю, что эти тренировки интеллекта на этапе становления личности – чтение Маркса, Канта и Гегеля (прежде всего «Феноменологии духа» и «Критики чистого разума» и «Пролегоменов»), это действительно здорово. После этого любой Вебер-Парсонс (простите!) кажется простым – простейшим текстом. Задним числом мне кажется, что, читая в 17–18 лет эти классические философские тексты и старясь их понять, я формировала какую-то особую структуру сознания, завивала свои извилины в некий особенный перманент, который значительно в дальнейшем облегчил мне личную и профессиональную жизнь.

Проблема, конечно, заключалась в том, что на факультете видно воспринимали меня как «дочку» и студенты, и преподаватели... Но в своем нарциссизме и эгоизме я мало на это обращала внимания. Во-первых, я не делала карьеру, а просто по-школьному хорошо училась, и мне это давалось без труда.

Во-вторых, потому что «детей» на факультете было не меряно. На факультете среди однокурсников было много интересных для меня людей из другого – большого и внешнего – мира. Они жили в общежитиях, многие молодые люди поступили после армии, приезжали из других городов, жили самостоятельно, а не с родителями, снимали комнаты в коммуналках, чтобы быть свободными от правил общежития, работали дворниками. При этом уровень их понимания и иногда и уровень знаний, приобретенных в режиме автодидактики с серьезными усилиями, направленными на преодоление дефицита ресурсов, в том числе в доступе к носителям знаний – людям, текстам, культурным объектам – был ничуть не хуже того, что с молоком матери впитывали местные интеллигентские дети из приличных школ, обучавшиеся на нашем факультете. Меня тянуло к экзотике – к ребятам из общежития, которые читали Гегеля и могли обсуждать сутками эту заумь. Они, конечно, были постарше и биологически и социально. Мне кажется, что мои привилегии в этом сообществе были связаны еще и с моей молодостью и гендерной принадлежностью. В общем, я научалась слушать других – экзотических чужих, так непохожих на «наш круг», таких интересных и притягательных. Училась помалкивать и не высказывать со своими суждениями (а я была школьной выскочкой) – и мотать на УС.

Наиболее значимы для меня были лекции по истории философии. Их читал Е.П. Водзинский, но довольно уныло. Казалось, что ему все скучно, листочки были желтенькие, многократного использования, но у меня это вызывало почему-то уважение. Как архивные записи... Надо же, как давно он это знает! Я как-то не бросала ему внутренне вызов, может быть, потому что он был добрый, был похож на профессора как его представляешь по чеховским образцам, а может потому, что лично знала его супругу. Евгений Линьков был замечательный, он был хам и умница. И это сочетание привлекает молодые души при чтении Канта и Шопенгауэра. Из преподавателей семинары были какие-то молодые аспиранты по теории познания. Одно из самых сильных впечатлений – В.Л. Шейнис и вообще политэкономия капитализма – чтение Маркса. Первый курс. Я не понимаю, как я это могла прочесть, но первый том я знала прилично... Вгрызаясь. А Шейниса лекции были занимательны и глубоки.

Для меня было важно, что все эти преподавательские фигуры были персонализированы. Про Шейниса я знала семейный анекдот о его работе на заводе «Светлана». Это были не абстрактные преподаватели, а живые люди. Марья Семеновна Козлова вообще говорила только про сознание и лингвистическую фи-

лософию даже в гостях. Местным гением ораторского искусства на факультете был тогда Киссель Михаил Антонович – заметим, что его супруга Азалия Алексеевна – была социологом, как и супруга Водзинского – и они часто приходили в наш гостеприимный дом. Так что социология у меня была на дому в виде гитары и компании коллег отца... в обрамлении текстов Окуджавы и Галича, романсов и русских народных, а также домашнего самиздата.

Социологию у нас на факультете не читали в принципе. Тогда еще даже Вебер в инициальном «Для служебного пользования» не вышел. Азалия Алексеевна Киссель читала методы прикладного социологического исследования. Но без реального поля это понять и усвоить было невозможно.

Я поступила в 1970 году и закончила в 1975. Это был «застой застоевич». Однако, чтение классической философии не возбранялось, а рьяность в официальной публичной жизни шла на убыль. По русской философии был курс, но и преподаватели (П.Ф. Никандров и А.А. Галактионов), и их учебник были неинтересны. Кажется дремучими. (Извините, пожалуйста!) Живых текстов еще не было. Бердяев, Шестов были доступны только в спецхране...

Застой, может быть, был в политике и в экономике... В социальной жизни формировалась в это время городская контркультура, появлялись альтернативные стили жизни, религиозные группы и марксистские кружки среди философов, художники-авангардисты, литераторы, театральные бум, филармоническое богатство, салоны и клубы, и студии ... городское пространство было наполнено множеством разных сред, организованных и вправду по разным правилам как разные жизненные миры. Это было «второе общество», отделенное от мира партийных собраний, ленинских зачетов, экзаменов и даже лекций. Конечно, в российском варианте второе общество было гораздо более урезанным, чем в Восточно-европейских странах, где их структуру проанализировал венгерский социолог Элемир Ханкиш. Вот этот интерес к различным средам, отделенным от моей собственной вполне явным барьером, любопытство, приводящее к погружению – не без рисков для личностной биографической безопасности – был мне присущ. Интересуюсь, в общем, людьми, их рассказами, стратегиями, коммуникативными практиками. Полагаю, что впоследствии этот интерес и воплотился в биографические социологические исследования, которыми я активно занимаюсь.

А таких сред вокруг меня было несколько. Во-первых, родительская среда – это то, в чем я никогда не сомневалась – среда первичного доверия, тот самый шютцевицкий непосредственно

данный нам в опыте жизненный мир, состоящий из дружеского круга родителей. Горфункели, Киссели, Асеевы, Бранские – каждое из этих четырех семейств, создававших буфер нашего семейного круга, достойно отдельного рассказа. Их жизнь драматична, их социальная интеграция не беспроблемна. Но они и составляли то постоянное сообщество, в котором я выросла и которое имело свои ритуалы, ценности и практики, характерные для советских шестидесятников. И не просто шестидесятников, но тех из них, кто принадлежал к академическому сообществу. Эти люди, в моем представлении, создавали свои жизни на основаниях многопоколенного культурного бульона, они были милыми идеалистами как герои Аксеновского «Звездного билета» или из его повести «Коллеги». Высокий уровень общей культуры, высокий уровень культуры речи. Разговаривали. В общем, я их уважала, их ценности и нравы были мне близки телесно.

Второй круг – клуб “Дерзание” с его блестящими молодыми литераторами и такими педагогами, как Алексей Михайлович Адмиральный, Нина Алексеевна Князева, Любовь Борисовна Береговая, Израиль Сальевич Фридлянд... Большинство из педагогов уже далече... Там я переживала «час ученичества». Этот круг позднее переселяется пространственно в сегмент «Сайгонного сообщества» – я о нем провела исследование ... Это были люди гораздо критичнее настроенные к советскому обществу, нежели мои родители. Они создавали контркультуру из материала собственной жизни с большими потерями для здоровья, не говоря уже о карьере...

Университетский студенческий круг представлялся мне дифференцированным и фрагментированным. Я проводила тогда и сейчас несколько различий и все больше дихотомических (а может это биографическая иллюзия). Первое различие – научные коммунисты и философы. Это два отделения, где, как мне представляется, группировались разные мотивации студенчества философского факультета. Первая – ориентация на партийно-идеологическую карьеру; вторая – на философское знание (деление условно и не всегда совпадает по персоналиям). Второе различие – «дети» и «взрослые». «Дети» – это выпускники ленинградских школ, чаще специальных. Взрослые – после армии, рабфака, с большим жизненным опытом, чем школьники. Их было большинство, и на нашем курсе они были, как правило, приезжими и жили вдали от своих семей. Кроме того, в студенческие годы образовывались среды, связанные с практикой стройотрядов. Так я познакомилась со своим первым мужем, и он был младше на курс, и там были тоже всякие

искания, но больше в области общекультурных знаний и там социальным клеем были Биттлз и более поздний рок...

Потом были притягательные места межфакультетской тусовки – “Академишка – кладбище надежд между кунсткамерой и клиникою Отто”.

Да, я, в общем-то, была абсолютно аполитична. Помню Ленинские зачеты ежегодные – необходимые для допуска к сессии. Все как бы формальность. Но надо сдать, а я не знала, кто руководитель Югославии и по подсказке назвала его как-то не так... Иосиф Гросс Титов – все смеялись, но какой с меня спрос? Я не активистка, чья-то там дочка, кроме того, девушка с характером и с долей поведенческой непредсказуемости и отличница по базовым предметам.

А еще был случай... У нас на научном коммунизме парень учился – не помню имени ... Саша-Леша – и он вдруг решил податься в семинарию. Нас собрали в 159 аудитории – большая такая – чел 100 входит запросто – и стали его обсуждать. Ужасно! Стыдно вспоминать. Я тоже думала: зачем это он с этим мракобесием связался, ведь он комсомолец! И даже, по моему, проголосовала за исключение из Комсомола или предусмотрительно вышла из переполненной аудитории – типа, в туалет... Пришла домой и рассказала. Помню мама-папа как-то погрузнели и сказали друг другу понимающе подморгнув: «... НЕУЖЕЛИ снова начинается?!» Головами покачали – советов не давали. Но я поняла, что в массовках не надо принимать участия, особенно в политических...

А потом еще было главное... у нас на курсе учился Борис Попов. Так вот у Бори вроде проблемы были с алкоголем, он стихи писал, друзья у него были замечательные, душа компании. А потом он покончил с собой, кажется в 1975 году (могу ошибиться). А в нетрезвости одна тема его мучила – как он «принимал участие» в Чешских событиях 68 года, проходя службу в армии. Был в танковых частях...

В общем, студенчество – это дружба и интеллектуальные поиски себя, пространство «свободы в СССР», о которой писал потом Леонид Ионин. Все-таки я очень рано училась и при общей социальной инфантильности к выпуску пришла со следующими показателями: мне был 21 год, я имела диплом философа (не смешно ли это звучит?), была замужем и имела к тому времени двухлетнего сына. Несмотря на распад родительской семьи, очень полагалась, не отдавая себе в этом отчета, на семейный тыл. Была абсолютно уверена в своем муже и мало задумывалась о происходящем в российском обществе... Эгоцентризм и наличие своей среды помогали не обращать внимания на «свинцовые мерзости жизни» и порхать в льгот-

ном режиме – абсолютная стрекоза. По завершении обучения на философском факультете я поступила в аспирантуру. Руководителем был внимательный, но снисходительный В.А. Ядов. Еще три года свободы!!! Подрабатывать к зарплате можно было по-всякому,... например, сторожем в Смольном соборе – сутки через трое 140 руб. в месяц и в кармане – огромный ключ от собора плюс 55 рублей стипендия, поддержка мамы, заработки мужа, который серьезно относился к функции кормильца и о диссертации не помышлял.

Об эмпирической социологии у меня было весьма смутное представление. Диплом я писала с удовольствием по социологии знания – Шелер, Мангейм, Мертон – и до сих пор могу воспроизвести краткое содержание, ресурс английского языка и книг в домашней библиотеке воспринимался как само собой разумеющееся благо, даже не ценимое. Ко времени защиты диплома я уже находилась в каком-то ламинальном жизненном и социальном пространстве. Выпала из жизни публичной... жила уже в контркультуре, полностью разочаровавшись в советской публичности. Решила про себя: отслужив аспирантуру, найти работу непыльную, карьеру не делать никогда – это позор, подразумевающий массу компромиссов нравственного порядка в смысле вступления в КПСС; получить возможность иметь больше свободного времени для своих интересов. Ценности, которым я хотела следовать: свобода, частная жизнь, интеллектуальный досуг и неформальная публичность, о которой мы потом писали с Виктором Воронковым. Принцип (который никогда не осуществился) – на работе друзей не заводить ни за что... Вести себя там строго формально и иначе, чем в аутентичной сфере дружеской тусовки... Никакой партийности, никакой идеологии... Уже был прочитан «Архипелаг ГУЛАГ»...

В 1978 году, закончив аспирантуру и не написав диссертации, я поступила на работу младшим научным сотрудником в ИСЭП АН СССР в сектор социально-экономических проблем труда, которым тогда заведовал Лобанов Н.А. А директором был И.И. Сигов после недавно скончавшегося социолога Г.Н. Черкасова. Я потом оставалась «мэнээсом» до 1990 года. Работа была никакая – мы все это знаем. Социология эта была странная. Я даже писала когда-то об этом. Раз в полгода – аврал – производство отчетов. За все время работы один массовый заводской опрос, в котором я принимала участие как интервьюер (1978 г.). Он меня полостью разочаровал в эмпирической социологии. Рабочих на заводе «Русский дизель» в обеденный пере-рыв загнали в красный уголок, где они со смешками заполняли многостраничную анкету «Ваш труд и быт» из серии «все про

все»... При заполнение присутствовал парторг... Когда я попыталась индивидуально кого-то проинтервьюировать у станка, мне поставили на вид координаторы поля. Потом я несколько раз была свидетелем того, как интервьюеры сами заполняли анкеты за респондентов (no comment)... На работе регулярно праздновали дни рождения, престольные праздники. Новичок должен был проставить коллективу.... При этом соблюдалась трудовая дисциплина на вход – в 9.15 и на выход 18.15 (не считая библиотечных дней). Анекдот, да и только! Но народ до чего же культурный!!! Филармония, игра “в балду” и “в слова”, стихи наизусть, сочинение стихов на случай, распространение самиздата, очереди на кинофестивали, добровольная народная дружина, овощебаза и колхоз, вязание, кофе, общество книголюбов, шуры и муры... В общем, живая формально не регламентированная жизнь сообщества «на рабочем месте» во вполне публичном пространстве в контексте советского застоя.

В это время что-то значимое происходило в институте, но я была далека от событий профессионально-административных – Андрей Алексеев проводил свое включенное наблюдение на заводе, Владимир Александрович Ядов в результате конфликта был перемещен в почетную ссылку. Там же – т.е. в почетной ссылке – оказался Борис Максимович Фирсов. Я работала в секторе, который был маргинальным в социологическом отделе. Идентифицировала я себя больше с сектором Ядова, где был привлекательный коллектив: Валерий Голофаст, Олег Божков, Татьяна Протасенко... Интересный народ были «городошники» в секторе Марата Межевича: Михаил Борщевский, Альберт Баранов, Виктор Воронков... В 1982 году начался Андроповский период. Для нас он ознаменовался ужесточением административного контроля, последней кампанией против диссидентов, поисками утечки доклада Татьяны Ивановны Заславской.

Меня вызвали в КГБ по делу Воронкова в сочетании с доносом за распространение антисоветской литературы (“Зияющие высоты”). Я получила так называемое «предупреждение». Информация была послана в ИСЭП. Завсектора, как положено, организовал собрание трудового коллектива, где осудили меня за распространение антисоветчины и за идеологический разврат. На собрании было отмечено, что я не демонстрирую чистосердечного раскаяния в содеянном. Пара человек избежала участия в этом действии, сославшись на нездоровье. Кто-то воздержался при голосовании, но, слава Богу, в стенограмме собрания это не было отмечено. Лобанов после этой чистки извинился и предложил подвести домой. Но были и действительно рьяные молодые товарищи, которые в своих выступле-

ниях на этом собрании отметили, что я не достойна работать на идеологическом фронте или что-то в этом духе. ...Хорошо, что я не была членом партии.

В это же время товарищи-друзья на собрании другого сектора дружно осуждали Воронкова за валютные операции и распространение антисоветской литературы – смешно было смотреть на это единогласие бывших гостей дома и собутыльников. Виктор получил два года условно и остался работать лаборантом в том же секторе – его не имели права увольнять на время судимости и сдать на поруки коллектива. Через некоторое время меня вызвал директор института И.И. Сигов и сообщил, что грядет переаттестация, и это означает, что меня нужно будет уволить: по своим идеологическим качествам я не имею права работать на передовом фронте советской общественной науки. Ивглаф Иванович проявил удивительное внимание. Он сказал, что я должна срочно искать себе работу, иначе меня уволят с волчьим билетом, и мне останется только идти в охранники или уборщицы. До аттестации оставалось три месяца. Я довольно лениво отправилась в Москву к отцу. Изложила ему всю историю, он позвонил своему товарищу по комсомолу – Леониду Белкину, который был ректором Высшей профсоюзной школы культуры при ВЦСПС, без обиняков изложил ему просьбу и меня перевели в ВППК на какую-то еще более халявную должность – в методический отдел мэнээсом.

Надо сказать, что это было такое специальное место. В ВППК отсиживались слабо репрессированные и не вполне благонадежные. Над нами существовал негласный контроль, о чем я не сразу узнала... Легкомыслие спасало от драм. Социология была где-то далеко, да и «был ли мальчик?»... Жизнь продолжалась. Работать в ВППК было ТАК скучно, что я закончила курсы экскурсоводов и стала зарабатывать, развозя гостей нашего города по рекам и каналам и памятным местам города-героя. Мой дружеский круг оставался тем же – частью возмужавшая Сайгонно-литературная публика, частью коллеги из ИСЭПА. Что касается семейного положения, то к началу перестройки я уже несколько лет жила с Воронковым и с нашими двумя детьми – у каждого по сыну от предыдущего брака. Основной конфликт жизни проходил тогда по линии мать-и-мачеха.

Жизнь была интересной и минимально соприкасающейся с пространством официальной публичности. Круг чтения и круг моих друзей отделял меня от советского трудового коллектива – о профессиональном продвижении не могло быть и речи ни по морально-идеологическим, ни по политическим

основаниям. Социология для меня не существовала ни как поприще, ни как интерес.

В конце 1980-х я стала активно заниматься социологией общественных движений. Перестройка – это окно возможностей для российской социологии. Вдруг эта дисциплина показалась нужной и осмысленной – ориентированной не на поддержку режима, а на его критику и реформы. Лидером тогда новой академической инициативы по изучению нарождающегося гражданского общества и общественных движений был Владимир Костюшев. Однажды осенью 1986 года он назначил мне встречу (я тогда продолжала служить в Высшей профсоюзной школе) и предложил на общественных началах работать секретарем секции социологии общественных движений в Ленинградской социологической ассоциации. Я согласилась. Через некоторое время по его инициативе я вернулась на работу в ИСЭП в сектор, которым тогда руководил Валерий Голофаст в группу по изучению общественных движений. Я с удовольствием вернулась в академическую среду и уже совсем с другой мотивацией. Вот теперь действительно профессиональный выбор состоялся... (Не поздновато-ли? Мне было уже тридцать три!). Перестройка – время энтузиазма и надежд – дала толчок развитию российской социологии, новому отношению к этой дисциплине и осознанию ее очевидной демократической востребованности. Т.е. нам стало ясно, что социология и демократические реформы развиваются одновременно. И возможности институционализации социологии напрямую связаны с политическим режимом. Без институциональной демократии и гражданского общества эмпирическая социология вырождается. Могут развиваться методы обработки, может развиваться концептуальный аппарат и изучаться история дисциплины в разных контекстах, но неподцензурная полевая работа и анализ данных невозможны.

Через год с небольшим был создан филиал ИС РАН, основу которого составили социологические сектора ИСЭПа. Первый директор ИС РАН – Борис Максимович Фирсов пригласил на работу в новый академический институт всех тех, кто вынуждено покинули социологические институты в 1980-е годы. БМ сделал для меня многое и конкретное. Во-первых, он взял меня в институт социологии вместе со всей группой Костюшева, потом преобразованной в сектор. Далее, когда стал вопрос о международных стажировках для российских социологов, он разговаривал с моей мамой – они были знакомы с давних пор – и спросил, не поможет ли она в воспитании малолетнего ребенка на период моего отбытия в США на три месяца. Потом – уже позже – он взял меня работать в Европейский

Университет в С. Петербурге. Так что он просто встроен в мою профессиональную биографическую канву как вожатый.

Сейчас я всецело поглощена гендерными исследованиями. В эту область меня привело изучение социологии общественных движений. Это тоже для того времени новое направление российской социологии. Ни общественных движений не было, ни тем более специальной социологической теории или исследований, связанных с этим предметом. Счастливые стечение обстоятельств вкупе с демократическими переменами открыли для меня эту тему и познакомили с людьми, изучающими ту же проблематику за пределами страны.

В 1990–1991 я в течение трех месяцев стажировалась в США по программе IREX в качестве приезжего исследователя – *visiting scholar*. Первые два месяца я стажировалась в Беркли, была афилирована на социологическом факультете моим супервайзером был профессор (Лен, если помнишь, дай их имена по американски) Нейл Смелзер. Последний месяц я провела в Новой школе социальных исследований в Нью-Йорке у Чарльза Тили. По дороге – т.е. в ходе стажировки – я познакомилась с Дагом Макадамом, Сиднеем Тэрроу.

Я воочию убедилась в том, что методологический плюрализм в американской социологии (в том числе – и в интересующей меня области социологии общественных движений) торжествует и закреплен институционально: исторический марксизм Тилли уживается на национальной арене с парсонсианством Смелзера. Никто ни с кем уже даже не спорил. Споры отгремели десятилетия назад (т.е. в ходе студенческой и университетской революции 1960х–1970х). В историческом контексте эти подходы находились в конфликте друг с другом. Т.е. неомарксистская волна захватила американских социологов шестидесятников, которые бросили вызов тому, что было названо ортодоксальным социологическим консенсусом структурного функционализма. Но к началу 1990х марксизм и функционализм прекрасно уживались и рассматривались социологами с позиций «диалектики» развития и диверсификации социального знания. Если парсонсианцы фактически были ориентированы на создание аналитической модели, которая бы объясняла все возможные случаи, то неомарксистские исследования были ориентированы на изучение конкретных контекстов и механизмов мобилизации. Если в теории коллективного поведения конфликт связан с дисфункцией, то в марксистской парадигме – это движущая сила социального развития. Различия в том, что есть аналитическая модель, которую подтверждают конкретные исследования, а есть эмпирические исследования, из которых вырастает некая фаль-

сифицируемая теория. Модель – это результат исследований, который выдается за истину. А неомарксистский подход в изучении общественных движений исходит из внимания к опыту, определенному социальной позицией детерминированной множественно – экономическим положением, религиозными верованиями, гражданским статусом, этничностью.

Я объясняю методологический плюрализм тем, что исследователи имеют свои парадигмальные предпочтения, ставят перед собой разные задачи и потому их подспорьем оказываются разные теории. По крайней мере, так это выглядело со стороны в поле американской социологии. Никакого единого нарратива не существовало. И, надо сказать, различия касались понимания роли социологии. Большинство из тех, кто занимался общественными движениями, сами были участниками студенческих протестов и верили в политическую волю социологии и знания как такового.

Я предпочитаю термин «методологический плюрализм» категории «полипарадигмальности». Последнее, на мой взгляд, термин-ловушка. Парадигм не может быть много. Ну – пара. Ну – тройка. При этом неясно, что имеется в виду. То, что социологическое поле теоретически дифференцировано – это факт, тут не нужно ничего дискутировать. Идеи представителей ССР о консолидированной единой и неделимой российской социологии утопичны и небезопасны. Вопрос в том, может ли один исследователь придерживаться сразу нескольких взаимоисключающих точек зрения. И если – да, что же у него тогда в голове? И каким представлением об обществе и социальной науке такой эклектик руководствуется?

Мне кажется, что общество столь сложно устроено, столь изменчиво и разнообразно, так уже много умного придумано о том, как оно работает, что разные исследовательские вопросы могут заставить нас прибегнуть к разным теоретическим основаниям. Исследователь может менять свою позицию для решения конкретной задачи... Но не всерьез. Определенные основания остаются незыблемыми. Мне близка точка зрения Александра Гофмана в отечественной дискуссии о парадигмальности. Методологический плюрализм более адекватное понятие. Разные уровни исследования и разные исследовательские вопросы требуют разных подходов.

В 1993 по результатам стажировки в США я опубликовала книжку «Западные парадигмы социологии общественных движений». Видимо сказывалась еще моя философская подготовка – стремление к пересказам и интерпретациям превалировала над желанием заниматься эмпирическими полевыми исследованиями. Хотя надо сказать в период перестройки и с

легкой руки (а как во множественном числе?) Владимира Костюшева, Леонида Кесельмана, Виктора Воронкова и Александра Дуки я поняла, что и в России можно заниматься живой социологией, т.к. лично можно взаимодействовать с людьми и, анализируя их биографический опыт, стараться понимать, как устроена социальная реальность.

По моим впечатлениям, социологи США, Германии и Франции, которые занимаются эмпирическим изучением общественных движений, это исследователи особого покроя. Во-первых они очевидно остаются критиками системы (более или менее радикальными). Как, впрочем, большинство социологов той генерации на Западе они были неомарксистами или во всяком случае с марксистским замесом... В целом они были ангажированными социологами, т.е. рассматривали социологию как научный инструмент понимания и трансформации общества. Они – партикуляристы, т.е. уверены в том, что надо изучать конкретные формы неравенства и социальные меньшинства, а не предлагать универсальные модели. Кроме того, они ориентированы на гуманистическую социологию, т.е. от конкретного индивидуального продвигаются к пониманию общего (Райт Миллз у них постоянно на устах с его идеей социологического воображения). Они разделяют критику скрытой политической ангажированности позитивизма, выдаваемого за объективную истину. Они тяготеют к качественной методологии: большинство из них считают, что включенное наблюдение и глубинное интервью – это те методы, которые незаменимы в эмпирическом исследовании. А анкетные опросы, конечно, предоставляют некоторую информацию о социальном картографировании, но их интерпретация уже задана программой исследования или социальным заказом. В целом, надо сказать, что от цифр мне до сих пор становится скучно. Я их воспринимаю, только как информацию, позволяющую определить место изучаемого феномена в социальном пространстве. Интересны мне реальные голоса, стратегии и подробности жизни в разных модельностях – так сказать, слухи, сплетни и исповеди...

Иностранные исследователи, с которыми я общалась во время стажировок и в совместных проектах в 1990е годы, тяготели к междисциплинарной методологии, которая ставит под сомнение границы между разными дисциплинами в рамках социальных и гуманитарных наук. Методология у них всех общая: можно быть позитивистом или структуралистом и в литературоведении и в истории и в социологии и в этнологии... И наоборот – быть сторонником феноменологии и символического интеракционизма независимо от дисциплинарной принадлежности. Дисциплинарные деления нужны

академической бюрократии: так организованы советы по защите, требования ВАКа.

Возвращаясь к изучению общественных движений – эта тематика была и до сих пор остается интересной и востребованной. В социологии общественных движений много исследований посвящено феминизму второй волны. И, кроме того, в этой сфере качественная методология – кейс-стади, активистские исследования – получили большое распространение. А у нас в ходе политического цикла перестройки никакой феминистской мобилизации не наблюдалось... Интересно! Передо мною встал конкретный исследовательский вопрос: почему политический цикл 1980х не породил феминистского движения, и лишь на исходе появились группы феминистской повестки дня, да и то, они не были поддержаны широким общественным мнением.

Уже более 10 лет я занимаюсь гендерными исследованиями. Это для нашего академического сообщества новое направление, связанное с феминистской теорией, с социальным конструированием власти и неравенства в отношении между группами, определяемыми по категориям пола. Почему я стала заниматься этим странным гендером? Причин, как всегда, несколько. Для меня важнейшая – академическое любопытство. Кроме того, феминистки, как встреченные мною на Западе, так и приехавшие в Россию исследовательницы, представлялись мне загадочными и непонятными, *другими* женщинами. Приехав в Россию, они также поразились нашим гендерным нравам, сочетанию формального равенства, женской эмансипации, семейного лидерства женщин с сексизмом, отсутствием домашней ответственности мужчин и символическим патриархатом. Именно взгляд со стороны заставил меня поставить под сомнение эти вечные культурно заданные и навязчивые до оскомины представления о том, что такое настоящая женственность и настоящая мужественность. Эти культурно обусловленные нормы – гегемонные идеологии, которые кажутся страшно примитивными и основанными на архаических, очень традиционных патриархальных представлениях, которые отстают от российских практик, но, тем не менее, устойчиво и с каким-то неизбежным пафосом воспроизводятся. В российском обществе индивиды до сих пор определяются не как личности, а как представители некоторой примордиальной группы, по поводу которой уже сформировались стереотипы. Мы репрезентированы, прежде всего, как представители рода и пола – мужчины и женщины... И в нашей культуре эти различия самые главные наряду с такими характеристиками, как этничность с ее предписаниями. И эти различия, как правило, понимаются как

имеющие социальные последствия – ограничения в возможностях, приписывание жестких границ ролевого поведения, бесконечные моральные суждения – о настоящих или не настоящих м и ж... Пошлость здравого смысла особенно очевидна в гендерной культуре...

В общем, неясность, новизна, неисчерпаемость темы и, конечно, то, что у меня есть коллеги, вместе с которыми я могу работать – я, прежде всего, хочу здесь назвать Анну Темкину – все это подтолкнуло к занятиям гендерными исследованиями и феминистской теорией. Тут надо было делать все, разделения труда не предвиделось, непаханое поле – исследовательская целина. И мы занимались в 1990е годы всем понемногу: и переводами, и толкованиями новых для нас текстов (т.е. вечным самообразованием и обучением в хорошей компании), и формированием концептуального аппарата нового для России исследовательского направления, и освоением того, как преподавать гендерные исследования (конечно, вместе с другими такими же новаторами), и соотносением эмпирических исследований с активизмом. Исследовательская работа в этой тематике предполагала множество навыков и, конечно, не без того, чтобы я не осознавала востребованность тематики в международном исследовательском поле.

А вот конкретный сюжет о том, как меня «вынесло» к феминистской тематике. В 1993 году ко мне обратились 4 студентки социологического факультета СПбГУ и попросили факультативно заниматься с ними феминистскими текстами. В то время я делила свое рабочее время между Институтом социологии и ЦНСИ. Мы стали читать Глорию Стейнэм по-английски. Занимались раз в 2–3 недели у меня дома на кухне. Приходилось готовиться. Как правило, я с уважением отношусь к своим и чужим вложенным силам. Такая инициатива очень редкая для российских студенток должна была быть вознаграждена, на мой взгляд. Благодаря Соне Чуйкиной, Тане Бараулиной, Наташе Троян и Кате Герасимовой я стала заниматься гендерными исследованиями всерьез и надолго. В 1990е годы это было запоздалое социологическое образование в режиме learning by doing, а также в клубном формате.

Первый опыт моего участия в международных проектах относится к началу 1990-х годов: на фоне кризиса российских научных учреждений появились и новые возможности. Академический рынок стал транснациональным, международные фонды стали поддерживать отдельных российских исследователей и научные учреждения. Появлялись новые исследовательские структуры. С начала 1990х я сотрудничаю с Центром независимых социологических исследований. Несколько

коллег из ИС РАН решили организовать независимый социологический центр, его основателями стали Виктор Воронков и Эдуард Фомин. Сейчас Эдуарда уже нет с нами. Перед руководителями центра встали непростые задачи научного предпринимательства, создания исследовательского учреждения, не встроеного в существующие иерархии образовательных и академических корпораций. Я бы с удовольствием отдавала Центру больше времени, но пришлось сделать выбор. Мне кажется, что «яйца должны храниться в разных корзинах», т.е. членам семьи не стоит работать вместе, если только один из них не является полностью исполнителем. Конечно, мы сотрудничаем, и ряд исследований я провожу в ЦНСИ, но принципы – прежде всего.

Надо сказать, что в нашем поколении мы тоже все социологи-самоучки... Представляете второе поколение самоучек, потому что когда я училась, точно так же как и 20 лет до этого социологию не преподавали в вузах, и отцы-основатели советской социологии не имели возможности обучать и создавать школы. Так что значительную роль в моем профессиональном становлении сыграли западные коллеги ... Они привозили книжки, выступали с докладами, стимулировали нас к инициативным академическим практикам в виде групп чтения, летних школ и пр. Главным для меня остается то, что в совместных проектах подрывалась рутина видения социального устройства, в том числе гендерного, и коммуникативные поломки (по Гарфинкелю) межкультурной исследовательской коммуникации позволяли нам развивать техники отстранения, помогающие понять свое как чужое.

В 1990е годы в ходе совместных проектов с Ингрид Освальд (Свободный Университет, Берлин, Германия), Анной Роткирх (Университет Хельсинки, Финляндия), Дж.П. Роосом (Университет Хельсинки, Финляндия), Мартиной Риттер (Университет Франкфурта-на-Майне, Германия), Ристо Алапуро (Университет Хельсинки, Финляндия), Марку Лонкилой (Университет Хельсинки, Финляндия) и др. исследователями я пришла к выводу, что самый плодотворный путь полевой социологической работы – соавторство и совместные групповые международные проекты. Они обеспечивают сочетание отстраненной дистанцированности и вовлеченности. Расширяют горизонты интерпретаций опытов и текстов, уплотняют чтение – основной навык социолога-аналитика. В моем профессиональном образовании и росте существенную роль сыграли западные исследователи. Эти люди, с которыми я вместе работала и кто правил мои первые англоязычные тексты, приготовленные для выступлений на международных се-

минарах и для публикаций, снабжали литературой и – что тут скрывать – обеспечивали заработки.

Если говорить о самых общих основаниях понимания социальной реальности, которых я придерживаюсь, то наиболее близка мне так называемая объединительная парадигма в социальной теории или тот подход, который получил название теории структуриации в версии Гидденса или генетического конструктивизма в варианте Бурдьё. Современная феминистская теория исходит именно из этих положений, изучая сложную структуру гендерных отношений и гендерного неравенства в разных обществах.

Мое отношение к марксизму – долгая тема, ограничусь кратким замечанием. Мне представляется, его методология и понятийный аппарат уже интегрирован в генетическом конструктивизме. Я думаю, что ряд марксистских идей является частью социологической классики, например, теория отчуждения или теория прибавочной стоимости. Различные версии неомарксизма подчеркивают значимость экономических политических и идеологических структур для поддержания социального исключения. Иной вариант марксизма – исторический – говорит о том, что класс – это кристаллизованный и воспроизводящийся групповой опыт или социальные практики пронизанные структурами пространства и времени. Марксизм интегрирован в современное социологическое понимание общественного устройства. Можно не признавать какие-то его версии, но отбросить его нельзя. Существуют политико-экономические контексты социальной реальности, которые просто вызывают к марксистскому подходу – это кризисные ситуации, конфликт интересов, рост самосознания социальных групп. Марксизм незаменим для анализа капиталистического общества. Но он явно пасует в изучении человеческой субъективности, постсовременного общества, сложностей многомерного неравенства, исследований повседневности.

Для феминистской теории особенно актуальной является марксистская теория идеологии, согласно которой социальное знание всегда ангажировано и заинтересовано, и опыт угнетенных пострадавших обладает особой ценностью и его надо обязательно озвучивать и осмысливать для понимания социальной реальности. В марксизме у меня вызывает сомнение только эпистемология, т.е. представление о том, что существует истина в последней инстанции и детерминизм общественных процессов, эволюционизм фаз социального развития. Таким образом, вызывает неприятие лишь догматический упрощенный марксизм.

Методологически моя профессиональная жизнь характеризуется «счастливым браком» (очевидным, правда, не для всех)

гендерных исследований с качественной методологией. Изучение гендерного аспекта повседневной частной жизни – в центре моего исследовательского интереса. Сложности работы с гендерной тематикой в российском академическом контексте усугубляются тем, что социальное положение индивидов и групп изменчиво в условиях трансформации, а правила, управляющие социальными практиками, ускользают от анализа и их версии многообразны. Социальные позиции зависят от стратегий и структурных условий, в рамках которых эти стратегии осуществляются. Гендерное измерение – одно из многих и чрезвычайно значимых именно в нашем обществе (хотя и не признается в качестве такового), поскольку внеклассовые различия артикулируются сильнее в условиях структурных ломов. Изменения позиций и возможностей индивидов и групп связаны с переопределением женственности и мужественности, разрушением косных возрастных барьеров, конструированием этничности и гражданства. Эти примордиальные характеристики на самом деле социально сконструированы на индивидуальном и социальном уровне. А значит, их можно изменить или изменить их смысл и пересмотреть последствия стратегий, опирающихся на эти ресурсы идентичности.

Организационно я принадлежу к двум удивительным и новым научным проектам – ЕУСПб и ЦНСИ. Эти негосударственные структуры создают новые правила игры в поле социальных наук, в чем мне удается участвовать, хотя и не на центральных ролях. Честно говоря, я принадлежу, скорее, к поколению интеллектуальных гедонистов и постсоветского дауншифтинга. Это означает, что мне совсем не хочется участвовать в жестких играх конкуренции или продвигаться по социальной лестнице за счет тех компромиссов, из-за которых потом будут мучить угрызения совести. Для меня важны возможности баланса работы и приватной жизни – типичная гендерно специфичная установка нашего (и не только!) общества.

Работа в научном учреждении нового типа и в исследовательском поле, позиции которого еще только определяются, – это те вызовы, на которые я отвечаю вместе с коллегами, принадлежащими к новым поколениям социологов. Кроме того, соавторство – это могучая практика – его преимущества включают взаимные обязательства, которые труднее нарушить, чем личные, и постоянный научный диалог, который не позволяет (я надеюсь) интеллектуально деградировать.



Илле Михаил Евгеньевич – окончил философский факультет Ленинградского государственного университета, сотрудник Социологического научно-исследовательского центра, Санкт-Петербург. Учредитель и редактор издания: «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований». Основные области исследования: общественное мнение, маркетинг. Интервью состоялось в 2006–2007 годах.

Вспомним вторую половину 90-х. Многие социологи думали тогда лишь о том, как продержаться еще несколько месяцев, что будет с их исследованиями через полгода. И вот в это труднейшее время, 1997 год, Михаил Евгеньевич Илле принимает, многим казалось, бредовое решение – создать независимый социологический журнал. В какой раз непрактичный романтизм и наивный оптимизм победили голый практицизм и бесперспективный пессимизм... Вскоре журналу исполняется 15 лет.

Сегодня «Телескоп» – часть истории российской социологии и страны в целом. Существует ли еще хотя бы один независимый региональный социологический журнал со столь долгой историей и столь широким представлением на своих страницах социологической тематики? Все годы важнейшей темой журнала были социальные проблемы Петербурга. «Телескоп» зафиксировал для потомков течение, динамику многих важнейших политических и социально-экономических процессов, характерных для рубежа XX и XXI веков. А это уже – предмет «большой» истории России.

**М.Е. Илле:
«ЗА 10 ЛЕТ
“ТЕЛЕСКОП”
ОПУБЛИКОВАЛ
НЕ МЕНЕЕ
500 СТАТЕЙ
НЕ МЕНЕЕ СОТНИ
АВТОРОВ»***

Миша, ряд Ваших публикаций в «Телескопе» показывает, что Вы знаете и любите Петербург. Откуда эти любовь и знание? Вы родились здесь?

Я родился в 1952 году и вырос в пригороде Ленинграда, в поселке Лисий Нос. Живу там со своей семьей и сейчас, но уже только в летнее время – с мая по сентябрь. Люблю ли я Петербург? Вопрос, на мой взгляд, странный, думаю, что любой человек, родившийся или проживший достаточное количество лет здесь, не может не любить этот город. Я интересуюсь историей культуры Петербурга, кое-что прочитал по этой теме, но сказать, что я ее хорошо знаю, было бы слишком самонадеянно, мои знания не столь глубоки и обширны, как хотелось бы.

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 1. С. 2–7.

Вы создали «Телескоп» десять лет назад. Что бы Вы, прежде всего, вспомнили о Вашей до-«Телескоповской» жизни? Где и на кого учились?

В 1974 году, уже отслужив в армии, я поступил на вечернее отделение философского факультета Ленинградского университета, который и закончил в 1980 году.

Почему Вы выбрали философский факультет? Влияние семьи, школы, друзей?..

Влияние семьи сказалось, возможно, только в том, что в доме всегда было много книг, мама любила читать, и я тоже с детства много читал. В школе в 9–10 классах была сильная учительница по истории и обществоведению, что также, вероятно, способствовало моему интересу к гуманитарным предметам.

Уже при поступлении на философский факультет я хотел стать социологом. Социологических факультетов в то время еще не было, и философский был в данной ситуации оптимальным вариантом. Откуда возникло желание стать социологом, сказать однозначно трудно. Думаю, что в немалой степени интерес к социологии возник под влиянием «Литературной газеты», постоянным читателем которой я был лет с пятнадцати и в которой во второй половине шестидесятых годов и в начале семидесятых публиковалось много статей по социальной проблематике, в том числе и результаты социологических исследований.

На факультете я специализировался на кафедре истмата, где, хотя и не готовили социологов, некоторые курсы читались: современная зарубежная буржуазная социология, история социологических учений, проблемы личности в марксистской и буржуазной социологии, критика современной буржуазной политологии, социальная статистика, основы демографии. Несмотря на то, что большинство курсов читалось под маркой критики буржуазной социологии, полезную информацию и введение в предмет они давали.

Как вспоминаются студенческие годы?

С удовольствием, было интересно учиться. Особенно вспоминаются лекции М.С. Когана, М.А. Киссея, В.В. Лапицкого, Ю.В. Перова, которые были интересны и познавательны. Но еще более важно, что у нас сложилась дружная компания однокурсников, и наше общение было взаимообогащающим. Вместе ходили на концерты, в музеи, в кино, обсуждали увиденное и услышанное. Спорили на философские темы (особенно жаркие дискуссии разгорались во время студенческих

пирушек, без которых, конечно, не обходилось), покупали и читали много книг, благо тогда они были относительно дешевые, обменивались ими. Короче говоря, это общение дало мне в плане интеллектуального и общекультурного развития не меньше, если не больше, чем все прослушанные курсы на факультете. И сейчас мы сохранили дружеские отношения и более-менее регулярно встречаемся. Кто они сейчас, мои бывшие однокурсники? Среди них есть люди известные в нашей профессиональной среде: Николай Скворцов (после второго курса он перевелся на дневное отделение, но наши контакты сохранились), декан факультета социологии Университета; Вячеслав Сухачев – доктор философских наук, доцент философского факультета Университета; Михаил Майор – заведующий кафедрой философии и социальных коммуникаций Университета гражданской авиации.

По моим представлениям Вы какое-то время работали заводским социологом?

Это так, но мое вхождение в социологию счастливым образом началось раньше, с участия в проекте В.А. Ядова «Человек и его работа – 76». После первого и второго года учебы в университете на вечернем отделении я увольнялся с работы и уезжал в стройотряды, а осенью устраивался на другую работу. В сентябре 1976 года я пришел на факультет и увидел объявление о том, что Институт социально-экономических проблем АН СССР набирает интервьюеров на временную работу для участия в проекте «Человек и его работа – 76». Вместе с Николаем Сабуровым, моим однокашником и можно сказать душой нашей университетской компании (к сожалению, он рано умер) мы пошли по указанному в объявлении адресу, и нас приняли на временную работу в качестве научно-технических сотрудников в отдел В.А. Ядова. Таким образом, мое приобщение к социологии началось тридцать лет назад с участия в высокопрофессиональном исследовании, со знакомства с людьми, с именами которых связывают понятие «Ленинградская социологическая школа».

Моя работа заключалась в проведении анкетного опроса рабочих в объединении «Скороход» под руководством Андрея Николаевича Алексеева. Спустя некоторое время Леон Юлианович Каминский, начальник лаборатории НОТ «Скорохода», обратился к Алексееву с просьбой порекомендовать кого-либо в качестве социолога для работы в его лаборатории, и тот порекомендовал меня. Осенью 1977 года я приступил к работе в качестве инженера-социолога. Первым самостоятельным исследованием стала работа по теме «Исследование стиля руководства в цехах и отделах фабрики «Скороход»». Когда работа

была закончена, заместитель директора по кадрам, прочитав отчет, сказала, что она и так все, что в нем написано, знала, но не ожидала, что человеку со стороны удастся получить такие результаты с помощью методов социологического исследования. По результатам этой работы была написана и моя первая публикация [1].

На «Скороходе» я проработал три года, приходилось заниматься разными проблемами: текучесть кадров, удовлетворенность досугом, бригадная организация труда, наверное, что-нибудь еще, сейчас уже все не вспомнить. В это же время принимал участие в работе секции промышленных (заводских) социологов Ленинградского отделения Советской социологической ассоциации, которая тогда активно работала под руководством Бориса Ивановича Максимова. Недолгое время в рамках секции функционировал даже клуб заводских социологов, председателем которого был я. У меня в архиве сохранился устав клуба, подписанный председателем ЛЮ ССА в те годы Г.Н. Черкасовым.

В 1981 г. меня пригласил Володя Синов [2] в лабораторию НОТ научно-производственного объединения «Уран», в которой он руководил социологической группой. На «Уране» я проработал три года, и занимались мы в основном исследованиями проблем бригадной организации труда, в те годы это была очень актуальная тема, как мне кажется, все промышленные социологи в той или иной мере исследовали эти проблемы. По результатам этих исследований нами была опубликована первая статья в профессиональном академическом журнале [3].

В 1984 году мне предложили перейти на работу в Управление бытового обслуживания Леноблсполкома на должность начальника лаборатории НОТ. На этом моя работа в сфере заводской социологии закончилась. Когда меня приглашали, то говорили, что они заинтересованы в проведении социологических исследований, однако это оказалось не так. В основном приходилось заниматься бюрократической работой – писать всякие справки и отчеты в многочисленные вышестоящие организации. Кроме того, начальник Управления, Герман Тихонович Жаворонков, был жесткий, авторитарный руководитель и работать под его началом было очень не просто.

Вскоре я понял, что совершил ошибку, но исправить ее удалось только в 1987 году, когда Юрий Васильевич Капустин, в то время руководивший научно-исследовательским сектором ленинградской Консерватории, по рекомендации Леонида Кесельмана пригласил меня к себе на должность старшего научного сотрудника. Пожалуй, это был наиболее интересный и плодотворный период в моей профессиональной деятельности

[4]. Мы проводили исследования музыкальной жизни, изучали аудитории концертов в разных регионах Советского Союза. Хороший коллектив, интересная работа, да и время было замечательное, разгар перестройки. Денег, правда, по сравнению с Управлением бытового обслуживания, платили маловато, и я в то время подрабатывал интервьюером в ленинградском отделении ВЦИОМа у Николая Ядова.

В 1990 году, на закате перестройки, деньги у государства на финансирование исследований проблем музыкальной жизни кончились, и все мы оказались перед необходимостью искать себе новое место работы. Тогда какое-то исследование, уже не помню какое, мы делали совместно с Ленинградским социологическим научно-исследовательским центром (СНИЦ), и по завершении его Роман Семенович Могилевский, директор Центра, пригласил меня к себе на работу. Так в начале 1991 года я оказался в СНИЦе, где работаю по сей день.

Недавно Роман Могилевский рассказывал, как создавалась эта одна из первых еще в Ленинграде независимых социологических организаций [5]. Не могли бы Вы развить эту тему, что-то добавить?

История СНИЦа – это большая тема, тесно переплетенная с историей становления и развития исследований рынка и общественного мнения в Петербурге, которая может быть предметом самостоятельного исторического исследования. Если коротко коснуться этой темы, то в начале 90-х годов СНИЦ был одним из крупнейших независимых центров в городе и занимал лидирующее положение на рынке, но в дальнейшем сохранить лидерство организации не удалось. Это произошло, на мой взгляд, по двум основным причинам.

Во-первых, на этапе акционирования в 1992 году основателями компании было принято благородное, но стратегически неверное решение – пакет акций был распылен между всеми основными сотрудниками, работавшими в то время. Отсутствие контрольного пакета в руках одного или, по крайней мере, двух-трех собственников сделало принятие решений по стратегическим вопросам дальнейшего развития очень непростым и конфликтным делом. Демократия в бизнесе сыграла плохую службу. Во-вторых, вместе собрались амбициозные, энергичные люди, с высоким уровнем притязаний, им было тесно в одной лодке, тем более что возможности капитана были весьма ограниченны. В результате начиная с 1994 года история СНИЦа – это история наращивания мощи и потенциала компании, а история уходов специалистов и утраты уже завоеванных позиций на рынке, поскольку каждый уходящий уводил с собой часть клиентов, с которыми он непосредственно работал.

Особенно чувствительным был уход в 1995 году Р.С. Могилевского, который увел с собой весь отдел маркетинга. СНИЦ стал, таким образом, своеобразной кузницей кадров; на сегодняшний день в городе работает шесть исследовательских центров, которые созданы или возглавляются людьми, ранее работавшими в СНИЦе. Правда следует сказать, что эти уходы не нанесли непоправимого ущерба личным взаимоотношениям, дружеские связи сохраняются, и я надеюсь, что в 2008 году, когда СНИЦ будет отмечать свой 20-летний юбилей, это будет праздник для всех людей, которые когда-то работали в этой организации.

Сейчас СНИЦ – это небольшая организация, в ней всего шесть человек, но мы продолжаем активно работать как на рынке социологических, так и маркетинговых исследований.

Был ли у вас до начала издания «Телескопа» журналистский, редакторский опыт?

В юности я хотел стать журналистом, меня привлекала эта профессия. В армии, собираясь поступать на факультет журналистики, я писал какие-то заметки в окружную армейскую газету и в конце службы взял у редакции справку о том, что я был внештатным корреспондентом. Потом выяснилось, что эта справка никому не нужна – необходимо было представить сами публикации, а я их не сохранил. Уже работая социологом на «Скороходе», я по результатам всех своих исследований писал статьи в заводскую многотиражку «Скороходовский рабочий», и спустя некоторое время руководство газеты предложило мне перейти к ним на работу в качестве журналиста, но мне нравилась моя новая работа, и я отказался. В начале 90-х годов СНИЦ регулярно публиковал результаты своих исследований в городских газетах, и у меня было некоторое количество публикаций в «Часе Пик» и «Невском времени». Назвать все это журналистской работой вряд ли можно, но опыт сотрудничества с прессой у меня был.

Что касается опыта издательской работы, то в 1994 году СНИЦ предпринял первую попытку издания информационно-аналитического бюллетеня. Он назывался «Исследовательские обзоры», вышел только один номер, и я был редактором этого номера.

Как и почему возникла идея издания питерского социологического и маркетингового журнала?

В декабре 1995 года меня избрали генеральным директором СНИЦа, и я предложил издавать информационный бюллетень, в котором публиковать результаты собственных исследований,

и распространять его по подписке. Я сумел убедить Совет директоров в том, что при невысокой стоимости издание будет иметь достаточно большое количество подписчиков и проект будет экономически эффективным. В начале 1996 года СНИЦ приступил к реализации этого проекта – изданию информационного бюллетеня «Телескоп: наблюдения за массовым сознанием и повседневным поведением населения Петербурга». В бюллетене публиковались результаты опросов населения на различные темы: политика, досуг, масс-медиа, реклама, потребительский рынок и т.д. Стоимость – 300 рублей в год (шесть номеров, 50 рублей за номер). Тираж штучный – количество подписчиков плюс некоторое количество экземпляров в рекламных целях. Весь тираж печатается на ксероксе, сшивку я осуществляю собственноручно, посредством шила и скрепок. К концу года мы имеем около двадцати подписчиков, и Совет директоров принимает решение о закрытии проекта в связи с его неэффективностью. Действительно, мои ожидания не оправдались, коммерческого успеха не было, но мне было жаль бросать начатое дело, и в декабре 1996 года я регистрирую издание в Комитете по печати как средство массовой информации.

Первоначально я хотел назвать журнал просто «Телескоп», но из Москвы пришел отказ в регистрации, поскольку СМИ с таким названием уже существовали, и пришлось удлинить название; так появился «Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев». Одновременно я регистрирую в качестве предпринимателя без образования юридического лица, осуществляющего издательскую деятельность, и с 1997 года издание журнала становится моим индивидуальным проектом; в феврале выходит первый номер.

С должности генерального директора я ушел, полагая невозможным быть руководителем компании и при этом иметь свой параллельный бизнес, но остался работать в СНИЦе в качестве исследователя. С точки зрения коммерции, коллеги были правы – до сих пор каких либо серьезных доходов издание не приносит, и это все еще скорее хобби, чем бизнес. Почему я сделал такой выбор? Наверное, тут можно назвать несколько причин. Мне всегда хотелось издавать журнал, на моей шкале ценностей издание журнала имеет более высокий рейтинг, чем руководство исследовательской компанией, тем более что было жаль бросать уже начатое дело. Немаловажную роль сыграло еще одно обстоятельство. Дело в том, что статьи, которые я писал по результатам эмпирических исследований, всегда охотно принимались к публикации в разных изданиях, но когда я предлагал редакциям тексты теоретического ха-

рактера, то возникали трудности. Приведу один любопытный пример. В начале 1991 года я подготовил текст, над которым долго и основательно работал, под названием «Заметки о человеке, культуре и конце истории». Тогда в Ленинграде (еще в Ленинграде) издавался философский журнал «Ступени». Я отнес статью в этот журнал, и через некоторое время мне отказали в публикации, сказав, что их журнал – философский, а текст скорее социологический. Тогда я отправил статью в «Социс», но там мне тоже отказали и в качестве причины отказа сказали, что статья скорее философская, а у них журнал – социологический [6]. Я существенно переработал текст, сделал его более социологичным и под названием «К вопросу о предмете социологии» снова отправил в «Социс». Спустя весьма продолжительное время приходит ответ, в котором говорится, что редакция, к сожалению, не может опубликовать статью, поскольку дискуссия о предмете социологии у них завершилась в прошлом году. В конце концов этот материал был опубликован, но в сокращенном и сильно покореженном, ухушенном варианте [7]. Желание не зависеть от вздорных и необоснованных отказов в публикации и варварских редакционных правок было немаловажным стимулом попытаться сделать собственный журнал. Наверное, и поэтому, учитывая свой печальный опыт, я редко отказываю авторам, присылающим свои статьи в «Телескоп», и время от времени публикую тексты, которые вряд ли были бы опубликованы в других изданиях. Кроме того, любые сколько-нибудь существенные правки я в обязательном порядке согласовываю с авторами.

Кто наиболее активно помогал Вам в годы становления журнала? Кто входил в первый редакционный совет?

Говоря о людях, помогавших и помогающих делать журнал, в первую очередь надо сказать о коллективе СНИЦа, поскольку в течение восьми лет журнал существовал на его базе, используя его ресурсы, да и сейчас я частенько прибегаю к их помощи. Володя Сергеев, мой коллега по работе в СНИЦе, фактически создал ныне существующий дизайн журнала, его прежнюю и новую обложку. Он же сделал сайт журнала, который, правда, к сожалению, уже несколько лет не обновляется и пребывает в заброшенном состоянии, главным образом по причине постоянных финансовых проблем, сопровождающих издание журнала.

С 2001 года финансовую помощь оказывает факультет социологии СПбГУ, который является соиздателем журнала. Если бы не эта поддержка, журнал, скорее всего, уже перестал бы существовать. Особая благодарность декану факультета Нико-

лаю Генриховичу Скворцову за его понимание возникающих проблем и готовность помогать в их решении.

Тогда же, в 2001 году, возник и редакционный совет журнала, в который на первом этапе входили Н. Скворцов, В. Козловский (факультет социологии), В. Сергеев (СНИЦ), Л. Кесельман (Центр изучения и прогнозирования социальных процессов), Т. Протасенко (Социологический институт РАН), Н. Ядов (компания «Той-Опинион»).

В 2001–2002 годах, в предверии приближающегося юбилея города, у «Телескопа» был совместный исследовательский проект с компанией «Той-Опинион», который назывался «Петербургцы о городе и горожанах». В нескольких телефонных опросах, проводимых «Той-Опинион», бесплатно вставлялись вопросы по тематике этого проекта, полученные результаты публиковались в «Телескопе» [8].

На протяжении двух лет поддержку журналу оказывала Санкт-Петербургская ассоциация социологов, которая, с помощью полученного гранта от фонда Сороса, оплачивала подписку на журнал для всех членов ассоциации.

Центр независимых социологических исследований, возглавляемый В.М. Воронковым, третий год оказывает мне небольшую финансовую помощь. Также уже третий год журнал поддерживает Социологический институт РАН, предоставивший журналу помещение для редакции. Эта поддержка началась в период, когда институт возглавлял А.В. Тихонов, продолжается и при нынешнем директоре И.И. Елисейевой. Один год финансовую помощь журналу оказал Фонд исследования мнений, президентом которого был Р.С. Могилевский; к сожалению, Фонд просуществовал очень недолго.

С этого года финансовую помощь журналу оказывает Университет гражданской авиации, где на кафедре философии и социальных коммуникаций, возглавляемой М.Н. Майором, готовят специалистов по связям с общественностью и преподают много курсов по социологии, маркетингу, рекламе. Так что много людей и организаций старались и стараются поддерживать журнал, за что им огромное спасибо.

Ну и, конечно, нельзя не сказать о постоянных авторах журнала. Это, прежде всего, Вы, Борис Зусманович, уже более пяти лет редко какой номер выходит без Вашей статьи или интервью; это Л. Кесельман, М. Мацкевич, Т. Протасенко, опубликовавшие много текстов в журнале, особенно в первые годы его существования; Б. Максимов, В. Сафронов, Н. Корнев и многие другие авторы, регулярно дающие свои статьи в «Телескоп», без чьих публикаций журнала бы тоже не было. Особенно хотелось бы вспомнить В.Б. Голофаства, вечная ему

память, очень доброжелательно относившегося к журналу и опубликовавшего в нем ряд текстов, которые украсили бы любое академическое издание.

Не могли бы Вы оценить общее количество опубликованных в «Телескопе» статей и число их авторов?

Количество статей приблизительно можно оценить: вышел уже шестьдесят первый номер журнала, в каждом номере публиковалось, примерно, восемь-десять статей, так что их общее количество уже не менее пятисот. Количество авторов, я думаю, не менее сотни.

Какие из рубрик журнала самые «долговечные»?

Начиная с первых номеров издания, в журнале поддерживаются рубрики «Социальные проблемы», «Социально-экономические проблемы», «Социально-политические исследования», «Социокультурные исследования», «Потребительский рынок», «Масс-медиа, реклама», «Информационно-коммуникационные технологии».

Журнал существует уже десять лет, и его главная тема – жизнь Петербурга и петербуржцев на стыке XX и XXI веков. На Ваш взгляд, отражено ли в этих наблюдениях главное, что характеризует повседневную жизнь нашего города и наших земляков?

Трудно сказать, думаю, что какие-то существенные стороны жизни петербуржцев нашли свое отражение на страницах журнала. На протяжении уже десяти лет публикуются материалы о социально-экономическом положении петербуржцев, проблемах, волнующих горожан, их потребительском поведении, политических предпочтениях, приобщенности к культурной жизни города и многое другое. В то же время на многие вопросы в жизни города ответов нет, сложные процессы – не освещены. Например, рост ксенофобии, расистских и националистических настроений, политическая апатия – к сожалению, аналитических текстов, пытающихся понять и объяснить, чем обусловлены эти негативные изменения в массовом сознании, я в журнале не припомню. Наверное, это проблема не только «Телескопа», но и российской социологии в целом, поскольку и в других профессиональных изданиях такие тексты встречаются крайне редко.

С этого года журнал изменил название. Это связано с тем, что тематика публикаций уже давно шире только наблюдений за жизнью петербуржцев. Я хочу более активно привлекать в журнал авторов из других регионов, расширять географию исследований, но в любом случае тема Петербурга и петер-

буржцев будет и дальше оставаться важнейшей на страницах журнала.

Когда сложнее было формировать каждый выпуск журнала: в первые годы работы или сейчас? В чем специфика сегодняшнего этапа существования журнала?

На каждом этапе свои сложности. В первые годы практически все статьи появлялись в результате моих личных обращений к авторам с вопросом-просьбой о том, нет ли у них чего-нибудь для публикации в «Телескопе». Проблема наполнения каждого номера журнала была актуальной. Сейчас достаточное количество материалов приходит, как говорится, самотеком. Это увеличивает возможности, но при этом вынуждает каким-то авторам отказывать в публикации по тем или иным причинам, что всегда неприятно. Сейчас большее количество текстов приходится читать, работать с авторами по уточнению и доработке каких-то позиций в текстах, на это уходит гораздо больше времени, чем в первые годы существования журнала.

Журнал вообще стал гораздо больше по объему публикуемой информации. Но в целом, фундаментальные проблемы, которые были на протяжении всех десяти лет, остаются те же. Это проблемы финансирования издания и поиска интересных авторов, публикации которых привлекают повышенное внимание читательской аудитории, а значит и способствуют росту авторитета журнала в профессиональной среде. Думаю, что аналогичные проблемы стоят перед всеми журналами в нашей сфере деятельности.

Не собираетесь ли Вы усилить маркетинговую направленность журнала? Это может расширить читательскую аудиторию и привлечь к изданию новые структуры.

Я постоянно пытаюсь это делать, но пока решить этот вопрос не удастся. Большинство маркетинговых исследований носит заказной характер, заказчик обладает эксклюзивными правами на результаты и во многих случаях не заинтересован в их публикации. По крайней мере, именно такие аргументы я слышу от многих представителей исследовательских компаний, объясняющих мне, почему у них нет ничего для публикации в журнале.

Есть ли у «Телескопа» постоянная обратная связь с читателями? Что критикуется в журнале, что приветствуется?

Тираж у журнала маленький, со значительной частью читателей я регулярно общаюсь, так что обратная связь, безусловно, есть. Не знаю, насколько коллеги искренни, возможно,

это традиционная дань вежливости, но чаще я слышу благоприятные отзывы о журнале. Говорят, что журнал становится интереснее, отмечают те или иные публикации, иногда, что особенно приятно слышать, говорят, что номер в целом получился очень удачным, интересным.

В то же время, иногда можно услышать, что журнал неровный, хорошие материалы сочетаются с достаточно слабыми. Некоторые коллеги вообще настроены к журналу весьма критически. Их основная претензия сводится к тому, что публикуемые статьи не рецензируются, решение о том, что печатать, а что нет, принимается редактором единолично. Наверное, они правы, но пока дело обстоит именно так, и здесь несколько причин. Во-первых, у журнала нет портфеля текстов на год вперед, что позволило бы отбирать только самые высококачественные статьи. Во-вторых, это значительно увеличивало бы время между подачей материала в редакцию и его публикацией. Сейчас, как правило, автор видит опубликованной свою статью не более чем через месяц, а иногда и через две недели с момента отправки ее в журнал, и, на мой взгляд, это одно из преимуществ журнала. Кроме того, если заниматься этим всерьез, то за рецензии надо платить, а на это нет средств. Если бы появились свободные деньги, то я бы скорее начал выплачивать авторские гонорары, а не платить рецензентам. Ну и, наконец, я не думаю, что рецензирование существенно улучшило бы качество публикуемых текстов. Тексты с описанием эмпирических результатов исследований в обязательном порядке сопровождаются описанием методов сбора первичной информации, и в них нет предмета для рецензирования, поскольку право на ту или иную интерпретацию полученных данных принадлежит автору и свидетельствует о его профессиональной компетентности и жизненной позиции. Теоретические и методологические статьи пока еще, к сожалению, большая редкость в журнале, и я радуюсь любому такому тексту (если, конечно, это не полная ахинея) и опубликую его, даже будучи с ним совершенно не согласен. Вообще, как известно, рецензирование зачастую является эффективным механизмом фильтрации «своих» и «чужих» и эта фильтрация далеко не всегда основывается только на научных критериях.

Недавно я беседовал с профессором Ж.Т. Тощенко, главным редактором «Социс» и профессором О.И. Шкаратаном, главным в журнале «Мир России». К сожалению, они, мягко говоря, мало знают о «Телескопе». Почему бы Вам не договориться с ними о публикации содержания их журналов, а ими – содержания «Телескопа»? Аналогичное соглашение можно заключить с московским

«Социологическим журналом», петербургским «Журналом социологии и социальной антропологии» и украинским «Социология: теория, методы, маркетинг».

Предложение хорошее. Конечно же, я заинтересован в любых формах рекламы журнала. Можно будет попробовать выйти на эти издания с подобным предложением, но боюсь, что «Телескоп» как рекламный носитель, с его небольшим тиражом, вряд ли представляет интерес для этих и так широко известных журналов.

И последний вопрос. Каков, на Ваш взгляд, главный результат десяти лет издания журнала?

Главное, чего удалось добиться за эти годы, – журнал, я надеюсь, завоевал определенный авторитет и стал уважаемым и широко известным изданием, правда, в очень узких кругах социологов, в основном, петербургских. Я помню, когда в 1997–1998 годах я заводил разговор о том, что пытаюсь издавать журнал по социологии и маркетингу, то многие мои коллеги смотрели на меня, как на очередного городского сумасшедшего, и старались побыстрее перевести разговор на другую тему. Теперь отношение изменилось, и многие авторитетные социологи не считают зазорным публиковать свои тексты в «Телескопе». Конечно, журналу еще далеко до совершенства: достаточное количество публикуемых материалов не отличаются глубиной анализа, методической новизной, оригинальностью полученных результатов и сделанных на их основе интерпретаций. Но, как мне кажется, это естественно и нормально. Наша жизнь наполнена чередой рядовых дней, однообразных забот, обязанностей и ритуалов, образующих ткань повседневности, которая лишь иногда прерывается яркими мгновениями, запоминающимися событиями, интеллектуальными или какими-либо другими свершениями. Так и журнальная ткань – это череда нормальных, рядовых статей, описывающих и толкующих нашу жизнь, и яркие, запоминающиеся тексты в журнале так же редки и драгоценны, как и **События** в нашей жизни.

У социологии есть одна важная функция, на которую, как мне кажется, обращают недостаточное внимание. Она сродни фотографии, документальному кино – наша научная деятельность способна сохранить и передать будущему описание времени в тех фактах, деталях, ракурсах, которые доступны именно социологии. Если нашей цивилизации суждено существовать еще какое-то время, то лет так через пятьдесят историки именно из данных социологических и маркетинговых исследований будут узнавать, какие проблемы волновали лю-

дей, живущих в начале XXI века, какие фильмы они смотрели, какие товары покупали, и многие другие факты повседневной жизни, которые вряд ли можно будет почерпнуть из других источников. Именно поэтому я с удовольствием публикую результаты эмпирических исследований, в которых даются подобные описания, раскрывающие особенности поведения и массового сознания не только населения в целом, но и его основных групп: молодых и пожилых, с высшим образованием и без оно, людей с разным социально-профессиональным статусом, разным уровнем доходов и т.д.

Нарастание интереса к описанию и пониманию повседневной жизни обычных людей – характерная черта парадигмы гуманитарного знания последних десятилетий. Эта тенденция особенно важна для социологии, которая понемногу начинает избавляться от искуса стремления к великим свершениям, открытию фундаментальных социальных законов, способных, наконец, объяснить и изменить мир, сделать его обитателей счастливыми, довольными, но предсказуемыми и управляемыми.

Завершая нашу беседу, хочу поздравить друзей журнала, авторов и читателей с юбилейной датой. Вместе мы прошли непростой путь, и я надеюсь, что общими усилиями «Телескоп» будет еще в большей мере удовлетворять запросы читателей, расширять пространство коммуникации профессионального сообщества.

Благодарю Вас, Михаил Евгеньевич, за обстоятельный рассказ о «Телескопе», поздравляю с десятилетием журнала и желаю Вам и Вашему изданию всяческих успехов.

Сноски

1. *Илле М.* Исследование стиля руководства // Кожевенно-обувная промышленность. № 8. 1979.
2. Синов Владимир Витальевич, в настоящее время доцент, зам. директора Центра научных исследований СПб. университета экономики и финансов.
3. *Илле М., Синов В.* О развитии самоуправления в бригадах // Социологические исследования. № 3. 1984.
4. По результатам исследований за время работы в Консерватории мной были опубликованы работы: Опыт исследования аудитории концертов популярной музыки (в соавторстве). М., 1988; Духовные потребности личности: некоторые вопросы теории и методологии // Некоторые актуальные проблемы музыкальной культуры и эстетического воспитания. М., 1988; Молодежь на концертах популярной музыки (в соавторстве) // Культурная деятельность населения: демографический аспект. М., 1988; Рок-музыка: таланты

- и поклонники (в соавторстве) // Социс. 1989. № 5; Рок-музыка и ее поклонники (в соавторстве) // Вопросы социологии музыки. М., 1991; Музыкальные интересы и духовные потребности молодежи // Социс. 1990. № 12.
5. Могилевский Р.С.: «Я бы назвал себя социологом-консультантом...» // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 2. С. 2–13. См. настоящую книгу, Т. 2. С. 759-795.
 6. Илле М. Заметки о человеке, культуре и конце истории // Региональная политика. № 4. (№2-1993); Илле М. Эссе о смене эпох // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. № 1.
 7. Илле М. К вопросу о предмете социологии // Социально-политический журнал. 1994. № 12.
 8. В рамках этого проекта мной в соавторстве с Н. Ядовым опубликованы статьи: Выдающиеся петербуржцы // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2001. № 3–4; Петербуржцы. Откуда мы родом? // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2002. № 1; Идеальные петербуржцы и москвичи в представлении жителей двух столиц // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2002. № 3; Культурный уровень петербуржцев // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2002. № 5.



Ильин В. И. – окончил исторический факультет ЛГУ, доктор социологических наук, профессор факультета социологии Санкт-Петербургского государственного университета. Основные области исследования: социальное неравенство, социология и история повседневности, трудовые отношения, методология социального исследования. Интервью состоялось в 2009-2010 годах.

Владимир Ильин так начинает рассказ о себе: «Моя ранняя биография – показательное кейс-стади советского типа социализации. Раньше о таких, как я, говорили – “человек от сохи”». Он – не единственный среди опрошенных мною социологов, детство которых прошло в сельской местности в семьях с невысоким образованием. Но это не типично для социологов четвертого поколения. По образованию он – историк, что не редкость среди социологов, но в его возрастной когорте подобных случаев немного. После университета он поехал работать в Сыктывкар и пробыл там четверть века. Я мог бы назвать ряд социологов старших возрастов, уезжавших после ВУзов в дальние края, но в страте респондентов близких Ильину по возрасту, таковых нет. Однако цепочка таких «уникальностей» в жизни Владимира образовала траекторию, в целом не выходящую за границы пространства, в котором заключена основная часть биографических сюжетов социологов четвертого поколения.

**В.И. Ильин:
«СОЦИОЛОГИЯ КАК
ОБРАЗ ЖИЗНИ –
ЭТО АВТОНОМНАЯ
СТОРОНА
СОЦИОЛОГИИ
КАК ПРОФЕССИИ»***

Володя, думаю, Вам приходилось читать мои интервью с нашими коллегами, регулярно публикуемые в питерском издании «Телескоп» и в «Социологическом журнале»? Хотел бы и с Вами немного поговорить «за жизнь»...

Расскажите, пожалуйста, где когда Вы родились? Что такое кубанская глубинка? Немного о вашей родительской (можно и глубже) семье...

Моя ранняя биография – показательное кейс-стади советского типа социализации. Раньше о таких, как я, говорили – «человек от сохи». Но я вырос в эпоху побеждавшей индустриализации (1950 г. р.), моя малая родина (и моя среда) – небольшой промышленный город Ейск на побережье Азовского моря. Отцовская семья – зажиточные кубанские хуторяне, которые успели продать хозяйство и перебраться в город и

* Социологический журнал. 2010. № 2. С. 134–160.

тем самым избежать ужасов коллективизации. По материнской линии – потомственные столяры и плотники. Но родители были уже настоящими советскими людьми. У отца за плечами была война от звонка до звонка и далее: с 1939 по 1947 годы. Он почти ничего не рассказывал о войне. Я тогда не мог этого понять. И только гораздо позже до меня дошло: война – это не то, что показывают в кино, это не романтические истории, которые свято хранят в памяти. Это то, что нормальные люди стремятся забыть как страшный сон, ибо война – это извращение цивилизации. Поэтому сейчас я избегаю фильмов о войне: правда слишком страшна, чтобы ее смотреть, а романтизация войны аморальна. Но это я понял гораздо позже.

Жизнь родителей целиком отдавалась их заводам, а мое воспитание передоверялось неграмотной бабушке. Ее неумение читать и писать еще в раннем детстве породило у меня сомнения в постоянно звучавшем определении СССР как страны поголовной грамотности.

Благодаря такому удачному (как мне кажется сейчас) стечению обстоятельств я не знал детского садика, из меня никто не пытался с ранних лет сделать гения. Я рос, листая книги и журналы не столь уж и обширной домашней библиотеки, жил в своеобразном мире южной пыльной улицы, плодородного сада и моря, от которого до моего дома было рукой подать. Благодаря настоянию бабушки меня отдали в школу почти в восемь лет. Я пошел туда, не умея, как и она, ни читать, ни писать. И сейчас с высоты прожитых лет я уверен, что это был мудрый шаг, давший мне лишний год беззаботной жизни, наполненной играми и фантазиями. Уже в зрелом возрасте я прочел у Джанни Родари, что главное, чему надо учить детей, – это умению фантазировать. И тогда я понял, что меня воспитывали не по правилам, но правильно. Потом уже от Ч. Миллса я узнал, что воображение – предпосылка социологического исследования.

Правда, мои родители были читающими людьми. И мы нашли компромисс: они читали мне вслух свои взрослые книги, в основном романы. Научившись грамоте, я с презрением отвергал детские книги. Моя первая лично прочитанная книга – толстый том «Подполье Краснодар». В пятом классе я открыл для себя Мопассана, в шестом – Золя. Маршака и Чуковского я узнал уже после тридцати, когда у меня появились свои дети. Короче, моя социализация была по нынешним меркам своеобразной, но для нашего городка достаточно распространенной.

А что можно еще рассказать о школьных годах?

А потом меня 10 лет пичкали знаниями. Я до сих пор жду, когда же пригодится знание химических формул, некоторые

из которых, как вражеский осколок, засели в моем мозгу, когда я смогу применить свое знакомство со строением инфузории «туфелька» (до сих пор перед глазами рисунок, который я переписывал целый вечер). Но я рано почувствовал, что большая часть школьной программы никогда не соприкоснется с моей жизнью, поэтому учился очень избирательно – не гонялся за оценками ценой сокращения свободного времени, которое, как я узнал очень рано от К. Маркса, является главным богатством. Я с увлечением занимался историей, литературой и боксом, то есть тем, что, по моему тогдашнему разумению, должно было пригодиться. Так и получилось: бокс помогал неоднократно, химия пока ни разу. И оглядываясь на свое дошкольное и школьное детство, я пока так и не могу ответить на вопрос о том, какой должна быть система образования. Знаю только, что ни в коей мере не такой, какую видел я и мои дети.

При этом все мои учителя были отличными людьми, просто система была сомнительной. Все без исключения что-то дали мне: если не полезные знания, то терпение, усидчивость, какие-то побочные навыки, опыт. И я им искренне благодарен. Правда, в школе я столкнулся с типом учительницы, который в те годы мне не хватило ума понять и оценить. Нина Яковлевна, моя учительница во втором-четвертом классах, буквально горела на работе, попутно сжигая и наши нервы, и радость от жизни. Она превращала учебу в систему наказания и для детей, и для их родителей. Кто нарушал дисциплину, получал дополнительный урок русского или математики. Помарки в тетради были поводом к вызову в школу родителей. Знания вдалбливались вместе с отвращением к учебе. Все школьники ее заслуженно ненавидели, хотя теперь я понимаю, что столь же заслуженно ее стоило и уважать. Нина Яковлевна была, с моей точки зрения, идеальным типом советского учителя, избавленного от всяких помех типа любви к детям. У нее не было ничего, кроме гипертрофированного чувства учительского долга.

Наша школьная система в целом работала эффективно: она давала большинству более или менее прочные знания, правда, без всякого представления о том, где (исключая вступительные экзамены в вуз) их можно применить. Сегодня я очень скептически отношусь к часто звучащим сейчас рассуждениям о том, что советская школа была если не самой лучшей, то одной из лучших в мире. Да, из нее выходили выдающиеся люди, но не благодаря школе, а несмотря на нее.

Мое профессиональное самоопределение произошло еще до школы. Родители любили исторические романы и читали их мне на ночь. Где-то лет в шесть я нашел в нашем дворе (территория нынешнего Ейска входила до конца XVIII века в

Крымское ханство) большую турецкую монету. Я ее воспринял как чудо, уносящее меня в фантастическую древность, где носились татарские орды, схлестываясь с русскими витязями. Все школьные годы она была для меня источником вдохновения. Я регулярно держал ее в руках, буквально подпитываясь ее таинственной энергетикой. И еще до школы мечтал стать историком. Это было время, когда все успешные молодые люди шли в инженеры, иногда – в доктора, в нашем городе мечтой многих было стать летчиком-истребителем (на соседней улице располагалось училище). Некоторое время у меня тоже было параллельно увлечение авиацией, ведь 1960-е годы – это эпоха космической романтики. Я не мог не проникнуться ее атмосферой.

Мой детский выбор укрепился в старших классах, когда к нам пришел учитель истории Виктор Петрович, параллельно преподававший в филиале Краснодарского политехнического института. В его изложении история представляла как серия непростых проблем, которые решались неоднозначно понимаемым образом. На его уроках можно было спорить, задавать «провокационные» вопросы. От него я научился не бояться думать. С моей нынешней точки зрения, он был настоящий шестидесятник.

Я – из поколения детей шестидесятников. Когда они уже были зрелыми личностями, я протирал штаны в школе. Кем были для меня интеллигенты-шестидесятники? Для ответа на этот вопрос надо ответить на другой: как воспринималась советская жизнь?

Я не познал, к счастью, ужасов сталинизма, я не страдал от недоедания, отсутствия одежды, у меня всегда была крыша над головой. Вполне можно было жить, но было очень душно и скучно. А шестидесятники были глотком чистого воздуха. Они принимали систему, но в меру сил пытались сделать духовную жизнь (все остальное было за пределами их возможностей) нормальной, опирающейся на принципы здорового человеческого разума, а не религиозных догматов и литургии официального марксизма-ленинизма. И даже в мои школьные годы в кубанской глубинке их голос был слышен. С одной стороны, это были писатели, режиссеры и журналисты, чьи работы доходили до меня. С другой стороны, мой учитель истории тоже принадлежал к ним. Поэтому я с детства привык смотреть на них снизу вверх.

А потом был университет...

Это в каком городе?

В 1968 году я окончил среднюю школу и объявил родителям, что буду поступать на специальность «история» в Кабар-

дино-Балкарском университете. Родители вздохнули (мечтали-то об инженере), но они последовательно придерживались принципа: «Тебе жить, тебе и решать». Все вокруг отговаривали: и специальность не та, и конкурс непроходим, а намерение поступать на Кавказе, где чужака никто не пропустит, это вообще глупость. Мне кажется, что окружающие тогда сильно усомнились в моей адекватности.

Но я уже в детстве старался всех выслушивать, но принимать решения самостоятельно. Почему я поехал на Кавказ, а не в Ростов-на-Дону, где и университет получше, и город русский, я никому не объяснял. Моя тайная логика была проста: в университет я, конечно, не поступлю, но рядом с Нальчиком роскошные горы, где можно было устроиться работать на строительстве канатной дороги на Эльбрус.

Конкурс оказался – 12 человек на место, среди претендентов было полно медалистов, а я обычный «хорошист». Рассчитывая на неминуемое поражение, я готовился как к блестящей победе, сутками валяясь в саду среди гор книг. Сам процесс подготовки доставлял мне большое удовольствие. Предполагаемые экзамены были для меня неким исследованием. Гипотеза, выведенная из многочисленных консультаций, гласила: в силу сильного национализма русскому поступить в кавказский вуз невозможно. И я хотел ее проверить.

Когда я посмотрел списки принятых на факультет, то был искренне удивлен. Среди поступавших было примерно равное число горцев и славян, но везунчиков с некавказской фамилией оказались только двое: я и Маша Каплунат. Еще двое со славянскими фамилиями прошли в качестве кандидатов. Потом несколько лет мои однокурсники гадали, кто же мой покровитель. Социальные сети, приведшие моих однокашников в университет, прояснились быстро, только я оставался загадкой. Лишь к концу обучения мне выдали результат этого коллективного исследования. Ильин – единственный человек на курсе, у которого не только не было связей в университете, но даже знакомых в городе, не было никаких грамот, известных родителей и т.д. Следовательно, принятие его в студенты (даже не в кандидаты) – это яркое доказательство его честности и бескорыстности приемной комиссии.

Учиться и жить на Кавказе было здорово. Четыре года учебы в Нальчике стали для меня длительной исследовательской экспедицией. Мне нравилась культура кабардинцев и балкарцев, у меня со всеми были прекрасные отношения, в общежитии меня приглашали в разные компании, я был очарован горами и получил свою первую профессию – «инструктор горного туризма», мне нравилось изучать историю и культуру этого региона.

Но все мои друзья, знавшие лучше меня местную систему, говорили, что, несмотря на очень вероятный красный диплом, мой потолок здесь – учитель сельской школы, а при наличии протекции – пригородной школы. Меня же тянуло учиться дальше. Я пытался писать в разные «солидные» вузы относительно перевода, но мне отвечали, что мест нет и не будет.

Когда и почему Вы почувствовали потребность перебраться в Ленинград? Почему Ленинград, а не, скажем, Москва?

Как-то мой сосед сообщил мне следующее. По словам его земляка, работавшего заместителем декана, Одесский и Ленинградский университеты предоставляли в порядке «братской помощи» по два места для студентов Кабардино-Балкарского университета, но «свои люди» как-то не проявляли энтузиазма, в связи с перспективой учебы в дальних краях. Так я оказался в Ленинграде, который, как и Кавказ, полюбил с первого взгляда. Короче говоря, волна судьбы меня несла, а только слегка подгребал в соответствии со своими вкусами. Москва в планах не всплывала, так как не просматривалась в пространстве моих возможностей.

Ваше поколение студентов формировалось под влиянием «Биттлз», рока, если говорить о Ленинграде, то во многом в атмосфере «Сайгона», а применительно к студентам университета, то, по словам социолога Вашего поколения Елены Здравомысловой, в «Академичке – кладбище надежд между Кунсткамерой и клиникой Отто». Вы в какой-то мере варились в этой культуре?

Жизнь ленинградцев и приезжих существенно различалась. Я знал про «Сайгон» от своих однокурсников-ленинградцев. Один раз был там со своими приятелями. Выпили кофе. Мне не понравилось, и я там больше не появлялся, потому что у нас был свой гораздо более интересный «Сайгон» – «шестерка» – общежитие ЛГУ № 6 на Мытнинской набережной, где я со своей койки мог разглядывать Эрмитаж и Стрелку Васильевского острова. В плотно запертом Советском Союзе «шестерка» представляла собой своеобразный Ноев ковчег, куда были поселены экземпляры со всех концов света. Не удивительно, что многие однокурсники-ленинградцы проводили здесь значительную часть своего свободного времени. Тут у меня была возможность изучать мир, не выходя за двери общежития. Со мной делили комнату японский социалист, он же племянник крупного бизнесмена из Токио, иракский коммунист, бежавший из Ирака от преследований Саддама Хусейна, а также выходец из элитной цейлонской семьи. Я уже не говорю о соотечественниках из разных регионов СССР. В соседних комнатах жили студен-

ты из стран Африки, Арабского Востока, Израиля, Восточной Европы, Латинской Америки, этажом ниже размещались американские студенты-советологи, приезжавшие на курсы русского языка. Как живет мир, мы узнавали не из советских газет, а в процессе бесконечных распитий чая, вина и водки, в постоянных разговорах на кухне и лестничных площадках. Запомнилось, как на лестничной клетке песни «Битлз» пел вьетнамский студент, а половину его слушателей составляли американцы. А в это время шла война во Вьетнаме.

Редко кто у нас обращался к фарцовщикам, так как в «шестерке» можно было купить такой же товар из первых рук по «дружеским ценам». Сюда модные диски привозились прямо из Хельсинки, Стокгольма, а в основном из Парижа. Здесь ходили книги далеко не из «Дома книги», хотя Солженицын давался только совсем своим. Здесь я впервые познакомился с «Реквиемом» А. Ахматовой (на испанском и русском языках). Здесь постоянно ходили машинописные копии поэтических сборников начала XX века, книги Е. Рерих и многих других авторов, не числившихся в списках «рекомендованной литературы». Мой приятель Джон (Конго), брат которого жил во Франции, регулярно потчевал меня философско-теологической литературой, водил на заседания «Белого братства», где практиковались йога и рассуждения на религиозные темы. В «шестерке» я впервые прочел французский учебник карате, увлекся им и начал посещать подпольные тренировки «группы здоровья». Сосед Джон, имевший коричневый пояс, выступал моим консультантом, американец Виктор из Вашингтона, имевший черный пояс, объяснял мне специфику корейских единоборств. Мой приемник был постоянно настроен на волну «Голоса Америки». Что говорила Москва, я, честно говоря, не знал. Телевизора у нас не было.

В «шестерке» я познакомился с чудесами японской, французской и африканской кухни. Там не было ощутимых расовых и национальных барьеров. Были различия, провоцировавшие интерес и длинные расспросы о чужой жизни. Но я не припомню ни одной вечеринки, на которой не было представителей разных национальностей и рас. Вероятно, у кого-то в глубине души и бродили предрассудки, но высказывать их никто не рисковал.

В нашей комнате пару лет издавалась стенная газета «118-я Правда» (118 – по номеру комнаты). Я был ее главным редактором и пытался освещать жизнь в стилистике центрального партийного органа. В конце концов комиссия парткома, проверявшая порядок в общежитии, газету конфисковала. Тогда я начал издание иллюстрированного журнала «Жизнь “шестерки”» (его показывал уже только своим).

И что сейчас меня удивляет, в «шестерке» не чувствовался дух стукачества. Я понимаю, что КГБ не могло не контролировать этот «ковчег», но я никогда не слышал не только «стука» (это естественно), но не знал и о каких-либо последствиях наших раскованных разговоров. Единственная видимая нить, связующая «шестерку» с КГБ – это бывший наш студент, периодически приходивший к нам выпить водки и закусить жареной на маргарине картошкой. Возможно, он совмещал приятное с полезным.

В «шестерке» был и свой очаг культурной жизни – комната отдыха. Здесь регулярно при выключенном свете проводилась дискотека, куда иностранцы приносили свои любимые диски. Здесь каждый месяц в порядке шефской помощи выступали артисты ленинградских театров, филармонии, приходили с лекциями музыковеды и литературоведы. Нам это казалось естественным и само собой разумеющимся. Только позже я понял, в каком привилегированном положении находились обитатели «шестерки».

Таким образом, «шестерка» была оазисом, после которого «Сайгон» мне тогда показался пресной советской забегаловкой. Повторяю – тогда показался, поскольку я был далек от него и не подозревал о его культурном значении.

Ваш интерес к социологии возник в годы студенчества или уже после окончания университета?

Учеба на историческом факультете Ленинградского университета медленно, но неуклонно подводила меня к мысли, что мои мозги неадекватны требованиям современной исторической науки. Стремление понять логику бесчисленных событий и процессов толкало меня в сторону теоретических дисциплин. Я пытался найти ответы на философском факультете. Но марксистско-ленинская философия уносила в такие высоты, с которых земной мир становился неузнаваемым. Я искал в расписании слово «социология», но находил лишь разнообразные варианты теологии, называвшейся странным словом «научный коммунизм». Правда, встречались студенты, которые незадолго до этого слушали лекции В.А. Ядова по методике.

В конце концов мои наивные поиски привели меня в отделы специального хранения публичной и университетской библиотек, где я обнаружил залежи западных книг и журналов. И тут я начал читать запоем книги по социологии, политологии и социальной психологии. И так «железный занавес» для меня рухнул задолго до перестройки. На старших курсах я «учился» в спецхране несопоставимо больше, чем в университетских аудиториях. Насколько такой интеллектуальный путь был ти-

пичен для становления социологов моего поколения? Трудно сказать. Но с моего курса, насчитывавшего более 70 человек, регулярно пользовался услугами спецхрана только я. Сказать, что были большие проблемы с допуском к «антисоветской» литературе, я не могу. Достаточно было придумать подходящую тему, написать заявление, заверив его у научного руководителя и в деканате. У меня сложилось впечатление, что слухи о закрытости советского общества были несколько преувеличены. КПСС стремилась к тоталитарному контролю, но тоталитаризм оказался такой же утопией, как и коммунизм.

Итогом самообразования стал весьма хаотический набор социологических идей и представлений. Главным же формальным результатом моих штудий в таинственных библиотечных уголках стала дипломная работа «Структура леворадикального сознания студенческого движения США в 1968–1970 гг.» На защите мне сказали, что это исследование имеет сомнительное отношение к истории, но эту критику я уже рассматривал как комплимент.

Такое бессистемное социологическое самообразование было характерно для многих провинциальных социологов моего поколения. В это время интеллектуальная «оттепель» прошла. Социологи-шестидесятники (А.Г. Здравомыслов, И.С. Кон, О.И. Шкаратан, В.Я. Ядов и др.) были оттеснены на маргинальные позиции или в смежные дисциплины. Например, моя близкая знакомая делила с В.А. Ядовым стол в Институте истории естествознания и техники (кажется, так он назывался). Утвердил тезис о том, что марксистско-ленинской социологией является научный коммунизм. Поэтому получение нормального социологического образования стало фактически невозможным. Образовалась профессиональная поколенческая дыра, совершенно очевидная с высоты нашего времени.

Я так понимаю, что в Сыктывкаре Вы оказались по распределению. Чем Вас встретил этот город?

В Сыктывкар попал случайно. Впрочем, вся моя жизнь — это череда случайностей, которые в то же время представляют собой социальную траекторию, типичную для советского общества. На пятом курсе (1975 г.) неумолимо запахло распределением в дальнюю сельскую школу, а меня очень тянуло продолжить учебу. И хотя я окончил истфак с красным дипломом, никаких шансов попасть в аспирантуру или устроиться в ленинградский вуз не было: дискриминация по критерию прописки была в те годы, пожалуй, самым страшным бичом молодой интеллигенции. Единственным шансом остаться в Ленинграде было распределение преподавателем в исправитель-

но-трудовую колонию. После долгих колебаний я решил, что два-три года «в тюрьме» или в статусе участкового – не так уж и страшно, даже полезно. Посоветовался с одним милиционером. Он объяснил: «Дурак! Из МВД ты уйдешь с характеристикой, которую примут только в тюрьме».

Потом от коллеги по котельной, где я подрабатывал кофегаром, узнаю, что заведующий кафедрой истории КПСС в Сыктывкарском университете ищет преподавателей с перспективной аспирантурой в Ленинграде. Мне показалось, что в этой нише я получу доступ к архивам КПСС и загляну в тайны партийной власти. Короче, нашел и в истории партии положительный момент.

Сыктывкар мне сразу понравился. Географически это была глухая провинция, но в социальном и духовном плане это была особая категория – северный город. Его главная особенность – отсутствие застоя, здесь постоянно менялись люди, используя Сыктывкар как «промежуточный аэродром». Сюда приезжали делать деньги или карьеру. Меня окружали в основном молодые (или почти молодые) люди – недавние выпускники Ленинградского или Московского университетов. Тут был непривычный для меня климат, который понравился своей экстремальностью: суровые морозы, снег по пояс, зима до мая. Я глотнул северного воздуха, и он меня, коренного южанина, сразу опьянил, как когда-то Кавказ. Я решил остаться тут на пару лет. Но, как там у нас говорили, северянин – это тот, кто приезжает на год, а остается навсегда. Я над этой поговоркой смеялся, но сам попал в ту же колею: остался там до 2001 года.

Когда я после окончания исторического факультета Ленинградского университета появился впервые в Сыктывкаре, столице Коми АССР, слово «социология» там было знакомо, но за ним в жизни города и региона уже ничего не стояло.

Гораздо позже я узнал, что из этих мест вышел сам Питирим Сорокин: он здесь родился, получил базовое образование, а затем уехал в Петербург делать свою судьбу. Но, несмотря на то, что местная власть по круплицам собирала все мало-мальски заметные символические ресурсы региона, о самом знаменитом уроженце этой земли предпочитали не вспоминать, как будто стесняясь порочащих связей с «буржуазным социологом».

Правда, в местной библиотеке я обнаружил следы советской социологии. Когда-то при Коми обкоме партии существовало подразделение, занимавшееся социологическими исследованиями. Главной (не номинально, но реально) фигурой в нем был С.С. Андреев, который активно изучал ростки коммунистического самоуправления и демократии, опираясь на методы эмпирического социологического исследования и с оглядкой

на югославский опыт. Это было подтверждением где-то услышанного мною не очень убедительного тезиса: смелость ученого прямо пропорциональна его удаленности от Москвы.

Потом С.С. Андреев уехал в столицу, а с ним – и местная социология. Это характерная модель развития провинциальной социологии, которая в силу острого дефицита кадров носит очень индивидуализированный характер. И лишь формирование устойчивых научных школ (первый признак столичности) обеспечивает деиндивидуализацию: основоположники уходят, а созданная ими структура продолжает существовать (классический пример – новосибирская социология).

Но все же, получается, что социология «не совсем» уехала из Сыктывкара...

Через несколько лет обком партии попытался восстановить едва начавшуюся местную социологию: при Коми научном центре Академии наук был создан сектор социологических исследований, обслуживавший в основном потребности партийных органов в изучении эффективности политико-массовой работы. Получаемые результаты были, видимо, настолько секретны, что даже в партийном архиве мне не удалось найти их следы. Но и эта партийная социология быстро угасла с отъездом из города руководителя сектора.

Меня в те годы очень интересовала социология, но я даже не думал о реализации этого интереса. Эта наука рассматривалась как оружие партии, поэтому всякая работа в данной области жестко курировалась отделами агитации и пропаганды региональных комитетов, где оседали аппаратчики-идеологи, люди простые и бесполезные, как большевистская правда (о ЦК КПСС не берусь судить из-за удаленности). Я сталкивался с некоторыми из них и был шокирован узостью их кругозора. Перспектива согласования исследовательских программ и инструментария с этими людьми ужасала. Я попытался заикнуться о возможности эмпирического исследования студентов, но люди, хорошо знающие местную «кухню», объяснили, что потенциальная информация настолько секретна, что проведение подобной работы надо согласовывать даже не с парткомом, а с КГБ. Перспектива иметь такое количество и таких учителей делала для меня нелепой любую мысль о реализации своего интереса.

Приехав в Сыктывкар по распределению, я имел простой выбор: преподавать зарубежную историю или историю КПСС. Первый вариант мне показался смешным: изучать Запад исключительно по советским публикациям (иные вдали от столицы исключались)? И тогда я сделал другой шаг, гораздо более

глупый: пошел работать на кафедру истории КПСС. К тому времени я уже был довольно убежденный левак в духе Г. Маркузе (мой любимый автор студенческих лет), проштудировавший довольно большое количество советологической литературы. Работа на кафедре истории КПСС, как мне казалось, открывала доступ к партархивам, где я надеялся найти ключи к пониманию советской системы. Но вскоре оказалось, что без партбилета все находится за занавесом с грифом «секретно». И я вступил в КПСС, что открыло мне и партийные архивы, и путь в аспирантуру, правда, по истории партии. Пробившись в архивы, я понял, что вся партийная тайна состоит в отсутствии тайны. Коробочка оказалась пустой! Символом этой таинственной пустоты для меня стали куцые протоколы комитета комсомола нашего университета: по верхней кромке папки красовался строгий гриф «Секретно», а саму папку украшали круги – отпечатки стаканов с дешевым крепленным вином.

В аспирантуре истфака ЛГУ (1977–1980 гг.) мой научный руководитель, писавший в огромном количестве книги и статьи о ведущей роли рабочего класса в советском обществе, на все мои попытки найти серьезную нишу сформулировал мудрый тезис: «Сначала защити диссертацию, а потом уже занимайся наукой». И я провел минимум два года в спецхранах разных библиотек, буквально глотая англо-американскую литературу по истории и теории советского общества. Вызрел план послать подальше диссертацию и не тратить время на пародирование научной работы.

Но однажды в спецхране публичной библиотеки я нашел книгу Дж. Хафа «Советские префекты» [2]. Он писал о том, что меня тогда сильно волновало и толкнуло в дурдом «историко-партийной науки», – о механизме функционирования партийных органов на уровне регионов и предприятий. Так созрела тема кандидатской диссертации, ее методология и методика. Я решил проверить его схему в эмпирическом исследовании архивных материалов первичных партийных организаций Коми АССР. Главный исследовательский вопрос был сформулирован примерно так: В чем состоит менеджерский смысл существования партийных организаций на предприятиях? Я перерыл горы протоколов и стенограмм, проводил их контент-анализ, пытаюсь увидеть механизм разделения функций партийных, хозяйственных и профсоюзных органов.

Все мои выписки тщательно просматривал директор архива обкома КПСС. Как-то он меня вызвал к себе и отеческим тоном сказал: «Зачем вы выписываете негативный материал? Кому он интересен? Вы же никогда его не сможете опубликовать». От этих слов становилось жутко. Я сократил выписки «нега-

тивного материала» в контролируемую тетрадку, а наиболее крамольные факты выписывал на листочек бумаги, который прятал под рубашкой. К счастью, директор партархива оказался плохим провидцем. В годы перестройки он сам начал активно собирать материал по сталинским репрессиям.

Тема оказалась для меня интересной, но результаты надо было переводить на язык истории партии, который и тогда у меня ассоциировался с шаманскими заклинаниями. На кафедре истории партии ЛГУ мою тему перевели на этот язык: «Деятельность КПСС по вовлечению трудящихся в управление производством».

Сейчас большинство людей, защитивших диссертации по истории КПСС, стараются об этом не вспоминать. Я тоже не в восторге от формулировки темы, которую мне навязал научный руководитель: вне временного контекста она воспринимается довольно странно. Однако если бы я сейчас писал кандидатскую диссертацию, то, видимо, делал бы это примерно в том же русле, добавив, помимо архивных изысканий, серьезное полевое исследование жизни предприятий. Однако тогда я ничего не знал о качественных методах сбора данных.

Совершенно неожиданно для себя я вернулся к этой же тематике уже в 1990-е годы, работая в целой серии проектов по изучению трудовых отношений с моими британскими коллегами.

В 1980 году я снова вернулся в Сыктывкар на кафедру истории КПСС. С точки зрения моего интеллектуального развития ситуация постепенно прорисовывалась как тупиковая. За пять лет я вымучил здесь пару статей. Писать «как надо» просто не мог, как мог – было нельзя. Единственная статья, в которой я попытался сказать что-то свое, сразу же пошла по кругу отрицательных рецензий. Я начал впадать в тоску, но тут мой приятель, В.И. Грузнов, заведовавший кафедрой философии и научного коммунизма, пригласил меня к себе и сразу отправил в Институт повышения квалификации при ЛГУ. Когда я вернулся, перестройка начала переходить из словесной фазы в политический процесс. И большая политика повернула мою биографию: в 1987 году появилась возможность на историческом факультете Сыктывкарского университета заменить курсы истмата и научного коммунизма «марксистско-ленинской социологией». Тогда это был очень смелый эксперимент, и я до сих пор не пойму, как его разрешили. Мы создали социологическую лабораторию, где начали проводить первые эмпирические исследования, которые уже можно было не согласовывать с людьми, знавшими, какие выводы надо получать. Пик активности нашей лаборатории – 1988–1989-й

годы, когда мы круглый год изучали электоральный процесс в Коми АССР, а попутно консультировали некоторых кандидатов в народные депутаты СССР. Все трое победили на выборах, а один даже стал министром юстиции СССР. В 1990-м я попал на полугодовые Высшие социологические курсы Советской социологической ассоциации, которыми руководила С. Наталушко; она смогла привлечь лучших отечественных социологов того времени (Ю. Давыдова, В. Ядова, О. Шкаратана, Б. Грушина, А. Гофмана, О. Маслову и др.), преподавали здесь и заметные фигуры западной социологии: З. Бауман, М. Кастельс, Э. Гидденс, С. Кларк и др. С курсами мне крупно повезло. Это было заметное явление в истории отечественной социологии. Здесь я получил свое формальное социологическое образование. Именно с этого времени я рискнул называть себя социологом.

В связи со сказанным не могли бы Вы порассуждать о роли западной социологии в развитии российской и в Вашем профессиональном становлении...

Надо четко разводить два разных феномена, часто обозначаемых одним словом: социологию как область знания и социологию как социальный институт, то есть механизм по производству и распространению этого знания. Социология как фабрика знаний об обществе в нашей стране после Октябрьской революции была разрушена, ее восстановление началось только в 1990-е годы. При всем моем уважении к шестидесятникам я не могу считать советскую социологию равноправным партнером в мировом научном сообществе. Была горстка людей, которым в очень ограниченных масштабах было дозволено заниматься эмпирической социологией под жестким идеологическим контролем. Социологии как нормального по современным меркам института не было. В силу этого единственно возможный способ возрождения социологии в России состоял в критическом освоении достижений западной социологии. Возвращение к нашим истокам начала XX века – важная, но второстепенная задача. Мы безнадежно отстали. И научная модернизация через возврат на три четверти столетия назад – это опасная утопия. Идти вперед можно, лишь отталкиваясь от самых передовых достижений мировой современной науки.

Из этих принципов я исходил, формируя свою профессиональную стратегию. Альманах «Рубеж», главным редактором которого я был десяток лет (с 1991 по 2001 годы), с одной стороны, активно вводил в оборот забытое наследие русской социологии. И в этом нам активно помогли В. Сапов (Москва) и И. Голосенко (Санкт-Петербург). С другой стороны, основной

упор был все же сделан на введение в отечественный научный оборот достижений современной западной социологии. С первого номера в нашей работе активное участие принял Майкл Буравой (Беркли), который и писал для «Рубежа», и делал для него интервью (например, с Э. Райтом), и помогал с отбором авторов. В подготовке номеров «Рубежа» участвовали социологи из целого ряда стран Западной Европы. И для меня это была серьезная профессиональная школа.

Могу утверждать, что без помощи моих западных коллег я бы никогда не стал социологом, хотя соблазняющий импульс шел от шестидесятников. Ключевую роль в моем профессиональном становлении сыграл Саймон Кларк – профессор Уорвикского университета (Великобритания), ставший инициатором множества проектов по изучению трудовых отношений и рынка труда России. По его инициативе был организован Институт сравнительных исследований трудовых отношений, имевший филиалы в нескольких городах нашей страны. Этот институт стал отличной школой для десятков людей, решивших стать социологами. Большинство из них пришло в наши проекты либо с полным отсутствием социологических знаний, либо с багажом, который проще было забыть.

Саймон тогда сформулировал свой принцип формирования команды так: «Легче из друзей сделать социологов, чем из социологов – друзей». Первоначально мы в год проводили по три семинара, где обсуждали теорию, методологию и технику наших исследований. Саймон привозил книги и ксерокопии. Многие прошли через стажировки в Уорвикском университете. Несколько человек получили там дипломы магистров и докторов. Я тоже готов был пройти магистратуру, но Саймон убедил меня, что я уже перерос этот уровень, а что не знаю, освою иными, менее формализованными путями. С помощью С. Кларка был получен грант программы «Темпус» на создание и поныне действующего Центра социологического образования при Институте социологии РАН в Москве, который превратился в один из наиболее успешных институтов социологической переподготовки кадров для региональных университетов. В этом центре я работаю с середины 1990-х годов, ежегодно читая там один-два курса.

Говоря о людях с Запада, оказавших позитивное влияние на становление отечественных социологов-исследователей, я не могу никого поставить рядом с Саймоном Кларком. Ни один из известных мне российских или зарубежных коллег не вложил в это дело столько сил и с таким эффектом, как он. Разумеется, он сам многого добился благодаря российским коллегам, но в отличие от ряда других западных и отечественных исследова-

телей он понимал, что залогом собственного успеха являются большие инвестиции в профессиональное становление всей команды.

Большую роль в моем профессиональном формировании сыграл также Майкл Буравой, профессор Калифорнийского университета (Беркли). Начиная с 1991 года он ежегодно приезжал для проведения полевых исследований в Сыктывкар. Два раза он там был по полгода. Я не участвовал в его проектах, но почти еженедельно в период своего пребывания в Сыктывкаре он приходил к нам в гости. Это давало возможность с близкого расстояния следить за его работой. Именно благодаря ему я понял, что социология может быть не только профессией, но и образом жизни, заполняющим не только рабочее, но и свободное время.

В период моей жизни в Сыктывкаре я познакомился с видным датским экономистом О. Соренсенем, который изучал стратегии российских предприятий. Я участвовал в ряде его интервью, много общался с ним в домашней и университетской обстановке. В этом человеке меня удивляло никак не связанное с его профессией острое социологическое чутье, глобальное мышление (он как исследователь объездил почти весь мир), способность думать об экономике социологически. Благодаря ему я побывал на стажировках в Дании и Швеции, где и написал книгу «Поведение потребителей» [3, 4].

Не могу не упомянуть и другого социолога, оказавшего мне огромную помощь в профессиональном становлении. Это Ю. Фельдхофф из Вилефельдского университета (Германия). Он внес огромный вклад в процесс европеизации социологического образования на факультете социологии СПбГУ. Он помог мне открыть для себя Германию и немецкую социологию. Благодаря его поддержке я получил возможность неоднократно выезжать в эту страну для проведения полевых исследований повседневной жизни немецких переселенцев из стран, некогда входивших в Советский Союз.

Мне трудно представить свое профессиональное становление без помощи западных фондов. Благодаря им я, живя в Сыктывкаре, смог получить вполне сносное (по нашим меркам) неформальное социологическое образование и увидеть с близкого расстояния и отнюдь не в туристическом режиме окружающий мир. Без этого внешнего фона, как мне представляется, трудно, изучая Россию, избежать наивного провинциализма. Благодаря фонду Фулбрайта я почти два года проводил в США исследование жизни американцев – не столько в тиши библиотек, сколько в бесчисленных интервью в семьях, на предприятиях, в тюрьмах и т.д.

Я с ужасом думаю, что было бы со мной как социологом, если бы я опирался только на отечественные ресурсы. За все годы моей работы из российских источников удалось профинансировать только одно полевое исследование (провинциальные рынки России), да и то часть расходов покрывалась из моей заработной платы. Российское государство не вложило ни одной копейки в мое профессиональное образование. За 15 лет я не имел ни одной оплаченной университетом командировки. На первую свою стажировку в Англии я в 1991 году спустил все семейные сбережения. Первый раз я отправился в заграничную командировку за счет университета в 2006 году, уже будучи профессором СПбГУ. С 1992 года я активно пользуюсь компьютерами, принтерами, ксероксами, факсами и т.д. И все это изначально приобреталось только за счет западных грантов. Первый компьютер за счет российского гранта я приобрел только в 2007 году. С начала 1990-х я возил из западных университетов ксерокопии современных книг и статей, тратя на это массу личных денег. Только в начале XXI века Санкт-Петербургский университет начал подписываться на электронные базы данных. Однако абсолютное большинство университетов страны остаются отрезанными от этих минимальных предпосылок научной и педагогической работы.

Альманах «Рубеж» мы с женой Мариной начинали как почти семейное предприятие: вся работа выполнялась нами бесплатно, при этом жена на год ушла с хорошо оплачиваемой работы. Первую финансовую поддержку альманах получил в виде спонсорской помощи одного бизнесмена, а затем – от фонда «Культурная инициатива» (Фонд Сороса). Только через пару лет Сыктывкарский университет начал в минимальном объеме финансировать ключевые (полиграфические) расходы альманаха.

В 2000 году в Институте социологии была издана моя книга «Социальное неравенство» [5], там же и в том же году состоялась защита моей докторской диссертации, а в 2006 году в соавторстве с О.И. Шкаратаном в ГУ-ВШЭ издана монография «Социальная стратификация России и Восточной Европы» [6]. Все это плоды работы в западных библиотеках. Российское государство в 1990-е годы охотно отдало заботу о сохранении и развитии отечественной науки западным фондам и университетам. Сейчас последние все более заметно отворачиваются от России, активно демонстрирующей великодержавную гордость, смешанную с подозрительностью ко всему иностранному, но я пока не вижу, чтобы в образующуюся нишу шли серьезные государственные инвестиции. И у меня есть опасения, что патриотизм в науке пока ведет к ее деградации, так

как при отсутствии солидных грантов реальные эмпирические исследования будут неизбежно вытесняться социально-фило-софскими трудами, для создания которых можно не выходить из кабинета.

Кроме того, нынешние отечественные гранты пока создают лишь иллюзию финансирования науки. Наверное, кто-то получает достаточные для реальных исследований суммы, но я к их числу не отношусь и почти не вижу их получателей в своем кругу (исключение – мои коллеги из ГУ-ВШЭ).

В заключение должен подчеркнуть, что я говорю исключительно о собственном опыте и собственных наблюдениях. Вероятно, многие отечественные социологи никогда не получали никакой поддержки от западных институтов и не видят в этом проблемы. Вероятно, им для профессионального становления вполне хватало заработной платы и тех информационных возможностей, которые открывали и открывают им собственные университеты. Вероятно, есть немало и таких, кто имел и имеет доступ к государственному финансированию исследований. Пути в пространстве социологии различны, и я ни в коей мере не пытаюсь охарактеризовать все. Данное интервью – биографическое кейс-стади.

Мой личный опыт фиксирует важный раскол среди отечественных социологов, который становится все более явным. С одной стороны, образовалась большая группа «почвенников», в силу разных причин изолированных от мировой социологии. Большинство из них оказались в этом положении вынужденно: до них не дошли западные гранты, у них не было сил и времени учить иностранные языки, они оказались «крепостными» своих университетов, прикованными на долгие годы к их скудным ресурсам. Это жертвы катастрофической трансформации, прошедшей в России, уже интеллектуально опустошенной марксистско-ленинской идеологией. Небольшая часть «почвенников» – люди, сознательно сделавшие такой выбор, несмотря на имевшиеся у них шансы интеграции. Часто это преподаватели ведущих университетов страны. Грань между двумя категориями «почвенников» провести можно только условно. Немало людей, достигших еще в советское время высокого статуса, оказались не готовы к глобальным возможностям. Важнейшим фактором социального исключения в этой ситуации стало незнание английского языка – в принципе почти бесполезного ресурса в советское время.

Вторую группу часто называют «западниками». Я объективно, в силу своей биографии, принадлежу к ним. Я не хуже «почвенников» вижу тупики как западной социологии, так

и западного общества, но перспективы отечественной социальной науки, как мне кажется, лежат на путях освоения и творческого переосмысления опыта западных коллег, не потерявших, как мы, почти столетие. Надо идти дальше, вставая на их плечи, а не изобретая самобытное русское колесо.

В рассуждениях о «западниках» и «почвенниках», как мне представляется, надо четко разводить две совершенно разные сферы. С одной стороны, это теория, методология, методика – они в социологии не знают национальности, как и во всех иных естественных и социально-гуманитарных дисциплинах. С другой стороны – общество как объект исследования. Механическое перенесение на российскую почву объяснительных моделей, сконструированных на принципиально ином материале – это упрощение социологического исследования. Инструмент исследования универсален, а объект всегда уникален. И это касается не только России. Уникальна любая страна, только издалека все они сливаются в «заграницу», или, в лучшем случае, – в «Запад». Классовая теория космополитична, но описываемая с ее помощью классовая структура всегда уникальна. И, как мне кажется, в спорах «почвенников» и «западников» это разграничение инструмента и объекта исследования часто не проводится, в силу чего спор превращается в бой с тенью.

Чему было посвящено Ваше докторское исследование, что самое главное Вам удалось в нем сказать?

Докторская степень – это особая и сложная история в моей жизни. Мой путь к этому статусу определяло мое неизменно скептическое отношение к смыслу таких регалий. Защита диссертации зависит от ее быстрого (после прослушивания короткого доклада) понимания и признания членами диссертационного совета. Чем ближе позиция диссертанта к их мнениям, тем успешнее защита. Научная истина, статус которой определяется голосованием диссертационного совета и утверждающим решением ВАКа, – это суждение, за которое проголосовали уполномоченные на то лица. Меняются лица, а вместе с ними и истина нередко переходит в категорию заблуждений, и наоборот: немало заблуждений потом признавались истинами. Особенно часто это встречается в науках об обществе. Наименьшие шансы на прохождение имеют и теоретически самые яркие работы, и технически слабые, но у первых шансов на провал больше. Такой взгляд на науку долгое время отбивал у меня всякий интерес к защите докторской диссертации.

Я все же взялся за нее благодаря сильному нажиму моего учителя и друга О.И. Шкаратана. Правда, когда во второй

половине 1990-х годов вопрос перешел в практическую плоскость, он рассуждал примерно так:

Нет сомнений, что тебе надо защищаться... Но с твоими идеями к нам соваться не стоит, в Х. тоже очень рискованно... Езжай-ка ты лучше подальше от Москвы.

И он начал перечислять разные региональные центры, где и люди хорошие, и этой темой особенно не занимались, поэтому там больше шансов, что диссертация не наткнется на принципиальное неприятие. Мне перспектива защиты путем бегства подальше казалась проявлением неспортивного поведения. В это же время мне предложили защищаться в Санкт-Петербурге. Несколько человек на факультете социологии СПбГУ поддержали этот план. Я оформил свою книгу «Государство и социальная стратификация» [1] как диссертацию, разослал автореферат. Попутно выяснилось, что ни одного человека, который бы как-то был близок к этой теме, в городе нет. Кроме того, я натолкнулся на какие-то непонятные мне подводные камни, не имевшие никакого отношения к содержанию работы. Представитель ведущей организации высказал ряд мелких редакторских замечаний, все научно спорные места остались незамеченными, из чего я понял, что дальше пролистывания начала автореферата он не пошел, о смысле диссертации не имеет понятия, но мне было предложено работу «переделать и вернуться к этому вопросу через несколько месяцев». Я поблагодарил и, придя на факультет социологии СПбГУ, сказал, что защищаться не буду, и выбросил текст в урну.

Через пару лет на конгрессе социологов в Санкт-Петербурге ко мне подошла З.Т. Голенкова, замдиректора Института социологии РАН; она сказала, что мое игнорирование защиты докторской «выглядит уже несколько неприлично» и предложила защищаться в их учреждении, заверив, что никаких подводных камней, как в Питере, там не будет. И этот толчок оказался решающим в моей формальной научной карьере, за что я ей очень благодарен.

Я переделал под стиль докторской книгу «Социальное неравенство» и приехал в Москву. Там на обсуждение диссертации собрались специалисты по этой теме из ИС РАН и разных университетов Москвы. Формального обсуждения, как я и ожидал, не получилось. Мои перья летали по всему институту. Итоговый вывод был не более оптимистический, чем в Питере: защищать эти идеи можно, хотя с ними никто не согласен, но книгу надо переписать в жанре диссертации с соблюдением всех стилистических и ритуальных правил. Иначе говоря,

мне предстояло переписать уже изданную книгу, тираж которой быстро разошелся, произведя текст заведомо худшего качества, который никто, кроме оппонентов, даже в руки не возьмет. Для этого было необходимо выбросить из моей жизни от полугода до года. Я поблагодарил всех за труд и отказался защищаться, сославшись на то, что у меня нет времени на то, чтобы портить книгу. Когда уже все начали расходиться, В.А. Ядов остановил коллег и предложил новый, компромиссный, вариант: защиту по совокупности трудов на основании доклада. Меня это предложение ошарашило. Все поддержали. Это был шокирующий для меня урок научной терпимости. Вторую докторскую диссертацию я тоже выбросил в урну, но уже Института социологии, и взялся за текст доклада «Социальное неравенство: деятельностно-конструктивистский подход». В.А. Ядов стал моим научным редактором, потратив на это огромное количество сил и времени. При этом он, вогнав мой текст в неизвестные мне рамки научного ритуала, не только не изменил его содержания, но в ряде случаев, став на мою точку зрения, дал более точные формулировки и помог мне лучше понять себя.

Защиту назначили на конец декабря 2000 года. У меня почти не было сомнений, что будет провал. Но мною двигал уже спортивный азарт. Как показало обсуждение, меня ожидал критический разбор полетов со стороны лучших отечественных специалистов в этой области, единодушно придерживающихся иных методологических подходов. Я ожидал провала в результате не каких-то не имеющих к делу подводных камней, а серьезных научных разногласий.

И мои ожидания «веселой» защиты оправдались. Г.С. Батыгин, тогдашний гроза всех диссертантов, начал двусмысленно:

Я считаю, что В.И. Ильин давно заслуживает звания доктора, и я буду голосовать за него, но я призываю: «Отрекитесь от своей позиции!»

Защита длилась пять часов. В.А. Ядов, который на предварительном обсуждении был самым главным критиком, теперь выступал как мой щит. Результат оказался совершенно неожиданным: я прошел. Сейчас уже не уверен, но кажется, если не единогласно, то близко к этому. Меня это даже несколько разочаровало, так как я рассматривал единодушие как верный индикатор банальности работы. Так я стал доктором социологических наук.

Докторская эпопея была моим исследованием социологии как социального института на основе участвующего наблюдение

ния. Однако мое положение в Сыктывкарском университете стало прочнее. Ректор, не читал ни строчки из моих работ, но диплом ВАКа он прочел и признал. Эта же корочка позволила мне через некоторое время перебраться на работу в Санкт-Петербургский университет.

И несколько слов относительно моей позиции, которую я вынес на диссертационный суд. Это деятельностно-конструктивистская методология изучения социального неравенства. Конструктивистский подход уже относительно давно используется в исследованиях гендера и этничности, хотя считать его в этих сферах общепринятым пока нет оснований. П. Бурдье и Э. Гидденс положили его в основу своей социальной теории. Я же попытался этот подход сформулировать как набор принципов и технологий методологического анализа, применимых ко всем разновидностям социального неравенства и типам групп. В этом, как мне кажется, состоит научная новизна. Поэтому в моих работах речь шла о социальном конструировании кулачества, «врагов народа», социальной стратификации Воркутинского лагеря, классовый и слоевой иерархии, территориально-поселенческой структуры, этничности российских немцев и т.д. В последнее время эту же методологию я применяю для изучения повседневных структур, дополнив ее институциональным драматургическим подходом, который внешне напоминает И. Гоффмана, но существенно отличается от него акцентом на социальные структуры повседневности, тесно переплетающиеся с системой социальных институтов. Об этом мои последние книги – «Быт и бытие молодежи российского мегаполиса» [7] и «Потребление как дискурс» [8]. Сейчас в своих эмпирических исследованиях я пытаюсь понять процессы воспроизводства социальных структур на улице, во дворах, на вечеринках и т.д. Одновременно работаю над завершением книги «Повседневная жизнь американского общества потребления», в основе которой лежит анализ социальной структуризации, развертывающейся при потреблении вещей и услуг.

Выше Вы говорите о социологии как образе жизни. Пожалуйста, разверните слегка эту концепцию. Когда Вы начали ее развивать?

Социология как образ жизни – это оборотная сторона социологии как профессии. Наглядный пример социологии как образа жизни мне показал М. Буравой, хотя я не помню, чтобы он использовал такое понятие. Как-то у нас дома аспирантка С. Кларка, проживавшая несколько месяцев в Сыктывкаре под нашей опекой и под нашей крышей, жаловалась Майклу, что исследование на предприятии идет вяло (между интервью

большие интервалы), а жизнь в Сыктывкаре – смертная скука. Майкл очень удивился и сказал примерно так:

Ты социолог, приехавший изучать Россию. И для тебя вся жизнь здесь – предмет исследования, а не только гендерная структура предприятия. Ты можешь это делать, живя у Ильиных, 24 часа в сутки. Как при этом можно скучать?

Итак, в чем суть социологии как образа жизни?

Во-первых, в этом случае работа – это хобби. Отсутствие финансирования не является причиной прекращения работы, исключая ситуации, когда от этого зависит доступ к необходимым для исследования рыночным ресурсам, к которым рабочая сила самого социолога не относится. При отсутствии денег я просто буду изучать не Америку, а дворы Санкт-Петербурга или жизнь российской глубинки.

Во-вторых, это предполагает акцент на стратегии включенного или участвующего наблюдения. Социолог, исповедующий такую логику, стремится максимально приблизиться к своему объекту и взглянуть на него изнутри глазами своих информантов через глубинные интервью.

В-третьих, сам социолог становится объектом исследования, предметом исследования – его социальная жизнь, а повседневное общение – бесконечным процессом интервьюирования.

В-четвертых, такая социология может быть чистым хобби, сочетаемым с работой во имя выживания в совершенно иных сферах. Ее может практиковать и физик, и лирик, и автомеханик, и продавец. Дело в складе ума и наличии социологического воображения.

Социология только как профессия чаще всего встречается среди тех, кто занимается исключительно количественными эмпирическими исследованиями, которые требуют таких больших материальных ресурсов, что в порядке хобби при всем желании их не проведешь. Даже думать над материалом в отрыве от него проблематично.

Вы упомянули об уходе Ваших коллег из университета, я понимаю, что это, в первую очередь, люди вашего поколения и вашего видения российских социальных процессов и социологии. Насколько массовым был (есть) этот процесс? Как это отразилось на качестве преподавания социологии?

Наиболее близким для меня примером ухода является мой друг Валерий Грузнов. Когда-то он был заведующим кафедрой философии, на которой я работал, вместе с ним в 1987 году мы начали активно заниматься в Сыктывкаре социологией. А потом он бросил и социологию, и философию вместе с уже

написанной докторской диссертацией и ушел в малый бизнес. Сейчас он живет на хуторе близ эстонской границы, занимается изготовлением рамок для картин и фотографий, предлагая редким гостям свой вариант философии жизни. Я считаю, что из преподавателей философии он ушел в философы. И людей, которые в 1990-е годы ушли из вузов в бизнес или на госслужбу, очень много. Этот процесс и сейчас является бичом всех соцфаков: все жизненные силы аспирантов уходят на зарабатывание денег в маркетинговых или рекламных фирмах. В итоге их либо досрочно отчисляют, либо они пишут диссертацию под девизом «20 минут позора и вечный статус кандидата».

Расхожим является мнение, что все дело в плохом финансировании нашей науки, поэтому молодежь сюда не идет. Но если человек готов сменить образ жизни социолога-исследователя на офисный стул рекламного агента, то потеря для науки не велика.

Гораздо серьезнее другая проблема: многие наши студенты и аспиранты уходят из социологии не из-за отсутствия денег, а потому, что так и не вкусили прелести настоящих исследований, не глотнули воздуха их романтики. Они уходят от того, что они еще не видели. И здесь вина ложится не на близорукое и скаредное в вопросах науки государство, а на нас – университетских преподавателей.

При виде большинства современных учебников социологии я прихожу к выводу: если бы я не видел иной социологии и иных социологов, то никогда бы не пришел в эту профессию. И никакие деньги не остановят этот процесс.

Владимир, скорее всего Ваше сегодняшнее отношение к социологам-шестидесятникам как ученым и личностям – это итог видения динамики нашего общества и постоянного осмысления сделанного теми, кто стоял у истоков современной (постхрущевской) социологии. Не могли бы Вы обозначить Ваш путь к сегодняшнему пониманию достижений этих ученых?

О социологах того поколения в школьные и даже первые студенческие годы, то есть в 1960-е, когда учился на историко-филологическом факультете Кабардино-Балкарского университета, я фактически ничего не знал, если не считать попадавшихся на глаза газетных статей с обсуждением данных массовых опросов. Когда в 1972 году я перевелся на истфак Ленинградского университета, меня потянуло в социологию. Социологов на философском факультете к этому времени уже основательно разогнали, хотя некоторые спецкурсы по западной социологии услышать удалось (например, Р. Шпаковой).

Однако в Ленинграде в эти годы была возможность читать западные книги и журналы, поэтому отечественная социология оказалась для меня где-то на обочине. Главным классом в то время для меня стал спецхран.

Потом был Сыктывкар, где отечественная социология была почти не слышна (надо иметь в виду, что в те годы я был историком). Правда, был учебник В.А. Ядова, книги Б.А. Грушина, но говорить об их влиянии на меня в то время я бы не стал. Рядом со мной работал Ю.Д. Марголис, яркий ленинградский историк-шестидесятник, которого сначала «отправили» на конкретно-социологические исследования, а затем в Сыктывкар. Это был первый человек с социологическим опытом, встретившийся на моем пути. Под его прямым влиянием я заинтересовался изучением образа жизни, и этот интерес (правда, в иных терминах) и по сей день определяет мою исследовательскую работу. Я с близкого расстояния мог наблюдать в разных ситуациях этот социальный тип шестидесятника: с одной стороны, это критически мыслящий человек, идеологический циник, смотривший с трудно скрываемой иронией на блеск развитого социализма и периодически комментировавший (шепотом): «За что боролся, на то и напоролся»; а с другой стороны, обжегшись в Ленинграде на молоке (говорили, что дал кому-то почитать книгу Джиласа, а его сдали), он дул на воду, произнося с университетских трибун звонкие идейно выверенные речи даже там, где без этого вполне можно было обойтись. Но я его понимаю: ему надо было заслужить возвращение в Ленинградский университет, доказав партии свою лояльность. Правда, произносил он речи так схоластически, что поверить в его искренность не хватало воображения. Но и придраться было не к чему!

Только в середине 1980-х годов я стал активнее читать отечественных социологов, взяв курс на смену специальности. Именно тогда я познакомился с некоторыми работами А.Г. Здравомыслова и О.И. Шкаратана. И лишь в 1990 году мне удалось стать слушателем Высших социологических курсов (ВСК) при Высшей комсомольской школе (Москва), где преподавали видные шестидесятники – В.А. Ядов, О.И. Шкаратан, Б.А. Грушин. Они произвели на меня огромное впечатление как личности, что стимулировало и интерес к их книгам, не прочитанным вовремя. Поэтому мое представление о роли социологов-шестидесятников формировалось с опозданием, когда термин «шестидесятники» начал приобретать скорее исторический смысл.

Социологи-шестидесятники на фоне схоластического словоблудия научного коммунизма были чужаками, так как искали

ответы не в книгах классиков и речах современных вождей, а в реальной жизни. Поворот к социальной реальности был уже подкупом под систему, так как он не на уровне здравого смысла, а научно доказывал существование противоречий между идеологической картиной мира и жизнью страны. Благодаря им достижения западной социологии в закамуфлированном виде проникали в наше общественное сознание. В то же время они были советскими людьми, то есть не только принимали систему, но пытались сделать ее более нормальной. Они представляли собой дрожжи, которые потенциально могли стать катализатором постепенного реформирования советской системы.

Шестидесятников 1960-х годов, как мне представляется, не надо путать с бывшими шестидесятниками, каковыми они стали в 1990-е годы. Каждый тип погружен в поток социального времени: с изменением положения в нем происходят и качественные трансформации. Социокультурный тип «шестидесятника» умер вместе с советской системой, потеряв адекватность новому времени. Бывшие шестидесятники сохранили реформаторский пыл, но стали детьми новой эпохи, попав в разные ее водовороты. С одной стороны, в профессиональном отношении они в основном продолжили то, что делали прежде, то есть шли по пути освоения классического (западного) наследия и адаптации его к отечественным условиям. С другой стороны, в дальнейшем их мировоззрение и общественная деятельность формировались уже ветрами новой эпохи, разносившими их по разным частям отечественного политического и идейного пространства.

Как вы думаете, в своем отношении к шестидесятникам и к социологам-шестидесятникам Вы – «как большинство» Вашего профессионального поколения или на каком-то краю?

Честно говоря, я слабо слежу за отношениями внутри социологического сообщества. Поэтому я слабо представляю, что думает большинство нашего сообщества о шестидесятниках.

А.Г. Здравомыслов дал вам интервью для сыктывкарского альманаха «Рубеж». Было ли что-либо в его ответах, на что Вы обратили особое внимание? Может быть, можно привести ряд фрагментов той беседы?

Меня давно интересовала тема: индивид и его свобода в социальных системах. В рамках этой широкой темы я интересовался и историей советской социологии. Для прояснения вопроса были сделаны интервью с Г. Осиповым и А. Здравомысловым (опубликованы в альманахе «Рубеж» (1994, вып. 5). Мне хотелось понять, в какой мере социологам удавалось

или не удавалось быть самими собой в рамках советской системы. В таких интервью всегда сталкиваешься с риском приписывания «заднего ума» уже ушедшему времени: мол, мы и тогда все понимали и боролись. Мне показалось, что Андрей Григорьевич осознавал этот риск модернизации своей биографии и пытался его минимизировать. А в 1994 году соблазн отмежеваться от старой системы был у большинства интеллектуалов очень силен. Он же, проводя ретроспективный анализ отношений социологии и партийной власти, очень трезво описывал игру шестидесятников с властью. Это не была оппозиция. Социологи были частью этой системы, которая характеризовалась достаточно большой разнородностью. С одной стороны, там было «религиозно-догматическое» крыло, стремившееся превратить духовную жизнь общества в бесконечное повторение мантр аппаратного марксизма-ленинизма, а с другой – научно-реформаторское, пытавшееся повысить степень рациональности советского общества. Как мне представляется, последние стремились привнести в советскую жизнь рационализм западной социологии, что отнюдь не означало подрыва основ системы. Наоборот, в принципе это могло повести ее по пути реформ, которые повысили бы ее выживаемость. Но верх взяло «религиозно-догматическое» крыло. Коммунисты-догматики по существу сформировали почву для неолибералов, которые, с моей точки зрения, стали настоящими продолжателями традиций большевизма как стратегии модернизации. Классическое «отобрать и поделить» в равной мере относится и к большевикам ленинско-сталинской эпохи, и к реформаторам 1990-х годов. В основе этой парадоксальной красно-белой традиции лежит презрительное игнорирование общества и отказ вникать в логику его развития.

Спасибо, а не поделитесь ли впечатлениями от беседы с Геннадием Васильевичем Осиповым?

В ходе беседы с ним я, как и в интервью с А.Г. Здравомысловым, придерживался темы «Человек в советской системе». Меня волновал вопрос: как социологи советского времени выстраивали стратегии примирения научного знания с жестким давлением идеологических императивов? Иначе говоря: как можно было быть одновременно и социологом, и совсем рядовым коммунистом. И тут возникала гипотеза: либо в то время было формальное исполнение в публичном пространстве чужих ролей при выводе личных убеждений в сугубо приватную сферу, либо в 1990-е годы изменились взгляды. У меня сложилось впечатление, что было и то, и другое. Интервью с Г. Осиповым мне понравилось. Как мне казалось, он искренне

пытался разобраться в том же вопросе, хотя я не уверен, что нам это удалось. Реконструкция процесса принятия обдуманых решений и полуавтоматических практик, имевших место в достаточно отдаленном прошлом, – чрезвычайно сложная задача.

Как показывает опыт моих полевых исследований, люди часто не в состоянии разглядеть анатомию поступка, совершенного накануне. «Я» – это всегда «черный ящик», создающий иллюзию доступности и простоты. Однако в интервью реконструировалась некоторая событийная канва, показывающая, что под гром литавр идеологии развитого социализма шли подспудные процессы формирования научной социологии. Были ли в предложенной череде событий пропуски, обусловленные естественным стремлением избежать когнитивного диссонанса между полуавтоматическими практиками в атмосфере ушедшего времени и рационально выстраиваемым биографическим повествованием, не знаю, но полагаю, что их не могло не быть. Но чтобы это увидеть, надо было предпринять основательное историческое исследование, что не входило в мои планы. Чувствовалось противоборство внутри социологического сообщества. Г. Осипов тогда обещал опубликовать материалы таких «подкопов» против него и его команды, и он потом это сделал. Это тоже очень интересная тема использования административно-идеологических ресурсов в борьбе, которая имманентна науке и искусству. В какой мере искреннее стремление поставить заслон тому, что ты считаешь опасным для науки и общества, переплеталось с беспринципной житейской логикой «бей тем, что есть под рукой» – не знаю.

Мне кажется, что мотивом были не идейные разногласия, а борьба амбиций, которые используют как ресурс идеологические, политические и сугубо научные методы рационализации. Но это лишь гипотеза случайного постороннего наблюдателя. Я был слишком далек от этих процессов, чтобы придавать своим ощущениям статус серьезного утверждения. Чтобы в этом разобраться, необходимо проработать методологию реконструкции человеческого поведения, в котором сознательное представляет лишь мизерную часть совершенного, а все остальное – спонтанные, полуавтоматические осознаваемые, но не сознательные практики, которые неизбежно искажаются в ходе автобиографического повествования. Мне кажется, что у последнего пока нет адекватного языка.

Володя, как-то наш биографический разговор, начавшийся «нормально», с некоторых ранних воспоминаний, сразу перешел в плоскость современности и коснулся Вашего видения деятельности

социологов старшего поколения. Не буду его комкать и спрошу вас об отношении к работе Андрея Николаевича Алексеева, на мой взгляд, дающей нам много нового и в описании социальной реальности, и в ее социологической рефлексии.

Борис, я с большим интересом прочел вашу статью об А. Алексееве [9]. Здесь выбран очень удачный и импонирующий мне жанр методологических размышлений на биографическом материале. Мне представляется, что для сегодняшней российской социологии, заполняемой новым поколением, для которого «советское» – эта такая же виртуальная реальность, как и «древнеегипетское», крайне необходимо осмысление опыта нашего общего друга. Мне кажется, что за такой социологией будущее. Однако труды А. Алексеева требуют перевода на язык нового поколения, необходима какая-то смычка. Главное в его опыте – это не история социологии (она интересна узкому кругу), а социология как образ жизни. Это способ мышления, ракурс видения реальности, технология интеграции индивида в социальную жизнь. И книги его могут при соответствующей их адаптации быть учебником публичной социологии, социологии для всех. Но время А. Алексеева еще не пришло.

Пару лет назад, отталкиваясь от анализа ряда общих процессов развития отечественной социологии и биографий тех, кого мы сегодня называем отцами-основателями постхрущевской советской/российской социологии, я пришел к выводу о том, что на рубеже 1950–1960-х годов произошло не возрождение российской социологии, а ее второе рождение. То, что сегодня называют возрождением, на мой взгляд, есть лишь программа (или попытки) некоторой увязки сделанного за полвека с исследовательскими традициями дореволюционной России и работами 1920–1930-х годов. Что Вы думаете по этому поводу?

Я согласен, что в период «оттепели» не было речи о возрождении отечественной социологии. Она рождалась в закамуфлированной попытке интеграции тогдашней западной социологии в прокрустово ложе советского марксизма-ленинизма и ралий политической и духовной жизни СССР. Нет возрождения и в современной России. И я не уверен, что такое возрождение возможно и имеет смысл. Мы ведь живем в XXI веке! Правда, П. Сорокин в своих работах российского периода показал методологию изучения социальной стратификации, но он не остановился на этом, став американским социологом. Его классическая «Социальная мобильность» – это чье наследие? И эта методология пришла к нам не из его «Системы социологии», а из американской социологии XX века. Но сказанное не исклю-

чает необходимости знать наследие. Нередко совершенно неадекватные времени теории могут подтолкнуть к совершенно современному вопросу. Однако я не стал бы углубляться в эту тему по одной простой причине: я плохо знаю это наследие, чтобы компетентно судить о возможностях его использования в качестве современного ресурса. Стратегия развития современной науки, опирающаяся на поиск национальных корней, мне кажется, противоречит самой логике науки как системы знания, индифферентной к национальности и языку. Там, где начинается копание в родословной, наука тихо умирает. Но я не специалист в этой области, поэтому данные суждения не выходят за пределы статуса частного мнения.

Литература

1. *Ильин В.И.* Государство и социальная стратификация советского и постсоветских обществ. 1917–1996. Сыктывкар: СыктГУ, 1996.
2. *Hough J.F.* Soviet Prefects: the Local Party Organs in Industrial Decision-making. Cambridge: Harvard University Press, 1969.
3. *Ильин В.И.* Поведение потребителей. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 1998.
4. *Ильин В.И.* Поведение потребителей: Краткий курс. СПб.: Питер, 2000.
5. *Ильин В.И.* Социальное неравенство. М.: Центр социологического образования ИС РАН, 2000.
6. *Шкаратан О.И., Ильин В.И.* Социальная стратификация России и Восточной Европы: сравнительный анализ. М.: ГУ ВШЭ, 2006.
7. *Ильин В.И.* Быт и бытие молодежи российского мегаполиса: социальная структурация повседневности формирующегося общества потребления. СПб.: Интерсоцис, 2007.
8. *Ильин В.И.* Потребление как дискурс. СПб.: Интерсоцис, 2008.
9. *Докторов Б.З.* Пессимист по наблюдениям и оптимист по убеждениям. Научные и нравственные основы «драматической социологии» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 4. С. 2–11. [См. также online <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Tributes/doktorov_alekseev.html>].



Козлова Л. А. – окончила философский факультет МГУ, кандидат философских наук, Институт социологии РАН, заместитель главного редактора «Социологического журнала», Москва. Основные области исследования: история российской социологии, биографический метод. Интервью состоялось в 2010 году.

Лариса Алексеевна Козлова – уникальный в российском социологическом сообществе человек. Будучи историком отечественной социологии, она знает много лучше других весь процесс развития нашей науки, начиная с 1920-х. В частности, она может быть отличным штурманом при движении в наше прошлое, ей лучше других известны хоженные тропы и совсем неизвестные территории. Как методолог она прекрасно ориентируется в богатом арсенале приемов, используемых при изучении истории и социологии социологии. Уже многие годы Лариса играет ключевую роль в определении политики и «лица» «Социологического журнала», потому что она хорошо представляет предметное пространство современной российской социологии. И все эти профессиональные качества чудесным образом дополняются ее женственностью и добрым отношением к людям.

**Л.А. Козлова:
“МЫ БЫЛИ
МАРГИНАЛАМИ,
ТОЛЬКО
СЛЕДУЮЩЕЕ
ПОКОЛЕНИЕ
ПОЛУЧИЛО
ПРОФЕССИЮ
«СОЦИОЛОГ»”***

Лариса, ты знаешь много и много лучше других особенности моей технологии интервью и первые результаты, отчасти это упрощает мою работу, отчасти — усложняет... И все же начнем. Ты занимаешься — кроме всего другого — историей российской/советской социологии, методологией биографического метода, науковедением. В какой-то мере это продолжение деятельности твоих родителей, развитие школьных интересов или все возникло позже? Расскажи, пожалуйста, о своей родительской семье, откуда ты, где окончила школу?

Борис, не скрою, что предложение дать тебе биографическое интервью застало меня врасплох. За последние пять-шесть лет у нас сложился определенный тип взаимоотношений. Все это время мы

* Козлова Л.А. : «Мы были маргиналами, только следующее поколение получило профессию “социолог»» // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 4. С. 6–16.

тесно обсуждали проблемы биографического исследования современной российской социологии и ее истории. А здесь предлагается совсем другая роль. Отказаться от такого «эксперимента на себе» было бы нечестно, но поручиться за его «чистоту» я не могу, потому что слишком много знаю о задачах, целях и кухне твоих исследований. Постараюсь забыть об этом на время и буду рассказывать о том, что запомнилось, что имело значение для меня.

Как всегда, начнем сначала. Родилась я в 1956 году в Москве, буквально в дни знаменитого XX съезда. Только что умер Сталин, не так давно кончилась война, большинство населения жило в сложных условиях, в нужде и нищете. Но тогда ничего этого я не знала и свое детство считала счастливым и безоблачным. Только став взрослой, я поняла, что на самом деле оно было довольно неприкаянным, можно сказать, уличным. В семье было трое детей. Отец работал редактором и журналистом в общественно-политических изданиях, мама, пока росли дети, старалась находить себе занятия рядом с домом, а позже большую часть жизни проработала в сбербанке. Родители были заняты добыванием хлеба насущного, а отец — еще и своим хобби — собиранием книг, книгочейством, сочинением стихов. Ну, а мы, два моих брата и я, были предоставлены свободному освоению жизни.

Родилась я в старой коммунальной квартире, откуда мы переехали через два года. Но эти первые впечатления от жизни помню и теперь: огромные темные коридоры, чужая комната с большим деревянным столом под белой скатертью (свидетель прошлых времен) — первые открытия и проблемски первых воспоминаний. В этой коммуналке жила еще одна семья — тетя Лёля — женщина восхитительной еврейской красоты и необыкновенной доброты, которую любила моя мама и о которой рассказывала мне, и ее тихий нерешительный муж; говорили, что он, будучи не храброго десятка, получил ранение и был демобилизован в первые дни войны. Жил он тихо и незаметно, попивая горькую, но никому не мешая. Тетя Лёля держала и оберегала всю семью. Фактически на правах члена семьи с ними жила старенькая женщина по имени Анфиса. Тетя Лёля давала ей кров и пищу за помощь по хозяйству. У Анфисы была врожденная болезнь, а потому она была сгорбленной, да еще когда-то имела несчастье потерять глаз. Всю жизнь, наверное, еще с дореволюционного времени, она проработала в разных домах служанкой, ни семьи, ни родственников у нее не было. Вот из этого дома, от этих коммунальных коллизий мы переехали в автономную жизнь — отдельную квартиру на Хорошёвском шоссе вблизи Курчатовского института и Москва-реки. Тогда это было зеле-

ное место, расположенное на северо-западе Москвы на пути к знаменитому Серебряному Бору...

Моя школьная карьера, можно сказать, начиналась головокругительно. Все это я хорошо помню. Перед моим самым первым первым сентября к нам домой пришла женщина и предложила сфотографировать меня в числе других будущих первоклашек на первую полосу газеты «Правды». Так что это первое сентября у меня было дважды — в день, когда делали фотографию, и в положенный календарный день. В школу я не просто хотела попасть, я туда рвалась и была одержима этим желанием. Мой старший брат к этому времени оканчивал второй класс. Я допекала его просьбами дать мне домашнее задание, все время заглядывала в его тетради и учебники. Когда пришла пора идти в школу, я умела читать и писать.

Первая моя школа была очень хорошей. Первая учительница — Римма Владимировна, запомнилась мне как исключительно добрый и заинтересованный в детях человек. Впервые я ее встретила еще до поступления в первый класс, когда одна пришла в школу, обуреваемая любопытством. До сих пор помню ее улыбающееся лицо, когда она склонилась надо мной в коридоре со словами: «А что делает здесь эта маленькая девочка? Ты хочешь учиться в школе?» И я почувствовала к ней полное доверие. К сожалению, Римма Владимировна из-за семейных обстоятельств проучила нас всего год. Первая школа запомнилась мне гармоничностью атмосферы, особым напряженным духом ученичества. Помимо общеобразовательных предметов, нам преподавали ритмику, пение. Все это мне очень нравилось. Через два года нашу школу сделали специализированной с углубленным изучением английского языка. Я проучилась здесь еще год. Но тут-то моя «головокругительная карьера» в начальной школе и закончилась. Отцу предложили расширить жилплощадь — через два года, если в Москве, и немедленно, — если в Подмоскowie.

К моему несчастью, он выбрал второе: мы переехали в подмосковный город Любню. Этот переезд затруднил мою дальнейшую жизнь (чего, по разным причинам, слава богу, не случилось с другими членами семьи), так как вся моя жизнь, и учеба, и работа всегда были связаны с Москвой.

Родители не были москвичами по рождению, иначе бы, скорее всего, такого решения они не приняли бы? Тем более — журналист, которому надо быть поближе к событиям?

Мои родители переехали в Москву в подростковом возрасте и здесь оканчивали школу. Кстати, одну и ту же, где и познакомились. Отец родился под Калугой, а мама — в Подмоскowie.

Не знаю, как в этой ситуации повели бы себя мои родители, если бы были москвичами по рождению. Мотивом переезда послужило их мнение, что дети должны дышать свежим воздухом, жить ближе к природе. У отца не было мотивации «быть ближе к событиям», т. к. он всегда работал в аналитических отделах различных изданий и организаций — «Экономической газеты», ТАССа и др., — в издательстве «Плакат» и никогда не был репортером. А ежедневные переезды на работу на электричке по часу в один конец его тоже не смущали. Он считал, что это время можно с пользой и удовольствием тратить на чтение книг. У меня же читать в электричке не получалось... Надо было с утра до вечера учиться и работать, а потому пришлось искать возможности жить где-то в Москве — на съемных квартирах, у родственников. Это были, можно сказать, годы моих «странствий»...

....понятно, и ты пошла в новую школу...

Атмосфера в лобненской школе была совсем другой, какой-то затхлой. Только одно, но очень яркое пятно, было тогда в моей школьной жизни. Оно связано с учителем русского языка и литературы Валентином Андреевичем Ноздриным, который преподавал у нас с пятого по восьмой классы. Это был профессионал высочайшего уровня, что в силу своей бесспорности было видно даже мне и другим детям. Он не только блестяще знал свои предметы, далеко превосходя школьный уровень. Он прекрасно, по собственной методике, умел донести знания до учеников. Здесь я, увы, не имею возможности рассказать об особенностях этого преподавания. Но важно отметить, без преувеличений, что Валентин Андреевич впервые показал мне яркий и очень запоминающийся образец профессионализма. Я всю жизнь благодарна этому человеку.

После окончания мною школы мы переехали в другой подмосковный город — Ивanteeвку (опять же по причине того, что там лучше природа: сосновый лес смотрит прямо в окно). Отсюда я поступала на психологический факультет МГУ, но из-за плохого знания математики у меня из этой затеи ничего не получилось. Я дважды поступала на психфак и дважды проваливала математику. За это время моей уверенности, что я должна учиться именно на психфаке, поубавилось, и тогда я легко поступила на философский факультет МГУ, куда сдавали экзамены только по гуманитарным предметам. Выбора поступить на дневное или вечернее отделение у меня не было: надо было работать и содержать себя, помогать семье, и я пошла на вечернее отделение.

Гуманитарное знание было мне органически близко, — трудно сказать, то ли от природы, то ли от воспитания. В доме всегда была огромная библиотека — художественная литература всех времен и народов, книги по истории, философии, культурологии, психологии и т. д., и читать можно было без отказа. Библиотеку собирал мой отец. Он всю жизнь пишет стихи, очень начитан и в душе больше литератор, историк, чем редактор и журналист, кем был по профессии. Правда, наставлениями, касающимися выбора будущей профессии, ни мама, ни отец нас, своих детей, не истязали. Отец повторял только одно: выбирайте то, что вам интересно. А мне всегда были интересны люди. Точнее, отдельно взятый человек. Мне так жилось, но сформулировать этот интерес я долго не могла. И как было выбирать, если так мало знаешь? Поэтому, наверное, и выбор впоследствии социологии в качестве профессионального занятия оказался совершенно стихийным. Об этой самой социологии мне тогда было известно мало. В основном по книгам И.С. Кона «Социология личности» и «Открытие Я». Ближе мне были социальные идеи философов, преподававшиеся на философском факультете.

Верно ли, что на философский факультет тебя привели гуманитарные интересы, не собственно социальные? А журналистику ты не рассматривала в качестве будущей профессии?

Да, верно, на философский меня привели гуманитарные интересы. Хотя гуманитарные интересы отделить от «собственно социальных», если речь идет о человеке, его мировосприятии и поведении, практически невозможно. Журналистику я никогда не рассматривала в качестве будущей профессии. Настолько «живая» и «горячая» деятельность, какой занимаются, например, репортеры, меня никогда не привлекала. Не привлекала и аналитическая журналистика, т. к. актуальная проблематика меня интересовала значительно меньше, чем «вечные вопросы».

МГУ, хоть дневное отделение, хоть вечернее, это очень сильный преподавательский состав. Какие курсы наиболее привлекали тебя? В чем ты специализировалась?

Я поступила в МГУ в 1976 году, и там еще продолжался ренессанс, начавшийся в философии, как и в социологии, в 1950-1960-е гг. Преподавательский состав факультета в то время оставался довольно сильным (к вечернему отделению, видимо, это относилось в меньшей степени), здесь работало много одаренных и ярких личностей — историков философии, логиков, методологов, психологов, хотя кое-кто из корифеев

дореволюционной закалки, например Валентин Фердинандович Асмус, уже не работал. Больше всего меня привлекали курсы, которые вела кафедра истории зарубежной философии. Она всегда была и, наверное, остается сейчас самой сильной на факультете. Заведующим этой кафедрой в мое время был профессор Юрий Константинович Мельвиль. Он впервые стал читать длительный (на год-полтора) курс новейшей западной философии. А до него в программу входил лишь куцый идеологизированный курс продолжительностью в семестр, который назывался «критика буржуазной философии». Нам Ю.К. Мельвиль преподавал курс лекций об американском прагматизме. Семинары по истории философии в нашей группе вел тогда молодой аспирант, а ныне известный социолог Никита Евгеньевич Покровский.

Интересными мне казались практически все читавшиеся курсы по истории философии. Масштаб материала был обширным — от так называемой предфилософии до западных теорий новейшего времени. Лекции о ранних формах философии — древнекитайской, древнеиндийской, древнегреческой — нам читал Арсений Николаевич Чанышев, который проработал на факультете, кажется, всю жизнь, до самой своей смерти в 2005 году. Это был настоящий философ, а кроме того поэт, выпустивший несколько сборников. Стихи его были философскими и самоироничными, с налетом грусти, особенные и по ритмике, и по рифме. Вот одна иллюстрация — четверостишие «О переселении душ»: «Ворона серотелая / Летает не спеша. / Моя осиротелая / В ней каркает душа». Было время, когда А.Н. Чанышев считался одиозной фигурой, его не допускали к преподаванию. И внешний вид он имел экзотический: всклокоченные седые волосы, очки без одного заушника. У него была плохая дикция, но лекции он читал увлекательные, правда, не отступая от написанного текста. На экзамене Арсений Николаевич ставил перед студентом песочные часы, мог раскрыть газету и углубиться в нее прямо во время ответа...

Курс по средневековой философии нам преподавал Геннадий Георгиевич Майоров, который тогда был восходящей звездой факультета. Его манера говорить и двигаться по аудитории дополняла живой рассказ о таком, казалось бы, сухом предмете, как философия Фомы Аквинского или Николая Кузанского. Это всегда был небольшой спектакль, проходивший «на бис». Он легко увлекал аудиторию и заражал ее своим энтузиазмом.

Не могу не вспомнить Виталия Николаевича Кузнецова, без которого рассказ был бы неполным. Это — один из «старожилов» философского факультета, который начал преподавать,

кажется, в 1960-м году и делает это до сих пор. В.Н. Кузнецов — известный специалист в области западноевропейской истории философии XVII-XX веков, обладающий энциклопедическими знаниями. Как мне представляется, его отличительная черта как исследователя и преподавателя — упор на философские первоисточники, некое недоверие к затверженным и затвердевшим в литературе истинам (даже тогда, когда такое недоверие считалось родом идейного диссидентства), глубокое и самостоятельное проникновение в суть философских учений. Он представлялся мне большим тружеником, исследователем-одиночкой с весьма устойчивыми научными принципами, перфекционистом и аскетом. Наверное, не все его коллеги соглашались с его взглядами и стилем работы. В моем сознании его образ в чем-то сливался с образом Иммануила Канта, как его явил миру Арсений Гулыга. У нас Виталий Николаевич читал лекции о французском Просвещении XVIII в., частично французскую философию XX в. (экзистенциализм Сартра и Камю, философию жизни Бергсона). Но главным его курсом была немецкая классическая философия — от Канта до Гегеля и Фейербаха, — которую В.Н. Кузнецов знал в деталях.

К сожалению, лекции по истории российской философии не были столь же яркими.

Исключительно интересными для меня были лекции по методологии и философии науки, которые читал Владимир Сергеевич Швырев (два года назад он ушел из жизни), и лекции по логике Александра Архиповича Ивина. Запомнился также спецкурс по философии логического позитивизма и постпозитивизма; его вел тогда совсем молодой Александр Леонидович Никифоров. Теперь я думаю, что именно перечисленные занятия привили мне стойкий интерес к эпистемологии, философии, истории и методологии науки. Проблематика этих дисциплин и сейчас лежит в основе многих насущных для меня тем.

Что касается марксистской составляющей нашего учения, то она была менее выразительной и не очень мне запомнилась. Давления советского марксистского догматизма на нашем факультете, точнее, на нашем философском отделении факультета, практически не чувствовалось. Во время моей учебы на факультете было два отделения — философское и научного коммунизма. Фактически вся догматика досталась второму. Там преподавались такие экзотические курсы, как «Теория мирового революционного процесса», «Теория социалистического строительства», «Теория коммунистического строительства», «Критика идеологии антикоммунизма», «Мировая

система социализма», «История международного рабочего и коммунистического движения», «История социалистических учений» и т. п. У нас же, можно сказать, тон задавала кафедра истории зарубежной философии. Не все, но некоторые курсы, связанные с марксистскими направлениями, выглядели почти карикатурно и всерьез мной не рассматривались. Например, в течение года нам читали курс лекций, посвященный труду Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Конечно, были какие-то другие лекции по марксизму — диамату, истмату, политэкономии, — но они у меня в памяти не отложились. Очевидно, их уровень не был высоким. Известный историк марксизма, который пользовался большим авторитетом как знаток первоисточников и мог непредвзято научить своему предмету, Г.А. Багатурия, то ли у нас не читал, то ли в мое время уже не работал в МГУ. Скорее второе.

Несмотря на сказанное мной об увлекавших и не увлекавших меня дисциплинах, специализировалась я по кафедре диамата и истмата. Это произошло опять-таки случайно и полусознательно. Я ведь «искала человека». А где в философии его тогда можно было «искать»? Там, где изучается сознание, мировоззрение, поведение человека, то есть в проблематике диалектического материализма. Помню, что мне не очень хотелось на эту кафедру, но другого выхода я не нашла. К тому же свою роль сыграла фигура предложенного научного руководителя. Таким образом я и попала на кафедру диамата и истмата под начало психолога и философа Давида Израилевича Дубровского. Он тогда работал заведующим отделом в журнале «Философские науки» и занимался своими концепциями сознания и мозга, субъективной реальности, идеального, ведя полемику с Э.В. Ильенковым. Примерно по этому кругу вопросов я писала у Д.И. Дубровского диплом.

Читали ли вам социологию? Если да, то кто, какие разделы?

Студентам отделения философии социологию не читали. На этом ответ можно было бы и закончить. Но поставленный тобой вопрос представляется мне важным с точки зрения истории социологического образования, и на нем стоит остановиться немного подробнее.

Дело в том, что сейчас из разных исторических описаний, прежде всего, принадлежащих сотрудникам социологического факультета МГУ, не вполне явствует, кто и как начинал обучать социологии в нашем университете. Между тем, социология в Москве начиналась на отделении научного коммунизма философского факультета. Теперь об этом отделении и связи с ним социологического образования вспоминают неохотно.

Итак, в годы моей учебы было несколько социологических подразделений на отделении научного коммунизма, главное из которых — кафедра методики конкретных социальных исследований, организованная в 1968 году Г.М. Андреевой. При мне ею руководил В.Г. Гречихин. Ранее возникли межкафедральная социологическая лаборатория (1960 г., первый руководитель В.И. Разин) и социологическая группа по изучению проблем сельской молодежи (1967, первый руководитель И.М. Слепенков). Лаборатория существовала самостоятельно и занималась хоздоговорной деятельностью. Во время моей учебы ею руководила А.И. Демидова (которая делала упор на идеологическом воспитании будущих молодых кадров). Именно с прикладной хоздоговорной деятельностью у меня тогда в первую очередь ассоциировалась социология как таковая и социология на нашем факультете, в частности. Отделение социологии с несколькими кафедрами было организовано только в 1984 году (первый руководитель — Б.В. Князев), но я к тому времени окончила учебу на философском факультете.

Становление факультета социологии с 1960-х гг. и до момента его открытия в 1989 г. шло не просто, специалистов-преподавателей и программ, естественно, не было. Создается впечатление, что первоначальный энтузиазм заинтересованных в социологии специалистов из других областей, не подкрепляемый профессиональными и человеческими ресурсами, постепенно иссякал. Через факультет прошло немало видных ученых и преподавателей, но они не закреплялись там. В годы моего обучения — с 1976 по 1982 гг. — социологические подразделения факультета явно не переживали периода расцвета. Московская университетская социология тогда сильно отставала от академической.

Отношение студентов к социологии как новой дисциплине соединяло два момента: интерес, любопытство, надежды на перспективность, с одной стороны, и осознание неопределенности и непрестижности ее в системе других дисциплин философского факультета — с другой. Лично у меня университетская социология не вызывала энтузиазма: я не считала, что смогу многому научиться, если буду ходить на соседнее отделение на занятия по социологии. Здесь я не видела большого пространства образовательных возможностей. Навыкам эмпирической социологии, которым там обучали, я, как мне казалось, научилась на своей первой работе — в отделе социологии и условий труда, — где к моменту поступления в университет прослужила целых три года. Но самое главное заключалось в том, что область моих интересов не была связана с эмпирической социологией, а социологическая теория

или методология вообще не входили в учебные курсы. Что же касается возможности получить профессию, то с этой стороны философский факультет я вообще не рассматривала. Скорее это была для меня возможность просветиться, так сказать, получить широкое гуманитарное образование.

В годы моего обучения сотрудники названных социологических подразделений читали немногочисленные лекции и спецкурсы, проводили практические занятия со студентами. Самый основательный — курс лекций по методике и технике конкретных социологических исследований, который читали в основном сотрудники кафедры КСИ. В числе преподавателей могу вспомнить В.Г. Гречихина, А.И. Демидову, Н.И. Дряхлова (в 1980-1990-е гг. он работал замом декана В.И. Добренкова), Б.В. Князева, И.М. Слепенкова, В.Н. Шаленко. Кроме методики и техники, преподавался спецкурс по структурному анализу и спецсеминар по социологии О. Конта. Вот, пожалуй, и все. Социологические занятия, повторяю, проводились только на отделении научного коммунизма.

Здесь в качестве отступления не могу не вспомнить, что в конце 1960-х была подавлена первая после многолетнего перерыва попытка совсем другой социологии в МГУ. Я имею в виду лекции, которые читал на факультете журналистики Ю.А. Левада.

Заканчивая ответ на вопрос, хочу заметить, что тема «социология на философском факультете МГУ», то есть до возникновения факультета социологии в 1989 г. — как часть истории российской/советской социологии, на мой взгляд, пока не раскрыта в полном объеме.

...согласен, но это исправимо... насколько я понимаю, учеба на вечернем отделении предполагает работу... где ты работала, специализируясь на диамате и истмате?

Единственная профессия, которую предполагало мое философское отделение, было преподавание философии. Чтобы работать преподавателем, надо было вступить в партию. Но я не только не стремилась вступить в нее, но не очень стремилась и преподавать. Необходимость подобного выбора, я имею в виду и партию, и преподавание философии, передо мной (в отличие от многих других сокурсников) по-настоящему так и не возникла. Проблема моего трудоустройства решилась — повезло — задолго до того, как я стала специализироваться по кафедре диамата и истмата (собственно, специализация была связана со старшими курсами и написанием диплома). Впервые работать, как я уже говорила, я пошла еще до своего поступления в МГУ. Навыки эмпирического исследования я получала на

производстве, а не в вузе. Я думаю, что это относится ко многим представителям моего поколения.

Первой моей работой, куда я в 1973 году попала случайно (меня пригласил мой двоюродный брат) был отдел социологии и условий труда одной из организаций, находившихся в структуре Министерства бытового обслуживания населения СССР. Отдел вел прикладные социологические исследования социальных проблем на предприятиях службы быта, изучал текучесть кадров, социально-психологический климат в коллективах по социометрической методике Дж. Морено, а попутно и санитарно-гигиенические условия труда этих организаций. Второе направление было, пожалуй, ведущим, в отделе работали не только гигиенисты, но и несколько социологов-самоучек, закончивших философский факультет. Здесь от заведующей отделом я впервые узнала имя В.А. Ядова и увидела у нее написанную им книгу. Возможно, это была «Методология и процедуры социологического исследования» [20].

Итак, образование получено... что дальше? Какие дороги привели тебя в Институт социологии, когда это произошло? Как он тебя встретил?

Ты проявил большую проницательность, поставив вопрос именно так — «какие дороги привели тебя...». Пути-дороги в Институт социологии у меня, в самом деле, были извилистыми и длинными. Я приближалась к нему, можно сказать, поэтапно.

В какой-то момент, когда я еще училась в университете, я поняла, что репертуар отдела социологии и условий труда исчерпан, и я там больше работать не хочу. Преподавать философию я не собиралась. Тут, где-то на третьем-четвертом курсе, один из студентов, это был Михаил Топалов, предложил мне работать в Институте социологии РАН. Предложение — невероятно заманчивое, о работе в главном социологическом институте можно было только мечтать. Тем более что меня привлекала научная работа, а не прикладные исследования в отраслевой социологии, и к тому же я знала, что войти туда, в институт, «с улицы» тогда было еще более невозможно, чем сейчас. Таким образом в 1979 году я оказалась в стенах Института социологии, но в исследовательскую организацию, тем не менее, не попала. Дело в том, что подразделением, куда привел меня Михаил, была Советская социологическая ассоциация АН СССР, тогда входившая в структуру Института. Там я проработала лет семь, не имея ни склонности, ни интереса к организационной деятельности. Привлекательным было совсем другое. Работа в ССА АН СССР была полезна тем, что я

познакомилась со многими видными социологами, представила структуру социологического сообщества, спектр проводившихся тогда исследований и т. п. И сейчас эта информация помогает мне в исторических исследованиях отечественной социологии. С момента моего появления в ССА несколько раз я получала предложения перейти в то или иное научное подразделение. Но вынуждена была отказываться от предложений, т. к. меня не устраивала тематика исследований. Правда, за это время я успела побывать в декретном отпуске после рождения сына и два года проучиться в заочной и год в очной аспирантуре.

Следующий этап — это защита кандидатской диссертации. Мне казалось, и, думаю, не зря, что я смогу претендовать на должность мэнэеса в нужном мне отделе института, только если получу ученую степень.

Мне кажутся эти рассуждения обоснованными. Ты — одна из совсем немногих, кто специально занимался ранней историей советской социологии. Как возникла эта тема? Какие были сложности? Где ты искала необходимые сведения? Удалось ли поговорить с теми, кто на собственном опыте знал это прошлое?

Собственно историей ранней советской социологии я стала заниматься чуть позже, работая у Г.С. Батыгина. Тема диссертации также была связана с историей социологии 1920-1930-х гг., но не только с ней. Как возникла тема? Наверное, из фрагментов моих интересов, которые помог сложить воедино и оформить мой научный руководитель — Леонид Григорьевич Ионин. Первоначально я хотела попасть под начало Ю.Н. Давыдова. Но в отделе аспирантуры мне объяснили, что у Юрия Николаевича слишком много аспирантов, а Л.Г. Ионин — «тоже хороший руководитель и восходящая звезда, и аспирантов у него пока немного». Я рассказала Леониду Григорьевичу что-то вроде того, что меня интересует индивид в социуме, в истории российского общества и т. п. Сам Ионин занимался тогда историей и теорией западной социологии, но как человек всесторонне образованный он хорошо представлял себе и историю российской социальной мысли, знал о ее «белых пятнах». Он предложил мне проанализировать социальные концепции личности, которые существовали в российской науке в переломный момент отечественной истории — 1920-1930-х гг. Тогда этим периодом фактически никто из наших историков социологии не занимался. Только через несколько лет, в 1989 году, из-под пера социологов вышел первый и единственный сборник, специально посвященный становлению советской социологии в те годы, под редакцией

З.Т. Голенковой и В.В. Витюка [11]. Для верности мы с Леонидом Григорьевичем справились у Ю.В. Гридчина, который изучал тогда дореволюционную «буржуазную» социологию и работал с З.Т. Голенковой, может ли эта тема быть темой диссертации. Тот ответил утвердительно.

Я понимала, что выбор этой темы означает переориентацию на изучение истории науки, которая отражает (воссоздает, конструирует) общество. Таким образом, мой интерес должен был сфокусироваться на истории концепций о социальном индивиде, а, скажем, не социальной истории, социологии повседневности или социальной антропологии, то есть не на изучении самого индивида в его социальных проявлениях, как думалось первоначально. Но сформулированная тема мне показалась не менее интересной. Прежде всего тем, что 1920-1930-е гг. в нашей стране — особенный, переломный период, в котором встретились две исторические эпохи. Переломным он был и в истории социальной мысли. В ней тогда сосуществовали направления, запрещенные или вытесненные естественным образом в последние десятилетия, наряду с попытками создать что-то новое. Хочу оговориться, что официального запрета на социологию ни тогда, ни позже, вопреки распространенному мнению, не было. Что касается новых идей об общественном индивиде и личности, то они связывались с поисками образовательных, воспитательных и идеологических путей создания «нового человека», который должен был, так сказать, прийти на смену «старому», дореволюционному. Процесс переконструирования обществоведения был лишь отчасти принудительным. В нем, как и в различных видах искусства, в тот период было много спонтанного новаторства — иногда плодотворного, иногда перетекающего в утопию, иногда довольно зловещего. Как известно, среди взглядов на единицу общества — человека — ближе к 1940-м годам, победили марксистско-ленинские. Но начальный послереволюционный период был уникальным для нашей страны, пестрым с точки зрения бытовавших научных и квазинаучных социальных идей, и изучать его было интересно. В итоге в мою диссертацию вошли главы и параграфы о том, как трактовался общественный индивид в коллективной рефлексологии, педологии, социальной психологии, фрейдомарксизме, марксистской социологии (истмате), религиозной социальной философии и др. Работа, по сути, получилась схематично-описательной, хотя и информативной. В ней, на мой взгляд, не сделано основного: не показано, с помощью каких сил и механизмов идеи по форматированию советского человека, обращению его в «винтик» смогли победить все другие точки зрения,

а главное — как они смогли стать реальностью общественной жизни советского человека, реальностью — многократно более мрачной, чем сами идеи.

Конечно, наивно надеяться, что на этот вопрос можно ответить в диссертации. Мы все видели, каких усилий стоил многолетний проект Ю.А. Левады о природе «простого советского человека». Кроме того, материал, которым я пользовалась, был заведомо недостаточным для серьезного анализа. В течение года я, после перехода в очную аспирантуру, безвылазно сидела в Ленинке и читала первоисточники и книги по истории периода, касавшиеся моей темы. Но это были по преимуществу официальные, то есть прошедшие цензуру, источники. А потому картина, которую они могли предоставить, также в значительной степени была ограниченной, официальной и не давала тех ответов, которые в ней не могли быть заложены. Что касается хороших аналитических работ по истории социологии раннего советского периода, то их не было как тогда, так и по сей день. Чтобы углубить свои представления, мне необходимо было прочесть больше западной литературы и, подчеркну особо, изучить российские архивы. Я бы сказала, что новизна моей диссертации определялась не глубиной анализа или выводов, а описанием и повторным вводом в оборот многих забытых первоисточников по теме.

К сожалению, мне не удалось тогда лично поговорить с очевидцами и участниками описанного прошлого (хотя тогда еще были живы некоторые общественеды-ровесники XX века — М.Т. Иовчук, В.С. Кружков и др.). Я тогда недооценивала важность этого. Кроме того, в близком доступе у меня этих людей не было, а попытки проявить настойчивость вряд ли встретили бы с их стороны желание раскрыть передо мной душу. Ведь это были 1980-е годы...

...так, теперь вернемся к описанию твоей жизненной траектории...

И вот я диссертацию защитила — в 1989 году. По моей просьбе меня взял к себе в сектор мой научный руководитель — Леонид Григорьевич Ионин. Ему удалось устроить меня лишь, как он пошутил, «заштатным» младшим научным сотрудником, то есть по временному трудовому договору, так как свободных единиц у него в секторе не было.

Взаимодействовать с Леонидом Григорьевичем было и полезно, и интересно. Общение с ним и работа над диссертацией под его руководством мне дали очень многое. Он не имел склонности поучать или жестко направлять. Но обсуждать что-то, наблюдать за стилем его работы — само по себе было обучением. К тому же научные советы, которые он давал, всег-

да попадали в десятку. Я уже не говорю обо всем известном уровне его компетентности и профессионализма. Знакомство и работу с Иониным я считаю своей большой жизненной удачей. Но работать без ставки я могла только временно, что меня никак не устраивало. К тому же моя «заштатность» выражалась не только в отсутствии постоянного места, но и в том, что я очень слабо ориентировалась в проблематике, которой тогда занималась группа Л.Г. Ионина, а именно в вопросах социокультурной динамики.

За этим последовал еще один этап моего «вхождения» в Институт социологии — работа в его ученом секретариате, куда меня пригласили на постоянную ставку. Таким образом, мне пришлось сделать шаг назад — в организационную работу — с надеждой перевестись через какое-то время в научное подразделение Института. В ученом секретариате я проработала примерно два года. Куда я смогу перейти, было не очень ясно. Тематически меня привлекал отдел теории и истории, но подступов у меня к нему не было, а фигура его руководителя — Юрия Николаевича Давыдова — представлялась недостижимой, участие в разработках, которые он вел со своим коллективом, — затрудненным из-за нехватки знаний.

В 1990-1991 гг. многое определилось в моей профессиональной жизни и начался ее основной этап, связанный с переходом в группу Геннадия Семеновича Батыгина и работой над историческими и методологическими проектами. Здесь перед нами раскинулась непаханая целина.

В обстоятельном биографическом интервью, взятом у Батыгина Н.Я. Мазлумяновой, он вспоминает это время как относительно спокойное в его жизни и говорит о том, что ты стала его женой. В начале 1994 года я уехал в Америку, и наши с ним достаточно регулярные и дружеские встречи прекратились. Хотя мы несколько раз встречались в Москве на рубеже веков, у нас не было обстоятельного разговора «за науку». Поэтому мне хотелось бы задать тебе несколько вопросов собственно о Батыгине. Первый из них: ты не могла бы сказать, в силу каких обстоятельств он обратился к прошлому социологии и в частности — к новейшей истории советской социологии?*

Если ты имеешь в виду конкретные обстоятельства или людей, повлиявших на этот выбор, то мне ничего об этом не

* Отрывок, посвященный Г.С. Батыгину, с некоторыми изменениями опубликован в качестве самостоятельного текста. См.: Л.А. Козлова. Ремесло Геннадия Батыгина // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2011. № 1. С. 14-17. — Прим. ред.

известно, т. к. выбор состоялся еще до моего появления в жизни Батыгина. Возможно, таких конкретных обстоятельств и не было. Достоверно, что был большой исследовательский интерес. Вот о его причинах я могла бы высказать свое мнение.

Я думаю, что этот интерес Батыгина, — прежде всего, продолжение его исследований по методологии социологии. Так сложилось, что изучение методологии всегда завязано на западную социологическую мысль, но процесс изучения порождал законный вопрос: как же развивалась методология советской социологии и какую роль в ней сыграло господство марксизма? Вопрос, неизбежно выводящий на исторические исследования. Обозначилась тематика, связанная с историей идей и реконструкцией общественной мысли, а вслед за нею возник и интерес Геннадия Семеновича.

Другая причина — неудовлетворенность существующей историографией российской/советской социологии. По мнению Батыгина, ее слабым местом была опора на официальные, формальные источники, которых было явно недостаточно для восстановления реальной картины. В результате период 1940-1950-х гг. стал «молчащим» в истории социологии. Стремясь к тому, чтобы он «заговорил», Батыгин начал интенсивно исследовать архивы, а также собирать профессионально-биографические воспоминания социологов старшего поколения. В результате появился абрис его историографической концепции российской/советской социологии. Она не была завершена, предполагалось работать дальше над ее проверкой и детализацией.

В качестве еще одной причины батыгинского интереса к прошлому российской социологии я назову его исследовательский стиль, широкий гуманитарный взгляд на изучаемый предмет, междисциплинарность анализа. Особое место отводилось литературе, языкознанию и истории. Очень точно, образно об историческом видении Батыгина написала Ревекка Марковна Фрумкина: «Геннадий Батыгин принадлежал к тем немногим людям, которые обладают *чувством истории*, т. е. не просто осознают умом важность исторического знания, но как бы физически слышат *глагол времен*». И далее главное: Батыгин обладал «способностью видеть явление как момент в потоке истории» [18]. События, факты, люди, принадлежавшие прошлому российской социологии, — «моменты в потоке истории». Обращение к этому прошлому было необходимо ему для того, чтобы понять, что происходит в российской социологии сейчас и что будет позже. Его привлекала связь времен, и он стремился восстановить ее в истории социологии. Прав Борис Максимович Фирсов, заметивший, что Батыгиным в изучении

российской истории — ее людей и идей — двигала «профессиональная солидарность, стремление к единению»...

Возможно, это не все причины, возможно, они были несколько иными; не такой простой это вопрос...

В начале 1990-х Г.С. Батыгиным была предложена концепция непрерывности, преемственности российской социологии. А.Г. Здравомыслов, также занимавшийся историей отечественной социологии, не согласился с этим построением. В частности, он заметил, что советская социология 1960-х не была продолжением социальной философии Г.Ф. Александрова, М.П. Баскина, М.Т. Иовчука, В.С. Кружкова и др. Мне представляется, что если бы не ранняя смерть Батыгина, он несколько уточнил бы свое видение траектории развития российской социологии. Что ты думаешь по этому поводу?

Я не думаю, что А.Г. Здравомыслов не соглашался с идеей преемственности, но об этом попозже. Насколько я понимаю, Батыгин считал российскую социологию непрерывной и преемственной в той мере, в какой она соответствовала марксистско-ленинской традиции в общественных науках — начиная с конца XIX века, когда появились первые работы В.И. Ленина, определявшие «научный метод в социологии», и по настоящее время.

Точнее было бы говорить, что Батыгин рассматривал российскую социологию, — естественно, в определенной ее части, — как неотъемлемую составляющую советского марксизма. При этом он считал, что социология в России — это не только научное знание, мировоззрение, но и часть проекта, направленного на преобразование общества. По его мнению, эта наука с самого начала строилась на началах, определявшихся политическими силами и интересами. Взаимосвязь российской социологии и идеологических структур никогда не прекращалась — даже в период, который принято считать разрывом в ее истории — 1940-е – конец 1950-х гг. Об этом времени Батыгин написал ряд статей, основанных на архивных документах. В них рассматриваются факты из истории отдельных людей, групп и институций, отражающие идеологические коллизии, групповые конфликты. Многое из того времени впоследствии было «отредактировано» сталинскими историками и забыто. Идея Батыгина о преемственном характере российской социологии родилась, прежде всего, из несогласия с распространенной в историографии точкой зрения о запрещении российской социологии, о ее «репрессированности» (подобно генетике или кибернетике), чего на самом деле не было, а также исследовательского интереса глубже и неформальнее изучить этот период. По сути, российская социология 1940-1950-х гг. оказалась

репрессированной лишь в историографии, где ей не нашлось места. Для меня также очевидно, что Батыгин ставил задачу содействовать восстановлению этот периода в исторической памяти, чтобы последующие поколения не считали его временем «тотального мрака и лжи», чтобы стало известно о работе людей, которую не следует считать напрасной.

Реконструкция истории под силу только большим коллективам. Поэтому программу, которую выполнял Батыгин со своей небольшой научной группой, нельзя считать завершённой. Проект только начинался. В последние годы жизни у его руководителя стало меньше возможностей заниматься историей, сидеть в архивах и т. п., что требует огромного времени и отречения от других занятий. Но, уверена, к этой работе он все равно обязательно возвращался бы. Сейчас для сотрудников сектора, который возглавлял Батыгин, ситуация не стала благоприятнее, так что проект можно считать приостановленным, если не брать во внимание продолжающуюся работу по истории и социологии постсоветской социологии.

Не следует понимать так, будто Батыгин усматривал прямую «механическую» связь между идеями, которых в 1950-1960-е гг. придерживались социальные философы, и работой российских социологов в тот же период — хотя бы уже потому, что первые дебатировали о теоретических основаниях социологии, а вторые занялись освоением методов конкретных социологических исследований и самими исследованиями. Но, тем не менее, российская социология тогда основывалась на идеях исторического материализма и шла в фарватере «направляющей линии партии», иногда послушно ложась на «курс», иногда пытаясь его откорректировать, как социологи старшего поколения, ныне называемые «шестидесятниками». Связь социологии с идеологией Батыгин показал в серии статей 1990-х годов, посвященных эпизодам истории российского обществоведения 1940-1950-х гг. и, пожалуй, самой основательной, обобщающей на эту тему — «Преемственность российской социологической традиции», — опубликованной во втором издании «Социологии в России» [4]. Ценнейшая информация о социологии 1960-х гг. содержится в сборнике профессиональных биографий социологов старшего поколения, изданном под редакцией Батыгина [15].

Резюмируя, я могла бы сказать, что концепцию преемственности российской социологии, как и саму ее историю в целом, Батыгин связывал не с узкопрофессиональным, а с более широким — социально-философским, идеологическим и культурологическим контекстом, рассматривая социологию как часть духовной и практической жизни общества, его самоосмысле-

ние. Он подчеркивал, что российская социология никогда не замыкалась в академические рамки. Вот почему о преемственности в ней как о непосредственном «рукоположении» — то есть прямой передаче опыта от социолога к социологу через обучение, чтение работ, совместные исследования — речь вести нельзя. И нельзя отвлечься от более широкого общественного контекста, лежащего вне науки.

Здесь я должна вернуться к твоим словам о том, что А.Г. Здравомыслов не согласился с концепцией преемственности и процитировать его высказывание из последней книги «Социология: теория, история, практика». Эта цитата свидетельствует о близости точек зрения А.Г. Здравомыслова и Г.С. Батыгина. Андрей Григорьевич пишет: «Анализируя материалы этой дискуссии [о преемственности или прерывности российской социологии. — Л.К.], а также обращаясь к рассмотрению многообразия социологических направлений в современной российской социологии, автор данной книги пришел к выводу о том, что вторая позиция, представленная Батыгиным, более конструктивна хотя бы потому, что она дает возможность глубже понять значение советского периода в становлении социологии... Разрывы в преемственности социологии в России обусловлены прежде всего политическими причинами, а процесс преемственности осуществляется благодаря сохранению и воспроизводству *культурного капитала* [выделено мной. — Л.К.]. В таком понимании преемственность — весьма сложный процесс, который не всегда может быть зафиксирован эмпирически... Преемственность в этом случае понимается как восприятие прошлых научных идей в их историческом, научном и культурном контексте, как выявление смыслов пережитых теоретических конструкций для современности. Таким образом, так же как и в искусстве, обеспечивается селекция определенного круга идей, авторов, произведений и выход их за пределы хронологических рамок» [10, с. 107]. Сказанное Здравомысловым уточняет позицию Батыгина.

Она мне также ближе, чем первая, говорящая о прерывности российской социологии и её втором рождении, которой придерживаешься ты. Если позволишь, коротко остановлюсь на этой «дилемме», которую считаю не существующей. Я думаю, что обе эти точки зрения по-своему правильные, только рассматривают один и тот же предмет с разных позиций. В концепции прерывности и второго рождения социологии акцентируется социологичность подхода к анализу науки, ее связь с «человеческим фактором», то есть с конкретными учеными и их конкретными научными взаимодействиями. Такая точка зрения

помещает социологию в академические рамки. Известно, и об этом свидетельствуют многие социологи старшего поколения, что непосредственной передачи знаний, научного опыта, научного этоса, как я уже говорила, в понимаемой таким образом социологии фактически не происходило. Более того, академическая жизнь социологии, обеспечивавшие её взаимосвязи, само социологическое сообщество были разрушены внешними политическими силами. Причем они разрушались неоднократно, делая историю социологии прерывистой. (В этом плане я считаю уместным говорить не о двух, а скорее о трех рождениях российской/советской социологии: во второй половине XIX века; сразу после революции — в 1920-1930-е гг.; в период «хрущевской оттепели». На переломе 1980–1990-х гг. очень многое радикально изменилось в российской социологии, но нового ее рождения не произошло, — не в последнюю очередь потому, что прежнее социологическое сообщество сохранилось.) Другая концепция, опирающаяся на идею непрерывности российской/советской социологии, рассматривает историю этой науки, прежде всего, через социально-культурную оптику — в контексте выходящей за академические рамки исторической, социальной и идейно-политической жизни. Конкретные участники процесса — социологи, начавшие заново поднимать свою науку в конце 1950-х гг., — играют здесь не первую роль. Ключевыми становятся сложные феномены и процессы в науке, описываемые понятиями «культурная традиция», «научная картина мира», «стиль мышления», «научный габитус» или, по А.Г. Здравомыслову, «культурный капитал». Эти «привычки коллективного разума» не исчерпываются поступками, знаниями и жизнями отдельных людей и даже поколений; выходя за конкретные хронологические рамки, они сохраняются и воспроизводятся независимо от конкретных лиц и конкретных социальных событий в науке, тем самым обеспечивая ее преемственность...

Батыгиным было опубликовано несколько статей по качественной социологии, в том числе — о творчестве И. Гофмана. Каково было его отношение к этому методолого-методическому направлению?

Борис, задавая этот вопрос, ты, видимо, имеешь в виду бытующее мнение, что Г.С. Батыгин отрицательно относился к качественной методологии. Оно представляется мне в корне неверным. Батыгин, профессионально занимаясь методологией социологического исследования, глубоко изучал возможности всех методов, существующих в нашей и смежных с ней науках. Я бы сказала, что его подход к исследованию социологических

данных по стилю и широте был более «качественническим», чем у иных социологов, считающих себя «качественниками». Заблуждение, о котором я говорю, основано на критических оценках, которые Геннадий Семенович высказывал — на ученых советах, защитах диссертаций, в личных обсуждениях — в адрес «качественных» исследований, которые наши социологи стали активно проводить в 1990-е годы, когда произошло их первое знакомство с новой методологией, пришедшей к нам вместе с западными источниками и возможностью выезжать за границу.

Во времена первоначального увлечения российских социологов качественной методологией Батыгин большое внимание уделял критике ее неудачных применений, чем и снискал славу «антикачественника». Другая причина — поверхностное чтение методологических работ Батыгина. При внимательном ознакомлении с ними мы не найдем и следа неприятия им качественной методологии как таковой. Мы также увидим, что в деятельности социолога, какие бы методы тот ни применял, Батыгин усматривал значительный интерпретационный компонент, без которого не может обойтись профессиональный анализ эмпирических данных (доказательству этого посвящена фактически целиком его первая книга «Обоснование научного вывода в прикладной социологии», 1986 [3]; особенно интересна в этой связи глава третья «Социальные факты: объяснение, понимание, интерпретация»). Сошлюсь на его собственное высказывание: «Основная идея работы... заключалась в том, что данные и значения, формируемые в полевых исследованиях, прежде всего данные опросов ...формируются самими интерпретационными схемами либо когнитивными инструментами замеров... Я увидел, что такой точной регистрации [значения признаков. — Л.К.] недостаточно. Есть еще специфические смещения релевантностей» [1, с. 153-154].

Не случайно пристальное внимание Батыгина привлекало творчество Чикагской школы (сохранилось много конспектов и переводов социологов-чикагцев, которые он делал для себя) и Пауля Лазарсфельда, о котором им написана прекрасная статья «Ремесло Пауля Лазарсфельда: введение в его научную биографию» [5]. И те и другой в своей работе совмещали оба типа методологий. Кстати, это не помешало в истории социологии чикагцев относить к качественной традиции (как известно, из этой школы впоследствии вышли символический интеракционизм Г. Блумера, человецкая экология Э. Хоули, интерпретативная экология институтов Э. Хьюза, социальная антропология У. Уорнера, во многом — теория фреймов И. Гофмана и т. д.), а П. Лазарсфельда — чаще всего к позитивистской.

За отрицание Г.С. Батыгиным качественной методологии некоторые социологи принимали его методологический критичизм, связанный с трудным освоением у нас этого направления, напоминавшим арену идеологической борьбы. На самом деле Батыгин понимал методологию как широкое поле деятельности, не имеющее отношения к доктринам и идеологиям, а лишь к научной целесообразности и попыткам с помощью обоснованных методов объяснить устойчивые зависимости в поведении людей.

Об этом говорит жесткое выступление Батыгина против разделения методов, или связанной с ним дилеммы. Он считал, что основания для разделения качественной и количественной методологий, граница между которыми полностью проницаема, обычно имеют вненаучный характер. Вокруг названной дилеммы в среде наших социологов развернулась так называемая «Q/Q-дискуссия», поутихшая к концу 2000-х годов. Чтобы убедиться в том, что Батыгин относился к ней как к идеологически надуманной, достаточно прочитать статью «Миф о "качественной социологии"» [7]. Приведу одну цитату: «"Q / Q"-дискуссия не может быть понята и исторически верно реконструирована без упоминавшихся отсылок к контекстам, интересам и идеологиям. ...Следует понять, почему различные исследовательские "практики" и проблемы в одних случаях тематизируются как "качественные", в других — как "количественные". Почему какие-то, зачастую весьма старые, дилеммы социологии или социологические перспективы — например, "структура" и "действие" либо "социальная наука" и "социальная политика" — вновь используются как аргументы и альтернативы в дискуссии о "качественном" и "количественном"? Почему, наконец, следует выбирать между "количественным" и "качественным", как если бы это был выбор между действительно различимыми возможностями? [7, с. 32]. Кстати, одну из самых больших заслуг П. Лазарсфельда Батыгин видел в том, что своим «ремеслом» он дал возможность отличать общественно-политические доктрины, идеологии от методологий объяснения устойчивых зависимостей в социальной жизни людей.

Поводом считать Батыгина противником качественной методологии, как мне представляется, было и его неприятие критики, порой воинственной, в адрес классических методов, которая поступала из лагеря социологов, считавших себя «качественниками». Истоки ее — в социологических работах известных западных социологов (А. Сикурела, Н. Дензина, П. Аткинсона и др.). Но подобная критика становилась особенно нелицеприятной в устах российских «неофитов», приняв-

ших качественную методологию как моду, как «облегченную» методологию, освобождавшую от бремени трудоемких и дорогостоящих массовых опросов. Одновременно они же сами и профанировали этот тип методологии. По сути, в постсоветское время появилась часть социологов вовсе без методов: прежние они отвергли, а новые не освоили. Утверждение новой методологии на нашей почве часто сопровождалось не то что вполне оправданной критикой недостатков количественных методов, но отрицанием правомерности последних. При этом сами качественные методы нередко использовались без видимой постановки задач, описания процедур и обоснования результатов, тем самым становясь псевдометодами. (Я помню период, когда в 1990-е годы в «Социологический журнал» поступали статьи, представлявшие собой набор выдержек из глубинных интервью, не обрамленный какими-либо пояснениями авторов.) Вот это не могло не вызывать протеста у профессиональных методологов. Г.С. Батыгин выступал против такого «ясновидения» и «социологического писательства», против социологии «глубоко-мысленной», порождающей ответы без всяких вопросов. Он придерживался того принципа, что научность начинается там, где знание становится процедурно воспроизводимым и, следовательно, универсальным.

Приведу еще одну цитату из «Мифа о качественной социологии», в которой хорошо показана суть отношения Батыгина к качественным методам. Цитата включает и высказывание В.А. Ядова, с которым Батыгин соглашается, но не удерживается от иронии, указывающей на уязвимость этой методологии в неопытных руках. «В принципе, нормальная социологическая наука не отвергает “качественную” методологию при условии, что эталон нормальности задан “жесткой” методологией. В этом отношении конструктивным представляется резюме В.А. Ядова: “Кто не чувствует себя ‘на коне’ в классических методах исследования, тот вряд ли достигнет успеха в использовании гибких приемов. Просто потому, что будет введен в заблуждение их как бы ‘нетребовательностью’ к математико-статистическим и жестко формализованным процедурам, каковые, несомненно, остаются базисом достоверного научного знания. Правильный подход, следовательно, заключается в том, чтобы разумно использовать разные стратегии исследования и знать пределы разумных допущений в каждом случае”». После чего Батыгин добавляет: «Легко сказать: знать пределы разумных допущений! Гибкие приемы на то и существуют, чтобы устанавливать пределы там, где хочется» [7, с. 39].

Наиболее поздним интересом Г.С. Батыгина из области качественной методологии стал анализ языка социологии и

общественного дискурса [например, 6]. Он, в частности, думал над методологией анализа автобиографических интервью социологов [2], исследовал концептосферу советского «коммунизма» [8]. По мнению Батыгина, «язык, обеспечивавший легитимацию социальных порядков и обоснование грандиозного проекта переустройства жизни, не был фальшивым языком пропаганды, навязываемым “сверху”, а представлял собой результат интенсивной творческой работы как “властителей дум” (советских интеллектуалов), так и массового сознания» [8, с. 61]. Таким образом, в анализе языка и дискурса Батыгин усматривал средства для исследования не только научных, но и социально значимых идей и феноменов.

В заключение добавлю, что Батыгин был инициатором и участником издания переводов Ирвинга Гофмана [9] и Альфреда Шютца [19] (также при поддержке Фонда «Общественное мнение» он планировал и другие переводы, например Г. Гарфинкеля, но не успел их осуществить). Им впервые выполнен масштабный проект по биографическому исследованию российских социологов и выпущена известная книга о социологии 1960-х годов [15]. Что это, если не почтительное отношение к качественной «качественной методологии»?

Уже многие годы ты являешься заместителем главного редактора «Социологического журнала», основанного Г.С. Батыгиным в 1994 году. На этом посту у тебя есть возможность наблюдать, что в целом происходит в российской социологии: как меняется тематика исследований, развиваются (или не развиваются) методология и арсенал методов, какие изменения происходят в дискурсе науки... я понимаю, что вопрос — многоаспектный и непростой... и все же, давай попробуем пообсуждать этот круг проблем.

Заместителем главного редактора «Социологического журнала» я работаю с 2000 года (а ранее была его редактором). Если говорить о моих наблюдениях в этой должности, то в масштабах истории науки они не такие уж долгие. Но социологию я изучаю, не только работая в журнале, но и работая в секторе социологии науки. В этом случае рамки исследования ничем не ограничиваются. Как я уже говорила, в 1990-е годы я занималась социологией послереволюционного периода, а сейчас — постсоветской социологией. В короткой реплике, конечно, невозможно описать изменения, которые произошли за последнее тридцать, двадцать или даже десять лет. О постсоветской социологии мы в секторе, помимо статей, опубликовали две книги, на которые я сошлюсь, чтобы не повторяться: «Социальные науки в постсоветской России» (2005; этот проект мы начинали еще с Батыгиным) [16] и недавняя «Теория

и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации» (2010) [17].

Раз уж ты спросил меня о журнале, немного остановлюсь на том, что происходит в нем. Но вначале я хочу заметить, что каждый сложившийся журнал — это свой научный мир и свой формирующий стиль. А потому то, что в него поступает, и то, что оказывается на полосах, — это довольно разные текстовые массивы. Они отличаются друг от друга, образно говоря, как невыделанная и выделанная овчинки. Впрочем, проводя эту грубую аналогию, я не ручаюсь за другие журналы, но говорю о нашем. В редакции происходит до-формирование текста и придание ему той научной и литературной «выделки», на которую способны сотрудники журнала, его эксперты, члены редколлегии и, конечно, сами авторы во взаимодействии с редакторами. Поэтому я скажу только о массиве статей, поступающем в журнал, «природном», так сказать. В силу своей первозданности он лучше характеризует реальную ситуацию в социологии и изменения, происходящие в ней. Я не стану пытаться что-либо анализировать, это было бы несерьезно, а вкратце опишу, согласно твоему вопросу, как я вижу изменения методологии и методов, тематики, совокупного дискурса поступающих статей. Только несколько сюжетов.

К сегодняшнему дню становится все меньше теоретических статей и статей, написанных на основании количественных данных. Статьи по теории все реже содержат попытки осмыслить жизнь социума; это по преимуществу переложения или анализ западных идей. Но и в таких работах, надо заметить, есть плюс: если они написаны профессионально, они имеют большое просветительское значение. Особую печаль вызывает отмирание традиции проводить количественные социологические исследования. Этому есть более чем основательное объяснение: отмена государственного финансирования. Так что, скажем, академический коллектив, не сумевший получить крупный заказ от частных или государственных организаций, полностью отрезан от самой возможности провести количественное исследование. Отчеты же, выполненные на заказ, или имеющиеся в них данные, как известно, не попадают в журналы. Другое объяснение — не такое основательное, как отсутствие финансирования, но не менее важное, — увлеченность качественной методологией.

Тематика поступающих статей, соответственно, определяется тем, какие методы исследования наиболее доступны и желаемы для социологов. А это, в основном, качественная методология. Можно сказать, изучается то, что можно изучить с ее помощью, — микросоциальные процессы, повседневные

взаимодействия и т. п. А макропроцессы становятся недоступными для исследования, и это обедняет картину социальной жизни, может быть, в ее самых существенных для России особенностях.

Кажется, все ниже становится культура подачи материала и оформления статей. Например, обоснования методов, без чего никакие данные нельзя считать действительными, приходится добиваться многократными взаимодействиями с авторами... Как мне представляется, корни такой неподготовленности к научной работе находятся в системе образования, не только социологического, но и — для молодых специалистов — среднего.

И последнее. Постепенно расширилась география присылаемых в редакцию статей. Но неизменно низким остается уровень большинства текстов, которые приходят с так называемой «периферии», где нет крупных социологических центров. Эти статьи стали смелее по постановке задач и тематике, чем несколько лет назад. Но тем явственнее видна их методологическая и методическая несостоятельность. До сих пор ощущается недостаток необходимой литературы. Уровень этих статей, к сожалению, настолько низок, что любая «выделка» здесь становится неуместной...

Журнал — важная составляющая твоей работы в области социологии, но одновременно ты уже многие годы ведешь исследование по истории и социологии социологии. Что удалось сделать в этом направлении в последние годы?

Да, в 2003 году, когда не стало Г.С. Батыгина, мне пришлось взять на себя заведование сектором социологии знания, а ныне социологии науки. В секторе работают в основном молодые люди, каждый по-своему неординарен, все они отличные профессионалы — это Иван Климов, Наталия Мазлумянова, Олег Оберемко, Дмитрий Rogozin, Ирина Шмерлина. У большинства из них есть давние научные интересы и самостоятельные темы в области теории, методологии и методики социологических исследований. Так что в проекты по истории и социологии социологии включены не все. Половина сотрудников сектора в последние годы работают на неполных ставках. Необходимость одновременно быть сотрудниками нескольких организаций, чтобы содержать семьи, и разрываться между тематически не связанными между собой проектами — общая беда российских социологов. Я уже вкратце говорила о том, что нам пришлось отказаться от неподъемного исследования некоторых этапов советской социологии — раннего послереволюционного и «хрущевского». Сейчас я и мои коллеги заняты изучением современного периода российской социологии, ко-

торый называем «постсоветским». Изданные нами монографии на эту тему я уже назвала [16, 17].

Для меня один из важнейших принципов исследования — историзм, суть которого заключается в признании того, что процессы, происходящие в социологии в постсоветский период, обусловлены ее предыдущими состояниями и этапами. Большое значение имеют и предшествующие состояния общества, т. к. наша наука очень сильно зависит от общественных процессов. Так что особенности новейшего этапа социологии мы рассматриваем в связи с тем, что происходило в общественности и в обществе, начиная, по крайней мере, с хрущевской оттепели. Я уверена, что несвязное, фрагментарное изучение истории российской социологии не дает ничего для ее объяснения и понимания.

Еще один важный принцип — это личностный, персонифицированный подход к исследованию. Он обусловлен тем, что практически все этапы российской социологии характеризовались отсутствием сформированного научного этоса, который организует и структурирует профессиональное сообщество. Напротив, социология всегда находилась как бы на переломе, в состоянии изменения. С большей или меньшей интенсивностью, с большим или меньшим охватом, но фактически всегда социология характеризовалась противостоянием научных групп, гонениями на отдельных социологов и т. п. Наиболее «стабильным» в этом отношении, пожалуй, был период подчинения научного этоса партийным нормам и правилам в брежневские годы. В постсоветское же время, когда идеологический диктат исчез и институциональные нормы социологии в очередной раз подверглись трансформации, на первый план вышли самостоятельные, личные выборы социологами своих научных и общественных позиций, личностные противостояния, проблемы лидерства, обладания властными ресурсами в науке и т. п. Таким образом, для понимания сегодняшней ситуации в социологии недостаточно рассматривать ее лишь с точки зрения институциональной или групповой организации.

Отчасти по этой же причине, а отчасти по причине недоступности количественных исследований в последние годы особое значение для меня приобрело биографическое исследование российских социологов. Здесь не могу не отметить твой вклад, Борис, в создание огромного массива профессиональных интервью с российскими социологами. Это просто кладезь материалов и о персонах, и о процессах в социологии. Ты начал формулировать принципы анализа этого материала, что очень важно. Для меня и Н. Мазлумяновой значимым направлением работы стало методолого-методическое обоснование примене-

ния биографического метода к исследованию истории и современного состояния российской социологии. На эту тему мы написали ряд статей [см., например: 12-14].

На мой взгляд, для применения биографического метода к изучению истории российской социологии сейчас создалась очень благоприятная и, можно сказать, уникальная ситуация. Поясню свое мнение. Ныне работают все поколения российских социологов — от начавших свою деятельность во времена хрущевской оттепели и до самых молодых. Анализ их профессиональной жизни дает богатейший «археологический» срез, на котором представлено все многообразие социологических «субкультур» различных поколений, слагающих современную историю социологии. Биографические интервью, в сочетании с другими источниками, помогают описать эти «исторические пласты» и связь между ними...

Что входит в ближайшие планы?

В планах — изучить деятельность социологов, которые работают не в академии наук, вузах или исследовательских центрах, а во внеаучных сферах. В этом проекте нас будет интересовать реальное использование и потенциальная востребованность услуг, оказываемых социологами в производственной и социальной сферах, управленческих, гражданских и медийных структурах. До 1990-х годов было великое множество социологических служб, заводская социология. Было известно, чем они занимались. Что происходит сейчас — не очень ясно. Хотелось бы исследовать деятельность именно этих, «неинституциональных», социологов, их причастность к науке, их общественную отдачу, востребованность и т. п. Этих социологов, насколько мне известно, сейчас фактически никто не изучает...

И последний вопрос. Вернусь к поколенческой структуре социологического сообщества. Поколение социологов, рожденных в 1951-1958 гг., к которому принадлежишь и ты, я назвал «спасенные перестройкой». Как ты считаешь, насколько обоснованно такое название?

Признаться, я никогда не думала, что для меня перестройка явилась «спасением». В этом слове есть какая-то избыточная сакральность... Не думаю, что речь надо вести о «спасении душ», но о сохранении моего поколения в профессии, — наверное, можно.

Трудно сейчас сказать, что случилось бы со мной, если бы не было перестройки. Задолго до нее, в конце 1970-х, я решила работать в социологии и уходить отсюда не собиралась. Эта

наука представлялась мне и до перестройки вполне достойной областью, где можно было, не будучи начальником, избегать общения с парторганами и давления с их стороны. Для молодых «философов» социология «застойных времен» в этом плане была не самым плохим прибежищем...

В социологию мое поколение пришло до перестройки, но это правда, что она круто поменяла и мою, и коллег жизнь в профессии. Стало свободно идеологически, появилось больше самых разных возможностей для социологической работы. Думаю, что перестройка повлияла на изменение моей профессиональной траектории. Одновременно я думаю, что все это имеет отношение и к другим поколениям социологов. К последующим — определяющее, к предыдущим — значительное. Социология как таковая и все работающие в ней поколения социологов стали жить и развиваться по-другому по сравнению с доперестроечным периодом. Но ты, безусловно, прав в том, что к нашему поколению это относится в большей степени, чем к другим: ведь нам тогда было по 30-35 лет, и мы не несли на себе бремя гонений, которые пережили старшие поколения. Перестройка оказалась для нас наиболее своевременной. Не исключено, что именно она некоторых из нас, открыв новые возможности, тем самым задержала в профессии. Мы были маргиналами, только следующее поколение получило профессию «социолог». Из-за маргинальности, видимо, мы были слабее привязаны к социологии. Может быть, в этом смысл слова «спасенные»?.. Но интересно то, что и сейчас молодые дипломированные социологи далеко не всегда остаются в профессии. И этим тоже вроде бы похожи на маргиналов, и их тоже надо «спасать» для профессии...

Литература

1. Батыгин Г.С. «Никакого другого пути я даже помыслить не мог...» // Социологический журнал. 2003. № 2.
2. Батыгин Г.С. Карьера, этос и научная биография: к семантике автобиографического нарратива // Ведомости Тюменского государственного нефтегазового университета: Вып. 20. Моральный выбор / Под ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень, 2002.
3. Батыгин Г.С. Обоснование научного вывода в прикладной социологии. М.: Наука, 1986.
4. Батыгин Г.С. Преемственность российской социологической традиции // Социология в России / Под ред. В.А. Ядова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Института социологии РАН, 1998.
5. Батыгин Г.С. Ремесло Пауля Лазарсфельда: введение в его научную биографию // Вестник АН СССР. 1990. № 8. С. 94-108.

6. Батыгин Г.С. Тематический репертуар и язык социальных наук // Россия трансформирующаяся / Рос. акад. наук; Под ред. Л.М. Дробижевой. М.: Academia, 2002.
7. Батыгин Г.С., Девятко И.Ф. Миф о «качественной социологии» // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 28-42.
8. Батыгин Г.С., Рассохина М.В. Семантический коллапс «коммунизма»: дискурс о будущем в журнале «Новый мир», 1950-е годы // Человек. 2002. № 6.
9. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ.: Под. ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой. М.: Институт социологии РАН, 2004.
10. Здравомыслов А.Г. Социология: теория, история, практика / А.Г. Здравомыслов; [отв. ред. Н.И. Лапин]; Ин-т социологии РАН. М.: Наука, 2008.
11. История становления советской социологической науки в 20-30-е годы: [Сб. ст.] / АН СССР. Ин-т социологии; [Редкол.: З.Т. Голенкова, В.В. Витюк (отв. ред.) и др.]. М.: Ин-т социологии, 1989.
12. Козлова Л.А. Биографическое исследование российской социологии: предварительные теоретико-методологические замечания // Социологический журнал. 2007. № 2.
13. Козлова Л.А. О возможностях социолого-биографического исследования российской социологии // Социологические чтения памяти Валерия Борисовича Голофаства / Под ред. О.Б. Божкова. СПб.: Бильбо, 2008.
14. Мазлумянова Н.Я. Биографические интервью с российскими социологами: методико-методологические аспекты // Социологический журнал. 2007. № 2.
15. Российская социология шестидесятых годов в воспоминаниях и документах / Отв. ред. и авт. предисл. Г.С. Батыгин; Ред.-сост. С.Ф. Ярмолюк. СПб.: Русский христианский гуманитарный институт, 1999.
16. Социальные науки в постсоветской России / Под ред. Г.С. Батыгина, Л.А. Козловой, Э.М. Свидерски. М.: Академический проект, 2005.
17. Теория и методология в практиках российских социологов: постсоветские трансформации / Отв. ред. Л.А. Козлова; Ред.-сост. Н.Я. Мазлумянова, И.А. Шмерлина. М.: Научный мир, 2010.
18. Фрумкина Р. Наука и жизнь в зеркале «устной истории». URL: <http://old.russ.ru/ist_sovr/20030722_rf-pr.html>.
19. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: Очерки по феноменологической социологии / А. Шютц; Сост. А.Я. Алхасов; Пер. с англ. А.Я. Алхасова, Н.Я. Мазлумяновой; Науч. ред. пер., предисл. Г.С. Батыгин. М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2003.
20. Ядов В.А. Методология и процедуры социологического исследования. Тарту: ТГУ, 1968.



Мягков А.Ю. – окончил Ивановский государственный университет как историк и преподаватель английского языка, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии Ивановского государственного энергетического университета. Основные области исследования: методология и методы социологии, общественное мнение. Интервью состоялось в 2009–2010 годах.

Траектория жизни Мягкова проста: родился в городе Иваново, получил там образование, социологом стал в Москве, но вернулся в свой родной город. В прошлом Иваново не было отмечено заметной звездочкой на социологической карте России. Мягков со своими коллегами постепенно меняет эту географию. Причем в той ее области, в которой в прошлом одним из лидеров был Ленинград. Это – надежность опросной технологии. Тема – всегда актуальная, но, к сожалению, разрабатываемая сегодня совсем небольшим числом российских специалистов.

**А.Ю. Мягков:
«ИНОЙ СУДЬБЫ
ДЛЯ СЕБЯ ПРОСТО
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛ»***

Александр, Вы человек ивановский, поволжский или судьба привела Вас в эти места позже? Когда и где Вы родились? Немного о Вашей родительской семье, о годах обучения в школе...

Я – коренной ивановец. С Иваново связано практически все в моей жизни. Здесь я родился, вырос, получил образование. Это город моих дедов и прадедов, моих родителей. Здесь живут почти все мои близкие и дальние родственники, дети, а теперь и маленькая внучка. Так уж получилось, что за всю мою жизнь, за исключением двух вынужденных и относительно коротких периодов, не превышающих в общей сложности пяти лет, я не менял своего места жительства...

Мой дед по материнской линии, Капустин Василий Венедиктович, был человеком в Ивановской облас-

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2010. № 2. С. 2–11.

ти довольно известным. Он был старым членом партии, в которую вступил еще в начале 1920-х, долгие годы занимался, как тогда говорили, хозяйственным и советским строительством. Участвовал в коллективизации, поднимал колхозы и промышленность на Дальнем Востоке, был, по партийному призыву, в числе «двадцатипяти тысячников». Затем, в середине 1930-х годов, после окончания Ивановского текстильного института и знаменитой Промакадемии в Москве, он был назначен директором ткацкой фабрики на Томне в г. Кинешма Ивановской области. Во время войны руководил текстильной фабрикой в Лежневе (районном центре области), а позже работал в советских органах и в системе областной потребкооперации в г. Иваново.

Бабушка (мамина мама), Капустина Екатерина Николаевна, по своему происхождению – из простых крестьян. Когда-то по моей просьбе она рассказывала, как до революции летом работала в поле на барина, а с осени и до поздней весны, как и многие деревенские жители, на текстильной фабрике в городе, куда на смену каждый день ходила пешком за многие километры. Образования она так фактически и не получила: растила троих детей, вела домашнее хозяйство, жила заботами мужа, семьи, работала швеей на фабрике, постоянно брала какую-то надомную работу, затем нянчила внуков...

По маминым воспоминаниям семья всегда жила очень бедно, материального достатка не было даже тогда, когда отец был «красным директором»: он не мог позволить себе жить лучше других и чем-то отличаться от рабочих. В войну сильно голодали, от голода умер живший тогда вместе с ними дед Николай (мой прадед). После переезда в Иваново квартиры поначалу снимали, своего жилья долго не было. И лишь в самом конце 1940-х или начале 1950-х (сейчас трудно сказать точнее), продав отцовский дом в деревне, смогли купить часть маленького, совсем старого, покосившегося домика с огородиком на ул. Семенчикова в районе, который в нашем городе издавна называли Ямами. Вот этот «частный» дом, стоящий на взгорке посередине оврагов, в котором не было совершенно никаких удобств, ни водопровода, ни газа, я помню очень хорошо. Там прошла юность моей мамы, ее студенческие годы, там мои дедушка с бабушкой прожили примерно до середины 1960-х, до тех пор пока в городе не началось массовое жилищное строительство. Только тогда, в конце своей жизни, они смогли получить небольшую двухкомнатную квартирку в «хрущевке» в новом районе города...

Мой дедушка по линии отца, Мягков Александр Михайлович, был философом, вузовским преподавателем, доцентом

(ВАКовским, сказали бы сегодня), более двух десятилетий заведовал кафедрой философии в Ивановском педагогическом институте. В самом начале 1920-х годов он окончил социально-экономический факультет Ивановского политехнического института (и был одним из первых его выпускников), а затем (после службы в армии) еще и юрфак МГУ. Несколько лет был практикующим адвокатом, позже учился в философской аспирантуре в Воронеже и готовил кандидатскую диссертацию. Но ученую степень ни тогда, ни позже получить так и не смог, хотя пытался выйти на защиту дважды. Оба раза вмешивались политические обстоятельства.

В 1937 г., когда он работал в Иванове и диссертация была готова к защите, его исключили из партии (в первый раз). Повод был достаточно типичным для того времени: его коллегу по кафедре, которого мой дед давно и хорошо знал и которому когда-то давал рекомендацию для приема в партию, обвинили во враждебных идеологических взглядах, несовместимых с линией партии, заклеили позором и признали «врагом народа». Может быть, все и обошлось бы, но дед, со свойственными ему честностью и прямотой, не согласился с партийным большинством и публично на партсобрании, где решалась судьба его товарища, встал на его сторону, доказывая абсурдность предъявляемых обвинений. Исход был предрешен, последовало исключение из партии.

По рассказам моей бабушки, Евы Михайловны, психологическая атмосфера в доме тогда была очень тяжелой. В течение нескольких месяцев ждали ареста. Каждый день и каждую ночь. К счастью, этого не случилось, но вуз и кафедру пришлось на время оставить. Дед после этого примерно два года работал в обычной средней школе, преподавал русский язык и литературу. Это все, что ему тогда было позволено, историю и иные «идеологические» предметы вести ему не разрешили. И все-таки через два года, после многократных обращений в партийные органы каким-то чудом в партии он был восстановлен решением Ивановского обкома, все обвинения с него были сняты и он смог вернуться к своей прежней работе в пединститут на кафедру.

Второй раз его исключили после войны, по-моему, в самом конце 1940-х или в начале 1950-х. И вновь по каким-то надуманным политико-идеологическим мотивам, о которых сегодня мало кто помнит в нашей семье. Опять пришлось отложить диссертацию в стол до лучших времен. В течение нескольких лет, работая где придется, дед добивался справедливости. Много раз ездил в Москву в различные партийные инстанции, доказывал и убеждал. В конце концов его апелляцию о не-

справедливом исключении обком (или на этот раз райком?) рассмотрел, решение первички отменил и вновь восстановил в партии. Произошло это только в 1953-м, вскоре после смерти Сталина. Восстановлен он был и в своей прежней должности заведующего кафедрой философии ИГПИ, в которой проработал в общей сложности около двух десятилетий.

Вообще мой дед, как говорили, был исключительным человеком. Его знали и до сих пор помнят очень многие люди, когда-то работавшие вместе с ним или учившиеся у него в ивановских вузах. И хотя сам он так и не защитился, тем не менее помог с диссертациями многим своим знакомым и коллегам по кафедре. Будучи уже студентом и разбирая дедову библиотеку, я многократно встречал книги, научные журналы, сборники статей и т.д. с дарственными надписями от благодарных коллег.

Кроме того, дед был постоянным лектором общества «Знание» и его часто приглашали читать лекции по научно-популярной, политической и международной тематике в города и районы области. Из моих детских впечатлений в памяти до сих пор остались наши с ним поездки по Волге и волжским городам. Дед брал меня собой на свои лекции, которые нередко проходили прямо в рабочих цехах, а иногда и на колхозном поле. Он говорил с людьми, что-то рассказывал, а я сидел и слушал. Вряд ли что-то понимал (мне было тогда лет 8–9), но отдельные слова, фразы, эпизоды до сих пор остались в памяти. Я не знаю, насколько сильно повлияли и повлияли ли вообще эти поездки на последующий выбор мною моей нынешней профессии, но какие-то самые ранние основы профессиональной ориентации они, по-видимому, все же заложили. К тому же, с самого раннего детства я постоянно слышал от окружающих знакомых и незнакомых мне людей, что я обязательно должен «пойти по стопам» деда и стать если уж не философом, то непременно гуманитарием, работать в вузе и заниматься наукой.

В моей памяти остались также маленький рабочий кабинет деда в доме на ул. Авиационной, его старый письменный стол, обтянутый коричневой немного потрескавшейся кожей и вечно заваленный кипами мелко исписанных бумаг, и, конечно, книги. Очень много книг. Судя по библиотеке, дед был человеком очень образованным и разносторонним. У него были очень разные книги: по философии, истории, литературоведению, искусству, естествознанию, логике, праву. И старые, в том числе редкие, дореволюционные издания, и книги, изданные в 1920-е годы, и более поздние работы советских авторов. Переводные и оригинальные, на французском и немецком языках. И очень много художественной литературы – от классических

переводов Шекспира, Диккенса и Теккерея до русских и советских поэтов и писателей. Перелистывая страницы, я видел множество тоненьких карандашных пометок, сделанных рукой деда, каких-то мелким почерком исписанных закладок, сложенных вдвое листов бумаги с различными записями и комментариями. Были они и в работах Вольтера (на французском), и в «Фаусте» Гете, и в поэтическом сборнике Гейне (на немецком). Эти имена, равно как и фамилии Ницше, Шпенглера, Шопенгауэра, Фуко, Гегеля, Канта и др., я впервые прочитал на обложках книг в дедовой библиотеке. Там же позднее, в студенческие годы, я нашел работы историков С. Платонова, В. Ключевского, М. Покровского, А. Валлона, Б. Грекова, Б. Тураева, С. Ковалева, а совсем недавно, уже у себя – и небольшую доставшуюся от деда книжечку А. Кеттле, изданную в России еще в 1865 г.

Первая диссертация деда, насколько я знаю, была посвящена философским проблемам естествознания, поэтому присутствие в доме книг по физике, химии и биологии было вполне закономерным. Хотя возможно, что часть из них могла принадлежать и моей бабушке, Еве Михайловне. Она в самом начале 1930-х гг., имея троих маленьких детей, окончила Ивановский химико-технологический институт и получила диплом инженера-технолога химического производства. Работала на химзаводе, затем много лет преподавала химию в техникуме.

Мои родители (Мягковы Юрий Александрович и Лилия Васильевна) и по происхождению, и по мировоззрению – типичные представители советской интеллигенции. Папа – инженер-энергетик, специалист по теплоснабжению городов, окончил Ивановский энергетический институт. Мама – педагог-филолог, учительница русского языка и литературы. Начинала в сельской школе, а затем практически всю жизнь (до середины 1980-х) работала в областной заочной школе, учила взрослых людей, рабочих с заводов, которые по тем или иным причинам не смогли вовремя получить среднее образование. Так что сферу образования и вообще педагогический труд со всеми его сложностями и проблемами я видел и знал изнутри с самого раннего детства.

В начале 1950-х гг., отца по окончании института распределили на работу в Москву, в Мосэнерго. Но прожили они с мамой там недолго – всего около полугода. Что-то не заладилось с работой, бытовые условия тоже были не лучшими (жили в общежитии), а главное – все время тянуло домой. В Москве с ее непривычным жизненным ритмом и специфическими человеческими отношениями прижиться они так и не смогли. В итоге папе после нескольких его просьб разрешили-таки перевестись

в Ивановскую энергосистему. Это был 1953 г., а через год после возвращения моих родителей в Иваново родился я.

Мои первые 8 лет жизни прошли в доме деда. Жили тогда все вместе, большой многопоколенной семьей. Папе по работе часто приходилось ездить в командировки в другие города страны, где он руководил наладкой оборудования на новых ТЭЦ. Мама работала тогда в «массовой» школе, и у нее были вечные уроки, тетради, проверки и подготовки.

В первый класс я пошел в 1961 г. в начальную школу № 14. Затем так получилось, что я учился в двух ивановских школах. Обе они тогда были новостройками, с большим количеством учащихся (до полутора тысяч человек в каждой), но с очень сильными директорами и учительскими коллективами.

Учился я и в среднем звене, и в старших классах в целом легко и неплохо. Отличником я никогда не был, но всегда считался «крепким четверочником». Удовлетворительные (текущие) оценки обычно вызывали дискомфорт у меня, и недовольство у родителей, а вот тройки за четверть или за полугодие в нашей семье считались чуть ли не трагедией и получать их было категорически нельзя. Иногда они все же случались, правда, лишь по одному предмету, который давался мне труднее остальных и традиционно был для меня камнем преткновения – по математике. В остальных случаях срывов не было, гуманитарий во мне всегда узнавался очень легко.

Школу я окончил с одной тройкой в аттестате (по алгебре), а вообще, в 9-м и 10-м классах я занимался довольно много. Готовился к поступлению в вуз. По поводу будущей профессии и вуза больших сомнений ни у меня, ни у родителей в общем-то никогда не было. Все знали, что это будет не техническая, а гуманитарная специальность, так что, как говорится, либо «пед., либо мед.» И в самом деле, сначала я стал готовиться в медицинский, занимался химией и особенно много биологией, но потом, в десятом классе, будто вспомнив о своей профессиональной предопределенности, окончательно выбрал педагогический.

За пару лет до этого у нас в ИГПИ на истфаке открылась новая специальность – «история и английский язык». Предполагалось готовить учителей для малокомплектных школ, которые могли бы вести преподавание нескольких предметов одновременно. Ни о каком «учительствовании» я тогда, конечно, не думал, все это было очень смутно и далеко, но история как наука меня привлекала, а английский язык добавлял этой специальности какой-то особый шарм. В общем, экзамены в вуз на «истяз» я сдал прилично, набрав 19 баллов из 20 возможных при проходном в 16 баллов и получив лишь четверку по сочинению.

На курс принимали 50 человек и по рейтингу я сначала оказался в первой пятёрке. Тем не менее первые полтора года учебы в институте дались мне очень нелегко; процесс адаптации был болезненным и завершился лишь к концу второго курса. Зато, начиная с четвертой сессии и вплоть до окончания вуза, я больше не получал никаких иных оценок, кроме пятерок и учился на повышенную стипендию. Примерно через два с половиной года после нашего поступления институт получил статус университета и был переименован в ИвГУ. Так что, поступив в 1971 г. в Ивановский государственный педагогический институт имени Д.А. Фурманова, в 1976 г. я окончил Ивановский государственный университет имени Первого областного Совета...

В СССР долго не было социологического образования, каким был ваш путь в социологию?

Будучи студентом 4 курса, я потихоньку начал приобщаться к научным занятиям. Мой научный руководитель, одна из старейших и заслуженных преподавателей истфака, доцент Анна Владимировна Шипулина, как-то в предложила мне в качестве курсовой работы тему, связанную с изучением условий труда и быта иваново-вознесенских рабочих на рубеже XIX–XX веков. По ее замыслу я должен был проанализировать эту проблему в контексте революционной ситуации и социальных предпосылок первой русской революции 1905 г. Нужны были новые и очень убедительные материалы, доказывающие неслучайный характер возникновения первого областного Совета рабочих депутатов (зародыша советской власти) именно в Иваново-Вознесенске. Дело в том, что через год (в 1975 г.) должен был состояться 70-летний юбилей первого Совета, и в Иванове были намечены разного рода торжественные мероприятия очень высокого уровня. Историки тоже по-своему готовились к этому событию. К тому же в эти годы обострилась давняя дискуссия в научных кругах и, насколько я помню, свердловские историки очень активно доказывали, что зачинателями советского движения в стране были не ивановские, а уральские рабочие.

Общая идея будущей работы мне показалась интересной, и я согласился. Конечно, социология здесь пока совсем не причем, о ней я тогда вообще почти ничего толком не знал. Слышал что-то о «конкретных социологических исследованиях», где-то и кем-то (причем из историков) проводимых на предприятиях среди рабочих, но не более того. Меня, студента-историка, они тогда мало интересовали, я считал их неким вспомогательным и довольно экзотичным инструментом получения научной

информации, которым я вряд ли когда воспользуюсь. Слово «социология» встречалось, правда, и в учебниках философии истмата, но исключительно в контексте «критики буржуазных воззрений» западных (и непременно антимарксистских) идеологов. А вот о том, что тема, за которую я тогда взялся, во многом была социологической и работа над ней фактически представляла собой мой первый опыт соприкосновения с социальной проблематикой, я тогда не думал совсем.

В общем, начал работать с литературой, но очень скоро понял, что публикаций по данной проблеме (если не считать двух-трех статей моего научного руководителя) практически нет, эмпирического материала явно недостаточно, зато встретил большое количество ссылок на интересующие меня исторические документы, хранившиеся как в центральных архивах страны, так и в Ивановском областном государственном архиве. Стало ясно, что единственный в данном случае путь для меня – работа в архивах. Изложил ситуацию моему руководителю, она одобрила и сказала, что и как нужно делать.

Я работал с архивными фондами Иваново-вознесенской городской управы, полицейского управления, с социальной статистикой фабрик и заводов, касавшейся условий труда и производственного быта работающих, с отчетами различных комиссий, инспектировавших предприятия города и т.д. Все это было очень интересно, и хотя, помню, что расписывался за то, что не буду делать никаких записей и выписок из прочитанных документов, все равно записи я потихоньку вел, а приходя домой, их разбирал, переписывал и систематизировал...

Руководителю работа понравилась. После этого, как водится, начались выступления с докладами на студенческих научных конференциях в Иванове, а затем и в других городах. Ездил на «большие» конференции союзного уровня в Ярославль и Москву, участвовал во Всесоюзном конкурсе студенческих работ и т.д.

В общем, ничего особенного, все, наверное, как у многих в студенческие годы. Однако к моменту окончания университета я для себя твердо решил: надо проситься работать на кафедру. Между тем шансов остаться в университете тогда, по большому счету, у меня не было. На специальные исторические кафедры молодые преподаватели не требовались, а аспирантура в вузе была только по философии и истории КПСС. Но это – «идеологические» кафедры и туда, не будучи членом партии, попасть (ни в качестве преподавателя, ни в качестве аспиранта) было невозможно. Поэтому когда узнавали, что я всего лишь комсомолец, говорили: «Поработайте пару лет, может быть, вступите в партию, тогда и поговорим». С нашего курса из 50

человек в аспирантуру взяли лишь одного, да и то из-за партийной принадлежности...

Как бы то ни было, но по окончании вуза мы с женой (мы учились в одной группе) получили распределение на работу в районный центр Ивановской области г. Кинешму. Так в моей новенькой, только что заведенной тогда трудовой книжке появилась первая запись, датированная 14 августа 1976 г.: «учитель истории средней школы им. Д.А. Фурманова города...»

Школа, в которой я работал, считалась одной из лучших и передовых в городе. Там были свои традиции, сложившиеся правила, сильный учительский коллектив. Я вел историю в среднем звене – с 6-го по 8-й классы. Часов было много, другой работы тоже хватало. Был классным руководителем в 7 классе (а это около 40 учеников). В общем, делал все то, из чего складывается повседневный учительский труд.

Не знаю, как бы все сложилось дальше, если бы судьба не сделала новый достаточно крутой поворот в моей жизни. Со второй половины учебного года мною стал очень настойчиво интересоваться военкомат, и в начале мая 1977 г., не дав завершить учебный год, меня призвали в ряды Советской армии.

Служил в войсках связи на Западной Украине в Прикарпатском военном округе, которым тогда командовал генерал-лейтенант (а впоследствии – маршал) В.И. Варенников. Ходил в караулы, нес боевые дежурства, был командиром отделения, работал с молодыми солдатами, вел политзанятия с личным составом, ездил на учения, в том числе, на знаменитые «Карпаты», обеспечивал связь командующему округом. А чтобы не забыть английский, несколько месяцев занимался с командиром взвода, который готовился тогда к поступлению в военную академию.

Домой вернулся в конце 1978 г., и все пришлось начинать заново. Начал искать работу. Были разные варианты. Предлагали, помнится, инструктором обкома комсомола (в отдел культуры), секретарем первички в одном из техникумов, что-то там еще по комсомольской линии, но посылку общественную, и особенно комсомольскую, работу я с детства не любил, то эти предложения серьезно не рассматривал. Школа не обсуждалась, а в вузы я обращаться самостоятельно не решался, памятуя про отсутствие партийности.

И вот на исходе месяца безуспешных поисков работы мне вдруг позвонил, узнав о моих мытарствах, мой дядя – историк, доктор наук, заведовавший тогда кафедрой в сельхозинституте. Он хорошо знал кадровую ситуацию в ивановских вузах и мог что-то подсказать. В ходе разговора со мной он вспомнил, что некоторое время назад в энергоинституте на кафедре на-

учного коммунизма неожиданно образовалась вакансия: молодого преподавателя, отработавшего всего несколько месяцев, призвали в армию, и срочно был нужен ассистент для работы со студентами. Обещал узнать, не исчезла ли потребность... а уже через пару дней я был приглашен на собеседование.

На кафедре меня встретили два человека, которые впоследствии сыграли очень существенную роль в моем профессиональном (социологическом) самоопределении: завкафедрой Стукалов Владимир Андреевич и партгрупорг кафедры Малышев Всеволод Александрович. Последний был человеком пожилым, с большим жизненным опытом. Участник войны, бывший военный летчик, полковник, зам. командира авиаполка. Несмотря на возраст (а ему тогда было уже за 60), он был человеком очень гибким и восприимчивым к новому. Когда-то окончил Военно-политическую академию им. Ленина, занимался политработой, но был отправлен в отставку в период хрущевской реформы армии, закончившейся, как известно, массовыми сокращениями военных.

В.А. Стукалов, наоборот, был тогда начинающим заведующим, только что получил кафедру, ему не было и сорока. Несколькими годами ранее в Уральском госуниверситете он защитил кандидатскую диссертацию по социологии и был прямым учеником М.Н. Руткевича. Он занимался проблемами социальной структуры и буквально бредил идеей становления социальной однородности советского общества. Работал над докторской по этой теме и лично знал (в основном еще по Уралу) многих известных социологов – специалистов по изучению социальной структуры (Л.Н. Когана, Ф.Р. Филиппова, Н.А. Аитова, Ф.З. Файнбурга, Л.Я. Рубину, В.Г. Мордковича и др.). Кроме того, как я понял позднее, он немного владел методами прикладных социологических исследований, имел определенный опыт в данной области, что-то пытался проводить сам, а потому активно искал себе единомышленников. В Иванове в те годы людей, имевших сколь-нибудь внятное представление о социологии и реально работавших в этой сфере, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Владимир Андреевич пытался собрать их у себя на кафедре, а параллельно привлекать к прикладным исследованиям молодых вузовских преподавателей. И надо сказать, что кое-что в этом отношении ему сделать удалось. По крайней мере, на той кафедре, на которую я пришел в самом конце 1970-х, работало несколько человек, прошедших неплохую по тем временам школу социологической работы, в частности, в аспирантурах московского Института управления имени С. Орджоникидзе (у В.Г. Подмаркова), в МГУ на философском факультете, в ЛГУ и

т.п. Причем из всех ивановских вузов (в те годы в нашем городе их было восемь) социологи были только в энергоинституте.

Собеседование закончилось в целом благополучно: меня готовы были взять, однако это решение, как мне сказали, нельзя было считать окончательным. Оставалось одно и, к сожалению, самое главное «но». Все кадровые назначения по кафедрам общественных наук, включая ассистентов, нужно было непременно согласовывать в обкоме партии. Не в райкоме или горкоме, а именно в отделе науки и учебных заведений обкома. С этим ничего не мог поделать даже ректор. «Номенклатура...» – как-то невесело резюмировал наш тогдашний разговор парторг кафедры. Смысл этого слова мне был интуитивно понятен, но я никак не мог взять в толк, какое отношение ко всему этому имею я, как начинающий преподаватель вуза. И тем не менее, я тогда не очень волновался, полагая, по своей наивности, что вопрос все же будет решен в мою пользу. Тем более, что еще на собеседовании у меня попросили собрать все мыслимые и немыслимые характеристики, которые только можно было достать: из вуза, из школы, где я ранее работал, и даже из воинской части, где служил. И они были собраны. Однако я сильно просчитался.

В обкоме партии я тогда был впервые. Помню мрачного человека на входе в военной форме с васильковыми погонами, долго проверявшего наши со Стукаловым документы, совершенно пустые, гулкие от шагов и очень длинные коридоры. Неприятные ощущения гнетущей тревожности остались до сих пор. Ждать пришлось долго, за дверью в коридоре, поскольку в кабинет меня не пустили. Вопрос мой решался на уровне зам. зав. отделом обкома А.И. Осипова. О чем они говорили и как складывался разговор, я не знаю, но когда в дверях, наконец, появился совершенно подавленный В.А. Стукалов, я сразу все понял: меня не взяли. Беспартийность вновь встала поперек судьбы.

Пока мы с завкафедрой шли по обкомовским коридорам, он, сбивчиво и очень волнуясь, полупешепотом стал что-то рассказывать про регулирование социального состава партийных рядов, про какие-то еще возможности в сослагательном наклонении, но я почти уже ничего не слышал. Было сильное чувство униженности и обиды. Про партийные ряды я еще мог как-то понять, но на вопрос, причем здесь я, ответа не находил. В моей голове никак не укладывалось, почему мне, комсомольцу, человеку, ни чем, как тогда говорили, себя «не запятнавшему», защищавшему интересы страны с оружием в руках, не доверяют элементарное выполнение профессиональных функций. Почему в школе преподавать историю и обществоведение, не будучи членом партии, можно, а в вузе работать нельзя ни

при каких обстоятельствах. Этого я не понимал и отказывался понимать. Слово «люстрация» я тогда еще не знал, хотя по жизни с этим феноменом уже столкнулся напрямую. Позднее, будучи аспирантом, когда я стал знакомиться с советологией, систематически читать журналы «Soviet Studies», «Problems of Communism», работы по тоталитаризму и прочую «спецхрановскую» литературу, все встало на свои места, но в те годы понимания этих вещей у меня еще не было.

К чести Стукалова, он не остановился. Не знаю, как бы сложилась моя жизнь дальше, если бы он тогда отступил. Но через некоторое время он вновь позвонил и предложил, наверное, единственно возможный в тех условиях вариант, предварительно согласовав его с ректором. Я начинаю работать на кафедре научного коммунизма, в течение пары месяцев до начала нового семестра разрабатываю курс, готовлюсь к семинарам и даже начинаю самостоятельно вести занятия со студентами-пятикурсниками, при этом официально оформляюсь на должность лаборанта какой-то технической кафедры. К этому времени одна из доцентов должна была освободить ставку, поскольку уезжала на годичную стажировку на Кубу, и тогда меня могли бы официально перевести (временно) на должность преподавателя. А как быть дальше, время покажет. Думал я недолго и, посоветовавшись дома, согласился.

Когда устраивался на работу, сердобольная тетенька из отдела кадров, с жалостью посмотрев на меня, сказала: «Зачем же вы идете на привод, вы же историк, преподаватель, идите лучше на кафедру политэкономии, там тоже лаборант требуется». Конечно, мне от этого было очень неудобно, но раскрывать все тайны наших с завкафедрой договоренностей я не мог. Так в моей трудовой книжке была сделана вторая запись: «Лаборант кафедры электропривода и автоматизированных промышленных установок», хотя в этой должности я никогда не работал. Между тем заведующий кафедрой и ректор сдержали свое слово, и через два с небольшим месяца я был переоформлен преподавателем кафедры научного коммунизма с припиской «временно». Мой вузовский статус был наконец-то легитимирован.

После школы и армии работа в институте мне показалось не очень сложной. Если, правда, иметь в виду лишь занятия со студентами. Однако была и вторая сторона медали – наука. Во-первых, время от времени у нас на кафедре предпринимались те или иные прикладные социологические исследования, к которым нас, молодых преподавателей активно привлекали. В моем личном архиве хранится анкета первого в моей жизни исследования, в котором я участвовал в качестве анкетера, опрашивая рабочих-строителей относительно условий и организа-

ции их труда. Датирована она 1979 годом. Кроме того, с самых первых дней мне были поставлены задачи: срочно определиться с направлением и темой, начать работать со специальной литературой, не позднее чем через два года поступить в аспирантуру, создав предварительный задел в виде сданных кандидатских, нескольких опубликованных статей и максимально возможного объема материала для будущей диссертации. Поначалу все это показалось мне несколько утопичным, поскольку, во-первых, ранее я всегда считал, что научные работы не пишутся в столь короткие и к тому же заданные извне сроки, а являются результатом большой и долгой творческой работы, а во-вторых, было совершенно неясно, какие кандидатские экзамены, по какой специальности и где я должен сдавать. Однако сегодня я вижу, что общая стратегия тогда была выбрана верно, и к аспирантуре через полтора года я подошел с тремя сданными на «отлично» кандидатскими, с несколькими публикациями в научных сборниках и с вполне диссертательной, как мне тогда казалось, темой. При этом почти два года я «безвылазно» просидел в разных библиотеках и этих лет совсем не помню.

Дело оставалось за малым: в аспирантуру нужно было *поступить*. Место поступления – Институт социологических исследований Академии Наук СССР – определил за меня заведующий кафедрой, я, в свою очередь, не возражал, поскольку к этому времени уже окончательно определился с социологическим профилем будущей работы и вполне осознавал высокий статус академического института. Вместе с тем меня несколько беспокоило одно не очень приятное обстоятельство: на запрос нашего вуза о предоставлении мне целевого места в аспирантуру за месяц до нужного срока пришел недвусмысленный отказ. Это означало, что сдавать экзамены мне разрешалось, но исключительно на общих основаниях и, как мне сказали знающие люди, без каких бы то ни было шансов на успех: Москва, академический институт, острейшая конкуренция со стороны выпускников МГУ, ЛГУ, а также многочисленных «целевиков» из других городов и союзных республик. Завкафедрой, узнав о министерском письме с отказом, как-то растерянно спросил: «Что будешь делать?» Я ответил: «Буду поступать». Вместе с тем сам я тогда хорошо понимал: чтобы поступить, нужно сдать реферат и все вступительные экзамены только на «пятерки», любые иные варианты исключались, ибо были равносильны провалу. И хотя эта задача сама по себе была очень трудной, ее выполнение в моей ситуации все равно еще не гарантировало успеха. Тем не менее я принял твердое решение и... поступил, набрав максимальный балл и потеснив многих своих конкурентов.

В общем, получается, что Вы – представитель по крайней мере третьего поколения Вашей семьи с высшим образованием. Дедушка был философом, дядя – профессор истории, мама – филолог. Верно ли, что семья в первую очередь определила выбор вами истории как профессии?

Насчет третьего поколения Вы правы. Это действительно так. Что же касается семьи, то, конечно, ее влияние тогда было самым сильным. Иначе, наверное, и быть не может, когда человеку, выбирающему профессию, всего 16–17 лет. Все иные внешние воздействия в этом возрасте обычно становятся второстепенными. Тем более, что я всегда был человеком домашним, и мнение родителей для меня значило очень много.

Мама хотела, чтобы я стал преподавателем, ученым. Папа тоже никогда не возражал. Он и сам очень многие годы (параллельно) работал со студентами энерготехникума и энергетического института. Его все время приглашали то вести дипломные проекты, то рецензировать выпускные работы, то кого-то консультировать и т.д. Поэтому у нас в доме, как правило, в периоды вузовских сессий (зимой и поздней весной), часто бывали студенты с их неизменными тубусами, чертежами и папками. Раскладывался большой стол для просмотра ватманов, ставилась настольная лампа, и начинались долгие и детальные обсуждения. Затем шли замечания, обосновывался текст отзыва или рецензии и т.д. Ко всему этому я за долгие годы настолько привык, что к моменту выбора профессии иной судьбы для себя я уже просто не представлял.

Другое дело – конкретная специальность. История или что-то еще – этот вопрос мог обсуждаться и неоднократно обсуждался тогда в семье. Но всегда, насколько я помню, одно было абсолютно ясно: это будет гуманитарная наука. В принципе это могли быть либо история, либо право. Однако в те годы правоведения, как специальности, ни в одном из ивановских вузов не было, а учеба в каком-то другом городе полностью исключалась. И вообще, говоря откровенно, объективные возможности для выбора профессии в рамках гуманитаристики у меня были весьма ограничены. Иваново – не Москва, не Ленинград и даже не Горький с Ярославлем. Так что решение поступать на истфак, как мне это видится сегодня, было в какой-то мере результатом жизненного компромисса. Хотя, признавая это, я сегодня не испытываю ни малейшего сожаления.

Итак, мы добрались до Москвы. Какой же это был год? Насколько Вы оказались готовым к московскому ритму, к московской культуре? Ведь родители, пожив недолго в Москве, уехали из нее. Как Вас встретил Институт социологии? Кто был тогда во главе

института? Кто стал Вашим руководителем? Какие варианты темы рассматривались и на чем остановились? Кто из ведущих в те годы специалистов института, помимо Вашего руководителя, оказал наибольшее влияние на Вашу работу, на общий социологический кругозор? С кем из Вашего поколения Вы были наиболее близки?

Это был 1980-й, через несколько месяцев после московской Олимпиады. Вступительные я сдавал в начале октября, а зачисление состоялось 25 декабря 1980 г. Для меня это, конечно, было событием, поэтому дату до сих пор помню точно. На официальном вызове значилась подпись: «Директор Института социологических исследований АН СССР, член-корреспондент Т.В. Рябушкин».

В аспирантуру я пришел со своей темой. Никто мне ее не назначал и не подсказывал. Как и почему она возникла, сейчас сказать трудно, но к этому времени я почти год собирал материалы по «советологии интеллигенции», ездил в Ленинку, сначала в общие залы, а потом и в спецхран, сам искал соответствующие книги, западную периодику, тематически близкие диссертации и вообще все, что относилось к этой теме. Обобщил собранное в реферате, который требовался при поступлении. В общем, какие-то идеи и соображения к тому времени уже были. Тем более, что за несколько месяцев до этого тема в предварительном порядке была согласована с Фридрихом Рафаиловичем Филипповым, тогдашним завотделом социальной структуры советского общества, к которому я приехал советоваться насчет аспирантуры. Он встретил меня очень доброжелательно, спросил, чем хочу заниматься, каким иностранным языком владею, какие у меня есть наработки, что читал и т.д. В конце разговора сказал, что данной темой мог бы руководить Владимир Филиппович Сбытов, который незадолго до этого защитил докторскую и только что принял вновь созданный сектор социологического изучения интеллигенции. Что по этому поводу думал сам В.Ф. Сбытов, я не знаю, но мой реферат он точно читал, что-то в нем, возможно, увидел и готов был взять меня с моей темой в свой в сектор.

Так что занимался я критикой советологических концепций интеллигенции, а научная специальность, по которой я поступал, была 09.00.01 – «диалектический и исторический материализм». Позднее, перед самой защитой, по совету Г.В. Осипова, бывшего тогда председателем диссертационного совета, в который я представил работу, специальность мне переключили на «ноль третью» («история философии»).

Тему в секторе особо не обсуждали, приняли как должное. И лишь накануне предзащиты, когда диссертация была почти готова, мне было настоятельно предложено заменить в названии

слово «советологические» концепции на «социологические» с учетом профиля института.

В Москву я приехал в самом конце декабря 1980 г., за несколько дней до Нового года, оформился в отделе аспирантуры, устроился в общежитие аспирантов АН СССР на ул. Островитянова. А вот с научным руководителем смог встретиться и в первый раз переговорить только через месяц, в двадцатых числах января. В.Ф. Сбытов был тогда заместителем директора Института по науке, и ему все время было некогда.

В принципе, по большому счету, так продолжалось и далее, по крайней мере, года до третьего. В общем-то он и не руководил моей работой *в буквальном* смысле этого слова, так, как это делают сегодня некоторые научные руководители, жестко опекая своих аспирантов. Он просто ставил задачи, согласовывал со мной сроки, контролировал выполнение крупных этапов, выносил мои доклады на заседания сектора и т.д. При этом у В.Ф. Сбытова было одно замечательное качество, мечта любого аспиранта – он никогда не вмешивался в творческий процесс, никогда ничего не редактировал и не правил ни одного слова в моих текстах. Не помогал, но и, что самое главное – не мешал. И даже в окончательном варианте диссертации, после ее прочтения руководителем, я не нашел практически никаких рукописных пометок. Исправлять было нечего...

Наш сектор был новым и тогда только формировался. При мне в нем, кроме В.Ф. Сбытова, работали С.Н. Быкова, Ю.Н. Козырев, А.Н. Величко и несколько молодых сотрудников, включая аспирантов – Г.М. Трегуб, О.В. Крыштановская и др. Каждый, насколько я помню, занимался изучением «своего» отряда интеллигенции: научно-технической, ИТР, медицинской, педагогической и т.д. И в этом смысле я несколько «выпадал» из общей системы такого разделения труда. Маргинальность моего положения состояла еще и в том, что я как бы не был социологом в полном смысле этого слова. Я не проводил своих эмпирических исследований, не занимался разработкой программ, вопросов, обработкой данных и вообще ничем таким, что свидетельствовало бы о моей прямой принадлежности к соответствующему профессиональному цеху. Меня, однако, это совершенно не смущало, по крайней мере, поначалу. Я видел перед собой одну единственную прагматическую цель: за три года подготовить и защитить диссертацию. Я твердо знал, что не имею права потратить их впустую и, не достигнув результата, вернуться домой, где у меня остались родители, фактически кормившие меня все это время, жена и сын, которому тогда только исполнилось три года.

Отрываться от семьи и привычных домашних условий было, конечно, трудно. Поэтому я поначалу избрал для себя такой режим: две-три недели недели плотной, с утра и до позднего вечера, работы в московских библиотеках, неделя – дома, но тоже за письменным столом. В секторе больших проблем не было, к этому все отнеслись с пониманием, тем более что никакой потребности в моем постоянном присутствии в институте не было. К чести научного руководителя, он тоже сильно не возражал, хотя и знал о моих постоянных отъездах. Главное, считал он, чтобы работа не стояла на месте, а постоянно продвигалась. И так продолжалось фактически вплоть до самых последних дней моей работы в Москве.

Круг моего личного научного общения, по крайней мере, в первое время, был весьма ограничен и, как правило, не выходил за рамки нашего сектора или отдела. Но причина главным образом – во мне: я сам не искал широких контактов. Мне, возможно, в силу моего склада характера, всегда больше импонировала сосредоточенная работа в тиши библиотек, чем суета публичных дискуссий. И тогда, и в более поздние годы я старался избегать всяческих собраний, заседаний и обсуждений, очень редко участвовал в научных конференциях. И вообще свои первые тезисы на конференцию я послал и опубликовал, уже будучи кандидатом наук, примерно через три года после защиты. Долгое время я считал эту необщительность своим минусом, но недавно, прочитав аналогичные признания Ф.Э. Шереги в Вашем с ним интервью [1], понял, что я в этом плане не одинок.

Из числа сотрудников сектора мне чаще всего приходилось общаться с А.Н. Величко и С.Н. Быковой. Величко (автор известной книги «Социолог на предприятии», написанной совместно с В.Г. Подмарковым) посвящал меня в методические тонкости формулирования анкетных вопросов и технологию построения системы эмпирических индикаторов для измерения тех или иных социальных характеристик. С.Н. Быкова, несколькими годами ранее защитившая кандидатскую диссертацию у Ф.Р. Филиппова по американской социологии образования, была, как говорится, «в материале», хорошо знала работы западных авторов, различные теоретические подходы, поэтому у нас с ней было много общих тем. Кроме того, она много работала, часто публиковалась, вела полевые исследования. Скорее всего, именно она была инициатором привлечения меня к участию в опросах, проводившихся сектором. От нее я получил и первые, тогда еще очень несовершенные, знания и навыки в плане прикладных исследований.

В рамках подготовки к кандидатским экзаменам для аспирантов второго года обучения были организованы небольшие

тематические циклы лекций ведущих ученых Института по разным отраслям социологии. Методику социологических исследований читала О.М. Маслова, социологию семьи – М.С. Мацковский, социологию общественного мнения – В.С. Коробейников, социальное прогнозирование – И.В. Бестужев-Лада.

Ю.Н. Давыдов вел спецсеминар по социологии М. Вебера, оставивший в моей памяти самые сильные впечатления. Научный уровень обсуждения был высочайшим. Юрий Николаевич обладал очень глубокими, поистине энциклопедическими познаниями, но в то же время был очень требователен к себе и, соответственно, к нам – аспирантам. Это знали все, а потому явиться к нему на семинар, не выполнив программу, было невозможно. В то же время он был внутренне очень добрым и снисходительным человеком.

На нашем аспирантском курсе училось, как мне помнится, человек двадцать, однако в силу ряда причин какого-то внутреннего единства у нас никогда не было. К своему тогдашнему кругу близкого общения я отношу Сашу (Александра Фридриховича) Филиппова, с которым мы познакомились еще во время вступительных экзаменов и который, будучи аспирантом Ю.Н. Давыдова, занимался очень редкой для того времени темой – социологией Н. Лумана; Ольгу (Евгеньевну) Трущенко, работавшую под руководством О.Н. Яницкого в секторе социологии города; Ольгу (Викторовну) Крыштановскую и Григория (Михайловича) Трегуба, моих коллег по сектору интеллигенции; и, конечно же, Володю (Владимира Николаевича) Тимохина из Нижнего Новгорода, с которым мы все три года прожили в одной комнате аспирантского общежития (он был учеником С.Ф. Фролова и в Отделе социологии труда занимался исследованиями в области физкультуры и спорта). Годом позже у нас училась Галина (Сергеевна) Широкалова, ныне профессор одного из нижегородских вузов. Из ивановцев мне всегда ближе всех был Валера (Валерий Георгиевич) Ледяев (сегодня профессор «Высшей школы экономики»). Интересно заметить, что все, кого я сейчас назвал, и по сей день работают в нашей профессии, добились немалых успехов в науке, многие защитили докторские диссертации.

Когда вы смогли закончить кандидатское исследование и защитить его?

Диссертацию я завершил за два года, обсудился у себя в секторе в декабре 1982 г., но, несмотря на положительное заключение, этап «предзащиты» у меня на этом не закончился. До сих пор не очень понимаю почему, но через пару недель мне пришлось выступать с докладом еще раз, теперь на сов-

местном заседании двух отделов – «Социальной структуры» и «Теории и истории социологии» (в его рамках тогда работал сектор критики современной буржуазной социологии, которым руководил Ю.Н. Давыдов). Возможно, это было связано с какими-то формальными нестыковками темы диссертации и профиля нашего сектора. Но как бы то ни было, только после всех этих процедур я получил официальное заключение для диссертационного совета и, тем самым, допуск к защите. Руководитель торопил с выходом на совет, а я, наоборот, все оттягивал этот вопрос. В.Ф. Сбытов тогда еще не знал одного нюанса, о котором я, увлекшись разного рода обсуждениями, забыл ему сказать. Дело в том, что у меня оставался несданным еще один, наверное, самый тяжелый кандидатский экзамен – специальность (история социологии). Я планировал его сдавать в мае, на третьем году обучения, когда закончу все хлопоты, связанные непосредственно с диссертацией. Так что пришлось, с одной стороны, немного огорчить своего научного руководителя, уже готового было обсуждать дату и детали моей будущей защиты, а с другой, вновь засесть за книги еще примерно на полгода. И только после сдачи в июне 1983 г. последнего экзамена я смог приступить к подготовке к защите. Она состоялась 18 января 1984 г.

Что Вам удалось сказать относительно советской интеллигенции, что, по Вашему мнению, было ложным в советологических концепциях, в чем они расходились с отечественным видением этого социального образования?

Мне не хотелось бы особо углубляться в эту тему, поскольку сегодня, на мой взгляд, это совершенно не актуально и, наверное, мало кому интересно. К тому же, сказать честно, мне всегда было ясно, что научная и, тем более, практическая значимость «критических» («антисоветологических») работ невелика и в известной мере даже сомнительна. Я прекрасно понимал, что участвую в идеологической борьбе, отстаиваю и защищаю вполне определенные ценности и волю или неволю выступаю в роли социального апологета. Между тем эти роли (особенно последняя) мне совершенно не нравились; все это функции государства, а не ученого, и защищать общественный строй от «нападков» советологов мне почему-то не очень хотелось.

Кроме того, по мере вхождения в материал я все больше убеждался, что критика – это особый и очень трудный жанр научного и литературного творчества. Чтобы серьезно дискутировать, а не просто, как тогда говорили, «размахивать дубиной» и в качестве аргументов цитировать классиков марксизма,

нужно было быть, во-первых, очень искусственным полемистом, во-вторых, человеком опытным как в жизненном плане, так и в научном отношении и, в-третьих, хорошо знать социальную и политическую систему СССР изнутри, ее устройство во всех деталях и тонкостях. Однако ни того, ни другого, ни третьего у меня тогда, конечно же, не было. Да и задачу свою я видел совсем в другом.

Меньше всего меня волновала степень убедительности (для моих незримых оппонентов) моих собственных контраргументов. Я стремился как можно полнее и точнее *воспроизвести* содержание западных концепций, понять их логику, изложить аргументы и обоснования. Мне хотелось представить целостную картину советологических взглядов и воззрений на проблему интеллигенции, без изъятий и идеологических купюр. Я считал это важным, поскольку в тогдашней советской литературе идеи западных авторов подавались в усеченном, рафинированном, сильно упрощенном и нередко окарикатуренном виде, приспособленном под возможности критики и имеющиеся у критиков доводы и аргументы. В результате из большинства публикаций ничего невозможно было понять, кроме тезиса об общей идеологической и политической враждебности советологии. А между тем оригинальные тексты работ западных авторов были совершенно недоступны подавляющему большинству наших ученых.

Замечу, мое отношение к советологии всегда было очень двойственным и противоречивым. С одной стороны, советологи в большинстве своем – тонкие и глубокие критики нашего тогдашнего общества, строя и т.д. Многие из того, о чем они писали в те годы, было правильным и соответствовало советской действительности. Однако среди них тоже были разные люди: по степени ангажированности, по политическим взглядам, по отношению к нашей стране, по осведомленности, уровню квалификации, профессионализма и пр. Одно дело – работы (и теории) Д. Белла, А. Тоффлера, А. Гоулднера, Л. Козера, Р. Арона, Д. Лейна... или даже неомарксистов из журнала «New Left Review» (К. Кастроадиса, Е. Мандела и др.), и совсем другое – статьи т. н. диссидентов, очень любивших размышлять, например, в журнале «Problems of Communism» о месте, роли и положении интеллигенции в столь нелюбимом ими советском обществе. Так что множество очень разнородных идей и подходов к анализу и оценке интеллигенции, их содержательная и парадигмальная пестрота – первое, что бросалось в глаза даже при беглом знакомстве с англо-американской и западноевропейской литературой того времени. Одних концепций интеллигенции как «нового класса» было, насколько я помню,

не менее десятка. И если с теориями «культурного капитала», «постиндустриального общества» или «революции менеджеров» спорить было почти невозможно, то разного рода идеи об интеллигенции как новом классе социалистических собственников, незаконно владеющих всеми объектами общенародной собственности и присваивающих производимый в обществе прибавочный продукт, или интеллигенции как бюрократии и «новом правящем политическом классе» не имели под собой рациональных оснований, сильно расходились с нашей действительностью и лично у меня не вызывали ни сочувствия, ни тем более симпатий.

И вообще, если бы начинать эту тему заново, я многое, наверное, сделал бы не так, как тогда, в начале 1980-х гг.

Тема интеллигенции и сейчас крайне острая, некоторые из специалистов вообще полагают, что русская интеллигенция «рассосалась», доживает свой век. Каково Ваше мнение? Можно ли сказать, что российские социологи – часть интеллигенции?

Если бы этот вопрос мне был задан в те годы, когда я занимался проблемами интеллигенции, я, вероятно, ответил бы иначе, чем сегодня. И дело не в официальной или предписанной точках зрения. Просто моя собственная позиция с тех пор сильно изменилась. Раньше я был сторонником классического социально-структурного подхода, согласно которому интеллигенция – это особая социальная группа (слой) людей, занятых преимущественно умственным трудом, требующим для его выполнения среднего специального или высшего образования. И в этом смысле интеллигенция мало чем отличается от интеллектуалов в их англо-американской трактовке.

Данный подход в советской социологии всегда противостоял (или противопоставлялся) «внеструктурному», социально-этическому, выделяющему интеллигенцию из всех других классов и групп общества по двум критериям: 1) особому, присущему только ей самосознанию, определенному строю этических, философских и социальных ценностей и качеств и 2) критическому отношению к политическому и общественному строю своей страны. С этой точки зрения, интеллигенция – «ум, честь и совесть народа», искатель правды и справедливости, а потому вечный критик и оппонент власти.

Но вся проблема как раз в том и состоит, что именно этот смысл был изначально заложен в русском слове «интеллигенция»; именно независимость, совестливость, способность к состраданию, стремление действовать на благо народа и общества, критический стиль мышления и прочие нравственные качества всегда считались отличительными чертами русской

интеллигенции. И в этом, подчеркиваю, изначально, *русском* смысле слова интеллигенция в современной России практически перестала существовать. Меньшая часть этого бывшего социального слоя оказалась встроенной в нынешнюю систему собственности и власти и вместе с «меркантилизацией» ценностей, когда, кроме денег, ничего не свято, утратила право называться интеллигенцией. Подавляющее же большинство прежней советской интеллигенции, ее массовые слои находятся сегодня в таком униженном, забитом и жалком состоянии, которое вряд ли могли предвидеть в своих антиутопиях советологи 1970–1980-х гг. прошлого века. Страну захлестнул вульгарный антиинтеллектуализм. То, что западные авторы всегда ставили в вину социализму, стало неотъемлемой частью государственной политики в современной России. Правда сегодня об этом все молчат, в том числе и наши правозащитники, и западные аналитики – представители постсоветологии. Молчит, к сожалению, и сама интеллигенция. И социологи тоже исключением не являются. Само слово «интеллигенция» полностью исчезло из политического лексикона и даже из повседневного языка. Оно сохраняется лишь на страницах отдельных научных журналов, где иногда обсуждается данная тема. Даже в научных кругах термин «интеллигенция» сегодня вызывает иногда подчеркнутое неприятие и отторжение, т. к. ассоциируется с «архаикой советских времен».

Аспирантура закончена, диссертация защищена... что далее?

Вернулся в Иваново и вновь стал работать на той же кафедре, с которой ушел в аспирантуру. В.Ф. Сбытов перед моим отъездом из Москвы несколько раз пытался завести разговор о моей возможной работе в ИСИ АН СССР, предлагал остаться в секторе, обещал решить вопрос с московской или подмосковной пропиской. Но, с моей точки зрения, тогда, в тех условиях все это было маловероятно или, по крайней мере, очень хлопотно. Поэтому серьезно я этот вопрос не воспринимал, ни с кем более его не обсуждал, и в феврале 1984 г. приступил к работе на своей прежней кафедре.

Уезжая, я полагал, что вернусь из суетной Москвы в тихое и спокойное Иваново и все будет замечательно, однако я сильно заблуждался. С точки зрения работы, разница между академическим институтом, к которому я успел уже привыкнуть, и провинциальным техническим вузом оказалась громадной. Буквально в самые первые месяцы я понял, что работать здесь невозможно, общая психологическая атмосфера в вузе за прошедшие годы стала совершенно невыносимой, отношение к нам, гуманитариям, со стороны руководства (ректората, дека-

натов, парткома и проч.) было просто дискриминационным. Фальшь, лицемерие, интриги, постоянные «проработки» на всех уровнях, высокомерие, унижение и несправедливость стали своего рода нормой вузовской жизни середины 1980-х гг.

Профессионализм совершенно не был востребован, никакая социология (равно как и история, философия и проч.) никому не была нужна. Всех мучили так называемой «общественной работой», которая представляла собой изощренную форму эксплуатации и была тогда главным критерием оценки профессиональной деятельности любого преподавателя, от ассистента до профессора.

Не будучи членом партии (а к тому времени уже и членом ВЛКСМ), я сначала робко, а затем и открыто начал возражать и возмущаться против этих порядков, отказываться от бесчисленных «нагрузок» и поручений. Однако кончилось все это плохо. Сначала наш тогдашний декан, как мне рассказывали, на каком-то из партсобраний, назвав мою фамилию, публично заявил: «Такие преподаватели нам не нужны». Меня все чаще стали называть «неуправляемым», «неудобным» и т.д. На всю жизнь запомнил также, как в 1984 г. один из областных партийных чиновников в моем присутствии на полном серьезе обсуждал с нашим ректором по телефону возможность подготовки официального письма в ВАК от имени ивановских партийных органов и руководства вуза с ходатайством о лишении меня ученой степени кандидата наук за то, что я «не люблю партию». Доподлинно знаю и об инициативе партфункционеров уволить меня из вуза по какой-то там очень «страшной» статье (то ли 249, то ли 254, сейчас не помню), навсегда лишившей бы меня права работать в системе образования.

Серьезных оснований для каких бы то ни было санкций против меня у моих недоброжелателей не было, тем не менее, мне сразу же после всех этих событий запретили читать лекции студентам, посчитав опасным мое влияние на умы молодежи, и надолго заблокировали избрание на должность доцента. В результате свое первое ученое звание я получил лишь через пять лет после защиты диссертации – в самом конце 1988 г.

И все же от одного общественного поручения я не смог отказаться и выполнял его с удовольствием и интересом. Было это в начале 1986 г. В стране начиналась перестройка, аналогичные процессы пошли и в нашем институте. Сменилось все руководство вуза. Пришел молодой, прогрессивный ректор. Был избран новый секретарь парткома, мысливший в перестроечном духе. Уволили прежнего декана. Ушел (хотя и добровольно) со своей должности бывший заведующий кафедрой.

В вузе заговорили о необходимости систематического изучения и учета общественного мнения преподавателей и студентов и, соответственно, о создании социологического Центра ИЭИ. Сначала мне было поручено заняться организационными вопросами, подготовкой документальной базы, подбором кадров, составлением рабочих и перспективных планов, а затем и возглавить работу по проведению конкретных эмпирических исследований «под ключ» силами вновь созданного Центра.

Чем мы тогда занимались, что исследовали? Всем, что сами считали нужным и актуальным: изучением общественно-политической активности студентов, их отношения к выбранной специальности, анализом студенческого самоуправления в вузе, исследованием эффективности только что введенной в институте новой системы организации учебного процесса («РИТМ»), оценкой деятельности парткома в условиях перестройки и т.п. Проводили небольшим коллективом в среднем по 10–12 исследований в год. Никто над душой у нас не стоял, тематику не навязывал, сроки не регламентировал. Требовалось лишь ставить в известность руководство вуза, прежде всего партком, о наших планах и представлять отчеты о результатах исследований, но это были сущие мелочи по сравнению с доперестроечными временами. Нам была предоставлена практически полная свобода мысли и действий.

Не могу сказать, что нам очень нравилась та проблематика, которой мы занимались. Дело было совсем в другом. С одной стороны, мы, «обществоведы», фактически впервые за многие годы и десятилетия в своем институте оказались по-настоящему востребованы. К нам сразу изменилось отношение в вузе. наших опросов ждали, интересовались их результатами, серьезно обсуждали, публиковали, озвучивали на разных уровнях, делали выводы, что-то меняли и т.д. Это был настоящий прорыв. С другой стороны, для нас очень важен был тот исследовательский и прежде всего методический опыт, который мы все вместе нарабатывали в ходе проводимых тогда исследований. Ведь до Центра у меня он вообще был минимален, самостоятельных (своих) исследований я прежде не проводил и уж тем более никогда не выступал в роли их организатора и научного руководителя. Все остальные сотрудники (даже несмотря на то, что некоторые из них были социологами по базовому образованию, полученному в УрГУ и ЛГУ) в лучшем случае имели лишь самое общее, теоретическое представление о методике организации и проведения социологических опросов. Так что многое пришлось достигать по книгам и в процессе практической работы. Все держалось лишь на интересе и личном энтузиазме, который подпитывался осознанием собственной востребованности.

Поначалу мы вели только внутривузовские исследования, но, начиная с 1987 г., постепенно стали выходить на уровень города и области, работать с промышленными предприятиями как текстильного, так и машиностроительного профиля на хозрасчетных началах, с редакциями областных газет, радио и телевидения, а с конца 1980-х гг. – и с органами власти и управления на уровне города и области. О социологическом Центре ИЭИ серьезно заговорили.

Стали поступать заказы на проведение исследований, просьбы о публикации наиболее значимых результатов в различных СМИ. Работы значительно прибавилось, но и известности в регионе – тоже. Примерно за три перестроечных года (1988–1990) только мною было опубликовано более 50 больших социологических материалов (объемом до целой газетной полосы) на разные темы практически во всех ивановских газетах и журналах. Большая работа велась также на «Радио Иваново», а несколько позднее и на местных каналах телевидения.

В эти годы, насколько я помню, мы работали сумасшедшими темпами. В моем архиве сохранились многие десятки (70–80) анкет, разработанных для исследований тех лет. На промпредприятиях мы изучали текучесть кадров, социально-психологический климат в коллективах, условия труда и производственного быта работающих женщин, эффективность бригадных форм организации труда, проблемы производственного самоуправления, пытались прогнозировать социальную напряженность в трудовых коллективах. Парткомы крупных фабрик и заводов, в том числе знаменитого ИСПО, интересовались изменениями, происходящими в социальной базе КПСС и ВЛКСМ, а также отношением к партии в нашем тогдашнем обществе.

На общегородском уровне исследовали динамику политических ориентаций городского населения, общественное мнение жителей Иванова о работе предприятий торговли и общественного питания, о путях ускорения решения жилищной проблемы, вопросы развития социальной инфраструктуры города, перестройки в системе образования, социальной поддержки школьных учителей и т.д. В те годы наш Центр был единственной в Иванове организацией, проводившей массовые опросы населения.

С конца 1990 г. мы первыми в городе начали серьезно заниматься электоральными исследованиями и прогнозированием исхода голосований. И выборы мэра г. Иванова 1990 г. стали для нас первой серьезной проверкой на профессионализм. Прогноз, к всеобщей радости, оказался удачным и на редкость точным. С этого момента к нашим рекомендациям

начинают прислушиваться, а прогнозным оценкам – доверять. Начался новый этап в нашей деятельности, связанный, с одной стороны, с проведением регулярных общегородских социологических исследований по заказу и при поддержке городской администрации, которые мы продолжаем и по сей день, а с другой, – с социологическим обеспечением избирательных кампаний разного уровня (выборы президента РФ, депутатов Государственной думы от Ивановской области, губернатора области, мэра областного центра, депутатов областной и городской Думы и т.д.).

Социологический Центр номинально имел общеинститутский статус, но фактически существовал при нашей кафедре и был ее неотъемлемой составной частью. Под влиянием деятельности Центра менялась и кафедра, которая в 1989 г. по нашей инициативе решением ученого совета института была переименована в кафедру теории социализма и социологии, а в 1990 г. (т.е. еще в советский период) – в кафедру политологии и социологии. Социологическая проблематика в нашей тогдашней учебной деятельности была представлена, по понятным причинам, пока еще очень слабо, но кое-что и в этом плане тоже удалось пробить. В частности, в 1988 г. я начал читать студентам двух инженерных факультетов небольшой факультативный спецкурс по эмпирической социологии, включавший самые общие вопросы методики прикладных социологических исследований. Через год в вечернем университете марксизма-ленинизма я вел уже расширенный курс методологии и методов исследования (порядка 50 ч.) для партийных работников и линейных руководителей промышленных предприятий, учреждений и организаций города.

Опыт практической исследовательской работы, накопленный за предшествующие годы, мне тогда очень пригодился, а опыт чтения лекций по методике помог в дальнейшей преподавательской деятельности. В сентябре 1991 г. у нас в институте была открыта специальность «Социология» и наша кафедра стала выпускающей.

Как вы в те годы планировали и реализовывали городские и региональные выборы? Как проводили опросы? Контактывали ли вы по этим темам с московскими специалистами?

Без всякого преувеличения могу сказать, что к организации выборочных исследований и вообще ко всем методическим вопросам мы всегда относились серьезнейшим образом. В нашей исследовательской практике применялись разные модели, типы и виды выборок, от случайных до квотных и даже «конформных». Все зависело от характера исследования, его

предмета, объекта, целей, задач, в общем, от того, что мы обычно называем спецификой исследовательской ситуации. Вместе с тем немаловажную роль в такого рода вопросах играют и ресурсы (временные, человеческие, финансовые), имеющиеся в нашем распоряжении. Ведь конструирование выборки – это всегда цепь вынужденных компромиссов, и здесь нам часто приходится лавировать между Сциллой стремления к точности и Харибдой многочисленных ресурсных ограничений.

В исследованиях на промышленных предприятиях мы обычно использовали многоступенчатые случайные выборки, в частности, стратифицированные с последующим пропорциональным серийным или гнездовым отбором (на уровне бригад, например). В массовых опросах населения чаще практиковали квотную модель с контролем распределений респондентов по роду занятий, а с конца 1990-х гг. – по полу и возрасту опрашиваемых. Между тем было несколько случаев, когда в электоральных исследованиях (в порядке эксперимента) мы меняли случайную выборку с систематическим отбором респондентов по спискам избирателей. Однако в качестве данных, насколько я помню, мы тогда ничего не выиграли, а с точки зрения оперативности много потеряли. В результате, с учетом этого не очень удачного опыта, предпочтение впоследствии мы стали отдавать квотной модели.

Поначалу это были простые квотные выборки с отбором «на усмотрение» интервьюера, но примерно с 1993 г., мы окончательно перешли на многоступенчатые комбинированные («квотно-случайные») варианты.

Некоторым социологам-методистам принципиально не нравится сам термин «квотно-случайная» применительно к выборке. Г.Г. Татарова, например, постоянно критикует меня за то, что я пытаюсь ввести в научный оборот «неудачную метафору». Между тем, на мой взгляд, данный термин как раз очень хорошо и точно отражает суть производимых исследователем процедур, состоящих в комбинировании двух известных выборочных моделей: сначала различные методы случайного отбора (стратификация, маршрутная рандомизация, систематический отбор домохозяйств), а затем (на завершающей стадии) квотирование по основным контрольным признакам. Такая схема довольно проста с точки зрения реализации, понятна интервьюерам и хорошо контролируема. Вместе с тем она не позволяет полевому персоналу допускать разного рода вольности, неизбежно оборачивающиеся систематическими смещениями: опрашивать, например, своих знакомых или людей, наиболее доступных в момент опроса. Респонденты, подходящие под заданные квоты, отбираются,

таким образом, не произвольно, по усмотрению интервьюеров / анкетеров, а с элементами случайности. И это самое важное. Что же касается термина «квотно-случайная выборка», то он уже давно и прочно вошел как в повседневный лексикон профессиональных социологов, так и в научные тексты. Его часто можно встретить, например, в англоязычных методических журналах при описании смешанных моделей выборки. Хорошо знаком он и нашим исследователям общественного мнения, занимающимся производством массовых опросов. По крайней мере, впервые я услышал этот термин еще в начале 1990-х гг. от моих коллег из ВЦИОМа.

В 1990-е годы мы много экспериментировали с выборками и прежде всего с т. н. «последовательной» (кстати, в свое время предложенной Джорджем Гэллапом) и «комбинированной» стратегиями определения объема выборочной совокупности. Очень хотелось понять две вещи: 1) каким должен (может) быть оптимальный объем квотной выборки для общегородских мониторингов по социально-экономической и политической проблематике и 2) какой признак (или признаки) следует использовать в качестве базового (базовых) при осуществлении процедур квотирования.

В ходе наших многократных экспериментов было установлено, что стабилизация количественных показателей (в пределах 1–2%) по всем основным переменным чаще всего наступает уже на уровне 650–700 анкет, а следовательно, это и есть тот самый порог, за которым дальнейшее увеличение числа опрашиваемых не имеет никакого практического смысла. Этого объема выборки, как оказалось, вполне достаточно и для автоматической репрезентации структуры городского населения по «независимым» контрольным переменным (например, доход и образование), по которым имеется объективная статистика. Интересно, что последующие исследования, проводившиеся в Иванове, многократно подтвердили правомерность этого вывода.

Наши эксперименты показали также, что признаки «пол» и «возраст», традиционно используемые в качестве контрольных, отнюдь не являются универсальными для квотных выборок. Между тем род занятий, или социально-профессиональный статус респондентов, как правило, тесно коррелирующий с возрастом, образованием и доходом, лучше всего подходит в качестве квотируемой (контрольной) переменной.

Для сбора эмпирических данных вплоть до начала 1990-х гг. мы использовали преимущественно (наверное, в 95% всех случаев) очное индивидуальное (реже групповое) анкетирование. Даже в поквартирных опросах предпочтение тогда отдава-

лось методу «самозаполнения» в присутствии анкетера. А вот с 1993–1994 гг. (отчасти под влиянием западных тенденций) полностью и надолго перешли на персональные интервью. Телефон же не использовали никогда, по принципиальным соображениям. С одной стороны, уровень телефонизации населения в середине 1990-х гг. в Иванове был крайне низким и составлял всего 28%. При этом в отдельных административных районах города этот показатель был еще ниже. К настоящему времени общий уровень, конечно, вырос (примерно до 66%), но все равно он вряд ли может считаться достаточным для получения репрезентативных данных в телефонном интервью. Кроме того, наши исследования, проведенные еще в те годы, показали существование высоких корреляций между наличием домашнего телефона и некоторыми ключевыми социально-демографическими переменными: возрастом, родом занятий и уровнем доходов респондентов. И никакие известные нам тогда методы случайного отбора респондента в семье (в том числе и процедуры Л. Киша) не приводили к положительным результатам. Смещения все равно оставались.

Многие годы все наши опросы мы проводили сами, исключительно силами сотрудников Центра и преподавателей кафедры, однако в связи с переходом на персональные интервью и массовые опросы по месту жительства нам пришлось много заниматься созданием собственной сети интервьюеров, поддержанием ее в рабочем состоянии, обучением полевого персонала и т.д. После открытия на кафедре социологической специальности и появления «своих» студентов (в 1992 г.) эта проблема стала решаться несколько проще, хотя и не автоматически.

С точки зрения технологии обработки данных мы тогда, наверное, мало чем отличались от большинства региональных социологических центров среднего уровня. Когда мы только начинали свои первые исследования (в 1980-е гг.), обработку осуществляли с помощью знаменитых тогда «таллинских» программ на больших советских ЭВМ (ЕС они, по-моему, назывались) в институтском вычислительном центре силами специалистов ВЦ (благо, что вуз технический, хоть в этом-то повезло). Позднее, когда перешли на персональные компьютеры (у нас в институте и на кафедре это произошло в 1993 г.), стали работать в программе SStat; SPSS освоили в 1998 г.

Все методические и организационные решения мы всегда принимали сами, обычно подолгу обсуждая основные нюансы будущих исследований. Хотя, конечно, это не значит, что мы «варились в собственном соку». Как и прежде, плотно общались с горьковскими (нижегородскими) социологами из филиала (а позднее – отдела) Института социологии (С.С. Ба-

лабановым, В.Н. Тимохиным и др.). Продолжались контакты с учеными из сектора интеллигенции ИС, который к тому времени возглавлял В.А. Мансуров (в 1988 г. я проходил там четырехмесячную стажировку). По каким-то вопросам советовались с О.М. Масловой, Н.В. Андреевской. Обменивались опытом, проводили совместные полевые исследования с социологами из владимирского отделения ИНФОДЕМО (Щипков В.И. и др.). Проблемы, связанные с организацией и методикой исследований, обсуждали с Э.В. Клоповым и сотрудниками его отдела в Институте международного рабочего движения АН СССР. В 1987–1988 гг. мы вместе с ними работали над проектом по изучению производственного самоуправления в трудовых коллективах (по результатам исследований, проведенных на ивановском поле, была опубликована целая серия наших статей сначала в сборниках ИМРД и ИС, а затем и в журналах «Рабочий класс и современный мир», «Техника и наука» и др.).

Вместе с тем должен признать, что в большинстве своем это были ситуативные контакты, и, несмотря на их исключительную важность, не они все-таки являлись главным источником вдохновения и новых идей. Наиболее существенную роль в этом смысле по-прежнему играла специальная научная литература и опыт наших собственных исследований и экспериментов. Во второй половине 1990-х – начале 2000-х годов мы экспериментировали не только с выборками, но и с формой и формулировкой вопроса, социологическими шкалами, традиционными и нетрадиционными методами сбора данных, апробировали различные измерительные подходы, методики повышения достоверности ответов респондентов и т.д. Для меня это было время очень интенсивных методических исследований, результаты которых впоследствии составили основу моей докторской диссертации. С другой стороны, это был один из самых счастливых периодов в моей жизни, когда работа взахлеб приносила величайшее наслаждение.

Теперь переходим к Вашей работе над докторской диссертацией...

С тех пор прошло немало времени, поэтому сейчас мне трудно сказать точно, как, когда и почему появилась тема, связанная с диагностикой и профилактикой неискренних ответов респондентов. Сегодня мне кажется, что я всегда жил этой темой, по крайней мере, с тех пор, как стал заниматься методологией социологических исследований и самостоятельно проводить опросы общественного мнения. Для меня давно было очевидно, что в опросных исследованиях качество информации очень

сильно зависит от того, насколько искренне опрашиваемые отвечают на вопросы исследователя. Теории «правдивого респондента», получившие довольно широкое распространение как у нас, так и на Западе, и утверждавшие, что «неискренних ответов не бывает», совершенно не убеждали. Между тем исследовательская практика, начиная с пионерной работы Г. Хаймана «Do they tell the truth?», опубликованной в «Public Opinion Quarterly» еще в 1944 г., и кончая самыми последними методическими исследованиями Р. Гроувза, Р. Туранжо, К. Расински, Т. Смита, Дж. Катанья, С. Садмена, Н. Брэдберна и многих других, напротив, давала массу очень ярких примеров, недвусмысленно свидетельствующих об опасности «ошибок сообщения»... Но если быть совсем откровенным, то все началось с прочтения небольшой брошюры Андрея и Елены Давыдовых «Измерение искренности респондента» [2], попавшейся мне в 1993 г. и явившейся затем мощным импульсом для многих моих дальнейших исследований и экспериментов...

Я не учился в докторантуре, не уходил в с.н.с.(ы), не брал творческий отпуск, а потому вплоть до дня защиты, работая в техническом вузе, в полном объеме выполнял многочисленные обязанности заведующего недавно созданной (в конце 1996 года) социологической кафедры. У меня не было официального научного консультанта, не было, в отличие от многих, и какого-то особого периода, в течение которого я бы «писал» диссертацию. Все происходило каким-то иным, совершенно непринужденным и, как мне кажется, естественным образом. Сегодня, по прошествии времени, могу твердо сказать: свою докторскую я не «вымучивал», она выросла из всех моих предыдущих исследований.

Долгое время я не позволял себе даже думать о своей работе в терминах «докторской диссертации». Я просто работал, с упоением читал западных авторов, перечитывал наших, искал новые, необычные идеи, планировал и проводил методические эксперименты, довольно много писал (и почти всегда ночами), публиковался в центральных социологических журналах, завоевывал признание в профессиональной среде. Все это мне очень нравилось... И, наконец, в какой-то момент понял, что тот замысел, который я в течение многих лет (года с 1998-го) вынашивал и держал до поры до времени в голове, не решаясь системно изложить на бумаге и уж тем более назвать докторской диссертацией, почти реализован, пора систематизировать и упорядочивать имеющиеся текстовые материалы, выстраивать их в соответствии с определенной внутренней логикой, в общем, завершать когда-то начатую работу. Это был ноябрь 2001 года...

А в первых числах декабря, предварительно созволившись,

я приехал к Геннадию Семеновичу Батыгину. Привез статью для «Социологического журнала», а заодно решил посоветоваться по диссертации и прозондировать возможность защиты в совете ИС РАН (ни о каком ином совете, по моему тогдашнему убеждению, не могло быть и речи). К тому же, мне очень нужна была объективная оценка моей работы человеком, которого я чрезвычайно ценил и к которому всегда относился с огромным уважением. Мы немного знали друг друга, причем достаточно давно, еще с начала 1980-х годов. Я тогда был начинающим аспирантом, а он – ответственным секретарем (или зам. главного редактора) «Социологических исследований». В редакции, собственно говоря, и познакомились. Мою статью по буржуазной социологии интеллигенции, которую я рискнул предложить журналу, он тогда деликатно отклонил (кстати, несмотря на положительный, как мне стало известно, отзыв М.Н. Руткевича), но я был совершенно не в обиде, т. к. понимал высокий статус этого академического издания и весьма скромно оценивал научный уровень своего аспирантскогоopusа. С тех пор мы почти не общались, если не считать коротких встреч в Ленинке и заочных контактов по линии «Социологического журнала». Так что фактически это была наша первая встреча после многолетнего перерыва...

Меня тогда сильно поразили теплота приема и непринужденность общения. Было такое ощущение, как будто мы всю жизнь знали друг друга и никогда не расставались. «Вот это тот самый Мягков», – сказал Г.С. Батыгин, представляя меня сотрудникам своего сектора и журнала. Я был буквально потрясен его словами и тем, что меня, оказывается, здесь знают и помнят.

Я выложил на стол план (оглавление) диссертации, список своих трудов, рукопись монографии, двумя часами ранее сданную в издательство «Флинта; Наука», и озвучил свои намерения. На мою робкую просьбу выступить в роли научного консультанта по диссертации Геннадий Семенович неожиданно ответил: «Зачем же консультантом, я мог бы пригодиться вам в качестве официального оппонента. Это гораздо важнее».

С этого времени наше общение стало регулярным. Не проходило, наверное, и недели, чтобы мы не обменивались звонками или и-мейлами. В конечном счете у нас сложились очень теплые, искренние человеческие отношения, отношения взаимного партнерства и сотрудничества, постепенно вышедшие далеко за рамки моей диссертации. Помню, с каким огромным удовольствием я и мои молодые коллеги по кафедре, специализированной в Москве, участвовали в работе знаменитых методологических семинаров, проходивших вечерами под эги-

дой Г.С. Батыгина в секторе социологии знания, как обсуждали новые, только что вышедшие или готовящиеся к печати книги, как писали статьи для «Социологического журнала», с каким волнением готовились к своим предзащитам мои тогдашние аспиранты. Невозможно забыть и то, с каким упоением мы работали над международным проектом по изучению молодежных девиаций, задуманном Г.С. Батыгиным совместно с социологами из Швейцарской академии социального развития, а затем уже в Иванове, у нас на кафедре все вместе обсуждали результаты наших исследований; как ходили по ивановским «коридорам власти» и различным общественным организациям, продвигая наш общий проект, а потом готовили и проводили международную конференцию «Будущее российской молодежи» в самом конце мая 2003 г. И хотя, к сожалению, успели мы до обидного мало, тем не менее, время, когда нам посчастливилось совместно работать и общаться с Геннадием Семеновичем и его замечательной «командой» единомышленников навсегда останется в моей памяти и в памяти всех моих ивановских коллег...

Я планировал завершить работу в ближайшие месяцы, но смог выйти на предзащиту лишь через год – в самом конце декабря 2002-го. О результатах исследований, по давно заведенной в секторе социологии знания традиции, докладывал на «Батыгинском» семинаре. Народу собралось много, были специалисты из разных научных, исследовательских и вузовских центров, в том числе и из других городов. Обсуждение длилось часа три с половиной, с неизменными «кофе-брейками». Помню, что критики в адрес моей работы было не очень много, коллеги в основном поддерживали. Что-то советовали, в чем-то сомневались, но все это было очень позитивно и выдержано исключительно в доброжелательных тонах. В качестве оппонентов позднее, на совете, утвердили Виктора Владимировича Знакова из Института психологии РАН – одного из немногих в стране специалистов по проблемам диагностики правды и лжи, Геннадия Семеновича Батыгина и известного социолога-методиста Михаила Ивановича Жабского из научно-исследовательского Института кино. Ведущей организацией назначили петербургский Социологический институт РАН, сектор Валерия Борисовича Голофаства.

Когда через некоторое время я привез Г.С. Батыгину готовый экземпляр автореферата, он, мельком взглянув на вторую страницу, где была впечатана дата моей предстоящей защиты, заметил: «А вот это вы зря!» – «А что, – удивленно спросил я, – разве что-то еще может произойти?» – «Может... – ответил он, – ...может быть все что угодно, даже самое непредвиденное...

нужно быть готовым к любым неожиданностям». Я не знаю, что тогда имел в виду Геннадий Семенович, но его слова, увы, оказались пророческими: 1 июня 2003 г. его не стало...

Совет, первоначально назначенный на 4 июня, отложили, а вместо заседания были похороны... Моя защита состоялась двумя неделями позже, но все это уже было не то...

Прошло шесть лет, что удалось сделать за это время?

После защиты был небольшой период, связанный с «профессиональным выгоранием». Однако особо хандрить было некогда. Почти сразу пришлось включиться в бесконечную череду плановых и внеплановых массовых опросов и электоральных исследований, которых в 2003–2005 гг. у нас было особенно много.

Учебная работа тоже не давала расслабиться. Студенческие проекты, аспирантские исследования, постановка и чтение новых курсов, открытие своей аспирантуры, подготовка к министерским аттестациям кафедры и специальности. За это время нам дважды удалось отстоять свое право готовить профессиональных социологов (а вузовские преподаватели знают, чего это стоит). Много времени и сил отнимало администрирование.

В научном плане вновь вернулся к своей прежней проблематике, связанной с изучением ответных смещений, хотя теперь она уже виделась мне гораздо шире. Здесь я старался следовать общей логике, заданной когда-то Р. Гроувзом [3]. В свое время, анализируя природу «невыборочных» ошибок, он выделил четыре основных источника их возникновения: респондент, интервьюер, инструмент и метод. В диссертации я сделал лишь первый шаг к их описанию и осмыслению, хотя и не считал тогда эту работу законченной. Фактически ее удалось в какой-то мере завершить лишь в 2007 г. публикацией книги «Искренность респондентов в сенситивных опросах: Методы диагностики и стимулирования», написанной на материалах не только прежних, но и вновь проведенных методических исследований [4].

Вместе с тем другие факторы смещений, требующие ничуть не меньшего внимания, по-прежнему оставались не до конца проясненными. Их изучению был посвящен целый ряд наших «инициативных» кафедральных проектов, по результатам которых, помимо десятка журнальных статей [5–7], мною и моими коллегами были написаны еще две монографии – «Эффект интервьюера в персональном интервью: Методология анализа и методы оценки» (Иваново, 2006, совместно с И.В. Журавлевой) [8] и «Повышение качества данных в телефонном интер-

вью: Методология и методы» (в соавт. с С.Л. Журавлевой) [9]. Хорошо, что все эти книги увидели свет. Жаль только, что они вышли малыми тиражами и в периферийном издательстве.

Из учебной литературы опубликованы три полнотекстовых учебника по различным дисциплинам для студентов-социологов и несколько методических пособий. Скоро должна выйти из печати и подготовленная нами хрестоматия по методологии социологических исследований.

В ближайших планах – продолжение экспериментов с вопросными формулировками и исследований по изучению возможностей адаптации техники «рандомизированного ответа» к телефонным интервью. А в перспективе очень хотелось бы вернуться к давно интересующей меня проблеме молодежной суицидальности, исследование которой я начинал еще в ранние 2000-е. Здесь тоже кое-что уже сделано.

Литература

1. Шереги Ф.Э. «У нас был “генетический” иммунитет против недоверия к любым формам власти»: Интервью Франца Шереги Борису Докторову // Социальная реальность: Журнал социологических наблюдений и сообщений. 2007. № 9. С. 65–83 <<http://socreal.fom.ru/files/sr0709-065-083.pdf>>.
2. Давыдов А.А., Давыдова Е.В. Измерение искренности респондента. М.: Институт социологии РАН, 1992.
3. Groves R.M. Survey Errors and Survey Costs. New York: Wiley, 1989.
4. Мягков А.Ю. Искренность респондентов в сенситивных опросах: Методы диагностики и стимулирования / Федеральное агентство по образованию; Ивановский гос. энерг. ун-т. Иваново, 2007.
5. Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Объяснительные модели эффекта интервьюера: Опыт экспериментального тестирования // Социологические исследования. 2006. № 3. С. 85–97.
6. Мягков А.Ю. Всегда ли респонденты говорят правду? Мета-анализ зарубежных источников // Социологические исследования. 2008. № 9. С. 20–31.
7. Мягков А.Ю., Журавлева С.Л., Прокофьев Е.Н. Модель «вынужденного ответа»: Экспериментальная оценка эффективности // Социология: Методология, методы, математическое моделирование. 2010. № 30 (в печати).
8. Мягков А.Ю., Журавлева И.В. Эффект интервьюера в персональном интервью: Методология анализа и методы оценки / Федеральное агентство по образованию; Ивановский гос. энерг. ун-т. Иваново, 2006.
9. Мягков А.Ю., Журавлева С.Л. Повышение качества данных в телефонном интервью: Методология и методы / Федеральное агентство по образованию; Ивановский гос. энерг. ун-т. Иваново. 2010.



Семенова В. В. – окончила факультет журналистики МГУ, доктор социологических наук, заведующий сектором Института социологии РАН, заместитель декана Социологического факультета ГУГН, Москва. Основные области исследования: методология и методика качественных исследований, биографический метод, социальные проблемы поколений. Интервью состоялось в 2010 году.

Несколько лет назад, отталкиваясь от ряда теоретических положений и материалов бесед с социологами, я предложил «лестницу поколений» советских/российских социологов

Но один вопрос я старался обходить, поскольку не видел ответа на него. Я понимал необходимость дать поколениям «имена» – названия, которые отражали бы одну из главных особенностей каждой профессионально-возрастной когорты. Но что-то сдерживало меня.

Сложнее всего оказалось с поколением социологов, вошедших в профессию в годы ранне-брежневского периода советского общества, и свое тридцатилетие его представители отмечали в годы «созревающего» и «перезревшего» застоя. Я называл их «четверным поколением социологов». В те годы наука не развивалась, исследовательское пространство «окуклилось», карьерные лифты остановились. Сегодня это поколение успешно работает, потому что было «спасено перестройкой».

Виктория Семенова – одна из ярких представителей этих «спасенных».

В.В. Семенова: «МОЙ ДОЛГИЙ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ»*

Вика, пожалуйста, расскажите о вашей родительской семье... в моих интервью я уже не раз сталкивался с тем, что перестройка и постперестроечное время по-новому открыли для людей – даже уже вполне зрелых – прошлое их семей... было ли у вас что-либо подобное?

Свою предисторию я бы начала с моих дедушки и бабушки, поскольку мы жили вместе, и наша жизнь текла и менялась в зависимости от дедушкиных назначений.

Мой дедушка с маминой стороны был из бедной семьи лесничего, но в юном возрасте получил возможность учиться в Киевском университете, это было еще до революции. Юридический факультет он тогда не закончил из-за начала гражданской войны: университет закрыли, и дедушка ушел на гражданскую.

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2010. № 6. С. 2–12.

В истории бабушки интересно, на мой взгляд, то, что ее семья была бедной неграмотной крестьянской семьей (г. Азов), которая, благодаря урожайным годам, несколько разбогатела в последние годы перед революцией. И тогда семья решила на эти деньги отправить всех своих 11 детей учиться, чтобы они получили высшее образование. Десять из одиннадцати действительно получили высшее образование, некоторые уже после революции. Эту историю я часто рассказываю своим детям и внукам, чтобы продемонстрировать ценность высшего образования в нашей семье.

В довоенные годы дедушкина карьера юриста продвигалась медленно, поскольку он не был членом партии, а вступил в нее только в годы войны, уйдя в ополчение, хотя было ему тогда уже под 50. В послевоенные годы, став членом партии, он стал получать высокие государственные назначения. Сразу после войны (1946 г.) он был направлен в Крымскую область заместителем министра юстиции, а в 1949 г. – в Чечено-Ингушскую республику, в г. Грозный – министром юстиции. Семья, бабушка-дедушка, мои молодые мама и папа, переезжали с места на место вслед за его назначениями, как это часто случалось тогда со многими советскими семьями. Даже трудно было сказать: откуда мы.

Там-то, в Грозном, я и родилась, это было в 1950 г. Впоследствии это обстоятельство неоднократно аукнулось в моей судьбе, поскольку когда я стала выезжать за границу в начале 90-х, каждый раз на границе меня останавливали, подозревая во мне потенциальную террористку, были разного рода сложности в посольствах и при приглашении на конференции. Своеобразная дискриминация по месту рождения.

Мне не исполнилось еще и года как дедушку снова перевели: он получил новое назначение – в Ярославль, и семья переехала туда, где я и провела свое детство и школьные годы на берегах Волги, вплоть до поступления в Московский университет. Мама была врачом-невропатологом, отец – партийный работник областного масштаба.

Это я рассказала к ответу на ваш вопрос, как вы переосмысливали свою историю в начале 90-х. Да, действительно, такое переосмысление было, но несколько раньше, в середине 80-х, когда началась перестройка. Мы много говорили об этом уже после смерти дедушки с моей мамой, ретроспективно сопоставляя события и факты. Дедушка был человек дореволюционной формации. К послереволюционным событиям относился очень осторожно, поэтому и в партию вступил очень поздно. В довоенные годы был два раза кратковременно арестован (за адвокатскую деятельность в защиту кулаков

и за то, что пел в церковном хоре Софийского собора), но под репрессии не попал.

Был открытым человеком, но о работе в семье говорил мало, чтобы не потревожить родных. Поэтому мы и сопоставляли факты задним числом: его назначение в Крымскую область сразу после выселения крымских татар, и затем назначение в Чечено-Ингушетию после очередного выселения. По-видимому, это было попыткой усилить юридическую легитимацию процесса выселения народов путем назначений из центра. Однако, и там, и там он задержался недолго и был переведен в спокойный Ярославль.

Я считаю, что от своей семьи получила очень сильный нравственный и интеллектуальный заряд, ориентацию на образование и на жизненные достижения. Неслучайно в бабушкиной семье неграмотных крестьян все дети были сориентированы на учебу и высшее образование и реализовали эти планы, как только в семье появились первые деньги. Этот заряд впоследствии существенно направлял и до сих пор направляет меня. Он шел в первую очередь от сформированного в семье образа дедушки как идеала для подражания. Мне всегда говорили, что я должна быть достойной внучкой своего дедушки, и, если я что-то делала не так, – «это недостойно внучки такого дедушки». По-видимому, это остаточное влияние некоей дореволюционной культуры, ориентированной на утверждение своего личного человеческого достоинства.

Эта нравственная ориентация, идущая от дедушки, была сильно поддержана жизненной философией моей мамы. Будучи врачом-невропатологом, она безгранично отдавала себя служению окружающим людям, больным и здоровым. Падала от усталости, но могла часами заниматься одним больным, если тому требовалась ее помощь. Я помню еще маленькой, как люди, выходя от нее, говорили: вот поговорила с вашей мамой, и уже стало значительно легче. А однажды мы с мамой бежали на трамвайную остановку, чтобы успеть на трамвай. Женщина-вагоновожатая, когда мы добежали, с укором сказала: «Ну, что же вы так бежали, разве я не вижу – мой доктор идет, ну разве я не подожду». Память о ней как о светлом и широкой души человеке и докторе до сих пор жива у людей, которые с ней встречались. И мои слова здесь о ней – это тоже дань ее памяти.

Духовное становление в годы ранней юности было поддержано в школе моим школьным окружением, где мы, компания из пяти-шести человек, активно обменивались своим ранним литературным опытом чтения Золя, Мопассана, Гюго, новинками журнала «Юность», магнитофонными бобинами с

записями битлов, раннего Высоцкого, Окуджавы, Визбора и других, добытых и привезенных от московских друзей. Это была престижная по тем временам специализированная школа с углубленным изучением английского языка, которая готовила своих выпускников достаточно хорошо. Сейчас только одна моя одноклассница из той компании осталась в Ярославле, два парня – в Москве, одна подруга работает архитектором в Питере, другая поступила в Киевский университет и живет сейчас в Киеве, а самая близкая – работает врачом в Таллинне, в Эстонии.

В недавнем письме Вы отметили, что учились на журфаке МГУ? Вы целенаправленно готовились к тому, чтобы стать журналистом, или дело случая? К какой области журналистики вы себя готовили?

Как часто бывает в подобных случаях, мой выбор журналистики как будущей профессии был скорее делом случая. Я училась в хорошей английской школе, была активисткой и амбициозным человеком и при моральной поддержке семьи была ориентирована на «университет». Выбрала журналистику, как достаточно экзотическую и творческую специальность, хотя и готовилась к поступлению этому в течение последних двух лет школьной учебы. У меня был ряд публикаций в местных газетах. Без этого на журфак не принимали.

Конечно, ехала поступать на газетное отделение, ни о каких-то там телевизионных или международных сферах я и не думала.

Поехала поступать почти наугад, чтобы попробовать свои силы. Мне было тогда 16. К моему удивлению без всяких связей прошла высокий конкурс и неожиданно поступила, довольно легко. Хотя журфак МГУ славился своей блатной репутацией, но, по слухам, несколько мест отдавалось вот таким вот «людям с мест» как я. Вообще-то, как говорили позднее все вокруг нас, сильные мира сего отдавали туда своих дочек, а на экономический факультет – сыновей.

Если несколько отстраниться от собственной биографии и как-то прокомментировать этот поворотный момент, то можно отметить, что эта типичная ситуация первичного юношеского выбора складывалась из нескольких составляющих. Во-первых, это была стратегия риска. Поскольку из престижной школы значительно легче было просто поступить в местный ВУЗ, как это делало большинство. Здесь же была выбрана Москва, а в ней – наиболее престижный МГУ, к тому же факультет, о котором было известно, что конкурс там составляет около 20 человек на место. Во-вторых, это был направленный выбор, поскольку я к нему долго готовилась, и выбрала социально-

ориентированную специальность, которой не было в моем городе. И в-третьих, это была общесемейная, а не только моя индивидуальная стратегия, так как многих моих одноклассников родители просто не хотели так просто отпускать в свободное плавание в другой город.

Как в целом проходили Ваши студенческие годы... чем они были окрашены? Какие события наиболее запомнились?

Я не могу сказать, что я как социолог отношу себя к какому-либо из поколений по вашей градации. Скорее есть ощущение попадания в некий «зазор» между ними. С одной стороны, я вроде бы ощущала некую духовную близость с 60-десятниками, хотя по возрасту была значительно младше. Они меня тоже считали как бы «своей», до сих пор называют «Викой». С другой стороны, в постперестроечное поколение тоже не попала, поскольку по возрасту уже не попала в число тех, кто проходил через учебу и стажировки в западных университетах. Туда я попала уже в качестве зрелого исследователя, как преподаватель или исследователь. Поэтому была неким связывающим звеном между разными поколениями социологов.

То же и в университете на журфаке. Мы пришли туда в момент завершения периода «Хрущевской оттепели» (1967 г.), когда все «теплые» потоки ослабевали. Было ощущение, что все лучшее и яркое уже закончилось. Только позже я узнала, что на старших курсах факультета в 67–68 годах были студенческие волнения, было исключено несколько студентов. Тогда-то, или несколько позже, с факультета был уволен ряд преподавателей, в том числе и Юрий Александрович Левада, который читал на старших курсах лекции по конкретным социальным исследованиям. Для нас этот курс вместо него читала уже Галина Михайловна Андреева; это был курс по социальной психологии.

Т.е. мы жили в разговорах о том, что вот совсем недавно на факультете кипела жизнь, была атмосфера интеллектуального поиска, какие-то студенческие кружки, а теперь все заглохло: «вы пришли немного поздно и многого не застали».

Конечно, под подушкой мы держали самиздатовские рукописные материалы, перепечатанные на папиросной бумаге. Тогда же прочитали и «Один день Ивана Денисовича», и «ГУЛАГ».

Но основным, самым приятным времяпровождением студенческого времени для меня была «Ленинка», а также ее знаменитый буфет как место неформального общения. В Ленинке самым приятным было «доставать» из спецхранов разные малодоступные книги, для чего изобретались сложные

стратегии. Я была увлечена учебой, античной и древнерусской литературой, а также современной западной литературой. На журфаке всегда было хорошее классическое образование. Студенческие годы существенно расширили границы моего представления о мире литературы и мировой культуры: в него вошли Еврипид и Эсхил, «Слово о полку Игореве», Франсуаза Саган и Марсель Пруст, а также французские и итальянские фильмы, Феллини, которые показывали на закрытых показах на факультете.

В этих же стенах Ленинки позднее прошли мои аспирантские годы.

Обычные для других студентов летние каникулы мы проводили на практике. Это были разные газеты от районного до республиканского уровня. Из-за журналистских практик никакой студенческой целины, характерной для студенческой жизни того времени, у нас не было. Я тогда побывала в Калининграде («Калининградская правда») и увидела могилу Канта, услышала все местные мифы и истории, связанные с событиями войны. Потом была на практике в республиканской газете в Минске, в Ярославской областной газете. В редакциях говорили, я хорошо пишу. И я четко была тогда настроена на журналистскую профессию.

Вместе с тем, для меня, как это не странно, студенческие годы не стали лучшими, как это обычно считается. Я очень благодарна университету за полученное «классическое» образование, за древнегреческую и древнерусскую классику, но были еще и разные весьма скучные «тр-пр» (на студенческом языке: «теория и практика партийной советской печати»), характерные для тогдашнего журналистского образования, существовавшего под прессингом марксизма-ленинизма. В целом, несмотря на достаточно объемные курсы по философии я, как и большинство будущих социологов того времени, не получила формального социологического образования, да и вообще-то тогда толком не знала о существовании социологии вообще. Этот факт способствовал тому, что долгие годы я продолжала считать себя неопитом в поле социологии.

Так Вам не пришлось слушать лекции Ю.А. Левады?

Разговоры о запрещенных на журфаке лекциях Юрия Левады доходили до нас на уровне слухов в общежитии. По «наводке» старшекурсников мы тогда несколько раз ходили на его лекции в «высотке». Лекции носили полуофициальный характер, и проходили, кажется, на 25-ом этаже высотного здания МГУ. Там в то время происходили разнообразные полужурформальные внеаудиторные мероприятия, если они могли

представлять интерес для студентов. Объявлениями о разных таких лекциях пестрели стенды в Высотном здании.

Тогда я о социологии и не думала, как я говорила, а теперь полагаю, что это были выжимки из его «Лекций по социологии», но, к сожалению, более подробно я тогда не запомнила их содержания.

Мое внимание было больше сосредоточено на самом лекторе: Юрий Левада произвел на меня впечатление тогда больше как личность. Я на него смотрела как на человека, которого «запретили», но который при этом сохранил человеческое достоинство, и теперь читает полуофициально, вопреки запретам. Привлекала также форма его открытого общения с аудиторией, что весьма контрастировало с формальным характером лекций наших обычных преподавателей. Таких лекций, на которых я присутствовала, было всего две, потом они прекратились. Наверно, это были последние отзвуки Оттепельного времени.

То есть тогда меня привлек скорее сам тип человека, находящегося «под запретом», масштаб его личности, и это запомнилось. Хотя и осталось неким подспудным фактором, не напрямую предопределившим мой последующий выбор.

Как в Вашу жизнь входил интерес к социальному? Через курсы, изучавшиеся по программе подготовки журналистов? Через журналистскую практику? Был ли у вас систематический курс социологии?

Всегда интересно, на основе чего человек осуществляет свой жизненный выбор. Тем более выбор поля деятельности, который еще не сформировался как институт, существует большей частью неформально, не имея даже системы профессиональной подготовки, как это было с социологией в то время. Тут, наверно, наибольшее значение приобретают индивидуально-личностные факторы. Конечно, еще в семье, поскольку это была семья советских и партийных деятелей, много говорили о социальном и о политике. Во-вторых, мои литературные увлечения мировой литературой в ранней и более поздней юности. Конечно, и выбор журналистики в качестве будущей сферы деятельности тоже был проявлением этого интереса. А если говорить содержательно, то, наверно, с самого начала это был интерес к жизни «простого человека», к его переживаниям, сопереживание и стремление к некоей социальной справедливости. К этому я обращалась в своих журналистских публикациях, в первых студенческих исследовательских работах.

А что касается моих студенческих исследовательских интересов, то я писала курсовые работы по кафедре литературной

критики по тематике «Литература и революция» и собиралась даже поступать в аспирантуру по проблематике «Тема литературы и революции в литературной критике А.В. Луначарского», куда меня впоследствии и пригласили, но я была уже «в социологии».

Судя по всему, в самом начале 70-х Вы закончили обучение. Если говорить о профессиональной деятельности, то чего же Вам тогда хотелось? Что произошло?

Действительно, я тогда была твердо настроена на журналистскую работу и даже имела несколько приглашений, например, в «Белорусскую правду», тогда это была мощная республиканская газета. Рассматривался и вариант с ярославской областной газетой «Северный рабочий», куда меня тоже брали на работу. Но все случилось иначе.

Опять же определенное стечение жизненных обстоятельств, пересечение случайностей.

Когда я заканчивала университет, я была уже замужем. Я вышла замуж на четвертом курсе. Мой муж учился на юрфаке МГУ и оканчивал университет одновременно со мной. У него было направление в аспирантуру, но оказался призванным в армию, правда, в профессиональном качестве, как юрист. Несмотря на его активное нежелание «служить», ничего изменить не удалось, и я вследствие этого получила свободное распределение, т.е. должна была устраиваться на работу самостоятельно, по месту призыва мужа.

Надо сказать, место его призыва было довольно удачным: Подмосковье, г. Солнечногорск, уютный штабной военный городок, где муж должен был два года отработать в военной прокуратуре. По тем временам для нормальной молодой семьи это считалось большой удачей: муж получал приличную зарплату (значительно больше зарплаты молодого специалиста, и тем более аспиранта), нам в городке сразу дали однокомнатную квартиру, снабжение было «штабным». Я стала «женой офицера», да еще и весьма высокопоставленного, имеющего отношение к штабу и прокуратуре со всеми вытекающими из этого последствиями. Все «нормальные» люди считали все это большой удачей. Но для нас все это не представлялось завидным будущим, и мы рвались оттуда, что было сил.

Во всяком случае, я. Я сразу же стала искать себе работу, чтобы хоть как-то разрушить имидж «жены офицера». Конечно же, в Москве, которая была в двух часах езды на электричке от городка. О том, чтобы без распределения и каких-то связей найти работу журналиста в Москве в то время не могло быть и речи, и я начала более широкие поиски.

Через своих бывших однокурсниц меня направили в организацию с хитрым названием НИО ВШПД ВЦСПС – Научно-исследовательский Отдел Высшей школы профдвижения ВЦСПС. Очень тихое отстойное место для бывших высокопоставленных профсоюзных и других номенклатурных работников с симпатичным зданием в центре Москвы и со свободным режимом работы. Меня это очень устраивало.

Сначала меня взяли секретарем-референтом – обычная должность для молодых выпускниц МГУ, а через месяц я попала в один из исследовательских отделов, которым заведовал Анатолий Георгиевич Харчев.

...Вика, я перебую Ваш рассказ, вспомните немного об А.Г. Харчеве...

В то время он только что перебрался из Ленинграда в Москву и в этом НИО ВШПД ВЦСПС «отрабатывал» свою новую московскую квартиру. Одновременно он работал и в Академии общественных наук (АОН) при ЦК КПСС и начинал заниматься подготовкой к изданию нового социологического журнала (начал выходить в 1974 г.).

Анатолий Георгиевич на меня тогда производил впечатление очень деятельного человека. Я всегда удивлялась его способности одновременно успевать делать так много дел. В этом отношении он для меня всегда был примером. Он обладал способностью заниматься сразу многими делами в разных сферах: от сугубо научной до партийно-функциональной. Уже тогда он был автором известной книги «Брак и семья в СССР» (1964 г.), на которую специалисты ссылаются до сих пор. У него было несколько перспективных аспирантов (в их числе М. Мацковский, В. Шапиро, М. Позднякова и др.), которые относились к нему очень уважительно, как к мэтру. Он вел активную международную координационную работу, читал много публичных лекций по социологии семьи для партийных функционеров (и всегда активно откликался на такие просьбы, хотя не все мы любили эти лекции через систему общества «Знание»), а также, на мой взгляд, очень удачно использовал свой партийный статус. Я имею в виду, что он активно откликался на разные жизненные просьбы своих ленинградских коллег, и всех, кто обращался к нему за поддержкой и помощью, используя для этого свои связи в партийных сферах. Что не получалось сделать впрямую, через официальные каналы удавалось ему «провернуть» через личные связи.

В сфере его интересов тогда были проблемы семьи, молодежи, «коммунистического воспитания», а также сексология. По последнему направлению он сотрудничал с И. Коном и С.

Голодом. С последним у него впоследствии вышла совместная монография («Производственная работа женщин и семья»). Такое название, конечно, ничего общего не имело с содержанием книги, а скорее служит свидетельством того, как «нелегальные» проблемы протаскивали через официозные, нейтральные заголовки.

Я думаю, что и при организации первого социологического журнала, он очень удачно использовал свой партийный ресурс, хотя о «кухне» организации социологического журнала тогда я знала достаточно мало. Несмотря на это, начиная с выхода первого номера «Социологических исследований», я тщательно собирала все номера и сохраняла всю подшивку журнала вплоть до последних номеров. Только недавно отдала свою коллекцию в студенческую библиотеку.

Кроме того, меня подкупала в Харчеве способность, несмотря на занятость, много времени уделять своей собственной семье и детям. Он много помогал своей жене Геннадьевне в становлении ее научной карьеры, а также в воспитании двух маленьких очаровательных дочек, которыми он очень гордился и демонстрировал их успехи всем своим коллегам. Это было редкостью в те времена. Кроме того, это на практике реализовывало его взгляды на проблемы семьи и социализацию молодого поколения.

По роду своей совместной работы с Харчевым я часто бывала у него в семье. И пример самой Валентины, целеустремленно реализовывавшей стремление к научной деятельности, несмотря на наличие двух детей, стал для меня неким ориентиром в последующие годы. Недаром В.Г. Харчева, впоследствии автор нескольких книг по социологии, стала моим оппонентом при защите диссертации.

Но мне кажется, что, несмотря на многостороннюю активность, все же центральным объектом интересов Анатолия Георгиевича тогда была социология семьи. Поэтому к нему в особнячок с вывеской «НИО ВШПД ВЦСПС», приходило на неформальные семинары большое число социологов, которые вместе с ним работали в этой области: Зоя Янкова, Майя Панкратова, Володя Шапиро, Миша Мацковский, Рита Позднякова, Франц Шереги и др. Конечно, я присутствовала на этих семинарах скорее в качестве неопытного наблюдателя.

Теперь мне представляется, что сильное развитие социологии семьи сравнительно с другими направлениями социологии того времени, произошло именно благодаря личности Анатолия Георгиевича. По-моему, это тоже проявление индивидуально-личностного фактора в становлении любого нового поля, о котором я уже говорила. Личность и активная деятель-

ность Харчева предопределила быстрое и активное становление этого направления в социологии по сравнению с другими отраслевыми социологиями. Он много пропагандировал это направление, к тому же эта область социологии была наименее подвержена идеологическому контролю. Активно сотрудничал с международными организациями, занимающимися социологией семьи, с Международной социологической ассоциацией, с Рубеном Хиллом (Reuben Hill, 1912–1985), который, по-моему, возглавлял тогда международный исследовательский комитет по семье. У Харчева была большая личная переписка с различными исследователями в этой области, и он достаточно часто для того времени выезжал на международные конференции (благодаря своей работе в АОН, не помню точно его тогдашний статус там).

Поскольку у него была обширная переписка на английском языке, ему и нужен был, кроме его непосредственного референта, человек, знающий язык. Я уже говорила, что я оканчивала специализированную английскую школу, а университет также весьма повысил мои знания в этой области.

В целом, я считаю, что английский язык стал для меня важным профессиональным ресурсом. Он оказал сильное влияние на всю мою профессиональную карьеру и в дальнейшем. Так и здесь: Харчеву я оказалась нужна, и это стало началом моего пути в социологию.

... продолжим рассказ о вашем вхождении в социологию...

У А.Г. Харчева я занималась его международными связями. Писала, верней, переводила, его письма и письма к нему, а также занималась переводом англоязычных социологических статей. Сначала это требовало большой работы со словарями, что тоже очень вдохновляло, ориентировало на длительные поиски и находки, было интересно каждый раз заново входить в англоязычный контекст того или иного понятия. Естественно, постепенно входила в социологическую проблематику. Наиболее ярким событием того времени (и трудоемким, долговременным занятием, результатом которого я гордилась) для меня стал перевод до сих пор знаменитой книги James Coleman 'The Adolescent Society'. На русском языке эта книга так и не вышла.

Надо сказать, что Анатолий Георгиевич лично, а также его активная, бурная деятельность в разных направлениях общественной, партийной и научной деятельности, сильно стимулировали меня к занятию собственными изысканиями в области проблем социализации. Тогда для этого в советской социологии существовало более пропагандистское название – коммунистическое воспитание.

Итак, встреча с Харчевым и работа с ним была случайным обстоятельством, но она открыла для меня новую неизвестную и развивающуюся сферу деятельности, а меня всегда увлекало что-то новое. Конечно, это встреча могла стать коротким эпизодом временной работы, после которой я по логике полученного образования и предшествующих, казалось бы, четких устремлений могла снова вернуться в журналистику. Но этого не произошло. Наверно, настрой на журналистику не был уж таким мощным, как я до этого предполагала. Сработал здесь, во-первых, общий мой настрой на «новое», на риск и поиск: для меня это была возможность посмотреть на социальные проблемы не с позиции практической журналистики, которая для меня уже была «открытой» областью, а с позиции научного их изучения. К тому же, еще в университетские годы, как я говорила, у меня была склонность к научно-исследовательской деятельности, а работа у Харчева открывала для этого новые возможности. И я пошла по этому пути дальше.

Я тогда опубликовала две собственные статьи в каких-то сереньких сборниках НИО ВШПД ВЦСПС. Точного названия тех статей не помню, но понятно, что там было много ссылок на работы Харчева и на отрывки из прочитанных иностранных статей. Естественно, это было что-то о влиянии профсоюзов на коммунистическое воспитание молодежи.

Но при окончательном выборе новой сферы всегда, по-видимому, важны люди, носители таких идей. Первым таким столкновением был Левада, как человек «под запретом» властей, вторым стал Харчев и его кружок людей, увлеченных новой наукой. С этого все и началось.

Где-то на третий год работы у А.Г. Харчева, в 1975 г. я поступила в аспирантуру Института конкретных социальных исследований. Верней так: я поступала в 1974 г., но не добрала баллов на вступительных экзаменах, а на следующий год уже поступила нормально и пришла в очную аспирантуру, которой заведовала Любовь Анисимовна Воловик, весьма уважаемая многими аспирантами Института того времени.

Была настроена на работу под руководством Харчева, но в этом году у него, в секторе проблем семьи и быта, не было аспирантских мест, и я попала в аспирантуру к Николаю Сергеевичу Мансурову, в то время заместителю директора Института.

Кто одновременно с Вами учился в аспирантуре? Какую тему Вы избрали (Вам предложили) для собственной разработки?

В те годы в институте шла большая битва за выживание, и многие вынуждены были уйти из Института, но до нас, тогдашних аспирантов эта война доходила только опосредованно,

в виде отдаленных раскатов, скорее наоборот давала возможность жить более свободно, вне контроля враждующих сил.

Например, то, что я попала в аспирантуру к Мансурову, оказалось тоже следствием какой-то внутренней борьбы мэтров за аспирантов. А.Г. Харчеву сказали, что якобы я сама не захотела идти к нему в аспирантуру, о чем он мне с обидой сообщил несколько позднее.

Тем не менее, для меня лично это были годы «моих университетов». Самым общим направлением моей кандидатской была проблематика социализации, причем не институтов социализации, а «объектов» социализации. В рамках этого направления я свободно и самостоятельно выбрала достаточно экзотическую проблематику: эмпирические показатели измерения моральности личности, которая, понятно, была вне социологического мейнстрима, ближе к социальной психологии и проблемам становящейся личности. И по ней проводила львиную долю времени в своей любимой «Ленинке», доставая в первоисточнике работы Дюркгейма («Самоубийство»), Конта, Зиммеля, книги по психологии и социальной психологии, а также редкие экземпляры иностранных журналов по моральной статистике.

В рамках своей диссертации я тогда провела и небольшое собственное эмпирическое исследование на одном из заводов Москвы. В содержательном плане речь шла о методике измерения моральности на основе сопоставления собственных ответов личности и мнений о нем третьих лиц.

Наш аспирантский кружок (среди наиболее известных сейчас моих однокурсников философ Игорь Чубайс) с воодушевлением слушал лекции Андрея Здравомыслова и, вечно опаздывающего с ленинградского поезда, Владимира Ядова. Были еще и Н.И. Лапин, и Ю. Н. Давыдов.

Если говорить о сфере отношений учитель-ученик, то для меня и во времена аспирантуры, и значительно позже подлинным учителем был В.А. Ядов, поскольку и по тематике его тогдашних интересов (социальная психология), и по личности как исследователя и человека, он для меня на долгие годы остался пожалуй самым авторитетным. Хотя близкие контакты с Ядовым были тогда достаточно фрагментарны: он не был моим научным руководителем, да и в Институте появлялся достаточно редко.

Я работала с большим воодушевлением, хотя и в одиночку. Моя тема мало сочеталась с работой Мансурова или кого-либо из сотрудников Института. Но свою тему я отстаивала жестко, за что получала от Н.С. Мансурова звание самой вредной аспирантки. Но относился он ко мне во время аспирантуры

хорошо, возлагал большие надежды и предоставлял максимум свободы. В 1981 г. я защитилась. Защита прошла блестяще, мне даже было несколько обидно, что все прошло так гладко, поскольку я готовилась к возможной «битве» на защите основательно.

После защиты (или даже за несколько месяцев до нее) меня приняли на работу в Институт, в сектор Мансурова, что в те годы для аспиранта было большой удачей. С этого момента начинается моя формально-профессиональная деятельность в качестве социолога.

Надо сказать, что и я сама, и многие мои коллеги, особенно за рубежом, откровенно удивляются, что можно пройти весь профессиональный путь в одном институте, несмотря ни на какие социальные и жизненные катаклизмы. С тех пор меняется только мое положение в иерархии этого учреждения: статус, звания, должности: от младшего научного сотрудника до заведующего сектором. Но радикальных изменений в месте работы у меня с тех пор не было.

Такое профессиональное постоянство в нашей социологической среде тогда не было «исключительным случаем»: первоначально это совпадало с советской тенденцией к стабильности на рабочем месте, да и не было особо мест, куда можно было бы горизонтально мигрировать социологу. Потом люди стали уходить, сначала в другие, вновь открывшиеся учреждения, а потом и вообще из социологии в сложные годы начала-середины 90-х, когда трудно было выжить на зарплату социолога. Мне же как-то удавалось сохранять постоянство, не знаю, можно ли это отнести к плюсам или к минусам в моей профессиональной карьере.

Каким Вам вспоминается Институт социологии в 80-е годы? Вы тогда были младшим научным сотрудником.

Вскоре в нашем секторе случился скандал, который чуть не стоил мне работы в Институте и который полностью изменил мои отношения с Н.С.Мансуровым.

Я стала проффоргом сектора и по роду своей профсоюзной деятельности была вовлечена в конфликт между Е.Таршисом, которого фактически выгоняли из института за его национальность, и Мансуровым. Встав на защиту Таршиса, я приобрела сильного противника в лице Мансурова, и он, как администратор, делал все, чтобы меня уволили из Института. Ситуация решилась неожиданно: сменился директор, пришел В.Н. Иванов, и Мансуров сам вынужден был уйти из Института.

С приходом нового директора в институте началась очередная перестройка, сектор Мансурова расформировали, и я по-

пала в отдел Ф.Р. Филиппова, в сектор В.И. Чупрова, который занимался молодежной проблематикой.

Я бы те годы назвала «годы без лица». Для младшего научного сотрудника жизнь была встроена в узкие рамки системной иерархии и бесперспективна на долгие годы. Иерархические отношения были сконструированы достаточно жестко, и все мы, молодые сотрудники, были как пешки, которых переставляли из одного подразделения в другое, исходя из соотношения сил в руководстве института, без внимания к собственным научным интересам и потребностям. Мы были как солдаты невидимых армий, пополняли ряды одних, или ослабляли ряды других.

Профессиональная жизнь сводилась к участию в сериях серых сборников, которые теперь бесславно пылятся на моих полках одним безликим блоком. Хотя были и конференции, и поездки на исследования, но сейчас, с прошествием времени, это представляется именно так: мы были винтиками в иерархических отношениях мэтров разного ранга. Это было вплоть до исторического для Института времени, когда директором стал В.А. Ядов.

Хотя в моей личной судьбе это были очень важные годы: еще в аспирантские времена (1977 г.) у меня родился первый сын, а в 1981 г. – второй. Я в это десятилетие была, конечно, больше сосредоточена на их воспитании, хотя старалась сочетать профессиональную деятельность и материнскую.

В секторе молодежи в 80-е годы (В.И. Чупров) подобралась очень симпатичная компания сверстников, со многими из которых я дружна до сих пор: это Марина Малышева, Михаил Черныш, Александр Кинсбургский, Людмила Коклягина, Елена Васильева (она была старше нас), Юрий Качанов, Михаил Топалов. И хотя под руководством Чупрова нам было достаточно сложно, но, тем не менее, были и интересные дебаты, и интересные проекты.

Самым ярким событием того времени я считаю включение нашей команды в первый лонгитюдный всесоюзный проект Микка Титмы «Пути поколения» или более точно «Включение молодежи в рабочий класс, колхозное крестьянство и интеллигенцию» (1982–1996 гг.). Проект недостаточно оценен в истории российской социологии, но я всегда его упоминаю в качестве знакового. Этот проект Титма начал в Эстонии, потом подключились Литва (Арвидас Матуленис) и Латвия, затем Свердловская область, Московская область, Харьковская, Таджикистан. В целом исследование проходило в 14 регионах тогдашнего СССР.

Проект предполагал долговременное отслеживание социальной и поселенческой мобильности одной когорты с момента окончания среднего образования на базе 8-летней школы

в 1982/83 и 1983/84 г.г. и до их 30-летия. Формировалась единая информационная база адресатов, к которым исследователи неоднократно возвращались с письменным анкетным опросом раз в 4 года. Объем выборки во всех регионах составлял примерно 5% генеральной совокупности. Проект был амбициозным и перспективным. К тому же, ретроспективно оказалось, что на долю этой когорты (рожд. 1965–1967 г.) выпало много испытаний, связанных с крушением страны, в которой они жили, и той системы социализации, в которую они вошли совсем еще юными людьми.

Титма ориентировал проект на методологию образцовых западных лонгитудов (Карл Ульрих Майер, Нэнси Тума), и пытался реализовать эту сложную методическую стратегию в СССР. Мне кажется, первичные амбиции Титмы при начале этого проекта состояли в том, чтобы доказать существование различий в жизненных путях молодых людей в отдельных регионах (особенно в Прибалтике), в противовес действовавшей тогда формуле о формировании «единой общности советских людей».

Этот проект представляется мне историческим поскольку, во-первых, свел на долговременной основе большой научный коллектив молодых исследователей из разных регионов. Впоследствии многие из этих молодых сформировали социологический «костяк» в Казани, Свердловске, на Украине, в Таджикистане и, конечно, в теперешних балтийских странах. Этот коллектив существовал достаточно долго, и его распад произошел несколько позднее, чем формально распался СССР. Возможно, он мог бы существовать и дальше, если бы не влияние центристских сил и не отъезд Титмы за рубеж.

Помимо этого, проект основывался на хорошей методической базе зарубежных институтов, и это позволяло коллективно овладевать передовыми мировыми методиками проведения исследований. А было это в начале 80-х годов, и все эти фондовые и грантовые формы обучения появились значительно позже. То есть проект стал хорошей практической школой для целой генерации молодых исследователей.

Кроме того, он собрал десятилетнюю информацию о молодой когорте, которая оказалась на разломе исторического процесса, через нее «прошли» волны цунами: сначала перестройка, а затем последующие экономические реформы.

Однако было одно «но». Это проект был чисто «позитивистский», он собирал лишь цифровую информацию о когорте и никто (включая, прежде всего, Микка Титму) не смог адекватно оценить и проинтерпретировать полученный материал. Этот материал остался фактически интеллектуально неотрефлексированным, что случается иногда со многими большими

коллективными проектами, хотя на его основе защищались десятки диссертаций. Его материальными результатами стали 10 сборников статей, а также две монографии: «Начало пути: поколение со средним образованием» и «Жизненные пути поколения со средним образованием», выпущенные издательством «Наука» (где я была соредактором с М. Титмой и Л. Коклягиной).

Насколько я знаю, этот лонгитюд до сих пор продолжает фрагментарно существовать, но он так и не получил общественного резонанса. Особенно его значение сошло на нет, когда произошел развал Советского Союза и распался научный коллектив. Он не выдержал испытания временем.

Для меня этот проект стал продолжением моего интереса к работам Ф.Р. Филиппова, И.С. Кона и В.Н. Шубкина по поколениям. Я начинала свою работу как многие социологи с интереса к проблемам социализации молодежи. Но прекрасно понимала, что эта проблематика достаточно ограничена и надо с годами менять локус. Логичным было расширить сферу интереса: от молодежи к другим возрастным стратам, в данном случае таким логическим продолжением интереса к молодежи стала поколенческая проблематика: основываясь на взглядах К.Мангейма, я заинтересовалась проблематикой межпоколенных отношений: разрыв и преемственность поколений, межпоколенные отношения, «шаг» поколения и т.д. и каковы взаимоотношения поколений в современном обществе.

Мы подошли к периоду перестройки. Как он для вас начался?

Начало перестройки для меня связано с несколькими крупными событиями, фактически это стало началом моей профессиональной самостоятельности.

Во-первых, где-то в 83–84-ом г. я, наконец, решила вступить в КПСС. До того я не откликалась на призывы вступать в партию, поскольку для людей моего поколения это четко означало «делание карьеры», а я не собиралась ее делать. Но в начале перестройки я все же написала заявление о приеме в партию. Не помню точную дату этого события, но хорошо запомнила формулировку: «хочу быть в рядах тех, кто участвует в перестройке». Период моей партийности длился недолго, около полутора лет. Пошла волна громких разоблачений деятельности партии, которой так памятливы для нас годы, начиная с середины 80-х, а вслед за ней – волна массового выхода из партии. Я оказалась одной из первых. На одном из партийных собраний Института мы вместе с И. Бестужевым-Ладой озвучили свои заявления и вышли из партии. Это имело тогда резонанс в партийных кругах Института.

Во-вторых, в 1987 г. я впервые выехала за границу, в Париж, на конференцию.

Первая поездка за рубеж, и вдруг – Париж. Предыстория, как я узнала впоследствии, была такова. Иностранным коллегам надоело видеть на международных мероприятиях, посвященных молодежной проблематике, маститых советских ученых преклонного возраста, и они попросили пригласить кого-нибудь из молодых. Конференция, которая проходила в Сорбонне, была посвящена Горбачевской перестройке и «поколению Горбачева», как это тогда называли. А я тогда издала брошюру «Неформальные объединения молодежи: вчера, сегодня и завтра» и занималась проблемой молодежных инноваций. Тогда молодежь тесно связывалась с концепцией социальных инноваций, казалось, что именно самодеятельные объединения молодежи могут стать двигательной силой социальных изменений. Вот так в составе делегации оказались В.И. Чупров, как руководитель сектора молодежи, и двое молодых: Марина Малышева и я. Естественно, эта поездка в Париж сломала многие из моих тогдашних стереотипов. Представление о поездке за рубеж как о «прыжке в другую реальность» сработало и на мне.

Что конкретно произвело на вас столь сильное впечатление?

Конечно, сам Париж, который, как оказалось, действительно «стоил мессы». И новый для меня во всех отношениях образ жизни «нормального» общества шокировал, заставлял проводить сравнение с собственной жизнью и жизнью моих соотечественников. И встречи с коллегами, которые, как выяснилось, многое знали о нашей стране и были на удивление толерантны к выступлениям молодых неопытных исследователей. То есть это был новый социальный опыт во всех отношениях. К тому же я там познакомилась с новым профессиональным кругом – коллеги, с которыми потом я часто сталкивалась на других конференциях. Это существенно расширило мое представление о профессиональном сообществе, вывело меня за круг только национального общения. Оказалось, что моя работа вызывает интерес, может быть даже опубликована за рубежом (действительно, впоследствии моя статья на основе этого выступления появилась в коллективной книге британского издательства [1]. Это была первая зарубежная публикация, значимая для моего вхождения в круг международного сообщества. Я почувствовала уверенность в своих силах. Я тогда сделала еще одно приобретение уже личного плана: приобрела близкую подругу, преподавателя Сорбонны Веронику Жобер, с которой дружу вот уже более 20 лет. То есть открытие границ

и узнавание «внешнего» мира для меня свершилось в те перестроечные годы. В результате, это кардинально повлияло на мое профессиональное самоощущение и предопределило многое в дальнейшей карьере.

В последующие годы я несколько раз попадала в Париж по разным профессиональным поводам. В 1993 г. Фрэнсис Конт, декан ф-та славистики Сорбонны УШ, пригласил меня прочитать публичные лекции для студентов в Пале Ройяль. Позже я была два месяца на стажировке в SNRC. А уже в начале 2000-х мэр Парижа пригласил меня в числе 20 женщин-исследовательниц из разных стран мира на конференцию, посвященную празднованию международного дня женской солидарности (8 марта).

И третьим судьбоносным событием того времени стал приход в Институт нового директора – В.А. Ядова, который совершил структурную революцию в институте. Во-первых, произошло разделение института. Вместе с Г.И. Осиповым ушло все партийное бюро и некоторые руководители отделов. Перед каждым сотрудником встал выбор: или остаться в Институте или же перейти в стан «партийцев» во главе с Осиповым. Наше учреждение во главе с Ядовым стало беспартийным, партийное бюро было ликвидировано, и начался новый этап – либерализация институтской жизни. Самым знаменательным в этом направлении стал отказ от жесткой отдельско-секторской системы организации и переход на систему исследовательских проектов. Надо было только подать заявку на такой проект и указать лиц, которые хотели бы с тобой работать в этом проекте. Сейчас, по прошествии времени, и в совсем другие времена, этот процесс кажется неправдоподобно-либеральным, близким к анархии, но тогда этот «Юрьев день» освобождения от административной зависимости помог многим молодым, прежде зависимым исследователям, сделать самостоятельный выбор и попытаться изменить свое место в науке и в институте. На волне этой инициативы Ядова тогда заявила о себе целая плеяда социологов более молодого поколения, которые перешли в статус самостоятельности, получив «звание» руководителя проекта, хотя иногда это был проект одного человека. Появились проекты М. Поздняковой, М. Черныша, А. Кинбургского, А. Жаворонкова, Е. Даниловой, С. Климовой, Н. Шматко, О. Крыштановской, О.Трущенко и других. То есть произошел некий «поколенческий» прорыв. За эти годы не все подобные проекты оказались состоятельными, некоторые сотрудники вообще ушли из науки, некоторые вновь влились в более крупные подразделения, но тогда нам был предоставлен шанс, и многие им воспользовались.

Мы ушли из сектора Чупрова (который и так был расформирован в связи с уходом Чупрова в команде Осипова) вместе с Мариной Малышевой, а позднее к нам присоединилась Е. Мещеркина-Рождественская. Был образован проект на основе титмовской тематики «Пути поколения».

Для меня это была действительно «поворотная точка» биографии, которая стала определяющей для всей последующей траектории.

Какие же новые горизонты для Вас открылись?

Главное – мы теперь стали сами принимать решения о направлении своей научной деятельности и стали лично отвечать за исполнение обещанного. Проект «Пути поколения» постепенно разваливался. Самостоятельно, только в одном московском регионе его проводить дальше не было смысла, и следующий этап (3-й этап) лонгитюда фактически заглох.

Но тут появился совсем новый и неожиданный поворот. В 1990 г. по «наводке» В.А. Ядова, который знал наши «когортные» наработки в лонгитюде Титмы, к нам обратился французский исследователь Даниэль Берто. Как многие его коллеги, на волне перестройки оживившие свой интерес к России, он приехал в Москву, чтобы осуществить свой «российский» проект «Социальная мобильность в России в трех поколениях». Ядов направил его к нам.

Его коллега, с которым он вместе осуществлял тот проект, Пол Томпсон (Оксфордский университет), был скорее историком, работающим в поле так называемой «устной истории», а Дэниэл Берто (SNRC, Париж) считал себя последователем Алана Турена. Для нас они стали проводниками нового направления, дотоле совсем неизвестного у нас. Они работают в области биографического метода, а Даниэль Берто считается в международном сообществе основателем метода «истории жизни».

Биографическим методом он стал заниматься в конце 60-х – начале 70-х на фоне общей западной тенденции к гуманизации общественных наук (D. Bertaux, *Biography and Society*, 1981). Это было время мировоззренческого и методологического поворота в социологии. В отличие от традиционного для социологии взгляда на жизненные пути как типизированные потоки социальной мобильности (например, так это рассматривалось в проекте Титмы), социологи стали вновь заниматься проблематикой жизненных стратегий людей, возрождая традиции Чикагской школы. Т.е. Человек рассматривался как субъект своей биографии, который осуществляет различные жизненные выборы и выстраивает свою биографическую стратегию

в условиях определенных социальных нормативов, а иногда и изменяющий их. То есть общий методологический посыл состоял в подходе к социуму «снизу»: как из «случаев» индивидуального и коллективного жизненного выбора в обществе зарождаются новые тенденции или новые коллективные практики, а иногда и просто происходит отклонение от «типичного» в сторону локального, «специфического». Подход Д.Берто к биографическому материалу можно назвать «фактографическим», поскольку его больше интересовал не способ изложения (индивидуальной наррации), форма «презентация» своей биографии субъектом и внутренняя мотивация, но ее фактологическая основа: как выстраивается череда жизненных событий и фактов, или, другими словами, как складываются «индивидуальные траектории» мобильности. Словом, это был взгляд на социальное со стороны индивидуального – противоположный нашему предшествующему (позитивистскому) социологическому представлению об обществе как об «обществе порядка».

Отсюда и направленность его интереса к России и ее прошлому: как в авторитарном обществе люди реализовывали свои жизненные стратегии «вопреки» жестким нормативным рамкам: на уровне «частного», локального, отклонения от нормы. В те годы это был также интерес к тому, как локально, на уровне «отклонения» зарождались социальные инновации в изменяющихся социальных условиях.

Его основной мотив приезда в Россию, свойственный многим западным исследователям того времени, – принять участие в исторических изменениях в этой стране и найти коллег. Он приехал не учить, а сотрудничать, это мы всегда высоко ценили в процессе нашего сотрудничества.

Итак, для нашего маленького коллектива это была настоящая ломка сложившегося профессионального мировоззрения: от позитивизма к субъективной социологии. Методика биографического исследования, которая предполагала ряд совсем новых для нас методических процедур, начиная от характера общения с респондентом и заканчивая интерпретативными методами анализа, оказалась «импортированной» с Запада. Но тогда многое, в социологии в том числе, у нас импортировалось. Не все прижилось, как например, гендерные исследования, которые очень быстро сошли на нет. Да и для продвижения этого направления потребовалось долгое время и «хитрая» стратегия, которую мы разработали у себя, в нашем маленьком коллективе. Она предусматривала многоходовую тактику внедрения нового подхода в поле отечественной социологии: сначала переводы западных статей, затем собственные статьи,

а потом уже и книги. Где-то вдалеке, в перспективе замаячила идея издавать также свой двуязычный журнал.

Этот поворот к изучению «истории жизни» для нас упал на подготовленную почву. Я, да и многие бывшие участники проекта «Пути поколения», испытывали неудовлетворенность от «позитивистских» результатов нашего долговременного проекта. Мы работали долгие годы, собрали уйму ценной информации о сложных статистических связях и закономерностях, но не могли получить значимых содержательных выводов из этой обширной информации. Методологическая неудовлетворенность заставила нас с энтузиазмом встретить предложение Даниэля Берто и полностью включиться в его проект. Тогда нас было в основном трое: Марина Малышева, Екатерина Фотева и я. Позже присоединилась Елена Мещеркина-Рождественская, а непосредственно во время приезда Берто она проходила стажировку в Билефельде, в Германии, где осваивала немецкий подход к биографическому методу.

В проекте Берто предполагались семейные интервью с представителями 3-х поколений семьи о социальной и профессиональной мобильности на протяжении десятилетий советского периода истории. За точку отсчета мы брали выборку нашего лонгитюда, там находили адреса «молодых» респондентов, а затем уже проводили интервью с представителями старших поколений этой же семьи. Сочетание с выборкой лонгитюда давало возможность сопоставлять количественные данные о когорте и «качественные» данные о социальной мобильности семьи от поколения к поколению.

Сложностей было несколько. Во-первых, мы совсем не владели методикой глубинного интервью и постигали его на ходу, полагаясь на рекомендации и комментарии Даниэля.

Во-вторых, надо было осваивать новые виды работ по транскрибированию текстовых данных, а также по переводу этих длинных текстов (40–60 стр.) с русского на английский. К тому же, мы совсем не умели интерпретировать описательные данные и переводить их в социологические категории, все постигали на ходу и в этом сильно помогал Даниэль. Но со своей стороны, Даниэль плохо владел спецификой советских реалий, и не мог делать интерпретации без нашей помощи, он каждый раз проверял достоверность своих предположений в ходе коллективных обсуждений. Нас же выручала наша предыдущая социологическая подготовка и общее (статистически-количественное) представление об отдельных социальных процессах в России. Мы погрузились не только в новую для нас область долговременного психологического контакта с респондентом “face-to-face”, но и в область «прошлого», российской истории,

поскольку многие модели мобильности в биографиях можно было понять только на фоне определенных социально-исторических процессов, как локальных, так и общенациональных.

О сложности работы в этом первом российско-французском проекте свидетельствует тот факт, что Пол Томпсон (британский коллега Берто) потерпел крах в своей стратегии сотрудничества с российскими коллегами. Он взял на себя Питерскую часть проекта и подготовил там команду профессиональных интервьюеров (психологов, но не социологов), которых обучил технике проведения семейных интервью. Интерпретацию материала взял на себя. И, когда потом перевел интервью на английский язык, оказалось, что он не в состоянии проинтерпретировать их, поскольку, как англичанин, не представлял социального и культурного контекста страны в целом, а также конкретного контекста изучаемых семей. В результате он попросил меня заняться этими интервью, чтобы вынести из них хоть какой-то социологический смысл.

Над этим проектом мы работали в 1990–1994 гг. За это время мы неоднократно участвовали в различных семинарах и школах, в Англии, во Франции и в других странах, выезжали на кратковременную стажировку на два месяца к Даниэлю Берто в Париж, и постепенно в ходе работы овладевали новой для нас техникой и новым взглядом на социальное, глубже постигали теоретические и методологические основы качественной методологии в целом.

Меня заинтересовало Ваше упоминание о том, что в семьях Вы интервьюировали представителей трех поколений. В моих историко-биографических исследованиях я говорю о трех составляющих судьбы человека: предбиографии, биографии и постбиографии. По сути, вопросы к респонденту о его родителях, бабушках-дедушках – с них мы начали и нашу беседу – более удаленных предках – это изучение предбиографии. Полученная Вами информация о трех поколениях членов одной семьи может что-либо интересное, нетривиальное сказать о предбиографии самых молодых?

В то время – начало 90-х – в нашем проекте интервью с молодыми взрослыми не было для нас центральным фокусом. Истории их родителей и прародителей рассматривались как самостоятельные жизненные истории, вложенные в контекст предшествующих десятилетий советской истории. Например, нас интересовало, как бывшие состоятельные слои российского общества, дискриминированные после революции, восстанавливали свой социальный и образовательный статус в следующем поколении, какковы были семейные стратегии выживания и сохранения своего семейного культурного капитала. Но если

вернуться к вашему вопросу о «предбиографии» молодого поколения, то оказалось, что для тогдашних молодых взрослых большую значимость имело влияние их бабушек и дедушек, т.е. пра-поколения, чем опыт родительского поколения, т.е. трансляция семейного капитала происходила «через» поколение. Я подчеркиваю, что «тогда», в начале 90-х, поскольку помоему, это был ситуативный результат. Тогдашняя ситуация резких социальных изменений активизировала долговременную семейную память о сходной ситуации социальной нестабильности в годы революционных событий начала XX века и стала точкой отсчета в формировании семейных стратегий в период экономических реформ. Этим сюжетам трансляции семейного капитала в трехпоколенных семьях посвящена наша книга «Судьбы людей: Россия XX век», и, в частности, моя статья о роли бабушек в российских семьях. Хотя аналогичные количественные исследования социальной мобильности в России зафиксировали ту же тенденцию связи между социальной позицией прародителей и их внуков при отсутствии связи со статусом родителей. Но это требует отдельного долгого объяснения.

На базе почти полусотни интервью с российскими социологами я недавно рискнул описать генеалогию нашего сообщества. Я пытался найти нечто подобное применительно к другим профессиональным группам (скажем, кадровым военным, музыкантам, ремесленникам, вспомним, булочников Берто), в которых из поколения в поколение передается верность профессии. Но пока не нашел таких исследований. Может быть Вам они встречались?

Я думаю, что в нашей стране с генеалогиями дело иметь сложно, слишком много катаклизмов, чтобы сохранилось что-то в пяти поколениях, как у Берто. Хотя и у него в исследовании на протяжении пяти поколений наследовалось только сугубо социальная ткань: социальные связи в непосредственном окружении (соседские связи), которые передавались из поколения в поколение как социальный капитал, но при этом социальный статус самого кормильца, главы семьи, с изменением общества постоянно менялся.

Я таких массовых опросов не знаю, но и в наших интервью мы сталкивались с ситуациями, когда в советские годы (на протяжении от 30 до 70-х годов) из поколения в поколение менялся уровень образования, профессиональный статус, место в профессиональной иерархии, но неизменным оставалась профессиональная сфера, «отрасль» профессиональной принадлежности: например, молодые поколения повторяли своих родителей, работая в сфере «почтовой связи»: старшие поколения начинали почтальонами, а дети – инженерами связи,

или же очень распространенная отрасль «железно-дорожный транспорт»: прародители и родители работали на строительстве дорог, а дети становились железно-дорожными служащими или инженерами в этой же отрасли. Не могу на основании только семейных историй дать более обобщенный ответ, но можно предположить, что семейный капитал способствовал определенной сословной стабильности, а общественные изменения вносили изменения в образовательный статус потомков, поскольку они вступали в ту же сферу, но в другом статусе.

Вы знаете, что Д. Берто оказал определенное влияние на понимание В.Б. Голофастом биографического метода. Но еще до Берто ленинградцы познакомились с И.П. Роосом, который неоднократно приезжал в Институт социально-экономических проблем АН СССР, хорошо освоил русский язык. Это было начало 80-х, и именно Роос познакомил нас с биографическим методом. Вы не в курсе, он и сейчас продолжает свои поиски? Что ему удалось сделать в последние годы?

Я часто встречала Пека Рооса на разных международных мероприятиях, раньше он часто приезжал и в Москву. Одно время он возглавлял Комитет по биографическому методу в Европейской социологической ассоциации и сделал много для его развития и становления. Сейчас встречаю его реже.

У меня создалось впечатление, что за последние годы он стал более скептически относиться к биографическому методу, считает, что метод исчерпал свой эвристический ресурс и не может развиваться дальше. В международный комитет по биографиям пришло более молодое поколение, которое ищет новые способы применения и развития этого метода на пути его пересечения с другими дисциплинами, включая антропологию, семиотику и социолингвистику, а также фотографию и искусство.

Итак, Вы погрузились в методологию Д. Берто, работали с ним. Что затем произошло в Вашей жизни?

В 1992 г. произошло еще одно судьбоносное событие – по конкурсу я получила грант на пребывание в Кембридже в качестве приглашенного исследователя (fellowship) в колледже St. John's в течение семестра. «Fellowship» как статус означает приглашение исследователя в качестве «члена колледжа» (как члена избранного клуба, это членство остается на всю жизнь) для самостоятельных занятий по его собственной проблематике. Пребывание там я считаю своим вторым рождением, а сам колледж своей второй родиной.

Атмосфера колледжной жизни в Кембридже является уникальной для современного мира. Это замкнутое интеллекту-

альное пространство, существующее как бы вне времени и пространства современной быстротекущей социальной жизни. Все пропитано атмосферой интеллектуального творчества: кажется, все люди существуют там, только чтобы думать и творить. Вся инфраструктура городка настроена на это: везде колледжи, книжные лавки и магазины академической атрибутики. Самой распространенной формой одежды на улицах являются академические шапочки и «гауны» (мантии). Даже в витринах магазина выставлены именно они.

Мне выдали заветный ключ, который открывал все двери колледжа, начиная от старинной библиотеки со свободным доступом к книгам, а также все другие двери и калитку в частный сад, который организован как место для философских размышлений. Жизнь казалась нереальной.

Мне выпал счастливый лотерейный билет, благодаря которому я могла свободно погрузиться в чтение. Для меня это была возможность более глубокого освоения нового для меня социологического мировоззрения: я осваивала символический интеракционизм и работы Дж. Мида, изучала работы Чикагской школы, А. Страусса, работы по биографическому методу и качественной методологии. Там же готовила учебный курс лекций для студентов по проблематике поколений. Несколько раз выступала с лекциями перед студентами-руссистами.

Вернулась в Москву воодушевленная и обогащенная новыми знаниями. Только там я поняла окончательно всю радость и удовлетворение от углубленных интеллектуальных занятий, когда тебя ничто не отвлекает, а только настраивает определенным образом на дальнейшее самосовершенствование в кругу таких же, как ты людей, стремящихся постигнуть свою профессию.

Вика, что удалось сделать на основе ваших новых знаний, умений?

По возвращении мы с коллегами решили, что наш проект с Берто – это не единовременное мероприятие, что мы всерьез будем и дальше работать в этой области.

Показалось интересным и актуальным использовать качественный подход не только при обращении к истории, к прошлому, но при изучении новых тенденций в «настоящем» (чего обычно не делали наши западные коллеги). Самым актуальным в поле отечественной социологии тогда была проблематика социальных инноваций в изменяющемся обществе, зарождение новых норм, в частности, появление на арене новых акторов – российских предпринимателей. Мы получили грант на изучение типовых стратегий вхождения в класс предпринимателей и формирование культуры среднего класса («На пути в средний класс: стратегии молодых интеллектуалов» – грант

«Открытого общества» 1993–1994 гг.). Методической основой проекта были глубинные интервью с представителями той же возрастной когорты «молодых взрослых», которые избрали разные стратегии профессиональной мобильности в послереформенное время. Стратегия глубинного интервью позволяла сконцентрироваться на индивидуальных характеристиках тех, кто входил тогда в эту инновационную сферу деятельности. Концепция социальных инноваций очень удачно сочеталась с методами биографического интервью. В результате проекта мы вышли на построение типологии молодых профессионалов, которые использовали разные стратегии по отношению к предпринимательству: от полного неприятия этой сферы до полноценного вхождения в нее, а также рассматривали личностные факторы, которые способствуют или препятствуют этому процессу [2].

Продолжали также задуманную пропаганду качественной методологии на российском поле. В отличие от Западной социологии тогда в России качественные методы не воспринимались всерьез, а рассматривались, скорее, как «журнализм», которым занимаются люди, плохо владеющие серьезными методами статистического анализа и понятиями выборки. Как можно на нескольких интервью строить какие-то умозаключения? Наш кружок был сплоченным, но очень замкнутым. Поддерживал нас только Ядов, и то только формально, поскольку он всегда с энтузиазмом относился ко всему новому и нестандартному. Надо было искать пути легитимации качественной методологии.

Начали с перевода уже имеющихся трудов наших западных коллег: все, что делается на Западе, кажется более легитимным, чем разработанное на собственной почве. В 1993 г. вышла маленькая брошюра «Биографический метод: история, методология, практика» (ред. Е. Мещеркина, В. Семенова) [3] с переводом с английского и немецкого языка трудов наших наиболее известных коллег, работающих в поле биографического метода и в поле устной истории. Сейчас эта книжица является библиографической редкостью, и ее часто спрашивают молодые коллеги. В те же времена вышли несколько статей Даниэля Берто и Пола Томпсона в журнале «Логос».

Я не могу сказать, что только мы стали пропагандистами нового тренда в социологии. Одновременно с нами биографическим методом стали интересоваться в Питере Елена Здравомыслова и Виктор Воронков. Появились целая команда, прошедшая учебу в Германии в Билефельде, куда входили Елена Омельченко, Инна Девятко, Е. Мещеркина-Рождественская, Саша Малинкин и др. По-моему, даже Ольга Маслова одно время была сориентирована на это. Но все они по-разному восприняли этот опыт и не все «приняли» эту методологию.

Появились исследователи, которые работали в этом же «жанре» в рамках истории или, более точно, устной истории. Это, прежде всего, Ирина Щербакова, работающая в «Мемориале». Их команда собирала устные интервью (или скорее свидетельства) участников разных исторических событий и процессов: от бывших узников ГУЛАГа до представителей локальных культур – жители Алтая, казачество и т.д.

А в 1996 г. вышла наша первая коллективная книга «Судьбы людей: Россия, XX век» [4], написанная уже на наших материалах по следам проекта с Даниэлем Берто; через несколько лет вышел английский вариант этого труда [5]

Следующим нашим шагом мы считали выпуск учебного пособия. Книга «Качественные методы: введение в гуманистическую социологию» [6] вышла в 1998 г. и потом переиздавалась. Фактически она стала первым русскоязычным учебником по качественной методологии, на годы приобрела популярность у студентов и молодых социологов, впервые знакомящихся с этими методами. Во всяком случае, ее часто цитировали все, кто обращался к этой области. Потом, в более коротком и обновленном варианте содержание этой книги вошло в мою главу в книге В.А. Ядова «Стратегия социологического исследования». С другой стороны, это было следующим шагом в реализации нашей общей долговременной стратегии на продвижение качественных методов в поле российской социологии.

А следующей ступенью мы считали создание двуязычного научного журнала по качественной методологии, который бы стал звеном, связывающим два потока качественных исследований; развитую методологию запада и развивающуюся практику качественных исследований в России. Журнал ИНТЕР как двуязычное периодическое издание стал выходить с 2002 года (ред В. Семенова Е. Рождественская, Л. Иновлоки). К сожалению, издавать его регулярно у нас не получается из-за отсутствия материальных и человеческих ресурсов, но тем не менее получают весьма содержательные номера, вызывающие интерес у людей работающих в этой области. Отдельные тематические номера посвящены биографическому методу, визуальной социологии, социологии детства и т.д.

Со временем я познакомилась с несколько иной школой биографического метода, которая была наиболее развита в Германии, а заодно и с немецкими исследователями. Это школа Фрица Шютце, основанная на объективной герменевтике. В отличие от фактологического подхода, основанного на анализе жизненных событий, она рассматривает биографическое повествование скорее как форму наррации, устной самопрезентации человека. И соответственно, объектом анализа стано-

вится текстуальная форма нарратива: как в словесной символике отображается социальная природа реальности. Исходя из этого подхода, эта школа структурирует и кодирует нарратив, перевода секвенции текста в категории, подлежащие социологическому анализу. Через немецкую школу я глубже поняла и другой подход, существующий в рамках качественной методологии, возникший на американской почве, но имеющий немецкие корни: Grounded Theory, Anselm Strauss.

В эти годы появилось также несколько моих статей в разных западных изданиях, многие из которых пришлось мне потом переводить уже с английского на русский, чтобы опубликовать в России. То есть для меня важное значение приобрел также международный контекст существования российской социологии.

В 1998 г., подготовленная всем своим предшествующим опытом, я решила писать докторскую диссертацию, поступила в докторантуру. Только что вышедшая книга по качественной методологии была хорошим основанием для защиты докторской на основе публикации. Но здесь опять я оказалась в ситуации выбора: я понимала, что, идя по пути методологии, меня ждет трудный путь дискуссий в научном сообществе относительно легитимности качественной методологии. У меня «в запасе» была и другая, уже разработанная и более спокойная тематика – проблема поколений. Я решила посоветоваться с В.А. Ядовым, он тогда еще к тому был и директором Института. Ядов, не знаю, помнит ли он об этом сейчас, твердо сказал: надо писать по новой методологии. Она спорна, тем и интересна.

Так я вступила в поле подготовки докторской, научным консультантом стал Владимир Александрович. Все шло отлично до момента защиты диссертации. Я считала, что докторскую я защищу также успешно, как и кандидатскую. Но на защите была действительно «рубка». Многие члены Совета ополчились против этой «качественной» методологии (а что, остальная социология, значит, некачественная?!). Было много выступлений «против». Говорят, я сражалась мужественно, но мнение Совета склонялось в сторону полного неприятия диссертации и новой методологии как ненаучной, субъективистской, волюнтаристской, подвергающей сомнению устоявшиеся представления о логике социологического анализа.

Это был 2000 г. и первая защита по такой «восходящей от эмпирики» методологии. Теперь такие защиты проходят на «раз-два» во всех Диссертационных советах, даже самых провинциальных, куда меня приглашают для возможной поддержки молодых ученых. Но теперь такая подержка и не требуется. Моя же защита была первой, и весь огонь пришелся

на меня. Это теперь упоминание «сочетания качественной и количественной методологии» как основы диссертационного исследования считается уже банальным, и даже не вменяется в заслугу автора.

Но все же, в конце концов, все окончилось благополучно благодаря охлаждающему выступлению Ольги Крыштановской. Я до сих пор испытываю к ней благодарность. Она призвала не быть консерваторами, обратить внимание на новизну подхода автора, на новые горизонты, которые, возможно, открываются с приходом этой методологии, независимо от того, нравится она нам или нет. Члены Совета как-то успокоились, и в результате только четверо проголосовало «против». Эта защита мне до сих пор снится как одно из самых тяжелых событий моей профессиональной жизни. А ведь я могла защищаться по поколениям, и все было бы существенно проще...

«...Не надо печалиться, вся жизнь впереди...», наоборот, именно такие защиты и становятся важными для диссертанта и для науки...

После защиты я на полгода уехала во Франкфурт-на-Майне, куда была приглашена в качестве штатного профессора для чтения лекций. Профессорский статус требовал напряженной работы и чтения четырех курсов (два лекционных и два семинарских для студентов разных курсов, как это принято в Германии, а также и аспирантов). Два курса были основаны на преподавании качественной методологии и два были ориентированы на русскую специфику (Практика использования биографического метода в современной России, Россия в контексте современных исследований культуры).

Естественно, что я серьезно отнеслась к подготовке этих курсов и к их чтению. Ведь это был знаменитый Франкфуртский университет со знаменитой Франкфуртской школой. И теперь, русская преподавательница во Франкфурте читает курс по качественным методам. Но я очень горда, когда теперь, приезжая на конференции по качественным методам, встречаю там своих бывших студентов из Франкфуртского университета. Они продолжают работать в этом направлении, пишут свои Ph. D. в этой области.

Потом, в 2002 г. был короткий курс в Университете Майами, куда меня пригласила моя молодая американская коллега.

Преподавание в разных национальных контекстах помогло мне понять сходства и различия студентов в разных культурах. В американской царит такой дух демократизма, что они (преподаватели) сами с ним еле справляются. Студенты, кото-

рым весь семестр (триместр) твердили, что они такие хорошие, что они так здорово отвечают, что у них «все получится», сталкиваются, наконец на сессии с понятиями дисциплины и с критической оценкой в свой адрес и ни за что не хотят их признавать: ведь вы так хвалили меня!

Набравшись преподавательского опыта, я стала легче относиться к преподаванию и у себя дома. Раньше мне казалось, что исследовательская деятельность куда интересней, чем преподавательская. Но, наверно, время пришло, и я с интересом включилась в преподавательскую и организационную работу. К счастью, это было особое учебное заведение – Государственный академический университет гуманитарных наук, образованный на базе Академии наук, где на курсе всего 20–25 человек. Конечно, это было с подачи В.А. Ядова, что я стала там же заместителем декана социологического факультета (т.е. зам. В.А. Ядова), что тоже мне очень подходило. С тех пор веду там курсы лекций и стала работать по системе «учитель-ученик», где уже роль учителя выполняю я. Появились свои аспиранты и свои любимые ученики, свои молодые сотрудники. Т.е. происходит передача профессиональных функций от старшего поколения к младшим.

А работу по поколениям я все же тоже довела до конца. В прошлом году вышла моя книга «Социальные проблемы поколений» [7], в которой я подвожу итог всей своей многолетней работе над этой проблематикой.

Спасибо большое, Вика.

Литература:

1. *Semenova V. Changing Attitudes in Soviet Reality in the Mirror of Glasnost / Ed. By Riordan. London: Macmillan Press LTD. 1992.*
2. *Semenova V. On Transition to the Middle Class: Professional Strategies of Young Intellectuals in Russia. In: 'Middle Class in East and West' / Ed. by M.Kivinen. Dartmouth, UK: 1997.*
3. *Биографический метод. История. Методология. Практика / Ред. Мещеркина-Рождественская Е., Семенова В. М: ИСАН/ 1993.*
4. *Судьбы людей: Россия. XX век. Биографический метод в социологии / Ред. Д.Берто, В.Семенова, Е.Фотеева. М: ИСАН/ 1996.*
5. *On Living Through in Soviet Russia / Eds. D.Bertaux, P.Thompson, A.Rotkirch, London: Routledge. 2004.*
6. *Семенова В. Качественная методология: введение в гуманистическую социологию. М: Добросвет. 1998.*
7. *Семенова В. Социальная динамика поколений: проблема и реальность, М: РОССПЭН. 2009*



Тарусин М. А. – окончил философский факультет МГУ, руководитель отдела социологии Института общественного проектирования, Москва. Основные области исследования: социология трансформирующегося общества, управления, идеологии и религии. Интервью состоялось в 2007 году.

Я не планировал интервьюировать Михаила Тарусина. Впервые, в 2007 году я еще не начинал «электронных бесед» с представителями четвертого поколения российских социологов. Во-вторых, хотя мы знакомы с ним с конца 1980-х по работе в рождавшемся тогда ВЦИОМе, наши пути надолго разошлись, и я не знал, что он делал после «лихих» 90-х. Кто-то из сотрудников

Фонда «Общественное мнение» начал с ним интервью для создававшегося журнала «Социальная реальность», однако что-то не заладилось, и мне предложили завершить ту беседу. Хорошо, что мы решили все делать сначала...

И я очень рад, что мое «знакомство» с социологами этой когорты началось с беседы с Михаилом. Он – москвич в пятом поколении из интеллигентной семьи, но при этом он впитал в себя и традиции московской улицы 70-х. Его профессиональный путь оказался очень «пестрым». Он – первый, кто изучал социологию в университете, он работал в отраслевых НИИ, отлаживал схему проведения Всесоюзных опросов общественного мнения, познал цену «шалых денег», которые зарабатывали первые кооперативы, не понаслышке знает о «черных» политехнологиях. Короче, он сразу ввел меня в свой мир...

**М.А. Тарусин:
«МЫ
ФОРМИРОВАЛИСЬ
ВО ВРЕМЕНА
ОТРИЦАНИЯ»***

Миша, ты москвич? Расскажи немного о твоей семье

Я москвич в пятом поколении, то есть примерно с середины XIX века. Семья у меня гуманитарная: мама – преподаватель литературы, дедушка и бабушка – юристы по профессии, люди очень широкого, глубокого классического русского образования еще XIX века.

Дедушка – потомственный русский дворянин по роду с XVI века, до тех пор предки его были шляхтичи, перешедшие на службу к русскому государю. На улице Немецкой до сих пор стоит особняк, построенный по проекту Казакова, в котором дед провел свое детство.

Мать деда была немка из Пруссии, а со стороны отца польская кровь сочеталась с эстонской – бабушка моя родилась в Эстонии. Так что кровей в нашей семье намешано много. Но в России не кровь оп-

* Социальная реальность. 2007. № 7. С. 55–79.

ределяет человека, а принадлежность к земле русской, к ее истории, языку, культуре.

Дед, получивший образование в Москве, в лицее для привилегированного сословия, а до этого учившийся в Мюнхене, а потом в Лондоне, был человеком энциклопедических знаний. В доме витал дух русской литературы “золотого века”, да и “серебряного” тоже. Этот дух, кстати, не предполагал большого уважения к советской власти – вечером все садились у большого лампового приемника и слушали сквозь шипение “глушилок” радио Би-Би-Си с комментариями умного и ироничного Анатолия Максимовича Гольдберга.

Дед слушал радио и на немецком, и на английском, которые знал в совершенстве. Как-то, прохаживаясь по Гоголевскому бульвару, он от скуки прочел лекцию группе англичан о Гоголе (те глазели на памятник, а гид молол какую-то ахинею), и англичане спросили деда, как давно он живет в России. Дед был польщен, ибо говорил на том языке, на котором говорили в Англии еще в конце XIX века.

Мама преподавала в МГУ литературу того самого XIX века, была в университете звездой, и когда я приходил на ее лекции, то почтительно именовался “сын Натальи Сергеевны”. По сути эта самая литература так погрузила меня в XIX век, что многие литературные герои были для меня людьми гораздо более реальными, чем окружающие.

Ощущаешь ли ты принадлежность к семье, имеющей столь долгую историю? Что означает для тебя это чувство?

Я всегда видел смысл свой в принадлежности к семье, но не поколенческий, а духовный, заключающийся в той незримой культурной связи, что образует живую нить времен. Именно оттого век XIX, в котором родился мой дед и в котором живут мои милые литературные друзья, был и есть для меня век самый уютный.

Век XX для меня – эпоха тяжелейших испытаний и трагедий, век ухода самых главных людей моей семьи – деда, мамы, бабушки. Семья для меня была нравственной основой жизни, и после прощания с ней я остался один.

Тут возможна ремарка. Я как-то был в пустом деревенском северном доме (это был музей) и поразился тому, как осмысленно там обустроено пространство. Изба – это не просто изба: там есть “небо”, горизонталь – куты, закуты, светлицы, “земля” – низ пространства, протяжение икон через всю заботу дома; есть хозяйственные отделы. Но главное – в том, что весь дом подобен космосу, где все и всё знают свое место и свой чин. Это складывалось веками, и это и есть великая нравственно осмысленная русская крестьянская культура.

Вот если понятно, что я сказал, такой же была и моя семья, откуда были живы ее представители из того, далекого уже для нас, XIX века. До сих пор я часто поступаю так, как если бы спросил у моего деда, а он бы мне ответил. А ежели я поступаю иначе, мне, как правило, бывает очень стыдно за совершенное.

Что ты вспоминаешь о твоих школьных годах?

Собственно, большая домашняя библиотека (около 5000 томов), составленная из книг дореволюционной печати, и испортила мои отношения со школой. Книги без ижицы и ятей казались мне голыми и простоватыми. Литературу и историю я знал хорошо, и школьная программа была мне неинтересна, а в естественных науках оказался полным дебилом, и учительница химии писала в дневнике, что голова моя набита соломой. В целом я был троечником, физически не мог учить то, что мне не нравилось, терпеть не мог пионерский галстук и даже сумел избежать комсомола.

60-е годы принесли с собой возрождение поэзии, появление молодого поколения – тех самых шестидесятников, которые не строили коммунизм, а искали смысл жизни. Твист, узкие нейлоновые галстуки, эра магнитофонных записей, появление самиздата, который в нашей семье не переводился. В нашей квартире бывал А.И. Солженицын, он приходил к соседке, известному впоследствии цветоведу Анне Александровне Саакянц, которая дружила с мамой. Солженицына не пускали в “Ленинку”, и мама с тетей Аней ходили туда и собирали материал для “Архипелага”.

Какими соображениями ты руководствовался при выборе профессии?

Поскольку было ясно, что и я гуманитарий, и семья гуманитарная, я выбирал что-то в этой области... Литературу я и так хорошо знал – чему мне еще там учиться? Историю я тоже очень любил, но мне казалось, что там нет особого поля для деятельности. А вот любомудрие... любомудрие – да, вот это мне казалось очень интересным. И я решил, что, конечно, философский факультет – самое замечательное место, поскольку все-таки там собираются люди умные (а я там бывал еще подростком, на какие-то семинары ходил). Я действительно не ошибся в своих ожиданиях, потому что и ребята очень интересные попались. На первом курсе у нас сложилась четверка “поручиков”: мои друзья Парфенов Володя, Володя Чернявский, Виктор Ларкин, царствие небесное ему...

Как сложилась профессиональная жизнь твоих друзей?

Четверка наша отличалась начитанностью, нигилизмом и храбостью. На семинарах, даже лекциях любой из "поручиков" мог вдруг вскочить и выговорить преподавателю за косность его позиции или неверное толкование какого-либо философского постулата. К чести последних, они вступали в дискуссию открыто, даже с удовольствием. Так А.Л. Никифоров, блестящий ученый и лектор, хитро поглядывая на Парфенова, уже принявшего стойку пойнтера, нарочно провоцировал его и добивался своего, к удовольствию всей аудитории. Он затаскивал нас к себе домой, естественно – на кухню, где мы пили портвейн и решали проблемы понимания, ревисовали марксизм и говорили о Боге. В самые оживленные моменты дискуссии Никифоров вскакивал и начинал прохаживаться, потирая руки и приговаривая: "Так, так, так!"

Сегодня, по прошествии почти 30 лет, не могу сказать, что жизнь нашей четверки сложилась счастливо. Только мне нечего Бога гневить, ко мне судьба милостива, а друзей моих ждали тяжкие испытания, которые для одного из них уже закончились, а остальных еще проверяют на прочность. Но я могу сказать, что они остаются людьми чести, какими и были всегда.

Ты сказал, что ваша четверка именовала себя "поручиками". Почему?

Как-то мы так друг друга стали называть... Нам хотелось, наверное, романтики – в отношениях не только друг к другу, но и к жизни, и к женщинам, к окружающей действительности... немножечко от нее дистанцироваться. И мы присвоили себе старорежимные звания.

Когда я благополучно проучился два курса, встала проблема: собственно, что делать дальше-то, какая специальность? Я понял, что этим всем марксистским безобразием я просто физически не могу заниматься – ни политэкономией, ни диалектикой. Для зарубежной философии или кафедры логики у меня просто открыто не хватало мозгов, я просто не тянул и чувствовал, что это не мое. Меня интересовали живые люди, не отвлеченные идеи, а живые люди.

Социология – это была, наверное, единственная... ну, или одна из немногих, скажем так, дисциплин на философском факультете, практически без идеологической подоплеки. Я выбрал кафедру "Методика конкретных социологических исследований". Специализация начиналась с третьего курса. Я поступил в МГУ в 77-м году, и с 79-го года я уже специализировался на этой кафедре. Мне друзья говорили: ты что, с ума сошел? Ну какая у нас в стране социология? У тебя работы не будет, заработка не

будет – у тебя ничего не будет. У нас же нет социологии, это так просто, для самых отбросов сделали кафедру. Действительно, кафедра считалась самой неперспективной в смысле будущей карьеры, и народ там был самый нечестолюбивый. Зато эта кафедра была лишена идеологических прыщей.

Что вам читали? Кто? Какое это все оставляло впечатление?

На кафедре люди были малоизвестные и в голове не отложились.

В основном методичку социологии и читали, знакомили с классиками западной социологии, хотя порой очень осторожно и с оглядкой – подобные вольности тогда были опасны. А вот общие курсы читали такие зубры, как Чанышев, Мельвиль, Никифоров. Это все были личности.

Арсений Николаевич Чанышев ходил походкой бегемота и имел такую дикцию, что понять его можно было только с первых рядов большой поточной аудитории. Профессор Юрий Константинович Мельвиль был эстет: волнистые седые волосы, зачесанные назад, голубой пиджак, платок, повязанный на шею вместо галстука, и изысканная речь. Александр Леонидович Никифоров одевался небрежно и выказывал полное безразличие к внешности, демонстрируя рассеянность, присущую очень глубоко задумывающемуся человеку. Все они читали свои предметы (диалектический материализм, историю зарубежной философии, исторический материализм, античную философию и т.д.) блестяще, каждый в своей манере. И это разнообразие умов и интеллектов, несомненно, много давало нашим сыроватым мозгам.

Ты – дипломированный философ и профессиональный социолог с большим стажем. Мог бы ты сформулировать твое сегодняшнее отношение к марксистской философии и сказать о ее будущем в российской социологии?

Марксистская философия при достаточно скудном внутреннем багаже, невнятном понятийном аппарате, отсутствии талантливых адептов и последователей умудрилась принести столько бед, как ни одна другая. Как Блок видел, по выражению Бердяева, не Его, но подделку, “обезьяну”, так и в марксистской теории увидели Царство, но не Божье, а земное. И соответственно, дальше началось “обезьянство”, поскольку в Царстве Божье никого никогда силком не тащили, а здесь все наоборот, – именно что силой да кровью.

Вероятно, есть некое объяснение, почему именно на русскую почву лег этот фантом: справедливость в русском обществе всегда была образом высшей правды, град Китеж прочно

сидел в сознании веками. Когда же большевики поманили растерзанное общество социальной справедливостью, вот он и вырос из вод – град Китеж. А требуемая за него плата – жертвенность – опять же в нашей натуре.

Не мог бы ты припомнить, в МГУ вам рассказывали о ранней советской социологии или все начинали с работ шестидесятников?

Я-то читал и Питирима Сорокина, и русских философов конца XIX – начала XX века: Соловьева, Леонтьева, Бердяева, но нам их, насколько помню, не читали, может, только советовали самим ознакомиться.

Покидая МГУ, ты знал о работах русских дореволюционных социологов? О ком из них ты знал? Как ты сейчас относишься к этому наследию?

Я знал об этих работах, еще входя в МГУ, но по малолетству мало что в них понимал. За университетские годы мы с друзьями их хорошенько разжевали. Эта плеяда мыслителей – конечно, уникальное явление, но сегодня мне кажется, что все они были несколько растеряны от предчувствия рока событий, от их неотвратимости. Вообще их эпоха это потрясающее и страшное время. Как перед цунами вода отступает далеко от берега, так и в России поверхность быта отошла, обнажив дно и сокровища философии, поэзии, литературы, но лишь затем, чтобы, немного погодя, страшным бушующим потоком смыть все до основания: людей, судьбы, культуру.

Я беседовал со многими социологами, и ты первый, кто "на социолога" учился. Расскажи поподробней, что вам читали? Была ли у вас какая-либо практика?

Конечно, давали азы – что такое опросы, какие они вообще бывают, какие методы используются, что такое выборка. Тут даже Гэллуп шел в ход. Теорию давали мало, но все-таки представление о Конте, Вебере и прочих мы, насколько я помню, получили. В последний год мы даже делали какие-то опросы среди студентов МГУ разных факультетов – так сказать, впервые вышли в поле. Я тогда ходил с анкетами и опрашивал студентов, живущих в общежитии высотки, на предмет их жизни, планов и т.п.

В студенческой среде тех лет читали самиздат, слушали и обсуждали "голоса" – тебя все это интересовало? Как ты думаешь, это оказывало влияние на тебя, на твоё окружение?

Светлые и романтические шестидесятые сменились мрачноватыми и какими-то тухловатыми семидесятыми. Мы вырос-

ли, и вместе со всей интеллигенцией переместились на кухни. Табуретки, портвейн, крепкий чай и сигаретный дым – вот декорации того времени. Самиздат гулял по рукам сокровищем, золотыми слитками, часто слепой текст – пятая копия на машинке – давали на одну ночь. Но у нас скоро появились ксероксные варианты, наша квартира стала центром, откуда Срамиздат, как его назвал Зиновьев, растекался по Москве. Авторханов, Солженицын, Шаламов – это все были наши учителя, и слова их ложились на подготовленную почву – уж как-то резко в стране потушили свет 60-х, и теперь только настольная лампа освещала страницы правды, отпечатанной на ксероксе.

А самое трагичное было в том, что в 70-е мы думали, что советская власть – это еще лет на двести минимум, и осознание того, что вот так ты в этой фальши и официальной идеологической злобе и проживешь всю жизнь, было мучительно. Я тогда и не представлял, что можно будет спрашивать людей о многом – и они будут открыто, не боясь, говорить то, что думают. Это казалось совершенно нереальным. Книги о современной западной социологии, попадавшиеся случайно, были как манна небесная и оставляли чувство зависти и досады.

В студенческие годы разные поколения социологов по-разному смотрели на социализм. Родившиеся в конце 20 – начале 30-х думали о возможности улучшения советской системы, родившиеся в годы войны и в послевоенное время, пожалуй, об этом уже не думали, те, кто родился на рубеже 40-х и 50-х, видели необходимость серьезной реформы социализма. О чем думали ты и твои друзья, сидя за портвейном?

Когда “поручики” только собрались на факультете, то позиции имели разные. Парфенов был ревизионистом, у него роились идеи модернизации “развитого социализма”. Чернявский, человек основательный, считал, что надобно раньше разобраться с самим марксизмом, который, может, и был неплохой экономической теорией для своего времени, но как политическая система не “всесилен” и далеко не факт, что “верен”. Ларкин полагал, что если бы система расширила рамки своей идеологии, то, возможно, была бы удобоваримой. Я же стоял на самых жестких позициях, считая, что не имеет оправдания власть, планомерно уничтожавшая собственный народ, и отказывал ей в легитимности. Под влиянием дискуссий позиции моих друзей менялись, и курсу к четвертому все “поручики” окончательно утвердились в мысли, что советская власть – зло и Божья кара. Но именно поэтому мы не считали целесообразным идти против нее с дрекольем – не против же Божьей воли идти?

Тут следует заметить, что в кабинете атеизма была прекрасная духовная библиотека, в том числе святоотеческого предания, и многие студенты, желая подкрепить свое "просвещенное неверие", заходили туда и года через два выходили совершенно церковными людьми. Были случаи, когда с философского шли напрямик в семинарию. Я-то крестился раньше, в 14 лет, а друзья мои пришли к Богу через философию.

Креститься в 14 лет – это сильный поступок, особенно в начале 70-х. Ты не мог бы сейчас объяснить мотивы, причины этого деяния?

Тут странное дело. Рядом с нами был морт МГУ. И мы, лет в 6-7 бегали туда, чтоб посмотреть через полуподвальные окна на покойников. Как-то оттуда веселый студент-медик протянул нам крестик (видимо, снятый с покойника). Все мои друзья отшатнулись, а я схватил его как великое сокровище и долго бережно хранил под подушкой. В этом крестике мне виделся какой-то высший смысл.

Позже, классе в пятом, в учебнике истории все читали про миф об Иисусе Христе. Якобы его выдумали рабы себе в утешение. Не знаю, отчего, но я страшно возмутился, взалхлеб и со слезами кричал на преподавателя, что это ложь, и тогда многих неприятно поразил. Опять-таки не могу объяснить причину этой патетики.

И, наконец, окончательно я понял, что мне нельзя жить без Него, в 14 лет, совершенно самостоятельно (в семье нашей разговоров о православии не велось, все были просвещенные интеллигенты). Крестился тайно, на дому священника о. Вячеслава, который вошел в мое положение, понимая, что крещение в храме (где совали свой нос в записи о крестившихся стукачи) могло навредить мне в моей последующей жизни.

Но после этого я ходил на службы уже открыто – и при советской власти, и при иной, делаю это благополучно и до сей поры – Господь своих овец стережет.

Ты и твои друзья учились в элитном вузе, вас учили рассуждать, Вы читали Солженицына, Зиновьева... Как ты полагаешь, ваше отношение к политической системе было позицией меньшинства твоего поколения или его значительной части?

Я все-таки думаю, что наша позиция была крайней – мы считали эту власть преступной и не желали вступать с ней в диалог. Мы не делали карьеру, вступление в партию посчиталось бы несмываемым позором, да и на людях мы не очень-то молчали – в целом говорили что думаем. Наверное, к тому времени и власть уже ослабла, и стукачи обленились, так или иначе, нам все сходило с рук.

Что было окрест? Не скажу, что было единодушное неприятие системы. Была апатия, равнодушные уставших от забот, бедности, партийной брехни людей. Наше поколение – тоже ведь не монолит: наиболее светская, образованная его часть все прекрасно понимала, особенно после Олимпиады, когда в Москве на две недели наступил почти коммунизм (по крайней мере, в ассортименте магазинов), а потом опять вернулся родимый социализм без колбасы, но с несчастным Брежневым, еле ворочавшим языком на пленумах.

Менее сообразительная часть нашего поколения полагала, что здесь, конечно, не сахар, но “там” еще хуже, – вон, телевизор посмотри, чего творится в мире.

Самые неприятные представители нашего поколения – циничные и наглые комсомольцы-вожаки, карьеристы, люди с цепким взглядом и чистенько одетые. Многие из них сейчас сидят в кабинетах высоких, в креслах глубоких и рассказывают, как они боролись с советским режимом. Кстати, возможно, это и вправду они его развалили – уж больно прытки были тогда.

В чем ты специализировался, на какую тему писал диплом?

Диплом я писал на тему “Сравнительный анализ социально-психологического климата трудовых коллективов” с упором на влияние социально-психологического климата (СПК) на производительность труда. К тому времени (1982 год) я уже работал младшим инженером во ВНИСИ и сравнивал коллективы опытного производства института. В дипломе не было ни одного упоминания ни Ленина, ни Маркса – по той причине, что ни тот, ни другой о СПК ничего не написали. Тем не менее за отсутствие таковых упоминаний мне снизили балл – поставили, говоря по-школьному, “четыре”. Я посчитал это удачей, поскольку сначала диплом вообще не хотели принимать к защите.

Не хочу сказать, что социология разочаровала меня после окончания университета. Это было начало 80-х, когда экономика особенно не развивалась, – вот и придумывали разные способы, как ее подтолкнуть. И придумали: научная организация труда – НОТ, СПК, ПТА – профессионально-трудова адаптация, бригадный метод, КТУ... Все эти аббревиатуры я еще с тех лет помню... И насадили социологов на заводах. Чуда они, конечно, никакого не совершили, но умудрились таки откровенно дурить головы начальникам – и средним, и высоким: делали умные отчеты, рассуждали на какие-то очень умные темы...

Мне кажется, что ты несколько игриво относишься к заводской социологии... или я ошибаюсь? Ведь в те годы это направление мощно развивалось.

Как я уже говорил, ВНИСИ был подотраслевым институтом, в его научном обеспечении находилось что-то около сорока пяти заводов и три производственных объединения. К тому времени на каждом заводе уже сидели заводские социологи – не пойму, откуда столько набрали? – и не знали, что делать. За редким исключением вроде Якова Лазаревича Эйдельмана из Владимира. Потрясающий мужик, замечательный, умница и профессионал настоящий – он был на голову выше всех остальных, и мы к нему тянулись. Так его и звали: мэтр. И я у него научился очень многому. Он создал не только целую службу, но и чуть ли не школу заводской социологии.

Харьковский социолог Юрий Львович Неймер тогда готовил гигантский проект по "социальной паспортизации", которая должна была охватить все министерское хозяйство. Каждый завод должен был заполнить здоровенную книгу с таблицами объективных производственных показателей, а рабочие, ИТР и служащие – заполнить личные анкеты. Затем анкеты обрабатывались на ЭВМ ЕС-1030, которая стояла в нашем институте. Пачки перфокарт приносили ко мне и сваливали на стол – я смотрел на них со священным ужасом. Потом данные со всех заводов подотрасли сплюсовывались в одну книгу. Это было невыносимо – сидеть часами, днями, неделями и складывать числа из 6–8 знаков. Пользовались мы при этом первым советским калькулятором "Электроника", еще на лампах, когда нажимаешь кнопку "Итог", он думает секунду-другую. А в шкафах стояли счетные машинки прежней жизни – "Фениксы", с ручкой-крутилкой на боку.

Когда я сдал "социальной паспорт" подотрасли, который отнял года полтора-два жизни, оказалось, что все паспорта будут сливаться в паспорт отрасли, что и было сделано. Кстати, не знаю, зачем все это сливалось. Получалась средняя температура по отрасли, и никто из начальников не понимал, что с этим талмудом делать.

Кроме этого, служба Ю.Л. Неймера, в которую я входил как профессионал, социолог подотрасли, занималась социально-профессиональной адаптацией, анализом внедрения бригадного метода, КТУ (коэффициента трудового участия), организацией социологических служб на заводах и с особенным удовольствием – организацией семинаров в очень приличных местах, кроме Харькова, я помню, они проводились во Владимире, в Суздале.

Я не очень понимаю, был ли в целом какой-то толк от социологов на заводах. Вероятно, там, где сидели люди знающие, – был. Но такие, безусловно, составляли меньшинство, а прочих директора воспринимали как обузу. Конечно, производительность труда заводская социология не подняла, да и не могла поднять, но, видимо, какую-то роль порой выполняла.

Но скорее всего в той лаборатории платили мало для московского молодого человека?

Дело в том, что я особо-то и не жил на зарплату в этом самом ВНИСИ. В начале 80-х сдружился с ребятами, которые в Москве занимались укреплением дверей в квартирах. Ходили такие бригады, звонили в дверь и говорили: здрасьте, сегодня в вашем доме проводится работа по укреплению дверных коробок, замков и так далее. Это было ИТД – индивидуальная трудовая деятельность. Я был “съемщиком”, то есть должен был позвонить в дверь и уболтать растерянного хозяина квартиры. А это было время, когда еще в подъезд можно было войти и в квартире дверь открывали без всяких этих глазков. Стоила укрепка двери 30 рублей. Так мы зарабатывали. В среднем я получал где-то примерно 600–700, а иногда и 800 рублей в месяц...

Действительно, в те годы это были большие деньги...

Да, очень, плюс 150 рублей на основной работе. Это больше, чем зарабатывал министр союзного значения. Это была моя вторая жизнь, причем мне надо было выйти на работу два раза вечером в будни и один полный выходной. Но зато я мог чувствовать себя достаточно независимым человеком, во-первых, а во-вторых, с большим удовольствием поил своих друзей, которые как были бедными, так в общем-то ими и оставались после окончания института. Ну, получали они зарплату 150–160 р., у кого-то там – 180. Я приглашал к себе большое количество народу, мы затаривались и очень хорошо сидели – с московскими разговорами. А заводская социология надоела мне так года через три окончательно, бесповоротно. Я понял, что все, уже в ней делать нечего, и захотелось чего-нибудь более светлого и радостного. К тому же замышлялась вторая волна “социальной паспортизации”, а я точно знал, что ее не выдержу, она меня накроет навсегда. И я поспешил покинуть корабль светотехнической подотрасли, пока цунами был еще далеко.

И что потом?

Не помню даже кто мне предложил работу в другом проектом институте – “Гипротепатр”. Контора эта была для меня

совершенно непонятной. У меня “гипро” ассоциировалось с “гидро”: почему-то я решил, что это то ли водный театр, то ли еще что-то, связанное с водой. Но мне это было не очень-то и важно, ну “гипро” или “гидро” – ради Бога, театр и театр... Почему театр, я тоже не задумывался. Это было громадное здание на Суворовском бульваре, обшарпанное, бывшие коммуналки, где ходили важные бородатые довольно молодые ребята, очень интересные со всех точек зрения дамы, а названия отделов было абсолютно невозможно прочесть – какие-то длинные аббревиатуры. Я попал в отдел разработки компьютерных игровых программ. Это был полный бред, но поставлено на широкую ногу – там было два психолога, я как социолог... Видимо, речь шла о каком-то анализе воздействия игр на сознание.

В “Гипротеатре” я познакомился с молодой, очень красивой и очень умной женщиной – Леной Петренко. Она, как потом выяснилось, взяла меня на заметку – видно, больно горлопанист был. Именно Лена привлекла меня на какие-то серьезные семинары, на которых я, по правде говоря, чувствовал себя полным ослом.

В своем отделе компьютерных программ мы, в общем, валяли дурака, но малина эта продолжалась недолго. Видимо, какой-то начальник наверху, насупленно просматривая штатное расписание, поднял бровь и спросил: “А это еще что такое?” и росчерком пера ликвидировал наш нелепый коллектив. А меня жизнь занесла в Институт культуры.

В том институте работали Я. Капелюш, В. Чеснокова, В. Сазонов... сильная команда. Чем ты там занимался? Что тебя там не устраивало?

Как раз та жизнь была очаровательна. Это был не институт, скорее клуб по интересам. Ты еще не упомянул Леонида Григорьевича Ионина – он был там замдиректора. Собирались два дня в неделю в старинном особняке, обсуждали умные, приятные вещи с умными, интеллигентными людьми. Культура!

Я стал заниматься народными театрами, поскольку сам играл когда-то в одном из них почти три года. Но все же тянуло меня к масштабным национальным исследованиям. Общество бурлило: перестройка, какие-то социальные массивы в горных краях общества начинают движение – а мы тут с культурой. Оно, конечно, приятно и беспокойства никакого, но... И когда Лена Петренко позвала меня во ВЦИОМ, я ни секунды не колебался. Вот оно, впервые в истории Совдепии – масштабные, всесоюзные опросы общественного мнения! Чувство было такое: ну теперь-то мы все и выясним! И миру все объясним. А главное – сами себе. Вопросов-то к тому времени накопилось

много. Направление моих мыслей было такое: я хотел понять общество. Его движения, структуру, устремления, короче – жизнь народа, в котором я родился и живу.

Думал ли ты в те годы о своем направлении исследований? О работе над диссертацией?

Направление исследований? Изучение общества в его целостности. Какие мы есть и какими будем в XXI веке? И будем ли? Этот вопрос не праздный – сегодня очевидно, что и весь развитый мир задается тем же вопросом и имеет свои сценарии на этот счет. А какой сценарий имеем мы? И какой багаж остался у нас от 1000 лет прошлой жизни? Какое наследство есть у нас сегодня и вообще вступили ли мы в права наследования или же решили идти далее налегке?

Но о диссертации никогда не думал, не видел в ней смысла. Работа – это интересно, а писать только для того, чтобы потом тебя называли “кандидатом”?..

В каком году ты пришел во ВЦИОМ? Чем тебе пришлось там заниматься?

В 85-м году у многих создалось впечатление, что что-то такое должно случиться, – как пел Окуджава, “ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет”.

По крайней мере у меня было такое чувство, что началось дуновение какой-то новой эпохи.

В 89-м году во ВЦИОМе наступила самая, пожалуй, счастливая пора в моей трудовой деятельности. Все было совершенно необычно. Такого со мной не было никогда. Сидят люди, у которых внутри что-то горит, внутри происходит что-то очень радостное, как в фильме “Я шагаю по Москве”. Там все были счастливы – и наш коллектив, в котором все счастливы. Я понимаю почему. Столько лет все гнобилось, все было под спудом. И эти люди, эти профессионалы, пришедшие сюда, копили силы, думая, что эти силы никогда не пригодятся, так и придется уходить в могилу. И вдруг они оказались востребованы. Они, как Илья Муромец, который 33 года на печке лежал, а у потом встал – и с легкостью все можно сделать – и дерево выдрать, и камень отвалить откуда хочешь.

И, конечно, антураж. Отель! Дом туриста. Чай в номерах, можешь пойти принять душ, который тут же, – пожалуйста. Можешь пройти по коридору, спуститься в бар, а в нем уже сидят сотрудники, и никто не хватает тебя за руку, не тащит к директору и не увольняет за квасеево в рабочее время, а, напротив, говорят: возьми себе коньяку и иди к нам, у нас проблема социологическая назрела, сидим и решаем ее. Что-

то американское совершенно такое невообразимое. То есть из этой унылой действительности, этих мрачных коридоров, рож чинуш, совершенно омертвевших, – вдруг сразу в такую атмосферу! Кроме того Борис Леденев, наш завхоз, выбил посещение бассейна по средам, причем с утра, полагая, что вечером народ уже устал после работы. Татьяна Ивановна Заславская ругалась: что ж такое, в среду никого не найдешь, потому что весь ВЦИОМ перемещался в бассейн с сауной. Ну и уходили, соответственно, поздно, работали за дело, как говорится, а не по времени. Это был счастливый период в моей жизни, очень. Хотя в этом было что-то детское, очень много наивного.

А какие вокруг были персонажи! Сидел Ю.А. Левада, сидел как Кутузов, немножечко развалясь, не хватало повязки еще на глаз. Он, кстати, иногда засыпал на совещаниях – его никто не будил, потому что каким-то своим третьим ухом он все нужное слышал. А Б.А. Грушин у меня ассоциировался с Суворовым: невысокий, быстрый, вечно в движении; если вдруг раздавался страшный гром, мы знали, это Грушину что-то не понравилось – и он выражал свое недовольство. Это – титаны, атланты, это снежные вершины отечественной социологии. С этих людей все начиналось в далеких 60-х, на их плечах стоит сегодня российская социология. А если более приземлено – Т.И. Заславская была директором ВЦИОМа, Б.А. Грушин – первым заместителем директора, а Ю.А. Левада возглавлял отдел теории.

Согласен, обстановка во ВЦИОМ в те годы была именно такая. Теперь, пожалуйста, расскажи о своей работе.

Жизнь мою во ВЦИОМе можно разделить по времени на две неравные части. В первой жизни мы – я, Сергей Новиков и Екатерина Козеренко – под нежным, но твердым руководством Лены Петренко проектировали всесоюзную выборку, а точнее – разные ее виды. Но для этого надо было собрать статистические данные о жителях в разных типах населенных пунктов в стране: республиках, областях и районах. Да рассчитать квоты по полу и возрасту – а они везде разные. А Госкомстат данные свои публиковал в абсолютных величинах, и их надо было сложить для жителей в возрасте 18 лет и старше, и пересчитать в проценты, и привязать к конкретному региону, и согласовать с типом выборки и т.д., и т.п. Я до сих пор считаю, что в Европе эту работу делал бы институт человек из ста, вооруженных сотней же суперЭВМ в течение года-двух. А нас было только трое, как в песне поется. Но мы были молоды, весело злы, мы не знали, сколько для этой работы нужно европейцев, и сконструировали эту выборку в зверски короткие сроки.

Параллельно я, из личных побуждений, писал программу исследования религиозности общества. Программу эту, как и все прочие, долго и придирчиво обсуждали на методическом совете ВЦИОМа. Да, да, это были те времена, когда не строгали анкеты, как баклуши. Когда писался раздел “проблемная область”, а потом “гипотезы исследования”, а затем разделы “цели и задачи”, “объект и предмет исследования”, “география опроса”, “выборка и организация”, “операционализация основных понятий”, “аналитические задачи исследования” (не путать с “основными”), “научно-практические результаты” и много чего еще. И все это называлось “Программа исследования”.

Сегодня, когда лужагут опросы как семечки и проносятся сверхзвуковые проекты, я чувствую себя пилотом дореактивной авиации – скорости небольшие, зато не по приборам идем, а по смекалке да на честном слове. Вот примерно такая была первая жизнь.

А вторая началась в отделе организации исследований. Был отдел из пяти сотрудниц, все строгой ответственности и профессионалы. Я сказал: девочки (многие были старше и опытнее меня), тут не будет никаких начальников, у нас будет коллектив, где ответственность распадается на всех. Другое дело, говорю, что орать будут только на меня, – вот и вся разница между нами. На вас орать не будут, это я вам гарантирую. А в остальном у нас с вами абсолютно равные права, и если кто-то считает, что дело идет не так, братья и сестры, будем всегда все решать вместе.

И вот к нам приносят пачки анкет очередного исследования. Козеренко и Новиков, оставшиеся в отделе выборки, конструируют выборку для всего опроса и для каждого регионального отделения ВЦИОМа с городами, селами, квотами и инструкцией по ее реализации. А мы тем временем пакуем анкеты, пишем на посылках адреса и обматываем те посылки скотчем.

То были благословенные времена, когда самой скорой и дешевой почтой были поезда дальнего следования и почтальоны – проводницы вагонов. И вот посылались курьеры, увешанные посылками, на вокзалы к поездам – и ранним утром, и поздней ночью. Крайне важно было, чтобы они тут же отзвонились с вокзала (напомню, без мобильных жили) и прокричали в трубку номер поезда и вагона, да когда будет на месте, да как зовут проводницу. И тут же сотрудница отдела организации садилась на телефон, часами дозванивалась в разные города и республики и сама уже выкрикивала в трубку заветное. Связь телефонная по межгороду в те годы напоминала кадры военного фильма: комбат ревет в полевую трубку что-то насчет снарядов, причем немец через поле его

слышит, а на том конце провода – нет. Учтите, что некоторые поезда шли всего ночь (скажем, в Ленинград), поэтому оперативность была необходима.

Периодически посылки терялись, но когда в ту сторону – еще полбеды, а вот когда обратно, уже с бесценным, желанным, ожидаемым общественным мнением в каждой анкете – вот тогда беда. Чаще опаздывал курьер к поезду. Поезд отгоняли на запасные пути, и провинившийся лез в вокзальные “зады”, разыскивая пропавший поезд, а потом еще и искомый вагон – поезда имели вредную привычку менять номера вагонов на пересцепке. Тогда шли в ход особые приметы: толстая такая проводница, нос красный такой, Клава, в розовых гольфах. А Клава заперла вагон и пошла в город за колбасой (сама она из Ижевска, а там колбасы уже пять лет нема). И сидит на бревнышке курьер и ждет ее. И тащится она с пятью батонами “Любительской” и еще издали орет: “Вовремя приходите надо, вот жди теперь, пока с делами управлюсь!” Но главное – вот оно, общественное мнение – 150 анкет, бесценный груз. И отдел организации облегченно вздыхает в полном составе, а рядом так же вздыхает ответственный за проект социолог, которому, как только что выяснилось, без Удмуртии – смерть, и он уже почти готов был принять ее. И так... ну, не каждый день, но в неделю раз-другой – точно.

Были попытки усовершенствовать методу. Я сам искал свежие идеи, но все они разбивались о еще советский быт. Как-то Леденев, наш смекалистый завхоз, нарыл где-то ни много ни мало фельдъегерскую связь. Это было нечто! К нам в отдел входил гренадер метра два ростом, с непроницаемым рубленным ликом, в щегольской форме, оглушительно щелкал каблуками, отдавал мне честь (оторопевшему патлатому салаге) и вручал пакет с посылкой, за который я расписывался в ну очень солидной книжке. Или забирал пакеты у нас и увозил, как я узнал, на аэродром, где вручал под роспись лично командиру экипажа гражданского или даже военного борта. И тот брал этот секретный груз пустых анкет в кабину пилота и личной головой отвечал за него, до рулежной дорожки другого аэропорта, где его ждал такой же детина с таким же каменным ликом. Но эта райская жизнь длилась недолго, сейчас уже не помню почему. То ли затрещал наш бюджет “отправных” денег, то ли сама фельдъегерская служба, прознав, что она перевозит, послала нас куда подальше – правительственная почта, между прочим.

Как-то во ВЦИОМ пришел тихий изобретатель и принес черную коробочку с кнопками и лампочками. Он уверял, что в коробочку можно загнать немерянное количество ответов,

если настроить ее должным образом. Собрался консилиум, и А. Ослон долго и недоверчиво вертел корбочку в руках. Та игриво подмигивала. В конце концов изобретателя выпроводили. Кстати, в те времена подобных визитеров было немало. Однажды у меня в кабинете появился взъерошенный тип и объявил, что создал систему, по которой можно прогнозировать все. Когда я ошеломленно спросил, кто его ко мне направил, он заговорщицки шепнул: “Просили не говорить”. И тут же развернул тетрадь, испещренную графиками и кривыми. Через десять минут я опомнился и сказал: “Вот что, я не по этому делу. Но в конце коридора налево сидит Рывкина – она специалист по прогнозам. Только не говорите, что я послал, у меня с ней напряженные отношения (ложь во спасение). Потом я узнал, что доверчивая Инна Владимировна вникала в его систему два часа и долго потом выясняла по ВЦИОМу, кто ей подсуропил “этого психа”.

Потянулись нервческие будни, объем исследований возрастал, а нас больше не становилось, но мы матерели, обретали железную уверенность в себе. И когда нервческий социолог-аналитик вбегал к нам с воплем: “Где мои анкеты? Где они?! Где?!!”, наша Лариса Дацко (или Вера Никитина, или Лейла Васильева, или Нелли Абдулхаерова), спокойно, тоном медсестры говорила: “Когда у нас сдача? Завтра в 12.00? Идите к себе, выпейте рюмочку. Завтра. Все. Будет”.

Это сейчас базы данных летят из города в город со скоростью Интернета, и операторы в Центре тихо матерятся по поводу качества ввода. И “перевзвешивают кривые массивы” лихой программой, прямой праправнучкой той первой, которую разработал когда-то на хилой ХТ Сергей Новиков.

Конечно, мы не только анкеты запечатывали в пакеты. Что-то писали, делали какой-то анализ, участвовали в бесконечных обсуждениях, сидели на семинарах, выезжали в города и республики. Короче, жили полной научно-практической жизнью.

Мы немного потеряли счет времени, по-моему, мы подходим к 1991 году – моменту создания ФОМа. Так?

Да, верно. Когда создавался ВЦИОМ, мы думали, что важнейшее дело делаем. Как же мы в демократической стране можем без общественного мнения? Сейчас все кинутся нас спрашивать – и мы всем все расскажем! И вот с этим ощущением я лично прожил где-то год-два. Потом мне начали закрадываться в голову нехорошие подозрения, что не все так просто. Почему-то не кидаются к нам особа. Пишем какие-то отчеты в ВЦСПС, а газеты нас мало печатают, боятся наши цифры печатать: это не будем, то будем...

А ФОМ был создан как некая коммерческая структура при ВЦИОме – структуре государственной. Каким-то внутренним чутьем я понял, что это начало разделения. И написал тревожное письмо Татьяне Ивановне Заславской на десяти страницах... Потом все случилось, как я написал. Я считал, что разделение одного коллектива на две части, которые работают по совершенно разным основаниям, приведет к расколу сначала психологическому, потом творческому, а затем к расколу организационному. И пока не поздно надо дело это свернуть, надо создать другие формы – благо наш полугосударственный, полугосударственный статус это позволяет.

Ты помнишь реакцию Татьяны Ивановны?

Она согласилась с моими опасениями, но в тот момент она уже, видимо, какие-то шаги сделала, и обратно идти не могла, даже если бы очень захотела.

Между тем время шло – мы тогда уже жили на улице 25-го Октября – я стал чувствовать, что ВЦИОМ начинает немножечко закисать. И теперь мне показалось, что одним из выходов может стать разделение научной части ВЦИОМа и организационной. Организационную часть лучше передать в Фонд и тем самым сделать ее коммерческой, а научную оставить как было. И на этом можно зарабатывать деньги. Я предложил такой вариант Леваде, который тогда уже был директором ВЦИОМа. Предложение не встретило понимания у Юрия Александровича.

А у меня нарастало ощущение, что ВЦИОМ как-то “заблачивается”. Что-то непонятное происходит, какая-то рутинка идет. И когда А. Ослон начал кампанию за то самое отделение ФОМа от ВЦИОМа, я, не желая оставаться в болотистой местности, пошел с Сашей. Наш уход был оправдан, но, как и при любом разводе-раздоре, было в нем что-то нехорошее, как я сейчас помню.

Состоялось собрание, на котором я должен был выступить, – объявить о создании ФОМа с новым уставом. На это собрание пришел Левада. Когда я стал выступать, он поднял руку. Но я сказал: “Юрий Александрович, сейчас я сделаю заявление, потом дам слово всем желающим”. А заявление было такого рода, что, собственно, выступать-то после него было уже не нужно. Он резко встал и с несвойственной ему стремительностью вышел из зала. А у меня осталось чувство, что я что-то сделал нехорошо.

Много лет спустя я зашел во ВЦИОМ, который находился тогда возле театра Гоголя на Курской. Я шел по коридору и вдруг увидел маленький кабинетик с открытой дверью. Там

дремал в кресле Левада, в своей обычной позе. Я зашел к нему, он меня встретил очень вежливо, сказал: “А, Михаил Аскольдович, присаживайтесь, садитесь...” И тогда я искренне попросил у него прощения за тот эпизод в своей биографии. И он, как мне показалось, с облегчением меня простил. Мы пожали друг другу руки. Левада отнесся ко мне милостиво и со снисхождением.

Ты оказался в ФОМе, так?

Да, и началась новая, другая жизнь.

В ФОМе я провел несколько крупных проектов, отозвавшихся в душе удовлетворением. Один из них был для банка “Менатеп”. Большое комплексное исследование, результаты которого я лично читал полтора часа принимавшему этот отчет Владиславу Суркову. Во время моего вдохновенного бубнения он сидел терпеливо и смотрел в окно. Когда я кончил, он спросил вежливо: “Это всё? – Всё,” – честно сказал я. И тут же был подписан акт о приеме работ.

Другой раз я сдавал какое-то исследование тоже еще молодому Чубайсу и тоже подписал на акте (чего ради все и совершалось) была скорой. Правда, Анатолий Борисович как-то хитро мне подмигнул и прошелся по поводу нашей объективности, на что я реагировал холодно и надменно.

Я ушел из ФОМа потому, что у меня наступил внутренний кризис. Но тут я хотел бы сделать небольшое отступление. Еще когда я пошел на кафедру социологии в университете, мне хотелось не просто щупать общество и смотреть на градусник. Тем более что, как мне казалось, отечественная социология так и не выработала свой язык – не просто научный, аналитический, а даже свой разговорный язык, она не научилась разговаривать с обществом. То есть первичный-то разговор, когда снимаешь информацию, – да, а когда она возвращается обществу в виде готового изделия, – нет. Получается как бы вещь в себе, черная дыра. Социология что-то потребляет, что-то всасывает в себя, а выпускает – разве что вечные наборы цифр с какими-то комментариями, что 28 процентов – это больше, чем 14. У меня все больше создавалось впечатление, что это просто потогонная работа по ощупыванию со всех сторон общества. Она может быть предметом чьих-то личных пристрастий, но при чем здесь наука-то? Я, наверное, не понимал, как и многие не понимали, что в 90-е годы невозможно было об обществе ничего толком понять, потому что как таковое оно еще не сложилось. И сейчас еще не очень, да... Поэтому тут, можно сказать, вся отечественная социология, оказалась в заложниках у времени. Зато она все-таки за 90-е годы, как мне

кажется, нарастила мышцы. Когда постоянно тренируешься, качаешься, левая рука – общественные опросы, правая рука – политические опросы, нога – маркетинговые опросы, какие-то группы мышц накачались.

Почему я потом из ФОМа ушел? Каждый месяц регулярно цифры, цифры, цифры идут, а ведь это – продукт скоропортящийся. И как ни призывали нас давайте создавать банки данных, а потом мы динамические ряды построим... что-то они не строятся.

Мне надоело печь эти блинчики, одни и те же... что-то во мне надломилось.

Я отправился на вольные хлеба, был страшным шакалом. Работал политтехнологом, черным пиарщиком, работал на выборах – на десяти кампаниях или даже больше – и нажрался этим делом по горло.

Может, чуть подробнее скажешь о том периоде? Мне не нужны явки, пароли...

Сначала я сидел, ничего не мог делать, ел два пакетика китайской лапши в день и курил "Приму" – на другое денег у меня не было. Принципиально сократил до минимума общение со всеми и ушел куда-то там в себя; я в то время был разведен.

И как-то мне звонит мой давний приятель, которого я давно не видел, и говорит: "Слушай, ты чем сейчас занимаешься?" Я говорю: "Сижу дома." – "Ну, я понимаю, а вообще?" – "Я вообще сижу дома." – "А, – говорит, – может, тебе будет интересна такая штука... Ты когда-нибудь занимался предвыборной психологией?" – "Да чем я только ни занимался", – говорю я дипломатично. – "Ну, тогда... Тут выборы губернаторские – не хочешь заняться?" Мы поторговались – деньги были не маленькие, – и я согласился, хотя не представлял себе совершенно, что это такое. Приезжаю в город, мне говорят: ты будешь персоной нон грата, тебя никто не должен видеть в лицо, вообще. Так я стал черным пиарщиком.

Что это значит?

Я тоже не знал, что это такое. Нужно было распространять черные пиарные листовки. Мне дали пару наводок, потом я открыл ребят – местных фашистов. Они потрясающие были. Во-первых, прекрасно организованы, во-вторых, обожают шпионские игры, во все это играют с наслаждением. Потом я от них отказался. Их фюрер был психом – он в ресторане устраивал мне встречи, выставлял охрану за две улицы. А они все бритые, их видно за три версты ... Я говорю: "Знаешь что, с твоей конспирацией мы тут засыпемся".

Потом я нашел ребят – спортсменов. Тоже очень дисциплинированные. Команда была – не помню, по какому виду спорта, – человек пятнадцать. Они у меня эти листовки и газеты проносили в городскую администрацию, во всех туалетах оставляли, во всех коридорах... Трамвай выходит из депо, толпа врывается в него – там уже на сиденьях разложены газетки. Во всех электричках, в троллейбусах...

Что за газетки-то?

Там была газетка вроде бы от лица нашего конкурента, но на самом деле составленная так, что все понимали, что он страшная сволочь. Что-то я сочинял, что-то мне из штаба присылали, уже сверстанное. Причем газеты печатались, конечно, не в этой области, а в соседней, потом конспиративными партизанскими дорогами... Сначала трейлер привозил на границу, там приезжали с моей стороны, я сам приезжал на трех “рафиках”, сгружали, а дальше это развозилось по разным городам.

И сколько лет ты так шакалил?

Это было где-то до 2001 года. Да, еще я был в Ингушетии, на Северном Кавказе ваххабитов видел. Они в машине приезжали и так оценивающе смотрели на меня: добыча я или не добыча? А меня охраняла целая гвардия... четыре автоматчика, все как полагается.

Но настал момент, когда – все, дальше этим уже нельзя заниматься. Потому что либо ты должен становиться законченной сволочью, либо надо уходить и отмываться после этого дела. Очень долго отмываться. Причем внутренне, что тяжелее, чем внешне. Это гнусные все вещи, очень гнусные.

И какой же общий вывод?

Я понял, что в России колоссальное количество честных, очень хороших людей. И очень бедных. Я подумал: Боже мой, если бы вот эти деньги, которые мы выкидываем на ветер, просто отдать людям... Ты не представляешь! Ты едешь, и дом стоит деревянный – он покосился не просто в сторону, но еще и назад. Он стоит, в двух плоскостях смещенный куда-то, а там светится огонь; двухэтажный барак; и дым идет, и люди там живут в нищете страшной... Но при этом почему-то совершенно нет никакого ощущения падения, конца – нет, нормально живут, работают, с хорошими лицами такими, с такими русскими мордами замечательными... И у меня появилась какая-то вера в эти замечательные, настоящие, спокойные и уверенные в себе лица. Что бы там ни происходило – выживем, ничего, и не такое бывало еще.

Пропустим описание нескольких лет твоей жизни, что-нибудь надо оставить для наших следующих бесед. Где ты сейчас работаешь? Чем занимаешься?

В 2004 году я начал работать в Институте общественно-проектирования (ИнОПе) и снова оказался в непривычной для себя обстановке. К созданию его приложили умы многие достойные и известные ныне люди. Это научный институт нового типа. Он занимается не только настоящим, но и будущим России, но очень близким и обозримым. Специалисты института исходят из того, что страну ждет великое будущее, и заняты моделированием возможных сценариев как "светлого завтра", так и другими, более грустными сценариями, где тень может найти на плетень. Но все же нас отличает социальный оптимизм, который институт пытается внушить не только российскому обществу, но и его политическим лидерам, зачастую забывающим о радужных общественных перспективах в угоду не менее радужным личным.

В советских научных институтах результат был необходим, но никого не интересовал. Мои отчеты никто не читал, но если они не сдавались в срок, громы обрушивались на мою голову. В российских компаниях, занимающихся исследованием общественного мнения, ситуация была иной. Там результат к сроку был важен, но зачастую не представлял собой ничего экстраординарного – ну, думают люди что-то, эти так, те иначе. Правда, в маркетинге подразумевались некие открытия, долженствовавшие поразить заказчика, – недаром же он отвалил свои кровные на фоне падения продаж. Но на моей памяти таковых не случилось. Как правило, клиент уходил даже более озадаченным, чем приходил.

В ИнОПе сроки – дело второе. Никого не интересует, что 37% – больше, чем 14%, и кому эти проценты принадлежат. Нужны инновации на уровне формул, описывающих законы бытия, и пока они не будут вырублены на скале, изволь пытаться, а время подождет – истина важнее. Один концептуальный текст у нас писался более года, пока не приобрел окончательную форму.

Конечно, тут есть опасность наштамповать формул, да потом с ними и жить – не важно, что жизнь сложнее, да и формулы, как известно, описывают только алгебру, а не гармонию. Но новизна ощущений для меня была налицо, процесс открытий увлекал, тем более что вокруг собрались люди умные, пытливые, исповедующие принцип "по-малому – только кулак отшибешь". Это и позволило провести крупномасштабное исследование "Стратификация современного российского общества", которое потом обрело форму книги "Реальная Россия"

(изд. “Эксперт”, Москва, 2005), а также ряд других проектов, часть которых, надеюсь, также выйдет в книжный свет.

Два слова о проекте “Реальная Россия”. Был проведен опрос 15 тысяч респондентов по репрезентативной общероссийской выборке. Такой объем выборки позволил делать серьезный анализ. Но основа этой работы – кластерный анализ по основным параметрам, формирующим общественную структуру, – материальное положение, образование и социальный статус. На выходе мы получили семь вполне внятных кластеров, которые в свою очередь дробились на одиннадцать подкластеров. Они и составили описание социальной пирамиды, то есть структуры современного российского общества. Параллельно были проанализированы такие параметры общества, как трудовые отношения, престиж профессий, семья, досуг, религия, национальный вопрос, идеология и т.д. Получилось, конечно, галопом по Европам, но лиха беда – начало. Книга вышла толстая, кило три весом, так что аргумент в споре серьезный.

Во ВЦИОМе ты начал заниматься изучением религии. Позже тебе удалось развить эти поиски?

Когда я начал заниматься изучением религии – сначала в советском, а потом в российском обществе, – я руководствовался следующими соображениями. Во-первых, мне как человеку православному и религиозному предмет был близок и интересен. Во-вторых, я всегда подозревал, что тысячелетняя традиция, жившая в душе народа, не может быть окончательно оккупирована одними старушками и что в условиях свободы должен начаться религиозный ренессанс. В-третьих, понятие “верующий” для меня всегда было весьма расплывчатым: я считал, что в нем существует много смысловых оттенков, а определить их можно с помощью инструмента массовых опросов. Чем я и занялся еще во ВЦИОМе, затем эпизодически – в ФОМе и, наконец, целенаправленно – в ИнОПе. Частично результаты этих почти двадцатилетних наблюдений вошли в книгу “Реальная Россия” и периодически появляются в журнале “Фома”, за что я очень благодарен его главному редактору Владимиру Легойде, а также Владимиру Гурболикову – второму человеку в журнале, который терпеливо возится с моими небрежными текстами.

Мой вывод таков: ренессанс состоялся. Пусть это не пугает неверующих (а их у нас немало). Религиозные люди – люди не страшные, в лоб крестом никому не закатают, внешне такие же, как и все прочие, а что у них внутри – разговор особый.

Ты говоришь о ренессансе, некоторые социальные философы и социологи рассуждают об угрозе православного фундаментализма. Что ты думаешь по этому поводу?

Тут надо немного знать историю. Христианский фундаментализм уже давно состоялся. В России это произошло в период раскола православной Церкви и старообрядчества. И, заметь, никогда русское старообрядчество не шло ни против общества, ни против государства.

В Европе раскол произошел обратным образом – не во имя сохранения религиозных догм, но во имя их разрушения. И это тоже достойная истории. Теперь время фундаментализма переживает ислам, что естественно, поскольку и родилась эта религия на семь веков позднее христианства. Формы этого процесса хорошо известны и являются предметом тревоги всего верующего (и не очень) мира.

Сегодня русская вера ищет и исповедует толерантность, прекрасно понимая, что в условиях многонационального российского пространства и за пределами его договариваться можно, только смирив гордыню и объявив общий мир во имя спасения души всех народов и каждого в отдельности. Господь нас рассудит, а мы сегодня обязаны быть братьями и сестрами друг другу, невзирая ни на какие отличия, поскольку перед лицом Бога таковых нет.

Ты говорил, что жизнь твоих друзей-“поручиков” сложилась грустно, да и ты сам долго метался, искал свое и себя. За три десятка лет до вашей группы на факультете философии МГУ была другая блестящая четверка студентов: Грушин, Зиновьев, Мамардашвили и Щедровицкий. Их времена были покруче ваших и в студенческие годы, и в годы их молодости, но они, отталкиваясь от совсем уже ортодоксального марксизма, смогли найти свои пути. В чем дело? Мне кажется, что суть в среде, но мне интересен твой ответ.

Жизнь моя – не метание, а непрестанная борьба с ленью и нелюбопытством. А параллельная твоя интересна – наши учителя отталкивались от ортодоксального марксизма, то есть имели неплохую пружину. Мы же, отринув марксизм изначально, отталкивались от пустоты, поскольку знали только, как не надо. Видимо, 60-е годы, при всей наивности платформы “исправленного” марксизма, были все же утверждающим временем. Мы формировались во времена отрицания. Но отрицание не может быть продуктивным, в нем нет цели, нет опоры, нет смысла. Конец 70-х был периодом некоего окостенения, но живая университетская атмосфера позволяла выживать. Когда же университет закончился, мы окунулись в безвременье, которое особенно тяжело людям амбициозным и эмоциональным.

Конечно, просто было бы все спихнуть на среду (“заела”, мол!) – нет, и личной ответственности никто не отменял. Но все же мне мнится, что ни в одном другом послевоенном поколении не было столько “лишних людей”, как в нашем, “застойном”.

Гертруда Стайн ошиблась, назвав поколение Хэмингуэя потерянным. Не бывает лишних поколений.

Что тебя лично оттолкнуло от марксизма? Его материализм? Базировавшаяся на нем идеология, которая довела страну до 37-го года? Советский тоталитаризм? Я спрашиваю, потому что марксизм является одним из ведущих направлений мировой социологии.

Человек социальный – лишь следствие. Неужели должно думать, что поступки людей определяются их внешними критериями? Это и есть глубочайшее заблуждение марксизма. Я долго как социолог спрашивал людей о многом, до отупения всматривался в цифры ответов, пока как-то мне вдруг не открылось – ежели взять все, что мы напросили, отжать жмых, выяснится, что мы имеем дело с очень умным и очень духовным народом. Я почувствовал, что, ей-богу, есть душа народная. Конечно, истерзанная, униженная, но потрясающе мудрая, добрая и вечная. Как сам Бог. И это мне дали именно сотни опросов, которые я наблюдал за четверть века своей социологической практики.

Несомненно, в этом обществе, как и в любом другом, есть свои законы развития. Но нельзя их измерить одними только социальными или экономическими факторами. Тут все устроено по-другому, гораздо более интересно и неожиданно. Нелепость марксизма – именно в его логике. Знаешь, вот все просчитал человек, все измерил – и вдруг шлепнулся. Лежит и удивляется: “Как это так? Я же все предвидел!”

Не все, милый. Кой-чего забыл.

Литература

1. М.И. Илле: “За 10 лет “Телескоп” опубликовал не менее 500 статей не менее сотни авторов // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 1. С. 2–7. <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/ille.html>>
2. Ю. Неймер: “Динамит в папильотках” // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2006. № 3. С. 14–17. <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Memoirs/neumer.html>>
3. Е. Петренко: “Социологический поворот в моей профессиональной жизни носил несколько мистический характер...” // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 79–95. <<http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/petrenko.html>>

4. Капелюш Я.С. (1937-1990). Серия воспоминаний о Я.С. Капелюше // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2005. №2. С. 13–21. <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Supplements/kapelush_tribute.html>
5. Л.Г. Ионин: “Надо соглашаться с собственным выбором” // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2007. № 3. С. 2–14. <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/ionin_07.html>
6. Т.И. Заславская: “Я с раннего детства знала, что наука – это самое интересное и достойное занятие” // Социологический журнал. 2007. № 3. <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Interviews/zaslavskaya_07.html>
7. Докторов Б. Б.А. Грушин. Четыре десятилетия изучения российского общественного мнения // Телескоп: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев. 2004. № 4. С. 2–13. <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/articles/doktorov_grushin.html>
8. Докторов Б. Жизнь в поисках “настоящей правды”. Заметки к биографии Ю.А. Левады // Социальная реальность. 2007. № 6. С. 67–81. <http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Tributes/levada_doktorov.html>



Чирикова А. Е. – окончила психологический факультет МГУ, доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН, Москва. Основные области исследования: региональные элиты, гендерный анализ лидерства в бизнесе и политике, социальная политика. Интервью состоялось в 2009-2010 годах.

Я не знаком лично с Аллой Евгеньевной Чириковой и на начало нашей беседы знал о ней лишь то, что она работала в Институте социологии РАН и была одним из ведущих российских специалистов в новой для страны области социологических исследований – региональная элита. Если бы после завершения интервью меня попросили кратко описать ее психологический портрет, я бы сказал: «Обязательность, ответственность и женственность».

Возможно, кто-то скажет, что еще не пришло время для анализа жизненных траекторий представителей этого поколения и сделанного ими в отечественной социологии. Я так не считаю. Во-первых, стаж работы в социологии каждого из них – четверть века или более, и есть все основания для обсуждения сделанного ими. Сегодня уже невозможно говорить о состоянии российской социологии и – тем более – о перспективах ее движения, не рассматривая вклад в нее ученых этой группы. Во-вторых, в рамках развиваемого мною поколенческого подхода к истории российской социологии эта профессионально-возрастная общность интересна и особенностями вхождения в социологию, и тематикой, разрабатываемой ею, и своим пониманием прошлого-настоящего нашей науки.

**А.Е. Чирикова:
«МОЙ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫЙ
ВЫБОР БЫЛ
ПРАВИЛЬНЫМ»***

Алла, частые разъезды в сентябре и октябре, это дело – случая или нечто характерное для Вас?

Несмотря на то, что в последние 10–12 лет мне приходилось выполнять весьма различные исследовательские проекты, я стараюсь планировать свой рабочий график таким образом, чтобы отдыхать в сентябре, а ездить по регионам в октябре-ноябре, а затем продолжать поездки в апреле-июне. Июль и август любого года я посвящаю финальной обработке полученных материалов и написанию монографий, статей или аналитических отчетов. Кроме того, в октябре, я, как правило, размышляю над замыслами проектов, разрабатываю инструментарий исследования, чтобы мои исследования, которые ведутся на региональном уровне, были бы как можно более тщатель-

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2010. № 1. С. 2–13.

но подготовлены и реализованы. Октябрь и ноябрь – время старта многих эмпирических исследований, которые я проводила последние 10 лет. Зимние месяцы, как правило, уходят на обработку и оформление эмпирических данных, но, как правило, над самыми сложными проектами и финальными отчетами я работаю именно в летние месяцы. Люблю отдыхать в сентябре, иногда захватывая неделю октября, потому что это самое лучшее время для отдыха на море и для путешествий по разным странам, которых я очень жду. Моя работа требует большой внутренней дисциплины, поэтому при любых внешних соблазнах, я пытаюсь придерживаться выработанного за эти годы графика работы, меняя его только при неумолимом стечении обстоятельств. 2009 исследовательский год отличается от предыдущих годов тем, что осенний исследовательский цикл остается для меня под вопросом, так как пока не ясны возможности финансирования будущего проекта. Не исключено, что к данному проекту будут добавлены еще два проекта, но их будущее пока проглядывается нечетко.

Вы работаете одна или с группой сотрудников? Одной легче выдерживать такой (любой) график, но с группой можно больше сделать?

В зависимости от проекта я могу работать одна или подобрать группу сотрудников. Как правило, это даже не группа, а один человек – мой бессменный соавтор во многих региональных исследованиях Наталья Лапина. Иногда я вхожу в проект как исполнитель, если речь идет о проектах, связанных с социальной политикой. Эти проекты, как правило, инициируются Независимым институтом социальной политики (НИСП). В последний год – Государственным университетом Высшей школой экономики (ГУ-ВШЭ). Смена институций связана с тем, что я работаю не с организациями, а с конкретным руководителем Сергеем Шишкиным. Вот уже год как он ушел из НИСПА и работает сейчас проректором по науке ГУ-ВШЭ. Но есть проекты, которые я выполняла в НИСПе самостоятельно, например, такое исследование как «Взаимодействие власти и бизнеса в ходе реализации социальной политики» [1] или проект «Институты здравоохранения и поведенческие стратегии среднего класса по поддержанию своего здоровья». В проекте по взаимодействию власти и бизнеса, как и во многих других региональных проектах, организовать интервью мне помогают региональные менеджеры. Так что мое одиночество в проекте можно назвать весьма относительным. Честно говоря, я не стремлюсь ускорить проект за счет привлечения «новых сил». Ведение интервью с властными субъектами высшего уровня

требуют особой квалификации. Я, проведя около 700 интервью, хорошо знаю, как это трудно, какие разные результаты могут получаться, в зависимости от квалификации интервьюера. Поэтому в этом деле мне легче надеяться только на себя. Или на своего проверенного соавтора. Это совсем не простое дело – разговаривать с людьми так, чтобы им хотелось рассказать тебе то, что происходит на самом деле в структурах власти или бизнеса. Мне в этом помогают интуиция, знание психологии и опыт участия в деловых играх, но несмотря на это, и у меня не все и не всегда получается. В последний год у меня появилась аспирантка, которую я хочу научить вести интервью. Года через два ее вполне можно будет взять в свою проектную группу, но пока ей надо учиться.

Между какими главными темами и проектами сейчас распределено Ваше время и внимание?

За прошедшие годы у меня сложилась достаточно разно-сторонняя сфера исследовательских интересов. Несмотря на то, что они различны по своей направленности, объединяет их одно – исследовательский метод. На протяжении последних 15 лет я веду свои исследования с помощью техники глубоких интервью, что во многом предопределяет сферу моих исследовательских интересов. Первая и основная тема моих многочисленных исследований – региональные элиты России. В этом году я могу гордиться тем, что написала учебное пособие, которое так и называется «Региональные элиты России», которое планируется распространить по ведущим университетам страны.

Также в этом году мною в соавторстве с Наталией Лапиной был закончен проект под названием «Женщина на высших этажах власти: региональная проекция». Сейчас я занимаюсь презентацией этого проекта среди научного сообщества и среди российских СМИ, включая телевидение. В ноябре я буду сниматься в передаче о женщинах в политике, где в качестве эксперта, опираясь на данные исследования, постараюсь развеять ходячие мифы об особенностях женского менеджмента в бизнесе и политике.

Третий проект, который был реализован мною совместно с экономистами из ГУ- ВШЭ в этом году, – это проект по оценке последствий национального проекта «Здоровье», его влияние на выбор пациентами учреждений здравоохранения, который было решено проанализировать на примере такого инструмента, как родовой сертификат.

В фокусе исследования в данном проекте – как рядовые врачи, так и руководители медицинских учреждений, руководи-

тели отрасли здравоохранения в регионах. Именно их оценки, в сравнении с друг другом, позволяют понять, как меняется процесс выбора пациентами в динамике, от каких мотивов он зависит, как это видится врачам и руководителям медучреждений. Результаты анализа находятся в стадии обобщения, но уже сейчас понятно, что население демонстрирует консервативные стратегии выбора медицинского учреждения, а врачи практически не заинтересованы в том, чтобы перестраивать эти стратегии в пользу пациентов.

Это о реализованных или заканчивающихся в этом году проектах. Помимо этого, в настоящее время я обдумываю проект под условным названием «Региональная власть в России: стратегии выхода из кризиса». Получит ли этот проект поддержку, будет ясно в январе-феврале 2010 года, но уже сегодня я пытаюсь обобщить имеющиеся у меня исследовательские материалы, чтобы начать исследовательское движение, имея в запасе продуманные научные гипотезы.

Несмотря на различие исследовательских тем, над которыми я работала в этом году, не могу сказать, что какая-то из них мне была интереснее других. Возможность анализировать, что происходит с институтами власти, бизнеса или здравоохранения в России, позволяют мне сохранить целостный взгляд на происходящее в стране через оценки тех фигур, которые не только являются реальными участниками этого процесса, но и нередко управляют его ходом.

Впереди 2010 год, достаточно трудный для научного сообщества, но я буду рада, если мне удастся провести весь цикл планируемых исследований и ознакомить заинтересованный круг лиц с независимой оценкой кризисных явлений в России.

Не могли бы Вы описать подробнее, что такое региональная элита, какого уровня элиту Вы изучаете...

Это трудный вопрос, относительно определения того, кто же является элитой в регионах. Я не сторонник меритократического, и тем более, нормативного подхода к элите, который в последние годы все больше набирает себе сторонников среди российских ученых. Я убеждена, что элита – это не самые лучшие, или те, которые должны ими стать, чтобы быть отнесенными к элите. Для меня элита – это те фигуры во власти или бизнесе, которые принимают или проводят ключевые решения во власти и бизнесе в своих регионах. Моими респондентами из этой группы лиц, как правило, являются (что зависит от темы исследования): губернаторы, вице-губернаторы, председатели правительств, их заместители, руководители ведущих департаментов, мэры и вице-мэры городов, председатели законода-

тельных собраний, их заместители, руководители комитетов и др. В бизнесе – это президенты компаний, собственники, руководители ассоциаций бизнеса и др.

Мне показалось несколько необычным Ваше замечание о том, что техника глубинных интервью, а не проблемы возникновения и функционирования региональной элиты, предопределяет сферу ваших исследовательских интересов. Не могли бы Вы пояснить этот момент?

Может быть, я не совсем точно выразилась, но у меня действительно нет ограничений на тему исследования, если ее можно изучать с помощью техники интервью. Например, я могу разговаривать с властными акторами о протестных настроениях, о моделях власти, о политических режимах. Мне интересна сама эта группа, ее ценности, установки, стратегии политического поведения, а какая собственно тема будет основной в том или ином проекте, мне не так важно. Например, именно этим можно объяснить тот факт, что я вполне успешно смогла перейти на социальную тематику, и произошло это только потому, что я умею с ними разговаривать, мы любим вместе думать, они уважают меня, а я уважительно отношусь к высказанным ими точкам зрения. Залогом успеха интервью с властными и иными статусными фигурами является характер пристройки к респонденту в процессе диалога: такая пристройка не может быть «снизу» или «сверху», она должна быть пристройкой «равных профессионалов». Только в этом случае респондент не будет долго морочить Вам голову и рассказывать сказки о своих намерениях и своей работе во власти или бизнесе.

Читая множество интервью, я замечаю, что в ответах интервьюеру-женщине мужчины, особенно успешные и/или считающие себя успешными, немного теряют чувство меры и «подают» себя лишь с самых лучших сторон. Чувствуете ли Вы это?

Во время своих интервью я всегда пытаюсь вести себя не как женщина, а как профессионал. Любое кокетство, на мой взгляд, может привести к искажению информации. Я в состоянии отреагировать на комплимент или повышенное внимание, но всеми возможными, в том числе неформальными средствами, пытаюсь убедить собеседника, что не этот пласт отношений меня сейчас интересует. Отказ от любого вида заигрывания «встряхивает» респондента, а по мере развития беседы он начинает понимать, что беседовать со мной на разные темы гораздо интереснее, нежели делать комплименты и раздувать «павлиний хвост». Нередко я пытаюсь поставить мужчину в

конкурентную ситуацию, когда он должен догнать или обогнать меня в масштабе обобщения ситуации во время диалога. Порой это бывает непросто, а кокетство, как известно, требует другого драйва. Одновременно я согласна с тем, что с женщиной мужчине комфортнее разговаривать. Мужчина может позволить себе больше эмоциональных реакций в беседах с ней. Мужской код общения весьма часто не приветствует эмоциональности. Именно поэтому в диалоге с женщиной мужчина бывает более открыт. Я знаю один весьма надежный способ снижения контроля в процессе коммуникации – это неподдельный интерес к собеседнику. Он действует в отношении и мужчин, и женщин. Поэтому половые различия, на мой взгляд, здесь не главные.

Вы отметили существование «ходячих» мифов об особенностях женского менеджмента в бизнесе и политике, нельзя ли это положение чуток развить?

Это долгий разговор, но если коротко, то общественное мнение, да и сами эксперты, нередко убеждены, что женщины не могут успешно конкурировать с мужчинами в бизнесе и политике, потому что и та, и другая сфера требуют агрессивного менеджмента, который женщинам не под силу. Поэтому их удел – малый бизнес и средние позиции во властной иерархии. Могу сказать, что результаты исследований, в том числе моих, убедительно показывают, что «мягкость» женского менеджмента во многом переоценивается. Женщины далеко не мягкие лидеры, и способны иногда принимать не менее, а иногда даже более жесткие решения, чем мужчины. Мягкость или жесткость лидерского поведения не определяется полом. Более того, эффективный менеджер должен обладать двойным репертуаром управленческих технологий: и мужскими, и женскими. Если их профиль будет сугубо мужским или сугубо женским, то такой руководитель долго не удерживается в бизнесе. В институтах власти и бизнеса уже сегодня идет активная переоценка сложившихся мифов. Видимо именно поэтому многие респонденты из власти, с которыми я беседовала, убеждены, что у женщин хорошие шансы занять высокие должностные позиции во власти в перспективе, хотя это и не может произойти завтра. Барьером на этом пути выступают не позиции мужчин-руководителей, а установки самих женщин, которые предпочитают видеть в роли руководителя чаще мужчину, нежели женщину.

Я сейчас закончил интервью с Еленой Здравомысловой [2] и спрашивал ее, как она пришла к феминистической тематике. Хочу спросить и Вас...

Я не являюсь убежденной феминисткой. Более того, отношусь к этому течению в социологии весьма настороженно. Пришла я к женской теме лидерства случайно. Изучая в середине 90-х годов лидеров российского предпринимательства и посещая их фирмы, я обратила внимание на то, что в должности вице-президентов, у них нередко работают женщины. Это были успешные фирмы. Я подумала, не является ли такой альянс залогом успеха в бизнесе? Так возникло исследование «Женщина во главе фирмы», которое подтвердило, что не обязательно мужское лидерство обеспечивает успех бизнеса. Более того, сочетание «мужского и женского начала» в руководстве дает наилучшие результаты в деле. Через некоторое время я исследовала не только представительниц частного бизнеса, но и руководителей государственных предприятий, которые в середине-конце 90-х годов оказались в достаточно сложном положении. И вновь исследование подтвердило тот факт, что женщины как антикризисные менеджеры справляются с реализацией стратегий выхода предприятий из кризиса ничуть не хуже, а иногда лучше мужчин. Несколько лет спустя, в 2008 году, я обратилась к изучению женщин на высших постах региональной власти и убедилась в том, что их карьерный рост определяется не только их деловыми качествами, но и «волей первого лица». Важно, что мотивация женщин к достижению первых позиций во властной команде не высока, так как они убеждены, что для функций губернатора им *«не хватит энергии и воли»*.

Насколько часто за успехами женщины в политике или бизнесе стоит ее муж, ее бывший муж, близкий ей мужчина? Встречаются ли обратные ситуации?

В моих исследованиях я с таким типом женщин не сталкивалась. Основными действующими лицами моих исследований являлись женщины, которые «сделали себя сами». Однако я не буду отрицать, что в России, особенно в середине 90-х годов, было много бизнесов, которыми лишь формально руководили женщины, но за их спинами были мужья или партнеры, которые не хотели выходить «на первую линию борьбы». Сейчас «эра серого бизнеса» постепенно заканчивается. Да и женщины, со временем, все менее соглашаются быть ширмой в бизнесе. Здесь важно другое, – даже в том случае, если мужчина не вкладывает своих материальных ресурсов в ведение женского бизнеса, все равно наиболее успешными бизнесменами и политиками становятся те женщины, которых психологически, а иногда административно, поддерживают их мужья или близкие друзья. Семья и близкий круг – весьма важный

институт достижения успеха в бизнесе или политике. Тезис о том, что успешные женщины обязательно жертвуют своей семьей или личной жизнью для достижения карьерных высот не подтверждается данными исследований. Успешная женщина, как правило, успешна во всем. Но есть и исключения из этого утверждения. Я убеждена в одном – все зависит от модели отношений в семье. Если семья построена по эгалитарному типу, то успехи женщины в бизнесе или политике такой семье не угрожают. К сожалению я не вела исследований, и не знаю, как достижение карьерных высот женщиной влияет на карьеру мужчины, но могу сказать, что полностью согласна с Сергеем Рощиным, который убедительно показал в своих исследованиях, что женщины чаще делают успешную карьеру, если их мужья занимают руководящие должности.

В чем сходство и в чем различие результатов европейских и американских исследований женщины в политике и бизнесе и российских?

Я не могу отвечать за все зарубежные исследования. Но могу сослаться на результаты нашего недавно реализованного проекта совместно с Натальей Лапиной: «Женщина на высших этажах власти: российские практики и французский опыт». Анализ научной литературы по «женской» проблематике в России и Франции, если их сравнивать между собой, позволяет говорить о том, что траектории исследований в обеих странах во многом совпадают, хотя в каждой из них есть своя специфика. Прежде всего, российские исследования, как правило, опущены в недалекое историческое прошлое, в то время как французы подходят к историческому контексту проблемы весьма уважительно, и их исторический масштаб исследования женской темы гораздо шире. Не менее характерным для России является стремление вскрыть «формальные показатели» женщин во власти, не выходя при этом за границы количественного подхода. Во Франции несколько больше работ, ориентированных на описание микропрактик попадания женщин во власть или бизнес, что позволяет оценивать ситуацию во Франции не с позиций «нормативного» подхода – как это должно быть, а с позиций того, «как это есть на самом деле». Вообще интерес французов к микропрактикам (М. Озуф, Ф. Эритье, Ж. Фресс и др) позволяет снизить дефицит рефлексии относительно того, как чувствует себя женщина, достигшая определенных высот во власти и бизнесе. В России таких работ пока явно недостаточно, но думаю, что со временем этот дефицит будет изжит. Что касается американских исследований, то основная их масса пытается выяснить, требует ли женское ли-

дерство «копирования мужских ролей» или женщина может позволить себе оставаться женщиной, и не идти с покорностью за мужскими технологиями лидирования. Вообще Америка, на мой взгляд, опережает все другие страны в своем интересе к специфике женского лидерства. Не менее распространенной в Америке, на мой взгляд, является тема «стеклянного потолка», дискриминации женщин в бизнесе и политике. В России эти темы также весьма популярны, хотя тех исследовательниц, которые намерены доказать, что женщины вынуждены копировать мужчин при руководстве фирмами, вынужденно становясь тем самым немного мужчинами, я не встречала.

Как вообще выглядит сегодня в России феминистическая социология?

К сожалению, я не могу ответить исчерпывающе на этот вопрос. Я знакомлюсь с работами в этой области лишь время от времени, когда делаю тот или иной проект. В целом мне кажется, что российские феминистки в науке излишне агрессивны и хотят убедить всех, что женщины недооценивают. Я убеждена, что подобный путь доказательства равных возможностей женщин и мужчин является тупиковым. Требуется не убеждать, а вести конкретные исследования, изучать практики реального лидерства, чтобы показать: устойчивые мифы о женских ограничениях менеджмента или любой другой деятельности не имеют под собой ни социальных, ни психологических оснований. Можно долго кричать о необходимости равенства, но если сами женщины пока не признают право женщин на лидерство, это о многом говорит. Пока в России не так много высококлассных исследователей женской темы, но Елена Здравомыслова, Анна Темкина, Светлана Айвазова, Ольга Воронина, Надежда Шведова и др, безусловно являются авторитетными и профессиональными исследователями, чьи взгляды я искренне уважаю.

Пожалуйста, расскажите о Вашей родительской семье, откуда Вы, где прошло Ваше детство, где кончали школу?

Родилась я в Хабаровске. Мой папа был военным, которого послали служить на Дальний Восток из Москвы. Там он встретил маму, которая приехала в Хабаровск из Харбина. Папе долго не давали встречаться с мамой и жениться на ней, потому что она была неблагонадежной эмигранткой. Но папа пожертвовал своей военной карьерой и вернулся в Москву. Удалось это только потому, что мой дед со стороны отца, будучи руководителем крупного предприятия, включил все свои связи, чтобы вытащить сына из опасной ситуации. Я осталась в Хабаровске с бабушкой. В семь лет я также переехала в

Москву, это был 1958 год, и пошла учиться в одну из московских школ. Мои родители, которых сегодня нет со мной, были довольно далеки от той сферы деятельности, которую я себе выбрала как будущую профессию еще в 8-ом классе. Они не мешали мне, и никогда не уговаривали заняться чем-то более материальным. Я до сих пор благодарна им за то, что они всегда уважали мой выбор. Я была убеждена с 14 лет, что буду психологом. Я училась в обычной московской школе, мои родители были обычными интеллигентами. Папа, после того как закончилась его военная карьера, выучился на художника и занимался в очень закрытом институте выставками новой военной техники, а мама работала переводчиком в гостинице. Наша семья всегда помнила, что деда моего как шпиона расстреляли в 1930 году. До последних дней своей жизни мама так и не смогла адаптироваться сначала к советской, а потом и к российской жизни. Я жила в мире воспоминаний мамы о тех необыкновенных интеллигентах, которые окружали ее в эмиграции, и всегда гордилась тем, что она была причастна к таким необыкновенным, образованным и патриотичным людям, составлявшим харбинскую эмиграцию.

Харбинская русская община – я знаю это по моему калифорнийскому опыту – формировалась долго. Когда семья Вашей матери оказалась в Китае? Ваш дедушка был военным? Когда, и в силу каких причин, они вернулись на Родину?

Я не могу назвать точно год, когда мои бабушка и дедушка, по маминой линии, переехали в Маньчжурию, которая была частью Северного Китая, прилегающей к КВЖД (Китайско-Восточная железная дорога). Харбин на много лет стал для моих родственников городом, где разворачивались важные жизненные события. Харбин в те годы представлял собой быстро развивающийся город, с высоким экономическим и культурным потенциалом, где была сконцентрирована российская эмиграция. Дальневосточная русская диаспора не была подвержена ассимиляции к коренным населением страны, что дало ей возможность не только сохранить уклад и традиции русской культуры, но и развить в отрыве от России ее ценности. Мои бабушка и дедушка были забайкальскими казаками, причем весьма зажиточными. Фамилия деда была Дутов. Отец бабушки Дмитрий Аникин был атаманом и выбрал для нее в мужья богатого казака. Видимо после революции было решено сохранить огромные отары овец и лошадей от разорения, и семья бабушки, а также некоторые ее братья, переехали в Харбин. Остальные братья, в том числе отец бабушки, Дмитрий Аникин, эмигрировали на корабле в Австралию. По

рассказам бабушки это были 1918–1919 годы. Возможно, что это произошло чуть позже. В 1922 году родилась мама. Петр Дутов, отец мамы, мой дед занимал какие-то немалые позиции в казачьем движении, но одновременно числился торговцем пушнины, что позволяло ему беспрепятственно двигаться из Харбина в Забайкалье и обратно. Когда деда арестовали в 1929 году, а потом расстреляли в 1930, бабушка была беременна четвертым ребенком, который впоследствии умер. Бабушка всю свою жизнь надеялась, что ее муж жив, поэтому не уезжала из Харбина вплоть до 1954 года. Мама эмигрировала в Советский Союз в 1948 году, потому что хотела любой ценой попасть на родину. Патриотические настроения в те годы были очень распространены среди харбинской молодежи. Вслед за ней в Россию перебрался ее 18-летний брат, которого немедленно арестовали и долго пытали, требуя признания в шпионаже. Маму спасла только ее красота. В 1954 году бабушка вместе с маминей сестрой приехали из Харбина в Хабаровск, потому что родилась я. Мне требовался «уход и глаз», и бабушка стала таким «глазом» для меня на всю жизнь. Не исключено, что это совпало со смертью Сталина. Мои родственники посчитали, что их переезд не обязательно повлечет за собой их немедленный арест, как это случилось с моим дядей. Так и произошло. В Советском Союзе их никто в 1954 году не преследовал. Но в любом случае – такой шаг потребовал от них определенного мужества. Все лучшее во мне от бабушки, – она была сильной женщиной, которая никогда не падала духом и была способна на риск ради своих близких.

Неужели в тех обстоятельствах красота могла спасти женщину? Что Вы имеете в виду? Что стало с братом Вашей мамы?

Как гласит семейная легенда, один из следователей, который вел дело мамы, не пошел на жесткие меры, а ограничился тем, что лишил ее паспорта и возможности найти официальную работу. Мотивом его поступка было – нежелание *«губить такую красоту»*. Я не исключаю, что за этим стояли и какие-то иные мотивы, но я никогда не решалась расспрашивать маму, что там было на самом деле. Я не исключаю, что у нее был покровитель на высших этажах этой организации, что обеспечило ей достаточно лояльный выход из сложившейся ситуации. Ее друзья говорили мне о серьезной любви мамы к какому-то большому начальнику, но я никогда не пыталась узнать подробности этой щепетильной ситуации. Мама же была достаточно закрытой женщиной и никогда инициативно об этом периоде жизни ничего не рассказывала. Мой дядя просидел в лагерях несколько лет, и после смерти Сталина в

1954 году был выпущен на свободу, определен на поселение в Иркутск, где и живет до сих пор. Сейчас ему 82 года. Он очень не любит коммунистов и говорит, что они искорежили ему всю жизнь, в чем он, безусловно, прав.

Да, так оно и было... извините, Алла, что попросил Вас говорить на эту очень личностную тему... Столь раннее формирование профессиональных интересов не уникальное явление, но редкое. Что же могло их определить? Откуда вдруг интерес к предмету, который в школе не изучается?

Я с ранних школьных лет увлекалась биологией, читала разные взрослые книги и удивляла всех своим интересом к этому предмету. В подростковые годы я ходила во дворец пионеров в кружок, где увлекалась гидропоникой (выращиванием овощей в воде), делала гербарии и композиции из засушенных цветов и др. В седьмом классе летом я решила пойти работать в Ботанический сад. Там меня по знакомству устроили в лабораторию ядов и вирусов. Несмотря на то, что я только мыла колбы и поливала растения, зараженные раком, я гордилась собой и своей работой. Сотрудники хвалили меня и говорили о том, что у меня «зеленые руки» – растения, которые должны были умереть от порции ядов, все же выживали. Я раздувалась от важности и радовалась, что могу помочь науке и этим интересным людям в белых халатах. До сих пор атмосфера исследовательской лаборатории вызывает во мне внутренний трепет. В 8-ом классе я прочла книгу К. Платонова «Занимательная психология» и была потрясена, насколько это интересный мир. Мое решение было бесповоротным – только психология. Я взялась за психологические книги, поступила в школу «Юного медика» при медицинском институте, в класс профессора Косицкого, известного физиолога, чтобы на деле понять, как работает человеческий организм. Эти занятия мне очень помогли впоследствии, когда мы учили биологию, анатомию ЦНС и физиологию человека.

Уже теплее... было трудно поступить в те годы на факультет психологии в ведущий университет, а потом учиться там?

Я была в 1968 году десятиклассницей с запутанной биографией. Но не только это осложняло мой путь к мечте. В то время на факультете психологии учились, прежде всего, дети психологов. Родители-психологи создали элитный факультет только в 1966 году с маленьким приемом, чтобы учить там своих детей. У меня не было выдающихся способностей, я абсолютно не знала математики, которая была профильным экзаменом. Мои

шансы на поступление были мизерными. Но у меня были два преимущества перед другими – я страстно любила биологию, и очень хотела стать психологом. С 8-го класса я читала научные психологические работы, которые простой человек просто не смог бы понять. Но я с бешеным упорством двигалась вперед в познании научных трудов, просиживая в ленинской библиотеке в школьном зале все дни, за исключением тех, когда мне надо было идти на занятия по физиологии. Иногда каждое предложение, или даже слово, написанное в статье, мне приходилось расшифровывать с помощью словарей, это было нудно и трудно, – вскрыть смыслы, которые зашифрованы научным языком, но я не отступала. Мне очень хотелось знать, что может, а чего не может психологическая наука понять в человеке. Мое любопытство в результате победило. К 10 классу я вполне сносно разбиралась в психологических исследованиях, чем поразила комиссию, когда проходила собеседование. Получив тройку по математике, я весьма приуныла, но меня спасла биология. На экзамене я смогла обогнать многих абитуриентов «показав зрелый подход к анализу биологических процессов», и получила заслуженную пятерку. Таких абитуриентов оказалось всего трое. Это предопределило мой дальнейший профессиональный путь. В университете я училась легко. Мне нравилось в учебе все, кроме одного предмета, – математики. За время обучения я не получила ни одной четверки, и лишь по математике у меня была тройка. Несмотря на это, сразу после окончания университета, я была рекомендована в дневную аспирантуру, которую благополучно закончила. Меньше чем через год после окончания аспирантуры кандидатская диссертация по психологии была защищена. Несмотря на то, что впоследствии я стала заниматься социальной психологией, и вполне успешно вписалась в социологическое сообщество, я до сих пор благодарна судьбе, которая меня привела на факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и дала возможность учиться у блестящей плеяды профессоров – А. Леонтьева, А. Лурии, Б. Зейгарник, Б. Эльконина, В. Давыдова, В. Зинченко, М. Мамардашвили и др.

Что вам читал Мераб Константинович Мамардашвили? Что в его лекциях было атрактивным?

Я, к сожалению, сейчас не могу вспомнить как именно назывался его курс лекций, но по нашему студенческому убеждению – он учил нас мыслить диалектически. Я помню его трубку, задумывающуюся фигуру в большой Зоологической аудитории и часто повторяющееся выражение: «Я мыслю, следовательно я существую», которую он всегда произносил на

латыни, несколько раз за лекцию. От него мы узнали о Декарте и Спинозе. Но основной вывод, который был сделан многими на основании его лекций: нельзя анализировать учение того или иного философа, вне контекста времени и культуры, в которых этот философ работал. Осознавать надо не конкретные постулаты, а те смыслы, которые лежат в них, в контексте того времени, когда они были написаны. Этот вывод из его лекций стал для меня определяющим. В жизни я много раз убеждалась в правоте этого постулата. Именно поэтому я редко реагирую на то или иное высказывание в диалоге, а всегда стараюсь понять, какой смысл та или иная речевая конструкция имеет для самого говорящего.

В какой области психологии Вы специализировались в студенческие годы? По какому направлению защищали кандидатскую диссертацию?

Все годы моего студенчества я пыталась разобраться в психологии личности. Я выбрала кафедру общей психологии для своей специализации, мой пятерки позволяли мне это сделать, что давало широкий спектр возможностей для обдумывания своих интересов. Понимая, что личность и ее психология, – это самое интересное исследовательское поле, которое только может быть, на третьем курсе я вдруг осознала – ключ к пониманию личности лежит в ее эмоциях. Сначала я выполнила теоретическую работу по эмоциям, а потом решила перейти к экспериментам. На 4 курсе, в дни зимних каникул, мне пришла в голову интересная мысль, – можно ли узнать, не расспрашивая человека, что он пережил сильные эмоции в отношении других людей, как эти пережитые эмоции могут отразиться на построении зрительного образа того человека, с которым связан аффект или сильная эмоция? Так возникла методика зрительных представлений, которая затем легла в основу моего диплома, а потом и кандидатской диссертации под названием «Влияние эмоций на актуализацию образов представлений». Это была довольно сложная диагностическая методика, для доказательства приемлемости которой я даже использовала эксперименты с гипнозом. Со мной работал профессиональный гипнотизер, благодаря которому я поняла, что бессознательное у личности, это не фрейдовские изыскания, а реальный психический феномен. В основе разработанной методики лежал принцип замера скорости возникновения зрительных образов как аффективных, так и нейтральных лиц. Проведенные мною эксперименты показали – скорость возникновения образа аффективно-значимого лица отличается от скорости актуализации нейтрального лица в сторону уменьше-

ния или увеличения. Это давало возможность диагностировать отношение к другому человеку, не спрашивая его самого о характере прошлых или существующих отношений. Мой научный руководитель – Алексей Николаевич Леонтьев, не очень разделял мой энтузиазм, но был сражен моей вовлеченностью в работу и допустил меня к защите. В 1978 году я защитила кандидатскую диссертацию.

Из сказанного следует, что социальной психологией Вы стали заниматься уже после защиты диссертации. Дело случая или итог каких-то целенаправленных поисков, действий?

Закончив аспирантуру, я очень хотела вдохнуть настоящей жизни. Мои попытки устроиться работать в психологическую лабораторию не увенчались успехом. Тогда я решила – можно заниматься не только академической психологией, но реальной жизнью. В то время мой мир состоял из хороших и плохих девочек и мальчиков с факультета психологии. Мне очень хотелось его расширить, раз уж не получалось остаться в нем навсегда. Совершенно случайно я устроилась на работу в Институт экономических проблем города Москвы, который был подведомственной структурой Моссовету. Там была группа социологов, и меня взяли туда на работу, чтобы я изучала социально-психологический климат на предприятиях. С помощью анкет. Это было интересное время, постепенно я пришла к осознанию того, что психология без социального контекста не работает, и училась понимать закономерности человеческого поведения не только отдельного субъекта, но и групп людей. Однако в любом случае – это были скучные годы. В 1987 году я перешла, вслед за своим начальником социологом-экономистом Сергеем Железко, на работу в Институт социологии РАН, где ему удалось открыть сектор инноваций. Под инновациями имелись ввиду деловые игры на личностный рост. Была сформирована команда из блестящих выпускников университета разных направлений, которая занималась тем, что ломала психологические стереотипы у управленцев высшего и среднего звена. С блестящей командой я участвовала в 30 деловых играх, и с тех пор убеждена, – всякие проблемы имеют свое решение. Именно игры убедили меня в том, что только знание психологии не помогает понять человеческое поведение. Требуется сформировать более широкий взгляд на человека, чтобы разобраться в его внутренних состояниях. Но все же существует одна сфера психических процессов, которую никто не может понять лучше психолога – это сфера человеческой мотивации, в том числе неосознаваемой.

Вы меня заинтриговали: что это за мир «хороших и плохих девочек и мальчиков с факультета психологии»?

Все очень просто, и интриги здесь нет. Факультет психологии в те годы настолько затягивал в себя студентов, что их социальный мир как бы ограничивался только психологами, в том числе преподавателями и профессорами. Это было настолько интересное пространство, что в нем влюблялись, учились, росли, разочаровывались, ненавидели... Внешний мир интересовал большинство студентов-психологов гораздо меньше, чем мир внутренний, который они познавали в лучшем случае через серию экспериментов в психологических лабораториях. Но даже к лабораторным экспериментам чаще всего привлекались сами студенты, которые могли тем самым немного заработать. Даже я, которая всегда отличалась удивительным любопытством, оказалась замкнутой в этом мире, и совсем не собиралась из него выбираться. Так в нем было хорошо. И мне потребовалось достаточно большое количество внутренних сил, чтобы адаптироваться в «другом мире», где действовали иные ценности», а тебя оценивали совсем по другим критериям, чем на факультете психологии.

Во многом самодостаточно не только сообщество студентов-психологов: будущие художники учатся и часто ночуют в мастерских, актеры учатся и затем до ночи репетируют, физики – лишь на ночь покидают лаборатории... с другой стороны, Вы учились в МГУ в первой половине 70-х, Вы что избежали общественную работу в комсомоле, летние стройки, чтение самиздата? Это же часть студенческой жизни?

Из студенческой жизни тех лет я помню только выезд на картошку всем курсом. Это было весело и интересно, мы сдружились, спелись, и др. Никакой общественной работой я не занималась. Это не было обязательным императивом. Кто хотел – мог быть комсоргом или старостой, но никакого давления на нас, с целью насильственного втягивания в общественную работу, я не замечала. Сокурсники из общезжития больше старались заявить о себе через общественную работу, а «москвичи» особенно не проявлялись. Культ любви к психологии, поддерживаемый профессорами, был настолько велик, что те, кто показывал успехи в овладении психологией, негласно освобождались от общественных мероприятий. А.Н. Леонтьев, на всякие приказы из ректората «усилить, улучшить», всегда отвечал, пожимая плечами: «Но это все-таки Московский университет, как я могу их заставлять»? Он был лауреатом Ленинской премии и ему

многое прощалось. Что касается летнего времяпрепровождения, то я, чаще всего, проводила его в летних психологических школах. Была такая замечательная форма обучения студентов ведущими профессорами в летне-осеннее время в спортивных лагерях Пицунды или Джемете. Она предполагала приезд профессора на совместный отдых со студентами, которые специально отбирались со всех курсов. Так я отдыхала и слушала лекции на берегу моря А.Н. Леонтьева, В.П. Зинченко, Ю.Б. Гипенрейтер, М. К. Мамардашвили, Г.М. Андреевой. Л.А. Петровской и др.

Появление в этом перечне Галины Михайловны Андреевой позволяет мне спросить Вас, не читала ли она Вам основы или какие-либо разделы социологии?

Социология как предмет нам не преподавалась. У меня такое ощущение, что и сегодня ее нет на психологическом факультете. Однако социальная психология читалась. Социальная психология, как курс, получила «новое дыхание» на факультете с появлением у нас Галины Михайловны Андреевой, вскоре даже была создана кафедра социальной психологии, однако сам этот предмет я слушала не в ее исполнении. Галина Михайловна появилась на факультете по инициативе А.Н. Леонтьева, когда курс по социальной психологии нам был уже прочитан профессором Вадимом Борисовичем Ольшанским. Он был замечательный лектор, страстный и эмоциональный. С интересом рассказывал нам Шибутани, а мы смотрели на него заворожено, так как он отличался от наших профессоров каким-то особым артистизмом, который собирал на его лекции огромное число не только студентов со всех курсов, но и его поклонников. Несмотря на то, что все наши профессора были мастерами воздействия на юные студенческие души, он превосходил в этом даже их. Позже нам сказали, что он жил с одним легким, поэтому для него чтение лекций в университете было не просто работой, а служением тому делу, которому он посвятил себя.

Кроме Ольшанского, нам читал лекции по сексуальности Игорь Семенович Кон, который был столь блестящим лектором, что держал в напряжении большую аудиторию на психфаке на протяжении почти двух часов без всяких усилий. По крайней мере нам так казалось. Но сказать, что лекции этих блестящих профессоров каким-то особым образом развернули меня к социальной психологии все же нельзя. Это произошло уже позже, когда я работала в Институте Москвы, после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации.

«Процесс Синявского и Даниэля», «Пражская весна» – во многом определили черты Вашего поколения, жившего в Москве, Ленинграде, ряде крупных городов страны. Это как-то отразилось в умонастроении студентов-психологов?

Обсуждение самиздата и вообще обсуждение того, что тогда происходило в стране, по крайней мере, в моем окружении, не было принято. Мой папа приносил со своего закрытого института многие самиздатовские издания, в том числе Зиновьева, Синявского, Набокова, Пастернака, Зощенко, я это все читала, но задуматься о том, что это значит для меня и для страны, я не могла или не хотела. Мы жили нашими локальными интересами. Во то время я была влюблена, и вся моя внутренняя энергия была направлена на эту любовь. И на моих друзей. Психология и любовь меня интересовали больше, чем все остальное. Правда, когда я поступала в аспирантуру, меня укорили тем, что я не член партии. Однако я твердо знала – быть членом партии я не хочу ни при каких обстоятельствах. Откуда выросло это убеждение, я не знаю, но при любых вопросах подобного свойства я всегда делала вид, что не понимаю, о чем идет речь. Как стало ясно теперь, интуиция меня не подвела, и я очень рада этому обстоятельству.

Ваша команда «игротехников» работала в рамках методологии Щедровицкого или у Вас было нечто свое? Если можно прокомментировать примерами Ваше утверждение: «всякие проблемы имеют свое решение». Если отвлечься от того, что считать решением, то это – тривиально. Скорее всего, Вы имеете в виду нечто большее.

Наша команда никогда не работала в методологии Г.П. Щедровицкого. Более того, мне как новому члену команды, да еще женщине с психологическим образованием (это считалось серьезным ограничением для игротехнической деятельности в силу того, что психологи чаще других склонны к «невидимой манипуляции» людьми, а женщины просто не в «состоянии держать удар») было категорически запрещено участвовать в подобных играх. Запрет исходил из опасности, что участник команды может набраться «чуждых технологий», что может усложнить работу команды. Я ни разу не участвовала в играх Щедровицкого, но убеждена, наша команда не пыталась разбить стереотипы начальников любой ценой, а действовала хоть и жестко, но с пониманием того, что человека надо уважать. Эти игры назывались играми на личностный рост. В конце восьмидесятых годов, в застойное советское время спрос на такие игры со стороны управленцев был достаточно высок. Мы формировали у участников игры рефлексивную дистанцию, стремление к действию, а не к называнию перечня барьеров,

почему этого нельзя сделать. Кроме того, мы снижали в сознании человека значимость завоеванных статусов, демонстрируя в игре равенство требований ко всем, ставили в игре жесткие барьеры на стереотипные размышления и действия, формируя у игроков убежденность в том, что во многом от их действий зависит то, какой результат будет достигнут. Мы много сил тратили на то, чтобы не просто выявить перечень проблем, а произвести их «субъективацию», то есть показать человеку те проблемы, на которые он может влиять «здесь и сейчас». Затем в игровом поле мы предлагали их «снять» в игровом режиме, благодаря чему человек выходил из игры с новым представлением о своих возможностях и ограничениях. Несмотря на то, что игры были нацелены на игроков и их проблемы, каждый игротехник как бы сам переживал внутри себя этот процесс. Поэтому участие в игре развивало не только игроков, но и игротехников. И было трудным для обеих сторон. В команде существовало незыблемое правило – нет глупых или бестолковых игроков – есть плохие игротехники, которые не смогли найти нужного ключа к человеку. Ни один игровой сценарий не мог быть повторен вновь, потому что каждый раз были новые игроки, которые требовали своих подходов. Поэтому, когда я говорю, что нет непреодолимых проблем, это не просто риторическое утверждение, а несколько раз повторенный внутренний опыт, согласно которому, если ты действуешь адекватно, с учетом реальных ресурсов, если ты не боишься действовать «вне привычных схем», то решение проблемы обязательно будет найдено. Все зависит от того, как ты позиционируешь себя по отношению к этой проблеме. Безусловно, я не питаю иллюзий, что проблемы, к примеру со здоровьем, можно полностью решить с помощью «личностного ресурса», но я убеждена, что в профессии есть много вопросов, которые можно снять, используя свои внутренние возможности.

Мне хотелось бы еще задержаться на этой теме, хочу лучше понять специфику деятельности Вашей команды. Одновременно с вами работали в игротехнике коллективы Т. Дридзе, В. Дудченко. Их методологии были иными? Тогда была очень высока потребность в таких играх?

Я была хорошо знакома и с Тамарой Моисеевной и со Славой Дудченко. Слава в начале своей игровой деятельности иногда приходил на заседания нашей команды, и даже принимал один раз участие в наших играх. Будучи вдохновенным человеком, искренне преданным тому, что делал, он действительно стал прародителем в России инновационного направления в игротехнике. Его игры были направлены на инновацион-

ный прорыв, а наша сфера интереса была несколько шире. Нас интересовало личностное развитие в целом. Тамара Моисеевна была ориентирована, прежде всего, на формирование коммуникативных навыков в игре, что также в снятом виде присутствовало и в играх нашей команды, но и инновации, и коммуникации были для нас «побочным продуктом». Мы существовали и с Дудченко, и с Дридзе, взаимно уважая друг друга, но старались не заходить в «игровое пространство» друг друга. Конец 80-х – начало 90-х годов считается временем конца застоя и начала перестройки, именно поэтому спрос на такие игры тогда был довольно высоким. Руководители предприятий и госчиновники понимали, что надо что-то делать, но не знали как, не верили в свои возможности, не могли переломить сформировавшуюся привычку брежневского времени – «не высовываться». В складывающейся ситуации согласие пойти на жесткую рефлексию того, «а что собственно я могу сделать сам», требовало определенного мужества и свидетельствовало о том, что несмотря ни на что время застоя постепенно заканчивается.

Сколько лет Вы отдали деловым играм? Предпринимали ли Вы в те годы попытки вернуться полностью в психологию? Что произошло потом, почему Вы сменили направление своей исследовательской деятельности?

Наш сектор был образован в 1987 году. В него входили члены команды, которой руководил С. Н. Железко. Как единая команда, мы играли вместе чуть более 4-х лет. В 1991 году Железко С.Н. не сработавшись с командой, ушел из заведующих сектором, и команда фактически распалась. Из всех членов команды работать в институте социологии осталась только я. Остальные, или уехали за границу, или ушли работать в бизнес. Я не представляла себя вне науки. Хотя многие руководители фирм, прошедших через наши игры, в том числе известных, приглашали меня работать психологом-консультантом к себе. Но это не отвечало моим представлениям о работе. Хотя могло обеспечить безбедное существование в 90-е годы. Я осталась в науке, но жить тогда на зарплату научного сотрудника было трудно. У меня был 5-летний сын и полное непонимание того, смогу ли я вписаться в социологию. Я рискнула остаться в институте социологии. Перейдя работать в сектор Л.В. Бабаевой (она сейчас в Америке), я начала в 1994 году серию исследований по лидерам российского предпринимательства с использованием метода глубинного интервью. К тому времени я хорошо владела этим методом. Мне не приходилось делать предигровую диагностику для команды,

которая строилась на оценке ситуации ключевыми фигурами предприятия или компании. Я отвечала за это направление в работе команды и пыталась делать это максимально хорошо. Самое трудное в диагностике было не столько собрать мнения основных фигур, но сделать затем «аналитическую сборку» из многообразных и порой противоречивых оценок, чтобы транслировать их команде. Всякая неточность или неадекватная оценка ситуации обязательно всплывала в игре и жестко санкционировалась. Так что делать это приходилось или хорошо, или никак.

За время игр у меня ни разу не появлялось желания вернуться в психологию. Мир игры не вмещался ни в одну из двух дисциплин, которые я знала. Я убедилась на практике, что социология шире психологии. В одночасье вдруг осознала – знание психологии не мешает, а помогает мне существовать в социологии. Более того, можно оставаться психологом даже тогда, когда ты не ведешь лабораторные эксперименты. Был период, когда меня приглашали по старой памяти на работу в институт психологии, но я отказалась. Нельзя войти в одну реку дважды. Сегодня, когда я бываю в институтах психологии (маленьком и большом), вижу своих сокурсников, коллег, разговариваю с ними о профессии и жизни, то убеждаюсь, что мой выбор был правильным. Одновременно, я очень боюсь совсем оторваться от психологии, и поэтому с большим желанием оппонирую диссертации по психологической специальности, если мне выпадает такая возможность. Иногда я пишу статьи в психологические журналы, чтобы, встретив сокурсников, спросить: «А ты читал?», демонстрируя этим свое уважение к ним, и к своим учителям. Я очень горжусь тем, что, встретив Ларису Андреевну Петровскую, после прочтения моей первой книги: «Лидеры российского предпринимательства: менталитет, смыслы, ценности», вышедшей в 1997 году, услышала от нее: «Чем бы ты ни занималась, ты все равно остаешься психологом, и это хорошо видно из твоей книги». Ее уже нет в живых, но я до сих пор благодарна ей за эти слова.

В чем Вы видите это «оставание себя психологом»?

Как бы я не пыталась вписаться в социологию и как бы не избавлялась от излишней индивидуализации в понимании человеческого поведения, я все равно остаюсь психологом, владеющим языком социологии. Тот факт, что меня печатают психологические и социологические журналы, свидетельствует о том, что между этими двумя науками нет четкой грани. Я убеждена, отличие психолога от других гуманитарных специалистов состоит лишь в одном – психолог сначала пытается

понять мотивацию, а потом все остальное. Я так и осталась тем человеком, для которого понимание внутренней мотивации человеческих поступков и переживаний является самым главным. Парадоксально, но когда я хочу разобраться в сложном для себя процессе, я сначала перекодирую для себя ситуацию на психологический язык, и лишь позже стараюсь дать объяснение этой ситуации на социологическом языке. Хотя дело не только в этом. Меня саму иногда поражает эта живущая внутри меня постоянная готовность анализировать любые поведенческие проявления даже незнакомых мне людей, чтобы иметь материал для осмысления тех или иных поступков или движений их души. Иногда от этого очень устаешь. Но зато подобное умение очень помогает мне в процессе ведения интервью, когда я чувствую себя 100% психологом.

Вы входили в социологию в то время, когда в стране уже не велись споры о природе этой науки, когда социология начинала конституироваться. Кто из окружавших Вас социологов старшего или Вашего поколения оказал на Вас наибольшее влияние? Какую отечественную и зарубежную литературу по социологии Вы тогда читали?

Когда я в 90-х годах оказалась в социологии, то входила в нее медленно с большими оглядками. Люди, работающие в социологии, представлялись мне менее сложными и более идеологизированными, чем психологи. Мне потребовалось достаточно много времени, чтобы разобраться в том, что это за сообщество. Первое мое знакомство с миром социологов состоялось до того, как я пришла работать в институт социологии. Где-то в году 1985 мы с моим коллегой Гамлетом Мкртчяном, по его просьбе, сделали совместную статью о профессиональных ориентациях молодежи. Исследование провел он, без моего участия, но статью для такого солидного журнала писать не решался. К тому же он не совсем хорошо владел русским языком. Посмотрев результаты его исследования, я была поражена тому, насколько они интересны. Мне было жаль, что они могут так никогда и не увидеть свет. Написав статью, мы отправили ее в журнал «Социологические исследования». Через некоторое время нас пригласил к себе Геннадий Батыгин, он был тогда заместителем главного редактора и сказал, что статья ему понравилась. Я тогда не знала, кто такой Геннадий Батыгин, но он мне показался умным и понимающим человеком. Несмотря на то, что Харчев, по своим мотивам попытался притормозить выход статьи в свет, Батыгин настоял на том, чтобы она была напечатана. Так я узнала первого социолога, который к тому же оказался весьма интеллигентным и обя-

зательным человеком. В 1986 году докторскую диссертацию в институте социологии защищал мой начальник из института Москвы Сергей Железко, я присутствовала на защите, и мне показалось, что сообщество социологов не так уж сильно отличается от психологов. Вел защиту Леонид Леонидович Рыбаковский и делал это захватывающе интересно. С защиты я вышла в твердом убеждении, что вполне могу понять социологов. Поэтому, когда в 1987 году С.Н. Железко предложил мне перейти на работу в новый сектор в Институт социологии, то я согласилась без колебаний.

Наш сектор работал достаточно обособленно от всех остальных сотрудников, но как-то к нам в комнату на 4 этаже пришел В.А. Ядов, который стал тогда директором института социологии, сменив на этом посту В.Н. Иванова. Это было в конце 80-х. До этого я видела Ядова по телевизору и была поражена тому, как раскованно он вел себя перед телевизионными камерами, не считаясь ни с какими иерархиями. Я тогда с интересом отвечала на поставленные мне вопросы, наблюдая за его реакциями. В конце разговора мой диагноз его личности был готов: талантливый человек, необыкновенно тонкий и неуправляемый, сензитивный, всегда готовый к непредсказуемым поворотам мысли и чувств. При этом достаточно рациональный, знающий себе цену, и умеющий настоять на своем. Рациональность и эмоциональность в нем являли собой удивительный симбиоз. Передо мной тогда сидел человек, явно мало уважающий формальные позиции и умеющий мгновенно расположить к себе собеседника. Сегодня, не исключено, я бы уточнила свою оценку, но в принципиальном видении психологической структуры Ядова я тогда была права – это был уникальный человек, который не стремился к власти и признавал общение на равных. В те годы это было редким достоинством, тем более у начальника. Я была не против, работать рядом с таким талантливым человеком, который к тому же, не допекал меня дурацкими распоряжениями и ежедневными проверками дисциплины. Иначе говоря, позволял делать то, что хочется. Будь тогда во главе института другой человек, я не знаю, как бы сложилась моя дальнейшая профессиональная судьба.

Оставшись работать в институте, я стала ходить на общие конференции и семинары, где знакомилась с новыми для меня профессионалами. Читать литературу по социологии я стала несколько позднее, начав с Вебера и Бурдье. Потом мне стало интересно, о чем спорят социологи на своих заседаниях, и я с удовольствием стала знакомиться с работами В. Ядова по самоидентификации, диспозиционной структуре личности, методах исследования. Эти работы были мне ближе как психологу.

Постепенно я втянулась в чтение социологических журналов, и мир социологов для меня стал расширяться. Со временем я начала чувствовать себя в нем более уверенно, однако и сегодня я не могу сказать определенно, что знаю социологию так же хорошо, как психологию.

Изучение элиты – новое для российской социологии направление, раньше слово элита использовалось в связи с анализом западных теорий общества и западной социальной стратификации. Когда эта тема начала разрабатываться в России, и кто был в ряду первых?

Бы правы, элитистская концепция долго не приживалась в России. В советском общественном сознании беспощадной критике подвергались концепции элит как идеологическое выражение господства крупного капитала. Элитистские концепции считались предшественниками расистских, фашистских идеологий. Несмотря на столь серьезное обвинение, понятие не только не исчезло из употребления, но оказалось весьма востребованным в политологии, социологии, психологии.

Первые попытки по осмыслению элиты вне рамок «разоблачения» были предприняты Г. Ашиным, Ф. Бурлацким, А. Галкиным, П. Гуревичем и др.

Разработка категории элиты в российских исследованиях стартовала в начале 1990-х годов (если не считать работ Г. Ашина, опубликованных значительно раньше) и получила наиболее выраженное развитие в середине 1990-х годов, когда стало очевидным, что проблема формирования новой постсоветской политической элиты приобрела общесоциологический статус.

В эти годы, по определению одного из самых известных российских специалистов в области элитологии Г.К. Ашина, сформировалась «российская школа элитологии» [3], [4], [5].

Характер трансформации советской элиты в «новую», и дальнейшее становление российской элиты были подвергнуты серьезному анализу в работах: М. Афанасьева, Г. Ашина, А. Галкина, О. Гаман-Голутвиной, В. Гельмана, Л. Дробизевой, Н. Ершовой, Ю. Красина, О. Крыштановской, И. Киселева, Н. Лапиной, А. Магомедова, В. Мохова, Е. Охотского, А. Понеделкова, Е. Шестопаля и др.

Внимание к элитной проблематике не было случайным. Элиты явились главными субъектами политической трансформации в современной России. Для многих российских ученых анализ деятельности элит стал главной темой в изучении политических процессов в постсоветском обществе.

Следует также учитывать и тот идейный фон, на котором происходило освоение нового теоретического багажа. Общественная

трансформация в России сопровождалась отказом от прежних идейных схем. Марксизм как метод анализа был отброшен большинством российских обществоведов, а элитистская система взглядов на общество, в котором существует деление на массу и элиту, помогла преодолеть доминирование «идеологизированной формы эгалитаризма». В начале 90-х годов победа элитизма в российской общественной науке казалась безусловной. Но уже тогда возникли вопросы, связанные с возможностью перенесения элитистских теорий на российскую почву.

Внутренним мотивом заимствования данного термина из западной элитистской теории в российскую науку стало стремление понять, какие группы общества способны создать новые модели развития и устройства общества. Причем не просто создать, но и убедить значимые группы общества и население в необходимости и возможности подобной модернизации.

Нельзя исключать и другого – концепции элитизма появилась в общественных науках как потребность легитимизировать действующие властные группы в обществе, предложив для этого категориальный аппарат западной элитологии.

Трудно не согласиться с известными российскими социологами Л.Д. Гудковым Б.В. Дубинным и Ю.А. Левадой, что одной из причин обращения к проблематике элиты в постсоветской время стал «хронический дефицит оснований авторитетности бюрократии, дезориентированность значительной части ее среднего и высшего состава и необходимость смены оснований легитимности» [6].

Таким образом, в конце 90-х – начале 2000 гг. число исследователей элит значительно расширилось, прежде всего, за счет тех социологов, которые обратились к этой теме на региональном уровне. Назову их имена: А. Дахин (Н. Новгород), О. Подвинцев (Пермь), А. Дука (Санкт-Петербург), К. Киселев (Екатеринбург), Авдонин (Рязань), Д. Сельцер (Тамбов) и др.

Что произошло в понимании природы российской элиты в последние годы, по каким критериям сегодня вычленяется эта группа в составе населения страны? Как менялась российская элита? Каковы основные типологии именно российской элиты? Какова в целом ее численность?

Существовали позиционный и репутационный подходы. Они позволяли изучать элиты, не пересматривая вопроса о том, могут ли элиты в реальности претендовать на элитные позиции в обществе. Элита до сих пор остается не проясненной до конца категорией ни в науке, ни в обыденном толковании.

В 2000-х годах российскийское общество и исследователи все чаще стали задумываться о том, соответствуют ли «назначен-

ные» элиты своему статусу, способны ли они выполнять свои элитные функции в обществе, какие цели и задачи ставит перед элитами современное общество и насколько элиты способны ответить на возникающие вызовы?

На фоне попыток осмыслить возможные ответы на поставленные вопросы дискуссия о толковании термина элита не только не затихла, но и вступила в новую фазу. Некоторые исследователи, сторонники меритократического подхода все настойчивее требуют заменить термин элита, распространенный в социологии и политологии, на категорию «квази-элита» или эрзац-элита (Л. Гудков, Ж. Тощенко и др.), подчеркивая тем самым, что элита, существующая в российской действительности, не может претендовать на то, чтобы соответствовать своему элитному статусу.

Другие исследователи, отвергая меритократический подход, предлагают расширить границы российской элиты, как, например, М. Афанасьев, и включить в ее состав представителей среднего класса, что позволит раздвинуть границу элиты и ввести за счет этого в элитологию понятие «элиты развития».

За последние 10–15 лет, на мой взгляд, существенных количественных изменений в численности российской элиты не произошло. Однако структурные изменения налицо. Прежде всего, в составе российской элиты власти возросла доля силовиков, а в законодательную власть всех уровней хлынул бизнес. В результате в региональных парламентах сегодня заседает до 80–85% представителей бизнеса, которые всего несколько лет назад и не помышляли о карьере законодателя. Таким образом, из законодательной власти практически исчезли врачи и учителя, а на их смену за небольшим исключением пришли директора предприятий и бизнесмены. В состав элиты стремительно ворвалась руководящая верхушка «партии власти», что, однако, не увеличило численности элиты, так как «партийная верхушка» просто пересела из одних элитных кресел в другие. Какими типами представлена сегодня российская элита? Как и прежде, традиционно в состав элиты входят наиболее влиятельные представители федеральной и региональной власти, лидеры федерального и регионального бизнеса. В эмпирических исследованиях принято различать элиту федеральную и региональную, если речь идет о власти. Некоторые из исследователей считают целесообразным говорить о местной элите бизнеса и о крупных бизнесменах, возглавляющих компании федерального уровня в регионах, как об элите бизнеса. Иногда в элитную группу включаются субъекты, не занимающие статусных позиций во власти, но способные влиять на процесс принятия ключевых решений.

Потенциал влияния региональных элит за время путинского правления существенно упал, однако говорить о том, что они полностью лишились своих экономических и политических ресурсов, вряд ли правомерно. Федеральная же элита, напротив, выстроив вертикаль власти, усилила свое влияние. Симптоматично, что рекрутация губернаторского корпуса в последнее время происходит из числа федеральных чиновников, в то время как региональные претенденты все более и более отодвигаются на второй план. В последнее время стремительно набирает потенциал влияния партийная элита, в лице партии власти. Поэтому сегодня можно уже говорить о партийной элите, чего не было еще 5–7 лет назад. Некоторые из исследователей настаивают на необходимости включать в состав элиты «творческую интеллигенцию», которую иногда обозначают как культурную элиту. Однако до сих пор мне не известно ни одной системной работы, в которой бы вскрывался потенциал влияния этой группы в общенациональном или региональном масштабах.

Количественные оценки состава элиты в очень сильной степени зависят от системы критериев, по которым определяется эта группа, но пока консенсусная модель таких критериев не выработана. Мне не известно ни одного серьезного исследования, где бы была предпринята попытка дать количественную оценку властной или бизнес-элиты. Некоторые из источников, которым я не очень доверяю, сообщают о том, что общая численность элиты составляет от 0,1 до 0,5% от населения страны, другие говорят о том, что «*элита их области может поместиться в одном большом зале*».

В конце 90-х я участвовал в подготовке сборника по постсоветской элите, выпущенного Университетом штата Мичиган [7]. Тогда, естественно, в составе элиты было много «красных директоров» и бывших крупных партийных работников. Ясно, что за десять лет много изменилось, но все же, какое место в региональной элите они занимают сейчас?

Сегодня в составе элиты красные директора остаются, но их примерно в 3–4 раза меньше, чем раньше. Это обусловлено тем, что чаще всего они, как правило, возглавляют государственные унитарные предприятия, которые находятся, в большинстве своем, не в очень хорошем материальном положении. Их места фактически заняли представители частного бизнеса, а также директора системообразующих компаний – лидеры отрасли, предприятия, пополняющие налоговую базу области или топ-менеджеры этих компаний. Определенное место в законодательных собраниях сегодня занимают также ректора

крупных вузов или университетов, расположенных в областных столицах. Например, в Пермской областной думе заседает одна женщина-депутат – ректор Медицинской академии, а в Тамбове – в областную думу избран ректор Тамбовского государственного университета и др. Попадание ректорского корпуса в законодательную власть может происходить как на основе репутационного потенциала, так и потому, что многие из руководителей крупных вузов имеют весьма значительное бюджетное финансирование, что естественно делает их заметными фигурами в региональном масштабе. Число представителей элиты с партийным коммунистическим прошлым в составе исполнительной и законодательной власти неуклонно падает, так как из ее состава постепенно выбывают люди после 60 лет. Сегодня, по разным оценкам, в составе региональной элиты присутствует не более 25-30% от общего состава представителей элит, которые в советское время имели руководящие должности в партии.

Кто такие «новые русские»? Какую часть российской элиты охватывает этот термин?

Термин «новые русские» возник в России в начале 90-х годов. В эту страту попадали люди, которые в результате непрозрачной приватизации отхватили себе куски собственности, что позволило им стремительно увеличить уровень своих доходов. Следствием этого явилось резкое, иногда демонстративное изменение их образа жизни и стандартов потребления. В обыденном сознании термин «новые русские» имеет скорее отрицательный оттенок, и указывает чаще всего на несправедливо захваченные народные деньги. Сегодня этот термин уже не распространен так широко, хотя бы потому, что бизнес в глазах населения имеет уже не столь негативный имидж, как 10–15 лет назад. Вопрос о доле «новых русских» вновь вызывает у меня затруднение из-за отсутствия единых критериев.

Сейчас в выступлениях руководителей страны, в российской прессе много говорится о коррупции. Обнаруживали ли Вы в своих исследованиях элиты это явление, каким образом сама элита – безусловно причастная к коррупции – реагирует на нее?

Я никогда не изучала феномен коррупции в системах региональной власти. Думаю, что метод исследования, которым я пользуюсь, не позволяет мне это делать в принципе. Если только ты не хочешь получить ложь, обернутую в красивый фантик. Трудно дожидаться правды о коррупции от чиновников, которые сидят в своих кабинетах и делают все возможное, чтобы доказать, что столь отвратительное явление не может от-

носиться к ним лично. Мне не раз приходилось разговаривать с руководителями потенциально-коррупционных структур в органах власти, но ни разу они не были открытвенны со мной. На вопрос, почему они не хотят рассказать правды, ответ был коротким – мы не самоубийцы. Многим из них я верю, когда они настаивают на том, что далеко не все российские чиновники подвержены коррупции. Но все же убеждена – механизм запуска коррупции находится на высших этажах губернаторской и мэрской власти. Не исключено, что это не самые высокие этажи, но данное явление не получило бы такого распространения, если бы сверху не было негласного разрешения на распространение подобных практик. Отсюда вывод: следует не просто усиливать внешний контроль за деятельностью чиновников, в том числе контроль общества, о котором сегодня говорят многие, но и «вживлять» в институты власти иную субкультуру, согласно которой подобное поведение чиновников нормируется не извне, а изнутри профессионального сообщества. Но только не с помощью механизма доносительства друг на друга.

Не могли бы Вы в самых общих чертах описать типы образа жизни, стиля жизни региональной элиты?

Я против того, чтобы заниматься подобными исследованиями в принципе. Убеждена – у каждого человека, в том числе у элиты, личная жизнь должна оставаться закрытым островом. Особенности стиля жизни элиты в последние годы становятся все более закрытой темой. Если раньше, до 2004 года, когда губернаторы участвовали в предвыборной борьбе, можно было встретить публикации, в которых рассказывалось, как жена – спутник жизни помогает мужу переживать трудности руководства, как хорошо она воспитывает детей, как хорошо образована, то сегодня, когда на смену выборов пришла модель назначения, необходимость в подобном пиаре просто отпала. До сих пор иногда можно встретить сообщения в региональной прессе, о том, что жена местного олигарха открыла тот или иной фонд, помогает сиротам, талантам, артистам, художникам, но это скорее стремление добиться лояльности со стороны населения, чем желание рассказать о своем образе жизни. Процесс закрытия элиты от населения сопровождается строительством все более крепких межэлитных перегородок. Теперь каждая из групп элит старается общаться между собой, не выходя за границы собственной элитной группы. Партийные сети в известном смысле смягчают межэлитные барьеры, но вряд ли это распространяется на личную жизнь. Из интервью мне известно, что у некоторых представителей элит семьи живут за границей, чтобы обезопасить себя от возможной агрессии со

стороны заинтересованных лиц. Но таких случаев не так много. В жизни многих представителей элит присутствуют хобби. Однако это типичное хобби состоятельных и занятых людей, как правило, направленное на поддержание своего здоровья или релакс, нередко это коллекционирование картин или книг, иногда это экстремальные виды спорта. Могу напомнить о хобби одной женщины-руководителя из областной администрации, которое меня удивило, – это охота с фоторужьем. Как мне кажется, это хобби как нельзя лучше иллюстрирует психологические особенности женщины-руководителя во власти, – нападение возможно, но исключительно символическое.

Когда Вы защитили докторскую диссертацию, чему она была посвящена, каков общий итог этого исследования?

Я защищала диссертацию в 2003 году в институте социологии РАН. Она называлась «Политическая элита в российских регионах: власть и политические институты». Несмотря на то, что в институте меня хорошо знали, я серьезно рисковала, выходя на защиту с такой темой. В институте было лишь три человека, которые в этой теме разбирались хорошо: это Александр Галкин, Юрий Красин, Леокадия Дробижева. Передо мной стояла непростая задача – быть убедительной для ученых, которые обладали интуитивным, а не научным знанием относительно ситуации в российских регионах. Мне это удалось, голосование было единодушным, хотя достичь такого результата не удавалось никому в течение последних двух лет. Я до сих пор горжусь тем, что ни к кому не подстраивалась, а честно шла за научными результатами. Мои выводы были достаточно жесткими. В положениях, выносимых на защиту, было сформулировано восемь обобщений. Не останавливаясь на каждом, сформулирую лишь два из них, чтобы показать направление исследований и теоретических посылок, предлагаемых в диссертации:

1) Работающей моделью, позволяющей описать политическое устройство власти в регионах, является модель корпоративно-бюрократической полиархии, понимаемой в своем широком «системном» смысле. Аргументом в пользу именно данной модели служат процессы, происходящие сегодня в представительных органах власти: вымывание социальной страты депутатов, нарастание доли крупного бизнеса в законодательных собраниях. Это происходит на фоне продолжающейся иерархизации отношений власти и бизнеса, что усиливает аргументацию в пользу того, что корпоративно-бюрократическая полиархия на уровне регионов приобретает все более явные очертания.

2) Сохраняется стремление губернаторов контролировать политическое пространство в регионах, несмотря на запрет со стороны федерального центра на политическое доминирование. При этом высокая асимметрия формальных и неформальных практик сохраняется не только в управлении политической ситуацией, но и в формировании региональной бюрократии, во взаимодействии с бизнесом. Однако сегодня модель явного доминирования неформальных практик в управлении региональными процессами сменяется на модель «двойного действия», при которой формальные и неформальные практики сосуществуют одновременно и дополняют друг друга. Непрозрачность и динамичность неформальных правил, действующих внутри региональных администраций, оказались мощным стабилизатором ее внутренних процессов, стали достойной защитой при попытках ее административного передела, в том числе фигурами, пришедшими во власть «на новой волне». Эти же свойства помогают региональной власти до сих пор быстро концентрировать ресурсы на наиболее эффективных по ее критериям направлениях.

После защиты диссертации прошло уже около семи лет, но я до сих пор не согласилась бы исправить ни одно утверждение, которое в те годы казалось мне ключевым.

Нет ли у Вас желания отойти от изучения региональной элиты, заняться чем-то иным?

Я никогда не была жестко привязана к теме региональных элит. Я занималась помимо изучения элиты исследованием социальной политики в регионах, немало сил и времени потратила на изучение российского здравоохранения и образования. В результате появился ряд монографий, написанных мною совместно с моими коллегами-экономистами и социологами [8], [9], [10], [11]. Большое количество времени я отдала смежным научным исследованиям, где изучала взаимодействие власти и бизнеса в ходе реализации социальной политики и др. Однако как бы я не пыталась отойти от изучения элитных групп, судьба вновь и вновь возвращала меня к актерам власти или бизнеса. Мое хорошее знание субъектного поля региональной политики всегда очень помогало мне при реализации любого проекта. Сегодня у меня есть возможность включиться в проект по изучению инициатив местных сообществ по развитию инфраструктурных и социальных новаций в муниципальных поселениях. Казалось бы это новая тема, но реализовать ее можно только в том случае, если рассмотреть особенности взаимодействия местной власти с инициативными группами населения, выстроить модели взаимодействия местной власти с

властью региональной. Поэтому, как бы я не бежала от темы региональных элит, она вновь и вновь возвращается ко мне во множестве вариаций. Видимо это закономерно, нельзя уйти от того, чему отдал часть своих профессиональных и эмоциональных усилий, что стало частью твоей профессиональной жизни.

В «Человек и его работа» Андрей Здравомыслов и Владимир Ядов в качестве одного из индикаторов удовлетворенности трудом использовали вопрос: «Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети имели ту же профессию, что и Вы?». Они были в ту пору слишком молоды, чтобы задумываться о профессии их собственных детей. Однако так вышло, что они стали социологами. Выше Вы говорили о 5-ти летнем сыне, сейчас он уже скорее всего определился со своей профессией. В этом плане он не пошел по Вашим стопам?

Моему сыну в декабре 2009 г. исполнилось 23 года. Он закончил факультет изящных искусств Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова в 20 лет и получил степень бакалавра. По окончании университета ему вдруг стало ясно, что он не хочет быть искусствоведом. Хотя в искусстве он разбирается неплохо. Особенно его интересует кино. Он обладает хорошим аналитическим умом, но пока так и не нашел себя. В настоящее время он учится в аспирантуре Института социологии РАН. Через год он должен защитить кандидатскую диссертацию по социологии. Однако я не могу назвать его социологом. Для него диссертация – это ресурс для будущего карьерного роста. Он мечтает работать в крупной компании директором по развитию персонала. Я не знаю, сбудется ли его мечта, но уверена, что знакомство с социологией, как с общегуманитарной дисциплиной, ему никогда не помешает. Образование – это единственное наследство, которое стоит оставлять своим детям...

Спасибо большое Алла, мне очень легко с Вами работать.

Литература

1. Чирикова А.Е. Взаимодействие власти и бизнеса в ходе реализации социальной политики. М.: Независимый институт социальной политики. 2007.
2. Здравомыслов А.Г. Социология как жизненное кредо // Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 6. С. 9–15; См. настоящую книгу, Т. 2. С. 50-88.
3. Ашин Г.К. Современная буржуазная социология (критический очерк идеалистических теорий о роли народных масс и личности в истории). – М.: Высшая школа, 1965.

4. Ашин Г.К. Миф об элите и массовом обществе. – М.: Международные отношения, 1966.
5. Ашин Г.К. Современные теории элиты. Критический очерк. – М.: Международные отношения, 1985.
6. Гудков Л.Д., Дубин Б.В., Левада Ю.А. Проблема «элиты» в современной России. М.: Фонд «Либеральная миссия» ГУ-ВШЭ, 2007.
7. The New Elite in Post-Communist Eastern Europe // Edited by V. Shlapentokh, Ch. Vanderpool, and B. Doktorov. Texas A&M University Press, 1999.
8. Шишкин С., Чернец В., Чирикова А. и др. Неформальные платежи в медицине. М.: МОНФ, 2003.
9. Шишкин С., Чернец В., Чирикова А. и др. Высшее образование в России: правила и реальность. М.: Независимый институт социальной политики, 2004.
10. Шишкин С., Чернец В., Чирикова А. и др. Российское здравоохранение: оплата за наличный расчет. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004.
11. Шишкин С., А. Темницкий В., Чирикова А. и др. Российское здравоохранение: мотивация врачей и общественная доступность., М.: Независимый институт социальной политики. 2008.



Ядов Н.В. – окончил факультет психологии ЛГУ, кандидат психологических наук, генеральный директор фирмы «Той-Опинион». Основные области исследования: общественное мнение, маркетинговые исследования. Интервью состоялось в 2008–2009 годах.

С тех пор, как я выделил в сообществе российских социологов профессионально-возрастные страты, Николай Владимирович Ядов был обречен на беседу со мною «за жизнь». Дело в том, что он не просто относится к четвертой когорте, одно из названий которой – «поколение биологических детей» социологов-первооткрывателей, но является сыном родителей,

стоявших у истоков современного этапа нашей науки. С Николаем удивительно приятно беседовать. Он обладает редким даром: сказать все, что надо, и не сказать ничего, что не надо.

Пожалуй, и я остановлюсь на сказанном...

**Н.В. Ядов:
«ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
В НОРМАЛЬНОЙ
ЛИБЕРАЛЬНОЙ
СТРАНЕ»***

Коля, ты закончил факультет психологии Ленинградского государственного университета, работал заводским социологом, уже два десятилетия изучаешь общественное мнение и проводишь маркетинговые исследования... кем ты сам себя считаешь?

В аспирантуре я не учился, работал на Кировском заводе и писал диссертацию в качестве соискателя. Последние несколько лет, я бы сказал, что считаю себя в большей мере администратором. Компания наша существенно разрослась, соответственно, появилось довольно определенное разделение обязанностей. Мне не очень нравится, что содержательными сторонами проектов я занимаюсь все реже и реже. Но с точки зрения интересов организации, это, вероятно, неизбежный результат. К тому же, так

* Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2009. № 2. С. 12–19.

совпало, что социальные и политические проекты, которые меня интересовали больше всего, потихоньку закончились вместе с политикой как таковой.

Твои родители закончили ЛГУ, мама стала социальным психологом и социологом, отец – социологом, одно время работавшим в слоях, близких к психологии... Как происходил твой выбор будущей профессии? Как ты думаешь, у тебя были варианты не пойти по их стопам? Почему, ты поступал на психологический факультет, а не на философский?

Мама закончила филологический факультет ЛГУ и начала работать учителем русского языка и литературы. Отец – философский.

У меня вариантов было два. Я выбирал между психологией и историей. Философский факультет особенно не рассматривался. Мне он казался слишком идеологизированным. Наверное, уже тогда складывалось впечатление, что что-то не так в Датском королевстве. Помню, что очень не любил предмет «научный коммунизм». Если в названии науки есть слово научный, значит что-то здесь не в порядке. Как государство. Если в названии есть слово «независимое», то это точно марионетка. А дальше все довольно просто. Аттестат у меня был так себе, а на исторический факультет был чуть ли не самый большой конкурс в университете. К тому же я, конечно, имел представление о психологии и социологии. Это было близко просто по жизни семьи. Мне, правда, всегда было более интересно то, что происходит в обществе, а не в голове отдельного индивида, но факультета социологии тогда не было.

Ананьев умер до твоего поступления на психологический факультет, но тебе преподавали те, кто формировался под его влиянием: Е.С. Кузьмин, А.А. Бодалев, И.М. Палей. Тогда начинали входить в силу молодые Анатолий Свенцицкий, Игорь Волков... В какой области психологии ты специализировался? Читали ли вам введение в социологию? Были ли какие-либо социологические предметы?

Да, Ананьева я уже не застал. Но дух его явно витал на факультете. Специализация началась на третьем курсе, и я, естественно, выбрал «социальную психологию». Кафедрой заведовал Евгений Сергеевич Кузьмин. О нем есть разные мнения, но мне он всегда нравился тем, что оставался фронтовым офицером. Он мог нас разносить по швам, но если образовывался конфликт с другой кафедрой, факультетом или вообще с кем-то «не нашим», то для Кузьмина «наши» всегда были правы, независимо от сути дела. Он всегда знал, на какой он стороне. Это довольно необычное качество для интеллигенции...

...Ты верно отметил, Кузьмин был настоящим, цельным человеком, верно понимавшим значение социальной психологии и помогавшим людям, которым верил... Когда после окончания аспирантуры я не согласился с моим распределением, что было нарушением многих правил, он разобрался в ситуации и обещал помочь... ходил в партком Университета, говорил со многими и в нужный момент позитивно рекомендовал меня Здравомыслову... Он активно поддерживал интересное исследование Тойво Китвеля, лежавшее на стыке психологии, социологии и математики и касавшееся анализа природы отношения к труду, зная, что у Тойво по тем временам была не «чистая» анкета...

...а социологию читал Анатолий Леонидович Свенцицкий. Если я правильно помню, был не один курс. Вообще, социальная психология и социология довольно близки. Я просто не помню, например, курс методов относился только к соцпсихологии или к социологии тоже?

Твои студенческие годы пришлись на время, когда молодежь увлеклась Окуджавой, Галичем, Кимом, Высоцким... много времени проводили в «Сайгоне» и других подобных тусовках, читали «самиздат»... Ты был включен в эту культуру или у тебя были иные интересы?

Окуджава, Ким и Высоцкий определено. Галич, по-моему, был вообще запрещен, но любимой песней отца была «Ошибка» («Мы похоронены где-то под Нарвой...»). В Сайгоне мы, конечно, бывали, но там было многовато наркоманов. А мы, по выражению Леонида Кесельмана, придерживались алкогольной традиции.

Владимир Александрович и сейчас любит эту песню. В очень добром эссе, о чествовании Ядова в связи с его 77-летием Наталья Демина писала, что «неожиданно для многих Ядов спел грустную песню А. Галича “Ошибка”»...

Что касается самиздата, то мне он особенно не попадался. Я читал запрещенные вещи Стругацких («Улитка на склоне», «Сказка о Тройке»). А еще отец как-то привез из-за какой-то границы «1984» Оруэлла на английском. Помню, на меня книжка произвела сильное впечатление. Вторая книга с таким же эффектом – о культуре нацистской Германии, совершенно открытая и советская. Сходство с тем, что я видел вокруг, было поразительным.

Сейчас думаю, что за тем, чтобы я не очень диссидентствовал, следил мой дедушка, мамин отец. Он был убежденным ленинцем (даже книгу о Ленине писал) и работал в аппарате С.М. Кирова как раз в момент его убийства. Из всего того боль-

шого числа людей остались живы только он и еще один. Этот второй как сел сразу после убийства, так вышел только после смерти Сталина. А мой дед немедленно перевелся из Смольного, и его, вероятнее всего, просто не нашли.

Он очень хорошо знал, чего можно от родной советской власти ожидать, и как мог следил, чтобы я особенно не высказывался. Когда к нему приходили друзья, они запирались и крыли систему; я пару раз подслушал – весьма близко к Новодворской. Кстати, Брежнев он терпел довольно спокойно именно потому, что знал, что может быть сильно хуже. Помню его слова: «Погоди, еще вспомнишь доброго дедушку Брежнева».

Но нам про Сталина особенно не рассказывали, в учебниках было туманно написано о «некоторых перегибах», и мы, конечно, уже не особенно стеснялись. Одного моего товарища выгнали из университета за политические анекдоты, но потом восстановили.

Кроме того, я, сколько себя помню, увлекался изготовлением моделей. Начинал еще в школе и продолжаю по сей день. В основном, это техника Второй мировой войны. Активно покупал и читал мемуары участников войны. Друзья удивлялись, как это мне удается. Советские мемуары читать, действительно, было невозможно, тем более что писали их совершенно неграмотные в военном деле литобработчики. Но я как-то очень целеустремленно продирался сквозь топорный стиль, «роль партии» и прочие обязательные завитушки.

Не восходит ли твоя любовь к изготовлению моделей самолетов к тому, что твой отец после окончания школы хотел поступать в летное училище?

Он там даже проучился почти год. Но когда я сделал первую свою модель, я ее помню, я той истории про летное училище, скорее всего, не знал. Мне было лет 7–8. Отец только что вернулся из Манчестера, где был на стажировке, и привез первую увиденную мной липкую ленту, которую сейчас называют скотч, а он ее тогда называл сила-тэйп. Вот этим сила-тэйпом я склеил из картона подводную лодку, которую пустил плавать в ванной, где она, естественно, сразу развалилась.

Я задам тебе вопрос, возможно, несколько необычный, пожалуйста, постарайся на него ответить максимально обстоятельно. Ты уже давно читаешь мемуары участников войны, думаю, что в той или иной степени знаком и с собственно историческими исследованиями, в которых война анализируется как явление макроприроды и, соответственно, все рассматривается на макроуровне. Скажем,

блокада Ленинграда, Сталинградская битва. Если сравнивать эту историю и ту, которая вытекает из мемуаров, то как бы ты определил их соотношение? Я спрашиваю это, так как есть история нашей социологии, создаваемая с институциональной позиции, а есть интервью, в которых тоже представлена история. Вот я думаю, как две эти истории соотносятся?

Да... Хороший вопрос. Тут бы историка с систематическим образованием.

Я бы сказал, что главное отличие в том, что мемуары – это все-таки жанр художественной литературы. Даже такие, как, например, Жукова или Брэдли, где ясно, что работали большие команды и работали в архивах в том числе. Это относится ко всем мемуарам. Советские мемуары еще и встроены в одобряемую в данный момент линию партии. Поэтому мемуары хрущевского времени сильно отличаются от тех, которые написаны в брежневский период.

В принципе, только по мемуарам историю изучать нельзя. Они всегда субъективны и всегда представляют в наилучшем свете автора. Когда читаешь немцев, то совершенно непонятно, как они войну проиграли и кто деревни с жителями жег. А уж, например, немецкий подводник, по Карлу Деницу (–1980), – это если не король Артур, так точно Фридрих Великий, но без вредных привычек. У Эриха фон Манштейна (1887–1973), например, вообще противника не видно. Погода нехорошая все время, и Гитлер – дурак.

Еще одна черта. У генерала всегда орлы – подчиненные и не очень орлы – начальники. Лучше всего, если начальник к моменту написания мемуаров уже умер и не ответит. Гитлер с Гиммлером как раз очень удачные примеры. На них все и валят. Сталин – тоже. Половина наших больших начальников описывают ситуации, когда они что-то Сталину правильно советовали, а он не слушал. Причем правильное с точки зрения теперь уже известного исхода. Самый, наверное, яркий пример – это легенда о том, что если бы Сталин послушался Жукова и оставил Киев, то не было бы страшного окружения и разгрома целого фронта. На самом деле, если посмотреть на карту, оставление Киева и отвод войск на рубежи, которые предлагал Жуков, никакого отношения к последовавшему окружению не имели.

Главная ценность мемуаров – в психологических моментах. Это мотивировки тех или иных действий, субъективный взгляд на события, отношения с другими участниками этих событий, подробности, которых нет в приказах и других документах.

Очень ценными являются так называемые «солдатские мемуары». Этот жанр начинал Константин Симонов, но тогда

была сильная цензура. Сейчас выходят серии книг с мемуарами солдат и младших офицеров (есть сайт Iremember.ru). Солдат за всю войну мог ни разу не увидеть генерала, он не знал тогда планов операции, в которой участвовал, не знал номеров соседних дивизий и частей противостоящего противника. Он и после войны мог не очень интересоваться этими вопросами. Он не все может помнить, но мотивация к направленному искажению фактов у него минимальна.

Поэтому его рассказ не встроен в общую концепцию событий, которая формируется историками и большими начальниками. Например, известный «историк» В. Суворов пишет, что 22 июня все аэродромы были чуть ли не у самой границы, все спали, и всех, соответственно, немедленно уничтожили. А некий летчик вспоминает, что у них в полку была боевая готовность, он был в дежурном звене, которое взлетело сразу после сигнала, переданного постом ВНОС (Служба воздушного наблюдения, оповещения и связи). Ну, не читал он Суворова и не знал тогда, что положено было ему оказаться застигнутым врасплох в нижнем белье в 20 км. от аэродрома.

Сетования на малые сроки подготовки летных и прочих кадров – это общее место литературы о войне. В солдатских мемуарах видно, что сами по себе сроки были вполне достаточными. Например, многие летчики, закончившие гражданские аэроклубы еще до войны, попадали на фронт к 1943–1944 гг. Не сроки были сжатые, а организация обучения отвратительная.

В последнее время, скажем, есть такие популяризаторы истории, которые рассказывают, что евреев в армию не брали вовсе, а если и брали, то только комиссарами. И есть куча воспоминаний евреев – разведчиков (интервью брали в Израиле – живут там наши ветераны дольше). И логика железная. В разведке еврей считался предпочтительнее всех прочих, поскольку точно в плен не сдастся.

И таких примеров сотни.

Так что, если когда-нибудь очередной национальный лидер будет рассказывать, что рейтинги Ельцина или Путина были сфабрикованы продажными социологами по чьему-то указанию, то воспоминания тех, кто делал социологическое поле, могут оказаться полезными. Так же, как и воспоминания тех, кого заставляли вбрасывать кучу липовых бюллетеней на выборах. Для изучения «кухни» других свидетельств может вовсе не оказаться.

Что касается собственно историографии, то говорят, если в историческом исследовании нет ссылок на архивные документы, только на другие исследования или те же мемуары, то это, в лучшем случае, компиляция, в худшем – просто вранье.

Если же историк совсем не приводит (и не изучает) мемуары, то он не чувствует время, о котором пишет, для него непонятны люди, которые в эту эпоху действовали, неясны психологические мотивы принятия решений.

Вообще же, конечно, чем выше уровень обобщения, тем ниже ценность мемуаров участников конкретных событий. Есть исторические исследования, посвященные действиям частей и подразделений (до рот включительно). У нас такие исследования только появляются, хотя в других странах – это отдельная большая часть исторической литературы.

В этих случаях мемуары могут оказаться единственным историческим источником.

Какие темы ты выбирал для курсовых и диплома? При их выборе и разработке ты консультировался с родителями, которые к тому времени были уже сложившимися учеными?

Честно говоря, точные темы курсовых я не помню, но все они, а потом и диплом, были в рамках установочных теорий или теории диспозиций. Так что прямое влияние отца было налицо. Я эту тематику выбирал еще и потому, что дома все это обсуждалось. Диспозиционная теория именно в это время и формировалась. Это, наверное, вообще было первым, что я узнал из социальной психологии более или менее системно. Есть такое высказывание: «Все психологические теории личности среднего уровня описывают личность автора». В этом есть доля правды. И у папы, и у меня установочные модели поведения очень выражены. Так что мне это было близко и субъективно принималось.

Мне кажется, что сейчас мало кто разрабатывает диспозиционную теорию личности, так ли это? Не мог бы ты кратко сформулировать ее суть и пояснить, что ты имеешь в виду, говоря: «И у папы, и у меня установочные модели поведения очень выражены»?

Честно говоря, от социально-психологической тематики я отошел и не очень слежу за публикациями.

Если совсем коротко, то установочное поведение – это привычный набор действий в привычных условиях. Личность с жесткой системой установок привычные условия воспринимает расширительно, или, если угодно, подгоняет их под привычные.

Установка – это некая довольно устойчивая программа регулирования поведения в зависимости от ситуации и мотивации личности.

Диспозиционная теория выстраивает установки личности в некую иерархию. Высший уровень – ценностные ориента-

ции, низший – ситуативные установки. Соответственно, высшие уровни регулируют поведение в долговременной перспективе и, в какой-то мере, контролируют низшие установки, отвечающие за поведенческие акты в конкретных ситуациях. Система установок (по В.А. Ядову, диспозиций) стремится быть непротиворечивой.

Это высокая готовность действовать на основании ранее сформированной установки и низкая готовность формировать новую.

Как я думаю, установочное поведение отличается тем, что человек демонстрирует ожидаемую окружающими реакцию. Ситуация или определяется как знакомая, или превращается в таковую с тем, чтобы действовать привычным образом.

Ты пытался после окончания университета поступать в аспирантуру?

Нет, в аспирантуру поступать не пытался. Хотелось пойти работать в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт и поехать с очередной советской антарктической экспедицией в Антарктиду. В этом институте я делал диплом, и существовали некоторые договоренности. Но буквально в момент получения диплома закрылся отдел полярной медицины этого института (предполагаемое место работы), и я пошел по распределению на Кировский завод.

На Кировском заводе была сильная команда социологов, которой руководил Николай Степанович Мирошниченко. Чем конкретно вы занимались? Какую тему исследовал ты как соискатель?

Да, нашим руководителем был Николай Степанович. Это была социологическая лаборатория, структурно состоявшая из двух бюро – социального планирования и социологических исследований.

Социальное планирование – отдельная тема. Я работал в бюро исследований под руководством Татьяны Михайловны Бочкаревой. Тематика лаборатории была для того времени стандартной – исследование текучести кадров и удовлетворенности трудом, рабочим местом, работой в целом. Текучесть рабочих кадров была основным бичом советских заводов. Но я почти сразу начал делать диссертационное исследование на тему динамики установок (диспозиций) в процессе производственной адаптации. Это был небольшой по времени лонгитюд. Замеры делались при поступлении молодого рабочего на завод и продолжались три года.

Вообще же, основное впечатление от завода – такая экономика работать не может, а точнее, может работать только из-под палки.

Был, например, на заводе кислородный цех, план производства которого верстался обычным образом, т.е. «от достигнутого». Продукция текущего года принимается за 100%, а в следующем нужно сделать 108%. Беда в том, что завод параллельно получал план на экономию кислорода. Цех сидел без премий, и персонал, естественно, разбегался, благо рабочие требовались везде. Это положение социсследованиями не поправить.

Еще пример. Какое-то время я работал в отделе технического контроля (ОТК) в цехе коробок передач; была такая практика: инженерно-технических работников «бросали в цеха» – рабочих не хватало, инженеров же всегда был перебор. Так вот, стоит длинная линия станков, которая выпускает главный вал коробки. В мою ночную смену первый же станок в линии дает неверный размер. Заготовка проходит всю линию и напрямик мимо ОТК отправляется на переплавку. Если линию остановить, вся смена не получит денег за свои операции на этих заведомо бракованных заготовках. Так мне объяснили, когда я начал бегать к начальству и возмущаться.

И вот, все наши выводы упирались в проблемы системы как таковой. Николай Степанович, конечно, все это видел, но вынужден был исповедовать «теорию малых дел», чтобы поправить хоть что-то. Я же был молодой и диссидентски настроенный. Мне нужно было все и сразу. Теперь то я понимаю, что на его месте, скорее всего, действовал бы в том же духе.

Когда ты приступал к своему лонгитюду, в Ленинграде уже был накоплен значительный опыт изучения рабочих: академические исследования, начиная с «Человек и его работа», и масса прикладных разработок. Конечно, прошло много лет, и все же – твое ощущение: существовало ли единое видение социологами отношения рабочих к труду или то была противоречивая мозаика?

Я бы не сказал, что были большие противоречия между исследователями, которые занимались удовлетворенностью трудом. Были разные подходы и разные методики, разное видение проблемы. Выводы, как мне кажется, друг другу не очень противоречили. Может быть, я ошибаюсь, поскольку содержательно удовлетворенностью трудом не занимался. Какие-то прикладные исследования мы делали, но это было не более чем довольно поверхностный анализ опросов с целью выработки более или менее конкретных рекомендаций для руководства объединения.

Лонгитюд был социально-психологическим исследованием, основной задачей которого было проследить, каким образом перестраивается диспозиционная иерархия личности в непривычных условиях производственной адаптации. Содержательная сторона установок практически не рассматривалась.

По-моему, ты защитил диссертацию в 1989 году, что показало трехлетнее наблюдение?

Да, верно, в 1989 году. Вывод был простым и несколько неожиданным. Человек или находит способ реализовывать свои привычные модели поведения в новых условиях, меняя скорее сами эти условия, чем себя, или уходит с данного места работы. Сам процесс адаптации может сопровождаться довольно сильными колебаниями структуры диспозиций, но в завершении процесса иерархия восстанавливается почти в первоначальном виде. То есть буквально «не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас».

Теперь вопрос одновременно политического и методического смысла. Ты не только изучал рабочих с помощью социологических и социально-психологических методов, но ты с ними общался напрямую. В какой степени сегодня в опоре на те результаты мы можем говорить об отношении рабочих к труду в 70-е – 80-е годы? По итогам своих наблюдений, А.Н. Алексеев, работая в 1980–1988 гг. станочником и анализируя многие процессы, происходившие в цехе и на заводе, пришел к выводу, что интегральным свойством, пронизывавшим все уровни системы трудовых отношений на производстве, было «разгильдяйство»: незаинтересованность + некомпетентность + безответственность. Оно было и итогом, и следствием безответственности низов и беспомощности верхов. Мог бы ты как-либо прокомментировать этот вывод?

Как я уже говорил, удовлетворенностью как таковой я не занимался. Это был один из элементов исследований текучести кадров, причем не самый главный. Мне эта тематика не казалась интересной или перспективной. Базовые вещи менять было нельзя без изменения всей экономической системы, да и мелкие инновации проприхивались с большим трудом.

А.Н. Алексеев, наверное, в целом прав. Мне кажется, я застал эпоху заката советского пролетариата. Рабочие, конечно, были разные, но тенденция мне казалась вполне определенной.

Квалифицированный рабочий, который реально умеет что-то делать и этим гордится, становился историей. На огромном Кировском заводе таких было пара десятков, первые лица завода знали их по именам. Эти отдельные умельцы буквально диктовали свои условия управленцам.

Главная масса – это мигранты из сел и небольших городов, в лучшем случае, окончившие ПТУ, в худшем – вообще без подготовки. Общая стагнация приводила к тому, что товарный ряд предприятия не обновлялся десятилетиями, поэтому рабочий мог всю жизнь делать одну операцию. Разряд при этом говорил об уровне зарплаты, но не об уровне квалификации.

Кто-то сказал, что 10% людей работают хорошо, потому что плохо, в принципе, не умеют, еще 10% будет работать плохо по той же причине. Остальных нужно заинтересовать.

А заинтересованности быть не могло по определению, поскольку производство не было ориентировано на готовую продукцию, которую нужно продать. Сдать приемке и продать – принципиально разные вещи. Сколько помню, все время предпринимались попытки как-то замкнуть участок, бригаду или цех на конечный результат, но было ясно, что без рынка это практически ни к чему не приводит. Так или иначе, в серийном производстве зарплата рабочего зависела от того, сколько он сделал на своей операции. То, что весь узел или изделие пошло в брак, его не интересовало.

Объективной мотивации к обновлению не было в принципе. В военной промышленности мы, по крайней мере, конкурировали с внешним рынком. В гражданской сфере любым новшествам противились как могли на всех уровнях.

Так что переживать по поводу умершего отечественного машиностроения у меня не получается.

Разгильдяйство и безответственность, конечно, имели место, но тоже по вполне объективным причинам. Советской промышленности рабочих хронически не хватало. Объемы-то планомерно росли, а новые технологии – не очень. Расходы на зарплату были заведомо ниже расходов на новые технологии. Поэтому производство развивалось экстенсивно.

В качестве анекдота. На заводе был проблемный цех холодной штамповки с ужасными условиями труда и дикой текучестью. И был отдел робототехники, который пытался внедрить в этот цех автоматику. Кончилось все тем, что инженеры-робототехники встали к станкам вместо разбежавшихся штамповщиков. Стоимость инженера у станка была существенно ниже стоимости робота на этом же месте.

Каждый конкретный станочник был уверен, что он найдет себе место не хуже в течение недели, поэтому держаться за данную работу не имело практического смысла. Отсюда же и презрительное отношение к ИТР, которые, к тому же, и зарабатывали гораздо меньше. Все это подогревалось нудными рассуждениями государственной пропаганды о ведущей роли рабочего класса. Никто это уже серьезно не воспринимал, но при случае можно было воспользоваться.

И при этом для ИТР были лимиты по вступлению в партию, а рабочим приходилось искать и уговаривать.

А знаете, сколько тракторов «Кировец» выпускалось в год? Около 20 тысяч. Столько танков выпустил СССР в 44-м году. Куда они все девались, я понять не мог, пока не узнал, что

и ресурс у «Кировца» не больше танкового – иногда на один сезон не хватало.

Короче говоря, мне было удивительно, что какая-то продукция все-таки появляется и что-то даже работает, хотя и неважно.

Все эти проблемы выходили далеко за рамки психологии. Достаточно вспомнить, как все эти «безответственные и незаинтересованные» в начале 90-х бросились в кооперативы и прочие частные структуры, где работали сутками, впервые почувствовав связь между своим доходом и результатом своего труда.

Сначала Стас Дукальский, потом ты написали мне, что прошло 20 лет с момента создания Северо-Западного отделения Всесоюзного центра по изучению общественного мнения. Давай вспомним то время и короткий период нашей совместной работы. Но прежде всего: почему ты за несколько месяцев до защиты кандидатской решил уйти с Кировского завода, но не в социальную психологию, что было бы естественно, а в совсем прикладную область – опросы общественного мнения?

Я ушел именно потому, что хотел работать в области исследований общественного мнения. Это, конечно, звучит громко, но я считал, что открытые опросы общественного мнения – верный признак демократического государства, тем более что о маркетинге тогда никто не слышал. Нужно вспомнить атмосферу того периода. Всю свою сознательную жизнь я читал и слышал в СМИ, что «весь народ в едином порыве» и проч. А в своем окружении никакого порыва не обнаруживал. И тут появлялась возможность понять, какова ситуация на самом деле. Так что интерес был совершенно не академический.

Кроме того, хотелось просто заняться чем-то конкретным и полезным. Ну и, конечно, 51-й мотив.

Мама очень любила пример из фильма «Красная палатка». Умберто Нобиле, командира дирижабля «Италия», который бросил свой экипаж на льдине и первым улетел на большую землю, спрашивают, почему он так поступил. Он отвечает, что он наилучшим образом смог бы организовать спасательную операцию, он смог бы многого добиться своим авторитетом, и прочие важные соображения. Главный аргумент «против» в том, что капитан покидает тонущий корабль последним. В общем 50 аргументов «за» и 50 – «против». А думали вы о горячей ванне и о чашке кофе? Он признает, что да, думал. Это и был 51-й мотив.

Мне очень надоело каждый день вставать в 6.30 и отсиживать положенные восемь часов. Уходить, кстати, было не просто. Все-таки десять лет я проработал в группе почти не-

изменного состава. Мы были уже практически родственники. Я, правда, переманил с завода моего друга и коллегу Сергея Красноцветова, да простит меня Н.С. Мирошниченко.

Насколько я помню, я предложил тебе сменить меня на посту руководителя нашего Отделения на следующий день после твоей успешной защиты кандидатской. Я благодарен тебе за то, что ты согласился, мне очень хотелось сосредоточиться на аналитической деятельности. Какие трудности прежде всего тебе пришлось тогда преодолевать? Ведь это было время становления ВЦИОМ, его опросной сети?

Для меня это, насколько помню, было довольно неожиданно, но у меня был некий опыт руководства бюро на заводе, и было нас всего трое. По сути, все занимались одним и тем же.

Я бы не сказал, что мы преодолевали какие-то великие трудности. Да, строили сеть на северо-западе. Но тогда отношение людей, даже местных властей было очень благожелательное. Иногда, правда, приходилось получать разрешения на опрос у местных партийных или милицейских начальников. Мы и сами работали интервьюерами. Опросов было ведь очень мало. Насколько я помню – один в месяц.

Общение с респондентами ничего кроме удовольствия не вызывало. Приглашали попить чайку и проч. Нельзя сказать, что нас это удивляло. Людей впервые в жизни спрашивали об их мнении. В их глазах мы были представителями государства. Сейчас мне кажется, что отказов практически не было, во всяком случае, по сравнению с сегодняшней ситуацией это была бесконечно малая величина.

Профессиональных бригадиров в селах и малых городах, конечно, не было и быть не могло, но среди местной интеллигенции находились люди, готовые помогать. Как правило, это были учителя. Кстати, и платили бригадирам по тем временам довольно неплохо. Покупать, правда, было особенно нечего.

В общем, мы активно ездили по региону, во многих местах я был впервые. Конечно, не все было гладко, но в памяти остается общий эмоциональный настрой. Было ощущение, что мы делаем хорошее дело, и в целом все это было интересно. А кроме того, во время и после путча 91-го года у меня, я помню, появилась уверенность, что вокруг нас граждане страны, а не население, как, например, сейчас.

Я помню, как мы сидели в нашей комнате в здании на Неве и придумывали название нашей организации как некоей самостоятельной аналитической структуры. Тогда возникло имя «Опионион». Но то не была калька с английского «opinion», просто мне вспом-

нилась идея советского исследователя Рафаэля Сафарова о введении особой науки – опинионики, которая занималась бы изучением природы общественного мнения. Когда это было и в связи с чем возникла необходимость создания независимой организации – при том, что мы входили в систему ВЦИОМ?

Если я правильно помню, это была инициатива ВЦИОМ. Был 1993 год. Государственное финансирование практически прекратилось. Руководство ВЦИОМ не могло гарантировать постоянный объем заказов. Коротко говоря, была команда «Спасайся, кто может!».

Я сильно волновался только за финансовую сторону. Цены ведь уже отпустили, начал потихоньку формироваться рынок. Никто в этих условиях работать не умел. Опрашивать мы уже более или менее научились, а вот независимую финансовую и хозяйственную деятельность вести даже теоретически не умели.

И здесь, конечно, Станислав Дукальский оказался совершенно незаменим. Он был военным финансистом. Это было просто огромное везение; поскольку Вы принимали его на работу в качестве социолога, этот его опыт никак не учитывался. Бухгалтеров вообще было, видимо, одна тысячная от потребностей экономики.

Вторым человеком, который оказался в нужном месте и в нужное время, стал Алексей Кротов. Мне кажется, он тогда работал у нас меньше года. Начинал интервьюером. Он первым сообразил, что пора бы заняться и собственными проектами, а не только делать московские поля. Потихоньку начинали проводить маркетинговые опросы. Так что благодаря Леше у нас уже был небольшой, но успешный опыт работы с проектами полного цикла (от программы до отчета).

Потихоньку мы начинали понимать, что уметь что-то такое хорошее сделать – это меньше половины дела. Самое главное – продать.

Ты – один из тех, кому пришлось самостоятельно осваивать науку и технологию исследования рынка. Как психолог и социолог ты был готов к изучению установок и понимал, как трактовать рыночное поведение в системе других форм поведения человека в складывавшихся рыночных отношениях. Не мог бы ты припомнить тех, кто был среди твоих первых клиентов? Ты понимаешь, меня интересуют не имена, но типы бизнесов и типы первых заказов.

Не сказал бы, что мы что-то понимали в рыночном поведении и рыночной психологии. Это уже потом, в Финляндии, нам рисовали разные схемы формирования установок потребителя и проч.

Первые лет пять мы делали только или преимущественно поля для ВЦИОМа, потом для других исследовательских центров, причем тематика была почти исключительно общественно-политическая.

Это был период мелких кооперативов, крупные предприятия еле дышали. Кроме того, потенциальные заказчики не знали, что они заказчики. И вообще, исследования рынка начинаются там, где начинается конкуренция, а это был период, когда не было практически ничего, рынка, по сути дела, не было. Зато были некоторые западные компании, которые начинали что-то продавать в России. Не факт, что тогда им вообще нужны были исследования: что ни привези (желательно подешевле), все продавалось; но это была обычная технология освоения новых рынков, о чем мы тогда не очень догадывались.

Первое исследование, которое мы делали от анкеты до таблицы, было для компании Fazer. Это финская компания, известная у нас на то время только шоколадными плитками. Тема была классическая: имидж марки.

Этот проект оказался для нас историческим. Поскольку мы плохо себе представляли сроки обработки, для того, чтобы успеть в срок, приходилось работать более или менее круглые сутки. Я помню, даже ночевали на работе. Но принципиальным этот проект стал потому, что на нем, собственно, сформировался костяк компании, почти не изменившийся к настоящему времени. Это была зима 1993–1994 гг.

Сейчас в России есть консультанты, которые совместно с исследователями и представителями бизнеса разрабатывают стратегии использования результатов изучения рынка. Тогда вам все приходилось делать самим? Не помнишь ли ты, как вы все это осваивали?

Я бы сказал, что моей позицией был принципиальный отказ от консалтинга как такового. Мы даем максимально объективную картинку, на базе которой заказчик сам принимает решение, или решение предлагает профессиональный консультант. Сейчас, например, консалтинговые фирмы сами заказывают маркетинговые исследования.

Не мог бы ты привести пару примеров, на твой взгляд, успешных предложений, сделанных по итогам исследований?

Чтобы дать осмысленную рекомендацию, нужно вникать в проблемы компании заказчика на технологическом уровне. Например, мы делали серию исследований для завода, производящего мотоциклы «Урал». Все советские годы завод выпускал почти без изменений «BMW», на котором воевал Вермахт. В середине 90-х спрос на мотоцикл упал. Основной наш вывод состоял в том, что ранее «Урал» являлся неполноценной заменой

автомобилью, причем, преимущественно, в сельской местности. Как только автомобиль стал доступнее, нужда в таком мотоцикле отпала. Нужен был некий аппарат для байкеров, то есть отнюдь не средство передвижения, а средство развлечения.

Естественно, что на технологической базе 40-х годов полноценный байк, который мог бы конкурировать с теми же «японцами», хоть и подержанными, сделать не удалось, хотя несколько новых моделей появилось. Технологический уровень завода оценивали не мы, а консалтинговая компания и собственно специалисты завода. Они же считали стоимость модернизации производства. Это отдельная профессия, по крайней мере, я так всегда считал.

Есть еще один нюанс. Если ты консультируешь какую-либо компанию, то ее конкурент для тебя, как заказчик, не существует. Это относится и к партиям, например, пока они были. Если я разрабатываю программу действий для коммунистов, то вряд ли ко мне обратятся либералы.

Как и когда появились ваши финские партнеры (совладельцы)? Что дает вам сотрудничество с ними?

В 1994 году вторая по размеру финская маркетинговая компания Талоустуткимус ОЙ (сокращенно ТОЙ) искала партнера в России. Насколько я помню, нас рекомендовал Александр Ослон. У них уже был филиал или дочерняя компания в Эстонии, так что первый раз мы встречались в Таллинне. Потом было несколько встреч в Хельсинки и в Петербурге, в результате чего, в конце концов, образовалась совместная компания «Той-Опинион».

Не могу сказать, что мы стали использовать какие-то совсем новые методы исследований, но финские коллеги помогли нам усвоить некоторые базовые принципы коммерческих исследований. Советская «академическая» наука ведь, по большому счету, не считала ни времени, ни денег. Вот этим вещам мы потихоньку и учились.

Если здесь нет особого секрета, не мог бы ты «приоткрыть» пару принципов?

Секрет прост в формулировке, но сложен в исполнении. Нужно найти оптимальный метод реализации поставленных задач за ту цену, которую готов заплатить заказчик. Никогда не удастся сделать идеальный проект. Всегда на выходе получается некий компромисс, но такой, который решает проблему клиента.

Финны нас спрашивали, «сколько вы продали проектов»? Меня само это словосочетание «продали проектов» коробило. Мы же не огурцами торгуем. Это потом начали понимать, что

это примерно одно и то же. Мы хорошо делали поля, неплохо делали анализ данных и проч., а продавать не умели. Не сказал бы, что и сейчас в полной мере научились.

Чем отличались докризисные маркетинговые исследования от тех, которые вы проводили в начале века?

С 1994 года доля маркетинговых исследований медленно росла. Практически все они заказывались иностранными производителями товаров первой необходимости. После кризиса 1998 года резко росла доля российских заказчиков при почти полном отсутствии иностранцев, начали появляться проекты под дорогие товары, автомобили, например.

...Пожалуйста, продолжи... я спрашиваю про ЭТОТ кризис... и прошу сравнить с началом века.

Был количественный рост. Структура заказчиков изменялась мало. Но при этом явно росла доля телефонных опросов. Года три-четыре перед кризисом мы уже не справились с объемами. Основной причиной были трудности с числом интервьюеров. Чем лучше состояние экономики, тем меньше людей, которые нуждаются в такого рода приработке, но тем больше заказов. В кризис, соответственно, наоборот. Среди интервьюеров очередь, а работы нет.

Приходилось ли вам заниматься изучением эффективности рекламных кампаний? Насколько вообще исследования этой направленности (тематики) распространены в Петербурге?

Не скажу, что это основной вид исследований, но, конечно, бывает. В прошлом году, например, делали серию пре- и пост-замеров телевизионной рекламы для финской торговой сети в Москве.

Собственно эффективность рекламы определяют динамикой продаж, а вот тестирование самой рекламы – это довольно частая тема исследований. Как правило, это фокус-группы и холл-тесты.

Приятно слышать, что ты определяешь эффективность рекламы тем, как она продает... я и хотел узнать, действительно ли фокус-группы и другие процедуры способны подсказать какие-то ходы в усилении позитивного воздействия рекламы? Вы изучали телевизионную рекламу?

Наверное, в этом не будет ничего нового, но, по-моему, верна старая истина. Никакой опросный метод не дает ничего такого, что не было заложено в проект исследователем. Более того, фокус-группа, скажем, обычно не принимает какие-то новаторские решения. Если говорить о рекламе, то лучше всего оценива-

ются более или менее традиционные решения. В принципе, это правильно. То, что кажется самым рекламщикам гениальным, потребитель оценить не может. У нас был смешной эпизод. Тестировали на группах рекламную концепцию автомобильных покрышек. На постере был изображен человеческий мозг. Идея авторов состояла в том, что рекламируется «думающая шина». Ассоциации участников групп при этом вертелись вокруг идеи «мозги по асфальту». То есть антиреклама в чистом виде.

Несколько лет назад ты мне показывал вашу CATI? Вы до сих пор используете этот вид опросов? Не теряет ли эта технология своей эффективности? Я имею в виду, по крайней мере, два обстоятельства: «усталость» населения от опросов и резкое увеличение доли петербуржцев, пользующихся мобильным телефоном? Каковы, на твой взгляд, перспективы использования CATI? В США и странах Западной Европы стремительное увеличение численности пользователей Интернетом привели к росту популярности среди бизнесменов и исследователей онлайн-маркетинговых опросов и фокус-групп? Есть ли у тебя опыт сетевого изучения петербуржцев?

Все это, конечно, так. Но, по-моему, CATI, как демократия: это худший метод опросов, не считая всех прочих.

Личные интервью по месту жительства имеют такой процент недостижимости, что иногда вообще неясно, кого и где мы опрашиваем. У нас дело даже не в том, что люди устали от опросов. Я думаю, в сравнении с США их число в разы меньше. Во-первых, в крупных городах совершенно криминогенная обстановка. Это привело к тому, что в обычные подъезды попасть трудно, а в дома побогаче вообще невозможно – охранники и консьержи. Таким образом, обеспеченную группу мы вообще не ловим.

Во-вторых, модное сейчас выражение «атомизация общества» в частности, означает, что люди не чувствуют потребности делать что-то, что прямо с ними не связано. Это, с одной стороны, объясняет почти полную политическую пассивность, с другой – отказы от участия в опросах ради какой-то отсроченной пользы, причем, неясно для кого.

Плюс к этому множество торговых агентов и просто мошенников.

Если к этому прибавить огромное количество правоохранителей, которые заняты своими делами опять-таки за счет населения, то можно утверждать, что все это формирует обстановку недоверия всех ко всем.

Я хочу сказать, что встретиться «face-to-face» уже проблема, а уж получить согласие на интервью – вообще почти подвиг. Все бы ничего, но группа, которая отказывается от участия в

опросах, по понятным причинам не изучена и, следовательно, корректировать данные можно только интуитивно.

Уличные и телефонные опросы хороши тем, что при контакте интервьюера и респондента у последнего срабатывает ситуативная установка. У него просто нет времени оценить риски, связанные с общением с незнакомым человеком. Согласиться на интервью проще, чем найти аргументы для отказа.

В САТI-опросах есть, конечно, проблема мобильных телефонов и вообще хороших телефонных баз. Как сочетать проводные и мобильные телефоны, мы для себя пока не решили. Финские партнеры, например, просто сливают все имеющиеся базы в одну, что нам кажется не совсем корректным. Однако, иного выхода пока не видно.

Но на сегодняшний день я уверен, что со всеми их недостатками и ограничениями телефонные опросы обеспечивают лучшую возможность для достижения случайности выборки, чем все остальные.

Сетевые опросы мы делали всего пару раз. Здесь та же проблема. Опрашиваются только активные респонденты, да еще и работающие в сети. Я совершенно не против таких опросов, но пока не понимаю, на какие группы можно распространять такие результаты, если речь не идет о посетителях конкретного сайта и спрашивают их о сайте же.

В Ленинграде в течение ряда десятилетий активную роль в развитии социологии играла Социологическая ассоциация. Есть ли в городе, стране ассоциация исследователей рынка, связаны ли вы с нею, в чем проявляется ее деятельность?

В Москве ассоциация, насколько я знаю, есть, но какой-то активности я не вижу. В Петербурге мы тоже пытались создать что-то похожее, но пока не получилось. Очень неясны задачи такой организации. А кроме того, с начала века было очень много работы. Просто не было свободного времени на что-то, прямо не связанное с бизнесом. Может быть, в период кризиса появятся какие-то идеи.

Коля, ты родился в 1957 году и по моей типологии относишься к четвертому поколению современного этапа российской социологии; я его называю «поколением детей отцов-основателей». Ты не просто относишься к нему, но – в известном смысле – расположен в ядре этого поколения. Твои родители принадлежат именно к тем, кто в послевоенные годы осваивал и развивал в СССР социологию. Ощущаешь ли ты свою принадлежность к некоей профессиональной общности, которую можно было бы назвать поколением? Каковы ваши доминирующие гражданские, политические, культурные воззрения?

Не сказал бы, что я особенно остро чувствую свою принадлежность именно к социологическому поколению. Последние 20 лет я медленно, но верно, двигался от науки к управлению компанией (что тоже оказалось интересно).

Воззрения оригинальностью не отличаются. Хочется жить в нормальной либеральной стране. Мы, конечно, предполагали, что за всякой революцией следует реакция, но, как всегда, надеялись, что в этот раз как-нибудь обойдется. Короче говоря, с 2000 года все противнее и противнее. Опять мы имеем полное размежевание власти и прочего населения, тотальное вранье в основных СМИ и парламент типа Верховного Совета. Воруют, правда, значительно больше. В целом это больше всего похоже на какую-нибудь банановую диктатуру 60-х годов. Только вместо бананов нефть и раздувание национальных амбиций в духе позднего Веймара.

Вообще, было всего пара лет при Ельцине, когда было понятно, что именно делает власть и чем эти действия мотивированы. Сейчас даже по опросам видно, что власть воспринимается как некая туманная сила, решающая свои малопонятные проблемы, никакого отношения к стране и людям не имеющие. Если чего и получается хорошего, то только как косвенный продукт, как правило, случайный, каких-то более значимых для нее действий. Власть при этом никак в представлении людей не структурируется. Есть «мы» и есть «они». Над всем этим Путин и немножко Медведев. Вот и все социальные институты.

Все это отражается и на работе. Если нет ни партий, ни выборов, ни какой-либо легальной политической жизни, нет и политических проектов.

Твоя мама – Людмила Николаевна Лесохина (1928–1992) – была умной и мужественной женщиной, признанным ученым. Научное направление, в котором она работала как социолог и педагог – образование для взрослых – в России и сейчас не оценено по-настоящему, но, судя по тому, что я наблюдаю в США, имеет огромное значение. Не мог бы ты рассказать немного о ней и о ее влиянии на тебя.

Стыдно сказать, но в семье ученым был назначен только отец. Его защиты и прочие дела шумно обсуждались и усиленно праздновались. Мама даже докторскую готовила так, что это казалось как бы «между делом». Насколько она была сильным ученым, я стал понимать только в последние годы ее жизни. Похоже, что и отец тоже. А ведь ее ученики до сих пор звонят, ходят на могилу. А лет им сейчас раза в три больше, чем маме в то время, когда она их учила.

Для меня она всегда ассоциировалась с домом. Если говорить о семье, то это в первую очередь мама. А ведь был период,

когда в одной квартире жили четыре поколения, включая мою бабушку, которая была куда более железной, чем Маргарет Тетчер. Мама была безусловной опорой. Когда у меня возникали проблемы, как я думал, серьезные, она говорила: «Делай, как считаешь нужным, твои тылы обеспечены». Это черта военного поколения. Свои и чужие распознавались очень отчетливо.

Чтобы описать влияние матери на сына нужно быть, наверное, Львом Николаевичем. У меня таких талантов нет, да я и не уверен, что готов делиться своими эмоциями.

Скажи, пожалуйста, а родители не говорили тебе, что лучше вернуться в науку, читать книжки, писать статьи, подумать о подготовке докторской диссертации... ведь для людей, занимающихся научными исследованиями, наука – единственный «свет в окошке».

На заводе я, в общем, занимался наукой, писал кандидатскую, делал эксперимент. Не могу сказать, что мне это не нравилось. Отказ от научной деятельности был мотивирован позитивно. Я ушел с завода в 1989 году. Маркс бы сказал, что менялась формация. Я хотел в этом участвовать непосредственно и ни разу не пожалел. Вообще, «проклятые девяностые» были, похоже, самыми счастливыми в моей жизни. Мы в компании делали то, что считали правильным, мы все были друзьями, работали по 15–20 часов и зарабатывали себе на жизнь. В 97-м у меня родился сын. Отец все переживал, что фамилия прервется. Казалось, что и страна двигалась в нужном направлении. Сейчас машина, например, у меня лучше, но дышать стало совершенно нечем.

Родители это видели и не помню, чтобы как-то на меня давили.

Скоро Владимиру Александровичу – 80 лет, уверен, что многие хотели бы высказать ему свое глубочайшее уважение и благодарность за сделанное им для развития российской социологии и за помощь, оказанную Ядовым в разные годы. Выше мы немного говорили о диспозиционной теории личности, не мог бы ты в опоре на нее дать портрет Владимира Александровича?

Очень просто. Я, кажется, уже говорил, что каждый психолог пишет портрет своей личности. Как известно, диспозиции (когниции, верования и проч.) стремятся к некой непротиворечивости. Не обязательно формально-логической, но психологической. Расслоение диспозиций было выявлено Ла-Пьером в эксперименте, когда он заказывал по телефону места в отелях для себя и двух его студентов-китайцев. В случае, когда хозяин отеля руководствовался своими мерзкими расистскими

ценностями, он отказывал. А когда Ла-Пьер появлялся перед хозяином вживую, без предварительного заказа, он, как правило, получал нормальное обслуживание. Работала ситуативная установка на клиента.

В.А. Ядов точно не отказал бы китайцам ни по телефону, ни лично. В быту это, наверное, называется, цельностью личности. Причем для отца, как я понимаю, эта цельность является сама по себе ценностью. Если обстановка принуждает к какому-то виду двоемыслия или, извините, двоедействия, тем хуже для обстановки.

Мне представляется, что для Владимира Александровича уже многие годы повседневность и его работа – это одно и то же. Что ты думаешь по этому поводу?

Да, конечно. Если брать первую зрительную ассоциацию, то лет 20 назад – это отец в кресле за машинкой, справа кофе, слева пепельница. Сейчас пишущая машинка сменилась клавиатурой. Мы довольно часто вместе куда-то ездили в отпуск, в Пицунду, например, на хутор в Эстонии, но картинка перед глазами именно эта.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Два обстоятельства позволили бы мне не писать даже это короткое послесловие.

Во-первых, здесь приведен не собственно мой текст, но результаты сотрудничества с 44 моими коллегами. Таким образом, послесловие должно было бы быть тоже коллективным. Что сейчас в силу многих обстоятельств осуществить невозможно. Однако считаю своим долгом еще раз поблагодарить всех моих собеседников за их согласие ответить на мои, нередко очень непростые, вопросы об их жизни и их исследованиях, что для большинства – почти одно и то же, и за терпение в этой нередко многомесячной работе.

Во-вторых, каждый согласится, что нечто, пусть даже претендующее на обозрение материалов, изложенных на тысяче с лишним страниц, тоже автоматически превратилось бы в весьма объемный текст. Отчасти от его подготовки меня освобождает сказанное в Томе 1, а отчасти то, что я ориентируюсь на продолжение этой работы. И на проведение новых бесед с социологами, и на углубление историко-научного анализа биографических интервью.

Но три вывода мне хотелось бы сделать.

Первый – методический, или инструментальный. Когда более шести лет назад этот проект начинался, интервью по электронной почте казалось «экзотическим» приемом сбора биографической информации, в частности и потому, что сама электронная почта была недостаточно распространена в нашем научном сообществе. За прошедшие годы Интернет и электронная почта стали обыденностью, а сам метод прошел достаточное серьезное испытание и показал себя вполне валидным и релевантным целям историко-биографического исследования. Потому у меня есть полное основание допускать, что у этого приема сбора данных хорошее будущее в историко-социологических изысканиях.

Второй вывод – историко-научный. Уже простое ознакомление с материалами интервью, даже без специального качественно-количественного анализа, показывает, что социология как наука – это продукт деятельности многих ученых, представляющих разные поколения. Соответственно, история российской социологии должна писаться многими и учитывать жизненный и профессиональный опыт многих. Дело в том, что в сказанном всеми моими собеседниками, присутствует то, чего нет ни в одном из 44 интервью.

И третье замечание. Современная советская / российская социология – молодая наука, живы и продолжают работу те, кто все начинал, активны участники исследований, составляющих «золотой фонд» отечественной социологии, многие хорошо помнят события, образующие нашу общую историю. Это означает лишь одно: изучение прошлого надо активно вести сейчас.

Научное издание

Докторов Борис Зуманович

**СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ:
ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОИСКИ**

В 9-ти томах

ТОМ 2

БЕСЕДЫ С СОЦИОЛОГАМИ ЧЕТЫРЕХ ПОКОЛЕНИЙ

*Корректурa Бориса Никифорова
Макет издания Евгения Чичилова*

Издатель:
Центр социального прогнозирования и маркетинга

127106, Москва, ул. Гостиничная, 9.

Тел. (495) 481-18-38, 482-18-47
E-mail: info@sheregi.ru

Подготовка электронного издания:
IT центр Института социологии РАН
E-mail: delo@isras.ru

Тираж: 500 экз.